ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ

«...меня охватывает раздумье, определяются ли дела человеческие роком и непреклонной необходимостью или случайностью»

АННАЛЫ

МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ИСТОРИЯ

ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ
ТАЦИТ

АННАЛЫ
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСТОРИЯ

Научно-издательский центр
«ЛАДОМИР»
Москва
2003

УДК 94 (37)
ББК 63.3(0)32
Т12

Серия основана в 1998 году

Серийное оформление С.Е. Власова

Перевод с латинского

Издание подготовили:
А.С. Бобович, Я.М. Боровский, Г.С. Кнабе,
Е.П. Ореханова, М.Е. Сергеенко, И.М. Тронский

Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.11.02.
Формат 84×108[1]/[32]. Печать высокая с ФПФ. Бумага
офсетная. Гарнитура «Миньон». Усл. печ. л. 52,08.
Тираж 5000 экз. Заказ 4575.

Тацит Публий Корнелий
Т12 Анналы. Малые произведения. История: Пер. с лат. / Публий Корнелий Тацит. — М.: ООО «Издательство АСТ»; «Ладомир», 2003. — 984, [8] с. — (Классическая мысль).

ISBN 5-17-005865-9 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-86218-264-0 («Ладомир»)

Великий труд древнеримского историка Публия Корнелия Тацита «Анналы» был написан позднее, чем его знаменитая «История», — однако посвящен более раннему периоду жизни Римской империи — эпохе правления династии Юлиев — Клавдиев.

Под пером Тацита словно бы оживает Рим весьма неоднозначного времени — периода царствования Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона. Читатель получает возможность взглянуть на портреты этих людей (и равно на «портрет» созданного ими государства) во всей полноте и объективности исторической правды.

Также в книгу включены и работы Тацита, получившие название «малых произведений».

УДК 94 (37)
ББК 63.3(0)32

ISBN 5-17-005865-9 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-86218-264-0 («Ладомир»)

АННАЛЫ

Книга первая

1. Городом Римом от его начала правили цари[1]: народовластие и консулат установил Луций Брут. Лишь на короткое время вводилась единоличная диктатура[2]; власть децемвиров длилась не дольше двух лет[3], недолго существовали и консульские полномочия военных трибунов[4]. Ни владычество Цинны, ни владычество Суллы не было продолжительным, и могущество Помпея и Красса вскоре перешло к Цезарю, а оружие Лепида и Антония — к Августу, который под именем принцепса[5] принял под свою руку истомленное гражданскими раздорами государство. Но о древних делах народа римского, счастливых и несчастливых, писали прославленные историки; не было недостатка в блестящих дарованиях и для повествования о времени Августа, пока их не отвратило от этого все возрастающее пресмыкательство пред ним. Деяния Тиберия и Гая, а также Клавдия и Нерона, покуда они были всесильны, из страха пред ними были излагаемы лживо, а когда их не стало — под воздействием оставленной ими по себе еще свежей ненависти. Вот почему я намерен, в немногих словах рассказав о событиях под конец жизни Августа, повести в дальнейшем рассказ о принципате Тиберия и его преемников без гнева и пристрастия, причины которых от меня далеки.

2. Когда после гибели Брута и Кассия[6] республиканское войско перестало существовать и когда Помпей был разбит у Сицилии[7], отстранен от дел Лепид[8], умер Антоний[9], не осталось и у юлианской партии[10] другого вождя, кроме Цезаря, который, отказавшись от звания триумвира, именуя себя консулом и якобы довольствуясь трибунскою властью для защиты прав простого народа[11], сначала покорил своими щедротами воинов, раздачами хлеба — толпу и всех вместе — сладостными благами мира, а затем, набираясь мало-

помалу силы, начал подменять собою сенат, магистратов и законы, не встречая в этом противодействия, так как наиболее непримиримые пали в сражениях и от проскрипций[12], а остальные из знати, осыпанные им в меру их готовности к раболепию богатством и почестями и возвысившиеся благодаря новым порядкам, предпочитали безопасное настоящее исполненному опасностей прошлому. Не тяготились новым положением дел и провинции: ведь по причине соперничества знати и алчности магистратов доверие к власти, которой располагали сенат и народ, было подорвано, и законы, нарушаемые насилием, происками, наконец, подкупом, ни для кого не были надежною защитой.

3. И вот Август, стремясь упрочить свое господство, возвеличил Клавдия Марцелла, еще совсем юного сына своей сестры, сделав его верховным жрецом[13], а также курульным эдилом[14], и Марка Агриппу, родом незнатного, но хорошего полководца, разделявшего с ним славу победы, — предоставляя ему консульство два года сряду[15] и позднее, после кончины Марцелла, взяв его в зятья. Своих пасынков Тиберия Нерона и Клавдия Друза[16] он наделил императорским титулом, хотя все его дети были тогда еще живы. Ведь он принял в род Цезарей[17] сыновей Агриппы, Гая и Луция, и страстно желал, чтобы они, еще не снявшие отроческую претексту[18], были провозглашены главами молодежи[19] и наперед избраны консулами[20], хотя по видимости и противился этому. После того как Агриппы не стало, Луция Цезаря, направлявшегося к испанским войскам, и Гая, возвращавшегося из Армении с изнурительной раною, унесла смерть, ускоренная судьбой или кознями мачехи Ливии, а Друз умер еще ранее, Нерон остался единственным пасынком принцепса. Все внимание теперь устремляется на него одного. Август усыновляет его, берет себе в соправители, делит с ним трибунскую власть; и уже не в силу темных происков Ливии, как прежде, — теперь его открыто почитают и превозносят во всех войсках. Более того, Ливия так подчинила себе престарелого Августа, что тот выслал на остров Планазию единственного своего внука Агриппу Постума, молодого человека с большой телесной силой, буйного и неотесанного, однако не уличенного ни в каком преступлении. Правда, во главе восьми легионов на Рейне Август все же поставил сына Друза — Германика и приказал

Тиберию усыновить его: хотя у Тиберия был родной сын юношеского возраста[21], представлялось желательным укрепить семью дополнительною опорой. Войны в эти годы не было, за исключением войны против германцев, продолжавшейся скорее для того, чтобы смыть позор поражения и гибели целого войска вместе с Квинтилием Варом, чем из стремления распространить римскую власть или ради захвата богатой добычи. Внутри страны все было спокойно, те же неизменные наименования должностных лиц; кто был помоложе, родился после битвы при Акции, даже старики и те большей частью — во время гражданских войн[22]. Много ли еще оставалось тех, кто своими глазами видел республику?

4. Итак, основы государственного порядка претерпели глубокое изменение, и от общественных установлений старого времени нигде ничего не осталось. Забыв о еще недавнем всеобщем равенстве, все наперебой ловили приказания принцепса; настоящее не порождало опасений, покуда Август, во цвете лет, деятельно заботился о поддержании своей власти, целостности своей семьи и гражданского мира. Когда же в преклонном возрасте его начали томить недуги и телесные немощи и стал приближаться его конец, пробудились надежды на перемены и некоторые принялись толковать впустую о благах свободы, весьма многие опасались гражданской войны, иные — желали ее. Большинство, однако, на все лады разбирало тех, кто мог стать их властелином: Агриппа — жесток, раздражен нанесенным ему бесчестием и ни по летам, ни по малой опытности в делах непригоден к тому, чтобы выдержать такое бремя; Тиберий Нерон — зрел годами, испытан в военном деле, но одержим присущей роду Клавдиев надменностью, и часто у него прорываются, хотя и подавляемые, проявления жестокости. С раннего детства он был воспитан при дворе принцепса; еще в юности превознесен консульствами и триумфами[23]; и даже в годы, проведенные им на Родосе под предлогом уединения, а в действительности изгнанником[24], он не помышлял ни о чем ином, как только о мести, притворстве и удовлетворении тайных страстей. Ко всему этому еще его мать с ее женской безудержностью: придется рабски повиноваться женщине и, сверх того, двоим молодым людям[25], которые какое-то время будут утеснять государство, а когда-нибудь и расчленят его.

5. Пока шли эти и им подобные толки, здоровье Августа ухудшилось, и некоторые подозревали, не было ли тут злого умысла Ливии. Ходил слух, что за несколько месяцев перед тем Август, открывшись лишь нескольким избранным и имея при себе только Фабия Максима, отплыл на Планазию, чтобы повидаться с Агриппой; здесь с обеих сторон были пролиты обильные слезы и явлены свидетельства взаимной любви, и отсюда возникло ожидание, что юноша будет возвращен пенатам деда; Максим открыл эту тайну своей жене Марции, та — Ливии. Об этом стало известно Цезарю; и когда вскоре после того Максим скончался — есть основания предполагать, что он лишил себя жизни, — на его похоронах слышали причитания Марции, осыпавшей себя упреками в том, что она сама была причиною гибели мужа. Как бы то ни было, но Тиберий, едва успевший прибыть в Иллирию, срочно вызывается материнским письмом; не вполне выяснено, застал ли он Августа в городе Ноле еще живым или уже бездыханным. Ибо Ливия, выставив вокруг дома и на дорогах к нему сильную стражу, время от времени, пока принимались меры в соответствии с обстоятельствами, распространяла добрые вести о состоянии принцепса, как вдруг молва сообщила одновременно и о кончине Августа, и о том, что Нерон принял на себя управление государством.

6. Первым деянием нового принципата было убийство Агриппы Постума, с которым, застигнутым врасплох и безоружным, не без тяжелой борьбы справился действовавший со всею решительностью центурион. Об этом деле Тиберий не сказал в сенате ни слова; он создавал видимость, будто так распорядился его отец, предписавший трибуну, приставленному для наблюдения за Агриппой, чтобы тот не замедлил предать его смерти, как только принцепс испустит последнее дыхание. Август, конечно, много и горестно жаловался на нравы этого юноши и добился, чтобы его изгнание было подтверждено сенатским постановлением; однако никогда он не ожесточался до такой степени, чтобы умертвить кого-либо из членов своей семьи, и маловероятно, чтобы он пошел на убийство внука ради безопасности пасынка. Скорее Тиберий и Ливия — он из страха, она из свойственной мачехам враждебности — поторопились убрать внушавшего подозрения и ненавистного юношу. Центуриону, доложившему, согласно

воинскому уставу, об исполнении отданного ему приказания, Тиберий ответил, что ничего не приказывал и что отчет о содеянном надлежит представить сенату. Узнав об этом, Саллюстий Крисп, который был посвящен в эту тайну (он сам отослал трибуну письменное распоряжение) и боясь оказаться виновным — ведь ему было равно опасно и открыть правду, и поддерживать ложь, — убедил Ливию, что не следует распространяться ни о дворцовых тайнах, ни о дружеских советаниях, ни об услугах воинов и что Тиберий не должен умалять силу принципата, обо всем оповещая сенат: такова природа власти, что отчет может иметь смысл только тогда, когда он отдается лишь одному.

7. А в Риме тем временем принялись соперничать в изъявлении раболепия консулы, сенаторы, всадники. Чем кто был знатнее, тем больше он лицемерил и подыскивал подобающее выражение лица, чтобы не могло показаться, что он или обрадован кончиною принцепса, или, напротив, опечален началом нового принципата; так они перемешивали слезы и радость, скорбные сетования и лесть. Консулы Секст Помпей и Секст Аппулей первыми принесли присягу на верность Тиберию; они же приняли ее у Сея Страбона, префекта преторианских когорт[26], и Гая Туррания, префекта по снабжению продовольствием; вслед за тем присягнули сенат, войска и народ. Ибо Тиберий все дела начинал через консулов, как если бы сохранялся прежний республиканский строй и он все еще не решался властвовать; даже эдикт, которым он созывал сенаторов на заседание, был издан им с ссылкою на трибунскую власть, предоставленную ему в правление Августа. Эдикт был немногословен и составлен с величайшею сдержанностью: он намерен посоветоваться о почестях скончавшемуся родителю; он не оставляет заботы о теле покойного, и это единственная общественная обязанность, которую он присвоил себе. Между тем после кончины Августа Тиберий дал пароль преторианским когортам, как если бы был императором; вокруг него были стража, телохранители и все прочее, что принято при дворе. Воины сопровождали его на форум и в курию[27]. Он направил войскам послания, словно принял уже титул принцепса, и вообще ни в чем, кроме своих речей в сенате, не выказывал медлительности. Основная причина этого — страх, как бы Германик, опиравшийся на стольких

легионы, на сильнейшие вспомогательные войска союзников и исключительную любовь народа, не предпочел располагать властью, чем дожидаться ее. Но Тиберий все же считался с общественным мнением и стремился создать впечатление, что он скорее призван и избран волей народною, чем пробрался к власти происками супруги принцепса и благодаря усыновлению старцем. Позднее обнаружилось, что он притворялся колеблющимся ради того, чтобы глубже проникнуть в мысли и намерения знати; ибо, наблюдая и превратно истолковывая слова и выражения лиц, он приберегал все это для обвинений.

8. На первом заседании сената Тиберий допустил к обсуждению только то, что имело прямое касательство к последней воле и похоронам Августа, в чьем завещании, доставленном девами Весты[28], было записано, что его наследники — Тиберий и Ливия; Ливия принималась в род Юлиев и получала имя Августы[29]. Вторыми наследниками назначались внуки и правнуки, а в третью очередь — наиболее знатные граждане[30], и среди них очень многие, ненавистные принцепсу, о которых он упомянул из тщеславия и ради доброй славы в потомстве. Завещанное не превышало оставляемого богатыми гражданами, если не считать сорока трех миллионов пятиста тысяч сестерциев[31], отказанных казне и простому народу, и денег для раздачи по тысяче сестерциев каждому воину преторианских когорт, по пятисот — воинам римской городской стражи[32] и по триста — легионерам и воинам из когорт римских граждан[33]. Затем перешли к обсуждению погребальных почестей; наиболее значительные были предложены Галлом Азинием — чтобы погребальное шествие проследовало под триумфальною аркой, и Луцием Аррунцием — чтобы впереди тела Августа несли заголовки законов, которые он издал, и наименования покоренных им племен и народов. К этому Мессала Валерий добавил, что надлежит ежегодно возобновлять присягу на верность Тиберию; на вопрос Тиберия, выступает ли он с этим предложением, по его, Тиберия, просьбе, тот ответил, что говорил по своей воле и что во всем, касающемся государственных дел, он намерен и впредь руководствоваться исключительно своим разумением, даже если это будет сопряжено с опасностью вызвать неудовольствие; такова была единственная разновидность

лести, которая оставалась еще неиспользованной. Сенат единодушными возгласами выражает пожелание, чтобы тело было отнесено к костру на плечах сенаторов. Тиберий с высокомерною скромностью отклонил это и обратился к народу с эдиктом, в котором увещевал его не препятствовать сожжению тела на Марсовом поле, в установленном месте, и не пытаться совершить это на форуме, возбуждая из чрезмерного рвения беспорядки, как некогда на похоронах божественного Юлия[34]. В день похорон Августа воины были расставлены словно для охраны, и это вызвало многочисленные насмешки всех, кто видел собственными глазами или знал по рассказам родителей события того знаменательного дня, когда еще не успели привыкнуть к порабощению и была столь несчастливо снова обретена свобода и когда убийство диктатора Цезаря одним казалось гнуснейшим, а другим величайшим деянием; а теперь старика принцепса, властвовавшего столь долго и к тому же снабдившего своих наследников средствами против народовластия, считают необходимым охранять с помощью воинской силы, дабы не было потревожено его погребение.

9. И затем — бесконечные толки о самом Августе, причем очень многих занимал такой вздор, как то, что тот же день года, в который некогда он впервые получил власть, стал для него последним днем жизни[35] и что жизнь свою он окончил в Ноле, в том же доме и том же покое, где окончил ее и Октавий, его отец. Называли также число его консульств, которых у него было столько же, сколько у Валерия Корва и Гая Мария вместе[36]; трибунская власть находилась в его руках на протяжении тридцати семи лет, титулом императора[37] он был почтен двадцать один раз, и неоднократно возобновлялись другие его почетные звания и присуждались новые. Среди людей мыслящих одни на все лады превозносили его жизнь, другие — порицали. Первые указывали на то, что к гражданской войне[38] — а ее нельзя ни подготовить, ни вести, соблюдая добрые нравы, — его принудили почтительная любовь к отцу и бедственное положение государства, в котором тогда не было места законам. Во многом он пошел на уступки Антонию, стремясь отомстить убийцам отца[39], во многом — Лепиду. После того как этот утратил влияние по неспособности, а тот опустился, погрязнув в пороках[40], для истощаемой раздорами родины не

оставалось иного спасения, кроме единовластия; но, устанавливая порядок в государстве, он не присвоил себе ни царского титула, ни диктатуры, а принял наименование принцепса: ныне империя ограждена морем Океаном и дальними реками[41]; легионы, провинции, флот — все между собою связано; среди граждан — правосудие, в отношении союзников — умеренность; сам город украсился великолепным убранством; лишь немногое было совершено насилием, чтобы во всем остальном были обеспечены мир и покой.

10. Другие возражали на это: почтительная любовь к отцу и тяжелое положение государства — не более как предлог; из жажды власти он привлек ветеранов щедрыми раздачами; будучи еще совсем молодым человеком и частным лицом, он набрал войско, подкупил легионы консула[42], изображал приверженность к партии помпеянцев; затем, когда по указу сената он получил фасции и права претора и когда были убиты Гирций и Панса — принесли ли им гибель враги, или Пансе — влитый в его рану яд, а Гирцию — его же воины и замысливший это коварное дело Цезарь, — он захватил войска того и другого; вопреки воле сената, он вырвал у него консульство, и оружие, данное ему для борьбы с Антонием, обратил против республики; далее, проскрипции граждан, разделы земель, не находившие одобрения даже у тех, кто их проводил. Пусть конец Кассия и обоих Брутов — это дань враждебности к ним в память отца, хотя подобало бы забыть личную ненависть ради общественной пользы; но Помпей был обманут подобием мира, а Лепид личиною дружбы; потом и Антоний, усыпленный соглашениями в Таренте и Брундизии, а также браком с его сестрой[43], заплатил смертью за это коварно подстроенное родство. После этого, правда, наступил мир, однако запятнанный кровью: поражения Лоллия и Вара, умерщвление в Риме таких людей, как Варрон, Эгнаций, Юл. Не забывали и домашних дел Августа: он отнял у Нерона жену и издевательски запросил верховных жрецов, дозволено ли, зачав и не разрешившись от бремени, вступать во второе замужество[44]. Говорили и о роскоши Тедия[45] и Ведия Поллиона[46]; наконец, также о Ливии, матери, опасной для государства, дурной мачехе для семьи Цезарей. Богам не осталось никаких почестей, после того как он пожелал, чтобы его изображения в храмах были почитаемы фламинами и

жрецами как божества[47]. И Тиберия он назначил своим преемником не из любви к нему или из заботы о государстве, но потому, что, заметив в нем заносчивость и жестокость, искал для себя славы от сравнения с тем, кто был много хуже. Ведь несколько лет назад, требуя от сенаторов, чтобы они снова предоставили Тиберию трибунскую власть[48], Август, хотя речь его и была хвалебною, обронил кое-что относительно осанки, образа жизни и нравов Тиберия, в чем под видом извинения заключалось порицание. Но так или иначе, после того как погребение было совершено с соблюдением всех полагающихся обрядов, сенат постановил воздвигнуть Августу храм и учредить его культ.

11. Затем обращаются с просьбами к Тиберию. А он в ответ уклончиво распространялся о величии империи, о том, как недостаточны его силы. Только уму божественного Августа была под стать такая огромная задача; призванный Августом разделить с ним его заботы, он познал на собственном опыте, насколько тяжелое бремя — единодержавие, насколько все подвластно случайностям. Поэтому пусть не возлагают на него одного всю полноту власти в государстве, которое опирается на стольких именитых мужей; нескольким объединившим усилия будет гораздо легче справляться с обязанностями по управлению им. В этой речи было больше напыщенности, нежели искренности; Тиберий, то ли от природы, то ли по привычке, и тогда, когда ничего не утаивал, обычно выражался расплывчато и туманно. Теперь, когда он старался как можно глубже упрятать подлинный смысл своих побуждений, в его словах было особенно много неясного и двусмысленного. Но сенаторы, которые больше всего боялись как-нибудь обнаружить, что они его понимают, не поскупились на жалобы, слезы, мольбы; они простирали руки к богам, к изображению Августа, к коленям Тиберия; тогда он приказал принести и прочесть памятную записку[49]. В ней содержались сведения о государственной казне, о количестве граждан и союзников на военной службе, о числе кораблей, о царствах, провинциях, налогах прямых и косвенных, об обычных расходах и суммах, предназначенных для раздач и пожалований. Все это было собственноручно написано Августом, присовокуплявшим совет держаться в границах империи, — неясно, из осторожности или из ревности.

12. На одну из бесчисленных униженных просьб, с которыми сенат простирался перед Тиберием, тот заявил, что, считая себя непригодным к единодержавию, он тем не менее не откажется от руководства любой частью государственных дел, какую бы ему ни поручили. Тогда к Тиберию обратился Азиний Галл: «Прошу тебя, Цезарь, указать, какую именно часть государственных дел ты предпочел бы получить в свое ведение?» Растерявшись от неожиданного вопроса, Тиберий не сразу нашелся; немного спустя, собравшись с мыслями, он сказал, что его скромности не пристало выбирать или отклонять что-либо из того, от чего в целом ему было бы предпочтительнее всего отказаться. Тут Галл (по лицу Тиберия он увидел, что тот раздосадован) разъяснил, что со своим вопросом он выступил не с тем, чтобы Тиберий выделил себе долю того, что вообще неделимо, но чтобы своим признанием подтвердил, что тело государства едино и должно управляться волею одного. Он присовокупил к этому восхваление Августу, а Тиберию напомнил его победы и все выдающееся, в течение стольких лет совершенное им на гражданском поприще. Все же он не рассеял его раздражения, издавна ненавистный ему, так как, взяв за себя Випсанию, дочь Марка Агриппы, в прошлом жену Тиберия, он заносился, как казалось Тиберию, выше дозволенного рядовым гражданам, унаследовав высокомерие своего отца Азиния Поллиона.

13. После этого говорил Луций Аррунций, речь которого, мало чем отличавшаяся по смыслу от выступления Галла, также рассердила Тиберия, хотя он и не питал к нему старой злобы; но богатый, наделенный блестящими качествами и пользовавшийся такой же славою в народе, он возбуждал в Тиберии подозрения. Ибо Август, разбирая в своих последних беседах, кто, будучи способен заместить принцепса, не согласится на это, кто, не годясь для этого, проявит такое желание, а у кого есть для этого и способности, и желание, заявил, что Маний Лепид достаточно одарен, но откажется, Азиний Галл алчет, но ему это не по плечу, а Луций Аррунций достоин этого и, если представится случай, дерзнет. В отношении первых двоих сообщения совпадают, а вместо Аррунция некоторые называют Гнея Пизона. Все они, за исключением Лепида, по указанию принцепса были впоследствии обвинены в различных преступлениях. Квинт Гатерий и Ма-

мерк Скавр также затронули за живое подозрительную душу Тиберия: Гатерий — сказав: «Доколе же, Цезарь, ты будешь терпеть, что государство не имеет главы?», а Скавр — выразив надежду на то, что просьбы сената не останутся тщетными, раз Тиберий не отменил своей трибунскою властью постановления консулов[50]. На Гатерия Тиберий немедленно обрушился, слова Скавра, к которому возгорелся более непримиримой злобой, обошел молчанием. Наконец, устав от общего крика и от настояний каждого в отдельности, Тиберий начал понемногу сдаваться и не то чтобы согласился принять под свою руку империю, но перестал отказываться и тем самым побуждать к уговорам. Рассказывают, что Гатерий, явившись во дворец, чтобы отвести от себя гнев Тиберия, и бросившись к коленям его, когда он проходил мимо, едва не был убит дворцовою стражей, так как Тиберий, то ли случайно, то ли наткнувшись на его руки, упал. Его не смягчила даже опасность, которой подвергся столь выдающийся муж; тогда Гатерий обратился с мольбою к Августе, и лишь ее усердные просьбы защитили его.

14. Много лести расточали сенаторы и Августе. Одни полагали, что ее следует именовать родительницей, другие — матерью отечества, многие, что к имени Цезаря нужно добавить — сын Юлии[51]. Однако Тиберий, утверждая, что почести женщинам надлежит всячески ограничивать, что он будет придерживаться такой же умеренности при определении их ему самому, а в действительности движимый завистью и считая, что возвеличение матери умаляет его значение, не дозволил назначить ей ликтора, запретил воздвигнуть жертвенник Удочерения[52] и воспротивился всему остальному в таком же роде. Но для Цезаря Германика он потребовал пожизненной проконсульской власти[53], и сенатом была направлена к нему делегация, чтобы оповестить об этом и вместе с тем выразить соболезнование в связи с кончиною Августа. Для Друза надобности в таком назначении не было, так как он находился в то время в Риме и был избран консулом на следующий год. Тиберий назвал двенадцать одобренных им кандидатов на должности преторов — это число было установлено Августом — и в ответ на настоятельные просьбы сенаторов увеличить его поклялся, что оно останется неизменным.

15. Тогда впервые избирать должностных лиц стали сенаторы, а не собрания граждан на Марсовом поле, ибо до этого, хотя все наиболее важное вершилось по усмотрению принцепса, кое-что делалось и по настоянию триб[54]. И народ, если не считать легкого ропота, не жаловался на то, что у него отняли исконное право, да и сенаторы, избавленные от щедрых раздач и унизительных домогательств, охотно приняли это новшество, причем Тиберий взял на себя обязательство ограничиться выдвижением не более четырех кандидатов, которые, впрочем, не подлежали отводу и избрание которых было предрешено[55]. Народные трибуны между тем обратились с ходатайством, чтобы им было разрешено устраивать на свой счет театральные зрелища, которые были бы занесены в фасты[56] и назывались по имени Августа августалиями. Но на это были отпущены средства из казны, и народным трибунам было предписано присутствовать в цирке в триумфальных одеждах[57], однако приезжать туда на колесницах им разрешено не было[58]. Впоследствии эти ежегодные празднования были переданы в ведение претора, занимавшегося судебными тяжбами между римскими гражданами и чужестранцами.

16. Таково было положение дел в городе Риме, когда в легионах, стоявших в Паннонии, внезапно вспыхнул мятеж, без каких-либо новых причин, кроме того, что смена принцепса открывала путь к своеволию и беспорядкам и порождала надежду на добычу в междоусобной войне. В летнем лагере размещались вместе три легиона[59], находившиеся под командованием Юния Блеза. Узнав о кончине Августа и о переходе власти к Тиберию, он в ознаменование траура освободил воинов от несения обычных обязанностей. Это повело к тому, что воины распустились, начали бунтовать, прислушиваться к речам всякого негодяя и в конце концов стали стремиться к праздности и роскошной жизни, пренебрегая дисциплиною и трудом. Был в лагере некий Перцений, в прошлом глава театральных клакёров, затем рядовой воин, бойкий на язык и умевший благодаря своему театральному опыту распалять сборища. Людей бесхитростных и любопытствовавших, какой после Августа будет военная служба, он исподволь разжигал в ночных разговорах или, когда день клонился к закату, собирал вокруг себя, после того как все благоразумные расходились, неустойчивых и недовольных.

17. Наконец, когда они были уже подготовлены и у него явились сообщники, подстрекавшие воинов к мятежу, он принялся спрашивать их, словно выступая перед народным собранием, почему они с рабской покорностью повинуются немногим центурионам и трибунам, которых и того меньше. Когда же они осмелятся потребовать для себя облегчения, если не сделают этого безотлагательно, добиваясь своего просьбами или оружием от нового и еще не вставшего на ноги принцепса? Довольно, они столь долгие годы потворствовали своей нерешительностью тому, чтобы их, уже совсем одряхлевших, и притом очень многих с изувеченным ранами телом, заставляли служить по тридцати, а то и по сорока лет. Но и уволенные в отставку не освобождаются от несения службы: перечисленные в разряд вексиллариев[60], они под другим названием претерпевают те же лишения и невзгоды. А если кто, несмотря на столько превратностей, все-таки выживет, его гонят к тому же чуть ли не на край света, где под видом земельных угодий он получает болотистую трясину или бесплодные камни в горах. Да и сама военная служба — тяжелая, ничего не дающая: душа и тело оцениваются десятью ассами в день; на них же приходится покупать оружие, одежду, палатки, ими же откупаться от свирепости центурионов, ими же покупать у них освобождение от работ. И, право же, побои и раны, суровые зимы, изнуряющее трудами лето, беспощадная война и не приносящий им никаких выгод мир — вот их вечный удел. Единственное, что может улучшить их положение, — это служба на определенных условиях, а именно: чтобы им платили по денарию[61] в день, чтобы после шестнадцатилетнего пребывания в войске их увольняли, чтобы, сверх этого, не удерживали в качестве вексиллариев и чтобы вознаграждение отслужившим свой срок выдавалось тут же на месте и только наличными[62]. Или воины преторианских когорт, которые получают по два денария в день и по истечении шестнадцати лет расходятся по домам, подвергаются большим опасностям? Он не хочет выражать пренебрежение к тем, кто охраняет столицу; но ведь сами они, пребывая среди диких племен, видят врагов тут же за порогом палаток.

18. Толпа шумела в ответ; отовсюду слышались возбужденные возгласы: одни, разражаясь проклятиями, показыва-

ли рубцы, оставленные на их теле плетьми, другие — свои седины; большинство — превратившуюся в лохмотья одежду и едва прикрытое тело. Под конец они до того распалились, что надумали свести три легиона в один; отказавшись от этого из-за соперничества — ведь каждый хотел, чтобы его легиону было отдано предпочтение, — они обратились к другому: и трех орлов и значки когорт[63] составили вместе; кроме того, чтобы их местонахождение было заметнее, они тут же рядом, нанеся дерну, начали выкладывать из него трибунал[64]. За этим делом их застал Блез; он принялся упрекать их и уговаривать каждого по отдельности, восклицая: «Уж лучше омочите руки в моей крови: убить легата — меньшее преступление, чем изменить императору; или целый и невредимый я удержу легионы верными долгу, или, погибнув, подтолкну вас моей смертью к раскаянью!»

19. Тем не менее они продолжали выкладывать дерн, который поднялся уже высотою по грудь, но тут наконец победила настойчивость Блеза, и они оставили начатое дело. Блез с большим красноречием говорил о том, что пожелания воинов нельзя доводить до Цезаря, прибегая к мятежу и бесчинствам, что ни их предки у своих полководцев, ни они сами у божественного Августа никогда не просили о таких новшествах и что совсем не ко времени обременять заботами принцепса в самом начале его правления. Если, однако, они все же хотят попытаться предъявить в мирное время требования, которых не предъявляли даже победители в гражданских войнах, то к чему нарушать привычное повиновение, прибегать к силе наперекор установленной дисциплине? Пусть лучше назначат уполномоченных и в его присутствии дадут им наказ. Собравшиеся закричали, что избирают уполномоченным сына Блеза, трибуна; пусть он добивается ограничения срока службы шестнадцатью годами; прочие требования они назовут после удовлетворения этого. Молодой человек отправился в путь, и наступило некоторое успокоение; но воины стали заносчивее, так как всякому было ясно, что, отправив сына легата ходатаем за общее дело, они угрозами и насилием добились того, чего не добились бы смиренными просьбами.

20. Между тем манипулы, еще до того, как разразился мятеж, отправленные в Навпорт для починки дорог и мостов и

ради других надобностей, узнав о беспорядках в лагере, повернули назад и разграбили ближние деревни и самый Навпорт, имевший положение муниципия[65]; на центурионов, старавшихся удержать их от этого, они сначала обрушили насмешки и оскорбления, а под конец и побои, причем их озлобление в особенности излилось на префекта лагеря[66] Авфидиена Руфа, которого они стащили с повозки и, нагрузив поклажею, погнали перед собой, издевательски спрашивая, нравится ли ему столь непомерный груз и столь длинный путь. Дело в том, что Руф, сначала рядовой воин, затем центурион и, наконец, префект лагеря, насаждал старинную суровую дисциплину и, состарившись среди трудов и лишений, был тем беспощаднее, что сам в свое время все это испытал на себе.

21. С их прибытием мятеж возобновляется с новою силой, и, разбредясь в разные стороны, бунтовщики принимаются грабить окрестности. Некоторых из них, главным образом тех, кто был схвачен с добычею, Блез, чтобы устрашить остальных, приказал высечь плетьми и бросить в темницу; центурионы и наиболее надежные воины тогда еще оказывали легату повиновение. Арестованные, сопротивляясь, стали обнимать колени окружающих и призывать на помощь то поименно своих товарищей, то центурию, в какой они состояли, то когорту, то легион и кричали, что то же самое угрожает и всем остальным. Вместе с тем они осыпают бранью легата, взывают к небу и богам, не упускают ничего, что могло бы возбудить ненависть, сострадание, страх и гнев. Отовсюду сбегаются воины и, взломав темницу, освобождают их от оков и укрывают дезертиров и осужденных за уголовные преступления.

22. После этого мятеж разгорается еще сильнее, умножается число его вожаков. Некий Вибулен, рядовой воин, поднявшись перед трибуналом Блеза на плечи окружающих, обратился к возбужденной и напряженно ожидавшей его слов толпе: «Вот вы вернули этим несчастным и неповинным людям свет и дыхание; но кто вернет жизнь моему брату, а мне — брата? Ведь его, направленного к вам германскою армией[67], дабы сообща обсудить дела, клонящиеся к общему благу, Блез умертвил минувшею ночью руками своих гладиаторов, которых он держит и вооружает на погибель нам,

воинам. Отвечай, Блез, куда ты выбросил труп? Ведь даже враги и те не отказывают в погребении павшим. Когда я утолю мою скорбь поцелуями и слезами, прикажи умертвить и меня, и пусть обоих убитых безо всякой вины, но только из-за того, что мы думали, как помочь легионам, погребут здесь присутствующие!»

23. Свою речь он подкреплял громким плачем, ударяя себя в грудь и в лицо; затем, оттолкнув тех, кто поддерживал его на своих плечах, он спрыгнул наземь и, припадая к ногам то того, то другого, возбудил к себе такое сочувствие и такую ненависть к Блезу, что часть воинов бросилась вязать гладиаторов, находившихся у него на службе, часть — прочих его рабов, тогда как все остальные устремились на поиски трупа. И если бы вскоре не стало известно, что никакого трупа не найдено, что подвергнутые пыткам рабы решительно отрицают убийство и что у Вибулена никогда не было брата, они бы не замедлили расправиться с легатом. Все же они прогнали трибунов и префекта лагеря, разграбили личные вещи бежавших и убили центуриона Луцилия, которого солдатское острословие отметило прозвищем «Давай другую», ибо, сломав лозу о спину избиваемого им воина, он зычным голосом требовал, чтобы ему дали другую и еще раз другую. Остальные скрылись; бунтовщиками был задержан лишь Юлий Клемент, который благодаря своей природной находчивости был сочтен ими подходящим для сношений с начальством. Ко всему восьмой и пятнадцатый легионы едва не подняли друг против друга оружие, так как одни хотели предать смерти центуриона по имени Сирпик, а другие его защищали. Столкновение было предотвращено только уговорами, а когда уговоры не действовали, то и угрозами воинов девятого легиона.

24. Хотя Тиберий был скрытен и особенно тщательно утаивал наиболее неприятные обстоятельства, все же, узнав о случившемся, он решил направить в Паннонию своего сына Друза и вместе с ним высших сановников государства, а также две преторианские когорты; Друз не получил от него прямых указаний, и ему было предоставлено действовать смотря по обстановке. Когорты были сверх обычного усилены отборными воинами. Вместе с ними выступила значительная часть преторианской конницы и лучшие из германцев, охра-

нявших в то время особу императора; тут же находился и префект преторианцев Элий Сеян, имевший большое влияние на Тиберия; он был назначен в сотоварищи Страбону, своему отцу, и должен был руководить юным Друзом, а всем остальным быть как бы напоминанием об ожидающих их опасностях и наградах. Навстречу Друзу вышли, словно выполняя тягостную обязанность, мятежные легионы, не изъявлявшие подобающей такой встрече радости и не блиставшие воинскими отличиями, но безобразно неряшливые и с лицами, на которых под напускной скорбью выражалось скорее своеволие.

25. После того как Друз миновал укрепления и оказался по ту сторону вала, они ставят у ворот караулы и велят крупным отрядам находиться в определенных местах внутри лагеря и быть наготове; остальные окружили плотной стеной трибунал. На нем стоял Друз, требуя рукою молчания. Мятежники, оглядываясь на толпу, всякий раз разражались угрожающими возгласами, а посмотрев на Цезаря, впадали в трепет; смутный ропот, дикие крики, внезапная тишина. Противоположные движения души побуждали их то страшиться, то устрашать. Наконец, воспользовавшись временным успокоением, Друз огласил послание отца, в котором было написано, что заботу о доблестных легионах, с которыми им было проделано столько походов, он считает своей первейшею обязанностью и, как только душа его оправится от печали, доложит сенаторам о пожеланиях воинов; а пока он направляет к ним сына, дабы тот безотлагательно удовлетворил их во всем, в чем можно немедленно пойти им навстречу; решение всего прочего следует предоставить сенату, ибо не подобает лишать его права миловать или прибегать к строгости.

26. В ответ на это собравшиеся заявили, что их требования поручено изложить центуриону Клементу. Тот начинает с увольнения в отставку после шестнадцати лет[68], далее говорит о вознаграждении отслужившим свой срок, о том, чтобы солдатское жалованье было по денарию в день, чтобы ветеранов не задерживали на положении вексиллариев. Когда Друз возразил, что это могут решить только сенат и отец, его прервали громкими криками. Зачем же он прибыл, если у него нет полномочий ни повысить воинам жалованье, ни облегчить их тяготы, ни, наконец, хоть чем-нибудь улучшить их

положение? А вот плети и казни разрешены, видят боги, всем и каждому. Когда-то Тиберий, отклоняя пожелания воинов, имел обыкновение прикрываться именем Августа. Те же уловки повторяет ныне и Друз. Неужели к ним никогда не пришлют никого иного, кроме младших членов семейства? Но вот и нечто новое: император отсылает к сенату только в тех случаях, когда дело идет о выгоде воинов! Пусть же сенат запрашивают всякий раз и тогда, когда должна быть совершена казнь или дано сражение. Или награды распределяют властители государства, а наказания налагает кто вздумает?

27. Наконец толпившиеся у трибунала начали расходиться; встречая кого-нибудь из преторианцев или из приближенных Цезаря, они грозили им кулаками, стараясь разжечь раздор и затеять вооруженное столкновение. Особенную враждебность вызывал Гней Лентул, так как считалось, что, превосходя всех остальных годами и военною славой, он удерживает Друза от каких-либо уступок и первым выступил с осуждением этих волнений в войске. Когда немного спустя, уйдя с собрания вместе с Цезарем, он в предвидении опасности направлялся к зимнему лагерю, его окружили мятежники, спрашивая, куда же он так торопится, уж не к императору ли или к сенаторам, чтобы и там помешать легионам в осуществлении их надежд; вслед за тем они устремляются на него и кидают в него камнями. Раненный брошенным камнем, обливаясь кровью, он был уже уверен в неизбежной гибели, но его спасла толпа подоспевших к нему на помощь из числа тех, которые прибыли с Друзом.

28. Наступила ночь, в которую едва не разразились ужасные преступления, чему воспрепятствовала только случайность: сиявшая на ясном небе луна начала меркнуть. Не зная, в чем причина происходящего, воины увидели в нем знамение, относящееся к тому, чтó их больше всего занимало, и затмение небесного светила поставили в связь со своей борьбой: если богиня[69] снова обретет свое сияние и яркость, то благополучно разрешится и то, что они предприняли. И они принялись бряцать медью, трубить в трубы и рожки; смотря по тому, становилась ли луна ярче или, напротив, тускнела, они радовались или печалились; и после того как набежавшие облака скрыли ее от глаз и все сочли, что она окончательно исчезла во мраке и что этим им возвещаются страдания на

вечные времена — ведь единожды потрясенные души легко склоняются к суевериям, — они предались скорби, думая, что боги порицают их поведение. Цезарь, решив, что нужно воспользоваться этими настроениями и обратить ко благу ниспосланное случаем, приказал обойти палатки мятежников: призываются центурион Клемент, а также другие, кто снискал расположение воинов, не совершив вместе с тем ничего дурного. Они расходятся по охранениям, дозорам, караулам у ворот лагеря, подают надежды, внушают страх: «До каких пор мы будем держать в осаде сына нашего императора? Где конец раздорам? Или мы присягнем Перценнию и Вибулену? Перценний и Вибулен будут выплачивать воинам жалованье, а отслужившим срок раздавать земли? Или вместо Неронов и Друзов возьмут на себя управление римским народом? Не лучше ли нам, примкнувшим последними к мятежу, первыми заявить о своем раскаянии? Не скоро можно добиться того, чего домогаются сообща, но тем, кто действует сам за себя, благоволение приобретается сразу, как только ты его заслужил». Внеся этими разговорами смятение в души, породив взаимное недоверие, они отрывают новобранцев от ветеранов, легион от легиона. И постепенно возвращается привычная готовность к повиновению; мятежники снимают караулы возле ворот и относят значки, собранные в начале мятежа в одном месте, туда, где они были ранее.

29. С наступлением дня Друз созывает собрание воинов и, хотя он не был красноречив, с прирожденным достоинством упрекает их за поведение в прошлом и одобряет их последние действия; он заявляет, что не уступит устрашению и угрозам; если он убедится, что они готовы повиноваться, если они обратятся к нему с мольбами, он напишет отцу, чтобы тот благосклонно отнесся к ходатайству легионов. По их просьбе к Тиберию посылают снова того же Блеза, Луция Апония, римского всадника из числа приближенных Друза, и Юста Катония, центуриона первого манипула. Между тем в окружении Цезаря мнения разделились: одни полагали, что впредь до возвращения посланных нужно ублаготворять воинов ласковым обращением, другие — что следует прибегнуть к более решительным средствам: чернь не знает середины, — если она не боится, то устрашает, а после того как сама проникнется страхом, с ней можно совсем не считаться; пока

она все еще под воздействием суеверия, необходимо, устранив зачинщиков мятежа, заставить ее трепетать перед военачальником. Друз по своему душевному складу был склонен к крутым мерам; вызвав к себе Перценния и Вибулена, он приказал их умертвить. Многие говорят, что их трупы были зарыты в палатке военачальника, другие — что выброшены за вал в назидание всем остальным.

30. Затем были схвачены главнейшие вожаки мятежа; одних, скрывавшихся за пределами лагеря, убили центурионы и воины преторианских когорт; других в доказательство своей преданности выдали сами манипулы. Немало забот доставила воинам и преждевременная зима с непрерывными и до того сильными ливнями, что не только нельзя было выходить из палаток и устраивать сходки, но и оберегать значки, уносимые ветром или водою, можно было лишь с величайшим трудом. Не утихал и страх перед гневом небес: ведь не без причины во устрашение нечестивцев затмеваются светила и обрушиваются бури; единственный способ облегчить бедствия — это покинуть злополучный и оскверненный лагерь и, искупив вину, уйти каждому в свои зимние лагеря. Сначала снялся восьмой, потом пятнадцатый легионы; воины девятого легиона кричали, что следует дождаться ответа Тиберия, но и они, оставшись в одиночестве после ухода всех остальных, предупредили в конце концов по своей воле то, что им пришлось бы сделать в силу необходимости. И Друз не стал дожидаться возвращения посланных и, так как наступило успокоение, вернулся в Рим.

31. Почти в те же самые дни и по тем же причинам взбунтовались и германские легионы, и тем более бурно, чем они были многочисленнее[70]; они рассчитывали на то, что Германик не потерпит власти другого и примет сторону легионов, которые, опираясь на свою силу, увлекут за собою всех остальных. На берегу Рейна стояло два войска; то, которое носило название Верхнего, было подчинено легату Гаю Силию; Нижним начальствовал Авл Цецина. Верховное командование принадлежало Германику, занятому в то время сбором налогов в Галлии. Те, что были под началом у Силия, колебались и выжидали, к чему поведет мятеж, поднятый их соседями; но воины Нижнего войска загорелись безудержной яростью; начало возмущению было положено двадцать первым

и пятым легионами, увлекшими за собою первый и двадцатый, которые, размещаясь в том же летнем лагере, в пределах убиев, пребывали в праздности или несли необременительные обязанности. Так, прослышав о смерти Августа, многие из пополнения, прибывшего после недавно произведенного в Риме набора, привыкшие к разнузданности, испытывающие отвращение к воинским трудам, принялись мутить бесхитростные умы остальных, внушая им, что пришло время, когда ветераны могут потребовать своевременного увольнения, молодые — прибавки жалованья, все вместе — чтобы был положен конец их мучениям и когда можно отмстить центурионам за их жестокость. И все это говорил не кто-либо один, как Перценний среди паннонских легионов, и не перед боязливо слушающими воинами, оглядывавшимися на другие, более могущественные войска; здесь мятеж располагал множеством уст и голосов, постоянно твердивших, что в их руках судьба Рима, что государство расширяет свои пределы благодаря их победам и что их именем нарекаются полководцы[71].

32. И легат не воспротивился этому: безумие большинства лишило его твердости. Внезапно бунтовщики, обнажив мечи, бросаются на центурионов: они издавна ненавистны воинам и на них прежде всего обрушивается их ярость. Поверженных наземь восставшие избивают плетьми, по шестидесяти каждого, чтобы сравняться числом с центурионами в легионе[72]; затем, подхватив изувеченных, а частью и бездыханных, они кидают их перед валом или в реку Рейн. Септимия, прибежавшего к трибуналу и валявшегося в ногах у Цецины, они требовали до тех пор, пока он не был выдан им на смерть. Кассий Херея, снискавший впоследствии у потомков известность тем, что убил Гая Цезаря, тогда отважный и воинственный молодой человек, проложил себе дорогу мечом сквозь обступившую его вооруженную толпу. Ни трибун, ни префект лагеря больше не имели никакой власти; сами воины распределяют дозоры и караулы и сами распоряжаются в соответствии с текущими надобностями. Для способных глубже проникнуть в солдатскую душу важнейшим признаком размаха и неукротимости мятежа было то, что не каждый сам по себе и не по наущению немногих, а все вместе они и распалялись, и вместе хранили молчание, с таким единоду-

шием, с такой твердостью, что казалось, будто ими руководит единая воля.

33. Весть о кончине Августа застала Германика в Галлии, где он занимался, как мы сказали, сбором налогов. Он был женат на внучке Августа Агриппине и имел от нее нескольких детей; сам он был сыном Друза, брата Тиберия, и внуком Августа, и все же его постоянно тревожила скрытая неприязнь дяди и бабки[73], тем более острая, чем несправедливее были ее причины. Римский народ чтил память Друза, и считалось, что если бы он завладел властью, то восстановил бы народоправство; отсюда такое же расположение и к Германику и те же связанные с его именем упования. И в самом деле, этот молодой человек отличался гражданской благонамеренностью, редкостной обходительностью и отнюдь не походил речью и обликом на Тиберия, надменного и скрытного. Отношения осложнялись и враждой женщин, так как Ливия, по обыкновению мачех, преследовала своим недоброжелательством Агриппину; да и Агриппина была слишком раздражительна, хотя и старалась из преданности мужу и из любви к нему обуздывать свою неукротимую вспыльчивость.

34. Но чем доступнее была для Германика возможность захвата верховной власти, тем ревностнее он действовал в пользу Тиберия. Он привел к присяге на верность Тиберию секванов и соседствующие с ними племена белгов. Затем, узнав о возмущении легионов, он поспешно направился к ним, и они вышли из лагеря ему навстречу, потупив глаза, как бы в раскаянии. После того как, пройдя вал, он оказался внутри укрепления, начали раздаваться разноголосые жалобы. И некоторые из воинов, схватив его руку как бы для поцелуя, всовывали в свой рот его пальцы, чтобы он убедился, что у них не осталось зубов; другие показывали ему свои обезображенные старостью руки и ноги. Он приказал собравшейся вокруг него сходке, казавшейся беспорядочным скопищем, разойтись по манипулам — так они лучше услышат его ответ — и выставить перед строем знамена, чтобы хоть этим обозначались когорты; они нехотя повиновались. Начав с прославления Августа, он перешел затем к победам и триумфам Тиберия, в особенности восхваляя те из них, которыми тот отличился в Германии вместе с этими самыми легионами. Далее он превозносит единодушие всей Италии, верность Галлии:

нигде никаких волнений или раздоров. Это было выслушано в молчании или со слабым ропотом.

35. Но когда он заговорил о поднятом ими бунте, спрашивая, где же их воинская выдержка, где безупречность былой дисциплины, куда они дели своих трибунов, куда — центурионов, все они обнажают тела, укоризненно показывая ему рубцы от ран, следы плетей; потом они наперебой начинают жаловаться на взятки, которыми им приходится покупать увольнение в отпуск, на скудость жалования, на изнурительность работ, упоминают вал и рвы, заготовку сена, строительного леса и дров, все то, что вызывается действительной необходимостью или изыскивается для того, чтобы не допускать в лагере праздности. Громче всего шумели в рядах ветеранов, кричавших, что они служат по тридцати лет и больше, и моливших облегчить их, изнемогающих от усталости, и не дать им умереть среди тех же лишений, но, обеспечив средствами к существованию, отпустить на покой после столь трудной службы. Были и такие, что требовали раздачи денег, завещанных божественным Августом; при этом они высказывали Германику наилучшие пожелания и изъявляли готовность поддержать его, если он захочет достигнуть верховной власти. Тут Германик, как бы запятнанный соучастием в преступлении, стремительно соскочил с трибунала. Ему не дали уйти, преградили дорогу, угрожая оружием, если он не вернется на прежнее место, но он, воскликнув, что скорее умрет, чем нарушит долг верности, обнажил меч, висевший у него на бедре, и, занеся его над своей грудью, готов был поразить ее, если бы находившиеся рядом не удержали силою его руку. Однако кучка участников сборища, толпившаяся в отдалении, а также некоторые, подошедшие ближе, принялись — трудно поверить! — всячески побуждать его все же пронзить себя, а воин по имени Калузидий протянул ему свой обнаженный меч, говоря, что он острее. Эта выходка показалась чудовищной и вконец непристойной даже тем, кто был охвачен яростью и безумием. Воспользовавшись мгновением замешательства, приближенные Цезаря увлекли его с собою в палатку.

36. Там они принялись обсуждать, как справиться с мятежом; к тому же стало известно, что мятежники собираются послать своих представителей к Верхнему войску, чтобы

склонить его на свою сторону, и что они задумали разорить город убиев и, захватив добычу, устремиться вооруженными шайками в Галлию, дабы разграбить и ее. Положение представлялось тем более угрожающим, что враги знали о восстании в римском войске и было очевидно, что они не преминут вторгнуться, если берег Рейна будет оставлен римлянами; а двинуть против уходящих легионов вспомогательные войска и союзников — значило положить начало междоусобной войне. Пагубна строгость, а снисходительность — преступление; уступить во всем воинам или ни в чем им не уступать — одинаково опасно для государства. Итак, взвесив все эти соображения, они порешили составить письмо от имени принцепса; в нем говорилось, что отслужившие по двадцати лет подлежат увольнению, отслужившим по шестнадцати лет дается отставка с оставлением в рядах вексиллариев, причем они освобождаются от каких-либо обязанностей, кроме одной — отражать врага; то, что было завещано Августом и чего они домогались, выплачивается в двойном размере.

37. Воины поняли, что эти уступки сделаны с расчетом на время, и потребовали немедленного осуществления обещаний. Трибуны тут же провели увольнение; что касается денежных выдач, то их отложили до возвращения в зимние лагеря. Однако воины пятого и двадцать первого легионов отказывались покинуть лагерь, пока им тут же на месте не выдали денег, собранных из того, что приближенными Цезаря и им самим предназначалось для дорожных расходов. Первый и двадцатый легионы легат Цецина отвел в город убиев; их походный порядок был постыден на вид, так как денежные ящики, похищенные у полководца, они везли посреди значков и орлов. Отправившись к Верхнему войску, Германик тотчас же по прибытии привел к присяге на верность Тиберию второй, тринадцатый и шестнадцатый легионы; воины четырнадцатого легиона проявили некоторое колебание: им были выданы деньги и предоставлено увольнение, хоть они и не предъявляли никаких требований.

38. В стране хавков начали волноваться размещенные там вексилларии взбунтовавшихся легионов; немедленной казнью двух воинов беспорядки, однако, на некоторое время были пресечены. Приказ о казни исходил от префекта лагеря Мания Энния, опиравшегося скорее на необходимость устра-

шающего примера, чем на свои права. Позднее, когда возмущение разгорелось с новой силою, он бежал, но был схвачен и, так как убежище его не укрыло, нашел защиту в отваге, воскликнув, что они наносят оскорбление не префекту, но полководцу Германику, но императору Тиберию. Устрашив этим тех, кто его обступил, он выхватил знамя и понес его по направлению к Рейну; крича, что, кто покинет ряды, тот будет числиться дезертиром, он привел их назад в зимний лагерь — раздраженных, но ни на что не осмелившихся.

39. Между тем к Германику, возвратившемуся туда, где находился жертвенник убиев, прибывают уполномоченные сената. Там зимовали два легиона — первый и двадцатый, а также ветераны, только что переведенные на положение вексиллариев. Последних, обеспокоенных прибытием делегации и тревожимых нечистою совестью, охватывает страх, что этим посланцам сената дано повеление отнять у них добытое мятежом. И так как обычно водится находить виноватого в бедствии, даже если само бедствие — выдумка, они проникаются ненавистью к главе делегации, бывшему консулу Мунацию Планку, считая, что сенатское постановление принято по его почину; поздней ночью ветераны принимаются требовать свое знамя, находившееся в доме Германика. Сбежавшись к дверям, они их выламывают и, грозя смертью насильственно поднятому с постели Германику, вынуждают его передать знамя в их руки. Затем, рассыпавшись по улицам, они сталкиваются с представителями сената, которые, прослышав о беспорядках, направлялись к Германику. Накинувшись на них с оскорблениями, они собираются расправиться с ними, причем наибольшей опасности подвергается Планк, которому его сан не позволил бежать и которому не оставалось ничего иного, как укрыться в лагере первого легиона. Там, обняв значки и орла, он искал спасения под защитою этих святынь, но, если бы орлоносец Кальпурний не уберег его от насильственной смерти, случилось бы то, что недопустимо даже в стане врага: и посланец римского народа, находясь в римском лагере, окропил бы своею кровью жертвенники богов. Наконец, на рассвете, когда стало видно, кто полководец, кто воин и что происходит, Германик, явившись в лагерь, приказывает привести к себе Планка и приглашает его рядом с собою на трибунал. Затем, осудив роковое

безумие и сказав, что его породил гнев не воинов, а богов, он разъясняет, зачем прибыли делегаты; в красноречивых выражениях он скорбит о покушении на неприкосновенность послов, о тяжелом и незаслуженном оскорблении, нанесенном Планку, и о позоре, которым покрыл себя легион, и так как собранные на сходку воины были скорее приведены в замешательство, чем успокоены его речью, он отсылает послов под охраной отряда вспомогательной конницы.

40. В эти тревожные дни все приближенные порицали Германика: почему он не отправляется к Верхнему войску, в котором нашел бы повиновение и помощь против мятежников? Он совершил слишком много ошибок, предоставив увольнение ветеранам, выплатив деньги, проявив чрезмерную снисходительность. Пусть он не дорожит своей жизнью, но почему малолетнего сына, почему беременную жену держит он при себе среди беснующихся и озверевших насильников? Пусть он хотя бы их вернет деду и государству. Он долго не мог убедить жену, которая говорила, что она внучка божественного Августа и не отступает перед опасностями, но наконец со слезами, прижавшись к ее лону и обнимая их общего сына, добился ее согласия удалиться из лагеря. Выступало горестное шествие женщин, и среди них беглянкою жена полководца, несущая на руках малолетнего сына и окруженная рыдающими женами приближенных, которые уходили вместе с нею, и в неменьшую скорбь были погружены остающиеся.

41. Вид Цезаря не в блеске могущества и как бы не в своем лагере, а в захваченном врагом городе, плач и стенания привлекли слух и взоры восставших воинов: они покидают палатки, выходят наружу. Что за горестные голоса? Что за печальное зрелище? Знатные женщины, но нет при них ни центуриона, ни воинов для охраны, ничего, подобающего жене полководца, никаких приближенных; и направляются они к треверам, полагаясь на преданность чужестранцев. При виде этого в воинах просыпаются стыд и жалость; вспоминают об Агриппе, ее отце, о ее деде Августе; ее свекор — Друз; сама она, мать многих детей, славится целомудрием; и сын у нее родился в лагере, вскормлен в палатках легионов, получил воинское прозвище Калигулы, потому что, стремясь привязать к нему простых воинов, его часто обували в солдатские сапожки[74]. Но ничто так не подействовало на них, как рев-

ность к треверам: они удерживают ее, умоляют, чтобы она вернулась, осталась с ними; некоторые устремляются за Агриппиной, большинство возвратилось к Германику. А он, все еще исполненный скорби и гнева, обращается к окружившим его со следующими словами.

42. «Жена и сын мне не дороже отца и государства, но его защитит собственное величие, а Римскую державу — другие войска. Супругу мою и детей, которых я бы с готовностью принес в жертву, если б это было необходимо для вашей славы, я отсылаю теперь подальше от вас, впавших в безумие, дабы эта преступная ярость была утолена одной моею кровью и убийство правнука Августа, убийство невестки Тиберия не отягчили вашей вины. Было ли в эти дни хоть что-нибудь, на что вы не дерзнули бы посягнуть? Как же мне назвать это сборище? Назову ли я воинами людей, которые силой оружия не выпускают за лагерный вал сына своего императора? Или гражданами — не ставящих ни во что власть сената? Вы попрали права, в которых не отказывают даже врагам, вы нарушили неприкосновенность послов и все то, что священно в отношениях между народами. Божественный Юлий усмирил мятежное войско одним единственным словом, назвав квиритами тех, кто пренебрегал данной ему присягой[75]; божественный Август своим появлением и взглядом привел в трепет легионы, бившиеся при Акции[76]; я не равняю себя с ними, но все же происхожу от них, и если бы испанские или сирийские воины ослушались меня, это было бы и невероятно и возмутительно. Но ты, первый легион, получивший значки от Тиберия[77], и ты, двадцатый, его товарищ в стольких сражениях, возвеличенный столькими отличиями, ужели вы воздадите своему полководцу столь отменною благодарностью? Ужели, когда изо всех провинций поступают лишь приятные вести, я буду вынужден донести отцу[78], что его молодые воины, его ветераны не довольствуются ни увольнением, ни деньгами, что только здесь убивают центурионов, изгоняют трибунов, держат под стражею легатов, что лагерь и реки обагрены кровью и я сам лишь из милости влачу существование среди враждебной толпы?

43. Зачем в первый день этих сборищ вы, непредусмотрительные друзья, вырвали из моих рук железо, которым я готовился пронзить себе грудь?! Добрее и благожелательнее

был тот, кто предлагал мне свой меч. Я пал бы, не ведая о стольких злодеяниях моего войска; вы избрали бы себе полководца, который хоть и оставил бы мою смерть безнаказанной, но зато отмстил бы за гибель Вара и трех легионов. Да не допустят боги, чтобы белгам, хоть они и готовы на это, достались слава и честь спасителей блеска римского имени и покорителей народов Германии. Пусть душа твоя, божественный Август, взятая на небо, пусть твой образ, отец Друз, и память, оставленная тобою по себе, ведя за собой этих самых воинов, которых уже охватывают стыд и стремление к славе, смоют это пятно и обратят гражданское ожесточение на погибель врагам. И вы также, у которых, как я вижу, уже меняются и выражения лиц, и настроения, если вы и вправду хотите вернуть делегатов сенату, императору — повиновение, а мне — супругу и сына, удалитесь от заразы и разъедините мятежников; это будет залогом раскаянья, это будет доказательством верности».

44. Те, изъявляя покорность и признавая, что упреки Германика справедливы, принимаются умолять его покарать виновных, простить заблуждавшихся и повести их на врага; пусть он возвратит супругу, пусть вернет легионам их питомца и не отдает его галлам в заложники. Он ответил, что возвратить Агриппину не может ввиду приближающихся родов и близкой зимы, сына вызовет, а что касается прочего, то пусть они распорядятся по своему усмотрению. Совершенно преображенные, они разбегаются в разные стороны и, связав вожаков мятежа, влекут их к легату первого легиона Гаю Цетронию, который над каждым из них в отдельности следующим образом творил суд и расправу. Собранные на сходку, стояли с мечами наголо легионы; подсудимого выводил на помост и показывал им трибун; если раздавался общий крик, что он виновен, его сталкивали с помоста и приканчивали тут же на месте. И воины охотно предавались этим убийствам, как бы снимая с себя тем самым вину; да и Цезарь не препятствовал этому; так как сам он ничего не приказывал, на одних и тех же ложились и вина за жестокость содеянного, и ответственность за нее. Ветераны, последовавшие примеру легионеров, вскоре были отправлены в Рецию под предлогом защиты этой провинции от угрожавших ей свебов, но в действительности — чтобы удалить их из лагеря, все еще мрач-

ного и зловещего столько же из-за суровости наказания, сколько и вследствие воспоминания о свершенных в нем преступлениях. Затем Германик произвел смотр центурионам. Каждый вызванный императором[79] называл свое имя, звание, место рождения, количество лет, проведенных на службе, подвиги в битвах и, у кого они были, боевые награды. Если трибуны, если легион подтверждали усердие и добросовестность этого центуриона, он сохранял свое звание; если, напротив, они изобличали его в жадности или жестокости, он тут же увольнялся в отставку.

45. Так были улажены эти дела, но не меньшую угрозу составляло упорство пятого и двадцать первого легионов, зимовавших у шестидесятого милиария[80], в месте, носящем название Старые лагеря[81]. Они первыми подняли возмущение; наиболее свирепые злодеяния были совершены их руками; возмездие, постигшее товарищей по оружию, их нисколько не устрашило, и, не проявляя раскаяния, они все еще были возбуждены и не желали смириться. Итак, Цезарь снаряжает легионы, флот, союзников, чтобы отправить их вниз по Рейну, решившись начать военные действия, если мятежники откажутся повиноваться.

46. А в Риме, где еще не знали о том, каков был исход событий в Иллирии, но прослышали о мятеже, поднятом германскими легионами, горожане, охваченные тревогой, обвиняли Тиберия, ибо, пока он обманывал сенат и народ, бессильных и безоружных, своей притворною нерешительностью, возмутившихся воинов не могли усмирить два молодых человека, еще не располагавших нужным для этого авторитетом. Он должен был самолично во всем блеске императорского величия отправиться к возмутившимся; они отступили бы, столкнувшись с многолетнею опытностью и с высшей властью казнить или миловать. Почему Август в преклонном возрасте мог столько раз посетить Германию, а Тиберий во цвете лет упорно сидит в сенате, перетолковывая слова сенаторов? Для порабощения Рима им сделано все, что требовалось; а вот солдатские умы нуждаются в успокоительных средствах, дабы воины и в мирное время вели себя подобающим образом.

47. Тиберий, однако, к этим речам оставался глух и был непреклонен в решении не покидать столицу государства и

не подвергать случайностям себя и свою державу. Ибо его тревожило множество различных опасений: в Германии — более сильное войско, но находящееся в Паннонии — ближе; одно опирается на силы Галлии, второе угрожает Италии. Какое же из них посетить первым? И не восстановит ли он против себя тех, к которым прибудет позднее и которые сочтут себя оскорбленными этим? Но если в обоих войсках будут находиться сыновья, его величие не претерпит никакого ущерба, ибо чем он дальше и недоступнее, тем большее внушает почтение. К тому же молодым людям простительно оставить некоторые вопросы на усмотренье отца, и он сможет либо умиротворить, либо подавить силою сопротивляющихся Германику или Друзу. А если легионы откажут в повиновении самому императору, где тогда искать помощи? Впрочем, он избрал себе спутников, точно вот-вот двинется в путь, подготовил обозы, оснастил корабли и, ссылаясь то на зиму, то на дела, обманывал некоторое время людей здравомыслящих, долее — простой народ в Риме и дольше всего — провинции.

48. Снарядив войско и готовый обрушить возмездие на восставших, Германик все же решил предоставить им время одуматься и последовать недавнему примеру их сотоварищей; с этой целью он отправил письмо Цецине, извещая его, что выступает с крупными силами и что, если они до его прибытия не расправятся с главарями, он будет казнить их поголовно. Это письмо Цецина доверительно прочитал орлоносцам, значконосцам и другим наиболее благонадежным в лагере, добавив от себя увещание, чтобы они избавили их всех от бесчестья, а самих себя от неминуемой смерти; ибо в мирное время учитываются смягчающие вину обстоятельства и заслуги, но, когда вспыхивает война, гибнут наравне и виновные, и безвинные. Испытав тех, кого они сочли подходящими, и выяснив, что большинство в легионах привержено долгу, они назначают по уговору с легатом время, когда им напасть с оружием в руках на самых непримиримых и закоренелых мятежников. И вот по условленному знаку они вбегают в палатки и, набросившись на ничего не подозревающих, принимаются их убивать, причем никто, за исключением посвященных, не понимает, ни откуда началась эта резня, ни чем она должна кончиться.

49. Тут не было ничего похожего на какое бы то ни было междоусобное столкновение изо всех случавшихся когда-либо прежде. Не на поле боя, не из враждебных лагерей, но в тех же палатках, где днем они вместе ели, а по ночам вместе спали, разделяются воины на два стана, обращают друг против друга оружие. Крики, раны, кровь повсюду, но причина происходящего остается скрытой; всем вершил случай. Были убиты и некоторые благонамеренные, так как мятежники, уразумев наконец, над кем творится расправа, также взялись за оружие. И не явились сюда ни легат, ни трибун, чтобы унять сражавшихся: толпе было дозволено предаваться мщению, пока она им не пресытится. Вскоре в лагерь прибыл Германик; обливаясь слезами, он сказал, что происшедшее — не целительное средство, а бедствие, и повелел сжечь трупы убитых.

Все еще не остывшие сердца воинов загорелись жгучим желанием идти на врага, чтобы искупить этим свое безумие: души павших товарищей можно умилостивить не иначе, как только получив честные раны в нечестивую грудь. Цезарь поддержал охвативший воинов пыл и, наведя мост, переправил на другой берег[82] двенадцать тысяч легионеров, двадцать шесть когорт союзников и восемь отрядов конницы, дисциплина которых во время восстания была безупречною.

50. Пока нас задерживали сначала траур по случаю смерти Августа, а затем междоусобица, обитавших невдалеке германцев никто не тревожил. Между тем римляне, двигаясь с большой быстротой, пересекают Цезийский лес и линию пограничных укреплений, начатую Тиберием[83]; на этой линии они располагаются лагерем, защищенным с фронта и с тыла валами, а с флангов — засеками. Отсюда они устремляются в глухие, поросшие лесом горы и здесь обсуждают, избрать ли из двух возможных путей короткий и хорошо знакомый или более трудный и неизведанный и потому не охраняемый неприятелем. Отдав предпочтение более длинной дороге, они идут возможно быстрее, так как поступает сообщение от разведчиков, что этой ночью германцы справляют праздник с торжественными пирами и игрищами. Цецина получает от Германика приказание двигаться впереди с когортами налегке и расчищать дорогу в лесу; следом за ним на небольшом расстоянии идут легионы. Помогала ясная лун-

ная ночь; подошли к селениям марсов, расположили вокруг них заслоны, а марсы безо всякого опасения продолжали спать или бражничать, не расставив даже дозорных, — до того все было у них в расстройстве из-за беспечности и настолько они не ждали нападения неприятеля; впрочем, не было у них и подобающего в мирное время порядка, а повсюду — лишь безобразие и распущенность, как это водится между пьяными.

51. Чтобы разорить возможно бо́льшую площадь, Цезарь разделил рвавшиеся вперед легионы на четыре отряда и построил их клиньями; огнем и мечом опустошил он местность на пятьдесят миль в окружности. Не было снисхождения ни к полу, ни к возрасту; наряду со всем остальным сравнивается с землею и то, что почиталось этими племенами священным, и прославленное у них святилище богини Танфаны, как они его называли. Среди воинов, истреблявших полусонных, безоружных, беспорядочно разбегавшихся в разные стороны, ни один не был ранен. Эта резня возмутила бруктеров, тубантов и узипетов, и они засели в лесистых ущельях, по которым пролегал обратный путь войска. Полководец узнал об этом и, выступая в поход, приготовился к отражению неприятеля. Впереди шла часть конницы и когорты вспомогательных войск, за ними первый легион; воины двадцать первого легиона прикрывали левый фланг находившихся посередине обозов, воины пятого — правый, двадцатый легион обеспечивал тыл, позади него двигались остальные союзники. Враги, пока войско не втянулось в ущелья, оставались в бездействии, но затем, слегка беспокоя головные части и фланги, обрушились всеми силами на двигавшихся последними. Под напором густо наседавших врагов когорты легковооруженных начали было приходить в замешательство, но Цезарь, подскакав к воинам двадцатого легиона, стал зычным голосом восклицать, что пришла пора искупить участие в мятеже; пусть они постараются, пусть торопятся покрыть свою вину воинскими заслугами. И сердца воинов распалились; прорвав боевые порядки врагов стремительным натиском, они гонят их на открытое место и там разбивают наголову; одновременно передовые отряды вышли из леса и укрепили лагерь. В дальнейшем поход протекал спокойно, и воины, ободренные настоящим и забыв о прошлом, размещаются на зимовку.

52. Эта весть доставила Тиберию и радость, и заботу: он радовался подавлению мятежа, но был встревожен возросшей воинскою славой Германика и тем, что раздачею денег и досрочным увольнением ветеранов он снискал расположение воинов. Тем не менее он доложил сенату обо всем им достигнутом, многократно напоминая о его доблести в таких напыщенных выражениях, что никто не поверил в искренность его слов. Менее пространно он воздал хвалу Друзу и пресечению иллирийского мятежа, но высказал ее с большей искренностью и в речи, внушавшей доверие. Все уступки Германика он распространил и на паннонское войско.

53. В том же году скончалась Юлия, некогда из-за распутного поведения заточенная своим отцом Августом на острове Пандатерии, а затем в городе тех регийцев, которые обитают у Сицилийского пролива[84]. При жизни Гая и Луция Цезарей она была замужем за Тиберием, но пренебрегала им как неравным по происхождению; это и было главнейшей причиной его удаления на Родос. Теперь, достигнув власти, он извел ее — ссыльную, обесславленную и после убийства Агриппы Постума потерявшую последние надежды — лишениями и голодом, рассчитывая, что ее умерщвление останется незамеченным вследствие продолжительности ссылки[85]. По сходным побуждениям он расправился и с Семпронием Гракхом, который, знатный, наделенный живым умом и злоречивый, соблазнил ту же Юлию, состоявшую в браке с Марком Агриппой. Но его любострастие не успокоилось и тогда, когда она была выдана замуж за Тиберия. Упорный любовник разжигал в ней своенравие и ненависть к мужу; и считали, что письмо с нападками на Тиберия, которое Юлия написала своему отцу Августу, было сочинено Гракхом. И вот, сосланный на Керкину, остров Африканского моря, он прожил в изгнании четырнадцать лет. Воины, посланные туда, чтобы его умертвить, нашли его на выдававшемся в море мысе не ожидающим для себя ничего хорошего. По их прибытии он обратился к ним с просьбою немного повременить, чтобы он мог написать письмо с последними распоряжениями своей жене Аллиарии. После этого он подставил шею убийцам; своей мужественной смертью он показал себя более достойным имени Семпрониев, чем при жизни. Некоторые передают, что воины были посланы к нему не из Рима, а Луцием Аспре-

натом, проконсулом Африки, по приказанию Тиберия, который тщетно рассчитывал, что ответственность за это убийство молва возложит на Аспрената.

54. В том же году учреждается жреческая коллегия августалов[86], подобно тому как некогда Титом Татием была основана для поддержания священнодействий сабинян коллегия титиев[87], и вводятся новые религиозные празднества. Ее членами были по жребию избраны наиболее видные граждане в количестве двадцати одного, не считая Тиберия, Друза, Клавдия и Германика. Впервые устроенные тогда августалами публичные зрелища были омрачены беспорядками, вызванными соревнованием мимов. Август снисходил к этой забаве из уважения к Меценату, страстно любившему Бафилла, да и сам он не чуждался развлечений подобного рода, считая гражданской заслугой разделять с толпой ее удовольствия. Взгляды Тиберия были иными, но он еще не решался навязывать более суровые нравы народу, на протяжении стольких лет привыкшему к мягкому управлению.

55. В консульство Друза Цезаря и Гая Норбана Германику назначается триумф, несмотря на то что война еще не закончилась. Хотя он деятельно готовился к тому, чтобы развернуть ее с наступлением лета, он выступил раньше и в начале весны внезапным набегом устремился на хаттов. Дело в том, что появилась надежда на разделение врагов на два стана — приверженцев Арминия и Сегеста, из которых один был примечателен своим коварством по отношению к нам, другой — верностью. Арминий — возмутитель Германии; а Сегест неоднократно извещал нас о том, что идет подготовка к восстанию[88], и в последний раз он говорил об этом на пиршестве, после которого германцы взялись за оружие; больше того, он советовал Вару, чтобы тот бросил в оковы его самого, Арминия, и других видных вождей; простой народ ни на что не осмелится, если будут изъяты его предводители; а вместе с тем будет время разобрать, на чьей стороне вина и кто ни в чем не повинен. Но Вар пал по воле судьбы и сломленный силой Арминия. Сегест, хоть и был вовлечен в войну общим движением племени, все же оставался в разладе с Арминием; к тому же между ними усилилась личная вражда, так как Арминий похитил у него дочь, обещанную другому; зять был ненавистен тестю, и то, что у живущих в согласии скрепляет

узы любви, у них, исполненных неприязни друг к другу, возбуждало взаимное озлобление.

56. Итак, Германик отдает под начало Цецине четыре легиона, пять тысяч воинов из вспомогательных войск и наспех собранные отряды германцев, обитавших по эту сторону Рейна; сам он ведет на врага столько же легионов и двойное число союзников. Построив крепостцу на развалинах оборонительных сооружений, возведенных его отцом на горе Тавне, он устремляется ускоренным походом на хаттов, оставив Луция Апрония для прокладки дорог и постройки мостов. Ибо, двигаясь благодаря сухости почвы и низкому уровню вод (что бывает в этих краях очень редко) быстро и беспрепятственно, он опасался дождей и подъема рек на обратном пути. К хаттам он подошел настолько внезапно, что все, кто из-за возраста или пола не мог спастись бегством, были либо захвачены в плен, либо перебиты на месте. Мужчины зрелого возраста, переправившись вплавь через реку Адрану, мешали римлянам приступить к наведению моста. Отогнанные затем метательными снарядами и стрелами лучников и тщетно попытавшись начать переговоры о мире, некоторые из них перебежали к Германику, а остальные, покинув свои поселения и деревни, рассеиваются в лесах. Предав огню Маттий (главный город этого племени) и опустошив открытую местность, Цезарь повернул к Рейну; враги не осмелились тревожить тыл отходящих, что у них было в обыкновении, когда они отступали больше из хитрости, чем из страха. У херусков было намерение оказать помощь хаттам, но их устрашил Цецина, то здесь, то там появлявшийся с войском; и марсов, отважившихся напасть на него, он обуздал удачно проведенною битвой.

57. Немного спустя прибыли послы от Сегеста с просьбой о помощи против насилия соплеменников, которые его осаждали; Арминий был влиятельнее, так как настаивал на войне: ведь у варваров в ком больше дерзости, тот и пользуется бóльшим доверием и, когда поднимается народное движение, берет верх над всеми другими. Вместе с послами Сегест направил и своего сына по имени Сегимунд; но тот медлил, зная за собою вину перед нами. Ибо назначенный жрецом при святилище убиев[89] в том же году, когда восстала Германия, он, сорвав с себя жреческие повязки, перебежал в

лагерь восставших. Все же, положившись на милость римлян, он доставил письмо отца и, принятый благосклонно, был переправлен с охраной на галльский берег. Германик решил, что ради этого дела стоит повернуть войско; произошел бой с державшими в осаде Сегеста, и он был вызволен с большим числом родичей и клиентов. Здесь были и знатные женщины, и среди них жена Арминия, она же — дочь Сегеста, более приверженная устремлениям мужа, чем отца, и не унизившая себя до слез или мольбы, со скрещенными на груди руками и глазами, опущенными к своему отягощенному бременем чреву. Тут же несли доспехи, захваченные при поражении Вара и в качестве военной добычи розданные многим из тех, кто теперь передался римлянам; вместе со всеми был тут и Сегест, выделявшийся ростом и осанкою и спокойный от сознания, что всегда безупречно соблюдал союз с нами.

58. Он сказал следующее: «Сегодня я не впервые приношу доказательства моей верности и преданности народу римскому; с той поры как божественный Август даровал мне права гражданства, я избирал себе друзей и врагов, помышляя только о вашем благе, и не из ненависти к родной стране (ведь предатели омерзительны даже тем, кому они отдают предпочтение), а потому, что считал одно и то же полезным для римлян и германцев и мир мне был дороже войны. Итак, похитителя моей дочери и нарушителя договора, заключенного с вами, я обвинил пред Варом, который тогда начальствовал вашим войском. Встретив равнодушие со стороны полководца и не находя достаточной защиты в правосудии, я просил бросить в оковы меня самого, Арминия и остальных заговорщиков: свидетельница — та ночь, — о если б она была для меня последнею! Все случившееся в дальнейшем позволительнее оплакивать, чем оправдывать; и Арминий был закован мною в цепи, и я сам претерпел их от его приверженцев. И когда явилась возможность обратиться к тебе, я предпочел старое новому и покой — волнениям, и не ради награды, но чтобы снять с себя подозрение в вероломстве и стать полезным германскому народу посредником, если он предпочтет раскаяние гибели. Прошу снисходительно отнестись к юношеским заблуждениям сына; о дочери скажу откровенно, что она прибыла не по своей воле: тебе дано рассу-

дить, что перевешивает: то ли, что она зачала от Арминия или что порождена мною». Цезарь в милостивом ответе обещает его детям и родичам безнаказанность, а ему самому — пребывание в прежней провинции. После этого он отвел назад войско и по внесенному Тиберием предложению получил титул императора. Жена Арминия родила ребенка мужского пола, который был воспитан в Равенне; о том, как над мальчиком насмеялась судьба, я расскажу в своем месте[90].

59. Слух о том, что Сегест передался римлянам и ему оказан благосклонный прием, воспринимается одними с надеждой, другими — с горечью, смотря по тому, были ли они против войны или стремились к ней. Похищение жены и то, что ее будущее дитя обречено рабству, приводили Арминия, гневливого и от природы, в безудержную ярость, и он носился среди херусков, требуя, чтобы они подняли оружие на Сегеста, оружие на Цезаря. Не воздерживался он и от поношений: превосходный отец, выдающийся полководец, храброе войско, столько рук, которыми увезена одна женщина! Перед ним полегли три легиона и столько же легатов[91]; он ведет войну не предательски и не против беременных женщин, но открыто и против вооруженных врагов. В священных рощах германцев еще можно видеть значки римского войска, которые он там развесил в дар отечественным богам. Пусть Сегест живет на покоренном берегу[92], пусть его сын снова станет жрецом у алтаря смертному[93], — германцы вовек не простят, что между Альбисом и Рейном им пришлось увидеть розги, и секиры, и тогу[94]. Другие народы, не знакомые с римским владычеством, не испытали казней, не знают податей. Германцы же избавились от всего этого, и с пустыми руками ушел от них этот причисленный к богам Август, этот его избранник Тиберий; так неужели они станут бояться неопытного юнца[95] и мятежного войска? Если они предпочитают родину, предков и старину господам над собою и новым колониям[96], пусть лучше пойдут за Арминием, который ведет их к свободе и славе, чем за Сегестом, ведущим к постыдному рабству.

60. Эти речи подняли не только херусков, но и соседние племена; примкнул к Арминию и его дядя со стороны отца Ингвиомер, издавна пользовавшийся у римлян большим уважением, и это еще больше озаботило Цезаря. Чтобы не

встретиться с объединенными силами неприятеля, он посылает Цецину с сорока когортами римлян пройти через земли бруктеров к реке Амизии и отвлечь врага, а конницу ведет в область фризов префект Педон. Сам Цезарь перевозит на кораблях по озерам четыре легиона; пехота, конница и корабли одновременно прибыли к названной реке. Нашими союзниками в этой войне стали и хавки, предложившие выставить вспомогательные отряды. Бруктеров, поджегших свои селения, рассеял Луций Стертиний, посланный Германиком с отрядом легковооруженных; истребляя неприятеля, он среди добычи обнаруживает орла девятнадцатого легиона, захваченного врагами при поражении Вара. Затем войско проследовало до наиболее отдаленных границ бруктеров и опустошило земли между реками Амизией и Лупией, неподалеку от Тевтобургского леса, в котором, как говорили, все еще лежали непогребенными останки Вара и его легионов.

61. Тогда Цезаря охватывает желание отдать последний долг воинам и полководцу; и все находившееся с ним войско было взволновано скорбью о родственниках и близких и мыслями о превратностях войн и судьбе человеческой. Выслав вперед Цецину, чтобы обследовать чащи горных лесов, навести мосты и проложить гати через трясины и заболоченные луга, они вступают в унылую местность, угнетавшую и своим видом, и печальными воспоминаниями. Первый лагерь Вара большими размерами и величиной главной площади[97] свидетельствовал о том, что его строили три легиона; далее полуразрушенный вал и неполной глубины ров указывали на то, что тут оборонялись уже остатки разбитых легионов: посреди поля белелись скелеты, где одинокие, где наваленные грудами, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых варвары принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий[98]. И пережившие этот разгром, уцелев в бою или избежав плена, рассказывали, что тут погибли легаты, а там попали в руки врагов орлы; где именно Вару была нанесена первая рана, а где он нашел смерть от своей злосчастной руки и обрушенного ею удара; с какого возвышения произнес речь Арминий, сколько виселиц для

расправы с пленными и сколько ям было для них приготовлено и как, в своем высокомерии, издевался он над значками и орлами римского войска.

62. Итак, присутствовавшее здесь войско на шестой год после поражения Вара предало погребению останки трех легионов, и хотя никто не мог распознать, прикрывает ли он землей кости чужих или своих, их всех хоронили как близких, как кровных родственников, с возросшей ненавистью к врагам, проникнутые и печалью, и гневом. В основание насыпанного затем над их могилой холма первую дернину положил Цезарь, принося усопшим дань признательности и уважения и разделяя со всеми скорбь. Это не встретило одобрения у Тиберия, то ли потому, что все поступки Германика он всегда истолковывал в худшую сторону, то ли потому, что, по его мнению, вид убитых и оставшихся непогребенными должен был ослабить боевой дух войска и возбудить в нем страх перед врагом; к тому же полководцу, облеченному саном авгура и отправляющему древнейшие священнодействия, не подобало заниматься погребением мертвых[99].

63. Германик, следуя за Арминием, отступавшим в непроходимые дебри, при первой представившейся возможности приказывает коннице захватить стремительным натиском поле, на котором расположились враги. Арминий, повелев своим сомкнуться как можно теснее и направиться к лесу, внезапно поворачивает назад, а затем спрятанному им в лесистом ущелье отряду подает знак устремиться на римлян. Свежими силами неприятеля наша конница была приведена в замешательство, а посланные ей на подмогу вспомогательные когорты, смятые толпой беглецов, усугубили смятение; и они были бы загнаны в топь, хорошо известную одолевающим и гибельную для ничего не знавших о ней, если бы Цезарь не подоспел с легионами и не построил их в боевые порядки; это испугало врагов и вселило уверенность в наших: противники разошлись без перевеса на чьей-нибудь стороне. Затем, снова приведя войско к Амизии, Цезарь переправляет легионы на кораблях, точно так же, как их доставил; части конницы было приказано следовать вдоль берега Океана до Рейна; Цецине, который вел свой старый отряд, было дано указание миновать как можно скорее, несмотря на то что он возвращался уже известным путем, длинные гати. Это узкая

тропа среди расстилавшихся на большом пространстве болот, которая была когда-то проложена Луцием Домицием; вдоль нее все было илистым, вязким от густой грязи и ненадежным из-за обильных ручьев. Вокруг — леса, подымавшиеся на пологих склонах и занятые Арминием, который, двигаясь кратчайшей дорогой и с предельной поспешностью, опередил наших обремененных поклажей и оружием воинов. Цецина, будучи неуверен, сможет ли он одновременно чинить обветшавшие гати и отражать неприятеля, решил расположиться лагерем тут же на месте, чтобы одни принялись за работу, а другие вступили в бой.

64. Варвары, стараясь прорвать выставленные заслоны и ринуться на ведущих работы, затевают стычки, обходят, наступают с разных сторон; смешиваются крики работающих и сражающихся. Все было неблагоприятно для римлян: топкая почва, засасывавшая остановившихся и скользкая для пытавшихся двигаться, тела, стесненные панцирями; и воины, увязавшие в жидкой грязи, не могли как следует метать дротики. Херуски, напротив, привыкли сражаться в болотах, отличались большим ростом и своими огромными копьями могли разить с очень далекого расстояния. Только ночь избавила от разгрома дрогнувшие уже легионы. Но германцы, воодушевленные успехом, и тут не дали себе отдыха, и всю воду, рождавшуюся на окрестных возвышенностях, отвели в низину; она залила ее и смыла то, что уже было сделано, удвоив работу воинам. Сороковой год служил в рядах войска Цецина и как подчиненный, и как начальник; повидав и хорошее и плохое, он был благодаря этому неустрашим. Обдумав, как могут в дальнейшем обернуться дела, он не нашел лучшего выхода, как удерживать в лесах неприятеля, пока не продвинутся вперед раненые и весь громоздкий обоз; ибо между горною цепью и болотами расстилалась равнина, на которой можно было обороняться, построив войско неглубокими боевыми порядками. Итак, назначаются легионы: пятый на правый фланг, двадцать первый — на левый, первый — чтобы вести за собой остальных, двадцатый — отражать преследующего врага.

65. Ночь и в том и в другом лагере прошла неспокойно: варвары праздничным пиршеством, радостным пением или грозными кликами оглашали разбросанные внизу долины и

отвечавшие эхом ущелья, а у римлян — тусклые огни, заглушенные голоса, воины, здесь и там прикорнувшие возле вала или бродившие между палаток, скорее бессонные, нежели бдительные. И военачальника устрашил тревожный сон, ибо он видел и слышал Квинтилия Вара, поднявшегося из болотной пучины и залитого кровью и как бы его призывавшего, но не последовал за ним и оттолкнул его протянутую руку. На рассвете легионы, посланные на фланги, покинули отведенные им участки, то ли из страха, то ли из своеволия, и поспешно расположились на поле за заболоченною низиной. Арминий, однако, напал не сразу, хотя и мог это сделать, не встретив сопротивления; и лишь когда обозы увязли в грязи и рытвинах, пришли в смятение находившиеся возле них воины, был нарушен порядок движения, все сбилось в кучу, и, как это бывает в подобных обстоятельствах, каждый думал более всего о себе, и уши стали плохо воспринимать приказания, лишь тогда он велит германцам броситься в бой, воскликнув: «Вот он, Вар, и вторично скованные той же судьбой легионы!» И он тотчас же с отборными воинами врезается в ряды римского войска, поражая по преимуществу лошадей. Те, скользя в своей крови и в болотной топи, стряхивают с себя всадников, опрокидывают встречных, топчут упавших. Особенное смятение возникло вокруг орлов: не было возможности ни нести их под градом копий и стрел, ни воткнуть в топкую почву. Цецину, пытавшегося навести порядок в рядах, сбросил подколотый снизу конь, и он был бы окружен неприятелем, если б к нему не пришли на выручку воины первого легиона. Нашим помогла жадность врага, ради грабежа добычи прекратившего битву, и под вечер легионы выбрались наконец на ровное место и на твердую почву. Но и здесь их бедствиям еще не пришел конец. Нужно было насыпать вал и таскать для него землю, но многое из того, на чем ее носят и чем вырезают дерн, было потеряно; манипулы не имели палаток, нечем было перевязывать раненых; деля между собою забрызганные грязью и кровью припасы, воины горестно сетовали на надвигавшуюся гробовую тьму и на то, что для стольких тысяч людей пришел последний день.

66. Случилось, что сорвавшаяся с привязи лошадь, испугавшись какого-то крика, бросилась бежать и сбила с ног нескольких оказавшихся на ее пути воинов. Из-за этого среди

римлян, решивших, что в лагерь вторглись германцы, возникло такое смятение, что все устремились к воротам, и особенно к задним, так как, находясь с противоположной от врага стороны, они сулили спасавшимся большую безопасность. Цецина, установив, что обуявший их ужас порожден ложной тревогой, тщетно пытался, приказывая, прося и даже хватая за руки, остановить или задержать воинов и наконец лег в самом проходе ворот, преградив таким образом дорогу бегущим, которые посовестились пройти по телу легата; к тому же центурионам и трибунам удалось разъяснить толпе, что ее страх ложен.

67. Затем, собрав всех на главной лагерной площади, он призвал их к молчанию и разъяснил, чего требуют сложившиеся обстоятельства. Единственное спасение в оружии, но применить его нужно обдуманно и оставаться внутри укрепленного лагеря, пока неприятель, рассчитывая захватить его приступом, не подойдет вплотную к нему; а тогда необходимо со всех сторон обрушиться на врага; благодаря этой вылазке они смогут достигнуть Рейна. Если они предпочтут бежать, их ожидают еще более глухие леса, еще более глубокие топи, свирепый и беспощадный враг; если одержат победу — почет и слава. Он напоминает им и о том, что́ каждому из них дорого на родине, и об их воинской чести; о трудностях их положения он умолчал. После этого он раздает коней, начав со своих и не делая исключения ни для легатов, ни для трибунов, наиболее доблестным воинам, чтобы они первыми ринулись на врага, увлекая за собой пехотинцев.

68. Не менее беспокойно было и у германцев, возбужденных надеждами, нетерпением и разногласием между вождями: Арминий советовал не препятствовать римлянам выйти из лагеря и затем снова загнать их в болота и непроходимые топи, тогда как Ингвиомер склонял к более решительным и желанным для варваров действиям, предлагая пойти на укрепления приступом: так они быстро захватят лагерь, им достанется больше пленных и добыча будет в полной сохранности. Итак, с первым светом они принимаются засыпать рвы, заваливать их валежником, расшатывать частокол на валу, на котором, словно оцепенев от страха, неподвижно стояли редкие воины. И когда враги сгрудились у вала, когортам был подан знак к выступлению и раздаются звуки рожков и труб.

Римляне с громкими кликами бросаются на германцев, заходя на них с тыла и крича, что тут им не леса и болота и что на ровном месте все равны пред богами. Врагов, надеявшихся на то, что они с легкостью разгромят римлян и что биться придется с немногочисленным и кое-как вооруженным противником, звуки труб и сверкающее оружие приводят в тем большее замешательство, чем неожиданнее они для них были, и они гибнут, столь же беспомощные при неудаче, насколько бывают дерзкими при успехе. Арминий вышел из боя целый и невредимый, Ингвиомер — с тяжелою раной; остальных римляне истребляли, пока длился день и не была утолена жажда мщения. Легионы вернулись в лагерь лишь ночью, и, хотя раненых было больше, чем накануне, и попрежнему не хватало продовольствия, в одержанной победе для них было все — и сила, и здоровье, и изобилие.

69. Между тем распространилась молва об окружении римского войска и о том, что несметные силы германцев идут с намерением вторгнуться в Галлию, и если бы не вмешательство Агриппины, был бы разобран наведенный на Рейне мост, ибо нашлись такие, которые в страхе были готовы на столь позорное дело. Но эта сильная духом женщина взяла на себя в те дни обязанности военачальника и, если кто из воинов нуждался в одежде или в перевязке для раны, оказывала необходимую помощь. Гай Плиний, описавший германские войны[100], рассказывает, что при возвращении легионов она стояла в головной части моста и встречала их похвалами и благодарностями. Все это глубоко уязвляло Тиберия: неспроста эти ее заботы, не о внешнем враге она помышляет, домогаясь преданности воинов. Нечего делать полководцам там, где женщина устраивает смотры манипулам, посещает подразделения, заискивает раздачами, как будто ей недостаточно для снискания благосклонности возить с собою повсюду сына главнокомандующего в простой солдатской одежде и выражать желание, чтобы его называли Цезарем Калигулой. Агриппина среди войска могущественнее, чем легаты, чем полководцы: эта женщина подавила мятеж, против которого было бессильно имя самого принцепса. Сеян разжигал и усугублял эти подозрения: хорошо изучив нрав Тиберия, он заранее сеял в нем семена ненависти, чтобы тот таил ее про себя, пока она вырастет и созреет.

70. Германик между тем из перевезенных на судах легионов второй и четырнадцатый передает Публию Вителлию и приказывает ему вести их дальше сухим путем; это было сделано ради того, чтобы облегченные корабли свободнее плавали в обильных мелями водах и с меньшей опасностью садились на них при отливе. Вителлий сначала беспрепятственно двигался по суше, лишь слегка увлажняемой во время прилива; вскоре, однако, северный ветер и созвездие равноденствия, от которого особенно сильно вздувается Океан, обрушились на войско тяжелыми ударами. И земля была залита: море, берег, поля — все стало одинаковым с виду, и нельзя было отличить трясину от твердой земли, мелководье от глубокой пучины. Воинов опрокидывают волны, поглощают водовороты; лошади, грузы, трупы плавают между ними и преграждают им путь. Перемешиваются между собою манипулы; воины бредут в воде то по грудь, то по шею и порою, когда теряют дно под ногами, отрываются друг от друга или тонут. Ни крики, ни взаимные ободрения не помогают против набегающих волн; исчезло различие между проворным и вялым, рассудительным и неразумным, между предусмотрительностью и случайностью: все с одинаковой яростью сокрушается волнами. Наконец Вителлий, добравшись до более высокого места, вывел туда свое войско. Ночевали без необходимой утвари, без огня, многие раздетые и израненные, едва ли не более жалкие, нежели те, кто окружен врагом: ибо там смерть, по крайней мере, почетна, тогда как здесь их ожидала лишь бесславная гибель. Рассвет возвратил им сушу, и они дошли до реки[101], куда с флотом направился Цезарь. Легионы были посажены на суда, между тем как распространился слух, что они утонули: и никто не верил в их спасение, пока люди не увидели своими глазами Цезаря и вернувшееся с ним войско.

71. Между тем Стертиний, высланный навстречу пожелавшему передаться нам Сегимеру, брату Сегеста, доставил его вместе с сыном[102] в город убиев. Обоим было дано прощение: Сегимеру — легко, сыну — после некоторых колебаний, так как говорили о том, что он глумился над трупом Квинтилия Вара. Галлия, Испания и Италия, соревнуясь друг с другом в усердии, предлагали в возмещение понесенных войском потерь оружие, лошадей, золото — что кому было

сподручнее. Похвалив их рвение, Германик принял только оружие и лошадей, необходимых ему для военных действий, а воинам помог из собственных средств. И для того чтобы смягчить в них воспоминание о пережитом бедствии еще и ласковым обращением, он обходит раненых и каждого из них превозносит за его подвиги; осматривая их раны, он укрепляет в них — в ком ободрением, в ком обещанием славы, во всех — беседою и заботами — чувство преданности к нему и боевой дух.

72. В этом году Авлу Цецине, Луцию Апронию и Гаю Силию присуждаются триумфальные знаки отличия за деяния, совершенные ими вместе с Германиком. Тиберий отклонил титул отца отечества, который ему не раз предлагался народом; несмотря на принятое сенатом решение, он не позволил присягнуть на верность его распоряжениям[103], повторяя, что все человеческое непрочно и что чем выше он вознесется, тем более скользким будет его положение. Это, однако, не внушило доверия к его гражданским чувствам. Ибо он уже восстановил закон об оскорблении величия[104], который, нося в былое время то же название, преследовал совершенно другое: он был направлен лишь против тех, кто причинял ущерб войску предательством, гражданскому единству — смутами и, наконец, величию римского народа — дурным управлением государством; осуждались дела, слова не влекли за собой наказания. Первым, кто на основании этого закона повел дознание о злонамеренных сочинениях, был Август, возмущенный дерзостью, с какою Кассий Север порочил знатных мужчин и женщин в своих наглых писаниях; а затем и Тиберий, когда претор Помпей Макр обратился к нему с вопросом, не возобновить ли дела об оскорблении величия, ответил, что законы должны быть неукоснительно соблюдаемы. И его также раздражили распространявшиеся неизвестными сочинителями стихи о его жестокости и надменности и нeладах с матерью.

73. Тут будет, пожалуй, нелишним рассказать о первых обвинениях подобного рода, испытанных на незначительных римских всадниках Фалании и Рубрии, чтобы стало понятно, с чего пошло это наитягчайшее зло, с каким искусством Тиберий дал ему возможность неприметно пустить ростки, как затем оно было подавлено, как в дальнейшем вспых-

нуло с новою силой и, наконец, заразило решительно все. Фаланию обвинитель вменял в преступление принятие им в число блюстителей культа Августа — которые были во всех домах, на положении жреческих коллегий — некоего мима Кассия, известного телесным непотребством, и еще то, что, продав сад, он уступил вместе с ним в собственность покупателю и статую Августа. Рубрий обвинялся в том, что клятвопреступлением оскорбил святыню Августа. Когда это стало известно Тиберию, он написал консулам, что его отец признан небожителем не для того, чтобы это воздаваемое ему почитание было обращено на погибель гражданам; лицедей Кассий вместе со своими товарищами по ремеслу постоянно принимает участие в зрелищах, посвящаемых его, Тиберия, матерью памяти Августа; если статуи Августа, как и другие изображения богов, при сделках на дома и сады переходят вместе с ними во владение покупателей, то это не является святотатством; на нарушение клятвы нужно смотреть так же, как если бы был обманут Юпитер: оскорбление богов — забота самих богов.

74. Немного спустя претора Вифинии Грания Марцелла[105] обвинил в оскорблении величия его квестор Цепион Криспин, заявление которого было поддержано и Романом Гиспоном. Этот Криспин первым вступил на жизненный путь, который впоследствии сделали обычным тяжелые времена и человеческое бесстыдство. Нищий, безвестный, неугомонный, пока при помощи лживых наветов, питавших жестокость принцепса, не втерся к нему в доверие, он стал опасен для самых выдающихся людей государства и, сделавшись могущественным у одного и ненавистным для всех, подал пример, последовав которому многие, превратившись из бедняков в богачей и из презираемых во внушающих страх, приуготовили гибель другим, а под конец и самим себе. Что до Марцелла, то его он изобличал в поносных речах против Тиберия — неотвратимое обвинение, так как, выбрав из характера Тиберия самое мерзкое, обвинитель передавал это как слова обвиняемого. И так как все, о чем он говорил, было правдой, казалось правдой и то, что это было сказано обвиняемым. К этому Гиспон добавил, что свою собственную статую Марцелл поставил у себя в доме выше, чем статуи Цезарей, и что, отбив у другой статуи голову Августа, он заменил

ее головою с лицом Тиберия. Выслушав это, Тиберий до того распалился, что, нарушив обычное для него молчание, заявил, что по этому делу открыто подаст свое мнение, подкрепив его клятвою, чтобы побудить и остальных поступить так же, как он. Но тогда еще сохранялись следы умиравшей свободы. И Гней Пизон на это сказал: «Когда же, Цезарь, намерен ты высказаться? Если первым, я буду знать, чему следовать; если последним, то опасаюсь, как бы, помимо желания, я не разошелся с тобой во мнении». Смущенный словами Пизона и тем больше раскаиваясь в своей горячности, чем неожиданнее она была для него самого, он позволил снять с подсудимого обвинение в оскорблении величия; разбор дела о вымогательстве был поручен рекуператорам[106].

75. Не довольствуясь дознаниями в сенате, он присутствовал и в обыкновенных судах, сидя в углу трибунала, чтобы не сгонять претора с курульного кресла; и в его присутствии было принято немало решений вопреки проискам и ходатайствам власть имущих. Однако, способствуя торжеству справедливости, он тем самым ущемлял свободу. Так, например, сенатор Аврелий Пий, жалуясь, что прокладка проезжей дороги и постройка водопровода расшатали и привели в негодное состояние его дом, обратился к сенату за вспомоществованием. Преторы казначейства ответили на его просьбу отказом, и тогда Цезарь пришел ему на помощь и оплатил Аврелию стоимость его дома, желая, чтобы все выплаты из казны производились по-честному; эту добродетель, утратив все остальные, он сохранял в течение долгого времени. Бывшему претору Проперцию Целеру, просившему о своем исключении ввиду бедности из сенаторского сословия, он выдал миллион сестерциев, убедившись, что нужда была унаследована им от отца. Однако, когда другие попытались добиться того же, Тиберий велел им представить сенату доказательства своей недостаточности: из желания быть суровым он проявлял черствость и в том, что делал по справедливости. По этой причине прочие предпочли молчание и нужду признанию в ней и благодеяниям.

76. В том же году из-за непрерывных дождей Тибр вышел из берегов и затопил низкие части Рима; после спада воды обрушилось много построек, и под ними погибли люди. По этому поводу Азиний Галл предложил обратиться к Сивил-

линым книгам[107]. Тиберий, одинаково боявшийся гласности как в относящемся к воле богов, так и в делах человеческих, воспротивился этому, и изыскать средства к обузданию своенравной реки было поручено Атею Капитону и Луцию Арруицию. Было решено освободить на время от проконсульской власти и передать в управление Цезарю Ахайю и Македонию, просивших облегчить им бремя налогов[108]. Распоряжаясь на гладиаторских играх, даваемых им от имени его брата Германика и своего собственного, Друз слишком открыто наслаждался при виде крови, хотя и низменной; это ужаснуло, как говорили, простой народ и вынудило отца выразить ему свое порицание[109]. Почему Тиберий воздержался от этого зрелища, объясняли по-разному: одни — тем, что сборища внушали ему отвращение, некоторые — прирожденной ему угрюмостью и боязнью сравнения с Августом, который на таких представлениях неизменно выказывал снисходительность и благожелательность[110]. Не думаю, чтобы он умышленно предоставил сыну возможность обнаружить перед всеми свою жестокость и навлечь на себя неприязнь народа, хотя было высказано и это мнение.

77. В театре еще больше усилились беспорядки, начавшиеся в минувшем году: было убито не только несколько человек из народа, но также воины и центурион, был ранен трибун преторианской когорты, когда они пытались пресечь буйство черни, обрушившейся с бранью на магистратов[111]. Эти волнения обсуждались в сенате, и было внесено предложение предоставить преторам право налагать на актеров наказание розгами. Против этого заявил протест народный трибун Гатерий Агриппа, на которого напустился с бранной речью Азиний Галл, между тем как Тиберий хранил молчание, оставляя сенату эту видимость свободы. Все же протест трибуна возымел силу, так как божественный Август некогда заявил, что актеры не подлежат телесному наказанию[112], и Тиберию не подобало отменять его решение. Были приняты постановления о размере жалованья актерам и против разнузданности их поклонников; из этих постановлений важнейшие: чтобы сенатор не посещал мимов у них на дому, чтобы римские всадники не толпились вокруг них в общественном месте и не встречались с ними нигде, кроме как в театре; сверх того, преторы были наделены властью карать изгнанием распущенность зрителей.

78. Испанцам, согласно их просьбе, было дано разрешение на постройку в Тарраконской колонии храма Августу, и это послужило примером для всех прочих провинций. Народ обратился с ходатайством отменить налог с оборота в размере одной сотой его, введенный после междоусобных войн, на что Тиберий ответил эдиктом, в котором указывал, что у военной казны нет иных источников пополнения; вместе с тем он заявил, что государство не выдержит бремени непомерных расходов, если воины будут служить менее двадцати лет. Таким образом, непродуманные уступки, сделанные в силу необходимости во время последнего мятежа[113] и сокращавшие срок службы в войске до шестнадцати лет, были отменены.

79. Затем Аррунцием и Атеем был поставлен перед сенатом вопрос, считает ли он возможным для уменьшения разливов Тибра запрудить реки и озера, из-за которых и повышается его уровень; по этому поводу были выслушаны представители муниципиев и колоний, причем флорентийцы просили ни в коем случае не отводить Кланиса из привычного русла и не направлять его в Арн, так как это было бы для них гибельно. Близкое к этому заявляли и жители Интерамны: плодороднейшие земли Италии придут в запустение, если река Нар, спущенная в канавы (как это предполагалось), заболотит близлежащую местность. Не молчали и реатинцы, возражая против постройки плотины на Белинском озере, в том месте, где из него изливается Нар, и говоря, что оно выйдет из берегов и затопит окрестности; что природа, определившая рекам их устья и течение, истоки и разливы, достаточно позаботилась о делах человеческих; к тому же нельзя не считаться с обычаями и верованьями союзников[114], посвятивших рекам родной страны обряды, рощи и жертвенники, да и сам Тибр не желает, чтобы у него отняли соседствующие с ним реки и его течение стало от этого менее величавым. Оказались ли тут решающими просьбы колоний, или трудности работ, или, наконец, суеверия, но взяло верх высказанное Гнеем Пизоном мнение, что все следует оставить как оно есть.

80. За Поппеем Сабином была сохранена провинция Мёзия с добавлением еще Ахайи и Македонии. И вообще у Тиберия было обыкновение удерживать большинство должно-

стных лиц во главе тех же войск и тех же гражданских управлений. Объясняют это по-разному: одни говорят, что он оставлял в силе свои назначения из нежелания затруднять себя дополнительными заботами, некоторые — что делал это по злобе, чтобы не расточать милостей многим; есть и такие, которые полагают, что, будучи весьма проницателен умом, он был столь же нерешителен в суждениях. С одной стороны, он не выказывал предпочтения добродетелям, а с другой — ненавидел порочность: в выдающихся людях он видел опасность для себя, в дурных — общественное бесчестье. В этих колебаниях он дошел до того, что не раз поручал провинции тем, кого не согласился бы выпустить из Рима.

81. Что касается консульских выборов, происходивших тогда впервые при этом принцепсе и всех последовавших за ними в годы его правления, то я едва ли решусь сказать по этому поводу что-либо определенное: до того разноречивы сведения не только у писавших о них, но и содержащиеся в речах самого Тиберия. Иногда, не называя имен кандидатов, он с такими подробностями говорил об их происхождении, образе жизни, проделанных ими походах, что всем было ясно, о ком идет речь; иногда, воздерживаясь даже и от таких объяснений, он увещевал кандидатов не осложнять выборов происками и подкупом и давал обещание взять на себя заботу об их избрании. В большинстве случаев он утверждал, что о своем желании выступить соискателями ему заявили лишь те, чьи имена он сообщил консулам; могут сделать подобное заявление и другие, если рассчитывают на общее расположение и свои заслуги; но это были красивые слова, на деле пустые и исполненные коварства, и чем больше в них было видимости свободы, тем большее порабощение они с собою несли.

Книга вторая

1. В консульство Сизенны Статилия (Тавра) и Луция Либона было нарушено спокойствие в царствах Востока и в римских провинциях. Началось с парфян, которые, испросив у Рима и получив оттуда царя, гнушались им, как чужестранцем, невзирая на то, что он принадлежал к роду Арсакидов.

Это был Вонон, отданный Фраатом в заложники Августу. Ибо Фраат, хотя он и изгнал римское войско и его полководцев[1], все же оказывал Августу всяческое почтение и ради укрепления дружбы отослал к нему часть своего потомства[2] не столько из страха пред нами, сколько из недоверия к своим соплеменникам.

2. После смерти Фраата и следовавших за ним царей парфянская знать вследствие кровавых междоусобиц направила в Рим послов, призывавших на царство старшего из детей Фраата — Вонона. Цезарь[3] воспринял это как дань высокого уважения к себе и возвысил Вонона богатыми дарами. Варвары встретили его ликованием, как это чаще всего бывает при воцарении новых властителей. Вскоре, однако, их охватил стыд: выродились парфяне; на другом конце света вымолили они себе царя, отравленного воспитанием во вражеском стане; трон Арсакидов уже предоставляется наравне с римскими провинциями. Где слава тех, кто умертвил Красса, изгнал Антония, если раб Цезаря, на протяжении стольких лет прозябавший в неволе, повелевает парфянами? Да и сам Вонон давал пищу этой враждебности: чуждый обычаям предков, он редко охотился и был равнодушен к конным забавам; на улицах городов появлялся не иначе как на носилках и пренебрегал такими пирами, какими они были на его родине. Вызывали насмешки и его приближенные греки, и то, что любая безделица из его утвари хранилась под замком и опечатанной. Его доступность, ласковость и доброжелательность — добродетели, неведомые у парфян, — были, на их взгляд, не более чем пороками; и поскольку все это было несходно с их нравами, они питали равную ненависть и к дурному, и к хорошему в нем.

3. Итак, они вызывают Артабана, по крови Арсакида, выросшего среди дагов; разбитый в первом сражении, он собирает новые силы и овладевает Парфянским царством. Побежденный Вонон укрылся в Армении, которая тогда оставалась без государя и, находясь между могущественными державами парфян и римлян, была в отношении нас ненадежна вследствие бесчестного поступка Антония, завлекшего под личиною дружбы, затем бросившего в оковы и, наконец, предавшего смерти армянского царя Артавазда. Его сын Артаксий, враждебный нам в память отца, обезопасил себя и свое

царство, опираясь на мощь Арсакидов. После того как Артаксий был предательски убит родичами, Цезарь дал армянам Тиграна, которого возвел на престол Тиберий Нерон[4]. Но ни царствование Тиграна, ни царствование его детей, соединившихся по чужеземному обычаю в браке и правивших сообща[5], не были длительными.

4. Потом по приказанию Августа власть над армянами получил Артавазд[6], который спустя короткое время был свергнут ими не без ущерба для нас. Тогда, чтобы навести порядок в Армении, туда был направлен Гай Цезарь. С согласия и одобрения армян он поставил царем над ними Ариобарзана, родом мидянина, отличавшегося телесною красотой и выдающимися душевными качествами. После того как его постигла смерть от несчастного случая, армяне не пожелали терпеть царями его детей; испытали они и правление женщины, которую звали Эрато, но и она была вскоре низложена; и вот растерянные и скорее потому, что были лишены государя, чем по свободному выбору, они принимают на царство бежавшего к ним Вонона. Но так как ему начал угрожать Артабан, — а если б мы стали его защищать, нам пришлось бы вступить в войну с парфянами, — правитель Сирии Кретик Силан вызвал Вонона к себе и, сохранив ему прежнюю роскошь и царский титул, окружил его стражею. Как поступил Вонон, чтобы снять с себя это бесчестье, мы сообщим в свое время.

5. Неурядицы на Востоке не были, впрочем, неприятны Тиберию: это был хороший предлог, чтобы разлучить Германика с преданными ему легионами и, назначив его правителем новых провинций, сделать его доступным и для коварства, и для случайностей. А Германик, чем бóльшую преданность выказывали ему воины, а неприязнь — дядя, тем упорнее стремился ускорить победу и тщательно вникал в ход сражений и причины всех неудач и успехов, выпавших на его долю за время войны, которую он вел уже третий год. Он видел, что германцы не могут устоять в правильных битвах на подходящей для этого местности; им помогают леса, болота, короткое лето и ранняя зима; в действиях против германцев воины не столько страдают от ран, сколько от больших расстояний, которые им приходится проходить, и от убыли вооружения; Галлия больше не в состоянии поставлять ло-

шадей; длинная вереница обозов уязвима для засад, и охранять ее трудно. Но если отправиться морем, то римлян оно не страшит, тогда как врагам совершенно неведомо; в этом случае можно раньше начинать военные действия и одновременно с легионами перевозить необходимое им продовольствие; всадники и лошади, переправленные по устьям и течениям рек, прибудут свежими в самое сердце Германии.

6. Итак, он приступает к осуществлению своего замысла. Послав в Галлию для сбора податей Публия Вителлия и Гая Анция, он поручает Силию, Антею и Цецине руководить постройкою флота. Было сочтено достаточным соорудить тысячу судов, и вскоре они были готовы — одни короткие, с тупым носом и такой же кормой, но широкие посредине, чтобы лучше переносить волнение на море, другие — плоскодонные, чтобы могли без повреждения садиться на мели; у большинства кормила были прилажены и сзади и спереди, чтобы, гребя то вперед, то назад, можно было причалить, где понадобится[7]; многие суда с настланными палубами для перевозки метательных машин были вместе с тем пригодны и для того, чтобы перевозить на них лошадей или продовольствие; приспособленные для плавания под парусами и быстроходные на веслах, эти суда, несшие на себе умелых и опытных воинов, могли устрашить уже одним своим видом. Местом сбора был назначен Батавский остров, так как тут было легко причалить и погрузить войско, с тем чтобы переправить его туда, где намечались военные действия. Дело в том, что Рейн, который на всем протяжении имеет одно-единственное русло или обтекает небольшие острова, у границы земли батавов расчленяется как бы на две разные реки, причем там, где он проходит мимо Германии, он сохраняет то же название и ту же стремительность, пока не смешивается с водами Океана; у галльского же берега он разливается вширь и течет гораздо спокойнее. Местные жители, дав ему другое название, именуют его здесь Вагалом; а затем, сменив и это наименование на имя реки Мозы, он огромным устьем изливается в тот же Океан.

7. Между тем Цезарь в ожидании подхода судов приказывает легату Силию с налегке снаряженным отрядом сделать набег на хаттов; сам же, узнав, что поставленное на реке Лупии укрепление осаждено неприятелем, ведет туда шесть ле-

гионов. Но ни Силию из-за внезапно разразившихся ливней не удалось сделать что-либо большее, чем захватить незначительную добычу, а также жену и дочь вождя хаттов Арпа, ни Цезарю — дать сражение осаждающим, так как, прослышав о его приближении, они сняли осаду и рассеялись. Все же враги разметали могильный холм, недавно насыпанный над останками воинов Вара, и разрушили старый жертвенник, некогда поставленный Друзу. Полководец восстановил этот жертвенник и торжественно провел мимо него свои легионы, воздав отцу эту почесть. Насыпáть еще раз могильный холм он счел излишним. И все пространство между укреплением Ализоном и Рейном было ограждено новыми пограничными сооружениями и валами.

8. Между тем прибыл флот; выслав заранее продовольствие и распределив суда между легионами и союзниками, Германик, войдя в канал, носивший имя Друза, обратился с мольбой к отцу Друзу, чтобы тот благосклонно и милостиво отнесся к сыну, дерзнувшему пойти по его следам, и помог ему своим примером и напоминанием о своих замыслах и деяниях; затем он в благополучном плавании прошел озера и Океан вплоть до Амизии. Войско высадилось с судов у устья Амизии, у левого ее берега, и это было ошибкой, так как воинов, направлявшихся в земли, лежащие по правую руку от этой реки, не подвезли и не переправили куда следовало; из-за этого было потеряно много дней, потраченных на наводку мостов. И конница и легионы бесстрашно перешли первые затопляемые низины, так как они еще не были залиты приливной волной, но шедшие последними вспомогательные отряды союзников, и среди них батавы, желая показать свое умение плавать и бросившись в воду, смешались, и некоторые были ею поглощены. Цезарь был занят разбивкой лагеря, когда пришло известие об отпадении у него в тылу ангривариев: посланный против них с конницей и легковооруженными воинами Стертиний огнем и мечом покарал их вероломство.

9. Между римлянами и херусками протекала река Визургий. На ее берег пришел Арминий с другими вождями. Осведомившись, прибыл ли Цезарь, и получив утвердительный ответ, он попросил разрешения переговорить с братом. Этот брат, находившийся в нашем войске, носил имя Флава; отли-

чаясь безупречной преданностью, Флав, служа под начальством Тиберия, за несколько лет до этого был ранен и потерял глаз. Получив дозволение на свидание, Флав вышел вперед, и Арминий обратился к нему с приветствием; затем он отослал своих спутников и потребовал, чтобы ушли и наши лучники, которые были расставлены на берегу. После того как это было исполнено, Арминий спрашивает брата, откуда у него на лице увечье. Когда тот назвал место и битву, Арминий допытывается, какую награду он за него получил. Флав ответил, что ему увеличили жалованье и дали ожерелье, венец и другие воинские награды, и Арминий стал насмехаться над ним, говоря, что это дешевая плата за рабство.

10. После этого между ними разгорается спор; один говорит о римском величии, о мощи Цезаря, о суровом возмездии, ожидающем побежденных, о милости, обеспеченной всякому, кто покорится, о том, что с женою и сыном Арминия не обращаются как с врагами; другой — о долге перед родиной, об унаследованной от предков свободе, об исконных германских богах, о том, что и мать также призывает Флава вернуться и быть не перебежчиком и предателем в отношении родственников и близких, наконец, всего племени, а его предводителем. Понемногу дело дошло до ссоры, и даже разделявшая их река не помешала бы им схватиться друг с другом, если бы подскакавший Стертиний не удержал распаленного гневом Флава, требовавшего оружие и коня. На другом берегу был виден Арминий, который разражался угрозами и вызывал римлян на бой; в свою речь он вставлял многое на латинском языке, так как когда-то служил в римском войске, начальствуя над своими соотечественниками.

11. На следующий день германцы построились в боевом порядке на той стороне Визургия. Сочтя, что долг полководца возбраняет ему подвергнуть легионы величайшей опасности, когда мосты не наведены и надежные заслоны не выставлены, Цезарь переправляет вброд только конницу. Возглавляли ее Стертиний и центурион первого манипула Эмилий, которые бросились в воду на некотором расстоянии друг от друга, чтобы разъединить силы врага. Там, где поток был особенно бурным, пробился к тому берегу Хариовальда, вождь батавов. Херуски притворным бегством завлекли его на поляну, окруженную поросшими лесом холмами; здесь,

снова появившись пред ним и высыпав отовсюду, они теснят противников, преследуют отходящих и поражают собравшихся в круг батавов: кто, вступая с ними в рукопашную схватку, кто — издали. Хариовальда, долгое время сдерживавший яростный натиск врагов, призвав своих сплотиться и прорвать напирающие на них толпы херусков, пробивается вперед и оказывается в самой их гуще; там, осыпаемый дротиками и стрелами, он падает с раненого коня, и рядом с ним — многие из знатных батавов. Других спасли от гибели собственная их сила и подоспевшие к ним на помощь всадники со Стертинием и Эмилием.

12. Переправившись через Визургий, Цезарь узнал из показания перебежчика, какое поле сражения выбрал Арминий и что другие племена собрались в посвященном Геркулесу лесу и решили произвести ночное нападение на римский лагерь. Это показание внушало доверие, да и были видны неприятельские костры; к тому же разведчики, пробравшиеся поближе к врагам, донесли, что слышно конское ржание и смутный шум, поднимаемый огромным и беспорядочным людским скопищем. Итак, сочтя, что перед решающей битвой следует ознакомиться с настроением воинов, Германик принялся размышлять, каким образом получить о нем неискаженные сведения. Трибуны и центурионы чаще всего сообщают скорее приятные, чем достоверные вести, вольноотпущенники по своей природе угодливы, приближенным свойственно льстить; если он созовет легионы на сходку, то что на ней скажут немногие первые, то и будет подхвачено остальными. Глубже можно познать душу воинов лишь тогда, когда, оставшись в своей среде и выйдя из-под надзора, они делятся за солдатской едой своими надеждами и опасениями.

13. С наступлением ночи, выйдя всего с одним провожатым из авгурала[8] и пробираясь с накинутой на плечи звериною шкурой по неведомым ночной страже темным закоулкам, он обходит лагерные дорожки, останавливается возле палаток, слышит, что о нем говорят: один превозносит похвалами знатность своего полководца, другой — его благородную внешность, большинство — его выдержку и обходительность, постоянство характера и в важных делах, и в шутках, и все они приходят к решению, что должны отблагодарить его на поле сражения и что вероломных нарушителей

мира нужно принести в жертву мщению и славе. И в это самое время один из врагов, знавший латинский язык, подскакав к валу, громко объявил, что Арминий обещает каждому, кто перейдет в войско германцев, жен и поля и по сто сестерциев в день, пока не закончатся военные действия. Это оскорбление разбудило гнев легионов: пусть только наступит срок и начнется сражение; они захватят земли германцев и завладеют их женами; они принимают только что явленное им предзнаменование[9] и предназначают себе в добычу женщин и имущество врагов. Около третьей стражи[10] на лагерь пытались совершить набег, но неприятелем не было брошено ни одного дротика, так как он обнаружил, что на укреплениях плотно стоят когорты и все надежно защищено.

14. Той же ночью Германику приснился хороший сон; ему снилось, что, принося жертву, он забрызгал себе претексту священною кровью и получил из рук своей бабки Августы другую, еще красивее. Окрыленный этим знамением и подкрепившими его ауспициями, он созывает воинскую сходку и излагает, чему учит предусмотрительность и как следует действовать в предстоящей битве. Римский воин может успешно сражаться не только в открытом поле, но, если разумно использует обстановку, то и в лесах, и в поросших лесом горах; ведь огромные щиты варваров и их непомерно длинные копья менее пригодны для боя среди древесных стволов и низкой поросли, чем римские дротики и мечи и покрывающие тело доспехи. Нужно учащать удары, направляя острие оружия в лицо: у германцев нет панцирей, нет шлемов, да и щиты у них не обиты ни железом, ни кожею — они сплетены из прутьев или сделаны из тонких выкрашенных дощечек. Только сражающиеся в первом ряду кое-как снабжены у них копьями, а у всех остальных — обожженные на огне колья или короткие дротики. И тела их, насколько они страшны с виду и могучи при непродолжительном напряжении, настолько же невыносливы к ранам; германцы, не стыдясь позора, нисколько не думая о своих вождях, бросают их, обращаются в бегство, трусливые при неудаче, попирающие законы божеские и человеческие, когда возьмут верх. Если его воины хотят покончить с тяготами походов и плаваний, то это сражение приближает желанный отдых. Теперь река Альбис ближе, чем Рейн, а за нею воевать не с кем, лишь бы ему,

идущему по той же земле, что отец и дядя, и ступающему по их следам, они добыли решительную победу.

15. Речь полководца воспламенила воинов, и был подан знак к началу сражения. Арминий и остальные вожди германцев также не переставали убеждать своих соплеменников, что это те самые римляне — наиболее быстрые в бегстве, какие были в войске у Вара, — которые, чтобы больше не воевать, подняли возмущение; они предстанут перед ожесточившимся снова врагом, пред разгневанными ими богами, часть — заклейменные ранами в спину, часть — с перебитыми в морских бурях членами, без малейшей надежды на спасение. Они прибегли к кораблям и окольному переходу по Океану, чтобы, направляясь сюда, не встретиться с теми, кто стал бы на их пути, кто, нанеся им поражение, преследовал бы их по пятам; но где сходятся врукопашную, там побежденные не найдут помощи у ветров и вёсел: «Вспомним о римской алчности, жестокости и надменности; есть ли у нас другой выход, как только отстоять свою независимость или погибнуть, не давшись в рабство?»

16. Распаленных такими речами и требующих боя воинов они выводят на равнину, носящую название Идиставизо. Расположенная между Визургием и холмами, она имеет неровные очертания и различную ширину, смотря по тому, отступают ли берега реки или этому препятствуют выступы гор. В тылу у германцев поднимался высокоствольный лес с голой землей между деревьями. Равнины и опушки лесов занимали отряды варваров; только херуски засели на вершинах холмов, чтобы во время сражения обрушиться сверху на римлян. Наше войско двигалось так: впереди вспомогательные отряды галлов и германцев, за ними — пешие лучники; затем — четыре легиона и Цезарь с двумя преторианскими когортами и отборною конницей; далее столько же других легионов и легковооруженные воины вместе с конными лучниками и когортами союзников. Воины были готовы вступить в бой, соблюдая тот же порядок, в каком они шли.

17. Увидев яростно устремившиеся вперед толпы херусков, Германик приказывает наиболее доблестным всадникам напасть на них с фланга, а Стертинию с остальной конницей обойти врага и ударить на него с тыла; сам он должен был в подходящий момент оказать им поддержку. Между тем вни-

мание полководца привлекло прекрасное предзнаменование: восемь орлов пролетели по направлению к лесу и там опустились. Увидав это, он воскликнул, обращаясь к воинам, чтобы они последовали за римскими птицами, исконными святынями легионов. Навстречу херускам устремляются пехотинцы, и одновременно их тыл и фланги теснит высланная заранее конница. И удивительное дело! Два отряда врагов пускаются бежать в противоположные стороны, те, что были в лесу, — на открытое поле, а те, что стояли на поле, — в лес. Находившихся между ними херусков римляне теснили с холмов; среди врагов виднелся Арминий, который словом, примером в бою, стойкостью в перенесении ран побуждал их держаться. И он опрокинул бы лучников и прорвался, если бы ему не преградили пути когорты ретов, винделиков и галлов. Употребив всю свою силу и быстроту коня, он все же пробился, измазав себе лицо своею кровью, чтобы остаться неузнанным. Некоторые передают, что хавки, сражавшиеся среди римских вспомогательных войск, узнали его, но дали ему ускользнуть. Такая же доблесть или хитрость спасла и Ингвиомера; остальные были перебиты. Большинство пытавшихся переплыть Визургий погибло от пущенных в них стрел и дротиков или в стремнинах реки, наконец — в потоке бегущих или от обвалов под их тяжестью берегов. Некоторые, в позорном бегстве взобравшиеся на верхушки деревьев и прятавшиеся там между ветвей, расстреливались забавы ради подоспевшими лучниками, другие были раздавлены сваленными под ними деревьями.

18. Это была большая победа и почти не стоившая нам крови. С пятого часа дня[11] и до ночи наши рубили врагов; на протяжении десяти тысяч шагов все было усеяно их трупами и оружием, причем среди доставшейся нам добычи были обнаружены цепи, которые, не сомневаясь в исходе битвы, запасли для римлян германцы. Воины тут же на поле сражения провозгласили Тиберия императором и, выложив насыпь, водрузили на нее в виде трофея оружие с надписью, в которой были поименованы побежденные племена.

19. Не столько раны, потери и поражение, сколько вид этой насыпи наполнил германцев скорбью и яростью. Только что собиравшиеся покинуть свои селения и уйти за Альбис, они теперь жаждут боя, хватаются за оружие; простые и

знатные, молодежь, старики — все совершают внезапные набеги на продвигавшееся римское войско и приводят его в расстройство. Наконец, они выбирают поле сражения, зажатое между рекой и лесами, с тесной и топкой равниною посередине; да и леса отовсюду были окружены непроходимым болотом, кроме той стороны, где ангриварии, чтобы отгородиться от херусков, возвели широкую насыпь. Здесь стала пехота, а всадники укрылись в ближайших рощах, с тем чтобы оказаться в тылу у вошедших в лес легионов.

20. Цезарь был обо всем этом осведомлен: он знал замыслы и места расположения неприятеля, все явное и все тайное, и обращал его хитрость ему же на погибель. Легату Сею Туберону он поручает конницу и открытое поле; пехотинцев же выстраивает таким образом, чтобы часть их вошла в лес ровной дорогой, а другая — преодолев противолежащую насыпь. Более трудное он оставляет себе, остальное поручает легатам. Кому выпало наступать по равнине, те вторглись без трудностей, но кому досталось захватить насыпь, на тех сверху посыпались удары, как если бы они подошли к крепостной стене. Полководец понял, что ближний бой невыгоден римлянам, и, отведя поодаль легионы, приказывает пращникам и камнеметателям бить по врагу. Извергали копья и метательные машины, и чем больше защитников показывалось на насыпи, тем большее число раненых сваливалось с нее. По овладении валом Цезарь первым во главе преторианских когорт ворвался в лес, и там завязалась рукопашная схватка; у врагов к тылу примыкало болото, у римлян — река и горы; и тем и другим некуда было податься: они могли рассчитывать только на свою доблесть, их спасение было только в победе.

21. Германцы дрались с неменьшей отвагой, чем римляне, но условия боя и их оружие были неблагоприятны для них: стиснутые во множестве на узком пространстве, они не могли ни наносить ударов своими чрезмерно длинными копьями, ни быстро отводить их назад, ни применять выпады, используя свою подвижность и ловкость; напротив, римские воины, у которых щит был тесно прижат к груди, а рука крепко держала рукоятку меча, пронзали огромные тела варваров и их ничем не защищенные лица, пробивая себе дорогу в гуще повергаемых ими врагов; да и Арминий действовал с меньшей стремительностью, чем прежде, то ли потому, что

был утомлен непрерывными битвами, или, может быть, свежая рана сковывала его движения. И Ингвиомера, который носился по всему полю боя, скорее покинуло военное счастье, чем личная доблесть. Германик, чтобы его легче могли узнать в рядах римлян, снял шлем с головы и призывал своих не прекращать сечу: не нужны пленные, только уничтожение племени положит конец войне. Уже на исходе дня он вывел из боя один легион, чтобы разбить лагерь; прочие легионы лишь с наступлением темноты пресытились вражеской кровью. Всадники сражались с переменным успехом.

22. Созвав сходку воинов и воздав на ней хвалу победителям, Цезарь повелел сложить в груду захваченное оружие с гордой надписью: «Одолев народы между Рейном и Альбисом, войско Тиберия Цезаря посвятило этот памятник Марсу, Юпитеру и Августу». О самом себе Германик ничего не добавил, опасаясь ли зависти или довольствуясь сознанием выполненного им дела. Вслед за тем он поручает Стертинию пойти походом на ангривариев, если они не поторопятся изъявить покорность. Те смиренно попросили пощады на любых условиях и получили прощение за все прошлое.

23. Но так как первая половина лета уже миновала, Цезарь, отправив сухим путем несколько легионов в зимние лагеря, посадил остальную, бóльшую, часть своего войска на корабли и провел их по реке Амизии в Океан. Сначала спокойствие морской глади нарушалось только движением тысячи кораблей, шедших на веслах или под парусами; но вскоре из клубящихся черных туч посыпался град; от налетавших со всех сторон вихрей поднялось беспорядочное волнение: пропала всякая видимость, и стало трудно управлять кораблями; перепуганные, не изведавшие превратностей моря воины или мешали морякам в их работе, или, помогая им несвоевременно и неумело, делали бесплодными усилия самых опытных кормчих. Затем и небом и морем безраздельно завладел южный ветер, который, набравшись силы от влажных земель Германии, ее полноводных рек и проносящегося над нею нескончаемого потока туч и став еще свирепее от стужи близкого севера, подхватил корабли и раскидал их по открытому Океану или повлек к островам, опасным своими отвесными скалами или неведомыми мелями. Лишь с большим трудом удалось немного от них отойти, но, когда прилив сме-

нился отливом, который понес корабли в ту же сторону, куда их относил ветер, стало невозможно держаться на якоре и вычерпывать беспрерывно врывавшуюся воду; тогда, чтобы облегчить корабли, протекавшие по бокам и захлестываемые волнами, стали выбрасывать в море лошадей, вьючный скот, снаряжение воинов и даже оружие[12].

24. Насколько Океан яростнее прочих морей и климат в Германии суровее, чем где бы то ни было, настолько и это бедствие выдавалось небывалыми размерами. Кругом были враждебные берега или такое бесконечное и глубокое море, что казалось, будто оно на краю света и земли больше не будет. Часть кораблей поглотила пучина, большинство было отброшено к лежащим вдалеке островам; и так как они были необитаемы, воины, за исключением тех, кого поддержали выкинутые прибоем конские трупы, погибли от голода. Только трирема Германика причалила к земле хавков; дни и ночи проводил он на прибрежных утесах или вдававшихся в море мысах, называя себя виновником этого бедствия, и приближенные с большим трудом удержали его от того, чтобы он не нашел себе смерть в том же море. Наконец вместе с приливом и попутным ветром вернулись разбитые корабли с немногочисленными гребцами и одеждой, натянутой взамен парусов, иные — влекомые менее пострадавшими. Поспешно починив корабли, Германик отправил их обойти острова; благодаря этой его заботливости было подобрано немало воинов; многие были возвращены недавно принятыми под нашу власть ангривариями, выкупившими их у жителей внутренних областей; некоторые были увезены в Британию и отпущены тамошними царьками. И каждый, вернувшись из дальних краев, рассказывал чудеса о невероятной силе вихрей, невиданных птицах, морских чудовищах, полулюдях-полузверях — обо всем, что он видел или во что со страху уверовал.

25. Слух о гибели флота возродил в германцах воинственный пыл, и это заставило Цезаря принять необходимые меры. Он велит Гаю Силию с тридцатью тысячами пехотинцев и тремя тысячами всадников выступить в поход против хаттов; сам он с еще большим войском нападает на марсов, недавно передавшийся римлянам вождь которых Малловенд сообщил, что зарытый в находящейся поблизости роще орел

одного из легионов Квинтилия Вара охраняется ничтожными силами. Туда немедленно был выслан отряд с предписанием отвлечь неприятеля на себя, и другой — чтобы, обойдя его с тыла, выкопать орла из земли; и тем и другим сопутствовала удача. Тем решительнее Цезарь устремляется внутрь страны, опустошает ее, истребляет врага, не смевшего сойтись в открытом бою или если кое-где и оказывавшего сопротивление, тотчас же разбиваемого и никогда, как стало известно от пленных, не трепетавшего так перед римлянами. Ибо они, как утверждали марсы, непобедимы и не могут быть сломлены никакими превратностями: ведь, потеряв флот, лишившись оружия, усеяв берега трупами лошадей и людей, они с той же доблестью и тем же упорством и как будто в еще большем числе вторглись в их земли.

26. После этого воины были отведены в зимние лагеря, и у них было радостно на душе оттого, что несчастье на море они уравновесили удачным походом. Воодушевил их и Цезарь своею щедростью, возместив каждому заявленный им урон. Было очевидно, что неприятель пал духом и склоняется к решению просить мира и что нужно еще одно лето, и тогда можно будет закончить войну. Но Тиберий в частых письмах напоминал Германику, чтобы тот прибыл в Рим и отпраздновал дарованный ему сенатом триумф. Довольно уже успехов, довольно случайностей. Он дал счастливые и большие сражения, но не должен забывать, что ветры и бури, без вины полководца, причинили жестокий и тяжелый ущерб. Божественный Август девять раз посылал самого Тиберия в Германию, и благоразумием он добился там большего, нежели силою. Именно так были им подчинены отдавшиеся под власть римлян сугамбры и укрощены мирным договором свебы и царь Маробод. И херусков, и остальные непокорные племена, после того как римляне им должным образом отмстили, можно предоставить их собственным междоусобицам и раздорам. В ответ на просьбу Германика дать ему год для завершения начатого Тиберий еще настойчивее пытается разжечь в нем тщеславие, предлагая ему консульство на второй срок, с тем чтобы свои обязанности он отправлял лично и находясь в Риме. К этому Тиберий добавлял, что если все еще необходимо вести войну, то пусть Германик оставит и своему брату Друзу[13] возможность покрыть

себя славою, так как при отсутствии в то время других врагов он только в Германии может получить императорский титул и лавровый венок. И Германик не стал дольше медлить, хотя ему было ясно, что все это вымышленные предлоги и что его желают лишить уже добытой им славы только из зависти.

27. В это же время на Либона Друза из рода Скрибониев поступил донос, обвинявший его в подготовке государственного переворота. О возникновении, ходе и окончании этого дела я расскажу подробнее, так как тогда впервые проявилось то зло, которое столько лет разъедало государство. Сенатор Фирмий Кат, один из ближайших друзей Либона, склонил этого недальновидного и легковерного юношу к увлечению предсказаниями халдеев, таинственными обрядами магов и снотолкователями; настойчиво напоминая ему, что Помпей — его прадед, Скрибония, некогда жена Августа, — тетка, Цезари — двоюродные братья[14] и что его дом полон изображений прославленных предков, он, соучаствуя в его разгульном образе жизни и помогая ему в добывании взаймы денег, всячески побуждал его к роскошеству и вводил в долги, чтобы собрать возможно больше изобличающих его улик.

28. Найдя достаточное число свидетелей и хорошо осведомленных рабов, он начинает домогаться свидания с принцепсом, предварительно сообщив ему через римского всадника Флакка Вескулария, имевшего доступ к Тиберию, о преступлении и виновном в нем. Отнюдь не отвергая доноса, Цезарь все же отказался встретиться с Катом: ведь они могут общаться при посредстве того же Флакка. Между тем Тиберий жалует Либона претурой, допускает на свои пиршества, разговаривает с ним, не меняясь в лице и ни словом не выказывая своего раздражения — так глубоко затаил он гнев! И хотя он легко мог сдержать Либона, Тиберий выжидает, предпочитая знать все его слова и дела, пока некий Юний, которого Либон попросил вызвать заклятиями тени из подземного царства, не донес об этом Фульцинию Триону. Этот Трион среди обвинителей слыл выдающимся и дорожил своей недоброю славой. Он тотчас же берет на себя обвинение, отправляется к консулам, требует, чтобы сенат произвел расследование. И сенаторы созываются на заседание, оповещенные о том, что предстоит рассмотреть важное и ужасное дело.

29. Между тем в траурной одежде, в сопровождении знат-

ных женщин Либон ходит из дома в дом, упрашивает родственников, ищет у них поддержки против грозящей ему опасности, но под разными предлогами, а в действительности вследствие все той же боязни ему повсюду в этом отказывают. В день сенатского заседания его, измученного страхом и телесным недугом или, как утверждали некоторые, притворившегося больным, доставляют на носилках к дверям курии, и он, опираясь на брата, протягивает руки и обращает слова мольбы к Тиберию, но тот встречает его с окаменевшим лицом. Затем Цезарь оглашает доносы и вызывает свидетелей, стараясь показать, что он беспристрастно относится к обвинениям, не смягчая и не отягощая их.

30. К Триону и Кату присоединились в качестве обвинителей также Фонтей Агриппа и Гай Вибий, и у них возник спор, кому должно быть предоставлено право произнесения обвинительной речи, пока наконец Вибий не заявил, что, поскольку они не смогли между собою договориться и Либон явился в суд без защитника, он по отдельности изложит обвинения, после чего предъявил письма Либона, настолько нелепые, что в одном из них, например, им задавался магам вопрос, будет ли он настолько богат, чтобы покрыть деньгами Аппиеву дорогу[15] вплоть до Брундизия. За этим письмом следовали другие, столь же глупые и вздорные, а если отнестись к ним снисходительнее — в высшей степени жалкие. Было, однако, и такое письмо, в котором, по утверждению обвинителя, возле имен Цезарей и некоторых сенаторов рукою Либона были добавлены зловещие или таинственные и непонятные знаки. И так как подсудимый отрицал, что это сделано им, было решено допросить под пыткою принадлежавших ему и свидетельствовавших против него рабов. Однако старинным сенатским постановлением воспрещалось пытать рабов, когда дело шло о жизни или смерти их господина, и искусный изобретатель судебных новшеств Тиберий повелел казначейству приобрести через своего представителя нескольких рабов Либона, дабы их можно было подвергнуть допросу под пыткою, не нарушая сенатского постановления. Вследствие этого обвиняемый попросил отложить на день разбирательство его дела и, возвратившись домой, через своего родственника Публия Квириния обратился к принцепсу с просьбою о прощении.

31. Ему было отвечено, чтобы свое ходатайство он направил сенату. Между тем дом его окружили воины; они толпились у самого входа, так что их можно было и слышать, и видеть, и тогда Либон, измученный пиршеством, которым он пожелал насладиться в последний раз, начинает призывать, чтобы кто-нибудь поразил его насмерть, хватает рабов за руки, протягивает им меч, а они, трепеща от страха, разбегаясь от него в разные стороны, опрокидывают находившийся на столе светильник, и в уже объявшей его как бы могильной тьме он двумя ударами пронзил свои внутренности. На стон, который он издал падая, сбежались вольноотпущенники, между тем как воины, увидев, что он мертв, удалились. Однако в сенате дело Либона разбиралось с прежним рвением: ему был вынесен обвинительный приговор, и Тиберий поклялся, что попросил бы сохранить ему жизнь, сколь бы виновным он ни был, если бы он сам не избрал добровольную смерть.

32. Имущество Либона было поделено между его обвинителями, и тем из них, кто принадлежал к сенаторскому сословию, вне установленного порядка были даны претуры[16]. Тогда же Котта Мессалин предложил, чтобы на похоронах потомков Либона его изображение не допускалось к участию в шествии, а Гней Лентул — чтобы никто из рода Скрибониев не принимал фамильное имя Друз. По предложению Помпония Флакка были назначены дни благодарственных молебствий богам, а решения о дарах Юпитеру, Марсу, Согласию и о том, чтобы день сентябрьских ид[17], в который Либон покончил самоубийством, отныне считался праздничным, добились Луций Пизон, Галл Азиний, Папий Мутил и Луций Апроний; я остановился на этих угодливых предложениях, чтобы показать, сколь давнее это зло в нашем государстве. Были приняты также сенатские постановления об изгнании из Италии астрологов и магов; из их числа Луций Питуаний был сброшен с Тарпейской скалы, а Публия Марция консулы, повелев трубить в трубы, предали за Эсквилинскими воротами казни принятым в старину способом[18].

33. На следующем заседании сената пространно говорили против распространившейся в государстве роскоши бывший консул Квинт Гатерий и бывший претор Октавий Фронтон, и было принято постановление, воспрещавшее употреблять

на пирах массивную золотую посуду и унижать мужское достоинство шелковыми одеждами. Фронтон шел и дальше, требуя установить предельную меру для домашнего серебра, утвари и проживающих при доме рабов (ведь тогда у сенаторов еще было в обычае высказываться, когда подходила их очередь голосовать, обо всем, что они считали существенным для общего блага). Но против этого выступил с возражениями Азиний Галл: с увеличением государства возросли и частные средства, и в этом нет ничего нового, так повелось с древнейших времен: одно состояние было у Фабрициев, иное у Сципионов; все соотносится с общественным достоянием; если оно скромно, тесны и дома граждан, но, после того как оно достигло такого великолепия, богатеет и каждый в отдельности. А что касается количества находящихся при доме рабов, серебра и всего прочего, приобретаемого для удовлетворения наших потребностей, то чрезмерное или умеренное определяется здесь только одним: совместимо ли оно с возможностями владельца. Имущественные цензы сената и всадников[19] выше не потому, что они по природе отличаются от остальных граждан, но для того, чтобы, имея преимущество в местах[20], звании и общественном положении, они располагали им также и в том, что необходимо для душевного удовлетворения и телесного здоровья, если только людей, наиболее выдающихся, которые должны брать на себя больше забот и подвергаться бо́льшим опасностям, чем кто бы то ни было, не следует лишать средств, приносящих смягчение этих забот и опасностей. Признание за пороками права называться благопристойными именами и приверженность к ним со стороны слушателей легко доставили Галлу общую поддержку. Да и Тиберий добавил, что дальнейшие ограничения в роскоши несвоевременны, но, если нравы хоть в чем-нибудь пошатнутся, то найдется кому заняться их исправлением.

34. На этом заседании выступил и Луций Пизон, который обрушился на происки при ведении общественных дел, на подкупность судов, на дерзость ораторов, угрожающих обвинениями, и заявил, что он удаляется и покидает Рим, чтобы поселиться в глухой и дальней деревне; закончив речь, он направился к выходу из сената. Это взволновало Тиберия, и, хотя ему удалось успокоить Пизона ласковыми словами, он,

сверх того, обратился к его родственникам и близким, чтобы они удерживали его своим влиянием или просьбами. Вскоре тот же Пизон с неменьшей свободой проявил свое недовольство существующими порядками, вызвав на суд Ургуланию, которую дружба Августы поставила выше законов. Ургулания, пренебрегая Пизоном и не явившись на вызов, отправилась во дворец Цезаря, но и Пизон не отступился от своего иска, несмотря на жалобы Августы, что ее преследуют и унижают. Тиберий, полагая, что ему следует пойти навстречу пожеланиям матери хотя бы открытым заявлением, что он отправится к трибуналу претора и окажет поддержку Ургулании, вышел из дворца, повелев воинам следовать за ним в некотором отдалении. Встречный народ мог наблюдать, как, затевая с бесстрастным лицом безразличные разговоры, он всячески тянул время и медлил в пути, пока Августа не приказала внести причитавшиеся с Ургулании деньги, так как попытки родственников Пизона убедить его отказаться от своих притязаний оказались напрасными. Так и закончилось это дело, из которого и Пизон вышел не посрамленным, и Цезарь с вящею для себя славою. Все же могущество Ургулании было настолько неодолимым для должностных лиц, что, являясь свидетельницей в каком-то деле, которое разбиралось в сенате, она не пожелала туда явиться; к ней пришлось послать претора, допросившего ее на дому, хотя, в соответствии с давним обыкновением, всякий раз, как весталкам требовалось свидетельствовать, их выслушивали на форуме или в суде.

35. Я не стал бы рассказывать, что разбирательство дел, подлежащих суду сената, было в этом году отложено, если бы не считал заслуживающими упоминания противоположные мнения, высказанные по этому вопросу Гнеем Пизоном и Азинием Галлом. Пизон полагал, что, хотя Цезарь, как он сам сообщил, будет в отъезде, эти дела тем более должны быть подвергнуты рассмотрению и что государству послужит к чести, если сенат и всадники, несмотря на отсутствие принцепса, смогут отправлять возложенные на них обязанности. Галл, которого Пизон опередил в показном свободолюбии, настаивал, напротив, на том, что без Цезаря и не у него на глазах не может быть ничего блистательного и возвеличивающего римский народ, и поэтому нужно повременить с раз-

бирательством дел, на которое соберется вся Италия и стекутся провинции, до его возвращения. Тиберий все это слушал, сохраняя молчание, хотя обе стороны спорили с большою горячностью; разбирательство дел все же было отложено.

36. У Галла возник спор с Цезарем. Он предложил избирать высших должностных лиц сразу на пятилетие, так, чтобы легаты, начальствовавшие над легионами и занимавшие в войсках эту должность до получения ими претуры, уже заранее были избираемы в преторы и чтобы принцепс ежегодно называл двенадцать своих кандидатов. Не было ни малейших сомнений, что предложенные им новшества метят гораздо глубже и затрагивают самую сущность единодержавия. Однако Тиберий, словно дело шло о возвеличении его власти, возражал Галлу следующим образом: для его скромных способностей непосильно выдвигать или отклонять столько кандидатур. Даже при выборах на один год едва удается не нанести кому-либо обиды, хотя потерпевший неудачу в данном году может легко утешиться надеждами на успех в следующем; сколько же неприязни возникнет среди тех, чье избрание будет отложено на целое пятилетие? И разве можно предвидеть, какими будут по истечении столь долгого промежутка времени образ мыслей, домашние обстоятельства и состояние у каждого заранее избранного? Люди проникаются высокомерием даже при избрании за год вперед; чего же можно от них ожидать, если своей должностью они будут кичиться в течение пятилетия? Все это означает не больше, не меньше как пятикратное увеличение числа высших должностных лиц, как ниспровержение действующих законов, установивших для соискателей определенные сроки, в течение которых они должны показать себя достойными своих притязаний, быть включенными в число кандидатов и вступить в должность. При помощи этой по видимости заслуживающей одобрения речи Тиберий сохранил за собой безраздельную власть.

37. Некоторым сенаторам он помог восполнить их состояние до уровня, требуемого законом[21]. Тем более непонятно, почему просьбу Марка Гортала, молодого человека знатного рода, пребывавшего в явной нужде, он встретил с открытой неприязнью. Гортал, внук оратора Квинта Гортензия, был

склонен щедростью божественного Августа, который пожаловал ему миллион сестерциев, взять жену и вырастить детей, чтобы не угас столь прославленный род. Итак, поставив своих четырех сыновей у порога курии, Гортал, когда до него дошла очередь голосовать (на этот раз сенат заседал во дворце), устремляя взгляд то на изображение Квинта Гортензия, находившееся среди изображений ораторов, то на изображение Августа, начал речь таким образом: «Почтеннейшие сенаторы, тех, число и малолетство которых вы воочию видите, я вырастил не по своей воле, но потому, что таково было желание принцепса; да и предки мои заслужили, чтобы у них были потомки, ибо я, из-за превратности обстоятельств[22] не имевший возможности ни унаследовать, ни достигнуть — ни богатства, ни народного расположения, ни красноречия, этого исконного достояния нашего рода, был бы доволен своею судьбой, если бы моя бедность не покрывала меня позором и не была в тягость другим. Я женился по повелению императора. Вот потомство и отпрыски стольких консулов, стольких диктаторов[23]. Я вспоминаю об этом не из тщеславия, но чтобы привлечь сострадание. В твое правление, Цезарь, они получат от тебя почетные должности, которыми ты их соблаговолишь одарить; а пока спаси от нищеты правнуков Квинта Гортензия и тех, к кому благоволил божественный Август!»

38. Благожелательность сената к Горталу повела лишь к тому, что Тиберий тем резче обрушился на него, высказавшись примерно в таких словах: «Если все бедняки, сколько их ни есть, станут являться сюда и выпрашивать для своих детей деньги, то никто из них никогда не насытится, а государство между тем впадет в нищету. И, конечно, не для того дозволено нашими предками отвлекаться порою от обсуждаемого предмета и вместо подачи голоса высказывать клонящиеся к общему благу суждения, чтобы мы устраивали здесь наши дела и умножали свои состояния, навлекая на сенат и принцепсов неприязнь, снисходят ли они к просьбе или отказывают в ней. Ведь это — не просьба, а вымогательство, несвоевременное и неожиданное, подниматься со своего места, когда сенаторы собрались для обсуждения совсем иных дел, и давить на добрые чувства сената числом и малолетством своих детей, применять то же насилие и надо мною и как бы взламывать государственную сокровищницу, пополнить ко-

торую, если мы опустошим ее своими искательствами, можно будет лишь преступлениями. Да, божественный Август даровал тебе, Гортал, деньги, но он сделал это по доброй воле и не беря на себя обязательства, что они будут выдаваться тебе и впредь. Притом же иссякнет старательность и повсюду распространится беспечность, если основание для своих опасений или надежд никто не будет видеть в себе самом, но все станут беззаботно ждать помощи со стороны, бесполезные для себя, а нам — в тягость». Это и прочее в том же роде, хотя и выслушанное с одобрением теми, у кого в обычае восхвалять все, что исходит от принцепсов, будь оно честным или бесчестным, большинство восприняло в молчании или с глухим ропотом. Тиберий это почувствовал и, немного помедлив, сказал, что таково его мнение по делу Гортала, но, если сенаторы пожелают, он выдаст его детям мужского пола по двести тысяч сестерциев каждому. Сенаторы стали изъявлять Тиберию благодарность, но Гортал молчал, то ли от волнения, то ли, несмотря на жалкие свои обстоятельства, сохраняя унаследованное от предков душевное благородство. Позднее Тиберий больше не проявлял к его семье сострадания, хотя род Гортензиев и впал в позорную нищету.

39. В том же году дерзость одного раба могла бы, не будь своевременно приняты меры, привести к смуте и гражданской войне и потрясти государство. Раб Агриппы Постума по имени Клемент, узнав о кончине Августа, задумал с несвойственной рабской душе отвагою отплыть на остров Планазию и, похитив там силою или обманом Агриппу, доставить его затем к войску, стоявшему против германцев. Осуществлению его замысла помешала медлительность торгового судна, и расправа над Агриппой была совершена. Тогда Клемент, решившись на еще большее и более дерзновенное, выкрадывает его прах и, перебравшись на мыс в Этрурии Козу, скрывается в уединенных местах, пока у него не отросли волосы и борода; а внешностью и годами он был похож на своего господина. Затем, при посредстве сообщников, пригодных для этого и знающих его тайну, он распространяет слух, что Агриппа жив, о чем сначала они говорят с осторожностью, как это обычно бывает, когда речь заходит о чем-нибудь недозволенном, а затем широко и открыто перед людьми бесхитростными и легковерными, готовыми ловить их слова, или

недовольными существующими порядками и жаждавшими поэтому перемен. Клемент и сам, после того как стемнеет, посещал муниципии, избегая, однако, показываться на людях и нигде подолгу не оставаясь, и так как истина утверждает себя доступностью взорам и временем, а ложь — неопределенностью и суетливостью, он здесь оставлял по себе молву, а там упреждал ее.

40. Между тем по всей Италии распространился слух, что попечением богов Агриппа спасся от гибели; верили этому и в Риме: уже в народе шли толки о его прибытии в Остию, уже в городе[24] происходили тайные сборища, а Тиберий, озабоченный и встревоженный, все еще метался между двумя решениями, обуздать ли своего раба военною силой или выждать, чтобы этот нелепый слух со временем рассеялся сам собою: колеблясь между стыдом и страхом, он то утверждался в мысли, что нельзя пренебрегать никакими мерами, то — что не подобает всего бояться. Наконец он поручает Саллюстию Криспу взяться за это дело. Тот выбирает из своих клиентов двоих (по словам некоторых — воинов) и внушает им, чтобы, притворившись единомышленниками Клемента, они посетили его, предложили ему денег и уверили в своей преданности и готовности разделить с ним опасности. Они поступили как им было приказано. Затем, выждав ночь, когда он остался без всякой охраны, и взяв с собою достаточно сильный отряд, они связали Клемента и, заткнув ему рот кляпом, доставили во дворец. Рассказывают, что на вопрос Тиберия, как же он стал Агриппою), Клемент ответил: «Так же, как ты — Цезарем». Его не смогли принудить выдать сообщников. И Тиберий, не решившись открыто казнить Клемента, повелел умертвить его в одном из глухих помещений дворца, а труп тайно вынести. И хотя говорили, что многие придворные, а также всадники и сенаторы снабжали Клемента средствами и помогали ему советами, дальнейшего расследования произведено не было.

41. В конце года близ храма Сатурну[25] была освящена арка по случаю возвращения потерянных при гибели Вара значков, отбитых под начальством Германика при верховном руководстве Тиберия; на берегу Тибра, в садах, завещанных народу диктатором Цезарем, был также освящен храм в честь богини Фортуны, а в Бовиллах — святилище рода Юлиев и статуя божественному Августу.

В консульство Гая Целия и Луция Помпония, в седьмой день до июньских календ[26], Цезарь Германик справил триумф над херусками, хаттами, ангривариями и другими народами, какие только ни обитают до реки Альбис. Везли добычу, картины, изображавшие горы, реки, сражения; вели пленных; и хотя Тиберий не дал Германику закончить войну, она была признана завершенной. Особенно привлекали взоры зрителей прекрасная внешность самого полководца и колесница, в которой находилось пятеро его детей. Многие, однако, испытывали при этом затаенные опасения, вспоминая, что всеобщее поклонение не принесло счастья его отцу Друзу, что его дядя Марцелл еще совсем молодым был похищен смертью у горячей народной преданности; что недолговечны и несчастливы любимцы римского народа.

42. Впрочем, Тиберий роздал от имени Германика по триста сестерциев на человека и выдвинул себя ему в сотоварищи на время его консульства. Но не добившись этим веры в искренность своей любви и привязанности к Германику, он порешил удалить молодого человека под видом почестей и для этого измыслил уважительные причины или, быть может, ухватился за случайно представившиеся. Царь Архелай пятидесятый год владел Каппадокией и был ненавистен Тиберию, так как в бытность того на Родосе не оказал ему никакого внимания. Поступил же Архелай таким образом не из надменности, но вследствие предостережения приближенных Августа, ибо пока был в силе Гай Цезарь, посланный тогда на Восток для устроения дел, дружба с Тиберием считалась небезопасной. Завладев после пресечения рода Цезарей императорской властью, Тиберий заманил Архелая написанным Августой письмом, в котором, не умалчивая о нанесенных сыну обидах, она предлагала ему его милость, если он прибудет, чтобы ее испросить. И Архелай, не заподозрив коварства или опасаясь насильственных действий, если поймут, что он его разгадал, поспешил отправиться в Рим; неприязненно принятый принцепсом и затем обвиненный в сенате, он преждевременно завершил дни своей жизни, то ли по своей воле, то ли по велению рока, но не потому, что сознавал за собой приписываемые ему мнимые преступления, а от охватившей его тревоги, старческого изнурения и оттого, что царям непривычно пребывать даже на положении равного, не

говоря уже об униженном положении. Царство его было превращено в провинцию, и Цезарь, заявив, что доходы с нее позволяют снизить налог, составлявший до этого одну сотую с торгового оборота, повелел ограничиться в будущем одной двухсотой. Тем временем скончались Антиох, царь коммагенский, и Филопатор, царь киликийский, что вызвало среди их народов волнения, причем большинство выражало желание, чтобы ими правили римляне, а остальные — чтобы их собственные цари; тогда же провинции Сирия и Иудея, обремененные непомерно большими поборами, обратились с ходатайством о снижении податей.

43. Итак, Тиберий выступил перед сенаторами с изложением всего этого, а также того, что я уже упоминал об Армении, утверждая, что со смутою на Востоке может справиться лишь мудрость Германика; ведь сам он уже в преклонных летах, а Друз еще не вполне достиг зрелого возраста. Тогда сенат вынес постановление, которым Германик назначался правителем всех заморских провинций, располагая, куда бы он ни направился, большею властью, нежели та, какою обычно наделялись избранные по жребию или назначенные по повелению принцепса. Вместе с тем Тиберий отстранил от управления Сирией Кретика Силана, связанного свойством с Германиком, так как дочь Силана была помолвлена с Нероном, старшим из сыновей Германика, и поставил на его место Гнея Пизона, человека неукротимого нрава, не способного повиноваться; эту необузданность он унаследовал от отца, того Пизона, который во время гражданской войны своею кипучей деятельностью немало помог в борьбе против Цезаря враждовавшей с ним партии, когда она снова поднялась в Африке, и который, примкнув затем к Бруту и Кассию, после того как получил разрешение возвратиться, упорно воздерживался от соискания государственных должностей, пока его не уговорили принять предложенное ему Августом консульство. Впрочем, помимо унаследованного им от отца духа строптивости, гордыня его находила для себя обильную пищу в знатности и богатстве его супруги Планцины; он едва подчинялся Тиберию, а к детям его относился с пренебрежением, ставя их много ниже себя. Он нисколько не сомневался, что Тиберий остановил на нем выбор и поставил во главе Сирии с тем, чтобы пресечь надежды Германика. Некоторые

считали, что и Тиберий дал ему тайные поручения, но не подлежит сомнению то, что Августа, преследуя Агриппину женским соперничеством, восстановила против нее Планцину. Ибо весь двор был разделен на два противостоящих друг другу стана, молчаливо отдававших предпочтение или Германику, или Друзу. Тиберий благоволил к Друзу, так как тот был его кровным сыном; холодность дяди усиливала любовь к Германику со стороны всех остальных; этому же способствовало и то, что он стоял выше Друза знатностью материнского рода, имея своим дедом Марка Антония и двоюродным дедом — Августа[27]. Напротив, прадед Друза Помпоний Аттик, простой римский всадник, считался недостойным родословной Клавдиев[28], да и супруга Германика Агриппина превосходила числом рожденных ею детей и доброю славой Ливию, жену Друза. Впрочем, братья жили в примерном согласии, и распри близких нисколько не отражались на их отношениях.

44. Вскоре Друз был отправлен в Иллирию; это было сделано для того, чтобы он освоился с военною службой и снискал расположение войска; Тиберий считал, что молодого человека разумнее держать в лагере, вдали от соблазнов столичной роскоши, а вместе с тем что и сам он обеспечит себе бóльшую безопасность, если легионы будут распределены между обоими его сыновьями. В качестве предлога Тиберий воспользовался просьбою свебов помочь им против херусков, ибо, после ухода римлян, избавившись от страха перед внешним врагом, оба племени, как это постоянно случается у германцев, а на этот раз борясь к тому же за первенство, обратили друг против друга оружие. Силы этих племен и доблесть властвовавших над ними вождей были равны; однако титул царя, который носил Маробод, был ненавистен его соплеменникам, тогда как Арминий, отстаивая свободу, находил повсюду сочувствие и поддержку.

45. Таким образом, в войну со свебами вступили не только херуски и их союзники — давние воины Арминия, — но и примкнувшие к нему, отмежевавшись от Маробода, свебские племена семнонов и лангобардов. После их присоединения Арминий был бы сильнее противника, если бы к Марободу не перешел с отрядом зависимых от него воинов Ингвиомер, сделавший это не по какой-либо иной причине, как только

из-за того, что, приходясь Арминию дядей и будучи в летах, он не желал повиноваться молодому племяннику, сыну своего брата. Войска устремляются в бой с равною надеждою на успех; и германцы не бросаются беспорядочно на врага, как это некогда бывало у них, и не дерутся нестройными толпами; ибо за время длительной войны с нами они научились следовать за значками, приберегать силы для решительного удара и повиноваться военачальникам; и вот Арминий, верхом объезжая войско и наблюдая за ходом сражения, напоминает каждому отряду, что не кто иной, как он, Арминий, возвратил им свободу и уничтожил римские легионы, и указывает при этом на захваченные у римлян оружие и доспехи, которыми все еще пользовались многие из его воинов; Маробода он называет жалким трусом, уклонявшимся от сражений и укрывавшимся в чаще Герцинского леса, впоследствии добившимся посредством даров и посольств заключения мира с римлянами, предателем родины, заслуживающим, чтобы его отвергли с такою же беспощадностью, с какою они истребляли легионы Квинтилия Вара. Пусть они вспомнят о стольких битвах, исход которых равно как и последовавшее затем изгнание римлян в достаточной мере показывают, кто взял верх в этой войне.

46. И Маробод также не воздерживался от самовосхваления и поношений врага: держа за руку Ингвиомера, он заявлял, что в нем одном воплощена вся слава херусков и что победа была достигнута исключительно благодаря его советам и указаниям; между тем Арминий — человек безрассудный и в делах совершенно несведущий — присваивает чужую славу, ибо коварным образом завлек три заблудившихся легиона и их полководца[29], не подозревавшего об обмане, что, однако, навлекло на Германию великие бедствия, а на него самого — позор, поскольку его жена и сын все еще томятся в рабстве[30]. А он, Маробод, выдержав натиск двенадцати легионов, во главе которых стоял сам Тиберий[31], сохранил непомеркнувшей славу германцев, а затем заключил мир на равных условиях, и он отнюдь не раскаивается, что теперь зависит от них самих, предпочтут ли они новую войну с римлянами или бескровный мир. Помимо этих речей, которыми были распалены оба войска, у них были и собственные причины, побудившие их к столкновению, ибо херуски и ланго-

барды сражались, отстаивая былую славу или только что обретенную ими свободу, а их противники — ради усиления своего владычества. Никогда прежде они не устремлялись друг против друга с такой яростью, и никогда исход боя не оставался столь же неясным; ожидали, что сражение разразится с новою силой, но Маробод отошел на возвышенности, где и расположился лагерем. Это свидетельствовало о том, что он потерпел поражение; лишившись в конце концов из-за большого числа перебежчиков почти всего своего войска, он отступил в пределы маркоманов и отправил послов к Тиберию с мольбою о помощи. Ему ответили, что он не вправе призывать римское войско для борьбы против херусков, так как ничем не помог в свое время римлянам, сражавшимся с тем же врагом. Впрочем, как мы уже сообщили, ради пресечения этих усобиц отправили Друза.

47. В том же году были разрушены землетрясением двенадцать густонаселенных городов Азии, и так как это произошло ночью, бедствие оказалось еще неожиданнее и тяжелее. Не было спасения и в обычном в таких случаях бегстве на открытое место, так как разверзшаяся земля поглощала бегущих. Рассказывают, что осели высочайшие горы; вспучилось то, что было дотоле равниной; что среди развалин полыхали огни. Больше всего пострадали жители Сард, и они же удостоились наибольших милостей со стороны Цезаря, ибо он пообещал им десять миллионов сестерциев и на пять лет освободил от всех платежей, которые они вносили в государственное казначейство или в казну императора. Жители Магнесии, что поблизости от горы Сипил, чей город пострадал почти так же, как Сарды, получили сходное вспомоществование. Было принято постановление освободить на тот же срок от уплаты податей жителей Темна, Филадельфии, Эги, Аполлониды, тех, кого называют мостенцами или македонскими гирканами, а также города Гиерокесарию, Мирину, Киму и Тмол, и послать к ним сенатора, который на месте ознакомился бы с их положением и оказал необходимую помощь. Избран был для этого Марк Атей, бывший претор, так как Азией управлял бывший консул; тем самым устранялась опасность соперничества между людьми равного звания, из-за чего могли бы возникнуть нежелательные помехи.

48. Эту благородную щедрость в делах общественных Це-

зарь подкрепил милостивыми пожалованиями, доставившими ему не меньшую благодарность: имущество Эмилии Музы, на которое притязала императорская казна, так как эта богатая женщина не оставила завещания, он уступил Эмилию Лепиду, поскольку умершая принадлежала, по-видимому, к его роду, а наследство после состоятельного римского всадника Пантулея, хотя ему самому в нем была отказана доля, отдал Марку Сервилию по более раннему и не внушавшему подозрения завещанию, единственному, как он узнал, наследнику Пантулея, причем, объясняя свое решение, Тиберий сказал, что знатности того и другого нужно оказать денежную поддержку. И вообще он принимал наследство только в том случае, если считал, что заслужил его своею дружбой, и решительно от него отказывался, если оно было завещано человеком, ему неизвестным, питавшим вражду ко всем прочим и лишь поэтому назначившим своим наследником принцепса. Облегчая честную бедность людей добродетельных, он вместе с тем удалил из сената — или не возражал, чтобы они ушли из него по своей воле, — заведомых расточителей или впавших в нужду по причине распутства, а именно: Вибидия Варрона, Мария Непота, Аппия Аппиана, Корнелия Суллу и Квинта Вителлия.

49. Тогда же Тиберий освятил обветшавшие или пострадавшие от огня древние храмы, восстановление которых было начато Августом: храм Либеру, Либере и Церере возле Большого цирка[32], построенный по обету диктатора Авла Постумия, находящийся там же храм Флоре, возведенный эдилами Луцием и Марком Публициями, и святилище Янусу, сооруженное близ Овощного рынка[33] Гаем Дуилием, первым из римлян одержавшим победу на море и удостоенным морского триумфа над карфагенянами. Храм Надежде был освящен Германиком, — обет построить его дал во время той же войны Авл Атилий.

50. Закон об оскорблении величия приобретал между тем все бóльшую силу: на его основании доносчик привлек к ответственности внучку сестры Августа Аппулею Вариллу, которая, как он утверждал, издевалась в поносных словах над божественным Августом и Тиберием, равно как и над его матерью, и, кроме того, являясь родственницей Цезаря, пребывала в прелюбодейной связи. Что касается прелюбодея-

ния, то сочли, что оно в достаточной мере наказуется по закону Юлия[34], но оскорбление величия Цезарь потребовал выделить и, подвергнув особому разбирательству, покарать Аппулею, если она действительно отзывалась непочтительно о божественном Августе; за сказанное ему, Тиберию, в поношение он не желает преследовать ее по суду. На вопрос консула, каково будет его решение касательно того, что обвиняемая якобы говорила о его матери, Цезарь ничего не ответил; на следующем заседании сената он попросил, однако, от имени матери не вменять кому-либо в вину слова, сказанные против нее. В конце концов он снял с Вариллы обвинение в оскорблении величия; он также ходатайствовал о том, чтобы за прелюбодеяние ей не было назначено чрезмерно сурового наказания, и посоветовал, чтобы, последовав в этом примеру предков, ее выслали за двухсотый милиарий от Рима. Прелюбодею Манлию было запрещено проживать в Италии, а также в Африке.

51. В связи с назначением претора на место умершего Випстана Галла разгорелась борьба. Германик и Друз (оба тогда еще были в Риме) поддерживали родственника Германика Гатерия Агриппу[35]; напротив, большинство настаивало на том, чтобы из числа кандидатов предпочтение было отдано наиболее многодетному, что отвечало и требованиям закона[36]. Тиберий радовался, что сенату приходится выбирать между его сыновьями и законом. Закон, разумеется, был побежден, но не сразу и незначительным большинством голосов, как побеждались законы и в те времена, когда они еще обладали силою.

52. В том же году в Африке началась война, возглавляемая со стороны неприятеля Такфаринатом. Нумидиец родом, он служил в римском лагере во вспомогательном войске; бежав оттуда, он принялся ради грабежа и захвата добычи набирать всякий привычный к разбою сброд, а затем, создав по принятому в войске обыкновению отряды пеших и конных, стал вождем уже не беспорядочной шайки, как это было вначале, но целого племени мусуламиев. Племя это, значительное и сильное, обитавшее близ африканских пустынь и тогда совершенно не знавшее городской жизни, взялось за оружие и вовлекло в войну с нами соседних мавританцев, которыми предводительствовал Мазиппа. Неприятельское войско было

разделено на две части: Такфаринат держал в лагере отборных и вооруженных на римский лад воинов, приучая их к дисциплине и повиновению, тогда как Мазиппа, неожиданно налетая с легковооруженными, жег, убивал и сеял повсюду ужас. Они успели подбить на то же самое и кинифиев, народ немалочисленный и отнюдь не слабый, когда проконсул Африки Фурий Камилл повел на врага легион вместе с воинами вспомогательных войск, какие только у него были, — ничтожную силу, если сравнить ее с множеством нумидийцев и мавританцев; и все же римский военачальник больше всего опасался, как бы враги из страха не уклонились от битвы. Но надежда на победу привела их к поражению. Итак, легион располагается посередине, а по флангам — когорты легковооруженных и два конных отряда. Такфаринат не отказался от боя. Нумидийцы были разбиты, и вновь после долгих лет имя Фуриев украсилось воинской славою. Ибо после знаменитого освободителя Рима[37] и его сына Камилла полководческая слава принадлежала другим родам, да и сам Фурий, про которого мы здесь вспоминаем, считался человеком, в военном деле несведущим. Тем охотнее Тиберий превознес в сенате его деяния, а сенаторы присудили ему триумфальные почести, что́, по причине непритязательного образа жизни Камилла, прошло для него безнаказанно.

53. В следующем году Тиберий получил консульство в третий раз, Германик — вторично. В эту должность, однако, он вступил в ахейском городе Никополе, куда прибыл, следуя вдоль иллирийского побережья, чтобы повидать брата, находившегося в Далмации, после тяжелого плаванья сначала по Адриатическому, а затем Ионическому морю. В Никополе он провел несколько дней, пока чинились корабли его флота; вместе с тем он побывал в Актийском заливе и посетил знаменитый храм, построенный Августом на вырученные от продажи добычи средства[38], а также места, где находился лагерь Антония, вспоминая о своих предках. Ибо, как я уже говорил, Август был ему дядей, Антоний — дедом, и там пред ним постоянно витали великие образы радости и скорби. Отсюда направился он в Афины, где в честь союзного, дружественного и древнего города оставил при себе только одного ликтора. Греки приняли его с изысканнейшими почестями, непрерывно превознося дела и слова своих пред-

ков, чтобы тем самым придать бóльшую цену расточаемой ими лести.

54. Отплыв затем на Эвбею, он переправился оттуда на Лесбос, где Агриппина родила ему Юлию, своего последнего ребенка. Потом, пройдя мимо крайней оконечности Азии, он посещает фракийские города Перинф и Бизантий, минует пролив Пропонтиды и достигает выхода в Понт, движимый желанием познакомиться с этими древними и прославленными молвою местами; одновременно он пытается успокоить и ободрить провинции, изнуренные внутренними раздорами и утеснениями со стороны магистратов. На обратном пути дувший навстречу северный ветер помешал ему добраться до Самофраки, где он хотел увидать тамошние священнодействия[39]. Итак, посетив Илион и осмотрев в нем все, что было достойно внимания как знак изменчивости судьбы и как памятник нашего происхождения[40], он снова направляется в Азию и пристает к Колофону, чтобы выслушать прорицания Кларосского Аполлона. Здесь не женщина, как принято в Дельфах, но жрец, приглашаемый из определенных семейств и почти всегда из Милета, осведомляется у желающих обратиться к оракулу только об их числе и именах; затем, спустившись в пещеру и испив воды из таинственного источника, чаще всего не зная ни грамоты, ни искусства стихосложения, жрец излагает складными стихами ответы на те вопросы, которые каждый мысленно задал богу. И рассказывали, что Германику иносказательно, как это в обычае у оракулов, была возвещена преждевременная кончина.

55. Между тем Гней Пизон, торопясь приступить к осуществлению своих целей, обрушивается со злобною речью на испуганный его стремительным появлением город афинян, задев в ней косвенным образом и Германика, слишком ласково, по его мнению, обошедшегося не с подлинными афинянами, которые истреблены столькими бедствиями, а с носящим то же название сбродом племен и народов: ведь это они заодно с Митридатом пошли против Суллы[41], заодно с Антонием — против божественного Августа. Он упрекал их также за прошлое, за их неудачи в борьбе с македонянами[42], за насилия, которые они чинили над своими согражданами[43], питая при этом и личную неприязнь к их городу, так как, невзирая на его просьбы, они не простили некоего Теофила, осуж-

денного за подлог ареопагом[44]. Затем, поспешно совершив плаванье с заходом на Киклады и всячески сокращая путь по морю, Пизон настигает у острова Родоса Германика, для которого не было тайною, с какими нападками тот обрушился на него; но Германик повел себя с таким великодушием, что, когда разразившаяся буря понесла Пизона на скалы и гибель его могла бы найти объяснение в случайном несчастье, Германиком были высланы на помощь ему триремы, благодаря чему тот избежал кораблекрушения. Это, однако, нисколько не смягчило Пизона, и, едва переждав один день, он покинул Германика и, опережая его, отправился дальше. Прибыв в Сирию и встав во главе легионов, щедрыми раздачами, заискиванием, потворством самым последним из рядовых воинов, смещая вместе с тем старых центурионов и требовательных трибунов и назначая на их места своих ставленников или тех, кто отличался наиболее дурным поведением, а также терпя праздность в лагере, распущенность в городах, бродяжничество и своеволие воинов в сельских местностях, он довел войско до такого всеобщего разложения, что получил от толпы прозвище «Отца легионов». Да и Планцина не держалась в границах того, что прилично для женщин, но присутствовала на учениях всадников, на занятиях когорт, поносила Агриппину, поносила Германика, причем кое-кто даже из добропорядочных воинов изъявлял готовность служить ей в ее кознях, так как ходили смутные слухи, что это делается не против воли самого принцепса. Все это было известно Германику, но он считал своей первейшей заботой как можно скорее прибыть к армянам.

56. Этот народ испокон века был ненадежен и вследствие своего душевного склада, и вследствие занимаемого им положения, так как земли его, гранича на большом протяжении с нашими провинциями, глубоко вклиниваются во владение мидян; находясь между могущественнейшими державами, армяне по этой причине часто вступают с ними в раздоры, ненавидя римлян и завидуя парфянам. Царя в то время, по устранении Вонона, они не имели[45]; впрочем, благоволение народа склонялось к сыну понтийского царя Полемона Зенону, так как, усвоив с раннего детства обычаи и образ жизни армян, он своими охотами, пиршествами и всем, что в особой чести у варваров, пленил в равной мере и придворных, и

простолюдинов. Итак, Германик в городе Артаксате, с полного одобрения знатных и при стечении огромной толпы, возложил на его голову знаки царского достоинства. Присутствовавшие, величая царя, нарекли его Артаксием, каковое имя они дали ему по названию города. Между тем жители Каппадокии, преобразованной в римскую провинцию, приняли правителем легата Квинта Верания; при этом, чтобы породить надежду, что римское управление окажется более мягким, были снижены кое-какие из царских налогов; над жителями Коммагены, тогда впервые подчиненной преторской власти, ставится правителем Квинт Сервей.

57. И хотя государственные дела были успешно улажены, Германика это не радовало из-за заносчивости Пизона, который пренебрег его приказанием либо самому привести часть легионов в Армению, либо отправить их со своим сыном. Встретились они только в Кирре, зимнем лагере десятого легиона, — оба с непроницаемыми и бесстрастными лицами, — Пизон, чтобы показать, что он ничего не боится, Германик — чтобы не выдать своего раздражения: ведь он был, как я уже сказал, мягким и снисходительным. Но злокозненные друзья, стремясь разжечь в нем вражду, преувеличивали в своих сообщениях правду, нагромождали ложь и всеми возможными способами чернили в его глазах и Пизона, и Планцину, и их сыновей. Наконец, в присутствии нескольких приближенных, Цезарь, стремясь подавить в себе гнев, первым обратился к Пизону; тот принес извинения, в которых, однако, чувствовались упорство и своеволие; и они разошлись с открытой обоюдною ненавистью. После этого Пизон редко бывал в трибунале, заседавшем под председательством Цезаря, а когда ему все же случалось присутствовать на его заседаниях, был мрачен и всем своим видом выражал несогласие. А однажды, когда на пиру у царя набатеев Цезарю и Агриппине были предложены массивные золотые венки, а Пизону и остальным — легковесные, он громко сказал, что это пиршество дается не в честь сына царя парфян, а в честь сына римского принцепса, и, оттолкнув от себя венок, добавил многое в осуждение роскоши, что, сколь бы неприятным оно ни было для Германика, тот молча стерпел.

58. Между тем явились послы от парфянского царя Артабана. Он направил их ради того, чтобы они напомнили рим-

скому полководцу о дружбе и договоре и заявили о его, Артабана, желании возобновить прежние связи: стремясь оказать Германику честь, он прибудет, помимо того, к берегам Евфрата; а пока он просит о том, чтобы Вонон не оставался более в Сирии и не подстрекал к смуте вождей парфянских племен, посылая своих людей в близлежащие местности. Германик в достойных словах отозвался о союзе римлян с парфянами, а на сообщение о приезде царя и о воздании ему, Германику, почестей ответил любезно и скромно. Вонон был удален в Помпейополь, приморский город Киликии. Цезарь сделал это, не только идя навстречу просьбам царя, но и с тем, чтобы задеть Пизона, который был весьма расположен к Вонону, пленившему Планцину многочисленными услугами и подарками.

59. В консульство Марка Силана и Луция Норбана Германик отбывает в Египет для ознакомления с его древностями. Впрочем, он ссылался на необходимость позаботиться об этой провинции и, действительно, открыв государственные хлебные склады, снизил благодаря этому цены на хлеб и сделал много добра простому народу; здесь он повсюду ходил без воинской стражи, в открытой обуви и в таком же плаще, какой носили местные греки, подражая в этом Публию Сципиону[46], который, как мы знаем, сходным образом поступал в Сицилии, невзирая на то, что война с Карфагеном была еще в полном разгаре. Тиберий, слегка попеняв Германику за его одежду и образ жизни, суровейшим образом обрушился на него за то, что, вопреки постановлению Августа, он прибыл в Александрию, не испросив на это согласия принцепса. Ибо Август наряду с прочими тайными распоряжениями во время своего правления, запретив сенаторам и виднейшим из всадников приезжать в Египет без его разрешения, преградил в него доступ, дабы кто-нибудь, захватив эту провинцию и ключи к ней на суше и на море[47] и удерживая ее любыми ничтожно малыми силами против огромного войска, не обрек Италию голоду.

60. Но Германик, еще не зная о том, что его поездка осуждается принцепсом, отплыл из города Канопа по Нилу. Основали этот город спартанцы, похоронившие здесь корабельного кормчего, прозывавшегося Канопом, что произошло в те времена, когда Менелай, возвращаясь в Грецию, был от-

брошен бурею в противолежащее море, к земле Ливии. Затем Германик направился в ближайший отсюда рукав реки, посвященный Геркулесу, относительно которого туземные жители утверждают, что он родился в этих местах и является древнейшим их обитателем и что те, кто позднее обладал такою же доблестью, были наречены его именем; посетил Германик и величественные развалины древних Фив. На обрушившихся громадах зданий там все еще сохранялись египетские письмена, свидетельствующие о былом величии, и старейший из жрецов, получив приказание перевести эти надписи, составленные на его родном языке, сообщил, что некогда тут обитало семьсот тысяч человек, способных носить оружие, что именно с этим войском царь Рамсес овладел Ливией, Эфиопией, странами мидян, персов и бактрийцев, а также Скифией и что, сверх того, он держал в своей власти все земли, где живут сирийцы, армяне и соседящие с ними каппадокийцы, между Вифинским морем, с одной стороны, и Ликийским — с другой. Были прочитаны надписи и о податях, налагавшихся на народы, о весе золота и серебра, о числе вооруженных воинов и коней, о слоновой кости и благовониях, предназначавшихся в качестве дара храмам, о том, какое количество хлеба и всевозможной утвари должен был поставлять каждый народ, — и это было не менее внушительно и обильно, чем взимаемое ныне насилием парфян или римским могуществом.

61. Но Германик обратил внимание и на прочие чудеса Египта, из которых главнейшими были вытесанное из камня изображение Мемнона, издающее, когда его коснутся солнечные лучи, громкий звук, похожий на человеческий голос[48], пирамиды наподобие гор среди сыпучих и непроходимых песков, возведенные иждивением соревнующихся царей, озеро[49], искусно вырытое в земле и принимающее в себя полые нильские воды, и еще находящиеся в другом месте теснины, через которые пробивается Нил, здесь настолько глубокий, что никому не удается измерить его глубину. Отсюда он прибыл на Элефантину и в Сиену, некогда пограничные твердыни Римского государства, которое простирается ныне вплоть до Красного моря.

62. Пока для Германика это лето проходило во многих провинциях, Друз, подстрекая германцев к раздорам, чтобы

довести уже разбитого Маробода до полного поражения, добился немалой для себя славы. Был между готонами знатный молодой человек по имени Катуальда, в свое время бежавший от чинимых Марободом насилий и, когда тот оказался в бедственных обстоятельствах, решившийся ему отомстить. С сильным отрядом он вторгается в пределы маркоманов и, соблазнив подкупом их вождей, вступает с ними в союз, после чего врывается в столицу царя и расположенное близ нее укрепление. Тут были обнаружены захваченная свебами в давние времена добыча, а также маркитанты и купцы из наших провинций, которых — каждого из своего края — занесли во вражескую страну свобода торговли, жажда наживы и, наконец, забвение родины.

63. Для Маробода, всеми покинутого, не было другого прибежища, кроме милосердия Цезаря. Переправившись через Дунай там, где он протекает вдоль провинции Норик, он написал Тиберию, — однако не как изгнанник или смиренный проситель, но как тот, кто все еще помнит о своем былом положении и достоинстве: хотя его, некогда прославленного властителя, призывают к себе многие племена, он предпочел дружбу римлян. На это Цезарь ответил, что пребывание в Италии, если он пожелает в ней оставаться, будет для него почетным и безопасным; если же его обстоятельства сложатся по-иному, он сможет покинуть ее так же свободно, как прибыл. В сенате, однако, Тиберий доказывал, что ни Филипп для афинян, ни Пирр или Антиох для народа римского не представляли столь грозной опасности. Сохранилась речь Тиберия, в которой он говорит о могуществе этого человека, о неукротимости подвластных ему племен, о том, как близко от Италии находится этот враг, и сообщает о мерах, которые он предполагает принять, чтобы его сокрушить. И Маробода поселили в Равенне, всячески давая понять, что ему будет возвращена царская власть, если свебы начнут своевольничать; но он в течение восемнадцати лет не покидал пределов Италии и состарился там, немало омрачив свою славу чрезмерной привязанностью к жизни. Сходной оказалась и судьба Катуальды, и убежище он искал там же, где Маробод. Изгнанный несколько позже силами гермундуров, во главе которых стоял Вибилий, и принятый римлянами, он был отправлен в Форум Юлия, город в Нарбоннской Галлии.

Сопровождавшие того и другого варвары, дабы их присутствие не нарушило спокойствия мирных провинций, размещаются за Дунаем между реками Маром и Кузом, и в цари им дается Ванний из племени квадов.

64. Получив одновременно известие о том, что Германик поставил Артаксия царем над армянами, сенаторы постановили предоставить Германику и Друзу триумфальное вступление в Рим. По бокам храма Марсу Мстителю были возведены арки с изображениями обоих Цезарей; и Тиберию, достигшему мира разумным ведением дел, он принес бо́льшую радость, чем если б война была закончена на поле сражения. Таким образом, он решает действовать хитростью и против царя Фракии Рескупорида. Всеми фракийцами правил ранее Реметалк; после его кончины власть над одной частью фракийцев Август отдал его брату Рескупориду, а над другой — его сыну Котису. При этом разделе пашни и города — все, что находится по соседству с греками, — отошло к Котису, тогда как все невозделанное, дикое и граничащее с врагами — Рескупориду; различны были и нравы самих царей; первый был уступчив и мягок, тогда как второй — свиреп, жаден и неуживчив. Все же вначале они жили в притворном согласии; но затем Рескупорид стал понемногу выходить за пределы своих земель, присваивать отданное во владение Котису, а если тот оказывал сопротивление, то и применять против него насилие; при жизни Августа, который предоставил царства и тому и другому и пред которым Рескупорид испытывал страх, так как он мог бы его покарать за самоуправство и ослушание, действия его были нерешительны и осторожны, но, прослышав о смене принцепса, он принялся засылать в царство Котиса шайки разбойников и разрушать его крепости, выискивая поводы к открытой войне.

65. Ни о чем Тиберий так не тревожился, как о том, чтобы не нарушалось улаженное. Он выбирает центуриона и велит ему возвестить обоим царям, чтобы они прекратили вооруженные споры, после чего Котис немедленно распустил набранные им вспомогательные отряды. Рескупорид, лицемерно изображая покорность воле Тиберия, предлагает Котису выбрать место, где бы они могли встретиться, чтобы разрешить распри посредством переговоров. Они быстро пришли к соглашению о времени, месте, а потому и об условиях мира,

так как один из миролюбия, а другой из коварства уступали и шли навстречу друг другу. Рескупорид, ведя речь о закреплении договора, устраивает пир и посреди веселья, затянувшегося до поздней ночи, налагает оковы на Котиса, который беззаботно пил за пиршественным столом, а когда наконец раскрылось вероломство Рескупорида, тщетно пытался воззвать к его совести, напоминая ему о святости царского сана, о том, что они одного и того же рода и поклоняются тем же богам, о законах гостеприимства. Завладев всею Фракией, Рескупорид написал Тиберию, что против него строились козни и он предупредил коварного злоумышленника; вместе с тем под предлогом войны против бастарнов и скифов он укрепил свои силы вновь набранными всадниками и пехотинцами. На это Цезарь в сдержанных выражениях ответил ему, что если он не обманывает, то может положиться на свою невиновность; впрочем, ни он сам, ни сенат, не рассмотрев дела, не могут решить, на чьей стороне право и кто допустил насилие; поэтому пусть, передав римлянам Котиса, он выезжает в Рим, чтобы отстранить от себя возможное обвинение.

66. Это письмо пропретор Мёзии Латиний Пандуса отправил во Фракию с воинами, которым Рескупорид должен был передать Котиса. Колеблясь между страхом и злобой, Рескупорид в конце концов предпочел быть обвиненным не в задуманном только, но в уже совершенном злодеянии: он велит убить Котиса и измышляет, будто тот сам себя лишил жизни. Цезарь, однако, не изменил полюбившемуся ему образу действий, и после смерти Пандусы, на которого Рескупорид жаловался, что тот питает к нему неприязнь, назначил правителем Мёзии старого воина Помпония Флакка, остановившись на нем главным образом потому, что, связанный с царем тесною дружбою, он был наиболее пригодным, чтобы его обмануть.

67. Флакк прибыл во Фракию и, надавав царю далеко идущие обещания, склонил его, несмотря на колебания, которые вызывало в нем сознание своей преступности, посетить вместе с ним пограничное укрепление римлян. Здесь царя под видом почетной охраны окружил сильный отряд, и трибуны с центурионами стали завлекать его сначала приглашениями и уговорами, а когда отошли подальше, прибегая и к более

откровенному принуждению, и, наконец, осознавшего, что он попал в западню, повезли в Рим. Обвиненный в сенате женою Котиса, он присуждается к изгнанию из своего царства. Фракия была поделена между сыном его Реметалком, о котором было известно, что он не одобрял козней отца, и детьми Котиса, и так как они были тогда малолетними, к ним приставили бывшего претора Требеллена Руфа, чтобы тот некоторое время правил за них, подобно тому как наши предки послали в Египет Марка Лепида опекать детей Птолемея. Рескупорида отправили в Александрию, и там он был убит, то ли пытаясь бежать, то ли по чьему-то навету.

68. В это самое время Вонон, об удалении которого в Киликию я упоминал выше, предпринял попытку перебежать в Армению, чтобы перебраться оттуда к альбанам и гениохам и далее к своему родичу — царю скифов. Отдалившись под предлогом охоты от моря, он укрылся в чаще горных лесов, а затем, используя резвость своего коня, примчался к реке Пираму; но на реке не оказалось мостов, так как, прослышав о бегстве царя, их разрушили местные жители, а переправа через нее вброд была невозможна. На берегу этой реки он и был схвачен Вибием Фронтоном, префектом всадников, и здесь же ветеран Ремий, который был прежде приставлен к царю, чтобы за ним надзирать, якобы придя в ярость, пронзил его насмерть мечом. Принимая во внимание все обстоятельства, более вероятно, однако, что, будучи пособником этого преступления, он умертвил Вонона, страшась его показаний.

69. На обратном пути из Египта Германик узнал, что все его распоряжения, касавшиеся войска и городов, или отменены, или заменены противоположными. Отсюда — тяжкие упреки, которые он обрушивал на Пизона, и не менее ожесточенные выпады последнего против Цезаря. Наконец Пизон решил удалиться из Сирии. Болезнь Германика задержала, однако, его отъезд, и, когда его известили, что Германик поправился и что в городе выполняют обеты, данные ради его исцеления, он разгоняет, послав своих ликторов, жертвенных животных у алтарей, тех, кто совершал жертвоприношения, и толпу участвующих в праздничном торжестве антиохийцев. После этого он отбывает в Селевкию, где ждет исхода болезни, снова одолевшей Германика. Свирепую силу

недуга усугубляла уверенность Германика в том, что он отравлен Пизоном; и действительно, в доме Германика не раз находили на полу и на стенах извлеченные из могил остатки человеческих трупов, начертанные на свинцовых табличках заговоры и заклятия и тут же — имя Германика, полуобгоревший прах, сочащийся гноем, и другие орудия ведовства, посредством которых, как считают, души людские препоручаются богам преисподней. И тех, кто приходил от Пизона, обвиняли в том, что они являются лишь затем, чтобы выведать, стало ли Германику хуже.

70. Все это наполняло Германика столько же гневом, сколько и тревогою: если его порог осаждают, если придется испустить дух на глазах у врага, то какая же участь уготована его несчастной жене, его малолетним детям? Действие яда Пизону, видимо, кажется чересчур медленным: он спешит и торопит, чтобы единолично властвовать над провинцией, над легионами. Но Германик еще в состоянии постоять за себя, и убийца не извлечет выгоды из своего злодеяния. И он составляет письмо, в котором отказывает Пизону в доверии; многие утверждают, что в нем, сверх того, Пизону предписывалось покинуть провинцию. И Пизон, не задерживаясь, отплывает на кораблях, но умышленно замедляет плаванье, чтобы поскорее вернуться, если смерть Германика снова откроет перед ним Сирию.

71. На короткое время Цезарь проникся надеждою, но вскоре силы его иссякли, и, видя близкую кончину, он обратился к находившимся возле него друзьям с такими словами: «Если бы я уходил из жизни по велению рока, то и тогда были бы справедливы мои жалобы на богов, преждевременной смертью похищающих меня еще совсем молодым у моих родных, у детей, у отчизны; но меня злодейски погубили Пизон и Планцина, и я хочу запечатлеть в ваших сердцах мою последнюю просьбу: сообщите отцу и брату, какими горестями терзаемый, какими кознями окруженный, я закончил мою несчастливую жизнь еще худшею смертью. Все, кого связывали со мною возлагаемые на меня упования, или кровные узы, или даже зависть ко мне живому, все они будут скорбеть обо мне, о том, что, дотоле цветущий, пережив превратности стольких войн, я пал от коварства женщины. Вам предстоит подать в сенат жалобу, воззвать к правосудию. Ведь

первейший долг дружбы — не в том, чтобы проводить прах умершего бесплодными сетованьями, а в том, чтобы помнить, чего он хотел, выполнить все, что он поручил. Будут скорбеть о Германике и люди незнакомые, но вы за него отомстите, если питали преданность к нему, а не к его высокому положению. Покажите римскому народу мою жену, внучку божественного Августа, назовите ему моих шестерых детей. И сочувствие будет на стороне обвиняющих, и люди не поверят и не простят тем, кто станет лживо ссылаться на какие-то преступные поручения»[50]. И друзья, касаясь руки умирающего, поклялись ему в том, что они скорее испустят последнее дыхание, чем пренебрегут отмщением.

72. Затем, повернувшись к жене, он принялся ее умолять, чтобы она, чтя его память и ради их общих детей, смирила свою заносчивость, склонилась пред злобною судьбой и, вернувшись в Рим, не раздражала более сильных, соревнуясь с ними в могуществе. Это было сказано им перед всеми, а оставшись с нею наедине, он, как полагали, открыл ей опасность, угрожающую со стороны Тиберия. Немного спустя он угасает, и вся провинция и живущие по соседству народы погружаются в великую скорбь. Оплакивали его и чужеземные племена, и цари: так ласков был он с союзниками, так мягок с врагами; и внешность, и речь его одинаково внушали к нему глубокое уважение, и, хотя он неизменно держался величаво и сдержанно, как подобало его высокому сану, он был чужд недоброжелательства и надменности.

73. Похоронам Германика — без изображений предков, без всякой пышности — придала торжественность его слава и память о его добродетелях. Иные, вспоминая о его красоте, возрасте, обстоятельствах смерти и, наконец, также о том, что он умер поблизости от тех мест, где окончилась жизнь Александра Великого, сравнивали их судьбы. Ибо и тот и другой, отличаясь благородною внешностью и знатностью рода, прожили немногим больше тридцати лет, погибли среди чужих племен от коварства своих приближенных; но Германик был мягок с друзьями, умерен в наслаждениях, женат единственный раз и имел от этого брака законных детей; а воинственностью он не уступал Александру, хотя и не обладал его безрассудной отвагою, и ему помешали поработить Германию, которую он разгромил в стольких победоносных сраже-

ниях. Будь он самодержавным вершителем государственных дел, располагай царскими правами и титулом, он настолько быстрее, чем Александр, добился бы воинской славы, насколько превосходил его милосердием, воздержностью и другими добрыми качествами. Перед сожжением обнаженное тело Германика было выставлено на форуме антиохийцев, где его и предали огню; проступили ли на нем признаки отравления ядом, осталось невыясненным, — ибо всякий, смотря по тому, скорбел ли он о Германике, питая против Пизона предвзятое подозрение, или, напротив, был привержен Пизону, толковал об этом по-разному.

74. Затем легаты и оказавшиеся налицо другие сенаторы стали совещаться о том, кому поручить управление Сирией. И так как все остальные не очень стремились к этому назначению, его долго оспаривали между собой Вибий Марс и Гней Сенций, пока Марс не уступил старшему возрастом и более настойчивому Сенцию. И Сенций, по настоянию Вителлия, Верания и других, собиравших доказательства и готовившихся предъявить обвинение, как если бы дело шло об уже изобличенных преступниках, отправил в Рим известную в этой провинции и чрезвычайно любимую Планциной смесительницу ядов Мартину.

75. Агриппина, изнуренная горем и страдающая телесно и все же нетерпимая ко всему, что могло бы задержать мщение, поднимается с прахом Германика и детьми на один из кораблей отплывавшего вместе с ней флота, провожаемая общим состраданием: женщина выдающейся знатности, еще так недавно счастливая мать семейства, окруженная общим уважением и добрыми пожеланиями, она несла теперь, прижимая к груди, останки супруга, неуверенная, удастся ли ей отомстить, страшащаяся за себя и подверженная стольким угрозам судьбы в своей многодетности, не принесшей ей счастья. Между тем Пизона у острова Коса настигает известие о кончине Германика. Приняв его с торжеством, он устраивает жертвоприношения и посещает храмы, не скрывая своих истинных чувств, а Планцина ведет себя еще непристойнее и, сняв тогда впервые траурную одежду, которую носила по случаю смерти сестры, сменяет ее на нарядное платье.

76. Между тем к Пизону стекались центурионы и убеждали его в готовности легионов оказать ему всяческую поддер-

жку: ему нужно только вернуться в провинцию, отнятую у него незаконно и все еще не имеющую правителя. На совещании, которое он собрал, чтобы решить, как следует действовать, его сын Марк Пизон предложил поспешить в Рим: еще не сделано никаких непоправимых шагов и нечего опасаться ни вздорных подозрений, ни пустой болтовни. Раздоры с Германиком могут, пожалуй, навлечь на его отца ненависть, но они не подлежат наказанию; к тому же отнятие у него провинции вполне удовлетворило его врагов. Но если он туда возвратится, то вследствие сопротивления Сенция дело не обойдется без гражданской войны, а центурионы и воины недолго будут оставаться на его стороне, так как возьмет верх еще свежая память об их полководце и глубоко укоренившаяся преданность Цезарям.

77. Напротив, Домиций Целер, один из ближайших друзей Пизона, настаивал, что нужно использовать случай: Пизон, а не Сенций поставлен правителем Сирии, и ему вручены фасции, преторская власть и легионы. Если туда вторгнется враг, то кому же еще отражать его силой оружия, как не тому, кто получил легатские полномочия и особые указания? Со временем толки теряют свою остроту, а побороть свежую ненависть чаще всего не под силу и людям, ни в чем не повинным. Но если Пизон сохранит за собой войско, укрепит свою мощь, многое, что не поддается предвидению, быть может, обернется по воле случая в лучшую сторону. «Или мы поторопимся, чтобы причалить одновременно с прахом Германика, чтобы тебя, Пизон, невыслушанного и не имевшего возможности отвести от себя обвинение, погубили при первом же твоем появлении рыдания Агриппины и невежественная толпа? Августа — твоя сообщница, Цезарь благоволит к тебе, но негласно; и громче всех оплакивают смерть Германика те, кто наиболее обрадован ею».

78. Неизменно склонный к решительным мерам, Пизон легко присоединяется к этому мнению и в письме, отосланном им Тиберию, обвиняет Германика в высокомерии и чрезмерно роскошном образе жизни: изгнанный Германиком из провинции, чтобы не мешать ему в осуществлении государственного переворота, он снова и с прежнею преданностью берет на себя попечение о войсках. Одновременно он приказывает Домицию отплыть на триреме в Сирию, держа

курс мимо островов и подальше от берега. Тем временем Пизон распределяет собравшихся у него перебежчиков по манипулам, вооружает нестроевых, и, переправившись кораблями на материк, перехватывает подразделение шедших в Сирию новобранцев, и пишет киликийским царькам, чтобы они помогли ему своими отрядами; в этих военных приготовлениях принимает участие и молодой Марк Пизон, не разделявший, однако, взгляда, что нужно открыть военные действия.

79. Следуя вдоль берегов Ликии и Памфилии, они встретились с кораблями, сопровождавшими Агриппину, и обе стороны схватились было за оружие, но вследствие страха, который они друг другу внушали, дело ограничилось перебранкой, причем Марс Вибий вызвал Пизона в Рим для судебного разбирательства. Тот насмешливо ответил ему, что, разумеется, не замедлит туда прибыть, как только ведающим делами об отравлениях претором будет назначен день явки подсудимому и обвинителям. Между тем Домиций, пристав к сирийскому городу Лаодикее, направился на зимние квартиры шестого легиона[51], так как считал его наиболее пригодным для осуществления своих планов, но его опередил легат Пакувий. Сенций обращается к Пизону с письмом, в котором сообщает ему об этом и увещевает его не возбуждать лагерь засылкою в него возмутителей, а провинцию — военными действиями. Собрав всех, о ком ему было известно, что они чтят память Германика или враждебны его врагам, он настойчиво убеждает их в том, что Пизон поднимает оружие на величие императора, на Римское государство; и Сенций выводит навстречу Пизону сильный и готовый к бою отряд.

80. Несмотря на неудачи, постигавшие Пизона в его начинаниях, он не упустил случая обезопасить себя, насколько это было возможно при сложившихся обстоятельствах, и занял сильную киликийскую крепость Келендерий; пополнив перебежчиками, недавно перехваченными новобранцами и рабами, своими и Планцины, присланные ему на помощь царьками отряды киликийцев, он довел численность своих сил до уровня легиона. Он заверял своих, что его, легата Цезаря, не пускают в провинцию, отданную ему в управление, не воины легионов (ибо они и призвали его возвратиться), но Сенций из личной ненависти к нему, которую он прикрывает ложны-

ми обвинениями. Так пусть же они выйдут на поле боя — ведь легионеры не станут сражаться, когда поймут, что Пизон, кого они еще так недавно звали своим отцом[52], одержит верх, если спор будет решаться на основании права, и не бессилен, если — оружием. Затем он располагает свои манипулы у стен крепости на обрывистом и крутом холме, — с других сторон ее окружало море. Против них стояли построенные боевыми порядками ветераны и резервы; здесь было преимущество в выучке воинов, там — в труднодоступной местности, но у тех, кто ее занимал, не было ни боевого пыла, ни веры в успех, ни даже оружия, кроме того, каким располагают сельские жители, или изготовленного наспех. Когда враги сошлись врукопашную, исход битвы мог вызывать сомнение лишь до тех пор, пока когорты римлян не вышли на ровное место; киликийцы бежали и заперлись в крепости.

81. Между тем Пизон тщетно попытался овладеть флотом, ожидавшим невдалеке исхода сражения; возвратившись к стенам крепости, он, то ударяя себя в грудь, то называя по имени римских воинов и суля им награды, старался склонить их к измене и успел привести их в такое смущение, что значконосец шестого легиона перешел к нему со значком. Тогда Сенций приказал трубить в рожки и трубы, устремиться к валу, установить лестницы и наиболее храбрым и ловким пойти на приступ, а всем остальным, используя метательные машины, осыпать врага дротиками, камнями и горящими факелами. Когда наконец упорство защитников было сломлено, Пизон стал просить, чтобы, по сдаче оружия, ему было дозволено оставаться в крепости, пока не придет указание Цезаря, кому править Сирией. Эти условия были, однако, отклонены, и единственное, что было ему предоставлено, — это корабли и безопасное возвращение в Рим.

82. А в Риме, лишь только стали доходить вести о болезни Германика, как все доходящее издалека, до последней степени мрачные, воцарились общая скорбь и гнев, а порой прорывались и громкие сетования. Для того, очевидно, и сослали его на край света, для того и дали Пизону провинцию; вот к чему привели тайные совещания Августы с Планциною. И сущую правду говорили старики относительно Друза: не по нраву пришлась властителям приверженность к народоправству их сыновей, и их погубили не из-за чего-либо иного, как

только за то, что они замышляли вернуть римскому народу свободу и уравнять всех в правах. Весть о смерти Германика настолько усилила в толпе эти толки, что прежде указа властей, прежде сенатского постановления все погружается в траур, пустеют площади, запираются дома. Повсюду безмолвие, прерываемое стенаниями, нигде ничего показного; если кто и воздерживается от внешних проявлений скорби, то в душе горюет еще безутешнее. Случилось так, что купцы, выехавшие из Сирии, когда Германик был еще жив, привезли более благоприятные вести о его состоянии. Этим вестям сразу поверили, и они тотчас же распространились по всему городу; и всякий, сколь бы непроверенным ни было то, что он слышал, сообщает добрую новость каждому встречному, а те передают ее, приукрашивая от радости в свою очередь дальше. Люди носятся по всему городу, взламывают двери храмов, и ночь немало способствует их легковерию, так как во мраке всякий скорее поддается внушению. Тиберий не пресекал ложных слухов, предоставив им рассеяться с течением времени; и народ погрузился в еще большую скорбь, как если бы Германик был у него отнят вторично.

83. Между тем для Германика были придуманы почести, какие только могла внушить каждому в меру его изобретательности любовь к умершему, и сенат постановил следующее: чтобы имя Германика провозглашалось в песнопении салиев; чтобы всюду, где отведены места для жрецов августалов, были установлены курульные кресла[53] Германика с дубовыми венками над ними; чтобы перед началом цирковых зрелищ было проносимо его изображение из слоновой кости; чтобы фламины[54] или авгуры, выдвигаемые на его место, избирались только из рода Юлиев. К этому были добавлены триумфальные арки в Риме, на берегу Рейна и на сирийской горе Амане, с надписями, оповещавшими о его деяниях и о том, что он отдал жизнь за отечество; гробница в Антиохии, где его тело подверглось сожжению, и траурный постамент в Эпидафне, где он скончался. И нелегко перечислить все его статуи и места поклонения его памяти. Но когда было предложено поместить большой золотой щит с его изображением среди таких же изображений столпов римского красноречия[55], Тиберий решительно заявил, что он посвятит Германику щит такой же и того же размера, что и все остальные:

ведь красноречие оценивается не по высокому положению в государстве, и пребывать среди древних писателей — уже само по себе достаточно почетно. Сословие всадников присвоило имя Германика тому сектору амфитеатра, который носил название Сектора младших, и, кроме того, постановило, чтобы в июльские иды отряды всадников следовали позади его статуи. Бо́льшая часть упомянутого сохраняется в силе и посейчас, кое-что сразу же было заброшено или забылось за давностью лет.

84. Немного позднее, при все еще свежей печали по случаю смерти Германика, сестра его Ливия, жена Друза, родила двух младенцев мужского пола[56]. Событие это, редкое и приносящее радость даже в простых семьях, наполнило принцепса таким ликованием, что он не удержался, чтобы не похвалиться им перед сенаторами, подчеркивая, что ни у кого из римлян такого сана не рождались до этого близнецы: ведь решительно все, даже случайное, он неизменно обращал во славу себе. При сложившихся обстоятельствах народу, однако, и это доставило огорчение, ибо он опасался, как бы Друз, обогатившись потомством, не оттеснил еще больше семью Германика.

85. В том же году были изданы строгие указы сената против распутного поведения женщин и строжайше воспрещено промышлять своим телом тем, чьи деды, отцы или мужья были римскими всадниками. Поводом было то, что Вистилия, дочь претора, объявила эдилам, что занимается проституцией[57], — поступила же она так в соответствии с принятым у наших предков обыкновением, согласно которому достаточной карою для продажных женщин почиталось их собственное признание в своем позоре. Были потребованы и от Титидия Лабеона[58], мужа Вистилии, объяснения, почему он не наказал, согласно закону, свою изобличенную в непотребстве жену. И так как в свое оправдание он сослался на то, что предоставленные ему по закону шестьдесят дней на обдумывание еще не прошли, сочли достаточным принять постановление против Вистилии, и она была сослана на остров Сериф. Обсуждался и вопрос о запрещении египетских и иудейских священнодействий, и сенат принял постановление вывезти на остров Сардинию четыре тысячи зараженных этими суевериями вольноотпущенников[59], пригодных по

возрасту для искоренения там разбойничьих шаек, полагая, что если из-за тяжелого климата они перемрут, то это не составит большой потери; остальным предписывалось покинуть Италию, если до определенного срока они не откажутся от своих нечестивых обрядов.

86. После этого Цезарь сообщил о необходимости избрать девственницу на место Окции, которая в течение пятидесяти семи лет с величайшим благочестием руководила священнодействиями весталок; при этом он выразил благодарность Фонтею Агриппе и Домицию Поллиону за то, что, предлагая взамен ее своих дочерей, они соревновались в преданности государству. Предпочтение было отдано дочери Поллиона, ибо супружеские узы ее родителей продолжали пребывать нерушимыми, тогда как Агриппа расторжением первого брака нанес урон доброй славе своей семьи. Цезарь, впрочем, утешил отвергнутую, даровав ей приданое в размере миллиона сестерциев.

87. Вследствие жалоб народа на дороговизну хлеба Тиберий, установив цену, которую должен был платить покупатель, объявил, что хлеботорговцы будут получать от него дополнительно по два нумма за модий[60]. Предложенный ему за это и предлагавшийся ранее титул отца отечества он, однако, не принял и высказал суровое порицание тем, кто называл его попечение о народе божественным, а его самого — государем. Вот почему любое высказывание в присутствии принцепса, которому свобода внушала страх, а лесть — подозрения, бывало сдержанным и настороженным.

88. У историков и сенаторов того времени я нахожу сообщение о письме предводителя хаттов Адгандестрия, которое было оглашено в сенате и в котором он предлагал умертвить Арминия, если ему пришлют яду, чтобы он мог осуществить это убийство; Адгандестрию было отвечено, что римский народ отмщает врагам, не прибегая к обману, и не тайными средствами, но открыто и силой оружия. Благородством ответа Тиберий сравнялся с древними полководцами, запретившими отравить царя Пирра и открывшими ему этот замысел. Впрочем, притязая после ухода римлян и изгнания Маробода на царский престол, Арминий столкнулся со свободолюбием соплеменников; подвергшись с их стороны преследованию, он сражался с переменным успехом и пал от ко-

варства своих приближенных. Это был, бесспорно, освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари и вожди, но в пору высшего расцвета его могущества, и хотя терпел иногда поражения, но не был побежден в войне. Тридцать семь лет он прожил, двенадцать держал в своих руках власть; у варварских племен его воспевают и посейчас; греческие анналы его не знают, так как их восхищает только свое, римские — уделяют ему меньше внимания, чем он заслуживает, ибо, превознося старину, мы недостаточно любопытны к недавнему прошлому.

Книга третья

1. Ни разу не прервав плаванья по бурному зимнему морю, Агриппина прибывает на остров Коркиру, лежащий против побережья Калабрии. Объятая горем и неспособная с ним совладать, она проводит там несколько дней, чтобы восстановить душевные силы. Между тем, прослышав о скором ее прибытии, ближайшие из друзей и множество воинов, служивших под начальством Германика, а также многие, никогда не видавшие его прежде обитатели расположенных невдалеке муниципиев, иные — полагая, что этим они выполняют свой долг перед принцепсом, иные — последовав их примеру, устремляются в город Брундизий, так как для плывущей в Италию Агриппины тут было всего ближе и удобнее высадиться на сушу. Едва флот показался в открытом море, как толпой заполняются не только гавань и набережные: люди облепляют укрепления и крыши домов, они всюду, откуда открывался вид на далекое расстояние, и, погруженные в печаль, спрашивают друг друга, как пристойнее встретить сходящую с корабля Агриппину — безмолвием или каким-либо возгласом. И все еще оставалось нерешенным, что́ здесь уместнее, когда флот стал медленно подходить к месту причала; не весело и размашисто, как принято в таких случаях, заносили весла гребцы, но все было проникнуто глубокою печалью. Когда же, сойдя на берег вместе с двумя детьми и погребальною урной в руках, Агриппина вперила взор в землю, раздался общий стон, и нельзя было отличить, исходят ли эти сте-

нания от близких или от посторонних, от мужчин или женщин; но встречающие превосходили в выражении своего еще свежего горя измученных длительной скорбью спутников Агриппины.

2. Тиберий прислал в Брундизий две преторианские когорты и, кроме того, повелел магистратам Калабрии, Апулии и Кампании воздать последние почести памяти его сына. В соответствии с этим прах Германика несли трибуны с центурионами; им предшествовали нечищенные[1] и лишенные украшений значки и опущенные вниз фасции; и, когда шествие проходило через колонии, простой народ в черном и облачившиеся в трабеи[2] всадники, смотря по достатку места, сжигали ценные ткани, благовония и все, что предусмотрено похоронным обрядом. Выходили навстречу и жители остававшихся в стороне городов: принося жертвы душам усопших[3] и воздвигая им жертвенники, они изливали свою печаль в слезах и горестных восклицаниях. Друз с теми детьми Германика, которые оставались в Риме[4], и его братом Клавдием проследовал в Таррацину. Погребальное шествие заполнило дорогу. Тут были консулы Марк Валерий и Марк Аврелий (они успели уже вступить в должность), сенат и значительная часть населения Рима, которые шли нестройной толпой; никто не сдерживал слез, и никакой лести здесь не было, так как все хорошо знали, что Тиберий обрадован смертью Германика и едва это скрывает.

3. Тиберий с Августою не показались в народе, то ли считая, что унизят свое величие, предаваясь горю у всех на виду, то ли боясь обнаружить свое лицемерие под столькими устремленными на их лица взглядами. Ни у историков, ни в «Ежедневных ведомостях»[5] я не нашел никакого упоминания о том, чтобы мать Германика Антония принимала заметное участие в погребальном обряде, тогда как все прочие кровные родственники, не говоря уж об Агриппине, Друзе и Клавдии, упомянуты поименно; быть может, ей помешала болезнь, быть может, ее сломленная горем душа не могла вынести лицезрения столь большого несчастья. Я склонен скорее думать, что Тиберий с Августой, которые не покидали дворца, умышленно не пустили ее на похороны, чтобы могло казаться, будто бабка и дядя скорбят одинаково с матерью и что их всех удерживает дома одна и та же причина.

4. В день, когда останки Германика были переносимы в гробницу Августа[6], то царило мертвенное безмолвие, то его нарушали рыдания: улицы города были забиты народом, на Марсовом поле пылали факелы. Там воины в боевом вооружении, магистраты без знаков отличия, народ, распределенный по трибам, горестно восклицали, что Римское государство погибло, что надеяться больше не на что — так смело и так открыто, что можно было подумать, будто они забыли о своих повелителях. Ничто, однако, так не задело Тиберия, как вспыхнувшая в толпе любовь к Агриппине: люди называли ее украшением родины, единственной, в ком струится кровь Августа[7], непревзойденным образцом древних нравов, и, обратившись к небу и богам, молили их сохранить в неприкосновенности ее отпрысков и о том, чтобы они пережили своих недоброжелателей.

5. Были и такие, кто находил, что общенародные похороны на счет государства могли бы быть более пышными, и сравнивал их с великолепием погребальных почестей, оказанных Августом отцу Германика Друзу. Ведь в разгар зимы он проехал вплоть до Тицина и, не отходя от тела покойного, вместе с ним вступил в Рим; катафалк окружали изображения Клавдиев и Юлиев; умершего почтили оплакиванием на форуме, хвалебной речью с ростральных трибун; было исполнено все завещанное от предков и добавленное позднейшими поколениями; а Германику не воздали даже тех почестей, которые полагаются всякому знатному. Правда, из-за дальности расстояния его тело было кое-как сожжено на чужбине; но если случайные обстоятельства не позволили своевременно окружить его должным почетом, то тем более подобало выполнить это впоследствии. Да и брат его выехал только на день пути, а дядя — до городских ворот[8]. Где же обычаи древности, где выставляемая у погребального ложа посмертная маска, где стихи, сложенные для прославления его памяти, где слезы или хотя бы притворное выражение горя?

6. Это стало известно Тиберию, и, чтобы пресечь толки в народе, он напомнил ему особым эдиктом, что множество прославленных римлян отдало жизнь за отечество, но ни о ком не сокрушались столь безутешно, как о Германике. Это было бы великою честью и для него, и для всех, если бы соблюдалась должная мера. Но мужам, занимающим высокое

положение, и народу-повелителю не пристало уподобляться рядовым семьям и малым общинам. Свежему горю приличествовали стенания, и оно утолялось трауром; однако пора обрести былую душевную твердость, как это сделали некогда, подавив печаль, божественный Юлий, понесший утрату единственной дочери, и божественный Август, потеряв внуков[9]. Нет нужды обращаться к более древним примерам, — сколько раз римский народ стойко переносил поражения своих войск, полное истребление знатных родов. Правители смертны — государство вечно. Поэтому пусть они возвращаются к повседневным занятиям и — так как близились театральные представления на празднествах в честь Великой Матери[10] — не отказываются также от удовольствий.

7. По снятии траура все вернулись к своим делам, и Друз выехал к иллирийскому войску. Но ненависть к Пизону не улеглась: со всех сторон раздавались требования обрушить на него кару, и часто слышались сетования на то, что он объезжает прелестные местности Азии и Ахайи, нагло и коварно затягивая возвращение в Рим, чтобы тем временем уничтожить доказательства своих преступлений. И в самом деле, распространился слух, что знаменитая отравительница Мартина, высланная в Италию, как я уже говорил, Гнеем Сенцием, умерла внезапною смертью в Брундизии, причем в ее убранных узлом волосах нашли припрятанный ею яд, однако на ее теле не было обнаружено следов отравления.

8. Послав впереди себя сына и поручив ему дать принцепсу объяснения, которые могли бы того смягчить, сам Пизон между тем направляется к Друзу, рассчитывая найти в нем скорее признательность за устранение соперника, чем ненависть за умерщвление брата. Тиберий, желая показать, что он далек от предвзятости, принял молодого человека радушно и одарил его с такою же щедростью, какая была обычна по отношению к сыновьям знатных семейств. Но Друз заявил Пизону, что, если обвинения против него справедливы, никто не принес ему столько горя, как он; впрочем, он, Друз, предпочел бы, чтобы они оказались пустыми и лживыми и смерть Германика не повела к чьей-либо гибели. Это было высказано в присутствии многих, а от беседы наедине Друз уклонился; и в то время не сомневались, что такое поведение ему предписал Тиберий, ибо, обычно бесхитростный и по-

молодому податливый, он на этот раз прибегнул к стариковским уловкам.

9. Переплыв Далматинское море и оставив корабли у Анконы, Пизон направился через Пицен и далее по Фламиниевой дороге и нагнал легион, следовавший из Паннонии в Рим, а оттуда в Африку для усиления находившегося там войска. Много толковали о том, что Пизон часто показывался в дороге двигавшимся походным порядком воинам. Из Нарнии, чтобы избежать подозрений или, может быть, потому, что у тех, кто охвачен тревогою, решения переменчивы, Пизон спустился по Нару и затем по Тибру, но еще больше восстановил против себя народ и тем, что его судно причалило возле гробницы Цезарей[11], и тем, что в самое оживленное время дня, когда берег был заполнен людьми, на глазах у всех прошествовал вместе с Планциной, он — сопровождаемый большою толпой клиентов, она — целою вереницею женщин, — и оба с веселыми лицами. Ненависть к нему распаляло и то, что его возвышавшийся над форумом дом был украшен по-праздничному и в нем собрались на пиршество гости, а вследствие людности места все происходившее в нем было у всех на виду.

10. На следующий день Фульциний Трион потребовал Пизона к ответу перед консулами. Этому воспротивились Вителлий, Вераний и другие из находившихся при Германике, заявившие, что Трион — лицо постороннее, а сами они не в качестве обвинителей, но рассказывая и свидетельствуя обо всем происшедшем, выполнят данное им Германиком поручение. Трион, отказавшись от своего требования, добился разрешения обвинять Пизона за его предыдущие преступления, и принцепса попросили взять на себя их расследование. Ничего не имел против этого и обвиняемый, который боялся враждебности сенаторов и народа, а вместе с тем знал, что Тиберий располагает достаточной властью, чтобы пренебречь слухами, и к тому же связан причастностью к этому делу собственной матери: одному судье легче отличить истину от клеветы, а если их много, над ними всесильны зависть и ненависть. Но Тиберий не обманывался в трудности такого расследования и в том, какая молва шла о нем самом. Итак, выслушав в присутствии всего нескольких приближенных нападки со стороны обвиняющих и просьбы — с другой, он полностью передал это дело сенату.

11. Между тем возвратился из Иллирии Друз, и, хотя за переход к нам Маробода и совершенные прошлым летом деяния сенат назначил ему триумфальное вступление в Рим, он въехал в него безо всякой торжественности, на время отложив эти почести. После этого обвиняемый обращался к Луцию Аррунцию, Публию Виницию, Азинию Галлу, Эзернину Марцеллу и队 Сексту Помпею; прося их себе в защитники, но так как они под разными предлогами отказались, защищать его взялись Маний Лепид, Луций Пизон и Ливиней Регул; Рим проникся настороженным ожиданием: насколько друзья Германика окажутся верны его памяти, насколько уверенно поведет себя подсудимый, сможет ли Тиберий в достаточной степени сдержать и подавить свои чувства. Возбуждение народа достигло крайних пределов: никогда прежде не позволял он себе стольких тайных пересудов о принцепсе и стольких молчаливых подозрений.

12. На заседании сената Цезарь выступил со сдержанной, тщательно продуманной речью. Пизон был легатом и другом его отца, и по совету сената он, Цезарь, дал его в помощь Германику для устроения дел на Востоке. Раздражал ли там Пизон молодого человека своим упрямством и препирательствами и только ли радовался его кончине или злодейски его умертвил — это требует беспристрастного разбирательства. «Ибо, если он превышал как легат свои полномочия и не повиновался главнокомандующему, радовался его смерти и моему горю, я возненавижу его и отдалю от моего дома, но за личную враждебность не стану мстить властью принцепса. Однако если вскроется преступление, состоящее в убийстве кого бы то ни было и подлежащее каре, доставьте и детям Германика, и нам, родителям, законное утешение. Подумайте и над тем, разлагал ли Пизон легионы, подстрекал ли их, заискивал ли пред воинами, домогаясь их преданности, пытался ли силой вернуть утраченную провинцию, или все это — ложь и раздуто его обвинителями, чрезмерное рвение коих я по справедливости осуждаю. Ибо к чему было обнажать тело покойного, делая его зрелищем толпы, к чему распускать, к тому же среди чужеземцев, слухи о том, что его погубили отравою, раз это не установлено и посейчас и должно быть расследовано? Я оплакиваю моего сына и буду всегда оплакивать, но я никоим образом не запрещаю подсуди-

мому изложить все, что бы он ни счел нужным, для установления его невиновности или в подтверждение несправедливости к нему Германика, если она и вправду имела место; и прошу вас отнюдь не считать доказанными предъявленные ему обвинения только из-за того, что с этим делом тесно связано мое горе. И вы, защитники, которых ему доставили кровное родство или вера в его правоту, насколько кто сможет, помогите ему в опасности своим красноречием и усердием; к таким же усилиям и такой же стойкости я призываю и обвинителей. Единственное, что мы можем предоставить Германику сверх законов, — это рассматривать дело о его смерти в курии, а не на форуме, перед сенатом, а не пред судьями[12]; во всем остальном пусть оно разбирается в соответствии с заведенным порядком, пусть никто не обращает внимания ни на слезы Друза, ни на мою печаль, ни на распространяемые нам в поношение вымыслы».

13. Затем сенат выносит постановление предоставить два дня обвинителям и три, после шестидневного перерыва, подсудимому для защиты. Тогда Фульциний заводит речь о вещах давних и незначительных, о том, что Пизон управлял Испанией заносчиво и своекорыстно; но ни изобличение не могло бы ему повредить, если бы он отвел от себя новые обвинения, ни признание его невиновности — принести ему оправдание, если бы было доказано, что на его совести более тяжелые преступления. После этого Сервей, Вераний и Вителлий с одинаковым рвением, а Вителлий и с выдающимся красноречием обвинили Пизона в том, что из ненависти к Германику и желания захватить власть он настолько развратил солдатскую массу, попустительствовал ее распущенности и насилиям над союзниками, что наиболее разнузданными из воинов был прозван «Отцом легионов»; и, напротив, беспощадно преследуя всякого исправного воина, и особенно друзей и приближенных Германика, он в конце концов погубил его чарами и отравой; обвинили они Пизона и в нечестивых жертвоприношениях и молебствиях, устроенных им и Планциною, в том, что он поднял оружие на государство и что для того, чтобы он предстал пред судом, его нужно было одолеть на поле сражения.

14. Против большинства обвинений защита была бессильна: Пизон не мог опровергнуть ни заискивания у легио-

нов, ни того, что провинция была отдана им во власть негодяям, ни даже оскорбительных выпадов против главнокомандующего. Единственное, что казалось опровергнутым, — это обвинение в том, что он умертвил ядом Германика, так как даже обвинители, показывавшие, что на пиру у Германика Пизон, возлежа выше него, своими руками отравил ему пищу, не очень настаивали на этом. Ибо казалось в высшей степени невероятным, чтобы среди чужих рабов, на виду у стольких присутствующих, рядом с самим Германиком, он решился на это. Подсудимый предложил подвергнуть пытке его рабов и требовал того же для прислуживавших на пиршестве. Но судьи по разным причинам остались неумолимы: Цезарь — так как провинция была ввергнута в междоусобную распрю, сенат — так как никогда не был до конца убежден, что Германик не погиб от коварства...[13] требуя то, что писали, чему Тиберий воспротивился не меньше Пизона. Между тем в народе, собравшемся перед курией, слышались выкрики, что они не выпустят из своих рук Пизона, если он выйдет из сената оправданным. И толпа потащила статуи Пизона к Гемониям[14] и разбила бы их, если бы по приказанию принцепса их не спасли и не водворили на прежние места. Затем Пизона поместили на носилки, и в сопровождении трибуна преторианской когорты он был доставлен к себе, что вызвало в народе противоречивые толки, так как одни считали, что трибун приставлен к нему, чтобы охранять его жизнь, а другие — чтобы предать смерти.

15. Планцину окружала такая же ненависть, но она располагала могущественной поддержкой, и поэтому было неясно, насколько по отношению к ней Цезарь располагает свободой действий. Пока по делу Пизона можно было надеяться на благополучный исход, она не раз заявляла, что не расстанется с ним, какая бы участь его ни постигла, и, если так повелит судьба, пойдет с ним на смерть. Но добившись тайным заступничеством Августы прощения, она начала понемногу отдаляться от мужа и защищать себя обособленно от него. Увидев в этом верное предвестие гибели, подсудимый стал сомневаться, продолжать ли ему борьбу за свое оправдание, но, вняв настояниям сыновей, укрепился духом и явился в сенат. Стойко вынося возобновившиеся обвинения, угрозы сенаторов, всеобщую враждебность и озлобление, он ничем не был

так устрашен, как видом Тиберия, который, не выказывая ни гнева, ни сострадания, упрямо замкнулся в себе, чтобы не дать обнаружиться ни малейшему проявлению чувства. Возвратившись домой, Пизон некоторое время что-то писал, как бы набрасывая, что он скажет в защитительной речи, и, запечатав, вручил написанное вольноотпущеннику. Затем он уделил обычное время трапезе и отдыху. Поздней ночью, после того как жена вышла из его спальни, он велел запереть двери, и, когда забрезжил утренний свет, его нашли с пронзенным горлом, а на полу лежал меч.

16. Припоминаю, что слышал от стариков, будто в руках у Пизона не раз видели памятную записку, которую он так и не предал гласности, но друзья его говорили, что в ней приводились письма Тиберия и его указания, касавшиеся Германика, и что Пизон готовился предъявить их сенаторам и обличить принцепса, но был обманут Сеяном, надававшим ему лживые обещания; говорили и о том, что он умер не по своей воле, но от руки подосланного убийцы. Не решаясь утверждать ни того, ни другого, я тем не менее не счел себя вправе умолчать о рассказах тех, кто дожил до нашей юности. Цезарь, придав лицу печальное выражение, жаловался в сенате, что смертью такого рода хотели вызвать против него ненависть...[15] и принялся допытываться, как Пизон провел последний день и последнюю ночь. И после того как тот, кого он расспрашивал, ответил ему по большей части благоразумно и осторожно, а кое в чем и не очень обдуманно, он оглашает письмо Пизона, составленное приблизительно в таких выражениях: «Сломленный заговором врагов и ненавистью за якобы совершенное мной преступление и бессильный восстановить истину и тем самым доказать мою невиновность, я призываю в свидетели бессмертных богов, что вплоть до последнего моего вздоха, Цезарь, я был неизменно верен тебе и не менее предан твоей матери; и я умоляю вас, позаботьтесь о моих детях, из которых Гней Пизон решительно не причастен к моим поступкам, какими бы они ни были, так как все это время был в Риме, а Марк Пизон убеждал меня не возвращаться в Сирию. И насколько было бы лучше, если б я уступил юноше сыну, чем он — старику отцу! Тем настоятельнее прошу вас избавить его, ни в чем не повинного, от кары за мои заблуждения. В память сорокапятилетнего повиновения,

в память нашего совместного пребывания консулами, ценимый некогда твоим отцом, божественным Августом, и твой друг, который никогда больше ни о чем тебя не попросит, прошу о спасении моего несчастного сына». О Планцине он не добавил ни слова.

17. После этого Тиберий снял с молодого человека[16] вину за участие в междоусобной борьбе, оправдывая его приказом отца, которому сын не мог не повиноваться; одновременно он выразил сожаление об участи столь знатной семьи и даже о печальном конце самого Пизона, сколько бы он его ни заслужил. В защиту Планцины он говорил с чувством неловкости и сознанием постыдности своего выступления, и притом сославшись на просьбу матери, о которой честные люди отзывались в разговорах между собой со все возраставшим негодованием. Итак, бабке позволительно благоволить к той, чьими происками умерщвлен ее внук, видеться с ней, укрывать ее от сената! И одному Германику было отказано в том, что обеспечивается законом всякому гражданину! Цезаря оплакивали Вителлий с Веранием, а Планцину вызволили принцепс с Августой! И теперь ей только и остается, что обратить свои яды и столь успешно испытанные козни против Агриппины, против ее детей и насытить кровью несчастнейшего семейства превосходную бабку и дядю! Этому подобию судебного разбирательства было отдано два заседания, причем Тиберий настойчиво побуждал сыновей Пизона отстаивать невиновность матери. Но так как обвинители и свидетели непрерывно выступали один за другим и никто их не оспаривал, Планцина в конце концов стала вызывать скорее жалость, чем ненависть. Приглашенный первым высказать свое мнение консул Аврелий Котта (ибо, когда по делу докладывал Цезарь, магистраты также привлекались к выполнению этой обязанности)[17] предложил: выскоблить из фастов имя Пизона, часть его имущества конфисковать, часть — передать его сыну Гнею Пизону, которому, однако, надлежит сменить личное имя[18]; Марка Пизона лишить сенаторского достоинства и, выдав ему пять миллионов сестерциев, выслать из Рима сроком на десять лет; Планцину, по просьбе Августы, от наказания освободить.

18. Многое в этом приговоре было смягчено принцепсом: он признал неуместным изымать из фастов имя Пизона, раз в них сохраняются имена Марка Антония, пошедшего вой-

ной на отечество, и Юла Антония, нанесшего оскорбление дому Августа. Больше того, он избавил от бесчестья Марка Пизона и отдал ему оставшееся от отца имущество, как всегда щепетильный, о чем я уже неоднократно упоминал, во всем, касавшемся денег, а на этот раз к тому же более снисходительный, так как стыдился, что Планцина осталась безнаказанной. Он же отклонил предложение Валерия Мессалина — установить золотую статую в храме Марса Мстителя, и Цецины Севера — воздвигнуть жертвенник Мщению[19], заявив, что подобным образом отмечаются победы над внешним врагом, а домашние неурядицы следует таить под покровом печали. Тогда Мессалин предложил принести благодарность Тиберию, Августе, Антонии, Агриппине и Друзу, воздавшим возмездие за Германика, причем он не упомянул Клавдия. И Луций Аспренат перед всем сенатом спросил Мессалина, умышленно ли он его пропустил, после чего имя Клавдия было наконец внесено в этот перечень. Чем больше я размышляю о недавнем или давно минувшем, тем больше раскрывается предо мной, всегда и во всем, суетность дел человеческих. Ибо молва, надежды и почитание предвещали власть скорее всем прочим, чем тому, кому судьба определила стать принцепсом и кого она держала в тени.

19. Спустя несколько дней Цезарь внес предложение о даровании сенатом жреческих званий Вителлию, Веранию и Сервею. Пообещав Фульцинию поддержать его своим голосом на выборах магистратов, он вместе с тем преподал ему совет удерживать свое красноречие от излишней порывистости. На этом закончилось дело о покарании виновных в смерти Германика, о которой не только среди современников, но и в позднейшее время ходили самые разнообразные слухи. Так большие события всегда остаются загадочными, ибо одни, что бы им ни довелось слышать, принимают это за достоверное, тогда как другие считают истину вымыслом, а потомство еще больше преувеличивает и то и другое. Между тем Друз, покинув Рим, чтобы возобновить ауспиции[20], вступил в него вскоре как триумфатор. Спустя несколько дней скончалась его мать Випсания, единственная из детей Агриппы, умершая своей смертью, ибо все остальные были умерщвлены — кто явно оружием, кто, по общему мнению, — ядом и голодом[21].

20. В том же году Такфаринат, предыдущим летом, как я указывал, разбитый Камиллом, возобновив войну в Африке, сперва совершает беспорядочные набеги, вследствие его стремительности оставшиеся безнаказанными, а затем принимается истреблять деревни, увозя с собою большую добычу, и, наконец, невдалеке от реки Пагида окружает когорту римлян. Начальствовал над укреплением Декрий, усердный и закаленный в походах воин, смотревший на эту осаду как на бесчестье. Решив дать бой на открытом месте, он обратился с увещанием к своим воинам и построил их перед лагерем. При первом же натиске неприятеля когорта была рассеяна, и он, осыпаемый дротиками и стрелами, бросается наперерез бегущим и накидывается на значконосцев, браня их за то, что римские воины показали тыл беспорядочным толпам и дезертирам; получив вскоре затем несколько ран, он устремляется, несмотря на пробитый глаз, навстречу врагу и не перестает драться, пока, покинутый своими, не падает мертвым.

21. Узнав об этом, Луций Апроний (ибо он сменил Камилла в должности проконсула), встревоженный не столько добытой врагами славой, сколько позором своих, прибегает к применявшемуся в те времена крайне редко старинному наказанию: отобрав жеребьевкой каждого десятого из осрамившей себя когорты, он до смерти забивает их палками[22]. И эта суровая мера оказалась настолько действенной, что подразделение ветеранов, числом не более пятисот, отогнало то же самое войско Такфарината, напавшее на укрепление, которое называется Тала. В этой битве рядовой воин Руф Гельвий совершил подвиг спасения римского гражданина, и Апроний наградил его ожерельем и почетным копьем. Цезарь пожаловал ему, сверх того, гражданский венец[23], скорее сетуя на словах, чем на самом деле досадуя, что Апроний не сделал этого своей проконсульской властью. И так как подавленные неудачею нумидийцы не желали осаждать укрепления, Такфаринат повел войну сразу во многих местах, отступая там, где на него наседали, и затем опять появляясь в тылу у римлян. Пока варвары применяли эти уловки, они безнаказанно издевались над терпящими неудачи и утомленными римлянами, но, когда они повернули в приморские области и им, связанным добычей, пришлось осесть в постоянном лагере, Апроний Цезиан, которого отец выслал против них с конницей,

когортами вспомогательных войск и добавленными к ним наиболее проворными и ловкими легионерами, успешно сразившись с нумидийцами, изгнал их в пустыню.

22. Между тем в Риме на Лепиду, которая, принадлежа к славному роду Эмилиев, была к тому же правнучкой Луция Суллы и Гнея Помпея, поступает донос, что она обманным образом утверждает, будто родила от бездетного богача Публия Квириния. К этому присоединялись обвинения в прелюбодеянии, отравлениях и в том, что она обращалась к халдеям, имея враждебные семье Цезаря умыслы; защищал подсудимую ее брат Маний Лепид. Квириний, продолжая преследовать ее своей ненавистью и после того как объявил ей развод[24], усилил сострадание к ней, сколь ни была она обесчещена и изобличена в преступлениях. И нелегко было в ходе этого разбирательства распознать истинные помыслы принцепса, — настолько часто он менял и перемежал проявления гнева и милости. Попросив сначала сенат не заниматься разбором обвинения в оскорблении величия, он в дальнейшем склонил бывшего консула Марка Сервилия и прочих свидетелей сообщить в своих показаниях о вещах, которых он якобы не хотел затрагивать. Он же передал содержавшихся в военной тюрьме рабов Лепиды в распоряжение консулов, но не допустил, чтобы их под пыткой допрашивали о том, что касалось его семьи. Далее, он воспрепятствовал Друзу, хотя тот был избранным на ближайший год консулом, первому предложить приговор[25], в чем одни усматривали гражданскую скромность и желание освободить остальных от необходимости согласиться с предложением Друза, а некоторые — коварство и злобность: ведь Друз не уступил бы первенства, если бы не имел предписания осудить обвиняемую.

23. В дни публичных игр, прервавших на время судебное разбирательство, Лепида, появившись в театре в сопровождении знатных женщин, принялась с горестными рыданиями взывать к своим предкам и к самому Помпею, чье сооружение и чьи статуи она видела пред собой[26], и вызвала такое к себе сострадание, что присутствовавшие, обливаясь слезами, стали осыпать Квириния угрозами и проклятиями: в угоду бездетному старику темного, никому не ведомого происхождения собираются расправиться с той, которая некогда предназначалась в жены Луцию Цезарю и в невестки боже-

ственному Августу. Но затем показаниями подвергнутых пыткам рабов она была изобличена в преступлениях, и сенат присоединился к мнению Рубеллия Бланда, потребовавшего лишить ее воды и огня[27]. Это было поддержано Друзом, тогда как другие предлагали более мягкие меры. Из уважения к Скавру, который имел от Лепиды дочь[28], было решено не подвергать ее имущество конфискации. И только тогда Тиберий наконец заявил, что он узнал от рабов Квириния о попытке Лепиды отравить мужа.

24. Некоторым утешением в постигших знатные семьи ударах (ведь за короткое время Кальпурнии потеряли Пизона, а Эмилии — Лепиду) было возвращение Децима Силана из рода Юниев. Коротко сообщу об этом случае. Насколько божественный Август был счастлив в делах государственных, настолько же был он несчастлив в семейных своих обстоятельствах из-за распутного поведения дочери, а потом внучки[29], которых он удалил из Рима, наказав их любовников смертью[30] или изгнанием. Присвоив этому столь обычному между мужчинами и женщинами проступку грозные наименования святотатства и оскорбления величия, он отступал от снисходительности предков и своих собственных законов. Но об исходе остальных дел этого рода и прочих событиях того времени я буду рассказывать, лишь завершив начатое, если только жизнь моя продлится и я смогу взяться за другие работы[31]. Хотя Децим Силан, изобличенный в любовной связи с внучкою Августа, не был подвергнут суровому наказанию и принцепс только лишил его своей благосклонности, он понял это как приказание отправиться в ссылку и лишь при Тиберии решился обратиться к сенату и принцепсу с просьбою о прощении, сделав это через своего брата Марка Силана, который благодаря выдающейся знатности и красноречию пользовался большим влиянием. Однако Марку Силану, в присутствии сенаторов приносившему Тиберию благодарность, Тиберий ответил, что рад возвращению его брата из дальнего изгнания и что тот имеет на это право, так как не был сослан ни сенатским постановлением, ни в силу закона, но что он, Тиберий, хорошо помнит о нанесенных его отцу оскорблениях и что с прибытием Силана отнюдь не отменяются распоряжения Августа; Децим Силан жил после этого в Риме, но не был допущен к занятию государственных должностей.

25. После этого рассматривался вопрос о смягчении закона Папия и Поппея, введенного престарелым Августом в дополнение к Юлиеву закону об ограничении прав не состоящих в браке и направленного также к усилению притока средств в государственную казну[32]. Однако супружества не стали от этого чаще и детей рождалось не больше, чем прежде, так как против желания оставаться бездетными эта мера оказалась бессильной. Но зато росло число тех, кому угрожала опасность, — ведь каждая семья по навету доносчиков могла подвергнуться разорению, и если раньше она страдала от порчи нравов, то теперь — от законов. Это и побуждает меня подробнее рассказать о первых начатках права и о том, каким образом мы дошли до такого бесконечного множества всевозможных законов.

26. Первородные смертные, не зная еще дурных побуждений, жили без проступков, без злодеяний и поэтому без наказания и стеснений. Не было нужды и в наградах, ибо люди по своим природным качествам стремились к честности; а раз они не желали ничего непозволительного, то ничто и не запрещалось через устрашение карой[33]. Но после того как согласие между ними нарушилось и на смену умеренности и скромности пришли честолюбие и насилие, возникло единодержавие, и у многих народов оно осталось навечно. Но некоторые народы, либо сразу, либо после того как им стали в тягость цари, предпочли управляться законами. Сначала, пока души людей были бесхитростными, — и законы были простыми; самые прославленные молвой — это составленные Миносом для критян, Ликургом для спартанцев и более многочисленные и сложные — написанные Солоном для афинян. У нас Ромул повелевал по своему усмотрению; затем Нума связал народ религиозными обрядами и божественным правом; кое-что было установлено Туллом и Анком; но главным создателем законов, которым должны были подчиняться даже цари, был Сервий Туллий.

27. После изгнания Тарквиния простой народ, чтобы защитить свободу и укрепить согласие, принял многочисленные меры против партии знатных, и были избраны децемвиры, которые, взяв отовсюду все лучшее, составили Двенадцать таблиц — последний свод нелицеприятного права. Ибо последующие законы, хотя и бывали порою направлены про-

тив преступников, чаще, однако, проводились насильственно, среди раздоров между сословиями, для достижения недозволенных почестей, для изгнания знаменитых мужей или в других злонамеренных целях. Отсюда — возмутители плебса Гракхи и Сатурнины и не менее щедро именем сената расточавший обещания Друз; отсюда — обольщенные надеждой и вследствие противодействия того же сената обманутые союзники[34]. Далее, во время италийской, а затем и гражданской войны[35] продолжали принимать многочисленные и противоречащие друг другу законы, пока диктатор Луций Сулла, отменив или изменив предшествующие и добавив еще больше новых, не пресек на короткий срок деятельность этого рода. Вскоре Лепид внес свои мятежные предложения[36], и немного спустя была возвращена трибунам свобода вести за собою народ, куда бы они ни хотели[37]. И тут начали появляться указы, относившиеся уже не ко всем, но к отдельным лицам, и больше всего законов было издано в дни наибольшей смуты в республике.

28. Тогда для исправления нравов был избран в третий раз консулом Гней Помпей[38], применивший ради их врачевания средства более пагубные, чем самое зло[39], создавший свои законы и сам же ниспровергнувший их[40] и потерявший от оружия то, что защищал оружием. Затем началась непрерывная, в течение двадцати лет[41], усобица, когда не стало ни нравственности, ни правосудия: оставались безнаказанными преступнейшие деяния, а добродетель бывала причиною гибели. Наконец, в шестое свое консульство Цезарь Август, обеспечив себе прочную власть, отменил сделанные во время триумвирата распоряжения и дал законы, чтобы мы наслаждались миром и нами управлял принцепс. В дальнейшем их путы стали еще крепче; появились надзиратели, по закону Папия и Поппея поощряемые наградами, чтобы римский народ наследовал как общий отец после отказавшихся от преимуществ отцовства выморочное имущество. Но эти надзиратели заходили гораздо дальше, накидывались на Рим, на Италию, на все, где только были римские граждане, и довели многих до разорения. И опасность грозила бы уже всем, если бы Тиберий не назначил по жребию, чтобы справиться с этой бедой, пятерых бывших консулов, пятерых бывших преторов и столько же из прочих сенаторов, и они, устранив

многочисленные стеснения, созданные этим законом, не принесли на короткий срок облегчения.

29. Тогда же, представив сенату уже достигшего юношеского возраста Нерона, сына Германика, Тиберий, не без насмешливых перешептываний присутствующих, испросил для него, чтобы, освобожденный от вигинтивирата[42] и на пять лет раньше установленного законом возраста, он был допущен к квестуре[43]. При этом Тиберий ссылался на то, что по ходатайству Августа такое же решение было принято о нем самом и о его брате[44]. Не сомневаюсь, что и тогда не было недостатка в тайно насмехавшихся над подобными домогательствами, но то было в начале возвышения Цезарей, и старинные установления были еще у всех пред глазами, да и родственные связи пасынков с отчимом менее близки, чем у деда с внуком. Нерону присваивается, сверх того, жреческий сан, и в день, когда он впервые вступил на форум, раздавался конгиарий[45] простому народу, ликовавшему, что перед ним возмужалый отпрыск Германика. Еще более радостно было встречено бракосочетание Нерона с дочерью Друза Юлией. Но насколько одобрительно отнесся к этому народ, настолько же неприязненно принял он сообщение, что сыну[46] Клавдия назначается в тести Сеян. Считали, что Тиберий запятнал этим честь своего рода и еще больше возвысил Сеяна, и без того внушавшего подозрения, что он слишком далеко заносится в своих замыслах.

30. В конце года скончались выдающиеся мужи Луций Волузий и Саллюстий Крисп. Волузий принадлежал к древнему роду, не поднявшемуся, однако, выше претуры; что касается его самого, то он достиг консульства, наделялся цензорской властью для проведения выборов всаднических декурий и скопил те богатства, которые так возвеличили и усилили эту семью. Крисп, происходивший из всаднического сословия, был внуком сестры прославленного римского историка Гая Саллюстия, усыновившего его и давшего ему свое имя. Но хотя Криспу был открыт легкий доступ к высшим магистратурам, он последовал примеру Мецената и, не имея сенаторского достоинства, превзошел могуществом многих отпраздновавших триумф или облеченных званием консула. Стремясь к изысканному образу жизни, он отошел от обычаев предков и, окруженный богатством и роскошью, был

склонен к изнеженности. Но при всем этом в нем таилась душевная сила, способная вершить большие дела и тем более бурная и кипучая, чем равнодушнее и бездеятельнее он старался казаться. При жизни Мецената — один из многих, а затем — первый, кому император доверял свои тайны, он был причастен к убийству Агриппы Постума; но на старости лет он скорее по видимости, чем на деле сохранял дружеское расположение принцепса. То же случилось и с Меценатом, потому ли, что волею рока могущество редко бывает незыблемым, или потому, что наступает пресыщение, охватывающее как тех, кто даровал все, что было возможно, так и тех, кому желать больше нечего.

31. Затем следуют четвертое консульство для Тиберия, второе — для Друза, примечательное разделением консульской власти между отцом и сыном. За три года до этого тот же почет был оказан Германику и Тиберию, но дяде это не доставило радости, и они были не так тесно связаны природными узами. В начале того же года Тиберий якобы для укрепления пошатнувшегося здоровья удалился в Кампанию, то ли постепенно подготовляя длительную непрерывную отлучку, то ли для того, чтобы Друз в отсутствие отца единолично отправлял консульские обязанности. И вышло так, что ничтожное дело, вызвавшее, однако, жаркие споры, доставило молодому человеку возможность снискать общее расположение. Бывший претор Домиций Корбулон обратился к сенату с жалобой на знатного молодого человека Луция Суллу, не уступившего ему места во время гладиаторских игр. На стороне Корбулона были его возраст, дедовские обычаи, сочувствие стариков; против него выступали Мамерк Скавр, Луций Аррунций и другие родичи Суллы. С обеих сторон произносились речи; делались ссылки на предков, суровыми указами осуждавших непочтительность молодежи, пока не выступил Друз, сумевший умерить страсти. Кончилось тем, что Корбулону принес извинения дядя и отчим Суллы Мамерк, самый красноречивый из ораторов того времени. Тот же Корбулон, повсюду крича о том, что из-за злоупотреблений подрядчиков и нерадивости магистратов дороги в Италии по большей части совершенно разбиты и приведены в непроезжее состояние, охотно взялся навести в этом деле порядок, что не принесло большой общественной пользы, но

оказалось гибельным для весьма многих, с чьим добрым именем и имуществом он беспощадно расправился посредством осуждений и продаж с торга.

32. Немного спустя в присланном сенату письме Тиберий сообщал о набеге Такфарината, снова вызвавшем осложнения в Африке, и велел сенаторам по своему усмотрению избрать для нее проконсула, который знал бы военное дело, отличался крепким здоровьем и мог взять на себя руководство войной. Этот повод был использован Секстом Помпеем для очернения Марка Лепида, который, по его словам, был ленив, беден и являлся позором для своих предков, вследствие чего его не следует допустить к жеребьевке на управление Азией; сенат, однако, не разделял этого мнения, считая, что Лепид скорее мягок, чем нерадив, что нужду он унаследовал от отца и что, ничем не запятнав своей знатности, скорее заслуживает похвалы, чем бесчестья. Итак, Лепида направили в Азию, а относительно Африки было вынесено постановление предоставить самому Цезарю выбрать, кому ее поручить.

33. Между тем Цецина Север предложил воспретить уезжающим в провинцию магистратам брать с собой жен; предварительно он несколько раз повторил, что живет с женой в добром согласии, что она шесть раз рожала ему детей и что предлагаемое им в качестве общественного мероприятия он неуклонно соблюдал у себя в семье, оставляя ее в Италии, хотя его сорокалетняя военная служба протекала во многих провинциях. Ведь недаром некогда было вынесено решение не возить с собой женщин ни к союзникам, ни к чужеземцам: присутствие женщин неминуемо связано с осложнениями, из-за их роскоши в мирное время, из-за их страхов — в военное; из-за них римское войско в походе уподобляется кочующей орде варваров. Этот пол не только слабосилен и неспособен к перенесению трудностей, но если дать ему волю, то и жесток, тщеславен и жаден до власти; они выступают перед воинами, прибирают к рукам центурионов — и вот недавно женщина распоряжалась упражнениями когорт, боевыми учениями легионов[47]. Пусть они, сенаторы, сами припомнят, что всякий раз, когда происходят осуждения за лихоимства, в большей части преступлений бывают повинны жены; вокруг них тотчас же собираются худшие люди провинции;

женщины предпринимают и совершают всевозможные сделки. Торжественные встречи устраиваются обоим, существуют два претория[48], в своих приказаниях женщины чаще всего упорны и неумеренны, и те, которые некогда были обузданы Оппиевыми и другими законами[49], а теперь освободились от этих оков, норовят распоряжаться не только дома и на форуме, но и в войсках.

34. Лишь немногие слушали эту речь с одобрением: большинство перебивало ее, выкрикивая, что этот вопрос не был поставлен на обсуждение и что не Цецине быть судьей в таком деле. С ответом ему выступил Валерий Мессалин, который, будучи сыном Мессалы, в некоторой мере унаследовал отцовское красноречие: многие из суровых установлений древности заменены лучшими и более снисходительными — ведь вокруг Рима уже не свирепствуют, как некогда, войны, и в провинциях не осталось былой враждебности. И если кое-что отпускается на женские нужды, то это не ложится тяжелым бременем на плечи мужей и, тем более, на союзников; всем остальным жена пользуется наравне с мужем, и в мирное время это не мешает ему заниматься своими делами. На войну, разумеется, нужно идти только тем, кто способен носить оружие; но есть ли для возвращающихся после бранных трудов более чистое и добродетельное отдохновение, чем даруемое супругой? Некоторые из них охвачены тщеславием или жадностью? Но разве многие магистраты и сами не подвержены различным страстям? Тем не менее их все-таки посылают в провинции. Испорченность жен совращает мужей? Но разве всякий холостяк безупречен? Некогда были приняты Оппиевы законы, что было вызвано обстоятельствами, в которых тогда пребывала республика[50]; кое в чем в них позднее были сделаны послабления и уступки, ибо это требовалось общею пользой. Тщетно прикрывать нашу слабость, выискивая для нее другие названия: если жена в чем бы то ни было преступает должную меру, виноват в этом муж. Далее, несправедливо из-за безволия нескольких отнимать у мужей подруг, делящих с ними и счастье, и горести, и, покидая пол, по природе слабый, предоставлять его собственной невоздержанности и чужим вожделениям. Ведь и в присутствии мужа едва удается сохранить нерушимость супружеского союза; что же произойдет, если жены на долгие годы будут забыты,

словно они получили развод? Поэтому, противодействуя непорядкам вне Рима, следует помнить и об охране нравов в самом Риме. Несколько слов было добавлено Друзом, сославшимся на свою семейную жизнь: ведь принцепсам приходится посещать отдаленнейшие места империи. Сколько раз божественный Август ездил на Запад и на Восток в сопровождении Ливии! Да и сам Друз выезжал в Иллирию и, если понадобится, отправится и к другим народам, но не всегда хранил бы спокойствие духа, если бы отрывался от своей дорогой супруги и матери стольких его детей. Итак, предложение Цецины было отвергнуто.

35. На ближайшем заседании сената было прочитано письмо Тиберия, в котором, бросив скрытый упрек сенаторам за то, что все заботы они взваливают на принцепса, он называл Мания Лепида и Юния Блеза в качестве кандидатов, одного из которых надлежало избрать проконсулом Африки. После этого были выслушаны выступления их обоих: Лепид с большой настойчивостью уклонялся от этого назначения, ссылаясь на слабость здоровья, малолетних детей, дочь на выданье, но всем было ясно и то, о чем он умалчивал, — что Блез — дядя Сеяна и поэтому преимущество на его стороне. Для вида отказывался и Блез, но не упорствовал, когда льстецы единодушно поддержали его подлинные желания.

36. Затем открыто заговорили о том, на что многие жаловались лишь в тесном кругу друзей. Все чаще случалось, что последние негодяи, прикасаясь к изображению Цезаря[51], безнаказанно поносили честных людей и возбуждали против них ненависть; стали бояться даже вольноотпущенников и рабов, когда те бранили своего патрона или хозяина или угрожали ему расправой. И вот сенатор Гай Цестий выступил с речью, в которой сказал, что хотя принцепсы подобны богам, но и боги прислушиваются лишь к справедливым просьбам молящихся, и никто не укрывается в Капитолии или других храмах Рима, чтобы, пользуясь этим убежищем, совершать преступления. Законы полностью отменены и повержены, если на форуме, рядом с сенатом, Анния Руфилла, которую судья по его иску признал виновной в мошенничестве, осыпает его руганью и угрозами, а он не смеет воззвать к правосудию, потому что ее защищает изображение императора. Зашумели со всех сторон и другие, сообщая о сходных или

еще более возмутительных случаях, и принялись упрашивать Друза преподать устрашающий пример наказания; в конце концов Руфилла была допрошена, изобличена и по приказанию Друза заключена в государственную тюрьму.

37. На основании сенатского постановления, принятого по указанию принцепса, были также подвергнуты наказанию римские всадники Консидий Экв и Целий Курсор, клеветнически обвинившие в оскорблении величия претора Магия Цецилиана. И то и другое вменили в заслугу Друзу: живя в Риме и охотно вращаясь среди людей, он сглаживал своею доступностью нелюдимость и отчужденность отца. Не вызывало осуждения в молодом человеке и его легкомыслие: пусть уж лучше тешится своими забавами, проводя дни на постройках[52], а ночи — в пирах, чем, отгородившись от всех и лишив себя каких бы то ни было развлечений, погружается в угрюмую настороженность и вынашивает злобные замыслы.

38. Между тем Тиберий не унимался, не унимались и обвинители. Так, Анхарий Приск привлек к суду проконсула Крита Цезия Корда, обвинив его в лихоимстве и, сверх того, в оскорблении величия, что тогда неизменно присоединялось ко всем обвинениям. Цезарь, сделав выговор судьям, оправдавшим обвинявшегося в прелюбодеянии знатнейшего македонянина Антистия Ветера, снова предал его суду — на этот раз за оскорбление величия, как бунтовщика и соучастника замыслов Рескупорида в те дни, когда, убив Котиса, тот замышлял войну против нас. Итак, подсудимый был лишен воды и огня, и было добавлено, чтобы он содержался на острове, удаленном как от Македонии, так и от Фракии. Ибо Фракия, после того как власть над нею была поделена между Реметалком и детьми Котиса, к которым из-за их малолетства сенат приставил опекуном Требеллена Руфа, все еще не смирившись с нашим господством, была неспокойна, и фракийцы, видя в Требеллене виновника своих бедствий, не меньше возмущались Реметалком, оставлявшим неотмщенными обиды своих соплеменников. И вот взялись за оружие сильные племена келалетов, одрисов и диев, каждое во главе со своими вождями, среди которых ни один не превосходил остальных известностью и влиятельностью, что и было причиною, почему они не смогли сплотиться и повести войну крупными силами. Часть восставших разоряла близлежащие

местности, другие перешли через Гемские горы с намерением возмутить обитавшие вдалеке народы, а большинство, и притом наиболее боеспособное, осадило царя[53] в основанном Филиппом Македонским городе Филиппополе.

39. Узнав об этом, Публий Веллий (он начальствовал над ближайшим войском) бросил отряды вспомогательной конницы и когорты легковооруженных на тех, которые, предаваясь грабежу или рассчитывая собрать подкрепления, переходили с места на место, а сам повел основное ядро пехоты, чтобы освободить от осады обложенный город. Все завершилось полным успехом: грабители были уничтожены, среди осаждающих возникли раздоры, царь произвел удачную вылазку, и к нему своевременно подошел легион. Происшедшее не подобает даже назвать ни правильной битвою, ни сражением, — ведь кое-как вооруженные и разрозненные враги были перебиты без пролития нашей крови.

40. В том же году обремененные долгами галльские племена попытались поднять восстание, наиболее деятельными подстрекателями к которому были среди треверов Юлий Флор, у эдуев — Юлий Сакровир. Оба принадлежали к знатным родам, и их предки за свои подвиги получили некогда римское гражданство, которое в те времена было редкой наградой и давалось только за выдающиеся заслуги. Заручившись поддержкой наиболее решительных и отважных, а также всех тех, у кого вследствие нищеты или страха пред наказанием за совершенные преступления не оставалось иного выхода, как примкнуть к мятежу, они на тайных переговорах условились, что Флор возмутит белгов, а Сакровир — обитающих ближе к Италии галлов. Итак, в местах, где постоянно собирался народ, и на созванных ради этого сходках они принимаются произносить мятежные речи, говорят о вечном гнете налогов, о произволе ростовщиков, о жестокости и надменности правителей, о том, что, узнав про гибель Германика, римские воины неспокойны и ропщут, — словом, что пришло время отвоевать независимость, если они, полные сил, поразмыслят над тем, насколько слаба Италия, как невоинственно население Рима и что в римском войске надежны только провинциалы.

41. Не было почти ни одной общины, в которую не запали бы семена этого мятежа, но первыми поднялись андекавы

и туроны. Андекавов усмирил легат Ацилий Авиола, вызвав когорту, стоявшую гарнизоном в Лугдуне. Туронов подавили под начальством того же Авиолы легионы, присланные легатом Нижней Германии Визеллием Варроном, и поддержавшие их некоторые из галльских вождей, поступившие таким образом, чтобы скрыть свою причастность к восстанию и при более благоприятных обстоятельствах открыто присоединиться к мятежникам. Видели и Сакровира, призывавшего с непокрытою головой, чтобы выказать, как он говорил, свою храбрость, биться на стороне римлян; однако пленные утверждали, что он делал это, чтобы восставшие узнали его и не поднимали на него оружия. Запрошенный по этому поводу Тиберий пренебрег полученным донесением и своей нерешительностью затянул военные действия.

42. Между тем Флор, упорствуя в осуществлении своих замыслов, подстрекает отряд вспомогательной конницы, набранный из треверов, но прошедший нашу военную выучку и приученный к дисциплине, перебить римских купцов и начать восстание; ему удалось совратить лишь немногих всадников, тогда как большинство осталось верным долгу. Тем временем взялось за оружие множество должников и подневольного люда; они попытались проникнуть в поросшие лесом горы, носящие название Ардуенна, но их не пустили туда легионы обоих войск, с двух сторон выставленные Визеллием и Гаем Силием. Высланный вперед с отрядом отборной конницы Юлий Инд, соплеменник Флора, враждебный ему и поэтому с особенным пылом выполнявший свое поручение, рассеял не успевшую изготовиться к бою беспорядочную толпу. Флору сначала удалось скрыться от победителей, но, увидев позднее римлян, засевших у выходов из его убежища, он поразил себя собственною рукой. Таков был конец возмущения треверов.

43. У эдуев восстание приобрело больший размах, поскольку их община была могущественнее и военные силы для ее усмирения находились гораздо дальше. Главный город этого племени Августодун захватывается вооруженными толпами Сакровира, рассчитывавшего увлечь за собой обучавшихся там юношей из виднейших галльских родов[54] и, располагая такими заложниками, — их отцов и родичей; в этих целях он раздает молодежи тайно изготовленное ору-

жие. Всего у него набралось сорок тысяч, из которых одна пятая имела оружие римского образца, а у остальных были только рогатины, ножи и прочее вооружение, каким пользуются охотники. К ним были добавлены предназначенные для гладиаторских игр рабы, по обычаю племени облаченные в сплошные железные латы, так называемые круппеларии[55], малопригодные для нападения, но зато неуязвимые для наносимых врагом ударов. Численность этих полчищ непрерывно росла и благодаря притоку проникнутых тем же рвением из еще не примкнувших открыто к восставшим соседних племен, и вследствие соперничества между римскими военачальниками, спорившими о том, кому из них возглавлять руководство военными действиями, пока отягченный старостью Варрон не уступил полному сил и решимости Силию.

44. А в Риме между тем распространился слух, что восстали не только треверы и эдуи, но все шестьдесят четыре галльские общины[56], что они объединились с германцами, что Испания ненадежна, и все это, как обычно бывает, встречало веру и преувеличивалось молвою. Всех благомыслящих эти известия огорчили и наполнили тревогой за государство; но многие из ненависти к существующему порядку и жажды перемен, невзирая на то, что сами подвергались опасности, были ими обрадованы и бранили Тиберия, продолжавшего при таком расстройстве в делах углубляться в наветы доносчиков. Или, быть может, и Сакровир предстанет пред сенатом за оскорбление величия? Нашлись наконец мужи, которые силой оружия положат предел кровожадным посланиям принцепса. Пусть уж лучше война, чем столь жалкий мир. Но Тиберий тем упорнее хранил полнейшую невозмутимость и, не сменив ни местопребывания, ни выражения лица, ни в чем не нарушил в те дни привычного образа жизни, то ли от скрытности нрава, то ли установив, что опасность не столь значительна и во всяком случае меньше, чем изображает молва.

45. Тем временем Силий, выслав вперед отряд вспомогательных войск, а сам наступая с двумя легионами, опустошает округа секванов, обитавших в пограничной местности по соседству с эдуями, заодно с которыми они взялись за оружие. Затем стремительным броском он продвигается к Авгу-

стодуну — его значконосцы соревнуются друг с другом в усердии, рядовые воины требуют не устраивать обычных привалов и не располагаться ночами на отдых: лишь бы они увидели пред собою противника и были замечены им — этого достаточно для победы. Наконец, в открытом поле, у двенадцатого милиария, показался Сакровир со своими полчищами. Впереди он поставил латников, с боков — правильные когорты, сзади — толпу кое-как вооруженных. Сопровождаемый приближенными, он объезжал на статном коне ряды своего войска и говорил о былой славе галлов, о поражениях, которые они некогда нанесли римлянам, о том, как почетна для победителей отвоеванная ими свобода и насколько несноснее рабство для побежденных вторично.

46. Но речи эти были недолгими и не вызвали одушевления: на эдуев надвигались в боевом строю легионы; и неопытные в военном деле, не прошедшие никакой выучки горожане отдавали свое зрение и слух только этому. Напротив, Силий, хотя заранее усвоенная уверенность в победе делала излишними всякие увещания, тем не менее восклицал, что им, победителям германцев, должно казаться зазорным, что их ведут против таких врагов, каковы галлы. «Недавно одна когорта разгромила туронов, одно конное подразделение — треверов, несколько конных отрядов этого самого войска — секванов. Чем эдуи богаче деньгами, чем больше предаются они удовольствиям, тем менее рвутся в бой. Разите же их, но оказывайте пощаду бегущим». В ответ на это раздались громкие клики, и конница, обойдя неприятеля, ударила на него сзади, пехота бросилась на передних; не замешкались и действовавшие на флангах. Разгром эдуев несколько задержали латники, так как их доспехи не поддавались ни копьям, ни мечам; впрочем, воины, схватившись за секиры и кирки, как если бы они рушили стену, стали поражать ими броню и тела; другие при помощи кольев и вил валили эти тяжелые глыбы, и они, словно мертвые, продолжали лежать на земле, не делая ни малейших усилий подняться. Сакровир сначала направился в Августодун, а затем, опасаясь выдачи римлянам, с наиболее преданными приверженцами — в ближнюю загородную усадьбу. Там он поразил себя своею рукой, а остальные — пронзив насмерть друг друга. Подожженная усадьба сгорела, и огонь поглотил их тела.

47. Только тогда наконец Тиберий написал сенату о возникновении и завершении войны; он сообщил все, как оно было, ничего не убавив и ничего не прибавив: одержали верх верность и доблесть легатов и его указания. Приводя тут же причины, почему ни он, ни Друз не отправились на эту войну, он превозносил величие Римской державы и заявлял, что принцепсам не пристало, если взбунтуются одно-два племени...[57] покинув город, откуда осуществляется руководство всем государством. Но теперь, поскольку его побуждает к этому не тревога, а другие соображения, он выедет в Галлию, дабы на месте ознакомиться с положением дел и навести порядок. Сенаторы постановили дать обеты ради благополучного его возвращения, а также устроить молебствия и все принятое в подобных случаях. Только Долабелла Корнелий, стремясь превзойти остальных и дойдя в своей лести до полнейшей несообразности, предложил назначить Тиберию, которому предстояло прибыть из Кампании, овацию[58] при въезде в Рим. В ответном письме Цезарь писал, что он не так уж бесславен, чтобы после покорения стольких неукротимых народов, стольких отпразднованных в молодости триумфов и стольких, от которых он отказался, добиваться уже в пожилом возрасте необоснованной награды за загородную поездку.

48. Тогда же он повелел сенату отметить смерть Сульпиция Квириния устройством ему торжественных похорон на государственный счет. Этот Квириний, происходя из города Ланувия, не принадлежал к древнему патрицианскому роду Сульпициев, но, отличившись на военной службе и ревностным исполнением возлагаемых на него обязанностей, был удостоен при божественном Августе консульства, а позднее, овладев в Киликии крепостями гомонадов, — триумфальных отличий и был дан в руководители и советники управлявшему Арменией Гаю Цезарю. К тому же он оказывал внимание Тиберию в бытность того на Родосе. Сообщив тогда обо всем этом в сенате, принцепс превозносил похвалами Квириния за его предупредительность лично к нему и всячески попрекал Марка Лоллия, виновного, по его словам, в возбуждении против него Гая Цезаря и в их разногласиях. У всех прочих Квириний, однако, не оставил по себе доброй памяти из-за преследований, которым, как я упоминал, он под-

верг Лепиду, а также за его скаредность и всемогущество в старости.

49. В конце года римского всадника Клутория Приска доносчик обвинил в том, что, пожалованный Цезарем денежным даром за прославленные стихи, в которых оплакивалась кончина Германика, он во время болезни Друза сочинил новые, чтобы в случае его смерти предать их гласности и получить еще большее вознаграждение. Это Клуторий якобы обронил из тщеславия в доме Публия Петрония перед его тещей Вителлией и многими знатными женщинами. Когда разнеслась весть об этом доносе, остальные со страху подтвердили его; лишь Вителлия решительно заявила, что ничего не слышала. Но тем, чьи свидетельства навлекали на Клутория гибель, было дано больше веры, и избранный консулом на следующий срок Гатерий Агриппа предложил приговорить подсудимого к высшему наказанию.

50. Против этого следующим образом высказался Маний Лепид: «Если мы станем, отцы сенаторы, исходить лишь из того, сколь нечестивыми словами Клуторий Приск осквернил свою душу и слух людей, то для него мало и тюрьмы, и петли, и даже тех пыток, которым подвергают рабов. Но если для нечестия и преступлений не существует предела, а в наказаниях и средствах воздействия его ставит умеренность принцепса, а также примеры, оставленные предками и вами самими, равно как и различие, существующее между вздорным и злонамеренным, между словами и злодеяниями, то здесь уместно вынести приговор, который не оставил бы вины Клутория безнаказанной и вместе с тем не дал бы нам оснований раскаиваться ни в его мягкости, ни в чрезмерной суровости. Я не раз слышал, как наш принцепс выражал сожаление, если кто предупреждал самоубийством его милосердие. Жизнь Клутория в наших руках; если она будет нами сохранена, от этого не воспоследует опасности для государства, если отнята, никто в этом не почерпнет для себя назидания. Его стремления столь же исполнены безумия, сколько суетны и ничтожны; и нельзя бояться чего-либо важного и существенного со стороны человека, который сам разглашает свои собственные проступки и жаждет пленить сердца не мужей, но безвольных и слабых женщин. Итак, пусть он покинет Рим, пусть его имущество будет взято в казну, а сам он

лишен воды и огня; я говорю это, предполагая, что он подвергнется осуждению по закону об оскорблении величия»[59].

51. Из бывших консулов Лепида поддержал только Рубеллий Бланд; остальные согласились с приговором Агриппы; Приск был тут же отправлен в тюрьму и немедленно по прибытии туда умерщвлен. Тиберий как обычно, в двусмысленных выражениях, попенял за это сенату, одновременно превознося преданность тех, кто беспощадно карает даже за маловажные оскорбления принцепса, и порицая столь поспешное наказание только лишь за слова, хвалил Лепида, но не осуждал и Агриппы. В итоге было принято сенатское постановление, предписывавшее передавать в казначейство[60] приговоры сената лишь по истечении десяти дней после их вынесения и тем самым продлевавшее на такой же срок жизнь осужденного. Но ни сенат не располагал возможностью менять свои приговоры, ни Тиберий в предусмотренное для этого время не смягчал наказания.

52. Затем последовало консульство Гая Сульпиция и Децима Гатерия, в этом году во внешних делах не произошло никаких осложнений, но в самом Риме стали бояться строгостей против роскоши, которая безудержно распространялась по всем путям расточительства. Иные расходы, сколь бы огромными они ни были, удавалось утаивать, чаще всего приуменьшая цены, но что касается трат на чревоугодие и распутство, то о них постоянно толковали в народе, и это вызвало опасения, как бы принцепс круто не повернул к старинной бережливости. И вот по почину Гая Бибула и остальные эдилы заговорили о том, что закон об издержках[61] никем ни во что не ставится, что недозволенные цены на съестные припасы повышаются с каждым днем, что обычными мерами их рост не остановить; обсудив этот вопрос, сенаторы передали его целиком на усмотрение принцепса. Тиберий, тщательно взвесив в своих размышлениях, можно ли обуздать столь распространившиеся страсти и не принесет ли их обуздание еще больший вред государству, к лицу ли ему браться за то, чего он или не добьется, или если добьется, то навлечет позор и бесчестие на прославленных и почтенных мужей, наконец составил письмо к сенату, в котором говорил следующее.

53. «Быть может, отцы сенаторы, при рассмотрении других дел было бы полезнее, если бы я выслушивал ваши воп-

росы, лично присутствуя среди вас, и говорил тут же о том, что, по-моему, нужно для общего блага. Но при обсуждении этого дела мне было лучше отсутствовать, дабы я не видел своими глазами и в некотором роде не ловил с поличным тех отдельных сенаторов, которых вы осуждаете за постыдную роскошь и на чьи лица и чей испуг вы бы указывали мне вашими взглядами. И если бы ревностные мужи эдилы предварительно спросили меня о моем мнении, то, пожалуй, я скорее посоветовал бы им предоставить эти могущественные и укоренившиеся пороки самим себе, чем вести с ними борьбу, чтобы в конце концов обнаружить пред всеми, с какими позорными недостатками мы не в состоянии справиться. Эдилы, разумеется, поступили соответственно своему долгу, и я хотел бы, чтобы все прочие магистраты столь же усердно отправляли свои обязанности; но что касается меня, то мне неудобно молчать и вместе с тем затруднительно высказаться: ведь я не облечен полномочиями эдила, претора или консула. От принцепса требуется нечто большее и более выдающееся, и, если всякий снискивает одобрение за добросовестно выполненные дела, промахи всех вменяются в вину ему одному. С чего мне начать? Что запретить или ограничить, возвращаясь к прежним обычаям? Огромные размеры загородных домов? Число рабов и их принадлежность к множеству различных племен? Вес золотой и серебряной утвари? Чудеса, созданные в бронзе и на картинах? Одинаковые одеяния мужчин и женщин[62] или пристрастия одних только женщин, ведущие к тому, что ради драгоценных камней наши состояния уходят к чужим или даже враждебным народам?

54. Мне известно, что на пирах и в дружеских собраниях возмущаются этой непомерною роскошью и требуют, чтобы ей был положен предел; но если бы кто-нибудь издал в этих целях закон и определил в нем наказания, те же самые люди стали бы вопить, что ниспровергаются общественные устои, что всякому наиболее выдающемуся приуготовляется гибель и что никто не огражден от опасности быть обвиненным. И подобно тому как застарелые и с давних пор укреплявшиеся недуги нашего тела не пресечь иначе, как сильно действующими и суровыми лечебными мерами, так и развращенная и одновременно развращающая, больная и пылающая в горячке душа должна быть обуздана средствами, не менее мощны-

ми, чем распалившие ее страсти. Столько законов, введенных нашими предками, столько обнародованных божественным Августом, утратив всякую силу, одни — из-за того, что забыты, другие — что еще постыднее — из пренебрежения к ним, еще больше укрепили в приверженных роскоши самоуверенность и беззаботность. Ибо, желая того, что пока не запретно, опасаешься, как бы на него не был наложен запрет, но, безнаказанно преступив грань позволенного, забываешь и страх, и совесть. Почему некогда господствовала бережливость? Потому что каждый сам себя ограничивал, потому что мы были гражданами лишь одного города и, властвуя в пределах Италии, не знали многих одолевающих нас ныне соблазнов. Но победив внешних врагов, мы научились безудержно расточать чужое, а в междоусобицах — и свое собственное. Однако сколь незначительно зло, о котором напоминают эдилы! Какой безделицей мы должны его счесть, если взглянем на все остальное! А ведь никто, к сожалению, не докладывает сенату, что Италия постоянно нуждается в помощи со стороны, что жизнь римского народа всечасно зависит от превратностей моря и бурь[63] и что, не поддерживай провинции своими излишками и господ, и рабов, и самые пашни, нам пришлось бы ожидать пропитания от своих увеселительных садов и вилл. Вот какая забота, отцы сенаторы, неизменно отягощает принцепса, и, если она будет оставлена, ничто не сможет спасти государство. Остальному должно помочь исцеление самих душ; так пусть же нас изменит к лучшему ощущение меры дозволенного, бедняков — нужда, богачей — пресыщение. И если кто из высших должностных лиц обещает такое усердие и такую твердость, что для него будет посильным вступить в борьбу с роскошью, я воздам ему похвалу и признáюсь, что он снимает с меня часть моего бремени; но если они пожелают подвергнуть пороки лишь словесному бичеванию, а затем, добыв этим славу, оставят мне распри, то поверьте, отцы сенаторы, и я также не хочу попреков; мирясь с ними, тягостными и по большей части несправедливыми, в делах государственной важности, я по праву прошу избавить меня от пустых и бесплодных, не возмещаемых пользой ни для меня, ни для вас».

55. По прочтении письма Цезаря с эдилов была снята эта забота, и само собой постепенно изжило себя соперничество

в роскоши пиршественных столов, поглощавшей огромные средства на протяжении целых ста лет после битвы при Акции[64] и вплоть до вооруженного переворота, отдавшего верховную власть Сервию Гальбе. Мне хочется выяснить причины этого изменения в обиходе. Богатые и знатные или особенно знаменитые семьи с давних пор были влекомы к показному блеску. Ибо в те времена еще не возбранялось благодетельствовать простому народу, союзникам и подвластным нам царствам и быть почитаемым ими. И чем больше кто-либо выделялся богатством, великолепием дома и пышностью его внутреннего убранства, тем больший почет окружал его имя и тем больше имел он клиентов. Но после того как начали свирепствовать казни и громкая слава стала неминуемо вести к гибели, остальные благоразумно притихли и затаились. Вместе с тем все чаще допускавшиеся в сенат новые люди из муниципиев, колоний и даже провинций принесли с собою привычную им бережливость, и хотя многие среди них благодаря удаче или усердию к старости приобретали богатство, они сохраняли тем не менее прежние склонности. Но больше всего способствовал возвращению к простоте нравов державшийся старинного образа жизни Веспасиан. Угодливость по отношению к принцепсу и стремление превзойти его в непритязательности оказались сильнее установленных законами наказаний и устрашений. Впрочем, быть может, всему существующему свойственно некое круговое движение, и как возвращаются те же времена года, так обстоит и с нравами; не все было лучше у наших предшественников, кое-что похвальное и заслуживающее подражания потомков принес и наш век. Так пусть же это благородное соревнование с предками будет у нас непрерывным!

56. Поставив предел потоку доносов и тем приобретя славу умеренности, Тиберий направляет сенату письмо, в котором просит о предоставлении Друзу трибунской власти. Это наименование было придумано Августом для обозначения высшей власти: не желая называться царем или диктатором, он, однако, хотел выделяться среди магистратов каким-нибудь титулом. Позднее он избрал себе сотоварищем в этой власти Марка Агриппу, а после его кончины — Тиберия Нерона[65], дабы не оставалось неясности, кого он назначил своим преемником. Он считал, что благодаря этому будут рассе-

яны злонамеренные надежды других; вместе с тем он был уверен в преданности Нерона и непоколебимости собственного величия. И вот, руководствуясь этим примером, Тиберий разделил с Друзом верховную власть, тогда как при жизни Германика выбор между ними оставлял нерешенным. Начав письмо с просьбы богам обратить его замысел ко благу республики, он, в сдержанных выражениях и ничего не преувеличивая, обрисовал нравы молодого человека. У него есть жена и трое детей, и он в том же возрасте, в каком сам Тиберий был призван божественным Августом к несению тех же обязанностей. И теперь не поспешно и необдуманно, но после восьмилетнего испытания, после того как Друз подавил мятежи и успешно завершил войны, он привлекает его, триумфатора и дважды консула, к соучастию в хорошо знакомых ему трудах.

57. Сенаторы предвидели это обращение принцепса, и поэтому тем более тонкой была их лесть. И все-таки они ничего не придумали, кроме обычных постановлений об изображениях принцепсов, жертвенниках богам, храмах, арках и тому подобном; только Марк Силан изыскал для принцепсов новые почести в умалении консульского достоинства и внес предложение выставлять на общественных и частных строениях, в случае указания на них памятной даты, имена не консулов, но тех, кто облечен трибунскою властью. Но когда старик Квинт Гатерий выразил пожелание, чтобы сенатские постановления этого дня были начертаны золотыми буквами в курии, это вызвало насмешки, ибо единственной наградой, которую он мог ожидать, было бесславие низкой лести.

58. Так как Юнию Блезу тогда же были продлены полномочия на управление Африкой, фламин Юпитера Сервий Малугинский потребовал предоставить ему провинцию Азию[66], утверждая, что распространенное мнение, будто фламинам недозволено покидать Италию, лишено оснований и что у него те же права, какие у фламинов Марса или Квирина; а если они управляют провинциями, то почему не допускать к тому же фламинов Юпитера? Нет об этом постановлений народных собраний, ничего такого не найти и в обрядовых книгах. Нередко, если фламину препятствовали болезнь или государственные обязанности, жертвы Юпитеру за него приносили понтифики. В течение семидесяти пяти лет после

смерти Корнелия Мерулы никто не был избран на его место, и тем не менее священнодействия не прерывались[67]. Если столько лет можно было вовсе не избирать фламина Юпитера без ущерба для религии, то не намного ли легче допустить, чтобы фламин Юпитера отбыл на один год для выполнения проконсульских обязанностей? Некогда из-за личных раздоров великие понтифики воспрещали фламинам Юпитера отправляться в провинцию, но теперь, по милости богов, верховный глава понтификов — вместе с тем и верховный глава людей[68], и он выше соперничества, ненависти и личных пристрастий.

59. Сервию возражали, приводя различные доводы, авгур Лентул и другие сенаторы, и ввиду этого было решено подождать, что скажет великий понтифик[69]. Тиберий, отказавшись заниматься вопросом о правах фламинов, несколько ограничил сенатские постановления о торжествах по поводу предоставления Друзу трибунской власти и особенно порицал неуместность предложения о золотых буквах, противоречащего обычаям предков. Было также оглашено послание Друза, и, хотя оно было скромным, сенаторы сочли его проявлением величайшей надменности: низко пали нравы, если удостоенный такой чести молодой человек не желает посетить богов Рима, показаться в сенате и хотя бы начать на земле отцов свое новое поприще. Как будто идет война или он задерживается где-нибудь на краю света, а не объезжает сейчас побережье и озера Кампании! Вот чему учат руководители рода людского, вот что он прежде всего усвоил из советов отца! Пусть престарелого императора тяготит лицезрение граждан, пусть он ссылается на преклонный возраст и свершенные им труды; но что за помехи у Друза, кроме высокомерия?

60. Неуклонно укрепляя единовластие, Тиберий оставлял, однако, сенату видимость его былого величия и отсылал с этой целью на его рассмотрение возбуждаемые провинциями ходатайства. Ибо в греческих городах учащались случаи ничем не стесняемого своеволия в определении мест, служивших убежищами[70]: храмы были заполнены наихудшими из рабов; там же находили приют и защиту преследуемые заимодавцами должники и подозреваемые в злодеяниях, наказуемых смертною казнью, и нигде не было достаточно

сильной власти, способной справиться с бесчинством народа, оберегавшего заядлых преступников под предлогом почитания богов. Поэтому сенат повелел городам прислать представителей с подтверждением своих прав. Некоторые города добровольно отказались от незаконно присвоенных прав, другие рассчитывали на старинные суеверия и на свои заслуги перед римским народом. И прекрасное зрелище являл собою сенат в день рассмотрения дарованных нашими предками привилегий, договоров с союзниками, указов царей, которые властвовали еще до установления владычества римлян, и самих религиозных преданий, свободно, как некогда, подтверждая их или внося в них изменения.

61. Первыми прибыли в Рим эфесцы, говорившие о том, что, вопреки распространенному мнению, Диана[71] и Аполлон не родились на Делосе; близ их города есть река Кенхрей и роща Ортигия, где Латона, прислонившись к существующей и поныне оливе, разрешилась от бремени этими божествами; по указанию богов, эта роща почитается священною, и в ней, истребив киклопов, спасался от гнева Юпитера сам Аполлон[72]. Позднее победоносный отец Либер здесь же простил амазонок, которые молили его о пощаде, припав к его жертвеннику[73]. Изволением овладевшего Лидией Геркулеса почитание этого святилища возросло, не умалилось оно и при владычестве персов; сохраняли его македоняне, а затем также и мы.

62. За эфесцами последовали магнесийцы, ссылавшиеся на указы Луция Сципиона и Луция Суллы, из которых первый, разбив Антиоха, а второй — Митридата, вознаградили верность и доблесть магнесийцев, объявив храм Дианы Левкофрины неприкосновенным убежищем. Жители Афродисиады, а затем и Стратоникеи представили указ диктатора Цезаря, отмечавший их давние заслуги пред его партией, и более поздний, изданный божественным Августом, воздававшим им похвалу за непоколебимую преданность римскому народу, которую они сохранили во время нашествия парфян. Город Афродисиада отстаивал права храма Венеры, а Стратоникея — Юпитера и Тривии. На еще большую старину опирались гиерокесарейцы, утверждавшие, что их храм Дианы Персидской[74] был освящен царем Киром; ими же упоминались Перперна, Исаврик и имена других полководцев,

признававших права убежища не только за самим храмом, но и на две тысячи шагов от него. Далее, киприоты защищали права трех храмов, из которых древнейший, Пафосской Венеры[75], был воздвигнут Аэрией, второй, Венеры Амафунтской[76], — сыном его Амафунтом и третий, Юпитера Саламинского[77], — Тевкром, бежавшим сюда от гнева своего отца Теламона[78].

63. Были выслушаны и представители других городов. Обширность материалов, требовавших рассмотрения, и горячность прений утомили сенаторов, и они поручили консулам рассмотреть, на чем основываются предъявленные притязания, и затем, ничего не решая, снова доложить это дело сенату. И консулы доложили, что, помимо упомянутых мною городов, только Пергам имеет бесспорное право на убежище Эскулапия; остальные же опираются на доводы, уходящие в темную древность. Так, жители Смирны говорят об оракуле Аполлона, по повелению которого они будто бы учредили святилище Венеры Стратоникиды, а теносцы — о прорицании того же оракула, предписавшем им воздвигнуть статую и храм Нептуна; о более близком к нам времени — жители Сард: право на убежище даровано им победителем Александром. Столь же упорно, ссылаясь на царя Дария, отстаивают свои права милетцы; но святыни у тех и других одинаковы, и почитают они Диану или Аполлона. Того же добиваются и критяне для статуи божественного Августа. И был издан сенатский указ, которым с соблюдением полного уважения к религиозным чувствам, но и со всею решительностью ограничивалось число убежищ; вместе с тем было велено прибить в храмах медные доски с этим указом, чтобы память о нем сохранилась навеки и чтобы не допустить в будущем прикрывающихся благочестием честолюбивых стремлений.

64. Около этого времени тяжелая болезнь Юлии Августы поставила принцепса перед необходимостью поторопиться с возвращением в Рим, было ли до того согласие между матерью и сыном искренним или они питали друг к другу скрытую неприязнь. Незадолго до этого Августа, освящая невдалеке от театра Марцелла статую божественного Августа, поместила в надписи имя Тиберия после своего, и считали, что, усмотрев в этом умаление своего величия и оскорбительный выпад, он глубоко затаил обиду. Между тем сенатом назнача-

ются молебствия богам и большие игры, проведение которых возлагалось на верховных жрецов, авгуров, квиндецимвиров, септемвиров[79] и коллегию августалов. Луций Апроний предложил привлечь к руководству этими играми и фециалов[80]. С возражениями ему выступил Цезарь, указав, что права жреческих коллегий различны, и приведя примеры в подтверждение этого; ведь фециалы никогда еще не были удостоены столь высокой чести. Августалы же привлечены лишь потому, что они — коллегия того дома[81], за который должны выполняться обеты.

65. Я решил приводить только те высказывания в сенате, которые представляются мне либо достойными всяческой похвалы, либо примечательными по своей исключительной низости, ибо я считаю главнейшей обязанностью анналов сохранить память о проявлениях добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве. А те времена были настолько порочны и так отравлены грязною лестью, что не только лица, облеченные властью, которым, чтобы сохранить свое положение, необходимо было угодничать, но и бывшие консулы, и большая часть выполнявших в прошлом преторские обязанности, и даже многие рядовые сенаторы наперебой выступали с нарушающими всякую меру, постыдными предложениями. Передают, что Тиберий имел обыкновение всякий раз, когда покидал курию, произносить по-гречески следующие слова: «О люди, созданные для рабства!» Очевидно, даже ему, при всей его ненависти к гражданской свободе, внушало отвращение столь низменное раболепие.

66. Затем от недостойных слов понемногу перешли к гнусным делам. На проконсула Азии Гая Силана, привлеченного союзниками к суду по закону о вымогательствах, накинулись сообща бывший консул Мамерк Скавр, претор Юний Отон и эдил Бруттедий Нигер, обвиняя его в осквернении божественного достоинства Августа и в оскорблении величия Тиберия, причем Мамерк сослался на примеры, заимствованные из древности, на то, что Луций Котта был обвинен Сципионом Африканским[82], Сервий Гальба — Катоном Цензором, Публий Рутилий — Марком Скавром. Как будто не за какие-нибудь иные, а за точно такие же преступления карали Сципион и Катон и тот самый Скавр, которого — своего пра-

деда — бесчестил теперь столь грязным поступком Мамерк — позор своих предков. Юний Отон многие годы преподавал в начальной школе риторики, но затем, покровительствуемый Сеяном, проник в сенат и еще больше запятнал свое темное прошлое бесстыдным и наглым поведением. Бруттедия, который был наделен от природы выдающимися способностями и, если бы пошел по правильному пути, мог бы добиться заслуженной славы, подстрекало нетерпение, ибо он стремился опередить сначала равных себе, затем тех, кто стоял выше его, и, наконец, свои собственные мечты и надежды. А это погубило и многих хороших людей, презревших то, что дается медленно, но зато верно, и погнавшихся за преждевременным, даже если это грозило им гибелью.

67. Число обвинителей увеличили примкнувшие к ним Геллий Публикола и Марк Паконий, один — квестор Силана, другой — его легат. Не подлежали сомнению ни крутой нрав и жестокости подсудимого, ни то, что он действительно вымогал деньги; но к этому присоединялось многое такое, что навлекло бы опасность даже на людей, ни в чем не повинных: ведь Силан один, без чьей-либо поддержки, не обладая к тому же даром речи, подавленный страхом (а это ослабляет даже искушенное красноречие), должен был отражать натиск — не говоря уже о стольких враждебных ему сенаторах — самых прославленных, и потому избранных для его обвинения, ораторов Азии; притом и Тиберий не воздержался от давления на ход дела тоном, в каком высказывался, выражением лица и частыми вопросами, на которые было бы непозволительно отвечать решительным отрицанием или уклончиво, но, напротив, нередко требовалось давать утвердительные ответы, чтобы вопрос принцепса не остался тщетным. Рабы Силана, дабы их можно было подвергнуть допросу под пыткой, были приобретены государственным казначейством; а чтобы никто из родных и близких не оказал помощи попавшему в беду подсудимому, ему было, сверх того, предъявлено обвинение в оскорблении величия — цепи, налагавшие необходимость молчать. Итак, испросив перерыв на несколько дней, Силан оставил намерение защищаться и отважился обратиться к Цезарю с письмом, в котором перемежались упреки с мольбами.

68. Решив обрушить на Силана суровую кару и желая ее оправдать в общем мнении примером из прошлого, Тиберий

велит прочитать в сенате письмо божественного Августа о проконсуле той же Азии Волезе Мессале и принятое по его делу сенатское постановление. После того как это было исполнено, Тиберий приглашает Луция Пизона изложить свое мнение. Распространившись сначала о великодушии и мягкости принцепса, тот предлагает лишить Силана огня и воды и сослать на остров Гиар. К нему присоединились и все остальные; впрочем, Гней Лентул, основываясь на том, что мать Силана происходила из рода Атиев[83], предложил выделить из имущества осужденного то, что он от нее унаследовал, и передать эту часть его сыну, и Тиберий дал на это согласие.

69. Но зато Корнелий Долабелла, усердствуя в лести, накинулся на нравы Гая Силана и заключил свою речь предложением не допускать к жеребьевке и не посылать правителями провинций тех, кто ведет порочную жизнь и запятнан бесчестием; и пусть вопрос о них решается принцепсом. Хотя проступки и наказуются правосудием, но не намного ли милостивее было бы по отношению к таким людям и благодетельнее для союзных народов, если бы самая возможность творить преступления пресекалась заранее? Против этого выступил Цезарь: ему, разумеется, небезызвестно, какая молва идет о Силане, но недопустимо судить на основании одних слухов. Многие своими действиями в провинциях не оправдали надежд, которые на них возлагались, многие, напротив, опровергли существовавшие на их счет опасения; одних поднимает значительность возникающих перед ними задач, других угнетает. Да и не может принцепс обладать всеобъемлющим знанием, и вместе с тем ему не пристало идти на поводу у чужого тщеславия. Законы потому и направлены против уже совершенных деяний, что будущее недоступно предвидению. Так уж установлено предками: наказание следует за преступлением. И незачем менять то, что мудро придумано и всегда встречало всеобщее одобрение; у принцепсов достаточно трудов, достаточно и власти. Всякое возрастание их могущества ведет к ущербу для установленного правопорядка, и не следует употреблять власть, где можно обходиться законами. Чем реже в Тиберии обнаруживалось уважение народных прав, с тем большею радостью оно принималось. Умея быть умеренным, — если только он не был охвачен гневом, порожденным личными причинами, — принцепс доба-

вил, что остров Гиар дик и суров, и поэтому, из уважения к роду Юниев и памятуя, что осужденный еще недавно принадлежал к их сословию, сенаторы поступили бы правильнее, проявив к нему снисходительность и дозволив ему удалиться на Кинф. Об этом просит и сестра Силана, весталка Торквата, — дева древнего благочестия. С этою поправкою к приговору все согласились.

70. Затем были выслушаны киренцы, и на основании обвинения, предъявленного Анхарием Приском, был осужден по закону о вымогательствах Цезий Корд. Римского всадника Луция Энния, привлеченного к суду за оскорбление величия, так как статую принцепса он переплавил в серебряную утварь, Тиберий воспретил считать обвиняемым. Под видом защиты свободы ему открыто возражал Атей Капитон: «Не следует отнимать у сенаторов право делать заключения о подсудности и нельзя оставлять безнаказанным столь вопиющее злодеяние. Пусть принцепс равнодушен к чинимым ему обидам, но он не должен пренебрегать оскорблениями, нанесенными государству». Тиберий уловил в этих словах раболепие и настоял на своем. А Капитон оказался тем более посрамленным, что, являясь знатоком человеческого и божественного права, унизил тем не менее общественное достоинство и запятнал свою личную славу.

71. После этого возник вопрос, в каком храме поместить дар Всаднической Фортуне, сделанный римскими всадниками ради выздоровления Августы; хотя в Риме насчитывалось немало святилищ этой богини, но не было ни одного, которое носило бы такое название[84]. В конце концов выяснилось, что это наименование носит существующий в Анции храм и что в италийских городах все священнодействия, храмы и изображающие божества статуи подлежат римской юрисдикции и состоят в ведении Рима. Итак, дар направили в Анций. И поскольку речь зашла о религиозных вопросах, Цезарь дал свое заключение по недавно отложенному делу Сервия Малугинского и прочел, кроме того, постановление верховных жрецов, гласившее, что фламин Юпитера, всякий раз, когда заболеет, может отлучиться на срок, превышающий две ночи сряду, только с ведома великого понтифика и по его разрешению, но отнюдь не в дни общественных жертвоприношений и не более двух раз в году. Из этого поста-

новления, принятого в бытность Августа принцепсом, с полною очевидностью вытекало, что ни годичная отлучка из Рима, ни управление провинциями фламинам Юпитера дозволены быть не могут. При этом вспомнили и о случае с великим понтификом Луцием Метеллом, не отпустившим из Рима Авла Постумия. Итак, проконсульство в Азии отдается тому из бывших консулов, который следовал в списке непосредственно за Сервием Малугинским.

72. В эти дни Лепид обратился к сенату за разрешением обновить и украсить на свои средства базилику Павла, памятник рода Эмилиев[85]. Тогда еще сохранялся обычай жертвовать крупные суммы на общественное строительство; в свое время и Август не воспрепятствовал Тавру, Филиппу и Бальбу[86] отдать на украшение города и ради славы в потомстве захваченную ими в битвах с врагами добычу или долю принадлежавших им несметных богатств. Следуя подобным примерам, и Лепид, не располагавший большими деньгами, поддержал честь и достоинство своих предков. Но отстроить сгоревший от случайного пожара театр Помпея пообещал Цезарь, ибо никто из этого рода не имел средств для его восстановления; при этом, однако, за театром сохранялось имя Помпея. Одновременно принцепс превознес похвалами Сеяна, благодаря усердию и предусмотрительности которого такая сила огня была остановлена и не причинила другого ущерба; и сенаторы постановили поставить Сеяну статую в театре Помпея. Немного спустя, присуждая проконсулу Африки Блезу триумфальные отличия, Тиберий сказал, что дарует их ему в честь Сеяна, которому Блез приходился дядей. А между тем деяния Блеза были и без того достойны этой награды.

73. Ибо Такфаринат, несмотря на неоднократные поражения, собрал наново силы во внутренних областях Африки и настолько возомнил о себе, что направил послов к Тиберию, требуя для себя и своего войска земель, на которых они могли бы осесть, и в противном случае угрожая беспощадной войной. Рассказывают, что никогда Тиберий не был сильнее задет ни одним оскорблением, нанесенным лично ему или народу римскому, чем тем, что дезертир и разбойник дерзнул счесть себя воюющей стороной. Ведь даже Спартак, разгромивший столько консульских войск и безнаказанно опусто-

шавший Италию, и притом тогда, когда государство было ослаблено непомерно тяжелыми войнами с Серторием и Митридатом, не мог добиться открытия мирных переговоров; а при достигнутом римским народом величии и могуществе тем более не пристало откупаться от разбойника Такфарината заключением мира и уступкой ему земель. Итак, Тиберий дает Блезу поручение соблазнить всех остальных надеждою на безнаказанность при условии, что они сложат оружие, но во что бы то ни стало захватить самого вождя. Благодаря этому обещанию многие передались римлянам. А против хитростей и уловок Такфарината был применен его же способ ведения войны.

74. Так как, имея войско, уступавшее римскому в силе и скорее пригодное для разбойничьих набегов, он налетал несколькими отрядами сразу и затем стремительно уходил, оставляя засады, наши задумали наступать в трех направлениях и разделились на три колонны. Легат Корнелий Сципион начальствовал над той из них, задачей которой было оградить жителей Лепты от грабежей и отрезать Такфаринату пути отступления в страну гарамантов; на другом фланге вел свои обычные части Блез Младший — ему надлежало не допускать безнаказанного опустошения окрестностей Кирты; сам главнокомандующий с отборными воинами, устраивая в подходящих местах укрепления и заставы, теснил зажатых отовсюду врагов, так что, куда бы они ни подались, у них неизменно оказывалась — впереди, с фланга, а часто и с тылу — та или иная часть римского войска; и многие из них таким образом были истреблены или захвачены в плен. В дальнейшем полководец разбил три первоначальные колонны на большее число мелких отрядов и поручил начальствование над ними центурионам испытанной доблести. И, вопреки обыкновению, он не отвел войско по окончании лета и не разместил его в зимних лагерях старой провинции[87], но, возведя укрепления, словно война была в самом начале, беспокоил непрерывно менявшего стоянки Такфарината действиями опытных и знакомых с пустынею воинов, пока, захватив в плен его брата, не отошел наконец назад, впрочем поспешнее, чем того требовала польза союзников, так как оставались недобитыми те, кто мог снова разжечь войну. Однако Тиберий счел ее завершенною и даже милостиво доз-

волил воинам Блеза провозгласить его императором — старинная почесть, которую охваченное радостным порывом победоносное войско оказывало своему успешно закончившему войну полководцу; одновременно бывало несколько императоров, и они не пользовались никакими преимущественными правами. И Август дозволил некоторым носить этот титул, но дозволение этого рода, данное Тиберием Блезу, было последним.

75. В этом году скончались именитые мужи Азиний Солонин, примечательный тем, что его дедами были Марк Агриппа и Азиний Поллион, а братом — Друз, и к тому же предназначавшийся в мужья внучке Цезаря[88], и уже упоминавшийся мною Атей Капитон, который, предаваясь изучению права, достиг первостепенного положения в государстве, хотя дед его был в войске Суллы центурионом, а отец — только претором. Назначение его консулом было ускорено Августом, так что достоинством этой магистратуры он опередил блиставшего такими же дарованиями Лабеона Антистия. Ибо этот век породил два воссиявших на мирном поприще светоча. Но Лабеон, отличавшийся неподкупным свободолюбием, пользовался благодаря этому более громкою славой, тогда как уступчивость Капитона встречала большее одобрение властителей. Один, так как не пошел дальше претуры, возвысился в общественном мнении вследствие испытанной им несправедливости, другой, так как достиг консульства, возбудил против себя порожденную завистью неприязнь.

76. Тогда же, на шестьдесят четвертом году после битвы при Филиппах, умерла Юния, племянница Катона, супруга Гая Кассия, сестра Марка Брута. Ее завещание вызвало много толков в народе: уважительно упомянув в нем почти всех наиболее знатных граждан как наследников своего весьма значительного богатства, она пропустила Цезаря. Им это было воспринято снисходительно, и он не воспрепятствовал почтить ее похороны похвальным словом с ростральных трибун и прочими торжественными обрядами. Во главе погребальной процессии несли изображения двадцати знатнейших родов — Манлиев, Квинктиев и многих других, носивших не менее славные имена. Но ярче всех блистали Кассий и Брут — именно потому, что их изображений не было видно.

Книга четвертая

1. Консульство Гая Азиния и Гая Антистия пришлось на девятый год принципата Тиберия; в государстве царили мир и покой, в его семье — благоденствие (ведь смерть Германика он считал счастливым событием), как вдруг судьба стала бушевать, а сам он — свирепствовать или поощрять тех, кто свирепствовал. Положил этому начало и был причиною этого префект преторианских когорт Элий Сеян, о могуществе которого я упоминал выше; теперь расскажу о его происхождении, нравах и о том, каким злодеянием задумал он захватить в свои руки верховную власть. Сеян родился в Вульсиниях и был сыном римского всадника Сея Страбона; в ранней юности он состоял при внуке божественного Августа Гае Цезаре, и не без слухов о том, что он продавал свою развращенность богачу и моту Апицию; в дальнейшем посредством различных уловок он настолько пленил Тиберия, что тот, обычно непроницаемый для окружающих, с ним одним оставлял свою скрытность и настороженность; и Сеян достиг этого не столько благодаря свойственному ему хитроумию (ведь и его одолели тем же оружием), сколько вследствие гнева богов, обрушенного ими на Римское государство, для которого и его возвышение, и его низложение были одинаково роковыми. Тело его было выносливо к трудам и лишениям, душа — дерзновенна; свои дела он таил ото всех, у других выискивал только дурное; рядом с льстивостью в нем уживалась надменность; снаружи — притворная скромность, внутри — безудержная жажда главенствовать, и из-за нее — порою щедрость и пышность, но чаще усердие и настойчивость — качества не менее вредоносные, когда они используются для овладения самодержавною властью.

2. Сеян значительно приумножил умеренное влияние, которым прежде пользовался префект преторианцев, сведя рассеянные по всему Риму когорты в один общий лагерь, чтобы можно было сразу ими распорядиться и чтобы их численность, мощь и пребывание на глазах друг у друга внушали им самим уверенность в своей силе, а всем прочим — страх. В обоснование этой меры он утверждал, что разбросанные воинские подразделения впадают в распущенность, что

в случае неожиданной надобности собранные все вместе они смогут успешнее действовать и что, если они окажутся за лагерным валом, вдали от соблазнов города, у них установится более суровая дисциплина. Как только лагерь был закончен устройством, Сеян принялся мало-помалу втираться в доверие к воинам, посещая их и обращаясь к ним по именам; вместе с тем он стал самолично назначать центурионов и трибунов. Не воздерживался он и от воздействия на сенаторов, стремясь доставить своим клиентам должности и провинции. Тиберий не мешал ему в этом и был до того расположен к нему, что не только в частных беседах, но и в сенате, и перед народом превозносил Сеяна как своего сотоварища и сподвижника и допускал, чтобы в театрах, на городских площадях и преториях в расположении легионов воздавались почести его статуям.

3. Но большая семья Тиберия, сын — во цвете лет, взрослые внуки[1] были помехой к осуществлению желаний Сеяна: напасть на них разом было опасно, а коварный расчет говорил ему, что преступления должны быть отделены одно от другого некоторыми промежутками времени. Итак, он предпочел действовать более тайными средствами и начать с Друза, к которому питал еще не успевшую остыть злобу. Ибо Друз, не вынося соперников и вспыльчивый от природы, в разгаре случайно возникшего между ним и Сеяном спора поднял на него руку; тот не уступал, и он ударил его по лицу. И вот, обдумывая, что ему предпринять в первую очередь, Сеян пришел к выводу, что вернее всего подступиться к жене Друза Ливии — эта сестра Германика, в ранней юности непривлекательная, впоследствии отличалась редкостной красотой. Изобразив, что воспылал к ней любовью, он склонил ее к прелюбодеянию и, принудив к этому первому постыдному шагу, внушил ей желание соединиться с ним в браке, стать его соправительницей и умертвить мужа (ведь потерявшая целомудрие женщина уже ни в чем не отказывает!). И она, чей дядя был Август, свекор — Тиберий, и у которой были дети от Друза, осквернила себя, а также предков и потомков своих связью с любовником из муниципия, в ожидании преступного и неверного взамен почетного и того, чем она прочно владела. В их тайну посвящается также друг и врач Ливии Эвдем, который, используя права своего ремесла,

нередко оставался наедине с Ливией. Тогда же Сеян, чтобы не возбуждать в любовнице ревности и сомнений, удаляет из дома свою жену Апикату, от которой у него было трое детей. Но трудности, связанные с выполнением их злодейского умысла, вселяли в них страх и вызывали отсрочки, а порою и противоречащие друг другу решения.

4. Между тем сын Германика Друз в начале года облекся в мужскую тогу, и сенат определил ему то же самое, что и его брату Нерону[2]. В добавление к этому Цезарь выступил с речью, в которой восхвалял своего сына за отеческое попечение о племянниках. Ибо Друз — хоть и трудно найти согласие там, где обитает могущество, — был, как все признавали, благожелателен к юношам и во всяком случае не проявлял к ним враждебности. Далее, принцепс вспомнил о своем давнем, но часто высказываемом только для вида намерении объехать провинции. Как на повод император указывал на то, что скопилось множество подлежащих увольнению ветеранов и что по этой причине необходимо пополнить войска посредством наборов: добровольно поступающих на военную службу мало, а если бы таких и оказалось достаточно, они не выдерживают никакого сравнения с воинами, пришедшими по призыву, ни в доблести, ни в дисциплине, потому что по собственному желанию вступают в войска преимущественно бедняки и бродяги. Тиберий назвал также число легионов, охранявших те или иные провинции. Полагаю, что и мне следует указать, каковы были тогда римские вооруженные силы, какие цари состояли с нами в союзе и насколько более тесными были в те времена пределы империи.

5. Италию на обоих морях охраняли два флота: один со стоянкой в Мизенах, другой — в Равенне, а ближайшее побережье Галлии — снабженные таранами корабли, захваченные в битве при Акции и посланные Августом с должным число гребцов в Форум Юлия. Но главные силы составляли восемь легионов на Рейне, являвшиеся одновременно оплотом и против германцев, и против галлов. Недавно умиротворенные испанские области[3] были заняты тремя легионами. Мавританию римский народ отдал в дар царю Юбе[4]. Прочие африканские земли удерживались двумя легионами, столькими же — Египет, а огромные пространства от Сирии и вплоть до реки Евфрата — четырьмя легионами; по сосед-

ству с ними властвовали цари иберов и альбанов и других народов, ограждаемые от посягновений со стороны пограничных государств нашим величием; Фракией правили Реметалк и сыновья Котиса; на берегах Дуная были размещены два легиона в Паннонии и два в Мёзии, столько же находилось в Далмации; вследствие положения этой страны они могли бы поддержать с тыла дунайские легионы, а если бы Италии внезапно потребовалась помощь, то и туда было недалеко; впрочем, Рим имел собственные войска — три городских и девять преторианских когорт, — набираемые почти исключительно в Умбрии и Этрурии, а также в Старом Лации и в древнейших римских колониях[5]. В удобных местах провинций стояли союзнические триремы, отряды конницы и вспомогательные когорты, по количеству воинов почти равные легионам; впрочем, точность здесь невозможна, так как в зависимости от обстоятельств эти силы перебрасывались с места на место и их численность то возрастала, то падала.

6. Считаю уместным остановиться и на других сторонах деятельности Тиберия, а также на том, каким было его правление вплоть до дня, до которого доведен мой рассказ; ибо уже в этом году принципат начал меняться к худшему. В начале его государственные дела, равно как и важнейшие частные, рассматривались в сенате и видным сенаторам предоставлялась возможность высказать о них мнение, а если кто впадал в лесть, то сам Тиберий его останавливал; предлагая кого-либо на высшие должности, он принимал во внимание знатность предков, добытые на военной службе отличия и дарования на гражданском поприще, чтобы не возникло сомнений, что данное лицо — наиболее подходящее. Воздавалось должное уважение консулам, должное — преторам; беспрепятственно отправляли свои обязанности и низшие магистраты. Повсюду, кроме судебных разбирательств об оскорблении величия, неуклонно соблюдались законы. Снабжением хлеба и сбором налогов и прочих поступлений в государственную казну занимались объединения римских всадников. Ведать личными своими доходами Цезарь обычно поручал честнейшим людям, иногда ранее ему неизвестным, но доверяясь их доброй славе; принятые к нему на службу, они неограниченно долгое время пребывали на ней, так что бóльшая их часть достигала старости, выполняя все те же

обязанности. Хотя простой народ и страдал от высоких цен на зерно, но в этом не было вины принцепса, не жалевшего ни средств, ни усилий, чтобы преодолеть бесплодие почвы и бури на море. Заботился он и о том, чтобы во избежание волнений в провинциях их не обременяли новыми тяготами, и они безропотно несли старые, не будучи возмущаемы алчностью и жестокостью магистратов; телесных наказаний и конфискаций имущества не было. Поместья Цезаря в Италии были немногочисленны, рабы — доброго поведения, дворцовое хозяйство — на руках у немногих вольноотпущенников; и если случались у него тяжбы с частными лицами, то разрешали их суд и законы.

7. Неприветливый в обращении и большинству соприкасавшихся с ним внушавший страх, он держался тем не менее этих порядков, и лишь после смерти Друза все пошло по-другому. При его жизни они оставались нетронутыми, потому что Сеян, входя в силу, хотел слыть человеком, подающим благие советы принцепсу, и, кроме того, боялся отпора со стороны того, кто не скрывал своей ненависти к нему и часто жаловался, что при живом сыне Тиберий величает другого помощником императора: многого ли не хватает, чтобы он назначил его своим соправителем? Вначале стремление к власти наталкивается на преграды, но едва приобщишься к ней, как у тебя тотчас же появляются ревностные приверженцы; по желанию префекта уже создан лагерь; в его руки отданы воины; его статуя красуется в театре Гнея Помпея; он породнится с семьею Друза, и у них будут общие внуки[6]; после этого только и остается, что молиться богам о ниспослании ему скромности, дабы он не пожелал большего. Друз нередко высказывал это и за пределами тесного круга приближенных, но даже самые доверительные его слова изменницею женою передавались Сеяну.

8. И вот, полагая, что нужно поторопиться с выполнением задуманного, Сеян избирает яд, действие которого — медленное и постепенное — создавало бы подобие случайного заболевания. Он был дан Друзу евнухом Лигдом, как выяснилось спустя восемь лет[7]. Во время болезни сына Тиберий ежедневно являлся в курию, то ли нисколько за него не тревожась, то ли чтобы выказать стойкость духа; явился он туда и в день смерти Друза, когда тот еще не был погребен. Консу-

лам, в знак печали севшим вместе с сенаторами, он напомнил об их достоинстве и предложил занять подобающее им место[8]; затем, не позволив себе ни единого проявления горя, он обратился к проливавшим слезы сенаторам с целой речью, чтобы поднять их дух: он понимает, что может вызвать упрек, представ, несмотря на столь свежее горе, перед глазами сената; большинство людей, скорбя по умершим, едва выносит обращаемые к ним близкими слова утешения, едва может смотреть на дневной свет. Он не винит их по этой причине в малодушии, но для себя ищет облегчения более мужественного и намерен ради этого погрузиться в государственные дела. Далее он посетовал на преклонные лета Августы, на незрелый еще возраст внуков, на свои пожилые годы и велел привести сыновей Германика[9], единственную отраду в постигшем его несчастии. Вышедшие за ними консулы, одобрив юношей дружественными словами, ввели их в сенат и подвели к Цезарю. Взяв их за руки, он сказал: «Отцы сенаторы, после того как они лишились родителя, я поручил их попечению дяди и попросил его, чтобы, имея своих детей, он лелеял и этих не иначе, чем кровных отпрысков, возвысил и воспитал на радость себе и потомству; и теперь, когда смерть похитила Друза, я умоляю и заклинаю вас перед богами и родиной: примите под свое покровительство правнуков Августа, потомков славнейших предков, руководите ими, выполните свой и мой долг. Отныне они будут вам, Нерон и Друз, вместо родителей. Так предопределено вашим рождением: ваше благоденствие и ваши невзгоды неотделимы от благоденствия и невзгод Римского государства».

9. Эта речь вызвала у многих слезы; Цезаря осыпали пожеланиями благополучия в будущем; и если бы он ограничился сказанным, сердца слушателей остались бы преисполненными сочувствия к его горю и преклонения перед ним; но он вернулся к пустым и уже столько раз осмеянным заявлениям, что намерен отречься от власти, и пусть консулы или кто другой возьмет на себя управление государством; это подорвало доверие даже к тому искреннему и честному, что было им только что высказано. Друзу были определены такие же почести, как в свое время Германику, впрочем, с добавлением многих других; льстецы любят превосходить своих предшественников. Похороны отличались пышной процессией с

обильными изображениями предков, и в длинной их веренице можно было увидеть Энея, к которому восходит род Юлиев[10], всех царей Альбы Лонги, основателя Рима Ромула, а за ними — сабинских родоначальников, Атта Клавса и остальных Клавдиев[11].

10. В рассказе о смерти Друза я привел только то, о чем упоминает большинство источников, и притом наиболее заслуживающих доверия. Но не умолчу и о слухе, настолько в то время упорном, что он не заглох и поныне. Подбив на преступление Ливию, Сеян посредством развратной связи завладел якобы и волей евнуха Лигда, так как тот благодаря своей юности и красоте пользовался расположением господина и был одним из его приближенных слуг. После того как заговорщики условились относительно места и времени отравления, Сеян дошел до такой наглости, что отправил подметное письмо Цезарю, в котором, обвинив Друза в намерении отравить отца, убеждал Тиберия не прикасаться за обедом у сына к первой предложенной ему чаше. Старик поддался обману и, явившись на пир, передал врученную ему чашу Друзу, а тот, ни о чем не догадываясь и осушив ее с юношеской живостью, еще больше укрепил подозрение в том, что из страха и со стыда он сам себя присудил к смерти, которую подстроил отцу.

11. Этот широко распространенный в народе слух, помимо того, что не существует достоверных свидетельств в его подтверждение, может быть с легкостью опровергнут. И вправду, кто, обладая хотя бы крупицей благоразумия, не говоря уже о Тиберии с его огромным жизненным опытом, погубил бы сына, не выслушав его объяснений, и к тому же собственноручно, и не мучился бы затем раскаяньем? Почему бы он не подверг скорее пытке поднесшего ему отраву раба, не дознался, кем было задумано преступление, не действовал, имея дело с единственным сыном, ни разу не изобличенным в злокозненности, с той медлительностью и неторопливостью, которые были присущи ему даже по отношению к посторонним? Но так как Сеян считался источником всех злодеяний, а также вследствие чрезмерной привязанности к нему Тиберия и всеобщей ненависти и к тому и к другому, люди охотно верили любым выдумкам, сколь бы чудовищны они ни были, тем более что кончина властителей все-

гда связывается молвою со всякими ужасами. Кроме того, обстоятельства преступления, выданного женою Сеяна Апикатой, были раскрыты под пыткой Эвдемом и Лигдом. Далее, не нашлось такого историка, который, с какой бы ненавистью он ни относился к Тиберию, упрекнул бы его в смерти сына, хотя они тщательно собирали и даже преувеличивали все прочее. Что до меня, то, сообщая этот слух и тут же опровергнув его, я имел в виду показать на ярком примере лживость молвы и убедить тех, в чьи руки попадет этот труд, не отдавать предпочтения ходячим и вздорным выдумкам, с такою жадностью подхватываемым людьми, перед правдивым повествованием, которое дорожит истиной и не уклоняется к сказочному.

12. Когда Тиберий произносил с ростральной трибуны похвальное слово сыну, народ и сенат, сохраняя печальный облик и разражаясь горестными стенаниями, делали это скорее притворно, чем искренне, и в глубине души радовались, что семейство Германика вновь обретает силу. Это первое проявление народной любви и то, что Агриппина не скрывала своих материнских надежд, ускорили его гибель, ибо Сеян, видя, что умерщвление Друза осталось для убийц безнаказанным и не вызвало подлинной скорби в народе, и готовый на новые злодеяния, так как первое было успешно доведено до конца, принялся размышлять, как ему истребить сыновей Германика, которые, бесспорно, станут наследниками Тиберия. Он не мог покончить со всеми тремя, подсыпав им яду, так как служившие им рабы отличались преданностью и целомудрие Агриппины было неколебимо. Итак, он принимается порицать ее высокомерие, распалять давнюю ненависть к ней Августы и подстрекать свою недавно обретенную сообщницу Ливию с тем, чтобы они восстановили против нее Тиберия, нашептывая ему, что она, гордясь многочисленностью рожденных ею детей и опираясь на расположение к ним народа, замышляет захватить власть. Того же добивался он и через искусных клеветников, из которых особенно рассчитывал на Юлия Постума, благодаря прелюбодейной связи с Мутилией Приской втершегося в доверие к бабке[12] и по этой причине весьма пригодного для его целей, так как Приска, имевшая большое влияние на Августу, разжигала в старухе, и от природы властолюбивой и не терпящей соперничества,

непримиримую враждебность к невестке. Вместе с тем и между приближенными Агриппины нашлись такие, которых удалось подговорить, чтобы они возбуждали злонамеренными речами ее честолюбие.

13. Между тем Тиберий, стараясь забыться в трудах, неустанно занимался государственными делами, рассматривая жалобы римских граждан и просьбы союзников; по его предложению сенат, идя навстречу разрушенным землетрясением городам — Кибире в Азии, Эгию в Ахайе, — издал указ, освободивший их на три года от уплаты налогов. Тогда же проконсул Дальней Испании Вибий Серен, осужденный за насилия и жестокость по закону о превышении власти, ссылается на остров Аморг. Выносится оправдательный приговор Карсидию Сацердоту, преданному суду за то, что он якобы снабжал хлебом врага Римского государства Такфарината, равно как и Гаю Гракху, привлеченному по такому же обвинению. Последнего, еще совсем малым ребенком, взял с собою в ссылку на остров Керкину его отец Семпроний. Выросший там среди людей, которых не коснулось образование, он кормился жалкою меновою торговлей в Африке и Сицилии и тем не менее не избегнул опасностей, сопряженных с высоким положением в обществе. И если бы этого ни в чем не повинного Гракха не защитили управлявшие тогда Африкой Элий Ламия и Луций Апроний, его несомненно погубили бы принадлежность к прославленному несчастному роду и гонения, которым подвергся его отец.

14. Также и в этом году греческие общины прислали своих представителей, просивших подтвердить давнее право убежища: самосцы — за храмом Юноны[13], граждане Коса — за храмом Эскулапия. Самосцы ссылались на постановление амфиктионов[14], обладавших высшею властью и вершивших всеми делами в то далекое время, когда греки, основав города в Азии, владели ее побережьем. Основания, на которые опирались косцы, имели за собой не меньшую древность, к чему присоединялись и заслуги их предков, ибо они открыли для римских граждан храм Эскулапия, когда тех, по приказанию царя Митридата, истребляли на всех островах и во всех городах Азии[15].

После неоднократных, но безуспешных жалоб со стороны преторов Цезарь самолично доложил наконец сенату о бес-

чинствах комедиантов и мимов: много смуты вносят они в общественные места, много мерзостей творят за стенами частных домов; древнее представление осков — безобидное и забавное народное зрелище[16] — стало настолько бесстыдным и настолько распространенным, что сенату надлежит положить предел этому безобразию. Вслед за тем комедианты и мимы были изгнаны из Италии.

15. В том же году Цезарь понес и другие утраты: умер один из близнецов Друза[17]; не менее тяжкой потерей была и смерть друга. То был Луцилий Лонг, давний товарищ всех его печалей и радостей, единственный из сенаторов, разделявший с ним его уединение на Родосе. Итак, невзирая на то что Лонг принадлежал к новой знати, сенаторы решили устроить ему цензорские похороны на государственный счет и установить его статую на форуме Августа. Тогда все дела еще рассматривались сенатом, так что пред ним предстал и прокуратор Азии Луцилий Капитон, привлеченный к суду по предъявленному этой провинцией обвинению, причем принцепс решительно заявил, что он предоставил Капитону право распоряжаться лишь его, принцепса, имуществом и рабами, а если тот присвоил себе преторскую власть и пользовался в своих целях воинской силой, то тем самым превысил свои полномочия; так пусть же сенаторы выслушают союзников. По расследовании дела подсудимый был осужден. За это заступничество, а также за то, что и в минувшем году был наказан Гай Силан[18], города Азии постановили воздвигнуть храм в честь Тиберия, его матери и сената. На его постройку было дано разрешение, и благодарил за него сенаторов и деда Нерон, благожелательно принятый слушателями, которым, при еще свежем воспоминании о Германике, представлялось, будто они снова видят его и его слушают. Юноша отличался скромностью и достойной мужа высокого положения внешностью и имел тем больший успех, чем большей подвергался опасности вследствие всем известной ненависти к нему Сеяна.

16. Тогда же Цезарь выступил с речью по поводу избрания фламина Юпитера вместо умершего Сервия Малугинского, в которой предложил издать новый закон о порядке замещения этой должности. Ведь древний обычай предписывает выдвинуть кандидатами трех патрициев, чьи родители соче-

тались браком по обряду конфарреации[19], и на одном из них остановить выбор; теперь, однако, в отличие от старины, нет прежнего обилия соискателей, потому что обряд конфарреации вышел из обихода или удержался среди очень немногих (он привел несколько причин этого, и главнейшая из них — нерадивость мужчин и женщин; сюда присоединяются и сопряженные с самой церемонией трудности, которых желают избегнуть) и еще потому, что принявший на себя сан фламина Юпитера, равно, как и та, кто, выйдя за него замуж, подчинена его власти, выходят из-под власти отца[20]. Здесь нужно внести послабления, подобно тому как некогда Август приспособил к нуждам своего времени кое-что из завещанного суровой древностью. По рассмотрении сакральных установлений сенат определил не менять порядка назначения на должность фламина, но издал закон, согласно которому супруга фламина подвластна мужу лишь в том, что имеет касательство к священнодействиям, а в остальном пользуется одинаковыми с прочими женщинами правами. Преемником Сервия Малугинского назначили его сына. Чтобы возвысить достоинство жрецов и чтобы сами они с бóльшим рвением служили богам, было постановлено выдать весталке Корнелии, заместившей Скантию, два миллиона сестерциев, и, кроме того, было решено, что Августа при посещении театра всякий раз будет занимать место среди весталок.

17. В консульство Корнелия Цетега и Визеллия Варрона понтифики, а по их примеру и остальные жрецы, вознося молитвы о благополучии принцепса и давая соответствующие обеты, препоручили попечению тех же богов Нерона и Друза, не столько из любви к этим молодым людям, сколько из лести. Но при порче нравов как отсутствие, так и чрезмерность ее в равной мере опасны. Тиберий, никогда не питавший расположения к семейству Германика, глубоко уязвленный тем, что его, старика, поставили в один ряд с молодыми людьми, вызвал к себе понтификов и спросил их, уступили ли они просьбам Агриппины или ее угрозам. Они отрицали то и другое, но принцепс их побранил, впрочем, довольно мягко: ведь значительную их часть составляли его родственники, а другие были виднейшими гражданами государства. Тем не менее он выступил с речью в сенате, в которой предупредил, чтобы впредь никто возданием преждевременных

почестей не распалял честолюбия в восприимчивых душах юношей. На него воздействовал и Сеян, твердивший, что государство расчленено на враждебные станы, как если бы было охвачено гражданской войной: есть такие, которые открыто заявляют о своей принадлежности к партии Агриппины, и если не принять мер, их станет гораздо больше; и не существует другого средства против углубляющейся усобицы, как убрать одного или двух из наиболее рьяных смутьянов.

18. Итак, во исполнение своего замысла Сеян решает расправиться с Гаем Силием и Тицием Сабином. Близость к Германику была пагубна для обоих, но для Силия — еще и то, что в течение семи лет он начальствовал большим войском, одолел в войне Сакровира, заслужил в Германии триумфальные отличия, и с чем большей высоты он был бы низвергнут, тем больший страх навело бы его падение на остальных. По мнению некоторых, своею несдержанностью он еще сильнее восстановил против себя принцепса, ибо заносчиво похвалялся, что его воины соблюдали повиновение, когда все прочие были вовлечены в мятеж, и что Тиберий не сохранил бы власти, если бы и эти легионы пожелали перемен. Цезарь считал, что это умаляет его достоинство и что он бессилен отблагодарить за такие заслуги. Ибо благодеяния приятны лишь до тех пор, пока кажется, что за них можно воздать равным; когда же они намного превышают такую возможность, то вызывают вместо признательности ненависть.

19. У Силия была жена Созия Галла, ненавистная принцепсу, потому что питала привязанность к Агриппине. И вот было решено погубить их обоих, отложив на время расправу с Сабином. Против них выступает с обвинением консул Варрон, который, прикрываясь враждою своего отца с Силием, взялся ценою собственного позора угодить ненависти Сеяна. В ответ на ходатайство подсудимого немного отсрочить разбирательство его дела, с тем чтобы выждать, когда обвинитель сложит с себя консульские обязанности, Цезарь возразил, что вполне обычно для магистратов привлекать к суду частных лиц и не подобает лишать этого права консула, ревностно наблюдающего за тем, чтобы республика не потерпела ущерба. Так уж было заведено у Тиберия — прикрывать древними формулами только что измышленные беззакония.

Итак, сенаторам строжайше предписывается собраться на заседание, как если бы Силия судили согласно законам, Варрон был настоящим консулом и республика — подлинной. Подсудимому не давали говорить, так как, пытаясь высказаться в свою защиту, он не скрывал, чей гнев, по его мнению, навлек на него преследования. Обвинение гласило, что, зная о причастности Сакровира к восстанию, он долгое время утаивал это, что своей алчностью запятнал победу и что его сообщницею была жена. Не подлежит сомнению, что они были замешаны в вымогательствах, но в суде все рассматривалось как оскорбление величия, и Силий, предвидя неизбежное осуждение, упредил его добровольною смертью.

20. Тем не менее накинулись на оставшееся после него имущество, и не для того чтобы возместить провинциалам их деньги, которых никто не требовал, но чтобы изъять, после того как были подсчитаны истребованные императорскою казною суммы, полученное им от щедрот Августа. Это был первый случай, когда Тиберий наложил руку на чужое добро. По предложению Азиния, Галла Созия присуждается к ссылке; он же высказался за конфискацию половины ее имущества с оставлением за детьми другой половины. Против этого возражал Маний Лепид, считавший, что одна четверть, как предписывает закон, должна быть отдана обвинителям, а все остальное — детям. И вообще я нахожу, что в те времена этот Лепид был мужем весьма достойным и мудрым, ибо его стараниями были смягчены многие жестокие приговоры, вынесенные другими сенаторами из раболепия перед принцепсом. Вместе с тем он не был лишен чувства меры, поскольку Тиберий не только прислушивался к его словам, но был также и расположен к нему. Это побуждает меня задуматься, определяется ли, как во всем прочем, благосклонность властителей к одним и их недовольство другими волею судьбы и предназначенным от рождения жребием или тут кое-что зависит и от нашего благоразумия и можно идти прямым и безопасным путем где-то посередине между непримиримою непреклонностью и низкою угодливостью. А вот Мессалин Котта, происходивший от столь же прославленных предков, но человек противоположного душевного склада, предложил издать сенатское постановление, в котором было бы предусмотрено, что магистраты, даже тогда, когда они ни в чем не

виновны и не знали о предосудительных делах своих жен, наказуются за совершенные теми в провинциях преступления как за свои собственные.

21. Затем разбиралось дело Кальпурния Пизона, человека знатного, смелого и независимого. Ибо, как я рассказал выше, он во всеуслышание заявил в сенате, что намерен покинуть Рим из-за бесчинствующих в нем шаек доносчиков; он же, не побоявшись всемогущей Августы, осмелился выступить с обвинением против Ургулании и вызвать ее в суд из дома самого принцепса. В свое время Тиберий не выказал по этому поводу неудовольствия, но, снова и снова возвращаясь в душе к пережитому оскорблению, он хорошо помнил о нем и после того, как первый порыв злобы миновал. Квинт Граний обвинил Пизона в оскорблении величия, на которое тот дерзнул в беседе с глазу на глаз; к этому он добавил, что у себя дома Пизон хранит яд и что входит в курию, имея при себе меч[21]. Последнее обвинение было отвергнуто как слишком чудовищное и превосходящее меру правдоподобия, но под тяжестью остальных — а их возвели на него множество — он был признан подлежащим суду, который, однако, не состоялся, так как Пизон вовремя умер. Шла речь и об изгнаннике Кассии Севере, который, происходя из низов и предаваясь порочной жизни, но обладая при этом ораторским дарованием, своими безудержными нападками вызвал такую враждебность к себе, что по приговору принесшего клятву сената[22] был удален на Крит; но и там, ведя себя точно так же, возбудив новую ненависть и оживив старую, он был присужден к конфискации имущества и, лишенный огня и воды, состарился на скале Серифе.

22. Тогда же претор Плавтий Сильван по невыясненным причинам выбросил из окна жену Апронию и, доставленный тестем Луцием Апронием к Цезарю, принялся сбивчиво объяснять, что он крепко спал и ничего не видел и что его жена умертвила себя по своей воле. Тиберий немедленно направился к нему в дом и осмотрел спальню, в которой сохранялись следы борьбы, показывавшие, что Апрония была сброшена вниз насильственно. Обо всем этом принцепс докладывает сенату, и по назначении судей бабка Сильвана Ургулания послала ему кинжал. Так как Ургулания была в дружбе с Августой, считали, что это было сделано ею по совету

Тиберия. После неудачной попытки заколоться подсудимый велел вскрыть себе вены. Привлеченная вскоре к суду его первая жена Нумантина, обвинявшаяся в том, что посредством заклинаний и приворотного зелья наслала безумие на своего бывшего мужа, была признана невиновной.

23. Этот год избавил наконец римлян от длительной войны с нумидийцем Такфаринатом. Затянулась она по той причине, что воевавшие с ним полководцы, добившись успехов, достаточных, как они полагали, для получения триумфальных отличий, тотчас же оставляли врага в покое. В Риме уже стояли три увенчанные лаврами статуи, а Африку по-прежнему грабил Такфаринат, снова усилившийся благодаря вспомогательным войскам мавританцев. Сын Юбы Птолемей по молодости лет ни во что не вникал, и мавританцы предпочитали отправиться на войну, чем терпеть над собой царских вольноотпущенников и повиноваться вчерашним рабам. Укрывателем захваченной Такфаринатом добычи и его сообщником в грабеже был царь гарамантов; он не действовал во главе своего войска, но посылал к нумидийцам незначительные отряды, численность которых за отдаленностью преувеличивалась молвой. К тому же и из самой провинции перебегало к Такфаринату немало таких, кого гнали к нему нищета и буйные нравы, тем более что после одержанных Блезом побед Цезарь приказал девятому легиону возвратиться из Африки, как если бы там не осталось врагов, а проконсул этого года Публий Долабелла, для которого приказания принцепса были страшнее неожиданностей войны, не посмел его задержать.

24. Между тем, распустив слух, что Римское государство теснят и другие народы, что это и есть истинная причина, по которой римляне понемногу уходят из Африки, и что окружить оставшихся не составит труда, если все, кто предпочитает свободу рабству, приложат старание к этому. Такфаринат наращивает силы и, разбив лагерь, облагает осадой город Тубуск. Но Долабелла, стянув отовсюду воинов, какие только у него были, благодаря страху, который внушало римское имя, и неспособности нумидийцев вести бой с пехотою одним ударом снял осаду с Тубуска и укрепился в удобных местах; одновременно он казнит замышлявших измену вождей мусуламиев. И так как неоднократные походы против Такфа-

рината убедительно показали, что тяжеловооруженному и наступающему в одном направлении войску за столь подвижным противником не угнаться, Долабелла вызвал царя Птолемея с его соплеменниками и, разбив свои силы на четыре колонны, отдал начальствование над ними легатам и трибунам; летучие отряды для захвата добычи возглавили мавританцы; сам он руководил всеми.

25. Немного спустя поступает известие, что нумидийцы, раскинув шатры, расположились у полуразрушенного, ими самими сожженного укрепления по названию Авзея, рассчитывая на неприступность этого места, так как его окружают пустынные, заросшие лесом горы. Немедленно туда с величайшей поспешностью устремляются когорты легковооруженных и подразделения конницы, не осведомленные о том, куда их ведут. И едва забрезжил рассвет, как под звуки труб, с яростным криком они бросились на полусонных варваров, кони которых были стреножены или бродили по удаленным пастбищам. У римлян — сомкнутый строй пехотинцев, правильно расставленные отряды всадников, все предусмотрено для сражения; напротив, у ни о чем не подозревавших врагов ни оружия, ни порядка, ни плана боевых действий, и их хватают, тащат, убивают, как овец. Воины, ожесточенные воспоминанием о перенесенных трудностях и лишениях, о том, сколько раз они искали битвы с уклонявшимся от нее неприятелем, упивались мщением и вражеской кровью. По манипулам передается приказ: не упустить Такфарината, которого все хорошо знают в лицо, так как видели его в стольких битвах; пока вождь не убит, не будет отдыха от войны. А он, увидев, что его телохранители оттеснены, что его сын уже заключен в оковы, что со всех сторон к нему устремляются римляне, избежал плена, бросившись на их мечи и недешево продав свою жизнь; таков был конец этой войны.

26. Домогавшемуся триумфальных отличий Долабелле Тиберий отказал в угоду Сеяну, дабы не померкла слава его дяди Блеза. Но Блез не стал от этого знаменитее, а отказ в предоставлении заслуженных почестей еще больше возвысил в общем мнении Долабеллу; ведь он с меньшими силами захватил занимавших видное положение пленных, умертвил вождя и стяжал себе славу завершителя этой войны. Затем прибыли послы гарамантов, которых редко приходилось

видеть в Риме; народ, потрясенный гибелью Такфарината, но не знавший за собою вины, направил их, чтобы представить объяснения римлянам. Узнав об усердии Птолемея в этой войне, сенат восстановил старинный обычай и пожаловал его почетной наградой: к нему был послан один из сенаторов, чтобы вручить жезл из слоновой кости и расшитую тогу — принятые в древности подарки сената — и назвать его царем, союзником, другом.

27. Тем же летом едва не вспыхнуло восстание рабов; подавить его возникшие по всей Италии очаги позволила только случайность. Зачинщик волнений, бывший воин преторианской когорты Тит Куртизий, начал с тайных сборищ в Брундизии и расположенных поблизости городах, а затем в открыто выставленных воззваниях стал побуждать к борьбе за освобождение диких и буйных сельских рабов, обитавших в отдаленных горах посреди лесных дебрей; и вот, как бы по милости богов, прибыли три биремы, назначенные для сопровождения и охраны плававших по этому морю. Квестором в этих краях был Кутий Луп, которому по установленному с древних времен порядку достались в управление леса и дороги[23]. Расставив подобающим образом моряков, он рассеял уже готовых выступить заговорщиков. Срочно присланный Цезарем трибун Стай с сильным отрядом доставил самого вожака и ближайших сотоварищей его дерзости в Рим, уже охваченный страхом из-за великого множества находившихся в нем рабов, численность которых неимоверно росла, тогда как свободнорожденных плебеев с каждым днем становилось все меньше.

28. При тех же консулах перед сенатом предстали — горестный пример бедствий и жестокости — в качестве обвиняемого отец, в качестве обвинителя сын (имя и тому и другому было Вибий Серен). Привезенный из ссылки, оборванный, покрытый грязью и закованный в цепи отец стоит лицом к лицу с произносящим обвинительную речь сыном. А нарядно одетый молодой человек — он же доносчик и он же свидетель — утверждал, не смущаясь, что его отец готовил покушение на принцепса и послал в Галлию подстрекателей к мятежу, и добавил, что деньги на это дал бывший претор Цецилий Корнут; последний, угнетаемый страхом, ибо полагал, что подвергнуться такому обвинению означало верную

гибель, поспешил себя умертвить. Подсудимый, напротив, нисколько не потеряв твердости духа, устремляет взор на сына и, потрясая оковами, взывает к богам-мстителям, моля их возвратить его в ссылку, где он мог бы жить вдали от подобных нравов, а на его сына когда-нибудь обрушить возмездие. Он твердо стоял на том, что Корнут ни в чем не повинен и беспричинно поддался страху. Это нетрудно выяснить, назвав других участников заговора, — не мог же он, Вибий Серен, имея одного-единственного сообщника, замыслить убийство принцепса и государственный переворот.

29. Тогда обвинитель называет Гнея Лентула и Сея Туберона, приведя этим в величайшее смущение Цезаря: первые граждане государства, его преданные друзья — Лентул в преклонных летах, Туберон — немощный телом — обвиняются в подстрекательстве враждебных народов, в сеянии внутренних смут! Обвинение было тут же с них снято; допросили рабов относительно Серена-отца, но допрос оказался неблагоприятным для обвинителя. Тот, в преступном неистовстве и в страхе перед ропотом простого народа, угрожавшего ему подземной темницей, скалой[24] и казнью, предусмотренной для отцеубийц[25], покидает Рим. Но его возвращают из Равенны и заставляют довести до конца обвинение, причем Тиберий не скрывает своей давней ненависти к изгнаннику Серену. Дело в том, что вскоре после осуждения Либона Серен написал письмо Цезарю, в котором жаловался, что лишь его усердие осталось не награжденным, и позволил себе кое-какие резкости, не безопасные, когда они обращены к человеку надменному и склонному к раздражительности. Обо всем этом Цезарь напомнил ему спустя восемь лет, обвинив его во всяческих преступлениях, якобы совершенных им за истекшее с той поры время, хотя подвергнутые пыткам рабы упорно их отрицали.

30. Затем были собраны голоса: Серен осуждался на казнь принятым нашими предками способом[26], на что, однако, Тиберий не согласился, чтобы смягчить неприязнь, которую он навлек на себя этим процессом. А когда Азиний Галл предложил заточить осужденного на Гиаре или Донусе, он возразил и против этого, заявив, что на обоих островах нет воды и что кому даруется жизнь, тому нужно предоставить и средства для поддержания жизни. Итак, Серена снова отправили

на Аморг. В связи с самоубийством Корнута в сенате заговорили о том, что не следует награждать обвинителей, если обвиняемый в оскорблении величия сам себе причинит смерть до завершения судебного разбирательства. Это предложение было бы принято, если бы против него не выступил Цезарь, который решительно и вопреки обыкновению открыто стал на сторону обвинителей, говоря, что без них законы будут бессильны и государство окажется на краю пропасти; пусть уж сенат скорее откажется от установленного правопорядка, чем устранит его опору. Так доносчиков — разряд людей, придуманный на общественную погибель и до того необузданный, что никогда не удавалось сдержать его в должных границах даже при помощи наказаний, — поощряли обещаниями наград.

31. Среди этих столь привычных и столь печальных событий выпадает и одно довольно отрадное: римского всадника Гая Коминия, изобличенного в написании порочащего Цезаря стихотворения, он великодушно простил, вняв мольбам его брата-сенатора. Тем более казалось непостижимым, почему, зная лучшее и какою славой вознаграждается милосердие, он отдает предпочтение худшему. Ведь он не страдал отсутствием проницательности и не обманывался насчет того, когда деяния императоров прославляются искренне, а когда восторги притворны. Да и сам он, хотя обычно говорил принужденно и как бы борясь со словами, был гораздо красноречивее всякий раз, когда приходил к кому-либо на помощь. Впрочем, когда было принято постановление воспретить пребывание в Италии бывшему квестору Германика Публию Суиллию, изобличенному в получении взятки при судебном разбирательстве, и Цезарь потребовал для него ссылки на остров, он с такою горячностью доказывал важность этого для государства, что в подтверждение своих слов поклялся. Тогда это было принято с недовольством, но впоследствии, по возвращении Суиллия, обернулось для Тиберия похвалами: следующее поколение видело Суиллия всемогущим, продажным и долгое время своекорыстно пользовавшимся дружбой с принцепсом Клавдием и никогда — в благих целях. То же наказание сенаторы определили и Кату Фирмию, клеветнически обвинившему сестру в оскорблении величия. Этот Кат, как я уже говорил, предательски опутал Либона и затем, донеся на

него, погубил. Помня об оказанной им услуге, но прикрываясь другим, принцепс попросил не отправлять его в ссылку, но не возражал против удаления его из сената.

32. Я понимаю, что многое из того, о чем я сообщил и сообщаю, представляется, возможно, слишком незначительным и недостойным упоминания; но пусть не сравнивают наши анналы с трудами писателей, излагавших деяния римского народа в былые дни. Они повествовали о величайших войнах и взятии городов, о разгроме и пленении царей, а если обращались к внутренним делам, то ничто не мешало им говорить обо всем, о чем бы они ни пожелали: о раздорах между консулами и трибунами, о земельных и хлебных законах, о борьбе плебса с оптиматами; а наш труд замкнут в тесных границах и поэтому неблагодарен: нерушимый или едва колеблемый мир, горестные обстоятельства в Риме и принцепс, не помышлявший о расширении пределов империи. И все же будет небесполезным всмотреться в эти незначительные с первого взгляда события, из которых нередко возникают важные изменения в государстве.

33. Всеми государствами и народами правят или народ, или знатнейшие, или самодержавные властители; наилучший образ правления, который сочетал бы и то, и другое, и третье, легче превозносить на словах, чем осуществить на деле, а если он и встречается, то не может быть долговечным. Итак, подобно тому как некогда при всесилии плебса требовалось знать его природу и уметь с ним обращаться или как при власти патрициев наиболее искусными в ведении государственных дел и сведущими считались те, кто тщательно изучил образ мыслей сената и оптиматов, так и после государственного переворота[27], когда Римское государство управляется не иначе, чем если бы над ним стоял самодержец, будет полезным собрать и рассмотреть все особенности этого времени, потому что мало кто благодаря собственной проницательности отличает честное от дурного и полезное от губительного, а большинство учится этому на чужих судьбах. Впрочем, сколько бы подобный рассказ ни был полезен, он способен доставить лишь самое ничтожное удовольствие, ибо внимание читающих поддерживается и восстанавливается описанием образа жизни народов, превратностей битв, славной гибели полководцев; у нас же идут чередой свирепые

приказания, бесконечные обвинения, лицемерная дружба, истребление ни в чем не повинных и судебные разбирательства с одним и тем же неизбежным исходом — все, утомляющее своим однообразием. У древних писателей редко когда отыскивается хулитель, потому что никого не волнует, восхищаются ли они пуническими или римскими боевыми порядками; но потомки многих, подвергнутых при власти Тиберия казни или обесчещению, здравствуют и поныне. А если их род и угас, все равно найдутся такие, которые из-за сходства в нравах сочтут, что чужие злодеяния ставятся им в упрек. Даже к славе и доблести ныне относятся неприязненно, потому что при ближайшем знакомстве с ними они воспринимаются как осуждение противоположного им. Но возвращаюсь к прерванному повествованию.

34. В консульство Корнелия Косса и Азиния Агриппы привлекается к судебной ответственности Кремуций Корд по дотоле неслыханному и тогда впервые предъявленному обвинению, за то что в выпущенных им в свет анналах он похвалил Брута и назвал Кассия последним римлянином. Обвиняли Корда клиенты Сеяна Сатрий Секунд и Пинарий Натта. Уже это одно предвещало подсудимому верную гибель, да и сам Цезарь грозно хмурился, слушая его речь в свое оправдание, которую он, зная, что ему предстоит расстаться с жизнью, начал следующим образом: «Отцы сенаторы, мне ставят в вину только мои слова, до того очевидна моя невиновность в делах. Но и они не направлены против принцепса или матери принцепса, которых имеет в виду закон об оскорблении величия. Говорят, что я похвалил Брута и Кассия, но многие писали об их деяниях, и нет никого, кто бы, упоминая о них, не воздал им уважения. Тит Ливий, самый прославленный, самый красноречивый и правдивый из наших историков, такими похвалами превознес Гнея Помпея, что Август прозвал его помпеянцем, и, однако, это не помешало их дружеским отношениям. Сципиона, Афрания, этого самого Брута, этого самого Кассия он часто именует выдающимися мужами и нигде — разбойниками и отцеубийцами, каковое наименование им присвоено ныне. Сочинения Азиния Поллиона также хранят о них добрую память; Мессала Корвин открыто называл Кассия своим полководцем, а между тем и тот и другой жили в богатстве и неизменно пользовались поче-

том. Ответил ли диктатор Цезарь на книгу Марка Цицерона, в которой Катон превозносится до небес, иначе, чем составленной в ее опровержение речью, как если бы он выступал перед судьями? Письма Антония и речи Брута к народу содержат неосновательные, но проникнутые большим ожесточением упреки Августу. Общеизвестны полные оскорбительных выпадов против Цезарей стихотворения Бибакула и Катулла[28], но сам божественный Юлий, сам божественный Август не обрушились на них и не уничтожили их, и я затруднился бы сказать, чего в этом больше — терпимости или мудрости. Ведь оставленное без внимания забывается, тогда как навлекшее гнев кажется справедливым.

35. Не говорю о греках, у которых была безнаказанной не только свобода, но и разнузданность в выражениях, и если кто возмущался ими, то за слова мстил словами. И уж совсем беспрепятственно и не встречая отпора можно было высказываться у них о тех, кого смерть отняла у ненависти или пристрастия. Разве я на народном собрании возбуждаю граждан к усобице, когда поднявшие оружие Кассий и Брут занимают поле сражения при Филиппах? Или, погибнув семьдесят лет назад, они не сохраняют своей доли памяти в книгах историков, подобно тому как их узнают по изображениям, которых не истребил даже одержавший над ними победу[29]? Потомство воздает каждому по заслугам, и не будет недостатка в таких, которые, если на меня обрушится кара, помянут не только Кассия с Брутом, но и меня». Выйдя затем из сената, он отказался от пищи и так лишил себя жизни. Сенаторы обязали эдилов сжечь его сочинения, но они уцелели, так как списки были тайно сохранены и впоследствии обнародованы. Тем больше оснований посмеяться над недомыслием тех, которые, располагая властью в настоящем, рассчитывают, что можно отнять память даже у будущих поколений. Напротив, обаяние подвергшихся гонениям дарований лишь возрастает, и чужеземные цари или наши властители, применившие столь же свирепые меры, не добились, идя этим путем, ничего иного, как бесчестия для себя и славы для них.

36. В этом году обвинения следовали одно за другим, и даже в первый день Латинских празднеств[30] к префекту Рима Друзу, стоявшему на трибунале, на который он поднялся в знак вступления в должность, обратился Кальпурний Саль-

виан с доносом на Секста Мария: за этот поступок, вызвавший громкое порицание Цезаря, Сальвиан поплатился ссылкой[31]. Жители Кизика были обвинены в нерадивом отправлении священнодействий в честь божественного Августа, и, кроме того, им вменялись в вину насилия над римскими гражданами. За это у них были отняты вольности, дарованные им во время войны с Митридатом, когда, подвергшись осаде, они отогнали царя столько же благодаря своей стойкости, сколько вследствие поддержки Лукулла. Но был оправдан Фонтей Капитон, занимавший ранее должность проконсула Азии, так как расследование установило, что обвинения, которые возвел на него Вибий Серен, лишены основания. Однако Серена не привлекли за это к ответственности, так как всеобщая ненависть обеспечивала ему безнаказанность. Ибо не знавшие ни стыда, ни совести обвинители становились как бы неприкосновенными личностями, а карались лишь ничтожные, никому не ведомые доносчики.

37. Тогда же Испания Дальняя, направив послов в сенат, обратилась к нему с ходатайством дозволить ей по примеру Азии возвести храм Тиберию и его матери. Цезарь, который вообще умел пренебрегать почестями, счел нужным воспользоваться этим случаем, чтобы ответить тем, кто порицал его, утверждая, будто он стал поддаваться тщеславию, и начал речь следующим образом. «Я знаю, отцы сенаторы, что многие хотели бы видеть во мне бóльшую твердость, поскольку недавно я не отказал городам Азии, просившим о том же. Итак, я постараюсь объяснить мое молчаливое согласие в прошлом и то, что я решил делать в будущем. Так как божественный Август не воспретил воздвигнуть в Пергаме храм ему и городу Риму, то и я, для которого его слова и дела — закон, с тем большей готовностью последовал за предуказанным им образцом, что мой культ объединялся в тот раз с почитанием сената. Но если разрешение культа такого рода могло быть оправдано в единичном случае, то допустить, чтобы во всех провинциях поклонялись мне в образе божества, было бы величайшим самомнением и заносчивостью; да и культ Августа подвергнется умалению, если лесть предоставит равные почести и другим.

38. Что я смертен, отцы сенаторы, и несу человеческие обязанности, и вполне удовлетворен положением принцеп-

са, я свидетельствую пред вами и хочу, чтоб об этом помнили также потомки; и они воздадут мне достаточно и более чем достаточно, если сочтут меня не опозорившим моих предков, заботившимся о ваших делах и ради общего блага не страшившимся навлекать на себя вражду. Это — храмы мне в ваших сердцах, это — прекраснейшие и долговечные мои изваяния. Ибо те, что создаются из камня, если благоволение оборачивается в потомках ненавистью, окружаются столь же презрительным равнодушием, как могильные плиты. Вот почему я молю союзников и граждан и самих богов, последних — чтобы они сохранили во мне до конца моей жизни уравновешенный и разбирающийся в законах божеских и человеческих разум, а первых — чтобы они, когда я уйду, удостоили похвалы и благожелательных воспоминаний мои дела и мое доброе имя». После этого он решительно отверг почитание подобного рода и так же отрицательно отзывался о нем в частных беседах. Одни объясняли его поведение скромностью, многие — робостью, некоторые — обыденностью его души. Ведь лучшие среди смертных всегда искали самого высокого: так, Геркулес и Либер[32] у греков, а у нас Квирин сопричислены к сонму богов; правильнее поступал Август, который также на это надеялся. Все остальное дано властителям в настоящем, и лишь к одному им должно неустанно стремиться — к благожелательной памяти о себе; ибо в презрении к доброму имени сокрыто презрение к добродетелям.

39. Между тем безмерно взысканный судьбою Сеян утратил благоразумие и, подстрекаемый к тому же женской нетерпеливостью (Ливия настойчиво требовала, чтобы он вступил с нею в обещанный брак), составил письмо к Цезарю, — ибо тогда было в обычае сноситься с ним письменно и когда он пребывал в Риме. Содержание этого письма было таково. Вследствие благосклонности отца Тиберия Августа, а затем многократно им самим явленных ему, Сеяну, знаков расположения он привык обращаться со своими надеждами и желаниями сперва к принцепсам и только потом к богам. Никогда он не добивался для себя блеска сановных должностей; он предпочитает трудную службу воина, несущего стражу ради безопасности императора. И тем не менее ему оказан величайший почет, поскольку его признали достойным по-

родниться с семьею Цезаря; это и заронило в него надежду. И так как он слышал, что Август, подумывая о замужестве дочери, намечал ей в мужья даже римских всадников, он просит, если для Ливии станут подыскивать мужа, иметь в виду друга, который не будет искать от такого родства иных выгод, кроме славы. Он не слагает с себя возложенных на него обязанностей и вполне довольствуется тем, что такой брак оградит его семью от враждебности Агриппины, да и к этому он стремится ради детей, ибо, сколько бы ему ни было дано жизни, для него будет достаточно и более чем достаточно, раз он прожил ее при таком принцепсе.

40. В ответ на это Тиберий, поблагодарив Сеяна за преданность и бегло коснувшись милостей, которые он ему оказал, а также попросив дать ему время для всестороннего размышления, добавил: прочие смертные принимают решения, клонящиеся к тому, что они считают выгодным для себя; не таков удел принцепсов, ибо в важнейших делах они должны считаться с тем, что об этом подумают люди. Вот почему он не прибегает к тому, что ему было бы всего удобнее написать, а именно, что лишь сама Ливия вольна решить, выйти ли ей замуж после кончины Друза или остаться у того же домашнего очага, что у нее есть мать и бабка[33] и с ними ей прежде всего следует посоветоваться. Но он склонен поступить проще и повести речь прежде всего о враждебности Агриппины, которая разгорится с еще большей силою, если замужество Ливии разделит дом Цезаря на два противостоящих друг другу лагеря. Ведь и без того между женщинами прорывается соперничество, и от этого раздора страдают и его внуки. Что, если этот брак еще больше обострит распрю? «Ты, Сеян, заблуждаешься, если думаешь, что останешься в своем прежнем сословии и что Ливия, состоявшая в супружестве сначала с Гаем Цезарем, а потом с Друзом, смирится с мыслью, что ей предстоит состариться в супружестве с римским всадником. Если бы я и допустил это, то неужели ты веришь, что те, кто видел ее брата, кто видел ее отца[34] и наших предков на высших государственных должностях, потерпят такое? Ты хочешь сохранить прежнее твое положение, но магистраты и знатнейшие граждане Рима, врывающиеся к тебе против твоего желания и советующиеся с тобою обо всем, уже давно, не таясь, утверждают, что ты намного перерос всадническое сословие,

превзойдя в этом друзей моего отца, и, завидуя тебе, порицают за это меня. Но Август все-таки помышлял отдать дочь за римского всадника? Нет ничего удивительного, что, поглощенный всяческими заботами и предвидя, как безмерно возвысится тот, кто будет им вознесен таким браком над всеми прочими, он действительно называл в беседах Гая Прокулея и некоторых других, отличавшихся скромным образом жизни и не вмешивавшихся в общественные дела. Но если мы придаем значение колебаниям Августа, то насколько существеннее, что он выдал дочь все-таки за Марка Агриппу, а затем за меня. Я не скрыл этого от тебя из дружбы. Впрочем, я не стану противиться ни твоим намерениям, ни намерениям Ливии. А о том, над чем я про себя размышляю, какими узами собираюсь связать тебя неразрывно со мной, об этом я сейчас распространяться не стану; скажу лишь одно: нет ничего столь высокого, чего бы не заслужили твои добродетели и твоя верность, и когда придет время, я не умолчу об этом ни в сенате, ни перед народом».

41. И Сеян, думая уже не о браке, а о том, что гораздо больше его заботило, снова обращается с письмом к принцепсу, умоляя не питать к нему подозрений и не прислушиваться к толкам толпы, к нашептываниям ополчившейся на него зависти. Но, считая, что, закрыв двери своего дома для бесчисленных посетителей, он утратит могущество, а поощряя их, подаст пищу для обвинений доносчикам, Сеян вознамерился убедить принцепса поселиться где-нибудь в приятных местах вдали от Рима. От этого он ждал для себя очень многого: от него будет зависеть доступ к Тиберию, и в его руках окажется почти вся его переписка, так как письма будут доставлять воины; а в дальнейшем уже достигший преклонного возраста и смягченный жизнью в уединении Цезарь с большей легкостью предоставит ему распоряжаться делами по своему усмотрению; он умерит возбуждаемую им зависть, преградив доступ толпе являющихся с утренними приветствиями, и, отказавшись от пустых почестей, усилит свое истинное могущество. И вот он начинает исподволь бранить суету города, скопление в нем народа, наплыв посетителей и всячески восхваляет покой и уединение, среди которых нет ничего такого, что докучало бы и раздражало, и ничто не мешает сосредоточенно размышлять о важнейших делах.

42. Случилось так, что в эти самые дни рассматривалось дело мужа выдающихся дарований Вотиена Монтана, и это судебное разбирательство побудило уже колебавшегося Тиберия утвердиться в мысли, что ему следует избегать заседаний сената, на которых в его присутствии оглашались бросаемые ему суровые и чаще всего справедливые упреки. Вотиен был привлечен за оскорбительные высказывания о Цезаре, и свидетель Эмилий, человек военный, усердствуя в желании изобличить обвиняемого, докладывает все, как оно было, и, несмотря на шум, поднятый сенаторами, чтобы его заглушить, настойчиво продолжает свои показания, так что Тиберию пришлось выслушать поношения, которым его подвергают в тесном кругу; это настолько его задело, что он вскричал, что немедленно или в ходе следствия опровергнет возводимые на него обвинения; уговоры приближенных и лесть со стороны всех присутствовавших едва его успокоили. Вотиен был подвергнут наказанию за оскорбление величия[35]; после этого Цезарь с тем более неумолимою беспощадностью к подсудимым, что его упрекали в ней, покарал ссылкою обвиненную в прелюбодейной связи с Барием Лигуром Аквилию, хотя избранный на следующий срок консул Лентул Гетулик осудил ее по Юлиеву закону[36], а также повелел выскоблить из списка сенаторов Апидия Мерулу, уклонившегося от клятвы, что будет беспрекословно повиноваться распоряжениям Августа.

43. Затем были выслушаны посольства лакедемонян и мессенцев, споривших между собой о праве владения храмом Дианы Лимнатиды, возведенным, как утверждали лакедемоняне, ссылаясь на упоминания в исторических сочинениях и стихи поэтов, их предками на своей земле, отнятым у них Филиппом Македонским, с которым они воевали, и впоследствии возвращенным им по решению Гая Цезаря и Марка Антония. Мессенцы, напротив, настаивали на том, что еще в древности при разделе Пелопоннеса[37] между потомками Геркулеса Денфалийская равнина, на которой находится это святилище, отошла к их царю; доказательства этого, говорили они, и поныне сохраняются в надписях, вырезанных на камне или на старинных бронзовых досках. А что до того, что лакедемоняне указывают на исторические сочинения и на поэтов, то таких свидетельств у них много больше и они до-

стовернее; да и Филипп поступил не по произволу победителя, а по справедливости; таков же был приговор царя Антигона, таков же — римского полководца Муммия; такое же решение вынесли и милетцы, когда их общине было предложено рассудить обе стороны, наконец, так же решил претор Ахайи Атидий Гемин. И храм был предоставлен мессенцам.

Жители Сегесты обратились с просьбою восстановить разрушившийся от времени храм Венеры на горе Эрике и привели при этом широко известные предания о его происхождении, лестные для Тиберия. И он, как прямой потомок основателя храма, взял на себя заботу об этом святилище[38]. Тогда же обсуждалось и ходатайство массилийцев, причем была признана убедительной их ссылка на пример Публия Рутилия, которого, когда он был в соответствии с законами изгнан из Рима, признали своим гражданином жители Смирны. На этом основании изгнаннику Вулкацию Мосху массилийцами были предоставлены те же права, и он оставил свое имущество этому городу, как если бы тот был его родиной.

44. В этом году[39] скончались именитые мужи Гней Лентул и Луций Домиций. Лентулу, помимо консульства и триумфальных отличий за победу над гетами[40], доставило добрую славу и то, что он с достоинством переносил бедность, а затем, приобретя безупречным путем большое богатство, пользовался им умеренно и разумно. Домицию придавала блеск громкая известность его отца[41], господствовавшего на море во время гражданской войны, пока он не примкнул сначала к партии Антония, а потом — Цезаря. Дед его пал в битве при Фарсале, сражаясь на стороне оптиматов. Сам он, выбранный в мужья младшей Антонии, дочери Октавии, впоследствии переправился с войском через реку Альбис, проникнув в глубь Германии дальше, чем кто-либо из его предшественников, и за эти деяния был удостоен триумфальных отличий. Скончался и Луций Антоний, принадлежавший к очень знатному, но несчастливому роду. Ибо после того как его отец Юл Антоний был наказан смертью за прелюбодеяние с Юлией, Август отправил его, еще совсем юного внука своей сестры, в город Массилию, где он пребывал в ссылке под предлогом, что проходит там обучение. Впрочем, останкам его были оказаны почести, и его кости по решению сената были помещены в гробнице Октавиев[42].

45. При тех же консулах в Ближней Испании неким сельским жителем терместинского племени было совершено злодейское преступление. Неожиданно напав на находившегося в пути претора этой провинции Луция Пизона, пренебрегшего ввиду мирного времени надлежащими предосторожностями, он одним ударом поразил его насмерть; скрывшись благодаря резвости своего коня из виду и достигнув лесной чащи в горах, он оставил коня и, пробираясь по обрывистым и диким местам, ускользнул от погони. Но не надолго обманул он своих преследователей, ибо, поймав и показав в ближайших селениях брошенного убийцей коня, они установили, кому он принадлежал. Схваченный и преданный пыткам для выяснения, кто были его сообщники, он громко прокричал на родном языке, что его напрасно допрашивают; он хотел бы, чтобы здесь присутствовали его товарищи и видели, как его мучают; но не существует таких мучений, которые могли бы исторгнуть из него правду. И когда на следующий день его снова влекли на допрос, он с нечеловеческой силой вырвался из рук стражи и, ударившись головою о камень, тут же испустил дух. Полагают, что убийство Пизона было задумано несколькими терместинцами, с которых он так строго взыскивал присвоенные ими общественные деньги, что варвары не стерпели этого.

46. В консульство Лентула Гетулика и Гая Кальвизия[43] сенат определил наградить триумфальными отличиями Поппея Сабина за подавление восстания фракийских племен, обитавших высоко в горах в дикости и убожестве и по этой причине тем более неукротимых. Помимо природных свойств этих людей, причина волнений состояла и в том, что они не желали смириться с набором в наши войска и отдавать нам на службу своих самых доблестных воинов, да и своим царям они повиновались, лишь когда им вздумается, а если направляли по нашему требованию вспомогательные отряды, то ставили над ними своих начальников и не соглашались вести военные действия ни с кем, кроме соседних народов. А тогда к тому же распространился слух, будто мы собираемся разъединить их друг с другом и, перемешав с другими народностями, отправить в дальние страны. Но прежде чем взяться за оружие, они прислали послов с напоминанием, что они дружественно настроены и готовы оказывать

нам повиновение и что так будет и впредь, если на них не возложат какого-нибудь нового бремени; но если с ними станут обращаться как с побежденными и попытаются навязать им рабство, то у них есть оружие, и молодежь, и решимость скорее умереть, чем расстаться со свободою. При этом они показывали свои укрепления, построенные на неприступных скалах, где находились их родители и жены, и угрожали, что война будет трудной, изнурительной и кровопролитной.

47. В ожидании, пока сосредоточится его войско, Сабин ответил благожелательно, но после того как к нему прибыл Помпоний Лабеон с одним легионом из Мёзии и царь Реметалк с теми из своих соплеменников, которые остались верными римлянам, он объединил с ними находившиеся в его распоряжении силы и двинулся на неприятеля, уже успевшего расположиться в ущельях лесистых гор. На открытых холмах виднелись наиболее отважные из врагов, и римский полководец, напав на них, без труда отогнал варваров, понесших лишь незначительные потери вследствие близости их убежищ. Разбив тут же лагерь и укрепив его, он занимает сильным отрядом гору с узким и ровным гребнем, тянувшимся вплоть до вражеского укрепления, охраняемого большой, но нестройной толпою воинов. Вслед за тем Сабин отряжает отборных лучников против тех смельчаков, которые по обычаю этого племени плясали и пели перед крепостным валом. Пока лучники действовали издали, сами неуязвимые, они причиняли противнику сильный урон; однако, подойдя ближе, они были смяты внезапною его вылазкой, но выручены бросившейся на помощь когортой сугамбров, которых римляне держали наготове, как воинов стойких в опасности и устрашающих врагов своим боевым пением и звоном оружия.

48. После этого лагерь был перенесен ближе к врагу, а в прежних укреплениях оставлены те фракийцы, о которых я упоминал как о наших союзниках. Им было дозволено производить опустошения, жечь, забирать добычу, лишь бы эти набеги кончались засветло и ночь они проводили в лагере, бдительно охраняя его. Вначале это соблюдалось, но вскоре, предавшись разгулу и обогатившись грабежом, они стали самовольно покидать сторожевые посты ради разнузданных пиршеств и сваливались там, где их одолевали сон и вино. А

враги между тем, проведав об их беспечности, подготовили два отряда, из которых одному поручалось напасть на грабителей, а другому — на римский лагерь, и не потому, что они надеялись им овладеть, но чтобы всякий, отвлеченный криками и звоном оружия, думал только о своей безопасности и не слышал шума второго сражения. Стремясь создать еще бóльшее замешательство, они избрали ночное время. Бросившиеся на лагерный вал были легко отбиты, но служившие у нас вспомогательные отряды фракийцев, устрашенные внезапностью нападения, когда воины частью спали у укреплений, а большинство бродило за их пределами, были перебиты с тем большею беспощадностью, что враги видели в них перебежчиков и предателей, поднявших оружие, чтобы поработить самих себя и отечество.

49. На следующий день Сабин выстроил свое войско в удобном месте, на случай, если варвары, ободренные ночной удачей, осмелятся на сражение. Но так как они не вышли ни из своего укрепления, ни с прилегавших к нему возвышенностей, он приступает к осаде, воспользовавшись тем, что возведение осадных сооружений уже было начато; связав их между собой рвом с частоколом, он замыкает отовсюду пространство на четыре тысячи шагов в окружности и, постепенно продвигая вперед осадные работы, еще теснее сжимает кольцо вокруг неприятеля, с тем чтобы отрезать его от воды и подножного корма для лошадей и скота; и, наконец, сооружается насыпь, откуда уже с близкого расстояния можно было метать во врага камни, копья и горящие головни. Но ничто так не мучило осажденных, как жажда, ибо огромное количество как боеспособных, так и небоеспособных должно было пользоваться только одним источником; к тому же издыхали от бескормицы лошади и быки, по обыкновению варваров находившиеся вместе с ними внутри крепостной ограды; тут же лежали трупы людей, умерших от ран или от жажды; все было полно тлением, смрадом, заразой.

50. Ко всем трудностям прибавилось еще величайшее бедствие — разногласия: одни были готовы сдаться, другие предпочитали этому смерть и намеревались поразить друг друга; были и такие, кто убеждал не погибать, не отомстив за себя, и решиться на вылазку. Столь противоположных мнений придерживались не только в толпе рядовых воинов, но

и среди вождей; так, Динис, достигший глубокой старости и благодаря длительному общению с римлянами знавший и их мощь, и их милосердие, утверждая, что нужно сложить оружие и что это единственный выход для побежденных, первый, с женой и детьми, отдался во власть победителя; за ним последовали и те, кто по возрасту или полу не мог биться с врагом, и те, кто ценил жизнь дороже славы. Молодежь разделилась, частью примкнув к Тарсе, частью к Туресу. И тот и другой решили не расставаться живыми со свободою, но Тарса призывал к быстрой развязке, к тому, чтобы разом покончить с надеждою и страхом, и подал пример остальным, пронзив грудь мечом; и было немало сделавших то же. Турес же со своим отрядом дожидался наступления темноты, что не осталось тайной для римского полководца, который поэтому усилил передовые позиции более многочисленными отрядами. Надвинулась ночь с жестокой грозой, оглашаемая к тому же дикими криками, по временам сменявшимися полным безмолвием, что вселяло в осаждавших тревогу пред неизвестностью. Сабин стал обходить своих воинов, убеждая их не поддаваться на уловки врагов, не обращать внимания ни на загадочный гул, ни на обманчивую тишину, но каждому бестрепетно исполнять свой долг и не метать понапрасну оружия.

51. Между тем варвары, налетая толпами, то осыпают вал камнями, обожженными кольями, стволами срубленных деревьев, то закидывают рвы валежником, связками хвороста и мертвыми телами; иные подносят к нашим укреплениям заранее изготовленные мостки и лестницы, хватаются за частокол на валу, рушат его и дерутся врукопашную с обороняющимися римлянами. Наши воины мечут в них дротики, сталкивают щитами, поражают тяжелыми осадными копьями, сбивают сбрасываемыми на них каменными глыбами. Римлян воодушевляют надежда, порожденная уже одержанною над тем же врагом победою[44], и боязнь тем большего бесчестья, если их одолеют, варваров — сознание, что это последняя попытка спастись, а многих из них к тому же — и находящиеся позади них жены и матери и их жалобные стенания. В одних ночь вселяет отвагу, в других — страх; удары наносятся наудачу, раны — внезапно; невозможность отличить своих от врагов и горные ущелья, доносящие с тыла

отзвуки голосов сражающихся, привели наших в такое смятение, что несколько укреплений было оставлено римлянами, решившими, что неприятель прорвался за вал. Но враги, кроме отдельных воинов, за него не проникли; всех остальных, после того как самые доблестные были сброшены с вала или изранены, уже на рассвете наши прогнали на вершину горы, к тому месту, где было расположено укрепление, и там наконец принудили их сложить оружие. Ближние селения изъявили покорность по доброй воле своих обитателей; прочие не были взяты приступом или осадою лишь потому, что в Гемских горах началась ранняя и суровая зима.

52. А в Риме, в доме принцепса, продолжались волнения и раздоры. Первым в ряду выпадов с целью погубить Агриппину было привлечение к суду ее двоюродной сестры Клавдии Пульхры по обвинению, предъявленному Домицием Афром. Этот Афр, недавно закончивший срок преторских полномочий, не занимавший видного положения, но жаждавший известности и ради нее готовый на любое преступление, обвинил Пульхру в развратном образе жизни, в прелюбодеянии с Фурнием, а также в ворожбе и злоумышлениях против принцепса. Агриппина, всегда горячая и несдержанная, а тогда к тому же взволнованная грозной опасностью, нависшей над ее родственницей, отправляется к Тиберию и застает его за принесением жертвы отцу. При виде этого она вскипела и сказала ему, что не подобает одному и тому же человеку заниматься закланием жертв божественному Августу и преследованием его потомков. Не в немые изваяния вселился его божественный дух: она — его действительное и живое подобие, порожденное божественной кровью, и она понимает свою обреченность и облачается в скорбные одежды. Незачем прикрываться именем Пульхры; ведь единственная причина ее преследования заключается в том, что она неразумно избрала Агриппину предметом своего преклонения, забыв о печальной участи, постигшей по той же причине Созию. Слова, которые пришлось выслушать от нее Тиберию, вызвали его скрытную душу на редкую для него откровенность, и, схватив Агриппину за руку, он предостерег ее греческим стихом, гласившим, что она гневается, потому что не царствует. Пульхра и Фурний были осуждены. А Афр был причислен молвою к первостепенным ораторам, так как проявил в этом

деле свои дарования и сам Цезарь сказал, что ему свойственно прирожденное красноречие. В дальнейшем, выступая обвинителем или защитником подсудимых, он добыл себе славу, более благоприятную для его красноречия, чем для нравов, но в глубокой старости красноречие Афра значительно потускнело, так как при поблекшем уме он удержал неумение сохранять молчание.

53. А Агриппина, упорная в гневе и к тому же занемогшая телесным недугом, когда ее навестил Тиберий, сначала долго плакала молча, а потом принялась осыпать его упреками и просить: пусть он облегчит ее одиночество, пусть даст ей мужа; она еще молода и во цвете лет, и для порядочной женщины нет утешения иначе, как в браке; найдутся в государстве...[45] которые не сочтут для себя зазорным взять супругу Германика вместе с его детьми. Но Цезарь, понимая, какими последствиями удовлетворение ее просьбы чревато для государства, и вместе с тем не желая выказать ни неудовольствия, ни своих опасений, покинул ее, так и не дав ответа, сколько она на нем ни настаивала. Об этом случае, не упомянутом составителями анналов, я узнал из записок Агриппины-дочери, в которых мать принцепса Нерона рассказала потомкам о своей жизни и о судьбе своих близких.

54. И Сеян нанес ей, погруженной в печаль и забывшей о своих опасениях, новый, еще глубже поразивший ее удар, подослав к ней мнимых доброжелателей, дабы те под личиною дружбы предупредили ее, что для нее изготовлен яд и что ей следует избегать яств, предлагаемых ей у свекра[46]. И вот, не умея притворяться, Агриппина, когда ей пришлось возлежать за столом возле принцепса, хмурая и молчаливая, не притронулась ни к одному кушанью; это заметил Тиберий, случайно или, быть может, потому, что о чем-то слышал, и, желая ее испытать, похвалил поставленные пред ним плоды и собственноручно протянул их невестке. Это еще больше усилило подозрения Агриппины, и она, не отведав плодов, передала их рабам. Тиберий не проронил ни слова, но, обратившись к матери, сказал, что не удивительно, если он примет суровые меры по отношению к той, которая обвиняет его в намерении ее отравить. Отсюда пошел слух, что Агриппине готовится гибель, но император не решается сделать это открыто и для ее умерщвления изыскиваются тайные способы.

55. Чтобы отвлечь от себя эти толки, Цезарь стал часто бывать в сенате и в течение многих дней слушал представителей Азии, споривших, в каком городе возвести ему храм. Состязались одиннадцать городов, с одинаковою настойчивостью, но не с равными основаниями. Все они опирались на сходные доводы, ссылаясь на свое древнее происхождение, на преданность римскому народу в войнах с Персеем, Аристоником и другими царями[47]. Но Гипепа, Тралла и вместе с ними Лаодикея и Магнесия сразу же были отвергнуты, как города незначительные. И даже жители Илиона, заявившие, что Троя — мать Рима, не располагали ничем, кроме издревле утвердившейся за их городом славы. Некоторые колебания возникли по поводу Галикарнаса, так как его жители утверждали, что за тысячу двести лет их жилища ни разу не сотрясались от подземных толчков и что фундамент храма будет покоиться на природной скале. В отношении пергамцев было сочтено, что с них довольно существующего в их городе храма Августа, хотя именно это и было их главным доводом. Эфес и Милет отпали, потому что первый и без того совершает священнодействия Аполлону, а второй — Диане. Итак, оставалось выбрать лишь между Сардами и Смирной. Жители Сард огласили решение этрусков, признававших их своими кровными родичами: ведь Тиррен и Лид, сыновья царя Атиса, вследствие многочисленности своих соплеменников поделили их между собой; Лид остался на землях предков, а Тиррену достались по жребию новые земли, с тем чтобы он основал на них поселения; этим народам были присвоены имена их властителей — одному в Азии, другому в Италии[48]; после этого могущество лидян возросло еще больше, так как они послали своих людей в Грецию, которая и стала называться затем по имени Пелопа. Одновременно жители Сард упоминали о грамотах, данных им нашими полководцами, о заключенных с нами во время Македонской войны[49] договорах, а также о полноводности протекающих у них рек, мягком климате их страны и богатстве земель, лежащих вокруг их города.

56. А представители Смирны, напомнив о ее древности, основал ли ее сын Юпитера[50] Тантал, или Тесей, который также был божественного происхождения, или одна из амазонок, перешли к тому, на что больше всего рассчитывали, а

именно — к своим заслугам перед римским народом, так как в помощь ему их город посылал свои корабли не только для войн с внешним врагом, но и для происходивших в самой Италии[51]; они заявили, что первый храм городу Риму был выстроен в Смирне при консуле Марке Порции, когда римский народ уже свершил большие дела, но еще не достиг вершины могущества, потому что все еще стоял город пунийцев и в Азии были могущественные цари. Одновременно они призвали в свидетели Луция Суллу, что, когда его войско из-за суровой зимы и отсутствия теплой одежды оказалось в бедственном положении и об этом было сообщено в народном собрании, все присутствовавшие на нем сбросили с себя платье и отослали его нашим легионам. Итак, сенаторы, приглашенные высказать свое мнение, предпочли Смирну. И Вибий Марс внес предложение дать Манию Лепиду, которому досталась эта провинция, сверх положенного числа еще одного легата, с тем чтобы возложить на него заботу о храме. И так как Лепид из скромности отказался выбрать его по своему усмотрению, туда был направлен избранный жребием бывший претор Валерий Назон.

57. В разгар всех этих дел Цезарь после длительного обдумывания и неоднократного откладывания своего замысла отправился наконец в Кампанию под предлогом освятить храмы Юпитеру — в Капуе, Августу — в Ноле, а в действительности решив окончательно поселиться вдали от Рима. Хотя его удаление, следуя за большинством писателей, я объяснил происками Сеяна, но так как, расправившись с ним, Тиберий еще целых шесть лет прожил в таком же уединении, я часто задумываюсь, не правильнее ли было бы усматривать причину его отъезда в его личном желании прикрыть свою жестокость и свое любострастие, как бы они ни обнаруживались его поступками, хотя бы своим местопребыванием. Были и такие, кто полагал, что в старости он стыдился своего облика; он был очень высок, худощав и сутул; макушка головы у него была лысая, лицо в язвах и по большей части залепленное лечебными пластырями; к тому же во время своего уединения на Родосе он привык избегать общества и скрывать утехи своего любострастия. Сообщают также, что его изгнало из Рима и властолюбие матери, которую он не желал признавать своей соправительницей и от притязаний

которой не мог избавиться, так как самая власть ему досталась в дар от нее. Ибо Август подумывал, не поставить ли во главе государства внука своей сестры, всеми восхваляемого Германика, но, вынужденный сдаться на просьбы жены, усыновил Тиберия, повелев ему сделать то же с Германиком. Этим и попрекала его Августа, постоянно требуя от него благодарности.

58. Тиберий отбыл из Рима с немногими приближенными, среди которых был один сенатор, бывший консул, опытный законовед Кокцей Нерва, из высокопоставленных римских всадников, кроме Сеяна, только Курций Аттик и разные ученые люди, почти все греки, чтобы было с кем развлечься беседой. Знатоки астрологии утверждали, что Тиберий покинул Рим при таком положении небесных светил, которое исключало возможность его возвращения. Это предсказание для многих явилось причиною гибели, так как, поверив в близкий конец Тиберия, они повсюду толковали об этом; ведь не могли же они предвидеть столь невероятную вещь, как то, что он одиннадцать лет проведет добровольным изгнанником вне пределов родного города. А дальнейшее показало, насколько тесно соседствуют наука и заблуждение и насколько истина окутана тьмою. Что он не вернется в Рим, было сказано неспроста, но что касается прочего, то тут никто ничего не знал, ибо он прожил до глубокой старости, проводя время то в ближнем поместье, то на берегу моря, а то порою и у самых стен Рима.

59. Случайно в эти самые дни Цезарь подвергся смертельной опасности, что доставило новую пищу тем же пустым разговорам, а ему самому — повод еще больше уверовать в дружбу и преданность Сеяна. В поместье, которое называлось «Пещера» и находилось между Амункланским морем и Фундинскими горами, Тиберий с приближенными пировали в естественном гроте. Вдруг у входа в него произошел обвал и камнями завалило несколько прислуживавших рабов: всех объял безудержный страх, и участники пиршества разбежались. Сеян же, обратившись лицом к Цезарю и опираясь на колени и руки, прикрыл его собой от сыпавшихся камней и в таком положении был найден подоспевшими на помощь воинами. Это вознесло его еще выше, и сколь бы пагубные советы он ни давал, Тиберий, помня о проявленной им само-

отверженности, выслушивал их с полным доверием. А Сеян, изображая себя беспристрастным судьей поведения сыновей Германика, в действительности выискивал подставных лиц, выступавших против них обвинителями и особенно преследовавших Нерона как ближайшего преемника Тиберия; и хотя Нерон держался с подобающей юноше скромностью, однако нередко случалось, что он забывал, как нужно вести себя при сложившихся обстоятельствах, ибо его клиенты и вольноотпущенники, стремясь поскорее добиться влияния, всячески внушали ему, что он должен выказывать смелость и независимость: этого хочет римский народ, хочет войско, и Сеян, одинаково издевающийся над терпением старика и робостью юноши[52], не посмеет воспрепятствовать ему в этом.

60. Несмотря на эти и им подобные речи, Нерон не питал никаких преступных намерений, но иногда у него вырывались слишком дерзкие и необдуманные слова, которые подхватывались приставленными к нему соглядатаями и преувеличивались в их донесениях, тогда как он не имел возможности оправдаться; и вообще различные обстоятельства тревожили и раздражали его. Ибо одни старались уклониться от встречи с ним, другие, поздоровавшись, сейчас же от него отворачивались, многие торопились прервать начатый разговор и покинуть его, тогда как приверженцы Сеяна, напротив, следовали за ним по пятам и оскорбительно подшучивали над ним. Да и Тиберий принимал его, то угрюмо насупившись, то с деланной улыбкою на лице; но говорил ли юноша или молчал, ему вменялось в вину и его безмолвие, и его слова. Даже ночь подстерегала его своими опасностями: о его сне и бодрствовании, о каждом вздохе жена[53] сообщала своей матери Ливии, а та — Сеяну; последний сумел привлечь на свою сторону и его брата Друза, которого соблазнил надеждою на принципат, если он устранит старшего возрастом и уже пошатнувшегося Нерона. Друз был от природы злопамятен и, не говоря уже о стремлении властвовать и застарелой неприязни братьев друг к другу, ненавидел Нерона и за то предпочтение, которое ему оказывала их мать Агриппина. Впрочем, Сеян не так уж благоволил к Друзу, чтобы не обдумывать способов погубить в будущем и его, зная, что он неосмотрителен и что его легко завлечь в западню.

61. В конце года скончались видные мужи Азиний Агриппа, происходивший от скорее прославленных, чем родовитых предков и не посрамивший их своей жизнью, и Квинт Гатерий, при жизни славившийся красноречием; ныне плоды его дарования не в таком почете. Очевидно, сила его речей заключалась скорее в их вдохновенности, чем в тщательности отделки; и в то время как продуманность и трудолюбие у других ораторов приобретают для потомков все большую ценность, благозвучие и плавность речи Гатерия угасли вместе с ним.

62. В консульство Марка Лициния и Луция Кальпурния[54] неожиданное бедствие унесло не меньшее число жертв, чем их уносит кровопролитнейшая война, причем начало его было вместе с тем и его концом. Некто Атилий, по происхождению вольноотпущенник, взявшись за постройку в Фидене амфитеатра, чтобы давать в нем гладиаторские бои, заложил фундамент его в ненадежном грунте и возвел на нем недостаточно прочно сколоченное деревянное сооружение, как человек, затеявший это дело не от избытка средств и не для того, чтобы снискать благосклонность сограждан, а ради грязной наживы. И вот туда стеклись жадные до таких зрелищ мужчины и женщины, в правление Тиберия почти лишенные развлечений этого рода, люди всякого возраста, которых скопилось тем больше, что Фидена недалеко от Рима; это усугубило тяжесть разразившейся тут катастрофы, так как набитое несметной толпой огромное здание, перекосившись, стало рушиться внутрь или валиться наружу, увлекая вместе с собой или погребая под своими обломками несчетное множество людей, как увлеченных зрелищем, так и стоявших вокруг амфитеатра. И те, кого смерть настигла при обвале здания, благодаря выпавшему им жребию избавились от мучений; еще большее сострадание вызывали те изувеченные, кого жизнь не покинула сразу: при дневном свете они видели своих жен и детей, с наступлением темноты узнавали их по рыданиям и жалобным воплям. Среди привлеченных сюда разнесшейся молвой тот оплакивал брата, тот — родственника, иные — родителей. И даже те, чьи друзья и близкие отлучились по делам из дому, также трепетали за них, и, пока не выяснилось, кого именно поразило это ужасное бедствие, неизвестность только увеличивала всеобщую тревогу.

63. Когда начали разбирать развалины, к бездыханным трупам устремились близкие с объятиями и поцелуями, и нередко возникал спор, если лицо покойника было обезображено, а одинаковые телосложение и возраст вводили в заблуждение признавших в нем своего. При этом несчастье было изувечено и раздавлено насмерть пятьдесят тысяч человек, и сенат принял постановление, воспрещавшее устраивать гладиаторские бои тем, чье состояние оценивалось менее четырехсот тысяч сестерциев, равно как и возводить амфитеатр без предварительного обследования надежности грунта. Атилий был отправлен в изгнание. Следует упомянуть, что сразу же после разразившейся катастрофы знать открыла двери своих домов: повсюду оказывали врачебную помощь и снабжали лечебными средствами; и в городе в эти дни, сколь ни был горестен его облик, как бы ожили обычаи предков, которые после кровопролитных битв поддерживали раненых своими щедротами и попечением.

64. Еще не успело поблекнуть воспоминание об этом несчастье, как на город обрушилась неистовая сила огня, причинившего невиданные дотоле опустошения: выгорел весь Целиев холм; и пошла молва, что этот год несчастливый, что в недобрый час было принято решение принцепса удалиться из Рима, ибо толпе свойственно приписывать всякую случайность чьей-либо вине; но Цезарь пресек этот ропот раздачей денег в размере понесенных каждым убытков. В сенате ему принесли благодарность за это знатные граждане, и народ восхвалял его, ибо, невзирая на лица и безо всяких просьб со стороны приближенных, он помогал своей щедростью даже неизвестным ему и разысканным по его повелению погорельцам. Кроме того, в сенате было сделано предложение переименовать Целиев холм в Священный, ибо, когда все вокруг было истреблено пламенем, осталась невредимою только статуя Тиберия, стоявшая в доме сенатора Юния. То же произошло некогда и с изображением Клавдии Квинты: ее статуя, установленная нашими предками в храме Матери Богов, дважды избегла разрушительной силы пожара[55]. Клавдии — священны, к ним благоволят божества, и нужно, чтобы была особо отмечена святость места, в котором боги оказали принцепсу столь великий почет[56].

65. Не будет неуместным сообщить здесь о том, что этот

холм в старину прозывался Дубовым, так как был покрыт густыми дубовыми рощами, а Целиевым его назвали впоследствии по имени Целия Вибенны, который, будучи предводителем отряда этрусков и придя вместе с ними на помощь римлянам, получил этот холм для заселения от Тарквиния Древнего, или его отдал ему кто-то другой из царей, ибо в этом историки расходятся между собой. Но не вызывает ни малейших сомнений, что воины Целия, которых было великое множество, обитали даже на равнине вплоть до мест по соседству с форумом, из-за чего эта часть города и стала называться по имени пришельцев Тусским кварталом[57].

66. Но если усердие знати и щедрость Цезаря доставили римлянам облегчение в стихийных несчастьях, то ничто не ограждало их от бесчинств с каждым днем возраставшей и наглевшей шайки доносчиков; против родственника Цезаря богача Квинтилия Вара выступил с обвинениями Домиций Афр, ранее добившийся осуждения его матери Клавдии Пульхры, и никто не удивился тому, что, долго прозябавший в нужде и беспутно распорядившийся недавно полученной наградой, он замыслил новую подлость. Но всеобщее изумление вызвало соучастие в этом доносе Публия Долабеллы, ибо, происходя от прославленных предков и связанный родством с Варом, он по собственной воле пошел на то, чтобы запятнать свою знатность и навлечь позор на свое потомство. Сенат, однако, не дал ходу этому обвинению, постановив дождаться прибытия императора, что было тогда единственным способом отвести на время нависшие бедствия.

67. По освящении храмов в Кампании Цезарь, невзирая на то, что предписал особым эдиктом, чтобы никто не осмеливался нарушать его покой, и расставленные ради этого воины не допускали наплыва к нему горожан, все же, возненавидев муниципии, колонии и все расположенное на материковой земле, удалился на остров Капреи, отделенный от оконечности Суррентского мыса проливом в три тысячи шагов шириною. Я склонен думать, что больше всего ему понравилась уединенность этого острова, ибо море вокруг него лишено гаваней, и лишь мелкие суда, да и то не без трудностей, находили на нем кое-какие прибежища, так что никто не мог пристать к нему без ведома стражи. Зима на острове умеренная и мягкая, так как от холодных и резких ветров его укры-

вает гора, а лето чрезвычайно приятное, потому что остров беспрепятственно обвевает Фавоний[58] и кругом — открытое море. Отсюда открывался прекрасный вид на залив, пока огнедышащая гора Везувий не изменила облика прилегающей к нему местности[59]. Говорят, что Капреями когда-то владели греки и что остров был заселен телебоями. Но в то время его занимал Тиберий, в чьем распоряжении находилось двенадцать вилл с дворцами, каждая из которых имела свое название; и насколько прежде он был поглощен заботами о государстве, настолько теперь предался тайному любострастию и низменной праздности. Он сохранил в себе присущие ему подозрительность и готовность верить любому доносу, а Сеян, еще в Риме привыкший растравлять в нем и ту и другую, делал это на Капреях еще безудержнее и уже не скрывая козней, подстраиваемых им Агриппине и Нерону. Приставленные к ним воины заносили словно в дневник сообщения обо всех гонцах, которые к ним прибывали, обо всех, кто их посещал, обо всем явном и скрытом от постороннего глаза, и больше того: к ним подсылались люди, убеждавшие их бежать к войску, стоявшему против германцев, или, обняв на форуме в наиболее людный час статую божественного Августа, воззвать о помощи к народу и сенату. И хотя эти советы были ими отвергнуты, им тем не менее вменялось в вину, что они якобы готовились к осуществлению их.

68. Год консульства Юния Силана и Силия Нервы[60] имел дурное начало: повлекли в темницу из-за привязанности к Германику прославленного римского всадника Тития Сабина; единственный из стольких его клиентов, он не перестал оказывать внимание его супруге и детям, посещая их дом и сопровождая их в общественных местах, за что порядочные люди его хвалили и уважали, а бесчестные ненавидели.

На него и решили напасть бывшие преторы Луканий Лациар, Порций Катон, Петилий Руф и Марк Опсий, жаждавшие добиться консульства, доступ к которому был открыт только через Сеяна, чью благосклонность можно было снискать не иначе как злодеянием. Итак, они сговариваются между собой, что Лациар, который был немного знаком с Сабином, коварно завлечет его в западню, что остальные будут присутствовать как свидетели и что затем все вместе выступят против него с обвинением. Лациар сначала заводит с Сабином как бы слу-

чайные разговоры, потом понемногу начинает превозносить его преданность, то, что не в пример прочим, будучи другом процветающего семейства, он не покинул его и тогда, когда оно оказалось в беде; одновременно он говорил с величайшей почтительностью о Германике и выражал сочувствие Агриппине. И после того как Сабин — ибо сердца смертных в несчастье смягчаются, — прослезившись, высказал кое-какие жалобы, он уже смелее принялся осуждать Сеяна, его жестокость, надменность, притязания; не воздержался он даже от упреков Тиберию. Эти беседы, которые их как бы объединили в запретном, придали их отношениям видимость тесной дружбы. И уже Сабин по собственному побуждению стал искать встреч с Лациаром, посещать его дом и делиться с ним, как с ближайшим другом, своими огорчениями.

69. Названные мной совещаются, как поступить, чтобы несколько человек могли подслушать такие беседы. Дело в том, что для этого нужно было присутствовать в таком месте, которое Сабин считал бы уединенным, но стоять за дверьми они не решались из опасения, что он их увидит, услышит шорох или еще какая-нибудь случайность вызовет в нем подозрение. И вот три сенатора прячутся между кровлей и потолком, в укрытии столь же позорном, сколь омерзительной была и подстроенная ими уловка, и каждый из них припадает ухом к отверстиям и щелям в досках. Между тем Лациар, встретив Сабина на улице, увлекает его к себе в дом и ведет во внутренние покои, как бы намереваясь сообщить ему свежие новости, и тут нагромождает перед ним и давнишнее, и недавнее — а было этого вдосталь, — и вызывающее опасения в будущем. Сабин делает то же, и еще пространнее, ибо чем горестнее рассказы, тем труднее, раз они уже прорвались, остановить их поток. После этого немедленно сочиняется обвинение, и в письме, отосланном Цезарю, доносчики сами подробно рассказали о том, как они подстроили этот подлый обман, и о своем позоре. Никогда Рим не бывал так подавлен тревогой и страхом: все затаились даже от близких, избегали встреч и боялись заговаривать как с незнакомыми, так и знакомыми; даже на предметы неодушевленные и немые — на кровлю и стены — взирали они со страхом.

70. А Цезарь в послании, прочитанном в сенате в день январских календ, после обычных пожеланий по случаю ново-

го года, обратился к делу Сабина, утверждая, что тот подкупил нескольких вольноотпущенников с целью учинить на него покушение, и недвусмысленно требуя предать его смерти. Тут же было вынесено соответствующее сенатское постановление, и, когда осужденного влекли на казнь, он кричал, насколько это было возможно, — ибо его голова была прикрыта одеждой, а горло сдавлено, — что так освящается наступающий год, такие жертвы приносятся Сеяну. Куда бы он ни направлял взор, куда бы ни обращал слова, всюду бегут от него, всюду пусто: улицы и площади обезлюдели; впрочем, некоторые возвращались и снова показывались на пути его следования, устрашившись и того, что они выказали испуг. «Какой же день будет свободен от казней, если среди жертвоприношений и обетов богам, когда по существующему обычаю подобает воздерживаться даже от нечестивых слов, заключают в оковы и накидывают петлю? И Тиберий не без намерения действует с такой отталкивающей жестокостью: это сделано обдуманно и умышленно, чтобы никто не воображал, будто вновь вступившим в должность магистратам что-нибудь может помешать отпереть двери темницы точно так же, как они отпирают храмы с их жертвенниками»[61]. Вслед за тем Цезарь в присланном им письме поблагодарил сенаторов за то, что они покарали государственного преступника, и добавил, что над ним нависла смертельная угроза из-за козней врагов, однако никого из них не назвал по имени; тем не менее всем было ясно, что он имеет в виду Нерона и Агриппину.

71. Если бы я не поставил себе за правило вести изложение по годам, меня бы увлек соблазн забежать вперед и здесь же рассказать, каков был конец Лациара, Опсия и других участников этого постыдного дела, не только после того как властью завладел Гай Цезарь, но и при жизни Тиберия, который не желал, чтобы кто другой расправился с пособниками его злодейств, и вместе с тем, пресытившись их услугами, когда обретал возможность использовать в тех же целях новых людей, обычно истреблял прежних, ставших для него бременем; но о возмездии им и прочим виновным в преступлениях этого рода мы сообщим в свое время. В связи с письмом Цезаря Азиний Галл, чьим детям Агриппина приходилась теткою со стороны матери, предложил попросить его поста-

вить сенат в известность, кого именно он опасается, и дозволить их устранить. Но ни одного из своих качеств, представлявшихся ему добродетелями, Тиберий не ценил так высоко, как умения притворяться; и тем более он был раздосадован тем, что его сокровенные мысли раскрыты. Впрочем, Сеян его успокоил, и не из любви к Галлу, но для того, чтобы выждать, пока улягутся колебания принцепса, ибо он знал, что, когда Тиберий, медлительный в размышлениях, наконец распаляется, у него за гневными словами следуют беспощадные действия.

Тогда же скончалась Юлия, внучка Августа, изобличенная в прелюбодеянии, осужденная и сосланная им на остров Тример, находящийся близ берегов Апулии. Там она двадцать лет провела в изгнании, существуя на средства Августы, которая, ниспровергнув тайными происками своих пасынков и падчериц, проявляла показное сострадание к их бедствиям.

72. В том же году зарейнский народ фризы нарушил мир больше вследствие нашей жадности, чем из нежелания оказывать нам повиновение. По причине бедности фризов Друз обложил их умеренной податью, повелев сдавать бычьи шкуры для нужд нашего войска, причем никто не следил за тем, какой они прочности и какого размера, пока Оленний, центурион примипилов, назначенный правителем фризов, не отобрал турьи шкуры в качестве образца для приемщиков подати. Выполнить это требование было бы затруднительно и другим народам, а германцам тем более тяжело, что, хотя в их лесах водится много крупного зверя, домашний скот у них малорослый. И вот вместо шкур они стали сначала рассчитываться с нами быками, потом землями и, наконец, отдавать нам в рабство жен и детей. Отсюда — волнения и жалобы, и так как им не пошли в этом навстречу, у них не осталось другого выхода, кроме войны. Явившихся за получением подати воинов они схватили и распяли на крестах; Оленний, предупредив нападение разъяренных врагов, спасся бегством и укрылся в укреплении, носившем название Флев; в нем стоял довольно сильный отряд римских воинов и союзников, охранявших океанское побережье.

73. Как только это стало известно пропретору Нижней Германии Луцию Апронию, он вызвал из Верхней провинции подразделения легионов и отборные отряды пехоты и

конницы вспомогательных войск и, перевезя на судах вниз по Рейну и то и другое войско, двинулся на взбунтовавшихся фризов, которые, сняв осаду с римского укрепления, ушли защищать свои земли. Тогда Апроний принимается укреплять в затопляемых приливом местах насыпи и мосты, чтобы провести по ним войско с тяжелым обозом, и между тем, отыскав броды, велит конному подразделению каннинефатов и пехотинцам из служивших в наших рядах германцев обойти с тыла врагов; но те, успев изготовиться к бою, опрокидывают конные отряды союзников и присланную к ним на помощь конницу легионов. В дальнейшем туда же были направлены три легковооруженные когорты, затем еще две и спустя некоторое время — вся конница вспомогательных войск: этих сил было бы совершенно достаточно, если бы они одновременно бросились на врага, но, подходя с промежутками, они не добавили стойкости уже приведенным в расстройство частям и сами заразились страхом бегущих. Все, что осталось от вспомогательных войск, Луций Апроний отдает в подчинение легату пятого легиона Цетегу Лабеону, но и тот, попав в трудное положение вследствие разгрома отданных ему под начало частей, посылает гонцов, умоляя поддержать его силою легионов. Раньше других к нему на выручку устремляются воины пятого легиона и после ожесточенной схватки отбрасывают фризов и спасают истомленные ранами когорты и отряды всадников. Римский военачальник не пустился, однако, в погоню за неприятелем и не предал погребению трупы, хотя пало большое число трибунов, префектов и лучших центурионов. Впоследствии узнали от перебежчиков, что близ леса, называемого рощею Бадугенны, в затянувшейся до следующего дня битве было истреблено девятьсот римлян и что воины другого отряда из четырехсот человек, заняв усадьбу некогда служившего в нашем войске Круптарига и опасаясь измены, по взаимному уговору поразили друг друга насмерть.

74. Это прославило фризов среди германцев, тогда как Тиберий скрывал потери, чтобы не оказаться в необходимости назначить главнокомандующего для ведения войны с ними[62]. Да и сенат заботился не о том, как бы империя не покрыла себя позором на одной из своих окраин: душами всех владел страх перед тем, что творилось внутри государ-

ства, и общие помыслы были направлены лишь на изыскание средств спасения при помощи лести. Итак, невзирая на то, что обсуждались совсем другие вопросы, сенаторы определили воздвигнуть жертвенник Милосердию и жертвенник Дружбе[63] и по обе стороны от них установить статуи Тиберия и Сеяна и часто обращались к ним с настоятельными мольбами доставить им возможность лицезреть их особы. Но Тиберий с Сеяном, однако, не появились ни в Риме, ни в его окрестностях; они сочли достаточным покинуть на время Капреи и показаться на ближайшем побережье Кампании. Туда устремились сенаторы, всадники и много простого народа; все особенно трепетали перед Сеяном, доступ к которому был более затруднителен, и поэтому добиться его можно было лишь посредством искательства и готовности служить его замыслам. Разумеется, что при виде столь отвратительного и столь откровенного раболепия он проникся еще бо́льшим высокомерием; ведь в Риме обычная уличная суета большого города скрывает, кто по какому делу торопится; здесь же, расположившись в поле или на берегу, будь то день или ночь, они были вынуждены одинаково выносить как благосклонность, так и наглую спесь привратников, пока и это наконец не было запрещено. Те, кого Сеян не удостоил ни беседы, ни взгляда, возвратились в Рим, трепеща за будущее; иные радовались, но тщетно, ибо злосчастная дружба с Сеяном привела их вскоре к роковому концу.

75. Между тем Тиберий, выдав на Капреях замуж за Гнея Домиция свою внучку Агриппину, дочь Германика, повелел отпраздновать свадьбу в Риме. Он избрал Домиция, помимо древности его рода, также и потому, что тот состоял с Цезарями в кровном родстве, ибо мог похвалиться, что Октавия — его бабка, а через нее и Август — двоюродный дед.

Книга пятая
(Отрывок)

1. В консульство Рубеллия и Фуфия (фамильное имя того и другого было Гемин)[1] в глубокой старости скончалась Юлия Августа, происходившая от знатнейших римских родов: по крови она принадлежала к Клавдиям, через усыновле-

ния — к Ливиям и Юлиям[2]. Первым браком, от которого у нее были дети, она была замужем за Тиберием Нероном, во время Перузинской войны[3] примкнувшим к восставшим и возвратившимся в Рим после заключения мира между Секстом Помпеем и триумвирами[4]. В дальнейшем, пленившись ее красотою, Цезарь отнял ее у мужа, неизвестно, против ли ее воли, и действовал при этом с такой поспешностью, что, не выждав срока ее родов, ввел ее к себе в дом беременною. Детей у нее больше не было, но через брак Агриппины[5] с Германиком она породнилась с семьей Августа и имела общих с ним правнуков[6]. Святость домашнего очага она блюла со старинной неукоснительностью, была приветливее, чем было принято для женщин в древности; была страстно любящей матерью, снисходительной супругой и хорошей помощницей в хитроумных замыслах мужу и в притворстве сыну. Ее похороны не отличались пышностью, ее завещание долго оставалось невыполненным. Похвальное слово ей произнес ее правнук Гай Цезарь, позднее овладевший верховною властью.

2. Между тем Тиберий, ни в чем не нарушив приятности своей жизни и не прибыв в Рим отдать последний долг матери, в письме к сенату сослался на поглощенность делами и урезал как бы из скромности щедро определенные сенаторами в память Августы почести, сохранив лишь немногие и добавив, чтобы ее не обожествляли, ибо так хотела она сама. В том же послании он осудил дружбу с женщинами, косвенно задев этим консула Фуфия. Своим высоким положением тот был обязан поддержке Августы, ибо обладал привлекавшими женские сердца качествами и к тому же, будучи острословом, имел обыкновение задевать Тиберия едкими шутками, а это надолго сохраняется в памяти властвующих.

3. Вслед за тем наступила пора безграничного и беспощадного самовластия. При жизни Августы все же существовало какое-то прибежище для преследуемых, так как Тиберий издавна привык оказывать послушание матери, да и Сеян не осмеливался возвышаться над авторитетом его родительницы; теперь же они понеслись, словно освободившись от узды, и напустились на Агриппину и Нерона в письме к сенату, доставленном, как говорили в народе, уже давно, но задержанном Августою у себя; во всяком случае оно было оглашено в

сенате вскоре после ее смерти. Это письмо было преднамеренно резким; впрочем, Тиберий упрекал внука не в подготовке военного мятежа и не в стремлении захватить власть, а в любовных отношениях с юношами и в грязном разврате. Против невестки он не решился измыслить даже обвинений подобного рода, но укоряя ее за надменность и строптивый дух; это было выслушано сенатом в великом страхе и полном молчании, пока его не нарушили некоторые, не имевшие ни малейшей надежды пробиться честным путем (и общественные бедствия используются иными как случай выдвинуться); они потребовали немедленно подвергнуть этот вопрос обсуждению, и настойчивее всех Котта Мессалин, готовый выступить с предложением самого сурового приговора. Но другие видные сенаторы и особенно магистраты колебались: сколь враждебны ни были нападки Тиберия, свои намерения он оставил неясными.

4. Был в числе сенаторов Юний Рустик, избранный Цезарем для ведения сенатских протоколов и считавшийся поэтому способным проникать в его тайные помыслы. И вот этот Рустик, то ли по внушенному ему свыше душевному побуждению (ибо никогда ранее он не выказывал твердости), то ли из чрезмерного усердия, невпопад, забыв о непосредственно угрожавшей опасности и страшась неопределенного будущего, поддержал колеблющихся, обратившись с увещанием к консулам не начинать разбирательства этого дела: он говорил, что важные последствия могут зависеть от ничтожнейших обстоятельств и что старик, быть может, когда-нибудь стал бы раскаиваться в истреблении семейства Германика. Как раз в это время курию окружил народ, явившийся с изображениями Агриппины и Нерона; выражая наилучшие пожелания Цезарю, в толпе вместе с тем кричали, что письмо подложно и что вопреки воле принцепса собираются погубить его родичей. Итак, в этот день не было принято никаких прискорбных решений. Распространялись также от имени бывших консулов приписанные им заявления против Сеяна, ибо в этих обстоятельствах многие тайно и потому тем более дерзко упражняли свою страсть к остроумию. Это еще больше озлобило Сеяна и подало ему повод для обвинений: сенат пренебрег огорчением принцепса, народ взбунтовался; уже слушают и читают призывающие к новым порядкам речи и

сенатские постановления, заготовленные в расчете на них, чего же недостает, чтобы мятежники взялись за оружие и избрали вождями и полководцами тех, за чьими изображениями они следуют как за знаменами?

5. А Цезарь, повторив обращенные к внуку и невестке упреки и выразив в особом указе порицание простому народу, сетовал в сенате, что из-за предательства одного сенатора[7] императорское величие подверглось публичному оскорблению, и потребовал предоставить решение этого дела на его усмотрение. После этого сенат без дальнейших прений вынес постановление, которое хотя и не предусматривало немедленных крайних мероприятий (ибо это было воспрещено), но свидетельствовало, что сенат готов к возмездию и что единственное препятствие к этому — воля принцепса...[8]

Книга шестая

V. 6. ...По этому делу[1] было произнесено сорок четыре речи, некоторые — из страха, большинство — по привычке...[2] «Я подумал, что это навлечет на меня позор, а на Сеяна ненависть. Счастье от него отвернулось, и тот, кто избрал его себе в сотоварищи и зятья[3], прощает себе это, а прочие, униженно заискивавшие пред ним, теперь подлейшим образом поносят его. Трудно решить, чтó более жалкая доля — подвергаться обвинениям за дружбу или обвинять друга. Я не стану испытывать жестокость или милосердие кого бы то ни было, но, сам себе господин и с сознанием своей правоты, предвосхищу опасность. Прошу вас сохранить обо мне память без скорби, а скорее радуясь за меня и включив в число тех, кто достойною смертию избавил себя от общественных бедствий».

7. После этого часть дня он провел, удерживая при себе тех, кто обнаруживал желание остаться и побеседовать с ним, и отпуская других, и при все еще большом стечении посетителей, видевших перед собою его бестрепетное лицо и считавших, что смертный час для него еще не настал, бросился грудью на меч, который скрывал под одеждою. И Цезарь не стал преследовать умершего поношениями и упреками, тогда как на Блеза возвел множество позорных обвинений.

8. Затем сенату было доложено о делах Публия Вителлия и Помпония Секунда. Первого доносчики обвинили в том, что, ведая казначейством, он предложил ключи от него и деньги военной казны для подготовки государственного переворота; второму бывший претор Консидий вменял в вину дружбу с Элием Галлом, укрывшимся после казни Сеяна в садах Помпония, как в наиболее надежном убежище. Попавшие в беду подсудимые оказались безо всякой поддержки, кроме преданности их братьев, не побоявшихся за них поручиться. В дальнейшем Вителлий, одинаково истомленный как надеждою, так и страхом, ибо разбирательство его дела многократно откладывалось, попросил дать ему под предлогом литературных занятий нож для выскабливания написанного и, слегка надрезав им себе вены, ушел из жизни в душевной тоске. А Помпоний, отличавшийся большой изысканностью в образе жизни и блестящими дарованиями, спокойно претерпев удары судьбы, пережил Тиберия.

9. После этого было сочтено нужным расправиться и с остальными детьми Сеяна, хотя народный гнев успел уже поостыть и большинство было удовлетворено предыдущими казнями. Итак, их доставляют в темницу, причем мальчик догадывался, какая судьба его ожидает, а девочка была еще до того несмышленой, что спрашивала, за какой проступок и куда ее тащат, говорила, что она больше не будет так делать, пусть лучше ее постегают розгами. Писатели того времени передают, что так как удавить девственницу было делом неслыханным, то палач сперва надругался над нею, а потом уже накинул на нее петлю; после того как они были задушены, их детские трупы выбросили на Гемонии.

10. Тогда же Азию и Ахайю всполошил широко пронесшийся, хотя и быстро заглохший слух о том, что на Кикладских островах и затем на материке видели сына Германика Друза. В действительности это был молодой человек того же возраста, якобы опознанный несколькими вольноотпущенниками Цезаря. Сопровождая его, чтобы поддержать этот обман, они громким именем увлекали за собою не знавших его с тем большею легкостью, что греки по своему душевному складу падки до всего нового и поражающего воображение; рассказывали — и сами же начинали этому верить, — что, ускользнув от стражи, он направляется к отцовскому

войску с намерением захватить Египет или Сирию. И вот к нему уже стала стекаться со всех сторон молодежь, уже городские общины начали оказывать ему почести, а он, воодушевленный этим успехом, увлекся несбыточными надеждами, когда весть об этом дошла до Поппея Сабина, который тогда был занят устроением дел в Македонии и одновременно правил Ахайей. Тот, чтобы упредить события, лежала ли в их основе ложь или истина, быстро переплывает Торонский и Термейский заливы, оставляет позади себя в Эгейском море остров Эвбею, на аттическом берегу Пирей, далее Коринфское побережье и Истм и, следуя уже другим морем[4], прибывает в римскую колонию Никополь, где наконец узнает, что, когда мнимого Друза принялись более искусно выспрашивать, кто он такой, тот ответил, что он сын Марка Силана, и, потеряв по этой причине многих приверженцев, взошел на корабль, будто бы направляясь в Италию. Сабин сообщил об этом Тиберию, но мы так и не смогли выяснить ни подлинного происхождения юноши, ни чем это дело окончилось.

11. В конце года давно нараставшие разногласия между обоими консулами прорвались наружу. Ибо Трион, с легкостью затевавший ссоры и опытный судебный оратор, уязвил Регула, намекнув, что он вяло преследует приспешников Сеяна; Регул, неизменно скромный и сдержанный, пока его не задели, не только отразил нападки коллеги, но и сам потребовал начать о нем следствие как о соучастнике заговора. Несмотря на вмешательство многих сенаторов, умолявших положить конец этой распре, могущей оказаться губительной для обоих, они оставались враждебными и угрожающими друг другу вплоть до истечения срока магистратуры.

VI. 1. После вступления в должность консулов Гнея Домиция и Камилла Скрибониана[5] Цезарь, переправившись через пролив, отделяющий Капреи от Суррента, поплыл вдоль Кампании, оставляя неясным, направляется ли он в Рим или не имеет такого намерения и только делает вид, что собирается его посетить. Неоднократно высаживаясь в окрестностях Рима и побывав даже в садах на Тибре[6], он снова вернулся к скалам и уединенному острову на море, стыдясь своих злодеяний и любострастия, которым он проникся с такой необузданностью, что, подобно восточному деспоту, осквернял грязным развратом свободнорожденных юношей. И воз-

буждали в нем похоть не только телесная красота, но в одних — целомудрие юности, в других — знатность рода. Тогда впервые вошли в обиход такие неизвестные прежде слова, как селларии и спинтрии — одно, связанное с названием гнусного места, где совершались эти распутства, другое — с чудовищным его видом[7]. Рабы, которым было поручено разыскивать и доставлять к Тиберию юношей, податливым раздавали подарки, строптивых стращали угрозами, а если кого не отпускали близкие или родители, тех они похищали силою и делали с ними все, что им вздумается, словно то были их пленники.

2. Между тем в Риме в начале года, как будто преступления Ливии были только что вскрыты и за них она не понесла давно наказания, предлагаются жестокие приговоры, направленные против ее статуй и самой ее памяти, а также передача оставшегося после Сеяна имущества из казначейства, куда оно поступило, в императорскую казну, как если бы это имело какое-нибудь значение. На всем этом с большим упорством, почти в тех же или слегка измененных словах, настаивали Сципионы, Силаны и Кассии[8], как вдруг, чтобы оказаться со своею безвестностью в одном ряду с носителями столь великих имен, выступает с насмешившей всех речью Тогоний Галл, умолявший принцепса назначить сенаторов, из которых двадцать человек, отобранных жребием и вооруженных мечами, охраняли бы его жизнь всякий раз при посещении им заседаний сената. Очевидно, он поверил посланию, в котором Тиберий вызывал в помощь себе одного из консулов, дабы тот обеспечил ему безопасность от Капрей до Рима! Однако Тиберий, имевший обыкновение примешивать к существенно важному едкие шутки, поблагодарил сенаторов за благожелательство и заботу о нем; но кого можно обойти выбором, кого выбрать? И навсегда ли одних и тех же или время от времени производя замену другими? И тех ли, кто уже отправлял почетные должности, или только из молодых? Частных лиц или магистратов? Наконец, какой вид будут иметь сенаторы, на пороге курии препоясывающие себя мечами? И стоит ли дорожить жизнью, если ее нужно оберегать оружием? В таких сдержанных выражениях он отверг просьбу Тогония, ограничившись только советом забыть о его предложении.

3. Но на Юния Галлиона, предложившего даровать отслужившим срок преторианцам право занимать место в первых четырнадцати рядах амфитеатра[9], он напустился с ожесточением, спрашивая его, словно тот находился пред ним, какое ему дело до воинов, которым полагается получать приказания и награды только от императора, и больше ни от кого. Выходит, что он придумал нечто такое, чего не предусмотрел божественный Август; или, скорее, он, как приспешник Сеяна, добивается возникновения раздоров и мятежа, посредством которых рассчитывает толкнуть грубых людей, прикрываясь мнимым стремлением воздать им почет, к нарушению воинской дисциплины и установленного порядка? Вот какую плату получил Галлион за обдуманное намерение подольститься. Немедленно он был изгнан из сената, а затем и из Италии; но так как о нем говорили, что, избрав Лесбос, прославленный и прекрасный остров, он легко будет переносить изгнание, его возвращают в Рим и содержат под стражей в домах высших должностных лиц. В том же письме Цезарь, к великому удовольствию сенаторов, обрушил свой гнев на бывшего претора Секстия Пакониана, наглого негодяя, постоянно выведывавшего чужие тайны и избранного Сеяном в помощники для завлечения Гая Цезаря в приготовленную для него западню. После того как это было раскрыто, прорвалась наружу давно созревавшая общая ненависть к Пакониану, и он не избежал бы смертного приговора, если бы не заявил, что намерен представить донос.

4. Когда же Пакониан напал на Лукания Лациара, одинаково ненавистные обвинитель и подсудимый представляли собою приятное для всех зрелище. Лациар, как я сообщал выше, — главное действующее лицо в подстроенном некогда Титию Сабину предательстве, — на этот раз оказался первым, на кого обрушилась кара. Среди разбирательства этих дел Гатерий Агриппа напустился на консулов предыдущего года, почему они, осыпавшие друг друга взаимными обвинениями, теперь упорно хранят молчание; очевидно, страх и сознание за собою вины скрепляют между ними союз; но сенаторам никак не годится замалчивать то, о чем им довелось слышать. Регул на это ответил, что время отмщения не ушло и что он даст объяснения в присутствии принцепса; Трион сказал, что было соперничество между коллегами, и если они

в пылу ссоры прибегали к угрозам, то об этом лучше забыть. Но так как Агриппа продолжал настаивать, бывший консул Санквиний Максим стал убеждать сенат не умножать забот императора, изыскивая для него новые огорчения; в его руках достаточно силы, чтобы принять необходимые меры. Так ему удалось добиться для Регула спасения, для Триона — отсрочки гибели. А Гатерий стал еще ненавистнее, так как, расслабленный то ли вечной сонливостью, то ли ночным распутством и вследствие своей вялости не боявшийся принцепса, несмотря на всю его жестокость, он среди кутежа и разврата занимался измышлением способов губить выдающихся людей.

5. Затем неизменно выступавшему с наиболее свирепыми предложениями и поэтому всеми давно ненавистному Котте Мессалину при первом удобном случае предъявляется обвинение в том, что он распространял порочащие Гая Цезаря слухи о его, пятнающем мужчину, разврате, что, присутствуя среди жрецов на пиршестве в день рождения Августы, он назвал его поминальным обедом и что, посетовав на могущество Мания Лепида и Луция Аррунция, с которыми у него вышла размолвка в связи с какими-то денежными расчетами, он добавил: «Их, может быть, поддержит сенат, а меня защитит мой Тиберушка». Изобличенный в этом первейшими людьми государства и не оставляемый ими в покое, он обратился с жалобою на них к императору. И вскоре сенату было доставлено письмо Цезаря, в котором он вступился за Котту: вспомнив о начале своей дружбы с ним и указав на его многочисленные заслуги, он просил не истолковывать в худшую сторону его слов и не превращать в преступление бесхитростную застольную болтовню.

6. Примечательным показалось начало этого письма Цезаря, ибо в нем были следующие слова: «Что вам писать, почтеннейшие отцы сенаторы, или как писать, или о чем в настоящее время совсем не писать? Если я это знаю, пусть боги и богини нашлют на меня еще более тягостные страдания, нежели те, которые я всякий день ощущаю и которые влекут меня к гибели». Так обернулись для него казнью его собственные злодейства и мерзости! И недаром мудрейший из мудрых[10] имел обыкновение говорить, что если бы удалось заглянуть в душу тиранов, то нам предстало бы зрелище ран и

язв, ибо как бичи разрывают тела, так жестокость, любострастие и злобные помыслы — душу. И действительно, ни единовластие, ни уединение не оградили Тиберия от душевных терзаний и мук, в которых он сам признался.

7. Тогда же сенату было сделано указание, что он волен распорядиться судьбою сенатора Цецилиана, настойчивее других добивавшегося осуждения Котты, и было решено определить ему такое же наказание, какое понесли обвинители Луция Аррунция Арузей и Санквиний[11]; никогда ничего более почетного не выпадало на долю Котты, принадлежавшего, правда, к знатному роду, но из-за распутного образа жизни впавшего в бедность и обесславившего себя гнусными поступками, ибо данное ему удовлетворение ничем не отличалось от предоставленного Аррунцию, который был образцом добродетели.

После этого перед сенатом предстали Квинт Сервей и Минуций Терм; Сервей — бывший претор и в прошлом приближенный Германика, Минуций — из всаднического сословия, весьма скромно использовавший свои дружеские связи с Сеяном; и то и другое вызывало сочувствие к ним со стороны сенаторов. Но Тиберий, напротив, назвав их главнейшими участниками заговора Сеяна, принудил Гая Цестия-отца огласить в сенате, что он ему о них написал, и Цестий взял на себя их обвинение. Наиболее пагубным изо всех бедствий, какие принесли с собой те времена, было то, что даже виднейшие из сенаторов не гнушались заниматься сочинением подлых доносов, одни — явно, многие — тайно; и когда доходило до этого, не делалось никакого различия между посторонними и близкими, между друзьями и людьми незнакомыми, между тем, что случилось недавно, и тем, что стерлось в памяти за давностью лет; все, что говорилось на форуме, в узком кругу на пиршестве, тотчас же подхватывалось и вменялось в вину, так как всякий спешил предвосхитить другого и обречь его на расправу, часть, чтобы спасти себя, большинство — как бы захваченные поветрием. Но Минуций и Сервей, уже будучи осуждены, превратились в доносчиков, запутав в свое дело Юлия Африкана из галльского племени сантонов и Сея Квадрата, происхождения которого я не выяснил. Мне не безызвестно, что большинство писателей обошло молчанием бесчисленные случаи несправедливых гоне-

ний и многие казни и потому, что они были подавлены их обилием, и потому, что опасались наскучить читателям, повествуя о том, что им представлялось чрезмерно мрачным; но мы обнаружили много такого, о чем они не упоминают, но что, по нашему мнению, заслуживает того, чтобы о нем рассказать.

8. Так, в те дни, когда остальные лживо отрекались от дружбы с Сеяном, римский всадник Марк Теренций, представший перед судом по такому же обвинению, осмелился заявить, что не отпирается от него. Он обратился к сенату со следующей речью: «Вероятно, для меня менее выгодно согласиться с предъявленным мне обвинением, чем постараться опровергнуть его. Но как бы дело ни обернулось, я все же признаюсь, что был другом Сеяна, домогался им стать и радовался, когда достиг этого. Сначала я видел, что он и его отец стоят во главе преторианских когорт, а позже — еще и то, что, неся обязанности военачальника, он одновременно управляет городом Римом. Его родственники и свойственники были осыпаемы почестями; всякий, кто был другом Сеяна, тем самым удостаивался расположения принцепса; напротив, те, к кому он питал неприязнь, обрекались на вечный страх и жалкое прозябание. Я не стану никого называть в подтверждение своих слов; попав в беду, я буду защищать всех, кто, подобно мне, непричастен к его последнему замыслу. Ведь мы почитали не Сеяна из Вульсиний, но того, кто породнился с Клавдиями и Юлиями, с которыми он был связан свойством[12], твоего, Цезарь, зятя, твоего товарища по консульству, исполнявшего в государстве общие с тобою обязанности. Не нам обсуждать, кого ты вознес над другими и по каким причинам ты это сделал: боги вручили тебе верховную власть, а наша слава — лишь в повиновении твоей воле. Мы знаем только то, что у нас на виду: кого ты одарил богатством и почестями, кто властен оказывать покровительство или вредить; и нет никого, кто решился бы отрицать, что все это было в руках у Сеяна. Пытаться проникнуть в сокровенные мысли принцепса, доискиваться, чтó он втайне в себе вынашивает, и непозволительно, и опасно; да и достигнуть этого невозможно. Вспомните, почтеннейшие сенаторы, чтó представлял собою Сеян не в последний день его жизни, а в течение шестнадцати лет. Ведь мы благоговели

даже пред Сатрием и Помпонием; свести знакомство с вольноотпущенниками Сеяна, с его рабами-привратниками почиталось великим счастьем! Что же, моя защита распространяется на всех без разбора? Никоим образом: пусть она имеет силу лишь в должных пределах. Козни против государства и умысел умертвить императора подлежат каре; но да будет нашим оправданием то, что дружбу с Сеяном и услуги ему мы прекратили, Цезарь, одновременно с тобой».

9. Мужество этой речи и сознание, что нашелся наконец человек, чтобы высказать то, что было у всех на уме, возымели такую силу, что его обвинителей, которым при этом припомнили их прежние низости, покарали изгнанием или смертью.

Затем последовало письмо Тиберия, полное нападок на бывшего претора Секста Вистилия, которого, как любимца своего брата Друза, он некогда приблизил к себе. Причина же гнева на Вистилия была та, что он либо действительно сочинил что-то в поношение непотребств Гая Цезаря, либо это был навет на него, встретивший веру. Удаленный вследствие этого из окружения Цезаря, он старческою рукой вскрыл себе вены и, наложив повязки, письменно обратился к нему с мольбою возвратить благоволение, но, получив непреклонный ответ, снял повязки и истек кровью. Вслед за тем были разом обвинены в оскорблении величия Анний Поллион, Аппий Силан, Мамерк Скавр и Кальвизий Сабин, а к Поллиону-отцу присоединили и Поллиона-сына — Винициана; все они принадлежали к знатным родам и ранее занимали важнейшие должности в государстве. И сенаторы были бы окончательно повергнуты в трепет (много ли среди них было таких, кто не состоял в родстве или дружбе со столь выдающимися мужами?), если бы трибун городской стражи Цельс, в этом случае один из доносчиков, не выручил из беды Аппия и Кальвизия. Разбирательство дела Поллиона с Виницианом и Скавра Цезарь отложил, чтобы заняться им вместе с сенатом, но высказал при этом несколько замечаний о Скавре, не предвещавших тому ничего хорошего.

10. Даже женщины не были ограждены от опасности этого рода. Поскольку они не могли быть обвинены в намерении захватить власть, их карали за слезы, и мать Фуфия Гемина, престарелая Виция, была умерщвлена только за то, что опла-

кивала казненного сына[13]. Так обстояли дела в сенате; не иначе поступал и принцепс, по чьему повелению были преданы смерти Вескуларий Флакк и Юлий Марин, давние его приближенные, некогда последовавшие за ним на Родос и неотлучно находившиеся с ним также на Капреях; при посредстве Вескулария строились козни против Либона, а при участии Марина Сеян расправился с Курцием Аттиком[14]. Эти наставники в вероломстве к общей радости от вероломства и погибли.

Тогда же умер естественной смертью, что для столь значительного лица было в то время редкостью, понтифик Луций Пизон, ни разу по собственному почину не внесший ни одного раболепного предложения и неизменно, когда возникала необходимость, призывавший к благоразумной умеренности. Я упоминал, что его отец был в свое время цензором, сам он дожил почти до восьмидесяти лет; за заслуги во Фракии ему были пожалованы триумфальные отличия. Но больше всего он прославил себя на посту префекта города Рима; получив эту должность, незадолго пред тем ставшую постоянной и вследствие непривычки народа к повиновению весьма трудную, он выполнял свои обязанности с удивительным чувством меры.

11. В прошлом цари и позднее магистраты, отлучаясь из Рима, избирали, дабы в городе не было безналичия, своих временных заместителей, которым надлежало вершить правосудие и действовать в зависимости от обстоятельств; сообщают, что Ромул оставил своим заместителем Дентра Ромулия, позже Тулл Гостилий — Нуму Марция и Тарквиний Гордый — Спурия Лукреция. В дальнейшем такие же поручения исходили от консулов. Подобие этого обыкновения сохраняется и поныне, когда ради Латинских празднеств всякий раз назначается особый префект, к которому в эти дни переходят консульские обязанности. Да и Август в пору гражданских войн поставил во главе Рима и всей Италии Цильния Мецената из всаднического сословия; затем, уже став главой государства, он вследствие обилия населения и медлительности судопроизводства повелел выделить кого-нибудь из числа бывших консулов для обуздания рабов и тех беспокойных граждан, чья дерзость не могла быть укрощена иначе как силой. Первым эту должность занял и спустя несколько дней

оставил как неспособный справиться с нею Мессала Корвин; далее, несмотря на преклонный возраст, ее превосходно отправлял Тавр Статилий и после него в течение двадцати лет Пизон, также заслуживший всеобщее одобрение и по этой причине удостоенный сенатом похорон на государственный счет.

12. Затем народный трибун Квинтилиан доложил сенаторам о Сивиллиной книге, приобщения которой к прочим книгам той же прорицательницы соответствующим сенатским постановлением настойчиво добивался квиндецимвир Каниний Галл. Сенат дал на это согласие без предварительных прений, и Цезарь прислал письмо, в котором слегка попенял трибуну, по молодости лет не осведомленному в старинных обычаях. Галла, однако, он сурово упрекал в том, что, состарившись на изучении священных обрядов, он обратился с этим делом к неполному составу сената, не выяснив притом происхождения книги, не дождавшись, пока коллегия[15] выскажет о ней свое мнение, не распорядившись, как того требовал обычай, чтобы прорицания были предварительно прочитаны и оценены магистрами[16]. Одновременно Цезарь напомнил, что, так как под этим прославленным именем распростанялось немало всякого вздора, Август воспретил частным лицам хранить у себя книги этого рода, установив срок, в течение которого их полагалось сдавать городскому претору.

Такой же указ издали и наши предки после сожжения Капитолия в Союзническую войну[17], ибо тогда было разыскано много прорицаний Сивиллы — одна ли она была или их было несколько — на Самосе, в Илионе, Эритрах, Африке, а также на Сицилии и в италийских колониях[18], и жрецам было дано поручение определить, насколько это доступно разумению человеческому, какие из них действительно подлинные. Таким образом, и эта книга в конце концов была отдана на рассмотрение квиндецимвиров.

13. При тех же консулах дороговизна съестных припасов едва не повела к мятежу: несколько дней подряд народ шумел в театре, выдвигая всевозможные требования с непозволительной по отношению к императору дерзостью. Встревоженный этим, он вменил в вину магистратам и сенаторам, что они не усмирили толпы имевшимися в их распоряжении средствами, и в конце письма указал, из каких провинций

подвозит он продовольствие и насколько больше, чем подвозил его Август. Итак, в целях обуздания простого народа был составлен отличавшийся старинной суровостью сенатский указ, и не менее строгие распоряжения отдали консулы. Молчание самого Тиберия объясняли не его снисходительностью, на что он рассчитывал, а надменностью.

14. В конце года погибли обвиненные в причастности к заговору Сеяна римские всадники Геминий, Цельс и Помпей; из них дружески связан был с ним только Геминий, да и то не в существенно важном, и сближала их лишь приверженность того и другого к расточительству и изнеженному образу жизни. И трибун Юлий Цельс, закованный в кандалы со свободно свисавшей цепью, обмотав ее вокруг шеи и растягивая в разные стороны, сам себя удавил. А к Рубрию Фабату была приставлена стража, так как его заподозрили в том, что, тяготясь сложившимися в Римском государстве порядками, он пытался бежать к парфянам, рассчитывая найти у них дружелюбный прием. В самом деле, обнаруженный у Сицилийского пролива и доставленный в Рим центурионом, он не мог привести никаких правдоподобных причин в объяснение своего пребывания в столь удаленном от его дома месте; тем не менее он остался в живых скорее потому, что о нем забыли, чем вследствие снисходительности.

15. В консульство Сервия Гальбы и Луция Суллы[19] Цезарь после долгого раздумья, кого бы дать в мужья своим уже достигшим брачного возраста внучкам, остановил выбор на Луции Кассии и Марке Виниции. Виниций происходил из провинциального рода; он родился в городе Калах; его отец и дед достигли консульского достоинства[20], но все остальные в семье принадлежали к всадническому сословию; сам он был мягкого нрава и обладал даром изящной речи. Кассий происходил из римского плебейского рода, впрочем древнего и заслуженного; воспитанный отцом[21] в строгости, он располагал к себе скорее своей обходительностью, чем душевною твердостью. Итак, выдав замуж дочерей Германика Друзиллу и Юлию — первую за Кассия, вторую за Виниция, — Тиберий сообщил об этом сенату, сдержанно похвалив молодых людей. Затем, довольно смутно изложив причины своего пребывания за пределами Рима, он перешел к делам более важным и к тому, что, заботясь о благоденствии государства, он

навлек на себя недовольство, и закончил письмо просьбою допускать вместе с ним в курию всякий раз, когда он пожелает ее посетить, префекта Макрона[22] и еще нескольких трибунов и центурионов[23]. И хотя соответствующий сенатский указ полностью учел его пожелания и в нем не упоминались ни звание, ни число сопровождающих императора, Тиберий не только не вошел ни в один римский дом, не говоря уже о народном собрании, но всякий раз объезжал родной город кружными путями.

16. Между тем посыпались доносы на тех, кто отдавал деньги в рост, нарушая закон диктатора Цезаря, определявший условия, на которых в пределах Италии дозволялось давать взаймы деньги и владеть земельною собственностью, и уже давно не применявшийся, ибо ради частной выгоды забывают об общественном благе. И действительно, ростовщичество в Риме — застарелое зло, весьма часто бывшее причиной восстаний и смут, и поэтому меры к его обузданию принимались также и в старину и при менее испорченных нравах. Сначала Двенадцатью таблицами[24] было установлено, что никто не вправе взимать более одной унции росту[25], тогда как ранее все зависело от произвола богатых; в дальнейшем по предложению народных трибунов эту ставку снизили до половины унции[26]; наконец, отдавать деньги в рост было полностью воспрещено[27]. В народных собраниях было принято множество постановлений, направленных против обходящих этот закон, но, в нарушение неоднократно подтвержденных указов, они все же никогда не переводились, так как заимодавцы прибегали к хитроумным уловкам. Претор Гракх, на долю которого теперь выпало разбирательство этого дела, подавленный обилием обвиняемых, доложил об этом сенату, и перепуганные сенаторы (ибо никто не был свободен от этой вины) обратились к принцепсу, моля его о прощении; и снизойдя к ним, он предоставил год и шесть месяцев на то, чтобы каждый привел свои денежные дела в соответствие с велениями закона.

17. Это повело к нехватке наличных денег и потому, что все долги были истребованы одновременно, вследствие большого числа осужденных, так как после продажи их конфискованного имущества звонкая монета скопилась в государственном казначействе и в казне императора. К тому же

сенат обязал каждого заимодавца истратить две трети отданных им взаймы денег на покупку земельной собственности в Италии и каждого должника немедленно внести такую же часть своего долга[28]. Но заимодавцы требовали погасить долги полностью, а должникам не подобало подрывать доверие к своей платежеспособности. Отсюда — сначала беготня и просьбы, затем — препирательства у трибунала претора, и то, что было придумано в качестве целебного средства — продажа и покупка земли, — возымело противоположное действие, так как заимодавцы задержали все деньги для приобретения земельных угодий. Вследствие множества продающих цены на поместья резко упали, и чем больше долгов обременяло владельца земли, тем труднее ему было ее продать, так что многие из-за этого вконец разорились; потеря имущества влекла за собою утрату достойного положения и доброго имени, и так продолжалось до тех пор, пока Цезарь, раздав по меняльным лавкам сто миллионов сестерциев, не разрешил получать из них ссуду всякому, кто мог представить народу в залог поместье в два раза большей ценности, на три года без взимания роста. Так было восстановлено деловое доверие, и понемногу снова появились частные заимодавцы. Но покупка земли осуществлялась не в том порядке, в каком это предписывалось сенатским постановлением: непреклонными были требования закона вначале, как это почти всегда бывает в подобных случаях, но под конец никто не заботился об их соблюдении.

18. Затем, после привлечения к суду Консидия Прокула по обвинению в оскорблении величия, вернулись страхи; его, безмятежно праздновавшего свой день рождения, схватили, доставили в курию, осудили и немедленно предали смерти, а его сестра Санция была лишена воды и огня по обвинению, предъявленному Квинтом Помпонием. Человек беспокойного нрава, он объяснял этот и другие свои поступки такого рода желанием добиться благосклонности принцепса, чтобы вызволить из опасности своего брата Помпония Секунда. Выносится также решение об изгнании Помпеи Макрины, мужа которой Арголика и тестя Лакона, знатных ахейцев, Цезарь погубил ранее. Ее отец, выдающийся римский всадник, и брат, бывший претор, в ожидании неизбежного осуждения сами наложили на себя руки. Они были виноваты

лишь в том, что некогда Гней Великий считал их прадеда Феофана из Митилен одним из своих ближайших друзей и что умершему Феофану греческое подобострастие воздало божеские почести.

19. После них поступает донос на богатейшего испанца Секста Мария, обвиненного в кровосмесительной связи с дочерью и сброшенного с Тарпейской скалы. И чтобы ни в ком не вызывало сомнения, что его погубило богатство, Тиберий присвоил себе принадлежавшие ему серебряные и медные рудники, хотя они подлежали передаче в собственность государства. Возбужденный этими казнями, он велит умертвить всех, кто содержался в темнице по обвинению в сообщничестве с Сеяном. Произошло страшное избиение, и на Гемониях лежало несметное множество убитых обоего пола, всякого возраста, знатных и из простого народа, брошенных поодиночке или сваленных в груды. Ни близким, ни друзьям не дозволялось возле них останавливаться, оплакивать их, сколько-нибудь подолгу смотреть на них: сторожившие их со всех сторон воины, внимательно наблюдая за всеми, так или иначе проявлявшими свою скорбь, неотступно следовали за разложившимися телами, пока их волочили к Тибру. Они уплывали вниз по течению, или их прибивало к берегу, и никто к ним не притрагивался и не предавал их сожжению. Так сознание общности жребия человеческого подавлялось силою страха, и чем сильнее свирепствовала жестокость, тем больше преград встречало сострадание.

20. Тогда же Гай Цезарь, отправившийся с дедом на Капреи, взял в жены дочь Марка Силана Клавдию; скрывая под личиною скромности огромные притязания, он настолько владел собою, что ни осуждение матери, ни гибель братьев[29] не исторгли у него ни одного возгласа; как начинал день Тиберий, тот же вид, почти те же речи были и у него. Отсюда ставшее впоследствии широко известным крылатое слово оратора Пассиена: никогда не бывало ни лучшего раба, ни худшего господина.

Не умолчу и о предсказании Тиберия относительно Сервия Гальбы, в ту пору консула; вызвав его к себе и испытав в разносторонней беседе, он под конец обратился к нему по-гречески с такими словами: «И ты, Гальба, отведаешь когда-нибудь власти», — намекая на то, что владычество его будет

поздним и недолгим, и обнаружив тем самым знакомство с наукой халдеев: для ее постижения он располагал на Родосе и досугом, и наставником Трасиллом, чьи познания он испытал следующим образом.

21. Всякий раз, когда Тиберий, стремясь узнать свое будущее, встречался ради этого с прорицателями, он пользовался верхними покоями дома и услугами единственного посвященного в эти дела вольноотпущенника. Невежественный и наделенный огромной телесной силой, тот окольными и крутыми тропками (ибо дом стоял на скалистом обрыве) приводил прорицателя, искусство которого хотел испытать Тиберий, и на обратном пути, если его познания были сочтены Тиберием вздорными, а сам он обманщиком, сбрасывал его в море, чтобы не оставалось свидетеля тайных занятий его господина. Итак, тем же путем по скалам был приведен и Трасилл; после того как Тиберий задал ему те же вопросы и ответы Трасилла его взволновали, ибо тот искусно открыл ему, что он завладеет властью, а также все его будущее, Тиберий спросил его, может ли он прозреть свою собственную судьбу, что́ ему принесет данный год, данный день. Взглянув на расположение звезд и измерив расстояния между ними, тот сначала колеблется, потом пугается и чем больше всматривается в небо, тем сильнее и сильнее дрожит от растерянности и страха и наконец восклицает, что ему угрожает почти неотвратимая гибель. Тогда Тиберий, обняв его, поздравляет с тем, что он увидел надвигавшуюся на него опасность и все же останется невредимым, и, сочтя все сказанное им за оракул, удерживает его при себе как одного из своих ближайших друзей.

22. Когда я слышу о таких и подобных вещах, меня охватывает раздумье, определяются ли дела человеческие роком и непреклонной необходимостью или случайностью. Ведь среди величайших мыслителей древности и их учеников и последователей можно обнаружить приверженцев противоположных взглядов, и многие твердо держатся мнения, что богам нет ни малейшего дела ни до нашего возникновения, ни до нашего конца, ни вообще до смертных[30]; вот почему так часто жизнь хороших людей безрадостна, а счастье выпадает в удел дурным. Другие[31], напротив, считают, что жизненные обстоятельства предуказаны роком, но не вследствие движе-

ния звезд, а в силу оснований и взаимосвязи естественных причин; при этом, однако, они полагают, что мы свободны в выборе образа жизни, который, будучи единожды избран, влечет за собою определенную последовательность событий. И отнюдь не то — зло и благо, что признается таковыми толпой; многие, одолеваемые, как мы себе представляем, невзгодами, счастливы, тогда как иные, хотя и живут в богатстве и изобилии, влачат жалкое существование, ибо первые стойко переносят свою тяжелую участь, а вторые неразумно пользуются своею удачливой судьбой. Но большинство смертных считает, что будущее предопределено с их рождения и если что происходит не так, как предсказано, то в этом повинно невежество предсказателей: оно подрывает веру в науку, неопровержимые свидетельства истинности которой доставили нам и древность, и наше время. И действительно, сын того же Трасилла предрек и Нерону[32], что он завладеет властью, но об этом я сообщу в своем месте, чтобы не отойти еще дальше от начатого повествования.

23. При тех же консулах разносится весть о кончине Азиния Галла; что он умер от голода, не подлежит сомнению, но по доброй ли воле или по принуждению — считалось неустановленным. И когда к Цезарю обратились с вопросом, разрешит ли он его похороны, тот, не устыдившись, дал на них разрешение, посетовав при этом на обстоятельства, отнявшие у него подсудимого, прежде чем тот был изобличен в его присутствии; как будто за три года не нашлось у него времени, чтобы учинить суд над стариком, бывшим консулом и отцом стольких консулов![33] Затем умерщвляется Друз, который поддерживал себя жалкою пищей, поедая набивку своего тюфяка, и угас лишь на девятый день. Некоторые передают, что Макрону якобы было поручено в случае, если бы Сеян взялся за оружие, освободить юношу из-под стражи (он содержался в Палатинском дворце) и поставить его во главе народа[34]. Позднее, так как ходили упорные слухи, что Цезарь собирается примириться с невесткой и внуком, он предпочел жестокость раскаянью.

24. Больше того, он всячески поносил умершего, обвиняя его в грязных пороках, в том, что он намеревался погубить своих близких, что ненавидел отечество, и приказал прочесть ежедневные записи всех его поступков и слов; это показалось

особенно ужасным: было бы трудно поверить, что в течение стольких лет к Друзу были приставлены соглядатаи, ловившие его взгляды, стоны, даже невнятное бормотанье, и что его дед мог все это выслушивать, читать, предать гласности, если бы в донесениях центуриона Аттия и вольноотпущенника Дидима не назывались по именам рабы, какой из них ударил пытавшегося выйти из своего помещения Друза, какой поверг его в страх. Центурион приводил, как некое свидетельство своей доблести, и жестокие речи, с которыми он сам к нему обращался, и слова умирающего, вначале как бы в исступлении расточавшего угрозы Тиберию, а затем, после утраты всякой надежды на сохранение жизни, призывавшего на его голову обдуманные и холодные проклятия, чтобы, после того как он умертвил невестку, племянника, внуков[35] и заполнил свой дворец трупами, он сам понес наказание, сняв позор с родового имени предков и послужив очистительной жертвою для потомков. Сенаторы зашумели, делая вид, что охвачены негодованием, тогда как в действительности были потрясены страхом и изумлением, что некогда столь осторожный и так тщательно скрывавший свои преступления принцепс дошел до такой откровенности, что, как бы раздвинув стены, показал внука под плетью центуриона, осыпаемого пинками рабов и тщетно молящего хоть о какой-нибудь пище для поддержания жизни.

25. Еще не заглохла скорбь, порожденная расправою с Друзом, как стало известно, что умерла Агриппина[36]. Жизнь ее после казни Сеяна продлила, думаю, поддерживавшая ее надежда, но в жестокой ее судьбе не произошло никаких изменений к лучшему, и она сама себя уморила голодом, если только добровольность ее кончины не была вымыслом и ее насильственно не лишили пищи. В самом деле, распаленный злобой Тиберий возвел на нее гнусное обвинение в распутстве, в том, что она сожительствовала с Азинием Галлом и после его смерти впала в отвращение к жизни. Но Агриппина, никогда не мирившаяся со скромным уделом, жадно рвавшаяся к власти и поглощенная мужскими заботами, была свободна от женских слабостей. Цезарь добавил, что она умерла в тот же день, в который за два года пред тем Сеяна постигло возмездие, и что это заслуживает особого внимания; он также поставил себе в заслугу, что ее не удавили

петлей и не бросили на Гемонии. За это сенат воздал ему благодарность, и было вынесено постановление ежегодно в пятнадцатый день перед ноябрьскими календами, ибо именно в этот день и Сеяна и Агриппину постигла смерть, посвящать дар Юпитеру.

26. Немного позднее решил умертвить себя Кокцей Нерва, неизменный приближенный и спутник принцепса, хотя его положение нисколько не пошатнулось и он не страдал никаким телесным недугом. Когда это стало известно Тиберию, он посетил его, стал доискиваться причин такого решения, уговаривать; наконец, признался, что тяжелым бременем ляжет на его совесть и добрую славу, если его ближайший и лучший друг, у которого не было никаких видимых оснований торопить смерть, безвременно расстанется с жизнью. Уклонившись от объяснений, Нерва до конца упорно воздерживался от пищи. Знавшие его мысли передавали, что чем ближе он приглядывался к бедствиям Римского государства, тем сильнее негодование и тревога толкали его к решению обрести для себя, пока он невредим и его не тронули, достойный конец.

Гибель Агриппины, сколь это ни невероятно, повлекла за собою и гибель Планцины. Будучи женой Гнея Пизона и открыто радуясь смерти Германика, она при падении мужа избегла возмездия, оберегаемая заступничеством Августы и в неменьшей мере — враждой Агриппины. Но когда и той, что ее ненавидела, и той, которая ей покровительствовала, не стало, одержало верх правосудие, и, привлеченная к суду по хорошо известному обвинению[37], она собственноручно предала себя скорее запоздалой, чем незаслуженной казни.

27. Удрученному столькими печалями городу добавила еще одно огорчение дочь Друза Юлия, в прошлом жена Нерона, унизившая себя до брака с Рубеллием Бландом, деда которого, римского всадника родом из Тибура, многие хорошо помнили. Скончавшийся в конце года Элий Ламия был удостоен цензорских похорон; освобожденный наконец от призрачного управления Сирией, он занимал должность префекта города Рима; происходил он из хорошего рода и, несмотря на возраст, был бодр и деятелен; придавало ему достоинство и то, что он не был отпущен в свою провинцию. Затем, по смерти пропретора Сирии Помпония Флакка, в се-

нате оглашается письмо Цезаря, в котором он сетовал, что наиболее выдающиеся и способные начальствовать войском уклоняются от несения этих обязанностей и что это вынуждает его обратиться к сенаторам с просьбой повлиять на нескольких бывших консулов и добиться от них согласия взять на себя попечение о провинциях. Он забыл, однако, о том, что сам он десятый год задерживает в Риме Аррунция и не отпускает его в Испанию[38]. В том же году умер и Маний Лепид, об умеренности и рассудительности которого я достаточно сказал в предыдущих книгах; нет надобности подробнее останавливаться и на его знатности, ибо род Эмилиев всегда изобиловал достойными гражданами, а если кто из той же семьи отличался дурными нравами, то и такие не были лишены внешнего блеска.

28. В консульство Павла Фабия и Луция Вителлия[39] после длительного круговорота веков птица феникс[40] возвратилась в Египет и доставила ученым мужам из уроженцев этой страны и греков обильную пищу для рассуждений о столь поразительном чуде. Мне хочется изложить и то, в чем их суждения совпадают, и еще больше такого, в чем они между собой несогласны, но с чем стоит познакомиться. Что это существо посвящено солнцу и отличается от других птиц головою и яркостью оперения, на этом сходятся все, кто описывал его внешний вид; о возрасте же его говорят различно. Большинство определяет его в пятьсот лет, но есть и такие, которые утверждают, что этот феникс живет уже тысячу четыреста шестьдесят один год, так как ранее фениксы прилетали в город, носящий название Гелиополь, в первый раз — при владычестве Сесосиса, во второй — Амасиса и в последний — Птолемея, который царствовал третьим из македонян, причем их всегда сопровождало множество прочих птиц, дивившихся их невиданному облику. Древность темна; но Тиберия от Птолемея отделяет менее двухсот пятидесяти лет[41]. Поэтому некоторые считают, что последний феникс — не настоящий, что он не из арабской земли и на него не распространяется то, что говорит о фениксе предание древности. По истечении положенных ему лет, почувствовав приближение смерти, он у себя на родине строит гнездо и изливает в него детородную силу, от которой возникает птенец; и первая забота того, когда он достигнет зрелости, — это погребение

останков отца, и он не берется за это опрометчиво, но сначала, подняв мирру[42] равного веса, испытывает себя в долгом полете, и когда станет способен справиться с таким грузом и с таким дальним путем, переносит тело отца на жертвенник солнца и предает его там сожжению. Все это недостоверно и приукрашено вымыслом, но не подлежит сомнению, что время от времени эту птицу видят в Египте.

29. А в Риме, где непрерывно выносились смертные приговоры, вскрыл себе вены и истек кровью Помпоний Лабеон, о котором я сообщал, что он был правителем Мёзии; то же сделала и его жена Паксея. Готовность к смерти такого рода порождали страх перед палачом и то, что хоронить осужденных было запрещено и их имущество подлежало конфискации, тогда как тела умертвивших себя дозволялось предавать погребению и их завещания сохраняли законную силу — такова была награда за торопливость. Цезарь в направленном сенату письме припомнил принятый у наших предков обычай: порывая с кем-нибудь дружбу, они отказывали ему от дома и после этого прекращали с ним всякие отношения. Так же поступил и он с Лабеоном, но тот, обвиняемый в дурном управлении провинцией и в других преступлениях, постарался выставить себя ни в чем не повинной жертвой его неприязни; а его жена напрасно страшилась, ибо, хотя бы она и была виновной, ей ничто не грозило. После этого выдвигается обвинение против Мамерка Скавра, отличавшегося выдающейся знатностью и блестящим ораторским дарованием, но запятнавшего себя постыдным образом жизни. Его погубила не дружба с Сеяном, а столь же губительная ненависть Макрона, который строил такие же козни, но более скрытно, и доложил Цезарю содержание сочиненной Скавром трагедии[43], приведя из нее стихи, которые могли быть отнесены к Тиберию. Впрочем, обвинители Скавра Сервилий и Корнелий говорили только о его прелюбодеянии с Ливией[44] и об участии в магических таинствах. Скавр, как подобало потомку древних Эмилиев, предупредил осуждение, побуждаемый к этому женой Секстией, которая была и вдохновительницей, и соучастницей его самоубийства.

30. Впрочем, если представлялась возможность, подвергались наказанию и обвинители; так, Сервилий и Корнелий, ославившие себя тем, что погубили Скавра, были лишены

огня и воды и сосланы на острова, ибо, пригрозив доносом Варию Лигуру, получили от него взятку, которою он от них откупился. И бывший эдил Абудий Рузон, донесший, чтобы погубить Лентула Гетулика, под началом которого он ранее командовал легионом, что тот предназначал сына Сеяна себе в зятья, также был осужден и изгнан из Рима. Гетулик в то время стоял во главе размещенных в Верхней Германии легионов, снискав у них редкостную любовь своей благожелательностью и справедливостью; пользовался он расположением и ближайшего римского войска благодаря своему тестю Луцию Апронию. Отсюда упорно державшаяся молва, что он осмелился отправить Тиберию письмо, в котором напомнил ему, что породниться с Сеяном намеревался не по своему побуждению, а по совету Тиберия; он обманулся в нем, как это случилось с самим Тиберием, и несправедливо, чтобы одна и та же ошибка одному сошла безнаказанно, а для других обернулась гибелью. Он соблюдает безупречную верность и будет ее соблюдать, пока против него не строятся козни; если на его место будет прислан другой, он воспримет это как вынесение смертного приговора. Поэтому им лучше заключить своего рода союз, с тем чтобы принцепсу сохранить власть над всем остальным государством, а ему удержать за собою свою провинцию. Этому слуху, сколь ни был он удивителен, верили, потому что из всех близких Сеяну людей только один Гетулик остался цел и даже был в большой милости у Тиберия, помнившего о своем престарелом возрасте, о том, что его ненавидят и что сохранением власти он обязан не своей силе, а общественному мнению.

31. В консульство Гая Цестия и Марка Сервилия[45] в Рим прибыли знатные парфяне без ведома царя Артабана. Из страха перед Германиком он некоторое время сохранял верность римлянам и справедливо правил своими, но потом стал заноситься пред нами и свирепствовать над соотечественниками, так как преисполнился самоуверенности, проведя удачные войны с окружающими народами. Он пренебрежительно относился к Тиберию, считая, что тот по старости неспособен к войне, и жадно добивался Армении, властителем которой после смерти Артаксия поставил старшего из своих сыновей, Арсака; более того, он нанес римлянам оскорбление, послав своих людей с требованием выдать сокро-

вищницу, оставленную Вононом в Сирии и Киликии, говорил о старых границах персов и македонян, бахвалясь и угрожая вторгнуться во владения Кира и Александра[46]. На отправлении тайного посольства к Тиберию настояли один из наиболее родовитых и богатых парфян Синнак и близкий к нему евнух Абд. Быть евнухом у варваров совсем не позорно, больше того, это ведет к могуществу. Итак, вместе с примкнувшими к ним другими сановниками, не имея у себя ни одного Арсакида, чтобы провозгласить его своим верховным владыкой, ибо большинство из них было истреблено Артабаном, а остальные не достигли еще возмужалости, они просили отпустить к ним из Рима Фраата, сына царя Фраата: необходимы лишь имя и поддержка — пусть потомок Арсака с согласия Цезаря покажется на берегу Евфрата.

32. Это пришлось Тиберию по душе: он снаряжает Фраата и предоставляет ему необходимую помощь для овладения отцовским престолом, верный принятому им правилу — вести дела с чужеземными государствами посредством уловок и хитростей, избегая оружия. Между тем Артабан, проведав о подстроенных ему кознях, то медлит, охваченный страхом, то возгорается жаждою мщения. У варваров медлительность считается рабской чертой, поспешность в действиях — царственной; однако в нем победило благоразумие, и он решил, что для него будет полезнее, прикрывшись личиною дружелюбия, пригласить Абда на пир и обезвредить его медленно действующим ядом, а Синнака связать притворной благосклонностью, подарками и вместе с тем деловыми поручениями. Тем временем Фраат, сменив в Сирии образ жизни, усвоенный за долгие годы пребывания в Риме, на непривычный парфянский уклад, заболел и умер. Но Тиберий не отказался от начатого: теперь он избирает в соперники Артабану Тиридата, происходившего от той же крови, что и Фраат, а для отвоевания Армении — ибера Митридата, которого мирит с царствовавшим в своей стране братом его Фарасманом; во главе всего, что затевалось им на Востоке, он ставит Луция Вителлия. Мне известно, что об этом человеке в Риме ходила дурная слава и что он оставил по себе позорную память, но провинциями он управлял с поистине древнею доблестью. Возвратившись оттуда, он из страха пред Гаем Цезарем и из-за близости к Клавдию впал в гнуснейшее раболепие и слыл

у потомков образцом омерзительной льстивости, так что ранние заслуги его поблекли перед позднейшими подлостями и деяния его молодости запятнала постыдная старость.

33. Первым из этих царьков начал действовать Митридат, побудив Фарасмана помочь его замыслам при помощи вероломства и военной силы, и подысканные люди, соблазнив золотом приближенных Арсака, склонили их к измене. Одновременно иберы вторгаются с большим войском в Армению и овладевают городом Артаксатой. Узнав об этом, Артабан поручает своему сыну Ороду отомстить неприятелю; он дает ему войско парфян и рассылает людей для набора отрядов наемников; Фарасман со своей стороны получает поддержку альбанов и поднимает сарматов, скептухи[47] которых, приняв подарки от обеих сторон, по обычаю своего племени отправились на помощь и к той, и к другой. Но иберы — хозяева этой страны — быстро пропустили по каспийской дороге[48] сарматов, двинувшихся против армян, между тем как сарматы, направлявшиеся к парфянам, были легко отрезаны, так как враг запер все проходы, кроме единственного — между морем и оконечностями Альбанских гор, воспользоваться которым, однако, препятствовало летнее время, ибо из-за постоянно дующих в одном направлении ветров вода в эту пору заливает низкие берега, тогда как зимой южный ветер гонит ее назад, и, после того как она уйдет в море, обнажается береговая полоса мелководья.

34. Между тем усиленный отрядами союзников Фарасман вызывает на битву не имевшего вспомогательных войск Орода, и так как тот от нее уклоняется, тревожит его, кидается с конницей на его лагерь, препятствует заготовке корма для лошадей; и не раз он окружал вражеский стан заставами, как бы облагая его осадой, пока парфяне, не привыкшие к такому бесчестью, не обступили своего царевича и не потребовали, чтобы он повел их в сражение. Но они были сильны только конницей, а Фарасман располагал и хорошей пехотой. Ибо иберы и альбаны, обитая в лесистых горах, привыкли к тяжелым условиям существования и поэтому гораздо выносливее парфян; они утверждают, что происходят от фессалийцев, возводя свое происхождение к тому времени, когда Ясон, после того как увез Медею и прижил с нею детей, возвратился в опустевший дворец Эета и к оставшимся без властителя

колхам. Они чтут многое, связанное с его памятью, а также святилище Фрикса; и никто из них не принесет в жертву барана, ибо они считают, что Фрикса к ним доставил баран, был ли он живым существом или знаком отличия корабля[49]. Итак, после того как оба войска изготовились к бою, парфянский полководец в речи к воинам напомнил о владычестве на Востоке, о славе Арсакидов, о том, что их враг — безвестный ибер с войском наемников; Фарасман же говорил, что, не зная над собой парфянского ига, чем к большему они будут стремиться, тем бóльшую славу принесет им победа, а если обратятся в бегство, то тем бóльше позора и опасностей навлекут на себя; он указывал при этом на грозный боевой строй своих и на раззолоченные отряды мидян, говоря, что здесь мужи, там добыча.

35. Но сарматов воодушевила не только речь полководца: они сами убеждают друг друга не допустить, чтобы их осыпали стрелами: это необходимо предупредить стремительным натиском и рукопашною схваткой. Отсюда — несхожая картина в войсках обоих противников: парфянин, приученный с одинаковой ловкостью наскакивать и обращаться вспять, рассыпает свои конные части, дабы можно было беспрепятственно поражать врага стрелами, а сарматы, не используя луков, которыми владеют слабее парфян, устремляются на них с длинными копьями и мечами, и враги то сшибаются и откатываются назад, как это обычно в конном бою, то как в рукопашной схватке теснят друг друга напором тел и оружия. И вот уже альбаны и иберы хватают парфян, стаскивают их с коней; заставляют биться в неравных условиях, ибо сверху на них обрушивали удары всадники, а снизу поражали не отстававшие от них пехотинцы. В разгаре боя Фарасман и Ород, которые сражались среди передовых и бросались на помощь дрогнувшим и поэтому были заметны, узнают друг друга; с громким боевым кличем они устремляются с оружием один на другого, и Фарасман, упредив противника, рассек шлем Орода и нанес ему рану. Но, увлеченный вперед конем, он не смог повторить удар, и храбрейшие из воинов успели заслонить раненого; поверив, однако, ложной вести о его гибели, парфяне пришли в замешательство и уступили победу врагу.

36. После этого Артабан со всеми силами своего царства выступил отомстить противнику. Благодаря знанию местно-

сти иберы сражались успешнее парфян, но он не отстал бы от них, если бы не Вителлий, который, стянув легионы и распространив слух, что собирается вторгнуться в Месопотамию[50], устрашил его угрозою войны с римлянами. С оставлением Артабаном Армении пришел конец и его могуществу, так как Вителлий подстрекал парфян покинуть царя, свирепствующего над ними в мирное время и неудачными битвами обрекающего их гибели. И вот Синнак, о враждебности которого к Артабану я упоминал выше, склоняет к измене ему своего отца Абдагеза и некоторых других, затаивших и ранее такой умысел и теперь решившихся осуществить его вследствие непрерывных поражений царя: понемногу к ним примыкают все, кто повиновался царю больше из страха, чем из привязанности, и, после того как нашлись зачинщики, набрался решимости. И у Артабана никого не осталось, кроме телохранителей-чужеземцев, утративших родину, у которых не существует ни понимания добра, ни отвращения к злу, которые кормятся тем, чтó им платят, и за плату готовы на преступление. Взяв их с собою, он поспешно бежал в отдаленные и сопредельные Скифии места в надежде на то, что там ему будет оказана помощь, так как был связан родством с гирканами и карманиями, а также и на то, что парфяне, воздающие справедливость только своим отсутствующим властителям и мятежные, когда те рядом с ними, еще обратятся к раскаянию.

37. Между тем Вителлий, так как Артабан бежал из страны и народ проявлял готовность заменить его новым царем, убеждает Тиридата использовать представившиеся возможности и ведет к берегу Евфрата отборную силу легионов и союзников. Когда они совершали жертвоприношение, причем один по римскому обычаю предал закланию свинью, овцу и быка[51], а другой, чтобы умилостивить реку, обрядил ей в жертву коня[52], прибрежные жители сообщают, что в Евфрате сама по себе, ибо никаких ливней не было, значительно прибывает вода и, вздуваясь белою пеной, образует похожие на диадемы круги — предзнаменование, возвещающее им благополучную переправу. Иные истолковали его с большею проницательностью, утверждая, что их предприятие начнется удачно, но плоды его будут недолговечны, ибо предвещания земли и неба более надежны, а реки по своей природе непостоянны и, открыв знамения, немедля уносят

их прочь. Как бы то ни было, навели мост на судах и войско переправилось через реку. Первым явился в лагерь со многими тысячами всадников Орноспад, некогда изгнанный с родины, потом отнюдь не бесславный сподвижник Тиберия при завершении им военных действий в Далмации[53], награжденный за это римским гражданством, и наконец снова достигший царского благоволения и почета и поставленный правителем тех земель, которые орошаются знаменитыми реками Евфратом и Тигром и носят название Месопотамии. Немного спустя войско Тиридата усиливает также Синнак, и столп партии Абдагез добавляет к этому царские сокровищницу и облачение. Вителлий, сочтя, что он достаточно показал внушительность римской мощи, обращается с увещеванием к Тиридату постоянно помнить о своем деде Фраате и воспитавшем его Цезаре, о доблестных деяниях того и другого, и к парфянским сановникам — неуклонно соблюдать покорность царю, почтение к нам, собственную честь и верность. Затем он с легионами возвратился в Сирию.

38. События двух летних кампаний я объединил вместе[54], дабы отдохнуть душою от повествования о внутренних бедствиях: ведь даже спустя три года после казни Сеяна Тиберия не смягчало то, что обычно побуждает других к снисходительности, — время, мольбы, пресыщенность мщением, — и он по-прежнему карал недоказанное и преданное забвению не иначе, чем наитягчайшие и только что совершенные преступления. Отказавшись из страха пред ним от борьбы с преследующими его обвинителями, Фульциний Трион в оставленном им предсмертном письме высказал все, что думал о многочисленных злодействах Макрона и виднейших вольноотпущенников Тиберия, бросив и ему самому жестокий упрек, что на старости лет он ослабел разумом и удалился из Рима будто в изгнание. Это письмо, которое наследники пытались сохранить в тайне, Тиберий повелел прочитать в сенате, красуясь терпимостью к чужому свободомыслию и презрением к бесчестящим его выпадам, а может быть, и потому, что, долгое время оставаясь в неведении о преступных делах Сеяна, он стал впоследствии предпочитать, чтобы предавалось огласке все сказанное о нем, каково бы оно ни было, желая, хотя бы из поношений себе, знакомиться с правдою, так тщательно скрываемой от него лестью. В те же дни сена-

тор Граний Марциан, обвиненный Гаем Гракхом в оскорблении величия, сам пресек свою жизнь, а бывший претор Тарий Грациан на основании того же закона был осужден на смертную казнь.

39. Подобным же образом погибли Требеллен Руф и Секстий Пакониан; Требеллен умертвил себя собственною рукой, а Пакониан был удавлен в темнице за стихи против Тиберия, которые он там сочинил. Об этих случаях Тиберий узнал не из-за моря и не от проделавших долгий путь вестников, а находясь у самого Рима и отвечая на письма консулов в тот же день или по миновании ночи и как бы видя воочию льющуюся в домах римлян кровь и руки палачей. В конце года скончался Поппей Сабин, не отличавшийся знатностью происхождения, но благодаря близости к принцепсам добившийся консульства и триумфальных отличий и на протяжении двадцати четырех лет стоявший во главе важнейших провинций не за выдающиеся дарования, а потому, что, справляясь с возложенными на него поручениями, не возвышался над ними.

40. Далее следует консульство Квинта Плавтия и Секста Папиния[55]. В этом году из-за привычки к творящимся вокруг ужасам не привлекло особого внимания дело Луция Арузея и предание смерти...[56] но оставили гнетущее впечатление обстоятельства гибели римского всадника Вибулена Агриппы. После выступления обвинителей он тут же в курии достал спрятанный под тогою яд и, проглотив его, тотчас упал, но подоспевшие ликторы подхватили умирающего и потащили его в темницу, где ему, уже бездыханному, затянули на шее петлю. Не избежал казни, совершаемой над римскими гражданами, и носивший царский титул Тигран[57], некогда властитель Армении, а теперь подсудимый. Бывший консул Гай Гальба и оба Блеза добровольно наложили на себя руки: Гальба получил суровое письмо Цезаря, отстранявшее его от получения провинции, а Блезов Тиберий лишил жреческих должностей, которые обещал, пока их семья была благополучна, назначение на которые отложил после того, как ее постиг удар, и которые теперь отдал другим, как незанятые; и Гальба, и Блезы восприняли это как предписание умереть и сами над собой исполнили приговор. И Эмилия Лепида (о ее замужестве с молодым Друзом я сообщил выше)[58], преследо-

вавшая мужа всевозможными обвинениями и при жизни своего отца Лепида, несмотря на постыдное поведение, оставшаяся безнаказанной, привлекается к ответу доносчиками за прелюбодейную связь с рабом, и так как ее бесчестье не вызывало сомнений, она сама, не пытаясь оправдаться, положила предел своей жизни.

41. Тогда же подвластный каппадокийцу Архелаю народ клитов[59], так как его заставляли по принятому в наших провинциях обыкновению подвергнуться цензу и вносить подати, ушел в Таврские горы и там благодаря условиям местности успешно оборонялся от невоинственных царских войск, пока легат Марк Требеллий, присланный наместником Сирии Вителлием с четырьмя тысячами легионеров и отборными вспомогательными войсками, не окружил осадными сооружениями два холма, на которых засели варвары (меньший из них называется Кадра, другой — Давара), и не вынудил силой оружия к сдаче дерзнувших на попытку прорваться и, отрезав воду, — всех остальных. А Тиридат между тем с согласия парфян принял под свою руку Никефорий и Анфемусию и несколько других городов, которые, будучи основаны македонянами, носят греческие названия, а также Гал и Артемиту, исконные города парфян, и это было радостно встречено всеми, кто проклинал жестокость выросшего в Скифии Артабана и надеялся на мягкий нрав получившего римское воспитание Тиридата.

42. Наибольшим преклонением окружила его Селевкия, могущественный, обнесенный стенами город, не впавший в варварство и удерживающий устройство, которое ему дал его основатель Селевк. В нем избирают триста богатых или известных своей мудростью граждан, которые образуют сенат; есть гражданская власть и у простого народа. И когда между ними устанавливается согласие, они ни во что не ставят парфян, но, если у них возникают раздоры, тогда и те и другие стремятся заполучить их помощь против соперников, и те, поддержав одну из сторон, забирают власть над обеими. Это и случилось незадолго пред тем, в царствование Артабана, который, руководствуясь собственной выгодой, отдал простой народ в подчинение знатным, ибо управление, осуществляемое народом, создает свободу, тогда как господство немногих ближе к царскому произволу. Прибывшего к ним

Тиридата они осыпали старинными царскими почестями, а также и теми, которые так щедро придумало новейшее время; вместе с тем они не скупились на поношения Артабану, по матери Арсакиду, а по отцу безвестного происхождения. Управление Селевкией Тиридат предоставил народу. Затем, когда он стал обдумывать, в какой день ему торжественно вступить на престол, прибывают письма от Фраата и Гиерона, правителей наиболее значительных префектур, с просьбой немного повременить. Решив дождаться столь могущественных мужей, он тем временем отправился в Ктесифон, местопребывание парфянских властителей; но так как Фраат и Гиерон со дня на день откладывали поездку, сурена[60] в присутствии многих и под возгласы общего одобрения повязал голову Тиридата царскою диадемой.

43. Если бы он немедленно отправился внутрь страны и к другим членам, колебания медлящих были бы этим рассеяны и все оказали бы ему полное повиновение. Но пребывая в крепости, в которой Артабан укрыл свою казну и наложниц, он предоставил парфянам время и тем самым возможность разорвать заключенное с ним соглашение. Ибо Фраат с Гиероном, а также другие, не присутствовавшие в назначенный день на торжестве возложения диадемы, обратили свои взоры в сторону Артабана, одни, страшась будущего, другие из зависти к Абдагезу, подчинившему тогда своей воле нового царя и весь двор. Артабана разыскали среди гирканов; покрытый грязью, оборванный, он добывал себе пропитание луком и стрелами. Сначала он испугался, что ему подготовляется какая-то западня, но когда его убедили, что дело идет о возвращении ему утраченного господства, он воспрянул духом и спросил, в чем причина столь неожиданных перемен. Тогда Гиерон стал бранить чрезмерную молодость Тиридата, утверждая, что в их стране царствует не Арсакид, а только носящий это имя, изнеженный на чужбине и слабый юнец, а действительная власть в руках Абдагеза и его родичей.

44. Опытный в искусстве царствовать, Артабан сразу почувствовал, что если они лгут, распинаясь в любви, то ненависть их во всяком случае непритворна. Итак, промедлив не дольше, чем было необходимо, чтобы вызвать на помощь скифов, он торопится выступить, дабы не дать врагам применить военные хитрости, а друзьям — раскаяться в приня-

том ими решении; и он не снял своего рубища, чтобы привлечь к себе простой народ состраданием к его участи. Ни обман, ни просьбы — ничего не было им упущено, лишь бы сманить колеблющихся и внушить бодрость готовым примкнуть к нему. Он уже приближался с крупными силами к окрестностям Селевкии, а Тиридат, одновременно потрясенный молвою о нем и тем, что он уже рядом, все еще не решил, что ему предпринять: пойти ли Артабану навстречу или затянуть войну выжиданием. Те, кому были по душе битвы и стремительность в действиях, утверждали, что разрозненные и истомленные длительностью похода недавние предатели и враги Артабана, теперь снова поддерживающие его, еще недостаточно укрепились в желании повиноваться ему. Но Абдагез считал, что нужно возвратиться в Месопотамию, дабы, находясь за рекой и подняв между тем в тылу у врага армян, элимеев и другие народы, получить подкрепления от союзников и объединиться с тем войском, которое пришлет римский военачальник, и лишь после этого попытать счастье. Это мнение возобладало, так как Абдагез пользовался наибольшим влиянием и Тиридат страшился опасностей. Но их отступление походило на бегство: после того как этому положило начало племя арабов, уходить домой или в лагерь Артабана начали и остальные, пока Тиридат с немногими спутниками не достиг Сирии, сняв тем самым со всех бесчестье предательства.

45. Тот же год поразил Рим ужасным пожаром: выгорела часть цирка, примыкающая к Авентинскому холму, и все строения на Авентинском холме. Уплатив владельцам сгоревших усадеб и доходных домов их полную стоимость, Цезарь обратил это несчастье себе во славу. Эти щедроты обошлись в сто миллионов сестерциев и встретили в простом народе тем большее одобрение, что для себя принцепс строил очень умеренно и даже в общественном строительстве ограничился возведением лишь двух зданий: храма Августу и сцены в театре Помпея; да и то, когда их постройка была закончена, он уклонился от их освящения, то ли из презрения к пышным обрядам, то ли по старости. Для определения понесенных каждым домовладельцем убытков были избраны мужья четырех внучек Цезаря — Гней Домиций, Кассий Лонгин, Марк Виниций, Рубеллий Бланд[61], и к ним добавлен по на-

значению консулов Публий Петроний. Кроме того, были определены почести принцепсу, придуманные каждым по своему разумению; какие из них были им отвергнуты, а какие приняты, осталось неизвестным, так как вскоре после этого он скончался: немного позднее вступили в должность уже последние в правление Тиберия консулы Гней Ацерроний и Гай Понтий[62].

К этому времени Макрон достиг вершины своего могущества; он никогда не пренебрегал расположением Гая Цезаря, но теперь искал его с возраставшим день ото дня усердием, а после смерти Клавдии, о браке которой с Гаем Цезарем я сообщил выше, побудил свою жену Эннию прельстить юношу, изобразив страстную влюбленность в него, и связать его обещанием жениться на ней, а тот ни от чего не отказывался, лишь бы добиться владычества, ибо, хотя по своему душевному складу был порывистым и несдержанным, тем не менее, опекаемый дедом, — хорошо постиг науку лицемерия и притворства.

46. Принцепсу это было известно, и поэтому он колебался, кому передать после себя государство. Он подумал прежде всего о внуках, из которых сын Друза был ему ближе и по крови, и по влечению сердца, но еще не достиг возмужалости[63]; а сына Германика, хотя он и был во цвете молодости и полон сил[64], любили в народе, и это вызывало в деде неприязнь к нему. Помышлял он также о Клавдии, так как тот, будучи уже в летах[65], проявлял склонность к углубленным занятиям, но остановить выбор на нем препятствовала его умственная ограниченность. А найти преемника вне своего рода Тиберий не хотел, опасаясь навлечь насмешки и поношения на память Августа, на род Цезарей, — ведь он неизменно заботился не столько о благодарности современников, сколько о славе в потомстве. В конце концов, по-прежнему колеблясь душой и ослабев телом, он предоставил судьбе решение, непосильное ему самому, бросая, однако, порой замечания, из которых можно было понять, что он отчетливо представлял себе будущее: так, он в прозрачном иносказании упрекнул Макрона за то, что тот отворачивается от заходящего солнца и устремляет свой взор на восток, а Гаю Цезарю в случайно возникшей между ними беседе, когда тот стал высмеивать Суллу, предсказал, что он будет обладать всеми по-

роками Суллы и ни одной из его добродетелей. И когда он при этом со слезами обнял меньшого внука, а старший, увидев это, нахмурился, он, обратившись к нему, сказал: «Ты убьешь его[66], а тебя — другой»[67]. Но, невзирая на ухудшение здоровья, Цезарь не оставлял ни одной из своих любострастных утех, делая вид, что они нисколько не изнуряют его, и по давней привычке потешаясь над врачебным искусством и над теми, кто, достигнув тридцати лет, нуждается в указаниях со стороны, чтó ему полезно и чтó вредно.

47. Между тем в Риме уже разбрасывались семена тех казней, которым предстояло свершиться после Тиберия. Лелий Бальб привлек к суду за оскорбление величия Акуцию, в прошлом жену Публия Вителлия; и когда после ее осуждения было предложено наградить обвинителя, народный трибун Юний Отон, использовав свое право, воспрепятствовал этому: из-за этого между ними разгорелась вражда, впоследствии повлекшая за собою гибель Отона. Затем обвиняется в неуважении к императору ославленная своими бесчисленными любовными связями Альбуцилла, вдова Сатрия Секунда, донесшего о заговоре Сеяна; по этому делу привлекаются также как ее сообщники и любовники Гней Домиций, Вибий Марс, Луций Аррунций. О знатности Домиция я ранее упоминал; также и Марс принадлежал к заслуженному древнему роду и, кроме того, приобрел известность своими литературными дарованиями. То, что допросом свидетелей и пыткой рабов руководил Макрон, как было видно из пересланных сенату протоколов дознания, а также то обстоятельство, что не было письма императора относительно подсудимых, давало основание подозревать, что во время его болезни и, быть может, без его ведома основное и главное в этом деле было вымышлено Макроном из-за его хорошо известной ненависти к Аррунцию.

48. Домиций, заявивший, что он готовится к речи в свою защиту, а Марс — что намерен умертвить себя голодом, сохранили жизнь, тогда как Аррунций, когда друзья убеждали его также найти предлог для отсрочки, ответил, что не всем приличествует одно и то же: ему уже много лет[68], и единственное, в чем он себя укоряет, это то, что среди опасностей и издевательств терпел полную треволнений старость, всегда ненавистный кому-нибудь из стоящих у власти: долгое вре-

мя Сеяну, теперь Макрону, — и не потому, что за ним какая-нибудь вина, а потому, что он не выносит подлости. Вполне вероятно, что можно протянуть несколько дней до кончины принцепса, но как ускользнуть от молодости того, кто немедленно займет его место? И если Тиберия, при столь большой опытности в делах, все-таки развратило и изменило единовластие, то ужели Гай Цезарь, едва вышедший из отрочества[69], ни в чем ничего не смыслящий и воспитанный на самых дурных примерах, усвоит что-нибудь лучшее при таком руководителе, как Макрон, потому и выбранный для расправы с Сеяном, что сам он — еще больший злодей, чем тот, и истерзал государство еще бóльшим числом преступлений? Он предвидит еще более жестокое порабощение и торопится уйти как от прошлого, так и от будущего. Произнеся эти пророческие слова, он вскрыл себе вены. Последующее явится подтверждением, что Арруций избрал себе лучшую долю. Альбуциллу, не сумевшую нанести себе смертельный удар и только поранившую себя, по приказу сената переносят в темницу. Из пособников ее блуда бывший претор Карсидий Сацердот приговаривается к ссылке на остров, Понтий Фрегеллан — к исключению из сенаторского сословия, и к тем же наказаниям присуждается Лелий Бальб, причем в отношении Бальба сенаторы это делают с искренней радостью, ибо он был известен злокозненностью своего красноречия, неизменно готовый к нападкам на ни в чем не повинных жертв.

49. В те же дни сын бывшего консула Секст Папиний избрал для себя быструю и ужасную смерть, бросившись вниз с большой высоты. Вину за это возлагали на его мать, которая, уже давно пребывая в разводе, нежностью и обольщениями довела юношу до того, с чем покончить он не нашел другого средства, как смерть. Обвиненная в сенате, она обнимала колени сенаторов и долго говорила о своем столь близком и понятном каждому горе, о том, насколько тягостнее переносить его слабому женскому сердцу, и много другого, скорбного и способного пробудить сострадание, о постигшем ее несчастье, и тем не менее ей было воспрещено проживать в Риме в течение десяти лет, пока ее младший сын не выйдет из легко доступного соблазнам юношеского возраста.

50. Уже Тиберия покидали телесные, покидали жизненные силы, но все еще не покидало притворство; он сохранял

прежнюю черствость духа и холодность в речах и во взоре, но принуждал себя порою к приветливости, пытаясь за нею скрыть уже очевидное для всех угасание. Еще чаще, чем прежде, переезжая с места на место, он поселился наконец у Мизенского мыса, в некогда принадлежащем Луцию Лукуллу поместье. Там и обнаружилось, что он на пороге смерти; и произошло это следующим образом. Был в его окружении весьма искусный в своем деле врач по имени Харикл, который не то чтобы постоянно его лечил, но находился при нем на случай, если ему потребуется врачебный совет. И вот Харикл, измыслив, что по своим делам отлучается из поместья, и в знак почтения коснувшись его руки, нащупал у него пульс. Но он не обманул принцепса, и Тиберий, возможно рассерженный этим и потому тем более постаравшийся не выказать гнева, повелел приготовить пиршество и пробыл на нем дольше обычного, как бы желая оказать внимание уезжавшему другу. Харикл, однако, уверенно заявил Макрону, что жизнь в принцепсе еле теплится и что он не протянет больше двух дней. Это всех переполошило: пошли непрерывные совещания окружающих, и к легатам и войскам помчались гонцы. В семнадцатый день апрельских календ дыхание Цезаря пресеклось, и все решили, что жизнь его покинула. И уже перед большим стечением поздравляющих появился Гай Цезарь, чтобы взять в свои руки бразды правления, как вдруг сообщают, что Тиберий открыл глаза, к нему возвратился голос и он просит принести ему пищи для восстановления оставивших его сил. Это повергает всех в ужас, и собравшиеся разбегаются, снова приняв скорбный вид и стараясь казаться неосведомленными о происшедшем, между тем как только что видевший себя властелином Гай Цезарь, погрузившись в молчание, ожидал для себя самого худшего. Но не утративший самообладания и решительности Макрон приказывает удушить старика, набросив на него ворох одежды, и удалиться за порог его спальни. Таков был конец Тиберия на семьдесят восьмом году жизни.

51. Отцом его был Нерон, и как с отцовской, так и с материнской стороны он принадлежал к Клавдиям, хотя его мать по причине удочерений перешла сначала в род Ливиев, а затем — Юлиев. С раннего детства жребий его был переменчив: он последовал за объявленным вне закона отцом в из-

гнание[70], а когда вошел в семью Августа, как его пасынок — принужден был бороться с многочисленными соперниками при жизни Марцелла и Агриппы и впоследствии — Гая и Луция Цезарей. Большей любовью в народе пользовался и его брат Друз. Но в особенно трудном положении он оказался после заключения брака с Юлией, распутство которой он был вынужден или терпеть, или бежать от него. Позднее, возвратившись с Родоса[71], он двенадцать лет провел возле принцепса в его опустевшем дворце и, наконец, в течение двадцати трех лет единовластно распоряжался судьбами Римского государства. И нравы его в разное время также были несхожи: жизнь его была безупречна, и он заслуженно пользовался доброю славой, покуда не занимал никакой должности или при Августе принимал участие в управлении государством; он стал скрытен и коварен, прикидываясь высокодобродетельным, пока были живы Германик и Друз; он же совмещал в себе хорошее и дурное до смерти матери; он был отвратителен своею жестокостью, но таил ото всех свои низкие страсти, пока благоволил к Сеяну или, быть может, боялся его; и под конец он с одинаковою безудержностью предался преступлениям и гнусным порокам, забыв о стыде и страхе и повинуясь только своим влечениям.

Книга одиннадцатая

1. ...ибо сочтя[1], что Валерий Азиатик, который дважды занимал должность консула[2], был когда-то любовником той[3], а вместе с тем, зарясь на сады, разбитые в свое время Лукуллом и доведенные Азиатиком до поразительного великолепия, она[4] выпускает для обвинения их обоих Суиллия. Наряду с ним воспитатель Британика Сосибий, выполняя ее поручение, якобы из доброжелательства советует Клавдию остерегаться могущественных и богатых людей, так как они неизменно враждебны принцепсам: вдохновитель убийства Гая Цезаря Азиатик не побоялся в собрании римского народа признаться в этом, больше того — притязал на одобрение этого злодеяния; прославленный этим в Риме и даже в провинциях, он собирается отправиться к стоящим против германцев войскам и, будучи уроженцем Виенны, может легко

возмутить, опираясь на многочисленных и влиятельных родичей, также племена своей родины. Клавдий, не утруждая себя дальнейшим расследованием, спешно послал вместе с воинами, как если бы предстояло подавить мятеж силой оружия, префекта преторианцев Криспина, и тот, обнаружив Азиатика в Байях, заковал его и препроводил в Рим.

2. Сенат не был допущен к рассмотрению этого дела; оно слушалось келейно в покоях принцепса, в присутствии Мессалины, и Суиллий обвинял Азиатика в развращении воинов, которые, получая от него, по словам Суиллия, деньги и предаваясь распутству, превратились в толпу разнузданных негодяев, затем в прелюбодейной связи с Поппеей и, наконец, в недостойном мужчины разврате. Тут подсудимый не выдержал и, нарушив молчание, которое до того упорно хранил, сказал: «Спроси своих сыновей, Суиллий, и они признают, что я — мужчина»; после этого он приступил к своей защитительной речи, глубоко взволновавшей Клавдия и исторгнувшей слезы даже у Мессалины. Выходя из покоя, чтобы их смыть, она наказывает Вителлию никоим образом не дать подсудимому ускользнуть. Сама же торопится погубить Поппею, подослав к ней своих приспешников, чтобы те, внушив ей страх пред темницею, побудили ее к добровольной смерти; причем Цезарь до того не был об этом осведомлен, что спустя несколько дней спросил обедавшего у него мужа ее Сципиона, почему он без жены, и тот ответил, что она по воле рока скончалась.

3. Но когда Клавдий спросил Вителлия, не оправдать ли им Азиатика, тот, упомянув об их давней дружбе, о том, как они оба окружали мать принцепса Антонию своими заботами, перечислив даже заслуги Азиатика перед Римской державою и указав на его участие в последнем походе против британцев[3] и еще кое-что другое, что, казалось, должно было бы привлечь к нему милосердие, кончил тем, что предложил предоставить ему самому избрать для себя род смерти, и Клавдий подтвердил дарование ему этой милости. Немногим друзьям, убеждавшим его тихо угаснуть, воздерживаясь от пищи, Азиатик ответил, что отказывается от оказанного ему принцепсом благодеяния; проделав обычные гимнастические упражнения, обмыв тело и весело пообедав, он напоследок сказал, что для него было гораздо почетнее погибнуть от

коварства Тиберия или от вспышки ярости Гая Цезаря, чем из-за того, что его оболгали женщина и мерзостный рот Вителлия, и затем вскрыл себе вены, осмотрев, однако, до этого свой погребальный костер и приказав перенести его на другое место, дабы от его жара не пострадала густая листва деревьев: таково было его самообладание в последние мгновения перед концом.

4. После этого был созван сенат, и Суиллий, продолжив начатое, выдвинул обвинение против двух выдающихся римских всадников, носивших фамильное имя Пéтра. Истинною причиною их умерщвления было то, что они предоставляли свой дом для свиданий Мнестера и Поппеи. Но на суде одному из них вменили в вину приснившийся ему ночью сон — он будто бы видел Клавдия в венке из колосьев, причем они были перевернуты вниз, и на основании этого сновидения предсказывал дороговизну съестных припасов. Некоторые передают, что он видел венок из виноградной лозы с поблекшими на ней листьями и истолковал свой сон как предвещающий принцепсу смерть в конце осени. Но бесспорно одно, каково бы ни было его сновидение: и ему, и его брату оно принесло гибель. Криспину были определены полтора миллиона сестерциев и преторские знаки отличия. Вителлий добавил к этому миллион сестерциев для Сосибия в награду за то, что он наставляет Британика и помогает советами Клавдию. Когда спросили и Сципиона о его мнении[6], он сказал: «Так как о проступках Поппеи я думаю то же, что все, считайте, что и я говорю то же, что все», — искусно найдя слова, одинаково совместимые и с его супружескою любовью, и с его долгом сенатора.

5. С этой поры Суиллий становится постоянным и злобным обвинителем подсудимых, и у него появились многочисленные последователи, соперничавшие с ним в наглости. Присвоив себе все права и обязанности законов и магистратов, принцепс тем самым открыл неограниченные возможности для любых злоупотреблений. Но ничто из доступного подкупу не было столь продажным, как бессовестность судебных ораторов. Так, влиятельный римский всадник Самий, узнав о двурушничестве Суиллия, которому он дал четыреста тысяч сестерциев[7], покончил с собой, бросившись на меч у того в доме. И вот, по почину избранного на следую-

щий срок консулом Гая Силия, о могуществе и конце которого я расскажу в своем месте, сенаторы встают и в один голос требуют восстановления в силе закона Цинция, со стародавних времен воспрещавшего принимать деньги или подарок за произнесение в суде защитительной речи.

6. И так как те, кому это угрожало бесчестием, стали шуметь, Силий, противодействуя Суиллию, принялся еще упорнее настаивать на своем требовании, ссылаясь на пример ораторов древности, считавших наградою за свое красноречие славу в потомстве. Это прекраснейшее и главнейшее из всех благородных искусств оскверняется грязной продажностью; где гонятся за высоким вознаграждением, там не останется безупречной и честность. Притом, если никто не будет получать плату за выступления на судебных процессах, их станет меньше: ныне же вражда, обвинения, ненависть и беззакония встречают со стороны некоторых поддержку и поощрение, ибо подобно тому как поветрия приносят доходы врачам, так и порча нравов — обогащение адвокатам. «Вспомним об Азинии и Мессале, а из более поздних ораторов — об Аррунции и Эзернине: они достигли вершины почестей безупречной жизнью и столь же незапятнанным красноречием». Так как это говорил будущий консул и все остальные его одобрили, уже подготовлялось постановление о применении к торгующим своим красноречием закона о вымогательстве, как вдруг Суиллий, Коссуциан и прочие, понимая, что дело идет не о суде над ними — ведь их вина была очевидна, — а об их осуждении, обступают Цезаря и начинают просить о прощении.

7. И добившись этого, они говорят так: «Кто же настолько самонадеян, чтобы уповать на бессмертную славу? Надо идти навстречу жизненной потребности, чтобы никто из-за отсутствия адвоката не подвергся утеснениям со стороны более сильного. Но отдаваться судебному красноречию, не нанося урона себе самому, невозможно: кто берет на себя чужие дела, тот уделяет меньше заботы своим. Многие добывают средства к существованию военною службой, некоторые — обработкой земли: никто, однако, не станет трудиться, если заранее не предвидит для себя от этого выгоды. Легко было Азинию и Мессале, обогатившимся военной добычею около Антония и Августа, или Эзернинам и Аррунциям,

наследникам богатых семейств, соблюдать бескорыстие. Но есть и другие примеры, и можно указать, за какое вознаграждение обычно выступали с речами Публий Клодий или Гай Курион. Сами они, Суиллий и Коссуциан, — скромные сенаторы в государстве, в котором царит ненарушаемое спокойствие, и они не домогались для себя иных благ, кроме доставляемых миром. Пусть принцепс подумает и о плебеях, чтобы и они могли отличиться на этом поприще: если не вознаграждать тех, кто проявляет усердие, от их усердия ничего не останется». Сочтя эти доводы не столь благородными, как доводы их противников, но тем не менее не лишенными основания, принцепс установил предел для вознаграждения адвокатов в размере десяти тысяч сестерциев, с тем чтобы превысившие его привлекались к суду по закону о вымогательстве.

8. Около этого времени Митридат[8], о котором я сообщил, что он правил Арменией и по приказу Гая Цезаря был брошен в оковы[9], возвратился по повелению Клавдия в свое царство, рассчитывая на содействие Фарасмана. Этот последний, царь иберов и брат Митридата, сообщал ему, что между парфянами идет распря и при ожесточенной борьбе за престол они пренебрегают менее важными делами. Надо сказать, что Готарз наряду со многими другими жестокостями совершил убийство своего брата Артабана, его жены и его сына, и, трепеща перед ним, парфяне призвали Вардана. А тот, склонный к дерзким предприятиям, в два дня преодолевает три тысячи стадиев и прогоняет пораженного неожиданностью и страхом Готарза; не медлит он и с захватом ближайших префектур, и только жители Селевкии не пожелали признать его своим повелителем. Следуя более гневу против людей, изменивших ранее и его отцу, чем требованиям целесообразности при сложившихся обстоятельствах, он ввязался в осаду неприступного города, хорошо защищенного одновременно и рекою, и стенами и располагавшего обильными запасами продовольствия. Между тем Готарз, получив помощь от дагов и гирканов, возобновляет военные действия, и Вардан, вынужденный отступить от Селевкии, переносит свой лагерь на поля Бактрии.

9. И так как силы Востока были расчленены и оставалось неясным, кто подчинит их своей власти, перед Митридатом

открылась возможность занять Армению; римские воины овладевали мощными крепостями, а войско иберов рыскало по полям. И после того как был разбит решившийся на битву префект Демонакт, армяне не выдержали. Некоторое промедление вызвал царь Малой Армении Котис с несколькими присоединившимися к нему сановниками, но затем и он был укрощен письмом Цезаря, после чего уже все армяне отдались под власть Митридата, выказавшего себя, однако, более жестоким, чем подобало бы только что взошедшему на престол царю. Между тем оба парфянских властителя, готовившиеся к решительному сражению, узнав о направленных против них кознях соотечественников, о чем сообщил брату Готарз, внезапно заключают союз; встретившись, нерешительные вначале, они затем протянули друг другу руки и торжественно поклялись перед жертвенником богов отмстить врагам их коварство и прийти к соглашению; и так как Вардан оказался сильнее, он удержал Парфянское царство, а Готарз, дабы устранить возможность соперничества, удалился в Гирканию. По возвращении Вардана в Парфию, на седьмой год после своего отпадения, ему сдается Селевкия, так долго, к стыду для парфян, от них ускользавшая.

10. Затем Вардан посетил важнейшие префектуры; он был полон желания отвоевать Армению и предпринял бы такую попытку, если бы легат Сирии Вибий Марс не грозил ему войною. Между тем, раскаиваясь в уступке царства Вардану и призываемый знатью, для которой подчинение чужой власти особенно тяжело в мирное время, Готарз собирает войско. Противник вышел навстречу к реке Эринду; столкнувшись при переправе через нее с упорным сопротивлением и разгромив врагов, Вардан после ряда удачных сражений покорил народы, обитавшие между названною рекой и рекой Синдом, которая отделяет дагов от ариев. На этом закончились успехи парфян, ибо, несмотря на победы, они не желали вести войну вдалеке от родины. Итак, установив памятники и начертав на них надписи, возвещавшие о его могуществе и о том, что ни один Арсакид до него не облагал эти племена данью, Вардан возвращается в Парфию, овеянный громкою славой и по этой причине еще более необузданный и несносный для своих подданных. Против него был составлен заговор, и во время охоты его убили, увлеченного ею и ни

о чем не подозревавшего. Он был еще совсем молод, но его чтили бы как немногих из старых годами царей, если бы он столько же думал о снискании любви своих соотечественников, сколько о внушении страха врагам. После убийства Вардана[10] Парфию охватывает смута вследствие разногласий, кого призвать властителем этого царства. Многие склонялись к Готарзу, некоторые отдавали предпочтение Мегердату, потомку Фраата, отданному нам когда-то в заложники. В конце концов одержал верх Готарз; но, завладев царскою властью, он жестокостью и произволом вынудил парфян тайно обратиться к римскому принцепсу с просьбой разрешить Мегердату принять отцовский престол.

11. При тех же консулах[11] были устроены секулярные игры[12], в восьмисотый год от основания Рима и спустя шестьдесят четыре года после того, как их впервые дал Август. Не буду останавливаться на соображениях того и другого принцепсов, ибо я достаточно рассказал об этом в тех книгах, в которых описал деяния императора Домициана[13]. Ведь и он также дал секулярные игры[14], и в их устройстве я принимал деятельное участие, облеченный званием жреца-квиндецемвира и тогда, сверх того, претор; говорю об этом не ради похвальбы, а потому, что эта забота издавна возлагалась на коллегию квиндецемвиров. И занимались отправлением религиозных обрядов преимущественно те из них, кто был магистратом. Во время игр, происходивших в цирке в присутствии Клавдия, подростки из знатных семейств, и среди них Британик, сын императора, и Луций Домиций, впоследствии через усыновление унаследовавший императорскую власть и имя Нерона[15], давали на конях троянское представление[16], и то, что народ благосклоннее отнесся к Домицию, было воспринято как предсказание. Ходила также молва, будто в младенчестве его в качестве стражей охраняли драконы, — вымысел, позаимствованный из чужеземных сказок; во всяком случае он сам, отнюдь не склонный себя умалять, говорил, что в его спальном покое была обнаружена всего лишь змея.

12. Но в действительности расположение народа к нему проистекало из еще не заглохшего воспоминания о Германике, чьим последним потомком мужского пола он был, и подкреплялось, кроме того, сочувствием к его матери Агриппине вследствие преследований со стороны Мессалины, ко-

торая была всегда к ней враждебна, а в то время более, чем когда-либо, и если ни сама, ни через доносчиков не предъявляла ей обвинений, то только потому, что была поглощена своей новой и близкой к помешательству влюбленностью. Ибо она воспылала к Гаю Силию, красивейшему из молодых людей Рима, такой необузданной страстью, что расторгла его брачный союз со знатной женщиной Юнией Силаной, чтобы безраздельно завладеть своим любовником. Силий хорошо понимал, насколько преступна и чревата опасностями подобная связь, но отвергнуть Мессалину было бы верною гибелью, а продолжение связи оставляло некоторые надежды, что она останется тайной. Привлекаемый вместе с тем открывшимися пред ним большими возможностями, он находил утешение в том, что не думал о будущем и черпал наслаждение в настоящем. А Мессалина не украдкою, а в сопровождении многих открыто посещала его дом, повсюду следовала за ним по пятам, щедро наделяла его деньгами и почестями, и у ее любовника, словно верховная власть уже перешла в его руки, можно было увидеть рабов принцепса, его вольноотпущенников и утварь из его дома.

13. Между тем Клавдий, оставаясь в полном неведении о своих семейных делах, отправлял цензорские обязанности и осудил в строгих указах распущенность театральной толпы, осыпавшей бранью и поношениями бывшего консула Публия Помпония (ибо он давал для сцены свои стихи) и ряд знатных женщин. Тогда же ради обуздания произвола ростовщиков он издал закон, воспрещавший ссужать деньги сыну при жизни отца с погашением долга после смерти отца. Дал он Риму и воду, проведя ее из ключей на Симбруинских холмах[17]. Он прибавил также новые буквы и ввел их в обращение[18], установив, что и греческий алфавит был создан не сразу.

14. Египтяне первыми обозначили познанное умом при помощи изображений животных (эти древнейшие памятники истории человеческой все еще сохраняются высеченными на камнях), и они утверждают, что именно они изобрели буквы; впоследствии финикияне, поскольку им принадлежало первенство на море, перенесли их в Грецию и присвоили себе славу изобретателей букв, хотя в действительности они их не придумали, а только заимствовали. Отсюда и возникло пре-

дание, будто Кадм, прибыв с финикийским флотом к еще диким в ту пору народам Греции, был создателем искусства письма. Некоторые передают, что Кекроп афинянин или Лин фиванец и во времена Троянской войны Паламед аргивянин изобрели начертания для шестнадцати букв, а затем были изобретены и остальные, и это было сделано главным образом Симонидом. А в Италии этруски научились им от коринфянина Демарата, аборигены — от аркадянина Эвандра; и начертание латинских букв было таким же, как и древнейших греческих. И у нас также их было сначала меньше, а остальные добавлены позднее. Опираясь на этот пример, Клавдий прибавил три буквы, бывшие в ходу в годы его властвования, а затем вышедшие из употребления; их можно увидеть еще и поныне на бронзовых досках...[19], прибитых на площадях и в храмах.

15. Выступил Клавдий в сенате и с докладом об учреждении коллегии гаруспиков, дабы не заглохла по нерадивости древнейшая наука Италии: к ним часто обращались в трудные для государства дни, по их указанию восстанавливались священнодействия и в последующем более тщательно отправлялись; этрусская знать по собственному желанию или побуждаемая римским сенатом хранила преемственность этих знаний; теперь, однако, это делается гораздо небрежнее из-за всеобщего равнодушия к благочестию и распространения чужеземных суеверий. И хотя ныне во всем установилось благополучие, все же должно воздать благодарение богам за их благосклонность и не допустить, чтобы священные обряды, усердно почитавшиеся в тяжелые времена, оказались преданными забвению в счастливые. Исходя из этого и был составлен сенатский указ, предписывавший верховным жрецам рассмотреть, чтó необходимо для сохранения и закрепления искусства гаруспиков.

16. В том же году племя херусков испросило царя из Рима, так как их знать была истреблена во время междоусобных войн и оставался в живых лишь один-единственный потомок царей, находившийся в Риме и носивший имя Италика. Отцом его был брат Арминия Флав, матерью — дочь Актумера, вождя хаттов; сам он обладал красивой наружностью и хорошо умел управляться с конем и оружием как на отеческий лад, так и по-нашему. Итак, Цезарь, снабдив его деньгами и

дав ему охрану, призывает его воодушевиться исполнением наследственного почетного долга: он — первый родившийся в Риме, и не заложник, а римский гражданин, отправляется на чужеземное царствование. Сначала германцы радовались его прибытию, и так как, чуждый их распрям, он одинаково благосклонно относился ко всем и располагал к себе то обходительностью и сдержанностью, что никому не претит, а чаще бражничаньем и разгулом, что по душе варварам, его всячески превозносили и почитали. И уже добрая слава о нем шла среди ближних племен, уже распространялась она и дальше, когда те, кто извлекал для себя выгоду из раздоров, страшась его усиления, удаляются к соседним народам и там распространяют убеждение, что древней свободе германцев приходит конец, ибо римляне начинают самовластно распоряжаться ими; ужели и в самом деле из родившихся на той же германской земле нет никого, чтобы править ими, и отпрыск лазутчика Флава — единственный, кого надлежало вознести выше всех? И незачем упоминать при этом Арминия; даже если бы повелевать ими прибыл его сын, взращенный на чужой почве, то и тогда следовало бы опасаться, что он отравлен воспитанием, подчинением, жизненным укладом и вообще всем иноземным; но если Италик унаследовал к тому же образ мыслей отца, то никто не поднимал оружия против отчизны и отечественных богов с бо́льшим ожесточением, чем его родитель.

17. При помощи таких и подобных речей они собрали большое войско и не меньшее последовало за Италиком. Обращаясь к народу, он постоянно напоминал, что не ворвался силою к не желавшим его, но призван ими, так как превосходит всех знатностью; пусть они испытают его доблесть на деле, и он покажет, достоин ли своего дяди Арминия, своего деда Актумера. Ему нечего стыдиться отца, который, с согласия германцев, обещав верность римлянам, ни разу ее не нарушил. Ложно прикрываются именем свободы люди безродные, враждебные обществу, которые единственную надежду для себя видят в усобицах. В ответ на это толпа шумно выражала ему одобрение; спустя некоторое время между варварами произошла ожесточенная битва, в которой царь одержал победу, но вскоре, упоенный успехом, впал в высокомерие и был изгнан; поддержанный лангобардами, он воз-

вратился на царство, утесняя племя херусков и когда судьба благоприятствовала ему, и когда она от него отворачивалась.

18. Тогда же хавки, свободные от внутренних смут и осмелевшие по причине смерти Санквиния[20], подошли на легких судах к Нижней Германии и до прибытия Корбулона опустошали ее набегами; их предводитель Ганнаск, родом из племени каннинефатов, ранее служивший у нас во вспомогательном войске, а затем перебежавший к германцам, грабил и разорял главным образом галльский берег, хорошо зная, что обитатели его богаты и невоинственны. Но Корбулон, деятельно, а вскоре и со славою для себя, начало которой положили его действия против хавков, приступив к управлению этой провинцией, выслал против них по руслу Рейна триремы, направив остальные суда, смотря по тому, где какие были пригоднее, в его разливы и рукава; истребив вражеские ладьи и прогнав Ганнаска, он взялся, как только с наиболее неотложным было покончено, за легионы, тяготившиеся воинскими трудами и лишениями, но с удовольствием предававшиеся грабежу, и восстановил в них старинную дисциплину, запретив самовольно покидать строй и вступать в битву. Воинам было приказано нести дозоры и караулы, а также все свои дневные и ночные обязанности, находясь при оружии; и рассказывают, что одного из них он покарал смертью за то, что тот копал землю для вала, не будучи препоясан мечом, а другого — так как он был вооружен только кинжалом. Это — чрезмерное наказание, и неизвестно, не вымышлен ли рассказ о нем, но и в таком случае он порожден строгостью полководца; всякому ясно, насколько непреклонным и неумолимым он был, когда дело шло о крупных провинностях, если ему приписывалась такая суровость даже по отношению к мелким проступкам.

19. Эти меры устрашения по-разному воздействовали на римских воинов и на врагов: у нас они укрепили мужество, у варваров убавили спеси. И племя фризов, которое после восстания, начавшегося с поражения Луция Апрония[21], относилось к нам с откровенной враждебностью и было весьма ненадежным, выдав заложников, осело в отведенных ему Корбулоном местах; он же назначил им старейшин и должностных лиц и предписал законы. И чтобы они не нарушали его приказаний, он поставил у них гарнизон, а к Бóльшим хавкам

направил своих людей, дабы те склонили их сдаться на его милость и обманным образом убили Ганнаска. Эти козни против перебежчика и нарушителя клятвы имели успех. В них не было, в сущности, ничего бесчестного. Но его убийство глубоко возмутило хавков, и Корбулон сеял среди них семена мятежа, что большинством одобрялось, но некоторыми было встречено с осуждением. Зачем возбуждать врага? Неудача тяжело отразится на государстве, а если этот выдающийся муж добьется успеха, то станет опасной угрозою для гражданского мира и непосильным бременем для столь вялого принцепса. Итак, Клавдий решительно воспретил затевать в Германии новые военные предприятия, и, более того, повелел отвести войска на нашу сторону Рейна.

20. Письмо Клавдия было вручено Корбулону, когда он уже укреплял лагерь на земле неприятеля. Пораженный неожиданным приказанием и волнуемый противоречивыми чувствами, опасаясь ослушаться императора и одновременно предвидя презрение варваров и насмешки союзников, он промолвил: «О, какими счастливцами были некогда римские полководцы!» — и, не добавив больше ни слова, подал сигнал к отступлению. Однако, чтобы не дать воинам закоснеть в праздности, Корбулон провел канал между Мозой и Рейном длиною в двадцать три тысячи шагов, который избавлял от необходимости подвергаться превратностям плаванья по Океану. И Цезарь даровал ему триумфальные отличия, хотя и не дозволил вести войну.

Немногим позже той же почести был удостоен и Курций Руф, построивший в области маттиаков рудник для разработки сереброносных жил. Добыча в нем была незначительной и вскоре иссякла. Копать водоотводные рвы и производить под землею работы, тяжелые и на ее поверхности, не говоря уже об изнурительности труда, было сопряжено для легионеров также с материальным ущербом. Выведенные этим из терпения, воины тайно составляют от имени нескольких армий, поскольку их товарищам приходилось претерпевать то же самое в различных провинциях, письмо императору, умоляя его заранее жаловать триумфальные отличия всякому, кого он собирается поставить во главе войска.

21. О происхождении Курция Руфа, о котором некоторые передают, что он сын гладиатора, не стану утверждать ложно-

го и стыжусь сказать правду. Достигнув зрелого возраста, он отправился в Африку вместе с квестором, которому досталась эта провинция; и вот, когда он как-то в полуденный час бродил в одиночестве по опустевшим портикам города Адрумета, ему предстало видение в образе женщины большего роста, нежели человеческий, и он услышал следующие слова: «В эту провинцию, Руф, ты вернешься проконсулом». Окрыленный таким предсказанием, он по возвращении в Рим благодаря щедрой поддержке друзей и острому уму получил квестуру, а затем по избрании принцепса — и претуру, хотя его соперниками были знатные лица, причем Тиберий, набрасывая покров на его постыдное происхождение, заявил: «Руф, как мне кажется, родился от себя самого». Дожив до глубокой старости, с высшими отвратительно льстивый, с низшими — надменный, с равными — неуживчивый, он добился консульства, триумфальных отличий и, наконец, провинции Африки, прожив жизнь в соответствии с предсказанною ему судьбою.

22. Между тем в Риме в толпе явившихся приветствовать принцепса был обнаружен имевший при себе меч римский всадник Гней Новий, причем ни тогда, ни позднее не были выяснены причины задуманного им преступления. Истерзанный пытками, он признался в своей злокозненности, но не назвал сообщников, и неизвестно, утаил ли он их или их не было.

При тех же консулах Публий Долабелла внес предложение, чтобы избранные на должность квесторов ежегодно давали на свои средства представление гладиаторов. У наших предков магистратура была наградою за добродетели, и каждому гражданину, полагавшему, что он справится с нею, дозволялось ее домогаться; и даже возраст не мог быть препятствием к получению консульства или диктаторских полномочий, хотя бы и в ранней молодости[22]. Квестура была учреждена еще при власти царей, что доказывает возобновленный Луцием Брутом куриатский закон[23]. Право их выбора оставалось за консулами, пока и на эту почетную должность не стал избирать народ. Первыми избранными им квесторами были Валерий Потит и Эмилий Мамерк, на шестьдесят третьем году после изгнания Тарквиниев; им было вменено в обязанность сопровождать отправляющихся на войну консулов.

Затем в связи в возрастанием числа дел и их усложнением было добавлено еще двое квесторов, которым поручалось вести лишь городские дела; в дальнейшем количество квесторов было удвоено, так как к тому времени уже вся Италия платила нам подати и к этому присоединялись, кроме того, поступления из провинций; еще позже, по закону Суллы, было избрано двадцать квесторов[24] для пополнения состава сената, которому было поручено вершить правосудие. И хотя всадники снова получили в свое ведение суд, квестура предоставлялась без каких-либо иных оснований, кроме достоинства кандидатов или расположения тех, кто их избирал, пока, по предложению Долабеллы, она не стала как бы продаваться с торгов.

23. В консульство Авла Вителлия и Луция Випстана[25], когда было намечено пополнение римского сената и знатные из той Галлии, что зовется Косматою, давние наши союзники, получившие наше гражданство, стали домогаться для себя права быть избранными на высшие должности в государстве, этот вопрос начали горячо обсуждать и было высказано много различных мнений. И в окружении принцепса голоса разделились. Многие утверждали, что Италия не так уж оскудела, чтобы не быть в состоянии дать сенаторов своему главному городу. Некогда единокровные с нами народы[26] довольствовались уроженцами города Рима, и никто не стыдится нашего государства, каким оно было в древности. Больше того, и посейчас вспоминают об образцах доблести и величия, явленных римским характером при былых нравах. Или нам мало, что венеты и инсубры прорвались в курию, и мы жаждем оказаться как бы в плену у толпы чужеземцев? Но какие почести останутся после этого для нашей еще сохранившейся в небольшом числе родовой знати или для какого-нибудь небогатого сенатора из Лация? Все заполнят те богачи, чьи деды и прадеды, будучи вождями враждебных народов, истребляли наши войска мечом, теснили под Алезией божественного Юлия! Это — из недавнего прошлого. А если вспомнить о наших предках, которые пали от тех же рук у подножия Капитолия и крепости в Риме! Пусть, пожалуй, галлы располагают правами граждан; но никоим образом нельзя делать их достоянием сенаторские отличия и воздаваемые высшим должностным лицам почести!

24. Эти и подобные соображения не убедили принцепса; он, слушая их, возражал и, созвав сенат, обратился к нему со следующей речью: «Пример моих предков и древнейшего из них Клавса, родом сабинянина, который, получив римское гражданство, одновременно был причислен к патрициям, убеждает меня при управлении государством руководствоваться сходными соображениями и заимствовать все лучшее, где бы я его ни нашел. Я хорошо помню, что Юлии происходят из Альбы, Корункании — из Камерия, Порции — из Тускула, и, чтобы не ворошить древность, что в сенате есть выходцы из Этрурии, Лукании, всей Италии, и, наконец, что ее пределы были раздвинуты вплоть до Альп, дабы не только отдельные личности, но и все ее области и племена слились с римским народом в единое целое. Мы достигли прочного спокойствия внутри нашего государства и блистательного положения во внешних делах лишь после того, как предоставили наше гражданство народностям, обитающим за рекой Падом и, использовав основанные нами во всем мире военные поселения, приняли в них наиболее достойных провинциалов, оказав тем самым существенную поддержку нашей истомленной империи. Разве мы раскаиваемся, что к нам переселились из Испании Бальбы и не менее выдающиеся мужи из Нарбонской Галлии? И теперь среди нас живут их потомки и не уступают нам в любви к нашей родине. Что же погубило лакедемонян и афинян, хотя их военная мощь оставалась непоколебленной, как не то, что они отгораживались от побежденных, так как те — чужестранцы? А основатель нашего государства Ромул отличался столь выдающейся мудростью, что видел во многих народностях на протяжении одного и того же дня сначала врагов, потом — граждан. Пришельцы властвовали над нами; детям вольноотпущенников поручается отправление магистратур не с недавних пор, как многие ошибочно полагают, но не раз так поступал народ и в давние времена. Мы сражались с сенонами. Но разве вольски и эквы никогда не выходили против нас на поле сражения? Мы были разбиты галлами, но отдали мы заложников и этрускам, а самниты провели нас под ярмом[27]. И все же, если припомнить все войны, которые мы вели, то окажется, что ни одной из них мы не завершили в более краткий срок, чем войну с галлами; и с того времени у нас с ними не-

рушимый и прочный мир. Пусть же связанные с нами общностью нравов, сходством жизненных правил, родством они лучше принесут к нам свое золото и богатство, чем владеют ими раздельно от нас! Всё, отцы сенаторы, что теперь почитается очень старым, было когда-то новым; магистраты-плебеи появились после магистратов-патрициев, магистраты-латиняне — после магистратов-плебеев, магистраты из всех прочих народов Италии — после магистратов-латинян. Устареет и это, и то, что мы сегодня подкрепляем примерами, также когда-нибудь станет примером».

25. За речью принцепса последовало сенатское постановление, в силу которого эдуи первыми получили право становиться сенаторами, в уважение к старинному союзу и к тому, что они единственные из галлов именовались братьями римского народа.

В те же дни Цезарь возвел в патриции старейших сенаторов, — и тех из них, чьи отцы прославили себя выдающимися деяниями, ибо уже оставалось не много родов, названных Ромулом старшими, и тех, которых Луций Брут назвал младшими; угасли даже роды, причисленные к патрицианским диктатором Цезарем по закону Кассия и принцепсом Августом по закону Сения[28]; эти благодетельные для государства мероприятия цензор[29] проводит с большим удовлетворением. Озабоченный удалением из сената покрывших себя бесчестьем, он применил недавно придуманный и мягкий по сравнению с былою суровостью способ, обратившись к ним с увещанием поразмыслить над своими делами и добровольно заявить о своем намерении выйти из сенаторского сословия; дозволение на это будет дано без труда, и он одновременно назовет как исключенных из сената, так и тех, кто сам себя осудил, дабы сопоставление приговора цензоров с раскаяньем ушедших по своей воле, послужило к умалению их бесславия. По этому поводу консул Випстан предложил поднести Клавдию титул отца сената: ибо титул отца отечества стал обыденным и заслуги нового рода должны быть отмечены ранее неведомым наименованием. Но сам Клавдий остановил консула, сочтя, что тот слишком далеко зашел в лести. Тогда же Цезарь объявил об окончании переписи, согласно которой насчитывалось пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят два гражданина. Около этого

времени пришел конец и его неведению относительно происходящего у него в доме: немного позже ему пришлось узнать о непотребствах жены и обрушить на нее кару, чтобы затем распалиться желанием вступить в кровосмесительный брак.

26. Мессалине уже наскучила легкость, с какою она совершала прелюбодеяния, и она искала новых, неизведанных еще наслаждений, когда Силий, толкаемый роковым безрассудством или сочтя, что единственное средство против нависших опасностей — сами опасности, стал побуждать ее покончить с притворством: их положение не таково, чтобы ждать, пока Клавдий умрет от старости; тем, кто ни в чем не повинен, благоразумие не во вред, но явные бесчинства могут найти опору лишь в дерзости. У них есть сообщники, которые страшатся того же. Он не женат, бездетен, готов вступить с ней в супружество и усыновить Британика. Если они опередят Клавдия, доверчивого и беспечного, но неистового во гневе, у Мессалины сохранится прежнее могущество, но добавится безопасность. К этим речам Мессалина отнеслась безучастно, но не из любви к мужу, а вследствие опасений, как бы, завладев властью, Силий не охладел к любовнице и не оценил настоящей ценой злодеяние, которое одобрял при угрожающих обстоятельствах. Но мысль о браке все-таки привлекла ее своей непомерною наглостью, в которой находят для себя последнее наслаждение растратившие все остальное. Итак, едва дождавшись отъезда Клавдия, отбывшего для жертвоприношения в Остию, она торжественно справляет все свадебные обряды.

27. Я знаю, покажется сказкой, что в городе, все знающем и ничего не таящем, нашелся среди смертных столь дерзкий и беззаботный, притом — консул на следующий срок, который встретился в заранее условленный день с женой принцепса, созвав свидетелей для подписания их брачного договора, что она слушала слова совершавших обряд бракосочетания, надевала на себя свадебное покрывало, приносила жертвы пред алтарями богов, что они возлежали среди пирующих, что тут были поцелуи, объятия, наконец, что ночь была проведена ими в супружеской вольности. Но ничто мною не выдумано, чтобы поразить воображение, и я передам только то, о чем слышали старики и что они записали.

28. Двор принцепса охватила тревога, и уже не в разговорах наедине, а открыто выражали свое возмущение главным образом те, кто располагал влиянием и боялся государственного переворота: пока ложе принцепса осквернял лицедей[30], это, конечно, было постыдно, но не существовало угрозы роковых потрясений; но теперь его место занял знатный молодой человек, которому прекрасная внешность, сила духа и предстоящее консульство внушают надежды на осуществление дерзновеннейших замыслов: ведь ни для кого не тайна, чтó должно последовать за подобным бракосочетанием. Несомненно, в них закрадывался и страх, когда они вспоминали о безволии Клавдия, его подчиненности жене и о многих казнях, совершенных по настоянию Мессалины; с другой стороны, та же податливость императора позволяла рассчитывать, что, выставив столь тяжкое обвинение, они возьмут верх и с Мессалиною можно будет покончить, добившись ее осуждения без дознания; если же ей все-таки будет дана возможность оправдываться — а это всего опаснее, — нужно, чтобы Клавдий оставался глух даже к ее признаниям.

29. Сначала Каллист, о котором я рассказал в связи с умерщвлением Гая Цезаря, Нарцисс, подстроивший расправу над Аппием[31], и Паллант, пользовавшийся в то время величайшим благоволением принцепса, подумывали о том, не отвлечь ли безыменными угрозами Мессалину от любви к Силию, ограничившись только этим и умалчивая обо всем остальном. Но из опасения навлечь на самих себя гибель они в конце концов отказались от этой мысли, Паллант — из трусости, Каллист — потому, что, основываясь на опыте, почерпнутом им в правление предыдущего принцепса, хорошо знал, что для сохранения за собою могущества гораздо безопаснее прибегать скорее к осторожным, чем к решительным действиям; один только Нарцисс не оставил намерения разоблачить Мессалину, решив, однако, ни единым словом не предупреждать ее ни о выдвигаемом против нее обвинении, ни о наличии обвинителя. Внимательно следя за ходом событий и озабоченный затянувшимся пребыванием Клавдия в Остии, он склонил двух наложниц Клавдия, которым тот оказывал предпочтение, донести принцепсу обо всем происшедшем, воздействуя на них щедротами, посулами и указывая на то, что после того, как Клавдий оставит жену, их влияние возрастет.

30. И вот Кальпурния (так звали одну из наложниц), как только осталась без посторонних свидетелей с принцепсом, пав к его ногам, сообщает ему, что Мессалина вышла замуж за Силия; затем она спрашивает находившуюся тут же в ожидании того, что воспоследует, Клеопатру, знает ли и она об этом, и после того как та ответила утвердительно, зовет Нарцисса. Тот, умоляя принцепса простить его за молчание в прошлом, за то, что он скрывал любовные связи его жены с Веттиями и Плавтиями[32], указывает, что и теперь не выступает ее обвинителем в прелюбодеянии, не говоря уже о том, что не требует, чтобы Силий вернул дворец, рабов и утварь из дома Цезаря, а добивается лишь одного, чтобы тот возвратил жену принцепсу и разорвал брачный договор с нею. «Или тебе неизвестно, что ты получил развод? Ведь бракосочетание Силия произошло на глазах народа, сената и войска, и, если ты не станешь немедленно действовать, супруг Мессалины овладеет Римом».

31. Затем Нарцисс созывает влиятельнейших из приближенных принцепса и первым спрашивает о том же префекта по снабжению продовольствием Туррания, потом — начальника преторианцев Лузия Гету. И после того как те подтверждают достоверность известия, все остальные начинают наперебой советовать Клавдию отправиться в преторианский лагерь и, позаботившись прежде о безопасности, а затем о мщении, обеспечить себе поддержку когорт. Клавдий впал в такую растерянность, что, как передают, то и дело задавал вопрос окружающим, располагает ли он верховною властью и частное ли еще лицо Силий. А между тем Мессалина, разнузданная более чем когда-либо, ссылаясь на осеннюю пору, устроила во дворце представление, изображавшее сбор винограда. Его выжимали в давильнях, в чаны струилось сусло, и женщины, облачившись в звериные шкуры, тут же плясали и прыгали как приносящие жертвы и исступленные вакханки; сама Мессалина с распущенными волосами, размахивая тирсом, и рядом с нею увитый плющом Силий, оба в котурнах, закидывали голову в такт распевавшему непристойные песни хору. Передают, что в порыве веселости Веттий Валент взобрался на очень высокое дерево и, когда его спросили, что же он видит, ответил, что со стороны Остии надвигается страшная гроза: то ли и в самом деле она там начина-

лась, то ли случайно сорвавшиеся с его языка слова стали вещими.

32. Теперь уже дело не ограничивалось одними слухами, но отовсюду поступали точные сообщения, оповещавшие, что Клавдий обо всем знает и обуреваемый жаждою мести возвращается в Рим. Итак, Мессалина удаляется в сады Лукулла[33], а Силий, чтобы показать, что ничего не боится, — на форум, к своим обязанностям. И пока остальные разбегаются в разные стороны, прибывают центурионы и заковывают их в цепи, кого захватив на улицах, кого — в потаенных убежищах. Мессалина, которой грозная и внезапно нагрянувшая опасность не оставила времени на размышление, решает поторопиться навстречу мужу и показаться ему, что ей уже не раз помогало, и одновременно посылает распорядиться, чтобы Британик и Октавия также поспешили в объятия отца. Она упросила и старейшую из весталок Вибидию добиться беседы с великим понтификом[34] и склонить его к снисходительности. А сама между тем, всего с тремя провожатыми — так мало оставалось у нее приближенных, — пройдя пешком через весь город, выезжает в телеге, в которой вывозили садовый мусор, на дорогу, ведущую в Остию, ни в ком не вызывая сочувствия, так как его убила гнусность ее поведения.

33. Не меньше тревожились и в окружении Цезаря, ибо считалось, что префект преторианцев Гета ненадежен и в одинаковой мере способен на честное и на бесчестное. И вот Нарцисс, собрав тех, кто разделял его опасения, утверждает, что нет другого способа обеспечить Цезарю безопасность, как передать начальствование над воинами на один-единственный день кому-либо из придворных вольноотпущенников, и заявляет, что готов взять его на себя. И чтобы при переезде в Рим Луций Вителлий и Цецина Ларг не изменили настроения Клавдия и не поколебали его решимости, требует предоставить ему место в повозке и занимает его.

34. Впоследствии много говорили о том, что, сколь противоречивые суждения ни исходили от принцепса, то поносившего жену за распутство, то обращавшегося порою к воспоминаниям об их совместной супружеской жизни и жалевшего малолетних детей, Вителлий неизменно повторял все то же: «Какая дерзость! Какое преступление!» И хотя Нарцисс настойчиво домогался, чтобы он перестал говорить недомол-

вками и высказался со всей прямотой, ему не удалось добиться своего, и тот продолжал отвечать на вопросы с той же двусмысленностью, так что его слова можно было истолковать как кому заблагорассудится; следовал его примеру и Цецина Ларг. И вот уже перед ними Мессалина. Она умоляла выслушать мать Октавии и Британика, но ее заглушил обвинитель, который начал рассказывать Клавдию про Силия, про свадьбу; тут же, чтобы отвлечь от нее глаза принцепса, он вручил ему памятную записку с перечислением ее любовных связей. Немного погодя, при въезде в Рим, перед Клавдием предстали бы их общие дети, если бы Нарцисс не распорядился их удалить. Но он не мог помешать Вибидии горячо и настойчиво требовать, чтобы Клавдий не обрек на гибель супругу, не выслушав ее объяснений. Нарцисс ответил весталке, что принцепс непременно выслушает жену и она будет иметь возможность очиститься от возводимого на нее обвинения; а пока пусть благочестивая дева возвращается к отправлению священнодействий.

35. Поразительным было при этом молчание Клавдия; Вителлий делал вид, что ему ничего не известно; итак, все подчинились вольноотпущеннику. Он велит отворить дом любовника Мессалины и вводит туда императора. Прежде всего он показывает ему в прихожей статую отца Силия[35], которую, вопреки сенатскому постановлению, тот не уничтожил, а также все то, что, являясь наследственным достоянием Неронов и Друзов, перешло к нему в награду за прелюбодеяние. После этого распаленного гневом и разразившегося угрозами Клавдия он увлекает в лагерь, где воины уже были выведены на сходку; тут, после предварительного обращения к ним Нарцисса, принцепс произнес всего несколько слов, ибо стыд помешал ему высказать свое справедливое негодование. Когорты ответили на его выступление долго не смолкавшими криками, требуя назвать имена виновных и подвергнуть их наказанию; приведенный пред трибунал Силий не пытался ни оправдываться, ни оттянуть вынесение приговора: больше того, он попросил, чтобы ему ускорили смерть. Такую же твердость проявили и знатные римские всадники. И Клавдий повелел предать казни приставленного Силием к Мессалине в качестве стража и предлагавшего дать показания Тития Прокула, признавшегося в прелюбодеянии с Мес-

салиной Веттия Валента и знавших об его виновности Помпея Урбика и Савфея Трога. Той же каре подверглись префект пожарной стражи Декрий Кальпурниан, начальник императорской гладиаторской школы Сульпиций Руф и сенатор Юнк Вергилиан.

36. Только с Мнестером возникла задержка: разорвав на себе одежду, он принялся кричать, призывая Цезаря взглянуть на следы от плетей и вспомнить о данном им самим повелении неукоснительно выполнять приказания Мессалины: другие пошли на преступление, так как их соблазнили ее щедроты или надежда возвыситься, он — поневоле; и завладей Силий верховной властью, он прежде всего расправился бы с ним, Мнестером. На Цезаря эти слова произвели впечатление, и он уже склонялся помиловать Мнестера, но был удержан от этого вольноотпущенниками: истребив стольких именитых мужей, незачем жалеть какого-то лицедея; совершал ли он столь тяжкое преступление по своей воле или по принуждению — несущественно. Не было принято во внимание и сказанное в свою защиту римским всадником Травлом Монтаном. Это был юноша скромного поведения, отличавшийся вместе с тем замечательной красотой; его привели к Мессалине по ее повелению, но той же ночью она его прогнала, ибо в одинаковой мере не знала удержу ни в любовной страсти, ни в отвращении. Избегли смерти лишь Суиллий Цезонин и Плавтий Латеран — последний благодаря выдающимся заслугам своего дяди со стороны отца, тогда как Цезонина защитила его собственная порочность, ибо на этих омерзительных сборищах он, словно женщина, предоставлял свое тело чужой похоти.

37. Между тем Мессалина, удалившись в сады Лукулла, не оставляла попыток спасти свою жизнь и сочиняла слезные мольбы, питая некоторую надежду и порою впадая в бешенство, — столько в ней было надменности даже в грозных для нее обстоятельствах. И не поспеши Нарцисс разделаться с нею, она обратила бы гибель на голову своего обвинителя. Ибо, воротившись к себе и придя от обильной трапезы в благодушное настроение, Клавдий, разгоряченный вином, велит передать несчастной (как утверждают, он употребил именно это слово), чтобы она явилась на следующий день представить свои оправдания. Услышав это и поняв, что гнев прин-

цепса остывает, что в нем пробуждается прежняя страсть и что в случае промедления следует опасаться наступающей ночи и воспоминаний о брачном ложе, Нарцисс торопливо покидает пиршественный покой и отдает приказание находившимся во дворце центурионам и трибуну не медля умертвить Мессалину: таково повеление императора. В качестве распорядителя и свидетеля ее умерщвления к ним приставляется вольноотпущенник Эвод. Отправившись тотчас в сады Лукулла, он застает Мессалину распростертою на земле и рядом с ней ее мать Лепиду, которая, не ладя с дочерью, пока та была в силе, прониклась к ней состраданием, когда она оказалась на краю гибели, и теперь уговаривала ее не дожидаться прибытия палача: жизнь ее окончена и ей ничего иного не остается, как избрать для себя благопристойную смерть. Но в душе, извращенной любострастием, не осталось ничего благородного. Не было конца слезам и бесплодным жалобам, как вдруг вновь прибывшие распахнули ворота и пред нею предстали безмолвный трибун и осыпавший ее площадными ругательствами вольноотпущенник.

38. Лишь тогда впервые осознала она неотвратимость своего конца и схватила кинжал; прикладывая его дрожащей рукой то к горлу, то к груди, она не решалась себя поразить, и трибун пронзает ее ударом меча. Тело ее было отдано матери. Пировавшему Клавдию сообщили о ее смерти, умолчав о том, была ли она добровольной или насильственной. И он, не спросив об этом, потребовал чашу с вином и ни в чем не отклонился от застольных обычаев. Да и в последовавшие дни он не выказал ни малейших признаков радости, ненависти, гнева, печали, наконец, какого-либо иного из движений души человеческой, ни при виде ликующих обвинителей, ни глядя на подавленных горем детей. Забыть Мессалину помог ему и сенат, постановивший убрать ее имя и ее статуи изо всех общественных мест и частных домов. Нарциссу были определены квесторские знаки отличия — весьма незначительная награда сравнительно с его упованиями, — ведь в этом деле он превзошел своими заслугами Палланта и Каллиста. Да, его побуждения были честными, но повели к наихудшим последствиям.

Книга двенадцатая

1. После умерщвления Мессалины двор принцепса охватило волнение из-за возникшей между вольноотпущенниками борьбы, кому из них приискать новую жену Клавдию, не выносившему безбрачного существования и подпадавшему под власть каждой своей супруги. Таким же соперничеством загорелись и женщины: каждая выставляла на вид свою знатность, красоту и богатство как достойное основание для такого замужества. Спор шел главным образом о том, кого предпочесть, дочь ли бывшего консула Марка Лоллия Лоллию Паулину или дочь Германика Агриппину; последнюю поддерживал Паллант, первую — Каллист; со своей стороны Нарцисс выдвигал Элию Петину из рода Туберонов. Сам Клавдий, склонявшийся то туда, то сюда, смотря по тому, кого из своих советчиков он только что выслушал, созывает их, впавших между собой в разногласия, на совещание и велит каждому высказать свое мнение, подкрепив его соответствующими обоснованиями.

2. Нарцисс говорил о том, что Петина уже была женой принцепса, что у них общая дочь (ибо Антония родилась от нее) и что с возвращением прежней супруги в его дом не будет внесено ничего нового, ибо она не станет питать обычной для мачехи неприязни к Британику и Октавии, столь близким по крови ее собственным детям. Каллист возражал, что униженная длительным разводом Петина, будучи снова взята принцепсом в жены, неизбежно возгордится; гораздо разумнее поэтому ввести в семью Лоллию, которая никогда не имела детей и, свободная по этой причине от ревности и пристрастности, заменит пасынку и падчерице родную мать. А Паллант превозносил в Агриппине более всего то, что она приведет с собою внука Германика; вполне достойно императорского семейства присоединить этого отпрыска знатного рода к потомкам Юлиев и Клавдиев и тем самым не допустить, чтобы женщина испытанной плодовитости и еще молодая унесла в другой дом славу и величие Цезарей.

3. Подкрепленные чарами Агриппины, эти доводы возобладали; часто бывая у дяди на правах близкой родственницы, она обольстила его и, предпочтенная остальным, но еще не

жена, пользовалась властью жены. Уверенная в своем предстоящем замужестве, она начала вынашивать дальнейшие замыслы и подготовлять брак своего рожденного от Гнея Агенобарба сына Домиция с Октавией, дочерью Цезаря; однако заключить этот брак можно было только преступным путем, так как Цезарь успел обручить Октавию с Луцием Силаном и привлек к этому и без того широко известному юноше благосклонность толпы дарованием ему триумфальных отличий и великолепием устроенных от его имени гладиаторских игр. Но представлялось нетрудным чего угодно добиться от принцепса, у которого не было других мыслей и другой неприязни, кроме подсказанных и внушенных со стороны.

4. И вот, прикрывая своим званием цензора подлые козни и предвидя, кто станет истинным властелином, Вителлий, дабы снискать признательность Агриппины, принимается содействовать ее замыслам и возводить обвинения на Силана, сестра которого, красивая и своенравная Юния Кальвина в недавнем прошлом была невесткой Вителлия. Отсюда и пошла клевета; отнюдь не преступную, но неосмотрительно откровенную братскую привязанность между ними он представляет кровосмесительной связью. А Цезарь из любви к дочери с тем большей готовностью прислушивался к этим наветам о своем будущем зяте. Между тем Силан, ничего не подозревавший о подстроенной ему западне и именно в этом году бывший претором, указом Вителлия внезапно исключается из сенаторского сословия, хотя незадолго пред тем был оглашен и окончательно утвержден список сенаторов на ближайшее пятилетие. Одновременно Клавдий объявляет ему, что его брак с Октавией не состоится; Силана принуждают сложить с себя преторские обязанности, и на один день, оставшийся до окончания срока его претуры, их возлагают на Эприя Марцелла.

5. В консульство Гая Помпея и Квинта Верания[1] брачный сговор Клавдия с Агриппиною подкрепляла и распространившаяся об этом молва и их вышедшая за пределы дозволенного близость; но они еще не осмеливались торжественно справить свадебные обряды, так как женитьба дяди на племяннице была делом неслыханным; такой союз считался кровосмесительным, а пренебречь этим они не решались из

опасения, как бы их поступок не навлек несчастья на государство. Конец этому промедлению был положен Вителлием, который взялся уладить дело с помощью привычных для него ухищрений. Задав вопрос Цезарю, подчинится ли он требованиям народа и совету сената, и получив ответ, что он такой же гражданин, как все прочие, и не может противиться общей воле, Вителлий предлагает ему подождать во дворце. Сам он между тем прибывает в сенат и, заявив, что дело идет о вопросе величайшей государственной важности, просит разрешения выступить первым и начинает речь следующим образом: «Неся на себе тягчайшее бремя попечения обо всем мире, принцепс испытывает нужду в поддержке, дабы, избавленный от забот о семье, он мог всецело отдаться служению общему благу. Но есть ли более высоконравственная отрада для по-цензорски непреклонной к себе души, для того, кто никогда не предавался роскоши и наслаждениям, но с ранней юности неуклонно повиновался законам, чем взять жену, с которой он мог бы делиться своими самыми сокровенными мыслями, кому доверил бы малых детей?»

6. Начав с этого в своей сочувственно принятой речи, Вителлий, после того как сенаторы выразили свое полное согласие с нею, вернулся к тому, с чего начал, и заявил, что, поскольку все единодушно советуют принцепсу вступить в брак, следует избрать для него женщину, отмеченную знатностью, материнством, безупречными нравами. И нет надобности долго разыскивать таковую, ибо Агриппина превосходит всех остальных славою своего рода; она показала, что способна рождать детей и что ей присущи добрые качества. И поистине замечательно, что, произволением богов оставшись вдовою[2], она может беспрепятственно связать себя с принцепсом, никогда не знавшим иной любви, кроме супружеской. Они, сенаторы, слышали от родителей и видели собственными глазами, как ради ублажения своих прихотей Цезари завладевали чужими женами[3]. Сколь далека от этого скромность их нынешнего властителя! Так пусть же будет явлен пример на будущее, как надлежит императору приискивать для себя супругу! Но союз дяди с племянницей — для нас новшество. У других народов, однако, это вещь совершенно обыденная, и не существует закона, которым она была бы воспрещена, да и браки с двоюродными сестрами, преж-

де у нас неведомые, с течением времени получили широкое распространение. Обычай закрепляется, если отвечает потребностям, и данное новшество, несомненно, окажется в числе тех, которые вскоре будут усвоены повсеместно.

7. Не было недостатка в таких, кто, восклицая, что если Цезарь промедлит, то они женят его насильственно, наперебой бросились вон из курии. Стала собираться беспорядочная толпа, в которой слышались выкрики, что римский народ обращается к Цезарю с мольбою о том же. И Клавдий, дольше не дожидаясь, выходит на форум и предстает перед поздравляющими его, а войдя в сенат, требует, чтобы было вынесено постановление, которым раз и навсегда дозволялись бы браки между дядьями и племянницами. Впрочем, не нашлось никого, кто бы пожелал вступить в такое супружество, кроме единственного римского всадника Алледия Севера, о котором многие говорили, что его толкнуло на это желание угодить Агриппине. Этот брак принцепса явился причиною решительных перемен в государстве: всем стала заправлять женщина, которая вершила делами Римской державы отнюдь не побуждаемая разнузданным своеволием, как Мессалина; она держала узду крепко натянутой, как если бы та находилась в мужской руке. На людях она выказывала суровость и еще чаще — высокомерие; в домашней жизни не допускала ни малейших отступлений от строгого семейного уклада, если это не способствовало укреплению ее власти. Непомерную жадность к золоту она объясняла желанием скопить средства для нужд государства.

8. Силан покончил самоубийством в день свадьбы Клавдия, то ли не теряя вплоть до этого дня надежды, что ему будет сохранена жизнь, то ли выбрав его умышленно, чтобы усилить неприязнь к своим врагам. Сестра Силана Кальвина была изгнана из Италии. Клавдий добавил к этому предусмотренные законами царя Тулла священнодействия и умилостивительные жертвоприношения в роще Дианы, совершение которых возлагалось на понтификов, причем все потешались над тем, что кара за кровосмешение и очистительные обряды, чтобы его искупить, были назначены именно в это время. Между тем Агриппина, желая, чтобы ее знали не только с плохой стороны, добивается возвращения из ссылки Аннея Сенеки и одновременно доставляет ему претуру, пола-

гая, что ввиду его громкой литературной славы и то и другое будет приятно римскому обществу; вместе с тем она поступила так и ради того, чтобы отроческие годы Домиция протекли под руководством столь выдающегося наставника и чтобы она с сыном, осуществляя ее мечту о самовластном владычестве, могла пользоваться его советами, ибо считалось, что Сенека, помня о благодеянии Агриппины, питает к ней безграничную преданность, тогда как, затаив про себя горечь обиды, враждебен Клавдию[4].

9. Затем было решено больше не медлить, и консула на будущий срок Маммия Поллиона щедрыми обещаниями соблазняют внести предложение, чтобы сенат обратился с просьбой к Клавдию просватать Октавию за Домиция, что, принимая во внимание возраст обоих, было вполне уместно и открывало возможности для далеко направленных замыслов. Поллион высказывается почти в тех же словах, в каких это сделал недавно Вителлий; Октавию просватывают за Домиция, и он, сделавшись в добавление к прежним родственным связям женихом дочери принцепса и будущим его зятем, стараниями матери и ухищрениями тех, кто, осудив на смерть Мессалину, боялся мщения со стороны ее сына, уравнивается в правах с Британиком.

10. Тогда же сенат принимает парфянских послов, прибывших, как я уже сообщил, просить о возвращении им Мегердата[5]. Они в следующих словах приступают к выполнению своего поручения: они явились, помня о существующем с нами союзе и храня верность династии Арсакидов, лишь для того, чтобы пригласить к себе сына Вонона, внука Фраата, и таким образом освободиться от тирании Готарза, одинаково нестерпимой как для знати, так и для простого народа. Уже все его братья, близкие и даже дальние родственники истреблены казнями; теперь к этому добавляются убийства их беременных жен и малых детей, ибо, нерадивый внутри страны, неудачливый в войнах, он прикрывает свою слабость жестокостью. У них с нами давняя и скрепленная договорами дружба, и мы должны прийти на помощь союзникам, нашим соперникам в силе, склонившимся перед нами только из уважения. Для того и отдают они нам заложниками царских детей, чтобы иметь возможность, если властитель их родины станет им в тягость, обратиться к принцепсу и сенаторам и

получить от них более приемлемого и усвоившего наши нравы царя.

11. Отвечая на эти и подобные им слова, Цезарь начал речь с главенства римлян и подчиненности парфян, причем поставил себя рядом с божественным Августом, напомнив, что у него они также испросили себе царя, но умолчав о Тиберии, хотя царей посылал им и тот[6]. К этому он добавил наставления присутствовавшему в курии Мегердату, чтобы он не считал себя господином, а всех прочих рабами, но видел в себе лишь правителя, а в остальных — граждан, чтобы проявлял милосердие и соблюдал справедливость, которые тем желаннее для варваров, чем менее им знакомы. Затем, обратившись к послам, он превозносит похвалами воспитанника города Рима, чья скромность до того времени была безупречною: впрочем, нужно терпеливо сносить властителей, и их частая смена ни к чему хорошему не ведет. Римское государство настолько пресыщено славою, что желает спокойствия даже чужеземным народам. После этого стоявшему во главе Сирии Гаю Кассию было отдано повеление проводить юношу до реки Евфрата.

12. В те времена Кассий слыл наиболее сведущим законоведом, — ведь военные дарования, когда всюду спокойно, остаются в тени и мирная обстановка стирает различия между деятельными и нерадивыми. Но, насколько это было возможно при отсутствии боевых действий, Кассий все же восстанавливал в войске старинную дисциплину и обучал легионы с таким старанием и такою предусмотрительностью, как если бы его теснили враги; он считал, что этого требует достоинство его предков и рода Кассиев, который прославил себя и в этих краях. Итак, вызвав тех, по чьему почину был испрошен новый царь для парфян, и разбив лагерь в Зевгме, откуда была наиболее удобная переправа через реку, он, по прибытии знатных парфян и царя арабов Акбара, напоминает Мегердату о том, что самые пламенные порывы варваров остывают при промедлении, а порой оборачиваются и вероломством: пусть он поспешит поэтому с завершением начатого. Этот совет, однако, был оставлен в пренебрежении из-за коварства Акбара, который на много дней задержал в Эдессе простодушного юношу, возомнившего, что высокое положение равнозначно сплошным удовольствиям. И хотя его

звал Карен, обещавший в случае скорого их прибытия несомненный успех, Мегердат направился не в близлежащую Месопотамию, а окольным путем в Армению, в ту пору малодоступную, потому что начиналась зима.

13. Затем, истомленные горами и снегом, уже приближаясь к равнине, они соединяются с войском Карена и, переправившись через реку Тигр, проходят по земле адиабенцев, царь которых Изат, вступив в показной союз с Мегердатом, втайне с большей преданностью склонялся к Готарзу. Объединенное войско по пути захватило Ниневию, древнейшую столицу Ассирии, а также крепость, весьма знаменитую тем, что в последнем сражении Дария с Александром у ее стен были сокрушены силы персов. Между тем Готарз приносил обеты местным богам на горе Санбул, где важнейшим был культ Геркулеса[7]; в определенное время он напоминает жрецам, явившись им в сновидении, чтобы они привели к храму снаряженных для охоты коней. И после того как этих коней нагружают полными стрел колчанами, они разбредаются по горным лесам и лишь поутру, сильно запыхавшись, возвращаются с пустыми колчанами. После этого бог снова является в ночном сновидении и указывает леса, в которых он побывал, и в них повсюду находят убитых зверей.

14. Но Готарз, еще не вполне собрав войско, отсиживался за рекой Кормой как за крепостною стеной и, хотя его вызывали на битву оскорбительными насмешками и посылали к нему гонцов, всячески тянул время, менял стоянки и, заслав своих людей в стан врагов, при помощи подкупа склонял последних к измене. Из их числа Изат, царь Адиабены, и вслед за ним царь арабов Акбар уводят свои отряды с привычным для народов тех стран своеволием, ибо, как показал опыт, варвары более склонны просить из Рима царей, чем жить под их властью. Итак, Мегердат, лишившись значительной части вспомогательных войск и опасаясь предательства со стороны остальных, решается на единственное, что ему оставалось, а именно — довериться случаю и попытать счастье в сражении. Не уклонился от него и Готарз, окрыленный ослаблением неприятеля. И вот они сошлись в кровопролитном сражении, протекавшем с переменным успехом, пока Карена, опрокинувшего противостоявших ему врагов и увлеченного их преследованием, не обошли с тыла свежие

силы противника. Тогда Мегердат, увидев, что все потеряно, доверился клиенту своего отца Парраку, но был коварно обманут и в оковах выдан победителю. А тот, не признавая в нем ни своего родича, ни Арсакида, но именуя его чужеземцем и римлянином, велит, отрезав пленнику уши, оставить его в живых, дабы выказать этим свое милосердие и нанести нам бесчестие. Вскоре после этого Готарз заболел и умер, и на парфянский престол был призван Вонон, правивший мидянами. На его долю не выпало ни особой удачи, ни особых бедствий — ничего достойного упоминания; царствование его было кратковременным и бесславным, и после него Парфянское государство перешло к сыну его Вологезу.

15. Между тем Митридат Боспорский, который, лишившись трона[8], не имел и постоянного пристанища, узнает об уходе основных сил римского войска во главе с полководцем Дидием и о том, что в наново устроенном царстве остались лишь неопытный по молодости лет Котис и несколько когорт под начальством римского всадника Юлия Аквилы; не ставя ни во что ни римлян, ни Котиса, он принимается возмущать племена и сманивать к себе перебежчиков и, собрав в конце концов войско, прогоняет царя дандаров и захватывает его престол. Когда это стало известно и возникла опасность, что Митридат вот-вот вторгнется в Боспорское царство, Котис и Аквила, не рассчитывая на свои силы, тем более что царь сираков Зорсин возобновил враждебные действия против них, стали искать поддержки извне и направили послов к Эвнону, правившему племенем аорсов. Выставляя на вид мощь Римского государства по сравнению с ничтожными силами мятежника Митридата, они без труда склонили Эвнона к союзу. Итак, было условлено, что Эвнон бросит на врага свою конницу, тогда как римляне займутся осадою городов.

16. И вот, построившись походным порядком, они выступают: впереди и в тылу находились аорсы, посередине — когорты и вооруженные римским оружием отряды боспорцев. Враг был отброшен, и они дошли до покинутого Митридатом вследствие ненадежности горожан дандарского города Созы; было принято решение им овладеть и оставить в нем гарнизон. Отсюда они направляются в земли сираков и, перейдя реку Панду, со всех сторон подступают к городу Успе, расположенному на высоте и укрепленному стенами и рвами;

впрочем, его стены были не из камня, а из сплетенных прутьев с насыпанной посередине землей и поэтому не могли противостоять натиску нападавших, которые приводили в смятение осажденных, забрасывая их с возведенных для этого высоких башен пылавшими головнями и копьями. И если бы ночь не прервала сражения, город был бы обложен и взят приступом в течение одного дня.

17. На следующий день осажденные прислали послов, просивших пощадить горожан свободного состояния и предлагавших победителям десять тысяч рабов. Эти условия были отвергнуты, так как перебить сдавшихся было бы бесчеловечной жестокостью, а сторожить такое множество — затруднительно: пусть уж лучше они падут по закону войны; и проникшим в город с помощью лестниц воинам был подан знак к беспощадной резне. Истребление жителей Успе вселило страх во всех остальных, решивших, что больше не стало безопасных убежищ, раз неприятеля не могут остановить ни оружие, ни крепости, ни труднодоступные и высокогорные местности, ни реки, ни города. И вот Зорсин после долгих раздумий, поддержать ли попавшего в беду Митридата или позаботиться о доставшемся ему от отца царстве, решил наконец предпочесть благо своего народа и, выдав заложников, простерся ниц перед изображением Цезаря, что принесло великую славу римскому войску, которое, одержав почти без потерь победу, остановилось, как стало известно, в трех днях пути от реки Танаиса. Однако при возвращении счастье изменило ему: несколько кораблей (ибо войско возвращалось морем) выбросило к берегу тавров, и их окружили варвары, убившие префекта когорты и множество воинов из вспомогательного отряда.

18. Между тем Митридат, не находя больше опоры в оружии, задумывается над тем, к чьему милосердию он мог бы воззвать. Довериться брату Котису, в прошлом предателю, в настоящем — врагу, он опасался. Среди римлян не было никого, наделенного такой властью, чтобы его обещания можно было счесть достаточно вескими. И он решил обратиться к Эвнону, который не питал к нему личной вражды и, недавно вступив с нами в дружбу, пользовался большим влиянием. Итак, облачившись в подобавшее его положению платье и придав своему лицу такое же выражение, он вошел в покои

царя и, припав к коленям Эвнона, сказал: «Пред тобою добровольно явившийся Митридат, которого на протяжении стольких лет на суше и на море преследуют римляне; поступи по своему усмотрению с потомком великого Ахемена — лишь одного этого враги не отняли у меня».

19. Громкое имя этого мужа[9], лицезрение превратностей дел человеческих и его полная достоинства мольба о поддержке произвели сильное впечатление на Эвнона, и тот, подняв Митридата с колен, хвалит его за то, что он предпочел предаться племени аорсов и лично ему, Эвнону, дабы с их помощью испросить примирения. И Эвнон отправляет к Цезарю послов и письмо, в котором говорилось так: «Начало дружбе между римскими императорами и царями великих народов кладется схожестью занимаемого ими высокого положения; но его с Клавдием связывает и совместно одержанная победа. Исход войны только тогда бывает истинно славным, когда она завершается великодушием к побежденным — так и они ничего не отняли у поверженного ими Зорсина. Что касается Митридата, заслужившего более суровое обхождение, то он, Эвнон, просит не о сохранении за ним власти и царства, но только о том, чтобы его не заставили следовать за колесницею триумфатора и он не поплатился своей головой».

20. Однако Клавдий, обычно снисходительный к чужеземной знати, на этот раз колебался, чтó было бы правильнее, принять ли пленника, обязавшись сохранить ему жизнь, или захватить его силой оружия. К последнему его толкала горечь нанесенных ему оскорблений и жажда мести; но возникали и такие возражения: придется вести войну в труднодоступной местности и вдали от морских путей; к тому же цари в тех краях воинственны, народы — кочевые, земля — бесплодна; медлительность будет тягостна, а торопливость чревата опасностями; победа обещает мало славы, а возможное поражение — большой позор. Не лучше ли поэтому удовлетвориться предложенным и оставить жизнь изгнаннику, который, чем дольше проживет в унижении, тем большие мучения испытает. Убежденный этими соображениями, Клавдий ответил Эвнону, что, хотя Митридат заслуживает наистрожайшего примерного наказания и он, Клавдий, располагает возможностью его покарать, но так уже установлено предками: насколько необходимо быть непреклонным в борьбе с не-

приятелем, настолько же подобает дарить благосклонность молящим о ней — ведь триумфы добываются только в случае покорения исполненных силы народов и государств.

21. После этого Митридат был выдан римлянам и доставлен в Рим прокуратором Понта Юнием Цилоном. Передавали, что он говорил с Цезарем более гордо, чем надлежало бы в его положении, и получили известность такие его слова: «Я не отослан к тебе, но прибыл по своей воле; а если ты считаешь, что это неправда, отпусти меня и потом ищи». Он сохранял бесстрастное выражение лица и тогда, когда, окруженный стражею, был выставлен напоказ народу у ростральных трибун. Цилону были определены консульские отличия, Аквиле — преторские.

22. При тех же консулах Агриппина, беспощадная в ненависти и считавшая своим врагом Лоллию, так как и она когда-то притязала на замужество с Цезарем, измышляет ей преступления и выставляет против нее обвинителя, приписывающего ей обращение к халдеям и магам и запрос относительно бракосочетания Цезаря, направленный ею оракулу Аполлона Кларосского. И Клавдий, даже не выслушав подсудимую, выступил в сенате с пространною речью, в которой сначала подробно говорил о ее знатности, о том, что она — дочь сестры Луция Волузия, что Котта Мессалин — брат ее прадеда, что ранее она была замужем за Меммием Регулом (о ее браке с Гаем Цезарем он умышленно умолчал), и только в конце добавил, что ее намерения пагубны для государства и у нее необходимо отнять возможности к совершению злодеяний; по этой причине ее надо выслать из Италии с конфискацией имущества. И изгнаннице было оставлено из ее несметных богатств всего пять миллионов сестерциев. Было подстроено осуждение и женщине знатного рода Кальпурнии, красоту которой похвалил принцепс, сделав это безо всякого любострастного чувства и в случайной беседе, что несколько сдержало гнев Агриппины, и она не дошла до крайних пределов мщения. К Лоллии отправляют трибуна, дабы он принудил ее к самоубийству. И по закону о вымогательствах был осужден Кадий Руф, привлеченный к ответу вифинцами.

23. Ввиду того что Нарбоннская Галлия неизменно оказывала сенату беспрекословное повиновение, на нее было рас-

пространено положение, существовавшее для Сицилии, а именно — сенаторам из этой провинции было разрешено посещать ее по своим имущественным делам, не испрашивая дозволения принцепса. Итуреи и иудеи по смерти царей Сохема и Агриппы были присоединены к провинции Сирии[10]. Тогда же сенат постановил возобновить после семидесятипятилетнего перерыва гадание о благе государства и впредь устраивать его ежегодно. Помимо этого, Цезарь расширил пределы города Рима, поступив в соответствии со старинным обычаем, согласно которому тем, кто увеличил размеры империи, предоставлялось право отодвинуть и городскую черту. Но, кроме Суллы и божественного Августа, никто из римских военачальников, и среди них покорители великих народов, не использовал своего права.

24. Видеть ли в этом тщеславие царей или благородное честолюбие, судят по-разному. Но как бы то ни было, я считаю, что нелишне знать, как возник этот город и какие пределы установил для него Ромул. Итак, борозда для обозначения черты города была начата от Бычьего рынка, от того места, где мы теперь видим бронзового быка (ибо этих животных впрягают в плуг), в таком направлении, что большой жертвенник Геркулесу остался по эту сторону от нее; далее, на известном расстоянии друг от друга были установлены камни, шедшие вдоль подножия Палатинского холма до жертвенника Консу, Старых курий, небольшого святилища Ларов[11] и Римского форума; согласно преданию, Форум и Капитолий были включены в черту города не Ромулом, а Титом Татием. В дальнейшем город Рим расширялся по мере роста римской державы. А границы, установленные для него Клавдием, хорошо известны и указаны в государственных документах.

25. В консульство Гая Антистия и Марка Суиллия[12] Клавдий по настоянию Паллáнта ускорил усыновление Домиция; связав себя с Агриппиною, как устроитель ее замужества, и позднее, вступив к тому же в преступное сожительство с нею, Паллант всячески увещевал Клавдия подумать о благе Римского государства, о том, чтобы было кому поддержать Британика, пока он еще в отроческом возрасте; ведь и при божественном Августе, невзирая на то, что он располагал опорою в лице внуков, были в силе и пасынки; да и Тиберий, имея

родного сына, принял Германика в лоно своего семейства; так пусть же и он, Клавдий, приблизит к себе юношу, готового взять на себя часть лежащих на нем забот. Убежденный этими доводами, Клавдий предпочел собственному сыну Домиция, который был тремя годами старше Британика, и, выступив с соответственной речью в сенате, повторил в ней выслушанное им от вольноотпущенника. Осведомленные люди отмечали по этому поводу, что в роду патрициев Клавдиев не было раньше ни одного случая усыновления и что кровная преемственность не прерывалась у них от самого Атта Клавса.

26. Тем не менее принцепсу была принесена благодарность с присовокуплением изысканной лести Домицию; был также предложен закон, определявший, что он переходит в род Клавдиев и принимает имя Нерона. Возвеличивается и Агриппина титулом Авгу́ста. По завершении всего этого не было никого столь бесчувственного, кто бы не скорбел о выпавшей на долю Британика участи. Лишившись постепенно даже рабских услуг, он воспринимал как насмешку неуместные ласки мачехи, понимая их лицемерие. Говорят, что он обладал природными дарованиями; то ли это соответствует истине, то ли такая молва удержалась за ним из-за сочувствия к постигшим его несчастьям, хотя он и не успел доказать на деле ее справедливость.

27. Желая показать свое могущество и союзным народам, Агриппина добивается выведения в город убиев, где она родилась, колонии ветеранов, которая была названа ее именем[13]. По случайному совпадению это переправившееся через Рейн племя принял под наше покровительство не кто иной, как ее дед Агриппа.

Около этого времени Верхнюю Германию охватили страх и смятение, вызванные грабительским набегом хаттов. Против них легат Публий Помпоний высылает когорты вангионов и неметов с приданной им союзною конницей, которым приказывает перехватить грабителей на обратном пути или, если они разбредутся, внезапно зажать их в кольцо. Старательно выполняя предписания полководца, воины разделились на два отряда, и те, что направились левой дорогой, устремились со всех сторон на недавно возвратившихся из похода врагов, которые после безудержного, поглотившего их

добычу разгула, были объяты глубоким сном. Эта победа над хаттами доставила римлянам тем бо́льшую радость, что почти через сорок лет после поражения Вара ими были вызволены из плена несколько его воинов.

28. Между тем продвигавшиеся справа и кратчайшим путем причиняют еще больший урон попавшимся им навстречу и дерзнувшим на битву врагам, после чего со славою и обильной добычею возвращаются к горе Тавну, где их поджидал во главе легионов Помпоний на случай, если бы побуждаемые жаждою мщения хатты доставили ему возможность сразиться с ними. Но те, опасаясь, как бы их не обошли с одной стороны римляне, а с другой — херуски, с которыми у них были вечные распри, отправляют в Рим послов и заложников. Помпонию были определены триумфальные почести, но в них — лишь малая доля его известности у потомков, которые чтят его как выдающегося поэта[14].

29. Тогда же свебы изгнали Ванния, которого поставил над ними царем Цезарь Друз; вначале хорошо принятый соплеменниками и прославляемый ими, а затем вследствие долговременной привычки к владычеству впавший в надменность, он подвергся нападению со стороны возненавидевших его соседних народов и поднявшихся на него соотечественников. Борьбу с ним возглавляли царь гермундуров Вибилий и сыновья сестры Ванния Вангион и Сидон. Несмотря на неоднократные просьбы Ванния о поддержке, Клавдий не вмешался силой оружия в усобицы варваров, но обещал Ваннию надежное убежище, если он будет изгнан из своего царства, а вместе с тем написал правившему тогда Паннонией Палпеллию Гистру, чтобы он выставил вдоль Дуная один легион и набранные в той же провинции отряды вспомогательных войск для оказания помощи побежденным и устрашения победителей, если, подстрекаемые удачей, они попытаются нарушить мир и в наших владениях. Ведь надвигалась несметная сила — лугии и другие народности, — привлеченная слухами о богатстве царской казны, которую за тридцать лет накопил Ванний грабежами и пошлинами. Пехота у Ванния была собственная, конница — из сарматского племени язигов, и поскольку его войска уступали в численности вражеским полчищам, он решил уклоняться от открытого боя и отсиживаться за стенами укреплений.

30. Но не желавшие выносить осаду язиги рассеялись по окрестным полям, и так как их настигли лугии и гермундуры, Ванний оказался вынужденным сразиться. Итак, выйдя из укреплений, он вступил в бой и был в нем разгромлен, но, несмотря на неудачу, снискал похвалу, ибо бросился в рукопашную схватку и был в ней изранен, не показав тыла врагам. И все же ему пришлось бежать к поджидавшему его на Дунае нашему флоту; вскоре за ним последовали туда и его приближенные, и им были отведены земли в Паннонии. Царство Ванния поделили между собой Вангион и Сидон, соблюдавшие по отношению к нам безупречную честность, тогда как их подданные то ли в силу врожденных свойств или тех, которые в них воспитало порабощение, питали к ним, пока они добивались владычества, пламенную любовь и, после того как они добились его, — еще бóльшую ненависть.

31. Назначенный пропретором Британии[15] Публий Осторий нашел ее охваченною брожением, ибо враги, сочтя, что новый военачальник, не ознакомившись со своим войском и ввиду наступившей зимы, не решится противодействовать им, с тем большей дерзостью вторглись в пределы наших союзников. Но Осторий, хорошо зная, что страх или самоуверенность в неприятеле порождаются успешностью или неудачею первых боевых действий, незамедлительно устремляется во главе легковооруженных когорт на противника; истребив оказавших сопротивление и преследуя разбежавшихся, дабы они снова не собрались вместе и ненадежный мир не угрожал постоянными осложнениями полководцу и воинам, он решает отобрать оружие у подозрительных и, разбив лагерь, держать в узде область между реками Авоною и Сабриной. Первым воспротивилось сдаче оружия сильное племя иценов, не испытавшее разгрома на поле битвы, ибо оно добровольно заключило с нами союз. По их наущению обитавшие по соседству народы, задумав сразиться с нами, избрали местом расположения своего войска огороженное земляной насыпью поле с настолько узким проходом в него, что он был недоступен для нашей конницы. Римский военачальник, невзирая на то, что вел за собою лишь отряды союзников и не имел при себе основных сил легионов, подступает к вражеским укреплениям с намерением овладеть ими и, расставив когорты для приступа, велит и всадникам изгото-

виться к бою в пешем строю. Затем по данному знаку его воины преодолевают насыпь и приводят в смятение неприятеля, стесненного своими же заграждениями. Понимая, что их ждет заслуженное возмездие за мятеж, и так как пути к бегству были для них отрезаны, они свершили тут много доблестных и славных деяний. В этой битве сын легата Марк Осторий заслужил боевое отличие за спасение римского гражданина.

32. Поражение иценов образумило тех, кто колебался между войною и миром, и Осторий повел войско на декангов[16]. Были опустошены их поля, захвачена повсюду добыча, но враги так и не решились на битву, а если и пытались порою исподтишка нападать на наш походный порядок, то их коварство не оставалось без наказания. И наши уже приблизились к морю, омывающему остров Гибернию, когда вспыхнувшие у бригантов раздоры принудили римского полководца повернуть вспять, ибо он твердо решил не предпринимать новых завоеваний, пока не закреплены старые. Бригантов удалось усмирить, истребив небольшое число взявшихся за оружие и даровав прощение остальным; но ни строгостью, ни снисходительностью нельзя было удержать от открытых военных действий племя силуров, и для его подавления нужно было располагать находящимся поблизости укрепленным лагерем. Стремясь возможно скорее достигнуть этого, Осторий под прикрытием значительного отряда ветеранов выводит на захваченные им земли колонию в Камулодун, чтобы создать оплот против мятежников и внушить союзникам покорность законам.

33. Затем был предпринят поход против силуров, чью воинственность поддерживали надежды на силы Каратака, которого выдвинули многочисленные, не завершившиеся нашей победою битвы и столь же многочисленные успехи в действиях против нас, так что он затмил своей славою остальных полководцев Британии. Превосходя нас в том, что вследствие пересеченности местности мог использовать ее в своих целях, но уступая нам в силе войска, Каратак переносит войну в страну ордовиков и, соединившись с теми, кто страшился установления мира с нами, готовится дать решительное сражение, избрав для него место, подход к которому и отступление от которого, равно как и все прочее, были неудоб-

ны для нас и выгодны для его воинов: с одной стороны его прикрывали крутые горы, а где, продвигаясь по более отлогому склону, на них можно было взобраться, там он навалил камни наподобие вала; с другой стороны перед нами протекала река с ненадежным руслом и за укреплениями стояли толпы вооруженных врагов.

34. К тому же вожди племен обходили своих с увещаниями, укрепляли их дух, стремясь рассеять в них страх и воспламенить их надеждою и боевым пылом; сам Каратак носился взад и вперед, провозглашая, что этот день, эта битва положат начало либо отвоеванию ими свободы, либо вечному рабству; при этом он называл имена предков, изгнавших диктатора Цезаря, тех, чья доблесть избавила их от римского топора и от податей и сохранила им неоскверненными тела их жен и детей. И когда он говорил это и подобное этому, толпа отвечала ему криками одобрения и каждый клялся верой своих отцов, что ни копья, ни раны не заставят его отступить.

35. Это воодушевление в стане врага смутило римского военачальника; вместе с тем его страшили и преграждавшая ему путь река, и вновь возведенное неприятелем укрепление, и нависавшие над головой горы — все это, казавшееся ему грозным препятствием и обороняемое многочисленными защитниками. Но римские воины рвались в бой: они кричали, что доблесть все преодолевает; им вторили префекты и трибуны, укрепляя в войске боевую решимость. Тогда Osторий, определив на взгляд, чтó действительно неприступно и где можно пройти, ведет за собою воодушевленных отвагой воинов и без труда переправляется через реку. Когда наши подошли к валу и пока бой велся при помощи метательных копий и стрел, наши потери ранеными и убитыми превышали потери врага; но после того как, построившись черепахою, они раскидали кое-как сложенные и лишенные связи каменные завалы и разгорелась рукопашная схватка в равных условиях, варвары начали отступать на горные кручи. Но и туда устремились наши застрельщики и тяжеловооруженные воины, одни — осыпая противника стрелами, другие — наступая сомкнутым строем, между тем как ряды британцев, не прикрытых ни панцирями, ни шлемами, пришли в расстройство; если они оказывали сопротивление воинам вспо-

могательных войск, их разили мечи и дротики легионеров; а если оборачивались к легионерам, их поражали обоюдоострые мечи и копья воинов вспомогательных войск. Победа была полной; наши взяли в плен жену и дочь Каратака и принудили его братьев сдаться на милость победителя.

36. Сам Каратак бежал к царице бригантов, по имени Картимандуя, рассчитывая найти у нее пристанище, но, так как поверженный беззащитен, он был закован в цепи и выдан победителям. Это произошло на девятый год после начала войны в Британии[17]. Отсюда молва о нем, перекинувшись на острова и распространившись в ближних провинциях, достигла также Италии, и здесь все хотели увидеть того, кто в течение стольких лет презирал наше могущество. Имя Каратака не оставалось безвестным и в Риме; и Цезарь, превознося свой успех, тем самым возвеличил славу побежденного. Итак, созвали народ, словно его ожидало чрезвычайное зрелище: преторианские когорты в полном вооружении стояли на поле, простиравшемся перед их лагерем. Сначала провели клиентов царя, потом пронесли фалеры и ожерелья, добытые им в войнах с другими народами, затем показали его братьев, жену и дочь и, наконец, его самого. Униженными были внушенные страхом мольбы всех остальных, но Каратак не взывал к милосердию ни опущенным взором, ни речами, но, когда подошел к трибуналу и встал подле него, сказал так.

37. «Если б я был, пока мне сопутствовала удача, столь же умерен в своих притязаниях, как знатен и взыскан судьбою, я бы прибыл в ваш город скорее в качестве друга, чем пленника, и ты бы, Цезарь, не погнушался заключить мир и союз с потомком прославленных предков и повелителем многих народов. И если мой нынешний жребий для меня унизителен, то тебе, напротив, он прибавил величия. У меня были кони, воины, оружие, власть; нужно ли удивляться, что всего этого я лишился не по своей воле? Если вы хотите всеми повелевать, то следует ли из этого, что все обязаны безропотно становиться рабами? Если бы я беспрекословно и сразу отдался под твою руку, то и моя участь не обрела бы известности и ты не обрел бы новой славы победою надо мной. Моя казнь вскоре будет забыта, но если ты оставишь мне жизнь, я навеки стану примером твоего милосердия». В ответ на это Цезарь даровал прощение и Каратаку, и его жене, и братьям.

После того как с них сняли оковы, они те же хвалы и выражения благодарности, с какими перед тем обратились к принцепсу, воздали и Агриппине, которую увидели невдалеке на другой трибуне. Пребывание женщины перед строем римского войска было, конечно, новшеством и не отвечало обычаям древних, но сама Агриппина не упускала возможности показать, что она правит вместе с супругом, разделяя с ним добытую ее предками власть.

38. Созванные затем сенаторы произнесли много высокопарных речей о захвате в плен Каратака, утверждая, что это событие не менее достославно, чем пленение Публием Сципионом Сифака, или Луцием Павлом Персея, или другими полководцами прочих царей, представших в оковах перед римским народом. Осторию определяются триумфальные отличия. Его до этого успешные действия сменяются в дальнейшем частичными неудачами, то ли потому, что после устранения Каратака наши сочли, что война окончена и повели ее не в полную силу, то ли потому, что, скорбя об утрате такого царя, враги возгорелись жаждою мщения. Они окружают префекта лагеря, оставленного вместе с когортами легионов для возведения крепостей на земле силуров. И если бы из ближних укреплений не отправили с известием об этом гонцов и осажденным не пришли спешно на выручку, они были бы полностью истреблены. Тем не менее в этих боях пали префект, восемь центурионов и наиболее отважные из рядовых воинов. Немного спустя неприятель снова разгромил наших, занимавшихся заготовкою продовольствия и фуража, и высланные для их поддержки отряды вспомогательной конницы.

39. Тогда Осторий бросил на помощь когорты легковооруженных, но и это не остановило бы бегства, если бы не вступили в бой легионы. Их мощь уравняла положение сражающихся сторон, и вскоре наши стали брать верх. Враги, понеся незначительные потери, ибо день был уже на исходе, бежали. С той поры следовали одна за другою бесконечные, чаще похожие на грабительские набеги, стычки то среди горных лесов, то среди топей, куда кого приводили случай или отвага, опрометчивая попытка или продуманный замысел, жажда мщения или поиски добычи, по приказанию, а иной раз и без ведома военачальников. В этих схватках силуры дра-

лись с невиданным дотоле упорством, ибо их распаляла распространившаяся молва о словах римского полководца, заявившего во всеуслышание, что, подобно тому как некогда было частью истреблено, частью переправлено в Галлию племя сугамбров, так должно искоренить даже самое имя силуров. Захватив врасплох две когорты вспомогательных войск, неосторожно увлекшихся грабежом из-за жадности начальствовавших над ними префектов, враги принялись щедро распределять трофеи и пленных и подстрекать другие народы к возмущению против нас; и случилось так, что именно в эти дни, не выдержав бремени тяжких забот, умер Осторий; его кончина немало обрадовала врагов, считавших, что, если этот отнюдь не заслуживавший презрения полководец и не был умерщвлен в битве, его все же умертвила война.

40. Узнав о смерти легата, Цезарь, чтобы не оставлять провинцию без правителя, назначил вместо него Авла Дидия. Прибыв со всей возможной поспешностью, тот, однако, застал там тревожное положение, ибо, пока он находился в пути, враги нанесли поражение легиону, которым начальствовал Манлий Валент; молву об этом событии они всячески раздували, чтобы устрашить прибывающего к ним римского полководца, а он, в свою очередь, преувеличил дошедшие до него слухи, чтобы снискать себе бóльшую славу, если ему удастся положить конец беспорядкам, и бóльшую снисходительность, если они затянутся. Этот урон причинили нам те же силуры, и они наседали на нас во многих местах, пока не были рассеяны стремительным наступлением Дидия. После пленения Каратака наиболее сведущим в военном деле среди врагов был Венуций из племени бригантов, о чем я упоминал выше[18], долгое время хранивший нам верность и поддерживаемый римским оружием, пока он состоял в браке с царицею Картимандуей, но после происшедшего между ними разрыва, а затем и войны ставший проявлять враждебность и в отношении нас. Впрочем, вначале борьба шла лишь между ними самими, и Картимандуя, прибегнув к хитрости, захватила брата и родственников Венуция. Это особенно распалило ее врагов, считавших бесчестьем подчиняться владычеству женщины, и отборные воины с их стороны предпринимают нападение на царский дворец. Мы предвидели это заранее, и высланные на помощь царице когорты вступили в

ожесточенный бой с неприятелем, протекавший вначале с переменным успехом, но в конце концов увенчавшийся нашей победой. С таким же успехом сразился и легион, которым начальствовал Цезий Назика; и вообще, обремененный преклонным возрастом и осыпанный почетными наградами, Дидий полагал достаточным сдерживать неприятеля, действуя через своих подчиненных. Хотя сообщенное мною было выполнено в течение нескольких лет и двумя пропреторами, я объединил их деяния вместе, дабы, отдаленные друг от друга, они не подверглись незаслуженному забвению[19]. Возвращаюсь к повествованию по годам.

41. При консулах Тиберии Клавдии (в пятый раз) и Сервии Корнелии (Орфите)[20] поспешили досрочно облачить Нерона в мужскую тогу[21], дабы создать впечатление, что он достаточно возмужал и способен заниматься государственными делами. Цезарь охотно внял настояниям раболепствующего сената, предложившего, чтобы Нерону, в возрасте неполных двадцати лет было предоставлено консульство, а до принятия им на себя этих обязанностей он располагал проконсульской властью за пределами города Рима и именовался главой молодежи. К тому же было решено раздать от его имени денежные подарки воинам и продовольственные простому народу. На цирковом представлении, данном с целью привлечь к нему благосклонность толпы, он появился в одеянии триумфатора, а Британик — в претексте: пусть народ, видя перед собою одного в убранстве полководца, а другого в детской одежде, в соответствии с этим предугадает грядущую судьбу их обоих. Вскоре затем были удалены из преторианских когорт, частью на основании вымышленных причин, частью под почетным предлогом повышения в должности, те из центурионов и военных трибунов, которые скорбели об уготованном Британику жребии; были изгнаны из дворца и сохранявшие верность Британику вольноотпущенники, причем это произошло в связи со следующим случаем. Однажды, когда Нерон и Британик при встрече обменялись приветствиями, первый обратился ко второму по имени, а тот назвал Нерона Домицием. Агриппина с горькими жалобами сообщает об этом мужу как о свидетельстве начавшейся между сводными братьями розни: с усыновлением Нерона не желают считаться, в лоне семьи отменяется

постановленное сенатом, предписанное народом; если своевременно не пресечь вопиющую злонамеренность подстрекателей, она приведет к гибели государства. Встревоженный этими обвинениями, Клавдий обрекает на изгнание или смерть всех наиболее честных и неподкупных воспитателей сына и попечение о нем отдает в руки назначенных мачехой.

42. Но предпринять решительные шаги Агриппина все-таки не отваживалась, пока во главе преторианских когорт оставались Лузий Гета и Руфрий Криспин, которые, по ее убеждению, были преданы памяти Мессалины и питали привязанность к ее детям. И вот она внушает мужу, что, домогаясь расположения воинов, они разлагают когорты, тогда как при единоначалии в тех же когортах установится более строгая дисциплина. Так она добилась передачи когорт в подчинение Афранию Бурру, выдающемуся военачальнику, о котором шла добрая слава, но которому, однако, было известно, кому он обязан своим назначением. Вместе с тем Агриппина стремилась придать себе как можно больше величия: она поднялась на Капитолий в двуколке, и эта почесть, издавна воздававшаяся только жрецам и святыням, также усиливала почитание женщины, которая — единственный доныне пример — была дочерью императора, сестрою, супругою и матерью принцепсов[22]. Но тем не менее по доносу сенатора Юния Лупа предъявляется обвинение престарелому годами Вителлию, который был главнейшей ее опорою и пользовался огромным влиянием (сколь превратны судьбы могущественных!). Доносчик обвинял его в оскорблении величия и в намерении захватить власть, и Клавдий с готовностью поверил бы этому, если бы Агриппина скорее угрозами, нежели просьбами, не переломила его и не вынудила лишить обвинителя воды и огня: таково было желание самого Вителлия.

43. В этом году было много знамений: на Капитолий сели зловещие птицы; во время землетрясения от следовавших друг за другом толчков обрушились дома, и так как страх пред еще бóльшими бедствиями вызвал смятение, в образовавшейся давке было растоптано много людей; недостаток в зерне и возникший из-за этого голод также принимались за знаменья. И дело не ограничилось глухим ропотом, но разбиравшего судебные тяжбы Клавдия окружили с буйными выкриками и, оттеснив на край форума, зажали в кольцо и не

выпускали оттуда, пока он не пробился наконец сквозь стену возбужденных людей, выручённый отрядом воинов. Стало известно, что продовольствия в Риме оставалось не более чем на пятнадцать суток, и от величайшего бедствия город избавили лишь благоволение богов и мягкость зимы. А ведь было время, когда Италия снабжала продовольствием свои находившиеся в отдаленных провинциях легионы, да и сейчас она не страдает бесплодием, но мы предпочитаем возделывать Африку и Египет, и жизнь римского народа доверена кораблям и случайностям.

44. Вспыхнувшая в том же году война[23] между армянами и иберами вызвала крайнюю напряженность и в отношениях римлян с парфянами. Парфянским народом повелевал Вологез, родившийся от гречанки-наложницы и получивший царскую власть по соглашению с братьями; над иберами с давних пор властвовал Фарасман, над армянами, при нашей поддержке, — брат его Митридат. У Фарасмана был сын по имени Радамист; статный, отличавшийся редкою телесною силой, овладевший всеми науками и искусствами, которым обучают на его родине, он был широко известен и среди соседних народов. Радамист слишком часто и горячо сетовал на старость отца, из-за которой скромные пределы Иберского царства остаются неизменными, чтобы снедавшее его честолюбие могло остаться для кого-нибудь тайною. И вот Фарасман, на склоне лет опасаясь охваченного жаждою власти и опирающегося на народную любовь юноши, начинает разжигать в нем иные надежды и указывать на Армению, вспоминая, что после изгнания из нее парфян он сам отдал ее Митридату; впрочем, применение силы следует отложить на будущее, а пока выгоднее прибегнуть к хитрости, чтобы тем легче осилить застигнутого врасплох царя. И Радамист, притворившись, что у него произошла ссора с отцом и он бессилен против гонений мачехи, отправляется к дяде и, принятый им с сердечною лаской, словно он был его сыном, за спиной Митридата, который ни о чем не догадывался и всячески возвышал его, подстрекает армянских вельмож к государственному перевороту.

45. Под предлогом примирения возвратившись затем к отцу, он сообщает, что достигнуто все, чего можно было добиться обманом, а прочее следует довершить оружием. Тог-

да Фарасман измышляет повод к войне: сражаясь в свое время с царем альбанов, он хотел обратиться за помощью к римлянам, чему, однако, воспротивился его брат, и в отмщение за эту обиду он выступает в поход, чтобы его низложить. Одновременно он передал в распоряжение сына большое войско. И тот вынудил устрашенного внезапным вторжением и прогнанного с равнин Митридата укрыться в крепости Горнеях, защищенной и местоположением, и римским гарнизоном во главе с префектом Целием Поллионом и центурионом Касперием. Нет ничего, в чем варвары были бы столь же несведущи, как в осадных орудиях и искусстве брать приступом крепости. Тщетно и со значительными потерями попытавшись овладеть укреплениями, Радамист приступает к осаде; и так как тут ничего нельзя было сделать силою, он подкупает алчного Поллиона, несмотря на то что Касперий заклинал того не предавать вероломно и корыстно царя-союзника и Армению, отданную ему в дар римским народом. Но Поллион в свое оправдание ссылался на многочисленность неприятеля, а Радамист — на приказания, полученные им от отца, и Касперий, заключив перемирие, в конце концов оставляет крепость, с тем чтобы, если ему не удастся заставить Фарасмана отказаться от этой войны, известить хотя бы о положении дел в Армении правителя Сирии Умидия Квадрата.

46. После ухода центуриона префект, как бы избавившись от надзиравшего за ним стража, принимается уговаривать Митридата примириться с Фарасманом, указывая, что они кровные братья, что Фарасман — старше, что их связывают и другие узы родства: ведь он женат на дочери Фарасмана и тесть Радамисту; имея превосходство в силе, иберы тем не менее не отвергают мира; хорошо известно вероломство армян, и у него, Митридата, нет другой опоры, кроме не обеспеченной продовольствием крепости; не лучше ли без пролития крови покончить с распрею, оставив сомнительные расчеты на оружие. И пока Митридат колеблется, не доверяя советам префекта, ибо тот насилием овладел царской наложницей и вообще считался человеком продажным, от которого можно ждать любой низости, Касперий проникает к Фарасману и настаивает, чтобы иберы сняли осаду с крепости. Тот, давая уклончивые ответы, не останавливаясь и перед

лживыми обещаниями, секретно отправляет гонцов к Радамисту с повелением во что бы то ни стало и возможно скорее захватить Митридата. Плата за предательство увеличивается, и Поллион тайным подкупом подбивает воинов требовать заключения мира и угрожать, что в противном случае крепость будет ими покинута. Вынужденный необходимостью, Митридат соглашается на предложенные ему Радамистом время и место заключения мирного договора и оставляет Горней.

47. В условленный день Радамист, устремившись навстречу, заключает их в объятия, обращается к нему с притворной почтительностью, называет тестем и отцом; клянется, что не посягнет на него ни мечом, ни ядом, и при этом увлекает его в ближнюю рощу, говоря, что в ней сделаны необходимые приготовления к закланию жертвы, дабы мир между ними был заключен при богах-свидетелях. У восточных царей в обычае всякий раз, как они вступают в союз, выставлять перед собою правые руки и, приложив друг к другу большие пальцы, туго перетягивать их узлом; а когда пальцы нальются кровью, она выпускается из них посредством легких надрезов, и цари друг у друга ее высасывают. Заключенный подобным образом договор почитается нерушимым, будучи как бы освящен кровью его участников. Но тот, кто тогда перетягивал царям пальцы, сделав вид, будто падает, обхватывает колени Митридата и валит его с ног; немедленно сбегается много народа, и на Митридата налагают оковы. Затем его водили, влача за ножную цепь, что считается позорным у варваров, и так как он, властвуя, круто обходился с простым народом, толпа осыпала его поношениями и грозила расправой. Впрочем, попадались в ней и такие, кто, наблюдая столь разительную перемену в его судьбе, сострадали ему; рыдая в голос, в сопровождении малых детей за ним следовала жена. В ожидании испрошенных у Фарасмана распоряжений их порознь помещают в крытых повозках. Жажда завладеть царством пересилила в Фарасмане жалость к брату и дочери, и душою он был готов к совершению злодеяния; он не пожелал, однако, присутствовать при их умерщвлении, а Радамист, памятуя о данной им клятве не посягать на жизнь сестры и дяди ни мечом, ни ядом, велит их удушить, повалив на землю и накрыв большой и тяжелой грудой одежды. И так

как сыновья Митридата оплакивали убитых родителей, были истреблены и они.

48. Между тем Квадрат, узнав, что Митридат предан и армянское царство захватили его убийцы, созывает совещание и, сообщив о случившемся, спрашивает собравшихся, нужно ли покарать виновных. Заботу о достоинстве Римского государства проявили лишь очень немногие; большинство высказалось за то, что́ безопаснее: всякое преступление у чужестранцев следует принимать с радостью; больше того, надлежит сеять семена междоусобиц, как нередко поступали римские принцепсы, предоставляя тому или иному под видом щедрого дара ту же Армению, дабы распалить души варваров и толкнуть их на смуту; пусть Радамист владеет преступно захваченным, лишь бы он был окружен всеобщею ненавистью и запятнан позором; ведь это выгоднее, чем если бы он был низложен, овеянный славой. Это мнение и возобладало. Впрочем, чтобы не могло показаться, что ими это злодеяние одобряется, и на случай, если бы Цезарь распорядился иначе, к Фарасману послали гонцов с требованием уйти из пределов Армении и увести с собой сына.

49. В Каппадокии был прокуратором Юлий Пелигн, одинаково презираемый как за низость души, так и за телесное безобразие, но тем не менее весьма близкий к Клавдию, ибо в былое время, будучи еще частным лицом, тот проводил свой бездеятельный досуг в обществе прихлебателей. Этот Пелигн созвал вспомогательное войско провинции якобы с целью отвоевать Армению, но, так как от творимых им грабежей больше страдали союзники, чем враги, его воинские силы редели, и, нуждаясь в защите от наседавших на него варваров, он явился в конце концов к Радамисту; купленный подарками Радамиста, он принялся убеждать его надеть царские знаки отличия, и сам присутствовал при их возложении как пособник и вдохновитель. Но когда распространилась молва о столь постыдном его поведении, чтобы и других не сочли такими же, как Пелигн, высылается легион во главе с легатом Гельвидием Приском, которому было поручено покончить со смутою, действуя в зависимости от обстоятельств. Итак, поспешно перевалив через Таврские горы и успев навести порядок больше умеренностью, чем применением силы, он получает приказ возвратиться в Сирию, дабы не вызвать войны с парфянами.

50. Ибо Вологез, сочтя, что представился случай вступить в Армению, ранее находившуюся во владении его предков и коварно захваченную иноземным царем, стягивает войска и готовится возвести на армянский престол брата своего Тиридата, чтобы никто из его рода не был обойден царством. Двинувшись на Армению, парфяне без боя прогнали иберов, и армянские города Артаксата и Тигранокерта сдались на милость победителя. Но затем суровость зимы и недостаток съестных припасов, а также возникшее из-за того и другого моровое поветрие побуждают Вологеза отказаться от начатого им предприятия. И в никем не занятую Армению опять вторгается Радамист, еще более свирепый, чем прежде, ибо на этот раз он смотрел на ее обитателей как на изменников, готовых, как только сложатся благоприятные обстоятельства, снова подняться на него мятежом. И действительно, они, сколь ни были приучены к рабству, теряют терпение и с оружием в руках окружают царский дворец.

51. Спасли Радамиста лишь быстрые кони, умчавшие его и жену. Беременная жена из страха перед врагами и любви к мужу вначале через силу переносила тяготы бегства; но измученная непрерывною скачкой, от которой сотрясалось ее отягощенное плодом чрево и внутренности, она стала молить Радамиста, чтобы, подарив ей честную смерть, он избавил ее от надругательств плена. Сперва он ее обнимает, поддерживает, уговаривает, то восхищаясь ее целомудрием, то впадая в неистовство при мысли о том, что, если она будет покинута им, ею овладеет другой. Наконец, охваченный ревностью, Радамист, обнажив акинак[24], пронзает ее привычной к убийствам рукою, уносит раненую на берег Аракса и бросает в реку, чтобы даже мертвою она не досталась врагам: после этого он устремляется к пределам иберов и достигает отцовского царства. Между тем Зенобию (ибо таково было имя его жены), еще дышащую и подающую явные признаки жизни, замечают в спокойной заводи пастухи и, заключив по благородству ее лица, что она не простого звания, перевязывают ей рану, лечат деревенскими средствами и, узнав ее имя, а также, что́ с нею произошло, относят в город Артаксату, откуда попечением городских властей она была доставлена к Тиридату, который ласково принял ее и отнесся к ней как к царице.

52. В консульство Фавста Суллы и Сальвия Отона был отправлен в изгнание Фурий Скрибониан, якобы вопрошавший халдеев, когда умрет Цезарь. К этому обвинению приплетали и его мать Вибию, которая не могла смириться с предыдущим своим осуждением (тогда она была сослана)[26]. Отец Скрибониана Камилл в свое время поднял мятеж против Цезаря, и тот утверждал, что если этому отпрыску враждебного рода вторично оставлена жизнь, то этим он обязан только его милосердию. Однако последующая жизнь изгнанника оказалась недолгой: унесла ли его случайная смерть или он был умерщвлен ядом, об этом каждый толковал соответственно своему убеждению. Тогда же было издано сенатское постановление об изгнании астрологов из Италии — грозное и бесплодное. Позднее принцепс похвалил в своей речи сенаторов, по недостатку средств добровольно вышедших из сенаторского сословия, и вывел из него тех, кто, оставаясь в нем, добавлял к своей бедности еще и бесстыдство.

53. Тогда же Клавдий выступает в сенате с предложением относительно наказания женщин в случае их брачного сожительства с рабами, и сенаторы постановляют, что, если они дошли до такого падения без ведома владельца раба, их подобает считать обращенными в рабство, если с его согласия — вольноотпущенницами. И так как Цезарь объявил, что автор внесенного законопроекта — Паллант, консул на следующий срок Барея Соран предложил даровать Палланту преторские знаки отличия и пятнадцать миллионов сестерциев, а Корнелий Сципион добавил, что ему, сверх того, следует принести благодарность от лица государства, ибо, происходя от царей Аркадии, он ради общественной пользы пренебрег своей восходящей к глубокой древности знатностью и удовлетворяется положением одного из помощников принцепса. Клавдий подтвердил, что, довольствуясь почестями, Паллант по-прежнему беден. И вот, начертанный на медной доске, был вывешен сенатский указ, в котором вольноотпущенник, обладатель трехсот миллионов сестерциев, превозносился восхвалениями за старинную неприхотливость и довольство малым.

54. Но подобной умеренности не обнаруживал его брат по имени Феликс, который, уже давно пребывая правителем Иудеи, считал, что при столь могущественной поддержке может безнаказанно творить беззакония. Среди иудеев дей-

ствительно возникли волнения и начался мятеж, когда...[27] и хотя после того как стало известно о его умерщвлении, это исполнено не было, их тем не менее не оставлял страх, как бы кто из принцепсов не повелел им того же. Между тем Феликс неуместными мерами толкал их на новые беспорядки, причем в злоупотреблениях всякого рода с ним соревновался Вентидий Куман, ведавший частью провинции, которая была поделена между ними так, что Вентидию подчинялся народ галилеян, а Феликсу — самаритяне; те и другие издавна враждовали, а тогда, из презрения к обоим правителям, и вовсе перестали сдерживать взаимную ненависть. Итак, они принялись грабить друг друга, посылать друг к другу шайки разбойников, подстраивать засады, а порою затевать и подлинные сражения, делясь с прокураторами награбленным и захваченною добычею. Те вначале были очень довольны, но когда смута угрожающе возросла, вмешались в нее военною силой; наши воины были перебиты бунтовщиками, и провинция запылала бы в пожаре войны, если бы ей на помощь не явился правитель Сирии Квадрат. Он недолго раздумывал, как поступить с иудеями, дерзнувшими на убийство воинов, и они поплатились за него головой; медлил он лишь в отношении Кумана и Феликса (прослышав о причинах восстания, Клавдий предоставил ему свершить правосудие и над обоими прокураторами), но Квадрат, дабы умерить рвение обвинителей, взял Феликса с собою на трибунал и посадил его среди судей, и за преступление, совершенное ими обоими, был осужден только Куман, после чего в провинции восстановилось спокойствие.

55. Немного позднее дикие племена Киликии, называемые клитами, нередко нарушавшие спокойствие и прежде, объединившись под предводительством Троксобора и расположив лагерь в труднопроходимых горах, стали производить оттуда набеги на побережье и города, нападая на земледельцев и горожан, и в особенности на купцов и мореплавателей. Они обложили осадою город Анемурий; высланный из Сирии ему на помощь конный отряд под начальством префекта Курция Севера потерпел поражение, так как пересеченная местность в окрестностях города, удобная для пехотинцев, была непригодна для действий конницы. В дальнейшем царь той страны Антиох, снискав расположение простых во-

инов и обманув их вождя, внес раскол в скопище врагов и, предав смерти Троксобора и нескольких других главарей, милостивым обращением смирил остальных.

56. Около того же времени была прорыта гора между Фуцинским озером и рекой Лирисом[28], и чтобы возможно большее число зрителей могло увидеть это великолепное сооружение, на озере устраивают навмахию[29], подобно тому как, соорудив водоем за Тибром, такую же битву, на более легких и менее многочисленных кораблях, показал некогда Август. Клавдий снарядил триремы и квадриремы, посадив на них девятнадцать тысяч человек; у берегов озера со всех сторон были расставлены плоты, чтобы сражающимся некуда было бежать, но внутри этого ограждения оставалось довольно простора для усилий гребцов, для искусства кормчих, для нападения кораблей друг на друга и для всего прочего, без чего не обходятся морские бои. На плотах стояли манипулы преторианских когорт и подразделения конницы, на них же были возведены выдвинутые вперед укрепления с готовыми к действию катапультами и баллистами, тогда как остальную часть озера стерегли моряки на палубных кораблях. Берега, холмы, вершины окрестных гор заполнили, как в амфитеатре, несметные толпы зрителей, привлеченных из ближних городов и даже из Рима[30] жаждою к зрелищам, тогда как иных привело сюда стремление угодить принцепсу. Сам он в роскошном военном плаще и невдалеке от него Агриппина в вытканной из золотых нитей хламиде занимали первые места. И хотя сражение шло между приговоренными к смерти преступниками, они бились как доблестные мужи, и после длительного кровопролития оставшимся в живых была сохранена жизнь.

57. По окончании зрелища, разобрав запруду, открыли пути водам: но тут стала очевидной непригодность канала, подведенного к озеру выше уровня его дна или хотя бы половинной его глубины. Из-за этого в течение некоторого времени продолжались работы по его углублению, и затем, чтобы снова привлечь народ, на озере возводят помост для пешего боя и на нем даются гладиаторские игры. Возле места, где озеру предстояло устремиться в канал, было устроено пиршество, участников которого охватило смятение, когда хлынувшая с огромною силой вода стала уносить все попадавшееся

на ее пути, сотрясая, и находившееся поодаль, сея ужас поднятым ею ревом и грохотом. Воспользовавшись испугом принцепса, Агриппина принимается обвинять ведавшего работами на канале Нарцисса в алчности и хищениях, но и он не молчит, упрекая ее в женской необузданности и в чрезмерно высоко метящих замыслах.

58. В консульство Децима Юния и Квинта Гатерия[31] шестнадцатилетний Нерон сочетался браком с дочерью Цезаря Октавией. Чтобы дать молодому человеку возможность блеснуть начитанностью и красноречием, ему поручили выступить в поддержку ходатайства жителей Илиона, и, упомянув в искусно составленной речи, что римский народ происходит из Трои, что родоначальник Юлиев — Эней и прочее, по своей древности недалеко отстоящее от баснословных сказаний, он добивается снятия с жителей Илиона всех государственных повинностей. Он же выступил с речью, в которой убедил дать уничтоженной пожаром Бононской колонии вспомоществование в размере десяти миллионов сестерциев. Тогда же родосцам были возвращены их вольности, не раз отнимавшиеся у них и вновь закреплявшиеся за ними в зависимости от их заслуг в наших войнах с внешним врагом или от поднимаемых ими против нас мятежей, и на пять лет сложены подати с разрушенной землетрясением Апамеи.

59. Между тем Агриппина своими кознями и ухищрениями толкала Клавдия на ничем не оправданные жестокости и с целью овладеть садами знаменитого своим богатством Статилия Тавра погубила его, найдя обвинителя в лице Тарквития Приска. Легат Тавра в бытность того проконсулом Африки, он вменял Тавру в вину, после их возвращения из провинции, отчасти лихоимство, но главным образом злонамеренные сношения с магами. И Тавр, не вынеся лживого обвинения и бесчестившей его клеветы, сам пресек себе жизнь, не дожидаясь приговора сената. Однако Тарквитий был исключен из сенаторского сословия: сенаторы, вопреки проискам Агриппины, настояли на этом решении из ненависти к доносчику.

60. В том же году от Клавдия не раз слышали, что судебные решения, которые будут приняты его прокураторами, должны выполняться с такой же неукоснительностью, как если бы их принял он сам. И чтобы не сочли его слова случай-

ной обмолвкою, то же самое, еще пространнее и обстоятельнее, было закреплено в изданном по этому поводу сенатском постановлении. Ведь в свое время божественный Август повелел предоставить управлявшим Египтом всадникам право отправления правосудия и признавать за их приговорами такую же законную силу, как если бы они были вынесены римскими магистратами[32]; затем и в других провинциях, и в самом Риме им были присвоены многие такие права, которыми ранее располагали лишь преторы. Клавдий полностью передал в их руки судебную власть, из-за которой столько раз возникали гражданские раздоры и вооруженные столкновения, и когда по законопроекту Семпрония[33] отправление правосудия было поручено исключительно всадническому сословию, и когда законом Сервилия[34] судебную власть снова возвратили сенату, да и Марий некогда воевал с Суллою главным образом из-за этого права. Но тогда вели борьбу сословия и исход спора имел общее значение для государства. Опираясь на могущество Цезаря[35], Гай Оппий и Корнелий Бальб оказались первыми всадниками, облеченными властью обсуждать условия мира и решать вопрос о войне. Незачем называть последовавших за ними Матия, Ведия и другие громкие имена прославленных римских всадников, раз Клавдий уравнял с собой и с законом даже вольноотпущенников, которых он поставил ведать своим личным имуществом.

61. Затем он предложил сенату снять бремя повинностей с жителей острова Коса и при этом много говорил об их древности; древнейшими обитателями этого острова, если не считать Кея, отца Латоны, были аргивяне; впоследствии прибывший к ним Эскулапий познакомил их с искусством врачевания, которым усердно занимались его потомки, — Клавдий назвал их поименно и сообщил, в какое время кто из них был знаменит. Далее он сказал, что к тому же роду принадлежит и Ксенофонт, к знаниям которого он прибегает, и поэтому следует пойти навстречу его ходатайству и освободить жителей Коса от каких бы то ни было податей, дабы они полностью посвятили себя заботе об этом священном и всецело преданном богу острове. Можно было бы, несомненно, указать и на их многочисленные заслуги перед римским народом, на совместно с ними одержанные нами победы, но Клавдий с привычною для него беспечностью не стал утаивать с

помощью дополнительных доводов, что, идя на эту уступку, он смотрит на нее как на личное одолжение Ксенофонту.

62. Но зато посланцы Бизантия, получив возможность предстать перед сенатом и жалуясь на непомерную тяжесть податей, не упустили распространиться обо всем, что могло пойти им на пользу. Начав с союза, который они заключили с нами в те дни, когда мы воевали с царем македонян, получившим, поскольку он был самозванец, наименование Лжефилиппа[36], они вслед за тем вспомнили о вооруженных силах, посланных ими против Антиоха, Персея, Аристоника, о помощи Антонию во время войны с пиратами[37], о том, что́ было сделано ими для Суллы, Лукулла, Помпея, наконец, о позднейших услугах Цезарям, ибо местоположение их города таково, что они могут содействовать передвижению по суше и морю полководцев с войсками и подвозу для них продовольствия.

63. И действительно, греки расположили Бизантий на самом краю Европы, там, где пролив, отделяющий Европу от Азии, наиболее узок: запросив пифийского Аполлона, где им основать город, они получили оракул, гласивший, что для этого следует приискать место напротив владений слепцов[38]. Это темное прорицание указывало на халкедонян, которые, попав сюда первыми и имея возможность постигнуть преимущества этой местности, избрали для себя худшую. Ведь Бизантий стоит на плодородной земле, возле обильного рыбою моря, ибо огромные косяки ее, пробившись из Понта и испуганные протянувшейся наискось грядою подводных скал, отклоняются от изгиба противолежащего берега и устремляются в гавани этого города. Благодаря столь благоприятному обстоятельству жители его извлекали вначале большую выгоду и богатели, но, изнемогая под тяжестью податей, вынуждены молить или о полном снятии их, или хотя бы об уменьшении их размера. Их просьба была поддержана принцепсом, подтвердившим, что, истощенные недавними войнами с фракийцами и Боспорским царством, они нуждаются в безотлагательной помощи. И их на пять лет освободили от податей.

64. В консульство Марка Азиния и Мания Ацилия[39] частые знамения заставили ожидать перемены к худшему. Сгорели зажженные небесным огнем боевые значки и палатки

воинов; на вершине Капитолия сел пчелиный рой; рождались люди со звериными членами, и свинья произвела поросенка с ястребиными когтями. Зловещим предзнаменованием явилась и убыль в числе высших магистратов, ибо в течение немногих месяцев скончались квестор, эдил, народный трибун, претор и консул[40]. Но больше всего Агриппину устрашили слова, вырвавшиеся у захмелевшего Клавдия, что такова уж его судьба — выносить беспутство своих жен, а затем обрушивать на них кару[41]; опасаясь за свое будущее, она решила действовать, и притом поспешить: прежде всего, движимая женскою нетерпимостью, она погубила Домицию Лепиду, ибо Лепида, дочь младшей Антонии, внучатая племянница Августа, двоюродная тетка Агриппины и сестра ее прежнего мужа Гнея, считала, что не уступает ей в знатности. Внешностью, возрастом, богатством они мало чем рознились: обе распутные, запятнанные дурною славою, необузданные, — они не меньше соперничали в пороках, чем в том немногом хорошем, которым их, возможно, наделила судьба. Но ожесточеннее всего они боролись между собой за то, чье влияние на Нерона возобладает — матери или тетки; Лепида завлекала его юношескую душу ласками и щедротами, тогда как Агриппина, напротив, была с ним неизменно сурова и непреклонна: она желала доставить сыну верховную власть, но терпеть его властвование она не могла.

65. Обвинили Лепиду в том, что посредством колдовских чар она пыталась извести жену принцепса и что, содержа в Калабрии толпы буйных рабов, нарушала мир и покой Италии. За это ее осудили на смерть, чему всеми силами противодействовал Нарцисс, который, день ото дня все больше и больше подозревая Агриппину в злонамеренных умыслах, сказал однажды, как сообщают, в тесном кругу друзей, что он обречен на верную гибель, достанется ли верховная власть Британику или Нерону; однако он стольким обязан Цезарю[42], что ради его пользы готов пожертвовать жизнью. Он, Нарцисс, изобличил Мессалину и Силия; если власть попадет в руки Нерона, то и тот будет располагать сходными основаниями для его осуждения; но зато если наследником будет признан Британик, это избавит принцепса от опасности; а бесстрастно наблюдать козни мачехи, столь пагубные для всей семьи Цезаря, он счел бы для себя еще бóльшим позором,

чем если бы умолчал о распутстве его предыдущей жены. Хотя и на этот раз нет недостатка в распутстве: Паллант — любовник Агриппины, и ни в ком не вызывает сомнений, что честь, благопристойность, стыд — все это для нее не имеет значения по сравнению с властью. Так рассуждая, Нарцисс возлагал все упования на Британика и, простирая руки то к богам, то к нему самому, молился о том, чтобы он возможно скорее достиг зрелого возраста, чтобы, возмужав, низвергнул врагов отца и отмстил также убийцам матери.

66. Под гнетом тяжких забот Нарцисс занемог и для восстановления сил мягкой погодой и целебными водами отправился в Синуессу. Тогда Агриппина, уже давно решившаяся на преступление и торопившаяся воспользоваться удобным случаем, тем более что у нее были слуги, на которых она могла положиться, задумалась о том, какой вид яда ей следует применить: если его действие будет внезапным и быстрым, то как бы не раскрылось ее преступление; если же она изберет медленно действующий и убивающий исподволь, то как бы Клавдий на пороге смерти не понял, что он жертва коварства, и не возвратил своей любви сыну[43]. Ей было желательно нечто особенное, такое, от чего помутился бы его разум и последовало постепенное угасание. И она разыскивает понаторевшую в этих делах искусницу по имени Локуста, недавно осужденную за отравления, которую еще ранее долгое время использовали как орудие самовластия. Мастерством этой женщины был составлен соответствующий яд; дал же его Клавдию евнух Галот, в обязанности которого входило приносить и отведывать предназначенные для Клавдия кушанья.

67. Вскоре все стало настолько явным, что писатели того времени подробно рассказали о происшедшем: яд был примешан к изысканному грибному блюду; что Клавдий отравлен, распознали не сразу из-за его беспечности или, может быть, опьянения; к тому же приступ поноса доставил ему видимое облегчение. Пораженная страхом Агриппина, опасаясь для себя самого худшего и не обращая внимания на неприязнь присутствующих, обращается к ранее предусмотренной помощи врача Ксенофонта. И тот, как бы затем, чтобы вызвать рвоту, ввел в горло Клавдия смазанное быстродействующим ядом перо, хорошо зная, что если затевать ве-

личайшие преступления невозможно, не подвергаясь опасности, то зато преуспевший в них щедро вознаграждается.

68. Между тем созывались сенаторы; консулы и жрецы провозглашали торжественные обеты, молясь об исцелении принцепса, тогда как его, уже бездыханного, обкладывали припарками и покрывалами с намерением скрывать его смерть, пока не будут приняты меры, которыми была бы закреплена за Нероном верховная власть. Как бы убитая горем и ищущая утешения Агриппина сразу же после кончины Клавдия припала к Британику и заключила его в объятия; называя его точным подобием отца, она всевозможными ухищрениями не выпускала его из покоя, в котором они находились. Задержала она при себе и его сестер Антонию и Октавию и, приставив стражу ко всем дверям, время от времени объявляла, что состояние принцепса улучшается, делая это ради того, чтобы поддерживать в воинах надежду на хороший исход и дождаться благоприятного часа, указанного предвещаниями халдеев.

69. И вот в полдень, в третий день до октябрьских ид, внезапно широко распахиваются двери дворца и к когорте, по заведенному в войске порядку охранявшей его, выходит сопровождаемый Бурром Нерон. Встреченного по указанию префекта приветственными кликами, его поднимают на носилках. Говорят, что некоторые воины заколебались: озираясь по сторонам, они спрашивали, где же Британик; но так как никто не призвал их к возмущению, им только и оставалось покориться. Принесенный в преторианский лагерь, Нерон, произнеся подобавшую обстоятельствам речь и пообещав воинам столь же щедрые, как его отец, денежные подарки, провозглашается императором. За решением войска последовали указы сената; никаких волнений не было и в провинциях. Клавдию определяются почести, воздаваемые богам, и похороны его обставляются с такой же торжественностью, с какою был похоронен Август, ибо Агриппина соревновалась в пышности со своей прабабкою Ливией. Завещание его, однако, оглашено не было, дабы предпочтение, отданное им пасынку, хотя у него был собственный сын, своею несправедливостью не смутило простой народ и не вызвало в нем негодования.

Книга тринадцатая

1. Первым, кто при новом принципате, но без ведома Нерона, пал жертвой коварства Агриппины, был проконсул провинции Азии Юний Силан, и не потому, что он навлек на себя гибель резким характером, — напротив, его вялость вызывала столь пренебрежительное отношение к нему со стороны предыдущих властителей, что Гай Цезарь называл его золотою овечкой, — а потому, что, погубив его брата Луция Силана, Агриппина страшилась возмездия, ибо в народе шли упорные толки, что едва вышедшему из детского возраста и преступно овладевшему верховною властью Нерону следует предпочесть мужа в зрелых годах, ничем не запятнанного, знатного и из потомков Цезарей, что тогда почиталось превыше всего: ведь и Силан также был праправнук божественного Августа[1]. Такова была причина его умерщвления. Исполнителями были римский всадник Публий Целер и вольноотпущенник Гелий, ведавшие личным имуществом принцепса в провинции Азии. Они отравили проконсула среди пира, и притом так открыто, что это ни для кого не осталось тайною. С такой же поспешностью истребляется и Нарцисс, вольноотпущенник Клавдия, о столкновении которого с Агриппиною я уже говорил; брошенного в темницу, его, против воли принцепса, чьи еще не проявившиеся в ту пору пороки были столь родственны алчности и вместе с тем расточительности Нарцисса, жестоким обращением и лишениями довели до смерти.

2. И убийства подобного рода пошли бы одно за другим, если бы этому не воспрепятствовали Афраний Бурр и Анней Сенека. Руководители и наставники юного императора, пребывавшие (редкость у делящих власть) в добром согласии, они в равной мере, но различными путями приобрели силу, Бурр — заботами о войске и строгостью нравов, Сенека — наставлениями в красноречии и свободной от подобострастия обходительностью. Они совместно пеклись о том, чтобы, предоставив принцепсу, если он пренебрежет добродетелью, дозволенные наслаждения, уберечь его тем самым от соблазнов опасного возраста. И тот и другой боролись лишь с необузданным высокомерием Агриппины, одержимой всеми

страстями жестокого властолюбия и поддерживаемой Паллантом, по наущению которого Клавдий кровосмесительным браком и роковым усыновлением сам себя обрек гибели. Но характер Нерона был не таков, чтобы покоряться рабам, и Паллант наглой заносчивостью, перейдя границы допустимого для вольноотпущенника, навлек на себя его неприязнь. Внешне, однако, Агриппине оказывались всевозможные почести, и когда трибун по заведенному в войске порядку спросил у Нерона, каков будет пароль, тот ответил: «Превосходная мать». Да и сенат постановил дать ей двоих ликторов и назначил ее жрицей Клавдия, одновременно определив ему цензорские похороны и вслед за тем обожествление.

3. В день похорон похвальное слово ему было произнесено принцепсом; пока речь шла о древности его рода и перечислялись консульства и триумфы всех его предков, Нерон говорил с подъемом, и его внимательно слушали; упоминание о научных занятиях Клавдия[2] и о том, что в его правление Римское государство не претерпело никаких неприятностей от иноземцев, было также выслушано с сочувствием; но когда он перешел к предусмотрительности и мудрости Клавдия, никто не мог побороть усмешку, хотя речь Нерона была составлена и тщательно отделана Сенекой, а у этого мужа было изящное, вполне соответствовавшее вкусам его времени дарование. Старики, у которых довольно досуга для сопоставления прошлого с настоящим, не преминули отметить, что из всех достигших верховной власти Нерон был первым, кто нуждался в чужом красноречии. Диктатор Цезарь являлся достойным соперником лучших ораторов. Август говорил легко и свободно, как и подобает принцепсу. Тиберий владел искусством взвешивать каждое слово и вкладывал в свои выступления богатое содержание, если намеренно не придавал им двусмысленности. Даже расстроенный разум Гая Цезаря не лишал его речь силы. Да и у Клавдия, когда он говорил обдуманно, не было недостатка в выразительности. А Нерон с раннего детства устремил живость своей души на другое: занимался чеканной работою, рисованием, пением, учился править лошадьми на ристалище; но порою, слагая стихи, и он обнаруживал, что им усвоены начатки учености.

4. По выполнении обрядов, создававших видимость скор-

би, Нерон явился в сенат и, начав с сенатского постановления относительно вручения ему власти и согласия с этим войска, сказал о том, что располагает примерами и советами, как наилучшим образом управлять государством, что его юности не довелось соприкоснуться с междоусобными войнами и семейными раздорами и что поэтому он не приносит с собою ни ненависти, ни обид, ни жажды отмщения. Затем он наметил будущий образ правления, отмежевываясь главным образом от того, что вызывало еще не заглохшее озлобление: он не станет единоличным судьей во всех судебных делах, дабы, заперев в своем доме обвинителей и подсудимых, потакать таким образом произволу немногих могущественных; он не потерпит под своей кровлей никакой продажности, не допустит никакого искательства; его дом и государство будут решительно отделены друг от друга. Пусть сенат отправляет свои издревле установленные обязанности, пусть Италия и провинции римского народа обращаются по своим делам в трибуналы консулов; пусть консулы передают их в сенат; он же будет ведать лишь теми провинциями, которые управляются военною властью.

5. Он не нарушил своего обещания, и сенат действительно беспрепятственно вынес по собственному усмотрению немало решений: так, он постановил, что никому не дозволяется брать на себя защиту в суде за какое бы то ни было вознаграждение, будь то деньги или подарки, а также что квесторы, избранные на следующий срок, не обязаны давать за свой счет гладиаторские бои. И хотя Агриппина противилась этим решениям, поскольку ими отменялись указы Клавдия, сенаторы все-таки добились своего: для обсуждения этих вопросов их вызвали во дворец, дабы, притаившись за недавно пробитыми позади их сидений дверьми, Агриппина, скрытая от их взоров занавесом, могла слышать все, что они говорили. Больше того, как-то раз, когда Нерон принимал армянских послов, отстаивавших перед ним дело своего народа, она возымела намерение подняться на возвышение, на котором он находился, и сесть рядом с ним, что и случилось бы, если бы Сенека, когда все оцепенели, пораженные неожиданностью, не предложил принцепсу пойти навстречу подходившей к возвышению матери. Так под видом сыновней почтительности удалось избегнуть бесчестья.

6. В конце года распространились тревожные слухи, что парфяне снова ринулись на Армению и захватили ее, прогнав Радамиста, который не раз завладевал этим царством и бежал из него и теперь также не оказал неприятелю сопротивления. И в Риме, падком на всевозможные толки, принялись говорить о том, сможет ли принцепс, едва достигнув семнадцати лет, возложить на себя столь тяжелое бремя и справиться с ним, годится ли на что-нибудь тот, кем распоряжается женщина, по силам ли каким-то учителям[3] руководить сражениями, осадами городов и всем тем, что несет с собою война. Другие, возражая им, утверждали, что, напротив, все обстоит много лучше, чем если бы беспомощный по старости и малодушию Клавдий был призван к военным трудам и следовал указаниям вольноотпущенников. А Бурр и Сенека известны как мужи, опытные во многом; и так ли император незрел годами, если Гней Помпей на восемнадцатом году от роду, а Октавиан Август на девятнадцатом вели гражданские войны? Дела высших властителей вершатся более их ауспициями[4] и замыслами, чем оружием и руками. Конечно, сам принцепс покажет, честные или бесчестные у него приближенные, остановив свой выбор, вопреки козням завистников, скорее на полководце выдающихся дарований, чем на каком-нибудь богаче, добывшем себе за деньги влиятельную поддержку.

7. Пока велись подобные разговоры, Нерон приказывает набрать в ближайших провинциях молодежь и отправить ее для пополнения восточных легионов, самые же легионы разместить ближе к Армении; давним нашим союзникам — царям Агриппе и Антиоху — подготовить войска и с ними вторгнуться в пределы парфян; навести мосты на реке Евфрате. Малую Армению он отдает во владение Аристобулу, область Софены — Сохему и жалует их царским достоинством. Тогда же, весьма кстати для нас, у Вологеза объявился соперник — его сын Вардан; и парфяне ушли из Армении, как бы откладывая военные действия.

8. В сенате значение этих событий было сильно преувеличено теми, кто предлагал назначить благодарственные молебствия и чтобы в дни этих молебствий принцепс носил одеяние триумфатора, чтобы он вступил в Рим с малым триумфом, чтобы в храме Марса Мстителя ему была установлена статуя таких же размеров, как статуя самого Марса, — и во

всем этом была не только привычная лесть: всех радовало, что во главе войска, предназначенного для удержания за нами Армении, Нерон поставил Домиция Корбулона, и казалось, что отныне для одаренных людей открывается широкое поприще. Вооруженные силы Востока распределяются таким образом, чтобы часть вспомогательных войск и два легиона оставались в Сирии вместе с ее легатом Умидием Квадратом, тогда как равное число римских граждан и союзников с добавлением зимовавших в Каппадокии когорт и конных подразделений было передано Корбулону. Союзные цари получили приказание повиноваться, в зависимости от хода войны, либо одному, либо другому, но сами они склонялись к тому, чтобы находиться в подчинении у Корбулона. Тот, спешно отправившись на Восток, чтобы поскорее снискать себе добрую славу — столь значительную силу в новых предприятиях, и проделав путь, встречается в городе киликийцев Эгах с Квадратом, который прибыл туда ради того, чтобы Корбулон — статный, красноречивый и, помимо опытности и проницательности, наделенный также способностью поражать своим внешним блеском, — если явится в Сирию принимать свое войско, не овладел всеобщим вниманием.

9. Между тем и тот и другой послали к Вологезу своих людей с увещаниями предпочесть мир войне и, выдав заложников, оказывать римскому народу, по примеру предыдущих царей, подобающее ему уважение. И Вологез, то ли чтобы беспрепятственно вести подготовку к войне, то ли чтобы удалить тех, в ком он подозревал возможных соперников, отдает в заложники виднейших из Арсакидов. Принял их посланный Умидием центурион Инстей, которому довелось первым прибыть к царю по этому делу. Узнав об этом, Корбулон приказывает префекту Аррию Вару незамедлительно отправиться в путь и отобрать у Инстея заложников. По этой причине у префекта с центурионом возникли жаркие препирательства, и, чтобы не затягивать их на потеху чужеземцам, они предоставляют решение этого дела самим заложникам и сопровождавшим их царским послам, и те отдали предпочтение овеянному еще свежей славою и чем-то привлекавшему к себе даже врагов Корбулону. Отсюда — разлад между обоими полководцами: Умидий жаловался, что у него отняты плоды его стараний, тогда как Корбулон, возражая ему, ут-

верждал, что царь согласился выдать заложников лишь после того, как он, Корбулон, был поставлен во главе войска, что и сменило его самоуверенность на страх. Нерон, чтобы успокоить враждующих, повелел обнародовать, что в ознаменование одержанных Квадратом и Корбулоном успехов к императорским фасциям добавляется лавровая ветвь. Впрочем, я рассказал здесь и о том, что завершилось уже при других консулах[5].

10. В том же году Цезарь испросил у сената статую своему отцу Гнею Домицию и консульские знаки отличия Асконию Лабеону, который был в свое время его опекуном; но он отклонил предложения установить ему самому статую из чистого золота или серебра. И хотя сенаторы высказались за то, чтобы считать началом года декабрь, так как в этом месяце родился Нерон, он сохранил древний обычай начинать год с январских календ. Не были преданы суду ни сенатор Карринат Целер, обвиненный своим рабом, ни всадник Юлий Денс, которому вменялась в вину приверженность к Британику.

11. Когда в консульство Клавдия Нерона и Луция Антистия[6] высшие магистраты присягали на верность распоряжениям принцепсов, Нерон не позволил своему коллеге Антистию присягнуть на верность его повелениям, за что сенаторы превознесли его восхвалениями, дабы юная душа, поощренная славой столь малых дел, влеклась к свершению бóльших. Вслед за этим он проявил снисходительность к Плавтию Латерану, который был исключен из сенаторского сословия за прелюбодейную связь с Мессалиною и которого он возвратил сенату; о своем стремлении к милосердию он часто упоминал и в речах, подготовлявшихся для него Сенекой с намерением показать, сколь благородные правила он ему внушает, или чтобы блеснуть своим писательским дарованием.

12. Между тем влюбившись в вольноотпущенницу по имени Акте и избрав своими наперсниками блестящих молодых людей Марка Отона и Клавдия Сенециона — Отон принадлежал к семье консула, отец Сенециона был вольноотпущенник Цезаря[7], — Нерон стал понемногу выходить из-под опеки матери. Та сперва не знала о его страсти, потом начала тщетно бороться с нею, а Акте тем временем роскошью пиршеств и полными соблазна тайными встречами успела окон-

чательно пленить принцепса, причем и старшие возрастом из его приближенных ничего не имели против того, чтобы эта гетера тешила, никому не причиняя вреда, его любострастие, тем более что к жене Октавии, при всей ее знатности и безукоризненной супружеской верности, он испытывал неодолимое отвращение, то ли по воле рока, или, может быть, потому, что все запретное слаще, и они опасались, как бы Нерон, если ему воспрепятствовать в этом его увлечении, не обратился к прелюбодейным связям с женщинами именитых родов.

13. Но Агриппина с женским неистовством накидывается на сына, говоря, что его оспаривает у нее какая-то вольноотпущенница, что вчерашняя рабыня — ее невестка и много другого в том же роде; и чем яростнее она осыпала его упреками, не желая выждать, когда он одумается или пресытится, тем сильнее распаляла в нем страсть, пока он не вышел из повиновения матери и не доверился руководству Сенеки, один из друзей которого, Анней Серен, изобразив влюбленность в ту же вольноотпущенницу и предоставив свое имя, чтобы можно было открыто одарять эту гетеру тем, что, таясь ото всех, подносил ей принцепс, первое время прикрывал таким образом любовные утехи юноши. Тогда Агриппина, изменив обращение с сыном, стала окружать его лаской, предлагать ему воспользоваться ее спальным покоем и содействием, с тем чтобы сохранить в тайне те наслаждения, которых он добивался со всей неудержимостью первой молодости и к тому же наделенный верховною властью. Больше того, она признавалась, что была к нему излишне суровой, и предоставляла в его полное распоряжение свое состояние, лишь немногим уступавшее императорскому, и если ранее не знала меры в обуздании сына, то теперь была столь же неумеренно снисходительной. Эта перемена, однако, не обманула Нерона, да и ближайшие друзья предостерегали его против козней этой неизменно жестокой, а тогда, сверх того, и лицемерной женщины. Случилось, что в эти самые дни, осмотрев уборы, которыми блистали жены и матери принцепсов, Цезарь отобрал платья и драгоценности и отослал их в дар матери, проявив отменную щедрость, ибо по собственному почину, прежде чем она попросила об этом, отправил ей действительно самое лучшее, то, что больше всего восхищало

женщин. Но Агриппина тем не менее заявляет, что этим подарком сын не только не приумножил ее нарядов и украшений, но, напротив, отнял у нее все остальное, ибо выделил ей лишь долю того, чем владеет и что добыто ее стараниями.

14. Нашлись такие, которые поспешили передать ее слова принцепсу, не преминув добавить к ним яду, и Нерон, обрушив свой гнев на тех, кто поддерживал в его матери высокомерие, отстранил от заведования финансовыми делами Паллаита, который, будучи приставлен к ним Клавдием, распоряжался ими как полновластный хозяин; и рассказывали, что, когда Паллант покидал дворец в сопровождении целой толпы приближенных, Цезарь не без остроумия заметил, что он уходит, дабы всенародно принести клятву[8]. Дело в том, что Паллант заранее добился от принцепса обещания, что ничто из его прошлой деятельности никогда не будет ему вменено в вину и что его счеты с государством признаются законченными. После этого Агриппина, вне себя от ярости, перешла к угрозам, не стесняясь в присутствии принцепса заявлять, что Британик уже подрос, что он кровный сын Клавдия и достоин того, чтобы унаследовать отцовскую власть, которою пользуется, чтобы обижать мать, усыновленный отпрыск чужого рода. Она не возражает против того, чтобы люди узнали правду обо всех бедствиях несчастной семьи и прежде всего — о ее кровосмесительном браке и об отравлении ею Клавдия. Но попечением богов и ее предусмотрительностью жив и невредим ее пасынок. Она отправится вместе с ним в преторианский лагерь, и пусть там выслушают, с одной стороны, дочь Германика, а с другой — калеку Бурра и изгнанника Сенеку, которые тщатся увечной рукою и риторским языком управлять родом людским. Она простирала руки, понося Нерона и выдвигая против него одно обвинение за другим, взывала к обожествленному Клавдию, к пребывавшим в подземном царстве теням Силанов, вспоминала о стольких напрасно свершенных ею злодеяниях.

15. Встревоженный этим и тем, что близился день, когда Британику исполнится четырнадцать лет[9], Нерон размышлял о неукротимом нраве матери и о своем сводном брате, чей характер недавно раскрылся при одном самом по себе незначительном происшествии, которым тот, однако, привлек к себе всеобщее расположение. В дни праздника Сатур-

налий[10] среди прочих забав со сверстниками они затеяли игру, участники которой тянули жребий, кому из них быть царем, и он выпал Нерону. Всем прочим Цезарь отдал различные приказания, которые можно было легко и безо всякого стеснения выполнить; но когда он повелел Британику подняться со своего места и, выйдя на середину, затянуть по своему выбору песню, рассчитывая, что мальчик, не привыкший даже к трезвому обществу, не говоря уже о хмельном сборище, смешается и будет всеми поднят на смех, — тот твердым голосом начал песнь, полную иносказательных жалоб на то, что его лишили родительского наследия и верховной власти. Эти сетования Британика возбудили к нему сочувствие, тем более откровенное, что поздний ночной час и праздничное веселье освободили присутствующих от необходимости утаивать свои чувства. И Нерон, поняв, что к нему относятся неприязненно, еще сильнее возненавидел Британика. Преследуемый угрозами Агриппины и не решаясь взвалить на брата обвинение в каком-нибудь преступном деянии или открыто распорядиться об его умерщвлении, он замышляет устранить его тайными кознями и велит изготовить для него яд, поручив это дело трибуну преторианской когорты Юлию Поллиону, под надзором которого содержалась осужденная за многие преступления прославленная отравительница по имени Локуста. А о том, чтобы среди приближенных Британика не было никого, кто ставил бы во что-нибудь честность и совесть, позаботились ранее. Итак, сначала он получил отраву из рук своих воспитателей, но яд вызвал понос и не возымел губительного действия, а может быть, его и изготовили с тем расчетом, чтобы он подействовал не сразу. Но Нерону не терпелось увидеть это злодеяние совершенным. Он стал угрожать трибуну и требовать казни отравительницы, говоря, что они, остерегаясь молвы и готовя себе лазейки для оправдания, медлят с обеспечением его безопасности. И вот, пообещав ему, что Британик умрет столь же мгновенно, как если бы его поразили мечом, они варят в помещении рядом со спальным покоем Цезаря быстродействующую отраву, составленную из уже прежде испытанных смертоносных зелий.

16. Дети принцепсов, в соответствии с давним обычаем, обедали вместе со своими сверстниками из знатных се-

мейств, сидя за отдельным и менее обильным столом на виду у родителей. Обедал за таким столом и Британик, но так как его кушанья и напитки отведывал выделенный для этого раб, то, чтобы не был нарушен установленный порядок или смерть их обоих не разоблачила злодейского умысла, была придумана следующая уловка. Еще безвредное, но недостаточно остуженное и уже отведанное рабом питье передается Британику; отвергнутое им как чрезмерно горячее, оно разбавляется холодной водой с разведенным в ней ядом, который мгновенно проник во все его члены, так что у него разом пресеклись голос и дыхание. Сидевших вокруг него охватывает страх, и те, кто ни о чем не догадывался, в смятении разбегаются, тогда как более проницательные замирают, словно пригвожденные каждый на своем месте, и вперяют взоры в Нерона. А он, не изменив положения тела, все так же полулежа и с таким видом, как если бы ни о чем не был осведомлен, говорит, что это дело обычное, так как Британик с раннего детства подвержен падучей и что понемногу к нему возвратится зрение и он придет в чувство. Но в чертах Агриппины мелькнули такой испуг и такое душевное потрясение, несмотря на ее старание справиться с ними, что было очевидно, что для нее, как и для сестры Британика Октавии, случившееся было полною неожиданностью; ведь Агриппина отчетливо понимала, что лишается последней опоры и что это братоубийство — прообраз ожидающей ее участи. Октавия также, невзирая на свои юные годы, научилась таить про себя и скорбь, и любовь, и все свои чувства. Итак, после недолгого молчания возобновилось застольное оживление.

17. Одна и та же ночь видела умерщвление и погребальный костер Британика, ибо все необходимое для его скромно обставленных похорон было предусмотрено и припасено заранее. Впрочем, его погребли все-таки на Марсовом поле при столь бурном ливне, что народ увидел в нем проявление гнева богов, возмущенных преступлением принцепса, тогда как многие, принимая во внимание известные в прошлом раздоры и усобицы между братьями[11] и то, что верховная власть неделима, отнеслись к нему снисходительно. Писатели той поры сообщают, что в течение нескольких дней перед умерщвлением брата Нерон неоднократно подвергал надругательствам отроческое тело Британика, делая это ради того,

чтобы смерть последнего, в ком струилась кровь Клавдиев, оскверненного похотью ранее, нежели ядом, не могла показаться преждевременною и чрезмерно жестокою, хотя она и поразила его в нарушение священных правил гостеприимства за пиршественным столом, на глазах врага и с такою стремительностью, что ему даже не было дано времени на прощание с сестрами[12]. В особом указе Цезарь объяснял причины поспешности, с какой был погребен Британик; он ссылался на установление предков скрывать от людских глаз похороны безвременно умерших и не затягивать церемонии похвальными речами и пышно отправляемыми обрядами. Там же Нерон говорил и о том, что, потеряв в лице брата помощника, он отныне может рассчитывать только на содействие всего государства, и поэтому сенаторам и народу тем более надлежит оказывать всяческую поддержку принцепсу — единственному оставшемуся в живых отпрыску рода, предназначенного для возложения на него высшей власти[13].

18. Затем Цезарь щедро одарил виднейших из своих приближенных. Были люди, осуждавшие тех, кто, выставляя себя поборниками несгибаемой добродетели, тем не менее разделили между собой, словно взятую на войне добычу, дома и поместья. Другие, однако, считали, что их вынудила к этому необходимость, так как принцепс, понимая преступность свершенного им, надеялся, что злодеяние будет ему прощено, если он свяжет своими щедротами тех, кто наиболее влиятелен и могуществен. Но никакой щедростью он не мог успокоить гнев матери: она расточала заботы и ласку Октавии, часто устраивала тайные совещания со своими друзьями и с жадностью, превосходившей ее врожденную страсть к стяжательству, где только могла, добывала деньги, как бы предвидя, что они ей вскоре понадобятся; она обходительно принимала трибунов и центурионов, окружала почетом уцелевших представителей старой знати, превознося их славные имена и доблесть, как если бы приискивала вождя и привлекала приверженцев. Это стало известно Нерону, и он распорядился удалить караулы, охранявшие ее сначала как супругу, а впоследствии как мать императора, и германцев, незадолго пред тем приставленных к ней в качестве телохранителей. И чтобы ее не посещало множество являвшихся с утренними приветствиями, он

удаляет ее из императорского дворца и поселяет в том доме, где некогда проживала Антония; сам он приходил туда не иначе как окруженный толпою центурионов, и всякий раз, наскоро поцеловав мать, тотчас же удалялся.

19. Среди дел человеческих нет ничего более шаткого и преходящего, чем обаяние не опирающегося на собственную силу могущества. У порога Агриппины сразу стало безлюдно: никто не являлся к ней с утешениями, никто не приходил проведать ее, кроме нескольких женщин, побуждаемых к этому, быть может, любовью, а быть может, и ненавистью. В их числе была и Юния Силана, о расстройстве Мессалиною брака которой с Гаем Силием я упоминал выше[14]; женщина выдающейся знатности и красоты, известная своими многочисленными любовными связями, она долгое время пользовалась особым расположением Агриппины, но впоследствии между ними разгорелась глухая вражда, так как Агриппина отговорила от женитьбы на Силане знатного молодого человека Секстия Африкана, упорно внушая ему, что Силана — стареющая развратница, причем сделала это не для того, чтобы приберечь его для себя, но чтобы, став мужем неспособной к деторождению женщины, он не унаследовал после Силаны ее богатства. И вот, когда мелькнула надежда на возможность отмщения, Силана выпустила против Агриппины своих клиентов Итурия и Кальвизия, повелев им обвинить ее не в том, что стало уже привычным и не раз повторялось, а именно что она скорбит о смерти Британика и разглашает обиды Октавии, но в том, что она задумала вовлечь в государственный переворот Рубеллия Плавта, по материнской линии состоявшего в той же степени родства с божественным Августом, что и Нерон, дабы, вступив с ним в супружество, возвратить себе верховную власть над Римским государством. Итурий и Кальвизий сообщают об этом вольноотпущеннику тетки Нерона Домиции Атимету, а тот, обрадованный столь важною новостью (надо сказать, что между Агриппиною и Домицией существовало полное обоюдной неприязни соперничество), побудил другого вольноотпущенника Домиции актера Парида, не мешкая и сгустив краски, донести об этом преступном умысле.

20. Была поздняя ночь, и у Нерона все еще пили, когда к нему входит Парид, обыкновенно оживлявший в эти часы

увеселения принцепса, но на этот раз хмурый, с озабоченным видом; подробно изложив содержание пересказанного ему доноса, он так устрашил Нерона, что тот вознамерился не только немедленно умертвить мать и Плавта, но и отставить Бурра от командования преторианцами, ибо, выдвинувшись благодаря расположению Агриппины, он будто бы воздавал ей за это содействием. Фабий Рустик рассказывает, что уже был составлен приказ на имя Цецины Туска, которым ему вручалось начальствование над преторианскими когортами, и лишь благодаря усилиям Сенеки этот пост остался за Бурром; Плиний и Клувий не сообщают о каких-либо сомнениях в преданности префекта; впрочем, Фабий вообще обнаруживает склонность восхвалять Сенеку, так как своим благоденствием был обязан его покровительству. Мы намерены следовать за этими авторами, когда их свидетельства совпадают, но, если они между собою расходятся, будем передавать приводимые ими сведения под их именами. Встревоженного и поглощенного мыслью об умерщвлении матери Цезаря удалось удержать от этого шага не раньше, чем Бурр дал ему обещание, что, если подтвердится ее виновность, он распорядится предать ее смерти; но всякому, а тем более матери, должна быть дана возможность представить свои оправдания; к тому же нет налицо обвинителей, и до них дошли лишь показания одного человека, да и то из враждебного дома; пусть принцепс примет во внимание и то, что кругом непроглядная тьма, что сам он провел ночь в бодрствовании за пиршественным столом и что любое действие было бы при таких обстоятельствах опрометчивым и неразумным.

21. Так успокоив страх принцепса и дождавшись рассвета, Бурр и другие отправились оповестить Агриппину о выдвинутых против нее обвинениях, дабы она опровергла их или понесла наказание. В присутствии Сенеки и нескольких свидетелей из вольноотпущенников Нерона Бурр приступил к выполнению своего поручения: указав, в каких преступлениях и кем она обвиняется, он закончил свое обращение к ней угрозами. Но Агриппина, не утратив свойственной ей надменности, ответила ему следующим образом: «Я нисколько не удивляюсь, что никогда не рожавшей Силане неведомы материнские чувства; ведь матери не меняют детей как погрязшая в распутстве — любовников И если Итурий и Каль-

визий, промотав свое достояние, продают этой старухе последнее, чем еще могут распорядиться, — свое пособничество в предъявлении клеветнических обвинений, то этого недостаточно, чтобы опозорить меня, приписав мне намерение умертвить сына, или чтоб обременить совесть Цезаря умерщвлением матери. Я воздала бы благодарность Домиции за враждебность, если б она соперничала со мной в доброжелательстве к моему Нерону. Но она занималась устройством рыбных садков в своих Байях, пока моими стараниями подготовлялись Нерону усыновление, дарование проконсульских прав, консульство и все то, что ведет к высшей власти, а теперь вкупе со своим любовником Атиметом и лицедеем Паридом сочиняет небылицы по образцу представляемых на подмостках трагедий. Или, быть может, существует такой человек, который мог бы уличить меня в попытке возмутить размещенные в Риме когорты, в подстрекательстве провинций к нарушению верности, наконец, в подкупе рабов и вольноотпущенников с целью побудить их к преступным деяниям? И разве я могла бы остаться в живых, если б Британик овладел верховною властью? А если бы Плавт или кто другой оказался во главе государства и вздумал свершить свой суд надо мною — разве не найдутся обвинители, которые вменят мне в вину не вырвавшиеся неосмотрительно слова, порождаемые порою горячностью материнской любви, а такие преступления, оправдать в которых меня мог бы лишь сын?» Так как ее ответ произвел на присутствовавших сильное впечатление и они принялись ее успокаивать, Агриппина потребовала свидания с сыном. В разговоре с ним она ни словом не обмолвилась о своей невиновности, чтобы он не подумал, что она допускает возможность недоверия к ней, равно как и о том, чтó она сделала для его возвышения, чтобы он не счел, что она его попрекает, но добилась наказания своих обвинителей и назначения друзей на видные должности.

22. Фений Руф назначается префектом по снабжению продовольствием, Аррунций Стелла — ведать даваемыми Цезарем зрелищами, Тиберий Балбилл — Египтом; Публию Антею была предоставлена Сирия, но под различными предлогами его долго туда не пускали и в конце концов удержали в Риме. Что до Силаны, то ее отправили в изгнание; не избежали ссылки и Кальвизий с Итурием; Атимет был казнен, а Парид зани-

мал слишком важное место в развлечениях принцепса, чтобы быть доступным для наказания. О Плавте на время забыли.

23. Вскоре затем поступил донос на Палланта и Бурра с обвинением в заговоре с целью передать верховную власть Корнелию Сулле, принадлежавшему к именитому роду и состоявшему в свойстве с Клавдием, которому он, вступив в брак с Антонией, приходился зятем. Обвинителем по этому делу выступил некий Пет, ославивший себя скупкою конфискованных казною земель и на этот раз изобличенный в заведомой клевете. Но всех не столько обрадовало снятие с Палланта предъявленных ему обвинений, сколько поразила его заносчивость. Ибо после того как были названы имена его вольноотпущенников, привлеченных им якобы к соучастию в заговоре, он в опровержение этого заявил, что никогда у себя дома не отдает своим людям распоряжений иначе как кивком головы или движением рук, а если есть нужда в более пространных указаниях, то прибегает к письму, дабы не вступать в изустные объяснения. Бурр, хотя и числился подсудимым, подал свое мнение вместе с судьями. Обвинителя приговорили к изгнанию, и были сожжены реестры, из которых он извлекал сведения о преданных забвению долгах в государственную казну.

24. В конце года в цирке упраздняется караул, который в дни представлений обычно выставлялся преторианской когортой; это было сделано для того, чтобы создать видимость большей свободы, оградить воинов от развращения, порождаемого их пребыванием среди театральной разнузданности, и проверить на опыте, сможет ли простой народ соблюдать благопристойность и после удаления стражи. И так как храмов Юпитера и Минервы коснулся небесный огонь, принцепс, во исполнение указаний гаруспиков[15], совершил обряд очищения Рима.

25. В консульство Квинта Волузия и Публия Сципиона[16] на границах римского государства царили мир и покой, а в самом Риме — отвратительная разнузданность, ибо одетый, чтобы не быть узнанным, в рабское рубище, Нерон слонялся по улицам города, лупанарам и всевозможным притонам, и его спутники расхищали выставленные на продажу товары и наносили раны случайным прохожим, до того неосведомленным, кто перед ними, что и самому Нерону порою перепада-

ли в потасовках удары и на его лице виднелись оставленные ими следы. В дальнейшем, когда открылось, что бесчинствует не кто иной, как сам Цезарь, причем насилия над именитыми мужчинами и женщинами все учащались, и некоторые, поскольку был явлен пример своеволия, под именем Нерона принялись во главе собственных шаек безнаказанно творить то же самое, Рим в ночные часы уподобился захваченному неприятелем городу. Принадлежавший к сенаторскому сословию, но еще не занимавший магистратур Юлий Монтан как-то в ночном мраке наткнулся на принцепса и с силою оттолкнул его, когда тот попытался на него броситься, но, узнав Нерона, стал молить о прощении, что было воспринято как скрытый укор, и Монтана заставили лишить себя жизни. Впредь Нерон, однако, стал осторожнее и окружил себя воинами и большим числом гладиаторов, которые оставались в стороне от завязавшейся драки, пока она не отличалась особой ожесточенностью, но, если подвергшиеся нападению начинали одолевать, брались за оружие. Попустительством и даже прямым поощрением Нерон превратил необузданные выходки зрителей и споры между поклонниками того или иного актера в настоящие битвы, на которые взирал таясь, а чаще всего открыто, пока для пресечения раздоров в народе и из страха перед еще бóльшими беспорядками не было изыскано целебное средство[17], а именно — все то же изгнание из пределов Италии вызывавших распри актеров и возвращение в театр воинских караулов.

26. Тогда же в сенате возник вопрос о поведении вольноотпущенников и было выдвинуто предложение предоставить патрону право отнимать свободу у провинившихся. Многие высказались за то, чтобы немедленно приступить к его обсуждению. Но консулы, не дерзнув начать столь важное дело без ведома принцепса, ограничились тем, что письменно известили его о пожеланиях сената. А он, колеблясь, дать ли на это согласие, собрал немноголюдное совещание, участники которого разошлись во мнениях: некоторые с негодованием отмечали, что непочтительность вольноотпущенников вследствие обретенной ими свободы дошла до того, что иные дерзают спрашивать у патрона, решать ли им возникшие между ними споры насилием или в суде, и либо безнаказанно поднимают на него руку, либо сами советуют, какое нака-

зание ему применить по отношению к ним[18]. А что может дозволить себе пострадавший патрон, кроме высылки вольноотпущенника за сотый милиарий от Рима, куда-нибудь на побережье Кампании?[19] Во всем остальном закон не знает между ними различия и они пользуются одинаковыми правами: вот почему патрону необходимо такое оружие, с которым вольноотпущенникам придется считаться. И для получившего свободу совсем нетрудно удерживать ее за собою, соблюдая такое же повиновение, благодаря которому он добился ее; но совершивших явные преступления справедливо возвращать в рабское состояние, и пусть страх обуздывает тех, кого не изменили благодеяния.

27. Были и возражавшие против этого предложения: подлежат каре лишь немногие провинившиеся и не подобает урезывать в правах остальных; ведь людей этого звания множество. Из них в большинстве состоят трибы, декурии[20], из них набираются служащие у магистратов и жрецов, наконец, городские когорты: и немало всадников, немало сенаторов ведет свою родословную не от кого другого, как от них; если обособить вольноотпущенников, станет очевидной малочисленность свободнорожденных. И не напрасно наши предки, устанавливая различные преимущества для сословий, сохранили за всеми ними одинаковую свободу. Да и отпускаемых на волю они разделили на два разряда[21], чтобы тем самым у господина оставалась возможность снова лишить их свободы или закрепить предыдущее благодеяние новым. Кого господин, даруя волю, не коснется преторским жезлом, те как бы удерживаются оковами рабства. Пусть каждый хорошо взвесит заслуги своего раба и лишь после этого дарует ему то, что уже не может быть затем отнято. Это мнение возобладало, и Цезарь письменно повелел сенату рассматривать дела обвиняемых своими патронами вольноотпущенников всякий раз по отдельности и не выносить общего постановления. Немного спустя тетка Нерона[22] якобы на основании гражданского права была лишена патроната над своим вольноотпущенником Паридом, что произошло не без умаления доброй славы принцепса, по приказанию которого суд признал Парида свободнорожденным.

28. Тем не менее все еще сохранялось некое подобие республиканского строя. Так, между претором Вибуллием и на-

родным трибуном Антистием возгорелся спор из-за отданного трибуном распоряжения освободить из-под стражи задержанных претором неумеренно пылких поклонников актерских талантов. Осудив самоуправство трибуна, сенаторы одобрили действия претора. Тогда же трибунам было воспрещено заниматься разбирательством подсудных преторам и консулам дел и вызывать для суда из других областей Италии тех, чьи дела могли быть рассмотрены в законном порядке на месте. Кроме того, по предложению консула на следующий год Луция Пизона сенат присовокупил к этому, что за совершенные у них в доме проступки и преступления трибуны не вправе наказывать, пользуясь своей властью должностных лиц, и что подвергнутых ими денежным штрафам квесторы казначейства должны вносить в списки государственных должников не ранее, как по миновании четырех месяцев со дня вынесения приговора, с тем чтобы в течение этого срока он мог быть обжалован, причем окончательное решение оставалось за консулами. Были сокращены и полномочия эдилов и установлены особо для курульных и особо для плебейских эдилов наивысшие ставки взимаемых ими залогов и налагаемых штрафов. А народный трибун Гельвидий Приск по собственному почину выступил против претора казначейства Обультрония Сабина, утверждая, что тот беспощадно расправляется с бедняками, слишком широко пользуясь правом продажи с торгов их имущества. После этого принцепс освободил квесторов казначейства от ведения списка государственных должников и взыскания с них задолженности и возложил эти обязанности на префектов.

29. Это дело в разное время велось по-разному и претерпевало частые изменения. Так, выбор префектов Август предоставил сенату; затем во избежание злоупотреблений при голосовании их стали избирать жребием из числа преторов; но и этот порядок удержался недолго, так как жребий нередко впадал в заблуждение и благоволил к людям малопригодным. Тогда Клавдий снова возложил это дело на квесторов казначейства и, дабы они из опасения вызвать чье-либо неудовольствие не относились нерадиво к своим обязанностям, пообещал им внеочередное выдвижение на почетные должности; но для получения их они были чрезмерно молоды, ибо эта была их первая магистратура. И Нерон назначил для от-

правления тех же обязанностей бывших преторов испытанной опытности.

30. При тех же консулах был осужден за лихоимство в провинции Сардинии Випсаний Ленат. Цестий Прокул, которому критяне предъявили обвинение в вымогательствах, был оправдан. Префект гребцов находившегося в Равенне флота Клодий Квиринал, произволом и жестокостью утеснявший Италию, словно последнюю из провинций, и привлеченный за это к суду, ядом предупредил неизбежное осуждение. Один из крупнейших законоведов и первейших богачей своего времени Каниний Ребил, чтобы избежать мучений томительной старости, вскрыл себе вены и истек кровью, хотя никто не предполагал, что у него хватит мужества принять добровольную смерть, ибо о нем шла молва, что он изнежен и по-женски сластолюбив. А вот Луций Волузий скончался, оставив по себе безупречную память; он прожил девяносто три года, владел большим, честно нажитым состоянием и, перевидав на своем веку стольких императоров, неизменно пользовался их благосклонностью.

31. Консульство Нерона (второе) и Луция Пизона не изобиловало событиями, которые были бы достойны упоминания, — разве что найдутся такие, кто захочет заполнить целые книги восхвалениями воздвигнутого Цезарем на Марсовом поле громадного амфитеатра, его фундамента и употребленных на его сооружение бревен; но всякому понятно, что величию римского народа приличествует, чтобы в анналах отмечались лишь наиболее значительные деяния, а все остальное — в «Ежедневных ведомостях» города Рима[23]. Впрочем, укажем, что колонии Капуя и Нуцерия были укреплены поселением в них ветеранов, что простому народу было роздано в дар по четыреста сестерциев на человека и что для поддержания доверия к платежеспособности казначейства Цезарь внес в него из своих личных средств четыреста миллионов сестерциев. Была также упразднена пошлина, которую платил покупатель раба в размере одной двадцать пятой его цены; однако ее упразднение последовало больше по видимости, чем на деле, ибо, поскольку ту же пошлину было приказано платить продавцам, они соответственно подняли цены. Еще Цезарь воспретил магистратам и прокураторам устраивать в управляемых ими провинциях представления

гладиаторов, травлю диких зверей и любые другие зрелища. Ранее подобною щедростью они наносили своим подчиненным не меньший ущерб, чем поборами и вымогательством денег, ибо, заручившись народным расположением, избегали возмездия за преступное стяжательство.

32. Как в карательных целях, так и для обеспечения безопасности был также издан сенатский указ, согласно которому в случае умерщвления господина собственными рабами в числе прочих его рабов подлежали казни и те, кто, оставаясь под одним кровом с ними, должен был, по его завещанию, быть отпущен на волю. Возвращается сенаторское достоинство бывшему консулу Лурию Вару[24], некогда осужденному по обвинению в лихоимстве. Суд над обвиняемой в приверженности к чужеземному суеверию знатною женщиной Помпонией Грециной, женою того самого Авла Плавтия, который, как я сообщал, отпраздновал малый триумф над британцами, было предоставлено свершить мужу; проведя по старинному обычаю в присутствии родственников разбирательство этого дела, грозившего его супруге лишением жизни и доброго имени, он признал ее невиновною. Долгой была жизнь этой Помпонии, и прожила она ее в непрерывной скорби, ибо после умерщвления по проискам Мессалины дочери Друза Юлии Помпония сорок лет не носила других одежд, кроме траурных, и душа ее не знала другого чувства, кроме печали. При владычестве Клавдия это прошло для нее безнаказанно, а впоследствии обернулось славою.

33. В том же году были привлечены к суду и другие, и среди них Публий Целер, по обвинению, выдвинутому провинцией Азией, и так как Цезарь не мог настаивать на его оправдании, то затянул следствие, пока обвиняемый не умер: дело в том, что Целер, как я упоминал выше[25], умертвил проконсула Силана, и этим столь нужным Цезарю злодеянием оградил себя от осуждения за прочие преступления. Киликийцы представили жалобу на Коссуциана Капитона, человека бесчестного и грязного, полагавшего, что и в провинции он может вести себя столь же нагло, как в Риме; изобличенный неотступным обвинением, он в конце концов перестал защищаться и был осужден. Но что касается Эприя Марцелла, обвиненного ликийцами в вымогательстве, то давление покровительствовавших ему оказалось настолько могуще-

ственным, что некоторые из его обвинителей были наказаны ссылкою, как вознамерившиеся погубить ни в чем не повинного.

34. В третье консульство Нерона[26] вторым консулом был Валерий Мессала, прадед которого, оратор Корвин, о чем помнили лишь немногие старики, разделял ту же магистратуру с божественным Августом, прапрадедом Нерона. Достоинство этого знатного рода было укреплено пожалованием Мессале ежегодно по пятьсот тысяч сестерциев, чтобы помочь ему в его честной бедности. Ежегодное вспомоществование принцепс назначил также Аврелию Котте и Гатерию Антонину, хотя, расточив наследственные богатства, они сами довели себя до нужды.

В начале того же года с большим ожесточением разгорелась протекавшая до того вяло и нерешительно война римлян с парфянами за владычество над Арменией, ибо Вологез не мог допустить, чтобы его брат Тиридат был лишен предоставленного им царства или чтобы он владел им в качестве дара другого властителя, а Корбулон считал, что величие римского народа обязывает его к отвоеванию приобретенного некогда Лукуллом и Помпеем[27]. К тому же армяне, двуличные и непостоянные, призывали к себе и то и другое войско; по месту обитания, по сходству в нравах, наконец, из-за многочисленных смешанных браков они были ближе к парфянам и, не познав благ свободы, склонялись к тому, чтобы им подчиниться.

35. Но Корбулона не столько заботило вероломство врагов, сколько небоеспособность собственных воинов; перемещенные из Сирии легионы, обленившись за время долгого мира, с величайшею неохотою несли лагерные обязанности. Хорошо известно, что в этом войске не были редкостью ветераны, ни разу не побывавшие в боевом охранении или ночном дозоре, разглядывавшие лагерные вал и ров как нечто невиданное и диковинное, отслужившие свой срок в городах, не надевая ни шлемов, ни панцирей, щеголеватые и падкие до наживы. Итак, уволив тех, кто был непригоден по старости или болезни, Корбулон потребовал пополнений. Были проведены наборы в Галатии и Каппадокии и, сверх того, переброшен из Германии легион[28] с приданной ему вспомогательной конницей и такой же пехотою. Корбулон держал

все войско в зимних палатках, хотя зима была столь суровою, что земля покрылась ледяной коркою и, чтобы поставить палатки, требовалось разбивать смерзшуюся почву. Многие отморозили себе руки и ноги, некоторые, находясь в карауле, замерзали насмерть. Рассказывали об одном воине, несшем вязанку дров; кисти рук у него настолько примерзли к ноше, что, когда он ее опустил, отвалились от рук, которые остались у него изувеченными. Сам Корбулон, в легкой одежде, с непокрытой головой, постоянно был на глазах у воинов, и в походе, и на работах, хваля усердных, утешая немощных и всем подавая пример. Но так как многие не хотели выносить суровость зимы и тяготы службы и дезертировали, ему пришлось применить строгость. Он не прощал, как было принято в других армиях, первых проступков, но всякий, покинувший ряды войска, немедленно платился за это головою. Эта мера оправдала себя и оказалась целительной и более действенной, чем снисходительность, и беглецов из лагеря Корбулона было значительно меньше, чем в армиях, где провинившиеся могли рассчитывать на прощение.

36. Продержав легионы в лагере, пока не установилась весна, Корбулон расположил в подходящих местах отряды вспомогательных войск, приказав им не вступать первыми в битву с противником. Начальником над этими сторожевыми постами он поставил Пакция Орфита, имевшего звание центуриона первого манипула. И хотя тот написал ему, что варвары ведут себя крайне беспечно и представляется случай для успешных боевых действий, полководец распорядился не выходить за пределы сторожевых постов и дожидаться прибытия подкреплений. Однако после того как к нему подошло несколько конных отрядов, по неопытности требовавших сражения, Пакций, нарушив приказ, сразился с врагами и был разбит. Двигавшиеся к нему подкрепления были устрашены его разгромом и обратились в бегство — каждый отряд в свой лагерь. Известие о случившемся разгневало Корбулона: разбранив Пакция, префектов и воинов, он приказал им расположиться за лагерным валом и некоторое время держал их там опозоренными столь унизительным наказанием, пока, снизойдя к просьбам остального войска, не даровал им прощения.

37. Между тем Тиридат, поддержанный не только клиентами, но и братом своим, царем Вологезом, начал тревожить

Армению уже не исподтишка совершаемыми набегами, но открытой войною, разорял тех, в ком видел приверженцев римлян и, если против него высылались воинские отряды, уклонившись от встречи с ними, производил то здесь, то там неожиданные налеты, больше сея страх шедшей о нем молвой, чем боевыми делами. И вот Корбулон, долго и тщетно искавший сражения и вынужденный по примеру врагов рассредоточить военные действия, распределяет свои силы между легатами и префектами, с тем чтобы они сразу во многих местах вторглись в Армению. Вместе с тем он склонил царя Антиоха напасть на ближайшие к нему области. Да и Фарасман, умертвив своего сына Радамиста якобы за предательство, старался доказать нам свою преданность и начал решительнее действовать против армян, к которым питал давнюю ненависть. Тогда же впервые были вовлечены в союз с нами мосхи, и этот народ, и поныне являющийся наиболее верным союзником римлян, устремился в глухую и труднодоступную часть Армении. Таким образом, замыслы Тиридата обернулись против него самого, и он стал направлять к Корбулону послов, чтобы те от его имени и имени парфян спросили римского полководца, на каком основании после недавней выдачи Вологезом заложников[29] и возобновления договора о дружбе, который, казалось, сулил ему новые наши благодеяния, он изгоняется из Армении, давнего своего владения. Да и Вологез еще ничего не предпринял именно потому, что они предпочитают разрешать споры посредством переговоров, а не силой оружия; но если им навяжут войну, у Арсакидов не будет недостатка ни в доблести, ни в военном счастье, в чем не раз могли убедиться терпевшие от них поражения римляне. В ответ на это Корбулон, знавший, что Вологеза задерживает мятеж в Гиркании, посоветовал Тиридату обратиться со своей просьбой к Цезарю: он сможет без кровопролитной войны обеспечить себе прочную власть, если откажется от слишком далеко заходящих и несбыточных надежд и будет добиваться того, чтó достижимо и чему следует отдать предпочтение.

38. Так как разъезды послов взад и вперед нисколько не продвинули заключения мира, было решено назначить время и место для непосредственных переговоров между Тиридатом и Корбулоном. Тиридат объявил, что возьмет с собою

охрану из тысячи всадников; сколько воинов и какого рода оружия может сопровождать Корбулона, он не указывает, лишь бы они в доказательство своих мирных намерений были без шлемов и панцирей. Кто угодно, не говоря уже об опытном и проницательном военачальнике, легко разгадал бы уловку варваров: именно потому так строго определялась численность воинов для одного и допускалась бóльшая для другого, что готовилось вероломное нападение; ведь если искусным в стрельбе из лука всадникам противостоит не защищенный доспехами неприятель, то ему не поможет никакой численный перевес. Однако, не показав, что хитрость Тиридата раскрыта, Корбулон ответил, что договариваться о делах государственной важности было бы правильнее в присутствии того и другого войска, и выбрал поле, с одной стороны которого полого поднимались пригодные для размещения пехоты холмы, а с другой простиралась равнина, где могли быть развернуты конные подразделения. В назначенный день Корбулон первым расположился на местности, имея на флангах когорты союзников и вспомогательные отряды царей и посередине — шестой легион, к которому добавил три тысячи воинов третьего, переброшенных ночью из другого лагеря, — всем им он дал одного орла, чтобы казалось, будто это один и тот же единственный легион. Прибыв уже под вечер, Тиридат предпочел держаться вдали от наших, откуда его можно было скорее видеть, чем слышать. Так и не встретившись с ним, римский полководец приказал своим возвратиться в лагеря, каждой части в тот, из которого она прибыла.

39. Либо заподозрив обман, так как римское войско одновременно двигалось в разные стороны, либо, чтобы воспрепятствовать нашим получать продовольствие, поступавшее к нам по Понтийскому морю и из города Трапезунда, царь поспешно уходит. Но он не смог лишить нас продовольствия, ибо в горах, через которые его доставляли, были расставлены наши отряды, и Корбулон, дабы не затягивать бесплодной войны и вместе с тем заставить армян перейти к обороне, решает разрушить крепости и берет на себя захват наиболее сильной из находившихся в этом краю и называвшейся Воланд; взятие менее значительных он поручает легату Корнелию Флакку и префекту лагеря Инстею Капитону.

Итак, осмотрев укрепления и установив их наиболее уязвимые места, Корбулон обращается к воинам, призывая их разгромить одинаково уклоняющегося и от мира, и от битвы врага, который, всякий раз обращаясь в бегство, сам себя обличает в вероломстве и трусости, и изгнать его из занятых им твердынь, чтобы покрыть себя славою и овладеть добычей. Разделив войско на четыре части, одних, сомкнувшихся черепахой, он посылает разрушить вал, подрывая его основание, другим велит приставлять к стенам лестницы, многим — забрасывать неприятеля из осадных орудий горящими головнями и копьями. Для пращников и камнеметателей было также отведено место, откуда им надлежало издали осыпать врага своими снарядами, дабы, теснимый со всех сторон, он не мог подать помощь оказавшимся в затруднительных обстоятельствах. И такой боевой пыл охватил соревновавшихся между собой в доблести воинов, что потребовалось не более трети дня, чтобы очистить от защитников крепостные стены, раскидать у ворот заграждения, захватить, взобравшись по лестницам, крепость и перебить всех пребывавших в ней взрослых мужчин, причем мы не потеряли ни одного воина и насчитывали лишь несколько раненых. Неспособное носить оружие население было продано в рабство, а вся прочая добыча отдана победителям. Равный успех сопутствовал также легату и префекту, и после того как в один день были взяты три крепости, по настоянию охваченных страхом жителей, не оказав сопротивления, сдались и остальные. Это укрепило решимость римского полководца двинуться на столицу Армении Артаксату. Однако он повел легионы не кратчайшим путем, ибо в этом случае им пришлось бы переправляться по мосту через омывавшую городские стены реку Аракс и они неизбежно попали бы под удар неприятеля; итак, выйдя к этой реке, вдалеке от города, там, где она разливается шире, они перешли ее вброд.

40. А Тиридат, в котором происходила борьба между самолюбием и осмотрительностью, ибо, допустив осаду Артаксаты, он показал бы свое бессилие, а попытавшись воспрепятствовать ей, завяз бы со своей конницей в неблагоприятной для него местности, в конце концов принимает решение показаться на глаза римлянам и в назначенный для этого день либо вступить с ними в битву, либо притворным бег-

ством доставить себе возможность заманить их в западню. И вот он внезапно окружает находившееся в движении римское войско, не застав, однако, врасплох нашего полководца, придавшего ему такой походный порядок, чтобы оно было готово и для ведения боя. Справа двигался третий легион, слева — шестой, посередине — отборные воины десятого; между рядами войска помещались обозы, а тыл прикрывала тысяча всадников, получивших приказание отбивать неприятельский натиск, но не преследовать врагов, если они обратятся в бегство. Фланги обеспечивались пешими лучниками и всей остальной конницей, причем доходивший до гряды холмов левый фланг был более растянут, чем правый, чтобы в случае налета противника наши могли ударить на него одновременно — и в лоб, и сбоку. Тиридат между тем принимается в разных местах беспокоить римлян, впрочем, остерегаясь приближаться к ним на расстояние полета стрелы, и то угрожает им нападением, то делает вид, будто не осмеливается на него, стараясь расстроить наши ряды и затем перебить отделившихся от них воинов. Но так как они сохраняли благоразумие и держались все вместе и вырвался вперед лишь один, не в меру отважный и тотчас же пронзенный стрелами декурион конницы, своим примером укрепивший в остальных повиновение приказаниям, Тиридат, когда стало смеркаться, удалился.

41. Корбулон, расположившись тут же на месте лагерем и полагая, что Тиридат ушел в Артаксату, раздумывал, не отправиться ли ему ночью туда же, оставив обозы, и не обложить ли город осадою. Но извещенный разведчиками, что царь двинулся в дальний поход то ли в страну мидян, то ли к альбанам, римский полководец, дождавшись рассвета, высылает отряды легковооруженных, чтобы они окружили со всех сторон крепостные стены и начали, не сходясь врукопашную, боевые действия против врага. Однако горожане, добровольно открыв ворота, отдали себя и свое имущество на усмотрение победителей, и это спасло их от истребления; что же касается Артаксаты, то, подожженная нами, она была разрушена до основания и сровнена с землей, ибо из-за протяженности городских укреплений удержать ее за собою без сильного гарнизона мы не могли, а малочисленность нашего войска не позволяла выделить такой гарнизон и вместе с тем продол-

жать войну; покинуть же ее целою и невредимою безо всякой охраны означало бы, что мы не сумели извлечь для себя из овладения ею ни пользы, ни славы. В этом намерении римлян укрепило и как бы ниспосланное богом чудо; в то время как за пределами Артаксаты все сияло, ярко освещенное солнечными лучами, то, что было опоясано стенами, внезапно скрылось за полыхавшей молниями черною тучей, так что казалось, будто сами боги враждебны городу и он обрекается ими на гибель. За эти успехи Нерон был провозглашен воинами императором, а по постановлению сената состоялись молебствия, были воздвигнуты арка и статуи и на несколько лет вперед определены принцепсу консульства; сверх того, было решено считать праздниками и тот день, в который наше войско одержало победу, и тот, в который известие о ней пришло в Рим, и тот, в который о ней было объявлено, а также многое прочее в том же роде, настолько превосходившее всякую меру, что Гай Кассий, согласившийся со всеми остальными назначенными Нерону почестями, заявил, что если за каждую благосклонность судьбы приносить благодарность богам, то для молебствий не хватит и полного года и поэтому следует разделить дни на праздничные и будни, так, чтобы богам воздавался должный почет и это не служило помехою для человеческих дел.

42. Затем осуждается обвиняемый, испытавший всевозможные удары судьбы и все же навлекший на себя справедливую ненависть многих, невзирая на что его осуждение возбудило некоторое недоброжелательство к Сенеке. Это был Публий Суиллий, в правление Клавдия внушавший страх и известный своею продажностью обвинитель, который с переменою обстоятельств не был низвергнут в той мере, как хотелось бы его недругам, но предпочел, чтобы в нем видели скорее злодея, чем молящего о прощении. Считали, что именно ради того, чтобы можно было его покарать, были подтверждены сенатский указ и мера наказания по закону Цинция в отношении произносящих судебные речи за деньги. Этот Суиллий не воздерживался от жалоб и поношений и не только вследствие необузданности своего нрава, но также и потому, что, достигнув преклонного возраста, не находил нужным стесняться в словах и бранил Сенеку за неприязненность к приближенным Клавдия, при котором он был с пол-

ным основанием отправлен в изгнание. Погрязший в нудных занятиях с не искушенными в жизненном опыте юношами, Сенека исходит, говорил он, от зависти к тем, кто использует живое и не испорченное украшательством красноречие для судебной защиты сограждан. Сам Суиллий был квестором у Германика, тогда как Сенека — прелюбодеем в его семье[30]. Или, быть может, более суровому порицанию подлежит тот, кто по доброй воле тяжущихся получает от них честно заработанное вознаграждение, нежели соблазнитель, проникающий в спальни женщин из дома принцепсов? Благодаря какой мудрости, каким наставлениям философов Сенека за какие-нибудь четыре года близости к Цезарю нажил триста миллионов сестерциев? В Риме он, словно ищейка, выслеживает завещания и бездетных граждан, Италию и провинции обирает непомерною ставкою роста; а у него, Суиллия, скромное, приобретенное его личным трудом состояние. Он охотнее вынесет обвинение, опасности, все что угодно, чем, позабыв о своем давнем и им самим добытом достоинстве, станет заискивать перед внезапно разбогатевшим выскочкой.

43. Нашлись люди, которые в точности или сгустив краски пересказали его слова Сенеке. И вот подысканные обвинители донесли, что, управляя провинцией Азией[31], Суиллий грабил союзников и расхищал государственную казну. Но так как для расследования этого дела они потребовали годичного срока, представилось предпочтительным начать с преступлений, совершенных Суиллием в самом Риме, свидетели которых были налицо. Обвинители утверждали, что непомерностью предъявленного им обвинения Суиллий вынудил Квинта Помпония примкнуть к поднявшим противоправительственный мятеж[32], что дочь Друза Юлия и Сабина Поппея были доведены им до смерти, что он оговорил Валерия Азиатика, Лузия Сатурнина, Корнелия Лупа[33], что по его наветам была осуждена тьма римских всадников, и вообще вину за все жестокости Клавдия возлагали на него одного. В защитительной речи Суиллий заявил, что ни одно из перечисленных дел не было начато им по собственному почину и он лишь выполнял приказания принцепса; в этом месте, однако, Цезарь прервал его, сказав, что, судя по запискам отца, не было ни одного случая, чтобы обвинение против кого-

либо было выдвинуто по его настоянию. Тогда Суиллий стал ссылаться на приказания Мессалины, и тут приводимые им в свое оправдание доводы утратили убедительность: почему этой кровожадной распутницей был избран именно он, а не кто другой, чтобы служить ей своим красноречием? Исполнители злодеяний, получившие плату за свои преступления и старающиеся свалить эти преступления на других, подлежат строжайшему наказанию. Итак, по изъятии у Суиллия части имущества (ибо другая часть оставлялась сыну и внучке, равно как и то, что было ранее получено ими по завещанию матери и бабки) его ссылают на Балеарские острова, не сломленного духом ни во время столь опасного для него судебного разбирательства, ни после вынесения приговора; говорили, что он скрашивал свое уединенное существование, живя в неге и роскоши. И когда обвинители, из ненависти к отцу, выступили против сына его Неруллина, предъявив ему обвинение по закону о вымогательствах, принцепс воспротивился этому, сочтя наложенную на Суиллия кару достаточной.

44. Тогда же народный трибун Октавий Сагитта, охваченный страстью к замужней женщине Понтии, склоняет ее дорогими подарками сначала к прелюбодеянию, а затем, пообещав жениться на ней и взяв с нее слово, что она выйдет за него замуж, и к оставлению мужа. Но, став свободною, эта женщина начинает всячески оттягивать свадьбу, ссылаясь на несогласие отца и другие причины, а когда у нее появились надежды на брак с более состоятельным человеком, и вовсе отказывается от своего обещания. Октавий не мог с этим смириться и то горько жаловался, то угрожал; призывая в свидетели богов, что из-за нее потерял доброе имя и остался без средств, он отдавал в ее распоряжение последнее, что у него оставалось, — жизнь. Но так как она и на это отвечала пренебрежением, он принимается умолять ее подарить ему в утешение одну ночь, после чего, утолив желание, он прекратит свои домогательства. Такая ночь назначается, и Понтия велит посвященной в эту тайну рабыне оставаться на страже у дверей ее спальни. Явившийся со своим вольноотпущенником Октавий проносит спрятанный под одеждою меч. В дальнейшем, как всегда, когда любовь сплетается с ненавистью, последовали бурные ссоры, мольбы, упреки, наконец, примирение, и часть ночи была отдана страсти. И вот Окта-

вий, как бы все еще в любовном чаду, пронзает забывшую о своих опасениях Понтию; от бросившейся к нему рабыни он избавляется, нанеся ей рану, и беспрепятственно выбегает из спальни. На следующий день обнаруживают убитую; кто повинен в убийстве, ни в ком не вызывало сомнений, ибо Октавий был изобличен в том, что провел ночь у Понтии. Но вольноотпущенник берет преступление на себя и заявляет, что он отмстил за нанесенную его патрону обиду; и многих убедило величие его самоотверженности; однако очнувшаяся от беспамятства раненая рабыня открыла истину. По истечении срока своего трибуната Сагитта по требованию отца убитой предстал перед консулами и приговором сенаторов был осужден по закону об убийцах[34].

45. В том же году не менее достопамятный случай бесстыдства положил начало большим бедствиям Римского государства. Проживала в Риме Сабина Поппея, дочь Тита Оллия, позаимствовавшая, однако, имя у своего деда со стороны матери — прославленного Поппея Сабина, удостоенного консульства и триумфальных отличий, ибо Оллия, еще не достигшего высших магистратур, погубила дружба с Сеяном. У этой женщины было все, кроме честной души. Мать ее, почитавшаяся первой красавицей своего времени, передала ей вместе со знатностью и красоту; она располагала средствами, соответствовавшими достоинству ее рода; речь ее была любезной и обходительной, и вообще она не была обойдена природною одаренностью. Под личиной скромности она предавалась разврату. В общественных местах показывалась редко и всегда с полуприкрытым лицом — то ли чтобы не насыщать взоров, то ли, может быть, потому, что это к ней шло. Никогда не щадила она своего доброго имени, одинаково не считаясь ни со своими мужьями, ни со своими любовниками; никогда не подчинялась она ни своему, ни чужому чувству, но где предвиделась выгода, туда и несла свое любострастие. И вот, когда она пребывала в супружестве с римским всадником Руфрием Криспином, от которого родила сына, ее пленил Отон своей молодостью, блеском и еще тем, что слыл ближайшим другом Нерона; и немного спустя их прелюбодейная связь была скреплена браком.

46. Бывая у принцепса, Отон всякий раз превозносил красоту и прелесть жены, или неосмотрительный от пылкой

влюбленности, или с целью разжечь его страстью к Поппее и, если бы они стали совместно обладать одной женщиной, использовать эти узы для усиления своего могущества. Нередко можно было услышать, как, поднимаясь из-за стола Цезаря, он говорил, что отправляется к ней, что ему достались знатность и красота, то, чего все так горячо желают и что составляет отраду счастливых. Эти и подобные им полные соблазна слова не замедлили возыметь действие, и, получив доступ ко дворцу принцепса, Поппея пускает в ход лесть и свои чары и, притворившись, будто покорена красотою Нерона и не в силах противиться нахлынувшей на нее страсти, сразу увлекает его; затем, когда любовь захватила его, она стала держать себя с ним надменно и властно и, если он оставлял ее у себя свыше одной или двух ночей, заявляла ему, что она замужняя женщина и не желает расторгнуть брак, плененная образом жизни Отона, с которым никто не может сравниться: у него возвышенная душа и неподражаемое умение держаться с достоинством; в нем она видит все качества прирожденного властителя; а Нерон, опутанный наложницею-рабыней и привычкою к Акте, из этого сожительства по образу и подобию презренных рабов не извлек ничего, кроме грязи и низости. И вот Отон лишается привычного для него общения с принцепсом, затем права бывать у него и состоять в ближайшем его окружении и, наконец, чтобы в Риме не оставалось соперника, назначается правителем провинции Лузитании, где он и пробыл до начала междоусобной войны[35]. Там он заставил забыть о его прежнем бесславии, правил с безупречной честностью и показал себя столь же умеренным в пользовании властью, сколь разнузданным был ранее в частной жизни.

47. До этой поры Нерон старался скрывать свои бесчинства и злодеяния. Недоверчивый и подозрительный, он больше всего опасался Корнелия Суллы, беззаботность которого казалась ему притворной и в котором он видел коварного лицемера. Эти его опасения усугубил следующим вымыслом вольноотпущенник Цезаря Грапт, понаторевший в дворцовых происках, ибо со времени Тиберия он жил и состарился при дворе. В ту пору Мульвиев мост славился своими ночными соблазнами; нередко наведывался туда и Нерон, чтобы за чертой города свободнее предаваться разврату. И так как не-

кие молодые люди по распространенной тогда среди молодежи распущенности ради озорства и забавы нагнали страху на возвращавшихся в город по Фламиниевой дороге телохранителей Цезаря, Грапт выдумывает, будто они наткнулись на подстроенную Нерону засаду, что он избежал ее лишь случайно, вернувшись другим путем в Саллюстиевы сады и что это вероломное нападение было подготовлено Суллой. И хотя в этом столкновении не был опознан ни один раб или клиент Суллы и выдвинутое против него обвинение самым решительным образом опровергалось его не способным ни на что дерзновенное трусливым характером, тем не менее ему было приказано, как если бы он и в самом деле был изобличен в преступлении, покинуть пределы родины и безвыездно проживать в стенах Массилии.

48. При тех же консулах сенат выслушал два посольства путеоланцев, одно из которых было отправлено декурионами[36], а другое — простым народом Путеол: первые жаловались на чинимые толпою насилия, вторые — на алчность магистратов и наиболее влиятельных граждан. Дабы пресечь эти волнения, сопровождавшиеся швырянием камней и угрозами поджога, и не допустить кровопролития и вооруженной борьбы, сенат избирает Гая Кассия. Но так как путеоланцам не понравились принятые им строгие меры, это поручение по его собственной просьбе возлагается на братьев Скрибониев, и страх перед данною им когортою преторианцев, а также казнь нескольких человек быстро восстановили согласие среди горожан.

49. Я не стал бы упоминать о весьма маловажном сенатском указе, разрешавшем жителям Сиракуз давать игры с участием большего, чем допускалось, числа гладиаторов, если бы против него не выступил с возражениями Тразея Пет и не подал тем самым своим недоброжелателям повода порицать его за высказанное им мнение. Если он и вправду считает, что государству на пользу свободные высказывания сенаторов, то к чему заниматься столь незначительными вопросами? Почему он не выражает своего одобрения или неодобрения, когда речь идет о мире или войне, о пошлинах и законах, наконец обо всем том, на чем держится Римское государство? Ведь сенаторы всякий раз, как им предоставляется право изложить свое мнение, могут беспрепятственно высказать все,

что бы ни пожелали, а также потребовать обсуждения своих предложений. Или единственное, что достойно внимания, — это как бы зрелища в Сиракузах не обставлялись с чрезмерною пышностью? А все прочее в Римской империи так превосходно и безупречно, словно правит ею не Нерон, а Тразея? Но если умалчивается главнейшее, то не следует ли отсюда, что тем более должно воздерживаться от словопрений о пустяках? На просьбу друзей объяснить, что́ побудило его выступить против указа, Тразея ответил, что вносит поправки к постановлениям подобного рода не по незнанию действительного положения дел, но для того, чтобы сенат пользовался подобающим ему уважением и всякому было ясно, что кто не проходит мимо таких мелочей, те не преминут взять на себя заботу и о существенном.

50. В том же году, обеспокоенный настойчивыми жалобами народа, обвинявшего откупщиков в разнузданном произволе, Нерон задумался, не отдать ли ему приказ об уничтожении всех взимаемых пошлин, предоставив этим роду человеческому прекраснейший дар. Сенаторы превознесли похвалами великодушие принцепса, однако охладили его порыв, убедив его в том, что сокращение обеспечивающих могущество государства доходов неизбежно приведет к распаду империи: ведь за упразднением пошлин последует требование и об отмене налогов[37]. Большинство пошлин и товариществ для их взимания было введено и создано консулами и народными трибунами еще в те времена, когда римский народ располагал полной свободой и решал дела по своему усмотрению; впоследствии остальные устанавливались с той целью, чтобы расходы не превышали доходов и между ними существовало необходимое соответствие. Что касается алчности откупщиков, то ее, разумеется, следует обуздать, дабы их новые утеснения не возбудили ненависти к тому, что безропотно претерпевалось на протяжении стольких лет.

51. Итак, принцепс распорядился выставить для всеобщего ознакомления негласные ранее правила, которыми должны были руководствоваться откупщики при взимании того или иного государственного налога; там же указывалось, что, не предъявив требования об уплате налога в течение года, они лишаются права на его взыскание в судебном порядке, что в Риме претор, а в провинциях пропреторы и проконсу-

лы обязаны разбирать вне очереди возбужденные против откупщиков дела, что за воинами сохраняется освобождение от налогов, кроме налогов на торговый оборот; тут содержалось и много другого, справедливого и разумного, что соблюдалось, однако, недолго, а затем было забыто. Впрочем, до наших дней остается в силе отмена пошлины в размере одной сороковой и одной пятидесятой[38], а также прочих незаконно установленных откупщиками поборов. Был также облегчен подвоз в Италию хлеба из заморских провинций и приказано при оценке имущества не учитывать стоимости купеческих кораблей и соответственно не взимать за них установленного налога.

52. Цезарь признал невиновными двоих подсудимых — Сульпиция Камерина и Помпея Сильвана, привлеченных к суду по возвращении из провинции Африки, где они были облечены проконсульской властью; Камерина обвиняли немногие частные лица, и притом больше в жестокости, чем в вымогательстве; против Сильвана выступило множество обвинителей, просивших предоставить им срок для вызова свидетелей; подсудимый, напротив, настаивал, чтобы ему дали возможность немедленно представить свои оправдания и одержал верх, так как был богат, бездетен и в преклонных годах, не помешавших ему пережить, однако, тех, благодаря заступничеству которых он избежал осуждения.

53. До того времени[39] на германской границе царило ничем не нарушаемое спокойствие, ибо оба полководца надеялись поддержанием мира приобрести бóльшую славу, нежели та, которую им могли бы доставить ставшие столь обыденною наградой триумфальные отличия. В ту пору германские войска[40] возглавлялись Паулином Помпеем и Луцием Ветером. Чтобы не оставлять воинов в праздности, первый закончил строительство дамбы для обуздания Рейна, зашестьдесят три года пред тем начатой Друзом[41], а Ветер задумал соединить Мозеллу с Араром, прорыв между ними канал, благодаря которому суда с войсками и грузами, проследовав по Средиземному морю, Родану, Арару, далее по упомянутому каналу и рекою Мозеллой в Рейн, могли бы затем спускаться до Океана; этим устранялись бы трудности передвижения по суше и был бы открыт водный путь между западным и северным побережьем. Помешал этому предприятию

легат Белгики Элий Грацил; он уговорил Ветера не вводить свои легионы в неподведомственную ему провинцию[42] и своими заботами не привлекать к себе расположения Галлии, утверждая, что это неминуемо возбудит подозрения императора, — довод, не раз препятствовавший осуществлению честных намерений.

54. Но из-за длительного бездействия наших войск распространился слух, что легатам запрещено вести их на врага. И вследствие этого фризы по наущению правивших ими, насколько можно править германцами, Веррита и Малорига продвинулись к берегу Рейна — боеспособные, пройдя лесами и топями, прочие, приплыв по озерам[43], — и осели на отведенных для нужд наших воинов и тогда никем не занятых землях. И они успели построить себе жилища и уже засевали пашни, как если бы возделывали унаследованные от предков поля, когда принявший провинцию после Паулина Дубий Авит, угрожая применить силу, если фризы не возвратятся на старые места поселений или не добьются от Цезаря новых, принудил Веррита и Малорига обратиться к нему с ходатайством. Прибыв в Рим и дожидаясь, пока их примет занятый другими делами Нерон, они попали, осматривая все то, что показывают варварам, и в театр Помпея, куда их привели, чтобы они увидели собственными глазами, как богат и могуществен римский народ. Там, не зная, чем себя занять (ибо, по своей дикости, не могли оценить представления), они принимаются спрашивать, кем заполнены ряды амфитеатра, как размещаются в нем сословия, где всадники, где сенаторы, и замечают на сенаторских скамьях некоторых, в ком по одежде узнают чужестранцев; осведомившись, кто это, и услышав в ответ, что такая честь даруется послам тех народов, которые отличаются доблестью и дружественным расположением к римлянам, они восклицают, что никому из смертных не превзойти германцев ни на поле сражения, ни в преданности, спускаются вниз и усаживаются среди сенаторов[44]. Зрители благосклонно отнеслись к их поступку, усмотрев в нем старинную непосредственность и похвальное соревнование. Нерон пожаловал их обоих римским гражданством, но тем не менее повелел фризам удалиться с занятых ими земель. И так как они пренебрегли его повелением, внезапно брошенная на них союзная конница заставила их поко-

риться необходимости, захватив в плен или изрубив всех упорно сопротивлявшихся.

55. Немного спустя те же земли заняли ампсиварии, племя, справиться с которым было труднее не только из-за его численности, но и вследствие сочувствия к нему окрестных народов, ибо, согнанные со своих земель хавками и не имея мест обитания, они молили о предоставлении им надежного пристанища на чужбине. От их имени говорил широко известный среди этих племен и вместе с тем издавна преданный нам ампсиварий по имени Бойокал, заявивший, что во время восстания херусков[45] его по приказанию Арминия держали в оковах, что потом он служил в нашем войске под начальством Тиберия и Германика и теперь в добавление к пятидесятилетней верности отдает в нашу власть свое племя. Но к чему оставлять пустующими такие пространства, куда наши воины лишь кое-когда перегоняют своих овец и быков? Пусть римляне берегут для своих стад заповедные пастбища, когда людей мучает голод, но не лучше ли видеть близ себя дружественные народы, чем заброшенность и запустение. Этими пашнями некогда владели хамавы, затем тубанты, после них — узипы. Как богам отдано небо, так роду смертных — земля; и та, что лежит невозделанной, — общее достояние. После чего, подняв взоры, он обратился к солнцу и прочим светилам, как если бы они были рядом, вопрошая их, пожелают ли они и дальше взирать на заброшенные поля и не обрушат ли скорее хляби морские на расхищающих земли.

56. Эти слова тронули Авита: нужно покоряться воле более сильных; богам, к которым они взывают, более угодно, чтобы решение, чтó жаловать, а чтó отнимать, оставалось за римлянами и они не терпели над собой иных судей, кроме самих себя. Так он ответил племени ампсивариев в целом, тогда как самого Бойокала, в память его давней преданности, пообещал наделить лугами и пашнями. Отвергнув это как плату за предательство, тот добавил: «У нас может не быть земли, чтобы жить, но не для того, чтобы сразиться и умереть». На этом они расстались, унося с собой враждебность друг к другу. Ампсиварии стали призывать бруктеров, тенктеров и даже более отдаленные племена принять участие в войне против римлян, а Авит, написав легату Верхней провинции Куртилию Манции, чтобы, переправившись через

Рейн, он показал наше оружие в тылу неприятеля, ввел свои легионы в пределы тенктеров, угрожая им истреблением, если они не порвут с ампсивариями. И после того как те от них отступились, той же угрозой были устрашены и бруктеры; вслед за ними, не желая разделять чужие опасности, покинули ампсивариев и другие, и, оставшись в одиночестве, это племя отошло назад к узипам и тубантам. Изгнанные из их владений, они пытались пробиться сначала на земли хаттов, потом херусков и в этих долгих блужданиях, встречаемые порою как гости, порою как бесприютные нищие, порою как враги, потеряли убитыми в чужих краях всех, способных носить оружие, тогда как старики, женщины и дети стали добычею различных племен.

57. Тем же летом между гермундурами и хаттами произошла ожесточенная битва, ибо и те и другие хотели завладеть приносившей в изобилии соль пограничной между ними рекою[46], и сразились они не только из страсти решать споры оружием, но и вследствие укоренившегося в них суеверия, будто эти места ближе всего к небу и нигде молитвы смертных не доходят скорее к богам. Вот почему по милости всесильных божеств в этой реке и этих лесах зарождается соль, и притом не так, как у прочих народов, т. е. не из высохшей после разлива моря воды, но возникая от столкновения противоположных друг другу начал — воды и огня, — ибо добывают ее, поливая речною водой пылающую груду деревьев. Война для гермундуров была удачной, для хаттов — гибельною, так как обе стороны заранее посвятили, если они победят, Марсу и Меркурию[47] войско противника, а по этому обету подлежат истреблению у побежденных кони, люди и все живое. В этом случае ярость наших врагов обратилась на них самих. Но союзное нам племя убиев постигло неожиданное несчастье. Ибо вырвавшиеся из-под земли огни повсюду истребляли поместья, пашни, деревни и уже подступали даже к стенам недавно основанной нами колонии[48]. И их не гасили ни выпадавшие дожди, ни речная вода, ни какая-либо иная влага, пока какие-то деревенские жители, не видя других средств и в отчаянии от этого бедствия, не принялись издали швырять в них камнями, и так как огни несколько стихли, подойдя ближе, устрашать их, словно диких зверей, нанося им побои дубинами и колотя по ним чем придется; наконец,

они набрасывают на них, сорвав с себя, свои одежды из шкур, и чем более изношенными и загрязненными они были, тем скорее и легче ими подавлялся огонь[49].

58. В том же году у древа богини Румины на форуме, за восемьсот тридцать лет перед тем прикрывавшего своей тенью младенцев Рема и Ромула, стали отмирать ветви и сохнуть ствол, что было сочтено дурным предзнаменованием, но дерево ожило и пустило молодые побеги.

Книга четырнадцатая

1 В консульство Гая Випстана и Гая Фонтея Нерон больше не стал откладывать давно задуманное злодеяние; ему придавало смелости многолетнее властвование[1], и к тому же его страсть к Поппее день ото дня становилась все пламенней, а она, не надеясь при жизни Агриппины добиться его развода с Октавией и бракосочетания с нею самой, постоянно преследовала его упреками, а порой и насмешками, называя обездоленным сиротой, покорным чужим велениям и лишенным не только власти, но и свободы действий. Почему откладывается их свадьба? Не нравится ее внешность и ее прославленные триумфами деды?[2] Или, быть может, доказанная ею на деле способность рождать детей и ее прямота? Или опасаются, что, сделавшись женой Цезаря, она сообщит ему об обидах сенаторов и недовольстве народа надменностью и алчностью его матери? Раз Агриппина не может выносить другую невестку, кроме питающей вражду к ее сыну, пусть позволят ей, Поппее, вернуться к ее мужу Отону. Она готова удалиться куда угодно, ибо предпочитает слышать со стороны о наносимых императору оскорблениях, чем быть свидетельницей его позора и разделять с ним опасности. Таким и подобным этим речам, подкрепляемым слезами и притворством любовницы, никто не препятствовал, ибо всем хотелось, чтобы могущество Агриппины было подорвано, но никто вместе с тем не предвидел, что ненависть доведет сына до умерщвления матери.

2. Клувий передает, что подстрекаемая неистовой жаждой во что бы то ни стало удержать за собою могущество, Агриппина дошла до того, что в разгар дня, и чаще всего в те часы,

когда Нерон бывал разгорячен вином и обильною трапезой, представала перед ним разряженною и готовой к кровосмесительной связи: ее страстные поцелуи и предвещавшие преступное сожительство ласки стали подмечать приближенные, и Сенека решил побороть эти женские обольщения с помощью другой женщины; для этого он воспользовался вольноотпущенницею Акте, которую подослал к Нерону, с тем чтобы та, притворившись обеспокоенной угрожающей ей опасностью и нависшим над Нероном позором, сказала ему о том, что в народе распространяются слухи о совершившемся кровосмешении, что им похваляется Агриппина и что войска не потерпят над собой власти запятнанного нечестием принцепса. Фабий Рустик пишет, однако, что домогалась кровосмешения не Агриппина, а Нерон и что предотвращено оно было благодаря хитрой уловке той же вольноотпущенницы. Но сообщение Клувия подтверждается и другими авторами, да и молва говорит то же самое, либо потому, что Агриппина и в самом деле вынашивала столь мерзостное намерение, либо, может быть, потому, что представлялось более правдоподобным приписать замысел этого чудовищного прелюбодеяния именно той, которая, соблазненная надеждою на господство, еще в годы девичества не поколебалась вступить в сожительство с Лепидом, вследствие тех же побуждений унизилась до связи с Паллантом и, пройдя через брак с родным дядей, была готова на любую гнусность, что бы она собою ни представляла.

3. Итак, Нерон стал избегать встреч с нею наедине, а когда она отправлялась в загородные сады либо в поместья близ Тускула или Анция, одобрял, что она выезжает на отдых. В конце концов сочтя, что она тяготит его, где бы ни находилась, он решает ее умертвить и начинает совещаться с приближенными, осуществить ли это посредством яда, или оружия, или как-либо иначе. Сначала остановились на яде. Но если дать его за столом у принцепса, внезапную смерть Агриппины невозможно будет приписать случаю, ибо при таких же обстоятельствах погиб и Британик; а подкупить слуг этой женщины, искушенной в злодеяниях и научившейся осторожности, представлялось делом нелегким; к тому же, страшась отравления, она постоянно принимала противоядия. Что же касается убийства с использованием оружия, то

никому не удавалось придумать, как в этом случае можно было бы скрыть, что она умерла насильственной смертью; кроме того, Нерон опасался, что избранный им исполнитель такого дела может пренебречь полученным приказанием. Наконец вольноотпущенник Аникет, префект мизенского флота и воспитатель Нерона в годы его отрочества, ненавидевший Агриппину и ненавидимый ею, изложил придуманный им хитроумный замысел. Он заявил, что может устроить на корабле особое приспособление, чтобы, выйдя в море, он распался на части и потопил ни о чем не подозревающую Агриппину: ведь ничто в такой мере не чревато случайностями, как море; и если она погибнет при кораблекрушении, найдется ли кто столь злокозненный, чтобы объяснять преступлением то, в чем повинны ветер и волны? А Цезарь воздвигнет усопшей храм, жертвенники и вообще не пожалеет усилий, чтобы выказать себя любящим сыном.

4. Этот ловко придуманный план был одобрен. Благоприятствовали ему и сами обстоятельства, ибо праздник Квинкватров[3] Нерон проводил в Байях. Сюда он и заманивает мать, повторяя, что следует терпеливо сносить гнев родителей и подавлять в себе раздражение, и рассчитывая, что слух о его готовности к примирению дойдет до Агриппины, которая поверит ему с легкостью, свойственной женщинам, когда дело идет о желанном для них. Итак, встретив ее на берегу (ибо она прибывала из Анция), он взял ее за руку, обнял и повел в Бавлы. Так называется вилла у самого моря в том месте, где оно образует изгиб между Мизенским мысом и Байским озером. Здесь вместе с другими стоял отличавшийся нарядным убранством корабль, чем принцепс также как бы воздавал почести матери; надо сказать, что ранее она постоянно пользовалась триремою с гребцами военного флота. Затем Нерон пригласил ее к ужину, надеясь, что ночь поможет ему приписать ее гибель случайности. Хорошо известно, что кто-то выдал его и предупредил Агриппину о подстроенной ей западне, и она, не зная, верить ли этому, отправилась в Байи на конных носилках. Там, однако, ласковость сына рассеяла ее страхи; он принял ее с особой предупредительностью и поместил за столом выше себя. Непрерывно поддерживая беседу то с юношеской непринужденностью и живостью, то с сосредоточенным видом, как если бы сообщал ей

нечто исключительно важное, затянул пиршество; провожая ее, отбывающую к себе, он долго, не отрываясь, смотрит ей в глаза и горячо прижимает ее к груди, то ли чтобы сохранить до конца притворство или, быть может, потому, что прощание с обреченной им на смерть матерью тронуло его душу, сколь бы зверской она ни была.

5. Но боги, словно для того, чтобы злодеяние стало явным, послали ясную звездную ночь с безмятежно спокойным морем. Корабль не успел далеко отойти; вместе с Агриппиною на нем находились только двое из ее приближенных — Креперей Галл, стоявший невдалеке от кормила, и Ацеррония, присевшая в ногах у нее на ложе и с радостным возбуждением говорившая о раскаянии ее сына и о том, что она вновь обрела былое влияние, как вдруг по данному знаку обрушивается отягченная свинцом кровля каюты, которую они занимали; Креперей был ею задавлен и тут же испустил дух, а Агриппину с Ацерронией защитили высокие стенки ложа, случайно оказавшиеся достаточно прочными, чтобы выдержать тяжесть рухнувшей кровли. Не последовало и распадения корабля, так как при возникшем на нем всеобщем смятении очень многие непосвященные в тайный замысел помешали тем, кому было поручено привести его в исполнение. Тогда гребцам отдается приказ накренить корабль на один бок и таким образом его затопить; но и на этот раз между ними не было необходимого для совместных действий единодушия, и некоторые старались наклонить его в противоположную сторону, так что обе женщины не были сброшены в море внезапным толчком, а соскользнули в него. Но Ацерронию, по неразумию кричавшую, что она Агриппина и призывавшую помочь матери принцепса, забивают насмерть баграми, веслами и другими попавшими под руку корабельными принадлежностями, тогда как Агриппина, сохранявшая молчание и по этой причине неузнанная (впрочем, и она получила рану в плечо), сначала вплавь, потом на одной из встречных рыбачьих лодок добралась до Лукринского озера и была доставлена на свою виллу.

6. Там, поразмыслив над тем, с какой целью она была приглашена лицемерным письмом, почему ей воздавались такие почести, каким образом у самого берега не гонимый ветром и не наскочивший на скалы корабль стал разрушаться сверху,

словно наземное сооружение, а также приняв во внимание убийство Ацерронии и взирая на свою рану, она решила, что единственное средство уберечься от нового покушения — это сделать вид, что она ничего не подозревает. И она направляет к сыну вольноотпущенника Агерина с поручением передать ему, что по милости богов и хранимая его счастьем она спаслась от почти неминуемой гибели и что она просит его, сколь бы он ни был встревожен опасностью, которую пережила его мать, отложить свое посещение: в настоящем она нуждается только в отдыхе. После этого все с тем же притворным спокойствием она прикладывает к ране целебные снадобья и к телу — согревающие примочки, а также велит разыскать завещание Ацерронии и опечатать оставшиеся после нее вещи, только в этом действуя без притворства.

7. А Нерону, поджидавшему вестей о выполнении злодеяния, тем временем сообщают, что легко раненная Агриппина спаслась, претерпев столько бедствий такого рода, что у нее не может оставаться сомнений, кто их виновник. Помертвев от страха, он восклицает, что, охваченная жаждою мщения, вооружив ли рабов, возбудив ли против него воинов или воззвав к сенату и народу, она вот-вот прибудет, чтобы вменить ему в вину кораблекрушение, свою рану и убийство друзей[4]: что же тогда поможет ему, если чего-нибудь не придумают Бурр и Сенека. И он будит их с повелением срочно явиться к нему, неизвестно, посвященных ли ранее в его замысел. И тот и другой долго хранят молчание, чтобы бесплодно не перечить ему или, быть может, считая дело зашедшим так далеко, что, если не упредить Агриппину, ничто не убережет Нерона от гибели. Наконец Сенека, набравшись решимости, взглянул на Бурра и обратился к нему с вопросом, можно ли отдать приказ воинам умертвить Агриппину. Тот ответил, что преторианцы связаны присягою верности всему дому Цезарей и, помня Германика, не осмелятся поднять руку на его дочь: пусть Аникет выполняет обещанное. Тот, не колеблясь, предлагает возложить на него осуществление этого злодеяния. В ответ на его слова Нерон заявляет, что в этот день ему, Нерону, даруется самовластие и что столь бесценным подарком он обязан вольноотпущеннику; так пусть же он поторопится и возьмет с собою готовых беспрекословно повиноваться его приказаниям. А сам, узнав о прибытии по-

сланного Агриппиною Агерина, решает возвести на нее ложное обвинение и, пока тот передает ему то, что было ею поручено, подбрасывает ему под ноги меч, а затем приказывает заключить его в оковы, имея в виду впоследствии клеветнически объявить, будто мать принцепса, задумавшая покуситься на его жизнь и опозоренная тем, что уличена в преступном деянии, сама себя добровольно предала смерти.

8. Между тем распространяется весть о несчастном случае с Агриппиной, и всякий, услышав об этом, бежит на берег. Одни подымаются на откосы береговых дамб, другие вскакивают в ближайшие лодки; иные, насколько позволял рост, входят в воду, некоторые протягивают вперед руки; сетованиями, молитвенными возгласами, растерянными вопросами и сбивчивыми ответами оглашается все побережье; стеклась несметная толпа с факелами, и, когда стало известно, что Агриппина жива, собравшиеся вознамерились пойти к ней с поздравлениями, но при виде появившегося и пригрозившего им воинского отряда рассеялись. Аникет, расставив вокруг виллы вооруженную стражу, взламывает ворота и, расталкивая встречных рабов, подходит к дверям занимаемого Агриппиною покоя; возле него стояло несколько человек, остальных прогнал страх перед ворвавшимися. Покой был слабо освещен — Агриппину, при которой находилась только одна рабыня, все больше и больше охватывала тревога: никто не приходит от сына, не возвращается и Агерин: будь дело благополучно, все шло бы иначе; а теперь — пустынность и тишина, внезапные шумы — предвестия самого худшего. Когда и рабыня направилась к выходу, Агриппина, промолвив: «И ты меня покидаешь», — оглядывается и, увидев Аникета с сопровождавшими его триерархом Геркулеем и флотским центурионом Обаритом, говорит ему, что если он пришел проведать ее, то пусть передаст, что она поправилась; если совершить злодеяние, то она не верит, что такова воля сына: он не отдавал приказа об умерщвлении матери. Убийцы обступают тем временем ее ложе; первым ударил ее палкой по голове триерарх. И когда центурион стал обнажать меч, чтобы ее умертвить, она, подставив ему живот, воскликнула: «Поражай чрево!», — и тот прикончил ее, нанеся ей множество ран.

9. В рассказе об этом нет расхождений. Но рассматривал ли Нерон бездыханную мать и хвалил ли ее телесную красо-

ту, показания относительно этого разноречивы: кто сообщает об этом, кто это опровергает. Ее тело сожгли той же ночью с выполнением убогих погребальных обрядов; и пока Нерон сохранял верховную власть, над ее останками не был насыпан могильный холм и место погребения оставалось неогражденным. В дальнейшем попечением ее домочадцев ей была сооружена скромная гробница близ Мизенской дороги и виллы диктатора Цезаря, которая возвышается над раскинувшимся внизу изрезанным заливами побережьем. После того как был разожжен погребальный костер, вольноотпущенник Агриппины по имени Мнестер закололся мечом, из привязанности ли к своей госпоже или из страха перед возможною казнью. Агриппина за много лет ранее ожидала такого конца и не страшилась его: передают, что она обратилась к халдеям с вопросом о грядущей судьбе Нерона, и, когда те ей ответили, что он будет властвовать и умертвит мать, она сказала: «Пусть умерщвляет, лишь бы властвовал».

10. Но лишь по свершении этого злодеяния Цезарь постиг всю его непомерность. Неподвижный и погруженный в молчание, а чаще мечущийся от страха и наполовину безумный, он провел остаток ночи, ожидая, что рассвет принесет ему гибель. Первыми в нем пробудили надежду явившиеся со льстивыми заверениями по наущению Бурра центурионы и трибуны, ловившие его руку и поздравлявшие с избавлением от нежданной опасности, с раскрытием преступного умысла матери. Вслед за тем его приближенные стали обходить храмы, а ближние города Кампании, подхватив их пример, — изъявлять свою радость жертвоприношениями и присылкою своих представителей; сам же он, напротив, изображал скорбь и, будто возненавидев себя за то, что остался жив, притворно оплакивал мать. Но так как облик мест не меняется, подобно лицам людей, и тяготивший Нерона вид моря и берегов оставался все тем же (к тому же нашлись и такие, кому казалось, что среди окрестных холмов слышатся звуки трубы, а над могилою его матери — горестные стенания), он удалился в Неаполь, откуда направил сенату послание, в котором говорилось о том, что подосланный его убить приближенный вольноотпущенник Агриппины по имени Агерин был схвачен с мечом и что якобы осужденная собственной совестью за покушение на злодеяние, она сама себя предала смерти.

11. К этому он добавил и перечень более давних ее прегрешений, а именно — что она надеялась стать соправительницей, привести преторианские когорты к присяге на верность повелениям женщины и подвергнуть тому же позору сенат и народ, а после того как эти надежды были развеяны, охваченная враждебностью к воинам, сенату и простому народу, возражала против денежного подарка воинам и раздачи конгиария бедноте и стала строить козни именитым мужам. Скольких трудов стоило ему добиться того, чтобы она не врывалась в курию, чтобы не отвечала от лица государства чужеземным народам! Косвенно высказав порицание временам Клавдия, вину за все творившиеся в его правление безобразия он также переложил на мать, утверждая, что ее смерть послужит ко благу народа. Больше того, он рассказывал и о злосчастном происшествии на корабле. Но нашелся ли хоть кто-нибудь столь тупоумный, чтобы поверить, что оно было случайным? Или что потерпевшей кораблекрушение женщиной был послан с оружием одиночный убийца, чтобы пробиться сквозь когорты и императорский флот? Вот почему неприязненные толки возбуждал уже не Нерон, — ведь для его бесчеловечности не хватало слов осуждения, — а составивший это послание и вложивший в него признания подобного рода Сенека.

12. С поразительным соревнованием в раболепии римская знать принимает решение о свершении молебствий во всех существующих храмах, о том, чтобы Квинкватры, в дни которых было раскрыто злодейское покушение, ежегодно отмечались публичными играми, чтобы в курии были установлены золотая статуя Минервы и возле нее изваяние принцепса, наконец, чтобы день рождения Агриппины был включен в число несчастливых. Тразея Пет, обычно хранивший молчание, когда вносились льстивые предложения, или немногословно выражавший свое согласие с большинством, на этот раз покинул сенат, чем навлек на себя опасность, не положив этим начала независимости всех прочих. Тогда же произошло много знамений, не имевших, однако, последствий: одна женщина родила змею, другая на супружеском ложе была умерщвлена молнией; внезапно затмилось солнце и небесный огонь коснулся четырнадцати концов города[5]. Но боги были ко всему этому непричастны, и многие годы

Нерон продолжал властвовать и беспрепятственно творить злодеяния. Впрочем, чтобы усилить ненависть к Агриппине и показать, насколько после ее устранения возросло его милосердие, он возвратил в родной город знатных матрон Юнию и Кальпурнию и равным образом бывших преторов Валерия Капитона и Лициния Габола, некогда изгнанных Агриппиною. Он дозволил, кроме того, перевезти в Рим прах Лоллии Паулины и соорудить ей гробницу; освободил он от наказания также Итурия и Кальвизия, которых сам недавно сослал. Что касается их покровительницы Силаны, то она умерла своей смертью, возвратившись из дальней ссылки в Тарент, когда могущество Агриппины, враждебность которой ее сокрушила, уже пошатнулось и ее своеволие было обуздано.

13. Тем не менее Нерон медлит, объезжая один за другим города Кампании, озабоченный тем, как его встретят при въезде в Рим, найдет ли он в нем покорный его воле сенат, благосклонность простого народа; чтобы рассеять его колебания, негодяи из его окружения, которыми его двор изобиловал как никакой другой, настойчиво внушают ему, что имя Агриппины всем ненавистно и что с ее смертью народная любовь к нему возросла; пусть же он смело пустится в путь и убедится воочию, каким почитанием его окружают; одновременно они добиваются позволения отправиться в Рим несколько ранее его отъезда туда. И они находят даже бóльшую готовность к его приему, чем обещали ему, вышедшие навстречу трибы, сенаторов в праздничных одеяниях, расставленные по полу и возрасту ряды матрон и детей, сооруженные по пути его следования ступенчатые трибуны, с каких зрители смотрят на триумфальные шествия. Преисполнившись вследствие этого высокомерия, гордый одержанною победой и всеобщей рабской угодливостью, он торжественно поднялся на Капитолий, возблагодарил богов и вслед за тем безудержно предался всем заложенным в нем страстям, которые до этой поры если не подавляло, то до известной степени сдерживало уважение к матери, каково бы оно ни было.

14. Уже давно он был одержим страстным желанием усовершенствоваться в умении править квадригою на ристалище и не менее постыдным влечением овладеть ремеслом кифареда. Он говорил, что конные состязания — забава царей

и полководцев древности; их воспели поэты, и они устраивались в честь богов. А музыке покровительствует Аполлон, который, будучи величайшим и наделенным даром провидения божеством, во всех изваяниях, не только в греческих городах, но и в римских храмах, изображен с кифарой в руках. Убедившись в невозможности побороть эти его увлечения, Сенека и Бурр сочли нужным снизойти к одному из них, дабы он не отдался им обоим. В Ватиканской долине было огорожено для него ристалище, на котором он мог бы править конной упряжкой в присутствии небольшого числа избранных зрителей; но вскоре он сам стал созывать туда простой народ Рима, превозносивший его похвалами, ибо чернь, падкая до развлечений, радовалась, что принцепсу свойственны те же наклонности, что и ей. Но унизив свое достоинство публичными выступлениями, Нерон не ощутил, как ожидали, пресыщения ими; напротив, он проникся еще большею страстью к ним. Рассчитывая снять с себя долю позора, если запятнает им многих, он завлек на подмостки впавших в нужду и по этой причине продавшихся ему потомков знаменитых родов; они умерли в назначенный судьбой срок, но из уважения к их прославленным предкам я не стану называть их имена. К тому же бесчестье ложится и на того, кто оделял их деньгами, скорее награждая проступки, чем для предупреждения их. Он заставил выступать на арене и именитейших римских всадников, склонив их к этому своими щедротами; впрочем, плата, полученная от того, кто может приказывать, не что иное, как принуждение.

15. Все еще не решаясь бесчестить себя на подмостках общедоступного театра, Нерон учредил игры, получившие название Ювеналий[6], и очень многие изъявили желание стать их участниками. Ни знатность, ни возраст, ни прежние высокие должности не препятствовали им подвизаться в ремесле греческого или римского лицедея, вплоть до постыдных для мужчины телодвижений и таких же песен. Упражнялись в непристойностях и женщины из почтенных семейств. В роще, разбитой Августом вокруг вырытого им для навмахий пруда[7], были построены здания для развлечений и лавки, торговавшие тем, что распаляет самые низкие страсти. Посещавшим их выдавались деньги, которые тут же издерживались, — благонравными по принуждению, распутными из

бахвальства. Эти сборища стали рассадниками разнузданности и непотребства, и ничто не способствовало дальнейшему развращению и без того испорченных нравов в такой мере, как эти притоны. Даже среди занятых честным трудом едва поддерживается добропорядочность; как же сохраниться целомудрию, скромности или хоть каким-нибудь следам добродетели там, где соревнуются в наихудших пороках? Наконец, с помощью учителей пения подготовившись к выступлению и тщательно настроив кифару, последним выходит на сцену Нерон. Тут же присутствовали когорта воинов с центурионами и трибунами и сокрушенный, но выражавший ему одобрение Бурр. Тогда же впервые были набраны прозванные августианцами[8] римские всадники, все молодые и статные; одних влекла прирожденная наглость, других — надежда возвыситься. Дни и ночи разражались они рукоплесканиями, возглашая, что Нерон красотою и голосом подобен богам и величая его их именами. И были эти августианцы окружены славою и почетом, словно свершили доблестные деяния.

16. Но желая прославиться не только театральными дарованиями, император обратился также к поэзии, собрав вокруг себя тех, кто, обладая некоторыми способностями к стихотворству, еще не стяжал себе сколько-нибудь значительной славы. Пообедав, они усаживались все вместе и принимались связывать принесенные с собою или сочиненные тут же строки и дополнять случайные слова самого императора. Это явственно видно с первого взгляда на эти произведения, в которых нет ни порыва, ни вдохновения, ни единства поэтической речи[9]. После трапезы уделял он время и учителям философии, дабы позабавиться спорами между отстаивавшими противоположные мнения. И среди них не было недостатка в таких, кто своим глубокомысленным видом старался доставить императору подобные развлечения.

17. Приблизительно тогда же, начавшись с безделицы, во время представления гладиаторов, даваемого Ливинеем Регулом, об исключении которого из сената я сообщил[10], вспыхнуло жестокое побоище между жителями Нуцерии и Помпей. Задирая сначала друг друга по свойственной городским низам распущенности насмешками и поношениями, они схватились затем за камни и наконец за оружие, причем взя-

ла верх помпейская чернь, в городе которой давались игры. В Рим были доставлены многие нуцерийцы с телесными увечьями, и еще большее их число оплакивало гибель детей или родителей. Разбирательство этого дела принцепс предоставил сенату, а сенат — консулам. И после того как те снова доложили о нем сенату, он воспретил общине помпейцев на десять лет устройство этого рода сборищ и распустил созданные ими вопреки законам товарищества. Ливиней и другие виновники беспорядков были наказаны ссылкой.

18. Тогда же из сенаторского сословия был исключен Педий Блез, обвиненный киренцами в расхищении сокровищницы Эскулапия и в том, что, производя набор в войско, брал взятки и допускал злоупотребления. Те же киренцы настаивали на предании суду бывшего претора Ацилия Страбона, направленного к ним в свое время Клавдием для разбора дела о землях, некогда принадлежавших царю Апиону, завещанных им вместе с царством римскому народу и захваченных ближайшими землевладельцами, которые отстаивали давнее беззаконие и самоуправство, ссылаясь на право и справедливость. Вынеся решение об отобрании спорных земель, Страбон восстановил против себя эту провинцию. Сенат ответил киренцам, что ему неизвестны распоряжения Клавдия и что следует обратиться к принцепсу. А Нерон, одобрив принятое Страбоном решение, тем не менее написал сенату, что, идя навстречу союзникам, уступает им незаконно присвоенное.

19. Затем следуют кончины выдающихся мужей Домиция Афра и Марка Сервилия, занимавших в прошлом высшие должности и отличавшихся блистательным красноречием: первый был знаменит судебными речами, Сервилий — своими выступлениями на форуме, а в дальнейшем и сочинением по римской истории, и безупречностью образа жизни, отличавшею его перед Афром, который, будучи равен ему дарованиями, не обладал его нравами.

20. В консульство Нерона (четвертое) и Корнелия Косса[11] в Риме по образцу греческих состязаний[12] были учреждены игры, которые надлежало проводить раз в пятилетие[13], что, как всякое новшество, вызвало разноречивые толки. Нашлись и такие, кто говорил, что на их памяти старики порицали даже Гнея Помпея за возведение им постоянного театра. Ведь ранее наспех сколачивали ступенчатые трибуны для

зрителей и временную сцену, а если глубже заглянуть в старину, то народ смотрел представления стоя, ибо опасались, что, если в театре будут сидения, он станет проводить в нем целые дни в полном безделье. Пусть будут сохранены завещанные древностью зрелища, даваемые преторами, но без необходимости для кого бы то ни было из граждан вступать в состязания. А теперь вследствие заимствованной извне разнузданности уже расшатанные отчие нравы окончательно искореняются, дабы Рим увидел все самое развращенное и несущее с собой развращение, чтó только ни существует под небом, дабы римская молодежь, усвоив чужие обычаи, проводя время в гимнасиях[14], праздности и грязных любовных утехах, изнежилась и утратила нравственные устои, и все это — по наущению принцепса и сената, которые не только предоставили свободу порокам, но и применяют насилие, заставляя римскую знать под предлогом соревнований в красноречии и искусстве поэзии бесчестить себя на подмостках. Что же ей еще остается, как не обнажиться и, вооружившись цестами[15], заняться кулачными боями, вместо того чтобы служить в войске и совершенствоваться в военном деле? Или, быть может, возрастет справедливость и всаднические декурии, наловчившись разбираться в переливах звучаний и прелести голосов, станут усерднее отправлять высокую обязанность правосудия? Даже ночи и те отданы этому сраму, чтобы ни у кого не оставалось времени устыдиться, но посреди беспорядочных сборищ, пользуясь мраком, каждый распутник мог осмелиться на то, к чему он жадно тянулся на протяжении дня.

21. Многим, однако, эта распущенность пришлась по душе, и они старались приискать для нее благовидные оправдания. Наши предки, говорили они, так же не чуждались доступных им по их тогдашним возможностям развлечений, доставляемых зрелищами, — так, лицедеев они призвали от тусков, у турийцев заимствовали конные состязания; а овладев Ахайей и Азией, они стали тщательнее обставлять игры, и тем не менее в течение двухсот лет после триумфа Луция Муммия, который первым показал в Риме этот род зрелищ, ни один римлянин знатного происхождения не унизил себя ремеслом лицедея. Построить постоянный театр их побуждала и бережливость, так как это было гораздо выгоднее, чем,

производя огромные траты, ежегодно возводить и разбирать театральные сооружения. К тому же магистратам не придется расточать личные средства и у народа не будет повода домогаться от них греческих состязаний, так как все издержки по их устройству лягут на государство. Победы ораторов и поэтов будут поощрять к развитию дарований, и никакому судье не в тягость послушать достойные произведения и уделить время дозволенным удовольствиям. Наконец, несколько ночей за целое пятилетие отдаются веселью, а не разгулу; ведь их озарит такое обилие ярких огней, что не сможет укрыться ничто предосудительное. И действительно, эти игры прошли без явного ущерба для благонравия и театральные страсти не распалили толпу, ибо, хотя мимы и были возвращены на подмостки, к священным состязаниям их все же не допустили. Главной награды за красноречие никто удостоен не был, но победителем объявлен Нерон. Греческая одежда, в которую в те дни многие облачились, по миновании их вышла из употребления.

22. Среди этих событий возблистала комета, по распространенному в толпе представлению предвещающая смену властителя. И вот, как будто Нерон был уже свергнут, пошли толки, кто же будет избран вместо него: все в один голос называли Рубеллия Плавта, знатнейшего мужа, мать которого принадлежала к роду Юлиев. Он чтил установления предков, облик имел суровый, жил безупречно и замкнуто, и чем незаметнее, побуждаемый осторожностью, старался держаться, тем лучше о нем говорили в народе. Распространению толков об ожидающем его будущем способствовало и порожденное тем же легкомыслием истолкование следующего происшествия: когда Нерон, находясь на вилле у Симбруинских озер, которая носит название Сублаквей, возлежал за трапезой, молния разбила стол со всеми расставленными на нем яствами. И так как это случилось по соседству с Тибуром, из которого происходил отцовский род Плавта, было сочтено, что волей богов ему предназначается власть, и многие, наделенные нетерпеливым и чаще всего обманчивым честолюбием, толкающим их преждевременно восторгаться новым и еще не определившимся, стали окружать его чрезмерным вниманием. Встревоженный этим Нерон пишет Плавту письмо: пусть он подумает о спокойствии Рима и удалится от распро-

странителей злонамеренных слухов; владея наследственными землями в Азии, он может в безопасности и безмятежно наслаждаться там своей молодостью. И Плавт удалился туда вместе с женою Антистией и немногими домочадцами. В те же дни ненасытная страсть Нерона к беспутству подвергла его бесчестию и опасности, ибо он искупался и плавал в водоеме отведенного в Рим Марциева источника, и было сочтено, что, омыв в нем свое тело, он осквернил священные воды и святость этого места. И действительно, последовавшая затем угрожавшая его жизни болезнь подтвердила, что он разгневал богов.

23. После разрушения Артаксаты[16] Корбулон решил воспользоваться еще владевшей врагами растерянностью и захватить Тигранокерту, чтобы или, уничтожив ее, вселить в них еще больший ужас, или, пощадив, — породить молву о своем милосердии. Он направляется к городу, не производя со своим войском опустошений, чтобы не отнимать надежды на снисхождение, и вместе с тем не забывая о мерах предосторожности, ибо он хорошо знал, как непостоянен этот народ, столь же малодушный в опасности, сколь вероломный при благоприятных для него обстоятельствах. Варвары, смотря по нраву каждого, одни — обращаются к нему с мольбами, другие — покидают свои селения и уходят в глухие места; были и такие, которые вместе со всем, что было для них дороже всего, укрылись в пещерах. Поэтому и римский полководец поступал с ними по-разному: был милостив к взывающим о пощаде, стремителен в преследовании бегущих и безжалостен к засевшим в убежищах: он закладывает входы и выходы пещер сучьями и валежником и разводит огонь. А когда он проходил мимо пределов мардов, привычные к разбойным набегам и защищенные от вторжения горами, они совершили на него нападение; бросив на них иберов, Корбулон разорил их земли и дерзость врагов отмстил чужой кровью.

24. Сам он и его войско, хоть оно и не понесло потерь от сражений, вынужденные утолять голод одним только мясом, изнемогали от лишений и трудностей; недостаток воды, знойное лето, дальность переходов — все это умерялось лишь терпением полководца, переносившего наравне с рядовым воином те же и даже бóльшие тяготы. Наконец выбра-

лись в обитаемые места и сняли жатву; из двух крепостей, в которых укрылись армяне, одна была взята приступом; тех же, кому удалось отбить первый натиск, вынудили к сдаче осадою. Перейдя затем в область тавравнитов, Корбулон избегнул нежданной опасности: возле его палатки был схвачен с оружием некий варвар из знатного рода. Под пыткою он раскрыл заговор и его цели, назвался его главой и зачинщиком и выдал своих сотоварищей; и были изобличены и наказаны те, кто под личиной друзей готовил злодейское покушение. Вскоре прибывшие из Тигранокерты послы заявили, что их город открыл ворота и его жители ждут приказаний; при этом в качестве дара гостеприимства они поднесли золотой венец; Корбулон благосклонно принял его, и городу не было причинено никакого ущерба, дабы горожане с тем большей готовностью соблюдали повиновение.

25. Но крепость Легерда, в которой заперлась отважная молодежь, была захвачена не без борьбы: враги осмелились дать битву у ее стен и, загнанные внутрь укреплений, перестали сопротивляться лишь после того, как нами был насыпан осадный вал и наши силою ворвались в крепость. Это было облегчено тем, что парфян связывала война с гирканами. Тогда же гирканы направили к римскому принцепсу посольство с просьбой о заключении с ними союза, указывая как на залог дружбы, что они сдерживают царя Вологеза. Корбулон при возвращении послов дал им охрану, чтобы, переправившись через Евфрат, они не были схвачены вражескими отрядами: их проводили до берегов Красного моря, откуда, избежав пределов парфян, они возвратились на родину.

26. А когда Тиридат, пройдя через земли мидян, вторгся в пограничные с ними пределы Армении, Корбулон вынудил его удалиться и оставить мысль о войне, выслав против него со вспомогательными войсками легата Верулана и поспешив вслед за ним с легионами; опустошив огнем и мечом владения тех, о чьей враждебности к нам он был осведомлен, Корбулон уже держал в своих руках всю Армению, когда прибыл Тигран, избранный Нероном ее властителем; он происходил из каппадокийской знати, был внуком царя Архелая, но длительное пребывание в Риме заложником воспитало в нем рабскую приниженность. Принят он был не всеми с одинаковою готовностью, так как некоторые все еще питали привя-

занность к Арсакидам; но большинство ненавидело парфян за надменность и предпочитало иметь царя, присланного из Рима. Тиграну дали охрану из тысячи легионеров, двух союзнических когорт и двух отрядов вспомогательной конницы, и чтобы ему было легче удерживать за собою новый престол, определенным частям Армении, смотря по тому, к чьим землям они примыкали, было велено повиноваться Фарасману, Полемону, Аристобулу и Антиоху. Со смертью Умидия Квадрата Корбулон отбыл в Сирию, оставшуюся без наместника и отданную ему в управление.

27. В том же году Лаодикея, один из славнейших городов Азии, была разрушена землетрясением и без нашей помощи, своими средствами сама себя подняла из развалин. В Италии старинный город Путеолы получил от Нерона права колонии и название по его имени[17]. К Таренту и Анцию были приписаны ветераны, не способствовавшие, однако, заселению этих пустынных местностей, так как в большинстве они разбрелись по провинциям, в которых закончили срок своей службы; не привыкшие к брачным союзам и воспитанию рожденных от них детей, они оставляли свои дома безлюдными, без наследников. К тому же теперь выводились на поселение не легионы в полном составе, со своими центурионами и трибунами, — как в былые времена, когда каждый воин вместе со своими товарищами составляли общину, живущую в добром согласии, — но воины, друг друга не знавшие, из различных манипулов, без руководителя, без взаимной привязанности, наскоро собранные все вместе как бы из разноплеменных людей, — скорее какое-то сборище, чем колония.

28. Так как избрание преторов, обычно производившееся сенатом, сопровождалось на этот раз особенно ожесточенной борьбой, принцепс внес успокоение, назначив троих из соискателей легатами легионов[18], так что число оставшихся сравнялось с числом преторских мест. Он также возвысил достоинство сената, определив, что апеллирующие к нему на решения судей по гражданским делам рискуют такой же суммой, как и апеллирующие к императору, тогда как ранее обращавшиеся с этим в сенат не вносили никакого залога. В конце года римский всадник Вибий Секунд по обвинению, выдвинутому против него мавританцами, осуждается за вымогательство и изгоняется из Италии; он избежал более сурового

наказания лишь благодаря заступничеству своего брата Вибия Криспа.

29. В консульство Цезенния Пета и Петрония Турпилиана[19] нам пришлось понести в Британии тяжелое поражение; Авл Дидий, как я упоминал выше, сохранил в ней только старые приобретения, а его преемник Вераний, незначительными набегами разорявший силуров, умер, не успев расширить военные действия; пользуясь при жизни славою мужа строгих нравственных правил, он выказал себя в завещании суетным честолюбцем: расточив Нерону обильную лесть, он под конец заявлял, что окончательно подчинил бы его власти эту провинцию, доведись ему прожить еще хотя бы два года. Но в описываемое время британцами правил Светоний Паулин, знанием военного дела и славой в народе, который для всякого находит соперника, состязавшийся с Корбулоном и стремившийся укрощением неприятеля сравняться в заслугах с покорителем Армении. Итак, он решает напасть на густонаселенный и служивший пристанищем для перебежчиков остров Мону и с этой целью строит плоскодонные корабли, не боящиеся мелководья и подводных камней. На них он и перевез пехотинцев; всадники же переправились следуя по отмелям, а в более глубоких местах — плывя рядом с конями[20].

30. На берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, среди которого бегали женщины; похожие на фурий, в траурных одеяниях, с распущенными волосами, они держали в руках горящие факелы; бывшие тут же друиды[21] с воздетыми к небу руками возносили к богам молитвы и исторгали проклятия. Новизна этого зрелища потрясла наших воинов, и они, словно окаменев, подставляли неподвижные тела под сыплющиеся на них удары. Наконец, вняв увещаниям полководца и побуждая друг друга не страшиться этого исступленного, наполовину женского войска, они устремляются на противника, отбрасывают его и оттесняют сопротивляющихся в пламя их собственных факелов. После этого у побежденных размещают гарнизон и вырубают их священные рощи, предназначенные для отправления свирепых суеверных обрядов: ведь у них считалось благочестивым орошать кровью пленных жертвенники богов и испрашивать их указаний, обращаясь к человеческим внутренностям. И вот, когда Светоний был занят выполнением этих дел, его изве-

щают о внезапно охватившем провинцию возмущении.

31. Царь иценов Прасутаг, славившийся огромным богатством, назначил в завещании своими наследниками Цезаря и двух дочерей, рассчитывая, что эта угодливость оградит его царство и достояние от насилий. Но вышло наоборот, и царство стали грабить центурионы, а достояние — рабы прокуратора, как если бы и то и другое было захвачено силой оружия. Прежде всего была высечена плетьми жена Прасутага Боудикка и обесчещены дочери; далее, у всех видных иценов отнимается унаследованное от предков имущество (словно вся эта область была подарена римлянам), а с родственниками царя начинают обращаться как с рабами. Возмущенные этими оскорблениями и страшась еще худших, поскольку их земля стала частью провинции, ицены хватаются за оружие и привлекают к восстанию триновантов, а также всех тех, кто, еще не сломленный порабощением, поклялся на тайных собраниях отвоевать утраченную свободу, питая особую ненависть к ветеранам. И в самом деле, недавно выведенные в колонию Камулодун, они выбрасывали тринобантов из их жилищ, сгоняли с полей, называя пленниками и рабами, причем воины потворствовали своеволию ветеранов и вследствие сходства в образе жизни, и в надежде на то, что им будет дозволено то же. К тому же возведенный божественному Клавдию храм представлялся тринобантам как бы оплотом вечного господства над ними, а назначенные его жрецами разоряли их под предлогом издержек на отправление культа. Между тем восставшим казалось делом отнюдь не трудным уничтожить колонию, не имевшую никаких укреплений, ибо наши военачальники об этом не позаботились, думая более о приятном, чем о полезном.

32. При таком положении дел статуя Виктории в Камулодуне безо всякой явной причины рухнула со своего места и повернулась в противоположную сторону, как бы отступая перед врагами. И впавшие в исступление женщины стали пророчить близкую гибель: в курии камулодунцев раздавались какие-то непонятные звуки, театр оглашался воплями, и на воде в устье Тамезы явилось изображение поверженной в прах колонии; Океан стал красным, как кровь, и на обнаженном отливом дне виднелись очертания человеческих трупов. Все это толковалось как знамения, благоприятные для бри-

танцев, зловещие для ветеранов. И так как Светоний был далеко, обратились за помощью к прокуратору Кату Дециану. Тот прислал не более двухсот человек, и к тому же без надлежащего вооружения; стоял в Камулодуне и малочисленный отряд воинов. Уповая на храм как на неприступную крепость и встречая противодействие в осуществлении разумных мероприятий со стороны тех, кто был тайным сообщником восставших, они не провели вала и рва и не отослали женщин и стариков, с тем чтобы оставить при себе только боеспособных; и вот тьма варваров окружает их, столь же беспечных, как если бы кругом царил мир. Напавшие разграбили и сожгли все, кроме храма, в котором сосредоточились воины и который после двухдневной осады был также захвачен врагами. Победители-британцы, выйдя навстречу шедшему на выручку Камулодуна легату девятого легиона Петилию Цериалу, рассеяли его легион, перебив всех пехотинцев; сам Цериал с конницей ускользнул в лагерь и укрылся за его укреплениями. Устрашенный этим разгромом и ожесточением провинции, которую его корыстолюбие ввергло в мятеж, Кат переправился в Галлию.

33. А Светоний, с поразительной стойкостью пробившийся среди врагов, достиг Лондиния, города, хотя и не именовавшегося колонией[22], но весьма людного вследствие обилия в нем купцов и товаров. Здесь, размышляя над тем, не избрать ли его опорою для ведения дальнейших военных действий, он, учтя малочисленность своего войска и пример Петилия, которому дорого обошлась его опрометчивость, решает пожертвовать этим городом ради спасения всего остального. Ни мольбы, ни слезы взывавших к нему о помощи горожан не поколебали его решимости, и он подал сигнал к выступлению, взяв с собою в поход пожелавших ему сопутствовать; те, кого удержали от этого пол или преклонный возраст или привлекательность этого места, были истреблены врагами. Такая же участь постигла и муниципий Веруламий, так как варвары, обрадованные возможностью грабежа и не расположенные к бранным трудам, обходя стороною крепости и гарнизоны, накидывались на то, что сулило особенно богатую добычу и недостаточно охранялось защитниками. Известно, что в упомянутых мною местах погибло до семидесяти тысяч римских граждан и союзников. Ведь вос-

ставшие не знали ни взятия в плен, ни продажи в рабство, ни каких-либо существующих на войне соглашений, но торопились резать, вешать, жечь, распинать, как бы в предвидении, что их не минует возмездие, и заранее отмщая себя.

34. Светоний перестал выжидать и решился дать сражение неприятелю лишь после того, как в его распоряжении оказались четырнадцатый легион с вексиллариями двадцатого и подразделения вспомогательных войск из размещенных поблизости — всего около десяти тысяч вооруженных. Для сражения он избирает местность с узкой тесниною перед нею и с прикрывавшим ее сзади лесом, предварительно уверившись в том, что враг только пред ним на равнине и что она совершенно открыта и можно не опасаться засад. Итак, легионеров он расставил сомкнутым строем, по обе стороны от них — легковооруженных, а на крайних флангах — конницу в плотных рядах. А у британцев в каждом отряде конных и пеших шло ликование; их было такое множество, как никогда ранее, и они были преисполнены такой самоуверенности, что взяли с собою жен, дабы те присутствовали при их победе, и посадили их на повозки, находившиеся у краев поля.

35. Боудикка, поместив на колеснице впереди себя дочерей, когда приближалась к тому или иному племени, восклицала, что британцы привыкли воевать под предводительством женщин, но теперь, рожденная от столь прославленных предков, она мстит не за потерянные царство и богатства, но как простая женщина за отнятую свободу, за свое избитое плетьми тело, за поруганное целомудрие дочерей. Разнузданность римлян дошла до того, что они не оставляют неоскверненным ни одного женского тела и не щадят ни старости, ни девственности. Но боги покровительствуют справедливому мщению: истреблен легион, осмелившийся на битву; остальные римляне либо прячутся в лагерях, либо помышляют о бегстве. Они не выдержат даже топота и кликов столь многих тысяч, не то что их натиска и ударов. И если британцы подумают, сколь могучи их вооруженные силы и за что они идут в бой, они убедятся, что в этом сражении нужно победить или пасть. Так решила для себя женщина; пусть же мужчины цепляются за жизнь, чтобы прозябать в рабстве.

36. Не молчал в столь решительный час и Светоний; убежденный в доблести своих воинов, он тем не менее обратился

к ним с увещаниями и просьбами презреть вопли и пустые угрозы варваров; все видят, что среди них больше женщин, чем боеспособных мужей; малодушные, кое-как вооруженные, столько раз битые, они сразу же побегут, как только узнают доблесть и мечи своих победителей. Даже при большом числе легионов судьбу сражений решают немногие, и им достанется тем больший почет, если столь малый отряд покроет себя славою, выпадающей на долю целого войска. Только пусть они не расстраивают рядов и, метнув дротики, продолжают непрерывно поражать и уничтожать неприятеля выпуклостями щитов и мечами и не думают о добыче. После того как они одержат победу, все достанется им. Эти слова полководца вызвали такое воодушевление и старые, испытанные в походах воины с такой ловкостью изготовились метнуть дротики, что, уверившись в успешном исходе, Светоний подал сигнал к началу сражения.

37. Сначала легион, не двигаясь с места, стоял за тесниною, заменявшей ему укрепления, но, выпустив все свои дротики в подступивших на расстояние верного удара врагов, бросился на них в боевом порядке наподобие клина. Столь же стремительным был натиск воинов вспомогательных войск; ринулись на неприятеля и всадники с копьями наперевес, смявшие преграждавших им путь и оказывавших сопротивление. После этого остальные враги обратились в бегство, которому, однако, мешали расставленные повсюду и загромождавшие проходы телеги. Наши воины истребляли противника, не щадя и женщин; к грудам человеческих тел добавлялись и трупы пронзенных дротиками и копьями лошадей. Одержанная в тот день победа не уступает в блеске и славе знаменитым победам древности. Ведь было истреблено, как утверждают некоторые, немногим менее восьмидесяти тысяч британцев, тогда как мы потеряли лишь около четырехсот убитыми и не намного более ранеными. Боудикка лишила себя жизни ядом. А префект лагеря второго легиона Пений Постум, узнав об успешных действиях воинов четырнадцатого и двадцатого легионов, сразил себя мечом, ибо лишил свой легион той же славы, не выполнив, вопреки воинскому уставу, приказа полководца.

38. Затем для завершения войны все войско было сосредоточено в одном месте, где содержалось в зимних палатках.

Цезарь усилил его, направив из Германии подкрепления — две тысячи легионеров, восемь когорт вспомогательных войск и тысячу всадников. Легионеры были использованы для пополнения девятого легиона, а когорты и конница размещены на зимовку во вновь устроенном лагере, и земли всех подозрительных или открыто враждебных народов римское войско подвергло опустошению огнем и мечом. Но больше всего британцы страдали от голода, ибо своевременно не позаботились о посевах и потому, что и старые и молодые отправились на войну, и потому, что рассчитывали на захват наших продовольственных складов. И все же эти неукротимые племена затягивали сопротивление, так как присланный взамен Ката Юлий Классициан, неприязненно относясь к Светонию, из личной вражды препятствовал общему благу, сея слухи о том, что вскоре должен прибыть новый легат, который без злобы к противнику и свойственного победителю высокомерия милостиво отнесется к сдавшимся. Одновременно он писал в Рим, чтобы там не ждали скорого прекращения боевых действий, если не будет назначен преемник Светонию, чьи неудачи он объяснял его непригодностью, а успехи — благоприятствованием судьбы.

39. Итак, чтобы обследовать положение в Британии, туда был направлен вольноотпущенник Поликлит, на которого Нерон возлагал большие надежды, рассчитывая, что его влияние сможет не только установить согласие между легатом и прокуратором, но и внести успокоение в непокорные души варваров. Поликлит не замедлил отправиться в путь; на Италию и Галлию он произвел впечатление пышностью и многочисленностью сопровождавших его, а переплыв Океан, внушил страх и нашим воинам: но враги, у которых тогда еще царила никем не стесняемая свобода и которым было неведомо могущество вольноотпущенников, смеялись над ним и поражались тому, что полководец и войско, завершившие такую войну, повинуются каким-то рабам. Однако обо всем он доложил императору в смягченных выражениях; за Светонием было оставлено руководство делами, но так как после этого он потерял на берегу несколько кораблей с гребцами, что было сочтено свидетельством продолжающейся войны, ему было приказано сдать войско закончившему срок своего консульства Петронию Турпилиану. Тот, не раздражая

врагов и не тревожимый ими, пребывал в ленивом бездействии, которому присвоил благопристойное наименование мира.

40. В том же году в Риме были совершены два выдающихся преступления, одно — сенатором, другое — дерзким рабом. Бывший претор Домиций Бальб, и вследствие преклонного возраста, и вследствие бездетности, при большом богатстве был беззащитен против злокозненных посягательств на его собственность. И вот его родственник Валерий Фабиан, которому был открыт путь к занятию высших должностей в государстве, подделал его завещание с ведома и при содействии римских всадников Виниция Руфина и Теренция Лентина. Те, в свою очередь, привлекли к соучастию Антония Прима и Азиния Марцелла. Антоний отличался решительностью и дерзостью, Марцелл был правнуком знаменитого Азиния Поллиона и мог бы считаться неплохим человеком, если бы не находил бедность худшим из зол. Итак, Фабиан скрепляет завещание печатями упомянутых мною и других менее видных соучастников этого дела. Подлог был изобличен в сенате, и Фабиан, а также Антоний с Руфином и Теренцием осуждаются по Корнелиеву закону[23]. Марцелла избавили больше от наказания, чем от бесчестия, уважение к памяти его предков и заступничество Цезаря.

41. Сразил этот день и Помпея Элиана, молодого человека, прошедшего квестуру; ему, как знавшему о преступных деяниях Фабиана, было запрещено проживать в Италии и Испании, которая была его родиной. Такому же бесчестию подвергся Валерий Понтик, который, дабы воспрепятствовать привлечению виновных к ответственности через префекта города Рима, обратился с их обвинением к претору, прикрываясь законами и намереваясь выступить на суде таким образом, чтобы избавить их от заслуженной кары. В сенатском постановлении по его делу было добавлено, что виновные в подобном сговоре — и подкупленный и подкупивший — подлежат такому же наказанию, какое назначается уголовным судом за клеветническое обвинение[24].

42. Немного позднее префекта города Рима Педания Секунда убил его собственный раб, то ли из-за того, что, условившись отпустить его за выкуп на волю, Секунд отказал ему в этом, то ли потому, что убийца, охваченный страстью к

мальчику, не потерпел соперника в лице своего господина. И когда в соответствии с древним установлением[25] всех проживавших с ним под одним кровом рабов собрали, чтобы вести на казнь, сбежался простой народ, вступившийся за стольких ни в чем не повинных, и дело дошло до уличных беспорядков и сборищ перед сенатом, в котором также нашлись решительные противники столь непомерной строгости, хотя большинство сенаторов полагало, что существующий порядок не подлежит изменению. Из числа последних при подаче голосов выступил со следующей речью Гай Кассий:

43. «Я часто присутствовал, отцы сенаторы, в этом собрании, когда предлагались новые сенатские постановления в отмену указов и законов, оставшихся нам от предков; я не противился этому, и не потому, чтобы сомневался, что некогда все дела решались и лучше, и более мудро и что предлагаемое преобразование старого означает перемену к худшему, но чтобы не думали, будто в своей чрезмерной любви к древним нравам я проявляю излишнее рвение. Вместе с тем я считал, что если я обладаю некоторым влиянием, то не следует растрачивать его в частых возражениях, дабы оно сохранилось на тот случай, если государству когда-нибудь понадобятся мои советы. Ныне пришла такая пора. У себя в доме убит поднявшим на него руку рабом муж, носивший консульское звание, и никто этому не помешал, никто не оповестил о готовящемся убийстве, хотя еще нисколько не поколеблен в силе сенатский указ, угрожающий казнью всем проживающим в том же доме рабам. Постановите, пожалуй, что они освобождаются от наказания. Кого же тогда защитит его положение, если оно не спасло префекта города Рима? Кого убережет многочисленность его рабов, если Педания Секунда не уберегли целых четыреста? Кому придут на помощь проживающие в доме рабы, если они даже под страхом смерти не обращают внимания на грозящие нам опасности? Или убийца и в самом деле, как не стыдятся измышлять некоторые, лишь отмстил за свои обиды, потому что им были вложены в сделку унаследованные от отца деньги или у него отняли доставшегося от дедов раба? Ну что же, в таком случае давайте провозгласим, что, убив своего господина, он поступил по праву.

44. Быть может, вы хотите, чтобы я привел доводы в пользу того, что было продумано людьми, превосходившими меня мудростью? Но если бы нам первым пришлось выносить приговор по такому делу, неужели вы полагаете, что раб, решившийся убить господина, ни разу не обронил угрозы, ни о чем не проговорился в запальчивости? Допустим, что он скрыл ото всех свой умысел, что припас оружие без ведома всех остальных. Но неужели ему удалось обмануть охрану, открыть двери спальни, внести в нее свет, наконец, совершить убийство, и никто ничего не заметил? Многие улики предшествуют преступлению. Если рабам в случае недонесения предстоит погибнуть, то каждый из нас может жить один среди многих, пребывать в безопасности среди опасающихся друг друга, наконец, знать, что злоумышленников настигнет возмездие. Душевные свойства рабов внушали подозрение нашим предкам и в те времена, когда они рождались среди тех же полей и в тех же домах, что мы сами, и с младенчества воспитывались в любви к своим господам. Но после того как мы стали владеть рабами из множества племен и народов, у которых отличные от наших обычаи, которые поклоняются иноземным святыням или не чтят никаких, этот сброд не обуздать иначе, как устрашением. Но погибнут некоторые безвинные? Когда каждого десятого из бежавших с поля сражения засекают палками насмерть, жребий падает порою и на отважного. И вообще всякое примерное наказание, распространяемое на многих, заключает в себе долю несправедливости, которая, являясь злом для отдельных лиц, возмещается общественной пользой».

45. Никто не осмелился выступить против Кассия, и в ответ ему раздались лишь невнятные голоса сожалевших об участи такого множества обреченных, большинство которых, бесспорно, страдало безвинно, и среди них старики, дети, женщины; все же взяли верх настаивавшие на казни. Но этот приговор нельзя было привести в исполнение, так как собравшаяся толпа угрожала взяться за камни и факелы. Тогда Цезарь, разбранив народ в особом указе, выставил вдоль всего пути, которым должны были проследовать на казнь осужденные, воинские заслоны. Цингоний Варрон внес предложение выслать из Италии проживавших под тем же кровом вольноотпущенников, но принцепс воспротивился это-

му, дабы древнему установлению, которого не могло смягчить милосердие, жестокость не придала бóльшую беспощадность.

46. При тех же консулах по жалобе вифинцев был осужден на основании закона о вымогательстве Тарквитий Приск, что доставило большую радость сенаторам, не забывшим про обвинения, которые он в свое время возвел на своего проконсула Статилия Тавра. Квинтом Волузием, Секстием Африканом и Требеллием Максимом был проведен в Галлии ценз; Волузий и Африкан соперничали между собою в знатности и, пренебрегая Требеллием, способствовали тем самым его выдвижению на первое место.

47. В этом году умер Меммий Регул; он выделялся влиятельностью, душевной стойкостью и доброй славой, насколько это возможно при всезатмевающем сиянии императорского величия, так что даже Нерон, когда занемог и окружавшие его льстецы принялись говорить, что, если его унесет судьба, придет конец и империи, ответил на это, что государству есть на кого опереться, и когда они стали допытываться, на кого именно, назвал Меммия Регула. Тем не менее Регул остался жив, защищаемый своею бездеятельностью и тем, что знатность его была недавнего происхождения, а состояние не таково, чтобы возбуждать зависть. В том же году Нерон освятил гимнасий и с греческой щедростью выдал оливковое масло всадникам и сенату.

48. В консульство Публия Мария и Луция Афиния[26] претор Антистий, который, как я упоминал выше, злоупотреблял властью в бытность народным трибуном[27], занимался писанием стихов в поношение принцепсу и огласил их в многолюдном собрании на пиру у Остория Скапулы. Об этом донес как об оскорблении величия Коссуциан Капитон, которому незадолго пред тем по ходатайству его тестя Тигеллина было возвращено сенаторское достоинство. Тогда, в первый раз при Нероне, был восстановлен в силе этот закон, причем считалось, что в данном случае преследуется не столько цель погубить Антистия, сколько возможность доставить императору всеобщее одобрение, ибо думали, что, воспользовавшись трибунскою властью для отмены вынесенного сенатом смертного приговора, он подарит жизнь осужденному. И хотя вызванный для дачи свидетельских показаний Осторий

заявил, что он ничего не слыхал, поверили свидетелям, утверждавшим противное; и консул на будущий срок Юний Марулл предложил отрешить подсудимого от претуры и предать его смерти по принятому у предков способу. Это предложение поддержали все, кроме Тразеи Пета, который воздал Цезарю величайший почет, ибо, со всей суровостью осудив Антистия, заявил, что при столь выдающемся принцепсе не связанный никакими посторонними соображениями сенат не должен выносить такое постановление, сколь бы его ни заслуживал подсудимый. Палач и петля уже давно отошли в прошлое, и мера наказания предусматривается соответствующими законами, на основании которых, а не в зависимости от свирепости судей и на бесчестье своему времени и назначается кара. И чем дольше, после того как имущество осужденного подвергнется конфискации, он будет влачить на острове отягощенную преступлением жизнь, тем более жалким он станет как личность, являя собой вместе с тем величайший пример снисходительности со стороны государства.

49. Свободомыслие Тразеи сломило раболепие остальных, и после того как консулом было дано разрешение на дисцессию[28], за Тразеей последовал весь сенат, кроме немногих льстецов. Наиболее ревностным из них был Авл Вителлий, который постоянно нападал с бранью на честнейших людей и, получив отпор, тотчас же смолкал, как это свойственно трусам. Тем не менее консулы, не решившись окончательно оформить сенатское постановление, ограничились сообщением его Цезарю, указав, что оно принято подавляющим большинством. Колеблясь между сдержанностью и гневом, тот некоторое время помедлил с ответом и наконец написал, что Антистий, не претерпев от него никакой обиды и безо всякого повода с его стороны, нанес ему наитягчайшие оскорбления; от сената потребовали воздать за них должною мерой, и было бы справедливо, если бы он определил ему наказание сообразно значительности проступка. Впрочем, он, намеревавшийся воспрепятствовать суровости приговора, никоим образом не воспрещает умеренности; пусть сенаторы решают, как им будет угодно; больше того, им не возбраняется и полностью оправдать подсудимого. По оглашению этого и подобного этому, невзирая на явно выраженное

Нероном неудовольствие, ни консулы не внесли изменений в составленный ими по этому делу доклад, ни Тразея не отказался от своего предложения, как не отступились от него и все давшие ему свое одобрение, — часть, чтобы их не заподозрили в том, что они умышленно навлекают на принцепса неприязнь, большинство — черпая уверенность в своей многочисленности, а Тразея — в силу всегдашней твердости духа и чтобы не уронить себя в общем мнении.

50. Подобное же обвинение погубило и Фабриция Вейентона, написавшего книгу, полную выпадов против сенаторов и жрецов и названную им Завещанием[29]. Обвинитель его Туллий Гемин указывал и на то, что Вейентон продавал милости принцепса и право на занятие высших государственных должностей. Это и было причиною, побудившей Нерона взять на себя разбирательство его дела. Изобличив Вейентона, принцепс изгнал его из Италии и повелел сжечь его книгу, старательно разыскивавшуюся и читавшуюся, пока доставать ее было небезопасно; в дальнейшем возможность открыто иметь ее у себя быстро принесла ей забвение.

51. В то время как общественные бедствия с каждым днем становились все тягостнее, государство теряло тех, кто мог бы с ними бороться: скончался Бурр, неясно — от болезни или от яда. Говорившие о болезни основывались на том, что у него в горле медленно разрасталась затруднявшая дыхание опухоль. Другие, и их большинство, утверждали, что по приказанию Нерона ему под видом лечения смазали нёбо губительною отравой, и Бурр, понимая, что он злодейски отравлен, когда принцепс пришел его навестить, даже не взглянул на него и на вопрос, как он себя чувствует, ограничился кратким ответом: «Что до меня, то я чувствую себя хорошо». В Риме о нем горько сожалели, помня его достоинства и видя перед собою бездеятельную благонамеренность одного из его преемников и безграничную подлость другого: во главе преторианских когорт Цезарь поставил двоих — Фения Руфа, который пользовался любовью простого народа, ибо, ведая продовольственным снабжением Рима, проявлял бескорыстие, и Софония Тигеллина, привлекшего Нерона своим общеизвестным распутством. В дальнейшем молва о них соответствовала их нравам: Тигеллин пользовался бóльшим расположением принцепса, и он допустил его к участию в

своем самом сокровенном разврате, а Руфа любили в народе и среди воинов, и это вызывало неприязнь к нему Нерона.

52. Смерть Бурра сломила влияние Сенеки, ибо добрые правила, которые они оба внушали Нерону, с устранением одного из них утрачивали для него силу, и он стал приближать к себе недостойных людей. А те возводили на Сенеку всевозможные обвинения, говоря, что он продолжает наращивать свое огромное, превышающее всякую меру для частного лица состояние, что домогается расположения граждан, что красотою и роскошью своих садов и поместий превосходит самого принцепса. Упрекали они Сенеку также и в том, что славу красноречивого оратора он присваивает только себе одному и стал чаще писать стихи, после того как к их сочинению пристрастился Нерон. Открыто осуждая развлечения принцепса, он умаляет его умение править лошадьми на ристалище и насмехается над переливами его голоса всякий раз, когда тот поет. Доколе же будет считаться, что все достославное в государстве обязательно исходит от Сенеки? Отрочество Нерона отошло в прошлое, и он вступил в цветущую пору юности: так пусть он избавится наконец от докучного руководителя — у него не будет недостатка в просвещенных наставниках в лице его предков.

53. Сенека не остался в неведении относительно поносивших его, ибо ему сообщили о них те, в ком не угасли честные побуждения, и, видя к тому же, что Цезарь все упорнее избегает близости с ним, попросил его уделить ему время для беседы и, получив согласие, начал следующим образом: «Уже четырнадцатый год, Цезарь, как мне были доверены возлагавшиеся на тебя надежды, и восьмой — как ты держишь в своих руках верховную власть[30]. За эти годы ты осыпал меня столькими почестями и такими богатствами, что моему счастью не хватает лишь одного — меры. Приведу поучительный пример, относящийся не к моему, а к твоему положению. Твой прадед Август дозволил Марку Агриппе уединиться в Митиленах, а Гаю Меценату, не покидая города, жить настолько вдали от дел, как если бы он пребывал на чужбине; один — его товарищ по войнам, другой — не менее потрудившийся в Риме получили от него хоть и очень значительные, но вполне заслуженные награды. А я что иное мог предложить твоей щедрости, кроме плодов моих усердных

занятий, взращенных, можно сказать, в тени и получивших известность лишь оттого, что меня считают наставником твоего детства, и это — великая награда за них. Но ты, сверх того, доставил мне столь беспредельное влияние и столь несметные деньги, что я постоянно сам себя спрашиваю: я ли, из всаднического сословия и родом из провинции, числюсь среди первых людей Римского государства? Я ли, безвестный пришелец, возблистал среди знати, которая по праву гордится предками, из поколения в поколение занимавшими высшие должности? Где же мой дух, довольствующийся немногим? Не он ли выращивает такие сады, и шествует в этих пригородных поместьях, и владеет такими просторами полей, и получает столько доходов с денег, отданных в рост? И единственное оправдание, которое я для себя нахожу, это то, что мне не подобало отвергать даруемое тобой.

54. Но и ты, и я уже исчерпали меру того, что принцепс может пожаловать приближенному, а приближенный принять от принцепса; все превышающее ее умножает зависть. Конечно, она, как и все смертное, ниже твоего величия, но я подвергаюсь ее нападкам, и меня следует избавить от них. И подобно тому как, обессилев в бою или в походе, я стал бы просить о поддержке, так и теперь, достигнув на жизненном пути старости и утратив способность справляться даже с легкими заботами, я не могу более нести бремя своего богатства и взываю к тебе о помощи. Повели своим прокураторам распорядиться моим имуществом, включить его в твое достояние. Я не ввергну себя в бедность, но, отдав то, что стесняет меня своим блеском, я уделю моей душе время, поглощаемое заботою о садах и поместьях. Ты полон сил и в течение стольких лет видел, как надлежит пользоваться верховною властью; а мы, старые твои приближенные, вправе настаивать, чтобы ты отпустил нас на покой. И тебе послужит только ко славе, что ты вознес превыше всего таких людей, которые могут обходиться и малым».

55. На это Нерон ответил приблизительно так: «Тем, что я могу тут же, без подготовки, возражать на твою обдуманную заранее речь, я прежде всего обязан тебе, научившему меня говорить не только о предусмотренном, но и о непредвиденном. Мой прапрадед Август действительно дозволил Агриппе и Меценату уйти на покой после понесенных ими

трудов, но это было сделано им в таком возрасте, уважение к которому защищало все, что бы он им ни предоставил; к тому же он не отобрал у них пожалованного в награду. Они ее заслужили походами и опасностями, в которых проходила молодость Августа; и твой меч и рука не оставили бы меня, если бы мне пришлось употребить оружие; но так как обстоятельства того времени требовали другого, ты опекал мое отрочество и затем юность вразумлением, советами, наставлениями. И то, чем ты меня одарил, пока я жив, не умрет, тогда как предоставленное мною тебе — сады, поместья, доходы — подвержено превратностям. Пусть я был щедр к тебе, но ведь очень многие, не обладавшие и малой долей твоих достоинств, владели бóльшим, чем ты. Стыдно назвать вольноотпущенников, которые богаче тебя. И меня заставляет краснеть, что ты, к которому я питаю привязанность как к никому другому, все еще не превосходишь всех остальных своим состоянием.

56. К тому же и ты вовсе не в таком возрасте, который лишает возможности заниматься делами и наслаждаться плодами их, и мы еще в самом начале нашего властвования. Или ты находишь, что тебе нельзя равняться с Вителлием, который трижды был консулом, а мне — с Клавдием и что я неспособен дать тебе такое богатство, какое Волузий скопил длительной бережливостью? Но если кое-когда мы по легкомыслию молодости отклоняемся от правильного пути, то разве ты не зовешь нас назад и не направляешь с особенною настойчивостью наши юношеские силы туда, куда нужно, и не укрепляешь их своею поддержкой? И если ты отдашь мне свое достояние, если покинешь принцепса, то у всех на устах будет не столько твоя умеренность и самоустранение от государственной деятельности, сколько моя жадность и устрашившая тебя жестокость. А если и станут превозносить твое бескорыстие, то мудрому мужу все-таки не подобает искать славы в том, что наносит бесчестье другу». Ко всему этому, созданный природою, чтобы таить в себе ненависть, прикрывая ее притворными ласками, и изощривший в себе эту способность постоянным ее использованием, он добавляет объятия и поцелуи. И Сенека в заключение их беседы, как это неизменно происходит при встречах с властителями, изъявляет ему благодарность, но вместе с тем немедленно порыва-

ет со сложившимся во времена его былого могущества образом жизни: перестает принимать приходящих с приветствиями, избегает появляться в общественных местах в сопровождении многих и редко показывается в городе, ссылаясь на то, что его удерживают дома нездоровье или философские занятия.

57. После падения Сенеки было нетрудно устранить и Фения Руфа, которому вменили в вину его близость к Агриппине. Между тем Тигеллин, день ото дня становясь влиятельнее и считая, что его безнравственность, на которой только и держалось его могущество, доставит ему еще больший успех, если он свяжет с собою принцепса соучастием в преступлениях, начинает доискиваться, кто ему внушает страх, и, узнав, что больше всего он страшится Плавта и Суллы, недавно сосланных: Плавт — в провинцию Азию, Сулла — в Нарбоннскую Галлию, — обращает его внимание на выдающуюся знатность обоих и на то, что они находятся поблизости от расположения войск, Плавт — азиатского, Сулла — германского. В отличие от Бурра он, Тигеллин, не двоедушен, а думает об одной только безопасности Нерона; если в Риме ценою его постоянных усилий удается ограждать Цезаря от злонамеренных козней, то как подавить волнения в дальних краях? Галлия насторожилась, услыхав имя, которое носил знаменитый диктатор, и не менее взволнованы народы Азии, узнавшие, что среди них внук прославленного Друза[31]. Сулла беден, и это придает ему особенную дерзость; прикидываясь бездеятельным и равнодушным, он лишь выжидает случая, чтобы решиться на все. Плавт, располагая большими средствами, даже не притворяется, что ищет покоя, но открыто выражает свое преклонение перед древними римлянами, во всем подражает им и усвоил высокомерие стоической школы, приверженцы которой отличаются вызывающим самовольством. И промедления не было. На шестой день убийцы высаживаются в Массилии и, прежде чем их прибытие могло вызвать тревогу и толки, убивают возлежавшего за обеденным столом Суллу. Его голова была доставлена в Рим, и Нерон, взглянув на нее, издевательски заметил, что ее портит ранняя седина.

58. Столь же скрытно подготовить убийство Плавта не удалось, и потому что его безопасность заботила многих, и

потому что долгий путь по суше и морю благоприятствовал распространению слухов; и в городе[32] говорили, будто Плавт отправился к Корбулону, начальствовавшему тогда большим войском, и, раз уже началось истребление знаменитых и ни в чем не повинных мужей, как никто другой способному дать отпор. Толковали и о том, что из преданности молодому человеку провинция Азии взялась за оружие, что воины, посланные его умертвить, не выполнив приказания то ли из-за того, что их численность оказалась недостаточной, или по нерешительности, примкнули к восставшим. Весь этот вздор, как и всякая молва, обрастал новыми выдумками, присочиняемыми на досуге вестовщиками; достоверно лишь то, что вольноотпущенник Плавта, опередив центуриона благодаря свежему попутному ветру, привез ему письмо от его тестя Луция Антистия: пока не исчерпана возможность борьбы, он не должен без сопротивления отдавать свою жизнь; уважение к его славному имени доставит ему поддержку честных людей, и он сплотит вокруг себя смелых. Не следует пренебрегать ничем, что может ему помочь. Если он сумеет противостоять шестидесяти воинам (именно столько их было в пути), пока донесение об этом дойдет до Нерона, пока будет направлен другой отряд, произойдет много событий, вплоть до того, что может разразиться война. Наконец, последовав преподанному ему совету, он или спасется, или, отважно сражаясь, претерпит не больше, чем трус.

59. Но Плавта эти доводы не убедили, потому ли, что он не рассчитывал, чтобы ему, безоружному и изгнаннику, кто-либо оказал помощь, или ему было не по душе тешить себя сомнительными надеждами, или, наконец, из любви к жене и детям, ибо он считал, что принцепс отнесется к ним более милостиво, если не будет раздражен оказанным сопротивлением. Иные передают, что Плавт получил от тестя второе письмо, в котором тот сообщал, что угроза миновала; что философы Керан, родом грек, и Музоний — туск советовали ему предпочесть мужественную смерть жизни в неуверенности и страхе. Известно, что он был застигнут убийцами в полдень раздевшимся для телесных упражнений. Таким и поразил его центурион в присутствии евнуха Пелагона, которому Нерон подчинил центуриона с манипулом как телохранителей при царском уполномоченном. Голова убитого была до-

ставлена в Рим. Посмотрев на нее (я передам подлинные слова принцепса), Нерон сказал: «Зачем...»[33], — и, избавившись от страха, принимает меры для ускорения отложенной из-за опасений этого рода свадьбы с Поппеей и удаления от себя своей супруги Октавии, которая, сколь скромно и незаметно ни держала себя, тяготила его как постоянное напоминание об отце и вследствие расположения к ней народа. Сенату он направляет письмо, в котором не признается в умерщвлении Суллы и Плавта и говорит только о том, что, хотя они оба и исполнены мятежного духа, он зорко следит за безопасностью государства. На этом основании сенаторы определили назначить молебствия и исключить Суллу и Плавта из состава сената — издевательство еще более гнусное, чем самое злодеяние.

60. Получив это сенатское постановление и увидев, что все его преступления принимаются как выдающиеся деяния, Нерон изгоняет Октавию, объявив, что она бесплодна, и тотчас же сочетается браком с Поппеей. Та, долгое время его наложница, помыкавшая им сперва как любовником, потом как мужем, побуждает некоего из слуг Октавии обвинить ее в прелюбодейной связи с рабом. И измышляется, что с нею сожительствовал раб по имени Эвкер, родом александриец, искусный флейтист. По этому делу подверглись допросам рабыни, и некоторые из них были настолько истерзаны пыткой, что подтвердили подлый навет; большинство, однако, отстаивало безупречность целомудрия своей госпожи, и одна из них заявила требовавшему от нее лживого показания Тигеллину, что женские органы Октавии чище, чем его рот. И все-таки Октавию под предлогом развода сначала удаляют из императорского дворца, отдав ей во владение дом Бурра, поместья Плавта — дары, не сулившие ничего хорошего, — а затем высылают в Кампанию, где держат под стражей. Ее судьба вызывает частые и откровенные сетования в народе, который менее осторожен и которому по причине ничтожества его положения угрожает меньше опасностей. Этим...[34] будто бы раскаявшийся в дурном поступке Нерон снова признал Октавию своею супругой.

61. И вот ликующие римляне поднимаются на Капитолий и наконец снова обращают к богам благодарственные молитвы. Повергнув статуи Поппеи, они приносят на плечах изоб-

ражения Октавии, осыпают их цветами, устанавливают на форуме и в храмах. Затем толпа направляется воздать хвалу принцепсу. И она уже заполнила и оглашала приветственными кликами весь Палатин, как вдруг появляются высланные против нее воинские отряды и разгоняют ее плетьми, угрожая оружием. Произведенные смутою изменения были устранены, и статуи Поппеи поставлены на прежних местах. А она, всегда неистовая в гневе, а на этот раз и объятая страхом, как бы толпа не предалась еще бо́льшим бесчинствам и народные волнения не произвели перемены в Нероне, припадает к его коленям, говоря, что для нее дело идет уже не только о том, чтобы отстаивать свое супружество с ним, хотя и оно ей дороже жизни, но самую жизнь от угрожающих расправиться с нею клиентов и рабов Октавии, которые, изображая собой народ, дерзнули в мирное время на то, что не часто случается даже во время войны. Их оружие было направлено против принцепса, и им лишь не хватало вождя, а он без труда отыщется, когда разразится мятеж, стоит только Октавии покинуть Кампанию и направиться в Рим: ведь даже в ее отсутствие достаточно было одного ее мановения, чтобы вспыхнули беспорядки. В чем же все-таки ее, Поппеи, вина? Кому и чем она нанесла обиду? Или тем, что пенатам Цезарей даст законных наследников? Или, быть может, римский народ предпочитает наделить императорской властью отпрыска египетского флейтиста? Наконец, если так требуется для блага римского государства, пусть он, Нерон, добровольно, а не по принуждению призовет госпожу[35] или в противном случае позаботится о безопасности. Благодаря должному отпору и с применением незначительных сил первая вспышка была подавлена, но если приверженцы Октавии уверятся в том, что она не будет женою принцепса, они дадут ей супруга.

62. Эта возбужденная речь, направленная к тому, чтобы вызвать в слушателе тревогу и раздражение, испугала и распалила гневом Нерона. Обвинение Октавии в прелюбодеянии с рабом никому не внушало доверия и опровергалось подвергнутыми допросам рабынями. И вот ищут кого-нибудь, кто согласился бы признаться в преступной связи с Октавией, а вместе с тем и в намерении захватить верховную власть. Пригодным для этого принцепс счел убийцу его матери Аникета, стоявшего, как я указывал выше, во главе Мизенского флота.

К нему после осуществления этого злодеяния он проявлял мало расположения, а в дальнейшем проникся глубокою ненавистью, ибо пославшие на преступления видят в их исполнителях живой укор для себя. Итак, вызвав его, Цезарь начинает с упоминания о его прежней услуге: он один помог принцепсу спастись от покушавшейся на его жизнь матери; ныне ему представляется случай заслужить не меньшую его благодарность, содействуя в удалении враждебной ему жены. Тут не понадобятся ни его рука, ни его меч; ему нужно будет лишь признаться в прелюбодеянии с Октавией. Нерон обещает ему пока негласное, но щедрое вознаграждение и приятное существование вне Италии, и грозит, если он откажется от этого поручения, предать его смерти. Аникет с прирожденным ему бездушием и с тою же легкостью, с какой шел на прежние злодеяния, измышляет и разглашает даже больше того, что ему было велено, в присутствии приближенных принцепса, собранных как бы на совещание. После этого Аникета отправляют в изгнание на остров Сардинию, где он безбедно проживал в ссылке и умер естественной смертью.

63. Между тем Нерон заявляет в изданном им указе, что, как он дознался, Октавия, дабы располагать флотом, соблазнила его префекта и, побуждаемая преступностью этой связи, пресекла беременность (он забыл свое недавнее утверждение, что она бесплодна), и заточает ее на острове Пандатерии. Ни одна изгнанница не вызывала большего сострадания у тех, кому пришлось повидать их собственными глазами. Некоторые еще помнили, как Тиберием была сослана Агриппина, еще свежее в памяти была судьба Юлии, сосланной Клавдием. Но и та и другая подверглись изгнанию, достигнув зрелого возраста: они обе испытали радости жизни, и безотрадное настоящее облегчалось для них воспоминанием о былой, лучшей, доле. А для Октавии день свадьбы сразу же стал как бы днем ее похорон: она вступила в супружество, не принесшее ей ничего, кроме скорби: посредством яда у нее был отнят отец, а вскоре после того и брат; затем над госпожою взяла верх рабыня; потом Нерон, вступив в брак с Поппеей, тем самым обрек свою прежнюю жену гибели, и, наконец, — последнее обвинение, которое тягостней самой гибели.

64. Так в окружении центурионов и воинов томилась еще не достигшая двадцатилетнего возраста молодая женщина,

уже, как предвещали ее несчастья, исторгнутая из жизни, но еще не нашедшая даруемого смертью успокоения. Прошло немного дней, и ей объявляют, что она должна умереть, хотя она уже признавала себя незамужнею женщиной и только сестрою принцепса, взывая к именам их общих предков Германиков[36] и, наконец, Агриппины, при жизни которой, пусть в несчастливом замужестве, она все же оставалась живою и невредимою. Ее связывают и вскрывают ей вены на руках и ногах; но так как стесненная страхом кровь вытекала из надрезанных мест слишком медленно, смерть ускоряют паром в жарко натопленной бане. К этому злодеянию была добавлена еще более отвратительная свирепость: отрезанную и доставленную в Рим голову Октавии показали Поппее. Упоминать ли нам, что по этому случаю сенат определил дары храмам? Да будет предуведомлен всякий, кому придется читать — у нас ли, у других ли писателей — о делах того времени, что, сколько бы раз принцепс ни осуждал на ссылку или на смерть, неизменно воздавалась благодарность богам, и то, что некогда было знамением счастливых событий, стало тогда показателем общественных бедствий. Впрочем, мы и впредь не станем умалчивать о сенатских постановлениях, содержащих в себе новый вид лести или особо выдающихся своим раболепием.

65. В том же году Нерон, как полагают, умертвил ядом своих виднейших вольноотпущенников — Дорифора, якобы противодействовавшего его браку с Поппеей, и Палланта, который, дожив до глубокой старости, удерживал за собою огромное состояние. Тогда же Роман тайными доносами обвинил Сенеку в сообщничестве с Гаем Пизоном, но Сенека одолел его, ответив изобличением в том же. Это происшествие устрашило Пизона и способствовало возникновению многолюдного и неудачного заговора против Нерона.

Книга пятнадцатая

1. Между тем царь парфян Вологез, узнав об успехах Корбулона и о том, что после изгнания брата его Тиридата царем над Арменией поставлен чужеземец Тигран, возгорелся желанием отомстить за поруганное достоинство Арсаки-

дов, но, принимая во внимание вновь возросшую римскую мощь и не решаясь пойти на разрыв заключенного с римлянами навечно мирного договора, колебался, медлительный от природы и к тому же связанный затяжною войной с отпавшим от него сильным народом гирканов. И вот среди этих колебаний его уязвляет весть о новом оскорблении: выйдя за пределы Армении, Тигран разоряет соседний народ адиабенцев, и притом на большем пространстве и дольше, чем если б то был обычный разбойный набег, и это привело в негодование парфянскую знать: пренебрежение к ним уже дошло то того, что на них нападают не под предводительством римского полководца, а по прихоти недавнего заложника, столько лет проведшего на положении раба. Сверх того, их досаду растравлял правивший адиабенцами Монобаз, который добивался ответа, какой помощи и от кого ему ожидать. Армения отдана неприятелю, теперь он захватывает примыкающие к ней земли, и если парфяне не возьмут под защиту его страну, то им следует помнить, что рабство у римлян легче для сдавшихся, чем для покоренных оружием. Тяготил их и изгнанный из Армении Тиридат, который или молчал, или ограничивался скупыми жалобами: большие государства не удерживаются бездеятельностью, настала пора померяться силами на поле сражения; тот из властителей справедливее, кто могущественнее; оберегать свое — добродетель частного человека, тогда как царская — овладевать чужим.

2. Задетый этими словами, Вологез созывает совет и, предложив Тиридату место рядом с собой, начинает следующим образом: «Так как присутствующий здесь Тиридат, рожденный от того же отца, что и я, будучи моложе меня годами, уступил мне первенство, я отдал ему Армянское царство, которое в нашем роду считается третьей ступенью владычества, ибо мидян ранее принял под свою руку Пакор. Мне казалось, что, вопреки старым распрям и усобицам между братьями[1], я упорядочил как должно наши семейные отношения. Но римляне препятствуют этому и на погибель себе нарушают мир, посягательства на целость которого неизменно приводили их к поражениям. Не стану отрицать: я предпочитал удерживать приобретения предков, больше опираясь на справедливость, чем проливая кровь, больше основываясь на

праве, чем на оружии. И если я повинен в промедлении, то я искуплю его доблестью. Ваша мощь и честь от этого нисколько не пострадали, и вы прославились теперь также и сдержанностью, которая к лицу могущественнейшим властителям и у богов в почете». И он тут же повязал диадемою голову Тиридата и, отдав под начало знатному мужу Монезу находившийся в боевой готовности сильный конный отряд, который обычно сопровождал царя и к которому он добавил вспомогательные войска адиабенцев, повелел ему изгнать из Армении Тиграна, между тем как сам, прекратив раздоры с гирканами, стягивает основные силы и выступает в поход с этими полчищами, угрожая римским провинциям.

3. Получив достоверные вести об этом, Корбулон отправляет на помощь Тиграну два легиона во главе с Веруланом Севером и Веттием Воланом, которым дает тайное предписание хранить спокойствие и избегать торопливости: он предпочитал состоять в войне, чем вести ее в полную силу; тогда же он написал Цезарю, что для защиты Армении следует назначить особого полководца, так как вторжение Вологеза в первую очередь угрожает Сирии. Тем временем он размещает остальные легионы на берегу Евфрата, наспех вооружает отряды провинциалов и отражает заслонами вражеские набеги. И так как местность была безводной, он разместил укрепления возле источников; некоторые ручьи он засыпал песком.

4. Пока Корбулон готовится к обороне Сирии, Монез, продвигаясь с такой быстротой, чтобы опередить слух о себе, бросается на Тиграна, для которого его нападение, однако, не было неожиданным и который успел принять необходимые меры предосторожности. Он укрылся в Тигранокерте, городе, располагавшем многочисленными защитниками и мощными стенами. К тому же часть городских укреплений обтекает довольно широкая река Никефорий, а там, где ее течение не обеспечивает надежной защиты, вырыт огромный ров. В городе находились римские воины и припасенное заранее продовольствие, и когда при его подвозе несколько подгоняемых нетерпением воинов выдвинулось вперед и было окружено внезапно налетевшим на них врагом, то остальных это происшествие больше ожесточило, чем испугало. Но для ведения осады у парфянина не хватает смелости в

рукопашных схватках: редкими стрелами он не может устрашить находящихся за укрытиями защитников и только обманывает сам себя. А когда адиабенцы стали придвигать лестницы и стенобитные орудия, наши без труда их отогнали и затем, сделав вылазку, истребили.

5. Но Корбулон, полагая, что не следует искушать судьбу, несмотря на успехи, послал к Вологезу спросить, на каком основании парфяне ввели свои силы в провинцию и осадили царя, друга и союзника римлян, и их когорты. Пусть лучше снимут осаду, иначе он сам расположит свой лагерь на вражеских землях. Отправленный с этим посольством центурион Касперий, встретив царя у города Нисибиса, отстоящего от Тигранокерты на тридцать семь тысяч шагов, в резких словах передает данное ему поручение. У Вологеза было давнее и неуклонное правило избегать вооруженного столкновения с римлянами, да и положение дел складывалось не в его пользу: осада бесплодна, Тигран обеспечен воинами и продовольствием, попытки взять город приступом отражены, в Армению направлены легионы, другие, стоящие на границах Сирии, готовы вторгнуться в его царство; к тому же появившаяся во множестве саранча истребила всю траву и листву, и его конница обессилена и небоеспособна, не имея корма. Итак, скрывая страх перед римским оружием и ссылаясь на миролюбие, он обещает направить послов к императору, чтобы добиться передачи ему Армении и закрепления мира; Монезу он приказывает оставить Тигранокерту, сам также отходит назад.

6. Многие превозносили этот успех, объясняя его испугом царя и угрозами Корбулона; другие, напротив, подозревали тайное соглашение, по которому после прекращения военных действий с обеих сторон и ухода Вологеза Тигран также должен будет покинуть Армению. Почему римское войско выведено из Тигранокерты? Почему оставлено то, что оно защищало во время войны? Или ему было удобнее зимовать где-то на краю Каппадокии в наскоро сложенных хижинах, чем в главном городе царства, которое оно только что отстояло? Война прервана, очевидно, ради того, чтобы Вологез сражался с кем угодно, но только не с Корбулоном и чтобы Корбулон не подвергался опасности потерять славу, которую он добывал для себя на протяжении стольких лет. Действи-

тельно, как я уже сообщил, он потребовал для защиты Армении назначить особого полководца, и говорили, что туда уже направляется Цезенний Пет. После его прибытия войско было поделено между ними так, что четвертый, двенадцатый и впридачу к ним недавно вызванный из Мёзии пятый легион вместе со вспомогательными войсками из Понтийского царства, Галатии и Каппадокии отошли в подчинение Пету, тогда как третий, шестой и десятый легионы, а также воины, имевшие постоянное местопребывание в Сирии, остались под началом у Корбулона; остальные части предполагалось объединить или разделить в зависимости от обстоятельств. Но и Корбулон не желал иметь возле себя соперника, и Пет, которому было довольно почетного наименования ближайшего соратника Корбулона, с пренебрежением отзывался о его действиях в последней войне, повторяя, что в ней не было ни истребления неприятеля, ни добычи, что завоевание городов было таковым только по имени; что до него, то побежденные получат от него обложение данью, законы и вместо тени царя римское владычество.

7. К этому же времени послы Вологеза, которых, как я упоминал, он направил к принцепсу, возвратились ни с чем, и парфяне открыто возобновили войну. Не уклоняется от нее и Пет, и с двумя легионами, из которых четвертым в то время начальствовал Фунизулан Веттониан, а двенадцатым — Калавий Сабин, вступает в Армению при дурных предзнаменованиях: на переправе через Евфрат по мосту, безо всякой явной причины, вышла из повиновения и понеслась назад лошадь, на которой перевозились консульские знаки отличия; находившееся при возведении зимнего лагеря, тогда еще укрепленного только наполовину, жертвенное животное пустилось бежать и выскочило за вал; воспламенились дротики воинов, и это предвещание было тем более знаменательно, что у врагов парфян широко используется метатёльное оружие.

8. Но Пет, пренебрегая предзнаменованиями, не укрепив как следует зимнего лагеря, не приготовив запасов продовольствия, поспешно ведет войско через Таврские горы, чтобы вернуть, как он говорил, Тигранокерту и разорить области, оставленные Корбулоном нетронутыми. Было захвачено несколько крепостей, и это могло бы доставить Пету некото-

рую славу и добычу, если бы он удовольствовался умеренной славой и имел попечение о добыче. Обойдя дальними походами местности, которые не могли быть удержаны, и допустив порчу захваченного продовольствия, с приближением зимы он отвел войско назад и сочинил письмо Цезарю, полное пышных слов, как если бы война была победоносно закончена, но пустое на деле.

9. Между тем Корбулон, никогда не оставлявший своею заботой берег Евфрата, усилил его оборону расставленными невдалеке друг от друга сторожевыми постами; и чтобы вражеская конница не препятствовала постройке моста (а на противолежащей равнине уже рыскали значительные ее отряды), он выдвигает на реке отличавшиеся большими размерами и скрепленные между собой бревнами корабли с возведенными на них башнями и отгоняет варваров с помощью катапульт и баллист, метавших камни и копья на расстояние, намного превышавшее дальность полета вражеского метательного оружия. После того как мост был доведен до конца, холмы на противоположном берегу заняли сначала союзнические когорты, а затем на них расположились лагерем легионы. Это было выполнено с такой быстротой и столь внушительными силами, что парфяне, оставив намерение вторгнуться в Сирию, все свои надежды перенесли на Армению, где Пет, не подозревая о нависшей над ним угрозе, держал пятый легион далеко в Понте, а остальные ослаблял неограниченным предоставлением отпусков, пока его не настигла внезапная весть о приближении Вологеза с огромными и готовыми к бою полчищами.

10. Тогда Пет вызывает двенадцатый легион; но эта мера, которая по его расчету должна была породить слухи об усилении его войска, только выдала его малочисленность. Впрочем, и с такими силами можно было бы отстаивать лагерь и, затянув войну, обмануть надежды парфян, если бы Пет твердо держался своих собственных или подсказанных ему планов. Но, ободряемый в угрожающих обстоятельствах сведущими в военном деле людьми, он тут же, чтобы че думали, что ему не обойтись без чужих указаний, принимал решения наперекор их советам, и притом худшие. Так и на этот раз он выступил из зимнего лагеря, повторяя, что для борьбы с врагом ему даны не рвы и валы, а люди и оружие, и повел легио-

ны, как бы собираясь сразиться с парфянами. Однако, потеряв центуриона и нескольких воинов, высланных вперед для выяснения численности противника, он в страхе пред ним отступил. Но так как Вологез не очень настойчиво преследовал отходивших, Пет, снова проникшись необоснованной самоуверенностью, поставил три тысячи отборных пехотинцев у ближайшего перевала через Таврские горы, чтобы воспрепятствовать переходу царя, а паннонских всадников, ядро своей конницы, оставил внизу на равнине. Укрыв жену с сыном в крепости, носящей название Арсомасаты, он отрядил для ее защиты союзническую когорту и таким образом разъединил воинов, которые, будь они вместе, увереннее отражали бы беспорядочно продвигавшегося врага. Как говорят, его едва убедили оповестить Корбулона о нашествии неприятеля. Но Корбулон не спешил, считая, что с возрастанием опасности для попавших в беду возрастает и слава за оказанную им помощь. Тем не менее он распорядился выделить из трех легионов по тысяче пехотинцев, из вспомогательной конницы восемьсот всадников и такое же число воинов из союзнических когорт и всем им приготовиться к выступлению.

11. Между тем Вологез, узнав, что Пет преградил ему путь здесь пехотой, там конницей, не внес тем не менее никаких изменений в свой замысел, но мощным ударом и угрозою нападения раздавил легионеров и устрашил всадников; и только центурион Тарквитий Кресцент осмелился защищать башню, которую занимал с гарнизоном: совершая частые вылазки, он истреблял подбиравшихся к ней на близкое расстояние варваров, пока не был со всех сторон закидан горящими головнями. Кому из пехотинцев удалось уцелеть, те бежали в отдаленные и глухие места; раненые вернулись в лагерь и со страху всячески преувеличивали доблесть царя, отвагу и многочисленность состоящих в его войске народов, находя доверчивых слушателей в тех, кто был охвачен таким же страхом. Сам полководец, прекратив сопротивление и забросив все свои обязанности военачальника, снова отправил к Корбулону гонцов, умоляя его прийти как можно скорее и спасти значки, орлов и все то, что еще оставалось от несчастливого войска: они же, пока живы, будут верны своему долгу.

12. А Корбулон, оставив часть войска в Сирии для удержания построенных на Евфрате укреплений, бесстрашно про-

шел кратчайшим путем, и вместе с тем по местам, где было достаточно продовольствия, сначала в Коммагенскую область, затем в Каппадокию и, наконец, к армянам. Помимо всего, что нужно ведущему войну войску, его сопровождало большое число нагруженных пшеницей верблюдов, чтобы, отражая неприятеля, у него было чем отразить и голод. Из потерпевших поражение от Вологеза первым встретился Корбулону центурион примипилов Пакций, а затем и множество рядовых воинов; всех их, какими бы причинами они ни пытались оправдать свое бегство, полководец убеждал возвратиться к своим значкам и молить Пета о снисхождении: сам он милостив лишь к победителям. Не забывал Корбулон и своих: он обходил легионы, обращался к ним с увещанием, напоминал об их былых подвигах, призывал покрыть себя новою славой. Наградой за их воинский труд будут не армянские деревни и города, а римский лагерь, и в нем два легиона. И если рядовым воинам за спасение римского гражданина сам император[2] как особое отличие вручает венок, то каков и сколь велик будет почет при таком числе спасителей и спасенных! Всем внушали бодрость подобные речи (а были и такие, кого подгоняла и распаляла опасность, в которой пребывали их братья и родственники), и они днем и ночью ускоренным шагом безостановочно продвигались вперед.

13. Тем настойчивее Вологез теснит осажденных, бросает своих то на вал, оплот легионов, то на крепость, служившую убежищем для неспособных носить оружие, и подступает к ним ближе, чем в обычае у парфян, рассчитывая этою дерзостью выманить врага из-за укрытий. Но воинов с трудом можно было извлечь из палаток, и они только обороняли укрепления, часть — выполняя приказ полководца, другие — из трусости или ожидая прибытия Корбулона, и на случай, если бы их одолел неприятель, имея в запасе примеры, оставленные поражениями в Кавдинском ущелье и под Нуманцией: да и неодинаковы силы италийского племени самнитов и парфян, соперников Римской державы. Даже воины доблестной и прославленной древности, когда судьба отворачивалась от них, не считали зазорным заботиться о своем спасении. Под давлением охватившего все войско отчаяния Пет составляет свое первое письмо к Вологезу, не смиренное и не просительное, но содержавшее в себе как бы

калобу: Вологез начал военные действия из-за армян, всегда пребывавших под властью римлян или подчиненных царю, избранному для них императором; мир одинаково полезен для обеих сторон; пусть он, Вологез, не обольщается настоящим; сам он обрушился всеми силами своего государства на два легиона; но весь остальной мир в распоряжении римлян, и он поможет им в этой войне.

14. На это Вологез, не коснувшись существа дела, ответил, что он должен дождаться прибытия своих братьев Пакора и Тиридата; это место и время он назначил для совещания с ними о дальнейшей судьбе Армении; но боги даровали им достойную Арсакидов честь принять вместе с тем решение и о римских легионах. После этого Пет снова послал гонцов к Вологезу, прося о свидании с ним, но тот приказал отправиться для ведения переговоров своему начальнику конницы Вазаку. Пет говорил о Лукулле, Помпее[3] и о том, что сделано Цезарями для овладения Арменией и для передачи ее царям, назначаемым Римом, Вазак — что мы лишь призрачно владели и распоряжались Арменией, тогда как действительная власть была у парфян. Наконец, после долгих споров для засвидетельствования условий, на которых они пришли к соглашению, на следующий день привлекается адиабенец Монобаз. А договорились они о следующем: легионы освобождаются от осады, римское войско вплоть до последнего воина уходит за пределы армян; крепости и продовольствие передаются парфянам; по исполнении этого Вологезу обеспечивается возможность направить послов к Нерону.

15. Между тем Пет навел мост через реку Арсаний — она протекала перед его лагерем — под предлогом, что готовит себе переправу, но на деле по приказу парфян в память одержанной ими победы, и действительно он им пригодился, а наши ушли в другом направлении. Молва добавляла, что римские легионы были проведены под ярмом и претерпели другие унижения, начало которым было положено армянами. Так, они вошли в укрепления прежде, чем римское войско выступило из них, стояли вдоль дорог, по которым оно проходило, и, заметив некогда захваченных нами рабов или вьючных животных, опознавали их как своих и уводили с собой; они также отнимали у наших одежду, отбирали у них оружие, и запуганные воины уступали им, чтобы не подавать

повода к вооруженному столкновению. Вологез, собрав в груду оружие и тела убитых, с тем чтобы это было наглядным свидетельством нашего поражения, не стал смотреть на прохождение нашего поспешно уходившего войска; удовлетворив свою гордость, он хотел, чтобы разнеслась молва об его умеренности. Через реку Арсаний он переправился восседая на слоне, а его приближенные — пользуясь силой коней, потому что ходили слухи, что из-за коварства строителей мост не выдержит тяжести; но решившиеся вступить на него убедились в его прочности и надежности.

16. В дальнейшем стало известно, что у осажденных продовольствие было даже в избытке, так что, уходя, они подожгли свои склады, тогда как парфяне, по словам Корбулона[4], остро нуждались в нем и, не имея к тому же чем кормить лошадей, так как трава была вытоптана, уже собирались снять осаду с римского лагеря, да и он сам находился не далее трех дней пути. Он добавляет, что Пет поклялся перед боевыми значками в присутствии тех, кого царь прислал быть при этом свидетелями, что ни один римлянин не вступит в Армению, пока не прибудет ответ от Нерона, согласен ли он на мир. И если это вымышлено с целью усугубить бесчестие Пета, то остальное не вызывает сомнений, а именно — что за один день он преодолел расстояние в сорок тысяч шагов, бросая в пути раненых, и что бежавшие были охвачены не менее безобразным страхом, чем если бы обратили тыл, разбитые на поле сражения. Корбулон, встретивший их со своим войском на берегу Евфрата, не показал его во всем блеске, в сверкании значков и оружия, чтобы это различие в облике не было в укор вновь прибывшим. Опечаленные манипулы, сочувствовавшие участи своих сотоварищей, не могли сдержать слезы; плач едва позволил обоим войскам обменяться обычным приветствием. Отступили назад соревнование в доблести, домогательства славы — то, что волнует счастливых людей; над всем взяло верх сострадание, и в особенности среди низших по положению.

17. Последовал короткий разговор между полководцами: один выразил сожаление, что его поход оказался излишним, тогда как войну можно было бы завершить разгромом парфян; другой ответил, что силы их обоих сохранены в целости; достаточно повернуть орлов и сообща вторгнуться в пре-

делы Армении, ослабленной уходом Вологеза. Корбулон возразил, что у него нет на это повеления императора; встревоженный угрожавшей легионам опасностью, он выступил из своей провинции, и так как намерения парфян ему неизвестны, он возвратится в Сирию; да и то нужно молить судьбу, чтобы истомленная долгим и трудным походом пехота поспела за свежей парфянскою конницей, имеющей перед собой ровную местность. Пет зазимовал в Каппадокии. А Вологез прислал к Корбулону гонцов с требованием уничтожить укрепления за Евфратом, чтобы тем самым эта река сделалась пограничною, какою она ранее и была; Корбулон, в свою очередь, потребовал очистить Армению от неприятельских войск. В конце концов царь уступил, и было срыто все возведенное Корбулоном на той стороне Евфрата, а армяне оставлены без властителя.

18. А в Риме между тем в ознаменование победы над парфянами посередине Капитолийского холма воздвигались трофеи и триумфальная арка; распорядившись об этом еще в самый разгар войны, сенат не остановил работ и позднее, так как стремление к показному блеску заглушало в нем веления совести. Да и Нерон, желая скрыть свое беспокойство о внешних делах и вместе с тем поддержать уверенность в обеспечении города продовольствием, выбросил в Тибр предназначавшиеся для простого народа и испортившиеся от длительного хранения запасы зерна. Не поднял он и цены́ на него, хотя почти двести кораблей уже в гавани было уничтожено неистовой бурей, а сто других, прошедших по Тибру, — внезапно возникшим пожаром. После этого он назначил трех бывших консулов — Луция Пизона, Дуцения Гемина, Помпея Паулина — ведать сбором налогов, предназначенных к поступлению в государственную казну, упрекнув при этом предыдущих принцепсов за то, что их непомерные траты превосходили собираемые в обычном порядке налоги: сам он ежегодно жертвует государству из личных средств шестьдесят миллионов сестерциев.

19. В то время в Риме стали широко прибегать к бесчестной уловке, состоявшей в том, что с приближением комиций или жеребьевки на управление провинциями очень многие бездетные граждане обзаводились детьми посредством показного усыновления, а получив наравне с подлинными от-

цами претуры или провинции, незамедлительно освобождали усыновленных от своей родительской власти...[5] возмущенные этим обращаются с жалобою в сенат, указывая, что на одной стороне право, даруемое самою природой, и труды, положенные на воспитание, а на другой — обман, хитрости и кратковременное усыновление. Довольно бездетным и того, что, без забот, ничем не обременяемые, они имеют свободный доступ к влиянию и почестям. А для тех, кто действительно вырастил детей, обещания закона после длительного ожидания оборачиваются насмешкой, так как всякий, кто, не неся заботы, стал отцом и, не пережив скорби, — снова бездетным, сразу уравнивается с подлинными отцами в том, что для них составляло предмет долгих чаяний. По этому поводу сенат принял постановление, согласно которому показное усыновление никоим образом не должно было содействовать занятию государственных должностей и служить к выгоде при получении наследств.

20. Затем предается суду критянин Клавдий Тимарх. Ему вменялись в вину не обычные преступления видных провинциалов, которые, обладая чрезмерным богатством, злоупотребляют своим могуществом, чтобы чинить обиды простому народу, а его оскорбительные для римского сената слова, ибо он не раз повторял, что, будет ли вынесена благодарность управлявшим Критом проконсулам, зависит исключительно от него. Использовав этот случай, Тразея Пет высказал полезные для государства соображения: подав мнение, что подсудимый должен быть изгнан из критской провинции, он добавил следующее: «На опыте доказано, отцы сенаторы, что благодетельные законы и примерные наказания вводятся благонамеренными людьми из-за совершенных другими проступков. Так, необузданность ораторов породила предложение Цинция, происки кандидатов — законы Юлия, алчность должностных лиц — постановления Кальпурния[6]; ибо провинность предшествует каре, меры исправления принимаются вслед за преступлением. Итак, для пресечения невиданной доселе надменности провинциалов давайте примем решение, достойное прямоты и твердости римской; нисколько не ослабляя попечения о союзниках, нужно отказаться от представления, что оценка деятельности наших людей может зависеть от чего-либо, кроме суждения римских граждан.

21. В былое время не только преторов или консулов, но и частных лиц посылали в провинции с предписанием ознакомиться с положением дел и доложить, в какой мере их обитатели покорствуют нашей воле; и целые народы трепетали пред приговором, выносимым отдельными гражданами. А теперь мы обхаживаем чужеземцев и подольщаемся к ним, и если по прихоти какого-либо из них выносится благодарность, то точно так же, и притом еще чаще, предъявляется обвинение. Пусть и впредь предъявляются обвинения, пусть у провинциалов останется такая возможность кичиться своим могуществом; но незаслуженная и добытая домогательствами хвала должна преследоваться с не меньшей решительностью, чем злокозненность, чем жестокость. Наше старание нравиться часто влечет за собой более пагубные последствия, нежели возбуждение нами неудовольствия. Больше того, есть добродетели, навлекающие неприязнь, каковы непреклонная строгость, не идущий ни на какие поблажки ради снискания расположения несгибаемый дух. Вот почему у наших магистратов начало почти всегда лучше, а конец слаб, — ведь мы гоняемся за голосами, словно кандидаты на почетные должности; если с этим будет покончено, провинции будут управляться и справедливее, и с большей твердостью; ибо подобно тому как законом о вымогательствах обуздана алчность, так и запрещением выносить благодарность будет положен предел заискиваниям».

22. Это мнение встретило всеобщее сочувствие. И все-таки сенатское постановление не могло состояться, так как консулы заявили, что по данному вопросу не был представлен надлежащий доклад. В дальнейшем, по указанию принцепса, сенаторы приняли постановление, воспрещавшее кому бы то ни было выступать в собраниях союзников с предложениями о вынесении перед сенатом благодарностей пропреторам и проконсулам, равно как и брать на себя в этих целях посольство. При тех же консулах сгорел от удара молнии гимнасий, а находившаяся в нем статуя Нерона расплавилась и превратилась в бесформенный медный слиток. Был также сильно разрушен землетрясением многолюдный кампанский город Помпеи. Скончалась весталка Лелия, на место которой была взята Аврелия из рода Коссов.

23. В консульство Меммия Регула и Вергиния Руфа[7] у Не-

рона родилась дочь от Поппеи; восприняв это с чрезвычайной радостью, он назвал ее Августою, присвоив то же наименование и Поппее. Местом рождения девочки была колония Анций, в которой родился и он сам. Сенат уже ранее препоручил богам материнство Поппеи и дал от имени государства торжественные обеты, которые были теперь приумножены и исполнены. Сверх того, были добавлены благодарственные молебствия и решено воздвигнуть храм Плодовитости[8] и учредить состязания по образцу священных игр в память Актийской победы[9], а также поместить на троне Юпитера Капитолийского золотые изваяния обеих Фортун[10] и дать цирковые представления в честь рода Юлиев в Бовиллах, Клавдиев и Домициев — в Анции[11]. Но все это рушилось, так как ребенок на четвертом месяце умер. И вот снова посыпались льстивые предложения причислить умершую к сонму богов и для воздания ей божеских почестей соорудить храм и назначить жреца; сам Нерон как не знал меры в радости, так не знал ее и в скорби. Упоминают о том, что, когда вскоре после разрешения Поппеи от бремени сенат в полном составе отправился в Анций, а Тразее это было воспрещено, он с неколебимою твердостью духа принял нанесенное ему оскорбление, предвещавшее скорую гибель. Говорят, что после этого Цезарь, похваляясь перед Сенекой, сказал ему, что примирился с Тразеей, и Сенека принес ему по этому поводу свои поздравления, из-за чего возросла слава этих выдающихся мужей и вместе с тем угрожавшая им опасность.

24. Между тем ранней весной прибыли парфянские послы с поручениями и посланием царя Вологеза: он, Вологез, не намерен более возвращаться к давним и столько раз возобновлявшимся спорам о том, кому обладать Арменией, ибо боги, вершители судеб даже наиболее могущественных народов, отдали владение ею в руки парфян не без позора для римлян. Недавно был обложен осадой Тигран; затем он, Вологез, отпустил невредимыми Пета и его легионы, хотя мог бы их уничтожить. Его сила в достаточной мере показана; представил он и доказательства своего миролюбия. Тиридат не стал бы возражать против поездки в Рим для принятия диадемы, если бы его не удерживали жреческие обязанности. Он готов отправиться к римским орлам и изображениям принцепса, дабы там, в присутствии легионов, венчаться на царство.

25. Так как письмо Вологеза противоречило тому, что писал Пет, сообщавший, что все обстоит по-прежнему, опросили прибывшего с послами центуриона, в каком положении он оставил Армению, и тот ответил, что она полностью покинута римлянами. Тогда, поняв, что варвары над ним издеваются и просят то, что захватили силою, Нерон созвал совещание первейших сановников государства и предложил им на выбор чреватую неожиданностями войну или бесславный мир. Не колеблясь, они предпочли войну. Досада на Пета еще не изгладилась, и, чтобы не допустить по чьей-либо неопытности новых ошибок, командование возлагается на Корбулона, успевшего за многие годы хорошо изучить как наших воинов, так и врагов. Итак, ничего не добившись, послы отбывают из Рима, впрочем с дарами, которые имели целью внушить Тиридату надежду, что если он лично обратится с такою же просьбой, то может рассчитывать на успех. Управление Сирией поручается Гаю Цестию, ее военные силы — Корбулону; к ним был добавлен пятнадцатый легион, переброшенный из Паннонии во главе с Марием Цельсом. Тетрархам[12], царям, префектам и прокураторам, а также преторам — правителям соседних провинций — отдается письменное распоряжение повиноваться приказаниям Корбулона, власть которого увеличивается почти до таких же размеров, в каких римский народ наделил ею Помпея для войны с пиратами[13]. Возвратившийся Пет боялся, что подвергнется суровому наказанию, но Цезарь удовольствовался насмешкой, сказав, что спешит даровать Пету прощение, дабы, столь легко поддаваясь страху, он не заболел от долгой тревоги.

26. Перебросив в Сирию четвертый и двенадцатый легионы, казавшиеся малопригодными к боевым действиям, так как своих наиболее храбрых воинов они потеряли, а все остальные были подавлены страхом, Корбулон ведет оттуда в Армению шестой и третий легионы, которые не понесли потерь и к тому же были закалены в частых и успешных походах; к ним он присоединяет находившийся в Понте и поэтому не затронутый поражением пятый легион, воинов только что прибывшего пятнадцатого легиона, отборные подразделения из Иллирии и Египта, все бывшие у него под началом конные отряды и когорты союзников и присланные царями

вспомогательные войска; эти силы он сосредоточил в Мелитене, откуда собирался переправиться через Евфрат. После принесения по обычаю искупительных жертв он созывает войско на сходку и обращается к нему с торжественной речью, в которой говорит, что они будут сражаться под верховным водительством самого императора[14], о своих прошлых деяниях, о том, что в недавних неудачах повинна неумелость Пета, — с твердостью и уверенностью, заменявшими этому доблестному воину красноречие.

27. Вслед за тем, расчистив завалы, произведенные временем, Корбулон устремляется по некогда проложенной Луцием Лукуллом дороге[15]. Не отвергнув предложения о мирных переговорах, переданного ему прибывшими от Тиридата и Вологеза послами, он отсылает их вместе с центурионами, которым предписывает изложить его довольно умеренные условия: ведь дело еще не дошло до того, чтобы стала неизбежной борьба не на жизнь, а на смерть. Много успехов одержано римлянами, но кое-какие выпали и на долю парфян, и в этом — предостережение от заносчивости. И для Тиридата гораздо выгоднее получить в дар не подвергшееся опустошению царство, и Вологез проявит больше попечительности о парфянском народе, заключив договор с римлянами, чем ведя с ними войну, несущую урон обоим противникам. Ему, Корбулону, известно, сколько раздоров внутри Парфянского государства, над какими неукротимыми и дикими народами властвует Вологез; напротив, у римского императора везде нерушимый мир и только одна эта война. Наряду с преподанием этих советов не пренебрег Корбулон и устрашением армянских сановников, которые первыми отпали от нас, изгоняя их из родовых гнезд, разрушая их крепости, сея одинаковый ужас на равнинах и среди гор, у сильных и слабых.

28. Имя Корбулона не вызывало злобы или ненависти даже у варваров, и поэтому они считали его совет искренним. И Вологез, проявив уступчивость в самом существенном, в первую очередь добивается установления перемирия в нескольких префектурах, а Тиридат просит назначить место и день для открытия переговоров. Срок варвары предложили близкий, место — то самое, где недавно вместе с Петом были окружены легионы, так как оно напоминало о счастливых для них событиях; не воспротивился этому и Корбулон. пола-

гая, что различие в обстоятельствах послужит к возвеличению его славы. Не смущало его и бесчестье, которому подвергся там Пет, и это отчетливо проявилось в том, что он приказал его сыну, трибуну, отправиться туда во главе манипулов и прикрыть землею останки павших в этих злосчастных битвах. В назначенный день знатный римский всадник Тиберий Александр, данный на время этой войны Корбулону в помощники, и Анний Винициан, зять Корбулона, еще не достигший необходимого для сенаторского звания возраста и назначенный исполняющим обязанности легата пятого легиона, прибыли в лагерь Тиридата и ради того, чтобы его почтить и чтобы, располагая такими заложниками, он не опасался, что ему подстроена западня; после этого из того и другого войска было выделено по двадцати всадников. Завидев Корбулона, царь первым спрыгнул с коня; не замедлил сделать то же и Корбулон, и, спешившись, они протянули друг другу руки.

29. После этого римлянин хвалит молодого человека за то, что, сойдя с чреватого опасностями пути, он предпочел ему верный и безопасный; Тиридат же, сначала многословно распространившись о знатности своего рода, об остальном говорил с подобающей в его положении скромностью: итак, он отправится в Рим и доставит Цезарю новую славу — ведь перед ним предстанет просителем Арсакид, хотя парфяне и не понесли поражения. В конце концов согласились на том, что Тиридат положит свою царскую корону к подножию статуи Цезаря и получит ее обратно не иначе как из рук самого Нерона; этим они завершили переговоры и на прощание обменялись поцелуем. Спустя несколько дней оба войска во всем своем блеске были выстроены друг против друга — с одной стороны конница, расставленная отрядами с отечественными отличиями, с другой — ряды легионов со сверкающими орлами, значками и изображениями богов, как в храме; посередине был сооружен трибунал с курульным креслом на нем и изваянием Нерона на кресле. После заклания, согласно обычаю, жертвенных животных к нему приблизился Тиридат и положил у его ног снятую с головы диадему, что вселило в души присутствовавших волнение, усугублявшееся тем, что у них пред глазами все еще стояли картины истребления римских войск и осады, которой они подверга-

лись; теперь счастье повернулось в другую сторону; Тиридат отправится в Рим напоказ всему миру, и намного ли он своей участью будет отличаться от пленника?

30. Ко всей своей славе Корбулон добавил еще обходительность и устроил пир; и всякий раз, когда царь подмечал нечто новое, например что смена караулов возвещается центурионом, что гости поднимаются из-за столов по сигналу трубой, что выложенный пред авгуралом[16] жертвенник поджигается подносимым к нему снизу факелом, и расспрашивал, в чем сущность всех этих порядков, Корбулон, направляя свои ответы к возвеличению Рима, поверг царя в изумление пред нашими древними нравами. На следующий день Тиридат попросил дозволить ему отлучиться, чтобы перед столь дальним путем встретиться с братьями и повидать мать; тогда же он отдал Корбулону в заложницы дочь и вручил ему просительное письмо к Нерону.

31. Покинув наш лагерь, он находит Пакора и мидян, а в Экбатанах — Вологеза, который не оставлял своим попечением брата, ибо направил к Корбулону особых гонцов, прося оградить Тиридата от унижений, выпадающих на долю людей подневольных, чтобы у него не отобрали оружия, чтобы правители провинций при встрече с ним не отказывались почтить его поцелуем, чтобы они не принуждали его дожидаться их у дверей и чтобы в Риме ему были оказаны те же почести, какие принято воздавать консулам. Привыкший к свойственному чужеземцам пустому тщеславию, он, очевидно, не знал, что у нас дорожат силою власти, но не придают значения внешности.

32. В том же году Цезарь даровал латинское право[17] обитающим в Приморских Альпах народностям. Римским всадникам он отвел места в цирке впереди простого народа, тогда как до этого при его посещении они не имели никаких преимуществ, поскольку закон Росция содержал в себе указание лишь о первых четырнадцати рядах в театре. Этот год также отмечен устройством гладиаторских игр, не уступавших в великолепии предыдущим; но при этом еще большее число знатных женщин и сенаторов запятнало себя выходом на арену.

33. В консульство Гая Лекания и Марка Лициния[18] Нерон со дня на день проникался все более страстным желанием

выступить на сцене общедоступного театра; до сих пор он пел лишь у себя во дворце или в своих садах на ювеналиях, к которым относился с пренебрежением, считая их слишком замкнутыми для такого голоса, каким он, по его мнению, обладал. Однако, не решившись начать сразу с Рима, он избрал Неаполь, представлявшийся ему как бы греческим городом: здесь он положит начало, а затем, переправившись в Ахайю и добыв в ней издавна почитаемые священными и столь ценимые повсюду венки, овеянный еще большею славой, завоюет одобрение соотечественников. И вот театр неаполитанцев заполняет собравшаяся толпа горожан, а также те, кого привлекла из ближайших колоний и муниципиев молва о предстоящем выступлении Цезаря, кто сопровождал его в почетной свите и для оказания ему всевозможных услуг и манипулы воинов.

34. Тут произошло нечто такое, в чем большинство увидело зловещее предзнаменование, а сам Нерон—скорее свидетельство заботы о нем благосклонных богов: театр, оставшийся пустым после того, как зрители разошлись, рухнул, и никто при этом не пострадал. И принцепс, сочинив стихи, в которых приносил благодарность богам и прославлял счастливый исход недавнего происшествия, отправился в путь, намереваясь проследовать к месту переправы через Адриатическое море, но по дороге задержался в Беневенте, где при большом стечении зрителей Ватиний давал представления гладиаторов. Этот Ватиний был одним из наиболее чудовищных порождений императорского двора: выросший в сапожной лавке, уродливый телом, площадной шут, он сначала был принят в окружение принцепса как тот, кого можно сделать всеобщим посмешищем, но с течением времени, возводя обвинения на лучших людей, обрел столько силы, что влиятельностью, богатством, возможностью причинять вред превзошел даже самых отъявленных негодяев.

35. Посещая даваемые им пиры, Нерон и посреди удовольствий не прекращал творить злодеяния. Именно в эти дни принудили к самоубийству Торквата Силана, ибо, помимо его принадлежности к славному роду Юниев, божественный Август приходился ему прапрадедом. Обвинителям было приказано заявить, что он расточает свое состояние на щедроты, и для него единственная надежда заключается в

государственном перевороте, что среди его вольноотпущенников есть такие, которых он называет ведающими перепиской, ведающими приемом прошений, ведающими казною — наименования должностных лиц при верховном правителе, выдающие далеко заходящие замыслы. Тогда же всех его наиболее доверенных вольноотпущенников заковали в цепи и увели в темницу, и так как стало очевидным, что его осуждение неминуемо, Торкват вскрыл себе вены на обеих руках; затем Нерон произнес речь, в которой по своему обыкновению заявил, что, сколь бы виновен ни был Торкват и как бы обоснованно ни было его неверие в возможность оправдания, ему была бы, однако, сохранена жизнь, если бы он дождался приговора своего милостивого судьи.

36. Немного спустя, отложив поездку в Ахайю (что было причиною этого, неизвестно), Нерон направился в Рим, затаив про себя мечту о посещении восточных провинций, преимущественно Египта. Вслед за тем он объявил в особом указе, что его отсутствие будет непродолжительным и никак не скажется на спокойствии и благополучии государства, и по случаю предстоящего путешествия поднялся на Капитолий. Принеся там обеты богам и войдя с тем же в храм Весты, он вдруг задрожал всем телом, то ли устрашившись богини или потому, что, отягощенный памятью о своих злодеяниях, никогда не бывал свободен от страха, и тут же оставил свое намерение, говоря, что все его желания отступают перед любовью к отечеству: он видит опечаленные лица сограждан, слышит их тайные сетования на то, что собирается в столь дальний путь, тогда как даже кратковременные его отъезды невыносимы для них, привыкших к тому, что при одном только взгляде на принцепса стихают их опасения перед превратностями судьбы. И подобно тому как в личных привязанностях предпочтение отдают кровным родственникам, так и римский народ для него превыше всего, и, если он удерживает его при себе, надлежит этому подчиниться. Такие речи пришлись по душе простому народу как вследствие присущей ему жажды зрелищ, так прежде всего и из опасения, как бы в отсутствие принцепса не возникли затруднения с продовольствием. Для сената и знати было неясно, будет ли Нерон больше свирепствовать, находясь вдалеке или оставаясь на месте; впоследствии, как это обычно в страшных об-

стоятельствах, они сочли худшим то, что выпало на их долю.

37. Стараясь убедить римлян, что нигде ему не бывает так хорошо, как в Риме, Нерон принимается устраивать пиршества в общественных местах и в этих целях пользуется всем городом, словно своим домом. Но самым роскошным и наиболее отмеченным народной молвой был пир, данный Тигеллином, и я расскажу о нем, избрав его в качестве образца, дабы впредь освободить себя от необходимости описывать такое же расточительство. На пруду Агриппы[19] по повелению Тигеллина был сооружен плот, на котором и происходил пир и который все время двигался, влекомый другими судами. Эти суда были богато отделаны золотом и слоновою костью, и гребли на них распутные юноши, рассаженные по возрасту и сообразно изощренности в разврате. Птиц и диких зверей Тигеллин распорядился доставить из дальних стран, а морских рыб — от самого Океана. На берегах пруда были расположены лупанары, заполненные знатными женщинами, а напротив виднелись нагие гетеры. Началось с непристойных телодвижений и плясок, а с наступлением сумерек роща возле пруда и окрестные дома огласились пением и засияли огнями. Сам Нерон предавался разгулу, не различая дозволенного и недозволенного; казалось, что не остается такой гнусности, в которой он мог бы выказать себя еще развращеннее; но спустя несколько дней он вступил в замужество, обставив его торжественными свадебными обрядами, с одним из толпы этих грязных распутников (звали его Пифагором); на императоре было огненно-красное брачное покрывало, присутствовали присланные женихом распорядители; тут можно было увидеть приданое, брачное ложе, свадебные факелы, наконец, все, что прикрывает ночная тьма и в любовных утехах с женщиной.

38. Вслед за тем разразилось ужасное бедствие, случайное или подстроенное умыслом принцепса — не установлено (и то и другое мнение имеет опору в источниках), но во всяком случае самое страшное и беспощадное изо всех, какие довелось претерпеть этому городу[20] от неистовства пламени. Начало ему было положено в той части цирка, которая примыкает к холмам Палатину и Целию; там, в лавках с легковоспламеняющимся товаром, вспыхнул и мгновенно разгорелся огонь и, гонимый ветром, быстро распространился вдоль

всего цирка. Тут не было ни домов, ни храмов, защищенных оградами, ни чего-либо, что могло бы его задержать. Стремительно наступавшее пламя, свирепствовавшее сначала на ровной местности, поднявшееся затем на возвышенности и устремившееся снова вниз, опережало возможность бороться с ним и вследствие быстроты, с какою надвигалось это несчастье, и потому, что сам город с кривыми, изгибавшимися то сюда, то туда узкими улицами и тесной застройкой, каким был прежний Рим, легко становился его добычей. Раздавались крики перепуганных женщин, дряхлых стариков, беспомощных детей; и те, кто думал лишь о себе, и те, кто заботился о других, таща на себе немощных или поджидая их, когда они отставали, одни медлительностью, другие торопливостью увеличивали всеобщее смятение. И нередко случалось, что на оглядывавшихся назад пламя обрушивалось с боков или спереди. Иные пытались спастись в соседних улицах, а когда огонь настигал их и там, они обнаруживали, что места, ранее представлявшиеся им отдаленными, находятся в столь же бедственном состоянии. Под конец, не зная, откуда нужно бежать, куда направляться, люди заполняют пригородные дороги, располагаются на полях; некоторые погибли, лишившись всего имущества и даже дневного пропитания, другие, хотя им и был открыт путь к спасению, — из любви и привязанности к близким, которых они не смогли вырвать у пламени. И никто не решался принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить свое жилище, вследствие угроз тех, кто запрещал бороться с пожаром; а были и такие, которые открыто кидали в еще не тронутые огнем дома горящие факелы, крича, что они выполняют приказ, либо для того, чтобы беспрепятственно грабить, либо и в самом деле послушные чужой воле.

39. В то время Нерон находился в Анции и прибыл в Рим лишь тогда, когда огонь начал приближаться к его дворцу, которым он объединил в одно целое Палатинский дворец и сады Мецената[21]. Остановить огонь все же не удалось, так что он поглотил и Палатинский дворец, и дворец Нерона, и все, что было вокруг. Идя навстречу изгнанному пожаром и оставшемуся без крова народу, он открыл для него Марсово поле, все связанные с именем Агриппы сооружения, а также свои собственные сады и, кроме того, спешно возвел строе-

ния, чтобы разместить в них толпы обездоленных погорельцев. Из Остии и ближних муниципиев было доставлено продовольствие, и цена на зерно снижена до трех сестерциев. Принятые ради снискания народного расположения, эти мероприятия не достигли, однако, поставленной цели, так как распространился слух, будто в то самое время, когда Рим был объят пламенем, Нерон поднялся на дворцовую сцену и стал петь о гибели Трои, сравнивая постигшее Рим несчастье с бедствиями давних времен.

40. Лишь на шестой день у подножия Эсквилина был наконец укрощен пожар, после того как на обширном пространстве были срыты дома, чтобы огонь встретил голое поле и как бы открытое небо. Но еще не миновал страх, как огонь снова вспыхнул, правда в не столь густо застроенных местах; по этой причине на этот раз было меньше человеческих жертв, но уничтоженных пламенем святилищ богов и предназначенных для украшения города портиков еще больше. Этот второй пожар вызывал и больше подозрений, потому что начался с особняка Тигеллина в Эмилианах; пошли толки о том, что Нерон хочет прославить себя созданием на пожарище нового города, который собирается назвать своим именем. Из четырнадцати концов, на которые делится Рим, четыре остались нетронутыми, три были разрушены до основания; в прочих семи сохранились лишь ничтожные остатки обвалившихся и полусожженных строений.

41. Установить число уничтоженных пожаром особняков, жилых домов и храмов было бы нелегко; но из древнейших святилищ сгорели посвященный Сервием Туллием храм Луне, большой жертвенник и храм, посвященный аркадянином Эвандром Геркулесу в его присутствии, построенный Ромулом по обету храм Юпитера Остановителя, царский дворец Нумы и святилище Весты с Пенатами[22] римского народа; тогда же погибли сокровища, добытые в стольких победах, выдающиеся произведения греческого искусства, древние и достоверные списки трудов великих писателей и многое такое, о чем вспоминали люди старшего возраста и что не могло быть восстановлено, несмотря на столь поразительное великолепие восставшего из развалин города. Некоторые отмечали, что этот пожар начался в четырнадцатый день до секстильских календ[23] — день, в который когда-то

сеноны подожгли захваченный ими Рим. А другие в своем усердии дошли до того, что насчитывали между тем и другим пожаром одинаковое количество лет, месяцев и дней[24].

42 Использовав постигшее родину несчастье, Нерон построил себе дворец, вызывавший всеобщее изумление не столько обилием пошедших на его отделку драгоценных камней и золота — в этом не было ничего необычного, так как роскошь ввела их в широкое употребление, — сколько лугами, прудами, разбросанными, словно в сельском уединении, тут лесами, там пустошами, с которых открывались далекие виды, что было выполнено под наблюдением и по планам Севера и Целера, наделенных изобретательностью и смелостью в попытках посредством искусства добиться того, в чем отказала природа, и в расточении казны принцепса. Так, они пообещали ему соединить Авернское озеро с устьем Тибра судоходным каналом, проведя его по пустынному побережью и через встречные горы. Но, кроме Помптинских болот, там не было влажных мест, которые могли бы дать ему воду, ибо все остальное представляло собою отвесные кручи или сплошные пески; и даже если бы им удалось пробиться сквозь них, это стоило бы непомерного и не оправданного действительной надобностью труда. Но страсть Нерона к неслыханному побудила его предпринять попытку прорыть ближайшие к Авернскому озеру горы; следы этих бесплодных усилий сохраняются и поныне.

43. Вся не отошедшая к дворцу территория города в дальнейшем застроилась не так скученно и беспорядочно, как после сожжения Рима галлами, а с точно отмеренными кварталами и широкими улицами между ними, причем была ограничена высота зданий, дворы не застраивались и перед фасадами доходных домов возводились скрывавшие их портики. Эти портики Нерон пообещал соорудить за свой счет, а участки для построек предоставить владельцам расчищенными. Кроме того, он определил им денежные награды — соответственно сословию и размерам состояния каждого — за завершение строительства особняков и доходных домов в установленные им самим сроки. Для свалки мусора он предназначил болота близ Остии, повелев, чтобы суда, подвозящие по Тибру зерно, уходили обратно, погрузив мусор; самые здания он приказал возводить до определенной высоты

без применения бревен, сплошь из габийского или альбанского туфа[25], ибо этот камень огнеупорен; и так как частные лица самочинно перехватывали воду, по его распоряжению были расставлены надзиратели; обязанные следить за тем, чтобы она обильно текла в большом количестве мест и была доступна для всех; домовладельцам было вменено в обязанность иметь наготове у себя во дворе противопожарные средства, и, наконец, было воспрещено сооружать дома с общими стенами, но всякому зданию надлежало быть наглухо отгороженным от соседнего. Все эти меры, принятые для общей пользы, послужили вместе с тем и к украшению города. Впрочем, некоторые считали, что в своем прежнем виде он был благоприятнее для здоровья, так как узкие улицы и высокие здания оберегали его от лучей палящего солнца: а теперь открытые и лишенные тени просторы, накалившись, обдают нестерпимым жаром.

44. Эти меры были подсказаны человеческим разумом. Затем стали думать о том, как умилостивить богов, и обратились к Сивиллиным книгам, на основании которых были совершены молебствия Вулкану и Церере с Прозерпиною, а матроны принесли жертвы Юноне, сначала на Капитолии, потом у ближайшего моря, и зачерпнутой в нем водой окропили храм и изваяние этой богини; замужние женщины торжественно справили селлистернии[26] и ночные богослужения. Но ни средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни обращением за содействием к божествам невозможно было пресечь бесчестящую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду

людскому[27]. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде возничего или правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. И хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой суровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона.

45. Между тем денежные поборы опустошили Италию, разорили провинции, союзные народы и государства, именуемые свободными. Добыча была взята и с богов, ибо храмы в Риме были ограблены и у них отобрали золото, которое во все времена жертвовал им римский народ, празднуя триумфы и по обету, в дни благоденствия, и в страхе перед опасностями. А в Азии и Ахайе, после того как в эти провинции были направлены Акрат и Секунд Карринат, из святилищ изымались не только дары, но и статуи богов. Первый из названных был вольноотпущенник Цезаря, готовый на любое бесчестное дело, второй — усвоивший греческую философию лишь на кончике языка, но не подчинивший своей души добрым началам. Говорили, что Сенека, стремясь снять с себя ответственность за творимое святотатство, попросил дозволения уединиться в отдаленной деревне, но, получив отказ, сказался больным и под предлогом мышечного недомогания не выходил из своих покоев. Некоторые передают, что его вольноотпущенник, которого звали Клеоником, по приказанию Нерона изготовил для него яд и что Сенека избежал отравления либо потому, что вольноотпущенник открыл ему этот замысел, либо благодаря собственной предусмотрительности, побудившей его поддерживать себя самой простою пищей и полевыми плодами, а для утоления жажды употреблять проточную воду.

46. Тогда же гладиаторы в городе Пренесте попытались вырваться на свободу, но были усмирены приставленной к ним воинской стражей; а в народе, жаждущем государствен-

ных переворотов и одновременно трепещущем перед ним, уже вспоминали о Спартаке и былых потрясениях. Немного позднее пришло сообщение о гибели большого числа кораблей, и не вследствие войны (никогда ранее не царил столь же устойчивый мир), а из-за того что Нерон, не посчитавшись с возможностью морской бури, повелел флоту возвратиться к определенному дню в Кампанию. И вот кормчие, невзирая на неистовство моря, отплыли из Формий; и когда они пытались обогнуть Мизенский мыс, непреодолимый Африк погнал их на кумские берега, и они потеряли много трирем и еще больше кораблей меньших размеров.

47. В конце года народ устрашают зловещие знамения: частые как никогда удары молнии, звезда-комета, которую Нерон всякий раз старался умилостивить пролитием славной крови, младенцы о двух головах, найденные на улицах, и такие же детеныши животных, обнаруженные при заклании жертв в тех случаях, когда обычай требует принесения в жертву беременного животного. В Плацентском округе близ дороги родился теленок, у которого голова срослась с ногой; согласно толкованию гаруспиков, это знамение означало, что главою дел человеческих готовится стать другой, но не обретет славы и не сможет сохранить свои намерения в тайне, ибо чудовищное порождение погибло уже в материнской утробе и появилось на свет возле людного места.

48. Затем вступают в консульство Силий Нерва и Аттик Вестин[28]. Тогда же возник заговор, который мгновенно распространился: один за другим вступали в него сенаторы, всадники, воины, даже женщины, как из ненависти к Нерону, так и из расположения к Гаю Пизону. Происходя из рода Кальпурниев, он по отцу был связан со многими знатными семьями и пользовался у простого народа доброю славой, которую снискали ему как истинные его добродетели, так и внешний блеск, похожий на добродетель. Он отдавал свое красноречие судебной защите граждан, был щедр с друзьями и даже с незнакомыми ласков в обхождении и речах; к этому присоединялись и такие дары природы, как внушительный рост, привлекательная наружность. Но вместе с тем он не отличался ни строгостью нравов, ни воздержностью в наслаждениях: он отдавал дань легкомыслию, был склонен к пышности, а порой и к распутству, что, впрочем, нравилось большинству, которое во

времена, когда порок в почете, не желает иметь над собою суровую и непреклонную верховную власть.

49. Начало заговору было положено не Пизоном и не его честолюбивыми замыслами; но нелегко указать, кто был зачинщиком, по чьему побуждению сложилось это объединившее столь многих сообщество. Наиболее ревностными его участниками, судя по твердости, с какой они встретили смерть, были трибун преторианской когорты Субрий Флав и центурион Сульпиций Аспер; Анней Лукан и Плавтий Латеран привнесли в него свою жгучую ненависть к принцепсу. Лукана распаляли причины личного свойства, так как Нерон всячески душил его славу на поэтическом поприще и, обуреваемый завистью, препятствовал ему распространять свои сочинения; а консула на будущий год Латерана вовлекла в заговор не обида, но пламенная любовь к отечеству. В числе зачинщиков столь дерзкого предприятия оказались также — чего трудно было от них ожидать — Флавий Сцевин и Афраний Квинциан, оба из сенаторского сословия; у Сцевина от распутства ослабел разум, и он прозябал в бездеятельности и сонливом существовании, а Квинциан, ославленный из-за своей телесной распущенности и опозоренный Нероном в поносном стихотворении, хотел отмстить за нанесенное ему оскорбление.

50. И вот, заводя речь между собою или в кругу друзей о злодеяниях принцепса, о том, что его властвованию приходит конец, что вместо него нужно поставить такого, кто способен помочь угнетенному государству, они вовлекли в заговор римских всадников Клавдия Сенециона, Цервария Прокула, Вулкация Арарика, Юлия Авгурина, Мунация Грата, Антония Натала, Марция Феста; из них Сенецион некогда был близким другом Нерона, и так как тот все еще высказывал ему притворное благоволение, имел достаточно оснований страшиться самого худшего; Натала Пизон всегда посвящал в свои сокровенные замыслы; остальные связывали с государственным переворотом надежды на достижение собственных целей. Из военных людей, кроме уже упомянутых мною Субрия и Сульпиция, были приняты в соучастники трибуны преторианских когорт Гавий Сильван и Стаций Проксум, а также Максим Скавр и Венет Павел, центурионы. Но своей главнейшей опорой заговорщики считали префек-

та преторианцев Фения Руфа, снискавшего добрую славу своим образом жизни, но обойденного расположением принцепса вследствие злобных и бесстыдных происков Тигеллина, который не переставал возводить на него всевозможные обвинения и нередко повергал Нерона в страх, нашептывая ему, что Руф, бывший якобы любовником Агриппины и охваченный тоскою по ней, вынашивает мысль о мщении. Итак, когда заговорщики уверились в том, что и префект на их стороне — а он сам постоянно подтверждал это в беседах с ними, — они принялись подробнее обсуждать, когда и где убить принцепса. Говорили, что Субрий Флав дважды проникался решимостью кинуться на него и тут же расправиться с ним: в первый раз — когда он пел на подмостках, во второй — когда дворец был охвачен огнем и он, без охраны, носился ночью то туда, то сюда[29]. В последнем случае Флава воодушевляло то, что Нерон был в одиночестве, в первом — самое обилие тех, кто стал бы свидетелями столь прекрасного деяния, но его удержало стремление обеспечить себе безнаказанность, которое всегда препятствует осуществлению значительных начинаний.

51. Между тем, пока они медлили, колеблясь между надеждой и страхом, некая Эпихарида, неведомо как дознавшись об их замысле (ранее она была далека от каких-либо забот об общественном благе), принимается распалять и корить заговорщиков и, в конце концов наскучив их нерешительностью, пытается в Кампании поколебать и связать сообщничеством видных начальников Мизенского флота. Приступила она к этому следующим образом. В этом флоте служил наварх Волузий Прокул, один из тех, кому было поручено умертвить мать Нерона, считавший, что, принимая во внимание значительность преступления, в котором он принимал участие, его недостаточно выдвинули. Был ли он давним знакомым Эпихариды или их приятельские отношения завязались незадолго пред тем, но, так или иначе, он рассказал ей об оказанных им Нерону услугах, о том, что они остались ненагражденными, и присоединил к этому жалобы и угрозу отомстить ему, как только представится случай, чем и внушил ей надежду, что он может быть втянут в заговор и затем вовлечь в него многих; а участие флота расширяло возможности, так как Нерон, бывая в Путеолах и Мизенах, по-

стоянно развлекался морскими плаваниями. И Эпихарида идет все далее: она перечисляет злодеяния принцепса, говорит, что он отнял у сената последнюю власть[30]. Но приняты меры, чтобы наказать его за угнетение государства. Пусть только Прокул окажет содействие в этом деле, пусть приведет в стан заговорщиков наиболее отважных и решительных воинов, и он может ожидать достойной награды. Имен заговорщиков Эпихарида, однако, не назвала. Благодаря этому донос Прокула ни к чему не повел, хотя обо всем услышанном он известил Нерона. Эпихарида была вызвана на допрос, и ей устроена очная ставка с доносчиком, но так как его показания не могли быть подтверждены свидетелями, ей было нетрудно отвергнуть их. И все же ее удержали под стражею, так как Нерон остался при подозрении, что, хотя донос не доказан, он, возможно, соответствует истине.

52. Тем не менее заговорщики, опасаясь, что могут быть преданы, решили ускорить задуманное убийство и совершить его в Байях на вилле Пизона, где, привлекаемый ее прелестью, часто бывал Нерон, где без охраны и обычной толпы приближенных посещал бани и участвовал в пиршествах. Но Пизон воспротивился этому, ссылаясь на то, что покроет себя бесчестьем, если святость его пиршественного стола и боги гостеприимства будут осквернены пролитием крови принцепса, каким бы тот ни был; лучше выполнить то, что предпринято ради общего блага, в Риме, в столь ненавистном для всех, сооруженном на поборы с граждан дворце или в каком-нибудь общественном месте. Так он сказал для видимости, а в действительности втайне боялся, как бы Луций Силан, в котором выдающаяся знатность и воспитание вырастившего его Гая Кассия возбуждали чаяния высокого жребия, не овладел верховною властью, получив поддержку тех, кто стоял в стороне от заговора и кто стал бы жалеть Нерона, как павшего жертвою преступления. Впрочем, многие полагали, что Пизон, помимо того, опасался, как бы отличавшийся своеволием консул Вестин не провозгласил возвращение к народовластию или, избрав императора по своему усмотрению, не поднес ему государство как свой подарок. В действительности Вестин не был причастен к заговору, хотя впоследствии, возведя на него это ложное обвинение, Нерон насытил свою давнюю ненависть к нему.

53. Наконец они условились исполнить намеченное в день посвященных Церере цирковых игр, так как Цезарь, запершись у себя во дворце и в своих садах, редко показывался в народе, но не пропускал представлений в цирке, где к тому же среди множества зрителей было легко подойти к нему. Они сговорились, что Латеран обратится к Цезарю с просьбой о денежном вспомоществовании и, припав к коленям принцепса со смиренной мольбой, внезапно повалит и подомнет его, сильный духом и огромный телом; после этого к нему, поверженному и беспомощному, сбегутся центурионы, трибы и все, у кого достанет на это смелости, и прикончат его; нанести смертельный удар Нерону ревностно домогался Сцевин, носивший при себе кинжал, взятый им из храма Благополучия или, по другим сведениям, из храма Фортуны в городе Ферентине и посвященный свершению великого дела. Между тем Пизон должен был ждать в храме Цереры, откуда его вызовут префект Фений и остальные и понесут в преторианский лагерь, причем, чтобы привлечь к нему расположение простого народа, его будет сопровождать Антония, дочь Цезаря Клавдия. Так рассказывает об этом Гай Плиний. Мы сочли нужным не умалчивать об этом сообщении, на что бы оно ни опиралось, хотя нам кажется совершенно несообразным, чтобы Антония ради пустой надежды решилась предоставить заговорщикам свое имя и подвергаться опасности, а Пизон, известный своею любовью к жене, связал себя обещанием вступить в брак с другою, если только жажда господства не берет верх над всеми остальными страстями.

54. Удивительно, как удалось сохранить все это под покровом молчания среди людей различного происхождения, сословия, возраста, пола, богатых и бедняков, пока в доме Сцевина не нашелся предатель. Накануне назначенного для покушения дня Сцевин, после продолжительного разговора с Антонием Наталом возвратившись домой, запечатал завещание, после чего вынул из ножен кинжал, о котором я упоминал выше, и заметив, что он затупился от времени, приказал отточить его на точильном камне до блеска; заботу об этом он возложил на вольноотпущенника Милиха. Тогда же он устроил более обильное, чем обычно, пиршество и наиболее любимым рабам дал свободу, а остальных одарил деньгами; было видно, что он погружен в тягостные раздумья, хоть

и пытается скрыть это оживленными речами. Наконец он велел приготовить повязки для ран и останавливающие кровь средства, поручив это тому же Милиху, то ли знавшему о существовании заговора и до той поры хранившему верность, то ли вовсе не осведомленному о нем и тогда впервые возымевшему подозрения, как сообщает большинство источников. Ибо когда его рабская душа углубилась в исчисление выгод, которые могло принести вероломство, и представила себе несметные деньги и могущество, перед этим отступили долг, совесть, попечение о благе патрона и воспоминание о дарованной им свободе. К тому же Милих прислушался к чисто женскому и по этой причине злокозненному рассуждению жены, постаравшейся вселить в него страх: многие вольноотпущенники и рабы видели то же, что видел он; молчание одного ничему не поможет, между тем награду получит тот, кто опередит доносом всех остальных.

55. И вот на рассвете Милих отправляется в Сервилиевы сады. Остановленный в воротах, он заявляет, что принес важные и грозные вести, и привратники отводят его к вольноотпущеннику Нерона Эпафродиту, а тот к Нерону, которому он сообщает о нависшей над ним опасности, о решимости заговорщиков, обо всем, что слышал, и о своих догадках. Он также показывает приготовленное для умерщвления Нерона оружие и требует привести обвиняемого. Схваченный воинами, тот начал с опровержения возводимых на него обвинений и на вопрос о кинжале ответил, что, издавна почитаемый на его родине как священный, он хранился в его спальном покое и был обманным образом похищен вольноотпущенником. Таблицы завещания он запечатывал неоднократно, не дожидаясь каких-либо особых обстоятельств и дней. Деньги и свободу он и ранее дарил рабам, но на этот раз сделал это с большею щедростью, так как его состояние обременено долгами и он потерял уверенность в силе своего завещания. Он всегда задавал роскошные пиршества, ведя исполненную приятности жизнь, не одобряемую строгими судьями. Никаких распоряжений о повязках для ран он не давал, но так как все прочие обвинения явно несостоятельны, Милих решил присовокупить к ним и это, выступив одновременно и как доносчик, и как свидетель. В сказанное он вложил столь непреклонную твердость, вольноотпущенника

называл негодяем и подлым злодеем с такой убежденностью в голосе и во взоре, что донос был бы отвергнут как ложный, если бы жена Милиха ему не напомнила, что Антоний Натал долго беседовал наедине со Сцевином и что они оба близки к Гаю Пизону.

56. Итак, вызывают Натала, и их порознь допрашивают о том, каков был предмет их беседы, и так как ответы их не совпали, возникли подозрения и обоих заковали в цепи. Они не вынесли вида показанных им оружий пыток и угроз ими; первым заговорил Натал, более осведомленный во всем, что касалось заговора и заговорщиков и к тому же более искушенный в обвинениях и наветах: сначала он указал на Пизона, а вслед затем и на Аннея Сенеку, или потому, что был посредником в переговорах между ним и Пизоном, или, быть может, стремясь угодить Нерону, который, питая ненависть к Сенеке, изыскивал способы его погубить. Узнав о сделанном Наталом признании, Сцевин с таким же малодушием или сочтя, что уже все открыто и дальнейшее запирательство бесполезно, выдал всех остальных. Из них Лукан, Квинциан и Сенецион упорно и долго хранили молчание, но, в конце концов купленные обещанием безнаказанности, и они, чтобы загладить свою медлительность, назвали: Лукан — свою мать Ацилию, а Квинциан — Глития Галла, Сенецион — Анния Поллиона, своих самых близких друзей.

57. Между тем Нерон, вспомнив, что по доносу Волузия Прокула содержится в заключении Эпихарида и полагая, что женское тело не вытерпит боли, велит терзать ее мучительными пытками. Но ни плети, ни огонь, ни ожесточение палачей, раздраженных тем, что не могли справиться с женщиной, не сломили ее и не вырвали у нее признания. Итак, в первый день допроса ничего от нее не добились. Когда на следующий день ее в носильном кресле тащили в застенок, чтобы возобновить такие же истязания (изувеченная на дыбе, она не могла стоять на ногах), Эпихарида, стянув с груди повязку и прикрепив к спинке кресла сделанную из нее петлю, просунула в нее шею и, навалившись всей тяжестью тела, пресекла свое и без того слабое дыхание. Женщина, вольноотпущенница, в таком отчаянном положении оберегавшая посторонних и ей почти неизвестных людей, явила блистательный пример стойкости, тогда как свободнорож-

денные, мужчины, римские всадники и сенаторы, не тронутые пытками, выдавали тех, кто каждому из них был наиболее близок и дорог. Ведь даже Лукан, Сенецион и Квинциан не переставали называть одного за другим участников заговора, от чего Нерон со дня на день проникался все бо́льшим страхом, несмотря на то, что окружил себя усиленною охраной.

58. Да и весь Рим он как бы отдал под стражу, расставив на городских стенах манипулы воинов и отгородив его от моря и от реки. По площадям, домам, селениям и ближайшим муниципиям рыскали пехотинцы и всадники, перемешанные с германцами, к которым принцепс питал доверие, так как они чужестранцы. Отсюда непрерывным потоком гнали они толпы закованных в цепи и приводили их ко входу в сады. И когда задержанные входили туда и подвергались допросу, им вменялись в преступление радость, обнаруженная когда-либо при виде того или иного из заговорщиков, случайный разговор, уличные встречи, совместное присутствие на пиршестве или на представлении. В свирепом дознании, чинимом Нероном и Тигеллином, с таким же ожесточением действовал и еще не названный в показаниях Фений Руф, который, стараясь отмежеваться от заговорщиков, был беспощаден к своим сотоварищам. И он же движением головы пресек порыв стоявшего рядом Субрия Флава, который, взявшись за рукоять меча, спросил взглядом, не извлечь ли его и не поразить ли Нерона тут же во время расследования.

59. Были и такие, которые после раскрытия заговора, пока допрашивали Милиха, пока колебался Сцевин, убеждали Пизона отправиться в преторианский лагерь или взойти на ростры и попытаться склонить на свою сторону воинов и народ. Если участники заговора поддержат его усилия, за ними последуют и те, кто ранее был непричастен к нему; молва не замедлит возвеличить переворот, а это — самое главное при осуществлении больших замыслов. Нерон не предусмотрел никаких мер для пресечения мятежа. Даже храбрых мужей неожиданность приводит в смятение, и этот лицедей, за которым пойдут лишь его наложницы да Тигеллин, разумеется, не посмеет поднять оружие на возмутившихся. Дерзанием свершается много такого, что коснеющим в бездействии кажется недостижимым. Тщетно надеяться на молча-

ние и на верность такого множества заговорщиков, каждый из которых наделен духом и телом: для пытки и подкупа нет ничего недоступного. Вот-вот придут и закуют его самого в оковы, и он будет предан бесславной смерти. Сколь почетнее для него погибнуть, отдав себя общему делу, подняв клич в защиту свободы. Пусть лучше ему откажут в поддержке воины и его покинут народы, но его смерть, если придется расстаться с жизнью, будет оправдана перед душами предков и перед потомством. Не вняв этим увещаниям, ненадолго показавшись в народе, а потом уединившись у себя дома, Пизон укреплял в себе дух в предвидении близкой гибели, пока к нему не пришел отряд воинов, составленный Нероном из новобранцев и недавно вступивших на службу, ибо старых воинов опасались, считая, что они проникнуты благожелательностью к Пизону. Он умер, вскрыв себе вены на обеих руках. Свое завещание он наполнил отвратительной лестью Нерону, что было сделано им из любви к жене, женщине незнатного происхождения и не отмеченной другими достоинствами, кроме телесной красоты, отнятой им у друга, за которым она ранее была замужем. Звали ее Сатрия Галла, ее прежнего мужа — Домиций Сил. Он — своей снисходительностью, она — бесстыдством усугубили впоследствии бесчестье Пизона.

60. Вслед за Пизоном Нерон казнил избранного консулом на будущий год Плавтия Латерана, и притом так торопился с его убийством, что не дозволил ему обнять напоследок детей и не предоставил тех кратких мгновений, в которые он мог бы сам себя лишить жизни. Приведенный на место, предназначенное для казни рабов, он умерщвляется рукою трибуна Стация, до конца стойко храня молчание и даже не укорив трибуна, участника того же заговора. Затем следует умерщвление Аннея Сенеки, особенно приятное принцепсу, и не потому, что он доподлинно выяснил причастность Сенеки к заговору, но потому, что, не достигнув успеха ядом, получил возможность прибегнуть к железу. Назвал Сенеку лишь Натал, да и он заявил только о том, что был послан к больному Сенеке, чтобы повидать его и спросить, почему он не допускает к себе Пизона: им было бы лучше поддерживать дружбу в личном общении; на что Сенека ответил ему, что как обмен мыслями через посредников, так и частые беседы с глазу на

глаз не послужат на пользу ни тому, ни другому; впрочем, его спокойствие зависит от благополучия Пизона. Трибуну преторианской когорты Гавию Сильвану отдается распоряжение передать это Сенеке и просить у него, подтверждает ли он слова Натала и свой ответ. Как раз в тот день Сенека либо случайно, либо намеренно возвратился из Кампании и остановился в своем пригородном поместье, отстоявшем от Рима на четыре тысячи шагов. Туда уже под вечер прибыл трибун и, окружив виллу отрядами воинов, изложил Сенеке, обедавшему в обществе жены Поппеи Паулины и двух друзей, поручение императора.

61. Сенека показал, что к нему был прислан Натал и от имени Пизона выразил сожаление, что он, Сенека, не принимает его, а он в свое извинение сослался на нездоровье и на то, что ему всего важнее покой. У него не было никаких причин подчинять свое благоденствие благополучию частного лица; к лести он ни в малой мере не склонен. И никто не знает этого лучше Нерона, которому чаще доводилось убеждаться в независимости суждений Сенеки, чем в его раболепии. Трибун доложил об этом в присутствии Поппеи и Тигеллина, ближайших советников принцепса во всех его злодеяниях, и Нерон спросил, не собирается ли Сенека добровольно расстаться с жизнью. На это трибун, не колеблясь, ответил, что он не уловил никаких признаков страха, ничего мрачного ни в его словах, ни в выражении лица. И трибун получает приказ немедленно возвратиться к Сенеке и возвестить ему смерть. Фабий Рустик передает, что он направился не тою дорогой, какою пришел, а свернул по пути к префекту Фению, и, изложив приказание Цезаря, спросил, следует ли повиноваться ему, и тот посоветовал делать что велено: такова была охватившая всех роковая трусость. Ведь и Сильван тоже был участником заговора и тем не менее содействовал преступлениям, ради отмщения которых примкнул к заговорщикам. Все же он не решился, глядя в глаза Сенеке, произнести слова беспощадного приговора и послал к нему для этого одного из центурионов.

62. Сохраняя спокойствие духа, Сенека велит принести его завещание, но так как центурион воспрепятствовал этому, обернувшись к друзьям, восклицает, что раз его лишили возможности отблагодарить их подобающим образом, он заве-

щает им то, что остается единственным, но зато самым драгоценным из его достояния, а именно — образ жизни, которого он держался, и если они будут помнить о нем, то заслужат добрую славу, и это вознаградит их за верность. Вместе с тем он старается удержать их от слез то разговором, то прямым призывом к твердости, спрашивая, где же предписания мудрости, где выработанная в размышлениях стольких лет стойкость в бедствиях? Кому неизвестна кровожадность Нерона? После убийства матери и брата ему только и остается, что умертвить воспитателя и наставника.

63. Высказав это и подобное этому как бы для всех, он обнимает жену и, немного смягчившись по сравнению с проявленной перед этим неколебимостью, просит и умоляет ее не предаваться вечной скорби, но в созерцании его прожитой добродетельно жизни постараться найти достойное утешение, которое облегчит ей тоску о муже. Но она возражает, что сама обрекла себя смерти, и требует, чтобы ее поразила чужая рука. На это Сенека, не препятствуя ей прославить себя кончиной и побуждаемый к тому же любовью, ибо страшился оставить ту, к которой питал редкостную привязанность, беззащитною перед обидами, ответил: «Я указал на то, что могло бы примирить тебя с жизнью, но ты предпочитаешь благородную смерть; не стану завидовать возвышенности твоего деяния. Пусть мы с равным мужеством и равною твердостью расстанемся с жизнью, но в твоем конце больше величия». После этого они одновременно вскрыли себе вены на обеих руках. Но так как из старческого и ослабленного скудным питанием тела Сенеки[31] кровь еле текла, он надрезал себе также жилы на голенях и под коленями; изнуренный жестокой болью, чтобы своими страданиями не сломить духа жены и, наблюдая ее мучения, самому не утратить стойкости, он советует ей удалиться в другой покой. И так как даже в последние мгновения его не покинуло красноречие, он вызвал писцов и продиктовал многое, что было издано; от пересказа его подлинных слов я воздержусь.

64. Но Нерон, не питая личной ненависти к Паулине и не желая усиливать вызванное его жестокостью всеобщее возмущение, приказывает не допустить ее смерти. По настоянию воинов рабы и вольноотпущенники перевязывают ей руки и останавливают кровотечение. Вероятно, она была без

сознания; но так как толпа всегда готова во всем усматривать худшее, не было недостатка в таких, кто считал, что в страхе перед неумолимой ненавистью Нерона она домогалась славы верной супруги, решившейся умереть вместе с мужем, но когда у нее возникла надежда на лучшую долю, не устояла перед соблазном сохранить жизнь. Она лишь на несколько лет пережила мужа, с похвальным постоянством чтя его память; лицо и тело ее отличались той мертвенной бледностью, которая говорила о невозместимой потере жизненной силы. Между тем Сенека, тяготясь тем, что дело затягивается и смерть медлит приходом, просит Стация Аннея, чьи преданность в дружбе и искусство врачевания с давних пор знал и ценил, применить заранее припасенный яд, которым умерщвляются осужденные уголовным судом афиняне[32]; он был принесен, и Сенека его принял, но тщетно, так как члены его уже похолодели и тело стало невосприимчивым к действию яда. Тогда Сенеку погрузили в бассейн с теплой водой, и он обрызгал ею стоявших вблизи рабов со словами, что совершает этой влагою возлияние Юпитеру Освободителю. Потом его переносят в жаркую баню, и там он испустил дух, после чего его тело сжигают без торжественных погребальных обрядов. Так распорядился он сам в завещании, подумав о своем смертном часе еще в те дни, когда владел огромным богатством и был всемогущ.

65. Ходил слух, что на тайном совещании Субрия Флава с центурионами было решено, и не без ведома Сенеки, сразу же после убийства Нерона, которое должен был подстроить Пизон, умертвить и его, а верховную власть вручить Сенеке, как избранному главой государства ввиду его прославленных добродетелей людьми безупречного образа жизни. Распространялись в городе и слова Флава, якобы говорившего, что позор отнюдь не уменьшится, если по устранении кифареда его место займет трагический актер, ибо если Нерон пел под кифару, то Пизон — в трагическом одеянии.

66. Но очень скоро открылось, что в заговоре участвовали и военные люди, ибо многие из задержанных возгорелись желанием разоблачить Фения Руфа, который возбудил их ненависть тем, что, будучи таким же заговорщиком, как они, подвергал их допросам в качестве следователя. И вот однажды, когда он угрозами вымогал показания, Сцевин, усмеха-

ясь, сказал, что никто не знает об этом деле больше, чем он, и начал увещевать его отплатить признательностью столь доброму принцепсу. На это Фений не ответил ни словами, ни молчанием, а запинаясь и бормоча что-то невнятное, сам себя выдал своим замешательством. Все прочие, и особенно римский всадник Церварий Прокул, постарались его обличить, и по приказанию императора обладавший выдающейся телесною силой и по этой причине находившийся при нем воин Кассий хватает Фения и налагает на него цепи.

67. Далее по доносу тех же берут под стражу Субрия Флава. Сначала он отпирался от участия в заговоре, ссылаясь на различие в нравах, на то, что он, человек военный, не стал бы связываться для выполнения столь великого злодеяния с людьми изнеженного образа жизни, не владеющими оружием. Но в конце концов, неотступно изобличаемый, он решился признанием обрести славу. На вопрос Нерона, в силу каких причин он дошел до забвения присяги и долга, Флав ответил: «Я возненавидел тебя. Не было воина, превосходившего меня в преданности тебе, пока ты был достоин любви. Но я проникся ненавистью к тебе после того, как ты стал убийцей матери и жены, колесничим, лицедеем и поджигателем». Я привел его подлинные слова, потому что в отличие от слов Сенеки они не были обнародованы, а между тем эти бесхитростные и резко выраженные мысли солдата не менее достойны широкой огласки. Не было ничего во всем следствии по этому заговору, что тяжелее уязвило бы слух Нерона, который насколько легко творил злодеяния, настолько же был непривычен выслушивать укоры за то, что содеял. Совершение казни над Флавом поручается трибуну Вейанию Нигеру. По его приказанию на ближнем поле была вырыта яма, которую Флав с пренебрежением назвал тесною и недостаточно глубокою; обратившись к расставленным вокруг нее воинам, он бросил: «Даже это сделано не по уставу». И когда Вейаний предложил ему смело подставить шею, Флав сказал: «Лишь бы ты столь же смело ее поразил!» И тот, дрожа всем телом, двумя ударами едва отсек Флаву голову, однако, похваляясь своей бесчувственностью перед Нероном, доложил ему, что с полутора ударов умертвил Флава.

68. Такой же пример твердости был показан центурионом Сульпицием Аспером, который, когда Нерон спросил, почему

он вступил в заговор против его жизни, кратко ответил, что другого способа пресечь его гнусности не было; тотчас же по приказанию Нерона он был казнен. Не уронили себя и другие центурионы, идя на казнь; только Фений Руф не проявил силы духа, внеся слезливые жалобы даже в свое завещание. Нерон ожидал, что и консул Вестин будет изобличен как участник заговора, ибо считал его своевольным и враждебно настроенным; но никто из заговорщиков не посвятил Вестина в задуманное, одни — из-за давней вражды к нему, большинство — потому что находили его опрометчивым и несговорчивым. Ненависть Нерона к Вестину выросла из существовавшей некогда между ними дружбы, ибо тот, познав до конца низость принцепса, стал относиться к нему с презрением, тогда как Нерон страшился прямоты и резкости своего друга, часто осмеивавшего его в едких остротах, которые, если в них вложено много истинного, оставляют по себе злобное воспоминание. С недавних пор к этому добавилось еще одно обстоятельство: Вестин сочетался браком со Статилией Мессалиной, хорошо зная о том, что один из ее любовников — Цезарь.

69. И так как не было налицо ни преступления, ни обвинителя, то Нерон, не имея возможности прикрыться личиной судьи, обратился к насилию самовластья. Он посылает трибуна Гереллана с когортою воинов, приказав ему предупредить намерения консула, занять его подобный крепости дом и подавить охранявшую его отборную молодежь; ибо Вестин в своем высившемся над форумом доме держал подобранных по возрасту красивых рабов. Завершив на этот день свои консульские обязанности, он давал пиршество, ничего не опасаясь или скрывая свои опасения, когда внезапно вошедшие в покой воины сказали ему, что его вызывает трибун. Вестин без промедления встает из-за стола, и все совершается мгновенно: он уединяется с врачом в спальном покое; надрезаются вены; еще полного сил, его переносят в баню и погружают в теплую воду, причем он ни единым словом не пожаловался на свою участь. Всех возлежавших с ним на пиру окружает стража, и их отпускают только позднею ночью, лишь после того как Нерон, представив себе ужас гостей, ожидавших сразу же вслед за пиршеством гибели, и вдоволь насмеявшись над ними, изрек наконец, что они достаточно поплатились за предоставленное им консулом угощение.

70. Вслед за тем он велит умереть Аннею Лукану. И когда тот, истекая кровью, почувствовал, что у него холодеют руки и ноги и жизненная сила понемногу покидает тело, хотя жар его сердца еще не остыл и сознание не утратило ясности, ему вспомнились сочиненные им стихи, в которых изображался умиравший такой же смертью раненый воин[33]. Он прочел эти стихи, и то были последние произнесенные им слова. После него погибли Сенецион, Квинциан и Сцевин, возвысившиеся при этом над своим прежним малодушием, а затем и остальные заговорщики, не свершив и не высказав ничего, достойного упоминания.

71. Но если в городе не было конца похоронам, то не было его и жертвоприношениям на Капитолии: и тот, у кого погиб сын или брат, и тот, у кого — родственник или друг, возносили благодарность богам, украшали лавровыми ветвями свои дома, припадали к коленям Нерона, осыпали поцелуями его руку. И он, увидев в этом выражение радости, отплатил безнаказанностью поспешившим с разоблачениями Антонию Наталу и Церварию Прокулу. Обогащенный наградами Милих присвоил себе прозвание, которое по-гречески означает Спаситель[34]. Из числа трибунов Гавий Сильван, несмотря на помилование, поразил себя собственною рукой, а Стацию Проксуму не пошло впрок прощение, которое ему даровал император, и он сам повинен в своей бессмысленной гибели. От должности трибуна были отставлены...[35] Помпей, Корнелий Марциал, Флавий Непот и Стаций Домиций не из-за явной враждебности к принцепсу, но так как их сочли недостаточно благонадежными. Новию Приску из-за его близости к Сенеке, Глитию Галлу и Аннию Поллиону, скорее оговоренным, чем изобличенным, была определена ссылка. За Приском и Галлом последовали их жены Артория Флакцилла и Эгнация Максимилла; большое богатство Максимиллы сначала было за нею сохранено, в дальнейшем — отобрано; и то и другое содействовало ее славе. Под предлогом участия в заговоре изгоняется также Руфрий Криспин, но подлинною причиною этого была давнишняя ненависть к нему принцепса, ибо ранее он состоял в браке с Поппеей. Вергиния Флава и Музония Руфа обрекла на изгнание их известность: Вергиний привлек к себе расположение молодежи своим красноречием, Музоний — наставлениями в философии. Клувиди-

ену Квиету, Юлию Агриппе, Влитию Катулину, Петронию Приску и Юлию Альтину, как бы для того, чтобы они образовали целое поселение, предоставляются местом ссылки острова Эгейского моря. Жена Сцевина Цедиция и Цезенний Максим высылаются из Италии, только по этому наказанию узнав о своей причастности к делу. Мать Аннея Лукана Ацилия была обойдена и карою, и прощением.

72. По свершении всего этого Нерон, созвав собрание воинов[36], роздал им по две тысячи сестерциев на человека и, сверх того, освободил их от оплаты хлеба, за который они прежде платили по казенной цене. Затем, как бы для доклада о свершенных на войне подвигах, он созывает сенат и награждает триумфальными отличиями бывшего консула Петрония Турпилиана, претора на следующий год Кокцея Нерву и префекта преторианцев Тигеллина, настолько превознеся при этом Тигеллина и Нерву, что, помимо триумфальных статуй на форуме, им определяются изваяния и в Палатинском дворце. Консульские знаки отличия были пожалованы Нимфидию...[37] и так как речь о нем заходит впервые, я посвящу ему несколько слов, тем более что в дальнейшем и он станет жертвою[38] обрушившихся на римлян бедствий. Рожденный матерью-вольноотпущенницей, промышлявшей своей красотой среди рабов и вольноотпущенников из дома принцепсов, он утверждал, что его отцом был Гай Цезарь, то ли потому, что по какой-то случайности походил на него высоким ростом и свирепым лицом, или так как Гай Цезарь, не гнушавшийся даже уличных женщин, и в самом деле потешился с его матерью...[39]

73. Нерон, не удовольствовавшись созывом сената и речью к сенаторам, издал также указ к народу и приложил к нему собранные в отдельную книгу показания и признания осужденных. Ибо народная молва его не щадила: повсюду говорили, что он истребил столько славных и ни в чем не повинных мужей исключительно из зависти и из страха. Но что заговор возник, разросся и был раскрыт, в этом и тогда не сомневался никто из стремившихся доискаться истины, да и некоторые после гибели Нерона вернувшиеся в Рим признавались, что были его участниками. И вот, когда все в сенате соревновались в низменной лести, и тем усерднее, чем тяжелее была понесенная кем-либо утрата, на Юния Галлиона, устрашенного умерщвлением его брата Сенеки и смиренно

молившего о пощаде, обрушился с обвинениями Салиен Клемент, называя Галлиона врагом и убийцею, пока его единодушно не остановили остальные сенаторы, заявившие, что в его поведении может быть усмотрено намерение воспользоваться общественным бедствием для сведения личных счетов и что не подобает призывать к новым жестоким карам по делу, которое благодаря милосердию принцепса сочтено исчерпанным и предано забвению.

74. Вслед за этим назначаются дары и благодарственные молебствия божествам, и особенные почести — богу солнца[40], чей древний храм находился в цирке, где предполагалось осуществить злодеяние, и чьим благоволением были раскрыты тайные умыслы заговорщиков; выносится постановление и о том, чтобы цирковое представление в честь богини Цереры было отмечено бóльшим числом конных ристаний, чтобы месяц апрель впредь носил имя Нерона[41] и чтобы в том месте...[42], где Сцевин добыл свой кинжал, был воздвигнут храм богине Благополучия. Этот кинжал, повелев на нем начертать: «Юпитеру Мстителю», — Нерон самолично освятил в Капитолии; тогда на эти слова не обратили внимания, но, после того как Юлий Виндекс поднял мятеж, в них стали видеть прорицание и предсказание грядущего мщения. Я обнаружил в протоколах сената, что консул на будущий год Аниций Цериал, высказываясь об этом постановлении, предложил возможно скорее соорудить на государственный счет храм божественному Нерону. Он исходил, разумеется, из того, что принцепс якобы неизмеримо возвысился над жребием смертных и заслуживает их поклонения, но Нерон воспротивился этому, опасаясь, что некоторые могут истолковать сооружение подобного храма как предзнаменование его скорой смерти: ведь принцепс удостаивается божеских почестей, лишь завершив существование среди людей.

Книга шестнадцатая

1. Вслед за тем над Нероном потешилась судьба, чему способствовали его легкомыслие и посулы Цезеллия Басса, пунийца родом, который, обладая суетным нравом, уверовал в то, что привидевшееся ему ночью во сне несомненно отвеча-

ет действительности; отправившись в Рим и добившись подкупом, чтобы его допустили к принцепсу, он сообщает ему, что на своем поле обнаружил пещеру безмерной глубины, таящую великое множество золота, не в виде денег, а в грубых старинных слитках. Там лежат огромной тяжести золотые кирпичи, а с другой стороны поднимаются золотые колонны: все это было сокрыто на протяжении стольких веков, чтобы обогатить их поколение. При этом он высказал предположение, что эти сокровища были припрятаны бежавшей из Тира и основавшей Карфаген финикиянкою Дидоной[1], дабы ее новый народ, располагая столь несметным богатством, не развратился и не погряз в лености и чтобы царей нумидийцев, и без того враждебных, не разжигала к войне жажда золота.

2. Не задумываясь, заслуживает ли веры рассказчик и насколько правдоподобен его рассказ, не послав никого из своих, чтобы проверить полученное им сообщение, Нерон умышленно распространяет слухи о сокрытых богатствах и отправляет людей с приказанием доставить их, как если бы он уже владел ими. Снаряжаются триремы с отборными гребцами, чтобы ускорить плаванье. В те дни только об этом и толковали, народ — со свойственным ему легковерием, люди рассудительные — обсуждая одолевавшие их сомнения. Случилось так, что в это самое время проводились — во второй раз после их учреждения — пятилетние игры[2], и ораторы, превознося принцепса, обращались преимущественно к тому же предмету. Ведь теперь землей порождаются не только обычно производимые ею плоды и золото в смешении с другими металлами, но она одаряет своими щедротами как никогда ранее, и боги посылают лежащие наготове богатства. Присоединяли они к этому и другие раболепные выдумки, изощряясь одинаково в красноречии и льстивости, убежденные в том, что их слушатель поверит всему.

3. Основываясь на этих вздорных надеждах, Нерон день ото дня становился все расточительнее; истощались скопленные казною средства, как будто уже были в его руках такие сокровища, которых хватит на многие годы безудержных трат. В расчете на те же сокровища он стал широко раздавать подарки, и ожидание несметных богатств стало одной из причин обнищания государства. Аверной Басс, за которым

следовали не только воины, но и согнанные для производства работ сельские жители, беспрестанно переходя с места на место и всякий раз утверждая, что именно здесь находится обещанная пещера, перекопал свою землю и обширное пространство вокруг нее и наконец, изумляясь, почему лишь в этом случае сновидение впервые обмануло его, хотя все предыдущие неизменно сбывались, оставил бессмысленное упорство и добровольною смертью избегнул поношений и страха перед возмездием. Впрочем, некоторые писатели сообщают, что он был брошен в темницу и затем выпущен, а в возмещение царской сокровищницы конфисковали его имущество.

4. Следует указать, что, еще до того как начались пятилетние состязания, сенат, пытаясь предотвратить всенародный позор, предложил императору награду за пение и в добавление к ней венок победителя в красноречии, что избавило бы его от бесчестья, сопряженного с выступлением на подмостках. Но Нерон, ответив, что ему не нужны ни поблажки, ни поддержка сената и что, состязаясь на равных правах со своими соперниками, он добьется заслуженной славы по нелицеприятному приговору судей, сперва декламирует поэтические произведения; затем по требованию толпы, настаивавшей, чтобы он показал все свои дарования (именно в этих словах она выразила свое желание), он снова выходит на сцену, строго соблюдая все принятые между кифаредами правила: не присаживаться для отдыха, не утирать пота ничем, кроме одежды, в которую облачен, не допускать, чтобы были замечены выделения изо рта и ноздрей. В заключение, преклонив колено, он движением руки выразил свое глубочайшее уважение к зрителям, после чего, притворно волнуясь, застыл в ожидании решения судей. И римская чернь, привыкшая отмечать понравившиеся ей жесты актеров, разразилась размеренными возгласами одобрения и рукоплесканиями. Можно было подумать, что она охвачена ликованием; впрочем, эти люди, равнодушные к общественному бесчестью, пожалуй, и в самом деле искренно ликовали.

5. Но прибывшим из отдаленных муниципиев все еще суровой и оберегавшей древние нравы Италии и обитателям далеких провинций, приехавшим в качестве их представителей или по личным делам и непривычным к царившей в

Риме разнузданности, трудно было спокойно взирать на происходившее вокруг них; не справлялись они и с постыдной обязанностью хлопать в ладоши: их неумелые руки быстро уставали, они сбивали со счета более ловких и опытных, и на них часто обрушивали удары воины, расставленные между рядами с тем, чтобы не было ни мгновения, заполненного нестройными криками или праздным молчанием. Известно, что многие всадники, пробираясь через тесные входы среди напиравшей толпы, были задавлены, а других, проведших день и ночь на своих скамьях, постигли губительные болезни. Но еще опаснее было не явиться на зрелище, так как множество соглядатаев явно, а еще большее их число — скрытно запоминали имена и лица входящих, их дружественное или неприязненное настроение. По их донесениям мелкий люд немедленно осуждали на казни, а знатных впоследствии настигала затаенная на первых порах ненависть принцепса. Рассказывали, что Веспасиан, одолеваемый сном, смежил глаза, за что на него напустился с ругательствами вольноотпущенник Феб; едва вызволенный заступничеством благонамеренных и честных людей, он и впоследствии избег верной гибели[3], предназначенный судьбой для высокого положения.

6. Вслед за окончанием состязаний скончалась Поппея; причиною ее смерти был муж, который в припадке внезапной ярости ударил ее, беременную, ногой. Я не склонен верить, что она погибла от яда, хотя некоторые писатели сообщают об этом, скорее из ненависти к Нерону, чем из добросовестного убеждения; ведь он хотел иметь от нее детей и вообще очень любил жену. Тело ее не было сожжено на костре, как это в обычае римлян, но по обыкновению чужеземных царей его пропитывают благовониями и бальзамируют, после чего переносят в гробницу Юлиев[4]. Все же ей были устроены похороны на счет государства, и Нерон с ростральной трибуны произнес над ней похвальное слово, в котором говорил о ее красоте, о том, что она была матерью божественного младенца, и о прочих дарах судьбы, вменяя их ей в заслугу.

7. Убийство Поппеи, которому, наружно скорбя, радовались все те, кто вспоминал о ее бесстыдстве и кровожадности, Нерон дополнил новым злобным деянием: он воспретил Гаю Кассию участвовать в ее погребении, что было первым предвестием грозящей ему беды. Она и не замедлила обру-

шиться на него, а вместе с ним — и на Силана, хотя за ними не было другой вины, кроме того, что Кассий выделялся своим унаследованным от предков богатством и строгостью нравов, а Силан — знатностью происхождения и скромностью, в какой проводил свою юность. Итак, Нерон направил сенату речь, в которой настаивал на отстранении их обоих от государственных дел и обвинял Кассия в том, что среди изображений предков он окружает почитанием и статую Гая Кассия с начертанной на ней надписью: «Вождю партии»; ведь это — зародыш гражданской войны и призыв изменить дому Цезарей; но для разжигания междоусобия Кассий не только возвеличивает память ненавистного имени, он также сделал своим сообщником Луция Силана, юношу знатного рода с честолюбивыми стремлениями, чтобы выставить его знаменем переворота.

8. Далее он обрушивался на Силана с теми же обвинениями, которыми ранее погубил его дядю Торквата, а именно — будто он уже распределил между своими вольноотпущенниками обязанности по управлению государством, возложив на них заведование казною, прием прошений и ведение переписки, — обвинениями пустыми и ложными, ибо Силан, устрашенный гибелью дяди, соблюдал величайшую осторожность. После этого под видом свидетелей ввели в сенат тех, кто возвел клевету на Лепиду, жену Кассия и тетку Силана, утверждая, что она повинна в кровосмесительной связи с сыном своего брата и в злокозненных священнодействиях. Были привлечены к суду как соучастники также сенаторы Вулкаций Туллин и Марцелл Корнелий и римский всадник Кальпурний Фабат; обратившись с апелляцией к принцепсу, они избежали безотлагательного вынесения приговора, а затем, так как Нерон был поглощен разбором важнейших государственных преступлений, и вовсе от него ускользнули, поскольку их дело было сочтено менее существенным.

9. Сенатским постановлением Кассию и Силану определяется ссылка; решить судьбу Лепиды предоставляется принцепсу. Кассий был отправлен на остров Сардинию доживать свою старость. Силана под предлогом высылки на остров Наксос доставили в Остию, а затем заточили в апулийском муниципии, носящем название Барий. Там, мудро перенося незаслуженно постигшую его кару, он погибает от руки при-

сланного для его умерщвления центуриона; когда тот стал советовать ему вскрыть себе вены, он ответил, что, приуготовив к смерти свой дух, все же не желает лишать убийцу похвалы за выполнение отданного ему приказания. И хотя Силан был безоружен, центурион, видя его могучее телосложение и что он скорее охвачен гневом, чем страхом, велит воинам умертвить его. Силан не преминул оказать им сопротивление и, насколько голыми руками мог отбиваться от них, осыпáл их ударами, пока не пал, словно на поле битвы, от ран, которые центурион нанес ему в грудь.

10. С не меньшей твердостью встретили смерть Луций Ветер, его теща Секстия и дочь Поллитта, ненавистные принцепсу как живой укор, ибо он предал казни Рубеллия Плавта, зятя Луция Ветера. Повод к свирепому преследованию подал его вольноотпущенник Фортунат, который, расхитив имущество патрона, обратился к его обвинению при соучастии Клавдия Демиана, за позорные поступки брошенного в темницу Ветером, в бытность того проконсулом Азии, и освобожденного из нее Нероном в награду за выдвинутое им обвинение. Узнав об этом и о том, что вольноотпущенника выставляют против него как равного, обвиняемый удалился в свое поместье близ Формий, и там его окружают воины, получившие предписание вести за ним тайное наблюдение. Вместе с ним была его дочь, ожесточенная не только нависшей над ним опасностью, но и давнею скорбью, охватившей ее с тех пор, как она увидела убийц своего мужа Плавта; она тогда обняла его окровавленную шею и сохраняла у себя омоченную его кровью одежду, безутешная вдова, погруженная в траур и не знающая другой пищи, кроме необходимой для поддержания жизни. По просьбе отца она выезжает в Неаполь и, так как ее не допустили к Нерону, подстерегает его у дверей, дожидаясь, пока он выйдет, молит, чтобы он выслушал ни в чем не повинного и не отдал того, кто одновременно с ним был облечен званием консула[5], в жертву вольноотпущеннику, то по-женски проливая слезы, то, превышая силы своего пола, твердым и негодующим голосом, пока принцепс не показал, что равно бесчувствен и к мольбам, и к ненависти.

11. Итак, она возвещает отцу, что нужно отбросить надежду и подчиниться необходимости. Одновременно приходит

весть, что готовится расследование сената и беспощадный приговор. Многие убеждали Ветера отказать значительную часть своего состояния Цезарю и тем самым сохранить остальное за внуками. Но он отверг эти советы, не желая напоследок запятнать раболепием жизнь, прожитую как подобает свободному, и, раздав рабам все наличные деньги, велит им взять себе также то, что могло быть вынесено из дома, оставив в нем только три ложа, чтобы было на чем умереть. После этого в одном и том же покое, одним и тем же ножом они вскрывают себе вены. Их переносят в баню, покрытых лишь той одеждой, которой требовала благопристойность. Взоры отца были устремлены на дочь, бабки — на внучку, а той — на обоих, и каждый, желая покинуть близких умирающими, но еще живыми, молится о скорейшем окончании своей затухающей жизни. Судьба соблюла естественную последовательность, и сначала угасли старшие, а за ними та, которая только вступала в жизнь. Обвинение против них было выдвинуто после их похорон, и сенат определил совершить казнь над ними по обычаю предков, но Нерон выступил с интерцессией[6] и разрешил осужденным избрать смерть по своему усмотрению. Таким издевательствам подверглись люди, уже истребленные.

12. Римского всадника Публия Галла за то, что он был близок к Фению Руфу и не чужд Ветеру, лишили воды и огня. Обвинителю-вольноотпущеннику в награду за оказанные услуги жалуется место в театре среди отведенных для гонцов при народных трибунах. Были переименованы месяцы, следующие за апрелем, или, что то же, неронеем: май наречен именем Клавдия, июнь — Германика, причем Корнелий Орфит, по чьему предложению это было исполнено, обосновывал переименование июня тем, что в этом месяце были умерщвлены за свои преступления два Торквата[7], вследствие чего название июня стало зловещим.

13. Этот год, омраченный столькими злодеяниями, боги отметили также бурями и моровым поветрием. Вся Кампания была опустошена вихрем, который, повсеместно сметая постройки, древесные насаждения и собранный в закрома урожай, донес свое неистовство до окрестностей Рима, где род человеческий истреблялся повальной болезнью, хотя и не было никаких заметных отклонений в погоде. Дома на-

полнялись бездыханными телами, улицы — погребальными шествиями; ни пола, ни возраста не щадила эта пагуба; смерть с одинаковою стремительностью уносила и рабов, и свободнорожденных из простого народа среди причитаний их жен и детей, которые, находясь при них, плача над ними, нередко сжигались на тех же кострах, что они. Об умерших всадниках и сенаторах, хотя и их было великое множество, горевали меньше, считая, что, разделив общую участь, они упредили жестокость принцепса. В том же году в Нарбоннской Галлии, Африке и Азии был проведен набор для пополнения легионов иллирийского войска, из которого увольнялись непригодные к службе по возрасту и здоровью. Претерпевшему бедствие Лутдуну[8] на восстановление разрушенных в этом городе зданий принцепс выдал четыре миллиона сестерциев; такая же сумма была предоставлена нам лугдунцами, когда Рим постигло несчастье[9].

14. В консульство Гая Светония и Лукция Телезина[10] Антистий Созиан, который, как я сказал, за сочинение поносящих Нерона стихов был отправлен в изгнание, прослышав о том, в каком почете доносчики и как скор принцепс на казни, наделенный беспокойной душою и ради достижения своих целей хватавшийся за любую возможность, сближается в силу общности участи с сосланным в то же место, что и он, Памменом, слывшим знатоком искусства халдеев и вследствие этого связанным со многими дружбой, полагая, что не без причины к нему постоянно прибывают и совещаются с ним гонцы, и зная к тому же, что Публий Антей ежегодно выдает ему денежное пособие. Был он осведомлен и о том, что Нерон ненавидит Антея за его преданность памяти Агриппины, что богатства Антея достаточны, чтобы пробудить его алчность, которая была причиною гибели многих. И вот, перехватив присланное Антеем письмо, выкрав хранившийся у Паммена гороскоп Антея с предсказанием его жребия и завладев, кроме того, его же запискою о рождении и жизни Остория Скапулы, он пишет принцепсу, что доставит ему важные и касающиеся его безопасности сведения, если его возвратят на короткое время из ссылки: ведь Антей и Осторий посягают на верховную власть и допытываются узнать, какая судьба уготована им и Цезарю. Немедленно были снаряжены либурны, и Созиана спешно привезли в Рим. Как

только распространилась весть о его доносе, Антея и Остория стали считать скорее осужденными, чем обвиняемыми, и дело дошло до того, что никто не пожелал бы приложить к завещанию Антея свою печать, если бы не воспринятые как повеление слова Тигеллина, незадолго пред тем напомнившего Антею, что ему не следует мешкать со своими последними распоряжениями. И тот, приняв яд и томясь его слишком медленным действием, ускорил наступление смерти, вскрыв себе вены.

15. Осторий находился тогда в дальнем поместье, на границе с лигурами, и туда был послан центурион с поручением принудить его к незамедлительной смерти. Такая торопливость была вызвана тем, что, овеянный громкой боевой славою и заслужив в Британии гражданский венок, он своей огромной телесною силой и искусством, с которым владел оружием, устрашал Нерона, и без того находившегося в постоянной тревоге, а после недавнего раскрытия заговора особенно опасавшегося возможного нападения. Итак, преградив выходы из виллы Остория, центурион передает ему приказание императора. И Осторий обратил против себя ту самую доблесть, которую столь часто выказывал в битвах с врагами. Но так как из надрезанных вен вытекало малое количество крови, он воспользовался рукою раба, но лишь для того, чтобы тот недвижно держал перед собою кинжал, и, ухватив его крепко за правую руку, приник горлом к кинжалу и поразил себя насмерть.

16. Даже если бы я описывал внешние войны и говорил о павших в них за отечество, подобное однообразие обстоятельств их гибели и во мне самом породило бы пресыщение, и я бы наскучил другим, которых отвратил бы этот мрачный и непрерывный рассказ о смертях римских граждан, с каким бы мужеством и достоинством они их ни встретили; а тут — рабское долготерпение и потоки пролитой внутри страны крови угнетают душу и сковывают ее скорбью. Но у тех, кто ознакомится с этим моим трудом, я прошу снисхождения не за что другое, как только за то, что не питаю ненависти к отдавшим себя с такою покорностью на истребление. То был гнев божеств, обрушенный ими на Римское государство, и пройти мимо него, один раз упомянув, как если бы дело шло о поражениях войск или о взятии городов, невозможно. Воз-

дадим же должное памяти этих именитых мужей, и если похороны людей подобного рода принято отличать от всех остальных пышностью и торжественностью обрядов, то пусть они будут почтены и повествованием о постигшей их участи.

17. В течение нескольких дней погибли один за другим Анней Мела, Аниций Цериал, Руфрий Криспин и Гай Петроний, Мела и Криспин — римские всадники в сенаторском достоинстве. Криспин, бывший в прошлом префектом преторианских когорт, потом удостоенный консульских знаков отличия и по обвинению в причастности к заговору[11] незадолго пред тем сосланный на остров Сардинию, получив известие, что ему велено умереть, покончил самоубийством. Мела, происходивший от тех же родителей, что и Галлион с Сенекой, движимый нелепым тщеславием, воздержался от соискания высших государственных должностей, чтобы, оставаясь во всадническом сословии, сравняться могуществом и влиянием с теми, кто был облечен консульским саном. К тому же он находил, что кратчайший путь к обогащению — это заведование имуществом принцепса в качестве его прокуратора. Он же был отцом Аннея Лукана, что также немало способствовало обретению им известности. По умерщвлении сына он настойчиво изыскивал способы завладеть его состоянием, чем навлек на себя обвинение со стороны Фабия Романа, одного из ближайших друзей Лукана. И вот измышляется, что и отец, и сын в равной мере были связаны с заговорщиками, и в доказательство этого подделывается письмо Лукана. Ознакомившись с ним, Нерон повелел отнести его Меле, на богатство которого взирал с вожделением. И Мела вскрыл себе вены, что было в то время самой легкой дорогою к смерти; в оставленном им завещании он отказал крупные суммы Тигеллину и его зятю Коссуциану Капитону, с тем чтобы сохранить за наследниками все остальное. Передают, что в своем завещании он, как бы жалуясь на несправедливость вынесенного ему приговора, также указывал, что, тогда как он умирает, не зная за собою вины, Руфрий Криспин и Аниций Цериал, заклятые враги принцепса, по-прежнему наслаждаются жизнью. Считали, что он написал это о Криспине, так как тот был уже мертв, а о Цериале — чтобы его умертвили. И действительно, немного спустя Цериал сам пресек свои дни, оставив по себе меньшее сожаление, чем осталь-

ные, ибо еще не изгладилось в памяти, что он выдал заговор, составленный против Гая Цезаря[12].

18. О Гае Петронии подобает рассказать немного подробнее. Дни он отдавал сну, ночи — выполнению светских обязанностей и удовольствиям жизни. И если других вознесло к славе усердие, то его — праздность. И все же его не считали распутником и расточителем, каковы в большинстве проживающие наследственное достояние, но видели в нем знатока роскоши. Его слова и поступки воспринимались как свидетельство присущего ему простодушия, и чем непринужденнее они были и чем явственней проступала в них какая-то особого рода небрежность, тем благосклоннее к ним относились. Впрочем, и как проконсул Вифинии, и позднее, будучи консулом, он выказал себя достаточно деятельным и способным справляться с возложенными на него поручениями[13]. Возвратившись к порочной жизни или, быть может, лишь притворно предаваясь порокам, он был принят в тесный круг наиболее доверенных приближенных Нерона и сделался в нем законодателем изящного вкуса, так что Нерон стал считать приятным и исполненным пленительной роскоши только то, что было одобрено Петронием. Это вызвало в Тигеллине зависть, и он возненавидел его как своего соперника, и притом такого, который в науке наслаждений сильнее его. И вот Тигеллин обращается к жестокости принцепса, перед которою отступали все прочие его страсти, и вменяет в вину Петронию дружбу со Сцевином. Донос об этом поступает от подкупленного тем же Тигеллином раба Петрония; бóльшую часть его челяди бросают в темницу, и он лишается возможности защищаться.

19. Случилось, что в эти самые дни Нерон отбыл в Кампанию; отправился туда и Петроний, но был остановлен в Кумах. И он не стал длить часы страха или надежды. Вместе с тем, расставаясь с жизнью, он не торопился ее оборвать и, вскрыв себе вены, то, сообразно своему желанию, перевязывал их, то снимал повязки; разговаривая с друзьями, он не касался важных предметов и избегал всего, чем мог бы способствовать прославлению непоколебимости своего духа. И от друзей он также не слышал рассуждений о бессмертии души и мнений философов, но они пели ему шутливые песни и читали легкомысленные стихи. Иных из рабов он оделил

своими щедротами, некоторых — плетьми. Затем он пообедал и погрузился в сон, дабы его конец, будучи вынужденным, уподобился естественной смерти. Даже в завещании в отличие от большинства осужденных он не льстил ни Нерону, ни Тигеллину, ни кому другому из власть имущих, но описал безобразные оргии принцепса, назвав поименно участвующих в них распутников и распутниц и отметив новшества, вносимые ими в каждый вид блуда, и, приложив печать, отправил его Нерону. Свой перстень с печатью он сломал, чтобы ее нельзя было использовать в злонамеренных целях.

20. Между тем Нерон, теряясь в догадках, каким образом стали известны подробности его изощренных ночных развлечений, вспоминает о небезызвестной благодаря браку с сенатором Силии, которую он сам принудил к соучастию в своих грязных любострастных забавах и которая к тому же была приятельницей Петрония. И вменив ей в вину, что она будто бы не умолчала о виденном и о том, что претерпела сама, он проникся к ней злобою и отправил ее в изгнание. Тогда же он отдал бывшего претора Минуция Терма на расправу жаждавшему отмстить ему Тигеллину; дело в том, что вольноотпущенник Терма в поданном им доносе обличал Тигеллина в некоторых преступлениях, за что он сам поплатился жесточайшими пытками, а его патрон Терм — головою.

21. По уничтожении стольких именитых мужей Нерон в конце концов возымел желание истребить саму добродетель, предав смерти Тразею Пета и Барею Сорана — они оба издавна были ненавистны ему, и в особенности Тразея: ведь он покинул сенат, о чем я упоминал выше, во время прений об Агриппине, ведь и в ювеналиях он почти не принял участия, и это тем глубже задело Нерона, что тот же Тразея в Патавии, откуда был родом, на учрежденных в ней троянцем Антенором...[14] играх пел в одеянии трагического актера. Да и в тот день, когда претор Антистий за поносящие Нерона стихи был уже почти приговорен к казни[15], Тразея выступил с предложением менее сурового наказания и настоял на своем; к тому же он умышленно не явился в сенат при определении Поппее божеских почестей и отсутствовал на ее похоронах. Забыть обо всем этом препятствовал Коссуциан Капитон, который, помимо прирожденной ему злокозненности, был заклятым врагом Тразеи, так как тот, поддержав своим вес-

ким словом представителей киликийцев, предъявивших ему обвинение в лихоимстве, помог им добиться его осуждения[16].

22. Упрекал Коссуциан Тразею и в том, что он уклоняется от принесения в начале года торжественной присяги на верность указам принцепсов, что отсутствует при провозглашении обетов богам, хотя и состоит в жреческой коллегии квиндецимвиров, что не заклал ни единой жертвы за благополучие принцепса и за его божественный голос; прежде ревностный и неутомимый, всегда заявлявший себя сторонником или противником даже самых маловажных сенатских постановлений, он за три последних года ни разу не вошел в курию, а совсем недавно, когда все наперебой стекались в нее ради обуздания Силана и Ветера, предпочел заниматься частными делами своих клиентов. Это — не что иное, как отчуждение и враждебность, и если на то же самое дерзнут многие, то и прямая война. «И подобно тому как некогда жадный до гражданских раздоров Рим толковал о Гае Цезаре и Марке Катоне, — говорил Коссуциан, — так теперь он толкует о тебе, Нерон, и Тразее. И у него есть последователи, вернее сообщники, правда, еще не усвоившие его упорства в отстаивании своих воззрений, но подражающие ему в одежде и облике, суровые и угрюмые, всем своим видом как бы упрекающие тебя в распущенности. Один он не печется о твоей безопасности, один — не признает твоих дарований. Он нисколько не радеет о благоденствии принцепса; так ужели ему все еще мало его печалей и огорчений? Неверие в божественность Поппеи и уклонение от присяги на верность указам божественного Августа и божественного Юлия — это проявления одного и того же духа строптивости. Он презирает религиозные обряды, подрывает законы. Ежедневные ведомости римского народа с особым вниманием читаются в провинциях и в войсках, потому что все хотят знать, что́ еще натворил Тразея. Или примем предлагаемые им учреждения, если они лучше нынешних, или пусть будет устранен вождь и вдохновитель жаждущих новшеств. Эта самая школа породила Туберонов и Фавониев — имена, ненавистные даже старой республике. Чтобы низвергнуть единовластие, они превозносят свободу, но, низвергнув его, точно так же посягнут на свободу. Напрасно, Нерон, ты убрал Кассия, если намерен терпеть, чтобы множились соперники Брутов[17]. Наконец, ты

можешь и не предписывать, что сделать с Тразеей; предоставь сенату быть судьей в нашем споре». Нерон разжигает пыл и без того готового к нападкам Коссуциана и придает в помощь ему язвительное красноречие Эприя Марцелла.

23. А Барею Сорана привлекли к суду на основании обвинения, которое выдвинул против него римский всадник Осторий Сабин по окончании срока его проконсульства в провинции Азии, где он вызвал неудовольствие принцепса своим справедливым и попечительным управлением, а также тем, что позаботился о расчистке эфесской гавани и оставил безнаказанными насильственные действия общины пергамцев, помешавших вольноотпущеннику Нерона Акрату вывезти из их города статуи и картины. Но открыто ему вменялось в вину не это, а дружеские отношения с Плавтом и происки, имевшие целью привлечение провинции к соучастию в государственном перевороте. Для осуждения обвиняемых Нерон выбрал те самые дни, когда ожидалось прибытие Тиридата для его возведения на армянский престол, что было сделано преднамеренно, либо чтобы толками о внешних делах отвлечь внимание от преступления внутри государства, либо, может быть, с тем, чтобы казнью именитых мужей показать воочию всемогущество императора, столь же единовластного, как цари[18].

24. И вот, когда весь город высыпал приветствовать принцепса и посмотреть на царя, Тразея, которому было воспрещено присоединиться к встречающим, не утратив душевной стойкости, составил письмо к Нерону, спрашивая, чтó именно вменяется ему в преступление, и утверждая, что легко отведет от себя обвинения, если будет осведомлен, в чем они состоят, и ему будет дана возможность представить свои оправдания. Нерон поспешил прочесть это послание, в надежде, что устрашенный Тразея высказал в нем нечто такое, что, послужив к прославлению принцепса, навлечет бесчестие на писавшего. Однако, не найдя того, чего ожидал, и мысленно представив себе облик, смелость и свободолюбие не совершившего никаких преступлений Тразеи, он сам проникся страхом пред ним и распорядился созвать сенаторов.

25. Тогда Тразея обратился за советом к ближайшим друзьям, стоит ли ему защищаться или разумнее пренебречь такою попыткой. Приводились различные доводы в пользу того и другого. Считавшие, что он должен присутствовать в

курии при разбирательстве его дела, говорили, что они уверены в его стойкости: все, что он скажет, поведет лишь к возвеличению его славы. Только ленивые и малодушные окружают тайною последние мгновения своей жизни; пусть народ увидит мужа, бестрепетно смотрящего в глаза смерти, пусть сенат услышит слова, возвышающиеся над человеческими и как бы исходящие от некоего божества. Быть может, это чудо тронет даже Нерона; а если оно и не смягчит его кровожадности, то по крайней мере потомки выделят Тразею из сонма трусливо и безмолвно погибших и сохранят память о его доблестном конце.

26. Напротив, полагавшие, что Тразее следует дожидаться решения своей участи у себя дома, говоря о нем то же самое, предупреждали, что в курии он может подвергнуться издевательствам и оскорблениям; так пусть же он оградит свой слух от брани и поношений. Не только Коссуциан и Эприй готовы на преступление; и помимо них найдутся такие, которые дерзнут по бесчеловечности поднять на Тразею руку; за ними из страха последуют и люди порядочные. Пусть он лучше избавит сенат, украшением которого постоянно являлся, от бесчестия, что падет на него, допустившего столь гнусное дело, пусть оставит неясным, какой приговор вынесли бы сенаторы, имея перед собой подсудимым Тразею. Рассчитывать, что Нерон устыдится собственной гнусности, безнадежно; скорее следует опасаться, как бы он не обрушил свою свирепость на супругу Тразеи, его дочь и на всех, кто ему дорог. Поэтому пусть Тразея, ничем не запятнанный и не опороченный, идет навстречу своему концу, не сходя со славного пути тех, по следам которых он шел и устремлениями которых руководствовался всю жизнь. На этом совещании присутствовал Арулен Рустик, молодой человек пылкого нрава; увлекаемый стремлением к славе, он заявил, что воспротивится сенатскому постановлению, — в то время он был народным трибуном. Тразея, однако, пресек его смелый порыв, убедив не предпринимать этого безрассудного и бесполезного для подсудимого, но пагубного для его заступника шага. Он, Тразея, прожил свой век, и ему не пристало отступать от жизненных правил, которых он неизменно придерживался на протяжении стольких лет, тогда как Арулен только начинает восхождение по ступеням магистратур и все они

открыты пред ним. Итак, пусть он предварительно основательно поразмыслит, на какой путь ему подобает вступить, чтобы в такое время открыть себе доступ к государственной деятельности. Решение вопроса о том, следует ли ему явиться в сенат, Тразея оставил на свое усмотрение.

27. На следующее утро две когорты в полном вооружении заняли храм Венере Родительнице[19]. У входа в сенат толпились люди, не прятавшие мечей под тогами, а по площадям и возле базилик[20] располагались воинские отряды. Сенаторы проходили в курию под устремленными на них взглядами и среди угроз и выслушали речь принцепса, оглашенную его квестором. Не называя имен, он порицал сенаторов за уклонение от возложенных на них государством обязанностей, тем более что, следуя их примеру, становятся нерадивыми и римские всадники; и нечего удивляться, что они не прибывают из отдаленных провинций, если многие, достигшие в свое время консульства и жреческих должностей, поглощены заботами о благоустройстве своих садов. И обвинители ухватились за это, как за оружие.

28. Начал Коссуциан; с еще большей горячностью говорил Марцелл, восклицая, что дело идет о самом существовании Римского государства; строптивость подчиненных полагает предел милосердию властителя. Слишком мягкими вплоть до этого дня были сенаторы, допускавшие, чтобы ускользали от наказания враждебный государству Тразея, его зять Гельвидий Приск, одержимый тем же безумием, и вместе с ними Паконий Агриппин, унаследовавший отцовскую ненависть к принцепсам, и кропающий мерзостные стишки Курций Монтан. Он, Марцелл, требует, чтобы Тразея присутствовал в сенате — как бывший консул, при провозглашении обетов — как жрец, при принесении присяги — как гражданин, если только он открыто не стал предателем и врагом отечества, отвергающим завещанные предками учреждения и священнодействия. Пусть, наконец, является в курию разыгрывать сенатора минувших времен, пусть по своему обыкновению заступается за недоброжелателей принцепса, пусть выскажет, что́, по его мнению, должно быть исправлено или изменено. Сенаторам будет легче вынести порицание им чего-то определенного, чем выносить, как ныне, его молчаливое осуждение всего, что ни есть. Или, быть может, ему не

нравится, что на земле царит мир и что победы одержаны без потерь в войске? Они, сенаторы, больше не должны потакать извращенному честолюбию человека, которого общественное благополучие повергает в скорбь, который считает пустынею площади, театры и храмы, который угрожает, что добровольно удалится в изгнание. Он не видит здесь ни сенатских постановлений, ни магистратов, ни самого города Рима. Так пусть же он прервет жизнь, связывающую его с государством, которое уже давно перестало быть для него дорогим, а ныне и терпимым.

29. И когда Марцелл с огнем в голосе, лице, взоре бросал такие слова, сенаторов охватило не давно знакомое и ставшее привычным в испытаниях, которым они постоянно подвергались, уныние, а внушенный видом воинских отрядов во всеоружии еще не изведанный ими глубокий страх. К тому же в их воображении витал почтенный облик самого Тразеи. Были и такие, которые жалели Гельвидия, обрекаемого казни не за совершенные им преступления, а только за то, что он с ним породнился; и Агриппину также ничего не вменяют в вину, кроме грустной судьбы отца, который, столь же ни в чем не повинный, как он, погиб от свирепости Тиберия. Да и Монтана, благонравного юношу, никогда не сочинявшего поносных стихов, собираются изгнать на чужбину лишь потому, что он обнаружил дарование.

30. Между тем в сенат входит обвинитель Сорана Осторий Сабин и начинает с того, что говорит о дружбе Сорана с Рубеллием Плавтом и о том, что в бытность проконсулом провинции Азии он не столько пекся об общественном благе, сколько о снискании расположения ее обитателей и с этою целью потворствовал мятежным общинам. Но это дела давнишние, а было и нечто новое, чем Осторий впутывал и дочь в затеянный против отца судебный процесс, утверждая, что она издержала много денег на магов. Действительно, Сервилия — так звали молодую женщину, — движимая тревогою за отца, из любви к нему и по свойственной ее возрасту неосмотрительности, обратилась к ним, запросив их, однако, только о том, все ли будет благополучно с семьей, можно ли мольбами смягчить Нерона и не принесет ли сенатское расследование чего-либо страшного. Ее вызвали в сенат, и у трибунала консулов встали друг против друга престарелый отец и юная дочь, которой шел

лишь двадцатый год, с недавних пор, после того как ее муж Анний Поллион был отправлен в ссылку, осиротелая и одинокая, не смевшая даже взглянуть на отца, ибо считала себя виноватою в том, что усугубила тяжесть его положения.

31. На вопрос обвинителя, не продала ли она свадебных уборов или снятого с шеи ожерелья, чтобы добыть деньги для магических таинств, она, простершись ниц, долго плакала, не произнося ни слова, а затем, обняв жертвенник с алтарем, сказала: «Я не призывала злых богов, не произносила заклятий и в моих злосчастных молитвах смиренно просила только о том, чтобы ты, Цезарь, и вы, сенаторы, оставили жизнь этому лучшему из отцов. Я отдала драгоценности, наряды и знаки моего достоинства, как отдала бы кровь и самую жизнь, если бы их от меня потребовали. Только этих прежде мне совсем неизвестных людей касается, какая слава утвердилась за ними и каким ремеслом они занимаются. А принцепса я называла лишь в ряду остальных божеств. Несчастнейший мой отец ни о чем не был осведомлен, и если содеянное мной — преступление, то совершила его я одна».

32. Не дав ей закончить, Соран восклицает, что она не последовала за ним в провинцию, что по молодости лет не могла знать Плавта, что не была замешана в преступлениях мужа и, повинная лишь в чрезмерной любви к отцу, должна быть оставлена в стороне от дознания по его делу; сам же он покорится уготованной ему участи, какой бы она ни была. И он кинулся бы в объятия устремившейся к нему дочери, если бы подоспевшие ликторы не отстранили их друг от друга. Затем приступили к опросу свидетелей; и если необоснованность жестокого обвинения возбудила глубокое сочувствие к подсудимому, то презрение и гнев навлек на себя свидетель Эгнаций. Этот клиент Сорана, подкупленный, чтобы погубить друга, носил личину последователя стоической школы; искушенный в притворстве, он внешностью и речами изображал добродетель, но в душе был хитер, коварен, жаден и похотлив. Деньги вызвали все это наружу, и на своем примере он воочию показал, что нужно остерегаться не только погрязших в обмане и запятнавших себя дурными поступками, но и тех, кто под покровом добропорядочности лжив и вероломен в дружбе.

33. Тот же день принес, однако, и возвышенный образец честности, явленный Кассием Асклепиодотом, выдававшимся

среди вифинцев несметным богатством; почитая Сорана, когда тот был на вершине могущества, он не покинул его и в беде, за что и был лишен достояния и отправлен в ссылку, показав своею судьбой, сколь безразличны боги к добру и злу. Тразее, Сорану и Сервилии предоставляется избрать для себя смерть по своему усмотрению; Гельвидий и Паконий изгоняются из Италии; Монтан, во внимание к просьбе отца[21], был прощен, впрочем с оговоркою, воспрещавшей ему отправление государственных должностей. Обвинителям Эприю и Коссуциану было пожаловано по пяти миллионов сестерциев, Осторию — миллион двести тысяч и квесторские знаки отличия.

34. Между тем к Тразее, который оставался у себя в садах, уже под вечер был послан консульский квестор. Тразея в тот день созвал к себе многих знатных мужчин и женщин и главное внимание уделял учителю кинической философии Деметрию, с которым, как можно было предполагать по выражению лиц и доносившимся до слуха словам, когда они начинали говорить громче, обсуждал вопрос о природе души и о раздельном существовании духовного и телесного, пока не прибыл один из его ближайших друзей Домиций Цецилиан, сообщивший о принятом сенатом решении. Узнав о нем, все разразились слезами и сетованьями, и Тразея стал убеждать их покинуть его возможно скорее, дабы не навлечь на себя опасности подвергнуться участи осужденного; обратился он с увещанием и к Аррии, высказавшей желание умереть вместе с мужем, последовав в этом примеру своей матери Аррии[22], и уговаривал ее не расставаться с жизнью и не лишать единственной опоры их общую дочь.

35. Затем он направился к портику, где, скорее обрадованного вестью о том, что его зять Гельвидий только изгоняется за пределы Италии, чем погруженного в скорбь, его и находит квестор. Получив от него сенатское предписание, Тразея уводит в спальный покой Гельвидия и Деметрия; там он протягивает обе руки, чтобы ему надрезали вены, и, когда из них хлынула кровь, окропив ею пол и подозвав к себе квестора, говорит: «Мы совершаем возлияние Юпитеру Освободителю; смотри и запомни, юноша. Да сохранят тебя от этого боги, но ты родился в такую пору, когда полезно закалять дух примерами стойкости». Но смерть медлила, и он, испытывая тяжелые страдания, обратив к Деметрию...[23]

МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЮЛИЯ АГРИКОЛЫ

1. Сообщать потомству о деяниях и нравах знаменитых мужей повелось исстари, и даже в наши дни столь равнодушное к своим современникам поколение не пренебрегало этим обычаем, лишь только чья-нибудь высокая и благородная добродетель осиливала и превозмогала общие как для малых, так и больших сообществ пороки — неведение справедливости и взаимную неприязнь. Но поскольку нашим предкам ничто не препятствовало совершать достопамятные дела и у них были бóльшие, чем у нас, возможности к этому, всякий, наделенный выдающимся дарованием, побуждался к увековечению в памяти образцов добродетели не личным пристрастием или стремлением к выгоде, а только тою наградой, которая даруется чистою совестью. И многие сочли, что собственноличный рассказ о прожитой ими жизни скорее свидетельствует об их уверенности в своей нравственной правоте, чем об их самомнении; так, например, поступили Рутилий и Скавр[1], и это не навлекло на них ни недоверия, ни порицания: и выходит, что добродетели превыше всего почитаются именно в те времена, когда они легче всего возникают. А ныне, вознамерясь поведать о жизни покойного мужа, я вынужден просить снисхождения, которого не искал бы, собираясь выступить против него с обвинениями: вот до чего свирепо и враждебно добродетелям наше время.

2. Мы прочитали[2] о том, что восхвалявшие Тразею Пета — Арулен Рустик, Гельвидия Приска — Гереннии Сенецион были осуждены за это на смерть и что казни подверглись не только сами писатели, но и их книги, ибо триумвирам[3] вменили в обязанность сжечь в той части форума, где приводятся в исполнение приговоры, творения этих столь светлых умов. Отдавшие это распоряжение, разумеется, по-

лагали, что подобный костер заставит умолкнуть римский народ, пресечет вольнолюбивые речи в сенате, задушит самую совесть рода людского; сверх того, были изгнаны учителя философии[4] и наложен запрет на все прочие возвышенные науки, дабы впредь нигде более не встречалось ничего честного. Мы же явили поистине великий пример терпения; и если былые поколения видели, что́ представляет собою ничем не ограниченная свобода, то мы — такое же порабощение, ибо нескончаемые преследования отняли у нас возможность общаться, высказывать свои мысли и слушать других. И вместе с голосом мы бы утратили также самую память, если бы забывать было́ столько же в нашей власти, как безмолвствовать.

3. Только теперь наконец мы приходим в себя; и хотя Цезарь Нерва в самом начале нынешней благословенной поры совокупил вместе вещи, дотоле несовместимые, — принципат и свободу, а Траян Нерва что ни день приумножает счастье нашего времени, и установление общественного правопорядка[5] — уже не только предмет всеобщих надежд и желаний, а то, в осуществлении чего мы твердо уверены, однако в силу природы человеческого несовершенства целебные средства действуют на нас медленнее недугов и, как наши тела растут постепенно и мало-помалу, а разрушаются сразу, точно так же легче угасить дарования и душевный пламень, чем их разжечь заново: ведь нас покоряет сладость безделья, и прежде ненавистную праздность мы в конце концов начинаем любить. Да и о чем толковать, если в течение целых пятнадцати лет[6], срока очень значительного для бренного века людского, многих сразили роковые удары судьбы, а всякого, наиболее деятельного и ревностного, — свирепость принцепса? Лишь в малом числе пережили мы их и, я бы сказал, даже самих себя, изъятые из жизни на протяжении стольких, и притом лучших, лет, в течение которых, молодые и цветущие, мы приблизились в полном молчании к старости, а старики — почти к крайним пределам преклонного возраста. И все же я не пожалею труда для написания сочинения, в котором — пусть неискусным и необработанным языком — расскажу о былом нашем рабстве и о нынешнем благоденствии[7]. А тем временем эта книга, задуманная как воздаяние должного памяти моего тестя Агриколы, будет принята с одобрени-

ем или во всяком случае снисходительно; ведь она — дань сыновней любви.

4. Гней Юлий Агрикола родился в древней и знаменитой колонии Форум Юлия; оба деда его были прокураторами Цезарей, и это говорит об их всадническом достоинстве[8]. Отец его, Юлий Грецин, принадлежал к сенаторскому сословию; он приобрел известность как красноречивый оратор и как философ и этими дарованиями навлек на себя гнев Гая Цезаря[9], ибо, получив приказание выступить с обвинительной речью против Марка Силана, отказался от этого поручения, за что и был предан смерти. Мать Агриколы, Юлия Процилла, была женщиной редкой нравственной чистоты. Воспитанный ею в нежной заботе и ласке, Агрикола провел детство и юность в изучении всех благородных наук. Помимо прирожденного целомудрия и благонравия, его уберегло от соблазнов дурного общества также и то, что уже с малых лет его местопребыванием и наставницею в науках стала Массилия, город, в котором переплетаются и уживаются в добром согласии греческая обходительность и провинциальная бережливость. Помню, как он неоднократно рассказывал, что в ранней молодости предался бы изучению философии с непозволительным для римлянина и будущего сенатора жаром, если бы благоразумие матери не охладило пыл его горячей души. Его возвышенный и порывистый ум и в самом деле домогался с неосмотрительной и безрассудною страстностью великолепия и блеска огромной и всезатмевающей славы. Но размышления и годы в дальнейшем его образумили, и он, что труднее всего, удержался в пределах мудрой умеренности.

5. Свое военное поприще он начал в Британии и произвел настолько хорошее впечатление на Светония Паулина, полководца деятельного и осторожного, что тот отметил его и приблизил к себе. И Агрикола, вопреки обыкновению знатных юношей, превращающих военную службу[10] в непрерывный разгул, не распустился и не проводил времени в праздности, используя свое трибунское звание, чтобы предаваться утехам, и уклоняясь от дела под предлогом неопытности; напротив, он старался как можно лучше узнать провинцию, добиться, чтобы его знали в войсках, учиться у сведущих, следовать во всем самым лучшим; ни на что он не напрашивался из похвальбы, ни от чего не отказывался из страха и любое

поручение выполнял осмотрительно и вместе с тем не щадя себя. В те дни Британия была охвачена смутою и положение в ней было тревожным как никогда: ветераны перебиты, колонии сожжены, воинские части разгромлены[11]; тогда наши сражались, чтобы спастись от гибели, несколько позднее — ради победы. И хотя все делалось в соответствии с решениями и под начальством другого и слава за удачный поход и возвращение этой провинции досталась военачальнику, все же юный Агрикола вынес из этих событий знания, опыт и честолюбивое стремление выдвинуться, и его обуяло желание покрыть себя боевой славою, весьма неблагодарною в те времена, ибо все выдающиеся люди подозревались в самых злостных намерениях и благожелательная молва в городе была чревата не меньшей опасностью, чем дурная[12].

6. Возвратившись из Британии в Рим для соискания государственных должностей, Агрикола женился на Домиции Децидиане, происходившей из славного рода, и этот брак доставил ему, жаждавшему возвыситься, как почет, так и влиятельную поддержку. Супруги жили в поразительном единодушии и взаимной любви, соревнуясь в старании угодить друг другу, если только заслуга в этом не принадлежит главным образом хорошей жене, как вина за раздоры ложится прежде всего на плохую. Жребий предназначил Агриколе квестуру в провинции Азии, дав ему проконсулом Сальвия Тициана, но ни то, ни другое не поколебало его безупречной честности, хотя и провинция была богатою и как бы созданной для стяжательства лихоимцев, и проконсул, отличаясь неимоверною алчностью, обнаруживал явную готовность покрывать на основе взаимности любые злоупотребления. Там же в Азии Агрикола был осчастливлен рождением дочери[13], ставшей для него одновременно и опорою, и утешением, ибо вскоре он потерял родившегося ранее сына. В дальнейшем время, протекшее между квестурой и днем, когда он стал народным трибуном, а также год своего трибуната он прожил в покое и в стороне от общественных дел, ибо хорошо понимал, что в обстоятельствах, сложившихся при Нероне, благоразумнее всего ни во что не вмешиваться. Так же вел он себя и так же молчал и в бытность претором; ведь на его долю не выпало отправления правосудия. Проводя игры и исполняя прочие связанные с его должностью суетные обязанности, он соблюдал середину между

расчетливостью и расточительностью и чем дальше держался от роскоши, тем большее одобрение находил в народе[14]. Вслед за тем он был избран Гальбою для выяснения, как обстоят дела с хранившимися в храмах дарами, и, проведя тщательнейшее обследование, добился, что государство не претерпело ущерба от каких-либо иных святотатств, кроме Нероновых[15].

7. На следующий год Агриколу и его семью поразил тяжелый удар, повергший его в глубокую скорбь. Моряки из флота Отона[16], бесчинствовавшие, слоняясь по побережью, и опустошавшие Интимилий (это — область в Лигурии), как если бы то была вражеская страна, убили в ее поместье мать Агриколы, а самое поместье разграбили, похитив значительную часть доставшихся ей по наследству ценностей, из-за которых она и погибла. Отправившись туда, чтобы воздать ей последний сыновний долг, Агрикола был застигнут в пути известием о выдвинутых Веспасианом притязаниях на верховную власть и, не колеблясь, присоединился к его сторонникам. В начале принципата управление государством и поддержание спокойствия в городе Риме осуществлял Муциан, так как Домициан был еще слишком молод[17] и возвышение отца использовал лишь для того, чтобы беспрепятственно предаться распутству. Муциан поручил Агриколе произвести набор войска и, после того как тот честно и успешно выполнил это, поставил его во главе двадцатого легиона[18], медлившего принести присягу на верность Веспасиану, поскольку, как говорили, его прежний начальник склонял воинов к мятежу; справиться с этим легионом оказалось непосильной задачей для опасавшихся его легатов в консульском ранге; не смог укротить его и легат в ранге претора, по своей вине или из-за упорства воинов — неизвестно. Назначенный преемником этих военачальников и получив предписание наказать непокорных, Агрикола, проявив исключительную умеренность, предпочел сделать вид, будто нашел воинов готовыми к повиновению, а не принудил их стать таковыми.

8. Тогда в Британии начальствовал Веттий Болан, правивший с излишней для столь беспокойной провинции мягкостью. Привыкший к повиновению и умевший сочетать полезное с честным, Агрикола умерил свой пыл и ослабил рвение. Вскоре Британия получила наместником Петилия Цериала. Теперь для способностей Агриколы открылся широкий

простор, но сначала Цериал делил с ним только тяготы и опасности, а затем стал делиться и славою: нередко, чтобы проверить его на деле, он отдавал ему под начало часть войска, порою, удостоверившись в успешности его действий, — и бóльшие силы. Но Агрикола никогда не распространялся о своих успехах и не домогался известности; напротив, удачу он приписывал полководцу, замыслы которого, как подчиненный, приводил в исполнение. Таким образом, образцовое повиновение и скромность в речах ограждали его от зависти, но не от соучастия в славе.

9. Сдав легион преемнику, Агрикола возвратился в Рим, и Веспасиан причислил его к патрициям; вслед за тем он назначил его правителем провинции Аквитании; это была блестящая должность и по своему значению, и потому, что она открывала прямой доступ к консульству, к которому Веспасиан и предназначил Агриколу. Считают, что большинство военных людей не способно разбираться в тонкостях судопроизводства, так как чинимое в лагерях правосудие отличается простотой и решительностью и многое рубит с плеча, обходясь без дотошности и хитроумия форума. Но Агрикола благодаря природному здравомыслию, сколько бы гражданских лиц ни представало пред ним, легко улавливал сущность их тяжб и выносил справедливые приговоры. Время, отводимое на отправление служебных обязанностей, он строго отграничивал от часов досуга: где надлежало — а именно: в провинциальных собраниях и в суде, — он был важен, внимателен, строг и чаще милостив, но, отдав должное службе, сбрасывал с себя обличие власти и прогонял прочь непреклонность, надменность и замкнутость, и, что встречается исключительно редко, ни его доступность не умаляла внушаемого им уважения, ни суровость — любви к нему. Подчеркивать в столь выдающемся муже неподкупность и бескорыстие было бы несправедливостью по отношению к остальным его добродетелям. И даже доброй молвы о себе, ради которой многие вполне честные люди не останавливаются перед заискиванием и лестью, он достиг, не выставляя напоказ своих добродетелей и не прибегая к проискам и уловкам. Далекий от соперничества с равными по положению, далекий от борьбы с прокураторами, он считал недостойным и грязным как подминать под себя слабейших, так и пресмыкаться пред силь-

ными. Менее трех лет задержавшись на этой должности, он был отозван для незамедлительного предоставления ему консульства, причем повсюду толковали о том, что ему будет вручена власть над Британией, и не потому, что сам он обмолвился об этом хоть словом, но так как все находили, что он как бы создан для этого. Не всегда молва заблуждается, порой и она делает правильный выбор. Став консулом, Агрикола просватал за меня, еще совсем юного, дочь, в которой уже тогда можно было провидеть прекрасные качества и которую он отдал мне в жены, завершив свое консульство[19]. Сразу после нашего обручения он был назначен правителем Британии и, кроме того, верховным жрецом.

10. О местоположении Британии и об обитающих в ней народах сообщалось уже у многих писателей; остановлюсь на этом и я, но не с тем, чтобы состязаться с ними в учености и дарованиях, а потому, что только тогда было завершено ее покорение. Итак, располагая более точными данными, я поведу речь о том же, о чем с таким блеском и красноречием писали мои менее осведомленные предшественники. Британия — наибольший из известных римлянам островов, с востока по своему положению и по разделяющему их расстоянию ближе всего к Германии, с запада — к Испании[20], с юга — к Галлии, откуда она даже видна; у северного ее побережья, против которого нет никакой земли, плещется беспредельное открытое море. Исходя из общих ее очертаний, красноречивейшие писатели, среди древних — Ливий, среди новейших — Фабий Рустик[21], сравнили Британию с продолговатым блюдом и обоюдоострой секирой. Таков, действительно, ее облик вплоть до границ Каледонии, из-за чего утвердилась эта молва. Но для проплывших огромное расстояние вдоль ее изрезанных берегов, образующих длинный выступ, которым кончается суша, Британия как бы суживается клином. Впервые обогнув эту омываемую последним морем оконечность земли, римский флот доказал, что Британия — остров; тогда же им были открыты и покорены дотоле неизвестные острова, прозывающиеся Оркадскими[22]. Уже виднелась и Фула, но было приказано дойти только до этого места, и к тому же приближалась зима. Утверждают, что море там неподвижное и очень плотное, вследствие чего трудно грести; да и ветры не поднимают на нем волнения, полагаю,

из-за того, что равнины и горы, в которых причина и происхождение бурь, здесь очень редки; к тому же и громада глубокого и безграничного моря медленно и с трудом раскачивается и приходит в движение. Задерживаться на рассмотрении природных свойств Океана и приливов и отливов на нем не входит в задачу настоящего сочинения; да и многие уже писали об этом[23]; я бы только добавил одно: нигде море не властвует так безраздельно, как здесь; оно заставляет множество рек течь то в одну, то в другую сторону; оно не только вспухает и опадает у побережья, но также вливается и прокрадывается в глубь суши и проникает даже к подножиям горных кряжей и гор, как если б то были его владения.

11. Кто населял Британию в древнейшие времена, исконные ли ее уроженцы или прибывшие сюда чужестранцы, как обычно у варваров, никому не известно. Внешность же у британцев самая разнообразная, и отсюда обилие всевозможных догадок. Русые волосы и высокий рост обитателей Каледонии говорят об их германском происхождении; смуглые лица силуров, их чаще всего курчавые волосы и места поселения против Испании дают основание предполагать, что они — потомки некогда переправившихся оттуда и осевших на этих землях иберов[24]; живущие в ближайшем соседстве с Галлией похожи на галлов, то ли потому, что все еще сказывается общность происхождения или одинаковый климат в этих расположенных друг против друга странах придал их обитателям те же черты. Взвесив все это, можно считать вероятным, что в целом именно галлы заняли и заселили ближайший к ним остров. Из-за приверженности к тем же религиозным верованиям здесь можно увидать такие же священнодействия, как у галлов; да и языки тех и других мало чем отличаются; больше того, британцы так же отважно рвутся навстречу опасностям и, столкнувшись с ними, столь же малодушно норовят от них уклониться. Правда, в британцах больше упорства и дикости, ибо их еще не укротил длительный мир. Но мы знаем, что и галлы так же славились доблестью, но, с той поры как у них установилось спокойствие и вместе со свободою ими было утрачено мужество[25], угасла и их воинственность. То же произошло и с теми британцами, которых мы уже давно покорили, тогда как все прочие и ныне остаются такими, какими были когда-то галлы.

12. Их главная сила — в пеших; впрочем, некоторые народности сражаются и с колесниц[26]. Начальствует возничий; подчиненные ему воины оберегают его от врагов. Прежде британцы повиновались царям; теперь они в подчинении у вождей, которые, преследуя личные цели, вовлекают их в междоусобные распри. И в борьбе против таких сильных народов для нас нет ничего столь же полезного, как их разобщенность. Редко, когда два-три племени объединятся для отражения общей опасности; таким образом, каждое из них сражается в одиночку, а терпят поражение — все. Климат в Британии отвратительный из-за частых дождей и туманов, но жестокой стужи там не бывает. Продолжительность дня больше, чем в наших краях; ночи светлые и в оконечной части — короткие, так что вечерняя и утренняя заря отделяются лишь небольшим промежутком времени. И если небо не заволокли тучи, то и ночью можно видеть, как утверждают, сияние солнца, и оно там не заходит и не восходит, но перемещается по небосклону. Пространства на краю круга земного[27], без сомнения, плоские и поэтому отбрасывают ничтожно малую тень, которая не обволакивает тьмою, из-за чего и ночь не достигает неба и звезд. Кроме оливы, виноградной лозы и других растений теплых краев, почва пригодна для прочих плодов земных и хорошо их родит; они медленно созревают, но стремительно идут в рост; причина того и другого — обилие влаги в земле и с неба. Доставляет Британия также золото, серебро и другие металлы — дань победителям. Да и Океан порождает жемчужины, правда тусклые и с синеватым отливом. Иные находят, что виной этому — неумелость тех, кто их добывает; ведь в Красном море раковины отдираются от подводных скал еще живыми и дышащими, а тут подбирают лишь выброшенные прибоем; я же склонен считать, что скорее здешним жемчужинам недостает их природных качеств, чем нам — корысти.

13. Теперь о самих британцах. Они не уклоняются от наборов в войско, столь же исправны в уплате податей и несении других налагаемых Римским государством повинностей, но только пока не чинятся несправедливости; их они не могут стерпеть, уже укрощенные настолько, чтобы повиноваться, но еще недостаточно, чтобы проникнуться рабскою покорностью. Итак, первым римлянином, вступившим с войс-

ком на землю Британии, был божественный Юлий[28], и хотя, выиграв сражение, он устрашил ее обитателей и захватил побережье, все же в нем следует видеть не столько завоевателя этой страны, сколько того, кто указал на нее потомкам. Затем последовали гражданские войны, когда вожди партий подняли оружие на республику, и о Британии, даже после установления мира, надолго забыли: божественный Август называл это государственной мудростью[29], Тиберий — наказом Августа. Хорошо известно, что о вторжении в Британию помышлял Гай Цезарь, и такая попытка была бы предпринята, если бы не его легко воспламеняющаяся и так же быстро остывающая душа и оказавшиеся бесплодными огромные приготовления против Германии[30]. Божественный Клавдий задумал и осуществил повторное завоевание этого острова[31]: он переправил туда легионы и вспомогательные войска и привлек к участию в походе Веспасиана[32], что положило начало будущему его возвышению: были покорены народы, пленены цари и всесильным роком впервые замечен Веспасиан.

14. Первым правителем Британии был назначен бывший консул Авл Плавтий; непосредственно за ним ту же должность занял Осторий Скапула[33], оба — выдающиеся военачальники; ближайшая к нам часть Британии, претерпев преобразования в управлении, в конце концов стала римской провинцией, и в ней была основана колония ветеранов[34]. Некоторые племена были отданы в подчинение царю Когидумну (еще на нашей памяти он хранил безупречную верность по отношению к нам) в силу древнего и давно усвоенного римским народом обыкновения — иметь и царей орудиями порабощения[35]. В дальнейшем Дидий Галл удержал завоеванное предшественниками и продвинул вперед весьма небольшое число укреплений, рассчитывая снискать себе похвалу за выполнение большего, чем требовалось его обязанностями[36]. Преемником Дидия стал умерший в том же году Вераний[37]. Далее здесь в течение двух лет сряду успешно действовал Светоний Паулин, покоривший несколько племен и усиливший укрепления; понадеявшись на них и напав на остров Мону, откуда оказывалась помощь еще неукрощенным народам, он тем самым создал в своем тылу благоприятную обстановку для мятежа[38].

15. Осмелев в связи с отлучкой легата, британцы принимаются толковать между собою о тяготах рабства, обмениваться сообщениями о творимых римлянами насилиях и своими рассказами и пояснениями разжигать друг в друге негодование: от терпения ни малейшей пользы, больше того, не встречая отпора, римляне возлагают на них бремя, еще невыносимее прежнего. Раньше каждый имел над собой одного властителя, теперь над ним ставят двоих; легат свирепствует, проливая их кровь, прокуратор — грабя их достояние. Для подчиненных одинаково пагубны как раздоры между начальниками, так и единодушие их; прислужники одного — центурионы, другого — рабы только и знают, что чинить насилия и надругательства. И уже ничто не ограждает от их жадности и любострастия. В бою снимает доспехи с поверженного более доблестный, а ныне чаще всего трусливые и малодушные изгоняют их из домов, отнимают у них детей, принуждают служить по набору в войске у римлян, как будто единственное, за что они не умеют отдать свою жизнь, — их родина. Не покажутся ли ничтожною горсткой переправленные к ним римские воины, если британцы сопоставят их с собственной численностью? Ведь Германия сбросила с себя римское иго, хотя ее ограждает не Океан, а река[39]. Британцы ведут эту войну, защищая родину, жен и близких, римляне — побуждаемые алчностью и распутством. И как удалился божественный Юлий, так удалятся и остальные, лишь бы британцы отважились на состязание в доблести со своими предками. И пусть их не пугает неудачный исход одной, другой битвы: у одержавших успех больше воодушевления, у терпящих бедствия — больше упорства. Да и боги уже пожалели британцев: ведь это они услали прочь римского полководца, и они же удерживают его войско на другом острове, как если бы оно было отправлено туда в ссылку; а британцы между тем — что было труднее всего — начали размышлять; наконец, быть застигнутым на сходке такого рода еще опаснее, чем дерзнуть[40].

16. Распаляя друг друга такими и подобными речами, они под предводительством женщины царского рода Боудикки (ведь применительно к верховной власти над войском они не делают различия между полами) все как один поднялись против нас[41]. Истребив рассеянных по заставам воинов и захва-

тив приступом крепости, они ворвались в колонию, видя в ней оплот поработившего их владычества римлян, и, упиваясь яростью и своим торжеством, расправились с побежденными, не упустив ни одной из жестокостей, какие только в ходу у варваров. И если б Паулин, узнав о восстании в провинции, не поспешил к ней на помощь, Британия была бы нами потеряна. Одной удачною битвой он принудил ее к прежней покорности, хотя очень многие не сложили оружия, — отчасти так как сознавали тяжесть своей вины, а больше из страха перед легатом, который, несмотря на врожденное великодушие, мог, как они полагали, отнестись к сдавшимся с высокомерной суровостью и подвергнуть их беспощадной каре, отмщая за нанесенные как бы лично ему оскорбления. И вот в Британию был прислан Петроний Турпиллиан, так как считалось, что, менее непреклонный и непосредственно не задетый преступлениями врагов, он проявит больше снисходительности к раскаявшимся. Восстановив былое спокойствие и ни на что помимо этого не отважившись, Турпиллиан передал власть над провинцией[42] Требеллию Максиму. Тот, еще менее деятельный и в военном деле совершенно несведущий, удерживал провинцию благодаря своеобразному добродушию, с каким управлял ею. Варвары стали уже свыкаться с его столь приятными для них недостатками, да и возобновившиеся гражданские распри доставляли законное оправдание для его бездеятельности[43]. Но положение осложнилось смутой в самом римском войске, так как длительная праздность развратила привыкших к походам воинов. Требеллий, бежав и надежно укрывшись, спасся от гнева возбужденного войска и в дальнейшем, после того как между ними было заключено своего рода молчаливое соглашение, по которому войску предоставлялось безнаказанно своевольничать, а полководцу обеспечивалась личная безопасность, обесславленный и униженный сохранял лишь видимость власти; что касается мятежа, то он заглох сам собою без пролития крови. В последующем и Веттий Болан из-за все еще не утихших гражданских войн не докучал Британии строгостью: такая же бездеятельность по отношению к неприятелю, такая же разнузданность в лагерях и единственное отличие, пожалуй, лишь в том, что безупречно честный, не повинный ни в малейших злоупотреблениях и поэтому не возбудивший

личной ненависти Болан все же снискал любовь, хотя и не внушил к себе должного уважения.

17. Но когда вместе с остальным миром Веспасиан получил в свою власть и Британию, все в ней стало иным: блестящие полководцы, превосходное войско, померкшие надежды врагов. И сразу же они были повергнуты в страх Петилием Цериалом, напавшим на племя бригантов, считавшееся самым многолюдным в провинции[44]. Произошло много битв, и среди них несколько кровопролитных; побеждая бригантов и преследуя их или сражаясь с ними, он прошел значительную часть их владений. И Цериал затмил бы своим усердием и своей доброю славой любого преемника, если бы его не сменил и не справился с выпавшей на его долю тяжелой задачей муж исключительно выдающихся качеств — Юлий Фронтин, который подчинил силой оружия могучую и воинственную народность силуров и, помимо стойкости неприятеля, преодолел также труднопроходимую местность.

18. Переправившись в Британию уже по прошествии половины лета[45], Агрикола застал там протекавшие с переменным успехом военные действия и такое положение дел: наши воины, сочтя, что летний поход, очевидно, не состоится, впали в беспечность, а враги выжидали удобного случая для нападения. Незадолго до прибытия Агриколы племя ордовиков почти полностью истребило размещенный в его пределах отряд вспомогательной конницы, и это событие положило начало охватившему всю провинцию возбуждению. Хотевшие поднять ее против нас одобряли показанный ордовиками пример и присматривались к вновь назначенному легату. И хотя лето уже миновало, и войсковые подразделения были разбросаны по провинции, и воины утвердились в мысли, что в этом году им дадут отдохнуть, — короче говоря, хотя все препятствовало и противодействовало собиравшемуся начать поход полководцу и к тому же большинству представлялось более правильным неусыпно следить за подозрительным оживлением во внутренних областях провинции, — Агрикола все же решил пойти навстречу опасности. Итак, он стянул подразделения легионов, добавив к ним относительно небольшой отряд вспомогательных войск, и, поскольку ордовики не осмеливались спуститься вниз на равнину, двинулся в горы, идя впереди боевого порядка, дабы, разделяя

вместе со всеми одинаковую опасность, вселить решимость и в остальных. Уничтожив почти целиком племя ордовиков и хорошо зная, что славу нельзя упускать, ибо успешное начало внушает страх и другим врагам, он вознамерился захватить остров Мону, овладеть которым помешало Паулину, как я упоминал выше, восстание всей Британии. Но, как всегда при принятии внезапных решений, возникли непредвиденные помехи; оказалось, что отсутствуют корабли; тем не менее находчивость и упорство военачальника переправили войско. Освободив от поклажи отборных воинов вспомогательного отряда, которым были известны отмели и которые с малолетства усвоили завещанное от предков умение плавать, и притом так, что, заботясь о себе, они одновременно управляются с оружием и конями, он настолько неожиданно бросил их на врагов, что те, ошеломленные и опешившие, опасавшиеся только флота, кораблей и нападения со стороны открытого моря, решили, что для идущих подобным образом в бой не существует ничего непосильного и неисполнимого. Запросив мира, они сразу же сдали остров, и Агриколу стали повсюду возвеличивать и прославлять, ибо, едва высадившись в провинции, он не побоялся трудов и опасностей, тогда как другие стараются употребить это время, чтобы показать себя во всем блеске и для снискания расположения. Не воспользовался своею удачей Агрикола и для тщеславной похвальбы и свой победоносный поход называл не иначе как обузданием побежденных; да и о достигнутых им успехах оповестил он не в увенчанном лаврами донесении[46]; но скромность, с какою он говорил о своих славных деяниях, только приумножила его славу, ибо все задавались вопросом, сколь великими должны быть вынашиваемые им замыслы, если даже о столь блистательных подвигах он предпочел умолчать.

19. Внимательно следя за настроениями в провинции и познав к тому же на чужом опыте, как мало пользы в оружии, если за его применением следуют беззакония, он решил искоренить самые причины восстаний. Начав с себя и своих приближенных, он обуздал и свою домашнюю челядь, что для многих не менее трудно, чем править провинцией. Никогда не препоручал он государственных дел своим вольноотпущенникам или рабам и, назначая на государственные долж-

ности центуриона или рядовых воинов, никогда не руководствовался ни личными склонностями, ни благоприятными отзывами и просьбами со стороны, но всякого отлично несущего службу считал заслуживающим безоговорочного доверия. Знал он обо всем, но не за все взыскивал. Прощая небольшие проступки, он строго карал за существенные, да и то не всегда налагал на виновного наказание, а чаще довольствовался его раскаяньем. Обязанности и поручения разного рода он охотнее возлагал на тех, в чьей честности был убежден, чем на неизвестных ему, которых впоследствии, быть может, пришлось бы осудить за бесчестность. Бремя хлебных поставок и податей он облегчил справедливым распределением этих повинностей и отменою придуманных ради личной наживы порядков, вызывавших в британцах еще большее недовольство, чем подати. Ведь их издевательски заставляли подолгу дожидаться у запертых государственных складов и даже покупать хлеб не иначе, как вручив взятку[47]; им указывали для сдачи хлеба отдаленные округа, куда можно было попасть лишь кружными путями, так что общины должны были доставлять его в глухие и бездорожные местности, тогда как римские зимние лагеря находились поблизости, и лишь насытив алчность немногих, они добивались того, что было удобно для всех.

20. Устранив эти злоупотребления уже в первом году своего легатства, Агрикола наглядно показал бесценные преимущества мира, которого из-за нерадивости или заносчивости его предшественников британцы боялись не менее, чем войны. Но с наступлением лета он собрал войско и повел его на врага; неутомимый и вездесущий в походе, он ободрял и хвалил исполнительных, подтягивал разбредавшихся и отстававших, сам выбирал места для разбивки лагеря, сам обследовал леса и затопляемые приливом низины и вместе с тем не давал врагам роздыха, внезапными набегами разоряя их земли. Но, вселив в них подобающий страх, он милостивым обращением с ними показал им и привлекательность мира. Благодаря этому многие общины, ранее с ожесточением отстаивавшие свою независимость, прекратили сопротивление и, выдав заложников, изъявили покорность, после чего были окружены нашими заставами и укреплениями, размещенными с такою предусмотрительностью и тщательностью, что ни

одна из прежде завоеванных нами частей Британии не приняла нашего господства столь же легко, как эта.

21. Следующая зима была отдана Агриколой проведению полезнейших мероприятий. Рассчитывая при помощи развлечений приучить к спокойному и мирному существованию людей, живущих уединенно и в дикости и по этой причине с готовностью берущихся за оружие, он частным образом и вместе с тем оказывая поддержку из государственных средств, превознося похвалами усердных и порицая мешкотных, настойчиво побуждал британцев к сооружению храмов, форумов и домов, и соревнование в стремлении отличиться заменило собой принуждение. Больше того, юношей из знатных семейств он стал обучать свободным наукам, причем природную одаренность британцев ценил больше рвения галлов, и те, кому латинский язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение латинского красноречия. За этим последовало и желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу. Так мало-помалу наши пороки соблазнили британцев, и они пристрастились к портикам, термам и изысканным пиршествам. И то, что было ступенью к дальнейшему порабощению, именовалось ими, неискушенными и простодушными, образованностью и просвещенностью.

22. На третий год своего легатства Агрикола совершил поход, познакомивший нас с дотоле неизвестными племенами, ибо он разорил народы, обитавшие до Таная (название залива на морском побережье). Это настолько устрашило врагов, что они не дерзнули напасть на римское войско, хотя оно было изрядно ослаблено свирепыми бурями; осталось время и на то, чтобы построить опорные укрепления. Сведущие люди не раз отмечали, что никакой другой полководец не умел лучше Агриколы выбрать места для их возведения; и действительно, ни одно из построенных Агриколой укреплений не было взято врагами или покинуто из-за капитуляции и бегства размещенных в нем воинов; ибо, чтобы они могли выдержать длительную осаду, Агрикола оставлял им годичный запас продовольствия. Таким образом, воины спокойно и уверенно зимовали в своих укреплениях; больше того, они часто делали вылазки, хорошо понимая, что могут рассчитывать лишь на себя. Но враги против них были бессильны, и

это их приводило в отчаяние, так как они привыкли вознаграждать себя в большинстве случаев зимними успехами за летние неудачи; однако на этот раз их били и зимою, и летом. Агрикола не был завистлив и никогда не посягал на чужую славу; напротив, каждый центурион и префект имел в его лице беспристрастного свидетеля своих деяний. Некоторые передавали, что, выражая кому-нибудь свое порицание, Агрикола бывал чрезмерно горяч; действительно, насколько ласков он был с добросовестными, настолько же резок с бесчестными. Впрочем, он был незлопамятен и весь свой гнев изливал сразу, ничего не утаивая, так что его молчания не нужно было бояться: он считал более порядочным высказать все, что думал, чем копить в себе ненависть.

23. Четвертое лето было отдано им обеспечению за нами столь стремительно занятых областей; и если бы доблесть нашего войска и слава римского имени позволили это, то в самой Британии война была бы завершена, поскольку мы вышли к ее границе; ибо Клота и Бодотрия, гонимые навстречу друг другу напором простирающегося за ними моря, на такую глубину вторгаются в сушу, что между ними остается лишь узкий перешеек; на нем тогда строились римские укрепления[48] и одновременно очищался от неприятеля весь вновь захваченный нами выступ от старой границы наших владений; и враги были отброшены как бы на другой остров.

24. На пятый год походов Агрикола, переправившись на головном из своих кораблей к неизвестным дотоле народам, покорил их многочисленными удачными битвами, после чего в обращенной к Гибернии части Британии разместил войско, не столько опасаясь нападения из-за моря, сколько помышляя о будущем, ибо Гибернию, расположенную между Британией и Испанией[49] и легко доступную также со стороны Галльского моря, можно было связать ко взаимной выгоде более тесными узами с этими важнейшими частями империи. Площадь Гибернии, если сопоставить ее с Британией, меньше, но превосходит величиною острова нашего моря[50]. Почва, погода, нрав и образ жизни ее обитателей мало чем отличаются от знакомых нам по Британии; подходы к Гибернии и ее порты известны благодаря торговле и купцам. Агрикола приютил у себя одного из правивших ее народом царьков, который был изгнан на чужбину внут-

ренним переворотом, и под предлогом дружеского участия на всякий случай держал его при себе. Я не раз слышал от самого Агриколы, что силами одного легиона с приданным ему относительно небольшим количеством вспомогательных войск можно овладеть Гибернией и закрепиться на ней; говорил он и о том, что, если бы римское оружие находилось также и там, то это было бы полезно и для Британии, ибо с ее глаз был бы удален, так сказать, соблазн независимости.

25. Тем летом, в которое начинался шестой год его пребывания в должности легата Британии, Агрикола задумал покорить живущие за Бодотрией племена; но так как возникли опасения, что все народы по ту сторону от наших владений могут объединиться для борьбы с нами и наше продвижение будет затруднено вражеским войском, он заранее разведал при помощи флота[51] порты на морском побережье. Впервые привлеченный Агриколой для совместного участия в боевых действиях, он двигался вслед за войском, и это было невиданным ранее зрелищем, ибо мы вели войну одновременно на суше и на море. И нередко собравшиеся в том же лагере пехотинцы, конные воины и моряки, деля съестными припасами и коротая досуг, в оживленной беседе похвалялись друг перед другом, как водится у военного люда, своими подвигами, расписывая выпавшие на их долю трудности, одни — чащи лесов и крутизну гор, другие — неистовство ветров и волн, иные — как они одолели препятствия, воздвигаемые самою землей, и врагов, иные — как справились с Океаном. Британцев же, о чем сообщали пленные, появление нашего флота повергло в уныние, ибо они хорошо понимали, что, если тайны их моря будут разгаданы, им в случае поражения больше податься некуда. Наконец населявшие Каледонию племена прониклись решимостью действовать и взялись за оружие; они повели обширные приготовления, как обычно, когда речь идет о недостаточно установленном, непомерно преувеличенные молвой, и больше того, дерзнули напасть на римское укрепление; поскольку вызов был брошен ими, они стали казаться еще страшнее. «Нужно вернуться на тот берег Бодотрии; лучше отступить, чем быть прогнанными врагом», — настаивали трусливые прикрываясь личиной благоразумия. Между тем Агрикола узнает, что каледонцы собираются накинуться на него еще бóльшими толпами. И чтобы не

быть окруженным превосходящим численностью противником, который к тому же был хорошо знаком с местностью, он разделил войско на три отряда и двинулся в путь.

26. Когда это стало известно врагу, он, внезапно изменив прежний замысел, глухой ночью напал всеми силами на расположение девятого легиона, так как тот был слабее других[52], и, перебив дозорных, среди смятения, охватившего наших еще полусонных воинов, ворвался в лагерь. И уже сражались между палатками, когда Агрикола, извещенный разведчиками о том, куда направился неприятель, поспешил по его следам; наиболее стремительным всадникам и пехотинцам он приказал налететь на него, теснящего наших, с тыла, всему остальному своему отряду — в подобающее для этого время разразиться громкими криками; и вскоре в первых лучах восходящего солнца повсюду засверкали римские боевые значки. Британцев между тем охватил страх перед грозившей им с обеих сторон опасностью, тогда как воины девятого легиона воспрянули духом и, уверенные в близком спасении, стали биться уже ради снискания славы. Больше того, они даже перешли в наступление, и в узком проходе ворот завязалась ожесточенная схватка, прекратившаяся лишь после того, как враги были выброшены из лагеря; оба наших отряда как бы соревновались в доблести: одни — чтобы не было сомнений, что они действительно оказали помощь, другие — что они в этой помощи не нуждались. И если бы болота и леса не укрыли бежавших, то этой победой война была бы завершена.

27. Сознавая это, гордое добытой им славой и охваченное по этой причине боевым пылом, войско на все лады толковало о том, что для его доблести не существует неодолимого и что нужно пройти насквозь Каледонию и отыскать наконец, хотя бы ценою непрерывных сражений, оконечность Британии. И кто только что был осмотрителен и исполнен благоразумия, тот сразу же после достигнутого успеха обрел решительность и стал хвастлив и самонадеян. Ведь во всякой войне неизменно действует следующий, в высшей степени несправедливый закон: удачу каждый приписывает себе, а вину за несчастья возлагают на одного. Да и британцы, считая, что их победила не доблесть, а роковое стечение обстоятельств и искусство военачальника, нисколько не поубавили прежней

заносчивости: они вооружили всех боеспособных мужчин, переправили в безопасные места жен и детей и на сходках, а также совместными закланьями жертв торжественно скрепили нерасторжимый союз племен. И противники разошлись, унося в себе непримиримую враждебность друг к другу.

28. Тем же летом когорта узипов, набранная в Германии и оттуда переправленная в Британию, отважилась на дерзновеннейшее и заслуживающее того, чтобы упомянуть о нем, преступление. Убив центуриона и воинов, распределенных по манипулам ради обучения новобранцев и в качестве образцов для подражания, и воспитателей, восставшие погрузились на три либурны[53] и принудили кормчих отправиться вместе с ними; один из них был убит, стоя у кормила, двое других — так как навлекли на себя какие-то подозрения, и узипы, проплывая вдоль побережья, пока еще не распространился слух об их бегстве, повсюду привлекали к себе всеобщее любопытство. Но в дальнейшем они стали сходить с кораблей за водою и чтобы добыть для себя продовольствие и вступать со многими отстаивавшими свое добро британцами в ожесточенные схватки, нередко выходя из них победителями, а иной раз и прогоняемые с пустыми руками, и постепенно дошли до такой нужды в жизненно необходимых припасах, что сперва начали поедать наиболее обессилевших из своих спутников, а затем тех, на кого падал жребий. Итак, обойдя всю Британию и потеряв корабли из-за неумения править ими, они в конце концов были приняты за морских разбойников и захвачены частью свебами, а затем и фризами. И среди них оказались такие, которых продали в рабство и которые, переходя от одного владельца к другому, попали на наш берег Рейна[54] и тут обрели известность своими рассказами о столь поразительных приключениях.

29. В начале следующего лета Агриколу постигло семейное горе: умер его годовалый сын. Это несчастье он перенес не с подчеркнутой стойкостью, как свойственно большинству доблестных мужей, и вместе с тем не разражаясь рыданиями и не предаваясь безутешному горю, как женщины, но находя в ведении войны отвлечение от своей скорби. Итак, выслав перед собой флот, с тем чтобы, производя опустошения и грабежи во многих местах, он держал врагов в неослабном страхе пред неизвестностью, Агрикола во главе рвущегося в

бой войска с добавленными к нему наиболее храбрыми и проверенными за время длительного мира британцами подошел к горе Гравпий, на которой засел неприятель. Ведь враждебные нам британцы, нисколько не сломленные исходом состоявшегося в предыдущем году сражения, предвидевшие, что их ожидает возмездие и, быть может, даже порабощение, и постигшие наконец, что общей опасности надлежит противопоставить единство, отправив ко всем племенам посольства и заключив соглашения с ними, призвали в помощь себе их силы. У них уже насчитывалось свыше тридцати тысяч вооруженных бойцов, и к ним все еще продолжала прибывать боеспособная молодежь, а также те, кто, несмотря на преклонные лета, сохранил юношескую свежесть и бодрость, заслуженные в войнах и украшенные своими боевыми отличиями; и вот один из многочисленных их вождей по имени Калгак, выделявшийся среди них своей доблестью и знатностью происхождения, обратился, как рассказывают, к собравшейся и требовавшей, чтобы ее вели в бой, толпе с такими словами.

30. «Всякий раз, как я размышляю о причинах этой войны и о претерпеваемых нами бедствиях, меня наполняет уверенность, что этот день и ваше единодушие положат начало освобождению всей Британии: ведь вы все как один собрались сюда, и вы не знаете оков рабства, и за нами нет больше земли, и даже море не укроет нас от врага, ибо на нем римский флот, и нам от него не уйти. Итак — только бой и оружие! Для доблестных в них почет, и даже для трусов — единственный путь к спасению. Предыдущие битвы с римлянами завершались по-разному, но, и понеся поражение, британцы хорошо знали, что мы сильны и не оставим их своею поддержкой, потому что мы — самый древний народ Британии и по этой причине пребываем в сокровеннейшем лоне ее и не видим тех ее берегов, где обитают рабы, и, не сталкиваясь с чужестранными поработителями, не осквернили даже глаз наших лицезрением их. Живя на краю мира и единственные, не утратившие свободы, мы вплоть до последнего времени были защищаемы отдаленностью нашей родины и заслоном молвы; но теперь крайний предел Британии стал доступен, а все неведомое кажется особенно драгоценным; за нами нет больше ни одного народа, ничего, кроме волн и скал и еще

более враждебных, чем они, римлян, надменность которых не смягчить ни покорностью, ни уступчивостью. Расхитителям всего мира, им уже мало земли: опустошив ее, они теперь рыщут по морю; если враг богат — они алчны; если беден — спесивы, и ни Восток, ни Запад их не насытят; они единственные, кто с одинаковой страстью жаждет помыкать и богатством, и нищетой; отнимать, резать, грабить на их лживом языке зовется господством; и создав пустыню, они говорят, что принесли мир.

31. Природа устроила так, что самое дорогое для каждого — его дети и родичи; но их у нас отнимают наборами в войско, чтобы превратить в рабов где-нибудь на чужбине, а нашим женам и сестрам и тогда, когда они избегли насилия, враги наносят бесчестие, присваивая себе имя наших друзей и гостей. А между тем имущество и богатства британцев изничтожаются податями, ежегодные урожаи — обязательными поставками хлеба, самые силы телесные — дорогами, которые они своими руками, осыпаемые побоями и поношениями, прокладывают сквозь леса и болота. Обреченных неволе раз и навсегда продают в рабство, и впредь об их пропитании заботится господин. А Британия что ни день платит за свое рабство и что ни день все больше закабаляет себя. И как раба, включенного в домашнюю челядь последним, сотоварищи-рабы встречают насмешками и издевательствами, так и мы, новички в этом мире закоренелого рабства, ничего в нем не стóим и подлежим уничтожению: ведь у нас нет ни тучных пажитей, ни рудников, ни гаваней, где бы мог быть приложен наш труд, и поэтому щадить нас незачем. Доблесть же и строптивость подвластных не по нутру властителям; да и сама отдаленность наша, равно как и таинственность, которой окутано наше существование, чем безопасней для нас, тем подозрительнее врагам. Итак, отбросьте надежду на их снисходительность и исполнитесь мужества, как те, для кого дороже всего спасение, так и те, для кого — слава. Бриганты под предводительством женщины сожгли колонию, захватили приступом укрепленный лагерь и, если бы упоение успехом не обернулось для них беспечностью, могли бы сбросить с себя ярмо рабства[55]; да и мы, не затронутые войной и не раздавленные врагом, взялись за оружие, чтобы отстоять нашу свободу, а не чтобы предстать перед ним с повинною;

так давайте покажем ему в первой же схватке, каких мужей приберегла для себя Каледония.

32. Или вы думаете, что на войне римляне столь же доблестны, как разнузданны в мирное время? Сильные нашими распрями и усобицами, они обращают пороки врага ко славе своего войска, набранного из самых различных народов; сплачиваемое удачами, оно распадется при первых же неудачах, если только вы не считаете, что галлов, германцев и (стыдно сказать!) многих британцев, — хотя, давнишние враги римлян, а рабы их недавние, они и служат чужому господству своею кровью, — удерживает в повиновении им преданность и любовь. Боязнь и устрашение — слабые скрепы любви: устранить их — и те, кто перестанет бояться, начнут ненавидеть. На нашей стороне все, что увлекает к победе: ведь у римлян нет с собой жен, чтобы воодушевлять их на бой, нет и родичей, готовых корить за бегство; у большинства нет и родины или она вне Италии. Малочисленных, трепещущих пред неизвестностью, недоверчиво взирающих на небо, на море, на леса, на все неведомое и незнакомое, боги предали их в ваши руки как бы загнанными в ловушку и скованными. Да не страшат вас ни их чванный вид, ни блеск золота и серебра, — ведь они не защищают и не разят. В самом вражеском войске мы найдем тех, кто на него же поднимет оружие. Британцы поймут, что мы отстаиваем их дело, галлы вспомнят свою былую свободу, покинут их и остальные германцы, как недавно оставили их узипы[56]. А сверх этого у них нет ничего, что могло бы нас испугать: опустевшие укрепления, населенные стариками колонии, хилые и слабые муниципии, охваченные раздорами между дурно повинующимися и неправедно правящими. Здесь пред нами их полководец, их войско; они несут нам подати, рудники и все прочие, уготованные порабощенным страдания, и на этом поле битвы для нас решится, претерпевать ли их вечно или разом от них избавиться. Посему, идя в бой, размышляйте о предках и о потомках ваших!»

33. На эту речь, принятую ими с воодушевлением, они ответили, по обыкновению варваров, воплями, пением и разноголосыми выкриками, и тотчас пришли в движение их отряды, и засверкало оружие, так как самые смелые бросились на врага; тем временем и наше войско строилось в бое-

вой порядок, и, хотя воины рвались в бой и их едва можно было удерживать внутри укреплений, Агрикола все же счел нужным еще сильнее разжечь их пыл и, обратившись к ним, сказал следующее: «Вот уже седьмой год, мои доблестные товарищи по оружию, как, выполняя повеление Римской империи, вы своею отвагою, при моих неустанных стараниях, завоевываете Британию. В стольких походах, в стольких сражениях требовались от вас и стойкость против врага, и терпение, и усилия в борьбе чуть ли не с самою природой, но ни я никогда не жаловался на моих воинов, ни вы — на своего полководца. Итак, перейдя рубежи, я — за которые не ступали мои предшественники-легаты, вы — действовавшие до вас войска, — мы удерживаем оконечность Британии, и это не похвальба и не голословное утверждение, расположившись в ней лагерем и посредством оружия; и теперь уже вся Британия нами пройдена и покорена. И сколько раз в рядах продвигавшегося вперед войска, когда вас мучили топи, горы и реки, мне приходилось слышать возгласы самых отважных: "Когда же наконец наткнемся мы на врагов, когда же сразимся с ними?" И вот, вытесненные из своих тайных убежищ, они идут нам навстречу: желания ваши сбылись, и вам есть где выказать свою доблесть; но если все склоняется пред победителями, то точно так же все ополчается на побежденных. И хотя прекрасно и достославно, преследуя неприятеля, осилить такой дальний путь, миновать благополучно леса, преодолеть столько водных преград, все эти столь блистательные успехи, если мы дрогнем и побежим, завтра же обернутся для нас величайшей опасностью; ведь и местность мы знаем не так, как враги, и съестные припасы у нас не в таком изобилии, как у них; единственное, чем мы располагаем, — наши руки и наше оружие, и рассчитывать мы должны только на них. Что до меня, то я уже давно пришел к твердому убеждению: отступление отнюдь не обеспечивает безопасности ни войску, ни полководцу. Вот почему честная смерть лучше позорной жизни, и спасение там, где доблесть; да и пасть на краю земли и природы[57] никоим образом не бесславно.

34. Если бы пред вами стояли неведомые народы и воины, с которыми вы сталкиваетесь впервые, я бы, чтобы вселить в вас бодрость, сослался на пример других наших войск; но те-

перь вам достаточно вспомнить о ваших былых деяниях и спросить свои собственные глаза. Ведь пред вами те самые, которые в прошлом году, подкравшись ночью, напали на один легион и которых вы сокрушили одним только боевым кличем; изо всех британцев они самые быстроногие, и лишь благодаря этому все еще живы. Когда вы пробирались сквозь чащи горных лесов, наиболее смелые звери бросались на вас, тогда как робких и боязливых прогонял прочь поднимаемый войском шум; так и самые горячие из британцев давно пали в сражениях — осталось лишь скопище трусов и малодушных. И если вы наконец отыскали их, то не потому, что они решили померяться с вами силами, а потому, что податься им больше некуда: безнадежность и порожденное крайним страхом оцепенение приковали их к месту, где они были настигнуты вами, и здесь вы одержите великолепную и знаменательную победу. Положите конец походам, увенчайте пятьдесят лет борьбы[58] блистательным днем, покажите нашему государству, что войско никогда не заслуживало упрека ни за то, что эта война так затянулась, ни за то, что она постоянно возобновлялась».

35. Пока Агрикола говорил, воспламененные его речью воины едва сдерживали охватившее их нетерпение, и, когда он закончил ее, они в единодушном порыве мгновенно изготовились к бою. Свое возбужденное и жаждавшее кинуться на противника войско он расположил таким образом, чтобы вспомогательная пехота, в которой насчитывалось восемь тысяч воинов, находилась посередине, а три тысячи всадников прикрывали ее с обеих сторон. Легионы он поставил перед лагерным валом, чем оказывал вспомогательным войскам великую честь добиваться победы без пролития римской крови и на случай, если бы они были разбиты, сохранял в целости силы, на которые можно было бы опереться. Британское войско ради устрашения неприятеля своим внушительным видом разместилось на ближних высотах, причем передовые части стояли на равнине у их подножия, а все остальные как бы висели над ними плотным скопищем на склонах холмов. Поле между обоими станами оглашалось стуком носившихся взад и вперед колесниц и криками возничих и воинов. И Агрикола, опасаясь, как бы нашему войску из-за численного превосходства врагов не пришлось одновременно

сражаться как с теми, кто был перед ним, так и с теми, которые могли бы устремиться на него с обеих сторон, приказал ему разомкнуться и, хотя это и растягивало вширь его боевой порядок и многие советовали призвать легионы, исполненный решимости и уверенности, готовый к преодолению трудностей, спешился и, отослав коня, стал перед боевыми значками.

36. Сначала, пока противники не сошлись вплотную, бой велся ими на расстоянии, и британцы при помощи своих огромных мечей[59] и небольших щитов упорно и вместе с тем ловко или перехватывали пущенные нашими дротики, или отбивали их на лету, одновременно осыпая нас градом стрел, пока Агрикола не обратился наконец к четырем когортам батавов и двум — тунгров, призвав их пустить в ход мечи и вступить в рукопашную схватку, в чем благодаря длительной службе в войске они были опытны и искусны и что давало им перевес над врагами, ибо лишенный острия меч британцев непригоден для боя, в котором враги, столкнувшись грудь с грудью, вступают в единоборство. И вот батавы стали обрушивать удары своих мечей на британцев, разить их выпуклостями щитов, колоть в ничем не прикрытые лица и, сокрушив тех, кто стоял на равнине, подниматься, сражаясь, по склону холма, а остальные когорты, соревнуясь с ними и поддержанные их натиском, — рубить всех попадавшихся им навстречу; и торопясь довершить победу, наши оставляли за собой легко раненных и даже невредимых врагов. Между тем и отряды конницы, после того как колесницы британцев были обращены в бегство, ринулись на неприятеля, с которым уже дрались наши пешие. И хотя они своим появлением вселили в него еще бóльший страх, все же из-за плотных скоплений врага и неровности местности их порыв вскоре выдохся; и все происходившее здесь меньше всего походило на боевые действия конницы, ибо с трудом удерживавшихся на склоне всадников теснили к тому же тела сбившихся в беспорядочную кучу коней; и нередко неведомо как затесавшиеся в эту суматоху колесницы, а также перепуганные, оставшиеся без всадников кони наскакивали на них, как кого заносил страх, и сбоку, и спереди.

37. Тогда те из британцев, которые, не участвуя в битве, все еще занимали вершины холмов и, стоя в бездействии,

насмехались над малочисленностью римского войска, стали понемногу спускаться с возвышенностей и обходить побеждающих с тыла, в чем они и успели бы, если б Агрикола, именно этого и опасавшийся, не бросил на наступающего противника четыре конных отряда, прибереженные им на случай возможных в сражении неожиданностей; и чем яростнее враги набегали на них, с тем бóльшим ожесточением были отбиваемы и обращаемы в бегство. Таким образом, замысел британцев против них же и обернулся, и передвинутые с переднего края по распоряжению полководца подразделения конницы врезались в боевые порядки бегущего неприятеля. И тут на открытой местности взорам представилось величественное и вместе с тем страшное зрелище: наши гнались по пятам за врагами, рубили их, брали в плен и, захватив новых пленников, убивали ранее взятых. И в зависимости от твердости духа одни в полном вооружении целыми толпами убегали от уступавших им в численности преследователей, тогда как другие, безоружные и по своей воле, устремлялись навстречу им и искали для себя смерти. Повсюду — оружие, трупы, обрубки тел и пропитавшаяся кровью земля; но порою даже у побежденных вспыхивало ожесточение и к ним возвращалось мужество. Так, достигнув лесов, они собрались с духом и попытались окружить тех из наших, кто вырвался вперед, увлекшись погоней. И они бы исполнили это; и если бы вездесущий Агрикола не приказал могучим и готовым к бою когортам прочесать леса, как это делается при облавах, частично спешившись, где они были слишком густыми, и в конном строю, где они были более редкими, то чрезмерная самонадеянность наших стоила бы нам излишних потерь. Но когда британцы снова увидели, что их преследуют приведенные в порядок и построенные правильными рядами воины, они и на этот раз обратились в бегство, но уже не целыми отрядами, как до того, и не оглядываясь один на другого: поодиночке и сторонясь друг друга, устремились они в отдаленные и глухие углы. Конец преследованию положили ночь и пресыщение. Врагов было убито до десяти тысяч, наших пало триста шестьдесят, и среди них — префект когорты Авл Аттик, завлеченный в гущу врагов молодым задором и неукротимым конем.

38. Обрадованные столь счастливым исходом сражения и

добычею, победители всю эту ночь ликовали, тогда как британцы — мужчины и женщины, — бродя по окрестностям и оглашая их стенаниями, выносили раненых, призывали невредимых откликнуться, выбирали убежища, где бы укрыться, и сразу же их оставляли, сообща принимали те или иные решения и тотчас же поступали каждый по-своему; глядя на тех, кто был им дороже всего, они иногда впадали в отчаяние, чаще приходили в неистовство. Известно, что некоторые из жалости к своим женам и детям собственноручно лишили их жизни. Лишь следующий день полностью показал облик победы: повсюду немое безмолвие, пустынные холмы, дымящиеся вдалеке строения и никого, кто бы попался навстречу разведчикам. Поскольку, разосланные во все концы, они наткнулись лишь на неясные следы беглецов и не обнаружили никаких скоплений противника и так как из-за окончания лета исключалась возможность распространения войны на соседние области, Агрикола отводит войско в пределы борестов. Там, приняв заложников, он предписывает начальнику флота обогнуть оконечность Британии. Для этого были выделены необходимые силы, да и флоту предшествовал всеобщий страх. Пехоту и конницу, умышленно не торопясь, дабы самою длительностью передвижения устрашить вновь покоренные племена, Агрикола разместил в зимних лагерях. А флот, благоприятствуемый погодой и ограждаемый опережавшей его молвой, достиг гавани Трукул, откуда, пройдя вдоль всей этой стороны Британии, благополучно вернулся.

39. Известие о таком положении дел, хотя Агрикола в своем донесении ничего не преувеличил и в его словах не было никакой похвальбы, Домициан по своему обыкновению принял с внешним выражением радости, но с досадою в сердце. Ведь ему было известно, что недавно справленный им мнимый триумф над германцами вызвал бесчисленные насмешки[60], ибо, приобретя покупкой рабов, он распорядился привести их одежду и волосы в соответствующий вид и выдал за пленников; а теперь — подлинная и решительная победа с истреблением стольких тысяч врагов, так восторженно отмечаемая молвой. Особую опасность для себя он усматривал в том, что имя его подчиненного ставится выше его имени, имени принцепса: стоило ли принуждать к молчанию гражданское красноречие и душить почетную деятельность на

общественном поприще, если другой стяжает себе военную славу, — все остальное так или иначе можно стерпеть, но честь слыть выдающимся полководцем должна принадлежать императору. Тревожимый такими заботами и удовольствовавшись, что было признаком зловещих намерений, вынашиванием в себе этих мыслей, он счел за лучшее прибеберечь свою ненависть до того времени, когда пойдут на убыль превозносящие Агриколу толки и любовь к нему войска, — ведь тогда тот еще управлял Британией.

40. Итак, Домициан приказал сенату определить Агриколе триумфальные знаки отличия[61], почетную, увенчанную лавровым венком статую и все, что полагается вместо триумфа, присовокупив к этому пышные словесные восхваления, а также распространить слух, что ему предназначена провинция Сирия, место правителя которой, за смертью Атилия Руфа, было свободным и сохранялось для кого-нибудь из заслуженных мужей. Многие были убеждены, что посланный к Агриколе вольноотпущенник из числа используемых для особо доверительных поручений получил приказание вручить ему указ о назначении в Сирию, если застанет его в Британии, и что этот вольноотпущенник, встретив корабль Агриколы в проливе между Галлией и Британией и даже не окликнув его, возвратился к Домициану. Не знаю, правда ли это или только правдоподобный, принимая во внимание нрав принцепса, вымысел. Между тем Агрикола передал провинцию, в которой водворились мир и спокойствие, своему преемнику[62]. И чтобы его прибытие не было отмечено стечением вышедших приветствовать его толп, он, упредив рвение друзей, въехал в Рим ночью и ночью же явился и, как было предписано, во дворец; встреченный равнодушным поцелуем и не удостоившись ни единого слова, он замешался в толпу раболепных придворных. Не желая отягощать праздных людей, среди которых он оказался, своей славою военачальника, он постарался смягчить ее добродетелями иного свойства и повел спокойное и свободное от всяких занятий существование, скромный в образе жизни, любезный в речах, сопровождаемый одним, много двумя друзьями и вообще настолько простой и доступный, что те, у кого в обычае судить о великих мужах в меру их самонадеянности и надменности, увидев Агриколу и присмотревшись к нему, задавались воп-

росом, чем он достиг знаменитости, и лишь немногие находили этому объяснение.

41. В эти дни Агрикола не раз был обвинен заочно перед Домицианом и так же заочно оправдан. И причина нависшей над ним опасности — не какое-нибудь определенное, вменявшееся ему в вину преступление и не жалоба кого-либо, считавшего себя оскорбленным, а сам неприязненно относившийся к какой бы то ни было добродетели принцепс, и полководческая слава Агриколы, и самая зловредная порода врагов — хвалящие. К тому же вскоре последовали такие обстоятельства для государства, которые больше не позволяли обходить молчанием имя Агриколы: столько войск в Мёзии и Дакии, в Германии и Паннонии потеряно из-за беспечности или малодушия полководцев, столько военачальников вместе со столькими когортами разгромлено и захвачено в плен; под угрозой не только пограничные укрепления и берега Дуная, но и зимние лагеря наших войск, да и все наши владения в этих краях. И так как мы терпели урон за уроном и всякий год ознаменовывался новыми похоронами и новыми поражениями[63], народная молва стала настойчиво требовать вручения Агриколе верховного начальствования над войском, причем все сравнивали его энергию, твердость и испытанное в стольких войнах мужество с бездеятельностью и трусливостью остальных. Как известно, эти толки раздражали Домициана, ибо лучшие из вольноотпущенников, побуждаемые любовью и преданностью, худшие — злокозненностью и завистью, всячески распаляли принцепса, и без того склонного ко всему дурному и низменному. Таким образом, слава Агриколы и вследствие собственных его добродетелей, и вследствие присущих другим недостатков возрастала и ширилась и тем самым влекла его на край пропасти.

42. И вот настал год, в котором ему предстояло получить по жребию должность проконсула Африки или Азии, но после расправы, недавно учиненной над Цивикой[64], ни Агрикола не нуждался в совете соблюдать осторожность, ни Домициан — в примере для устрашения. Но к Агриколе все же явились некоторые из посвященных в замыслы принцепса и без околичностей спросили его, намерен ли он уехать в провинцию. Сначала они говорили намеками, всячески расхваливая покой и досуг, затем пообещали ему оказать содей-

ствие в удовлетворении его просьбы, буде он откажется от проконсульства, и, наконец, потребовали этого уже не таясь, а настаивая и угрожая, и повлекли его с собой к принцепсу. Тот, заранее готовый к притворству, с надменным и неприступным выражением лица выслушал молившего снизойти к его просьбе Агриколу, изъявил согласие и дозволил, чтобы за это ему была принесена благодарность, не постыдившись выдать за благодеяние то, чего домогался из ненависти. Обычно выплачиваемого проконсулам содержания, которое им самим было предоставлено некоторым, он, однако, Агриколе не дал, то ли задетый тем, что тот не добивался его, или, быть может, из опасения, как бы не показалось, что он купил то, чего в действительности не допустил. Человеческой природе свойственно питать ненависть к тем, кому мы нанесли оскорбление: и душа Домициана так же легко распалялась гневом, и чем сдержаннее он был, тем более неумолим, но благоразумная умеренность Агриколы смягчила его, ибо тот не искал славы и не искушал судьбы ни непреклонностью, ни выставлением напоказ своей независимости. И да будет ведомо тем, у кого в обычае восторгаться недозволенной дерзостью по отношению к наделенным верховною властью, что и при дурных принцепсах могут существовать выдающиеся мужи и что послушание и скромность, если они сочетаются с трудолюбием и энергией, достойны не меньшей славы, чем та, которую многие снискали решительностью своего поведения и своею впечатляющей, но бесполезной для государства смертью[65].

43. Кончина Агриколы повергла нас в скорбь, его друзей — в глубокую печаль; огорчила она и посторонних и даже вовсе его не знавших. Простой народ и вечно поглощенные своими заботами занятые люди то и дело собирались у его дома, толковали о нем и в общественных местах, и в тесном кругу; и не было никого, кого бы обрадовало известие о смерти Агриколы или кто бы тотчас забыл про него. Сожаления о нем усиливал и упорно державшийся слух, что его умертвили ядом: не решусь ничего утверждать, поскольку ничто не доказано. Во всяком случае во время последней болезни Агриколы его навещали чаще, чем это принято при дворе, который обычно довольствуется сообщениями посыльных, и виднейшие из императорских воль-

ноотпущенников и приближенные врачи принцепса, то ли из-за его забот о больном или, может быть, для наблюдения за происходящим с ним и вокруг него. В день смерти Агриколы мельчайшие подробности в состоянии умирающего докладывались императору при посредстве расставленных определенным образом скороходов, и никто не верил, что необходима такая поспешность, чтобы узнать печальную весть. Впрочем, Домициан казался подавленным, и весь его облик выражал душевную горесть — возможно, и искреннюю, ведь того, кого он так ненавидел, не было больше в живых, а возможно, и потому, что он принадлежал к числу тех, кому легче скрывать ликование, нежели страх. Достоверно известно, что, прочитав оставленное Агриколой завещание, в котором он назначил Домициана сонаследником[66] лучшей из жен и почтительнейшей из дочерей, тот не скрыл своей радости, как если бы был по заслугам отмечен этим знаком признательности покойного. Его душу вконец ослепила и развратила беспрерывная лесть, и он оставался в неведении, что хороший отец избирает в сонаследники только дурного принцепса.

44. Родился Агрикола в третье консульство Гая Цезаря, в самые июньские иды; скончался на пятьдесят четвертом году от роду, в десятый день перед сентябрьскими календами, в консульство Коллеги и Присцина[67]. Что касается его внешности, то, если бы потомки пожелали узнать, какою она была, замечу: скорее приятною, чем внушительной: в его чертах не было ничего властного; его лицо неизменно выражало благожелательность. В нем легко можно было признать хорошего человека и охотно — великого. И действительно, хотя он был похищен смертью на полпути и в цветущем возрасте, принимая во внимание его славу, он прожил очень долгую жизнь. Ведь по достижении им истинных благ, которые покоятся в добродетелях, а также консульских и триумфальных отличий, чем еще могла бы его одарить судьба? Чрезмерными богатствами он не обладал, но состояние его все же было весьма значительным. И так как жена и дочь пережили его, он может быть сочтен даже счастливым: ведь он избежал неотвратимых в будущем бедствий, уйдя с ничем не омраченным достоинством, в сиянии славы, при благополучно здравствующих родичах

и друзьях. И раз ему не дано было дожить до зари, возвестившей наш счастливейший век, и увидеть Траяна принцепсом[68], что он в нашем присутствии пророчески предвещал и чего хотел всей душою, грустным утешением в его безвременной смерти может быть то, что ему не пришлось изведать бедствий уже после него наступившего времени, когда Домициан уже не с роздыхами и передышками, а с неослабною силой и как бы не разжимая рук принялся душить Римское государство.

45. Не увидел Агрикола ни осады курии[69], ни того, как силой оружия был разогнан сенат, ни учиненных при том же погроме умерщвлений стольких сенаторов, ни изгнания и ссылки стольких женщин из знатнейших родов. При его жизни о Каре Меттии можно было судить лишь по одной одержанной им победе, и еще за стенами альбанской твердыни[70] выкрикивал свои приговоры Мессалин, и уже тогда было предъявлено обвинение Бебию Массе. Но затем нашими собственными руками мы отвели в темницу Гельвидия; нас потряс вид Маврика и Рустика[71], нас обрызгала невинная кровь Сенециона[72]. Нерон, по крайней мере, отводил глаза в сторону, и лишь после этого приказывал творить преступления, и не смотрел, как они совершаются; но в правление Домициана злейшее из наших мучений заключалось в том, что мы видели его и были у него на виду, что любой наш вздох отмечался и записывался, что, для того чтобы указать своим приспешникам на стольких побледневших людей, было достаточно его хорошо известного свирепого взгляда и заливавшей его лицо краски, которою он отгораживался от укоров совести. Ты поистине счастливец, Агрикола, и не только потому, что прожил славную жизнь, но и потому, что вовремя умер. Как передают слышавшие последние произнесенные тобою слова, ты с твердостью и готовностью подчинился велению рока и как бы старался в меру сил подчеркнуть, что принцепс в смерти твоей не повинен. Но меня и его дочь, при всей нашей скорби из-за потери отца, охватывает еще и горькое сожаление, что нам не пришлось находиться при нем во время его болезни, окружать нашим вниманием умирающего, запечатлеть в себе его образ, обнять его напоследок. Мы, разумеется, знаем, в чем состояли его напутствия и каковы были ска-

занные им перед кончиною слова, и все они глубоко запали нам в душу. Но наша печаль, наша сердечная рана в том, что из-за нашего длительного отсутствия он был потерян нами за четыре года до этого[73]. Без сомнения, о лучший из отцов, тебе были оказаны все полагающиеся погребальные почести, ибо возле тебя пребывала бесконечно любящая и преданная жена, но из-за того, что нас не было, на твоих похоронах было пролито меньше слез, и, когда ты в последнее мгновение обвел взглядом присутствующих, твои глаза тщетно кого-то искали и не нашли.

46. Если манам[74] праведных уготовано особое обиталище, если, как утверждают философы, великие души не распадаются вместе с телами, покойся в мире и призови нас и своих близких от бесплодной тоски и женских жалоб к созерцанию твоих добродетелей, скорбеть о которых и оплакивать которые — святотатство. И мы почтим тебя, что гораздо пристойнее, восхищением нашим и неиссякающими хвалами и постараемся стать похожими на тебя, если только нас хватит на это; в этом — неподдельное почитание, в этом — благоговение тех, кто теснее всего связан с тобою. Я хотел бы внушить твоей дочери и твоей супруге такое преклонение пред памятью отца, пред памятью мужа, чтобы они постоянно перебирали в уме все его дела и слова и лелеяли в себе в большей мере воспоминание об облике и чертах его духа, нежели тела, и не потому, что я считаю необходимым устранить изваянные из мрамора или меди изображения, но потому, что как лица живых людей, так и воспроизведения этих лиц хрупки и преходящи, тогда как облик души вечен; сохранить и выразить его нельзя в другом веществе и средствами другого искусства, чем свойственными его природе, и единственный способ достигнуть этого — воссоздать в себе те же нравы. Все, что мы любили в Агриколе, чем восхищались в нем, остается и останется в душах людей, в вечном круговращении времени, в славе его деяний, многих выдающихся мужей древности поглотило забвение, как если бы они были бесславными и безвестными; но Агрикола, чей образ обрисован и запечатлен для потомства, пребудет всегда живым.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЕРМАНЦЕВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГЕРМАНИИ

1. Германия отделена от галлов, ретов и паннонцев реками Рейном и Дунаем, от сарматов и даков — обоюдной боязнью и горами[1]; все прочие ее части охватывает Океан[2], омывающий обширные выступы суши и огромной протяженности острова[3] с некоторыми, недавно узнанными нами народами и царями, которых нам открыла война[4]. Рейн берет начало на неприступном и крутом кряже Ретийских Альп и, отклонившись на небольшое расстояние к Западу, впадает в Северный Океан[5]. Дунай, изливаясь с отлогой и постепенно повышающейся горной цепи Абнобы, протекает по землям многих народов, пока не прорывается шестью рукавами в Понтийское море[6]; седьмой проток поглощается топями.

2. Что касается германцев, то я склонен считать их исконными жителями этой страны, лишь в самой ничтожной мере смешавшимися с прибывшими к ним другими народами и теми переселенцами, которым они оказали гостеприимство, ибо в былое время старавшиеся сменить места обитания передвигались не сухим путем, но на судах, а безбрежный и к тому же, я бы сказал, исполненный враждебности Океан редко посещается кораблями из нашего мира. Да и кто, не говоря уже об опасности плавания по грозному и неизвестному морю, покинув Азию, или Африку, или Италию, стал бы устремляться в Германию с ее неприютной землей и суровым небом, безрадостную для обитания и для взора, кроме тех, кому она родина?[7] В древних песнопениях — а германцам известен только один этот вид повествования о былом и только такие анналы[8] — они славят порожденного землей бога Туистона. Его сын Манн — прародитель и праотец их народа; Манну они приписывают трех сыновей, по именам которых обитающие близ Океана прозываются ингевонами, посередине — гермионами, все прочие — истевонами[9]. Но поскольку старина всегда доставляет простор для всяческих домыслов, некоторые утверждают, что у бога было большее число сыновей, откуда и большее число наименований наро-

дов, каковы марсы, гамбривии, свебы, вандилии, и что эти имена подлинные и древние. Напротив, слово Германия — новое и недавно вошедшее в обиход, ибо те, кто первыми переправились через Рейн и прогнали галлов, ныне известные под именем тунгров, тогда прозывались германцами. Таким образом, наименование племени постепенно возобладало и распространилось на весь народ; вначале все из страха обозначали его по имени победителей, а затем, после того как это название укоренилось, он и сам стал называть себя германцами.

3. Говорят, что Геркулес[10] побывал и у них, и, собираясь сразиться, они славят его как мужа, с которым никому не сравняться в отваге. Есть у них и такие заклятия, возглашением которых, называемым ими «бардит»[11], они распаляют боевой пыл, и по его звучанию судят о том, каков будет исход предстоящей битвы; ведь они устрашают врага или, напротив, сами трепещут пред ним, смотря по тому, как звучит песнь их войска, причем принимают в расчет не столько голоса воинов, сколько показали ли они себя единодушными в доблести. Стремятся же они больше всего к резкости звука и к попеременному нарастанию и затуханию гула и при этом ко ртам приближают щиты, дабы голоса, отразившись от них, набирались силы и обретали полнозвучность и мощь. Иные считают также, что, занесенный в этот Океан во время своего знаменитого, долгого и баснословного странствия, посетил земли Германии и Одиссей и что расположенный на берегу Рейна и доныне обитаемый город Асцибургий был основан и наречен им же; ведь некогда в этом месте обнаружили посвященный Одиссею алтарь и на нем, кроме того, имя Лаэрта, его отца; да и некоторые памятники и могилы с начертанными на них греческими письменами[12] и посейчас существуют на границах Германии с Рецией. Я не собираюсь ни подкреплять доказательствами это суждение, ни утверждать обратное. Пусть каждый в меру своего разумения примет его на веру или отвергнет.

4. Сам я присоединяюсь к мнению тех, кто полагает, что населяющие Германию племена, никогда не подвергавшиеся смешению через браки с какими-либо иноплеменниками, искони составляют особый, сохранивший изначальную чистоту и лишь на себя самого похожий народ. Отсюда, несмот-

ря на такое число людей, всем им присущ, тот же облик: жесткие голубые глаза, русые волосы, рослые тела, способные только к кратковременному усилию; вместе с тем им не хватает терпения, чтобы упорно и напряженно трудиться, и они совсем не выносят жажды и зноя, тогда как непогода и почва приучили их легко претерпевать холод и голод[13].

5. Хотя страна кое-где и различается с виду, все же в целом она ужасает и отвращает своими лесами и топями; наиболее влажная она с той стороны, где смотрит на Галлию, и наиболее открыта для ветров там, где обращена к Норику и Паннонии; в общем достаточно плодородная, она непригодна для плодовых деревьев; мелкого скота в ней великое множество, но по большей части он малорослый. Да и быки лишены обычно венчающего их головы горделивого украшения, но германцы радуются обилию своих стад, и они — единственное и самое любимое их достояние. В золоте и серебре боги им отказали[14], не знаю, из благосклонности к ним или во гневе на них. Однако я не решусь утверждать, что в Германии не существует ни одной золотоносной или сереброносной жилы; ведь кто там их разыскивал? Германцы столь же мало заботятся об обладании золотом и серебром, как и об употреблении их в своем обиходе. У них можно увидеть полученные в дар их послами и вождями серебряные сосуды, но дорожат они ими не больше, чем вылепленными из глины; впрочем, ближайшие к нам знают цену золоту и серебру из-за применения их в торговле и разбираются в некоторых наших монетах, отдавая иным из них предпочтение; что касается обитателей внутренних областей, то, живя в простоте и на старый лад, они ограничиваются меновою торговлей. Германцы принимают в уплату лишь известные с давних пор деньги старинной чеканки, те, что с зазубренными краями, и такие, на которых изображена колесница с парной упряжкой[15]. Серебро они берут гораздо охотнее, нежели золото, но не из-за того, что питают к нему пристрастие, а потому, что покупающим простой и дешевый товар легче и удобнее рассчитываться серебряными монетами.

6. Да и железо, судя по изготовляемому ими оружию, у них не в избытке. Редко кто пользуется мечами и пиками большого размера; они имеют при себе копья, или, как сами называют их на своем языке, фрамеи, с узкими и короткими нако-

нечниками, однако настолько острыми и удобными в бою, что тем же оружием, в зависимости от обстоятельств, они сражаются как издали, так и в рукопашной схватке. И всадник также довольствуется щитом и фрамеей, тогда как пешие, кроме того, мечут дротики, которых у каждого несколько, и они бросают их поразительно далеко, совсем нагие или прикрытые только легким плащом. У них не заметно ни малейшего стремления щегольнуть убранством, и только щиты они расписывают яркими красками. Лишь у немногих панцири, только у одного-другого металлический или кожаный шлем. Их кони не отличаются ни красотой, ни резвостью. И их не обучают делать повороты в любую сторону, как это принято у нас: их гонят либо прямо вперед, либо с уклоном вправо, образуя настолько замкнутый круг, чтобы ни один всадник не оказался последним[16]. И вообще говоря, их сила больше в пехоте; по этой причине они и сражаются вперемежку; пешие, которых они для этого отбирают из всего войска и ставят впереди боевого порядка, так стремительны и подвижны, что не уступают в быстроте всадникам и действуют сообща с ними в конном сражении. Установлена и численность этих пеших: от каждого округа по сотне; этим словом они между собою и называют их, и то, что ранее было численным обозначением, ныне — почетное наименование. Боевой порядок они строят клиньями. Податься назад, чтобы затем снова броситься на врага, — считается у них воинскою сметливостью, а не следствием страха. Тела своих они уносят с собою, даже потерпев поражение. Бросить щит — величайший позор, и подвергшемуся такому бесчестию возбраняется присутствовать на священнодействиях и появляться в народном собрании, и многие, сохранив жизнь в войнах, покончили со своим бесславием, накинув на себя петлю.

7. Царей[17] они выбирают из наиболее знатных, вождей — из наиболее доблестных. Но и цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом, и вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером и вызывая их восхищение, если они решительны, если выдаются достоинствами, если сражаются всегда впереди, чем наделенные подлинной властью. Впрочем, ни карать смертью, ни налагать оковы, ни даже подвергать бичеванию не дозволено никому, кроме жрецов, да и они делают это как бы в наказание и не по рас-

поряжению вождя, а якобы по повелению бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся. И они берут с собой в битву некоторые извлеченные из священных рощ изображения и святыни[18]; но больше всего побуждает их к храбрости то, что конные отряды и боевые клинья составляются у них не по прихоти обстоятельств и не представляют собою случайных скопищ, но состоят из связанных семейными узами и кровным родством; к тому же их близкие находятся рядом с ними, так что им слышны вопли женщин и плач младенцев, и для каждого эти свидетели — самое святое, что у него есть, и их похвала дороже всякой другой; к матерям, к женам несут они свои раны, и те не страшатся считать и осматривать их, и они же доставляют им, дерущимся с неприятелем, пищу и ободрение.

8. Как рассказывают, неоднократно бывало, что их уже дрогнувшему и пришедшему в смятение войску не давали рассеяться женщины, неотступно молившие, ударяя себя в обнаженную грудь, не обрекать их на плен, мысль о котором, сколь бы его ни страшились для себя воины, для германцев еще нестерпимее, когда дело идет об их женах[19]. Вот почему прочнее всего удерживаются в повиновении племена, которым было предъявлено требование выдать в числе заложников также девушек знатного происхождения. Ведь германцы считают, что в женщинах есть нечто священное и что им присущ пророческий дар, и они не оставляют без внимания подаваемые ими советы и не пренебрегают их прорицаниями[20]. В правлении божественного Веспасиана мы видели среди них Веледу, долгое время почитавшуюся большинством как божество; да и в древности они поклонялись Альбруне и многим другим, и отнюдь не из лести и не для того, чтобы впоследствии сделать из них богинь[21].

9. Из богов они больше всего чтят Меркурия и считают должным приносить ему по известным дням в жертву также людей. Геркулеса и Марса они умилостивляют закланиями обрекаемых им в жертву животных[22]. Часть свебов совершает жертвоприношения и Изиде; в чем причина и каково происхождение этого чужестранного священнодействия, я не мог в достаточной мере выяснить, но, поскольку их святыня изображена в виде либурны, этот культ, надо полагать, завезен к ним извне[23]. Впрочем, они находят, что вследствие ве-

личия небожителей богов невозможно ни заключить внутри стен, ни придать им какие-либо черты сходства с человеческим обликом. И они посвящают им дубравы и рощи и нарекают их именами богов; и эти святилища отмечены только их благочестием.

10. Нет никого, кто был бы проникнут такою же верою в приметы и гадания с помощью жребия, как они. Вынимают же они жребий безо всяких затей. Срубленную с плодового дерева[24] ветку они нарезают плашками и, нанеся на них особые знаки[25], высыпают затем, как придется, на белоснежную ткань. После этого, если гадание производится в общественных целях — жрец племени, если частным образом — глава семьи, вознеся молитвы богам и устремив взор в небо, трижды вынимает по одной плашке и толкует предрекаемое в соответствии с выскобленными на них заранее знаками. Если оно сулит неудачу, повторный запрос о том же предмете в течение этого дня возбраняется, если, напротив, благоприятно, необходимо, чтобы предреченное, сверх того, было подтверждено и птицегаданием[26]. Ведь и здесь также принято отыскивать предвещания по голосам и полету птиц; но лишь у германцев в обыкновении обращаться за предсказаниями и знамениями также к коням[27]. Принадлежа всему племени, они выращиваются в тех же священных дубравах и рощах, ослепительно белые и не понуждаемые к каким-либо работам земного свойства; запряженных в священную колесницу, их сопровождают жрец с царем или вождем племени и наблюдают за их ржаньем и фырканьем. И никакому предзнаменованию нет большей веры, чем этому, и не только у простого народа, но и между знатными и между жрецами, которые считают себя служителями, а коней — посредниками богов. Существует у них и другой способ изыскивать для себя знамения, к которому они прибегают, когда хотят предузнать исход тяжелой войны. В этом случае они сталкивают в единоборстве захваченного ими в любых обстоятельствах пленника из числа тех, с кем ведется война, с каким-нибудь избранным ради этого соплеменником, и те сражаются, каждый применяя отечественное оружие. Победа того или иного воспринимается ими как предуказание будущего.

11. О делах менее важных совещаются их старейшины, о более значительных — все; впрочем, старейшины заранее

обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу. Если не происходит чего-либо случайного и внезапного, они собираются в определенные дни, или когда луна только что народилась, или в полнолуние, ибо считают эту пору наиболее благоприятствующей началу рассмотрения дел[28]. Счет времени они ведут не по дням, как мы, а на ночи[29]. Таким обозначением сроков они пользуются, принимая постановления и вступая в договоры друг с другом; им представляется, будто ночь приводит за собой день. Но из их свободы проистекает существенная помеха, состоящая в том, что они сходятся не все вместе и не так, как те, кто повинуется приказанию, и из-за медлительности, с какою они прибывают, попусту тратится день, другой, а порою и третий. Когда толпа сочтет, что пора начинать, они рассаживаются вооруженными[30]. Жрецы велят им соблюдать тишину, располагая при этом правом наказывать непокорных. Затем выслушиваются царь и старейшины в зависимости от их возраста, в зависимости от знатности, в зависимости от боевой славы, в зависимости от красноречия, больше воздействуя убеждением, чем располагая властью приказывать. Если их предложения не встречают сочувствия, участники собрания шумно их отвергают; если, напротив, нравятся — раскачивают поднятые вверх фрамеи: ведь воздать похвалу оружием, на их взгляд, — самый почетный вид одобрения[31].

12. На таком народном собрании можно также предъявить обвинение и потребовать осуждения на смертную казнь. Суровость наказания определяется тяжестью преступления: предателей и перебежчиков они вешают на деревьях, трусов и оплошавших в бою, а также обесчестивших свое тело — топят в грязи и болоте, забрасывая поверх валежником[32]. Различие в способах умерщвления основывается на том, что злодеяния и кару за них дóлжно, по их мнению, выставлять напоказ, а позорные поступки — скрывать. Но и при более легких проступках наказание соразмерно их важности: с изобличенных взыскивается определенное количество лошадей и овец. Часть наложенной на них пени передается царю или племени, часть — пострадавшему или его родичам. На тех же собраниях также избирают старейшин, отправляющих правосудие в округах и селениях; каждому из них дается охрана численностью в сто человек из простого

народа — одновременно и состоящий при них совет, и сила, на которую они опираются[33].

13. Любые дела — и частные, и общественные — они рассматривают не иначе как вооруженные. Но никто не осмеливается, наперекор обычаю, носить оружие, пока не будет признан общиною созревшим для этого. Тогда тут же в народном собрании кто-нибудь из старейшин, или отец, или родичи вручают юноше щит и фрамею: это — их тога[34], это первая доступная юности почесть; до этого в них видят частицу семьи, после этого — племени. Выдающаяся знатность и значительные заслуги предков даже еще совсем юным доставляют достоинство вождя; все прочие собираются возле отличающихся телесною силой и уже проявивших себя на деле, и никому не зазорно состоять их дружинниками. Впрочем, внутри дружины, по усмотрению того, кому она подчиняется, устанавливаются различия в положении; и если дружинники упорно соревнуются между собой, добиваясь преимущественного благоволения вождя, то вожди — стремясь, чтобы их дружина была наиболее многочисленной и самой отважною[35]. Их величие, их могущество в том, чтобы быть всегда окруженными большой толпою отборных юношей, в мирное время — их гордостью, на войне — опорою. Чья дружина выделяется численностью и доблестью, тому это приносит известность, и он прославляется не только у себя в племени, но и у соседних народов; его домогаются, направляя к нему посольства и осыпая дарами, и молва о нем чаще всего сама по себе предотвращает войны.

14. Но если дело дошло до схватки, постыдно вождю уступать кому-либо в доблести, постыдно дружине не уподобляться доблестью своему вождю. А выйти живым из боя, в котором пал вождь, — бесчестье и позор на всю жизнь; защищать его, оберегать, совершать доблестные деяния, помышляя только о его славе, — первейшая их обязанность: вожди сражаются ради победы, дружинники — за своего вождя. Если община, в которой они родились, закосневает в длительном мире и праздности, множество знатных юношей отправляется к племенам, вовлеченным в какую-нибудь войну, и потому что покой этому народу не по душе, и так как среди превратностей битв им легче прославиться, да и содержать большую дружину можно не иначе, как только насили-

ем и войной; ведь от щедрости своего вождя они требуют боевого коня, той же жаждущей крови и победоносной фрамеи; что же касается их пропитания и хоть простого, но обильного угощения на пирах, то они у них вместо жалованья. Возможности для подобного расточительства доставляют им лишь войны и грабежи. И гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны; больше того, по их представлениям, пóтом добывать то, что может быть приобретено кровью, — леность и малодушие.

15. Когда они не ведут войн[36], то много охотятся, а еще больше проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию, и самые храбрые и воинственные из них, не неся никаких обязанностей, препоручают заботы о жилище, домашнем хозяйстве и пашне женщинам, старикам и наиболее слабосильным из домочадцев, тогда как сами погрязают в бездействии, на своем примере показывая противоречивость природы, ибо те же люди так любят безделье и так ненавидят покой. У их общин существует обычай, чтобы каждый добровольно уделял вождям кое-что от своего скота и плодов земных, и это, принимаемое теми как дань уважения, служит также для удовлетворения их нужд. Особенно радуют их дары от соседних племен, присылаемые не только отдельными лицами, но и от имени всего племени[37], каковы отборные кони, великолепно отделанное оружие, фалеры и почетные ожерелья[38]; а теперь мы научили их принимать и деньги.

16. Хорошо известно, что народы Германии не живут в городах и даже не терпят, чтобы их жилища примыкали вплотную друг к другу. Селятся же германцы каждый отдельно и сам по себе, где кому приглянулись родник, поляна или дубрава. Свои деревни они размещают не так, как мы, и не скучивают теснящиеся и лепящиеся одно к другому строения, но каждый оставляет вокруг своего дома обширный участок, то ли чтобы обезопасить себя от пожара, если загорится сосед, то ли из-за неумения строиться. Строят же они, не употребляя ни камня, ни черепицы; все, что им нужно, они сооружают из дерева, почти не отделывая его и не заботясь о внешнем виде строения и о том, чтобы на него приятно было смотреть[39]. Впрочем, кое-какие места на нем они с большой

тщательностью обмазывают землей, такой чистой и блестящей[40], что создается впечатление, будто оно расписано цветными узорами. У них принято также устраивать подземные ямы, поверх которых они наваливают много навоза и которые служат им убежищем на зиму и для хранения съестных припасов, ибо погреба этого рода смягчают суровость стужи, и, кроме того, если вторгается враг, все неприбранное в тайник подвергается разграблению, тогда как о припрятанном и укрытом под землей он или остается в неведении или не добирается до него, хотя бы уже потому, что его нужно разыскивать.

17. Верхняя одежда у всех — короткий плащ, застегнутый пряжкой, а если ее нет, то шипом. Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни у разожженного в очаге огня. Наиболее богатые отличаются тем, что, помимо плаща, на них есть и другая одежда, но не развевающаяся, как у сарматов или парфян, а узкая и плотно облегающая тело. Носят они и шкуры диких зверей, те, что обитают у берегов реки[41], — какие придется, те, что вдалеке от них, — с выбором, поскольку у них нет доставляемой торговлей одежды. Последние убивают зверей с разбором и по снятии шерсти нашивают на кожи куски меха животных, порождаемых внешним Океаном или неведомым морем[42]. Одежда у женщин не иная, чем у мужчин, разве что женщины чаще облачаются в льняные накидки, которые они расцвечивают пурпурною краской, и с плеч у них не спускаются рукава, так что их руки обнажены сверху донизу, как открыта и часть груди возле них[43].

18. Тем не менее браки у них соблюдаются в строгости, и ни одна сторона их нравов не заслуживает такой похвалы, как эта. Ведь они почти единственные из варваров довольствуются, за очень немногими исключениями, одною женой, а если кто и имеет по нескольку жен, то его побуждает к этому не любострастие, а занимаемое им видное положение[44]. Приданое предлагает не жена мужу, а муж жене[45]. При этом присутствуют ее родственники и близкие и осматривают его подарки; и недопустимо, чтобы эти подарки состояли из женских украшений и уборов для новобрачной, но то должны быть быки, взнузданный конь и щит с фрамеей и мечом. За эти подарки он получает жену, да и она взамен отдаривает

мужа каким-либо оружием; в их глазах это наиболее прочные узы, это — священные таинства, это — боги супружества. И чтобы женщина не считала себя непричастной к помыслам о доблестных подвигах, непричастной к превратностям войн, все, знаменующее собою ее вступление в брак, напоминает о том, что отныне она призвана разделять труды и опасности мужа и в мирное время и в битве, претерпевать то же и отваживаться на то же, что он; это возвещает ей запряжка быков, это — конь наготове, это — врученное ей оружие. Так подобает жить, так подобает погибнуть; она получает то, что в целости и сохранности отдаст сыновьям, что впоследствии получат ее невестки и что будет отдано, в свою очередь, ее внукам.

19. Так ограждается их целомудрие, и они живут, не зная порождаемых зрелищами соблазнов, не развращаемые обольщениями пиров[46]. Тайна письма равно неведома и мужчинам, и женщинам. У столь многолюдного народа прелюбодеяния крайне редки; наказывать их дозволяется незамедлительно и самим мужьям: обрезав изменнице волосы и раздев донага, муж в присутствии родственников выбрасывает ее из своего дома и, настегивая бичом, гонит по всей деревне; и сколь бы красивой, молодой и богатой она ни была, ей больше не найти нового мужа. Ибо пороки там ни для кого не смешны, и развращать и быть развращенным не называется у них — идти в ногу с веком. Но еще лучше обстоит с этим у тех племен, где берут замуж лишь девственниц и где, дав обет супружеской верности, они окончательно утрачивают надежду на возможность повторного вступления в брак[47]. Так они обретают мужа, одного навеки, как одно у них тело и одна жизнь, дабы впредь они не думали ни о ком, кроме него, дабы вожделели только к нему, дабы любили в нем не столько мужа, сколько супружество. Ограничивать число детей или умерщвлять кого-либо из родившихся после смерти отца считается среди них постыдным[48], и добрые нравы имеют там бóльшую силу, чем хорошие законы где-либо в другом месте[49].

20. В любом доме растут они голые и грязные, а вырастают с таким телосложением и таким станом, которые приводят нас в изумление. Мать сама выкармливает грудью рожденных ею детей, и их не отдают на попечение служанкам и кормилицам[50]. Господа воспитываются в такой же простоте,

как и рабы, и долгие годы в этом отношении между ними нет никакого различия: они живут среди тех же домашних животных, на той же земле, пока возраст не отделит свободнорожденных, пока их доблесть не получит признания. Юноши поздно познают женщин, и от этого их мужская сила сохраняется нерастраченной; не торопятся они отдать замуж и девушек, и у них та же юная свежесть, похожий рост[51]. И сочетаются они браком столь же крепкие и столь же здоровые, как их мужья, и сила родителей передается детям[52]. К сыновьям сестер они относятся не иначе, чем к своим собственным[53]. Больше того, некоторые считают такие кровные узы и более священными, и более тесными и предпочитают брать заложниками племянников, находя, что в этом случае воля сковывается более прочными обязательствами и они охватывают более широкий круг родичей. Однако наследниками и преемниками умершего могут быть лишь его дети; завещания у них неизвестны. Если он не оставил после себя детей, то его имущество переходит во владение тех, кто по степени родства ему ближе всего — к братьям, к дядьям по отцу, дядьям по матери. И чем больше родственников, чем обильнее свойственники, тем бóльшим вниманием окружена старость; а бездетность у них совсем не в чести[54].

21. Разделять ненависть отца и сородичей к их врагам и приязнь к тем, с кем они в дружбе, — непреложное правило; впрочем, они не закосневают в непримиримости; ведь даже человекоубийство у них искупается определенным количеством быков и овец, и возмещение за него получает весь род, что идет на пользу и всей общине, так как при безграничной свободе междоусобия особенно пагубны. Не существует другого народа, который с такой же охотою затевал бы пирушки и был бы столь же гостеприимен. Отказать кому-нибудь в крове, на их взгляд, — нечестие, и каждый старается попотчевать гостя в меру своего достатка. А когда всем его припасам приходит конец, тот, кто только что был хозяином, указывает, где им окажут радушный прием, и вместе со своим гостем направляется к ближайшему дому, куда они и заходят без приглашения. Но это несущественно: их обоих принимают с одинаковой сердечностью[55]. Подчиняясь законам гостеприимства, никто не делает различия между знакомым и незнакомым. Если кто, уходя, попросит приглянувшуюся ему

вещь, ее, по обычаю, тотчас же вручают ему. Впрочем, с такою же легкостью дозволяется попросить что-нибудь взамен отданного. Они радуются подаркам; не считая своим должником того, кого одарили, они и себя не считают обязанными за то, что ими получено.

22. Встав ото сна, который у них обычно затягивается до позднего утра, они умываются[56], чаще всего теплой водою, как те, у кого бóльшую часть года занимает зима. Умывшись, они принимают пищу; у каждого свое отдельное место и свой собственный стол[57]. Затем они отправляются по делам и не менее часто на пиршества[58], и притом всегда вооруженные. Беспробудно пить день и ночь ни для кого не постыдно. Частые ссоры, неизбежные среди предающихся пьянству, редко когда ограничиваются словесною перебранкой и чаще всего завершаются смертоубийством или нанесением ран. Но по большей части на пиршествах они толкуют и о примирении враждующих между собою, о заключении браков, о выдвижении вождей, наконец о мире и о войне, полагая, что ни в какое другое время душа не бывает столь же расположена к откровенности и никогда так не воспламеняется для помыслов о великом. Эти люди, от природы не хитрые и не коварные[59], в непринужденной обстановке подобного сборища открывают то, что доселе таили в глубине сердца. Таким образом, мысли и побуждения всех обнажаются и предстают без прикрас и покровов. На следующий день возобновляется обсуждение тех же вопросов, и то, что они в два приема занимаются ими, покоится на разумном основании: они обсуждают их, когда неспособны к притворству, и принимают решения, когда ничто не препятствует их здравомыслию.

23. Их напиток — ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина[60]; живущие близ реки покупают и вино. Пища у них простая: дикорастущие плоды, свежая дичина, свернувшееся молоко, и насыщаются они ею безо всяких затей и приправ. Что касается утоления жажды, то в этом они не отличаются такой же умеренностью. Потворствуя их страсти к бражничанью и доставляя им столько хмельного, сколько они пожелают, сломить их пороками было бы не трудней, чем оружием.

24. Вид зрелищ у них единственный и на любом сборище тот же: обнаженные юноши, для которых это не более как

забава, носятся и прыгают среди врытых в землю мечей и смертоносных фрамей. Упражнение породило в них ловкость, ловкость — непринужденность, но добивались они их не ради наживы и не за плату; вознаграждение за легкость их пляски, сколь бы смелой и опасной она ни была, — удовольствие зрителей. Играют германцы и в кости, и, что поразительно, будучи трезвыми и смотря на это занятие как на важное дело, причем с таким увлечением и при выигрыше, и при проигрыше, что, потеряв все свое достояние и бросая в последний раз кости, назначают ставкою свою свободу и свое тело. Проигравший добровольно отдает себя в рабство и, сколь бы моложе и сильнее выигравшего он ни был, безропотно позволяет связать себя и выставить на продажу. Такова их стойкость в превратностях этого рода, тогда как ими самими она именуется честностью. Рабов, приобретенных таким образом, стараются сбыть, продавая на сторону; поступают же они так и для того, чтобы снять с себя сопряженное с подобной победой бесчестье.

25. Рабов они используют, впрочем, не так, как мы: они не держат их при себе и не распределяют между ними обязанностей: каждый из них самостоятельно распоряжается на своем участке и у себя в семье. Господин облагает его, как если б он был колоном[61], установленной мерой зерна, или овец и свиней, или одежды, и только в этом состоят отправляемые рабом повинности. Остальные работы в хозяйстве господина выполняются его женой и детьми. Высечь раба или наказать его наложением оков и принудительной работой — такое у них случается редко; а вот убить его — дело обычное, но расправляются они с ним не ради поддержания дисциплины и не из жестокости, а сгоряча, в пылу гнева, как с врагом, с той лишь разницей, что это сходит им безнаказанно[62]. Вольноотпущенники по своему положению не намного выше рабов; редко, когда они располагают весом в доме патрона, никогда — в общине[63], если не считать тех народов, которыми правят цари. Там вольноотпущенники возвышаются и над свободнорожденными, и над знатными; а у всех прочих приниженность вольноотпущенников — признак народоправства.

26. Ростовщичество и извлечение из него выгоды им неизвестно, и это оберегает их от него надежнее, чем если бы оно воспрещалось[64]. Земли для обработки они поочередно

занимают всею общиной по числу земледельцев, а затем делят его между собою смотря по достоинству каждого; раздел полей облегчается обилием свободных пространств. И хотя они ежегодно сменяют пашню, у них всегда остается излишек полей. И они не прилагают усилий, чтобы умножить трудом плодородие почвы и возместить таким образом недостаток в земле, не сажают плодовых деревьев, не огораживают лугов, не поливают огороды. От земли они ждут только урожая хлебов[65]. И по этой причине они делят год менее дробно, чем мы: ими различаются зима, и весна, и лето, и они имеют свои наименования, а вот название осени и ее плоды им неведомы[66].

27. Похороны у них лишены всякой пышности; единственное, что они соблюдают, — это чтобы при сожжении тел знаменитых мужей употреблялись определенные породы деревьев. В пламя костра они не бросают ни одежды, ни благовоний; вместе с умершим предаются огню только его оружие, иногда также и его конь. Могилу они обкладывают дерном. У них не принято воздавать умершим почет сооружением тщательно отделанных и громоздких надгробий, так как, по их представлениям, они слишком тяжелы для покойников. Стенаний и слез они не затягивают, скорбь и грусть сохраняют надолго. Женщинам приличествует оплакивать, мужчинам — помнить[67]. Вот что нам удалось узнать о происхождении и нравах германцев в целом; а теперь я поведу рассказ об учреждениях и обычаях отдельных народностей и о том, насколько они между собой различаются и какие племена переселились из Германии в Галлию.

28. О том, что галлы некогда были несравненно сильнее, сообщает самый сведущий в этом писатель — божественный Юлий[68]; отсюда вполне вероятно, что часть галлов перешла в Германию. Могло ли столь незначительное препятствие, как река[69], помешать любому окрепшему племени захватывать и менять места обитания, никем дотоле не занятые и еще не поделенные между могущественными властителями? Таким образом, между Герцинским лесом и реками Рейном и Меном[70] осели гельветы, еще дальше — бойи, причем оба племени — галлы. До сих пор эта область носит название Бойгем, и в нем сохраняется память о ее давнем прошлом, хотя обитают в ней ныне совсем другие[71]. Но арависки ли переселились в Панно-

нию, отколовшись от германской народности осов, или осы — в Германию, отколовшись от арависков, притом что язык, учреждения, нравы у них и посейчас тождественны, неизвестно, так как между обоими берегами, при повсеместной в то время бедности и свободе, не было различия ни в лучшую, ни в худшую сторону. Треверы и нервии притязают на германское происхождение и, больше того, тщеславятся им, как будто похвальба подобным родством может избавить их от сходства с галлами и присущей тем вялости. Берег Рейна заселяют несомненно германские племена — вангионы, трибоки, неметы, и даже убии, хотя они и удостоились стать римской колонией и охотнее именуют себя агриппинцами по имени основательницы ее, не стыдятся своего германского происхождения; вторгшись ранее в Галлию, они были размещены ради испытания их преданности на самом берегу Рейна, впрочем не для того, чтобы пребывать под нашим надзором, но чтобы отражать неприятеля.

29. Из всех этих племен самые доблестные батавы, в малом числе обитающие на берегу реки Рейна, но главным образом на образуемом сю острове[72]; эта народность, бывшая некогда ветвью хаттов, из-за внутренних распрей перешла на новые места обитания, где и подпала власти Римской империи. Но батавам по-прежнему воздается почет, и они продолжают жить на положении давних союзников: они не унижены уплатою податей и не утесняются откупщиком; освобожденных от налогов и чрезвычайных сборов, их предназначают только для боевых действий, подобно тому как на случай войны прибсрегаются оружие и доспехи. Столь же послушно нам и племя маттиаков: величие римского народа внушило почтение к его государству и по ту сторону Рейна, по ту сторону старых границ. Вот почему, при том что их места обитания и пределы находятся на том берегу, они помыслами и душой всегда с нами; во всем остальном они схожи с батавами, разве что самая почва и климат их родины придают им бóльшую подвижность и живость. Я не склонен причислять к народам Германии, хотя они и осели за Рейном и за Дунаем, тех, кто возделывает Десятинные земли[73]; всякий сброд из наиболее предприимчивых галлов, гонимых к тому же нуждою, захватил эти земли, которыми никто по-настоящему не владел; впоследствии после проведения пограничного вала и

размещения вдоль него гарнизонов обитатели Десятинных земель стали как бы выдвинутым вперед заслоном Римской империи, а вся эта область — частью провинции.

30. За ними вместе с Герцинским лесом начинаются поселения хаттов, обитающих не на столь плоских и топких местах, как другие племена равнинной Германии: ведь у них тянутся постепенно редеющие цепи холмов, и Герцинский лес сопутствует своим хаттам и расстается с ними только на рубеже их владений. Этот народ отличается особо крепким телосложением, сухощавостью, устрашающим обликом, необыкновенной непреклонностью духа. По сравнению с другими германцами хатты чрезвычайно благоразумны и предусмотрительны: своих военачальников они избирают, повинуются тем, кого над собою поставили, применяют различные боевые порядки, сообразуются с обстоятельствами, умеют своевременно воздерживаться от нападения, с пользой употребляют дневные часы, окружают себя на ночь валом, не уповают на военное счастье, находя его переменчивым, и рассчитывают только на доблесть и, наконец, что совсем поразительно и принято лишь у римлян с их воинской дисциплиной, больше полагаются на вождя, чем на войско. Вся их сила в пехоте, которая, помимо оружия, переносит на себе также необходимые для производства работ орудия и продовольствие. И если остальные германцы сшибаются в схватках, то о хаттах нужно сказать, что они воюют. Они редко затевают набеги и стремятся уклониться от внезапных сражений. И если стремительно одолеть врага и столь же стремительно отступить — несомненное преимущество конницы, то от поспешности недалеко и до страха, тогда как медлительность ближе к подлинной стойкости.

31. И что у остальных народов Германии встречается редко и всегда исходит из личного побуждения, то превратилось у хаттов в общераспространенный обычай: едва возмужав, они начинают отращивать волосы и отпускать бороду и дают обет не снимать этого обязывающего их к доблести покрова на голове и лице ранее, чем убьют врага. И лишь над его трупом и снятой с него добычей они открывают лицо, считая, что наконец уплатили сполна за свое рождение и стали достойны отечества и родителей; а трусливые и невоинственные так до конца дней и остаются при своем безобразии. Храбрей-

шие из них, сверх того, носят на себе похожую на оковы железную цепь (что считается у этого народа постыдным), пока их не освободит от нее убийство врага. Впрочем, многим хаттам настолько нравится этот убор, что они доживают в нем до седин, приметные для врагов и почитаемые своими. Они-то и начинают все битвы. Таков у них всегда первый ряд, внушающий страх как все новое и необычное; впрочем, и в мирное время они не стараются придать себе менее дикую внешность. У них нет ни поля, ни дома, и ни о чем они не несут забот. К кому бы они ни пришли, у того и кормятся, расточая чужое, не жалея своего, пока из-за немощной старости столь непреклонная доблесть не станет для них непосильной.

32. Ближайшие соседи хаттов — проживающие вдоль Рейна, где он уже имеет определенное русло и может служить границей[74], узипы и тенктеры. Наделенные всеми подобающими доблестными воинам качествами, тенктеры к тому же искусные и лихие наездники, и конница тенктеров не уступает в славе пехоте хаттов. Так повелось от предков, и, подражая им, о том же пекутся потомки. В этом — забавы детей, состязания юношей; не оставляют коня и их старики. Вместе с рабами, домом и наследственными правами передаются и кони, и получает их не старший из сыновей, как все остальное, а тот из них, кто выказал себя в битвах наиболее отважным и ловким.

33. Рядом с тенктерами ранее жили бруктеры; теперь, как сообщают, туда переселились хамавы и ангриварии, после того как бруктеры были изгнаны и полностью истреблены соседними племенами[75], то ли раздраженными их надменностью, или из-за соблазна добычи, или вследствие благоволения к нам богов — ведь они даже удостоили нас зрелища этого кровопролития. Пало свыше шестидесяти тысяч германцев, и не от римского оружия, но, что еще отраднее, для услаждения наших глаз[76]. Да пребудет, молю я богов, и еще больше окрепнет среди народов Германии если не расположение к нам, то по крайней мере ненависть к своим соотечественникам, ибо, когда империи угрожают неотвратимые бедствия, самое большее, чем может порадовать нас судьба, — это распри между врагами[77].

34. Сзади к ангриівариям и хамавам примыкают дульгубины и хазуарии, а также другие, менее известные племена, спе-

реди их заслоняют собою фризы[78]. Фризов, сообразно их силе, называют Большими и Малыми. Поселения обеих этих народностей тянутся вдоль Рейна до самого Океана; обитают они, сверх того, и вокруг огромных озер[79], по которым плавали и римские флотилии. Именно отсюда отважились мы проследовать в Океан: ведь молва сообщала, что и в нем все еще существуют Геркулесовы столбы, прозванные так или потому, что Геркулес и в самом деле посетил эти края, или из-за усвоенного нами обыкновения связывать с его прославленным именем все наиболее замечательное, где бы оно ни встретилось. У Друза Германика не было недостатка в решимости, но Океан не пожелал раскрыть ему свои тайны и то, что касается Геркулеса. С той поры никто не возобновлял подобных попыток[80], и было сочтено, что благочестивее и почтительнее безоговорочно верить в содеянное богами, чем тщиться его познать.

35. Вот что известно нам о Германии, обращенной к западу; далее, образуя огромный выступ[81], она уходит на север. И тут перед нами сразу же племя хавков. И хотя хавки начинаются от пределов фризов и занимают часть океанского побережья, они соприкасаются и с перечисленными мной племенами, пока не сворачивают в сторону, чтобы достигнуть херусков. И эти раскинувшиеся на столь непомерном пространстве земли хавки не только считают своими, но и плотно заселяют; среди германцев это самый благородный народ, предпочитающий оберегать свое имущество, опираясь только на справедливость. Свободные от жадности и властолюбия, невозмутимые и погруженные в собственные дела, они не затевают войн и никого не разоряют грабежом и разбоем. И первейшее доказательство их доблести и мощи — это проявляемое ими стремление закрепить за собой превосходство, не прибегая к насилию. Но при этом оружие у них всегда наготове, а если потребуют обстоятельства — то и войско, и множество воинов и коней; но и тогда, когда они пребывают в покое, молва о них остается все той же.

36. Бок о бок с хавками и хаттами никем не тревожимые херуски долгие годы пользовались благами слишком безмятежного и поэтому порождающего расслабленность мира. Для них такое положение было скорее приятным, чем безопасным, потому что в окружении хищных и сильных предпо-

лагать, что тебя оставят в покое, — ошибочно: где дело доходит до кулаков, там такие слова, как скромность и честность, прилагаются лишь к одержавшему верх. И вот херусков, еще недавно слывших добрыми и справедливыми, теперь называют лентяями и глупцами, а удачу победителей хаттов относят за счет их высокомудрия[82]. В своем падении херуски увлекли за собою и соседнее племя фосов, которые в бедственных обстоятельствах превратились в их товарищей по несчастью, тогда как в лучшие времена состояли у них в подчинении.

37. Упомянутый выше выступ Германии занимают живущие у Океана кимвры, теперь небольшое, а некогда знаменитое племя. Все еще сохраняются внушительные следы их былой славы, остатки огромного лагеря на том и другом берегу, по размерам которого можно и ныне судить, какой мощью обладал этот народ, как велика была его численность и насколько достоверен рассказ о его поголовном переселении[83]. Нашему городу шел шестьсот сороковой год[84], когда в консульство Цецилия Метелла и Папирия Карбона мы впервые услышали о кимврских полчищах. С той поры до второго консульства императора Траяна[85] насчитывается почти двести десять лет. Вот как долго мы покоряем Германию. За столь длительный срок обе стороны причинили друг другу немало ущерба. Ни Самний, ни пунийцы, ни Испании и Галлии[86], ни даже парфяне — никто так часто не напоминал нам о себе, как германцы: их свобода оказалась неодолимее самовластья Арсака[87]. Ведь что иное, кроме умерщвления Красса, может предъявить нам Восток, склонившийся перед каким-то Вентидием[88] и сам потерявший Пакора? А германцы, разгромив или захватив в плен Карбона, и Кассия, и Аврелия Скавра, и Сервилия Цепиона, и Максима Маллия, отняли у римского народа пять консульских войск и даже у Цезаря[89] похитили Вара и вместе с ним три легиона[90]. Не без тяжелых потерь нанесли им поражения Гай Марий в Италии[91], божественный Юлий в Галлии[92], Друз, и Нерон[93], и Германик — на их собственных землях. Затем последовали устрашающие, но обернувшиеся посмешищем приготовления Гая Цезаря[94]. После этого царило спокойствие, пока, воспользовавшись нашими смутами и гражданской войной[95], германцы не захватили зимних лагерей легионов и не посягнули даже на Гал-

лию; и после нового изгнания их оттуда, уже в самое последнее время, мы не столько их победили, сколько справили над ними триумф[96].

38. А теперь следует рассказать о свебах, которые не представляют собою однородного племени, как хатты или тенктеры, но, занимая бо́льшую часть Германии, и посейчас еще расчленяются на много отдельных народностей, носящих свои наименования, хотя все вместе они и именуются свебами. Своеобразная особенность этого племени — подбирать волосы наверх и стягивать их узлом; этим свебы отличаются от остальных германцев, а свободнорожденные свебы — от своих рабов. Либо вследствие родственных связей со свебами, либо из подражания им, что имеет довольно широкое распространение, такая прическа встречается и у других племен, но изредка и только у молодежи, тогда как свебы вплоть до седин не прекращают следить за тем, чтобы их стоящие торчком волосы были собраны сзади, и часто связывают их на самой макушке; а у вождей они убраны еще тщательнее и искуснее. В этом забота свебов о своей внешности, но вполне невинная: ведь они прихорашиваются не из любострастия и желания нравиться, но стараясь придать себе этим убором более величественный и грозный вид, чтобы, отправившись на войну, вселять страх во врагов.

39. Среди свебов, как утверждают семноны, их племя самое древнее и прославленное; что их происхождение и в самом деле уходит в далекое прошлое, подтверждается их священнодействиями. В установленный день представители всех связанных с ними по крови народностей сходятся в лес, почитаемый ими священным, поскольку в нем их предкам были даны прорицания и он издревле внушает им благочестивый трепет, и, начав с заклания человеческой жертвы, от имени всего племени торжественно отправляют жуткие таинства своего варварского обряда. Благоговение перед этою рощей[97] проявляется у них и по-другому: никто не входит в нее иначе, как в оковах, чем подчеркивается его приниженность и бессилие перед всемогуществом божества. И если кому случится упасть, не дозволено ни поднять его, ни ему самому встать на ноги, и они выбираются из рощи, перекатываясь по земле с боку на бок. Все эти религиозные предписания связаны с представлением, что именно здесь получило

начало их племя, что тут местопребывание властвующего над всеми бога и что все прочее — в его воле и ему повинуется. Влиятельность семионов подкрепляется их благоденствием: ими заселено сто округов[98], и их многочисленность и сплоченность приводят к тому, что они считают себя главенствующими над свебами.

40. Лангобардам, напротив, стяжала славу их малочисленность, ибо, окруженные множеством очень сильных племен, они оберегают себя не изъявлением им покорности, а в битвах и идя навстречу опасностям. Обитающие за ними ревдигны, и авионы, и англии, и варины, и эвдосы, и свардоны, и нуитоны защищены реками и лесами. Сами по себе ничем не примечательные, они все вместе поклоняются матери-земле Нерте, считая, что она вмешивается в дела человеческие и навещает их племена. Есть на острове[99] среди Океана священная роща и в ней предназначенная для этой богини и скрытая под покровом из тканей повозка; касаться ее разрешено только жрецу. Ощутив, что богиня прибыла и находится у себя в святилище, он с величайшей почтительностью сопровождает ее, влекомую впряженными в повозку коровами. Тогда наступают дни всеобщего ликования, празднично убираются местности, которые она удостоила своим прибытием и пребыванием. В эти дни они не затевают походов, не берут в руки оружия; все изделия из железа у них на запоре; тогда им ведомы только мир и покой, только тогда они им по душе, и так продолжается, пока тот же жрец не возвратит в капище насытившуюся общением с родом людским богиню. После этого повозка, и покров, и, если угодно поверить, само божество очищаются омовением в уединенном и укрытом ото всех озере. Выполняют это рабы, которых тотчас поглощает то же самое озеро. Отсюда — исполненный тайны ужас и благоговейный трепет пред тем, что неведомо и что могут увидеть лишь те, кто обречен смерти.

41. И та часть свебов, о которой я сейчас поведу рассказ, также обитает на землях, простирающихся до самых глубин Германии. Ближе всего, — ибо я буду следовать вниз по Дунаю, как незадолго пред этим следовал по течению Рейна, — племя гермундуров, верное римлянам; по этой причине с ними одними из всех германцев торговля ведется не только на берегу, но и внутри страны, а также в самой цветущей коло-

нии провинции Реции[100]. Они повсюду свободно передвигаются, и мы не приставляем к ним стражи; и если другим племенам мы показываем лишь наше оружие и наши укрепленные лагеря, то для них, не проявляющих ни малейшей жадности, мы открыли наши дома и поместья. В краю гермундуров начинается Альбис, река знаменитая и некогда нам хорошо известная[101], а ныне мы знаем ее только по имени.

42. Рядом с гермундурами живут наристы, потом маркоманы и квады. Особенно прославлены и сильны маркоманы, которые даже свои места поселения приобрели доблестью, изгнав занимавших их ранее бойев. Они как бы передовая застава Германии, поскольку ее граница — Дунай. У маркоманов и квадов еще на нашей памяти сохранялись цари из соплеменников, из знатных родов Маробода и Тудра (теперь они уже мирятся и с чужестранцами), но эти цари располагают силою и могуществом благодаря поддержке из Рима. Изредка они получают от нас помощь оружием, чаще деньгами, но это нисколько не умаляет их власти.

43. Сзади к маркоманам и квадам примыкают марсигны, котины, осы и буры. Из них марсигны и буры наречием и образом жизни схожи со свебами; а что котины и осы не германцы, доказывают их языки, галльский у первых, паннонский у вторых, и еще то, что они мирятся с уплатою податей. Часть податей на них, как на иноплеменников, налагают сарматы, часть — квады, а котины, что еще унизительнее, добывают к тому же железо. Все эти народности обосновались кое-где на равнине, но главным образом на горных кручах и на вершинах гор и горных цепей[102]. Ведь Свебию делит и разрезает надвое сплошная горная цепь, за которою обитает много народов; среди них самые известные — расчленяющиеся на различные племена лугии. Будет достаточно назвать лишь наиболее значительные из них, это — гарии, гельвеконы, манимы, гелизии, наганарвалы. У наганарвалов показывают рощу, освященную древним культом[103]. Возглавляет его жрец в женском наряде, а о богах, которых в ней почитают, они говорят, что если сопоставить их с римскими, то это — Кастор и Поллукс. Такова их сущность, а имя им — Алки. Здесь нет никаких изображений, никаких следов иноземного культа; однако им поклоняются как братьям, как юношам. А теперь о гариях: превосходя силою перечисленные только

что племена и свирепые от природы, они с помощью всевозможных ухищрений и используя темноту, добиваются того, что кажутся еще более дикими: щиты у них черные, тела раскрашены; для сражений они избирают непроглядно темные ночи и мрачным обликом своего как бы призрачного и замогильного войска вселяют во врагов такой ужас, что никто не может вынести это невиданное и словно уводящее в преисподнюю зрелище; ведь во всех сражениях глаза побеждают первыми.

44. За лугиями живут готоны, которыми правят цари, и уже несколько жестче, чем у других народов Германии, однако еще не вполне самовластно. Далее, у самого Океана, — ругии и лемовии; отличительная особенность всех племен — круглые щиты, короткие мечи и покорность царям. За ними, среди самого Океана[104], обитают общины свионов; помимо воинов и оружия, они сильны также флотом. Их суда примечательны тем, что могут подходить к месту причала любою из своих оконечностей, так как и та и другая имеют у них форму носа. Парусами свионы не пользуются и весел вдоль бортов не закрепляют в ряд одно за другим; они у них, как принято на некоторых реках, съемные, и они гребут ими по мере надобности то в ту, то в другую сторону[105]. Им свойственно почитание власти, и поэтому ими единолично, и не на основании временного и условного права господствовать[106], безо всяких ограничений повелевает царь. Да и оружие в отличие от прочих германцев не дозволяется у них иметь каждому: оно всегда на запоре и охраняется стражем[107], и притом рабом: ведь от внезапных набегов врага они ограждены Океаном, а руки пребывающих в праздности вооруженных людей сами собой поднимаются на бесчинства; да и царям не на пользу вверять попечение об оружии знатному, свободнорожденному и даже вольноотпущеннику.

45. За свионами еще одно море[108] — спокойное и почти недвижное, которым, как считают, опоясывается и замыкается земной круг, и достоверность этого подтверждается тем, что последнее сияние заходящего солнца не гаснет вплоть до его восхода и яркость его такова, что им затмеваются звезды[109], да и воображение добавляет к этому, будто при всплытии солнца слышится шум расступающейся пред ним пучины и видны очертания коней и лучезарная голова[110]. Только

до этого места — и молва соответствует истине — существует природа[111]. Что касается правого побережья Свебского моря, то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свебов, а язык — ближе к британскому[112]. Эстии поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже в гуще врагов[113]. Меч у них — редкость; употребляют же они чаще всего дреколье. Хлеба и другие плоды земные выращивают они усерднее, чем принято у германцев с присущей им нерадивостью. Больше того, они обшаривают и море; и на берегу, и на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами они называют глезом. Но вопросом о природе его и как он возникает, они, будучи варварами, не задавались и ничего об этом не знают; ведь он долгое время лежал вместе со всем, что выбрасывает море, пока ему не дала имени страсть к роскоши. У них самих он никак не используется; собирают они его в естественном виде, доставляют нашим купцам таким же необработанным и, к своему изумлению, получают за него цену[114]. Однако нетрудно понять, что это — древесный сок, потому что в янтаре очень часто просвечивают некоторые ползающие по земле или крылатые существа; завязнув в жидкости, они впоследствии оказались заключенными в ней, превратившейся в твердое вещество. Таким образом, я склонен предполагать, что на островах и на землях Запада находятся дубравы и рощи, подобные тем сокровенным лесам на Востоке, где сочатся благовония и бальзамы; из произрастающих в них деревьев соседние лучи солнца[115] выжимают обильный сок, и он стекает в ближайшее море и силою бурь выносится на противолежащие берега. При поднесении к янтарю, ради познания его свойств, огня он вспыхивает как факел, вслед за чем расплавляется, словно смола или камедь. К свионам примыкают племена ситонов. Во всем схожие со свионами, они отличаются от них только тем, что над ними властвует женщина: вот до чего пали ситоны, не говоря уже об утрате свободы, даже в претерпеваемом ими порабощении.

46. Здесь конец Свебии. Отнести ли певкинов, венедов и феннов к германцам или сарматам, право, не знаю, хотя певкины, которых некоторые называют бастарнами, речью, об-

разом жизни, оседлостью и жилищами повторяют германцев. Неопрятность у всех, праздность и косность среди знати. Из-за смешанных браков их облик становится все безобразнее, и они приобретают черты сарматов. Венеды переняли многое из их нравов, ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только ни существуют между певкинами и феннами. Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне. У феннов — поразительная дикость, жалкое убожество; у них нет ни оборонительного оружия, ни лошадей, ни постоянного крова над головой; их пища — трава, одежда — шкуры, ложе — земля; все свои упования они возлагают на стрелы, на которые, из-за недостатка в железе, насаживают костяной наконечник. Та же охота доставляет пропитание как мужчинам, так и женщинам; ведь они повсюду сопровождают своих мужей и притязают на свою долю добычи. И у малых детей нет другого убежища от дикого зверя и непогоды, кроме кое-как сплетенного из ветвей и доставляющего им укрытие шалаша; сюда же возвращаются фенны зрелого возраста, здесь же пристанище престарелых. Но они считают это более счастливым уделом, чем изнурять себя работою в поле и трудиться над постройкой домов и неустанно думать, переходя от надежды к отчаянью, о своем и чужом имуществе; беспечные по отношению к людям, беспечные по отношению к божествам, они достигли самого трудного — не испытывать нужды даже в желаниях[116]. Все прочее уже баснословно: у геллузиев и оксионов головы и лица будто бы человеческие, туловища и конечности — как у зверей; и так как ничего более достоверного я не знаю, пусть это останется нерешенным и мною[117].

ДИАЛОГ ОБ ОРАТОРАХ

1. Ты часто спрашиваешь меня, Фабий Юст, почему предшествующие столетия отличались таким обилием одаренных и знаменитых ораторов, а наш покинутый ими и лишенный славы красноречия век едва сохраняет самое слово ора-

тор; ведь мы называем им только тех, кто жил в древности, тогда как наши умеющие хорошо говорить современники именуются нами судебными стряпчими, защитниками, правозаступниками и как угодно, но только не ораторами. Ответить на твой вопрос и взвалить на себя столь тяжелое бремя его рассмотрения, чтобы пренебрежительно отозваться или о дарованиях наших, если мы не в силах достигнуть того же, или о наших вкусах, если не хотим этого, я бы, по правде говоря, не отважился, если бы был поставлен в необходимость изложить мое собственное суждение; но я намерен ограничиться пересказом беседы красноречивейших по нашим временам людей, при которой я присутствовал, будучи еще юношей, и в которой они обсуждали тот же вопрос. Таким образом, от меня потребуется не какая-то особая проницательность, а память и точность, чтобы воспроизвести со всеми подробностями, с теми же обоснованиями и сохраняя последовательность этого спора, все, что я слышал и что было так тонко продумано и так веско высказано столь замечательными мужами, когда каждый из них в соответствии со своими душевными склонностями и особенностями ума выдвигал противоположные объяснения. Впрочем, был среди них и такой, кто решительно разошелся с общепринятыми воззрениями на красноречие нашего времени и, вдоволь пощипав старину и насмеявшись над нею, поставил его несравненно выше ораторского искусства древних.

2. Так вот, на другой день после публичного чтения Куриацием Матерном своего «Катона», поскольку, как говорили, он навлек на себя неудовольствие располагающих властью[1], ибо, развивая свою трагедию, забыл о себе и помышлял лишь о Катоне, и толками об этом был полон весь Рим, к Матерну пришли Марк Апр и Юлий Секунд, тогдашние светила в нашем судебном мире. Что до меня, то я усердно слушал и того и другого не только в судах, но и у них на дому, и, сверх того, неизменно сопровождал их в общественные места, охваченный поразительной жаждой к учению и какой-то юношеской увлеченностью; мне хотелось запечатлеть в себе даже их обыденные разговоры, а также ученые споры и доверительные беседы с глазу на глаз, хотя многие по злобе считали, что речь Секунда лишена плавности, а Апра прославили в красноречии скорее дарование и природные данные, чем образован-

ность и начитанность в литературе. Но в действительности и речь Секунда была чистой и сжатой и в той мере, в какой это необходимо, достаточно плавной, и Апр, насквозь пропитанный всевозможными знаниями, скорее презрительно относился к литературе, чем был в ней несведущ, считая, что достигнет гораздо большей славы за трудолюбие и старательность, если будет казаться, что его дарование не поддерживается опорами, позаимствованными из других наук и искусств.

3. Итак, мы вошли в занимаемый Матерном покой и застали его сидящим с книгой в руках, той самою, которую он накануне публично прочел.

Тогда Секунд произнес: «Ужели, Матерн, тебя нисколько не устрашили наговоры завистников и тебе по-прежнему любы нападки твоего Катона? Или, быть может, ты взялся за свое сочинение, чтобы тщательнее поразмыслить над ним и, убрав все подавшее повод к злонамеренному истолкованию, издать "Катона" если не в лучшем, то, по крайней мере, в более безопасном виде?»

На это Матерн ответил: «Ты прочтешь в нем то, что Матерн счел своим долгом высказать, и обнаружишь все, что уже слышал. И если Катон что-нибудь упустил, то в следующем публичном чтении скажет об этом Фиест[2]; трагедию о нем я уже мысленно наметил и набросал. И я тороплюсь поскорее выпустить в свет "Катона", чтобы, освободившись от этой заботы, отдаться всей душою новому замыслу».

«И тебе не надоели вконец эти трагедии? — заметил Апр. — Забросив судебные тяжбы и речи по ним, ты отдаешь все свое время то Медее[3], то, как сейчас, Фиесту, тогда как тебя призывают на форум дела стольких друзей, стольких подзащитных из колоний и муниципиев? Тебя едва ли бы хватило на них, даже если бы ты не взвалил на себя новой задачи добавить Домиция[4] и Катона, то есть тех, кто принадлежит нашей истории и носит римские имена, к побасенкам гречишек»[5].

4. На это Матерн сказал: «Я был бы обеспокоен суровостью твоего замечания, если б у нас с тобой не происходили по этому поводу частые, больше того, постоянные стычки, превратившиеся почти что в привычку. Ибо и ты не перестаешь преследовать и задевать поэтов, и я, кого ты упрекаешь

в уклонении от судебных речей, ежедневно выполняю обязанности защитника, отстаивая от тебя искусство поэзии. Поэтому я бесконечно рад, что у меня появился новый судья[6], который или воспретит мне впредь сочинять стихи, или, напротив, побудит меня своим веским решением покинуть теснины судебных дел, в которых я пролил столько пота, и отдаться более возвышенной и более священной разновидности красноречия»[7].

5. «Я же, — сказал Секунд, — прежде чем Апр отведет меня как судью, последую примеру честных и добросовестных судей, у которых в обычае отказываться от рассмотрения таких дел, относительно которых им заведомо ясно, какой стороне они отдадут свою благосклонность. Кому неизвестно, что нет никого, с кем бы я был связан теснее, и в силу давнишней дружбы, и вследствие длительной жизни вместе, чем Салей Басс, прекраснейший человек и великолепный поэт, и если поэтическому искусству будет предъявлено обвинение, то другого, более подходящего подсудимого я не вижу».

«Пусть успокоится, — проговорил Апр, — и Салей Басс, и всякий, кто занимается поэзией и ищет славы на поэтическом поприще, раз судебных дел он вести не может. И поскольку для разрешения этого спора...[8] найден третейский судья, я не допущу, чтобы ради защиты Матерна к его процессу были приобщены другие, но буду порицать перед всеми лишь его одного, ибо, прирожденный оратор в полном смысле этого слова, наделенный даром неподдельного мужественного красноречия, через которое мог бы приобрести и сохранить многих друзей, завязать связи, защитить провинции, он оставил это занятие, хоть в нашем государстве невозможно представить себе другое более плодотворное, учитывая его полезность, более приятное, учитывая даруемое им наслаждение, более достойное, учитывая сопряженное с ним положение, более заманчивое, учитывая громкую славу в городе Риме, более блестящее, учитывая известность во всей империи и у всех народов. И если во всех наших замыслах и поступках мы должны руководствоваться соображениями их житейской полезности, то существует ли что-нибудь столь же бесспорно полезное, как занятие этим искусством, вооружившись которым ты всегда несешь защиту друзьям, помощь

посторонним, спасение тем, кто на краю гибели, тогда как в завистников и недругов вселяешь боязнь и страх, сам вне опасности, как бы огражденный пожизненной властью и таким же могуществом? Сила и полезность этого искусства познаются в том, что оно — прибежище и оплот для других; если же зашевелится подстерегающая тебя самого опасность, то, право, панцирь и меч — опора в бою нисколько не лучшая, чем красноречие для пребывающих под судом и находящихся на краю гибели, — ведь оно и оборонительное, и наступательное оружие, которым можно как отражать удары, так и разить, будь то в суде, или в сенате, или у принцепса. Что иное противопоставил недавно Эприй Марцелл неприязненности сенаторов, как не свое красноречие?[9] Препоясавшись им, грозный им, он взял верх над мудростью даже умевшего говорить, но неопытного и неумелого в схватках такого рода Гельвидия. О полезности красноречия я больше распространяться не буду; полагаю, что и мой друг Матерн с этой стороны меньше всего станет меня оспаривать.

6. Перехожу к наслаждению, даруемому подлинно ораторским красноречием; оно — не мимолетное удовольствие и ощущается не от случая к случаю, а постоянно, почти всякий день и почти всякий час. В самом деле, может ли что-либо быть приятнее и дороже свободной, благородной и созданной для возвышенных наслаждений душе, чем видеть свой дом заполненным целой толпою самых блестящих людей? И знать, что их привлекают не деньги хозяина, и не то, что он бездетен и не имеет наследников, и не необходимость являться к нему по обязанности[10], но он сам, и ничто иное? Больше того, — что и бездетные старики, и богачи, и могущественные люди приходят, как это чаще всего бывает, к молодому и бедному, чтобы поручить ему ведение в суде существенно важных дел, как своих собственных, так и своих друзей? Может ли несметное богатство и безграничное могущество хоть в малой мере возместить это наслаждение: видеть пред собой людей опытных и почтенного возраста, пользующихся влиянием во всем мире и располагающих в изобилии всеми благами земными, но вместе с тем признающих, что у них нет того, что всего лучше?[11] А множество ожидающих твоего выхода и затем сопровождающих тебя именитых граждан! А какое великолепное зрелище в общественном месте! Какое

уважение в судьях! Какая радость подняться со своего места и стоять перед хранящими молчание и вперившими взгляды в тебя одного! А народ сходится и растекается вкруг оратора и проникается чувствами, какие ты внушаешь ему! Но я перечисляю хорошо известные радости, открытые и взорам непосвященных; а ведь еще сильнее и бесценнее те, что запрятаны глубже и доступны лишь говорящему. Если он выступает с хорошо обдуманной и тщательно отделанной речью, то и в том, как он ее произносит, и в его радостных переживаниях есть особого рода непоколебимость и твердость; если же он оглашает не без некоторого душевного трепета произведение новое, только что завершенное, то самое волнение придает для него особую ценность успеху и обостряет испытываемое им наслаждение. Но ни с чем не сравнимое удовольствие — выступление без предварительной подготовки и самое сознание смелости и дерзания. Ибо с дарованием происходит то же, что и с плодами на поле; как бы долго за иными из них ни ухаживали и сколько бы труда к их выращиванию ни прилагалось, приятнее все же те, что рождаются сами собой.

7. Что до меня, то я не так радовался, признаться, в тот день, когда был удостоен пурпурной полосы на тунике[12], и не в те, когда, человек безвестный и новый и к тому же происходящий из племени, отнюдь не отмеченного благоволением Римского государства[13], получил квестуру, или трибунат, или претуру, как в те счастливые для меня дни, в которые мне выпадало, сколь бы посредственным и ничтожным ни было мое умение говорить, либо благополучно защитить подсудимого, либо удачно выступить на судебном разбирательстве пред центумвирами[14], либо доказать самому принцепсу невиновность влиятельных императорских вольноотпущенников и прокураторов и добиться их оправдания[15]. В такие дни мне казалось, что я возношусь и над трибунатом, и над претурою, и над консульством и владею тем, что может быть только моим собственным порождением, и не передается по завещанию, и не приходит по чьей-либо милости. Больше того! Существует ли другое искусство, известность которого, равно как и расточаемые ему похвалы могут быть сопоставлены со славою ораторов? Больше того! Не знамениты ли они в городе и не только среди торговых и занятых другими де-

лами людей, но и среди юношей и даже подростков, наделенных хотя бы некоторыми способностями и рассчитывающими на свои силы? А чьи имена прежде всего сообщают своим детям родители? Кого называет по имени и на кого указывает пальцем этот темный, неискушенный в науках люд, этот прикрытый одною туникою[16] народ? И пришельцы, и чужестранцы, наслышанные о них еще у себя в муниципиях и колониях, едва вступив в пределы города Рима, принимаются разыскивать их и жаждут увидеть их своими глазами.

8. Осмелюсь утверждать, что тот самый Эприй Марцелл, о котором я только что говорил, или Вибий Крисп (я охотнее привожу примеры из недавнего прошлого и еще свежие в памяти, чем далекие от нас и забытые) даже где-нибудь на краю света пользуется не меньшей известностью, нежели в Капуе или Верцеллах, откуда, как говорят, они родом[17]. И эту известность доставило им не состояние в двести миллионов сестерциев у одного и в триста у другого, хотя до такого богатства они дожили, по-видимому, только благодаря красноречию, но их красноречие как таковое; и хотя его божественное происхождение и небесная мощь во все века, сколько бы их ни протекало, явили на многих примерах, сколь высоко вознесла некоторых сила их дарования, я удовольствуюсь, как сказал выше, лишь ближайшими к нам, для ознакомления с которыми не требуются свидетельства из чужих уст, а нужны только глаза, чтобы их рассмотреть. Ведь чем более убогой и жалкой была обстановка, в которой родились эти люди, чем неприкрытее были нищета и нужда в самом насущном, окружавшие их после рождения, тем ярче и нагляднее для доказательства полезности красноречия явленные ими примеры, ибо, лишенные всякой поддержки со стороны предков, не располагая ни малейшими средствами, при том, что ни тот ни другой не отличались безупречностью нравов, а второй из них к тому же наделен безобразной наружностью, они уже многие годы не имеют в Римском государстве равных себе по влиятельности и, пока им было угодно, первенствовали в наших судах, а теперь первенствуют среди тех, кого Цезарь[18] обласкал своей дружбой, и действуют во всем и распоряжаются всем как им заблагорассудится, отмеченные особо уважительным отношением к ним самого принцепса; ибо Веспасиан, старец почтеннейший[19] и с величайшей тер-

пимостью прислушивающийся ко всякому правдивому слову, хорошо понимает, что все остальные его приближенные находят опору лишь в том, что́ ими получено от его щедрот и что́ он может по своему усмотрению отобрать и раздать другим, тогда как Марцелл и Крисп отдали его дружбе только такое, чего не получили от принцепса и что́ получить от него вообще невозможно. Среди столь многих и столь существенных преимуществ их положения ничтожное значение имеют их изображения и выбитые в их честь памятные надписи и их статуи, хотя ими тоже не пренебрегают, как и богатством и имуществом, — ведь легче найти таких, кто их порицает, чем тех, кому они и в самом деле не по душе. И мы видим, что этими почетными отличиями, украшениями и бесценными сокровищами заполнены дома тех, кто с ранней юности отдал себя деятельности в суде и ораторскому искусству.

9. Ведь поэзия и стихи, которым Матерн хочет полностью посвятить жизнь (отсюда и проистекла вся моя речь), не снискивают своим творцам никаких отличий и званий и не приносят роду людскому никакой осязательной пользы; порождаемое ими наслаждение быстротечно, а слава — призрачна и бесплодна. Пусть то, что я сейчас собираюсь произнести, и все, что намерен сказать в дальнейшем, покоробит, Матерн, твой слух, но, право, служит ли ко благу кому-нибудь, что Агамемнон или Ясон изъясняются у тебя красиво и убедительно? Кто благодаря этому возвратится домой оправданным и в связи с этим обязанным тебе благодарностью? Кто провожает нашего Салея, превосходного поэта, либо, если так будет еще почтительнее, наиславнейшего песнопевца, или встречает его приветствиями, или следует за ним по пятам? Но если у кого-нибудь из его друзей или родственников или у него самого возникнет то или иное дело в суде, он, без сомнения, обратится к тому же Секунду или к тебе, Матерн, и не потому, конечно, что ты поэт, и не ради того, чтобы ты сочинил в его защиту стихи; они создаются в доме самого Басса, и даже прекрасные и прелестные, но все это ведет лишь к тому, что, трудясь над ними в течение целого года все дни напролет и значительную часть ночи, он, написав и отделав в величайшем напряжении книгу, вынужден к тому же упрашивать и заискивать, чтобы найти таких, кто соизволил

бы прослушать ее; но и это дается не без известных затрат: ведь он нанимает дом, соответствующим образом оборудует помещение, берет напрокат скамьи, рассылает приглашения. И если его чтение увенчает даже самый блестящий успех, все эти похвалы продолжаются день, другой и не приносят никаких ощутимых и явных плодов, подобно растению, сорванному в ту пору, когда оно еще ничем не отличается от травы или только в цвету; и его творение не доставляет ему ни друзей, ни клиентов, ни прочно укоренившегося в чьей-либо душе чувства признательности, но только невнятный шум, и пустые возгласы, и мимолетную радость. Недавно мы превозносили щедрость Веспасиана, называя ее редкостной и поразительной, ибо он пожаловал Бассу пятьсот тысяч сестерциев. Прекрасно, разумеется, заслужить своим дарованием благоволение принцепса; но насколько прекраснее, если этого потребуют имущественные дела, возложить заботу о них на себя самого, быть в долгу лишь перед самим собою, быть одаряемым только собственными щедротами! Добавь к этому, что поэтам, если они хотят усердно трудиться над созданием чего-нибудь и в самом деле достойного, нужно отказаться от общения с друзьями и городских удовольствий, нужно бросить все остальные занятия и, как говорят они сами, удалиться в леса и рощи, то есть уединиться[20].

10. Но одобрение и громкая слава — а домогаются они только этого и только в этом, по их словам, видят единственную награду за все положенные ими труды — более благосклонны к ораторам, чем к поэтам; ведь посредственные поэты никому не известны, а хороших знают лишь очень немногие. И бывало ли, чтобы молва о чтении какого-нибудь на редкость замечательного произведения захватила весь Рим? Тем более, чтобы она дошла до провинций? Много ли таких, кто, прибыв в Рим из Испании или Азии (не говоря уже о наших земляках галлах)[21], стал бы разыскивать, скажем, Салея Басса? А если кто и предпримет такие розыски, то, увидев его один-единственный раз, довольствуется этим и тотчас уходит прочь, как если бы ему довелось посмотреть на какую-нибудь статую или картину. Но я не хотел бы, чтобы мои слова были превратно поняты и обо мне думали, будто я стараюсь отвратить от поэзии также и тех, кому природа отказала в ораторском даровании, но кто может занятием

этого рода усладить свой досуг и покрыть свое имя славою. Ведь я считаю все разновидности красноречия священными и заслуживающими величайшего уважения и нахожу, что не только возвышенности вашей трагедии и звучности героических поэм, но и очарованию лириков, и игривости элегий, и горечи ямбов[22], и остроумию эпиграмм, и любому другому виду поэзии, на какие только распадается красноречие, должно быть отдано предпочтение перед занятиями всеми другими искусствами. Но у нас с тобой, Матерн, речь идет о том, что, хотя твои природные дарования возносят тебя в самое святилище красноречия, ты предпочитаешь блуждать из стороны в сторону и, постигнув высшее, ограничиваешься более доступным и легким. И если бы местом твоего рождения была Греция, где считается почетным даже сценическое искусство[23], и боги одарили тебя могучим телосложением и силою Никострата, то и в этом случае я бы не потерпел, чтобы ты расслаблял свои громадные, созданные для кулачного боя руки легким дротиком и метанием диска; так и теперь я призываю тебя из помещений для публичного чтения и из театров на форум и на судебные разбирательства, к настоящим сражениям, тем более что ты не можешь прибегнуть к доводу, на который так часто ссылаются, а именно, что занятие поэзией не столь чревато опасностью вызвать неудовольствие, как ораторское искусство. Ведь в тебе бурлят силы твоей великолепной природы, и ты навлекаешь на себя неудовольствие, не отстаивая кого-нибудь из друзей, а, что гораздо опаснее, — прославляя Катона. И твои выпады не могут быть оправданы необходимостью, в которую ты был поставлен своими обязанностями, или верностью своему долгу защитника, или порывом, увлекшим тебя при произнесении случайной и внезапной для тебя самого речи; напротив, всякому очевидно, что ты обдуманно выбрал своим героем столь знаменитую личность, ибо хотел, чтобы вложенные тобою в ее уста речи обладали особой вескостью. Предвижу, что мне можно ответить: "Вот это и порождает единодушное одобрение и именно это превозносится в помещениях для публичного чтения и затем становится предметом всех разговоров". Раз так, то перестань извинять себя соображениями спокойствия и безопасности — ведь ты бросаешь вызов противнику, который сильнее тебя. А что касается нас, то мы

удовольствуемся выступлениями по частным и относящимся к нашему времени тяжбам, при разборе которых если когда и появится необходимость ради спасения подвергшегося опасности друга оскорбить уши тех, кто наделен властью, то и наша преданность доставит нам одобрение и наша дерзость будет сочтена извинительной».

11. Высказав это с обычной для него горячностью и убежденностью, Апр умолк, и тогда спокойно, с улыбкою на устах заговорил Матерн: «Я готовился обвинять ораторов не менее пространно, чем их превозносил Апр (ведь я полагал, что, покончив с их восхвалением, он накинется на поэтов и обрушит на поэтическое творчество громы и молнии), но, дозволив сочинять стихи тем, кто не способен к произнесению судебных речей, он довольно ловко умерил мой пыл. Что до меня, то, хотя я и способен достигнуть кое-чего выступлениями в суде и, быть может, даже добиться в этом успеха, но вместе с тем и публичное чтение сочиненных мною трагедий нашло благосклонный прием и осенило меня первым отблеском славы, когда я ниспроверг в “Нероне” всесильного до того негодяя Ватиния, своими стишками осквернявшего святость поэзии, и если ныне я и мое имя пользуются кое-какой известностью, то она создана скорее славой моих стихов, чем речей. А теперь я решил окончательно отойти от трудов на судебном поприще, и меня так же мало привлекают упоминавшееся здесь обилие встречающих и провожающих и толпы приветствующих, как мои медные статуи и другие изображения, которые, вопреки моему нежеланию, все же прорвались в мой дом[24]. Ведь общественное положение и безопасность каждого надежнее оберегаются его незапятнанностью, чем собственным или чужим красноречием; и я не боюсь, что мне придется когда-нибудь говорить в сенате при иных обстоятельствах[25], чем защищая того, кому грозит гибель.

12. А дубравы и рощи и пресловутое уединение, на которое напустился Апр, доставляют мне такую отраду, что одну из наиболее привлекательных сторон стихотворства я склонен усматривать в том, что стихи слагаются не в шуме, когда перед дверью торчит истец, не среди рубищ[26] и плача ответчиков; для этого нужно, чтобы дух удалился в первозданно чистые и ничем не поруганные края и, пребывая в этом святилище, наслаждался созерцанием окружающего; таковы

истоки подлинного вдохновенного красноречия, такова изначальная его сущность; в таком обличии и облачении, благожелательное к роду людскому, оно излилось впервые в еще целомудренные и не тронутые пороками человеческие сердца; и именно так вещали оракулы. А что касается хорошо знакомого нам своекорыстного и кровожадного красноречия, то оно вошло в употребление лишь недавно[27], порожденное порчею нравов и придуманное, чтобы служить, как ты, Апр, выразился, оружием. Но в том счастливом или, если сохранить принятое у нас наименование, золотом веке, бедном ораторами и преступлениями, изобиловали поэты и прорицатели, дабы было кому воспевать благостные деяния, а не для того, чтобы защищать дурные поступки. Но никто не пользовался большей славою, чем они, и никому не воздавался столь безграничный почет, сначала у богов, на пиршествах которых, как говорили, они присутствовали и ответы которых передавали людям, а затем и у знаменитых, рожденных богами и священных царей. И среди этих поэтов и прорицателей мы не найдем ни одного судебного стряпчего, но зато — Орфея и Лина и, пожелай ты заглянуть глубже, то и самого Аполлона[28]. Впрочем, если это кажется тебе чересчур баснословным и пустой выдумкой, то уж конечно, Апр, ты не станешь оспаривать, что Гомер почитается потомками не менее, чем Демосфен, и что известность Еврипида и Софокла не замыкается в более тесных пределах, чем известность Лисия и Гиперида. А ныне, сверх того, ты обнаружишь больше таких, кто не прочь скорее отказать в славе Цицерону, чем Вергилию; и ни одно сочинение Азиния Мессалы не прославлено так, как "Медея" Овидия или "Фиест" Бария.

13. Больше того, я не побоюсь сопоставить жребий поэтов и их столь благостное общение с музами с тревожной и всегда настороженной жизнью ораторов. Пусть борьба и опасности, в которых они пребывают, доводят их порою до консульства, но мне милее безмятежное уединение, какое избрал для себя Вергилий[29], что нисколько не помешало ему снискать у божественного Августа благосклонность, а среди римского народа — известность. Свидетели этого — письма Августа, свидетель — сам римский народ, который, прослушав в театре стихи Вергилия, поднялся как один и воздал случайно присутствовавшему между зрителями Вергилию такие

почести, как если б то был сам Август. Да и в наше время Помпоний Секунд не уступит Домицию Афру ни в значительности занимаемого им положения, ни в прочности славы. А что завидного в жребии твоего Криспа или твоего Марцелла, которых ты мне приводишь в пример? То, что они живут в постоянном страхе и нагоняют страх на других? То ли, что от них ежедневно требуют помощи, и те, кому они ее не оказывают, негодуют на них? Что, обреченные льстить, они никогда не кажутся властителям в достаточной мере рабами, а нам — достаточно независимыми? В чем же заключается такое могущество? Таким могуществом обычно располагают и вольноотпущенники. Так пусть же сладостные музы, как назвал их Вергилий, перенесут меня, удалившегося от треволнений и забот и необходимости ежедневно совершать что-нибудь вопреки желанию, в свои святилища, к своим ключам[30]; и да не буду я больше, трепеща и покрываясь мертвенной бледностью в ожидании приговора молвы, испытывать на себе власть безумного и своекорыстного форума. Пусть меня не будит говор явившихся с утренним приветствием или запыхавшийся вольноотпущенник; да не стану я, одолеваемый сомнениями относительно будущего, писать завещание по образцу поручительства[31]; пусть мое состояние не превышает того, что я мог бы беспрепятственно завещать тем, кому пожелаю (ведь роковой день настигнет когда-нибудь и меня), пусть на памятнике, поставленном на моей могиле, я буду не скорбный и не суровый, а веселый и увенчанный лавровым венком, и пусть, наконец, никто не добивается сенатского постановления об увековечении моей памяти и не вымаливает на это согласия принцепса»[32].

14. Едва Матерн кончил свою взволнованную и как бы внушенную вдохновением речь, как в его покой вошел Випстан Мессала и, заподозрив по сосредоточенному выражению лиц всех присутствовавших, что между ними происходит весьма значительный разговор, сказал: «Я появился, по-видимому, не вовремя и помешал вашему тайному совещанию, на котором вы обсуждали, что следует предпринять по какому-то занимающему вас судебному делу».

«Нисколько, нисколько, — отозвался Секунд, — напротив, мне очень жаль, что ты появился только сейчас, а не раньше; ты бы получил огромное удовольствие от тщатель-

но продуманной речи нашего Апра, побуждавшего Матерна обратить все свое дарование и усердие исключительно на судебное красноречие, а также от ответного слова Матерна, отстаивавшего свою возлюбленную поэзию, как и подобает поэтам, в страстной, смелой и больше похожей на поэму, чем на ораторское выступление, отповеди».

«Конечно, — сказал Мессала, — эта беседа подарила бы мне безграничное наслаждение, но меня восхищает и то, что вы, почтеннейшие мужи и лучшие ораторы нашего времени, оттачиваете свои дарования не только в судебных тяжбах и упражняясь в искусстве декламации, но и вступая в споры этого рода, дающие пищу уму и доставляющие приятнейшее, насыщенное ученостью и литературою, развлечение, и не только вам, спорящим об этих предметах, но и всякому, кто вас слушает. Итак, считая, что, составив жизнеописание Юлия Африкана и тем самым вселив в нас надежду на появление в недалеком будущем многих книг этого рода, ты, Секунд, заслуживаешь величайшего одобрения, я, право же, нахожу, что Апр в не меньшей мере заслуживает порицания за то, что все еще не расстался со школьнической приверженностью к пустым словопрениям и предпочитает заполнять свой досуг по примеру новейших риторов, а не древних ораторов».

15. На это Апр заметил: «Ты не перестаешь, Мессала, восхищаться лишь старинным и древним, а над творениями нашего времени насмехаешься и ни во что их не ставишь. Ибо речи, подобные только что сказанному, я уже слышал не раз, когда, забыв о красноречии своем собственном и твоего брата[33], ты утверждал, что в наши дни нет ни одного подлинного оратора, делая это, я полагаю, тем решительнее и смелее, что не боялся упрека в злокозненности, поскольку сам себе отказывал в славе, которой тебя венчают другие».

«И в своих словах я отнюдь не раскаиваюсь, — ответил Мессала, — ведь и Секунд, и Матерн, да и ты сам хотя порою и спорите со мною, доказывая обратное, однако думаете, полагаю, совсем по-иному, и я бы очень хотел, чтобы кто-либо из вас разобрался, в чем причины этого разительного различия между былым и нынешним красноречием, и поделился с нами своими выводами, — ведь и я немало размышляю о том же. И то, что некоторых утешает, вызывает во мне еще

большее недоумение, ибо я вижу, что похожее произошло и у греков, и прославленный Никет Сацердот или кто другой, докучающий Митиленам или Эфесу хором славословящих его во весь голос учеников, отстоит от Эсхина и Демосфена еще дальше, пожалуй, чем Апр и Африкан, или вы сами отошли от Цицерона или Азиния».

16. «Ты затронул, — сказал Секунд, — очень важный вопрос, заслуживающий всестороннего рассмотрения. Но кто же способен разрешить его лучше, чем ты, к величайшей учености и проницательнейшему уму которого в этом случае присоединились к тому же любознательность и упорные размышления о том же предмете?»

«Хорошо, я выскажу свои мысли, — ответил Мессала, — но сначала я хочу получить от вас обещание, что и вы примете деятельное участие в предстоящем нам обсуждении».

«За двоих, — сказал Матерн, — готов поручиться, ибо и я и Секунд возьмем на себя освещение тех сторон и частностей, которые, как мы понимаем, ты не столько упустил из виду, сколько оставил для нас. Что же касается Апра, то он обычно отстаивает взгляды, противоположные нашим, и, как только что ты отметил, — да это очевидно и по всему его облику, — уже давно приготовил оружие, чтобы схватиться с нами, и никоим образом не безразличен к нашему единодушному восхвалению древности».

«Разумеется, я не потерплю, — заявил Апр, — чтобы, заранее вступив в сговор, не выслушав и не дав возможности представить свои оправдания, вы осудили наш век. Но прежде я должен услышать от вас, кого вы называете древними, какое поколение ораторов разумеете под этим обозначением? Ведь когда я слышу о древних, то представляю себе живших в пору седой старины и родившихся очень давно и перед моими глазами возникают Одиссей и Нестор, время жизни которых отстоит от нашего приблизительно на тысячу триста лет; вы же указываете на Демосфена и Гиперида, блиставших, как хорошо известно, при Филиппе и Александре и переживших и того и другого. Из чего явствует, что поколение Демосфена отделено от нашего тремястами с немногим годами. Этот отрезок времени при сопоставлении с нашей телесной немощностью, быть может, и кажется продолжительным, но, соотнеся его с действительной длительностью

веков и принимая во внимание, сколь безграничен во времени каждый из них, мы поймем, что он крайне ничтожен и что Демосфен где-то совсем рядом с нами. Ибо, если, как пишет в "Гортензии"[34] Цицерон, великим и настоящим годом надлежит считать только тот, когда повторяется то же положение небесного свода и звезд, а такой год охватывает двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре отрезка времени[35], именуемых нами годами, то окажется, что Демосфен, о котором вы воображаете, что он старинный и древний, появился на свет не только в том же году, что мы, но и в том же месяце.

17. Но перехожу к латинским ораторам, из которых, как я думаю, вы противопоставляете нашим умеющим хорошо говорить современникам не Менения Агриппу, несмотря на то, что его можно счесть древним, но Цезаря, и Цицерона, и Целия, и Кальва, и Брута, и Азиния, и Мессалу; но мне непонятно, почему вы относите их скорее к древности, чем к нашему времени. Ибо, если остановиться хотя бы на Цицероне, то он был убит в консульство Гирция и Пансы, в седьмой день до декабрьских ид[36], как сказано у его вольноотпущенника Тирона, а это — тот самый год, в котором божественный Август поставил консулами вместо Пансы и Гирция себя самого и Квинта Педия. Прибавь пятьдесят шесть лет, отданных затем божественным Августом управлению государством; присчитай еще двадцать три года, приходящихся на Тиберия, почти четыре года — на Гая[37], дважды по четырнадцать лет — на Клавдия и Нерона, всего один-единственный, но бесконечно долгий год императорской власти Гальбы, Отона и Вителлия и, наконец, пять с лишним лет нынешнего счастливого принципата, в течение которых Веспасиан пестует Римское государство; таким образом, со времени гибели Цицерона по этот день набирается сто двадцать лет, т. е. один человеческий век. Ибо я сам видел в Британии старца, признавшегося, что он принимал участие в битве, в которой британцы напали на прибывшего к ним с войском Цезаря, надеясь прогнать его с побережья и сбросить в море. И получается, что, если бы его, сопротивлявшегося с оружием в руках Цезарю, занесли в Рим или плен, или добрая воля, или какая-нибудь превратность судьбы, он мог бы слышать и самого Цезаря, и Цицерона и даже присутствовать на наших судебных процессах. При раздаче последнего конгиария мы

видели нескольких стариков, рассказывавших, что они — кто раз, кто дважды — получили конгиарий, розданный божественным Августом. Из чего следует, что они могли слышать и Корвина и Азиния, ибо Азиний дожил до середины правления Августа, а Корвин — почти до его конца. Так не делите же столетие на две половины и не именуйте древними тех ораторов, которых могли слышать уши одних и тех же людей, ибо эти люди имеют достаточно оснований связывать и объединять их и нас в одно целое.

18. Я предпослал такое вступление, чтобы показать, что если благодаря широкой известности и славе этих ораторов древность превозносится восхвалениями, то она обязана этим тем из них, кто находится между нею и нами и ближе к нам, чем к Сервию Гальбе или Гаю Карбону и всем прочим, сколько их ни есть, кого мы можем по справедливости назвать древними, — ведь они и в самом деле — дикие, и неотесанные, и невежественные, и в сущности никакие не ораторы; о, если бы им ни в чем и никогда не подражали ваш возлюбленный Кальв, или Целий, или сам Цицерон! Я собираюсь высказать вещи еще более решительные и смелые, но сначала хочу отметить, что формы и разновидности ораторской речи меняются вместе со временем. Так, по сравнению с Катоном Старшим Гай Гракх содержательнее и глубже, по сравнению с Гракхом Красс утонченнее и изящнее, по сравнению с ними обоими Цицерон яснее, образованнее и возвышенней, а Корвин мягче и доступнее Цицерона, и к тому же требовательнее к себе в выборе выражений. Я не стану доискиваться, кто из них самый красноречивый; пока мне было достаточно доказать, что у красноречия не всегда одно и то же лицо, но что и у тех, кого вы именуете древними, обнаруживаются бесчисленные его оттенки, и тот, кто резко отличается от остальных, отнюдь не обязательно самый худший, и только в силу присущего людям порока недоброжелательства все старое неизменно расхваливается, а все современное вызывает пренебрежение. Но сомневаемся ли мы в том, что нашлись и такие, кого Аппий Слепой восхищал больше Катона? Хорошо известно, что даже у Цицерона не было недостатка в хулителях, которым он представлялся высокопарным, надутым, недостаточно четким, лишенным чувства меры и мало аттическим. Вы, конечно, прочли письма Кальва и Брута к

Цицерону[38]; из них легко усмотреть, что Кальв казался Цицерону худосочным и бесстрастным, а Брут — бессодержательным и разбросанным, да и Кальв, в свою очередь, порицал Цицерона за расслабленность и вялость, а Брут, если воспользоваться его собственными словами, — за бессилие и отсутствие мужественности. Если ты пожелаешь знать мое мнение, то я считаю, что все они говорили сущую правду. Но к отдельным ораторам я перейду несколько позже, а сейчас должен рассмотреть их всех в совокупности.

19. Поскольку среди поклонников древних укоренилось мнение, что конец древнему красноречию положил Кассий Север, которому они это вменяют в вину и который, по их словам, первым свернул с проторенного и прямого пути ораторского искусства[39], я утверждаю, что он перешел к этой новой разновидности ораторской речи не из-за скудости своего дарования и невежественности, а совершенно сознательно и руководствуясь здравым смыслом. Ибо он увидел, что вместе с приносимыми временем сдвигами в обстоятельствах и общественных вкусах должны быть изменены, о чем я сказал несколько раньше, также форма и самое содержание ораторской речи. В былые дни наш неискушенный и еще совсем темный народ с легкостью выносил нескончаемые длинноты крайне тяжеловесных речей, и всякий, кто безостановочно проговорил полный день, уже этим одним вызывал его восхищение. Ведь тогда были в большой чести пространные предуведомления ко вступлениям, и начинаемое издалека изложение дела во всех его мельчайших подробностях, и расчленение повествования на бесчисленное множество разделов и подразделов, и целая лестница из тысячи доводов и доказательств, и все прочее, чему только ни поучали на редкость сухие книги Гермагора и Аполлодора[40]; а если кто-нибудь казался хотя бы понюхавшим философии и к тому же включал в свою речь крупицы ее, того превозносили чуть ли не до небес. И неудивительно: ведь все это было новым и доселе неведомым, да и между самими ораторами лишь ничтожно малая часть была знакома с предписаниями риторов и положениями философов; но когда и то и другое стало достоянием поистине всех и каждого, когда в кругу слушающих оратора едва ли найдется такой, кто бы, если он и не имеет глубоких познаний, не был во всяком случае наслышан

об их основах, для красноречия необходимы новые и более тщательно проложенные пути, дабы оратор не нагонял скуку на слушателей и особенно на тех судей, которые ведут разбирательство, творя насилие и пользуясь своей властью, а не в соответствии с правом и законами, и не предоставляют ему нужного времени, полагая, что им незачем ждать, пока он соизволит заговорить о существе дела, но часто одергивают его и призывают к порядку, когда он уклоняется в сторону, и не стесняются во всеуслышание заявлять, что они торопятся.

20. Кто теперь потерпит оратора, начинающего речь с рассказа о своих немощах? А ведь таковы начала почти всех выступлений Корвина. У кого хватит терпения прослушать пять книг "Против Верреса"?[41] Кто способен выдержать целые и притом огромные сочинения об оговорке и формуле[42], которые мы читаем в речах "В защиту Марка Туллия" или "В защиту Авла Цецины"[43]. В наше время судья обгоняет оратора и, если не будет захвачен и подкуплен цепью приводимых им доводов или красочностью высказываемых суждений, или блеском и яркостью описаний, перестанет следить за его словами. Даже толпа присутствующих на суде и случайные, забредшие мимоходом слушатели привыкли требовать от судебной речи занимательности и красоты и не больше стали бы мириться с тем, чтобы в судах царила суровая и грубая старина, чем если бы кто-нибудь вздумал подражать на подмостках телодвижениям Росция или Амбивия Турпиона. Ведь ныне уже и юноши, и те, кто, пребывая в горниле учения, ради собственного усовершенствования ходят по пятам за ораторами, желают не только прослушать их речи, но и унести с собою домой что-нибудь замечательное и достойное запоминания; и они сообщают друг другу и нередко пишут в свои колонии и провинции, если в остроумном и кратком суждении блеснет какая-нибудь глубокая мысль или то или иное высказывание засверкает своим изысканным и поэтическим облачением. Больше того, от оратора требуется и умение привести к месту стихи, а не какую-нибудь ветошь из Акция или Пакувия, а что-нибудь извлеченное из священной сокровищницы Горация, или Вергилия, или Лукана. Так, считаясь со вкусами и приговорами современников, и возникло поколение наших ораторов, овладевших более красивою и изящною речью. И наши выступления от того, что воспри-

нимаются судьями с удовольствием, не стали менее убедительными. Ведь не сочтешь же ты современные храмы менее прочными, потому что они возводятся не из беспорядочных глыб и кирпича грубой выделки, а сияют мрамором и горят золотом?

21. Признаю́сь вам откровенно, что при чтении некоторых древних ораторов я едва подавляю смех, а при чтении других — сон. И из всего их сонма я имею в виду не какого-нибудь Кануция или Аттия, но, не говоря уже о Фурнии и Торании[44], и всех тех, у которых, как если бы они пребывали в одной больнице, одинаково торчат кости и которые одинаково худосочны; да и сам Кальв, оставивший после себя, сколько я знаю, двадцать одно ораторское произведение, едва удовлетворяет меня в одной-двух небольших речах. Я вижу, что и все остальные не возражают против моего приговора: ведь кто же теперь читает речи Кальва "В защиту Азиция" или "В защиту Друза"? Но все-таки в руках всех изучающих красноречие находятся его речи, именуемые "Против Ватиния", и особенно вторая из них; в ней есть и слова, и мысли, все, чему полагается быть, и она приспособлена ко вкусам судей, так что нетрудно заметить, что и сам Кальв понимал, как добиваться лучшего, и что ему недоставало не стремления выразиться возвышенней и изящнее, а дарования и сил. А речи Целия? Ведь среди них нам, полностью или частями, нравятся только те, в которых мы ощущаем блеск и возвышенность современного красноречия. Но низменные слова, и бессвязное построение, и неуклюжие предложения отдают седой стариной; и я думаю, что не найдется ни одного столь ярого любителя древности, который стал бы хвалить в Целии именно то, в чем он больше всего устарел. Разумеется, мы простим Гаю Цезарю, что, вынашивая великие замыслы и постоянно погруженный в дела, он достиг в красноречии меньшего, чем от него требовал его божественный гений, равно как уступим, право же, Бруту его возлюбленной философии; ведь речи менее всего доставили ему славу, и это признают даже его поклонники. Кто же читает речь Цезаря "В защиту Децидия Самнита" или речь Брута "В защиту царя Дейотара"[45] и другие их ораторские произведения, отличающиеся той же медлительностью и вялостью, кроме тех, кто восхищается, пожалуй, и их стихами? Ведь они сочиняли так-

же стихи и сдавали их на хранение в библиотеки; сочиняли они не лучше Цицерона, но оказались удачливее его, ибо о том, что они их сочиняли, знает меньше народу[46]. И даже Азиний, хотя и родился уже не в столь отдаленное от нас время, кажется мне трудившимся в пору Менения и Аппия. А уж Пакувию и Акцию он подражал не только в своих трагедиях, но и в речах, — настолько он угловат и сух. А между тем, как и человеческое тело, прекрасна только та речь, в которой не выпирают жилы и не пересчитываются все кости, в которой равномерно текущая и здоровая кровь заполняет собою члены и приливает к мышцам, и ее алый цвет прикрывает сухожилия, сообщая прелесть и им. Я не хочу нападать на Корвина, потому что не от него зависело придать своим речам свойственные лишь нашему времени живость и блеск, и все же мы видим, что сил его души и дарования с избытком хватило для выполнения тех задач, которые он себе ставил.

22. Перехожу к Цицерону, у которого шли такие же сражения с его современниками, какие у меня с вами. Ведь они восхищались древними, а он предпочитал красноречие своего времени. И ни в чем он не ушел так далеко от ораторов своего поколения, как во вкусе. Он первым стал заботиться об украшении ораторской речи, первый обратил внимание на выбор наиболее подходящих слов и на искусство их сочетания; он решился включать в изложение более живые места и создал некоторое количество метких выражений, особенно в тех речах, которые сочинил уже стариком и под конец жизни, т. е. после того как добился многого и благодаря своим навыкам и опытности постиг, какая разновидность красноречия наилучшая. Ибо прежние его речи не свободны от пороков глубокой древности: он расплывчат в началах, слишком пространен в изложении, безучастен к концу; он медленно раскачивается, редко воспламеняется; лишь немногие периоды он заканчивает удачно и с некоторым блеском. Ничего у него нельзя позаимствовать, ничего запомнить, и все в целом напоминает стену грубо возведенного здания: она, пожалуй, прочна и долговечна, но шероховата и не излучает сияния. Я же хочу, чтобы оратор уподобился богатому и рачительному главе семейства, заботящемуся не только о том, чтобы его жилище было под крышей, которая защищала бы от дождя и ветра, но чтобы оно также радовало взор и глаза; не только

в том, чтобы обставить его лишь тою утварью, какая необходима для удовлетворения насущных потребностей, но чтобы в его убранстве было и золото, и серебро, и драгоценные камни, дабы их можно было взять в руки и любоваться ими всякий раз, как только захочется. Конечно, из речи нашего времени кое-что должно быть изгнано прочь, как приевшееся и устарелое: пусть в ней не будет ни единого изъеденного ржавчиной слова, пусть не будет и предложений, вялых и неуклюжих, скроенных по образцу, принятому составителями анналов; пусть оратор решительно избегает в ней отвратительного и пошлого шутовства, пусть, наконец, разнообразит ее построение и не заканчивает периодов всегда и везде на одинаковый лад.

23. Не хочу потешаться над колесом Фортуны, или правопорядком Верреса[47], или втиснутым в каждый третий период решительно всех речей в качестве подводящего итог выражения итак, очевидно[48]. Ведь и эти примеры я привел неохотно и еще большее число их опустил, а между тем только этим одним восхищаются и лишь этому подражают все те, кто именует себя последователями древних ораторов. Я не стану называть их имена и удовольствуюсь лишь упоминанием об этом разряде людей; ведь они у вас всегда перед глазами — это те, кто предпочитает читать не Горация, а Луцилия, не Вергилия, а Лукреция, кому столь блестящие писатели, как Авфидий Басс или Сервилий Нониан, по сравнению с Сизенною или Варроном кажутся жалкими пачкунами, кто с презрением отвергает сборники наших риторов и в восторге от речей Кальва. И когда они разглагольствуют на старинный лад пред судьею, на разбирательство не стекаются слушатели, не слушает их и народ, да и едва выносит даже сам тяжущийся, за которого они выступают. Бесконечно унылые и бесцветные, они достигают той пресловутой "здравости" красноречия, которою так похваляются, не изобилием силы, а ее скудостью. Но, как считают врачи, немногого стоит здоровое тело, если оно наделено робкой душой; мало не быть больным; я хочу, чтобы человек был смел, полнокровен, бодр; и в ком хвалят только его здоровье, тому рукой подать до болезни. Вы же, красноречивейшие мужи, прославьте наш век, как только можете, как уже делаете, прекраснейшей разновидностью ораторского искусства. Ибо я вижу, что и ты, Мессала,

заимствуешь у древних лишь самое светлое, и вы, Матерн и Секунд, блестяще сочетаете глубокое содержание с великолепием слога; вам присущи такая утонченная изобретательность, такая последовательность в изложении, такая, когда требует дело, велеречивость, такая, когда оно допускает, краткость, такая убедительность в выводах; вы так выражаете свои чувства, так умеете удержаться на грани дозволенного, что, даже если бы зависти и недоброжелательству удалось временно очернить эту нашу оценку, правду о вас все-таки скажут потомки».

24. После того как Апр закончил, Матерн сказал: «Узнаете ли вы мощь и горячность нашего Апра? С какой страстностью, с каким пылом защищал он наш век! Какую неиссякаемость и разнообразие проявил в нападках на древних! С какими не только дарованием и остроумием, но также ученостью и искусством, которые он у них позаимствовал, на них же накинулся! И все же не подобает тебе, Мессала, отступиться от своего обещания. Мы не требуем, чтобы ты выступил защитником древних или кого-либо из нас; и хотя мы только что удостоились похвалы, у нас и в помыслах нет равнять себя с теми, на кого ополчился Апр. Да он и сам не думает того, что утверждает, но по старинному обыкновению, которого нередко придерживались и наши философы, взял на себя обязанность во что бы то ни стало отстаивать противоположные общепринятым взгляды. Итак, не занимайся восхвалением древних (ведь они достаточно восхваляемы своей славою), но объясни, почему мы так далеко отошли от их красноречия, хотя из расчета времени вытекает, что со дня гибели Цицерона минуло только сто двадцать лет».

25. Тогда начал Мессала: «Я последую указанным тобою, Матерн, путем; да и незачем пространно возражать Апру, который, по-моему, в первую очередь спорит против названия, — не пристало будто бы называть древними тех, кто, как известно, жил за сто лет до нас. Препираться из-за слова я не намерен: пусть называет их хоть древними, хоть предками, хоть еще по-иному, как ему больше нравится, лишь бы им было признано, что красноречие той поры превосходит наше. Не стану опровергать и еще одно выдвинутое им положение, ибо и сам нахожу, что не только на протяжении различных столетий, но и в пределах одного и того же возникло

множество разновидностей красноречия. Но подобно тому как первенство среди ораторов Аттики безоговорочно отводится Демосфену, а ближайшее к нему место занимают Эсхин, и Гиперид, и Лисий, и Ликург и это поколение ораторов с общего согласия считается наиболее выдающимся, так и наш Цицерон опередил в красноречии остальных ораторов своего времени, тогда как Кальв, и Азиний, и Цезарь, и Целий, и Брут по праву ставятся выше и предшественников, и тех, кто жил после них. И несущественно, что между ними отмечаются некоторые отличия, раз в основном они сходны. В Кальве больше сжатости, в Азинии — остроумия, в Цезаре — четкости, в Целии — язвительности, в Бруте — основательности, в Цицероне — страстности, полноты и мощи. Однако все они отличаются здравостью своего красноречия, так что, взяв в руки речи любого из них, чувствуешь, что при всем различии дарований их объединяет некое сходство и общность вкусов и направления. И если они неприязненно относились друг к другу, а в их письмах есть кое-какие места, в которых проглядывает взаимное недоброжелательство, то это порок не ораторов, но людей. Ибо, по-моему, и Кальву, и Азинию, и самому Цицерону нередко доводилось испытывать ревность и жгучую зависть, и вообще они не были свободны от присущих человеческому несовершенству пороков; единственный среди них, кому, как я считаю, были неведомы зависть и недоброжелательство, — это Брут, откровенно и искренне высказывавший все, что было у него на душе. Ужели завидовал Цицерону тот, кто не завидовал, как мне кажется, даже Цезарю с его безграничным могуществом? Что же касается Сервия Гальбы и Гая Лелия или кого другого из древних, которых не упустил задеть Апр, то тут не требуется защитника, ибо готов признать, что их только нарождавшееся и еще не достигшее зрелости красноречие и в самом деле не было лишено кое-каких изъянов.

26. Но если, оставив в стороне этот наилучший и совершеннейший род красноречия, я был бы вынужден избрать какую-нибудь иную форму ораторского искусства, то для меня предпочтительнее неистовость Гая Гракха или зрелое спокойствие Луция Красса, чем кудрявость Мецената и бубенчики Галлиона: все-таки много лучше одеть речь в грубошерстную тогу, чем обрядить ее в кричащее тряпье улич-

ной женщины. Ведь недостойно оратора и, право же, отнюдь не мужское дело облачать речь в одеяние, которым очень многие судебные стряпчие нашего времени пользуются столь широко, что непристойностью слов, легковесностью мыслей и произволом в ее построении воспроизводят песенки лицедеев. И нельзя слушать без содрогания, как в доказательство своей славы и даровитости очень многие бахвалятся тем, что их изделия распевают и пляшут. Отсюда проистекает и отвратительное, чудовищное, но частое утверждение, будто ораторы наши сладострастно говорят, а лицедеи — красноречиво пляшут. Не стану отрицать, что Кассий Север — единственный, кого решился назвать Апр, — если сравнить его с жившими позже, и в самом деле может быть назван оратором, хотя в значительной части своих речей он обнаруживает больше желчи, чем крови. Ведь, будучи первым, кто пренебрег последовательностью в построении речи и нарушил скромность и целомудрие в выборе выражений, он не овладел как следует тем оружием, которое применял, и чаще всего, встретив сопротивление, поникает духом и в общем не столько сражается, сколько бранится. И все же, как я сказал, по сравнению с последовавшими за ним он широтою учености, и утонченностью остроумия, и мощью своего дарования намного превосходит всех прочих, кого Апр не осмелился ни назвать, ни вывести в бой. А между тем я ожидал, что, забросав обвинениями Азиния, и Целия, и Кальва, он выставит перед нами целый отряд и назовет многих или по крайней мере стольких же, с тем чтобы мы могли противопоставить такого-то Цицерону, такого-то Цезарю и каждого каждому. Но, обругав древних ораторов поименно, он этим и удовольствовался и не решился похвалить тех, кто за ними следовал, иначе как скопом и в общем и в целом, опасаясь, как я предполагаю, обидеть многих, выделив нескольких. Но кто же из едва приступивших к изучению красноречия не тешит себя убеждением, что, безусловно превосходя Цицерона, он уступает в даровании только Габиниану? А я не побоюсь назвать каждого по отдельности, дабы из приведенных мною примеров стало яснее, через какие ступени прошло красноречие на пути к своему нынешнему упадку и вырождению».

27. «Погоди, — сказал Матерн, — лучше исполни свое обещание. Ведь мы не нуждаемся в доказательствах, что древ-

ние были красноречивее, чтó, для меня по крайней мере, не подлежит сомнению, но хотим разобраться в причинах этого, а ты, как сказано тобой несколько выше, постоянно размышляешь о них; правда, пока Апр не обидел тебя своими нападками на твоих предшественников и предков[49], ты говорил спокойнее и не с таким раздражением против современного красноречия».

«Я нисколько не обижен резкостью моего Апра, — ответил Мессала, — да и вам не следует обижаться, если и впредь он чем-нибудь заденет ваш слух; ведь вы хорошо знаете, что таков закон бесед этого рода — высказывать свои убеждения не в ущерб дружеским чувствам».

«Продолжай, — сказал Матерн, — и когда станешь говорить о древних ораторах, делай это с древнею прямотой, от которой мы отошли еще дальше, чем от древнего красноречия».

28. На это Мессала сказал: «Причины, которых ты, Матерн, доискиваешься, не скрыты от взора и хорошо известны и тебе самому, и Секунду, и Апру, хоть вы и обязали меня высказаться о том, чтó нам и так понятно и ясно. Кто же не знает, что и красноречие, и другие искусства пришли в упадок и растеряли былую славу не из-за оскудения в дарованиях, а вследствие нерадивости молодежи, и беспечности родителей, и невежества обучающих, и забвения древних нравов? Это зло сначала возникло в Риме, затем охватило Италию, а теперь уже проникает в провинции. Впрочем, ваши дела вам виднее. Я же буду говорить только о Риме и о наших местных пороках, которые заражают нас с часа рождения и множатся по мере того, как мы поднимаемся по ступеням жизни; но прежде я скажу несколько слов о том, с какой строгостью и требовательностью обучали и воспитывали детей наши предки. Ибо некогда в каждой римской семье сын, родившийся от порядочной женщины, возрастал не в каморке на руках покупной кормилицы, а окруженный попечением рачительной матери, которую больше всего хвалили за образцовый порядок в доме и неустанную заботу о детях. Подыскивалась также какая-нибудь пожилая родственница, чьи нравы были проверены и признаны безупречными, и ей вручался надзор за всеми отпрысками того же семейства; в ее присутствии не дозволялось ни произнести, ни сделать такое, что считается непристойным или

бесчестным. И мать следила не только за тем, как дети учатся и как выполняют свои другие обязанности, но и за их развлечениями и забавами, внося в них благочестие и благопристойность. Мы знаем, что именно так руководили воспитанием сыновей и мать Гракхов Корнелия, и мать Цезаря Аврелия, и мать Августа Атия, взрастившие своих детей первыми гражданами Римского государства. И эти строгость и требовательность в обучении приводили к тому, что чистая, целостная и не извращенная никакой порчей природа каждого тотчас же с жадностью усваивала возвышенные науки и, если ее влекло к военному делу, или к законоведению, или к занятиям красноречием, полностью отдавалась лишь избранной ею области знания и исчерпывала ее до дна.

29. А теперь новорожденного ребенка препоручают какой-нибудь рабыне-гречанке, в помощь которой придаются один-два раба из числа самых дешевых и не пригодных к выполнению более существенных дел. Их россказни и заблуждения впитывают в себя еще совсем нежные и восприимчивые детские души; и никто во всем доме не задумывается над тем, чтó именно они говорят и делают в присутствии своего юного господина. Да и сами родители приучают малолетних детей не к добропорядочности и скромности, а к распущенности и острословию, и вот незаметно в их души вкрадываются бесстыдство и презрение и к своему, и к чужому. И наконец, особенно распространенные и отличающие наш город пороки — страсть к представлениям лицедеев, и к гладиаторским играм, и к конным ристаниям — как мне кажется, зарождаются еще в чреве матери; а в охваченной и поглощенной ими душе отыщется ли хоть крошечное местечко для добронравия? Найдешь ли ты в целом доме кого-нибудь, кто говорил бы о чем-либо другом? Слышим ли мы между юношами, когда нам доводится попасть в их учебные помещения, разговоры иного рода? Да и сами наставники чаще всего болтают со своими слушателями о том же; и учеников они привлекают не своей требовательностью и строгостью и не своими проверенными на опыте дарованиями, а искательными посещениями с утренними приветствиями и приманками лести.

30. Опущу начальное обучение; впрочем, скажу все же о том, что и оно требует от учащихся слишком мало усилий;

ведь они не прилагают достаточного труда ни для ознакомления с творениями великих писателей, ни для понимания древности, ни для познания вещей и людей, а также событий прошлого. Все торопятся как можно скорее перейти к тем, кого именуют риторами. Предполагая чуть дальше остановиться на том, когда именно в нашем городе впервые обосновались люди этого ремесла и сколь малое уважение оказывали им наши предки, я нахожу, что сейчас мне следует мысленно перенестись к той науке, которая, как мы знаем, усердно изучалась теми ораторами, чей бесконечный труд, и повседневное размышление, и непрерывные занятия всеми, какие только ни существуют, отраслями науки засвидетельствованы и их собственными сочинениями. Вам, конечно, известно сочинение Цицерона, которое носит название "Брут"[50] и в заключительной части которого (ибо предыдущая содержит в себе повествование о древних ораторах) он рассказывает о своих первых шагах в учении, о своих успехах и как бы историю развития и совершенствования его красноречия: гражданское право он изучил у Квинта Муция; все разделы философии основательно усвоил у Филона Академика и Диодота Стоика[51]; но, не удовольствовавшись этими преподавателями, которых ему пришлось слушать в Риме, перебрался в Ахайю и в Азию[52], чтобы охватить все многообразие всех известных наук. И действительно, по сочинениям Цицерона можно установить, что ему поистине не были чужды ни геометрия, ни музыка, ни грамматика, ни любая другая из высоких наук. Он знал до тонкостей диалектику, знал, как применить с пользой раздел философии, разбирающий, что́ есть нравственность, знал движение явлений и их причины. Да, наилучшие мужи, да, из этой величайшей учености и множества наук и знания всего сущего проистекает и разливается полноводной рекою это поразительно щедрое красноречие; ведь мощь и богатство оратора не замыкаются, как все прочее, в тесных и узких пределах, но настоящий оратор — лишь тот, кто может говорить по любому вопросу красиво, изящно и убедительно, сообразно значительности предмета, на пользу современникам и доставляя наслаждение всякому, кто его слушает.

31. И древние твердо усвоили это и понимали, что для достижения такой цели нужны не декламации в школах ри-

торов и не упражнение языка и гортани в надуманных и никоим образом не соприкасающихся с действительностью словесных схватках, а обогащение души такими науками, в которых идет речь о добре и зле, о честном и постыдном, о справедливом и несправедливом; ведь только с этим приходится иметь дело оратору. Ибо в суде мы почти всегда толкуем о справедливости, на совещаниях — о пользе, при произнесении похвальных речей — о честности и в большинстве случаев связываем и перемешиваем одно с другим. Но говорить обо всем этом пространно, разнообразно и убедительно может лишь тот, кто познал человеческую природу, и могущество добродетелей, и извращенность пороков, и смысл всего остального, что́ не причисляется ни к добродетелям, ни к порокам. Из этих источников проистекает и прямая поддержка, ибо знающий, что́ есть гнев, может легче разжечь или смягчить разгневанного судью, а знающий, что́ есть милосердие, — легче склонить его к состраданию. Вот какие науки и упражнения поглощают оратора, и выпадет ли на его долю выступать перед судьями, враждебно настроенными, или перед пристрастными, перед завистливыми или перед угрюмыми, или перед боязливыми, он должен чувствовать, что́ у них в глубине души, и, взявшись за поводья, соразмерять стремительность своей речи с тем, к чему больше привержена их природа, имея при этом в запасе любые средства и готовый применить их при первой необходимости. Существуют судьи, которым внушает больше доверия сжатый, собранный и тотчас снабжающий выводом отдельные доказательства род красноречия, — здесь принесут пользу прилежные занятия диалектикой. Другим больше по вкусу речь многословная, ровная и исходящая из обыденных мыслей и чувств; чтобы воздействовать на таких, давайте позаимствуем у перипатетиков[53] подходящие к случаю и для любого судебного разбирательства заранее подобранные места. Академики[54] снабдят нас задором, Платон — возвышенностью, Ксенофонт — живостью, а если потребуют обстоятельства, то пусть не будут чужды оратору и иные добропорядочные высказывания даже Эпикура и Метродора[55]. Ведь мы поучаем не философа и не приверженца стоиков, а того, кому необходимо некоторые науки знать досконально, а остальные только отведать. Вот почему старинные ораторы усваивали

науку гражданского права и впитывали в себя и грамматику, и музыку, и геометрию. Ведь случаются судебные разбирательства — и их больше всего, да и почти все такие, — для ведения которых требуется знание гражданского права, но при многих других желательно также знакомство и с остальными науками.

32. И пусть никто не вздумает ответить на это, что нам достаточно, если в этом возникнет нужда, изучить что-нибудь простое и относящееся только к определенному случаю. Во-первых, мы совершенно по-разному пользуемся своей личною собственностью и взятым нами со стороны, и сразу бросается в глаза различие между тем, кто высказывается, владея своим предметом, и тем, кто призанял сведения у других. Затем, знание многих наук, даже если мы говорим о совсем ином, украшает, а также отмечает и выделяет нас, когда мы и не помышляем об этом. И это понимает не только просвещенный и мыслящий слушатель, но и народ, тотчас же воздающий нам похвалу и тем самым свидетельствующий, что тот, кто выступает пред ним, и в самом деле учился как следует, превзошел все разделы красноречия, наконец, что он — настоящий оратор; и я утверждаю, что стать оратором может лишь тот — и никто другой никогда им не становился, — кто приходит на форум, вооруженный всеми науками, как если бы он шел в бой, запасшись необходимым оружием. Но этим настолько пренебрегают современные краснобаи, что в их судебных выступлениях встречаются отвратительные и постыдные ошибки, присущие повседневной речи; они невежественны в законах, не знают сенатских постановлений, больше того, потешаются над гражданским правом и испытывают величайший страх перед изучением философии и наставлениями философов. Как бы изгнанное из своего царства красноречие они сводят к крайне скудному кругу мыслей и нескольким избитым суждениям, и оно, которое некогда, властвуя над всеми науками, наполняло сердца блеском своего окружения, ныне ощипанное и обкорнанное, утратившее былую пышность, былой почет, почти лишившееся, я бы сказал, своего благородства, изучается как одно из самых презренных ремесел. Я считаю это первой и главной причиной, почему мы так далеко отошли от красноречия древних ораторов. Если нужны свидетели, то назову ли я сре-

ди греков кого-нибудь, кто внушал бы больше доверия, чем Демосфен, относительно которого передают, что он был усерднейшим слушателем Платона?[56] И Цицерон, сколько мне помнится, именно в таких словах говорит, что всем, чего он достиг в красноречии, он обязан не заведениям риторов, а садам Академии[57]. Существуют и другие причины, значительные и важные, но было бы справедливо, если бы их вскрыли вы сами, поскольку я уже выполнил взятые на себя обязанности, и по своему обыкновению обидел достаточно многих, которые, если бы им довелось выслушать это, сказали бы, я уверен, что, восхваляя знание законоведения и философии как необходимое для оратора, я наградил рукоплесканиями свои собственные никчемные и бессмысленные занятия».

33. На это Матерн заметил: «А мне кажется, что ты не выполнил принятой на себя обязанности; больше того, как мне кажется, ты лишь приступил к ее выполнению и, так сказать, только расставил точки и провел кое-какие линии. Правда, ты говорил, какими науками старались вооружиться ораторы прошлого, и показал различие между нашими леностью и невежеством и их напряженнейшими и плодотворнейшими занятиями; теперь, однако, я жду дальнейшего и, выслушав от тебя, в чем именно они были сведущи, а мы не сведущи, хочу точно так же узнать, какими упражнениями, становясь юношами и готовясь ступить на судебное поприще, они старались поддерживать и растить свои дарования. Не станешь же ты отрицать, полагаю, что красноречие опирается не только на научные знания, но в еще большей мере — на способности и на опыт, с чем, судя по выражению лиц, согласны и остальные». И после того как Апр и Секунд подтвердили, что таково и их мнение, Мессала, как бы начиная новую речь, сказал: «Поскольку истоки и корни красноречия, сообщив, какими науками старались вооружиться и просветить себя ораторы прошлого, я показал, по-видимому, с достаточной полнотой, перейду теперь к их упражнениям. И хотя занятия науками включают в себя упражнение, все же постигнуть такое множество столь глубоких и разнообразных предметов никто не может иначе, как сочетая знание с размышлением, размышление со способностями и способности с опытом в красноречии. Отсюда следует, что способ постижения того,

что высказываешь, и высказывания того, что постигаешь, — один и тот же. А если кому-нибудь это кажется темным и он отграничивает знание от упражнения, то пусть такой согласится хотя бы с тем, что вооруженный и заполненный этими науками дух придет гораздо более подготовленным к тем упражнениям, которые, как очевидно, — неотъемлемая принадлежность ораторов.

34. Так вот, юношу, предназначившего себя к политической деятельности и судебному красноречию, по завершении домашнего обучения, которое снабдило его обильными познаниями в благородных науках, отводили у наших предков отец или родственники к самому знаменитому во всем государстве оратору[58]. У этого юноши входило в привычку постоянно находиться при нем, повсюду сопровождать его и присутствовать при всех его выступлениях в суде и в народных собраниях, ловя каждое его слово во время прений сторон и в жарких спорах с противниками, — короче говоря, он учился сражаться, так сказать, прямо на поле боя. И это сразу же наделяло таких юношей большим опытом, похвальным упорством, исключительной проницательностью в суждениях, — ведь их наставницей была сама жизнь, и свою науку они одолевали в гуще ожесточенной борьбы, где никто не может безнаказанно произнести ничего глупого, ничего несуразного, что́ не было бы сразу отклонено судьей, осмеяно противником и отвергнуто даже друзьями. Таким образом, эти юноши постигали подлинное и ничем не извращенное красноречие и, хотя они сопровождали лишь одного и того же, тем не менее при рассмотрении самых различных тяжб и всевозможных судебных дел знакомились с речами всех защитников своего времени; они также располагали возможностью изучать бесконечно разнообразные вкусы народа, благодаря чему могли с легкостью определить, что́ именно в том или ином ораторе находит его одобрение, а что́ не нравится. Итак, у них был учитель, и даже наилучший из всех, который показывал им истинное лицо красноречия, а не его подобие, пред ними были его противники и соперники, сражавшиеся с ним мечами, а не учебными палками[59], была и толпа пришедших его послушать, каждый раз новых, неприязненных или благосклонных и поэтому подмечавших все его удачи и провалы. Ведь, как вы знаете, настоящую и прочную славу красноречие

обретает не меньше у наших противников, чем у сторонников; больше того, именно так оно набирается силы и там же закрепляется и держится с большей устойчивостью. И юноша, о котором мы говорим, воспитанный такими наставниками, выученик столь крупных ораторов, внимательный слушатель всего, что говорится на форуме, усердный посетитель судов, овладевший своим искусством и с ним освоившийся на примере других, изучивший законы, так как их ежедневно при нем оглашают, знающий судей в лицо, присмотревшийся к царящим на народных собраниях нравам, потому что они постоянно у него пред глазами, хорошо осведомленный во вкусах народа, поскольку ему не раз приходилось их наблюдать, право же, сможет самостоятельно справиться с любым делом в суде, возьмет ли он на себя обвинение или защиту. На девятнадцатом году от роду Луций Красс выступил против Гая Карбона, на двадцать первом — Цезарь против Долабеллы, на двадцать втором — Азиний Поллион против Гая Катона, лишь немного превосходивший его возрастом Кальв — против Ватиния, — и с такими речами, которые и ныне мы читаем все еще с восхищением.

35. А теперь наших подростков отводят в школы так называемых риторов, впервые появившихся у нас незадолго до времени Цицерона и пришедшихся не по душе нашим предкам, что явствует из отданного им цензорами Крассом и Домицием приказания закрыть, как говорит Цицерон, эту "школу бесстыдства"[60]. Итак, повторяю, наших подростков отводят в школы, в которых, затрудняюсь, право, сказать, что́ пагубнее — самое место, соученики или способ занятий — действует на их души. Что касается места, то в нем нет ничего внушающего благоговения, потому что те, кто его посещают, равно несведущи; в соучениках тоже нет ничего назидательного, так как мальчики среди мальчиков и подростки среди подростков с одинаковой беспечностью и говорят, и выслушиваются другими[61]; а что до упражнений, то они чаще всего только вредны. В самом деле, ведь у риторов занимаются лишь речами двух видов — свасориями и контроверсиями[62], свасории как якобы несомненно более легкие и не требующие зрелости мысли поручаются мальчикам, а контроверсии — более зрелым, и на какие поистине несообразные, какие нелепые темы![63] И на такую надуманную, ото-

рванную от жизни тему все же сочиняется декламация. Вот и выходит, что в школе ежедневно произносятся речи о наградах тираноубийцам[64], или о выборе, предоставляемом претерпевшими насилие девушками своим похитителям[65], или о мерах пресечения моровой язвы[66], или о кровосмесительных связях матерей с сыновьями[67], или о чем-либо ином в этом же роде, что рассматривается в суде или исключительно редко, или вообще никогда; но перед настоящими судьями...[68]

36. ...обдумывать дело, нельзя было высказать ничего бездоказательного, ничего легковесного. Для великого красноречия, как и для пламени, нужно то, что его питает, — нужны дуновения, придающие ему силу, и, лишь окрепнув, оно начинает отбрасывать яркие отблески. Наличие этих условий и в нашей общественной жизни породило красноречие древних. Ведь если даже современные нам ораторы достигли всего, что оно может дать в упорядоченном, спокойном и процветающем государстве, то среди былых смут и былой необузданности[69] им казалось, что они добиваются еще большего, ибо при общем смятении и отсутствии наделенного верховной властью правителя всякий оратор мнил о себе в меру своей способности воздействовать на мечущийся народ. Отсюда непрерывные предложения новых законов и домогательства народного расположения, отсюда народные собрания и выступления на них магистратов, проводивших едва ли не всю ночь на трибунах, отсюда обвинения и предание суду именитых граждан и враждебность, питаемая по отношению к целым родам, отсюда происки знатных и непрерывная борьба сената с простым народом. И хотя все это само по себе вносило разлад в государство, однако оттачивало и щедро вознаграждало, как казалось ораторам, их красноречие, ибо чем лучше тот или иной из них владел словом, тем легче добивался избрания на почетные должности, тем больше, отправляя их, выдвигался среди своих сотоварищей, тем бóльшую благосклонность снискивал себе у первых людей государства, бóльшую влиятельность у сенаторов, бóльшую известность и большее расположение у простого народа. Таких ораторов осаждали просившие о защите и покровительстве, и не только соотечественники, но и чужеземцы[70], их боялись отправлявшиеся в провинции магистраты, обхаживали возвратившиеся оттуда; казалось, что без всяких усилий

с их стороны им прямо в руки плывут претуры и консульства, и они, даже сложив по миновании срока свои обязанности, не лишались власти и направляли сенат и народ своими советами и своим влиянием[71]. И в конце концов они убедили себя, что без помощи красноречия никто в нашем государстве не может ни достигнуть заметного и выдающегося положения, ни удержать его за собою. И неудивительно, раз даже вопреки желанию их вынуждали выступать перед народом, раз, подавая голос в сенате, нельзя было ограничиться односложным высказыванием, но от каждого требовалось, насколько позволяли ему дарование и красноречие, обосновать свое мнение, раз, представ перед судом из-за клеветнического навета или выдвинутого против них обвинения, они должны были лично держать ответ, раз даже свидетельские показания нельзя было дать заочно и в письменном виде, а нужно было присутствовать на разбирательстве и произнести их собственными устами. Таким образом, к огромным, доставляемым красноречием преимуществам добавлялась также прямая необходимость в нем, и если обладать даром слова считалось блистательным и достохвальным, то, напротив, казаться немым и безъязыким — постыдным.

37. Итак, древние стремились хорошо говорить, побуждаемые к этому не менее честолюбием, чем сопряженными с красноречием выгодами: никто не хотел числиться скорее среди нуждающихся в защите, чем среди оказывающих ее, утрачивать на пользу другому унаследованные от предков связи[72] и либо вовсе не добиваться избрания на почетные должности, как бы признаваясь тем самым в лености и непригодности к ним, либо, добившись их, плохо справляться с ними. Не знаю, приходилось ли вам держать в руках те сочинения древних, которые и поныне хранятся в библиотеках любителей старины, а в наши дни с особенным усердием собираются Муцианом; им подобрано и уже издано, насколько я знаю, одиннадцать книг "Судебных речей" и три книги "Посланий"[73]. Из этих сочинений нетрудно понять, что Гней Помпей и Марк Красс возвысились, опираясь не только на войско и силу оружия, но также и на свои дарования и красноречие, что Лентулы, и Метеллы, и Лукуллы, и Курионы, и вся остальная когорта прославленных мужей древности отдавали занятию им много труда и старания и что никто в те

времена не мог достигнуть большого могущества, не обладая хотя бы некоторым красноречием. К этому присоединялись и занимаемое подсудимыми видное положение, и значительность судебных процессов, что само по себе тоже много дает красноречию. Ибо большая разница, предстоит ли тебе говорить о краже, о формуле, об интердикте[74] или о подкупе избирателей на народном собрании, об ограблении союзников, об умерщвлении римских граждан[75]. Конечно, было бы лучше, если бы преступления этого рода никогда не происходили, и наилучшим следует признать такое государственное устройство, при котором подобное вообще не случается, но поскольку они все-таки происходят, красноречие извлекает из них необходимую для него пищу. Ведь в зависимости от важности дела возрастает мощь дарования, и никто не может выступить с блестящей и яркой речью, пока не возьмется за способный вдохновить на нее судебный процесс. Демосфена, я полагаю, прославили не те речи, что он произнес против своих опекунов[76], и знаменитым оратором делают Цицерона не его выступления в защиту Публия Квинктия и Лициния Архия; настоящую славу принесли ему речи против Катилины[77], в защиту Милона, против Верреса[78] и Антония[79]. Я указываю на это отнюдь не с намерением утверждать, что государству стóит терпеть дурных граждан, дабы ораторы находили для себя обильную пищу и им было о чем говорить, но ради того, чтобы мы хорошо помнили, о чем я не перестаю повторять, какой вопрос мы разбираем, и знали, что нас занимает предмет, для которого наиболее благоприятны смутные и беспокойные времена. Кому не известно, что полезнее и лучше наслаждаться благами мира, чем выносить невзгоды войны? Тем не менее хорошие воины порождаются главным образом войнами, а не миром. То же и с красноречием. Ибо чем чаще оно, так сказать, скрещивает оружие, чем больше ударов наносит и получает, чем более сильных противников и более ожесточенные схватки само для себя избирает, тем возвышеннее и внушительнее становится и, прославленное этими битвами, вырастает в глазах людей, устроенных природою таким образом, что, находясь в безопасности, они любят следить за опасностями, угрожающими другому.

38. Перехожу к принятым в древних судах порядкам. Хотя нынешние суды более приспособлены для выяснения исти-

ны, однако форум былых времен предоставлял красноречию больше простора — ведь там не ограничивали ораторов всего несколькими часами, беспрепятственно предоставляли отсрочки[80], каждый сам устанавливал размер своего выступления, и заранее не определялось ни количество дней, отводимых на судебное разбирательство, ни число защитников. Первым в свое третье консульство урезал эти свободы и как бы надел узду на красноречие Гней Помпей, однако так, чтобы все вершилось на форуме, все по законам, все у преторов; все важнейшие дела некогда всегда рассматривались у них, и это подтверждается тем, что подведомственные центумвирам дела, которым ныне отводится первое место, настолько затмевались блеском других судов, что ни Цицерон, ни Цезарь, ни Брут, ни Целий, ни Кальв, ни, наконец, кто другой из крупных ораторов не обнародовали ни одного своего выступления пред центумвирами; единственное исключение — речи Азиния, именуемые "В защиту наследников Урбинии", но они были произнесены Поллионом в середине правления божественного Августа, после того как долгие годы мира, нерушимо хранимое народом спокойствие, неизменная тишина в сенате и беспрекословное повиновение принцепсу умиротворили красноречие, как и все прочее.

39. То, о чем я собираюсь сказать, может быть, покажется несущественным и смешным, но я все-таки выскажу свою мысль, хотя бы для того, чтобы вы посмеялись. Сознаем ли мы, сколько унижения доставили красноречию эти обязательные для нас плащи[82], стиснутые и как бы скованные которыми мы обращаемся к судьям? Отдаем ли мы себе отчет в том, сколько силы отняли у ораторской речи эти судебные помещения и архивы[83], в которых теперь рассматривается чуть ли не большинство дел? Благородным коням, чтобы выказать резвость, требуется необходимое для разбега пространство; так и ораторам нужен известный простор, и если они не могут свободно и беспрепятственно отдаться своему порыву, их красноречие слабеет и истощается. Все мы испытываем озабоченность и мешающую нам робость в выборе выражений, потому что нас часто прерывает судья, спрашивая, когда же мы наконец приступим к существу дела, после чего в ответ на этот вопрос нам приходится приступать к его изложению; нередко принуждает он нас к молчанию и тогда,

когда нами приводятся доказательства и когда опрашиваются свидетели. При этом присутствуют и слушают выступающего один-два человека, и судебное разбирательство происходит как бы в пустыне. А между тем оратору необходимы возгласы одобрения и рукоплескания и, я бы сказал, своего рода театр; все это ежедневно выпадало на долю ораторов древности, когда одновременно столько и притом столь знатных мужей теснилось на форуме, когда клиенты, и трибы, и даже представители муниципиев, и, можно сказать, половина Италии оказывали поддержку представшим пред судьями, когда при разбирательстве многих дел римский народ считал для себя исключительно важным, какой именно приговор будет вынесен судьями. Хорошо известно, что Гай Корнелий, и Марк Скавр, и Тит Милон, и Луций Бестия, и Публий Ватиний были осуждены или оправданы при стечении всего Рима, так что даже самых бесстрастных ораторов смогли расшевелить и разжечь не затухавшие в народе жаркие споры. И, право же, до нас дошли произведения этого рода, и по ним можно полнее и правильнее судить о тех, кто выступил с ними, чем по всем остальным их речам.

40. А постоянные народные собрания и возможность беспрепятственно задевать всякого, сколь бы могущественным он ни был, и громкая известность, приобретаемая этими проявлениями враждебности (ведь большинство умевших хорошо говорить не воздерживались от поношений даже Публия Сципиона, или Суллы, или Гнея Помпея и, нападая на первейших мужей государства, как это свойственно зависти, старались, словно лицедеи, увлечь своими выступлениями народ), каким горением наделяли умы, какой пламенностью ораторов![84]

Мы беседуем не о чем-то спокойном и мирном, чему по душе честность и скромность; великое и яркое красноречие — дитя своеволия, которое неразумные называют свободой; оно неизменно сопутствует мятежам, подстрекает предающийся буйству народ, вольнолюбиво, лишено твердых устоев, необузданно, безрассудно, самоуверенно; в благоустроенных государствах оно вообще не рождается. Слышали ли мы хоть об одном ораторе у лакедемонян, хоть об одном у критян?[85] А об отличавших эти государства строжайшем порядке и строжайших законах толкуют и посейчас[86]. Не знаем

мы и красноречия македонян и персов и любого другого народа, который удерживался в повиновении твердой рукою. Было несколько ораторов у родосцев и великое множество — у афинян, у которых народ был всевластен, всевластны невежественные, всевластны, я бы сказал, решительно все. Да и в нашем государстве, пока оно металось из стороны в сторону, пока не покончило со всевозможными кликами и раздорами и междоусобицами, пока на форуме не было мира, в сенате — согласия, в судьях — умеренности, пока не было почтительности к вышестоящим, чувства меры у магистратов, расцвело могучее красноречие, несомненно превосходившее современное, подобно тому как на невозделанном поле некоторые травы разрастаются более пышно, чем на возделанном. Но красноречие Гракхов не дало нашему государству столь многого, чтобы оно стерпело и их законы, да и Цицерон, хотя его и постиг столь прискорбный конец, едва ли сполна оплатил славу своего красноречия[87].

41. Форума древних ораторов больше не существует; наше поприще несравненно у́же, но и то, с чем нам приходится сталкиваться, наглядно показывает, что Римское государство не свободно от недостатков и что еще многое нужно в нем упорядочить. Кто приглашает нас для ведения судебного дела, кроме тех, на ком тяготеет вина или кого постигло несчастье? Какой муниципий обращается к нам за помощью, кроме ввергнутых в распри с соседями или во внутренние раздоры? Какую провинцию мы берем под защиту, кроме обираемых и утесняемых? Но было бы лучше не иметь оснований жаловаться, чем взывать к правосудию. И если бы нашлось какое-нибудь государство, в котором никто не преступает дозволенного законами, то среди беспорочных людей судебный оратор был бы так же не нужен, как врач среди тех, кто никогда не болеет. И подобно тому как искусство врачевания менее всего применяется и менее всего совершенствуется у народов, наделенных отменным здоровьем и телесною крепостью, так и оратор пользуется наименьшим почетом и наименьшею славой там, где царят добрые нравы и где все беспрекословно повинуются воле правителя. Нужно ли, чтобы каждый сенатор пространно излагал свое мнение по тому или иному вопросу, если благонамеренные сразу же приходят к согласию? К чему многочисленные народные собрания,

когда общественные дела решаются не невеждами и толпою, а мудрейшим и одним? К чему по собственному почину выступать с обвинениями, если преступления так редки и их так немного? К чему эти нудные и превышающие всякую допустимую меру речи защитников, если милосердие вершащего суд торопится вызволить подсудимого? Поверьте, превосходнейшие и, в какой степени это необходимо, красноречивейшие мужи, что если бы вы родились в более раннюю пору, а те, кем мы восхищаемся, — в нашу, или какой-нибудь бог внезапно поменял бы вас с ними местами, так чтобы вы жили в их дни, а они — в ваши, то и вы снискали бы за свое красноречие величайшие похвалы и славу, и они были бы проникнуты чувством меры и осмотрительностью; а теперь, поскольку никому не дано домогаться славы и одновременно соблюдать должную сдержанность, пусть каждый пользуется благами своего века, не порицая чужого».

42. Матерн умолк. Тогда Мессала сказал: «Было у тебя и такое, на что я мог бы тебе возразить, и такое, о чем следовало сказать подробнее, но день уже на исходе». — «В следующий раз, — ответил на это Матерн, — я исполню твое пожелание и, если в моей речи что-нибудь показалось тебе неясным, мы еще потолкуем об этом». С этими словами он поднялся со своего места и, обняв Апра, сказал: «Погоди, мы предъявим тебе обвинение, я — от лица поэтов, Мессала — от лица поклонников старины». — «А я, — проговорил Апр, — обвиню вас от лица риторов и учителей декламации».

Все рассмеялись, и мы разошлись.

ИСТОРИЯ

Книга первая

1. Началом моего повествования станет год, когда консулами были Сервий Гальба во второй раз и Тит Виний[1]. События предыдущих восьмисот двадцати лет, протекших с основания нашего города[2], описывали многие, и, пока они вели речь о деяниях народа римского, рассказы их были красноречивы и искренни. Но после битвы при Акции[3], когда ради спокойствия и безопасности всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека[4], эти великие таланты перевелись. Правду стали всячески искажать — сперва по неведению государственных дел, которые люди больше не считали своими, потом — желая польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. До мнения потомства не стало дела ни хулителям, ни льстецам. Если историк льстит, чтобы преуспеть, то лесть его противна каждому, к наветам же и клевете все прислушиваются охотно: оно и понятно: льстец мерзок и подобен рабу, тогда как коварство выступает под личиной любви к правде. Если говорить обо мне, то от Гальбы[5], Отона[6], и Вителлия[7] я не видел ни хорошего, ни дурного. Не буду отрицать, что начало моему восхождению по пути почестей положил Веспасиан, Тит умножил их, а Домициан[8] возвысил меня еще больше[9]; но тому, кто решил неколебимо держаться истины, следует вести повествование, не поддаваясь любви и не зная ненависти. Старость же свою, если только хватит жизни, я думаю посвятить труду более пространному и не столь опасному: рассказать о принципате Нервы и о владычестве Траяна[10], о годах редкого счастья, когда каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает.

2. Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих битвами, смутами и распрями, о временах свирепых даже в мирную пору. Четыре принцепса зако-

лоты[11]; три войны гражданских[12], множество внешних и еще больше таких, что были одновременно и гражданскими и внешними[13], удачи на Востоке и беды на Западе — Иллирия объята волнениями[14], колеблются провинции Галлии[15], Британия покорена и тут же утрачена[16], племена сарматов и свебов объединяются против нас[17], растет слава даков, ударом отвечающих Риму на каждый удар[18], и даже парфяне, следуя за шутом, надевшим личину Нерона, готовы взяться за оружие[19]. На Италию обрушиваются беды, каких она не знала никогда или не видела с незапамятных времен: цветущие побережья Кампании где затоплены морем, где погребены под лавой и пеплом[20]; Рим опустошают пожары, в которых гибнут древние храмы[21], горит Капитолий, подожженный руками римских граждан[22]. Поруганы древние обряды[23], осквернены брачные узы[24]; море покрыто кораблями, увозящими в изгнание осужденных, утесы красны от крови убитых[25]. Еще яростнее бушует злоба в самом Риме — все вменяется в преступление: знатность, богатство, почетные должности, которые человек занимал или от которых отказался, наградой добродетели — неминуемая гибель[26]. Плата доносчикам вызывает не меньше негодования, чем их преступления[27]. Некоторые из них за свои подвиги получают жреческие и консульские должности[28], другие управляют провинциями императора[29] и вершат дела в его дворце. Они распоряжаются по своему произволу, внушая каждому ужас и ненависть. Рабов подкупами и угрозами восстанавливают против хозяев, вольноотпущенников — против патронов. У кого нет врагов, того губят друзья[30].

3. Время это, однако, не вовсе лишено было людей добродетельных и оставило нам также и хорошие примеры. Были матери, которые сопровождали детей, вынужденных бежать из Рима; жены, следовавшие в изгнание за мужьями[31]; друзья и близкие, не отступившиеся от опальных; зятья, сохранившие верность попавшему в беду тестю; рабы, чью преданность не могли сломить даже пытки; благородные мужи, достойно сносившие несчастья, стойко встречавшие смерть подобно прославленным героям древности. Мало того, что на людей обрушились бесчисленные бедствия; небо и земля полны были чудесных явлений: вещая судьбу, сверкали молнии, и знамения — радостные и печальные, смутные и яв-

ные — предрекали будущее. Словом, никогда еще боги не давали римскому народу более ясных и более ужасных свидетельств того, что дело их — не заботиться о нас, а карать.

4. Однако, прежде чем приступить к задуманному рассказу, нужно, я полагаю, оглянуться назад и посмотреть, каково было положение в Риме, в провинциях, что думали в войсках и что было в мире здорово, а что гнило. Тогда и узнаем не только внешнее течение событий, которое по большей части зависит от случая, но также смысл их и причины. Поначалу смерть Нерона встречена была бурной радостью и ликованием, но вскоре оказалось, что сенаторы, народ и расположенные в городе войска испытывают одни чувства, а легионы и полководцы — совсем другие; ибо разглашенной оказалась тайна, окутывавшая приход нового принцепса к власти, и стало ясно, что им можно сделаться не только в Риме[32]. Сенаторы тем не менее радовались внезапно обретенной свободе и забирали все больше воли, как бы пользуясь тем, что принцепс лишь недавно получил власть и находится далеко от Рима. Немногим меньше, чем сенаторы, радовались и самые именитые всадники; воспряли духом честные люди из простонародья, связанные со знатными семьями, клиенты и вольноотпущенники осужденных и сосланных. Подлая чернь, привыкшая к циркам и театрам, худшие из рабов, все, кто давно растратил свое состояние и кормился, участвуя в постыдных развлечениях Нерона, ходили мрачные и жадно ловили слухи.

5. Преторианцы издавна привыкли по долгу присяги хранить верность Цезарям[33], и Нерона свергли не столько по собственному побуждению, сколько поддавшись уговорам и настояниям. Теперь же, не получив денежного подарка, обещанного им ранее от имени Гальбы, зная, что в мирное время труднее выделиться и добиться наград, нежели в военное, поняв, что легионы, выдвинувшие нового государя, имеют больше надежды на его благодарность, да к тому же подстрекаемые префектом Нимфидием Сабином, который сам рассчитывал стать принцепсом, преторианцы жаждали перемен. Хотя попытка Нимфидия захватить власть была подавлена и мятеж обезглавлен, многие преторианцы помнили о своей причастности к заговору[34]; немало было и людей, поносивших Гальбу за то, что он стар, говорили также о его скупости.

Сама суровость Гальбы, некогда прославленная в войсках и стяжавшая ему столько похвал, теперь пугала солдат, испытывавших отвращение к дисциплине былых времен и привыкших за четырнадцать лет правления Нерона так же любить пороки государей, как некогда чтили они их доблести. Передавали и слова Гальбы о том, что он «набирает солдат, а не покупает», — правило, полезное для государства, покоящегося на справедливых основах, но опасное для самого государя; впрочем, поступал Гальба не так, как говорил.

6. Тит Виний, отвратительнейший из смертных, и Корнелий Лакон[35], ничтожнейший из них, еще больше вредили немощному старику; Виния все ненавидели за подлость, Лакона презирали за бездеятельность. Путь Гальбы к Риму был долог и кровав. Погибли — и, как полагали, невинно — консул следующего года Цингоний Варрон и консулярий Петроний Турпилиан[36]; их не выслушали, им не дали защитников и обоих убили, первого — как причастного к заговору Нимфидия, второго — как полководца Нерона. Вступление Гальбы в Рим было омрачено недобрым предзнаменованием: убийством нескольких тысяч безоружных солдат, которое вызвало отвращение и ужас даже у самих убийц[37]. После того как в Рим, где уже был размещен легион, сформированный Нероном из морской пехоты, вступил еще и легион из Испании, город наполнили войска, ранее здесь невиданные. К ним прибавились множество воинов, которых Нерон навербовал в Германии, Британии и Иллирии и, готовясь к походу против альбанов[38], отправил к каспийским ущельям, но вернул с дороги для подавления восстания Виндекса. Эта буйная солдатня не питала явных симпатий к кому бы то ни было, но поддержала бы всякого, кто рискнет на нее опереться.

7. Случилось так, что в это же время было объявлено об убийстве Клодия Макра[39] и Фонтея Капитона[40]. Макр, который, бесспорно, готовил бунт, был умерщвлен в Африке по приказу Гальбы прокуратором[41] Требонием Гаруцианом; Капитона, затевавшего то же самое в Германии, убили, не дожидаясь приказа, легаты[42] Корнелий Аквин и Фабий Валент. Кое-кто полагал, однако, что Капитон, хоть и запятнанный всеми пороками, стяжатель и развратник, о бунте все же не помышлял, а убили его легаты за то, что он не согласился начать войну; Гальба же или по нетвердости характера, или

стремясь избежать более тщательного расследования, лишь одобрил то, что уже нельзя было изменить. Так или иначе, оба убийства удручили многих, и отныне, что бы принцепс ни делал, хорошее или дурное, — все навлекало на него равную ненависть. Общая продажность, всевластие вольноотпущенников, жадность рабов, что вознеслись нежданно и теперь спешили, пока старик еще жив, обделать свои дела, — все пороки старого двора свирепствовали и при новом, но снисхождения вызывали гораздо меньше. Даже возраст Гальбы смешил и отвращал чернь, привыкшую к юному Нерону; она по своему обыкновению сравнивала — какой император более красив и статен.

8. Таково было настроение в Риме, — если можно говорить об общем настроении столь великого множества людей. Что касается провинций, то Испанией управлял Клувий Руф[43], человек красноречивый, сведущий в политике, но в военном деле неопытный; Галлия поддерживала нового принцепса, памятуя о восстании Виндекса, но также и в благодарность за недавно дарованное право римского гражданства и облегчение налогов[44]. Между тем племена галлов, жившие по соседству со стоявшими в Германии армиями, не получили подобных привилегий, а некоторые даже лишились части своих земель[45] и с равным возмущением вели счет чужим выгодам и своим обидам. В германских армиях царили тревога и раздражение; они гордились недавней победой[46], но боялись, что их обвинят в поддержке противной партии, — сочетание чувств крайне опасное там, где сосредоточено столько оружия и сил. Эти войска не тотчас отступились от Нерона, а Вергиний[47] не сразу встал на сторону Гальбы; никто не знал, захочет ли он сам сделаться императором, но было известно, что солдаты ему это предлагали. Убийство Фонтея Капитона возмутило здесь даже тех, кто не имел права выражать свое мнение[48]. Гальба, притворившись другом Вергиния, вызвал его к себе, и армия осталась без командующего; когда же Вергиний был в Риме не только задержан, но и привлечен к суду, солдаты восприняли это как прямую угрозу.

9. Верхнегерманские легионы презирали своего легата Гордеония Флакка[49] за телесную немощь, вызванную старостью и подагрой, за слабый и нерешительный характер. Он

не умел командовать, даже когда солдаты вели себя спокойно, теперь же, когда они были раздражены, его беспомощные попытки навести порядок лишь распаляли их ярость. Легионы Нижней Германии долго оставались без консульского легата, пока наконец Гальба не прислал к ним Авла Вителлия — сына цензора и трижды консула Вителлия. В войсках, расположенных в Британии, беспорядков не было. Среди потрясений, вызванных гражданскими войнами, эти легионы вели себя лучше всех, то ли потому, что были удалены от Рима и отрезаны от него Океаном, то ли трудные походы научили их обращать свою ненависть прежде всего против врага. Спокойствие царило и в Иллирии, хотя легионы, выведенные оттуда Нероном и бесцельно стоявшие в Италии, через своих посланных предлагали императорскую власть Вергинию. Однако они были размещены на большом расстоянии один от другого (что всегда есть наилучшее средство сохранить их верность присяге), так что не могли ни заражать друг друга мятежными настроениями, ни объединить свои силы.

10. Восток пока оставался спокойным. Здесь командовал четырьмя легионами и управлял Сирией Лициний Муциан, человек, равно известный своими удачами и своими несчастьями. В молодости он из честолюбия искал дружбы людей знатных и богатых и всячески старался сохранить ее. Вскоре состояние его оказалось расстроенным, положение безвыходным, и над ним навис гнев Клавдия; его отправили в один из захолустных городов Азии, и он жил чуть ли не как ссыльный в тех самых местах, где позже получил почти неограниченную власть. В нем уживались изнеженность и энергия, учтивость и заносчивость, добро и зло, величайшая доблесть в походах и излишняя преданность наслаждениям во время отдыха; как гражданин и магистрат он заслужил много похвал, о тайных сторонах его жизни говорили дурно; подчиненных, близких, коллег — каждого умел он пленить; власть охотнее уступал другим, чем пользовался ею сам. Войну в Иудее вел Флавий Веспасиан с тремя легионами, во главе которых его поставил еще Нерон. Веспасиан тоже не помышлял о борьбе против Гальбы; как мы расскажем в своем месте, он даже послал к нему сына, Тита, в знак почтения и преданности. Лишь много позже, когда судьба уже вознесла Веспасиана, уверовали мы в то, что императорская власть была сужде-

на ему и его детям тайным роком, знамениями и пророчествами.

11. Египтом еще со времен божественного Августа вместо царей управляли римские всадники и командовали войсками, охранявшими здесь порядок: императоры сочли за благо держать под своим личным присмотром эту богатую хлебом труднодоступную провинцию; здесь царили суеверия и распущенность, незнакомые с законами и правильным государственным устройством жители склонны были к волнениям и мятежам. В ту пору во главе страны стоял Тиберий Александр, египтянин. Африка и расположенные там легионы после убийства Клодия Макра рады были служить любому принцепсу, ибо достаточно натерпелись от меньших начальников[50]. Обе Мавритании[51], Реция[52], Норик[53], Фракия[54] и прочие провинции, где управляли прокураторы, какие стояли за нового государя, какие были против него — смотря по настроению расположенных поблизости армий. Провинциям, где не было войск, и в первую очередь самой Италии, пришлось рабски покориться победителю и стать военной добычей.

Так обстояли дела, когда Сервий Гальба во второй раз и Тит Виний вступили в свой консульский год, ставший последним для них и едва не принесший гибель государству.

12. Через несколько дней после январских календ от Помпея Пропинква, прокуратора Белгики, пришло сообщение: верхнегерманские легионы, нарушив верность присяге, требуют нового императора и предоставляют выбор его сенату и римскому народу, дабы смягчить негодование, которое мог вызвать их мятеж. Узнав об этом, Гальба решил тотчас избрать себе наследника — замысел этот он уже давно обдумывал и обсуждал с близкими. По всему городу только и было тогда речи, что о выборе наследника, прежде всего из-за всегдашней людской страсти к такого рода разговорам и потому еще, что Гальба очень уж был стар и слаб. Судивших здраво и таких, что принимали близко к сердцу судьбы государства, было мало; зато многие питали нелепые надежды, когда друзья или клиенты называли их как возможных наследников и сеяли слухи, льстившие их тщеславию. Сильна была и ненависть к Титу Винию, возраставшая день ото дня, по мере того как крепло его могущество[55]. Зарились на все новые богат-

ства и друзья Гальбы, и уступчивость императора лишь подстрекала их, ибо при немощном и легковерном правителе творить беззакония не так опасно и сулит больше выгод.

13. Высшую власть в государстве делили между собой Тит Виний, префект претория Корнелий Лакон и пользовавшийся не меньшим доверием Гальбы его вольноотпущенник Икел[56], которому были дарованы кольца и всадническое имя Марциан[57]. Эти трое вечно ссорились, каждый тянул в свою сторону даже в мелочах; теперь, когда речь зашла о назначении наследника, они разделились на две группы. Виний стоял за Марка Отона; Лакон и Икел объединились, не столько чтобы покровительствовать тому или иному претенденту, сколько в стремлении противопоставить кого-либо кандидату Виния. Дружба Отона с Винием не была секретом и для Гальбы, а любители сплетен даже прочили неженатого Отона в зятья Винию, дочь которого была вдовой. Думаю, что противники Отона учитывали и интересы государства: не было никакого смысла отнимать у Нерона власть, чтобы отдать ее Отону. Отон провел первые годы юности беспечно, молодость бурно и приобрел благосклонность Нерона, соревнуясь с ним в распутстве. Именно у Отона, соучастника всех постыдных похождений, прятал принцепс свою наложницу Поппею Сабину, рассчитывая тем временем избавиться от жены Октавии[58]. Вскоре, однако, заподозрив Отона в связи с Поппеей, Нерон отправил его в Лузитанию[59], назначив для вида наместником. Отон управлял провинцией хорошо, первым примкнул к Гальбе, стал рьяным его сторонником и, пока еще шла война, затмил щедростью всех его друзей. Уже тогда зародилась в нем надежда, что Гальба усыновит его, и все более крепла, ибо солдаты в большинстве любили Отона, а люди, близкие Нерону, видя их сходство, его поддерживали.

14. Хотя в донесении о беспорядках в германских легионах ничего не говорилось о намерениях Вителлия, все же, не зная, куда может броситься ярость восставших, и не доверяя даже войскам, сосредоточенным в Риме, Гальба решил сделать шаг, который один только мог, как он думал, поправить дело, — назначить себе преемника. Он вызывает Виния и Лакона, консула следующего года Мария Цельса[60], префекта города[61] Дуцения Гемина; сказав для начала несколько слов о

своем преклонном возрасте, велит он ввести Пизона Лициниана[62]. Неизвестно, сам ли он выбрал этого кандидата или, как некоторые полагали, под влиянием Лакона — тот встречался с Пизоном у Рубеллия Плавта[63] и подружился с ним; из осторожности Лакон делал вид, будто не знаком с человеком, которому помогает, а добрая слава Пизона придавала вес его словам. Пизон был благородного происхождения и по отцу, и по матери, сын Марка Красса и Скрибонии; по внешности, манере держаться, по взглядам был он человек старого склада; суров, если судить справедливо, или угрюм, как уверяли недоброжелатели. Этот его нрав, внушавший опасения людям буйным и мятежным, как раз и нравился Гальбе.

15. Взявши Пизона за руку, Гальба, как передают, повел речь так: «Если бы я оставался простым гражданином и усыновил бы тебя, как водится по решению куриатных комиций и жрецов, то и мне лестно было бы ввести в дом свой потомка Гнея Помпея и Марка Красса, и для тебя было бы почетно присоединить к знатному твоему роду Сульпициев[64] и Лутациев[65]. Ныне же, когда с согласия богов и людей призван я к высшей власти, зная твои таланты и любя родину, решил я именно тебе, живущему мирно и спокойно, предложить принять принципат, за который предки наши сражались с оружием в руках и которого сам я добился войной. Я поступаю по примеру божественного Августа, который сначала племяннику своему Марцеллу, потом зятю Агриппе, вскоре затем внукам[66] и, наконец, пасынку Тиберию Нерону дал место, почти столь же высокое, какое занимал сам. Август, однако, искал преемников в пределах своей семьи, я же ищу их в пределах всего государства; не потому, что у меня нет родных или боевых товарищей; не ради личного честолюбия принял я власть; предпочтение, которое я оказываю тебе не только перед моими, но и перед твоими сородичами, да будет тому доказательством. У тебя есть брат[67], равный тебе по благородству происхождения; он старше и был бы достоин той же высокой участи, если бы ты не был достоин ее еще больше. За это говорит и твой возраст[68], которому чужды уже юношеские страсти, и вся твоя жизнь, где нет ни одного пятна, за которое следовало бы краснеть. До сих пор судьба не была к тебе милостива[69], но ведь удачи подвергают наш дух еще более суровым испытаниям, ибо в несчастьях мы закаляемся, а

счастье нас расслабляет. Конечно, сам ты захочешь сохранить лучшие свои свойства: твердость души, любовь к свободе, верность друзьям; но другие погубят их своим раболепием. Тебя будут окружать пресмыкательство, лесть и то, что вернее всего отравляет всякое искреннее чувство, — своекорыстие. Я говорю с тобой сейчас откровенно и прямо, но другие обращаются скорее не к тебе, а к месту, которое ты занимаешь. Давать государю добрые советы — дело трудное, а соглашаться с каждым, кто стал принцепсом, можно, ничего не чувствуя и ни о чем не размышляя.

16. Если бы огромное тело государства могло устоять и сохранить равновесие без направляющей руки единого правителя, я хотел бы быть достойным положить начало республиканскому правлению. Однако мы издавна вынуждены идти по другой дороге: единственное, что я, старик, могу сделать для римского народа, — дать достойного преемника, и единственное, что можешь сделать для него ты, человек молодой, — стать хорошим принцепсом. При Тиберии, при Гае и при Клавдии мы все были как бы наследственным достоянием одной семьи. Теперь пусть мы и не свободны, но все же сможем выбирать преемника власти. Правление Юлиев и Клавдиев кончилось, и глава государства будет усыновлять самого достойного. Человек родится сыном принцепса по чистой случайности, и разум тут ни при чем, но, когда государь сам избирает себе преемника, он должен действовать разумно, должен быть независим в суждениях и готовым прислушиваться к мнению других. Пусть стоит перед твоими глазами судьба Нерона; он так гордился, что происходит из семьи, давшей Риму длинный ряд Цезарей. А низвергли его не Виндекс со своей безоружной провинцией и не я с моим единственным легионом, а чудовищная его жестокость и страсть к наслаждениям; неудивительно, что Нерон — первый принцепс, чья память проклята. Я достиг власти оружием и опираясь на признание разумных людей, но как бы благородно я себя ни вел, злоба и зависть всегда будут сопровождать меня. И тебе не следует испытывать страх оттого, что в этом охваченном потрясениями мире есть два легиона, которые все никак не успокоятся[70]: я ведь и сам принял власть, когда она сулила мне многие беды. Зато теперь, как только разойдется слух, что я тебя усыновил, перестанут говорить о

моей старости, а ведь это — единственное, что мне ставят в вину. Дурные люди всегда будут сожалеть о Нероне; нам с тобой следует позаботиться, чтобы не стали жалеть о нем и хорошие. Сейчас не время давать тебе еще наставления; если, выбрав тебя, я не ошибся — свершилось все, что я задумывал. Лучше и легче всего узнать, что в человеке дурно, а что хорошо, присмотревшись, к чему он стремился и чего избегал при прежнем государе. У нас ведь не так, как у народов, которыми правят цари: там властвует одна семья, и все другие — ее рабы; тебе же предстоит править людьми, не способными выносить ни настоящее рабство, ни настоящую свободу». Долго еще говорил Гальба так или примерно так, наставляя будущего государя, в то время как все остальные уже обращались к Пизону как к принцепсу, облеченному полнотой власти.

17. Присутствовавшие сначала лишь посматривали на Пизона, вскоре все взоры сошлись на нем одном, но он, как рассказывают, не выказал ни волнения, ни радости. Ответная речь его была почтительна по отношению к отцу и императору и сдержанна в том, что касалось его самого. В лице его, в поведении ничего не изменилось; видно было — он может повелевать, но не стремится. Стали совещаться, где лучше объявить об усыновлении Пизона — в сенате ли, в лагере преторианцев или возвестить с ростр[71]. Было решено отправиться в лагерь и тем оказать честь преторианцам: Гальба считал, что дурно добиваться расположения солдат подарками и лестью, но не следует пренебрегать возможностью достичь этой цели честным путем. Между тем все больше народу окружало Палатин[72], все хотели узнать, что происходит, а слухи от попыток пресечь их лишь росли.

18. Четвертый день перед январскими идами[73], мрачный и дождливый, был отмечен необычными небесными знамениями, громом и молниями. В такие дни издавна не принято созывать собрания. Гальба, однако же, не испугался и, несмотря ни на что, отправился в лагерь: то ли он презирал знамения, считая их случайностью, то ли человеку не дано избежать своей судьбы, даже когда она ему ясно предсказана. На многолюдной солдатской сходке он кратко и властно объявил, что усыновляет Пизона — по примеру божественного Августа и по обычаю, как при наборе войск, когда каждый

новобранец сам выкликает следующего. Опасаясь, что, умолчав о мятеже[74], он лишь привлечет к нему еще больше внимания, Гальба с несколько излишней настойчивостью стал утверждать, что число зачинщиков заговора невелико, что четвертый и двадцать второй легионы не пошли дальше разговоров и крика и в самом ближайшем будущем вернутся к исполнению своих обязанностей. Он не произнес ни одного ласкового слова и не приказал раздать преторианцам деньги. И все же трибуны[75], центурионы и солдаты в передних рядах встретили его слова одобрением; остальные стояли молчаливые и мрачные: идет война, думали они, а нам не дают денежных подарков, хотя принято раздавать их даже и в мирное время. Но скупой старик не проявил ни малейшей щедрости, а, без сомнения, мог бы тем привлечь к себе сердца солдат; излишняя суровость и несгибаемая, в духе предков, твердость характера повредили ему, ибо ценить их мы уже не умеем.

19. Обращение Гальбы к сенату было столь же простым и кратким, как и выступление перед солдатами, речь Пизона — искусной и любезной. Сенаторы выразили ему свою благосклонность, многие искренне, недоброжелатели многоречиво, а равнодушное большинство — с угодливой покорностью, думая лишь о своей личной выгоде и нимало не заботясь о государстве. Ничего нового Пизон не сделал и не сказал народу за те четыре дня, что прошли между его усыновлением и гибелью. Все чаще и чаще приходили из Германии вести о мятеже, а люди всегда охотно прислушиваются к недобрым вестям и верят им, так что сенат принял решение направить в германскую армию легатов. Втайне обсуждали, не отправить ли с ними и Пизона: это придало бы посольству бóльшую внушительность, ибо легаты представляли бы власть сената, а он — славу, сопутствующую имени Цезаря[76]. Намеревались послать также и префекта претория Лакона, он, однако, сумел как-то отговорить сенаторов. Сенат поручил выбор легатов Гальбе, но он с постыдной нерешительностью назначал одних, затем отменял назначение и ставил на их место других; боязливые старались при этом остаться в Риме, честолюбцы вели интриги, чтобы быть посланными.

20. Теперь следовало подумать о деньгах. Перебрали разные способы и наконец решили добыть их из того же источника, из которого проистекало нынешнее безденежье: Нерон

раздарил два миллиарда двести миллионов сестерциев, Гальба приказал взыскать их, оставив каждому одну десятую подаренной суммы. Но, кроме этой одной десятой, у людей, облагодетельствованных Нероном, уже почти ничего и не было, ибо, привыкши расточать свое добро, они также управлялись и с даренным; не осталось у этих хищных негодяев ни состояния, ни земли, и хватало богатства лишь на разврат. Ведать изъятием денег — делом новым и нелегким, вызвавшим много происков и тяжб, — были назначены тридцать римских всадников[77]. Город волновался: продавали и покупали, затевали судебные дела; многие ликовали при мысли, что те, кого Нерон обогатил, станут беднее тех, кого он обобрал. В эти же дни были уволены из армии трибуны: из претория Антоний Тавр и Антоний Назон, из гарнизона Эмилий Паценз, из городской стражи[78] Юлий Фронтон. Но мера эта не исправила остальных, а лишь породила страх: они поняли, что хитрый и осторожный Гальба уволил некоторых, под подозрением же находятся все.

21. Отон между тем хорошо понимал, что может добиться своего, пока длятся беспорядки, а если установится спокойствие, у него не останется никаких надежд. Многое толкало его к решительным действиям: расточительность, непосильная даже для императора, безденежье, нестерпимое и для простого гражданина, злоба против Гальбы, зависть к Пизону. Он сам распалял себя еще больше, придумывая всяческие страхи: еще Нерон ненавидел его, а теперь нет надежды даже на возвращение в Лузитанию, на новую почетную ссылку; правители всегда подозревают и ненавидят тех, кто может прийти им на смену; это уже повредило ему в глазах престарелого принцепса, еще больше повредит в глазах молодого — угрюмого и свирепого от природы, к тому же озлобленного длительной ссылкой. Сама жизнь его в опасности. Значит, надо набраться храбрости и действовать, пока власть Гальбы непрочна, а власть Пизона еще не окрепла. Переход власти из рук в руки — самый благоприятный момент для великих свершений, ждать нельзя, бездействие опаснее, чем дерзость. Смерть равняет всех, таков закон природы, но с ней приходит либо забвение, либо слава в потомстве. Если же один конец ждет и правого и виноватого, то достойнее настоящего человека погибнуть недаром.

22. Отон был изнежен телом, но духом тверд. Он хотел иметь такой же дворец, как у Нерона, он жаждал роскоши, наслаждений в браке и вне брака — всех утех, которые сулит звание принцепса. Приближенные из вольноотпущенников и рабов, более продажные и хитрые, чем обычно бывает в частном доме, убеждали его, что всего этого он добьется, если найдет в себе достаточно мужества, чтобы рискнуть, но все уплывет в чужие руки, если он и дальше будет бездействовать. На то же толкали Отона и звездочеты: светила показывают, утверждали они, что государству предстоят новые потрясения и что начинающийся год принесет Отону славу. Люди этой породы обманывают государей и лгут честолюбцам, их вечно изгоняют и вечно удерживают в нашем государстве[79]. На таких же гнусных приспешников императорских семей опиралась в своих тайных интригах Поппея. Среди ее звездочетов был и Птолемей, в Лузитании он входил в окружение Отона[80]. Именно он обещал Отону, что тот переживет Нерона. Когда предсказание сбылось, Птолемею начали верить, и он, будучи догадлив и слыша разговоры о том, что Гальба стар, а Отон молод, предсказал ему императорскую власть. Человек, обуреваемый честолюбием, всегда рассчитывает на осуществление самых смутных своих надежд; Отон поверил предсказанию, решив, что слова Птолемея мудры и выражают волю судеб. Птолемей же не терял времени и толкал Отона на преступления, тем более что, поддавшись жажде власти, обратиться к ним весьма легко.

23. Едва ли, однако, преступный замысел родился у Отона внезапно; рассчитывая, что Гальба усыновит его, а может быть, и подумывая уже о захвате власти, он исподволь старался добиться расположения солдат. Во время похода, на марше и на стоянках он обращался к старейшим воинам по имени, вспоминал время, когда они вместе служили в свите Нерона, называл их боевыми товарищами. Он узнавал старых знакомых, расспрашивал об их делах, оказывал покровительство, помогал деньгами. И при этом нередко жаловался на Гальбу, отзывался о нем как-то двусмысленно и вообще всячески старался вызвать в войсках недовольство. Трудности похода, нехватка продовольствия и строгость командиров злили солдат: они привыкли разъезжать по городам Ахайи[81] или плавать на кораблях по озерам Кампании, теперь

же приходилось делать огромные переходы и в полном вооружении карабкаться по склонам Пиренеев и Альп.

24. Солдаты и без того пылали яростью, и тут приближенный Тигеллина[82] Мевий Пуденс еще подбросил хворосту в костер. Он давно уже старался привлечь на сторону Отона каждого нестойкого духом, каждого, кто нуждался в деньгах и потому стремился к переменам. Наконец Пуденс дошел до того, что всякий раз, когда Гальба обедал у Отона, давал каждому преторианцу дежурной когорты по сто сестерциев[83] на угощение, а Отон к этой как бы всем официально полагающейся награде добавлял еще некоторым солдатам кое-что тайно. Отон умел подкупать солдат и отличался в этом великой изобретательностью. Один из солдат преторианской стражи по имени Кокцей Прокул затеял с соседом тяжбу из-за межи; Отон на свои деньги скупил всю землю соседа и подарил ее солдату. И все это при попустительстве префекта[84], который равно не умел разобраться ни в тайных замыслах, ни в том, что происходило на его глазах.

25. Одного из своих вольноотпущенников, Ономаста, Отон назначил руководить исполнением злодейского замысла. Тессерарий[85] преторианской стражи Барбий Прокул и опцион[86] Ветурий отличались в речах горячностью и наглостью; Ономаст привел их к Отону, тот засыпал обоих подарками, обещаниями и дал денег, чтобы и других они переманивали на его сторону. Так два солдата задумали передать Римскую империю из одних рук в другие и добились своего! В заговор вступили немногие, остальные колебались, а заговорщики уговаривали их кого как: старшим солдатам намекали, что Гальба их подозревает, ибо в свое время к ним был благосклонен Нимфидий; рядовых приводили в ярость, напоминая об обещанных им и безвозвратно упущенных деньгах; тем, кто помнил Нерона, говорили, как хорошо было бы вернуться к легкой и праздной жизни, которую вели при нем солдаты; и всех пугали, что их переведут в другие войска.

26. Словно чума, перекинулись мятежные настроения в легионы и вспомогательные войска, и без того взволнованные вестями о бунте германских армий. Заговорщики были уже настолько готовы к перевороту, а остальные так к нему безразличны, что на следующий день после январских ид преторианцы окружили Отона, который возвращался домой

с ночного пира, и хотели насильно увести его с собой; помешали только ночная темнота, страх перед расставленными по всему городу постами да разброд, обычный между пьяными. Не забота о государстве, главу которого, Гальбу, они хладнокровно собирались зарезать, остановила их; просто они побоялись, что в темноте примут за Отона первого встречного, на кого укажут солдаты из паннонской или германской армии, ибо большинство не знали Отона в лицо. До времени удавалось скрывать многочисленные признаки вот-вот готового вспыхнуть мятежа; когда же Гальба замечал что-либо, префект Лакон обращал все в шутку; он не знал настроений солдат, враждебно встречал всякое предложение, даже самое дельное, если не он сам его подал, и упорно сопротивлялся всему, что советовали люди более опытные.

27. В восемнадцатый день перед февральскими календами[87] Гальба совершал жертвоприношение в храме Аполлона; гаруспик[88] Умбриций сказал ему, что внутренности животных предвещают несчастья, тайная измена готова вырваться наружу и в ближайшем его окружении свили гнездо враги государства. Отон, стоявший рядом, истолковал это прорицание в свою пользу, решил, что все благоприятствует его замыслам, и очень обрадовался. Немного времени спустя вольноотпущенник Ономаст громко объявил, что Отона ждут архитектор и подрядчики; слова эти были условным сигналом, они означали, что солдаты собрались и все готово. Уходя, Отон объяснил тем, кто стал его расспрашивать, что покупает загородную виллу, но так как она старая, должен прежде ее хорошенько осмотреть. Поддерживаемый вольноотпущенником, он прошел через дом Тиберия в Велабр и направился к позолоченному верстовому столбу у храма Сатурну[89]. Там стояли двадцать три преторианца, они приветствовали Отона как императора, поспешно усадили в носилки, трепещущего при виде их малочисленности, и, обнажив мечи, понесли. По дороге к ним присоединилось примерно еще столько же солдат — одни сочувствовали задуманному, другие пошли просто из любопытства, некоторые с радостными криками, остальные молча, рассчитывая, что по ходу дела видно будет, как вести себя дальше.

28. В тот день дежурным по лагерю был трибун Юлий Марциал. Внезапно вспыхнувший бунт застал его врасплох;

не зная, сколь велик размах мятежа, и боясь, что он захватил весь лагерь, он не решился рисковать жизнью и не выступил против мятежников, отчего многие сочли его тоже замешанным в заговоре. Остальные трибуны и центурионы тоже решили, что пусть все идет как идет, и не стремились к опасным, хоть и заманчивым подвигам. Словом, на преступление шли лишь немногие, сочувствовали ему многие, а готовились и выжидали все.

29. Между тем ни о чем не подозревавший Гальба продолжал усердно приносить жертвы, лишь докучая богам — покровителям уже не его империи. Распространился слух, что преторианцы увели к себе в лагерь какого-то сенатора; вскоре выяснилось, что похищен Отон, и тут уж об этом заговорил весь город, каждый встречный. Одни преувеличивали опасность, другие все еще старались сказать приятное Гальбе и преуменьшали ее. Посовещавшись, решили проверить настроение когорты, которая несла караул на Палатине, но не поручать это самому Гальбе, чтобы в случае беды не ронять его достоинство. Солдат вызвали на лестницу перед дворцом, и Пизон заговорил с ними так: «Вот уже шестой день, боевые мои товарищи, как стал я Цезарем, не ведая, что сулит мне этот титул, и не зная, следовало ли к нему стремиться или правильнее страшиться его. От вас зависит, что станется после моего избрания с нашей семьей и с государством. Сам я не боюсь смерти: изведав немало бед, теперь понял я, что и счастливая судьба таит в себе не меньше опасностей. Я скорблю об отце, о сенате, о порядке в государстве, ибо сегодня нам либо придется погибнуть самим, либо — а это для честного человека не меньшее горе — убивать других. Во время последнего переворота нас утешало то, что в Риме не была пролита кровь и переход власти обошелся без междоусобиц; когда меня избирали наследником, надеялись избежать войны также и после смерти Гальбы.

30. Я не стану говорить ни о знатности моего происхождения, ни о том, что веду себя порядочно и скромно, — если речь идет о сравнении с Отоном, неуместно даже и упоминать о доблести и благородстве. Его пороки — а кроме них ему хвастать нечем — принесли много вреда государству, даже пока он был всего только другом императора. Чем заслужил он высшую власть — повадками своими, походкой

или тем, что всегда разряжен как женщина? Ошибаются те, кто принимают разнузданность за щедрость: погубить вас он сумеет, обогатить — нет. Постыдные развлечения, пиры да женщины — вот что у него на уме, в них видит он награду принцепсу. Но утехи и наслаждения достанутся ему, а стыд и позор — всем. Власть, добытую преступлением, еще никто никогда не сумел использовать во благо. Гальбу весь род человеческий согласно провозгласил императором; меня с вашего согласия сделал Цезарем Гальба. Слова "государство", "сенат" и "народ" стали пустым звуком, и только вы, соратники мои, можете помешать шайке негодяев сделать императором одного из своих. Приходится иногда слышать, что легионы восстают против командиров; но ваша верность, ваша добрая слава остаются незапятнанными до сего дня. Даже Нерон изменил вам, а не вы Нерону. Неужели допустите вы, чтобы судьбами империи распоряжались два-три десятка перебежчиков и дезертиров, которым никто не давал права выбирать себе центурионов и трибунов? Неужто последуете их примеру и, потворствуя преступлению, сами окажетесь его соучастниками? Мятеж перекинется в провинции, и если сегодня преступники выступают против нас, то в завтрашних войнах умирать придется вам. Убив принцепса, вы выиграете не больше, чем сохранив верность долгу, и мы заплатим вам за преданность столько же, сколько те за злодеяние».

31. Старшие солдаты разошлись, остальные выслушали оратора не без сочувствия и немедленно построились в боевой порядок. Как обычно бывает во время волнений, солдаты действовали без всякого обдуманного плана и скорее по воле случая, чем из вероломства и лицемерия, как говорили позже. Не один Пизон вышел к солдатам; Мария Цельса послали к легионерам, выведенным в свое время из Иллирии и расквартированным в Випсаниевом портике[90], а примипиляриям[91] Амулию Серену и Домицию Сабину велели привести подразделения германской армии, стоявшие в Атриуме Свободы[92]. Легиону морской пехоты подобного доверия не оказали, его солдаты были настроены против Гальбы, они помнили, как, входя в город, он перебил множество их товарищей. В то же время трибуны Цетрий Север, Сублий Декстер и Помпей Лонгин отправились к преторианцам, попытаться разумными советами успокоить солдат, пока бунт только еще

вспыхнул и не набрал силы. Но преторианцы встретили Субрия и Цетрия угрозами, у Лонгина же отняли оружие, ибо он был назначен трибуном не в порядке очередности, а по дружбе с Гальбой, отличался преданностью своему принцепсу и тем вызывал подозрения мятежников. Легион морской пехоты без промедления присоединился к преторианцам. Иллирийские войска прогнали Цельса, угрожая ему дротами. Германские отряды, сильно утомленные, но довольные своим положением, долго колебались: в свое время Нерон, собираясь ехать в Александрию, послал их вперед, а затем вернул; долгое путешествие по морю измучило их, и Гальба не жалел денег на их лечение и отдых.

32. Чернь со всего города, смешавшись с рабами, уже заполняла Палатин и нестройными возгласами, как требовала нового зрелища в театре или в цирке, призывала убить Отона и покончить с заговором. Люди эти не были ни серьезны, ни искренни: еще не кончился день, а они с тем же пылом требовали вещей противоположных; по традиции принято льстить каждому принцепсу, приветствуя его неприлично громкими и развязными возгласами и выказывая ему преданность, на деле ни к чему не обязывающую. Между тем Гальба все не мог решить, какому совету последовать. Тит Виний считал, что нужно оставаться во дворце, выставить стражу из рабов, укрепить все подступы и не выходить к охваченным яростью мятежникам. Он убеждал Гальбу дать виновным время раскаяться, а честным людям — сплотиться. Преступлению, говорил он, нужна внезапность, доброму делу — время; выйти из дворца, если понадобится, можно и позже, а вот сможем ли мы в случае неудачи возвратиться, будет зависеть уже не от нас.

33. Остальные полагали, что следует действовать быстро, пока заговор до поры до времени невелик и не успел разрастись. Кроме того, утверждали они, Отон, тайком ушедший из храма и уведенный в лагерь, где никто его не ожидает, будет еще некоторое время чувствовать себя неуверенно; если же мы станем медлить и терять время, он успеет научиться действовать как принцепс. Зачем дожидаться, пока он, договорившись в лагере с преторианцами, на глазах у Гальбы взойдет на Капитолий? А наш великий полководец со своими доблестными друзьями будет сидеть запершись во дворце, спо-

койно взирать на все происходящее и готовиться мужественно переносить осаду? Могучую в самом деле помощь окажут нам рабы, если придем в замешательство мы, собравшиеся здесь, и — что гораздо важнее — угаснет первый порыв возмущения, нас охвативший. В позоре спасения нет. Если уж суждено нам погибнуть, надо идти прямо навстречу опасности; это принесет нам славу, а Отону еще больший позор. Виний стал спорить, Лакон, подстрекаемый Икелом, бросился на него с угрозами. Их домашние распри неуклонно вели государство к гибели.

34. Гальба не стал долее медлить и согласился с теми, чей план, казалось, сулил больше славы. Сначала, однако, в лагерь преторианцев послали Пизона, рассчитывая, что как отпрыск очень знатного рода, человек, лишь недавно вошедший в милость, и противник Тита Виния, он скорее добьется успеха. Трудно сказать, был ли Пизон в самом деле врагом Виния или враги Виния хотели в это верить: всегда легче считать, что человеком движет ненависть. Едва Пизон ушел, пополз смутный ненадежный слух, будто Отон убит в лагере преторианцев. Как обычно в таких случаях, сколь ни лжива весть, нашлись люди, утверждавшие, что были при этом и видели все своими глазами; кто с радостью, а кто по легкомыслию поверили молве. Многие, однако, считали, что отонианцы, замешавшись в толпу, нарочно пустили и раздувают слух, чтобы обмануть Гальбу радостной вестью и выманить его из дворца.

35. При этом известии народ и бессмысленная чернь разражаются рукоплесканиями; позабывшие страх и осторожность всадники и сенаторы разбивают двери дворца и устремляются во внутренние покои, стараясь попасть на глаза Гальбе, громко жалуясь, что их опередили и не дали отомстить за нанесенные императору обиды — скопище глупцов, хвастунов и пустословов, не способных, как потом выяснилось, принять решение в минуту опасности. Никто не понимал ничего, судили и рядили все. Наконец Гальба понял, что установить правду не удастся — все повторяли одно и то же; он надел панцирь и сел в носилки; ибо так был стар и слаб, что не устоял бы на ногах среди напиравшей толпы. Еще во дворце встретился ему телохранитель Юлий Аттик, показал окровавленный меч и крикнул, что убил Отона. «А кто тебе

приказал это сделать, друг?» — спросил Гальба; он до конца оставался беспощадным к солдатскому своеволию и не поддавался на угодливость и лесть.

36. Между тем преторианцы, остававшиеся в лагере, перестали колебаться; неистовый пыл овладел ими, уже мало показалось того, что пронесли они Отона на плечах через весь город и защищали его своими телами: его подняли на возвышение, где среди боевых значков еще недавно стояла золоченая статуя Гальбы, и окружили вымпелами отрядов. Ни трибунов, ни центурионов не подпускали к этому месту: солдаты говорили, что их надо опасаться в первую голову. Над лагерем стоял гул, сливались голоса, шум и крики, солдаты подбадривали друг друга. Когда так шумит толпа, состоящая из граждан и черни[93], ее крики не выражают ничего, кроме слабости и раболепия. Здесь было иное: едва завидев кого-нибудь из подходивших солдат, преторианцы хватали его за руки, обнимали, ставили в свои ряды, заставляли повторять слова присяги, расхваливали его императору или императора ему. Отон простирал к толпе руки, склонялся перед ней в почтительном поклоне, посылал воздушные поцелуи: стремясь стать владыкой, он вел себя как раб. Когда присягу принес легион морской пехоты в полном составе, Отон счел, что сил у него уже достаточно, и решил сразу воодушевить всех солдат, а не обращаться к каждому поодиночке. И, поднявшись на лагерный вал, начал так:

37. «Я все еще не знаю, друзья и товарищи, кем себя считать. Не решаюсь назваться простым гражданином, раз вы провозгласили меня принцепсом, и принцепсом не решаюсь назваться, раз государством правит другой. И кто такие вы — тоже неизвестно, ибо непонятно, кто находится в вашем лагере — враг римского народа или его император. Разве не слышите вы, как гальбанцы требуют кары для меня и казни для вас? Ясно как день, что и погибнуть, и спастись можем мы только вместе. А милосердие свое Гальба уже показал; человек, без всякой причины убивший столько тысяч ни в чем не повинных солдат, поклялся, наверное, что покарает меня и уничтожит вас. Ужас охватывает, едва вспомню, как он по трупам въезжал в Рим; то была единственная одержанная Гальбой победа — на глазах всего города убивали каждого десятого из тех солдат, что поверили в нового императора и

сами попросились под его покровительство. Так ознаменовал Гальба свое вступление в город, а чем прославлено дальнейшее его правление? Убийством Обультрония Сабина и Корнелия Марцелла в Испании? Бетуя Цилона в Галлии?[94] Фонтея Капитона в Германии? Клодия Макра в Африке? Цингония — на дороге в Рим, Турпилиана — в самом Риме, Нимфидия — в преторианском лагере? Найдется ли провинция или воинский лагерь, не залитые кровью и не обесчещенные или, по его словам, "наставленные на путь истинный"? В том, что люди считают преступлением, видит он целебное средство; исполненный лицемерия, зовет он жестокость строгостью, скупость бережливостью, муки и оскорбления, которым вас подвергают, — дисциплиной. Прошло лишь семь месяцев со смерти Нерона, а награбленное Икелом уже превосходит все, о чем поликлиты[95], ватинии[96] и тигеллины смели только мечтать. Если бы Тит Виний был императором, он не был бы так жаден и так нагл; теперь же он помыкает нами словно подданными, презирает словно чужеземцев. Одного его состояния хватило бы на те денежные подарки, которых вам ни разу не дали и которыми вас каждый день попрекают.

38. Не приходится надеяться и на преемника императора. Гальба вызвал из ссылки человека, равного ему по озлобленности и скупости. Вы сами видели, друзья, какую бурю наслали на нас боги, недовольные его выбором. Недовольны и сенаторы, и народ римский. Ваша доблесть — единственная их надежда; опираясь на нее, честные люди сильны, без вашей поддержки даже самый талантливый человек ничего не сможет. Со мной вам не грозят опасности, битвы не будет, все, кто владеет оружием, за нас. Облаченные в тоги бойцы единственной когорты не охраняют Гальбу, а скорее держат под стражей. Едва завидят они вас, едва получат от меня пароль, как начнут драться друг с другом за мою благосклонность — другого боя не будет. Медлить в таком деле нельзя, мы должны победить и тогда сможем собой гордиться». Окончив речь, Отон велит открыть арсенал. В мгновение ока, не соблюдая порядка и строя, солдаты разбирают оружие; все смешалось: преторианец хватает вооружение легионера, легионер — преторианца, мелькают щиты и шлемы солдат вспомогательных войск, не слышно приказов центурионов и трибунов. Каждый — сам себе командир, сам себя

подгоняет, и скорбь честных людей еще больше раззадоривает негодяев.

39. Уже Пизон, напуганный нарастающим громом восстания и летящими со всех сторон криками, вернулся к Гальбе, который успел тем временем выйти из дворца и приближался к форуму; уже принес императору неутешительные вести Марий Цельс, а окружавшие Гальбу все еще не могли решить, что делать: одни советовали вернуться на Палатин, другие — попытаться захватить Капитолий[97], большинство — занять ростры. Как бывает обычно, когда советы дают люди, охваченные смятением и скорбью, многие настаивали на своем только из духа противоречия, и лучшими казались те меры, время для которых было безвозвратно упущено. Говорят, будто Лакон тайком от Гальбы начал готовить убийство Тита Виния — то ли надеялся смягчить солдат, если Виний понесет заслуженную кару, то ли считал его сообщником Отона, то ли, наконец, был движим личной ненавистью. Гальба попрежнему не мог ничего решить: поздний час, непривычная обстановка, страх перед резней — если она начнется, император окажется совсем беспомощным, -- от всего этого неуверенность его только росла. Беспрерывно прибывали перепуганные гонцы, приближенные разбегались, на глазах ослабевал пыл даже тех, кто поначалу был полон бодрой уверенности и выказывал твердость духа.

40. Мечущаяся толпа кидала Гальбу то в одну сторону, то в другую, люди, заполнившие базилики[98] и храмы, молча взирали на это страшное зрелище. И зажиточные граждане, и бедняки с растерянными лицами, не произнося ни слова, напряженно прислушивались. Шума не было, но не было и тишины — царило молчание, исполненное великого страха и великого гнева. Отону, однако, доложили, будто чернь вооружается. Он приказывает немедленно выступить, предупредить опасность. И вот римские солдаты рвутся вперед — не изгнать Вологеза или Пакора с древнего престола Аршакидов[99], а спешат они убить своего старого безоружного императора; солдаты разбрасывают толпу, отталкивают сенаторов и, потрясая оружием, на всем скаку врываются на форум. Ни вид Капитолия, ни грозно высящиеся со всех сторон храмы, ни почтение к принцепсам, бывшим и будущим, не в силах остановить их.

41. Завидев приближающихся вооруженных преторианцев, знаменосец отряда, охранявшего Гальбу (говорят, это был Атилий Вергилион), сорвал с древка изображение императора[100] и бросил на землю. Значит, армия целиком перешла на сторону Отона; форум мгновенно опустел; народ разбежался; преторианцы с дротами в руках преследовали тех, кто замешкался. Носильщики императора дрожали от страха — возле бассейна Курция[101] Гальба вывалился из носилок и покатился по земле. Последние слова Гальбы передают по-разному те, кто ненавидел его, и те, кто им восхищался. Некоторые утверждают, будто он молил объяснить, в чем его вина, и даровать ему несколько дней жизни, чтобы раздать солдатам деньги. Большинство же рассказывают, что он сам подставил убийцам горло и сказал: «Делайте, что задумали, убейте меня, если так нужно для государства». Впрочем, убийцам было все равно, что он говорит. Кто именно убил его, в точности не известно. Одни называют ветерана Теренция, другие — Лекания; чаще всего приходится слышать, что меч в горло Гальбы погрузил солдат пятнадцатого легиона Камурий. Остальные изрезали его ноги и руки (ибо грудь была закрыта панцирем) и в дикой злобе нанесли еще множество ран уже мертвому обезображенному телу.

42. Потом солдаты набросились на Тита Виния. Тут тоже в точности не известно — то ли у него от испуга перехватило горло, то ли он успел крикнуть, что Отон не велел его убивать. Может быть, он возопил так со страха, но, может быть, и в самом деле участвовал в заговоре. Столь дурно прожил этот человек и такую дурную славу снискал, что и тому можно поверить, — был он соучастником заговора, который и возник-то из ненависти к нему. Тит Виний упал возле храма божественному Юлию[102] от первого же удара, который пришелся ему под колено, и тотчас легионер Юлий Кар пронзил его насквозь.

43. В тот день стали мы свидетелями доблестных подвигов отважного Семпрония Денса. Был он центурионом когорты, которой Гальба приказал охранять Пизона. С одним кинжалом выбежал он навстречу вооруженным с головы до ног солдатам, стал поносить мятежников, кричал, размахивал руками, стараясь отвлечь на себя убийц, и благодаря ему Пизон, хотя и раненый, смог бежать. Пизон пробрался в храм Вес-

ты[103], где сторож, государственный раб, пожалел его и спрятал в своей каморке. Только из-за уединенности места оказалась немного отсроченной гибель Пизона; ни уважение к религии, ни святость храма его не спасли. В храм явились служивший в британских когортах Сульпиций Флор, лишь недавно получивший из рук Гальбы римское гражданство, и один из телохранителей — Стаций Мурк. Отон дал им особый приказ убить Пизона, и они рвались исполнить поручение. Они выволокли Пизона из каморки, где он скрывался, и убили на пороге храма.

44. Рассказывают, что ни одно убийство не доставило Отону столько удовольствия, ни одну голову не рассматривал он с такой жадностью — только теперь смог он вздохнуть свободно и впервые возликовал, а может быть, воспоминания о величии Гальбы, о дружбе с Титом Винием все же омрачали его безжалостную душу, а радоваться смерти Пизона — врага и соперника — казалось ему справедливым и естественным. На высоко поднятых пиках, рядом с орлом легиона, проносили окруженные боевыми значками головы убитых; кто действительно убивал, кто лишь при этом присутствовал, кто говорил правду, а кто лгал, но все наперебой показывали окровавленные руки и похвалялись преступлениями, словно достопамятными подвигами. Позже Вителлий нашел более ста двадцати прошений о вознаграждении за услуги, оказанные в тот день; он приказал разыскать и казнить всех, кто подавал прошения, не из уважения к памяти Гальбы, а чтобы внушить страх и тем обезопасить себя от повторения подобных заговоров. Да и преемникам своим подать пример на случай, если его все же постигнет участь Гальбы.

45. И сенат, и народ словно бы подменили: толкаясь, обгоняя тех, кто забежал вперед, все бросились в лагерь преторианцев, поносили Гальбу, прославляли мудрость солдат, целовали Отону руки и тем громче выражали свою преданность, чем лицемернее она была. Отон принимал благосклонно всех и каждого, словами и выражением лица сдерживал алчность и жестокость солдат. Они требовали казни консула будущего года Мария Цельса, друга Гальбы, до конца оставшегося ему верным, и ярость их вызывали именно твердость Цельса и безукоризненная его честность, словно то были худшие чело-

веческие свойства. Солдаты стремились истребить всех лучших людей и поскорей начать грабежи и убийства. Власть Отона не была еще полной, и он не мог запретить злодеяния, но все же мог уже отдавать приказы. Он притворился разгневанным, велел заковать Цельса в кандалы, сказал, что хочет придумать для него самую мучительную казнь, и спас его от немедленной гибели.

46. С этого времени все делалось по произволу преторианцев. Даже префектов они выбирали себе сами: сначала выбрали Плотия Фирма — некогда он служил в телохранителях, потом командовал отрядами городской стражи и перешел на сторону Отона, когда власть была еще в руках Гальбы; затем — Лициния Прокула, близкого друга Отона, который, скорее всего, помогал ему. Префектом города сделали Флавия Сабина, идя по стопам Нерона, — при нем Сабин занимал ту же должность; многие стремились избрать Сабина еще и потому, что за спиной его, как они считали, стоял его брат Веспасиан. Солдаты требовали отменить плату за предоставление отпусков, которую по традиции взимали центурионы, и для рядовых она стала ежегодной податью. Никак не меньше четвертой части солдат каждой манипулы, уплатив центуриону, уходили в город или слонялись без дела по лагерю. В состоянии ли солдат внести такую сумму и откуда он достает деньги, никто не спрашивал, и, чтобы оплатить свое право на безделье, солдаты занимались разбоем или выполняли унизительные работы, которые обычно поручают рабам. Если же у солдата были собственные деньги, центурион до тех пор преследовал и донимал его нарядами, пока тот не соглашался заплатить за отпуск. Когда эти люди, в прошлом зажиточные и трудолюбивые, возвращались в свой манипул, растратив все деньги, привыкнув к безделью, развращенные нищетой и распутством, они жадно стремились ввязаться в заговоры, распри и даже в гражданскую войну. Отон понимал, однако, что, удовлетворивши требования солдат, рискует потерять расположение центурионов, и обещал ежегодно выплачивать деньги за отпуска из своей казны — мера, бесспорно, правильная, которую позднее лучшие из принцепсов постепенно превратили в постоянный обычай. Префект претория Лакон был для вида сослан на один из островов, но на дороге его встретил и убил ветеран, которого Отон нарочно

для этого послал вперед. Марциана Икела, как вольноотпущенника, казнили всенародно.

47. Но всего ужаснее были изъявления радости, которыми завершился этот переполненный преступлениями день. Городской претор созывает сенат[104]. Магистраты соревнуются в пресмыкательстве. Сбегаются сенаторы, Отону присваивают полномочия трибуна, звание Августа[105] и все знаки почета, подобающие принцепсу. Каждый изо всех сил старается, чтобы Отон забыл, как поносили его и ругали еще так недавно. Никто не подозревал, что он вел в душе счет всем оскорблениям, даже сказанным вскользь и случайно; предал он в самом деле их забвению или только на время отложил месть, решить невозможно, ибо правил он недолго. Отона повели на Капитолий, оттуда на Палатин. Проходя через залитый кровью форум, где кучами валялись трупы, он разрешил выдать тела убитых родным для совершения похоронного обряда и предания огню. Пизона хоронили его жена Верания и брат Скрибониан, Тита Виния — дочь Криспина. Головы погибших пришлось разыскивать и выкупать у убийц, спрятавших их, чтобы потом продать.

48. Пизон погиб, не достигнув и тридцати одного года, жизнь он прожил скорее достойную, нежели счастливую. Двое из его братьев были казнены: Магн — императором Клавдием, Красс — Нероном. Сам он долго пребывал изгнанником и четыре дня — Цезарем. Когда Гальба столь поспешно его усыновил, он оказался вознесенным над старшим своим братом лишь затем, чтобы погибнуть раньше его. Тит Виний прожил пятьдесят семь лет и на своем веку повидал многое. Его отец происходил из преторской семьи, дед по матери числился в проскрипционных списках[106]. В самом начале военной службы Тит Виний опозорился: жена легата Кальвизия Сабина[107], под началом которого Виний тогда состоял, загорелась грязным желанием во что бы то ни стало посмотреть, как устроен военный лагерь; она сумела пробраться туда ночью, переодевшись солдатом, постыдным этим переодеванием распалила страсть солдат ночной стражи и обнаглела наконец до того, что стала заниматься любовью на главной площади лагеря. В преступлении этом обвинили Тита Виния и по приказу Гая Цезаря заковали в кандалы; но вскоре времена изменились, Виния выпустили, и он

стал продвигаться по службе: после претуры командовал легионом и снискал одобрение и похвалы. Потом на него пало новое обвинение, на этот раз в проступке, достойном разве что раба: говорили, что на пиру у Клавдия он украл золотой кубок, и на следующий день Клавдий приказал подать ему — единственному из гостей — глиняную чашу. Однако, став проконсулом Нарбоннской Галлии, Тит Виний управлял провинцией с суровой и неподкупной честностью, но дружба с Гальбой погубила его[108]. Наглый, горячий и ловкий, он мог в равной мере быть то легкомысленным, то дельным, смотря к какой цели в ту минуту стремился. Наследникам своим Виний оставил такие огромные суммы, что завещание было объявлено незаконным. Что ж до Пизона, то нищета подтверждала законность всех его посмертных распоряжений.

49. Тело Гальбы долго валялось без присмотра, а после наступления ночи снова подверглось надругательствам. Наконец диспенсатор Аргий, один из приближенных рабов погибшего императора[109], взял тело и схоронил в своем саду в скромной могиле. Голову, которую лагерные маркитанты и обозные слуги успели истыкать гвоздями и окончательно изуродовать, удалось найти лишь на следующий день возле могилы Патробия, вольноотпущенника Нерона, казненного Гальбой[110]; ее сожгли и пепел смешали с прахом, оставшимся от чьего-то ранее кремированного тела. Таков был конец Сервия Гальбы. За свои семьдесят три года он благополучно пережил пятерых государей и при чужом правлении был счастливее, чем при своем. Семья его принадлежала к древней знати и славилась богатством. Самого его нельзя назвать ни дурным, ни хорошим; он был скорее лишен пороков, нежели обладал достоинствами; к славе не равнодушен, но за ней не гонялся; чужих денег не добивался, свои берег, на государственные был скуп. Если среди друзей его или вольноотпущенников случались люди хорошие, он был к ним снисходителен и не перечил ни в чем, но зато и дурным прощал все самым недопустимым образом. Однако слабость Гальбы и нерешительность принимали за мудрость — отчасти благодаря знатности его происхождения, отчасти же из страха, который в те времена владел каждым. В расцвете лет и сил Гальба снискал громкую воинскую славу в германских провинциях; будучи проконсулом Африки, правил умеренно и

осторожно; уже стариком он заставил Тарраконскую Испанию[111] уважать законы Рима. Когда был он простым гражданином, все считали его достойным большего и полагали способным стать императором, пока он им не стал.

50. Римляне не пришли еще в себя от пережитых ужасов, от страха, охватывавшего каждого при мысли о характере Отона, когда на город обрушилась весть об измене Вителлия. Пока Гальба был жив, новости не давали распространиться и представляли дело так, будто мятеж охватил лишь войска, сосредоточенные в Верхней Германии. Теперь же не только сенаторы и всадники, которые принимали к сердцу дела государства и стремились потрудиться ему на благо[112], но даже и простой народ стал открыто сетовать, что судьба словно бы нарочно выбрала из всех смертных двух самых бесстыдных, самых слабых и беспутных, дабы верней погубили они отечество. Люди уже не надеялись, что будет как в недавнее время — хоть и ужасные свершались дела, но войны все же не было. В памяти их вставали гражданские войны, Рим, вновь и вновь покоренный своими же войсками, опустошенная Италия, разграбленные провинции, Фарсалия и Мутина, Филиппы и Перузия[113] — места наших бед и поражений. Даже когда достойные люди боролись за принципат, рассуждали они, и то весь мир едва не погиб; и при победе Гая Юлия или Цезаря Августа власть императора все равно сохранялась; так же как республика все равно бы осталась и при Помпее, и при Бруте. А теперь — за кого молить богов — за Отона, за Вителлия? Равно нечестивы молитвы и за того, и за другого, просьбу о помощи тому или другому с равным гневом отвергнут боги. Если же разразится война между ними, победитель все равно будет хуже побежденного. Кое-кто предсказывал, что скоро выступит Веспасиан и восстанут войска на Востоке. Веспасиан был все же лучше тех двоих, но люди страшились новой войны и новых несчастий; да и слава о Веспасиане шла не слишком добрая. Из всех римских государей он был единственным, кто, ставши принцепсом, изменился к лучшему.

51. Теперь, я полагаю, следует рассказать, как началось восстание Вителлия и по каким причинам. Уничтожив Юлия Виндекса и его войска, германские легионы, без всякого труда и не подвергаясь опасностям, получили такие трофеи и

такие почести, какие обычно достаются солдатам лишь после большой победоносной кампании. И, полные боевого пыла, жаждали они и дальше пользоваться плодами войны и грабежа и не хотели просто получать обычное свое жалованье. Уже долгое время не имели они никаких доходов и все больше тяготились местом службы, дурным климатом и воинской дисциплиной — столь строгой в мирное время и всегда слабой при внутренних распрях, когда обе стороны стараются подкупить легионеров, а измена безнаказанно сходит с рук. В германских армиях хватало людей, вооружения, коней; они были готовы к любой войне — и к полезной государству, и к такой, что может принести ему лишь позор. Кроме того, до последнего похода каждый воин знал только свою центурию или свой эскадрон[114], а каждая армия стояла в своей провинции. На подавление восстания Виндекса были стянуты легионы из нескольких провинций; солдаты узнали друг друга, узнали галлов, которых теперь считали не союзниками, как прежде, а побежденными врагами, и стремились к новым походам и к новым распрям. Галльские племена, жившие по Рейну[115], тоже жаждали перемен и изо всех сил старались возбудить злобу против «гальбанцев»; тех, кто заслуживал это новое прозвище, они ненавидели и презирали так, как прежде ненавидели и презирали Виндекса. Прирейнские галлы яростно злобились на секванов, эдуев и их союзников[116] и только и мечтали захватить их укрепленные поселения, уничтожить посевы и разорить дома. Те же постоянно возбуждали к себе ненависть, ибо были жадны и наглы, как все богачи, да еще и оскорбляли других галлов, а армию в грош не ставили, так как Гальба одарил их, освободил от четвертой части податей и обращался как с суверенным народом. В то же время в войсках кто-то ловко распускал слухи, будто в легионах будут казнить каждого десятого, а самых популярных центурионов уволят; солдаты по легкомыслию верили этим сплетням. Отовсюду ползли мрачные вести, рассказывали об ужасах, которые происходят в Риме. Особо кишела слухами Лугдунская колония[117], настроенная враждебно и упорно сохранявшая верность Нерону. Однако больше всего выдумывали небылиц и охотнее всего им верили в самих лагерях. Злоба и страх царили тут, а всякий раз, как солдаты убеждались в своей силе, их сменяла уверенность в безнаказанности.

52. Под самые декабрьские календы в зимние лагеря нижнегерманских легионов прибыл Авл Вителлий. И стал вникать в дела: вернул многим их прежние должности, отменил унизительные наказания, смягчил взыскания. Он стремился добиться популярности, но иной раз действовал и по справедливости; беспристрастно распределял воинские должности, отменил назначения, которые Фонтей Капитон сделал за деньги или по грязным соображениям. В сущности, Вителлий принял меры, которые обязан принимать консульский легат, но многие усматривали тут нечто большее. Перед людьми строгими и суровыми Вителлий заискивал, а среди своих сторонников слыл славным и добродушным, потому что безрассудно, не считая, раздавал свои и чужие деньги; солдаты стосковались по настоящей власти и теперь принимали за достоинства даже пороки Вителлия. В обеих армиях было много воинов скромных и сдержанных, но немало и дурных и буйных. Особой алчностью и редкой дерзостью отличались легаты легионов Алиен Цецина и Фабий Валент[118]. Валент ненавидел Гальбу, так как считал, что император недостаточно вознаградил его, ибо именно он, Валент, разоблачил в свое время Вергиния[119] и его тактику промедления и подавил в зародыше заговор Капитона. Теперь он принялся подстрекать Вителлия к мятежу, всячески расхваливая ему боевой дух солдат. По его словам выходило, что нет места, где не гремела бы слава Вителлия, что Гордеоний Флакк не сможет ему помешать, Британия его поддержит, а вслед за ней поднимутся и вспомогательные войска в Германии, что и провинции в волнении, и власть старика колеблется и скоро рухнет. Вителлию стоит только подставить ладони, дары судьбы сами валятся ему в руки; конечно, Вергиний, родом из всадников, сын неведомого отца, колебался принять власть, ему она была не по плечу, вот он и предпочел уклониться ради собственной безопасности. Таков ли Вителлий? Отец его трижды был консулом, сам он занимал высокие должности вместе с принцепсом — так что он уже издавна облечен императорским достоинством и ныне должен отказаться от спокойной жизни простого гражданина. Вителлий был слаб духом и подобные разговоры сильно на него действовали; и он стал стремиться к таким целям, достичь которых прежде никогда не надеялся.

53. В Верхней Германии любовью солдат пользовался Цецина. Молодой, красивый, статный, непомерно честолюбивый, он сумел завоевать их расположение ловкими речами и простотой обращения. Цецина был квестором в Бетике[120] и сразу же перешел на сторону Гальбы, который назначил его командиром легиона. Вскоре, однако, Цецина растратил казенные деньги, и император приказал отдать его под суд по обвинению в казнокрадстве. Сочтя себя обиженным, Цецина решил вызвать смуту в государстве, чтобы общественные бедствия отвлекли внимание от его проступков. Это было нетрудно благодаря мятежным настроениям солдат. Верхнегерманская армия в полном составе участвовала в войне против Виндекса; если бы Нерон не умер, она так и не перешла бы на сторону Гальбы; к тому же ее опередили войска Нижней Германии, успевшие первыми принести присягу новому императору. Тревиры, лингоны и люди других племен[121], которых Гальба лишил части земель и угнетал суровыми распоряжениями, постоянно виделись с легионерами, стоявшими в зимних лагерях. Шли мятежные разговоры, дисциплина падала, как всегда, когда солдаты живут рядом с местными, и любовь их к Вергинию легко было направить на кого угодно.

54. Племя лингонов прислало римскому войску изображение двух соединенных правых рук — подарок, издавна служивший символом гостеприимства и дружбы. Принесшие подарок послы, в траурных одеждах и с удрученным видом, появлялись на лагерной площади и в палатках, жаловались на перенесенные обиды, на то, что милости достались не им, а соседним племенам. Солдаты охотно их слушали; тогда послы стали заводить разговоры и о римской армии — какие опасности ее окружают, какие приходится терпеть воинам обиды, и так сеяли в войсках бунт и ярость. Еще немного, и восстание бы разразилось; тогда Гордеоний Флакк приказал послам вернуться домой, а чтобы привлекать меньше внимания, велел им покинуть лагерь ночью. Это породило множество домыслов, один другого ужаснее; большинство утверждало, что послов убили и так же под покровом ночи будут убиты и лучшие из солдат, все, кто жаловался на тяготы военной жизни, если только сами они не позаботятся о себе. Легионы сплотились в тайном союзе; вскоре к нему примкну-

ли и вспомогательные отряды. На первых порах они казались солдатам подозрительными: в пешем и в конном строю окружали легионы и, казалось, готовы были обрушиться на них. Оказалось, однако, что и они хотят того же, даже еще с большей яростью и энергией: дурным людям всегда легче объединиться для войны, чем в интересах мира и спокойствия.

55. Так или иначе, нижнегерманским легионам, как каждый год, было приказано принести в январские календы присягу Гальбе[122]. Церемония проходила вяло; лишь немногие из центурионов произносили слова присяги, остальные молчали, выжидая, чтобы выступил кто-нибудь посмелее, — таково уж свойство нашей натуры: человек всегда спешит примкнуть к другим, но медлит быть первым. Впрочем, в разных легионах было по-разному. В первом и пятом дошло до того, что в изображения Гальбы стали кидать камнями. В пятнадцатом и шестнадцатом слышались лишь ропот и угрозы; посматривали на другие легионы, ожидая, что восстание начнут те. В Верхней Германии четвертый и двадцать второй легионы, занимавшие один и тот же лагерь, в самый день январских календ разбили изображения Гальбы. Четвертый легион выступил более решительно, а двадцать второй поначалу медлил, но потом они договорились. Чтобы казалось, будто они сохраняют верность государству, солдаты прибавили к присяге давно забытые слова о сенате и римском народе. Из легатов и трибунов ни один не выступил в защиту Гальбы; некоторые даже сами подстрекали к восстанию — так обычно и бывает во время беспорядков. Однако никто не решался собрать солдат на сходку и обратиться к ним с трибуны: еще не от кого было ожидать за это награды.

56. Консульский легат Гордеоний Флакк не решался ни обуздать отчаянных, ни предостеречь колеблющихся, ни поддержать верных. Вялый, бледный, взирал он на весь этот позор, не принимая в нем участия лишь потому, что был слишком труслив даже для такого дела. Центурионы двадцать второго легиона Нонний Рецепт, Донатий Валент, Ромилий Марцелл и Кальпурний Репентин пытались защитить изображение Гальбы, но солдаты оттащили их и связали. Кроме них, никто и не вспомнил о принесенной прежде присяге; как всегда во время восстаний, все переметнулись на сторону большинства. В ночь после январских календ в Аг-

риппинову колонию[123] к Вителлию, который в это время ужинал, явился знаменосец четвертого легиона и сообщил, что четвертый и двадцать второй легионы сбросили изображения Гальбы и поклялись в верности сенату и римскому народу. Все понимали, что клятва ничего не значит и следует только не упускать момент и выдвинуть нового принцепса. Вителлий разослал в легионы и к легатам гонцов объявить, что войска Верхней Германии покинули Гальбу и надо либо выступить против них, либо в интересах мира и согласия провозгласить нового императора; а поддержать уже имеющегося кандидата менее рискованно, чем искать другого.

57. На следующий день Фабий Валент, самый решительный и смелый из легатов, вступил в Агриппинову колонию во главе конных подразделений и вспомогательных войск первого легиона, чьи зимние лагеря находились ближе всего к городу; он приветствовал Вителлия как императора. За ним, стремясь обогнать один другого, бросились и остальные легионы этой провинции. Позабыв и про сенат, и про римский народ, верхнегерманская армия примкнула к Вителлию на третий день после январских нон[124]; значит, и за два дня до этого она уже изменила государству. Жители колонии, лингоны, тревиры, ни в чем не отставали от солдат и наперебой предлагали людей, коней, оружие и деньги, смотря по тому, чего у каждого было больше — силы, богатства или боевого пыла. Не только видные люди в колониях и в лагерях, которые и без того были богаты, а в случае победы рассчитывали разбогатеть еще больше, но даже простые солдаты целыми манипулами и поодиночке вносили свои сбережения, а у кого денег не было, отдавали нагрудные бляхи, изукрашенные портупеи, серебряные застежки — то ли в порыве восторга, то ли по расчету.

58. Воздав солдатам должное за их рвение, Вителлий назначил всадников на дворцовые должности, прежде исполняемые вольноотпущенниками[125], из своей казны выплатил центурионам деньги за предоставление отпусков рядовым, казнил по требованию солдат самых ненавистных командиров; лишь некоторых посадил он в тюрьму для вида, обманув ярость их подчиненных. Помпей Пропинкв, прокуратор Бельгики, был убит сразу же. Префекта германского флота Юлия Бурдона Вителлий спас, пустившись на хитрость. В армии

Бурдона ненавидели, так как считали, что он оклеветал Фонтея Капитона и подстроил его гибель. Войска хранили о Капитоне светлую память, и Вителлию теперь осталось только одно из двух: либо действовать открыто и тогда убить Бурдона в угоду рассвирепевшим солдатам, либо — если он хотел простить его — прибегнуть к обману. Он заключил Бурдона под стражу и выпустил лишь после своей победы, когда гнев солдат уже остыл. Пока что как искупительную жертву выдали на смерть центуриона Криспина: он своими руками убил Капитона, солдаты считали его виновным, да и Вителлий терпеть его не мог.

59. Избежал грозной опасности также и Юлий Цивилис: его любили батавы, и Вителлий побоялся восстановить против себя это воинственное племя[126]. К тому же восемь батавских когорт находились в то время в землях племени лингонов; они образовывали вспомогательные силы четырнадцатого легиона, отделились от него во время восстания, и Вителлий не знал, как они настроены — дружественно или враждебно. Упомянутых мной центурионов Нония, Донатия, Ромилия и Кальпурния Вителлий приказал умертвить как повинных в верности своему долгу — самом тяжком преступлении в глазах изменников. На сторону мятежников перешли легат провинции Белгики Валерий Азиатик, которого Вителлий вскоре избрал себе в зятья[127], и правитель Лугдунской Галлии Юний Блез, приведший с собой Италийский легион и расквартированную неподалеку от Лугдунума таврианскую конницу[128]. Без колебаний и промедлений присоединились к Вителлию войска, расположенные в Реции и даже в Британии.

60. В Британии командовал Требеллий Максим; войска презирали и ненавидели его за скаредность и подлость[129]. Разжигал эту ненависть Росций Целий, легат двадцатого легиона, издавна мятежно настроенный; теперь среди распрей и междоусобиц он совсем обнаглел. Требеллий упрекал Целия за неподчинение приказам и упадок дисциплины, Целий же обвинял Требеллия в том, что он обобрал легионеров, довел их до нищеты. Мерзкие эти дрязги между легатами разлагали дисциплину. Когорты и конные отряды перешли на сторону Целия, и дошло до того, что солдаты и союзники, осыпая насмешками и бранью, выгнали Требеллия из лагеря;

он бежал к Вителлию. Несмотря на отсутствие консулярия, провинция оставалась спокойной — легаты легионов управляли ею на равных правах, но Целий, самый наглый из всех, пользовался наибольшей властью.

61. После того как к Вителлию присоединилась британская армия[130], силы его и богатства стали несметными; он решил начать войну, действуя по двум направлениям и поручив ведение ее двум полководцам. Фабию Валенту было велено посулами переманить галльские провинции на сторону восставших, а в случае отказа опустошить эти земли и через Котские Альпы[131] вторгнуться в Италию. Цецина получил приказ двигаться более коротким путем и спуститься в Италию через Пеннинский перевал[132]. Под командование Валента отданы были отдельные подразделения нижнегерманской армии и пятый легион в полном составе со знаменем, когортами и конными отрядами, всего до сорока тысяч человек. Цецина вывел из Верхней Германии тридцатитысячную армию, лучшим в ней был двадцать первый легион. И той и другой армии приданы были вспомогательные отряды из германцев. Ими же Вителлий пополнил и те войска, с которыми намеревался сам идти за главными силами.

62. Император и армия удивительно не походили друг на друга. Солдаты настаивают, требуют начать войну немедленно, пока галльские провинции еще трепещут от страха, а испанские медлят; нас не остановят ни зима, ни привычка к мирной жизни, достойная только трусов, кричат они; вторгнемся в Италию, займем Рим; во время гражданских смут самое безопасное — действовать и идти вперед, а не рассуждать. Вителлий же будто оцепенел и не двигался с места. Предвкушая заранее, как станет принцепсом, он проводил время в праздности, роскоши и пирах, среди бела дня появлялся на людях объевшийся и пьяный. Охваченные воодушевлением и исполненные мужества солдаты действовали за него, и могло показаться, будто в армии есть настоящий командующий, который храбрым внушает надежду на победу, а слабым — страх. Войска стояли в полной боевой готовности и требовали приказа о выступлении. Вителлию они тут же присвоили имя Германика — называть себя Цезарем он не разрешал даже и после победы[133]. Когда Фабий Валент уходил со своей армией в поход, ему было счастливое знамение: в

самый день выступления в небе появился орел и медленно полетел впереди войска, как бы указывая дорогу. Под радостные крики солдат он долго парил над шагающей колонной. Никто не сомневался, что то было предсказание великой блестящей победы.

63. Армия спокойно вступила в земли тревиров и остановилась в городе Диводуре[134], где жило племя медиоматриков[135]. Здесь, несмотря на оказанный им прекрасный прием, на солдат внезапно напал беспричинный страх; они похватали оружие и бросились убивать ни в чем не повинных жителей — не ради добычи, не из желания грабить, а лишь в приступе исступления и ярости. По какой причине началась резня, никто не понимал и оттого не могли ее остановить; только после многих просьб и заклинаний командующего солдаты пришли наконец в себя, не то они истребили бы все племя. И все же убитых оказалось около четырех тысяч. Галльские провинции охватил такой ужас, что целые племена со старейшинами во главе выходили навстречу войскам, моля о пощаде, женщины и дети бросались солдатам в ноги, жители всячески старались умилостивить воинов и просили мира, хотя войны вовсе и не было.

64. Фабий Валент находился в землях племени левков[136], когда дошла до него весть об убийстве Гальбы и о том, что Отон захватил власть. Солдаты, однако, не радовались и не ужасались — одна только война была у них на уме. Галльские провинции перестали колебаться — Вителлия и Отона ненавидели они равно, но бояться приходилось прежде всего Вителлия. Следующим на пути армии было племя лингонов, верных сторонников вителлианской партии. Принятые весьма радушно, солдаты словно соперничали в вежливости и доброте. Но радость была недолгой: конец ей положила наглость батавских когорт. Как я уже говорил, они отделились от четырнадцатого легиона и Фабий Валент взял их в свою армию. Между батавами и легионерами начались сперва перебранки, потом стычки, остальные солдаты разделились, кто за тех, кто за других, и дело чуть было не дошло до настоящей битвы; но Валент наказал нескольких смутьянов и тем образумил батавов, позабывших воинскую дисциплину.

Драться с эдуями, как ни старались найти повод, не пришлось: приказали им дать армии оружие и деньги — они

прислали еще и продовольствие. Жители Лутдунума сделали то же, но не со страху, как эдуи, а с радостью[137]. Италийский легион и таврийская конница были выведены из Лутдунума, а в городе решили оставить восемнадцатую когорту, которая и раньше стояла здесь на зимних квартирах. Легат Италийского легиона Манлий Валент много сделал для Вителлия, но тот встретил его холодно: Фабий успел очернить легата в глазах Вителлия, Манлий же ничего не подозревал, ибо при других Фабий всячески его расхваливал.

65. Между жителями Лутдунума и Виенны[138] издавна была вражда, которую минувшая война еще усилила. Они нападали друг на друга столь часто и с таким ожесточением, которое вряд ли можно объяснить одной лишь преданностью Нерону или Гальбе. Гальба разгневался на жителей Лутдунума, придрался к чему-то и объявил все их доходы принадлежащими казне; жителей же Виенны, напротив того, осыпал почестями. Это породило зависть, раздоры, и тех, кого разделяла река[139], связала ненависть. Теперь жители Лутдунума, обращаясь то к одному солдату, то к другому, подстрекали их напасть на Виенну. Говорили, что виеннцы в свое время подвергли Лутдунум осаде, что они помогали Виндексу, когда он пытался захватить власть и совсем еще недавно набрали войско для защиты Гальбы. Перечисляя вины виеннцев, жители Лутдунума не забывали упомянуть и о богатой добыче, которой солдаты могли бы поживиться в Виенне. Вскоре им показалось мало тайных разговоров с тем или другим солдатом, и они обратились ко всей армии: пусть воины-мстители устремятся на Виенну и уничтожат очаг раздоров в Галлии, город, где все чуждо и враждебно Риму. К тому же фортуна может еще и отвернуться от Вителлия и его воинов, и они не должны оставлять Лутдунум — исконную римскую колонию, навеки связанную с армией, готовую делить с ней и радость, и горе — во власти разъяренных недругов.

66. Подобными речами жители Лутдунума довели дело до того, что легаты и даже руководители восстания оказались не в силах удержать гнев и ярость солдат. Жители Виенны, поняв, какая опасность им грозит, вышли навстречу идущей на них армии. Они надели белые головные повязки, несли перевитые лентами оливковые ветви[140] и, едва дойдя до первых рядов, бросились обнимать колени легионеров, целовали им

ноги, руками отводили оружие. Римляне почувствовали к ним жалость. Валент тотчас объявил, что выдает каждому легионеру по триста сестерциев, и тогда солдаты вспомнили, какой Виенна древний город, сколь почетное место занимает среди других римских колоний, и с одобрением выслушали речь Фабия, который советовал оставить город целым и невредимым. Хотя на жителей все же наложили наказание — лишили права носить оружие, — они собрали у граждан и в городских житницах много продовольствия и снабдили им войска. Правда, ходили упорные слухи, что Валента они подкупили большими деньгами: он долго жил в позорной бедности и, внезапно разбогатев, не сумел это скрыть; после многих лет нищеты неумеренно предался наслаждениям и стал под старость сорить деньгами.

Дальнейший путь армии пролегал через земли аллоброгов и вокинтиев[141]. Двигалась она медленно, потому что, по каким дорогам идти и где останавливаться, Валент решал по тому, как откупались владельцы участков и вожди племен, и вступал с ними в самые грязные сделки. Город Лука[142], например, в землях вокинтиев он в своей непомерной жестокости угрожал сжечь и стоял под ним до тех пор, пока жители не задобрили его деньгами. Там, где у жителей денег не было, пощаду покупали ценой бесчестья девушек и женщин.

Так армия Валента добралась до Альп.

67. Еще большими бесчинствами и кровопролитием отмечен был путь Цецины. Гнев этого взбалмошного человека вызвали гельветы[143], галльское племя, еще в древности прославившееся воинской доблестью и с той поры гордо хранившее честь своего имени. Они ничего не слышали об убийстве Гальбы и отказались признать власть Вителлия. Война вспыхнула из-за нетерпения и алчности солдат двадцать первого легиона: гельветы выслали деньги для уплаты жалованья воинам сторожевой заставы — людям из их же племени; солдаты захватили эти деньги. Оскорбленные гельветы перехватили письма германской армии паннонским легионам, задержали и взяли под стражу центуриона и нескольких солдат. Цецина, жаждавший войны, ухватился за этот повод, не дал гельветам времени раскаяться и двинулся мстить: лагеря были спешно перенесены ближе к гельветам, посевы их уничтожены, разграблено поселение, красивым местоположени-

ем и целебными источниками привлекавшее многих и благодаря этому разросшееся до размеров небольшого города; к расположенным в Реции вспомогательным войскам отправили гонцов с приказом зайти в тыл гельветам, которые стояли лицом к легиону.

68. Пока ничто им не угрожало, гельветы казались весьма воинственными, но перед нависшей опасностью растерялись. В первые дни, полные еще боевого пыла, они выбрали себе полководца — Клавдия Севера, но распределить обязанности между разными войсками, сражаться в правильном строю, подчиняться единой команде они не умели. Решиться на битву с армией, состоявшей из ветеранов, означало верную гибель; запереться в крепости было тоже небезопасно: старые стены разваливались; с одной стороны Цецина со свежими войсками, с другой — ретийские легионы со своей пехотой и конницей, поддержанные закаленной и привычной к войне молодежью этой провинции; куда ни глянь — поражение и смерть. Разбежавшись, побросав оружие, измученные гельветы долго метались между легионерами и ретийцами, а затем бежали на Воцетийскую гору[144], откуда их тотчас выбила специально посланная фракийская когорта. Они бросились в леса, но и там германцы и ретийцы преследовали их и убивали, в каких бы тайниках они ни скрывались. Много тысяч гельветов погибло, много тысяч продано в рабство. Уничтожив все и всех, армия в боевом строю подошла к столице гельветов Авентику[145]; город выслал нескольких граждан для переговоров. Они сказали, что город сдается на милость победителя, и Цецина согласился взять его без боя. Он покарал только Юлия Альпина как зачинщика войны, остальных же предоставил милосердию — или жестокости — Вителлия.

69. Нелегко сказать, кто встретил послов гельветов более враждебно — полководец или легионеры. Солдаты грозили им кулаками, замахивались дротами, требовали уничтожить город, да и Вителлий осыпал послов оскорблениями и угрозами. Смягчить солдат сумел один из послов Клавдий Косса. Выдающийся оратор, он прятал искусное красноречие за притворным страхом, отчего слова его действовали еще больше. Теперь толпа, всегда подверженная внезапным переменам настроения, настаивала на помиловании жителей

столь же рьяно, как только что требовала их истребления; слышались рыдания, каждый кричал, что следует обойтись с побежденными возможно мягче. И город был не только спасен, но и не понес никакого наказания.

70. Цецина находился еще на землях гельветов, ожидал от Вителлия более точного приказа и готовился к переходу через Альпы, когда получил из Италии радостную весть: на верность Вителлию присягнула занимавшая долину Пада Силианская конница[146]. Вителлий командовал ею, когда был проконсулом в Африке; вскоре Нерон вывел конницу из провинции и хотел послать впереди себя в Египет, но началась война с Виндексом, и Нерон отозвал конницу в Италию, где она и осталась. Декурионы Силианской конницы Отона не знали, были преданы Вителлию и всячески превозносили мощь надвигавшихся легионов и великую славу германской армии. Наслушавшись их, солдаты взяли сторону нового принцепса и передали ему в дар самые укрепленные города Транспаданской области — Медиолан и Новарию, Эпоредию и Верцеллы[147]. От жителей этих городов Цецина и узнал о происшедшем. Он понимал, что одной конницей обширнейшую область Италии не удержать, отправил туда когорты галлов, лузитанов, британцев и поддержанные Петрианской конницей отряды германцев, сам же остался на месте, предполагая вскоре двинуться через ретийские перевалы в Норик против прокуратора этой провинции Петрония Урбика; Урбик стягивал вспомогательные войска, разрушал мосты через большие реки, и все полагали, что он остается верен Отону. Однако, боясь потерять ушедшую вперед пехоту и кавалерию, считая, что добьется большей славы, если удержит в своих руках Италию, и что, где бы ни произошла решающая битва, Норик так или иначе достанется победителям, Цецина двинулся через Пеннинский перевал и сумел провести через Альпы, покрытые еще в эту пору глубоким снегом, не только пешие и конные отряды, но даже и тяжеловооруженные легионы, с обозами и воинским имуществом.

71. Между тем Отон, вопреки всеобщим ожиданиям, не предавался ни утехам, ни праздности. Отказавшись от любовных похождений и скрыв на время свои вожделения, он старался укрепить благопристойность императорской власти. Действия его внушали еще больший ужас, ибо все пони-

мали, что доблести Отона притворны, а дурные его страсти скоро вновь выйдут на волю. Чтобы прослыть великодушным к человеку, пользующемуся доброй славой, но ненавидимому его окружением, Отон приказал привести на Капитолий Мария Цельса — консула будущего года, которого он в свое время заключил в тюрьму и тем спас от свирепости солдат[148]. Цельс не только подтвердил, что оставался верным Гальбе, но и объяснил Отону, как полезны ему самому люди, умеющие хранить верность своему принцепсу. Отон не стал держать себя как государь, прощающий преступника; он призвал богов в свидетели того, что они с Цельсом примирятся как равный с равным, тут же ввел его в число своих самых близких друзей и вскоре отправил на войну вместе с другими полководцами. Цельс, как бы преследуемый злым роком, был и на сей раз столь же верен своему императору, столь же стоек и столь же несчастлив. Знатные люди были довольны помилованием Цельса, чернь шумно радовалась и даже солдаты не протестовали — теперь они восхищались доблестью Мария, которая прежде приводила их в такую ярость.

72. Некоторое время спустя столь же бурную радость вызвала другая причина — казнь Тигеллина. Софоний Тигеллин, человек темного происхождения, молодость провел в грязи, а старость — в бесстыдстве. Поняв, что подлость — более короткий путь к должностям, которые даются обычно в награду за доблесть, он достиг их и стал префектом городской стражи, префектом претория, занимал и другие посты, отличаясь на первых порах жестокостью, потом жадностью и, наконец, погрузился в постыдные мужские пороки. Развратив Нерона, он вовлек его в бесчисленные преступления, но многое делал и за его спиной, а в конце концов его же покинул и предал. Поэтому римляне ничьей казни не требовали с таким упорством, как казни Тигеллина; движимые противоположными чувствами, добивались ее и те, кто ненавидел Нерона, и те, кто его любил. При Гальбе его защищал могущественный Тит Виний и оправдывался тем, что Тигеллин спас его дочь. Спас он ее, конечно, не по доброте — откуда ей быть у убийцы стольких людей, — а чтобы обеспечить себе лазейку на будущее: дурной человек тому, что есть, не доверяет, перемен боится и ищет спасения от ненависти общества в

покровительстве того или другого гражданина; не о порядочности своей он заботится, а о безнаказанности. Теперь, когда к презрению, которое все издавна питали к Тигеллину, прибавилась еще и ярость против Виния, ненависть к Тигеллину в народе еще усилилась. Граждане собирались на Палатине, на рынках и площадях, чернь — там, где чувствовала себя вольготнее, — в цирке и в театрах, и, не слушая распоряжений властей, все в один голос требовали смерти Тигеллина. Наконец Тигеллин, который был в это время на лечебных водах в Синуессе[149], получил приказ лишить себя жизни. Окруженный наложницами, среди бесстыдных ласк, он долго старался оттянуть конец, пока не перерезал себе бритвой глотку, завершив подлую жизнь запоздалой и отвратительной смертью.

73. Примерно тогда же народ потребовал и казни Кальвии Криспиниллы, но император хитростью и обманом спас ее, хотя и сильно повредил себе в общественном мнении. В свое время Криспинилла устраивала для Нерона постыдные развлечения, потом отправилась в Африку, чтобы убедить Клодия Макра взяться за оружие, и бессовестно добивалась там действий, которые вызвали бы голод в Риме[150]. Позже она, однако, приобрела уважение всего города: вышла замуж за консулярия, сумела уцелеть при Гальбе, Отоне и Вителлии и пользовалась большим влиянием благодаря богатству и бездетности — эти два преимущества сохраняют силу в любые времена — и в дурные, и в хорошие.

74. Между тем Отон вновь и вновь писал Вителлию письма, исполненные ухищрений, к которым прибегают разве что женщины; предлагал ему свою милость, деньги, спокойную богатую жизнь в любом месте, которое пожелает сам выбрать. Вителлий отвечал подобными же предложениями. Сначала они обменивались любезностями, каждый прибегал к глупым и недостойным уловкам, стараясь обмануть соперника; но вскоре начали перебраниваться, обвинять один другого — оба вполне справедливо — в подлостях и преступлениях. Отон отозвал легатов Гальбы и отправил вместо них в обе германские армии, в Италийский легион и в войска, стоявшие вокруг Лугдунума, других людей, представив их как посланцев сената. Посланцы остались в лагере Вителлия с такой готовностью, что трудно поверить, будто их задержа-

ли силой. С ними Отон послал якобы для большего почета отряд преторианцев, но их тут же отправили обратно, не дав времени вступить в разговоры с легионерами. Фабий Валент дал им письмо к преторианской гвардии и городской страже от имени германской армии; он писал, что вителлианцы очень сильны, но что они готовы заключить соглашение, и корил преторианцев за то, что они передали Отону императорскую власть, давно уже[151] принадлежащую Вителлию.

75. Так пытались подействовать на преторианцев обещаниями и угрозами и убедить, что война им не по силам, а мир не сулит ничего дурного. Однако поколебать их верность Отону не удалось. Несколько позже Вителлий подослал в Рим, а Отон в Германию своих людей. Но и у тех ничего не вышло: вителлианцы, хоть сами и уцелели, ничего не смогли сделать, так как затерялись в огромной толпе римлян и не сумели связаться друг с другом; отонианцы же сразу выдали себя, ибо оказались чужими в лагере, где каждый знал каждого. Вителлий написал брату Отона Тициану[152], угрожая, что убьет и его самого, и его сына, если не будут в безопасности мать и дети Вителлия. Обе семьи остались невредимы. Говорили, что Отон побоялся тронуть семью Вителлия. Вителлий же, одержав победу, пощадил родных Отона, и все стали прославлять его великодушие.

76. Первое сообщение, внушившее Отону уверенность в своих силах, пришло из Иллирии: на верность ему присягнули легионы Далмации, Паннонии и Мёзии[153]. Подобное же известие доставлено было из Испании. Но едва Отон успел особым эдиктом поблагодарить Клувия Руфа, как тут же выяснилось, что Испания перешла на сторону Вителлия. Аквитания поклялась Юлию Корду[154] остаться верной Отону, но тоже очень скоро нарушила клятву. Никто не думал о верности долгу или принцепсу, каждая провинция присоединялась к той или другой партии из страха или по необходимости: так перешла на сторону Вителлия Нарбоннская Галлия, ибо жители видели нависшую опасность и понимали, что всегда легче примкнуть к тому, кто ближе и сильнее. Более отдаленные провинции и армии, находившиеся за морем, оставались верны Отону, но не из преданности отонианской партии, а потому что испытывали великое почтение к имени Рима и к достоинству сената, да и услыхали они об Отоне раньше, чем

о Вителлии. Веспасиан в Иудее и Муциан в Сирии привели свои легионы к присяге Отону. Под властью Отона оставались также Египет и другие провинции, расположенные дальше на восток. Верность ему сохраняла и провинция Африка, где зачинщиком выступил Карфаген: здесь вольноотпущенник Нерона Кресценс — в дурные времена и подобные люди начинают вмешиваться в государственные дела, — не дожидаясь решения проконсула Випстана Апрониана, устроил для черни пир в честь Отона, и народ поспешно признал нового императора, ознаменовавши признание всякого рода безобразиями и бесчинствами. Примеру Карфагена последовали и прочие города.

77. Теперь, когда провинции и армии разделились на две враждующие партии, Вителлий стал еще сильнее стремиться к войне — без войны он не мог захватить верховную власть; Отон же занялся текущими делами империи, будто в мире царило полнейшее спокойствие; некоторые дела он решал в соответствии с достоинством государства, большинство же — в нарушение принятых обычаев, сообразуясь лишь с обстоятельствами. Консулами на срок до мартовских календ стали он сам и брат его Тициан, на следующий срок он сделал консулом Вергиния, чтобы польстить германским войскам, а коллегой его — Помпея Вописка, по старой дружбе, как утверждал он сам, или чтобы почтить жителей Виенны, как говорили многие[155]. На остальные месяцы были сохранены назначения, сделанные Нероном и Гальбой; Вителлий после победы также оставил их в силе: до июльских календ Целий и Флавий Сабины, до сентябрьских — Аррий Антонин и Марий Цельс[156]. Стариков, которые в свое время занимали высшие государственные должности, Отон, дабы они с почетом завершили свою деятельность, произвел в понтифики и авгуры, а чтобы хоть как-то утешить молодых нобилей, возвращенных недавно из ссылки, вернул им жреческие должности, принадлежавшие их отцам и дедам. Кадий Руф, Педий Блез[157] и Сцевин Приск вновь заняли в сенате свои места, которых были лишены при Клавдии и Нероне за хищения и взятки. Чтобы их оправдать, изменили обвинение, и то, что на деле было вымогательством, назвали оскорблением величия: возмущение, которое вызывали процессы последнего рода, заставило забыть справедливый закон о вымогательстве.

78. Стремясь подобной же щедростью привлечь к себе симпатии союзных племен и жителей провинций, Отон допустил новые семьи в число полноправных колонистов Гиспала[158] и Эмериты[159], распространил на все племя лингонов право римского гражданства[160], передал несколько мавританских городов в дар провинции Бетика, ввел новые законы в Каппадокии[161] и в Африке; все эти реформы Отон проводил лишь для того, чтобы добиться популярности, он и не рассчитывал, что они останутся в силе сколько-нибудь длительное время. Среди этих дел, которые еще можно как-то оправдать обстоятельствами и надвигавшейся опасностью, Отон, однако, не забывал о прошлом: провел через сенат декрет о восстановлении статуи Поппеи[162] и даже, как говорили, собирался устроить торжества в память Нерона, надеясь привлечь на свою сторону чернь. Нашлись люди, выставившие изображение Нерона перед своими домами, дошло до того, что народ и солдаты, как бы желая еще больше превознести знатность и славу Отона, несколько дней подряд приветствовали его именем Нерона Отона. Сам он ничего не сказал об этом новом титуле, то ли боялся его отвергнуть, то ли стыдился его принять.

79. Все думали лишь о гражданской войне и границы стали охранять не так тщательно. Сарматское племя роксоланов, которое предыдущей зимой уничтожило две когорты, окрыленное успехом, вторглось в Мёзию. Их конный отряд состоял из девяти тысяч человек; опьяненные недавней победой, они помышляли больше о грабеже, чем о сражении. И двигались поэтому без определенного плана, не принимая никаких мер предосторожности, пока не наткнулись внезапно на вспомогательные силы третьего легиона. Римляне наступали в полном боевом порядке, сарматы же одни разбрелись по округе в поисках добычи, другие тащили тюки с награбленным добром; лошади их ступали неуверенно, и сами они падали под мечами солдат, будто связанные по рукам и ногам. Как ни странно, вся сила и доблесть сарматов не в них самих: в пешем бою нет никого хуже и слабее, но вряд ли найдется войско, способное устоять перед натиском их конных орд. В тот день, однако, шел дождь, лед таял, и сарматы не могли пользоваться ни пиками, ни длиннейшими своими мечами, которые они держат двумя руками; лошади их

скользили по грязи, а тяжелые панцири мешали драться. Панцири у них носят все вожди и знать, и делают их из пригнанных одна к другой железных пластин или из самой твердой кожи; они действительно непроницаемы для стрел и камней, но если человека в таком панцире удается свалить на землю, то подняться сам он уже не может. Вдобавок лошади вязли в глубоком и рыхлом снегу, и сарматы теряли последние силы. Римские солдаты свободно двигались в своих легких кожаных панцирях, они засыпали сарматов дротиками и копьями, а если ход битвы того требовал, переходили врукопашную и короткими мечами пронзали ничем не защищенных сарматов, ведь у них даже не принято пользоваться щитами. Немногие, кому удалось спастись, бежали в болото, где погибли от холода и ран. Когда весть о победе достигла Рима, проконсул Мёзии Марк Апоний был награжден триумфальной статуей[163], а легаты легионов Фульв Аврелий, Юлиан Теттий и Нумизий Луп — консульскими знаками отличия[164]. Отон был весьма обрадован, приписал славу победы себе, и старался показать всем, будто военное счастье ему улыбается, а его полководцы и войска стяжали государству новую славу.

80. Между тем в Риме возникли беспорядки, едва не приведшие к гибели всего города, по поводу столь ничтожному, что никому и в голову бы не пришло чего-либо опасаться. Отон еще раньше приказал вызвать в Рим из Остии[165] семнадцатую когорту и поручил трибуну преторианцев Варию Криспину раздать солдатам оружие. Криспин решил выполнить приказ, когда сам он свободен, а в лагере тихо, дождался сумерек и велел открыть арсенал и грузить оружие на принадлежавшие когорте повозки. Преторианцам показалось подозрительным, что Криспин выбрал такое время, они сочли намерения его преступными, и чем тише он старался все делать, тем больший шум поднимался в лагере. Пьяные солдаты, увидев оружие, решили пустить его в ход, стали обвинять центурионов в измене, кричали, будто они хотят погубить Отона и для того вооружают сенаторских клиентов; одни кричали потому, что были пьяны и не понимали толком, что происходит, другие — худшие — надеялись, что удастся пограбить, чернь же, как всегда, из любви к беспорядкам; солдаты, верные своему долгу, не могли ничему поме-

шать из-за наступившей темноты. Трибуна, пытавшегося обуздать мятеж, убили, убили и самых строгих и требовательных центурионов; солдаты расхватали оружие, обнажили мечи и, вскочив на коней, устремились в город и на Палатин.

81. У Отона в это время был большой пир для знатнейших женщин и мужчин. Перепуганные гости не знали, как объяснить вспышку солдатской ярости — то ли это случайность, то ли коварство императора; и что опаснее — оставаться на месте, рискуя быть схваченным, или бежать и оказаться один на один с толпой; они то храбрились, то трусили, не сводя глаз с Отона; как часто случается с людьми некстати проницательными, они усматривали опасность для себя в словах и поступках Отона, которые на самом деле были продиктованы одним только страхом. Опасаясь за самого себя не меньше, чем за сенаторов, он сразу же послал префектов претория навстречу солдатам, чтобы успокоить их, а гостям велел немедленно разойтись. Высшие должностные лица государства, побросав знаки своего достоинства и избегая свиты клиентов и рабов, кинулись врассыпную; старики и женщины брели по улицам ночного города. Мало кто отправился домой, большинство искало приюта у друзей или в какой-нибудь глухой трущобе, у самого незаметного из клиентов.

82. Солдат не удалось остановить даже у входа во дворец; они ворвались в зал, где шел пир, ранили трибуна Юлия Марциала и префекта легиона Вителлия Сатурнина[166], которые пытались их задержать, и громко требовали, чтобы им показали Отона. Потрясая оружием, преторианцы угрожали то центурионам и трибунам, то сенаторам; обезумев от слепого страха, не зная, на ком выместить свою ярость, они готовы были расправиться со всеми сразу. Наконец Отон, позабыв о достоинстве императора, вскочил на ложе и, обливаясь слезами, стал умолять солдат успокоиться. С великим трудом он убедил их вернуться в лагерь; солдаты ушли, но неохотно, ибо чувствовали свою вину. На следующий день город выглядел так, будто его захватили враги: дома заперты, на улицах почти не видно граждан; простой народ молчит, удрученный; солдаты, скорее озлобленные, чем удрученные, смотрят в землю. Префекты Лициний Прокул и Плотий Фирм обошли манипулы, говорили с солдатами каждый на свой лад — один увещевал, другой угрожал; впрочем, оба заканчивали обеща-

нием выплатить каждому преторианцу по пять тысяч сестерциев. Только после этого Отон отважился войти в лагерь. Здесь его обступили трибуны и центурионы; побросав наземь знаки своего достоинства, они требовали, чтобы Отон спас их от гибели, освободил от службы. Солдаты поняли, отчего трибуны и центурионы не хотят больше служить, подчинились приказам командиров и сами потребовали наказать зачинщиков мятежа.

83. Отон видел, что армия остается неспокойной и единодушия в ней нет. Лучшие из солдат хотели восстановить дисциплину, большинство же радовалось, что можно бунтовать, помыкать властями, и стремилось перейти от грабежей и беспорядков к гражданской войне. Отон понимал также, что преступно захваченную власть не удержать, внезапно вернувшись к умеренности и древней суровости нравов; беспокоило его и то, что город оказался в опасности, а над сенатом нависла угроза. Взвесив все это, он обратился к преторианцам с речью. «Не с тем пришел я к вам, друзья, чтобы пробудить в вас еще большую любовь к себе или поощрить вашу доблесть, — и та и другая выше всяких похвал. Я пришел требовать, чтобы вы умерили ваше мужество и сдержали изъявления своей верности. Неурядицы возникли у нас не от алчности или ненависти, что так часто порождают беспорядки в других войсках, не от непослушания или страха перед опасностью. Причиной ваша преданность; выражая ее, вы проявили больше страсти, чем осмотрительности: если действовать не подумавши, то и самые похвальные намерения часто приводят к дурному. Мы стоим на пороге войны. Разве можно в такую минуту, при столь чрезвычайных обстоятельствах, выслушивать при всех каждое сообщение, всенародно обсуждать каждый план? Есть вещи, о которых солдатам надлежит ведать, а есть вещи, которых им лучше не знать. Власть полководца и незыблемый порядок в армии на том и стоят, что даже и трибуны и центурионы иной раз должны лишь выполнять приказ. Если каждый, получив приказание, станет спрашивать, зачем да почему оно нужно, прахом пойдет дисциплина, а за ней погибнет и государство. Что же, и во время войны броситесь вы среди ночи расхватывать оружие? И на войне один-два пьяных негодяя — ибо не хочу я верить, что вчерашнее безумие захватило многих, — будут пятнать руки

кровью центурионов и трибунов и ломиться в шатер своего императора?

84. То, что вы сделали, — вы сделали ради меня. Но если нет порядка, если повсюду царят смятение и мрак, то открываются пути силам, мне враждебным. Если бы могли Вителлий и его приспешники выбирать, какими они хотели бы нас видеть? Что доставило бы им бóльшую радость, чем распри и ссоры в наших рядах? Они только и мечтают, чтобы наши солдаты перестали подчиняться центурионам, центурионы — трибунам и все мы, пешие и конные, позабыв о порядке и дисциплине, устремились навстречу собственной гибели. Мощь армии, друзья, на том стоит, что солдаты подчиняются приказам полководца, а не стараются разузнать о его планах, и в час опасности то войско сильнее, которое перед тем было более сплоченным и спокойным. Пусть остаются при вас ваше мужество и ваше оружие, а думать и направлять вашу доблесть буду я. Провинились из вас немногие, наказаны будут лишь двое, остальные да забудут навсегда об этой позорной ночи, пусть ни в одной армии никогда не узнают об угрозах сенату, которые слышались здесь. Клянусь Геркулесом, даже варвары-германцы, которых Вителлий изо всех сил старается натравить на нас, и те не решились бы поднять руку на высший совет империи, где заседают лучшие люди всех провинций. Так неужто подлинные сыны Италии требовали убийства и казни сенаторов, неужто римское юношество могло посягнуть на сословие, что составляет славу и блеск нашего дела, отчего и стоим мы неизмеримо выше того сброда, что окружает Вителлия? Он захватил земли нескольких племен, у него есть какое-то подобие армии, но сенат с нами, значит, государство здесь, а там — враги государства. Ужели думаете вы, что прекрасный этот город — всего лишь дома, крыши, нагромождение камней? Их можно разрушить, можно отстроить заново — ничего от этого не изменится. Но неколебимо стоит Рим, мир царит в мире, и мы с вами живы до той поры, пока цел и невредим сенат. По велению богов создал его прародитель и основатель нашего города; простоял он от времени царей до времени принцепсов; таким приняли мы его от предков наших, таким передадим и потомкам; ибо как из вас выходят сенаторы, так из сенаторов выходят государи».

85. Преторианцы выслушали Отона благосклонно, ибо речью своей он и пристыдил их, и им польстил; велел покарать виновных, однако весьма мягко — не случайно из всех зачинщиков мятежа наказаны были лишь двое. Речью своей Отон сумел хотя бы на время достичь того, чего не мог добиться с помощью силы — заставить солдат соблюдать дисциплину и подчиняться приказам. Но спокойствие все же не возвращалось. Рим полон был звоном оружия, походил на город, охваченный войной. Сообща преторианцы больше не затевали смут, однако поодиночке, тайком, действуя якобы от имени и в интересах государства, нападали на дома наиболее знатных, богатых и вообще чем-либо известных граждан; к тому же по городу распространился слух, будто в Рим проникли солдаты Вителлия, чтобы выведать, как настроены разные партии и союзы граждан, и многие этому слуху верили. Поэтому все всех подозревали, и даже разговоры, которые люди вели у себя дома, при закрытых дверях, были небезопасны. Но больше всего страху натерпелись те, кому приходилось принимать участие в государственных делах: какую бы весть ни принесла молва, каждый старался настроиться на нужный лад, придать своему лицу подходящее выражение, чтобы не подумали, будто он легкомысленно относится к дурным известиям или мало радуется хорошим. Особенно трудно было угадать, как следует держать себя на заседаниях сената, ведь молчание могло показаться строптивостью, а независимость вызывала подозрение. Впрочем, Отон сам еще недавно был простым сенатором, вел себя точно так же и потому хорошо знал цену всем этим уловкам. Все на разные лады ругали Вителлия, называли врагом, изменником, наиболее дальновидные ограничивались обычной бранью, другие судили резко, но старались, чтобы слова их звучали неясно или тонули в общем шуме.

86. В довершение бед доходившие с разных сторон слухи о чудесах и знамениях наводили ужас. На Капитолии статуя Победы, стоящая на колеснице, запряженной парой коней, выронила из рук вожжи; из придела Юноны в Капитолийском храме внезапно вышел призрак выше человеческого роста; в ясный безветренный день, когда Тибр тек совершенно спокойно, стоявшая на острове посреди реки обращенная на запад статуя божественного Юлия вдруг повернулась лицом

к востоку; в Этрурии заговорил бык; животные рожали странных уродцев, и еще происходило множество всяких чудес. В далеком прошлом, исполненном невежества и дикости, люди и в обычное время с благоговением относились ко всяким странным явлениям, сейчас же их замечали, только когда все охвачены страхом. Но главным событием тех дней было внезапное наводнение; оно и само по себе принесло много несчастий, да к тому вселило еще больший страх перед будущим. Уровень воды в Тибре резко поднялся, река сорвала стоявший на сваях мост, разбила мол, перегораживавший течение; плотина рухнула в поток и вытесненные воды затопили не только кварталы, примыкавшие к Тибру, но и те части города, что всегда считались безопасными[167]. Волны смывали людей на улицах, настигали в домах и лавках; народ голодал, заработков не было, продовольствия не хватало; вода подмывала основания огромных доходных домов, и когда река отступила, они обрушились. Едва прошел первый страх, все увидели, что Марсово поле и Фламиниева дорога[168] непроходимы, а значит, закрыты пути, по которым Отон собирался идти в поход. Хотя причина порождена была природою или возникла по воле случая, все тотчас решили, что это знамение, предвещающее неизбежное поражение.

87. Отон, совершив обряд очищения города, принес очистительные жертвы; обдумав все возможные планы кампании, он решил двинуться к Нарбонской Галлии, так как Пеннинские и Котские Альпы, а равно все другие подступы к галльским провинциям преграждены были вителлианскими войсками. Отон рассчитывал на силу и преданность своего флота: он выпустил из тюрьмы солдат морской пехоты, уцелевших во время резни у Мульвиева моста, — Гальба с присущей ему жестокостью велел держать их в заточении — сформировал из них особые отряды в легионе, а остальным намекнул, что в будущем они могут рассчитывать на более почетную службу. К флотам он присоединил когорты городской стражи и многих преторианцев из тех, что составляли цвет и силу войска, были стражами и советчиками полководцев. Верховное командование было поручено примипиляриям Антонию Новеллу и Свединю Клементу, а также Эмилию Пацензу, которому вернул он должность трибуна, отнятую Гальбой. Кораблями по-прежнему ведал вольноотпущенник

Мосх, Отон поручил ему даже следить за людьми, которые по рождению были гораздо его выше. Командовать пешими и конными войсками назначили Светония Паулина, Мария Цельса и Анния Галла[169], но больше всех Отон доверял префекту претория Лицинию Прокулу. Он отличился во время службы в римском гарнизоне, но в военном деле был неопытен; Лициний избрал легкий путь к почестям: стал клеветать на других командиров, отрицая те хорошие качества, которые у каждого из них были, — Паулин умел внушать к себе уважение, Цельс отличался стойкостью, а Галл опытностью; благодаря своей ловкости и подлости Лициний добился превосходства над людьми порядочными и скромными.

88. Примерно в те же дни выслали в Аквин[170], под гласный и не слишком строгий надзор Корнелия Долабеллу[171]; он не совершил никакого преступления, но был под подозрением как человек из древней фамилии и родственник Гальбы. Многим магистратам и почти всем консуляриям Отон приказал выехать вместе с собою в армию — не для того, чтобы участвовать в деле или помогать, а только чтобы состоять в его свите; среди них был и Луций Вителлий[172]; Отон обращался с ним с обычной своей любезностью, не как с братом императора, но и не как с братом врага. Приказ Отона вызвал в городе переполох. Люди всех сословий боялись настоящего и опасались за будущее: наиболее заслуженные сенаторы были дряхлы и за долгие годы мирной жизни обленились, изнеженные аристократы отвыкли от походов, всадники никогда их и не знали. Каждый старался скрыть свой страх и трепет, и чем больше старался, тем они были виднее. Многих, однако, обуревало бессмысленное тщеславие: они покупали дорогое оружие, породистых лошадей и предметы роскоши, уместные разве что на пирах и попойках, которые они считали тоже частью военного снаряжения. Люди мудрые думали о том, как обеспечить интересы мира и государства; самые легкомысленные, неспособные заглянуть в будущее, тешились пустыми надеждами; многие из тех, кто в обычное время в страхе скрывается от кредиторов, теперь, среди неурядиц и беспорядков, приободрились и чувствовали себя в безопасности.

89. Мало-помалу, однако, и чернь, и простонародье, которое обычно не заботят беды государства, начали испытывать

на себе тяготы войны: все деньги уходили на нужды армии, цены на продукты росли. Во время восстания Виндекса эти трудности мало коснулись жителей; тогда город чувствовал себя в безопасности, легионы дрались с галлами в провинциях, война, казалось, шла за рубежами империи. Вообще, с тех пор как божественный Август положил начало власти цезарей, римский народ вел войны на далеких окраинах империи, а все заботы и почет выпадали на долю одного человека. При Тиберии и Гае государство страдало от бед, какие случаются и в мирное время; восстание Скрибониана против Клавдия было уже подавлено, когда весть о нем достигла Рима; Нерона свергли не силой оружия, а слухами и молвой. Теперь же воевать пошли легионы и флоты, и даже — что прежде бывало очень редко — войска городской стражи и преторианцы; в тылу оказались западные и восточные провинции со стоящими там армиями, и при других полководцах такая война могла бы затянуться надолго. Отон был уже совсем готов к походу, но ему советовали почтить древние обряды и повременить, пока не будут возвращены на место священные щиты[173]; он же и слышать не хотел об отсрочке и говорил, что подобное промедление сгубило Нерона. К тому же Цецина уже перешел Альпы и надо было спешить.

90. Накануне мартовских ид Отон поручил сенату заботы о делах государства и распорядился отдать возвращенным из ссылки деньги, вырученные от распродажи их имущества, конфискованного Нероном, если только они не были уже взяты в казну. Распоряжение справедливое и сильно подействовавшее на умы; на деле, однако, ничего не вышло, ибо конфискации Нерон производил очень поспешно. Вскоре затем Отон устроил собрание граждан, говорил о величии Рима, превозносил единодушие, с которым сенат и народ его поддерживают, и весьма осторожно повел речь о легионерах-вителлианцах — сказал, что они не знают настоящего положения дел, и не стал обвинять в неподчинении. Вителлия же не упомянул совсем — то ли сам опасался говорить о нем, то ли человек, писавший ему речь, боялся за себя и предпочел обойтись без нападок на Вителлия: говорили, что в гражданских делах Отон пользовался знаниями и способностями Галерия Трахала[174], как в военных опирался на советы Светония Паулина и Мария Цельса. Некоторые даже утверждали,

будто уловили в речи Отона ораторскую манеру Трахала, прославившегося частыми выступлениями в суде, — его многословный и звучный слог, что восхищал простых людей. Льстивые крики и рукоплескания толпы были как всегда преувеличенно громки и неискренни: можно было думать, будто провожают в поход диктатора Цезаря или императора Августа. Стараясь превзойти друг друга, все наперебой желали Отону удачи, призывали на него благословение богов, не от страха и не из особой преданности, а как бы наслаждаясь собственным пресмыкательством; так в частном доме в толпе рабов и клиентов каждый преследует свои корыстные цели, и даже мысль о чести семьи не приходит никому в голову. Отправляясь в поход, Отон поручил наблюдать за спокойствием в городе и ведать делами государства своему брату Сальвию Тициану.

Книга вторая

1. Между тем на другом конце земли по воле фортуны незаметно зрела новая власть, которой суждено было принести государству множество великих удач и ужасных бед, породить принцепсов, знавших безоблачное счастье[1], и правителей, встретивших бесславную гибель[2]. Гальба был еще облечен всей полнотой власти, когда Тит Веспасиан по воле отца выехал из Иудеи в Рим. Он ехал, как объяснял сам, чтобы воздать почести государю и обратить на себя его внимание; юноша вступал в тот возраст, когда пора подумать о занятии почетных государственных должностей. Но среди черни, всегда склонной к выдумкам, разнесся слух, будто Тит хочет, чтобы Гальба его усыновил. Причиной был преклонный возраст принцепса, его бездетность, а к тому же люди всегда в нетерпении указывают то на того, то на другого, пока в принцепсы не избран кто-либо один. Слух казался не столь уж нелепым: Тит был умен, тверд и вполне мог занять любое самое высокое место; к этому следует прибавить его красивую, даже величественную внешность, успехи Веспасиана, предсказания оракулов и, наконец, случайные происшествия, в которых люди легковерные часто усматривают предуказания судьбы. Тит находился в городе Коринфе, в Ахайе, когда

до него дошла весть о гибели Гальбы; кое-кто из его окружения стал поговаривать и о восстании Вителлия, и о гражданской войне. Тит, встревоженный, собрал нескольких друзей, чтобы обсудить, что делать: если сейчас явиться в Рим, то за знаки внимания, изначально предназначавшиеся другому, благодарности ждать нечего; вдобавок он рискует оказаться заложником у Вителлия или у Отона; если же повернуть назад, то будущий принцепс, конечно, оскорбится. Кто окажется победителем, пока неизвестно, кроме того, отец признáет власть нового государя и тем заставит его простить и сына. Наконец, если Веспасиан сам вмешается в борьбу за власть, ни Отон, ни Вителлий, занятые гражданской войной, не станут вспоминать о былых обидах.

2. Так или примерно так размышлял Тит, колеблясь между надеждой и страхом, и наконец принял решение, внушавшее более всего надежды. Некоторые считали, что повернуть обратно заставила Тита страсть, которой он пылал к царице Беренике[3]. Юноша и в самом деле не был к ней равнодушен, что, однако, нисколько не мешало ему поступать разумно и осмотрительно. В молодости Тит был склонен к утехам и развлечениям, да и потом, в годы правления отца, вел себя далеко не столь сдержанно, как позже, когда сам сделался императором. Он не поплыл вдоль берегов Ахайи и Азии, а оставив море, их омывающее, слева, отправился прямо к островам Родосу и Кипру, а оттуда — в Сирию, то есть избрал путь, требовавший особого мужества. На Кипре Тит пожелал посетить и осмотреть храм Венере Пафосской[4], славный и среди местных жителей, и среди чужестранцев. Я, думаю, не займу много времени, если в нескольких словах расскажу, как возник здешний культ, каковы храмовые обряды и как выглядит изображение богини, нигде не имеющее себе подобных.

3. Древние сказания называют основателем храма царя по имени Аэрия, хотя некоторые полагают, что это — имя самой богини. Более позднее предание гласит, что храм поставил Кинир[5] — на том самом месте, куда прибой вынес рожденную морем богиню; а учение и искусство гаруспиков занес на Кипр киликиец[6] Тамир. По взаимному согласию решили, что культ будут отправлять совместно потомки обеих семей. Впоследствии, однако, боясь, что царский род окажется в меньшем почете, чем род пришельцев, новые поселенцы пе-

рестали пользоваться учением, ими же введенным, и жреческие должности занимали лишь потомки Кинира. В храме принимают любых жертвенных животных, каких кто принесет, но для заклания выбирают самцов, самыми верными считаются прорицания по внутренностям молодых козлят. Обливать жертвенники кровью запрещено, лишь молитвы и чистое пламя возносятся с алтарей, и, хотя стоят они под открытым небом, не было еще случая, чтобы дождь залил огонь. Идол богини не имеет человеческого облика, а похож на мету на ристалищах — круглый внизу и постепенно сужающийся кверху. Почему он такой — никто не знает.

4. Тит осмотрел драгоценности, царские подношения и прочие вещи, которые, как уверяли любящие старину греки, были подарены храму в незапамятные времена, и сразу же спросил оракула, можно ли плыть дальше. Оказалось, что путь открыт и море спокойно; Тит принес обильные жертвы и лишь после этого весьма осторожно попытался узнать, какая судьба ожидает его. Сострат (так звали жреца), увидев по благоприятному расположению внутренностей[7], что богиня согласна ответить на вопросы знатного посетителя, сказал всего несколько слов, какие подобают при таких гаданиях; после же явился к Титу тайком и открыл ему будущее[8]. Тит воспрял духом; прибыл он к отцу, как раз когда положение в войсках и провинциях было неустойчивым, и вера Тита склонила чашу весов на сторону Флавиев.

Веспасиан тем временем почти окончил войну в Иудее, хотя ему еще и предстояло взять Иеросолиму — дело трудное, требовавшее много сил, не потому что в городе были большие запасы и оттого жители могли перенести тяготы осады, а больше потому, что Иеросолима стояла на недоступной круче, а осажденные отличались фанатическим упорством. Как я уже упоминал, тремя закаленными в боях легионами командовал сам Веспасиан и еще четыре находились под началом Муциана. Этим последним не приходилось еще воевать, но слабыми их не назовешь, ибо слава, которую стяжали товарищи, возбуждала соперничество между обеими армиями и разжигала боевой дух. Солдаты Веспасиана были закалены перенесенными трудностями и опасностями, легионы Муциана сильны потому, что хорошо отдохнули и еще не измучены войной. Оба полководца располагали вспо-

могательными когортами и конницей, флотами, армиями местных царей[9], оба были, хотя и по-разному, знамениты.

5. Веспасиан, всегда исполненный бодрости в походах, шел во главе войска, умел выбрать место для лагеря, днем и ночью помышлял о победе над врагом, а когда приходилось, сам разил его могучею рукою; ел что придется, одеждой и привычками почти не отличался от рядового солдата — словом, если бы не скупость, он был бы во всем подобен римским полководцам древних времен. Муциан, напротив того, отличался богатством и любовью к роскоши, привык окружать себя великолепием, у простого гражданина не виданным; он лучше владел словом, был опытен в политике, разбирался в делах и умел предвидеть их исход. Какой образцовый получился бы принцепс, если бы, отбросив пороки, слить воедино достоинства того и другого! Они, однако, не ладили друг с другом, так как правили один — Сирией, а другой — Иудеей, двумя соседними и потому соперничавшими провинциями. Лишь после смерти Нерона перестали они враждовать и начали советоваться между собой; посредниками были сначала друзья, а потом Тит — он быстро и ко взаимной пользе покончил с разделявшими их мелочными дрязгами, сумел благодаря своему врожденному обаянию и тонкой обходительности понравиться даже Муциану и вдохновлял и поддерживал их дружбу. Трибуны, центурионы и рядовые солдаты стояли за этот союз — кто из верности долгу, а кто из желания поживиться, одни — движимые доблестью, другие — пороками.

6. Еще до возвращения Тита обе армии узнали о предстоящей присяге Отону. Такие вести всегда доходят быстро, но медленно и тяжко надвигается гражданская война; о ней тогда впервые заговорили в восточных провинциях, которые столько лет оставались послушными и спокойными. Самые крупные гражданские войны издавна разворачивались в Италии или в Галлии и вели их войска, расположенные в западных провинциях. Никому из тех, кто пробовал перенести гражданскую войну на восток, не удавалось добиться здесь победы — ни Помпею, ни Кассию, ни Бруту, ни Антонию. Сирия и Иудея больше слышали о государях, чем видели их. В то время как в других местах все уже пришло в движение и готовилась гражданская война, здесь царил безмятежный

покой; не было беспорядков и в легионах; лишь изредка схватывались они с парфянами, то побеждая, то отступая. Легионы спокойно принесли присягу Гальбе; вскоре, однако, пришла весть, что Отон и Вителлий стремятся захватить императорский престол и затевают преступную войну друг против друга. Солдаты испугались, что награды от нового принцепса получат другие, а на их долю достанется одна лишь тяжкая служба. И стали подсчитывать свои силы: здесь, на востоке, — семь легионов с приданными им крупными вспомогательными армиями Сирии и Иудеи, дальше — Египет с двумя легионами, а с другой стороны — Каппадокия, Понт, гарнизоны, что цепью охватили Армению, Азию и другие многолюдные и богатые провинции, в море — бесчисленные острова, наконец, само море, ибо оно отделяет эти земли от Рима, обеспечивает их безопасность, так что можно исподволь готовить гражданскую войну.

7. Полководцы видели мятежные настроения солдат, но предпочитали выжидать, пока воюют другие. В гражданской войне, рассуждали они, победители и побежденные никогда не примиряются надолго. Гадать же сейчас, кто возьмет верх, Отон или Вителлий, нет смысла: добившись победы, даже выдающиеся полководцы поступают так, как никто не ждет, а уж эти двое, ленивые, распутные, вечно со всеми в ссоре, все равно погибнут оба — один оттого, что проиграл войну, другой — оттого, что ее выиграл. Поэтому решено было отложить до времени войну, на которую все уже решились — Веспасиан и Муциан недавно, а прочие уже давно; лучших вела любовь к отечеству, многих подталкивала надежда пограбить, иные рассчитывали поправить расстроенное состояние. И хорошие люди, и дурные — по разным причинам, но с равным пылом — жаждали войны.

8. Примерно в то же время в Ахайе и в Азии распространились ложные вести о появлении Нерона, вызвавшие ужас в этих провинциях[10]. Чем больше слухов ходило о том, как погиб Нерон, тем больше людей утверждали, что он жив, и тем больше людей этому верили. В дальнейшем ходе моего повествования я расскажу о судьбе самозванцев, что пытались выдавать себя за Нерона, тот же, о котором пойдет речь сейчас, был рабом из Понта[11] или, как говорят иные, вольноотпущенником из Италии. Он хорошо пел и играл на кифа-

ре и оттого уверился, что сумеет выдать себя за Нерона[12], на которого к тому же походил лицом. Наобещав великое множество всяких благ каким-то нищим бродягам из беглых солдат, он увлек их за собой и вместе с ними пустился в море. Буря прибила их к острову Цитну[13], там повстречались они с солдатами из восточных легионов, которые проводили здесь отпуск; некоторых самозванец уговорил следовать за собой, тех же, кто отказался, велел убить; ограбив нескольких купцов, он вооружил самых сильных и крепких из рабов. Центуриона Сисенну, который от имени сирийской армии вез преторианцам изображение переплетенных правых рук — символ мира и согласия, он всяческими уловками пытался перетянуть на свою сторону, так что перепуганный центурион, опасаясь за свою жизнь, бежал с острова. После этого тревожные слухи стали распространяться все шире; славное имя Нерона привлекало многих — и любителей перемен, и недовольных тем, что есть. Молва о смуте росла день ото дня, пока случай не положил ей конец.

9. Еще до этих событий Гальба поручил Кальпурнию Аспренату управление провинциями Галатия и Памфилия[14]. Тот отправился к месту назначения в сопровождении двух трирем[15] из Мизенского флота, и прибыл на остров Цитн. Нашлись люди, передавшие триерархам[16] обоих кораблей приглашение от имени Нерона. Прикинувшись удрученным, взывая к чувству долга солдат, некогда столь верно ему служивших, самозванец стал убеждать триерархов поддержать начатое им в Сирии и Египте. То ли вправду заколебавшись, то ли из хитрости, триерархи пообещали настроить солдат, уговорить их перейти на его сторону и тогда вернуться; сами же пошли и все честно рассказали Аспренату. По его призыву солдаты штурмом взяли корабль самозванца и убили этого человека, кто бы он ни был на самом деле. Голову убитого, поражавшую дикостью взгляда, косматой гривой и свирепым выражением лица, отправили в Азию, а оттуда в Рим.

10. Государство терзали распри; из-за частой смены принцепсов в Риме царила свобода, близкая к распущенности; мелкие повседневные дела шли здесь своим чередом под гром потрясавших империю великих событий. Вибий Крисп[17], которому его богатство, власть и таланты стяжали больше известности, чем уважения, возбудил в сенате дело

против всадника Анния Фавста, сделавшего при Нероне своим ремеслом сочинение доносов: в начале принципата Гальбы сенаторы приняли решение, что сами будут разбирать дела доносчиков. Это сенатское постановление в общем сохраняло свою силу[18], хотя применялось иногда со всей строгостью, а иногда о нем едва вспоминали; дело зависело от того, был ли обвиняемый беден или богат. Крисп горячо, со всей страстью набросился на Фавста, донесшего в свое время на его брата[19], и сумел убедить большую часть сенаторов потребовать казни Фавста, не выслушав ни защитников его, ни собственных его оправданий. Некоторые сенаторы, однако, именно оттого, что обвинитель был так силен, решили вступиться за обвиняемого. Они считали, что улик мало, торопиться не стоит и Фавст, хоть и виновен и всем ненавистен, но надо следовать обычаям и выслушать его. На первых порах сторонники этого взгляда взяли верх, и разбор дела отложили на несколько дней, но вскоре Фавст все же был осужден. Однако осуждение не вызвало одобрения, хоть Фавст и заслужил его своими пороками. Вспоминали, что и сам Крисп тоже с великой для себя выгодой занимался доносами; словом, все были довольны, что преступник наказан, но тот, кто добился наказания, не нравился никому.

11. Между тем для Отона война начиналась счастливо: на помощь ему двинулись войска из Далмации и Паннонии — четыре легиона, каждый выслал вперед авангард из двух тысяч человек, остальные следовали за ним на небольшом расстоянии. То были созданный Гальбой седьмой, закаленные в боях одиннадцатый и тринадцатый и знаменитый четырнадцатый, что прославился подавлением восстания в Британии; позже Нерон назвал его сильнейшим в римской армии, и потому легион этот долго сохранял ему верность и теперь был горячо предан Отону. Легионы располагали огромным количеством людей и оружия, высоко ценили свою помощь, и потому не спешили. Перед каждым двигались входившие в него конные отряды и вспомогательные когорты. Из Рима тоже выступили весьма немалые силы — пять когорт и конные отряды преторианцев, первый легион и две тысячи гладиаторов — постыдный вид вспомогательного войска, которым, однако, в пору гражданских войн не брезговали и честные полководцы. Командовать армией было поручено Ан-

нию Галлу; он ушел вперед, чтобы вместе с Вестрицием Спуринной[20] занять долину Пада: хотя первоначальный план кампании провалился, так как Цецина тем временем уже перешел Альпы, Отон все же рассчитывал, что удастся остановить вителлианцев в галльских провинциях. Самого Отона сопровождали отборные отряды из особо заслуженных солдат, остальные когорты претория, преторианцы-ветераны и множество солдат морской пехоты. В походе Отон не знал слабости, не предавался разврату роскоши: в железном панцире, просто одетый, он шел перед строем, впереди боевых значков, суровый, непохожий на того Отона, которого знала молва.

12. Судьба была благосклонна к замыслам Отона; флот его стерег большую часть Италии, вплоть до Приморских Альп. Сведию Клементу, Антонию Новеллу и Эмилию Пацензу поручил он продвинуться с войсками к этим горам и выйти на границу Нарбоннской провинции. Но Пацепза схватили и заточили вышедшие из повиновения солдаты, Антония Новелла никто не хотел слушаться, и на деле командовал один Сведий Клемент[21]; он заискивал перед солдатами, вовсе не заботился о воинской дисциплине и где только можно старался действовать по законам войны, словно идет он не по Италии, не по родным полям и селениям, а опустошает чужие берега, выжигает и грабит вражеские города. Это было тем отвратительнее, что никто и не думал защищаться — на полях кипела работа, дома стояли открытыми. Уверенные, что кругом царят мир и безопасность, люди с женами и детьми выбегали навстречу войскам, и тут настигала их война со всеми ее ужасами. Прокуратором Приморских Альп[22] был в это время Марий Матур. Он собрал местных жителей, молодежи было много, и они решили не допустить отонианцев в свою провинцию. Но в первой же схватке горцы были перебиты или разбежались — как того и следовало ожидать, — наспех собранные, они к тому же ничего не знали ни об устройстве лагерей, ни о едином командовании; таким солдатам и победа не в славу, и бегство не в укор.

13. Сражение еще больше разъярило солдат Отона, и они выместили свою злобу на жителях Альбинтимилия[23]. Победа не принесла добычи, ибо крестьяне были нищи и плохо вооружены; захватить их, чтобы продать в рабство, тоже не

удалось — они прекрасно знали местность и ловко прятались. Алчность отонианцев насытилась лишь страданиями неповинных горожан. Ненависть к солдатам Клемента еще возросла, когда пример редкой доблести явила одна из лигурийских женщин. Она укрыла где-то сына, доверив ему, как полагали солдаты, все свои богатства. Солдаты пыткой хотели добиться от женщины, где прячет она сына, но, указав себе на живот, она отвечала, что скрыла сына в своем теле. Ни угрозы, ни смерть не заставили жещину отречься от этих гордых слов[24].

14. К Фабию Валенту явились перепуганные гонцы из Нарбоннской Галлии и донесли, что флот Отона угрожает провинции, присягнувшей на верность Вителлию. В то же время через своих легатов обратились к нему за помощью и колонии[25]. Валент послал колониям две тунгрские когорты[26], четыре конных отряда и всю тревирскую конницу, во главе с Юлием Классиком. Часть этих войск он позже задержал в колонии Форум Юлия, опасаясь отводить в глубь страны все силы, чтобы не оставить без войск побережье и не ускорить тем нападение отонианского флота. Двенадцать конных отрядов и пехотинцы из солдат обеих когорт пошли навстречу врагу. К ним прибавили еще когорту лигурийцев, которые знали местность и могли принести большую пользу, а также пятьсот новобранцев из Паннонии, которые не успели еще принести присягу. Ждать битвы пришлось недолго. Отонианская армия была расположена так: приморские холмы занимала часть солдат морской пехоты вместе с местными ополченцами, прибрежную равнину — преторианцы, а море — флот, в полном боевом порядке, грозно развернутый носами к берегу, готовый во всякую минуту прийти на помощь. Главной силой вителлианцев была не пехота, а конница, они в ближних ущельях поставили горцев, а когорты — тесными рядами позади конницы. Конные отряды тревиров, позабыв осторожность, вырвались далеко вперед. Их встретили ветераны претория, а с фланга стали засыпать камнями ополченцы, благо метать камни по силам и крестьянам; смешавшись с солдатами, все они — и храбрецы, и трусы — с равным пылом стремились к победе. Вителлианцы были уже разбиты, когда с тыла обрушили на них флот; и тут они пришли в полное замешательство, их окружили со всех сторон и

истребили бы начисто, но спустилась ночная тьма, остановила победителей и скрыла бегущих.

15. Побежденные вителлианцы не успокоились. Подтянув вспомогательные войска, снова напали они на врагов, которые после победы чувствовали себя в безопасности и действовали не так решительно, как раньше. Часовых перебили, оборону лагерей прорвали, схватки закипели уже у самых кораблей. Тут только преторианцы пришли в себя и, заняв соседний холм, стали обороняться, а вскоре и сами перешли в наступление. Резня началась страшная; погибли засыпанные дротами префекты тунгрских когорт, долго удерживавшие своих солдат в боевом строю. Отонианцам тоже победа стоила немало крови: они увлеклись преследованием конников Вителлия, те, повернув лошадей, окружили их и разбили. Затем противники разошлись, как бы заключив перемирие, опасаясь одни — внезапной атаки кавалерии, другие — неожиданного нападения флота: вителлианцы отошли к Антиполису, городу в Нарбоннской Галлии; отонианцы вернулись в Альбигаун, во внутренней Лигурии[27].

16. Слава победоносного флота разнеслась по Корсике, Сардинии, по другим соседним островам, что и заставило их хранить верность Отону. Корсику, однако, чуть не погубило безрассудство прокуратора Декума Пакария; он погиб, а пользы столь долгая и трудная война не принесла никому. Декум ненавидел Отона и решил поддержать Вителлия силами корсиканцев; даже если бы задуманное удалось Вителлию, Декум помог бы очень мало. Собрав влиятельных граждан острова, Пакарий рассказал о своих намерениях; триерарха либурнских судов[28] Клавдия Пиррика и всадника Квинтия Церта, которые спорили с ним, Декум велел убить; устрашенные их гибелью, остальные присягнули на верность Вителлию. Ничего не понимавшая чернь, как всегда готовая трепетать, если трепещут другие, тотчас последовала их примеру. Однако, когда Пакарий начал воинский набор и от местных жителей, не привыкших к порядку, стал требовать строгого исполнения воинских обязанностей, они прокляли обрушившиеся на них тяготы и задумались о бедственном своем положении. Мы живем на острове, рассуждали они, Германия и легионы далеко, а флот рядом. Не раз ведь уже было, что моряки грабили и уничтожали прибрежные селения, даже

надежно защищенные пешими и конными войсками. Все как один вдруг отвернулись от Пакария, но не решались пока что выступить открыто, а выжидали подходящего времени. Пакарий вместе со своими слугами был убит, раздетый и беспомощный, когда, проводив гостей, собирался сесть в ванну. Убийцы доставили Отону их головы будто головы врагов. Однако не получили ни награды от Отона, ни наказания от Вителлия: в бурном течении событий преступление затерялось среди других еще более ужасных.

17. Как я уже говорил, силианская кавалерия[29] перенесла войну в Италию. Тут никто не питал особой любви к Отону, но не потому что предпочитали Вителлия, — просто долгие годы мирной жизни приучили людей покорно склоняться перед всяким, кто захватит власть, и не задумываться, который лучше. Тем временем когорты, высланные Цециной вперед, уже спустились в Транспаданскую Галлию, и эта цветущая область Италии со всеми городами и военными поселениями, разбросанными между Падом и Альпами, оказалась в руках Вителлия. Вителлианцы захватили возле Кремоны паннонскую когорту, между Плаценцией и Тицином[30] — сотню всадников и тысячу солдат морской пехоты, так что река и берега ее больше не были им опасны. Батавам изарейнским германцам не терпелось переправиться через Пад. Неожиданно для всех они перешли реку около Плаценции, захватили в плен несколько человек из патрульного отряда отонианской армии и так напугали остальных, что те разбежались в ужасе, разнося повсюду весть, будто в Циспаданскую Галлию[31] уже вторглась вся армия Цецины.

18. Спуринна, который командовал гарнизоном Плаценции, знал достоверно, что Цецина еще далеко. Но, даже если бы вителлианцы были близко, он все равно собирался держать солдат за городскими укреплениями и не думал пытаться выступить со своими тремя преторианскими когортами, тысячей легионеров и малым числом всадников против закаленной в боях армии. Но разнузданные, непривычные к походам солдаты не слушают центурионов и трибунов, захватывают боевые значки и вымпелы, устремляются вон из лагеря; командующий пытается их удержать, ему угрожают дротами. Кричат, будто Отона предали, будто Цецину призвали в город. Спуринне пришлось уступить безрассудным

требованиям. Сначала он не скрывал, что действует по принуждению, но потом прикинулся, будто и сам хочет того же, рассчитывая, что мятеж рано или поздно утихнет, а он сумеет удержать власть.

19. Пад уже скрылся из виду, и спускалась ночь; решили разбить лагерь и обнести его валом, но солдаты римского гарнизона не привыкли к такой тяжелой работе и вскоре приуныли. Самые старые принялись проклинать свою опрометчивость, они объясняли молодым, какая опасность грозит им — ведь их всего несколько когорт, и Цецина со своей армией может окружить их здесь, в чистом поле. Центурионы и трибуны вмешались в разговор, и вскоре солдаты успокоились. Они стали хвалить проницательность командующего, ибо он решил обосноваться в колонии богатой, где к тому же много войска. Наконец выступил и сам Спуринна; он не корил солдат за непослушание, а рассказал обо всех выгодах своего плана. Оставив лазутчиков, с остальными повернул он назад и привел их в Плаценцию уже не буйными, а покорными. Стены города исправили, перед ними соорудили новые укрепления, возвели башни, вооружения не прибавили, а усилили дисциплину и порядок — только того и не хватало сторонникам Отона, на недостаток храбрости у них жаловаться не приходилось.

20. Солдаты Цецины словно оставили по ту сторону Альп свою жестокость и наглость, по Италии шли спокойно и вели себя сдержанно. Правда, колонисты и горожане осудили Цецину за его одежду: они видели высокомерие в том, что он носил длинные штаны, короткий полосатый плащ и в таком виде позволял себе разговаривать с людьми, облаченными в тоги[32]. Жена его, Салонина, ехала на великолепном скакуне, покрытом пурпурным чепраком, и хотя никакого вреда в том не было, но и это сердило жителей. Так уж устроены люди: с неодобрением смотрят они на каждого, кто внезапно возвысился, и больше всего скромности требуют от человека, который недавно был им равен. Цецина перешел Пад и пытался уговорами и обещаниями перетянуть отонианцев на свою сторону; они отвечали тем же, так что немало времени прошло в столь же высокопарных, сколь и бесполезных разговорах о мире и согласии. Наконец Цецина все свои мысли и силы сосредоточил на осаде Плаценции. Взятием колонии

хотел он устрашить другие города, ибо хорошо понимал, что от первых шагов зависит, какая слава пойдет об армии.

21. В первый день, однако, вителлианцы проявили более неистовства, чем военного искусства, какого можно было ожидать от ветеранов. Они явились под стены города плотно поевшие, пьяные, без прикрытий, позабыв о всякой осторожности. Во время сражения за городскими стенами сгорел прекрасный амфитеатр. Может быть, его подожгли нападающие, когда забрасывали в город горящие факелы, раскаленные ядра и зажигательные стрелы, а может быть, сами осажденные, когда возвращались после вылазки и проходили через этот амфитеатр. Склонная к подозрениям городская чернь решила, что подожгли люди, подосланные соседними колониями, из зависти, ибо нигде в Италии не было столь огромного амфитеатра. Как бы то ни было, пока жителям Плаценции грозили бóльшие беды, они не слишком сокрушались о сгоревшем амфитеатре когда же все успокоилось, принялись горевать так, будто ничего худшего не могло случиться. Понапрасну пролитая кровь его воинов не давала Цецине покоя, всю ночь готовился он к новому штурму. Вителлианцы плели фашины, сколачивали щиты и навесные крыши, чтобы защититься от осажденных, пока будут вести подкоп под стены; отонианцы острили колья, собирали в огромные кучи камни, куски свинца и меди, чтобы обрушивать их на нападающих и уничтожать их осадные машины. И те и другие боятся позора и жаждут славы, и тех и других командиры подбадривают, напоминая одним о мощи германской армии и ее легионов, другим — о чести римского гарнизона и преторианских когорт; здесь поносят преторианцев — слабосильных бездельников, не знающих ничего, кроме цирков и театров; там — легионеров, что, скитаясь на чужбине, забыли о родине, и чужестранцев, им помогающих; здесь, чтобы подзадорить солдат, ругают Отона и превозносят Вителлия; там, напротив, Отона расхваливают, а Вителлия поносят, благо и тот и другой больше заслуживают осуждения, чем похвал.

22. Едва забрезжил день, защитники города высыпали на стены, поля покрылись войсками и засверкали оружием. Сомкнутым строем двигались легионы, врассыпную шли вспомогательные отряды, стрелами и камнями, засыпая сте-

ны там, где они были выше, и устремляясь на приступ там, где они небрежно охранялись или обветшали. Сверху со стен было удобнее целиться и легче размахнуться — отонианцы метали дроты в отчаянно лезущих на приступ германцев из вспомогательных когорт. По обычаю предков германцы наступали полуголые, потрясая над головой щитами, опьяняя себя боевыми песнопениями[33]. Легионеры, прикрытые навесами и плетеными крышами, подкапывали стены, насыпали валы, пытались разбить ворота. Преторианцы с грохотом скатывали на них нарочно приготовленные огромные тяжелые камни; камни увлекали за собой наступающих, давили раненых. Вителлианцы дрогнули, число убитых росло, град камней, дротов и стрел со стен еще усилился; наконец вителлианцы стали отходить, навсегда расставаясь со славой, сопутствовавшей им дотоле. Снедаемый стыдом за столь безрассудно начатую осаду, Цецина покинул лагеря, где все смеялось над ним и напоминало о его пустом тщеславии, вновь перешел Пад, чтобы попытать счастья под Кремоной. Он уже уходил, когда появились Туруллий Цериал со множеством солдат морской пехоты и немного конников во главе с Юлием Бригантиком. Бригантик был префект кавалерии, родом из Батавии, а Цериал — примипилярий; он служил в свое время центурионом в Германии и знал Цецину.

23. Когда Спуринна узнал, куда направился противник, он послал Аннию Галлу донесение, описал оборону Плаценции, рассказал, что город выстоял, и известил о намерениях Цецины. Галл в это время вел первый легион на поддержку Плаценции. Зная, как мало там войск, он опасался, что город не выдержит осады, не сможет долго сопротивляться германской армии. Получив весть о том, что Цецина отброшен и движется на Кремону, Галл с большим трудом — солдаты рвались в бой и едва не взбунтовались — остановил легион у Бедриака. Селение это находится на полпути между Вероной и Кремоной; оно пользуется недоброй славой, римское войско дважды потерпело здесь поражение[34].

В те же дни неподалеку от Кремоны одержал победу Марций Макр. Человек храбрый и решительный, он на лодках перевез через Пад отряды гладиаторов и внезапно появился с ними на том берегу. Вспомогательные отряды вителлианцев пришли в замешательство и устремились к Кремоне; те,

кто пытался сопротивляться, были убиты. Опасаясь, однако, что противник получит подкрепление и ход битвы переломится, Макр приказал победителям прекратить преследование. Отонианцы и без того всегда дурно толковали поступки своих командиров; приказ показался им подозрительным. Каждый, кто в душе трусил, но был боек на язык, спешил взвести всяческие обвинения на Анния Галла, Светония Паулина и Мария Цельса, которым Отон поручил командовать войсками. Особенно рьяно сеяли смуту и подстрекали к мятежу убийцы Гальбы. После содеянного они постоянно пребывали в страхе и неуверенности, а потому стремились вызвать беспорядки — то открыто призывали к бунту, то тайно писали доносы Отону. Отон доверял любому ничтожеству, а честных людей опасался. Не уверенный в успехе, он лишь в беде обнаруживал лучшие стороны своего характера. Наконец он вызвал своего брата Тициана[35] и ему поручил вести войну.

24. Тем временем дела отонианцев под руководством Паулина и Цельса шли блестяще. Цецина дошел до отчаяния — каждый его шаг оборачивался неудачей, слава его армии меркла на глазах. Плаценцию взять не удалось, вспомогательные отряды он потерял, даже в не заслуживающих упоминания частых стычках разведчиков солдаты его неизменно терпели поражение. К тому же Фабий Валент был уже близко; Цецина не хотел уступать ему славу победителя, стремился возможно быстрее добиться успеха и проявлял больше нетерпения, чем рассудительности. В двенадцати милях от Кремоны есть место под названием Касторы, где лес подходит к самой дороге. Цецина расположил здесь самые боеспособные из своих вспомогательных отрядов, а коннице приказал продвинуться вперед, завязать бой и внезапно отступить, заманив преследователей в засаду. План этот стал известен полководцам отонианской армии. Паулин взял на себя командование пехотой, а Цельс — всадниками. Один отряд тринадцатого легиона, четыре вспомогательные когорты и пятьсот всадников встали слева, середину дороги заняли построенные в колонну три когорты преторианцев, правый фланг образовал первый легион с двумя вспомогательными когортами и пятью сотнями всадников. Наконец, позади всех расположился конный отряд претория и конники вспомога-

тельных войск — всего тысяча человек, готовые помочь и в случае победы, и в случае неудачи.

25. Войска еще не успели сойтись врукопашную, а вителлианцы уже стали отступать; Цельс, зная о задуманной ловушке, удержал своих солдат. Вителлианцы, спрятавшиеся в лесу, позабыв всякую осторожность, бросились преследовать медленно отходившего Цельса, вырвались вперед слишком далеко и сами попали в засаду: на флангах у них оказались когорты, впереди — легионы, позади — конница, внезапно преградившая путь к отступлению. Однако Светоний Паулин не сразу ввел в бой пехоту. Человек по природе своей медлительный, он не верил в случайный успех и предпочитал осторожные, продуманные действия; Паулин приказал сначала засыпать канавы, расчистить поле битвы и лишь тогда развернул войска строем. «Сделай все, чтобы тебя не разбили, — говорил он, — а победа придет в свое время». Медлительность Паулина помогла вителлианцам — они укрылись в виноградниках, где преследовать их мешали переплетенные лозы. Рядом был небольшой лесок, там они собрались, а потом, осмелев, сделали вылазку и убили самых неосторожных из конных преторианцев. Ранен был и царь Эпифан[36], ревностный сторонник Отона.

26. И тут ринулась в бой отонианская пехота. Она сокрушила вражеский строй, подходившие на помощь своим отряды вителлианцев один за другим обращались в бегство. Цецина вводил в бой свои когорты не сразу, а по одной; это и вызвало смятение; страх, владевший бежавшими с поля битвы, передавался тем, что шли в сражение. В лагере вителлианцев начался бунт. Возмущенные, что их не посылают в бой всех сразу, солдаты схватили и заковали в цепи префекта лагеря Юлия Грата, утверждая, будто он изменник, ибо брат его воюет на стороне Отона. В то же самое время брата Грата, трибуна Юлия Фронтона, арестовали отонианцы и тоже обвинили в измене. Между тем всюду — на подступах к полю боя и при отступлении, в центре битвы и под валами — вителлианцы пришли в такой ужас, что все войско Цецины можно было уничтожить, если бы Светоний Паулин не приказал дать отбой; слух о конце сражения быстро распространился в обеих армиях. По словам Паулина, он поступил так, боясь, как бы его солдаты не оторвались от своих и не попа-

ли возле лагеря вителлианцев под удар свежих сил противника. Многие считали решение командующего правильным, но солдаты его не одобрили.

27. Поражение не испугало вителлианцев, но они стали дисциплинированнее — и не только в армии Цецины; он обвинял во всем солдат, которые, по его словам, думали больше о бунте, чем о битве; в войске Фабия Валента (дошедшем тем временем до Тицина) тоже не говорили больше о противнике с презрением; и здесь солдаты стремились вернуть утраченную славу, вели себя сдержанно, почтительно и подчинялись приказам командующего. Между тем все сильнее разгоралось большое восстание; чтобы рассказать о начале его, вернемся немного назад: говорить о нем ранее я не мог, ибо нарушил бы тогда связность повествования о Цецине и его делах. Я уже упоминал о батавских когортах, которые Нерон, готовясь к войне, вывел из четырнадцатого легиона; по пути в Британию в земле лингонов услышали они о восстании Вителлия и присоединились к Фабию Валенту. Вскоре батавы начали вести себя нагло и высокомерно: приходили в палатки к солдатам и говорили, будто именно они, батавы, заставили четырнадцатый легион выступить, тем самым Нерон будто бы из-за них потерял Италию и вообще одни батавы решают исход войны. Солдаты негодовали, командующий сердился. Перебранки и драки ослабляли дисциплину; в конце концов Валент стал даже опасаться, что батавы, начав с дерзостей, кончат изменой.

28. Вот почему, получив известие, что конница тревиров и тунгры разбиты флотом Отона, а Нарбоннская Галлия окружена, Валент решил защитить союзников; он прибегнул к военной хитрости: разделил охваченные брожением когорты, столь опасные, когда они были вместе, и приказал части батавов выступить на поддержку осажденной провинции. Слух о приказе быстро распространился по армии, союзные войска пришли в уныние, а легионы — в ярость. «У нас забирают лучших воинов, — говорили солдаты. — Именно сейчас, когда враг стоит прямо перед нами, увести ветеранов, победителей в стольких сражениях, все равно что выгнать их из строя перед битвой. Если помочь провинции важнее, чем защитить Рим и спасти империю, тогда все мы должны идти туда; если же исход войны и судьба нашего дела решаются в

Италии, то отделить сейчас от армии эти когорты — все равно что отсечь от тела могучие члены».

29. Валент пытался подавить восстание с помощью ликторов, но разъяренные солдаты бросились на него, кидали камни, он бросился бежать, солдаты — за ним, крича, что он присвоил и добычу, взятую у галлов, и золото, полученное от жителей Виенны, и все деньги, полагающиеся им за бранный труд. Валент оделся рабом и спрятался у одного из декурионов конников, а солдаты растащили тюки с его добром, сорвали палатку и даже землю под ней перекопали дротами и копьями. Вскоре префект лагеря Алфен Вар, заметив, что восстание идет понемногу на убыль, решил покончить с ним хитростью: запретил центурионам обходить посты, а трубачам не велел сзывать войско на работы и учение. Солдаты увидели, что никто ими не командует, и это больше всего испугало их. Сначала они как бы застыли в оцепенении, потом начали растерянно озираться, замолкли, притихли и наконец принялись слезно молить о прощении. Валента считали погибшим; вдруг он явился — плачущий, в безобразной одежде, но здравый и невредимый, и тут солдаты исполнились радости, сострадания и любви к своему полководцу. В веселии чернь столь же необузданна, как и в ярости. Ликующая толпа окружила Валента боевыми значками когорт и орлами легионов и понесла к трибуналу[37], всячески восхваляя и желая ему счастья. Валент проявил разумную снисходительность, не стал требовать ничьей казни, хорошо зная, что во время гражданской войны солдатам позволено больше, чем полководцам. Но, опасаясь, как бы подобную умеренность не сочли хитростью, все же назвал несколько человек виновными.

30. Армия занималась постройкой укреплений возле Тицина, когда пришла весть, что Цецина разбит. Тут снова чуть было не разгорелся мятеж; солдаты решили, что Валент медлил нарочно, хотел досадить Цецине и оттого они опоздали к сражению. Позабыв об отдыхе, не дожидаясь приказа командующего, воины устремились вперед; они обгоняли знаменосцев, упрашивали их идти быстрее, армия двигалась чуть ли не бегом и вскоре соединилась с войсками Цецины. Солдаты Цецины были злы на Валента, они жаловались, что их очень мало, а Валент оставил их на съедение, ведь непри-

тель несравненно сильнее, да и войско его свежее, отдохнувшее. Так говорили они и тем льстили вновь прибывшим, приписывая их армии главную роль, да и себя оправдывали, чтобы не обвинили их в трусости и неспособности добиться победы. Хотя Валент командовал почти вдвое большим числом легионов и вспомогательных войск, любимцем солдат все равно оставался Цецина. Он был в расцвете лет и сил, умел нравиться каждому, а радушие его и щедрость привлекали сердца. Отсюда и пошла распря между полководцами. Цецина издевался над Валентом, называл его подлым и грязным. Валент насмехался над Цециной, считал его гордецом и хвастуном. Впрочем, затаив ненависть, оба служили одному делу. Уже не рассчитывая на прощение, они без устали сочиняли памфлеты на Отона и в них осыпали его самыми позорными обвинениями; ни один из полководцев Отона не писал ничего подобного, хотя Вителлий мог бы дать для таких сочинений весьма богатую пищу.

31. Пока оба не погибли — Отон, стяжав громкую славу, а Вителлий — не менее громкий позор, — римлян больше пугали бешеные вожделения первого, чем ленивое сластолюбие второго. Убийство Гальбы еще больше увеличило ненависть к Отону и страх перед ним, Вителлия же никто не обвинял в том, что он развязал гражданскую войну. Обжорством и пьянством Вителлий позорил лишь самого себя[38], а распутный, жестокий и наглый Отон[39] казался опасным для государства.

Когда войска Цецины и Валента соединились, вителлианцы больше не медлили и решили дать сражение всеми своими силами. Отон тоже начал задумываться, стоит ли дальше затягивать войну или лучше попытать счастья в решающей битве.

32. Светоний Паулин считался самым искусным полководцем своего времени и оттого смело судил о ходе кампании; он говорил, что поспешность выгодна только противнику, а отонианцам следует всячески затягивать военные действия. «В Италию спустилась вся армия вителлианцев, — так говорил он, — не слишком много сил осталось и в тылу. А в галльских провинциях зреет бунт[40], увести же войска с берегов Рейна мы не можем, ибо грозит вторжение враждебных племен. Британские легионы отрезаны от нас морем, да

и нельзя им уйти — они там бьются с врагом. Во́йска, что стоит в Испании, не так уж много. Нарбоннская провинция все еще в страхе после проигранного сражения и нападения нашего флота. Транспаданская Италия[41] рассчитывать на помощь с моря не может, а с суши ее окружают Альпы; край этот опустошен прошедшими здесь войсками и не прокормит армию, а без зерна и хлеба не продержится долго ни одно войско. Опаснее всех для нас германцы; они плохо переносят непривычный климат, и если сумеем затянуть войну до лета, они совсем выбьются из сил. Не раз война, бурно, с успехом начатая, затянувшись и утомив всех, кончалась ничем. Напротив того, все, что есть в мире надежного и сильного, — все на нашей стороне: хорошо отдохнувшие и крепкие духом армии Паннонии, Мёзии, Далмации и восточных провинций; Италия и Рим — столица мира, его сенат, его народ — имена эти не померкли, хоть и падала иногда на них тень; несметные сокровища, которыми владеют и государство, и простые граждане, огромные деньги в пору гражданских смут важнее оружия; солдаты, либо привыкшие к Италии, либо служившие в местах, где научились переносить еще более сильную жару. Нас прикрывают река Пад и города с сильными гарнизонами и крепкими стенами, как показал пример Плаценции, ни один из них не сдастся врагу. Значит, надо затягивать войну. Через несколько дней здесь будет четырнадцатый легион, а с ним мёзийские войска. Тогда снова обсудим, как быть, и если уж принимать бой, то большими силами».

33. Марий Цельс согласился с Паулином; послали спросить Анния Галла, который за несколько дней до того упал с лошади и лежал больной; он велел отвечать, что думает так же. И все-таки Отон стремился принять сражение. Брат его Тициан и префект претория Прокул, оба люди неопытные, и слышать не хотели о промедлении. Они уверяли, что судьба, боги, удача, неизменно сопутствующая Отону, — все на их стороне, надо только рискнуть; чтобы пресечь возражения, они всячески льстили принцепсу. Было решено дать сражение. И тогда стали думать, участвовать ли императору в битве или находиться вдали от нее. Те же губители-советчики настояли, чтобы Отон уехал в Брикселл[42] и там, не подвергаясь случайностям и риску, занимался бы самыми важными

делами и управлял империей. Паулин и Цельс больше не спорили, чтобы не подумали, будто они хотят подвергнуть опасности жизнь принцепса. День этот положил начало бедствиям отонианцев: с принцепсом ушла значительная часть войска — преторианские когорты, самые заслуженные солдаты и отряды конницы; оставшиеся пали духом, ибо к полководцам воины относились с подозрением и верили одному лишь Отону; он и сам по-настоящему полагался только на солдат. Кроме того, перед уходом Отон не распределил толком обязанности между командующими.

34. Обо всем этом знали вителлианцы благодаря перебежчикам, которых бывает так много во время гражданских войн, — да и лазутчики, стараясь выведать, как идут дела у врага, не умели скрыть положение в собственной армии. Спокойно и пристально наблюдали Цецина и Валент за противником, который совершал одну ошибку за другой, и коль скоро сами не могли придумать ничего умного, выжидали, пока другие наделают глупостей. Чтобы противник думал, будто они готовятся напасть на стоявших на противоположном берегу гладиаторов[43] и не дать разлениться своим солдатам, они начали строить мост через Пад. Корабли расставили на равных расстояниях один от другого, связали крепкими балками от носа к носу и от кормы к корме, а чтобы не снесло, укрепили якорями, удерживавшими суда носом против течения; якорные канаты, однако, не натянули, а оставили свисать свободно: если вода прибудет, корабли подымутся, и мост останется цел. На переднем корабле построили башню, оттуда можно было машинами и метательными снарядами обстреливать врага. Отонианцы на своем берегу тоже возвели башню и осыпали противника камнями и зажигательными стрелами.

35. Посредине реки был остров. Пока гладиаторы собирались добраться до него на кораблях, германцы переплыли реку и захватили остров. Там скопилось довольно много германцев. Тогда Макр посадил на быстроходные суда отборных гладиаторов и напал на германцев. Однако гладиаторы не умели биться так, как солдаты, да и стрелять с качающихся кораблей было гораздо труднее, чем германцам, которые стояли на твердой земле. Гладиаторы перебегали от одного борта к другому, суда раскачивались все сильнее, наконец, вои-

ны, назначенные первыми выскочить на берег, смешались в одну беспорядочную толпу с гребцами. Тут-то германцы по мелководью бросились к кораблям, хватались за корму, вскакивали на борт, тащили суда за собой и топили. Все это происходило на глазах обеих армий; чем громче радовались вителлианцы, тем больше негодовали отонианцы против Макра, который затеял дело и довел их до разгрома.

36. Сражение кончилось тем, что уцелевшие и не попавшие в руки германцев корабли вернулись восвояси. Солдаты требовали казни Макра, кто-то издали метнул в него дротик и ранил; на Макра набросились с обнаженными мечами, и лишь подоспевшие трибуны и центурионы спасли его от гибели. Через некоторое время Вестриций Спуринна по приказу Отона оставил в Плаценции небольшой гарнизон, выступил из города и присоединился к армии. Во главе войска, которым командовал прежде Макр, Отон поставил кандидата в консулы Флавия Сабина. Солдаты радовались, как всегда при смене командира; командиры же, видя, что в войсках все чаще вспыхивают бунты, неохотно соглашались командовать столь склонной к мятежу армией.

37. У некоторых писателей[44] мне доводилось читать, будто солдаты боялись, что война затянется, и ненавидели обоих принцепсов, о чьих преступлениях и низостях с каждым днем говорили все более открыто; будто многие солдаты подумывали, не перестать ли воевать и либо всем вместе выбрать нового императора, либо поручить это сенату; будто командиры отонианской армии потому и советовали все ждать да откладывать, что искали нового принцепса и главные надежды возлагали на Паулина — старшего из консуляриев, прекрасного полководца, стяжавшего громкую славу британскими походами. Я же думаю, что, конечно, многие в глубине души предпочитали спокойствие распрям, а хорошего, не запятнанного пороками принцепса — двум дурным и преступным, однако такой трезвый человек, как Паулин, живя в на редкость испорченное время, вряд ли мог ожидать от черни благоразумия и надеяться, что люди, нарушившие мир из любви к войне, теперь откажутся от войны из любви к миру. К тому же трудно поверить в единодушие армии, ибо она состояла из отрядов, отличных один от другого по языку и обычаям; да и легаты и командиры, большинство из кото-

рых погрязло в долгах, распутстве и преступлениях, не стали бы терпеть другого императора — им нужен был столь же обесславленный, как они сами, чтобы зависел от них во всем и нуждался в их услугах.

38. Жажда власти, с незапамятных времен присущая людям, крепла вместе с нашим государством и наконец вырвалась на свободу. Пока римляне жили тихо и непритязательно, соблюдать равенство было нетрудно, но вот весь мир покорился нам, города и цари, соперничавшие с нами, были уничтожены, и тогда открылся широкий простор для борьбы за власть. Вспыхнули раздоры между сенатом и плебсом; то буйный трибун[45] побеждал властолюбивого консула, то консул побеждал трибуна; на форуме, на улицах Рима схватывались враждующие, пробовали силы для грядущей гражданской войны. Вскоре плебей Гай Марий и кровожадный аристократ Луций Сулла оружием подавили свободу, заменили ее самовластьем. Им на смену явился Гней Помпей, он был ничем их не лучше, только что действовал более скрытно; и с этих пор все боролись за принципат. У Фарсалии и под Филиппами легионы из римских граждан решились поднять оружие друг против друга — нечего и говорить, что войска Отона и Вителлия тоже не перестали бы воевать по доброй воле. Все тот же гнев богов и все то же людское безумие бросали их в бой друг с другом, по тем же причинам началась и эта преступная война, и только благодаря бездарности правителей подобные войны оканчиваются после первой же битвы[46]. Однако размышления о нравах былых времен и нынешних завели меня слишком далеко; возвращусь к моему рассказу.

39. После того как Отон отправился в Брикселл, почет, подобающий главнокомандующему, выпал на долю брата его Тициана, а подлинную власть взял в руки префект претория Прокул. Цельс и Паулин, умные, дальновидные, оказались не у дел, но ведь полководцами считалась они, и пришлось им отвечать за чужие ошибки. Трибуны и центурионы помалкивали, видя, что лучшие люди в опале, а худшие в силе. Солдаты были бодры, но больше обсуждали приказы командиров, вместо того чтобы их выполнять. Лагерь решили перенести на четыре мили в сторону от Бедриака, но сделали это так неумело, что в самый разгар весны, в местности, орошаемой множеством рек, армия страдала от нехватки

воды. И все еще неясно было, надо ли принимать сражение. Отон слал письма, требовал тотчас дать бой; солдаты настаивали, чтобы император сам принял в нем участие; многие предлагали привести войска, стоявшие по ту сторону Пада. Трудно рассудить, какой путь было бы лучше избрать, но тот, что избрали, был, без сомнения, самым худшим.

40. Снарядившись не как для боя, а как для похода, армия двинулась к месту слияния Адуи[47] и Пада, в шестнадцати милях от лагеря. Цельс и Паулин доказывали: солдаты, изнуренные переходом и перегруженные поклажей, попадут под удар противника, который, пройдя налегке только четыре мили[48], конечно, не упустит случая и нападет на отонианцев, пока они идут, расстроив ряды, либо разбрелись и заняты постройкой лагеря. Тициан и Прокул оспорить их не сумели, но данной им властью решили действовать по-своему. От Отона прискакал гонец-нумидиец[49] с письмом, в котором император угрожал полководцам, обвинял их в нерадивости и приказывал дать решительное сражение, — не в силах ждать долее, он горел нетерпением увидеть, сбудутся ли его надежды[50].

41. В тот же день к Цецине, который стоял у строящегося моста и изо всех сил торопил окончание работ, явились трибуны двух преторианских когорт. Они просили принять их; только что Цецина собрался выслушать их предложения и сказать, что думает сам, как примчались во весь опор разведчики и сообщили о приближении неприятеля. Переговоры прервали, и так и осталось неясным, зачем приходили трибуны — хотели устроить Цецине ловушку, изменить своим или, напротив того, у них были намерения серьезные и достойные. Отпустив трибунов, Цецина вернулся в лагерь; Фабий Валент уже распорядился протрубить сигнал к бою, и солдаты стояли в полном вооружении. Пока легионы тянули жребий, в каком месте им быть во время битвы, конница вителлианцев бросилась в атаку. Странно сказать, но горстка отонианцев обратила всадников в бегство и их прижали бы к валу, если бы не находчивость Италийского легиона. Легионеры выставили обнаженные мечи и заставили конников повернуть обратно и возвратиться в бой. Остальные вителлианские легионы спокойно строились для битвы; хотя враг находился совсем рядом, они не видели его из-за густых за-

рослей. В отонианской армии тем временем командиры трусили, солдаты им не доверяли; обозы и повозки маркитантов ломали строй; войску предстояло наступать по дороге[51], а вдоль нее шли две глубокие канавы; проезжая часть оставалась такая узкая, что и всегда-то по ней трудно было двигаться. Солдаты строились, разыскивали значки своей когорты, с криками метались по лагерю — кто посмелей, протискивались в передние ряды, кто потрусливей, забивались назад.

42. Внезапно прошел слух, будто армия Вителлия отступилась от своего вождя. Страх и уныние тотчас сменились весельем, воинский пыл угас. Трудно сказать, распустили слух лазутчики Вителлия, возник он в отонианском лагере по чьему-то злому умыслу или случайно. От боевого азарта отонианцев не осталось и следа; мало того, они приветствовали армию противника; те отвечали глухим враждебным ропотом. Большинство отонианцев не понимало, что значат эти приветственные клики; в страхе решили они, что часть солдат изменила. В этот-то момент на них стройными рядами устремилась неприятельская армия, гораздо их сильнее и многочисленнее. Отонианцев было меньше, они не успели построиться и были изнурены переходом, но все же мужественно приняли бой. Деревья и вьющиеся виноградные лозы мешали солдатам: где сходились врукопашную, где издали метали дроты, где строились клином и шли на неприятеля, так что битва стала многоликой и каждый лик ее выглядел на свой лад. На дороге бились грудь с грудью, щит о щит; за дроты никто и не брался; панцири и шлемы разлетались в куски под ударами мечей и секир; зная друг друга, сражались на глазах у всех, и каждый чувствовал, что от его мужества зависит исход войны.

43. На поле между Падом и дорогой случай свел гордый давней боевой славой двадцать первый легион, по прозванию Стремительный, стоявший за Вителлия, и первый Вспомогательный, сражавшийся за Отона, — солдаты его в настоящем сражении еще не бывали, но яростно рвались в бой, дабы стяжать первые лавры. Прорвав передовые линии двадцать первого легиона, отонианцы овладевают его орлом. Взбешенные легионеры отбрасывают нападающих, убивают их легата Орфидия Бенигна, захватывают множество значков и вымпелов. В другом месте под натиском пятого легио-

на отступает тринадцатый, со всех сторон окружен четырнадцатый. Полководцы Отона давно уже обратились в бегство, а Цецина с Валентом вводят в бой все новые и новые подкрепления. Неожиданно появляется Алфен Вар[52] со своими батавами. Стоявшие против них на другом берегу отряды гладиаторов начали было переправляться через Пад, но батавы перебили их прямо на кораблях и теперь, окрыленные победой, наступали на левый фланг отонианцев.

44. Когда прорванным оказался и центр, отонианцы всюду обратились в бегство, стремясь возможно скорей добраться до Бедриака. Путь, который им предстояло пройти, казался бесконечным[53]; дороги завалены трупами; резня становилась все более жестокой — в гражданской войне не берут пленных, их ведь нельзя продать. Светоний Паулин и Лициний Прокул отступали по разным дорогам; ни тот, ни другой в лагерь не вернулись. Легат тринадцатого легиона Ведий Аквила, обезумев от страха, сам себя выставил на поругание: поднялся на вал, когда было еще совсем светло, и бежавшие с поля боя озверевшие солдаты накинулись на него с криком, проклятиями и побоями, называя трусом и изменником. Никакой особой вины за Аквилой не было, но чернь всегда обвиняет других в преступлениях, которые совершила сама. Тициана и Цельса спасла ночь — к тому времени, когда они добрались до лагеря, солдат уже удалось успокоить и всюду были расставлены караулы. То увещаниями и просьбами, то приказами Анний Галл сумел убедить отонианцев не отягчать понесенное поражение кровопролитием в своем же стане. «Кончится ли на этом война, — говорил он, — или мы решим продолжать ее, все равно только единство может спасти побежденных». Солдаты были удручены. Преторианцы жаловались, что их предали, а не разбили в честном бою. «Разве не пришлось вителлианцам кровью заплатить за победу? — спрашивали они. — Конница их понесла поражение, один легион потерял орла; Отон по-прежнему с нами, с нами его войска по ту сторону Пада, приближаются мёзийские легионы, целая армия стоит в Бедриаке, — их-то ведь никто не победил. А если придется умереть, то всегда почетнее погибнуть в бою». Так размышляли солдаты и то дрожали от страха, то возгорались жаждой мщенья. Исполненные отчаяния, ослепленные гневом, они забывали об опасности.

45. Вителлианская армия остановилась на ночь возле пятого камня, не доходя Бедриака[54]. Командиры ее не решились штурмовать отонианский лагерь в тот же день да к тому же надеялись, что враги сдадутся сами. Заночевали они налегке[55], с чем вышли в бой; не валы, а мечи и дроты да одержанная победа охраняли их. На другой день стало совсем ясно, как поступят отонианцы, — даже самые ожесточенные противники Вителлия готовы были раскаяться. Отонианцы выслали парламентеров[56]; полководцы Вителлия согласились заключить мир. Парламентеры вернулись не сразу, и вся армия, затаив дыхание, ждала, не зная, удалось ли склонить победителей к миру. Наконец послы вернулись; распахнулись ворота лагеря; обливаясь слезами, радуясь и горюя, проклиная гражданскую войну, смешались победители и побежденные. В палатках перевязывали раны — брат брату, родственник родственнику. Мечты о наградах, честолюбивые надежды — все исчезло, остались только скорбь да погребальные костры. Никого не пощадила злая судьба — каждому было кого оплакивать. Тело легата Орфидия отыскали и сожгли с подобающими воинскими почестями. Немногих похоронили друзья, трупы остальных по-прежнему валялись на земле.

46. Отон ожидал известия об исходе битвы без всякого волнения; он твердо знал, что делать дальше. Сначала по неясным мрачным слухам, потом по рассказам солдат, бежавших с поля боя, он понял, что сражение проиграно. Солдаты, охваченные боевым пылом, не ждали, пока император заговорит с ними. «Мужайся! — кричали они ему. — Есть у нас еще свежие силы! Да и сами мы на все готовы, все вынесем!» Это была правда: исполненные ярости и жажды мести, солдаты рвались в бой, спасать дело своей партии. Стоявшие в задних рядах протягивали к Отону руки, те, кто был ближе, обнимали его колени. Особенно отличался префект претория Плотий Фирм — он умолял Отона не бросать войско, столь ему преданное, не покидать солдат, столь доблестно ему служивших. Он убеждал Отона, что достойнее переносить трудности, чем избегать их, люди доблестные и сильные не перестают надеяться даже вопреки судьбе, отчаиваются при виде опасности только трусы и глупцы. Солдаты сопровождали слова Плотия Фирма то криками радости, когда видели, что

Отон к нему прислушивается, то стонами и жалобами, когда им казалось, что император с ним не согласен. Так вели себя не только преторианцы, издавна преданные Отону; солдаты мёзийского авангарда тоже твердили, что армия их уже близко, что легионы уже вступили в Аквилею[57], старались убедить других, будто следует и дальше вести эту ужасную, губительную войну, когда неизвестно, кто станет победителем, а кто — побежденным.

47. Когда Отон заговорил, было ясно, что он уже оставил всякую мысль о войне. «Мне кажется, вы слишком высоко цените мою жизнь, — начал он, — если готовы столь твердо и мужественно идти ради нее навстречу гибели. Чем больше надежд мне остается, тем прекраснее предпочесть жизни смерть. Мы с судьбой достаточно долго испытывали друг друга, и не стоит гадать, удастся ли мне еще раз добиться ее милости: чем яснее понимаешь, что счастье дано тебе ненадолго, тем труднее вовремя перестать за него цепляться. Из-за Вителлия началась гражданская война. По его вине мы с оружием в руках деремся за принципат; не следует затягивать войну, и тут я готов показать пример; по этому поступку пусть судят обо мне потомки. Пусть Вителлий наслаждается любовью брата, жены и детей, я не хочу мстить, не хочу искать утешения в чужом горе. Другие дольше меня пользовались императорской властью; но никто не проявил такого мужества, расставаясь с ней. Допущу ли, чтобы римские юноши, храбрые солдаты полегли бездыханные, погибли без всякой пользы для государства? Я унесу с собой память о том, что вы готовы были умереть за меня, но оставайтесь, живите. Не будем больше тратить время, я не хочу мешать вам спастись, а вы не должны мешать мне выполнить твердое мое решение. Много говорит о смерти лишь тот, кто ее боится. Мое же решение умереть неколебимо. Это правда, вы видите сами: человек винит богов и людей, только пока держится за жизнь, а я никого не виню».

48. Окончив речь, Отон сказал солдатам, что они лишь вызовут гнев победителей, если и дальше будут медлить, и посоветовал поскорее сдаться. Стариков он просил, от молодых требовал, ласков был со всеми. Велел им сдержать свою скорбь; черты его были ясны, а голос тверд. Отон распорядился обеспечить отъезжавших судами[58] и повозками. Унич-

тожил памфлеты и письма, авторы которых неумеренно выражали преданность ему или поносили Вителлия. Роздал деньги, проявив, однако, бережливость, странную в человеке, который решил умереть. Он стал утешать племянника своего Сальвия Кокцеяна; совсем еще мальчик, Сальвий дрожал от ужаса и горя, Отон хвалил его за преданность, стыдил за робость. «Вся семья Вителлия, — говорил он, — цела и невредима, не может быть, что у него хватит жестокости не ответить тем же; я тоже своей скорой смертью заслуживаю милость победителя; наша армия стремится в бой, значит, я умираю не от безысходности, а чтобы избавить государство от гибели». Далее Отон сказал, что стяжал достаточно славы себе и своему потомству, ибо после Юлиев, Клавдиев, Сервиса[59] был первым, кто, происходя из недавно возвысившегося рода, добился императорской власти. Пусть же юноша преисполнится бодрости и живет, и пусть никогда не забывает, что он племянник Отона, но слишком часто думать об этом тоже не стоит[60].

49. Отпустив всех, Отон прилег отдохнуть. Он обратился мыслями к близкой смерти, но внезапный шум отвлек его. Доложили, что удрученные горем солдаты бушуют и угрожают смертью тем, кто хочет уйти и сдаться Вителлию. Самую лютую ненависть солдат вызывал Вергиний[61], дом его, запертый со всех сторон, подвергся настоящей осаде. Выбранив зачинщиков, Отон вернулся к себе и не спеша стал прощаться с друзьями, стараясь, чтобы никто не остался на него в обиде. День уже клонился к вечеру. Отон зачерпнул пригоршню ледяной воды и напился. Ему принесли два кинжала, он попробовал, который острее, выбрал один и спрятал под изголовье. Проверив, все ли друзья ушли, Отон лег, ночь провел спокойно и, как говорят, даже спал. А с первыми лучами солнца бросился грудью на подставленный кинжал. На стоны умирающего сбежались вольноотпущенники и рабы, явился префект претория Плотий Фирм; на теле Отона была только одна рана. Погребение совершили быстро — Отон сам усиленно просил об этом, — чтобы враги не отрубили голову и не стали над нею глумиться. Тело несли преторианцы. Они восхваляли покойного, целовали его руки, рану на груди. Возле погребального костра несколько солдат покончили с собой: за ними не было никакой вины, бояться им было нече-

го; они хотели лишь показать свою любовь к принцепсу и затмить других столь славной гибелью. Смерть этих солдат вызвала восхищение и в Бедриаке, и в Плаценции, и в других лагерях. Над могилой Отона возвели гробницу — скромную и прочную. Так кончил он свою жизнь тридцати семи лет от роду.

50. Отон происходил из муниципия Ферентина[62]. Отец его был консулярий[63], дед — претор, мать родилась в семье не столь видной, но не лишенной заслуг. Как прошли его детство и молодость, я уже рассказывал. Он увековечил память о себе двумя поступками — одним позорным, другим благородным[64] — и обрел в потомстве и добрую, и дурную славу. Повторять россказни и тешить читателя вымыслами несовместно, я думаю, с достоинством труда, мной начатого, однако я не могу не верить тому, что всем известно и сохранилось в преданиях. Как вспоминают местные жители, в день битвы под Бедриаком неподалеку от Регия Лепида[65], в роще, где бывает обычно много народу, села невиданная птица. Она не испугалась людей, и другие птицы не могли прогнать ее; но в ту самую минуту, когда Отон покончил с собой, птица исчезла из глаз. Позже люди догадались, что странная птица сидела неподвижно все то время, пока Отон готовился к смерти.

51. Во время похорон Отона солдаты, охваченные смятением и горем, вновь взбунтовались, и на этот раз некому было их успокоить. Они бросились к Вергинию и, мешая мольбы с угрозами, то просили его принять императорскую власть, то отправиться легатом к Цецине и Валенту. Вергиний тайком вышел из дома через заднюю дверь; только так, обманом, удалось ему спастись от ворвавшихся солдат. Рубрий Галл[66] отправился заявить от имени когорт, расположенных в Брикселле, что они сдаются, и им тотчас даровали прощение. Флавий Сабин тоже передал победителям войска, которыми командовал.

52. Уже после того как война повсеместно была окончена, едва не погибло множество сенаторов, выехавших вместе с Отоном из Рима. Отон оставил их в Мутине[67], куда и пришла весть о поражении под Бедриаком. Солдаты не хотели верить, решили, что сенаторы враждебны Отону и нарочно распускают подобные слухи. Они принялись следить за сенаторами; в словах их, в одежде, в выражении лиц виделась сол-

датам измена; они стали осыпать сенаторов бранью и оскорблениями, нарочно, чтобы найти повод начать резню. В довершение бед над сенаторами нависла еще одна опасность: время шло, Вителлий уже одержал победу, и могли подумать, будто они нарочно медлят и не хотят выражать радость. Ни один не отважился решить что-либо; напуганные опасностями, грозившими с обеих сторон, сенаторы сошлись вместе, сочтя, что уж если быть виноватыми, то всем сразу — так оно спокойнее. Еще труднее им стало, когда декурионы[68] Мутины весьма некстати явились и стали называть их отцами отечества[69] и предлагать оружие и деньги.

53. На этом собрании разразилась громкая ссора: Лициний Цецина обрушился на Эприя Марцелла[70], утверждая, что тот выступил в сенате нарочито неопределенно и двусмысленно. Другие говорили не менее туманно, но Цецина выбрал именно Марцелла, ибо тот доносами заслужил всеобщую ненависть и был уязвимее: человек новый, недавно допущенный в сенат, Цецина изо всех сил старался привлечь к себе внимание и потому нападал на людей известных. Самые благоразумные и умеренные из сенаторов разняли их, и все вернулись в Бононию[71], так как там надеялись скорее получить новые вести и тогда еще раз обсудить, что делать. На дороги, ведущие к Бононии, были высланы люди, которые расспрашивали каждого путника. Там оказался вольноотпущенник Отона. Его спросили, почему он покинул своего господина; вольноотпущенник отвечал, что несет предсмертные распоряжения Отона; когда вольноотпущенник уходил, Отон был еще жив, но порвал уже все нити, связывавшие его с этим миром, и помышлял лишь о мнении потомства. Сенаторы пришли в восхищение от доблести Отона, из уважения к смерти не стали расспрашивать дальше и обратили тотчас все помыслы к Вителлию.

54. На совещании сенаторов был брат Вителлия Луций Вителлий. Он принимал уже льстивые выражения преданности, как вдруг ужасная весть, принесенная вольноотпущенником Нерона Ценом, оцепенила всех: прибыл четырнадцатый легион, войска соединились в Брикселле, победители уничтожены, побежденные стали победителями. Цен распустил этот слух, чтобы с помощью такого радостного известия придать силу подорожной, полученной от Отона,

которую никто не хотел признавать. Цена немедленно доставили в Рим, но там через несколько дней казнили по приказу Вителлия. Однако солдаты-отонианцы поверили слуху, и положение сенаторов стало еще опаснее. Росло смятение, ибо все решили, будто отъезд сенаторов из Мутины означал отказ поддерживать партию Отона. Теперь сенаторы вообще перестали собираться, каждый спасался на свой страх и риск. Наконец прибыло письмо от Фабия Валента и рассеяло все опасения. А смерть Отона была столь прекрасна, что молва о ней распространилась очень быстро, и больше никто не сомневался, что Отона нет в живых.

55. В Риме волнений не знали. В установленный обычаем срок устроили игры в честь Цереры[72]. Актеры в театре объявили, что Отон умер, и префект Рима Флавий Сабин привел все находившиеся в городе войска к присяге Вителлию; имя победителя встретили рукоплесканиями. Народ обходил храмы, неся украшенные лаврами и цветами изображения Гальбы, неподалеку от бассейна Курция, на том месте, которое умирающий Гальба обагрил своей кровью, из венков сложили нечто вроде могильного холма. Сенат разом присвоил Вителлию все почести, которые были придуманы за долгие годы правления других принцепсов[73]. Постановили воздать хвалу и благодарность германским армиям, отправить легатов, дабы выразили всеобщую радость. Прочитали письма Фабия Валента консулам и сочли их весьма скромными; еще более благосклонно отметили скромность Цецины, который не прислал никаких писем.

56. Между тем Италия терпела беды и страдания еще худшие, чем во время войны. Рассыпавшиеся по колониям и муниципиям вителлианцы крали, грабили, насиловали; жадные и продажные, они правдами и неправдами старались захватить побольше, не щадили ни имущества людей, ни достояния богов. Нашлись и такие, что переоделись солдатами и расправлялись со своими врагами. Легионеры хорошо знали места, они выбирали самые цветущие усадьбы, самых богатых хозяев, нападали и грабили, если кто сопротивлялся — убивали; командиры боялись солдат и не смели запрещать им что бы то ни было. Цецина занят был честолюбивыми планами. Валент же так запятнал себя хищениями и вымогательством, что ему оставалось лишь покрывать преступления

других. Италия, и без того уже разоренная, едва могла прокормить все эти пешие и конные войска, да еще терпела несчастья и унижения.

57. Между тем Вителлий ничего еще не знал о своей победе и, готовясь к длительной войне, стягивал остальные силы германской армии. В зимних лагерях оставил он немногих престарелых солдат и спешно вербовал рекрутов в галльских провинциях, чтобы пополнить свои легионы. Охрану рейнского берега поручил он Гордеонию Флакку и присоединил к своему войску восемь тысяч солдат из британской армии. Он сделал несколько дневных переходов, и тут пришла весть о победе при Бедриаке, о смерти Отона; значит — конец войне. Вителлий тут же собрал войска и воздал солдатам хвалу за доблесть. Солдаты стали требовать, чтобы он даровал права всадника своему вольноотпущеннику Азиатику. Вителлий отказался выполнить требование, слишком уж грубой лестью оно было, но потом с присущим ему непостоянством негласно сделал то, на что не согласился открыто — на пиру вручил Азиатику, подлому рабу и злобному плуту, кольца[74].

58. В те же дни прибыла весть: на сторону Вителлия перешли обе Мавритании, прокуратор этих провинций[75] Альбин убит. Лукцея Альбина назначил управлять Мавританией Цезарейской еще Нерон. Гальба распространил его полномочия и на Тингитанскую провинцию, так что в руках Альбина оказалось немалое войско: девятнадцать когорт, пять отрядов конницы и множество мавританцев, которые грабили и насильничали, так что к войне попривыкли. После убийства Гальбы Альбин склонялся на сторону Отона; Африка представлялась ему слишком тесным полем деятельности, и он стал угрожать Испании, отделенной от Мавритании лишь узким проливом. Тогда Клувий Руф[76] приказал десятому легиону выйти к побережью и сделать вид, будто готовит переправу в Африку, сам же выслал вперед центурионов, поручил им уговорить мавров перейти на сторону Вителлия. Это было нетрудно, ибо слава германской армии гремела в тех провинциях. К тому же пошли слухи, будто Альбин брезгует должностью прокуратора, украшает себя царскими регалиями и принял имя Юбы[77].

59. Мавританские провинции перешли на сторону Вителлия. Префект конницы Азиний Поллион, один из ближай-

ших друзей прокуратора, и префекты когорт Фест и Сципион были удавлены; Альбина убили, когда он, прибыв морем из Тингитанской провинции в Цезарейскую, сходил на берег, жена его сама подставила грудь ножам убийц и была зарезана. Никого из тех, кто это совершил, Вителлий не привлек к ответу, — не способный ни к чему серьезному, он и более важные дела выслушивал лишь краем уха.

Армии Вителлий приказал продолжать путь пешком, а сам плыл вниз по реке Арар[78], без всякого великолепия, подобающего принцепсу, выставляя на всеобщее обозрение свою нищету; наконец правитель Лугдунской Галлии Юний Блез[79], человек знатный, щедрый и богатый, дал ему людей, окружил блестящей свитой, за что Вителлий его возненавидел, хотя и прикрывал ненависть мужичьими любезностями. В Лугдунуме Вителлия ждали полководцы обеих партий — победители и побежденные. Воздав перед строем войск хвалу Валенту и Цецине, он усадил их по обеим сторонам своего курульного кресла[80]. Вскоре затем Вителлий велел принести своего новорожденного сына, укутал его боевым плащом и, держа прижатым к груди, приказал войскам пройти перед ребенком; сына он назвал Германиком[81] и облек всеми знаками императорского достоинства; почести эти, в те счастливые дни ребенку ненужные, позже, когда все для него изменилось к худшему, стали единственным его утешением.

60. Вскоре затем самые храбрые и преданные Отону центурионы были убиты, и это сразу оттолкнуло от Вителлия солдат иллирийской армии; слушая их, и другие легионы стали помышлять о войне; и без того они не любили солдат германской армии, завидовали им. Светония Паулина и Лициния Прокула Вителлий долгое время держал под угрозой; наконец принял их, они старались обелить себя с помощью доводов, рожденных скорее безвыходным положением, чем правдивостью. Дошли даже до того, что сами себя изобразили изменниками и приписали собственным проискам и длиннейший переход, и усталость войска перед битвой, и давку, оттого что повозки замешались в ряды, и даже все невзгоды отонианцев, которые вызваны были просто случайностями. Вителлий им поверил; людей, бывших образцом верности, простил он лишь тогда, когда счел их изменниками. Никаких обвинений не было предъявлено брату Отона

Тициану: достаточным оправданием послужила ему полная бездарность, да и действовал он не по своей воле. Марий Цельс остался консулом; ходили, однако, слухи, будто Цецилий Симплекс пытался за деньги приобрести эту должность и подстроить гибель Цельса (такое обвинение было ему вскоре предъявлено в сенате). Вителлий на предложение не согласился и позже сам отдал Цецилию консулат[82], и тому не пришлось платить за него ни преступлением, ни деньгами. Трахала спасла от обвинителей Галерия, жена Вителлия[83].

61. Я рассказываю о несчастьях, обрушившихся на стольких замечательных людей, и оттого мне стыдно даже и упоминать о некоем Марикке из племени бойев[84]; он возымел наглость добиваться власти и пошел против римского оружия будто бы по велению богов. Марикк называл себя богом и мстителем за дело галлов и сумел собрать восемь тысяч человек; они начали грабить соседние деревни эдуев; тогда племя это, славящееся суровой чистотой нравов, послало против них лучшую часть своего юношества, Вителлий выслал несколько когорт, и вместе они разогнали беснующуюся толпу. Марикка захватили в плен и бросили диким зверям, однако звери не тронули его, и невежественная чернь твердила, что его охраняет высшая сила; тогда Вителлий велел его убить.

62. Больше никак не преследовали сторонников Отона и никто не покушался на их имущество. Завещания людей, погибших, сражаясь за Отона, исполняли; если же завещаний не было, поступали согласно закону о наследовании. Вообще, если бы Вителлий умел справляться со своим обжорством, личности его опасаться не приходилось. Он отличался отвратительной, ненасытной страстью к еде. Дороги, что шли от обоих морей, дрожали под грохотом повозок, доставлявших из Рима и Италии все, что могло еще возбудить его аппетит. В городах устраивались великолепные пиры, которые разоряли магистратов и истощали городские запасы. Солдаты отвыкали от труда и воинской доблести, все больше погружались в разврат и проникались презрением к своему вождю. Вителлий отправил в Рим эдикт, которым отклонял звание Цезаря и, до времени, звание Августа, но сохранял за собой всю полноту власти. Звездочетов изгнали из Италии. Вышло строжайшее запрещение римским всадникам позорить себя

участием в гладиаторских боях. При прежних принцепсах их склоняли к этому деньгами, а чаще заставляли силой; муниципии и колонии наперебой старались подкупить самых развращенных из молодых людей и сделать их гладиаторами.

63. Все больше людей стремились давать Вителлию советы, как управлять государством, и умели войти к нему в доверие; вскоре то же сделал и брат императора, и принцепс, слушая этих советчиков, становился день ото дня заносчивей и кровожадней. Он приказал убить Долабеллу, которого, как я уже упоминал, Отон выслал в Аквинскую колонию[85]. Получив известие о смерти Отона, Долабелла прибыл в Рим; Планций Вар, бывший претор и ближайший друг Долабеллы, донес на него префекту города Флавию Сабину[86]. Планций уверял, будто Долабелла самовольно вернулся из ссылки, чтобы руководить побежденной отонианской партией, и будто он пытался склонить к измене солдат стоявшей в Остии когорты. Обвинения, конечно, были выдуманы; позже Планций всячески раскаивался и оправдывался, но преступление было уже совершено. Флавий Сабин медлил, но жена Луция Вителлия Триария, женщина невиданной жестокости, стала грозить ему, говорила, что он хочет прослыть добрым и милосердным и спасает преступников, опасных для принцепса. Сабин, человек мягкий, в решающие минуты терялся и легко менял свои взгляды; он испугался за себя и толкнул падающего, дабы не подумали, что он пытается его выручить.

64. Новый принцепс боялся Долабеллы и ненавидел его за то, что тот сочетался браком с Петронией вскоре после ее развода с Вителлием[87]. Вителлий вызвал Долабеллу к себе письмом, тем, кто вез Долабеллу, он приказал свернуть с оживленной Фламиниевой дороги на Интерамну[88] и там убить его. Убийце, однако, все это показалось слишком сложным; в одном из дорожных трактиров он просто повалил Долабеллу на пол и перерезал ему горло. Убийство Долабеллы возбудило ненависть к новому принцепсу, который впервые обнаружил свой подлинный нрав. Необузданная свирепость Триарии была еще виднее при сравнении со скромностью жены императора Галерии; хоть и принадлежала она к тому же тесному кругу, но не запятнала себя участием ни в одном из злодеяний. Подобную же древнюю чистоту нравов

блюда и мать братьев Вителлиев Секстилия. Рассказывают, будто, получив первое письмо от сына[89], она сказала, что рожала не Германика, а Вителлия. Позже ей не принесли радости ни милости судьбы, ни лесть всего города — до того чужой чувствовала она себя в императорском дворце.

65. Вителлий уже выступил из Лугдунума, когда Клувий Руф, бросив все свои дела в Испании, догнал его; он всячески выражал радость и горячо поздравлял нового императора, в душе же скрывал страх, так как знал о взводимых на него обвинениях. Вольноотпущенник Цезаря Иларий[90] донес, будто Клувий Руф, узнав о провозглашении принцепсами Отона и Вителлия, вздумал тоже захватить власть и овладеть Испанией, и потому не ставил имени ни того, ни другого принцепса на подорожных[91] и будто речами своими старался он завоевать популярность и оскорблял в них Вителлия. Уважение, которым пользовался Клувий, оказалось сильнее этих наветов; Вителлий велел даже наказать вольноотпущенника[92]. Клувий присоединился к свите принцепса, в Испанию не вернулся и управлял ею на расстоянии по примеру Луция Аррунция[93]. Аррунция Тиберий Цезарь не отпускал от себя, потому что боялся, Вителлий же оставил при себе Клувия без всяких тайных мыслей. Требеллий Максим, который бежал из Британии, спасаясь от ярости солдат, не был удостоен подобной чести — на его место Вителлий послал нового легата Веттия Болана[94], своего приближенного.

66. Настроение, царившее в разбитых легионах, весьма беспокоило Вителлия. Разбросанные по всей Италии среди легионов победившей армии, солдаты их повторяли слухи и вели разговоры, враждебные новому принцепсу. Солдаты четырнадцатого легиона буйствовали, они не признавали себя побежденными. Под Бедриаком потерпели поражение, — говорили они, — одни лишь вспомогательные отряды, а настоящих наших солдат там вовсе и не было. Вителлий счел за лучшее отправить легион обратно в Британию, откуда Нерон некогда его вывел, а пока что поместил в одном лагере с когортами батавов, которые издавна враждовали с солдатами четырнадцатого легиона. Батавы и легионеры, исполненные взаимной ненависти и при этом вооруженные, недолго жили в мире. В колонии Августа Тавринов[95] один батав назвал какого-то ремесленника изменником; стоявший на

квартире у ремесленника легионер вступился за своего хозяина; на помощь тому и другому подоспели товарищи, начали с перебранки, а кончили резней. Чуть было не разыгралось всеобщее побоище, но две преторианские когорты встали на сторону легионеров и напугали батавов. Вителлий за преданность взял батавов в свою армию, а легиону приказал перевалить через Грайские Альпы и двигаться дальше, минуя Виенну, так как жители этой колонии тоже опасались буйства легионеров[96]. В ночь, когда четырнадцатый легион уходил из Таврины, солдаты оставили всюду непогашенными большие костры, начался пожар, который уничтожил часть города. Позже худшие несчастья, которые пришлось перенести другим городам, вытеснили из памяти людей эту беду, как и многие другие, порожденные войной. Когда четырнадцатый легион спустился с Альп, некоторые мятежные его отряды свернули на дорогу, ведущую к Виенне, но лучшие солдаты подавили бунт, и легион благополучно переправился в Британию.

67. Не меньше, чем побежденных легионов, боялся Вителлий преторианских когорт. Сначала их разместили отдельно от остальных, потом предложили почетную отставку[97], наконец, они сдали трибунам оружие. Но едва распространился слух о том, что Веспасиан начал войну, преторианцы вернулись в строй и стали главной опорой флавианской партии. Первый легион морской пехоты отправили в Испанию, чтобы солдаты, живя вдали от военных дел и отдыхая, успокоились. Одиннадцатый и седьмой вернулись в зимние лагеря; тринадцатый получил приказ начать сооружение амфитеатров: Цецина в Кремоне, а Валент в Бононии готовили гладиаторские игры, ибо Вителлий никогда не мог предаться делам настолько, чтобы забыть об удовольствиях.

68. Так сумел Вителлий без шума разъединить силы побежденной партии; но тут поднялся мятеж в стане победителей. Повод был мелкий, а жертв много, что еще усилило отвращение к войне. Однажды Вителлий обедал в Тицине; среди приглашенных был Вергиний[98]. В лагере Вителлия легаты и трибуны подражали императору: то старались превзойти друг друга суровостью нравов, то начинали пировать среди бела дня; солдаты вели себя точно так же: то старательно несли службу, то буйствовали. В вителлианской армии царили беспорядки и пьянство, и все напоминало скорее о ночных

пирушках или о вакханалиях, чем о воинском лагере. Два солдата, один из пятого легиона, другой — из галльских вспомогательных войск, затеяли борьбу, сначала в шутку, потом, озлобясь, стали драться по-настоящему; легионер упал, галл принялся всячески его поносить; зрители разделились; сбежались легионеры, набросились на солдат вспомогательных войск и перебили целых две когорты. Побоище прекратилось, лишь когда поднялся новый переполох: завидев вдали клубы пыли и блеск оружия, кто-то крикнул, что возвращается на помощь своим четырнадцатый легион. На самом деле то были последние солдаты уходившего легиона, и когда это поняли, волнение улеглось. Тем временем солдаты случайно повстречали на улице раба Вергиния и вообразили, будто он послан убить Вителлия; бросились в дом, где шел пир и стали требовать смерти Вергиния. Вителлий обычно трепетал от всякого рода подозрений, но на этот раз не усомнился, что обвинение ложно; ему, однако, стоило большого труда усмирить солдат, они с криком требовали смерти консуляриа, который так еще недавно был их полководцем. Трудно найти человека, которому бы столько раз грозили смертью мятежные войска; солдатам казалось, будто Вергиний их презирает[99], этого они не могли простить, хотя и преклонялись пред доблестью и славой полководца.

69. На следующий день Вителлий принял представителей сената (он еще раньше приказал им дожидаться его в Тицине), а затем отправился в лагерь и произнес речь, в которой хвалил войска за преданность и дисциплину. Солдаты вспомогательных отрядов, увидев, что легионеры после всех содеянных бесчинств остаются безнаказанными, пришли в ярость. Опасаясь их гнева и буйства, Вителлий отправил батавов назад в Германию и тем сделал первый шаг к войне, одновременно и внешней и междоусобной, которую готовила нам судьба[100]. Галльских ополченцев Вителлий тоже вернул в их племена: они были набраны в несметном количестве тотчас после измены[101] и оказались вовсе бесполезными во время боев. Позже Вителлий, боясь, что в императорской казне не хватит денег на все его расходы, распорядился сократить число воинов в легионах и вспомогательных когортах, новых не набирать и принялся всем и каждому предлагать выйти в отставку. Такими приказами губил он государство,

да и солдаты их не одобряли: раз людей меньше, а труды и опасности остаются те же, на долю каждого их придется больше. Армия теряла силы в распутстве и наслаждениях, все больше забывала древнюю дисциплину, установления предков, при которых Римское государство стояло твердо, ибо зиждилось на доблести, а не на богатстве.

70. Из Тицина Вителлий свернул на Кремону[102] и, посмотрев устроенные Црециной гладиаторские игры, решил побывать на поле сражения у Бедриака, чтобы увидеть своими глазами места, где войска его недавно добились победы. Но зрелище, открывшееся его глазам, вызывало лишь отвращение и ужас. Со времени сражения прошло сорок дней: всюду виднелись растерзанные тела, отрубленные члены, гниющие останки людей и коней, пропитанная кровью земля дышала зловонием, деревья были поломаны, посевы вытоптаны, вокруг лежала мертвая пустыня. Дорога через кучи трупов выглядела еще ужаснее оттого, что кремонцы, следуя обычаям, принятым в царствах Востока, разбросали по ней цветы и лавровые ветви и соорудили алтари, на которых убивали жертвенных животных[103]. Кремонцы ликовали, но прошло совсем немного времени, и торжества обернулись для них несчастьями и бедами[104]. Валент и Цецина рассказывали Вителлию о ходе битвы, показывали, где что происходило — здесь легионы бросились в атаку, отсюда налетела конница, оттуда вспомогательные войска двинулись, чтобы окружить противника. В разговор вмешались трибуны и префекты; каждый восхвалял свои подвиги, кто говорил правду, кто незаслуженно превозносил себя, а кто и просто лгал. Солдаты с шумом, с веселыми криками разбрелись по полю, узнавали места, где происходили схватки, дивились на горы оружия и груды трупов. Некоторые же, видя сколь превратно счастье человеческое, сокрушались и плакали. Вителлий, однако, не пришел в ужас, не опустил глаза при виде стольких тысяч сограждан своих, оставшихся без погребения; не зная еще, что готовит ему судьба, он радостно приносил жертвы местным богам.

71. Затем и Фабий Валент в Бононии устроил бои гладиаторов. За оружием и всем необходимым для зрелища он послал в Рим. Чем ближе подъезжали его посланные к столице, тем больше окружали себя роскошью и распутничали. К ним

присоединялись бродячие актеры, целые шайки миньонов и множество других людишек такого рода, обычно составлявших свиту Нерона, — все знали, что Вителлий восхищался Нероном и ходил на его выступления не по принуждению, как многие достойные люди, а потому что служил, словно раб, каждому, кто потакал его вожделениям и обжорству. Чтобы предоставить почетные должности Валенту и Цецине, Вителлий стал сокращать консульские сроки других. Без всякого шума освободил он от обязанностей консула одного из руководителей отонианской партии Марция Марка; не получил полагавшейся ему должности выдвинутый в консулы еще Гальбой Валерий Марин — он ни в чем не провинился, просто слыл человеком покладистым, и потому знали, что он терпеливо снесет обиду. Обошли консульским званием и Педания Косту — Вителлий, хоть и говорил другое, на самом деле не любил Косту за то, что тот осмеливался выступать против Нерона и поддерживал Вергиния. По рабскому обыкновению того времени все они выразили Вителлию благодарность.

72. Тут объявился новый самозванец, но продержался лишь несколько дней, хотя вначале ему сопутствовала удача. Самозванец выдавал себя за Скрибониана Камерина[105], утверждал, будто бежал при Нероне в Истрию, где сохранились поместья и клиенты Крассов и имя их было окружено почетом. Он набрал несколько человек из самой сволочи, они согласились сыграть назначенные роли в задуманной комедии; вскоре самозванец привлек на свою сторону чернь, которая всегда верит слухам, и некоторых солдат — они не поняли, где правда, либо надеялись поживиться во время беспорядков; но тут самозванца схватили и доставили к Вителлию. Император начал расспрашивать его, что он за человек, но словам его нельзя было придать никакой веры. Наконец выяснилось, что самозванец — беглый раб по имени Гета, бывший хозяин узнал его, и Гету казнили так, как обычно казнят рабов[106].

73. Сейчас нам даже трудно вообразить, до чего возгордился Вителлий и сколь беспечным стал, когда прибывшие из Сирии и Иудеи гонцы сообщили, что восточные армии признали его власть. До тех пор народ видел в Веспасиане возможного принцепса, и слухи о его намерениях[107], хоть и

смутные, неизвестно откуда идущие, не раз повергали Вителлия в тревогу и ужас. Теперь же и сам он, и его солдаты не опасались больше соперников и предались, словно варвары, жестокостям, распутству и грабежам.

74. Веспасиан между тем раздумывал да прикидывал, готов ли он к войне, насколько сильны его армии, на какие войска у себя в Иудее и в других восточных провинциях может он надеяться. Он первым произносил слова присяги Вителлию и призывал на него милость богов; солдаты слушали молча, и было ясно, что они готовы восстать. Муциан проявлял благожелательность к Веспасиану, а Тита даже полюбил; префект Египта Тиберий Александр[108] знал о замыслах Веспасиана и одобрял их; Веспасиан мог полностью положиться на третий легион, который привел из Сирии в Мёзию, и рассчитывал, что остальные иллирийские легионы, когда настанет час, тоже пойдут за ним[109]. Так оно и было: вся армия возмущалась наглостью солдат, приезжавших от Вителлия, их свирепым видом, грубой речью, их привычкой насмехаться над другими и считать всех ниже себя. Но решиться на такое дело, как гражданская война, нелегко, и Веспасиан медлил, то загораясь надеждами, то снова и снова перебирая в уме все возможные препятствия. Два сына в расцвете сил, шестьдесят лет жизни за плечами — неужто настал день, когда все это надо бросить на волю случая, воинской удачи? Простой гражданин волен сам добиваться задуманного или отказаться от своих замыслов, он может взять от судьбы больше или меньше — как захочет. Но у того, кто вышел бороться за императорскую власть, выбор один — либо подняться на вершину, либо сорваться в бездну.

75. Перед глазами Веспасиана проходили германские армии, он, опытный полководец, хорошо знал, сколь они сильны. «Мои легионы не знают, что такое гражданская война, — думал он, — а легионы Вителлия одушевлены только что одержанной победой; нельзя рассчитывать на побежденных — они охотнее жалуются, чем дерутся. Солдаты, познавшие столько гражданских смут, все вместе ненадежны, а поодиночке — опасны. Что пользы в пеших когортах и конных отрядах? Ведь один-два солдата в расчете на награду, которая ждет их в лагере противника, могут внезапно броситься на полководца и покончить с ним. Так в правление Клавдия

погиб Скрибониан, а убийца его Волагиний возвысился и дошел до самых высоких военных должностей[110]. Легче увлечь за собой целую толпу, чем спастись от коварства одного человека».

76. Друзья и приближенные старались развеять мрачные мысли Веспасиана. Муциан и раньше через тайных посланных не раз убеждал его поднять восстание; теперь он встретился наконец с Веспасианом и обратился к нему с такими словами: «Каждый, кто отваживается на великое дело, должен подумать, принесет ли оно пользу государству и славу ему самому, как скоро удастся его осуществить и не сопряжено ли оно со слишком большими трудностями. Надо убедиться также, что человек, толкающий тебя на такое дело, готов разделить с тобою все опасности, предугадать, кому в случае удачи достанется наибольший почет. Я призываю тебя, Веспасиан, взять императорскую власть. Сами боги отдают ее в твои руки. Ты спасешь государство и достигнешь великой славы. Не подумай, что говорю так, желая польстить тебе: стать императором после Вителлия скорее унизительно, чем почетно. Не против мудрого божественного Августа восстаем мы[111], не против подозрительного старика Тиберия, не против Гая, Клавдия или Нерона — все они принадлежали к семье, власть которой была долгой и прочной; ты склонился и перед Гальбой, но бездействовать далее, смотреть, как государство идет к поруганию и гибели, — трусость и позор; бесчестным трусом сочтут тебя, если предпочтешь ценой унижений и покорности купить себе безопасность. Теперь уж никто не подумает, будто ты хочешь захватить императорскую власть из честолюбия, она для тебя — единственное спасение. Или ты забыл о гибели Корбулона?[112] Я понимаю, что благородством происхождения он был выше нас с тобой, но ведь и Нерон вышел из более знатной семьи, чем Вителлий. Трус считает великим и знатным каждого, кто внушает ему страх. Вителлий стал императором без денег, без боевых заслуг, благодаря одной лишь ненависти солдат к Гальбе, он на собственном опыте знает, что тот, кого поддерживает армия, может стать принцепсом. Сейчас он сокращает легионы, разоружает преторианские когорты, вызывая гнев, который каждый день грозит новой гражданской войной. Ведь Отон погиб не оттого, что противник превосходил его военным

искусством или численностью, а оттого лишь, что слишком рано счел дело свое проигранным; теперь же, видя, сколь нелепо управляет империей Вителлий, люди скорбят об Отоне как о великом государе, вспоминают его с сожалением. Если и были у солдат Вителлия силы и боевой пыл, то они по примеру своего принцепса растеряли их по трактирам и пирушкам. У тебя же в Иудее, Сирии и Египте девять нетронутых легионов, не утомленных походами, не развращенных смутами; солдаты здесь закалены, привыкли смирять врагов-иноземцев, боевой мощи исполнены флоты, конные отряды и пешие когорты, местные цари преданы нам, и ты — опытный полководец и нет у тебя соперников.

77. Для себя я хотел бы только одного — не считаться хуже Валента и Цецины. Не пренебрегай мной только оттого, что я тебе помощник, а не соперник. Я ставлю себя выше Вителлия, тебя же — выше себя. Ты триумфом прославил свое родовое имя[113], у тебя двое сыновей, один из них уже может управлять государством и еще юношей стяжал славу, сражаясь в германской армии. Если бы я был императором, я выбрал бы его в наследники; я поступаю разумно — сразу же уступаю тебе императорскую власть. Мало того: и при удаче, и при неудаче разная ожидает нас участь — победа принесет мне лишь ту награду, какую даруешь мне ты, а перед лицом опасностей и смерти мы равны. Лучше всего тебе сохранить верховное командование и не подвергать себя риску, а все превратности военного неверного счастья пусть выпадут на мою долю. Побежденная армия сейчас лучше, чем армия победителей, — солдатам разбитого войска гнев, ненависть и жажда мщения заменяют доблесть; бывшие их противники спесивы, упрямы и оттого слабы. Война сорвет корку с гноящихся ран вителлианства, и я рассчитываю на лень, невежество и жестокость Вителлия еще больше, чем на твою проницательность, бережливость и мудрость. Так или иначе, война сулит нам меньше опасностей, чем мир, ибо вот этого нашего разговора достаточно, чтобы сочли нас изменниками».

78. Муциан умолк. Все окружили Веспасиана, требовали, чтобы он решился на затеваемое дело, напоминали о благоприятных ответах прорицателей и счастливом расположении светил. Веспасиан не был чужд суеверия — недаром, уже ставши владыкой мира, он открыто держал при себе некоего

Селевка, звездочета и прорицателя, и прислушивался к его советам[114]. И сейчас давние предзнаменования всплыли в его памяти. Он был еще юношей, когда в имении их вдруг рухнул на землю огромный кипарис. На следующий день упавшее дерево само поднялось и стало расти и зеленеть пуще прежнего. Гаруспики в один голос истолковали это как предсказание величия и счастья, которые сулит юному Веспасиану судьба, как предвестие славы, его ожидающей. Триумф, консулат, победу в Иудейской войне считал Веспасиан исполнением пророчества; теперь, после всего этого, он стал думать, не предрекало ли то давнее знамение еще и императорскую власть. Между Сирией и Иудеей есть место, где высится гора Карамел, там чтут божество того же имени[115], стоит алтарь, возносят молитвы, но по заветам предков Карамелу не строят храмов и не ставят его изображений, здесь-то в пору, когда тайные надежды уже владели его душой, совершал Веспасиан жертвоприношение. Жрец Басилид долго всматривался в расположение внутренностей жертвенного животного и наконец сказал: «Что бы ты ни замышлял, Веспасиан: постройку дома, расширение поместий или покупку рабов — все даруют тебе боги, — и пышные дворцы, и бескрайние владения, и власть над множеством людей». Загадочные эти слова сразу же стали достоянием молвы, но лишь теперь люди поняли их тайный смысл, и чернь только и толковала что о пророчестве. Еще больше говорили о нем в доме Веспасиана: когда человек задумал какое-то дело, близкие обычно предсказывают ему успех.

Муциан и Веспасиан разъехались. Один направился в столицу Сирии Антиохию, другой — в Цезарею, столицу Иудеи[116]. И тот и другой понимали, что жребий брошен.

79. Первыми признали Веспасиана императором в Александрии; Тиберий Александр весьма поспешно уже в июльские календы[117] привел к присяге стоявшие там легионы. Потом именно этот день праздновали как первый день правления Веспасиана, хотя сам он принял присягу иудейской армии лишь на пятые сутки после июльских нон[118]. Случилось это внезапно, не дождались даже Тита, который возвращался из Сирии, где был посредником между отцом и Муцианом. Никто не собирал легионы, никто не собирал сходки — все в едином порыве решили солдаты.

80. Еще никто не знал, где и когда начнется сходка, не решили — в таких случаях это всегда самое трудное, — кому заговорить первым, люди то надеялись, то преисполнялись страха, то пытались все предвидеть, то полагались на волю случая; несколько солдат собрались у шатра Веспасиана, чтобы по заведенному порядку приветствовать его как легата, но когда он появился, его приветствовали как императора. Немедленно сбежались остальные и тут же присвоили Веспасиану титулы Цезаря, Августа и все прочие звания, что полагаются принцепсу. Страх исчез, солдаты уверовали в свою счастливую звезду. Сам Веспасиан в новых и необычных обстоятельствах оставался таким, как прежде, без малейшей важности, без всякой спеси. Каждому, кто попадает на вершину могущества, в первую минуту глаза как бы застит туманом. Но Веспасиан тут же овладел собою и обратился к войску с несколькими словами, по-солдатски простыми и суровыми. В ответ раздались громкие крики ликования и преданности. Подъем охватил также легионы Муциана, и он, с нетерпением ожидавший начала событий, тотчас привел их к присяге Веспасиану. Затем Муциан явился в антиохийский театр, где местные жители обычно собираются, чтобы поговорить о делах, и обратился к толпе с речью, которую встретили с льстивым восторгом. Муциан был искусен в делах и словах, он говорил и делал все красиво, и речь его, хоть и произнесенная по-гречески, была прекрасной и яркой. Муциан сказал, что Вителлий решил перевести германские легионы в Сирию, где служить выгодно и спокойно, а в германские лагеря, где климат суров и труд тяжел, отправить войска из Сирии; это вызвало бурное возмущение провинциалов и солдат. Провинциалы привыкли к стоявшим в их местах войскам, хорошо относились к солдатам, со многими породнились и вели общие дела, а солдаты после стольких лет службы считали лагерь родным домом.

81. Еще до июльских ид присягу приняла вся Сирия. К восставшим примкнули Сохем со своим царством и немалым войском, а также Антиох — самый сильный из местных подчиненных Риму царьков, знаменитый богатствами, доставшимися ему от предков. Вскоре затем Агриппа, получив тайно вести от своих приближенных, покинул Рим и ничего не подозревавшего Вителлия, стремительно пересек море

и вернулся к себе[119]. Царица Береника также решительно встала на сторону восставших. Молодая, красивая, она даже старого Веспасиана обворожила любезностью и роскошными подарками. Все приморские провинции, вплоть до границ Азии и Ахайи, и все внутренние, вплоть до Понта и Армении, присягнули на верность Веспасиану. Правда, легионы в Каппадокию тогда еще введены не были[120] и легаты всех этих провинций не имели армий. Чтобы обсудить, как действовать, собрались на совещание в Берите[121]. Прибыл Муциан, окруженный легатами, трибунами, самыми прославленными центурионами и солдатами; отборных солдат прислала и иудейская армия. Пешие и конные воины, цари, соревнующиеся друг с другом в роскоши, — словом, совет имел такой вид, будто именно здесь принимали настоящего принцепса.

82. Веспасиан начал подготовку к войне: набрал рекрутов и призвал в армию ветеранов; самым богатым городам поручил создать оружейные мастерские, в Антиохии принялись чеканить золотую и серебряную монету. Все делали спешно особые доверенные люди. Веспасиан показывался всюду, всех подбадривал, хвалил честных и деятельных, растерянных и слабых наставлял собственным примером, к наказаниям прибегал редко, стремился умалить не достоинства, а недостатки своих друзей. Он роздал должности префектов и прокураторов и назначил новых членов сената, в большинстве людей выдающихся, которые вскоре заняли высокие посты в государстве; нашлись, однако, и такие, кому счастливый случай помог больше, чем собственные достоинства. Что до денежного подарка солдатам, то Муциан на первой же сходке предупредил, что будет весьма умеренным, и Веспасиан обещал войскам за участие в гражданской войне не больше, чем другие платили за службу в мирное время: он был непримиримым противником бессмысленной щедрости к солдатам, и потому армия его всегда была лучше, чем у других. К парфянам и в Армению послали легатов и приняли меры, чтобы после ухода легионов на гражданскую войну не оставить границы незащищенными. Тит остался в Иудее, Веспасиан занял ворота Египта[122], решили, что для победы над Вителлием не нужны все войска и достаточно такого командующего, как Муциан, а также славы имени Веспасиана; в остальном

полагались на фортуну, которой дано сокрушать любые преграды. Подготовили письма ко всем армиям и легатам, командирам было приказано переманивать на свою сторону преторианцев, враждебных Вителлию, и обещать им в награду возвращение на службу.

83. Муциан держался не как доверенный Веспасиана, а скорее как соправитель. Выступив во главе отборного отряда, он двигался не слишком медленно, дабы не подумали, будто он затягивает кампанию, но и не слишком быстро, ибо знал, что войска у него немного, а армия, которую еще никто не видел, всегда кажется опаснее, и страх перед ней тем больше, чем медленнее она приближается. Правда, за ним шел шестой легион и тринадцать тысяч воинов самостоятельных отрядов, так что и без того войско было не столь уж малое. Муциан приказал кораблям выйти из Понта и собраться в Византии[123]. Как действовать, он еще окончательно не решил, но все более склонялся к мысли оставить Мёзию в стороне и двинуться пешим и конным к Диррахию[124], а большими кораблями запереть выход из моря, омывающего Италию[125]. Тогда будет закрыт доступ в Ахайю и Азию, иначе пришлось бы ставить там гарнизоны либо бросать эти провинции беззащитными на милость Вителлия. Если план удастся, Вителлий растеряется, не зная, какую часть Италии защищать от нападения вражеского флота — Брундизий или Тарент, берега Калабрии или Лукании[126].

84. Провинции содрогались от грохота оружия, поступи легионов, передвижений флотов. Но хуже всего приходилось им от денежных поборов. Муциан часто повторял, что деньги — становая жила войны, и при сборе их думал лишь о великом своем деле, а могут ли жители дать столько и справедливо ли так обирать их — о том не думал. Доносы сыпались к Муциану со всех сторон, все богатые имения были разграблены. Такую безжалостность и свирепость еще можно как-то оправдать во имя войны, но продолжалось все это и в мирное время. В начале своего правления Веспасиан лишь не мешал другим, позднее же, избалованный удачами, поощряемый дурными советчиками, стал и сам грабить провинциалов. Муциан тратил на нужды войны немало и собственных денег, — тем охотнее, что с лихвой возмещал их из государственной казны. Другие следовали его примеру и тоже расхо-

довали собственные деньги, но восполнять их таким же способом решались немногие.

85. После того как на сторону Веспасиана перешла иллирийская армия, дела его пошли еще успешнее. В Мёзии третий легион подал пример остальным, то есть восьмому и седьмому Клавдиеву, которые, хотя и не участвовали в битве при Бедриаке, были страстно преданы Отону. Заняв Аквилею, солдаты седьмого и восьмого разогнали всех, кто распространял сведения о смерти Отона, разгромили отряды, несшие на своих значках изображения Вителлия, и, наконец, ограбили и поделили между собой казну. Так оказались они противниками принцепса и испугались, а испугавшись, догадались, что провинности перед Вителлием можно представить как заслуги перед Веспасианом. И тогда отправили в Паннонию письмо, убеждали в нем стоявшую там армию присоединиться к ним, а на случай отказа стали готовиться к вооруженному столкновению. В разгар этих событий правитель Мёзии Апоний Сатурнин совершил гнусное преступление: будто бы из политических соображений, а на деле из мести, велел одному из центурионов убить легата седьмого легиона Теттия Юлиана[127]. Юлиан, узнав о грозящей опасности, нашел людей, хорошо знающих тамошние места, окольными дорогами пересек Мёзию и скрылся по ту сторону Гэмских гор[128]. Он и после не участвовал в гражданской войне; выехал к Веспасиану, но то замедлял, то ускорял езду, смотря какие приходили вести; в конце концов он до Веспасиана так и не добрался.

86. Тем временем в Паннонии тринадцатый и седьмой Гальбанский легионы, удрученные и злые после разгрома под Бедриаком, без промедления присоединились к Веспасиану, больше всего благодаря уговорам Прима Антония. Человек этот, не уважавший законы, осужденный при Нероне за подлог, был возвращен в число сенаторов, — как будто и без того война принесла нам мало бедствий. Поставленный Гальбой во главе седьмого легиона, Антоний, если верить молве, много раз писал Отону и вызывался возглавить его армию. Отон пренебрег его предложениями, и во время отонианской войны Антоний был не у дел. Едва лишь дела Вителлия пошли немного хуже, Антоний тотчас перешел на сторону Веспасиана, и тогда это значило немало. Антоний был лихой рубака,

бойкий на язык, мастер сеять смуту, ловкий зачинщик раздоров и мятежей, грабитель и расточитель, в мирное время такого человека нельзя терпеть, но на войне он небесполезен. Так мёзийская и паннонская армии объединились и увлекли за собой войска, расположенные в Далмации, хотя консульские легаты в этих провинциях вовсе не склонны были к мятежу. Паннонией правил Тампий Флавиан, Далмацией — Помпей Сильван[129], и тот и другой люди богатые и старые. Был там, однако, еще и прокуратор Корнелий Фуск, человек в расцвете сил и знатного рода. Еще в ранней молодости, горя желанием побыстрее разбогатеть, он вышел из сенатского сословия[130]. Фуск был одним из главных магистратов своей родной колонии, вместе с ней перешел на сторону Гальбы и получил наконец вожделенное место прокуратора[131], а присоединившись к Веспасиану, он сделался ярым вдохновителем войны. Опасности любил он больше, чем блага, добываемые ценой опасностей, крайние и рискованные шаги предпочитал испытанным и верным. Фуск объединился с Антонием, и вместе принялись они разжигать ненависть солдат: напоминали о старых обидах, бередили старые раны. Написали обращение к солдатам четырнадцатого легиона, стоявшего в Британии, и первого, стоявшего в Испании, — оба эти легиона не так давно дрались за Отона против Вителлия; галльские провинции были засыпаны подметными письмами, и в мгновение ока на огромных пространствах забушевала война. Иллирийская армия открыто изменила Вителлию, остальные ждали, кому улыбнется судьба.

87. Пока Веспасиан и сторонники его готовили в провинциях мятеж, Вителлий лениво двигался к Риму, останавливаясь в каждом муниципии, на каждой вилле, везде, где только можно было приятно провести время. День ото дня становился он все беспомощнее и вызывал все большее презрение. За ним шли шестьдесят тысяч разнузданных наглых солдат, еще больше войсковой прислуги и обозных рабов, столь развращенных, что даже и среди этого сословия редко встретить, да еще свита — множество посланцев сената и приятелей императора, так что справиться с ними всеми невозможно было бы и при самой строгой дисциплине. Толпа эта еще увеличилась за счет сенаторов и всадников, которые выехали из столицы навстречу принцепсу, кто со страху, кто из пре-

смыкательства, остальные — число их понемногу росло — боялись отстать от других. Сбегались со всех сторон и люди из простонародья — шуты, лицедеи, возницы; некогда[132] они тешили Вителлия своим искусством, он встречал их с радостью, повергавшей многих в недоумение. Вся эта масса опустошала не только колонии и муниципии, но даже усадьбы земледельцев; они вытаптывали нивы, уже колосившиеся новым урожаем, будто шли по вражьей земле.

88. Со времени беспорядков в Тицине легионеры враждовали с солдатами вспомогательных войск; беспрерывно ссорились, убивали друг друга, потом мирились только для того, чтобы вместе грабить мирных жителей. Самое большое побоище случилось у седьмого камня не доходя Рима[133]. Вителлий начал раздавать солдатам еду — каждому отдельно, будто откармливал гладиаторов; сбежались местные жители, вошли в лагерь и смешались с солдатами. Кто-то из простонародья придумал нелепую шутку: потихоньку подходили к ничего не подозревавшему солдату, срезали перевязь, а потом спрашивали, где его оружие. Воины не привыкли сносить насмешки; в негодовании они бросились с обнаженными мечами на безоружную толпу. Среди прочих был убит отец одного из солдат, пришедший проводить сына; узнав об этом, солдаты утихли и пощадили ни в чем не повинных людей. В Риме тем не менее началось смятение, так как жители узнали теперь, каковы солдаты Вителлия, еще до их вступления в город. Солдаты стремились прежде всего попасть на форум: им не терпелось взглянуть на место, где несколько месяцев тому назад лежало тело Гальбы. Одетые в звериные шкуры, с огромными дротами, наводившими ужас на окружающих, они представляли собой дикое зрелище. Непривычные к городской жизни, они то, попав в гущу толпы, никак не могли выбраться, то скользили на мостовой, падали, если кто-нибудь на них натыкался, разражались бранью, лезли в драку и в конце концов хватались за оружие. Даже трибуны и префекты носились по городу во главе вооруженных банд, сея всюду страх и трепет.

89. Сам Вителлий в боевом плаще, опоясанный мечом, верхом на великолепном скакуне тронулся с Мульвиева моста[134], гоня перед собой сенаторов и народ, как победитель, въезжающий в покоренный город. Друзья, однако, посовето-

вали ему так в Рим не входить[135]; он испугался, сменил плащ на тогу и вступил в столицу во главе армии, шедшей сомкнутым строем. Впереди двигались орлы четырех легионов, вокруг них — вымпелы четырех остальных, следом — двенадцать значков конных отрядов, легионеры, конница и тридцать четыре пешие когорты, разделенные по племенам и видам оружия. Перед орлами шагали, все в белом, префекты лагерей, трибуны и первые центурионы первых десяти манипул; остальные центурионы, сверкая оружием и знаками отличия, шли каждый впереди своей центурии; фалеры и нагрудные украшения солдат блестели на солнце[136]. Великолепное зрелище, прекрасная армия, достойная лучшего полководца. Вителлий поднялся на Капитолий, обнял мать и назвал ее почетным именем Августы.

90. На следующий день Вителлий произнес пышную речь, в которой восхвалял самого себя, свою энергию и миролюбие. Можно было подумать, что он выступает пред сенатом и народом чужой страны: ведь и приближенные, и те, кто сейчас слушал его, и вся Италия, которую он только что прошел, бесстыдно выставляя напоказ свое распутство и лень, — все были свидетелями его преступлений. Но бессмысленная толпа не способна отличать истину от лжи и любит льстить — речь Вителлия встретили возгласами одобрения. Как он ни отказывался, его заставили принять имя Августа — соглашался ли он, нет ли, а имя это уж никак ему не пристало.

91. В нашем государстве люди любят толковать любое событие: Вителлий, ставши верховным понтификом[137], распорядился провести в пятнадцатый день августовских календ публичное богослужение, и это восприняли как недоброе предзнаменование; день тот, отмеченный поражением на Кремере и аллийским разгромом, издавна считается несчастливым[138]. Вителлий же ничего не смыслил ни в человеческих, ни в божественных установлениях, он поступал, как советовали ему друзья, столь же глупые и легкомысленные, как и вольноотпущенники, да к тому же всегда пьяные. Правда, Вителлий отстаивал своих кандидатов как простой гражданин[139], ходил в театры, аплодировал в цирке и, сидя там, внимательно прислушивался ко всему, что говорили в толпе, даже и ко всякому вздору. Если бы такое поведение сочеталось с высокими душевными качествами, конечно, Вителлия

бы полюбили, но люди помнили его прошлую жизнь и потому поступки его казались недостойными. Он часто бывал в сенате, даже когда обсуждались незначительные вопросы. Однажды претор следующего года Гельвидий Приск выступил против него. В первую минуту Вителлий вспылил, но овладел собой и лишь обратился к народным трибунам с просьбой защитить попранную власть императора. Опасаясь, как бы гнев не завел Вителлия слишком далеко, друзья принялись его успокаивать. «Ничего нет странного в том, — отвечал Вителлий, — что два сенатора, обсуждая государственные дела, разошлись во мнениях», — и прибавил, что сам много раз выступал против Тразеи[140]. Сравнение было столь нескромно, что многие рассмеялись; некоторым, однако, понравилось, что в пример он привел Тразею, а не когонибудь из стоявших у власти.

92. Во главе претория Вителлий поставил префекта одной из когорт Публия Сабина и центуриона Юлия Приска; первому покровительствовал Цецина, второму — Валент. Окруженный распрями, Вителлий не имел настоящей власти — Цецина и Валент правили за него. В походах и лагерях они как-то скрывали свою давнюю ненависть друг к другу; теперь, в столице, где поводы для ссор столь обильны, она, разжигаемая коварными друзьями, разгорелась еще сильнее. Цецина и Валент старались перещеголять один другого числом сторонников, пышностью свиты, обилием клиентов, ожидающих их выхода по утрам[141]. Вителлий, непостоянный в своих привязанностях, то склонялся на сторону одного, то другого; неограниченная власть никому не внушает доверия. Оба презирали и боялись принцепса, который во всем сомневался, осыпал их то беспричинными оскорблениями, то неуместными ласками; оба, однако, при этом захватывали дома, сады, сокровища казны, а толпы аристократов, возвращенных Гальбой из ссылки, жалкие, нищие, обремененные детьми, не получали от принцепса никакого вспомоществования. Эти отпрыски знатнейших родов государства с радостью приняли распоряжение Вителлия, которое одобрила даже чернь: вернувшимся из ссылки возвращались обычные права патрона на своих вольноотпущенников[142]. Хитрые рабы всячески нарушали распоряжение, прятали свои деньги или помещали под чье-либо высокое покровительство;

некоторые даже жили в императорском дворце и были могущественнее своих господ.

93. Солдатам тесно было в лагере, они переполняли портики и храмы, бродили по всему городу. Забыты строй, дежурства, укрепляющая тело работа, солдаты предались таким развлечениям, о которых стыдно даже упоминать; безделье губило тела, низкие страсти — души. Даже о сохранении своей жизни перестали они заботиться — многие расположились лагерем в гиблом Ватиканском овраге, где смерть настигала одного за другим[143]. Томимые жарой, постоянным желанием освежиться, галлы и германцы, и без того болезненные, то и дело купались в протекавшем неподалеку Тибре, и это ослабляло их еще больше. Порядок прохождения службы нарушен был интригами и всеобщей распущенностью. Формировали шестнадцать когорт претория и четыре городской стражи, по тысяче человек каждая; Валент утверждал, что некогда спас Цецину от гибели, и оттого считал себя вправе набирать в преторианцы и в городскую стражу кого заблагорассудится. Приход Валента с войсками в свое время и вправду принес вителлианцам победу; удача заставила забыть недобрые слухи о том, что Валент шел к Бедриаку подозрительно медленно; все солдаты нижнегерманской армии были на его стороне. Говорят, что именно в те дни Цецина впервые поколебался в своей преданности Вителлию.

94. Впрочем, если Вителлий закрывал глаза на своеволие командиров, то еще больше потакал он солдатам. Каждый сам выбирал себе род войска. Любой, хоть и недостойный, мог, если ему вдруг взбрело на ум, записаться в городские когорты, и, наоборот, даже самый хороший солдат, если хотел, оставался в легионах или конных отрядах, и это тоже разрешалось. Немало легионеров поступили именно так, ибо были ослаблены болезнями и опасались римского палящего солнца. Так или иначе легионы лишились многих хороших солдат, а в римский гарнизон навербовали двадцать тысяч человек без разбора, по всей армии, и гарнизон больше не пользовался былым уважением.

Однажды, когда Вителлий проводил солдатскую сходку, вдруг раздались голоса, требовавшие казни Азиатика, Флава и Руфина — галльских вождей, что воевали на стороне Виндекса; Вителлий даже не пытался обуздать крикунов. И не

только по природной глупости и слабости: приближался день, когда солдатам надо было выдать вознаграждение, а денег у Вителлия не было, оттого и старался он задобрить солдат. На императорских вольноотпущенников наложили подать по числу рабов, которым каждый владел. Сам же Вителлий умел только тратить; он строил конюшни своим возничим, свозил отовсюду гладиаторов и диких зверей для зрелищ, которые собирался устроить, будто владел несметными богатствами.

95. День рождения Вителлия[144] прежде никто не отмечал; теперь же Цецина и Валент отпраздновали его с редким великолепием, устроив гладиаторские бои в каждом квартале Рима[145]. Радость негодяев и негодование добрых граждан вызвали жертвоприношения в память Нерона; устроил их Вителлий у жертвенника, для того нарочно сооруженного на Марсовом поле. Жертвенных животных убивали и сжигали при стечении народа, жертвенный огонь разводили жрецы-августалы[146], — все делалось по обряду, что создал Ромул в честь царя Татия[147] и Цезарь Тиберий для прославления рода Юлиев. Не прошло и четырех месяцев со времени победы Вителлия, а уж его вольноотпущенник Азиатик возбудил к себе такую ненависть, как в былые годы поликлиты, патробии[148] и им подобные. Никто в этом доме не пытался заслужить почести честностью и трудолюбием, к власти вел только один путь — тешить ненасытные вожделения Вителлия оргиями и пирами, каждый роскошнее и расточительнее предыдущего. Сам принцепс радовался, что пока еще есть время и можно наслаждаться, о будущем старался не думать и, как говорят, за несколько месяцев проел двести миллионов сестерциев. Целый год пришлось великому и злосчастному городу терпеть Отона и Вителлия, сносить обиды и оскорбления от виниев, фабиев, икелов, азиатиков, пока не явились Муциан и Марцелл — другие люди, но, впрочем, с теми же нравами.

96. Первой пришла к Вителлию весть о мятеже в третьем легионе, послал ее Апоний Сатурнин[149] еще до того, как сам примкнул к партии Веспасиана. По письму Апония, перепуганного внезапным бунтом, трудно было судить, сколь он велик, льстивые же придворные старались преуменьшить опасность и уверяли, что взбунтовался всего-навсего один

легион, а остальная армия хранит верность императору. Про это и говорил Вителлий в речи перед солдатами. Он обрушился на недавно демобилизованных преторианцев, которые, по его словам, распространяли всякие слухи, ничего не сказал о грозящей гражданской войне, не упомянул даже имени Веспасиана и разослал по городу солдат с приказом пресекать опасные разговоры. Это-то как раз и дало больше всего пищи для разнотолков.

97. Тем не менее Вителлий вызвал войска из Германии, Британии и Испании, не торопясь и делая вид, будто никакая опасность ему не грозит. Не спешили и провинции во главе со своими легатами. Гордеоний Флакк уже тогда начал подозревать батавов и больше думал о войне, угрожавшей ему самому; Веттий Болан управлял страной, где никогда не было настоящего спокойствия[150]; оба колебались, не зная, чью сторону принять. Из испанских провинций, где в ту пору не было единой верховной власти, тоже никто не торопился на помощь Вителлию; легаты всех трех легионов были равны по своему положению; если бы удача сопутствовала Вителлию, они стали бы наперерыв друг перед другом угождать ему; теперь же дела Вителлия пошатнулись, и они с редким единодушием старались держаться от него подальше. В Африке легион и отдельные когорты, набранные Клодием Макром и вскоре распущенные Гальбой, по приказу Вителлия снова вернулись в строй. Молодежь, не попавшая в этот набор, тоже охотно записывалась в солдаты. Дело в том, что и Вителлий и Веспасиан в разное время были проконсулами в Африке; первого вспоминали здесь с уважением и благодарностью, а имя второго повторяли с ненавистью и злобой. Провинциалы, каким помнили каждого из них, таким и надеялись видеть будущего правителя; дальнейший ход событий сокрушил их надежды.

98. Сначала легат Валерий Фест[151] от всей души поощрял провинциалов. Вскоре, однако, он повел двойную игру: в донесениях и эдиктах поддерживал Вителлия, а втайне помогал Веспасиану, слал секретно вести, выжидая и рассчитывая выступить на стороне той партии, которая возьмет верх. Веспасиан разослал по Реции и галльским провинциям солдат и центурионов с письмами и эдиктами; немногие были схвачены, доставлены к Вителлию и казнены, остальным удалось

обмануть бдительность вителлианцев: кого спрятали друзья, кто сумел скрыться сам. Так или иначе, о приготовлениях Вителлия известно было все, о замыслах Веспасиана — почти ничего. Причиной тому были и глупость Вителлия, и заставы в Паннонских Альпах[152], задерживавшие гонцов, и этезийские ветры[153], благоприятные кораблям, шедшим на Восток, и злые для тех, кто плыл в противоположную сторону.

99. Испуганный продвижением противника и доходившими со всех сторон зловещими вестями, Вителлий приказал Цецине и Валенту идти на врага. Цецина отправился; Валент задержался в Риме, так как был еще слишком слаб после тяжелой болезни. Уходившие из города войска мало походили на прежнюю германскую армию: не чувствовали воины больше ни сил в теле, ни бодрости в душе; шли медленно, несомкнутым строем, оружие едва не валилось из ослабевших рук, кони шатались от истощения. Изнуренные, измученные жарой, пылью, резкими переменами погоды, солдаты неспособны были переносить трудности походной жизни, но тем более склонны к бунтам и ссорам. Сам Цецина, баловень судьбы, всегда полный энергии, теперь словно впал в оцепенение, — то ли растратил в оргиях все силы, то ли вынашивал измену и стремился к разложению армии. Многие думали, что к измене он начал склоняться под влиянием Флавия Сабина. По поручению Сабина Рубрий Галл уверял Цецину, что Веспасиан примет все его условия, разжигал в нем зависть и ненависть к Валенту, говорил, что, раз Вителлий не оценил его по заслугам, следует добиваться влияния при новом дворе и милостей нового принцепса.

100. Вителлий осыпал Цецину почестями, обнял на прощание, и тот выступил в поход, отправив вперед часть конницы с приказом занять Кремону. Вслед за Цециной двинулись отдельные отряды первого, четвертого, пятнадцатого и шестнадцатого легионов, за ними — пятый и двадцать второй; наконец, походным строем пошли двадцать первый Стремительный и первый Италийский, а с ними отдельные отряды трех британских легионов и отборные солдаты вспомогательных войск. Уже после того, как Цецина выступил, Валент написал письмо в легионы, которыми прежде командовал, просил солдат остановиться и подождать его, уверяя, что о задержке этой с Цециной договорился. Цецина сам

шел с армией и потому сумел убедить солдат, что договоренность они с Валентом потом изменили и не следует дробить войско перед лицом надвигающейся опасности. Одним легионам он приказал быстро идти на Кремону, другим — двигаться на Гостилию[154], сам же под предлогом, что хочет договориться с флотом, свернул на Равенну и вскоре, ища возможности начать тайные переговоры с противником, оказался в Патавии[155]. Во главе Равеннского и Мизенского флотов стоял Луцилий Басс. Вителлий назначил его — простого префекта кавалерийского отряда — командиром двух флотов. Луцилий, однако, счел себя оскорбленным тем, что его тотчас же следом за этим не сделали префектом претория, и с подлым коварством выискивал, на чем выместить свою бессмысленную ярость. Сейчас уже нельзя сказать, он ли увлек за собой Цецину или, как это часто бывает — у дурных людей мысли сходятся, — одни и те же низкие цели двигали обоими.

101. Писатели, которые рассказывали историю этой войны во время правления Флавиев, из лести объясняли измену Цецины и других заботой о мире и любовью к родине. Нам же кажется, что люди эти — непостоянные и готовые, раз изменив Гальбе, изменять всем подряд — соперничали и завидовали друг другу; каждый готов был погубить Вителлия, лишь бы не уступить его расположение другому. Вернувшись к своим легионам, Цецина принялся разными хитростями восстанавливать центурионов и солдат против Вителлия, которому они были так горячо преданы. Басс делал то же, но ему было легче добиться цели: моряки еще недавно воевали за Отона, они и без того склонялись к измене.

Книга третья

1. Гораздо удачнее и с большей преданностью своему вождю разрабатывали планы войны полководцы флавианской партии. Они собрались в Петовионе, в зимних лагерях тринадцатого легиона; возник спор, укрепляться ли в Паннонских Альпах и ждать, пока с востока придут основные силы, или действовать решительно — двигаться прямо на врага и завязать бой за Италию. Те, кто предпочитал медлить и ждать

подкреплений, много говорили о славе и мощи германских легионов, об отборных частях британской армии, что присоединились к Вителлию. «Наши легионы, — утверждали они, — недавно лишь потерпели поражение и уступают противнику не только по числу; хоть солдаты наши и произносят грозные речи, боевой дух у них далеко не тот, что у вителлианцев. Если же займем Альпы и остановимся, к нам присоединятся Муциан и его восточные армии; Веспасиану останутся флоты и преданные ему провинции — в пору начать еще одну войну; так что разумное промедление умножит наши силы в будущем, а в настоящее время не повредит».

2. Антоний Прим, самый рьяный из сторонников войны, доказывал, что быстрота действий восставшим выгодна, а для Вителлия губительна. «Победа, — говорил Антоний, — скорее ослабила наших противников, чем укрепила. Вителлианцы теперь не готовы к бою, забыли лагерную жизнь: они стоят по муниципиям всей Италии и тем больше боятся хозяев, у которых живут, чем сильнее притесняли их раньше; тем жаднее набрасываются на удовольствия, чем меньше к ним привыкли. От цирков и театров, от столичной жизни силы их тают, здоровье слабеет. Если дать им время, они вспомнят о походах и войнах, обретут былую боевую мощь. Германия, откуда они черпают силы, недалеко, лишь узкий пролив отделяет от них Британию, рядом — провинции Галлии и Испании, которые шлют им деньги, людей и коней; в их руках Италия и сокровища Рима. Надумают они перейти в наступление — к их услугам два флота, и на всем Иллирийском море — ни одного вражеского корабля. И тогда что проку от наших горных укреплений? Для чего затягивать войну еще на одно лето? Откуда возьмем мы деньги и продовольствие? Паннонские легионы, скорее обманутые, чем разбитые, только и мечтают о мести, с нами — свежие силы мёзийской армии; не лучше ли воспользоваться этим? Если вести счет не по числу легионов, а по числу солдат, то мы сильнее вителлианцев, да и дух наш несравненно лучше: самый стыд, который солдаты испытывают, помогает укреплению дисциплины. Что ж до конницы, то она ведь даже и не была разбита; напротив того, в неблагоприятных обстоятельствах сумела разгромить пехоту Вителлия. Всего два отряда конницы — паннонский и мёзийский — смогли тогда нанести про-

тивнику поражение; теперь на него разом устремятся шестнадцать таких отрядов — пыль из-под копыт облаком окутает вителлианцев, топот коней и гром оружия оглушат отвыкших от сражений лошадей и всадников. Я не просто доказываю, что план этот лучше, я готов сам действовать, если только никто не станет мне мешать[1]. Ваш час еще не пробил, оставайтесь с легионами, хватит одних легковооруженных когорт. И вы скоро услышите, что путь в Италию открыт, а Вителлий побежден. Тогда радостно двинетесь вы вслед за мной по пути, проложенному победителем».

3. Глаза Антония горели. Он говорил резким громким голосом, стараясь, чтобы слышало возможно больше народу: в помещение, где шел совет[2], понемногу собрались и центурионы, и кое-кто из солдат. Антоний привел так много доводов, что даже люди осторожные и предусмотрительные заколебались. Толпа признавала теперь только одного вождя, только одного человека превозносила до небес и презирала всех прочих за слабость и нерешительность. Популярность Антоний завоевал еще раньше, когда на солдатской сходке прочитали обращение Веспасиана[3]. В отличие от других командиров, выступавших уклончиво и нерешительно, он не лавировал, не выжидал, как пойдут события, а сразу принял сторону солдат, и, видя, что он готов разделить с ними и вину, и славу, солдаты прониклись к нему уважением.

4. Прокуратору Корнелию Фуску солдаты верили почти так же, как Антонию. Он тоже часто и яростно нападал на Вителлия и не имел никакой надежды на примирение с властями. Подозрения вызывал у солдат Тампий Флавиан[4]: он был медлителен и по натуре, и из-за преклонного возраста, солдаты же считали, что он хранит верность Вителлию, помня о своем родстве с ним. Кроме того, Флавиан в начале восстания бежал, потом неожиданно вернулся — в этом тоже усматривали какой-то коварный умысел. Флавиан в самом деле уехал из Паннонии, вернулся в Италию и был уже вне всякой опасности, но вдруг снова принял звание легата и ринулся в гражданскую войну отчасти из стремления к переменам, отчасти под влиянием Корнелия Фуска. Фуск же убеждал Флавиана присоединиться к восстанию не потому, что нуждался в его помощи, а чтобы имя консулярия придало восстанию вид законности.

5. Апонию Сатурнину[5] отправили письмо с просьбой привести возможно скорее войска из Мёзии, с их помощью можно было вторгнуться в Италию быстро и без потерь. Чтобы на провинции, лишенные защиты, не напали варвары, вождям сарматских язигов[6] правившим здешними племенами, разрешили участвовать в войне. Они предложили своих людей и конницу, которая одна лишь и составляет боевую силу сарматов. Услуга, однако, не была принята из опасения, что сарматы воспользуются гражданской войной в своих целях, а может быть, и переметнутся к тем, кто больше заплатит. Повстанцы привлекли на свою сторону королей свебов Сидона и Италика[7]. Свебы издавна отличались верностью Риму, и с ними легче было договориться, обращаясь не как с подчиненными, а как с союзниками. Один из флангов наступающей армии укрепили вспомогательными отрядами, так как из соседней Реции можно было ожидать нападения: прокуратор этой провинции[8] Порций Септимин сохранял непоколебимую верность Вителлию. После всех этих приготовлений вперед выслали Секстилия Феликса во главе аурианской конницы, восьми пеших когорт и ополчения из молодежи провинции Норик; он должен был занять берег реки Эн[9], отделяющей Норик от Реции. Ни сам Феликс, ни противники его не стремились к сражению, и судьба флавианской партии решилась далеко от этих мест.

6. Антоний отбирал всадников, поспешно создавал конные отряды и набирал по когортам воинов для вторжения в Италию. Ему помогал Аррий Вар, известный как храбрый командир — особенно прославился он победами в Армении и службой под началом Корбулона. Говорили, впрочем, что именно он тайными наветами очернил доблестного Корбулона в глазах Нерона и в награду за подлость был назначен примипилярием; добытое бесчестным путем звание на первых порах доставило ему много радости, но вскоре и погубило его. После того как Прим и Вар заняли Аквилею, все окрестные города, и среди них Опитергий и Альтин[10], с радостью открыли им свои ворота. В Альтине решили оставить гарнизон для защиты края от возможных нападений Равеннского флота, ибо весть о его измене Вителлию в ту пору сюда еще не дошла. Патавий и Атесте[11] тоже вынуждены были перейти на сторону флавианцев. Здесь полководцы получили весть о

том, что три вителлианские когорты и конный отряд, известный под именем Себосианского, выстроили мост, открывший им доступ к Форуму Алиенуму[12], и заняли этот город. Флавианцы знали, что солдаты расположившихся там когорт не ожидают нападения, сочли момент подходящим и на заре бросились в атаку на ничего не подозревавшего противника. Нападавшим было приказано убить лишь немногих, остальных же заставить перейти на свою сторону. В самом деле, нашлись солдаты, которые тут же сдались флавианцам, большинство, однако, предпочло уничтожить мост и закрыть дорогу наступавшему противнику. Итак, война с самого начала пошла благоприятно для флавианцев.

7. Весть о победе разнеслась повсюду; седьмой Гальбанский легион и тринадцатый Сдвоенный, бодрые и ликующие, вступили во главе с легатом Ведием Аквилой в Патавий. Войскам дали несколько дней отдыха. Здесь же пришлось спасать от ярости солдат префекта лагерей седьмого легиона Муниция Юста; он обращался с легионерами более сурово, чем допустимо в условиях гражданской войны; Юста отправили к Веспасиану. Антоний приказал восстановить во всех городах изображения Гальбы, уничтоженные во время гражданских неурядиц. Этого все давно ожидали с нетерпением и радовались, ибо каждый на свой лад истолковывал причины приказа. Антоний же поступил так потому, что считал выгодным для своей партии, если люди станут говорить, что флавианцы высоко ценят принципат Гальбы и возрождают его дело.

8. Затем стали искать место, где удобнее всего дать бой. Выбор пал на Верону: поля вокруг города были удобны для маневров конницы, а она составляла главную силу наступающей армии, отнять же у Вителлия богатую колонию казалось делом, сулящим и выгоду, и славу. По пути к Вероне заняли Вицецию[13], небольшой муниципий со слабым гарнизóном, нежданно приобретший, однако, немалое значение; здесь, как говорили, родился Цецина, так что, захватив городок, повстанцы овладели родиной вражеского полководца. Подлинным торжеством явилось взятие Вероны, молва об этом событии и захваченные богатства принесли флавианцам большую пользу; кроме того, их войска, проникнув в долину между Рецией и Юлиевыми Альпами, закрыли германской

армии доступ через горные проходы. Веспасиан ничего не знал об этих действиях или был против них. Он велел войскам остановиться возле Аквилеи, ждать Муциана и приводил доводы в пользу этого плана. Пока мы владеем Египтом, держим в руках ключ от житницы империи[14] и доходы от богатейших провинций, говорил он, мы можем заставить вителлианцев сдаться, лишив их денег и продовольствия. О том же много раз писал Антонию Муциан. Утверждал, что можно добиться победы без крови и слез, приводил множество других подобных доводов. На самом же деле Муциан, снедаемый честолюбием, стремился только к тому, чтобы сохранить за собой всю славу. Письма, впрочем, шли так долго, что, когда попадали в руки Антония, дело оказывалось так или иначе уже сделанным.

9. Внезапным набегом Антоний проник за передовые заставы врага; после небольшой стычки — лишь для того, чтобы узнать, каковы силы, — противники разошлись, не добившись победы. Вскоре после этого Цецин отстроил хорошо укрепленный лагерь между Гостилией, поселением неподалеку от Вероны, и болотистым берегом реки Тартар[15], в безопасном месте, прикрытом с тыла рекой, а с боков болотом. Если бы он хотел выполнять свой долг, он легко мог разгромить соединенными силами вителлианцев оба легиона противника до того, как они соединились с мёзийской армией, и не оставить им иного выхода, кроме отступления из Италии, позора и бегства. Но Цецина всячески медлил и тем с самого начала помог врагу. Конечно, он мог изгнать флавианцев из Италии силой оружия, но только писал им грозные письма и медлил до тех пор, пока его посланные не договорились окончательно об условиях, на которых он соглашался предать Вителлия. Тем временем к флавианцам прибыл Апоний Сатурнин с седьмым Клавдиевым легионом. Командовал легионом трибун Випстан Мессала, человек знатного рода, выдающихся достоинств и единственный, кто участвовал в войне по искреннему убеждению[16]. Этой-то армии, которая располагала тремя легионами, но была пока все еще слабее вителлианской, Цецина послал письмо, где упрекал в том, что после понесенного поражения они вновь безрассудно ввязываются в войну. Он восхвалял доблесть германских легионов, Вителлия упоминал лишь между прочим и ничего не

сказал против Веспасиана — словом, не делал ни малейшей попытки запугать врагов или перетянуть их на свою сторону. В ответном письме полководцы не стали оправдывать прошлые неудачи флавианской армии. Они с восторгом писали о Веспасиане, выражали уверенность в правоте своего дела и в конечном его торжестве, заранее праздновали победу над Вителлием и объявляли его своим заклятым врагом. Флавианцы намекали, что перешедшим на их сторону трибунам и центурионам будут сохранены привилегии, пожалованные Вителлием, и без обиняков призывали Цецину к измене. Оба письма прочитали на сходке флавианцев и только укрепили солдат в том мнении, что Цецина не будет по-настоящему драться и потому старается ничем не задеть Веспасиана, а собственные их вожди презирают Вителлия и всячески его поносят.

10. Вскоре к восставшим прибыли еще два легиона — третий во главе с Диллием Апонианом и восьмой под командованием Нумизия Лупа[17]. Чтобы показать всем, какие несметные силы собрались под Вероной, решили соорудить укрепленный вал вокруг всего города. Солдатам Гальбанского легиона досталось работать ближе всего к неприятелю. Заметив вдали отряд союзнической конницы, они приняли его за противника, решили, что их предали, и в ужасе от опасности, которую сами выдумали, схватились за оружие. Ярость солдат обратилась против Тампия Флавиана. Никакой вины за ним не было, но легионеры давно уже злобились на Флавиана и в безрассудном гневе стали требовать его казни. Они кричали, что Флавиан — родственник Вителлия, что он предал Отона и захватил деньги, присланные для раздачи солдатам. Разорвав на себе одежды, содрогаясь от рыданий, Флавиан простирался на земле перед легионерами, с мольбой протягивал к ним руки, но никто не слушал его оправданий: солдаты решили, что раз он так испугался, значит, совесть его нечиста, и еще больше озлобились. Апоний пытался что-то сказать, но рев толпы заглушил его голос. Слова других командиров тоже тонули в общем крике и громе оружия. Солдаты согласились выслушать только Антония, он один владел нужным красноречием и умел ладить с чернью, один внушал настоящее уважение. Видя, что бунт разгорается и мятежники готовы перейти от крика и брани к драке и резне, Антоний приказал зако-

вать Флавиана в кандалы, но солдаты догадались, что их обманывают[18], и, охваченные жаждой крови, бросились к трибуналу, разогнав стражу. Тогда Антоний сорвал с пояса меч и, подставив грудь ударам, стал клясться, что, если его не зарубят, он покончит с собой сам. Он обращался к самым известным, отличившимся в боях легионерам, называл их по именам, требовал, чтобы они убили его. Повернувшись к боевым значкам с изображениями богов[19], Антоний молил вдохнуть бешенство и дух раздора, овладевшие его армией, в сердца неприятелей; наконец бунт начал гаснуть. День клонился к вечеру, солдаты разошлись по палаткам. Той же ночью Флавиан выехал из лагеря. По дороге он встретил гонцов, везших в армию письмо от Веспасиана. Письмо отвлекло внимание солдат и избавило Флавиана от опасности.

11. Будто чума охватила легионы: вслед за паннонской восстала на своего легата мёзийская армия. Здесь солдаты не были утомлены целым днем работы, — бунт вспыхнул около полудня; распространился слух, будто легат мёзийских легионов Апоний Сатурнин написал Вителлию. Когда-то воины состязались между собой в доблести и послушании, теперь они старались превзойти друг друга дерзостью, и Апония преследовали с тем же яростным упорством, с каким требовали казни Флавиана. Солдаты из Мёзии напоминали паннонским легионам, как поддержали их против Флавиана; паннонские же, видя, что другие тоже бунтуют и, значит, отвечать не им одним, устремились на поддержку мёзийцев и, готовые на новые преступления, вместе с ними ворвались в парк, окружавший виллу Сатурнина. Хотя Антоний, Апониан и Мессала сделали все, что могли, им не удалось бы спасти Сатурнина; но он спрятался в таком месте, где никому не могло прийти в голову его искать — в печи одной из бань, которую в ту пору случайно не затопили. Вскоре затем Сатурнин, бросив своих ликторов[20], бежал в Патавий. После отъезда консуляриев[21] Антоний оказался полновластным хозяином обеих армий — товарищи и без того уступали ему первое место, солдаты любили и уважали его одного. Были люди, считавшие, что Антоний сам подстроил оба бунта, чтобы только ему одному пришлось пожинать плоды победы.

12. В стане вителлианцев тоже царили распри, более опасные потому, что порождали их не нелепые подозрения черни,

а коварные интриги полководцев. Моряки Равеннского флота были в большинстве родом из Далмации и Паннонии, то есть из провинций, где управлял Веспасиан, и префект флота Луцилий Басс[22] без труда склонил их на сторону этого государя. Заговорщики наметили ночь для выступления и решили, никого ни о чем не предупреждая, сойтись в условленный час на центральной площади лагеря. Басс, то ли мучимый стыдом, то ли сомневаясь в исходе задуманного дела, остался дома, выжидая, чем оно кончится. Триерархи, крича и гремя оружием, набросились на изображения Вителлия и перебили тех немногих, кто пытался им помешать; остальные, движимые обычной жаждой перемен, сами перешли на сторону Веспасиана. Тогда-то и появился Луцилий и признался, что заговор устроил он. Моряки выбрали в префекты Корнелия Фуска, который, узнав об этом, спешно прибыл во флот. Басс в сопровождении почетного эскорта из либурнских кораблей направился в Атрию[23], но там префект конницы Вибенний Руфин, командовавший гарнизоном города, тотчас посадил его в тюрьму. Правда, его тут же и освободили, благодаря вмешательству вольноотпущенника Цезаря Горма — и он, как оказалось, был одним из руководителей восстания.

13. Узнав, что флот изменил Вителлию, Цецина дождался времени, когда большинство солдат было разослано на работы, и собрал на центральной площади лагеря нескольких легионеров и самых заслуженных центурионов, для того якобы, чтобы обсудить кое-какие дела, не подлежащие разглашению. Цецина заговорил о доблести Веспасиана и мощи его сторонников, о том, что флот перешел на его сторону, об угрозе голода, нависшей над вителлианской армией; рассказал, как обстоят дела в галльских и испанских провинциях — они готовы выступить против Вителлия, о настроениях в Риме, где вителлианцам тоже не на кого положиться; напомнил о слабостях и пороках Вителлия и начал поспешно приводить всех, кто был на площади, к присяге Веспасиану; те, кто знал все заранее, присягнули первыми, остальные, ошеломленные, последовали их примеру. Изображения Вителлия тут же сорвали с древков, к Антонию отправили гонцов с вестью о происшедшем. Весть об измене быстро распространилась, солдаты сбежались, увидели надписи с именем Веспасиана[24]

и валяющиеся на земле изображения Вителлия и остановились в молчании; но тотчас разразились яростными криками. «Так вот где суждено закатиться славе германской армии! Сдать оружие, позволить связать себе руки, без боя, без единой раны? И кому сдаваться — легионам, над которыми мы же сами одержали победу? Даже не первому, не четырнадцатому — единственным в отонианской армии, с которыми стоит считаться, хотя мы и их били, били на этих самых полях, где стоим сейчас. Неужто тысячи вооруженных солдат пригонят, словно стадо наемников, в подарок ссыльному преступнику Антонию? Неужто подарим мы ему восемь легионов в придачу к его одной-единственной эскадре? Это все Басс с Цециной... Мало им домов, садов, денег, которые наворовали у Вителлия, теперь хотят украсть у принцепса армию, а у армии принцепса. Мы не потеряли ни единого солдата, не пролили ни единой капли крови, даже флавианцы станут нас презирать; а что скажем мы тем, кто спросит нас об одержанных победах, о понесенных поражениях?»

14. Так кричали солдаты, кричала вся охваченная скорбью армия. Сначала пятый легион, а за ним и остальные снова прикрепили к своим знаменам изображения Вителлия. Цецину заковали в кандалы. Выбрали полководцами легата пятого легиона Фабия Фабулла и префекта лагеря Кассия Лонга. Легионеры набросились на случайно встреченных, ничего не понимавших и ни в чем не повинных солдат с трех либурнских кораблей и изрубили их в куски. Уничтожив мосты[25], армия выступила из лагеря на Гостилию, а оттуда — на Кремону, чтобы соединиться с первым Италийским и двадцать первым Стремительным легионами, которые Цецина еще раньше отправил с частью конницы вперед, занять город.

15. Услышав обо всем этом, Антоний решил напасть на вителлианцев теперь же, пока войска их охвачены брожением и разделены. Он опасался, что с течением времени полководцы противника вновь обретут свою власть, солдаты начнут подчиняться приказам и вражеская армия снова наберется сил. Антоний догадывался, что Фабий Валент уже выехал из Рима и, узнав об измене Цецины, постарается возможно скорее прибыть в армию, а Валент — опытный военачальник и предан Вителлию. Кроме того, Антоний знал, что через Ре-

цию на него могут ринуться значительные силы германцев, что Вителлий еще раньше вызвал вспомогательные войска из Британии, Галлии и Испании, и если сейчас не дать бой и не добиться победы, то война всей своей тяжестью обрушится на него. Антоний вывел всю армию из Вероны и после двух дней пути остановился возле Бедриака. На следующее утро дал легионам приказ заняться укреплением лагеря. Вспомогательные войска Антоний послал в окрестности Кремоны, будто бы за продовольствием — на самом деле он хотел дать солдатам пограбить и тем приохотить их к гражданской войне. Сам Антоний с четырьмя тысячами всадников выехал к восьмому мильному камню от Бедриака — заняться грабежом, не мешая другим. Как обычно, на большое расстояние вокруг он разослал патрули.

16. Шел пятый час дня[26], когда прискакал во весь опор верховой и сообщил Антонию, что противник приближается; на пути его — лишь несколько человек; со всех сторон слышен топот идущей армии и гром оружия. Пока Антоний держал совет, что надлежит делать, Аррий Вар, который нетерпеливо искал случая показать себя, врезался с лучшими своими конниками в строй вителлианцев, убил нескольких и заставил противника отступить. Но тут к вителлианцам подоспели новые силы, дело пошло по-иному, и те, что наступали первыми, оказались в хвосте отряда, обратившегося в бегство. Антоний предвидел, что из затеи Вара ничего не получится, и не спешил прийти ему на помощь. Он обратился к своим солдатам с краткой речью, призвал их мужественно встретить врага и велел рассыпаться по обеим сторонам дороги, чтобы оставить свободный проход конникам Вара. Легионам приказал приготовиться к бою, тем, кто был на соседних виллах, прекратить грабеж и присоединиться к ближайшему отряду. Тем временем конники Вара, которые в страхе неслись обратно, ворвались в ряды своих, сея смятение и ужас, сталкиваясь на узких тропах с еще не вступившими в бой товарищами.

17. В этом переполохе Антоний делал все, что подобает опытному полководцу и храброму солдату. Он бросается навстречу бегущим, удерживает колеблющихся; он — всюду, где нависает опасность, всюду, где брезжит надежда, на глазах своих и чужих разит врага, приказывает, подбадривает. Охва-

ченный воодушевлением, он пронзает копьем убегающего знаменосца, выхватывает у него вымпел и устремляется на врага. Видя это, около сотни всадников, устыдясь бегства, поворачивают коней. Сама природа помогла Антонию: дорога, все более сужаясь, уперлась наконец в реку, мост был разрушен, берега круты и глубина неизвестна. Бегущие остановились. То ли поняли, что другого выхода нет, то ли сама судьба помогла им, только мужество снова вернулось к ним. Они поставили лошадей вплотную одна к другой и ожидали противника. Мчавшиеся врассыпную вителлианцы налетели на сомкнутые ряды и откатились. Антоний бросился вслед, поражая мечом всякого, кто оказывал сопротивление. Солдаты пустились кто грабить, кто вязать пленных, кто захватывать оружие и коней — кому что больше по вкусу и по нраву. Услыхав радостные крики, беглецы, попрятавшиеся на соседних полях, вернулись и вмешались в ряды победителей.

18. Вдруг на дороге к Кремоне засверкали значки легионов — это Стремительный и Италийский, услышав о первых успехах своей конницы, двинулись вперед и дошли до четвертого камня от города. Однако, когда дело пошло иначе, не сумели ни перестроиться, ни расступиться, чтобы пропустить отступавших всадников, ни перейти в атаку, а уж тем более опрокинуть врага, хоть и был он ослаблен боем и долгим переходом[27]. Оба легиона выступили самовольно и, пока дела шли успешно, даже не вспоминали о своих полководцах, когда же нависла угроза поражения, солдаты пожалели, что нет с ними командиров. Строй дрогнул, в эту минуту на них обрушилась конница, а следом за ней трибун Випстан Мессала со вспомогательными отрядами из Мёзии, которые даже после спешного перехода мало чем уступали легионам. Соединившись, пехота и конница флавианцев прорвали строй легионов. Кремона была рядом, легионеры понимали, что за стенами ее нетрудно укрыться, и не очень старались отразить атаку врага. Антоний тоже не двигался дальше: в течение того дня, в конце концов все-таки принесшего флавианцам победу, боевое счастье столько раз их обманывало, что теперь они ослабели и устали.

19. На вечерней заре собрались все силы флавианской армии. Увидав горы трупов и следы только что разыгравшегося сражения, солдаты решили, что война кончена, и стали

требовать, чтобы их вели на Кремону — либо противник сдастся, либо они возьмут город штурмом. Все они повторяли эти красивые слова, про себя же каждый думал совсем другое: «Колония лежит на равнине, и захватить ее внезапным налетом нетрудно. Что днем, что ночью, храбрость нам потребуется та же, а грабить в темноте свободнее. Дождемся дня — пойдут мольбы и просьбы, разговоры о мире, и за все труды, за всю кровь достанутся нам только пустая слава да никчемное звание великодушных воинов, а богатства Кремоны прикарманят префекты да легаты. Каждый знает: если город взят, добыча принадлежит солдатам, если же сдался — командирам». Солдаты не давали центурионам и трибунам говорить, заглушали их слова звоном оружия, потрясали мечами и копьями, угрожая поднять бунт, если их не поведут на Кремону.

20. Тогда Антоний вошел в гущу толпы. Вид его и почтительный страх, который он всегда вызывал, заставил солдат стихнуть. «Я не хочу лишать вас ни почестей, ни добычи, столь вами заслуженных, — начал он. — Но у нас разные обязанности: дело воина — стремиться в бой, дело командира — не торопиться, служить армии не пылкостью, а зоркостью и зрелым разумом. Как простой солдат, с оружием в руках внес я свой вклад в сегодняшнюю нашу победу; теперь я должен послужить ей, как подобает полководцу — умом и знаниями. Сейчас ночь, расположение города нам неизвестно, враг укрыт стенами, на каждом шагу нас подстерегают ловушки — не ясно ли, что ждет нас, если двинемся сейчас на Кремону? Даже белым днем, даже если бы ворота Кремоны стояли распахнутые, и тогда не следовало бы входить в город, не разузнав все заранее. Можно ли идти на штурм, когда не знаем, что там за местность, сколь высоки стены, достаточно ли одних баллист и стрел или придется строить навесы и осадные машины?» Антоний обращался то к одному, то к другому солдату, спрашивал, взяли ли они топоры, захватили ли лопаты и прочие орудия для осадных работ; услышав отрицательные ответы, он продолжал: «Вы что же, собираетесь подкапывать стены мечами, а долбить дротами? А если надо будет насыпать валы, плести щиты и фашины, чтобы скрыться? Если все не предусмотрим, так и будем стоять толпой под стенами вражеского города да глазеть бессмысленно

на башни и укрепления. Не лучше разве переждать одну ночь, да зато явиться с машинами, с осадными орудиями, уверенными в своих силах и в победе?» Он тут же послал обозных слуг и тех конников, что меньше других были утомлены дневным сражением, в Бедриак за продовольствием и необходимым снаряжением.

21. Солдаты, однако, не хотели терпеть и ждать, в армии чуть было не вспыхнул бунт, но всадники, выехавшие под стены города, захватили оказавшихся там случайно жителей Кремоны. Жители рассказали, что шесть вителлианских легионов и остальные войска, стоявшие в Гостилии, совершили за один день переход в тридцать миль; они только что узнали о понесенном вителлианцами поражении, готовятся к бою и вот-вот должны появиться. Грозная весть убедила солдат, и они послушались своего полководца. Антоний приказал тринадцатому легиону остаться на насыпи Постумиевой дороги, слева, вплотную к ней, в открытом поле, расположил седьмой Гальбанский и еще левее, используя как прикрытие проходившую здесь канаву, — седьмой Клавдиев. Справа от дороги, с незащищенной стороны, встал восьмой легион, за ним в рощице — третий. Но в таком порядке располагались только орлы легионов и значки когорт; солдаты же в темноте не могли найти свои легионы и становились в ряды той части, которая оказывалась ближе. Отряд преторианцев встал возле третьего легиона, вспомогательные когорты — на флангах, конница прикрывала войска с боков и с тыла; проносились перед строем отборные воины свебского ополчения во главе со своими вождями — Сидоном и Италиком.

22. Вместо того чтобы, как то подсказывал здравый смысл, переночевать в Кремоне, восстановить силы сном и едой, а наутро разгромить голодного и промерзшего противника, вителлианская армия без командующего[28], без всякого плана, в третьем часу ночи обрушилась на флавианцев, которые в боевом строю ожидали атаки. В темноте встревоженные и злые солдаты сбили строй, и я не берусь описать, в каком порядке располагались части вителлианской армии. Некоторые, правда, рассказывают, будто на правом фланге, от них глядя, находился четвертый Македонский легион, в центре — пятый и пятнадцатый с приданными им отдельными отрядами британских легионов — девятого, второго и

двадцатого, на левом фланге — шестнадцатый, двадцать второй и первый. Солдаты Стремительного и Италийского разбрелись по чужим манипулам, конные отряды и вспомогательные когорты встали, куда заблагорассудилось. Всю ночь кипел жестокий бой, всю ночь то одной, то другой армии грозила гибель, то в ту, то в другую сторону клонилось коварное, переменчивое военное счастье. Ни доблестный дух, ни могучая рука, ни острый глаз, ясно видевший приближающуюся опасность, — ничто не спасало от неминучей смерти: солдаты — и свои, и враги — вооружены одинаково, пароль обеих армий известен каждому, столько раз приходилось его спрашивать и кричать в ответ; вымпелы, которые противники без конца отбивали друг у друга, перемешались. Хуже всех пришлось недавно созданному Гальбой седьмому легиону. Убито было шестеро первых центурионов, захвачены значки нескольких когорт, даже орел легиона едва не попал в руки врага. Его спас центурион первой пилы Атилий Вер[30] — он нагромоздил вокруг себя груду вражеских трупов и в конце концов погиб.

23. Чтобы поддержать колеблющийся строй своих легионов, Антоний вызвал преторианцев. Они отвлекли на себя основные силы противника, а потом обратили его в бегство, но вскоре сами были отброшены. Вителлианцы поставили на дорожной насыпи все свои метательные орудия и теперь в упор расстреливали врагов; прежде орудия их стояли в разных местах и стреляли по зарослям, а там противника не было. Невиданных размеров баллиста пятнадцатого легиона извергала огромные камни и прорвала брешь в рядах противников. Баллиста погубила бы еще больше народу, если бы не славный подвиг двух отважных солдат: подобрав щиты убитых вителлианцев, они подкрались, неузнанные, к самой баллисте и перерубили скрученные тяжи и канаты[31]. Оба были тут же убиты, и имена их до нас не дошли, но никто не отрицает, что они это сделали. Наступила ночь, взошла луна, озарив обманчивым светом ряды сражающихся, а исход битвы все еще не был ясен. К счастью для флавианцев, луна вставала у них за спиной, от коней и воинов ложились длинные тени, и в эти-то тени, принимая их за людей, враги метали дроты и стрелы. Вителлианцам же луна светила в лицо, и они хорошо были видны противнику, поражавшему их из темноты.

24. В лунном свете Антоний увидел свои легионы и легионы увидели его. Он обратился к войскам — порицал и стыдил одних, ободрял других, внушал надежду и раздавал обещания всем. Солдат паннонской армии спрашивал он, зачем взялись они за оружие, напоминал, что только здесь, на этих полях могут они смыть с себя позор[32] и вернуть былую славу.

«Вы зачинщики войны, — говорил он мёзийским войскам. — Зачем угрожали вы вителлианцам, оскорбляли их, вызывали на бой, а теперь не только не в силах выдержать их натиск, но дрожите при одном взгляде на них?» Так обращался Антоний к каждому легиону. Дольше всех говорил он с солдатами третьего — о подвигах былых времен, о недавних победах, напоминал, как под водительством Марка Антония[33] разгромили они парфян, как вместе с Корбулоном нанесли поражение армянам, как только что разбили сарматов. Суровой и грозной была его речь к преторианцам: «Упу́стите победу сейчас, никогда больше не видать вам Рима. Какой император возьмет вас на службу? Какой лагерь откроет свои ворота? Вот ваши знамена, вот ваше оружие. Потеряете их — и одна только смерть останется вам, ибо позор вы уже испили до дна». В эту минуту поле загремело от крика: солдаты третьего легиона по обычаю, усвоенному в Сирии, приветствовали восходящее солнце.

25. Многие, однако, решили, что то прибыли войска Муциана и приветственные клики относились к ним; а может быть, сам Антоний нарочно распустил такой слух. Солдаты ринулись в бой, будто и в самом деле получили подкрепление. Вителлианцы к тому времени уже понесли тяжелые потери: командующего у них не было, каждый действовал на свой лад — мужественные теснее сплачивали ряды, трусы разбегались. Почувствовав, что вителлианцы дрогнули, Антоний двинул на них сомкнутый строй своих когорт. Ряды вителлианцев были прорваны, не в силах восстановить их, они метались среди повозок и машин. Увлеченные преследованием победители устремились вперед по обочинам дороги. Началась резня, до сих пор памятна она многим, один из воинов погиб в ней от руки собственного сына. Я передаю, как все было и имена отца и сына так, как писал об этом Випстан Мессала. Юлий Мансуэт, родом из Испании, был призван и проходил службу в рядах Стремительного.

Дома оставил он малолетнего сына; сын вырос, Гальба мобилизовал его в им созданный седьмой легион; теперь сын столкнулся с отцом на поле боя и смертельно его ранил; обшаривая распростертого на земле врага, сын узнал отца, и отец узнал сына. Обняв умирающего, жалобно стал сын молить отцовских манов не считать его отцеубийцей, не отворачиваться от него. «Все, а не я, повинны в этом злодеянии, — взывал он. — Что может сделать один солдат, ничтожная частица бушующей повсеместно гражданской войны?» Он тотчас выкопал могилу, на руках перенес тело и воздал отцу последние почести. Это привлекло внимание сначала тех, кто находился поблизости, потом остальных. Вскоре по всей армии только и слышались возгласы удивления и ужаса, все проклинали безжалостную войну, и все-таки каждый с прежним остервенением убивал и грабил близких, родных и братьев, твердил, что это преступление, и снова совершал его.

26. Под Кремоной наступающих ждали новые, едва одолимые препятствия. Еще во время отонианской войны[34] солдаты германской армии окружили стены города своими лагерями, обнесли валами, а на валах возвели еще дополнительные укрепления. Увидев такие оборонительные сооружения, воины-победители заколебались, командиры не знали, что приказывать. Начинать осаду было едва ли по силам войску, утомленному дневным переходом и ночным боем, да и не приходилось надеяться на успех, ибо помощи ждать было здесь неоткуда; возвращаться в Бедриак значило не только обречь армию на мучительный долгий переход, но и оставить нерешенным исход сражения; сооружать лагерь так близко от вителлианцев — рискованно: враги могли внезапно напасть на рассеянных по равнине и занятых работой легионеров. Больше всего, однако, тревожило командиров настроение солдат: они готовы были на любые опасности, но не допускали мысли о промедлении, всякая мера предосторожности приводила их в негодование, а безрассудная дерзость сулила надежду; алчность, страсть к добыче заставляли забывать о крови, ранах, смерти.

27. Антоний не стал спорить с солдатами и приказал охватить полукругом валы лагеря. Сначала бой шел на расстоянии, армии осыпали одна другую камнями и стрелами, к ве-

ликому урону для флавианцев, так как они стояли внизу под валами и потому были отличной мишенью. Тогда Антоний распределил участки вала и ворота лагеря между отдельными легионами; он рассчитывал, что соперничество заставит солдат сражаться еще лучше, а ему будет виднее, кто дерется храбро, а кто трусит. Третий и седьмой легионы взяли на себя ту часть вала, что примыкала к бедриакской дороге, восьмой и седьмой Клавдиев встали правее, тринадцатый устремился к Бриксийским воротам[35]. Наступило короткое затишье: солдаты свозили с соседних полей мотыги и заступы, тащили лестницы и длинные шесты с укрепленными на концах железными крючьями. Но вот воины выстроились тесными рядами вплотную друг к другу, взметнулись над головами щиты, и черепаха[36] двинулась к валу. Однако обе стороны владели римским искусством ведения боя: вителлианцы обрушили на наступавших огромные камни, панцирь черепахи закачался, изогнулся, треснул, вителлианцы стали вонзать в щели дроты и копья; крыша из щитов распалась, и груды растерзанных трупов покрыли землю. И снова наступило затишье. Ни приказы, ни подбадриванья не действовали больше на обессиленных солдат. Тогда полководцы указали солдатам на Кремону и пообещали отдать им город на разграбление.

28. Прав ли Мессала, утверждающий, будто план этот придумал Горм[37], или следует больше полагаться на слова Гая Плиния, который обвиняет во всем Антония, — решить нелегко; и Горм, и Антоний давно забыли, что такое добропорядочность и честь, оба готовы были на самые страшные преступления. Ни кровь, ни раны не могли больше удержать солдат. Они подкапывают валы, таранят ворота, снова строят черепаху и по щитам, образующим ее панцирь, по спинам товарищей устремляются на вителлианцев, вырывают у них оружие, хватают за руки. Живые и умирающие, раненые и полумертвые смешались в одну кучу. Многоликая смерть обращает к гибнущим то одно, то другое свое лицо.

29. Главную тяжесть боя, соревнуясь в храбрости, приняли на себя третий и седьмой легионы. Антоний со вспомогательными войсками бросился им на помощь. Вителлианцы не выдержали столь упорного натиска: видя, что дроты их отскакивают от панциря черепахи, они обрушили на напада-

ющих баллисту. Машина раздавила множество солдат и на мгновение расстроила ряды, но, падая, увлекла за собой верхнюю площадку вала и зубцы, ее прикрывавшие. Под градом камней обвалилась соседняя башня. Сюда устремились, построившись клиньями, солдаты седьмого легиона. В это же время третий легион топорами и мечами разбил ворота. Первым ворвался в лагерь, как утверждают в один голос все авторы, солдат третьего легиона Гай Волузий. Разбросав тех, кто еще сопротивлялся, он взбежал на вал и, ставши там на виду у всех, объявил, что лагерь взят. За Волузием бросились остальные, вителлианцы в страхе скатывались с вала. На всем пространстве между лагерем и стенами Кремоны шла кровавая резня.

30. И снова сражение изменило свой облик. Перед наступающими выросли высокие стены города, каменные башни, ворота, запертые окованными железом брусьями. На стенах стояли солдаты и потрясали дротами. Многочисленные жители Кремоны все были преданы вителлианцам; к тому же в те дни в городе была ярмарка и народ съехался почти со всей Италии; защитники города рассчитывали на помощь приезжих; нападающие видели в них свою добычу и еще яростнее рвались к грабежу. Антоний приказал захватить и поджечь лучшие здания вне города — он надеялся, что, опасаясь за свое имущество, кремонцы перейдут на его сторону. На крышах домов, что стояли поблизости от городских стен и возвышались над ними, он разместил во множестве лучших своих солдат. Они бросали в вителлианцев бревна, черепицу, горящие факелы, стремясь прогнать защитников Кремоны со стен.

31. Легионы строили черепаху, солдаты вспомогательных войск метали дроты и камни. Мужество вителлианцев мало-помалу начало слабеть. Первыми уступили воле судьбы командиры: они понимали, что после взятия города у них не останется надежды на прощение и вся ярость победителей обратится не на бедняков солдат, а на трибунов и центурионов, у которых есть чем поживиться. Рядовой о будущем не заботится и как человек подневольный мало чем рискует — оттого рядовые и стояли твердо. Однако и они вскоре разбрелись по улицам Кремоны, отсиживались в домах обывателей; мира они не просили, но воевать, по сути дела, перестали.

Префекты лагерей попрятали изображения Вителлия и старались не упоминать его имени. Цецину до сей поры держали в кандалах, теперь с него сняли оковы, и командиры принялись просить его заступиться за них перед флавианцами. Цецина отказывался, чванился, они стали плакать, умолять. Что может быть отвратительнее такого зрелища — толпа доблестных воинов молит предателя о защите? Вскоре на стенах показались обвитые лентами масличные ветви, замелькали священные головные повязки. Антоний приказал опустить дроты; из города вынесли орлов легионов и значки когорт; следом, глядя в землю, шли удрученные безоружные солдаты. Победители окружили их, стали осыпать проклятиями, угрозами, собирались бить. Побежденные, забыв былую заносчивость, молча, покорно выслушивали оскорбления. Видя это, флавианцы вспоминали, что перед ними те самые люди, которые совсем недавно одержали победу у Бедриака и были столь умеренны и снисходительны. Но тотчас вновь воспылали гневом: в воротах города показался Цецина со знаками консульского достоинства — в претексте[38], окруженный ликторами[39], разгонявшими толпу. Обвинения в гордыне, коварстве и даже в жестокости — столь лютую ненависть вызывают преступники — полетели со всех сторон. Антоний приказал солдатам молчать и под конвоем отправил Цецину к Веспасиану.

32. Между тем жители Кремоны в ужасе метались по улицам, наводненным вооруженными воинами. Резня чуть было не началась, но командирам удалось уговорить солдат сжалиться. Антоний собрал сходку и обратился к войскам с речью; воздал хвалу победителям, милостиво говорил о побежденных и ничего определенного не сказал о жителях города. Солдаты, однако, не только, как обычно, жаждали грабежа — легионеры издавна ненавидели жителей Кремоны и теперь рвались перебить их всех. Считалось, что еще во время отонианской войны кремонцы поддерживали Вителлия; тринадцатый легион, оставленный в свое время в городе для сооружения амфитеатра[40], не забыл, как насмехалась и оскорбляла солдат наглая городская чернь; к тому же здесь, в Кремоне, Цецина устраивал свои гладиаторские бои, и это тоже вызывало негодование флавианцев[41]; они приходили в ярость, вспоминая, что именно тут дважды происходили кровопро-

литные сражения, и жители выносили пищу воинам-вителлианцам; даже женщины кремонские принимали участие в битве — так велика была их преданность Вителлию. Вдобавок в городе была ярмарка и благодаря ей Кремона, и без того не бедная, выглядела сказочно богатой. Позже за все, что случилось, люди винили одного Антония, остальные полководцы ухитрились остаться в тени. Сразу же после боя Антоний поспешил в баню, смыть с себя пятна и брызги крови, вода оказалась недостаточно теплой, он рассердился, один из домашних рабов крикнул: «Сейчас подадим огня!» Слова эти приписали Антонию, истолковали так, будто он приказал поджечь Кремону, и общая ненависть обратилась на него; на самом деле колония уже пылала, когда Антоний был в бане.

33. Сорок тысяч вооруженных солдат вломились в город, за ними — обозные рабы и маркитанты, еще более распущенные. Ни положение, ни возраст не могли оградить от насилия, спасти от смерти. Седых старцев, пожилых женщин, у которых нечего было отнять, волокли на потеху солдатне. Взрослых девушек и красивых юношей отнимали друг у друга солдаты, за них дрались и убивали. Одни тащили деньги и сокровища храмов, другие, посильнее, нападали на них и отнимали добычу. Некоторые не довольствовались богатствами, бывшими у всех на виду, — рыли в поисках спрятанных кладов землю, избивали и пытали людей. В руках легионеров пылали факелы и, кончив грабеж, их кидали потехи ради в пустые дома и разоренные храмы. Не было недозволенного для многоязыкой многоплеменной армии, где перемешались граждане, союзники и чужеземцы[42], у каждого были свои желания и своя вера. Грабеж продолжался четыре дня. Когда все имущество людей и достояние богов сгорело дотла, перед стенами города высился один лишь храм Мефитис[43], уцелевший благодаря своему местоположению или заступничеству богини.

34. Так на двести восемьдесят шестом году своего существования погибла Кремона. В те времена, когда в Италию вторгся Ганнибал, при консулах Тиберии Семпронии и Публии Корнелии, Кремону основали как передовую крепость против транспаданских галлов и других народов, которые могли нахлынуть из-за Альп[44]. Позже благодаря притоку колонистов, удачному расположению на водных путях, плодо-

родию почвы, мирным отношениям и родственным связям с окружающими племенами город окреп и расцвел. Внешние войны его не коснулись, гражданские же принесли горести и беды[45]. Антоний, стыдясь преступлений, которым потворствовал, чувствуя, что ненависть к нему все растет, издал приказ, запрещающий кому бы то ни было держать в неволе жителей Кремоны. Пленные эти оказались для солдат невыгодной добычей — вся Италия единодушно с отвращением отказывалась покупать рабов, захваченных в Кремоне. Тогда солдаты стали их убивать; прослышав об этом, родные и друзья начали тайком выкупать своих близких. Вскоре потянулись на старые места уцелевшие жители, вновь зашумели рынки, отстраивались разрушенные храмы. Щедрую помощь оказывали Кремоне соседние муниципии, и Веспасиан тоже поощрял жителей восстанавливать город.

35. Пока что, однако, вокруг победителей расстилалась дышащая миазмами земля, и долго оставаться в погребенном под развалинами городе было невозможно. Встав лагерем возле третьего камня от Кремоны, солдаты ловили разбредшихся перепуганных вителлианцев и возвращали каждого в его когорту. Гражданская война продолжалась, и эти разбитые легионы могли вновь стать опасными, поэтому их разбросали по всему Иллирику. Флавианцы решили, что не одни гонцы, но и молва донесет весть о победе до испанских провинций, а затем и до Британии; в Галлию был послан трибун Юлий Кален, в Германию — префект когорты Альпиний Монтан. Вестников выбирали с расчетом напугать жителей провинций: Кален был эдуй, Монтан — тревир, и оба в прошлом — вителлианцы. В альпийских проходах расставили сторожевые заставы, дабы из Германии не могла прийти помощь Вителлию.

36. Между тем Вителлий через несколько дней после отъезда Цецины сумел выпроводить из Рима на войну и Фабия Валента, и теперь, стараясь забыть все свои беды, предавался роскоши и развлечениям. Он даже не помышлял запасти оружие, закалить армию для будущих битв, обратиться к солдатам с речью, показаться народу. Укрывшись в тени своих садов, подобный бессмысленным животным, что, едва насытясь, погружаются в оцепенение, Вителлий не заботился ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Вялый, не-

подвижный, сидел он в Арицийской роще[46], когда настигла его весть о предательстве Луцилия Басса и измене Равеннского флота. Через некоторое время доложили о Цецине[47]. Это известие и огорчило и обрадовало Вителлия: удручало, что Цецина ему изменил, но рассказ о том, что солдаты заковали Цецину в кандалы, доставил ему удовольствие. Ничтожная душа его прислушивалась лишь к приятному и избегала забот. С великим ликованием Вителлий возвратился в Рим и на многолюдном собрании граждан воздал солдатам хвалу за верность, приказал заточить в тюрьму префекта претория Публия Сабина[48], который был дружен с Цециной, и назначил на его место Алфена Вара[49].

37. Некоторое время спустя Вителлий выступил в сенате с тщательно составленной пышной речью, и сенаторы наперебой выражали ему самую льстивую преданность. На Цецину обрушились все, первым — Луций Вителлий[50], за ним остальные. Они старательно разыгрывали возмущение, клеймили консула, предавшего республику, полководца, изменившего своему императору, предателя, обманувшего друга, который осыпал его богатствами и почестями. Каждый сетовал на обиды, нанесенные Вителлию, но в глубине души думал только о себе. Никто не сказал ничего дурного о Веспасиане, говорили о заблуждении, в которое впали солдаты, об их неосмотрительности, и тщательно избегали упоминать имя, что было у всех на уме. Срок консульства Цецины истекал через день; нашелся человек, упросивший Вителлия разрешить ему занять эту должность на оставшиеся сутки; просьба была уважена, что вызвало множество насмешек и над тем, кто оказал подобное благодеяние, и над тем, кто его принял. В течение одного дня — накануне ноябрьских календ — Росий Регул и принял консульские полномочия, и сложил их с себя[51]. Впервые, как говорили сведущие люди, новый магистрат был назначен без предварительного законного решения о снятии обязанностей с того, кто прежде занимал эту должность. Консулы одного дня бывали и раньше. Так, во время диктатуры Гая Цезаря, когда торопились вознаградить за участие в гражданской войне, на один день стал консулом Каниний Ребил[52].

38. В эти же дни умер Юний Блез[53], смерть его привлекла всеобщее внимание и вызвала много разговоров. Вот что мне

удалось узнать. Вителлий тяжело заболел; он ночевал в Сервилиевых садах[54] и вдруг заметил, что один из расположенных поблизости дворцов ярко освещен. Вителлий послал узнать, в чем дело; доложили, что Цецина Туск[55] устроил многолюдное пиршество в честь Юния Блеза и со всяческими преувеличениями описали пышность пира и распущенность, якобы там царящую. Нашлись люди, вменившие в преступление Туску, его гостям и в первую очередь Блезу, что они веселятся, когда принцепс болен. Придворные всегда только и ждут, на кого бы натравить императора; видя, что разговоры их действуют на Вителлия, так что можно погубить Блеза, они уговорили Луция Вителлия выступить обвинителем. Запятнанный всеми пороками, Луций издавна завидовал добропорядочности Блеза и ненавидел его. Луций Вителлий явился к принцепсу, бросился на колени, а после принялся горячо обнимать и прижимать к груди сына Вителлия. Вителлий спросил, что случилось; Луций отвечал, что боится не за себя, что пришел слезно умолять брата, чтобы тот спас лишь свою жизнь и оградил от опасности детей. «Не Веспасиана надо бояться, — говорил он, — между ним и нами германские легионы, верные долгу провинции, бескрайние моря и земли. Другого врага следует нам опасаться — того, кто здесь, в Риме, у нас на глазах, хвастается предками Юниями и Антониями[56], кичится происхождением из императорского рода и выставляет напоказ пред солдатами свою доброту и щедрость. Он привлек к себе все сердца и бражничает, спокойно взирая на муки и страдания принцепса. Не разобрав, где враг и где друг, ты пригрел на груди соперника. Ты должен покарать этого человека за неуместное веселье, пусть эта ночь станет для него ночью ужаса и скорби. Пусть знает, что Вителлий жив, что он правит, и у него есть сын, который в случае роковой необходимости заменит отца».

39. Вителлий трепетал от страха, но на преступление решиться не мог. Он боялся, что, сохранив Блезу жизнь, подвергает себя смертельной опасности, но знал, что, приказав убить его, вызовет к себе всеобщую лютую ненависть. И счел за лучшее отравить Блеза. При виде мертвого тела Блеза он не сумел скрыть радость, и все еще раз увидели, кто повинен в злодеянии. Передавали сказанные Вителлием мерзкие слова (я привожу их совершенно точно): видом мертвого врага он

насыщает взор свой. Блез был человек не только знатный и отличался изысканностью нравов, но и на редкость верный долгу. Вителлию еще ничто не угрожало, а Цецина и другие главари вителлианской партии уже разочаровались в нем и стали всячески обхаживать Блеза. Однако Блез упорно отвергал их домогательства. Он был чист душой, чужд интриг и не стремился ни к незаслуженным почестям, ни к принцепской власти, которой его почти что сочли достойным.

40. Между тем Фабий Валент во главе целой армии изнеженных наложниц и евнухов продвигался вперед далеко не так поспешно, как подобает идти на войну. Когда быстрые гонцы принесли весть, что Луцилий Басс изменил и передал Равеннский флот Веспасиану, Валент еще мог поспешить, опередить колебавшегося Цецину или присоединиться к легионам до того, как над ними нависла опасность разгрома. Некоторые приближенные советовали ему свернуть с главной дороги и с верными людьми окольными тропами, в обход Равенны, поспешить к Гостилии или Кремоне; другие говорили, что надо вызвать из Рима преторианские когорты, собрать достаточно войска и идти на врага. Валент медлил и, вместо того чтобы действовать, терял время в бесполезных разговорах. В конце концов он отверг оба плана и, так как не отличался ни настоящей смелостью, ни мудрой предусмотрительностью, выбрал самое худшее, что можно выбрать в беде, — среднюю линию.

41. Валент написал Вителлию, попросил подкреплений. Ему прислали три когорты и британскую конницу — слишком много для обмана врага, для открытого прорыва — слишком мало. Валент и в эти трудные дни не желал отказываться от своих подлых привычек: ходили слухи об извращенных наслаждениях, которым он предается, о прелюбодеяниях и преступлениях, которые творит в домах, где останавливается. Силы и деньги у него еще оставались, он видел, что звезда его закатывается, и стремился натешиться напоследок. Как только прибыли вызванные из Рима пехота и конница, стала видна вся нелепость замысла Валента: с такими силами нечего было и думать выступать против врага, даже если бы прибывшие солдаты горой стояли за Вителлия, а они подобной преданностью не отличались. Поначалу стыд и почтение, которое обычно внушает присутствие командующего, удер-

живали солдат. Однако такие чувства ненадолго сдерживают людей, которые опасности страшатся, а позора нет. Валент хорошо понимал это; он отправил когорты к Аримину[57], коннице поручил оборону тыла, а сам с немногими солдатами, сохранившими ему верность, свернул в Умбрию, а оттуда в Этрурию; там застала его весть об исходе битвы под Кремоной. Тогда-то и возник у Валента новый замысел, дерзкий и в случае удачи грозивший страшными бедами: добраться морем до Нарбонской провинции и оттуда поднять Галлию, римские армии и германские племена на новую войну.

42. После отъезда Валента когорты, оставленные в Аримине, совсем пали духом. Корнелий Фуск придвинул к ним свои войска, быстроходным судам приказал плавать вдоль берегов, так что запер вителлианцев и с суши, и с моря. Теперь долины Умбрии и омываемая Адриатическим морем часть Пицена[58] оказались заняты. Единственной преградой между Италией Веспасиана и Италией Вителлия остался Апеннинский хребет. Валент тем временем вышел на кораблях из Пизанского залива, но штиль или встречные ветры заставили его пристать в порту Геркулеса Монойкийского[59], неподалеку от которого действовал прокуратор Приморских Альп Марий Матур[60], еще сохранявший верность Вителлию, хотя все вокруг уже перешли на сторону его врагов. Марий Матур принял Валента хорошо и отговорил от безрассудной поездки в Нарбонскую Галлию. Доводы Матура ужаснули Валента, а вскоре и солдат его страх заставил забыть о долге и присяге.

43. Расположенные поблизости города перешли на сторону Веспасиана. Принудил их к этому прокуратор[61] Валерий Паулин, опытный военачальник, связанный с Веспасианом узами старинной дружбы, что зародилась еще до того, как судьба вознесла будущего принцепса. Паулин собрал людей, уволенных Вителлием из армии и жаждавших принять участие в войне, и занял колонию Форум Юлия[62] — врата моря. Все слушались Паулина, тем более что сам он был родом из этой колонии; преторианцы поддерживали его, потому что он некогда был у них трибуном; даже крестьяне окрестных деревень помогали Паулину, ибо стремились поладить с городскими властями и надеялись, что Паулин поддержит их в будущем. Слух о его победах, и без того значительных, да еще

приукрашенных молвой, распространился среди струсивших, потерявших уверенность вителлианцев; Фабий Валент поспешил вернуться на свои корабли. За ним последовали четверо ординарцев, трое друзей и три центуриона; Матур и остальные решили остаться и присягнуть Веспасиану. Валент хорошо понимал, откуда грозит ему опасность, гораздо хуже он представлял себе, на кого можно опереться; будущее виделось смутным, и в море казалось безопаснее, чем на берегу или в городах. Непогодой корабли Валента отнесло к Стойхадам — острова эти были под властью города Массилии[63]. Здесь Валента и схватили моряки быстроходных либурнских кораблей, которые Паулин еще раньше выслал к Стойхадам.

44. После ареста Валента дела Веспасиана всюду пошли на лад. К нему присоединились сначала Испания, где первый Вспомогательный легион, верный памяти Отона и потому враждебный Вителлию, увлек за собой десятый и шестой, затем галльские провинции и, наконец, Британия. Солдаты стоявшего здесь второго легиона любили Веспасиана, он при Клавдии командовал ими и отличился в боях. Они уговорили и остальных, правда, не без борьбы и споров: большинство центурионов и солдат получили от Вителлия повышения по службе и не хотели изменить принцепсу, на деле доказавшему свою благосклонность.

45. Все эти распри и непрерывно доходившие слухи о междоусобиях в Риме вдохнули новые силы в сердца британцев. Больше всех подстрекал их к восстанию Венуций[64], человек неукротимый, лютый враг римлян, к тому же у него были свои причины ненавидеть царицу Картимандую. Эта царица, из старого знатного рода, правила племенем бригантов. Могущество ее сильно возросло после того, как она обманом захватила царя Каратака и как бы своими руками устроила триумф Клавдию Цезарю[65]. С богатством и удачей пришли, как всегда, роскошь и разврат. Картимандуя отвергла мужа своего Венуция и разделила ложе и власть с его оруженосцем Веллокатом. Преступление царицы вызвало бурю: на сторону Венуция встало все государство, на сторону Веллоката — ослепленная страстью царица, готовая на любую жестокость. Венуций сумел собрать силы, бриганты изменили Картимандуе, и, дойдя до последней крайности, она попросила помощи у римлян. После нескольких сражений, где побеждали то

одни, то другие, римские когорты и конные отряды спасли царицу от нависшей опасности. Победа осталась за нами, царство — за Венуцием.

46. В те же дни вспыхнули волнения в Германии. Здесь римляне едва не лишились господства из-за слабости полководцев, коварства союзных племен и мощи варваров. О причинах и ходе этой долгой войны я вскоре расскажу особо.

Возмущение охватило также и племя даков[66]; они никогда не были по-настоящему верны Риму, а после ухода войск из Мёзии возомнили, что теперь им и вовсе нечего бояться. Поначалу они были спокойны и только наблюдали за происходящим, когда же война запылала по всей Италии и армии одна за другой вступили в борьбу, даки захватили зимние лагеря пеших когорт и конных отрядов, оба берега Дуная и собрались было напасть на лагеря легионов; но Муциан, получив весть о победе под Кремоной, понял, что, если даки и германцы с разных сторон вторгнутся в пределы империи, ему придется схватиться с противником вдвое более грозным, и двинул на даков шестой легион. Опять, как и много раз прежде, судьба позаботилась о римском народе: Муциан с восточными армиями вовремя оказался на месте, а Кремону мы тем временем окончательно закрепили за собой. Во главе Мёзии поставлен был Фонтей Агриппа[67], переведенный из Азии, где год был проконсулом. В помощь ему дали армию, набранную из бывших вителлианцев, — всего разумнее было, чтобы сохранить мир, разослать их по разным провинциям и занять войной с противником, угрожавшим Риму извне.

47. Неспокойны были и другие племена. В Понте[68] неожиданно взялся за оружие варвар из рабов, некогда командовавший царским флотом, — вольноотпущенник Полемона Аникет. Прежде он пользовался большой властью в той стране; когда же она сделалась римской провинцией, он стал с нетерпением ожидать переворота. Именем Вителлия Аникет привлек на свою сторону пограничные с Понтом племена, пообещал самым бедным разрешить пограбить, и во главе большого войска внезапно ворвался в Трапезунд, славный древний город в самой отдаленной части Понтийского побережья[69]. Стоявшая здесь когорта, в прошлом царский гарнизон, была перебита: хотя этим солдатам недавно дали римс-

кое гражданство, значки и оружие, принятые в нашей армии, они все равно остались прежними — ленивыми, распущенными греками. Аникет забросал горящими факелами и сжег римские суда; он стал полновластным хозяином на море, так как лучшие либурнские галеры и всех солдат Муциан еще прежде увел отсюда в Бизантий. Удивительно быстро варвары понастроили кораблей и безнаказанно бороздили море. Корабли их называются камары[70], борта их расположены близко один к другому, а ниже бортов корпус расширяется; варвары не пользуются при постройке кораблей ни медными, ни железными скрепами; когда море бурно и волны высоки, поверх бортов накладывают доски, получается что-то вроде крыши, и защищенные так корабли легко передвигаются. Грести на них можно в любую сторону, они кончаются острым носом и спереди, и сзади, так что могут безопасно причаливать к берегу и одним, и другим концом.

48. Мятеж Аникета насторожил Веспасиана; он набрал по легионам отряды и выслал против повстанцев во главе с опытным военачальником Вирдием Гемином. Напав на занятых грабежом, разбредшихся по всей округе варваров, он заставил их вернуться на корабли. Спешно выстроив несколько быстроходных галер, Гемин погнался за Аникетом и настиг его в устье реки Хоб[71]; Аникет чувствовал себя в безопасности, так как деньгами и подарками привлек на свою сторону местного царя Седохеза и рассчитывал на него. Сначала царь в самом деле оказывал покровительство своему гостю, который умолял его о помощи, он даже грозил римлянам оружием. Вскоре, однако, Гемин втолковал ему, что, предав повстанцев, он получит деньги, если же будет защищать Аникета, в его страну вторгнутся римские войска. Непостоянный, как все варвары, царь решил погубить Аникета и выдал римлянам тех, кто искал у него спасения. На том и кончилась эта война с рабами.

Все желания Веспасиана сбывались, исполнение каждого его замысла приносило даже больше удачи, нежели он рассчитывал: не успел он порадоваться победе над Аникетом, как к нему в Египет пришла весть о битве под Кремоной. Тем быстрее устремился Веспасиан к Александрии, чтобы теперь, когда войска Вителлия разгромлены, закрыть подвоз припасов в Рим и голодом принудить к сдаче столицу, которой веч-

но не хватало продовольствия. Для этого собирался он вторгнуться с моря и суши в соседнюю провинцию Африка, приостановить поставки зерна и вызвать в стане врага смятение и голод.

49. Вот какие потрясения охватили мир, и оттого по-новому стала складываться судьба империи; далеко не как прежде действовал после победы под Кремоной и Прим Антоний. То ли решил он, что будет с него воинских подвигов и можно больше ни о чем не заботиться, то ли удача обнажила жадность его, высокомерие и прочие пороки, которые он прежде тщательно скрывал, но в Италии он вел себя как в завоеванной стране, а с легионами обращался так, будто то было собственное его войско. В каждом слове его, в каждом поступке видно было теперь стремление любой ценой проложить себе путь к власти. Чтобы поддержать мятежные настроения солдат, он разрешил им самим выбрать центурионов вместо погибших; избранными оказались отъявленные смутьяны. Уже не солдаты подчинялись командирам, а командиры зависели от произвола солдат. Антоний попытался использовать разложение армии и упадок дисциплины. Он не подумал о том, что Муциан уже близко, а встать на пути этого человека было много опаснее, чем оскорбить самого Веспасиана.

50. Приближалась зима, сырость ложилась на поля в долине Пада, когда армия налегке, без поклажи и обозов, выступила в поход. Значки и орлы легионов, раненых, престарелых, а с ними и многих здоровых солдат победители оставили в Вероне. Они считали, что конец войны не за горами, и можно справиться с помощью конных отрядов, отдельных когорт и набранных по легионам добровольцев. Одиннадцатый легион, который в начале войны медлил и выжидал, теперь, после победы флавианцев, боясь опоздать к дележу добычи, присоединился к победителям. С ним шли шесть тысяч новобранцев-далматов[72]. Вел легион консулярий Помпей Сильван[73], на деле же все военные планы придумывал легат легиона Анний Басс. Делая вид, будто полностью подчиняется своему командиру, Басс спокойно и решительно руководил легионом и направлял Сильвана, который был неопытен в военном искусстве и вместо того, чтобы действовать, произносил речи. Моряки Равеннского флота требова-

ли, чтобы их перевели в число легионеров, из них выбрали лучших, включили в состав армии, а на их место поставили далматов. В Фанум Фортунэ[74] армия и полководцы остановились; стали думать, что делать дальше: ходили слухи, будто преторианские когорты выступили из Рима; проходы в Апеннинах скорей всего охранялись сторожевыми заставами; местность, где они остановились, была разорена войной; командиры боялись солдат, те буйно требовали выплаты клавария[75]. Никто вовремя не позаботился ни о пополнении казны, ни о запасах пищи. Алчность и нетерпеливость солдат усугубляли трудности: они грабили жителей, отнимали у них продовольствие, которое те и без того готовы были им дать.

51. В сочинениях самых прославленных историков я нахожу рассказы, из которых видно, сколь бессовестно преступали победители все заповеди богов. Некий рядовой конник пришел к командирам и сказал, что убил в последнем сражении своего брата и потребовал за это вознаграждение. Настроение в войске было такое, что наказать конника оказалось невозможно, награждать же — бесчеловечно и незаконно. Командиры ответили, что подвиг его заслуживает почестей, воздать которые в походных условиях никак нельзя, и потому лучше отложить дело. А позже об этом уже не вспоминали. Подобные преступления случались в истории гражданских войн и раньше. В битве с Цинной у Яникульского холма[76] один из воинов-помпеянцев, как рассказывает Сисенна[77], убил, не узнавши, родного брата, а когда понял, что совершил, тотчас покончил с собой. Вот насколько превосходили нас наши предки — и когда вознаграждали доблесть, и когда карали преступление. Такие примеры из прошлого я и впредь буду приводить, если окажутся к месту, дабы прославить доблесть или утешиться в беде.

52. Антоний и его полководцы решили выслать вперед конников, дабы, объехавши всю Умбрию, найти самые удобные дороги к Апеннинам. Договорились также собрать в одном месте легионы, самостоятельно действовавшие когорты и оставшихся в Вероне солдат, а поклажу и продовольствие отправить по реке Пад и морем. Кое-кто из полководцев нарочно мешал исполнению этих замыслов: теперь Антоний был им уже не нужен, они рассчитали, что выгоднее помогать Муциану. Муциана же тревожили молниеносные успехи Ан-

тония, он опасался, как бы Антоний не двинулся на Рим один и не лишил бы его тем славы победителя. Муциан беспрерывно писал Приму и Вару письма — то требовал спешно завершить начатое, то рассуждал о преимуществах мудрой медлительности. Письма были составлены так, что в случае неудачи Муциан мог от всего отказаться, в случае же победы — приписать ее своим попечениям. С Плотием Грипом (Веспасиан недавно возвел его в сенаторское достоинство и назначил командовать легионом) и с другими своими сторонниками Муциан был откровеннее, он побуждал их противодействовать Антонию. В ответных письмах они всячески старались заслужить расположение Муциана и в самом неблаговидном свете говорили о том, почему Прим и Вар так торопятся. Муциан пересылал их письма Веспасиану и добился своего — император стал относиться к поступкам и замыслам Антония совсем не так, как тот рассчитывал.

53. От всего этого с каждым днем росла злоба Антония; страдания и опасности, которые он перенес, теряли цену из-за интриг Муциана; Антоний решил первым бросить вызов сопернику. Невоздержанный на язык, привыкший поступать, как ему вздумается, он в разговорах с окружающими не щадил Муциана. И написал письмо Веспасиану, самоуверенное и без должной почтительности в обращении к принцепсу, полное скрытых нападок на Муциана. Антоний писал о своих заслугах, говорил, что он поднял паннонские легионы, он увлек правителей Мёзии, он перешел Альпы, занял Италию, преградил путь вспомогательным войскам Вителлия, что состояли из германцев и ретов. А битва, начатая атакой конницы против рассеянных беспорядочных легионов вителлианцев и завершенная наступлением пехоты, которая целые сутки громила уже разбитого противника? Разве это не блестящий подвиг, не его, Антония, заслуга? Что же до злосчастной истории с Кремоной, так на то и война; гражданские распри былых времен принесли гибель не одному, а многим городам и обходились государству гораздо дороже. Боевыми делами, а не донесениями и письмами служит он своему императору. При этом он вовсе не хочет умалять заслуги людей, наводивших тем временем порядок в Дакии[78], — они охраняли мир в этой провинции, он же спас Италию от всех опасностей. Кто, как не он, убедил галльские и испанские

провинции, лучшие земли империи, перейти на сторону Веспасиана? Неужто теперь плодами его трудов воспользуются люди, не принимавшие в них никакого участия, а он, Антоний, останется ни при чем?

Муциан хорошо понимал, чем грозит ему такое письмо. Письмо породило взаимную ненависть, Антоний выражал ее открыто, хитрый и безжалостный Муциан таил в глубине души.

54. Поражение под Кремоной разрушило все замыслы Вителлия. Он старался скрыть, что произошло; эта нелепая политика не пресекала зло, а мешала бороться с ним. В самом деле: если бы Вителлий все рассказал откровенно и попросил совета, нашлись бы еще и надежды, и силы; он же, напротив того, силился представить все в радужном свете и тем губил себя. Удивительное молчание обо всех военных делах окружало его; в городе приказано было о войне не разговаривать, и потому только о ней повсюду и шла речь. Если б не запрещение, говорили бы об истинных происшествиях, теперь же под покровом тайны по городу расползались слухи, один ужаснее другого. Полководцы флавианской партии всячески содействовали распространению этих слухов. Захваченных в плен разведчиков Вителлия водили по лагерю флавианцев, чтобы они воочию убедились, какова сила победоносной армии, а после отпускали. Вителлий тайно допрашивал их, а потом казнил. Великий подвиг совершил в ту пору центурион Юлий Агрест. Он не раз говорил с Вителлием, пытался пробудить в нем мужество; наконец, испросил разрешения отправиться к противнику, дабы выяснить, что случилось под Кремоной, и посмотреть, каковы силы флавианцев. Он не стал обманывать, не пытался выполнить свою миссию тайно; явился к Антонию, откровенно рассказал, зачем пришел, и потребовал, чтобы ему разрешили увидеть все своими глазами. Антоний отрядил людей, они показали Агресту место сражения, развалины Кремоны и плененные легионы. Агрест вернулся к Вителлию, но тот не поверил его рассказу и даже обвинил в измене. На это Агрест отвечал: «Если требуешь ты бесспорного свидетельства моей преданности и другой пользы ни жизнью своей, ни смертью я принести не могу, да получишь ты доказательство, которому поверишь». И выйдя от принцепса, наложил на себя руки, добровольною

смертью скрепив истинность своих слов. Некоторые говорят, что его убили по приказу Вителлия, но все в один голос признают его верность и мужество.

55. Наконец Вителлий как бы очнулся; приказал Юлию Приску и Алфену Вару[79] взять четырнадцать когорт претория, всю конницу и встать заставой в Апеннинах; вслед им отправил еще легион морской пехоты. Будь во главе стольких пехотинцев и конников другой командующий, сил этих могло бы хватить даже для наступления. Командовать остальными когортами и охранять столицу Вителлий поручил своему брату Луцию. Сам же и не думал отказываться от роскоши и разврата. Чувствуя, что власть его непрочна, он поспешно собрал комиции и назначил консулов на много лет вперед[80], с бессмысленной щедростью роздал союзникам права федератов[81], чужеземцам — латинское гражданство[82], одним отложил взнос налогов, других освободил от повинностей и, наконец, нимало не заботясь о будущих поколениях, принялся раздаривать государственное имущество. Чернь только диву давалась на этот поток благодеяний; глупцы старались добиться их за деньги, люди умные не придавали им никакой цены, ибо догадывались, что, будь все хорошо, никто не стал бы ни оказывать подобные милости, ни принимать их. Армия между тем заняла Меванию[83] и требовала, чтобы Вителлий присоединился к ней. Сопровождаемый толпой сенаторов, из которых одних привело сюда желание выслужиться, а большинство — страх, Вителлий прибыл в лагерь растерянный, готовый послушаться любого, самого коварного совета.

56. Когда Вителлий проводил солдатскую сходку, над головой его — дивно сказать — закружились какие-то мерзкие крылатые существа, и было их столько, что они, как туча, затмили день. К этому прибавилось и еще недоброе предзнаменование: бык разбросал священную утварь, убежал из алтаря и был заколот далеко от места, где обычно совершают жертвоприношения. Но самое мрачное зрелище являл собой сам Вителлий. Невежественный в военном деле, неспособный что-либо предвидеть и рассчитать, он не умел ни построить войско, ни собрать нужные сведения, ни ускорить или замедлить ход войны. Обо всем спрашивал совета у окружающих, каждую новую весть встречал с ужасом, а потом напивался.

Наконец лагерная жизнь ему надоела. Получив весть о переходе Мизенского флота на сторону противника, он поспешил в Рим, озабоченный лишь последними событиями и вовсе не думая об угрожающей гибели. Каждый понимал, что следовало перевести через Апеннины всю армию и свежими войсками обрушиться на ослабевшего от голода и холода противника; Вителлий же дробил свои силы, посылал на верную смерть или плен лучших солдат, готовых за него в огонь и воду. Даже центурионы, из тех, что больше других понимали дело, не одобряли такую тактику, они раскрыли бы Вителлию глаза, если б он посоветовался с ними. Но ближайшие друзья принцепса не давали центурионам и слова сказать, и он оставался глух ко всему, что могло его спасти, а выслушивал лишь приятные, но гибельные советы.

57. Во времена гражданских неурядиц даже один человек, если он дерзок и решителен, может сделать много: центурион Клавдий Фавентин, которого Гальба некогда оскорбил и уволил из армии, сумел склонить к измене весь Мизенский флот; он показывал морякам подложные письма Веспасиана, в которых тот якобы обещал им награду, если они предадут Вителлия. Командовал флотом Клавдий Аполлинарий; он не был настолько мужественным, чтобы остаться верным присяге, ни настолько честолюбивым, чтобы изменить ей. Во главе мятежников встал только что отслуживший претуру Апиний Тирон; он в то время случайно оказался в Минтурне[84]. Под воздействием восставших началось брожение также в муниципиях и колониях; к вражде вителлианцев с флавианцами прибавилось соперничество городов: жители Путеол[85] горячо поддержали Веспасиана, наперекор им капуанцы решили хранить верность Вителлию. Чтобы вернуть расположение солдат, Вителлий отправил к ним Клавдия Юлиана[86]; Юлиан незадолго перед тем командовал Мизенским флотом и прослыл командиром мягким и добрым. В помощь ему дали когорту солдат городской стражи и гладиаторов, которыми он ведал. Они разбили лагерь рядом с лагерем мятежников; Юлиан недолго колебался и вскоре перешел на сторону Тирона; все вместе отправились они в Таррацину[87] — здесь можно было считать себя в безопасности, полагаясь, правда, не столько на собственное мужество, сколько на стены города и неприступное его местоположение.

58. Узнав об этих событиях, Вителлий оставил в Нарнии[88] префектов претория с частью войск, а брата своего Луция отправил с шестью когортами и пятьюстами всадниками в Кампанию, чтобы преградить путь войне, надвигавшейся оттуда. Мрачное настроение Вителлия понемногу рассеивалось: солдаты выражали ему преданность, народ громко требовал оружия, и он уже стал называть эту толпу, не способную ни на что, кроме бессмысленного крика, новой армией и новыми легионами. По совету вольноотпущенников — их он предпочитал друзьям, которым доверял тем меньше, чем более достойные среди них встречались, — Вителлий приказывает созвать трибы[89]. Сначала он сам принимает присягу у добровольцев, но, видя, что толпа жаждущих вступить в армию все растет, поручает отбор консулам. Он устанавливает, сколько рабов и денег должен дать каждый сенатор; римские всадники наперебой предлагают помощь и сбережения; даже вольноотпущенники рвутся участвовать в общем деле и им разрешают принять на себя такие же обязательства. Порожденное страхом показное воодушевление постепенно перерастало в сострадание. Большинство, однако, скорбело не о Вителлии, а о принципате, над которым нависла угроза. Вителлий стремился вызвать сочувствие печальным выражением лица, жалобным голосом и слезами. Он раздавал всем и каждому невыполнимые обещания, так обычно поступают люди, исполненные страха. Прежде он отвергал звание Цезаря, теперь пожелал называться этим именем, отчасти возлагая на него суеверные надежды, отчасти же потому, что, когда человек в опасности, настояния толпы значат для него не меньше, чем голос благоразумия. Впрочем, как всякий внезапно возникающий безрассудный порыв, воодушевление сенаторов и всадников, сильное на первых порах, со временем стало остывать и постепенно гаснуть. Они покидали Вителлия сперва втихомолку, пользуясь его отсутствием, потом, уверовав в собственную безнаказанность, с откровенным пренебрежением. Наконец, видя, что из всей затеи ничего не получается, Вителлий, мучимый стыдом, решил не брать у сенаторов и всадников того, что они все равно ему не давали.

59. Захват Мевании поразил ужасом всю Италию; казалось, война начинается заново; однако Вителлий трусливо бежал, все опять изменилось, и флавианцы стали еще более

популярны. Самниты, пелигны, марсы[90], уязвленные тем, что жители Кампании опередили их, поднялись в свой черед; ревностно, как подобает новым подданным, выполняли они обязанности, возложенные войной. Тем временем армия с трудом, изнемогая в борьбе со снегами и холодом, прокладывала себе путь через Апеннины. В этом мирном переходе у солдат едва хватало сил выбраться из снегов; и теперь они поняли, какие опасности ждали их, если бы Вителлий не вернулся в Рим — судьба приходила на помощь флавианским полководцам не реже, чем их военные таланты. В пути флавианцы неожиданно встретили Петилия Цериала[91]; он хорошо знал местность, оделся крестьянином и сумел ускользнуть от приставленной Вителлием стражи. Цериал был близким родственником Веспасиана, слыл опытным командиром и тут же стал одним из руководителей армии. Многие авторы утверждают, будто Флавий Сабин и Домициан[92] тоже вполне могли скрыться; лазутчики Антония правдами и неправдами пробрались к ним и убеждали бежать, обещая проводить под крепкой охраной в надежное место. Сабин отказался, сказав, что слабое здоровье не позволяет ему отважиться на побег. У Домициана хватало решимости, но сторожа, приставленные Вителлием, хотя и говорили, будто готовы помогать побегу, внушали ему опасения. Впрочем, Вителлий не собирался губить Домициана и по соображениям собственной выгоды.

60. Дойдя до Карсул[93], флавианцы остановились на несколько дней, чтобы отдохнуть и дать время остальным легионам присоединиться к ним. Место для лагеря оказалось очень удачным: вокруг открытые поля, все видно на большое расстояние, дороги, по которым подвозили продовольствие, безопасны, в тылу — цветущие многолюдные города. Вителлианцы стояли в десяти милях, так что вести переговоры было легко, и полководцы надеялись перетянуть вителлианцев на сторону Веспасиана. Солдаты же вовсе этому не радовались. Они стремились не к перемирию, а к победе; ждать прихода остальных легионов они не хотели, видя в них соперников в дележе добычи, а не боевых товарищей. Антоний собрал сходку. Он сказал, что Вителлий разбит не до конца, что можно вступить в переговоры и склонить его войска к измене, но если вителлианцы дойдут до крайности, у них еще хватит сил ожесточенно сопротивляться. В гражданской вой-

не, говорил Антоний, лишь на первых порах все зависит от удачи, но окончательной победы можно добиться, только действуя мудро и осмотрительно. Он напомнил, что Мизенский флот и цветущая, омываемая морем Кампания уже отвернулись от Вителлия, что из всей империи за ним осталась лишь полоска земли между Таррациной и Нарнией. «Битва под Кремоной принесла вам довольно славы, — продолжал он, — но еще больше гибель этого города вызвала ненависти к вам. Теперь перед вами Рим, и следует думать не о том, как им овладеть, а о том, как оградить его от бед. Не лучшая ли награда, не высшая ли честь отстоять сенат и римский народ, не пролив ни капли крови?» Такими и подобными доводами Антоний сумел успокоить солдат.

61. Через некоторое время подошли отставшие легионы, и флавианская армия стала еще многочисленнее. Слухи об этом распространились и посеяли смятение в рядах противника; вителлианцы заколебались; никто не призывал солдат продолжать борьбу; напротив, все убеждало в том, что лучше перейти на сторону флавианцев, командиры наперебой сдавались им, приносили в дар победителям свои конные отряды и центурии в надежде, что это зачтется им в будущем. От них флавианцы узнали, что расположенный неподалеку на равнине город Интерамна[94] охраняет гарнизон в четыреста всадников. Немедленно выслали туда летучий отряд во главе с Варом. Те немногие, что сопротивлялись, были перебиты, другие побросали оружие и сдались, кое-кто бежал в лагерь. Чтобы оправдать свою измену долгу, беглецы всячески расписывали доблесть и численность противника, и слухи о грозящей опасности тотчас охватили весь лагерь. Вителлианцы не наказали трусов; изменники были явно не внакладе, и это совсем подорвало дух армии; остальные состязались в подлости и коварстве. Трибуны и центурионы все чаще перебегали на сторону врага, рядовые солдаты упорно хранили верность Вителлию. Наконец, Приск и Алфен бросили лагерь на произвол судьбы и вернулись к Вителлию, заранее отпустив тем вину остальным.

62. В те же дни в Урбине[95] в тюрьме был убит Фабий Валент. Голову его выставили на обозрение вителлианцам, дабы лишить их всяких надежд: до сих пор они верили, будто Валент бежал в Германию, сплачивает там свои старые войска и

набирает новые. Увидев голову убитого полководца, вителлианцы впали в отчаяние; флавианцы ликовали, смерть Валента, считали они, означает конец войны.

Валент родился в Анагнии[96], во всаднической семье. Развратный и неглупый, он предался распутству, дабы прослыть человеком утонченным. При Нероне, во время Ювеналовых игр[97] он не раз выступал как мим; сначала делал вид, будто его вынуждают, а потом уже и не скрывал, что выступает по своей охоте; игра на сцене прославила его скорее как умелого актера, чем как доброго гражданина. В бытность свою легатом легиона он поддерживал Вергиния и его же оклеветал, убил Фонтея Капитона, склонив его прежде к измене, а может быть, как раз потому, что тот не соглашался на измену, предал Гальбу. Вителлию он сохранил верность, когда другие ему изменили, и это принесло ему славу.

63. Видя, что все их надежды пошли прахом, солдаты вителлианской армии тоже решили перейти на сторону противника, но позаботились при этом, чтобы выглядеть достойно. С развернутыми вымпелами и поднятыми значками они спустились на лежавшие ниже Нарнии поля. Флавианское войско, изготовленное к бою, в парадном вооружении выстроилось сомкнутыми рядами по обеим сторонам дороги. Вителлианцы вошли в образовавшийся проход, их тотчас окружили, и Антоний обратился к ним с приветливой речью; часть их оставили в Нарнии, часть разместили в Интерамне. Тут же расположили и несколько легионов победителей: они не трогали вителлианцев, пока те вели себя спокойно, но были готовы, если придется, подавить любые волнения. В эти дни Прим и Вар несколько раз писали Вителлию, обещали ему сохранить жизнь, предлагали деньги и тайное убежище в Кампании, если он сложит оружие и сдастся вместе с детьми на милость Веспасиана. О том же писал ему и Муциан. Вителлий все чаще подумывал, не согласиться ли на эти предложения. Он уже заговорил о том, сколько рабов возьмет с собой и какое место на побережье ему бы подошло. Какое-то равнодушие овладело им. Если бы другие не помнили, сам Вителлий давно бы забыл, что он — принцепс.

64. Самые видные люди в государстве втайне уговаривали префекта столицы Флавия Сабина принять участие в победоносном завершении войны, добиться своей доли славы, не

уступать ее всю Антонию и Вару. Они напоминали, что стоящие в столице когорты в его распоряжении, что солдаты городской стражи, конечно, тоже поддержат его, говорили, что судьба всегда на стороне победителей, обещали помочь, призывали вспомнить, как успешно складываются дела флавианской партии. «У Вителлия, — говорили они, — солдат мало, да и те удручены сыплющимися со всех сторон мрачными вестями. Народ непостоянен в своих привязанностях; если ты возглавишь борьбу, те же льстивые речи поведут о Веспасиане. Вителлий и при удаче не умел быть настоящим принцепсом, а теперь, когда все пошло прахом, и вовсе впал в ничтожество. Честь завершить войну выпадет на долю того, кто овладеет Римом. Самое натуральное — если именно ты передашь власть из рук в руки Веспасиану, он же будет рад оказаться обязанным в первую очередь брату и лишь потом всем остальным».

65. Сабин был стар[98], страсти в душе его давно утихли, и он неохотно слушал подобные речи. Нашлись люди, тайно распространявшие оскорбительные для Сабина слухи, будто он ненавидит брата и из зависти не спешит ему помочь. Сабин был старше Веспасиана и, пока оба оставались простыми гражданами, превосходил его богатством и пользовался бóльшим уважением. Рассказывали, будто в трудную для Веспасиана минуту, когда кредит его пошатнулся, Сабин ссудил его весьма умеренной суммой, приняв в залог его дом и земли. С той поры братья втайне остерегались друг друга, хотя виду не показывали и со стороны казались дружными. Гораздо вероятнее, однако, другое объяснение. Сабин был человек мягкий, кровопролития и убийства внушали ему отвращение; он не раз убеждал Вителлия заключить перемирие и договориться, на каких условиях прекратить войну. Они говорили об этом сначала дома, потом в храме Аполлону[99], где, как уверяла тогда молва, пришли в конце концов к соглашению. Голоса и слова собеседников слышали только два человека — Клувий Руф и Силий Италик[100], остальные могли лишь наблюдать за ними издали. Вителлий казался унылым и жалким, лицо Сабина выражало не столько высокомерие, сколько сострадание.

66. Если бы Вителлию удалось убедить своих приближенных согласиться на перемирие с такой же легкостью, с какой

принял эту мысль он сам, войска Веспасиана вступили бы в Рим, не пролив ни единой капли крови. Но в том-то и беда, что все близкие к Вителлию люди и слышать не хотели о прекращении войны на каких бы то ни было условиях: если заключить перемирие, говорили они, вителлианцы будут зависеть от любого каприза победителя; перемирие не принесет им ничего, кроме опасности и позора. Веспасиан, утверждали люди, окружавшие Вителлия, не настолько тщеславен, чтобы принять бывшего императора в число своих подданных, побежденные тоже не смирятся с этим, так что само милосердие нового принцепса обернется для Вителлия еще большей опасностью. Вителлий, говорили они, прожил долгую жизнь, изведал радость и горе, и теперь утомлен и тем, и другим; но пусть подумает о славном имени своего рода, об участи, ожидающей сына его, Германика. «Сейчас тебе предлагают деньги, обещают сохранить жизнь твоей семье, сулят безмятежный отдых в Кампании, на берегу одной из ее прекрасных бухт. Но когда Веспасиан станет полновластным хозяином, ни сам он, ни его друзья, ни солдаты не будут спокойны, пока не уничтожат соперника. Даже Фабий Валент, скованный по рукам и ногам, которого придерживали на всякий случай как заложника, и тот показался им слишком опасным. Так неужто Веспасиан не приказал Муциану, и Приму, и Фуску, которые во всем берут с него пример, убить Вителлия? Цезарь не пощадил Помпея, Август — Антония; можно ли ожидать большего великодушия от Веспасиана, который был клиентом одного из Вителлиев, когда тот вместе с Клавдием управлял империей? Вспомни, что отец твой был цензором и трижды консулом, вспомни о славе своего дома, и пусть отчаяние твое отступит и сменит его мужественная решимость. По-прежнему верны тебе твои солдаты, по-прежнему любят тебя граждане, и те и другие готовы на все. Хуже того, к чему мы сами стремимся, случиться с нами не может. Смерть ждет нас, если сдадимся врагам, смерть настигнет нас, если потерпим поражение. Выбор у нас один — погибнуть в бою, как подобает мужчинам, или умереть под градом насмешек и оскорблений».

67. Вителлий оставался глух к советам людей доблестных. Он жалел самого себя, боялся, что долгое сопротивление ожесточит противника, и он не пощадит его жену и детей, эти

мысли сокрушали его душу. Думал он и о своей престарелой матери: судьба, правда, сжалилась над ней — она скончалась за несколько дней до гибели всех своих родных; принципат сына не принес ей ничего, кроме горя и общего уважения[101].

В пятнадцатый день перед январскими календами[102] Вителлию сообщили, что оставшийся в Нарнии легион вместе с приданными ему когортами изменил своему долгу и сдался врагу. Облаченный в черные одежды, окруженный плачущими родными, клиентами и рабами спустился он с Палатина. За ним, как на похоронах, несли в носилках его маленького сына. Странно звучали льстивые приветствия, которыми встретил его народ. Солдаты хранили мрачное молчание.

68. Самого бесчувственного человека потрясла бы эта картина: римский принцепс, еще так недавно повелевавший миром, покидал свой дворец; он шел по заполненным толпой улицам города, шел сложить с себя верховную власть. Никто никогда не видел такого зрелища, никто не слыхал ни о чем подобном. Диктатор Цезарь пал жертвой внезапного нападения, Гая[103] погубил тайный заговор, только ночь да безвестная деревня видели бегство Нерона[104], Пизон и Гальба убиты как воины на поле боя. Один лишь Вителлий уходил от власти, окруженный своими солдатами, среди своего народа, который сам же так недавно сзывал на сходку, уходил, не стыдясь присутствия женщин. В нескольких кратких, приличествующих обстоятельствам словах он объявил, что отказывается от власти в интересах мира и государства, просит хранить память о нем и его брате и сжалиться над женой его и невинными детьми. Протягивая ребенка к окружавшей толпе, он обращался то к одному, то к другому, то ко всем вместе, рыдания душили его. Наконец он отстегнул от пояса кинжал и подал стоявшему рядом консулу Цецилию Симплексу, как бы передавая ему власть над жизнью и смертью сограждан. Консул отказался принять кинжал; толпа шумно протестовала; Вителлий двинулся к храму Согласия[105] с намерением там сложить с себя знаки верховной власти и затем укрыться в доме брата. Вокруг закричали еще громче, требовали, чтобы он отказался от мысли поселиться в частном доме и вернулся на Палатин. Улицы оказались забиты народом, пройти было невозможно; свободной оставалась только Священная дорога[106]. Поколебавшись, Вителлий вернулся во дворец.

69. Слух, будто Вителлий отрекся от власти, опережая события, пополз по городу; Флавий Сабин отдал трибунам когорт письменное распоряжение предупредить возможное выступление солдат. Казалось, вся империя отдала себя в руки Веспасиана; видные сенаторы, многие всадники, солдаты гарнизона и когорт городской стражи заполнили дом Флавия Сабина. Вскоре, однако, узнали, что городская чернь на стороне Вителлия, а германские когорты[107] грозят уничтожить всякого, кто выступит против принцепса. Сабин зашел уже слишком далеко, отступать было поздно; те, кто толпился у него в доме, не решались разойтись, опасаясь, как бы вителлианцы не перебили их поодиночке; каждый, дрожа за свою жизнь, уговаривал Сабина не колебаться долее и взяться за оружие. Как обычно в подобных случаях, все наперебой давали советы и почти никто не хотел рисковать собственной жизнью. Сабин в сопровождении успевших к тому времени вооружиться сторонников Веспасиана стал спускаться с холма возле Фунданиева бассейна; тут на них напали опередившие своих товарищей вителлианцы. В мимолетной стычке, которая началась неожиданно и для тех, и для других, вителлианцы одержали верх. Сабин предпочел не рисковать и заперся в крепости на Капитолии[108]. С ним были солдаты, коекто из сенаторов и всадников; перечислить их по именам трудно — слишком многие после победы Веспасиана хвастались участием в этой обороне. Среди осажденных оказались и женщины, самая известная из них — Верулана Гратилла[109], покинувшая детей и близких ради тревог и опасностей войны. Вителлианцы обложили крепость, но охраняли подступы к ней небрежно, так что Сабин в первую же ночь сумел провести на Капитолий своих детей и племянника Домициана[110]. У одних ворот осаждающие и вовсе забыли поставить караул; воспользовавшись этим, Сабин отправил гонца к полководцам флавианской армии. Он писал, что находится в осаде и, если ему не придут на помощь, положение его скоро станет безвыходным. Ночь прошла так спокойно, что Сабин, если бы захотел, мог незамеченным уйти с Капитолия. Вителлианские солдаты, столь мужественные перед лицом опасности, были не способны к длительному усилию и не умели нести караульную службу; к тому же внезапно хлынул зимний ливень и мешал им что-либо расслышать или рассмотреть.

70. На заре следующего дня Сабин, не дожидаясь, пока враги снова начнут действовать, отправил к Вителлию примипилярия Корнелия Марциала спросить, почему Вителлий нарушает заключенное между ними соглашение[111]. Неужели отказ его от власти был лишь комедией и притворством, и Вителлий рассчитывал обмануть стольких достойнейших мужей? В самом деле: почему Вителлий собирался укрыться в доме брата, который возвышается над форумом и привлекает всеобщее внимание, а не удалился на Авентин[112], в дом жены, который стоит поодаль и, казалось бы, гораздо больше подходит человеку, собирающемуся жить как простой гражданин и избегать малейшего напоминания о том, что был принцепсом? Вместо этого Вителлий вернулся на Палатин, в твердыню императорской власти, наслал на город вооруженных солдат, обагряющих кровью невинных самые многолюдные кварталы; он посягает на святыню Капитолия; а брат Веспасиана, сенатор, гражданин Рима, спокойно глядит на кровавые столкновения легионов, на захваченные города, на сдающиеся противнику когорты, ждет исхода борьбы между Веспасианом и Вителлием и, несмотря на отпадение испанских и германских провинций, несмотря на измену Британии, остается верным своему долгу и согласен вести переговоры. Восстановления мира и согласия жаждут не только побежденные, оно украшает также и победителей. Если уж решил Вителлий отступиться от соглашения, зачем тратить силы на борьбу с захваченным врасплох противником и с едва вышедшим из отроческих лет сыном Веспасиана[113], — какую пользу принесет ему гибель одного старика и одного подростка? Пусть выйдет навстречу легионам, пусть с ними вступает в решительный бой. Будет исход сражения для него благоприятен — все остальное устроится само собой. Вителлий, испуганный, движимый одним лишь желанием оправдаться, отвечал очень кратко; возложил всю вину на солдат, чей пыл, как он уверял, противоречил его собственному смирению перед судьбою. Он уговорил Марциала выйти незаметно, через задние комнаты, так как солдаты убили бы его, если бы узнали, что он явился заключить ненавистное перемирие; сам Вителлий уже не мог ничего ни приказать, ни запретить. Он не был больше императором, он был лишь поводом для раздоров.

71. Едва Марциал вернулся на Капитолий, как на крепость ринулись разъяренные вителлианские солдаты. Никто ими не командовал, каждый действовал на свой страх и риск. Быстро миновав форум и возвышающиеся здесь храмы[114], они сомкнутыми рядами устремились вверх по холму к первым воротам капитолийской крепости. Осажденные выбрались на крыши древних портиков по правой стороне улицы и осыпали вителлианцев камнями и черепицами. Наступающие были вооружены одними мечами, людей у них не хватало, подвозить же осадные и метательные машины показалось им делом слишком долгим. Они забросали факелами крайний портик и двинулись вверх вслед за огнем. Вот уже запылали ворота, еще минута — и вителлианцы пробились бы на Капитолий, но Сабин велел завалить проход статуями, расставленными здесь для прославления предков. Тогда вителлианцы попытались проникнуть на Капитолий с других сторон — от рощи Убежища и по ста ступеням, ведущим на Тарпейскую скалу. Осажденные не ожидали атаки ни тут, ни там, но особенно страшной была та, что началась из рощи Убежища, — путь этот короче других, и вителлианцы дрались здесь с бешеной яростью. Дома на том склоне холма строились в ту пору, когда никто не думал о войне, они стояли вплотную один к другому, и крыши образовывали как бы лестницу, ведшую прямо на Капитолий; по этой-то лестнице солдаты и бросились наверх. Неизвестно, кто поджег крыши — нападающие или осажденные — чтобы отбросить вителлианцев; последнее мнение приходится слышать чаще. Огонь перекинулся на портики вокруг храма, вскоре запылали деревянные орлы под скатами кровли. Коснувшись старого дерева, пламя вспыхнуло еще сильнее и устремилось вперед. Так сгорел Капитолий при запертых воротах, покинутый, но не разграбленный.

72. Со времени основания города республика народа римского не видела столь тяжкого и отвратительного злодеяния. Святыня Юпитера Сильнейшего и Величайшего перестала существовать, когда мир царил на границах и боги, насколько то допускали наши нравы, были к нам милостивы. Созданный предками по указанию богов залог римского могущества[115], на который не осмелились поднять руку ни Порсенна, когда город ему сдался[116], ни галлы, когда захватили

его[117], погубили яростные распри принцепсов. Пожары случались в храме и раньше, в пору гражданских войн, но тогда поджигатели действовали в одиночку, тайно, теперь же храм подвергся осаде и был предан огню на виду у всего города. Зачем затеяли этот бой? Ради чего совершено такое злодеяние? Пока мы вели войны в интересах родины, храм стоял нерушимо.

Капитолийский храм основал царь Тарквиний Древний[118] по обету, данному во время войны с сабинянами. Заложил он его, сообразуясь больше с грядущим величием римского народа, чем с его скромным положением в ту пору. Позже Сервий Туллий[119] с помощью союзников, а затем Тарквиний Гордый[120], используя на строительство богатства, захваченные при взятии Свессы Помеции[121], продолжали возведение храма. Честь завершить работу выпала на долю уже свободного Рима: после изгнания царей Гораций Пульвилл в пору своего второго консульства освятил храм[122], столь великолепный, что огромные богатства, доставшиеся римскому народу позже, шли на доделки и украшение, а не на расширение здания; Капитолийский храм простоял четыреста пятьдесят лет и сгорел в консульство Луция Сципиона и Гая Норбана[123], а затем возведен был на прежнем месте. За восстановление взялся Сулла после того, как добился окончательной победы. Однако освятить новый храм не суждено ему было, в этом одном отказали ему боги; освятил храм Лутаций Катул[124]. Хотя и много сделали для Капитолия Цезари, новое здание вплоть до принципата Вителлия называли именем Катула.

Вот какой храм погибал теперь в огне.

73. Пожар Капитолия испугал осажденных больше, чем осаждающих. В трудную минуту вителлианцы проявили ловкость и мужество; совсем по-другому вели себя флавианцы. Солдаты трепетали от страха; беспомощный, как бы впавший в оцепенение вождь не мог ни говорить, ни слушать, ни командовать сам, ни следовать советам других; он обращал войско то в одну, то в другую сторону, смотря откуда слышались угрозы врагов, запрещал то, что раньше приказывал, приказывал то, что раньше запрещал. Как часто бывает в минуты смертельной опасности, все командовали и никто не выполнял команд. Наконец осажденные побросали оружие и заметались по крепости, пытаясь как-то обмануть противни-

ка и скрыться. Вителлианцы врываются на Капитолий. Бушует пламя, сверкают мечи, льется кровь. Немногие настоящие воины — самые известные из них Корнелий Марциал, Эмилий Паценз[125], Касперий Нигер, Дидий Сцева — вступают в бой, но тут же падают мертвыми. Победители окружают безоружного Флавия Сабина, он не сопротивляется; окружают консула Квинция Аттика, который еще так недавно, движимый тщеславием и желанием показать призрачную свою власть, обращался к народу с эдиктами, прославляя Веспасиана и понося Вителлия. Остальные ухитрились бежать; одни переоделись рабами, других вынесли, спрятав под ворохами вещей, верные клиенты. Были люди, которых собственная дерзость защитила надежнее, нежели любое тайное убежище: подслушав пароль, по которому вителлианцы узнавали друг друга, они пользовались им и даже сами требовали отзыва у встречных.

74. Когда первые вителлианцы ворвались на Капитолий, Домициан спрятался у сторожа храма. Вскоре один из вольноотпущенников сумел ловко вывести его оттуда: закутавшись в полотняный плащ, Домициан смешался с толпой жрецов[126] и, никем не узнанный, добрался до Велабра[127], где его приютил клиент отца Корнелий Прим. После прихода к власти Веспасиана Домициан снес домик сторожа, где когда-то прятался, и отстроил на его месте небольшой храм Юпитеру Хранителю, а в храме — мраморный алтарь с изображением событий, здесь случившихся. Сделавшись вскоре императором, он воздвиг Юпитеру Стражу огромный храм[128], после чего освятил и храм, и статую, изображавшую его самого в объятиях бога. Сабина и Аттика заковали в цепи и привели к Вителлию; он встретил их спокойно, без угроз и оскорблений, хотя солдаты с яростью кричали, что имеют право распоряжаться жизнью побежденных, и требовали награды за свою службу Вителлию. Самая подлая часть черни то угрозами, то лестью добивалась от Вителлия приказа казнить Сабина. Вителлий, стоя на ступенях Палатина, хотел было молить толпу сжалиться над пленными, но приближенные уговорили его отступиться. Сабин пал под ударами мечей. Ему отрубили голову, а растерзанное тело сволокли на Гемонии[129].

75. Таков был конец этого довольно примечательного человека. Тридцать пять раз участвовал он в походах, просла-

вил имя свое и на военном, и на гражданском поприще. Честность его и справедливость неоспоримы. Семь лет правил Сабин Мёзией, двенадцать лет был префектом Рима, и единственное, что могли поставить ему в вину, — излишнюю говорливость. Некоторые считали, будто под конец жизни он сделался слабым, большинство же объясняло его поступки в ту пору умеренностью и нежеланием проливать кровь сограждан. Все согласны в том, что до восшествия Веспасиана на престол не кто иной, как Сабин пользовался в своей семье наибольшим влиянием и почетом. Муциан, как уверяют, воспринял весть о гибели Сабина с большой радостью. Многие даже утверждали, будто смерть Сабина избавила нас от новых гражданских войн: один был братом императора, другой считал себя соправителем, и только гибель Сабина предотвратила новые междоусобия. Аттик признал себя виновным в поджоге Капитолия. Может быть, это был только ловкий ход: принять на себя всю ненависть, которую вызвало это злодеяние, и тем отвести ее от вителлианской партии; и когда народ стал требовать казни консула, Вителлий счел себя обязанным воздать за услугу услугой и сумел отстоять его.

76. Тем временем Луций Вителлий разбил лагерь у Феронии[130] и угрожал Таррацине[131]. Запершиеся в крепости гладиаторы и гребцы не решались ни на вылазку, ни на открытое сражение. Как я уже говорил, гладиаторами командовал Юлиан, гребцами — Аполлинарий, оба сами больше похожие на гладиаторов, чем на полководцев. Они не выставляли караулов, не чинили обветшалые стены. Дни и ночи оглашали они самые прекрасные места побережья разгульными криками, рассылали солдат на поиски новых развлечений и говорили о войне только во время попоек. Апиний Тирон[132] несколькими днями раньше вышел из города и теперь самыми крутыми мерами выжимал из муниципий деньги и подарки, что не столько умножало его силы, сколько возбуждало к нему ненависть.

77. К Луцию Вителлию явился перебежчик — раб Вергиния Капитона[133] — и пообещал без боя сдать город вителлианцам, если с ним пойдет вооруженная охрана. Глубокой ночью раб этот вывел в горы легковооруженные когорты и расположил над головой противника. Оттуда солдаты устремились вниз — не для битвы, а для резни — враги, едва

очнувшиеся от сна, либо безоружные, либо едва успевшие кое-как за него схватиться, падали под ударами их мечей; темнота, страх, рев боевых труб, крики наступающих усиливали смятение. Несколько гладиаторов оказали отпор и дорого продали жизнь, остальные устремились к кораблям, но и там их ждала гибель: они попали в толпу местных жителей, которых вителлианцы убивали, не встречая никакого сопротивления. Шесть быстроходных галер — на одной находился префект флота Аполлинарий — вышли в море еще в самом начале сражения, прочие были захвачены на стоянке либо потонули под тяжестью облепивших их людей. Юлиана привели к Луцию Вителлию и зарезали у него на глазах, сначала зверски избив плетьми. Некоторые рассказывали, будто жена Луция Вителлия Триария, нагло опоясавшись солдатским мечом, творила жестокости на заваленных трупами улицах поверженного, погруженного в отчаяние города. Муж ее в знак одержанной победы отправил брату лавровый венок и спрашивал, что надлежит делать дальше — скорее возвращаться, ибо он и так уже слишком задержался, или оставаться в Кампании для полного покорения края. Колебания Луция Вителлия оказались спасительны не только для партии Веспасиана, но и для всего государства: если бы солдаты, и прежде фанатически преданные Вителлию, а теперь еще ободренные победой, успели вернуться в Рим, сражение здесь было бы тяжким и столица могла погибнуть. Луций Вителлий был человек подлый, но деятельный и опасный, не благодаря достоинствам, как люди доблестные, а как все негодяи — благодаря своим порокам.

78. Пока в стане вителлианцев происходили описанные события, войско Веспасиана оставило Нарнию и, остановившись в Окрикуле[134], спокойно праздновало сатурналии[135]. Чтобы хоть как-то оправдать столь странную неторопливость, приближенные Антония говорили, что надо подождать Муциана. Находились, правда, люди, утверждавшие, что Антоний медлит неспроста; Вителлий прислал ему письмо, предлагал изменить Веспасиану и обещал за это должность консула, руку дочери и огромное приданое. Другие отвечали, что все это сочинено в угоду Муциану. Были и такие, что говорили, будто полководцы Веспасиана условились между собой держать Рим под угрозой, не доводить до штурма, а до-

ждаться, пока Вителлий, покинутый своими верными когортами и лишенный всякой опоры, сам откажется от власти; план этот якобы не удалось выполнить по вине Сабина — сначала он поступал безрассудно, а потом струсил: опрометчиво взялся за оружие, а после не сумел отстоять от каких-то трех когорт неприступную Капитолийскую крепость, способную выдержать нападение большой армии. Нелегко возложить на кого-нибудь одного ответственность за ошибки, в которых повинны все. В самом деле: Муциан своими двусмысленными письмами задерживал продвижение победоносных войск; Антоний виноват в том, что вдруг стал слушаться его советов, скорей всего потому, что хотел Муциана сделать виновным за то, что так затянулась кампания; другие полководцы считали войну выигранной и думали лишь о том, как бы под конец отличиться. Даже Петилий Цериал, которому было поручено провести тысячу всадников через Сабинское поле и вступить в Рим по Соляной дороге[136], откуда вителлианцы их меньше всего ожидали, и тот не торопился выполнить свою миссию. Весть об осаде Капитолия положила конец всем колебаниям.

79. Антоний двигался к Риму по Фламиниевой дороге. Глубокой ночью дошел он до Красных камней[137] и тут понял, что опоздал: его ждали вести о страшных событиях в столице — убит Сабин, Капитолий горит, в городе смятение. Говорили также, что народ и рабы вооружаются, дабы выступить на защиту Вителлия. Потерпел поражение и Петилий Цериал со своими конниками. Считая, что враг уже разбит, они рвались вперед, не соблюдая никакой осторожности, и наткнулись на засаду из всадников и пехотинцев. Бой развернулся под самым Римом, среди садов и строений, на кривых извилистых улицах, хорошо знакомых вителлианцам, но пугавших конников Цериала. К тому же далеко не все они сражались с одинаковым пылом: немало было таких, кто совсем недавно, под Нарнией, перешел на сторону флавианцев; теперь они старались угадать, кто возьмет верх. Префект конницы Юлий Флавиан был захвачен в плен; остальные бежали в беспорядке; победители преследовали их только до Фиден[138].

80. Успех этот еще усилил одушевление народа. Городская чернь взялась за оружие. Мало у кого были настоящие боевые

щиты, большинство вооружилось чем попало, толпа размахивала дротами — требовала сигнала к началу битвы. Вителлий поблагодарил их и приказал идти на защиту города. Тотчас собрался сенат, назначил легатов, которые отправились в войско противника — уговаривать якобы ради интересов государства покончить с войной и согласиться на мир. Судьба легатов сложилась по-разному. Те, что явились к солдатам Петилия Цериала, которые и слышать не хотели о перемирии, едва не погибли. Ранен был претор Арулен Рустик[139]: ярость солдат вызвало не только звание посла и претора, над которым они надругались, но и горделивое достоинство, отличавшее этого мужа. Свиту Рустика разогнали, первого ликтора, который осмелился расчищать в толпе дорогу претору, убили. Охваченные бешеной ненавистью к своим же согражданам, забыв о неприкосновенности послов, которую чтят даже чужеземные племена, они убили бы легатов под самыми стенами родного города, если бы Цериал не приказал окружить прибывших охраной. Несколько лучше приняли посланцев сената в войске Антония — не потому, что солдаты здесь были скромнее, а потому, что командующий крепче держал их в руках.

81. В число легатов замешался всадник Музоний Руф, ревностный последователь философов и поклонник стоицизма[140]. Попав в армию вителлианцев, он принялся толковать окружающим вооруженным солдатам о благах мира и ужасах войны. Некоторые смеялись, большинство испытывало отвращение. Его бы, наверное, избили и выгнали, но он вовремя послушался благоразумных людей, испугался сыпавшихся со всех сторон угроз и оставил неуместные поучения. Навстречу армии вышли также девы-весталки, они несли Антонию письмо Вителлия. Он просил отложить решающее сражение на один день, уверяя, что благодаря отсрочке легче будет все уладить. Антоний с почетом отпустил весталок, Вителлию же написал, что после убийства Сабина и пожара Капитолия ни о каких переговорах не может быть речи.

82. Все же Антоний собрал войска на сходку и пытался уговорить разбить лагерь возле Мульвиева моста и отложить вступление в город до следующего дня. Он стремился добиться отсрочки, опасаясь, что разгоряченные битвой солдаты не пощадят ни народ, ни сенат, ни даже храмы и святили-

ща богов. Но солдаты были уверены, что любое промедление на руку врагу. К тому же они видели — на окружающих холмах развевались вымпелы; под вымпелами стояли всего-навсего мирные граждане, но солдаты думали, что их ждет готовая к бою вражеская армия. Войско разделилось на три колонны: одна осталась на Фламиниевой дороге, другая пошла в наступление берегом Тибра, третья двигалась по Соляной дороге к Коллинским воротам[141]. Одной кавалерийской атакой разогнали чернь, и тогда наступавшие сошлись с войсками вителлианцев, тоже разделенными на три колонны. Битва на подступах к городу шла во многих местах, с переменным успехом, но все же чаще победа доставалась флавианцам — у них лучше были командиры. Плохо пришлось тем флавианцам, которые, вступив в город, свернули налево; они оказались в узких скользких улицах, примыкающих к Саллюстиевым садам[142]. Вителлианцы, взобравшись на стены садов, забрасывали наступавших камнями и дротами и до самых сумерек не давали им продвинуться вперед, пока наконец сами не оказались окруженными конниками, которые прорвались в город через Коллинские ворота. Местом битвы стало и Марсово поле[143]. Удача сопутствовала флавианцам, их окрыляла память о множестве прежних побед, вителлианцам же придавало силы одно лишь отчаяние; их обращали в бегство, но они снова и снова собирались то в одной, то в другой части города.

83. Жители наблюдали за борьбой и вели себя как в цирке — кричали, аплодировали, подбадривали то тех, то этих. Если одни брали верх и противники их прятались в лавках или домах[144], чернь требовала, чтобы укрывшихся выволакивали из убежища и убивали; при этом ей доставалась большая часть добычи; поглощенные убийством и боем, солдаты предоставляли толпе расхватывать награбленное. Город охватила жажда крови, он был неузнаваем и страшен. В разгаре битва, падают раненые, а рядом люди принимают ванны или пьянствуют; среди потоков крови и мертвых тел расхаживают уличные женщины и мужчины, им подобные; развратный покой исполнен вожделений, преступления бушуют будто в плененном городе — можно подумать, что бешеная ярость и ленивый разврат владеют столицей. Вооруженные столкновения бывали в Риме и раньше, дважды приносили

они победу Луцию Сулле, один раз Цинне; и в ту пору тоже свершалось не меньше жестокостей. Но только теперь явилось это чудовищное равнодушие. Никому даже в голову не пришло хоть на какое-то время отказаться от обычных развлечений; преступления на улицах города как бы придавали празднику еще больше блеска. Все ликовали, все захлебывались от восторга — не оттого, что сочувствовали какой-либо партии, а оттого, что радовались несчастьям своего государства.

84. Труднее всего оказалось взять лагерь, последнюю опору оставшейся в живых горстки смельчаков. Упорство их еще больше раззадорило флавианцев, особенно воинов старых когорт. Строй черепахой, осадные машины, зажигательные снаряды, насыпи — все, что используется при осаде укрепленных городов, пустили в ход разом. «Возьмем лагерь, — кричали нападающие, — значит, не зря пришлось нам вынести сражения, бедствия и труды. Город принадлежит сенату и римскому народу, храмы — богам, но честь солдата — в лагере; там его родина, там его дом. Не захватим лагерь сейчас, будем биться всю ночь, а своего добьемся!» Вителлианцы уступали противнику числом, удача покинула их; они выбрали единственное, что остается побежденным, — досаждали победителям, оттягивали наступление мира, обагряли кровью дома и алтари. На площадках башен и на валах валялись умирающие. Наконец ворота рухнули, но те вителлианцы, что оставались в живых, сбились в кучу и ударом отвечали на каждый удар. Погибли все до единого, но падали только лицом к противнику и, расставаясь с жизнью, думали лишь о том, чтобы умереть со славой.

Когда город был взят, Вителлий вышел через задние комнаты дворца, сел в носилки и приказал нести себя на Авентин, в дом жены. Он рассчитывал незамеченным переждать там день, а затем пробраться в Таррацину к брату и его когортам. Вителлий отличался редким непостоянством мыслей; к тому же, когда человек испуган, ему всегда кажется, что именно сейчас положение его особенно ненадежно; поколебавшись, Вителлий вернулся на Палатин. Дворец стоял пустой, безлюдный. Даже самые ничтожные рабы покинули его или прятались, завидев принцепса. Тишина и одиночество внушали страх. Вителлий открывал одну дверь за другой и отшатывал-

ся в ужасе: покои были пусты. Устав скитаться по дворцу, он было спрятался в постыдное место[145], но трибун когорты Юлий Плацид выволок его оттуда. Со скрученными за спиной руками, в разодранной одежде повели Вителлия по городу. Зрелище было мерзкое, многие выкрикивали ругательства и оскорбления, не плакал никто: когда смерть так позорна, состраданию нет места. Какой-то солдат из германской армии попался навстречу и внезапно с неистовой злобой набросился на Вителлия. Так и осталось непонятным, чего он хотел — излить свою ярость на принцепса, избавить его от издевательств или убить трибуна. Он успел отрубить трибуну ухо и тут же пал под ударами мечей.

85. Вителлия со всех сторон подталкивали остриями мечей и копий, ему приходилось высоко поднимать голову, удары и плевки попадали ему прямо в лицо, он видел, как валятся с пьедесталов его статуи, видел ростральные трибуны, узнал место, где был убит Гальба. Наконец его поволокли к Гемониям, куда еще так недавно бросили тело Флавия Сабина. Трибуну, что глумился над ним, Вителлий сказал: «Ведь я был твоим императором», — то были единственные достойные слова, которые пришлось от него услышать. Произнеся их, он тотчас упал, покрытый бесчисленными ранами, и чернь надругалась над мертвым столь же подло, как пресмыкалась перед живым.

86. Вителлий был родом из Луцерии[146]. Смерть застигла его, когда он завершал пятьдесят седьмой год жизни. Консульские и жреческие должности, славное имя, место среди первых людей государства — все досталось ему без всяких заслуг, лишь благодаря славе отца. Люди, вручившие ему принципат, толком его не знали. Мало кому удавалось честностью и благородством добиться такой преданности солдат, какую Вителлий завоевал своей бездарностью. Был он, правда, и простодушен, и щедр, но ведь эти свойства, если не управлять ими, обращаются на погибель человеку. Он думал, что дружбу приобретают не верностью, а богатыми подарками, и потому окружали его не друзья, а скорее наемники. Свержение Вителлия было, бесспорно, на пользу государству, но людям, которые покинули его ради Веспасиана, не следует изображать свое предательство как заслугу: немногим ранее они также изменили Гальбе.

День клонился к вечеру. Магистраты и сенаторы либо бежали из города, либо прятались у своих клиентов, так что созвать заседание сената оказалось невозможным. Убедившись, что опасность миновала, Домициан явился к полководцам флавианской армии и тут же его провозгласили Цезарем[147]. Солдаты, как были после боя, увешанные оружием, проводили Домициана в дом отца.

Книга четвертая

1. Вителлий был убит, война кончилась, но мир не наступил. Победители, полные ненасытной злобы, с оружием в руках преследовали по всему городу побежденных; всюду валялись трупы; рынки и храмы были залиты кровью. Сначала убивали тех, кто случайно попадался под руку, но разгул рос, вскоре флавианцы принялись обшаривать дома и выволакивать тех, кто укрывался там. Всякого, кто привлекал внимание высоким ростом[1] или молодостью, будь то воин или житель Рима, тотчас же убивали. На первых порах победители еще помнили о своей вражде к побежденным и жаждали только крови, но вскоре ненависть отступила перед алчностью. Под тем предлогом, что жители могут скрывать у себя вителлианцев, флавианцы запретили что-либо прятать и запирать, они стали врываться в дома, убивая всех, кто сопротивлялся. Среди самых бедных плебеев и самых подлых рабов нашлись такие, что выдали своих богатых хозяев и покровителей; других предавали друзья. Казалось, будто город захвачен врагами; всюду слышались стоны и вопли, так что даже дерзость солдат Отона и Вителлия, еще недавно столь ненавистная, казалась все же лучше. Полководцы флавианской партии сумели разжечь гражданскую войну, но оказались не в силах справиться с победившими солдатами: во время смуты и беспорядков чем хуже человек, тем легче ему взять верх; править же в мирное время способны лишь люди честные и порядочные.

2. Домициан принял титул Цезаря и поселился во дворце. Он не спешил взять на себя заботы, сопряженные с этим званием, и походил на сына принцепса лишь постыдными и развратными похождениями. Префектом претория стал Ар-

рий Вар, высшую власть держал в руках Прим Антоний. Он присваивал принадлежавшие принцепсам деньги и рабов и в императорском дворце вел себя как в захваченной Кремоне. Остальные командиры, то ли слишком скромные, то ли недостаточно решительные, никак не проявили себя во время войны и теперь, при дележе добычи, тоже остались в стороне. Жители столицы, запуганные и готовые пресмыкаться перед новым принцепсом, требовали послать войска навстречу возвращавшемуся из Таррацины Луцию Вителлию, дабы затушить последний очаг войны. Вскоре конница и вправду получила приказ выступить к Ариции, а легионы расположились в Бовиллах[2]. Луций Вителлий не стал медлить, сразу же вместе со всеми своими когортами сдался он на милость победителя; солдаты его, испуганные и озлобленные, побросали оружие, принесшее им столько бед. Нескончаемая колонна пленных, окруженная вооруженными легионерами, вступила в столицу. Вителлианцы шли мрачные, суровые, не замечая ни рукоплесканий, ни насмешек толпы, на лицах — ни малейшего признака слабости; несколько человек вырвались за шеренгу конвойных и были тут же убиты; остальных отвели в заключение. Никто из пленных не проронил ни одного недостойного слова, и слава, подобающая их мужеству, осталась, несмотря на унижение, незапятнанной. Луция Вителлия убили. Пороками равный брату, он с большей, чем брат, силой защищал его принципат и был больше ему помощником в дни падения, чем в дни счастья.

3. В это же время Луцилия Басса[3] отправили во главе летучих конных отрядов на усмирение Кампании, хотя города этой провинции больше ссорились между собой, чем бунтовали против власти принцепса. С появлением солдат всюду водворилось спокойствие, и мелкие города не понесли никакого наказания. В Капуе разрушили несколько лучших домов и разместили на зимние квартиры третий легион, а жители Таррацины[4] в возмещение понесенного ущерба не получили ничего: всегда легче воздать за зло, чем за добро; люди тяготятся необходимостью проявлять благодарность, но с радостью ищут случая отомстить. Единственным утешением была казнь принадлежавшего Вергилию Капитону раба, который выдал Таррацину врагу, о чем я уже рассказывал прежде[5], его распяли с тем самым кольцом[6] на пальце, которое он получил

от Вителлия и постоянно носил. В Риме тем временем сенат присвоил Веспасиану все почести и звания, полагающиеся принцепсу. Сенаторы преисполнились радостных надежд: гражданская война, которая вспыхнула в Галлии и Испании, перекинулась сначала в Германию, потом в Иллирию, наконец — в Египет, Иудею и Сирию, охватила все провинции и все армии, пронеслась по миру как очистительное пламя и теперь, казалось, близилась к концу. Прибавило радости и бодрости письмо Веспасиана, написанное так, будто все еще шла война. Таким оно казалось на первый взгляд, в главном же Веспасиан писал как настоящий принцепс, уделял внимание серьезным государственным делам, а о себе упоминал как о простом гражданине. Сенат, со своей стороны, проявил готовность ему служить: Веспасиан и сын его Тит получили звание консулов, Домициан стал претором с консульскими полномочиями[7].

4. Муциан тоже прислал сенату письмо, вызвавшее много разговоров. «Если мы имеем дело с простым гражданином, — рассуждали сенаторы, — то почему обращается он к сенату с официальным посланием? Разве не мог он несколькими днями позже сказать то же на словах? Запоздалые нападки на Вителлия тоже не слишком благородны, а хвастливые слова о том, будто он, Муциан, держал в своих руках императорскую власть и добровольно отдал ее Веспасиану, унизительны для государства и оскорбительны для принцепса». Впрочем, Муциана ненавидели тайно, а превозносили явно: после многословных восхвалений ему присудили триумфальные знаки отличия — как говорилось, за поход против сарматов, на самом деле — за победу в гражданской войне[8]. Консульские знаки отличия получил Прим Антоний, преторские[9] — Корнелий Фуск и Аррий Вар. Потом вспомнили и о богах и решили восстановить Капитолий. Все это одно за другим предлагал консул будущего года Валерий Азиатик[10], остальные лишь улыбками и жестами выражали одобрение. Немногие, либо занимавшие особо почетное положение, либо особо изощренные в лести, заявляли о своем согласии в тщательно составленных речах. Когда очередь дошла до претора будущего года Гельвидия Приска[11], он произнес речь, в которой, отдав должное заслугам нового принцепса, не сказал ни одного слова неправды. Выступление его вызвало во-

сторг сенаторов. Этот день стал для Гельвидия самым важным в жизни — с той минуты громкая слава и тяжкие беды сопутствовали ему повсюду.

5. Имя этого мужа встречается нам уже второй раз, и дальше о нем придется говорить еще чаще. Видно, сам ход повествования требует, чтобы здесь я остановился и сказал несколько слов о жизни, образе мыслей и судьбе Гельвидия Приска. Он родился в Карецинской области[12], в муниципии Клувиях, от отца примипилярия. Еще юношей посвятил он свои блестящие способности занятиям возвышенными науками[13] — не для того, чтобы, подобно многим, прикрывать громкими словами постыдное безделье, но дабы укрепить свой дух мужеством, очиститься от всего пустого и случайного и затем отдаться государственной деятельности. Он последовал за теми наставниками, которые учили, что единственное благо — честность, единственное зло — подлость, власть же, знатность и все прочее, постороннее душе человеческой, — не благо и не зло. Гельвидий только еще отбыл службу в должности квестора[14], когда Пет Тразея выбрал его себе в зятья; ценить свободу было главное, чему научил его тесть. Как гражданин и сенатор, как муж, зять и друг, он был всегда неизменен: презирал богатство, неуклонно соблюдал справедливость и не ведал страха.

6. Некоторые находили чрезмерным его стремление к славе — известно, что даже самым мудрым людям от честолюбия удается избавиться позже, нежели от других страстей. После гибели тестя[15] Гельвидия сослали, но при Гальбе он вернулся в Рим и выступил обвинителем Эприя Марцелла, по чьему доносу был обвинен Тразея. Стремление Гельвидия отомстить, то ли справедливое, то ли чрезмерное, разделило сенат; если осудить Марцелла, придется осудить толпы людей. На первых порах разгорелась страстная борьба, это видно по прекрасным речам обоих противников. Вскоре, однако, Гельвидий снял свое обвинение — многие сенаторы просили его об этом, да и Гальба непонятно за кого стоял. Люди всегда судят каждый на свой лад, и поступок Гельвидия вызвал самые разные толки: одни хвалили его за умеренность, другие порицали за недостаток настойчивости. В тот день, когда сенат признал Веспасиана верховным владыкой империи, было решено отправить к нему легатов. И тут между

Гельвидием и Эприем снова началась бурная ссора: Приск настаивал, чтобы принесшие присягу магистраты поименно назначили легатов, Марцелл поддерживал мнение консула будущего года — решить дело жребием.

7. Марцелл рьяно отстаивал это предложение, потому что защищал собственные интересы: если б его не назначили, все бы решили, что его считают хуже других. От колкостей противники постепенно перешли к длинным речам, полным взаимной ненависти. Гельвидий язвительно спрашивал, почему Марцелл так боится решения магистратов, ведь он богат, красноречив и превзошел бы многих кандидатов, если бы не шла за ним по пятам жгучая память о былых злодеяниях. Жребий не разбирает, кто хорош, кто дурен; голосование же и обсуждение потому и приняты в сенате, что можно ясно видеть, как человек живет и чего стоит. В интересах государства и из уважения к Веспасиану следует выслать ему навстречу тех, кого сенат считает самыми честными и благородными, от кого император услышит лишь достойные речи. Веспасиан был другом Тразеи, Сорана, Сентия[16]; может быть, сейчас и не время карать тех, кто выступал против этих мужей, но давать им почетное поручение тоже не следует. Посылая навстречу Веспасиану легатов, избранных сенатом, мы как бы указываем ему, кому надо доверять и кого опасаться. Добрые друзья — главная опора всякой справедливой власти. Довольно с Марцелла и того, что по его наущению Нерон погубил стольких невинных людей, пусть наслаждается полученными за это деньгами[17] и безнаказанностью, Веспасиана же пусть встретят те, кто честнее Марцелла.

8. Марцелл сказал, что все эти нападки направлены против предложения, которое внес не он, а консул будущего года, но которое, впрочем, основано на древних установлениях; согласно им, легатов назначали по жребию, дабы не оставить места честолюбию или личной вражде. «Не произошло ничего такого, чтобы считать древние установления устаревшими или позволять использовать почести, подобающие принцепсу, для унижения других. Достаточно выказать всеобщую покорность. Но более всего надо избегать рассердить принцепса, проявив упрямство именно сейчас, когда он еще не освоился, внимательно вглядывается во все лица и прислушивается ко всем речам. Я хорошо знаю, в какое время ро-

дился и какое государство создали наши отцы и деды. Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними условиями. Я молюсь, чтобы боги ниспослали нам хороших императоров, но смиряюсь с теми, какие есть. Тразея погиб не столько от моей речи, сколько по общему решению сената — Нерон любил тешить свою жестокость такого рода зрелищами, и дружба его была для меня не менее ужасна, чем изгнание для других[18]. Пусть Гельвидий равняется мужеством и доблестью с Катонами и Брутами[19]; я — всего лишь один из членов этого сената и пресмыкался и унижался вместе со всеми. Я даже дал бы Приску совет: пусть не ставит себя выше принцепса, не пытается навязывать Веспасиану свои мнения — он старик, триумфатор, отец взрослых детей. Плохим императорам нравится неограниченная власть, хорошим — умеренная свобода».

Противники яростно спорили; доводы их принимали поразному; победили те, кто настаивал на избрании легатов по жребию: ничем не замечательные сенаторы предпочитали не отступать от обычая, люди выдающиеся сочли за благо согласиться, опасаясь возбудить зависть, если окажутся избранными.

9. Вскоре возникла новая распря. Преторы, распоряжавшиеся казной (ибо в те времена казной еще ведали преторы)[20], пожаловались, что государственные денежные запасы оскудели, и потребовали принять постановление, ограничивающее расходы. Консул будущего года, напомнив, каких огромных денег требует управление империей и как трудно бороться с истощением казны, советовал предоставить решение дела принцепсу; Гельвидий же официально предложил, чтобы сенат сам принял постановление. Консулы уже приступили к опросу мнений, когда народный трибун Вулкаций Тертуллин воспользовался правом вето и запретил выносить решение в отсутствие принцепса. Гельвидий предложил далее, чтобы государство взяло на себя восстановление Капитолия, Веспасиан же пусть поможет. Наиболее благоразумные встретили предложение молчанием и вскоре о нем забыли. Кое-кто, однако, его запомнил.

10. Затем Музоний Руф напал на Публия Целера[21], утверждая, что тот своими ложными показаниями погубил Барею Сорана. Все понимали, что разбор этого дела грозит снова превратить сенат в арену взаимных нападок и раздоров, но

подлость и вина Целера были столь очевидны, что спасти его от расследования оказалось невозможным. Все чтили память Сорана, Целер же некогда обучал его философии, а после выступил против него свидетелем, предал и унизил то самое чувство дружбы, которое восхвалял так красноречиво. Разбор дела назначили на следующий день. Общее внимание привлекал, однако, не столько Музоний или Публий, сколько Приск, Марцелл и все другие, кто стремился мстить.

11. Между сенаторами царили раздоры, побежденные скрывали в душе злобу, победителей никто не уважал, законы не соблюдались, принцепс был далеко от Рима. Так обстояли дела, когда Муциан вступил в город и тотчас взял всю власть в свои руки. Он отстранил от дел Прима Антония и Вара Аррия, ненавидел их и старался, хоть и без большого успеха, скрыть ненависть за любезными словами. Однако столица привыкла без ошибки угадывать, кто в опале, — вся преданность и лесть тут же обратилась на Муциана. Он тоже знал, что делать: постоянно окружали его вооруженные солдаты, жил он каждый день в новом дворце, то и дело переходил из одного сада в другой; весь вид его, походка, всюду сопровождавшая его охрана показывали, что он-то и есть настоящий принцепс, хоть и не соглашается принять это звание. Больше всего страха вызвало убийство Кальпурния Галериана, сына Гая Пизона[22]. Он не давал никаких поводов для подозрений, но окруженное почетом знатное имя и молодость привлекали к нему симпатии простонародья. Город не успокоился еще, и люди жадно ловили любые новости; кто-то распустил бессмысленный слух, будто Галериан может стать принцепсом. Понимая, что убийство Кальпурния прямо в Риме будет слишком заметно, Муциан приказал взять его под стражу и отвезти по Аппиевой дороге[23] к сороковому мильному камню от города; там ему перерезали вены, и он умер от потери крови. Юлий Приск, бывший при Вителлии префектом преторианских когорт, наложил на себя руки — принудил его к этому только стыд. Алфен Вар остался жить после всех содеянных подлостей и глупостей. Азиатик был вольноотпущенник и смертью, достойной раба[24], заплатил за власть, которой так дурно пользовался.

12. В те же дни в городе все чаще стали говорить о великой беде, случившейся в Германии[25], впрочем, такие разговоры

не вызывали ни у кого особого огорчения. Граждане спокойно беседовали о гибели целых армий, о том, что противник захватил зимние лагеря легионов, о том, что галльские провинции готовы отпасть от империи. Теперь мне следует вернуться назад, дабы рассказать о причинах, породивших эту войну, и о племенах, как чужих, так и союзных Риму, которые оказались ее участниками. Батавы до переселения за Рейн составляли часть народа хаттов[26]; из-за внутренних распрей переселились они на самую отдаленную часть галльского побережья, где в ту пору не было еще оседлых жителей, а также заняли расположенный поблизости остров, омываемый с одной стороны морем Океаном, а с других — Рейном. Ни богатство и могущество Рима, ни союз с другими племенами не укротили их, и они до сей поры поставляют империи только воинов и оружие. Закаленные в войнах с германцами, батавы приумножили свою славу, сражаясь в Британии[27], — туда перебросили несколько их когорт, которыми по старинному обычаю командовали воины, происходившие из самых знатных родов. Еще у себя дома начали они проводить наборы в конные войска, прославленные больше всего искусством переплывать реки: отряды батавов с оружием в руках переплывали Рейн, не сходя с коней и не нарушая строя.

13. Среди батавов выделялись Юлий Цивилис и Клавдий Павел, оба царского рода. Павла Фонтей Капитон[28] казнил по ложному обвинению в бунте. Цивилиса же заковали в цепи и отправили к Нерону. Гальба освободил его, при Вителлии над ним снова нависла угроза гибели, ибо армия настойчиво требовала его казни. Все это озлобило Цивилиса, и он затаил в душе надежду использовать наши неудачи — и отомстить Риму. Однако Цивилис был умнее, чем большинство варваров; он даже считал себя достойным равняться с Серторием и Ганнибалом, ибо лицо его было так же обезображено, как у них[29]. Открыто выступив против римлян, Цивилис рисковал попасть под удар римских армий; он это понимал и решил принять участие в гражданской войне, прикинувшись сторонником Веспасиана. Ему тем удобнее было это сделать, что он получил еще раньше письменное распоряжение Прима Антония[30] — вызвать волнения германских племен и тем задержать легионы, расположенные в этих провинциях. Того же добивался и Гордеоний Флакк, когда встречался с Цивили-

сом; Флакк все больше склонялся на сторону Веспасиана, его тревожила судьба государства, которому грозила гибель, если гражданская война вспыхнет с новой силой и тысячи вооруженных солдат хлынут в Италию.

14. Цивилис решился на восстание, но счел за благо до времени не открывать, как далеко простираются его замыслы; он рассчитывал, что по ходу событий видно будет, как действовать дальше, а пока действовал так. По приказу Вителлия проводился в это время набор батавских юношей в армию. Дело это и без того нелегкое, да к тому же люди, которым его поручили, были жадны и порочны. Они брали стариков и увечных, потом отпускали за выкуп, принуждали к разврату красивых мальчиков, благо почти все подростки в этой стране статны и рослы. Батавы пришли в ярость; зачинщики готового вспыхнуть бунта убедили их не давать рекрутов. Цивилис пригласил в священную рощу знатных людей своего племени и самых мятежных из простонародья якобы для того, чтобы угостить ужином. Когда веселый ночной пир разгорелся, разгорелись и страсти; Цивилис начал говорить — сперва повел речь о славе своего племени, потом об оскорблениях и насилиях, которые приходится сносить батавам под властью Рима. «Некогда были мы союзниками, — говорил Цивилис, — теперь с нами обращаются как с рабами. Давно прошло время, когда правили у нас присланные из Рима легаты. Они приезжали с огромной свитой, были спесивы, но еще хуже префекты[31] и центурионы, во власть которых отданы мы теперь. Каждый из них старается награбить как можно больше, а как напьется досыта нашей крови, его отзывают и присылают на его место другого, и этот опять придумывает уловки и причины для вымогательства. Теперь обрушили на нас набор: подобно смерти, похищает он сына у родителей и брата у брата. А ведь дела римлян никогда еще не были так плохи; в зимних лагерях у них — одни старики да награбленная добыча. Поднимите же головы, оглянитесь окрест, полно дрожать при звуке громких имен римских легионов. Наше пешее и конное войско могуче, германцы нам братья, галлы хотят того же, что мы; даже для римлян война не бесполезна. Разобьют вас — скажем, что действовали по приказу Веспасиана, а у победителей никто объяснений не потребует».

15. Цивилиса слушали с большим сочувствием, он тут же связал их обрядами и заклятиями, что полагаются у варваров в таких случаях. К каннинефатам[32] отправили послов уговорить поддержать затеваемое дело. Племя это похоже на батавов по происхождению, языку и доблести, но по числу меньше; каннинефаты занимают часть острова, о котором я уже рассказывал. Цивилис тайно привлек на свою сторону приданные британским легионам батавские когорты, которые были, как я говорил, переведены в Германию и находились в это время в Могунциаке[33]. Среди каннинефатов большой известностью пользовался человек по имени Бриннон; он происходил от знатных родителей и отличался безграничной, хоть и бестолковой храбростью. Отец его много раз восставал против римлян и в свое время отказался принимать участие в смехотворных походах императора Гая[34], и при этом сумел избежать наказания. Слава этой мятежной семьи привлекала к Бриннону соплеменников. Каннинефаты поставили его на большой щит и подняли на плечи; Бриннон стоял, слегка покачиваясь, высоко над головами; это значило, что Бриннона выбрали вождем племени. Он тотчас договорился с живущим за Рейном племенем фризов[35], и вместе устремились они к зимним лагерям двух когорт, вблизи берега Океана. Солдаты не ожидали нападения, да если бы и ожидали, все равно не справились бы с противником, ибо их было слишком мало. Итак, лагерь взят и разграблен, варвары бросились преследовать и убивать римских торговцев и обозных слуг; те считали, что время мирное, и разбрелись по всей округе. Нависла угроза и над другими укреплениями. Префекты когорт, видя, что их не защитить, распорядились сжечь их. Солдаты, когорты и отдельные отряды собрались в возвышенной части острова под командованием примипилярия[36] Аквилия. То была армия более по названию, чем по силе. Вителлий еще прежде вызвал из расположенных здесь когорт всех лучших воинов и заменил их нервиями[37] и германцами, набранными по окрестным селам; их было мало, и они тяготились службой.

16. На первых порах Цивилис предпочитал действовать хитростью. Он обрушился на префектов с обвинениями, укоряя их в том, что они бросили доверенные им укрепления, уговаривал каждого вернуться в зимний лагерь и обещал, что

сам со своей когортой подавит мятеж каннинефатов. Римляне, однако, разгадали коварный замысел, скрытый за его советами. Цивилис хотел, чтобы когорты разошлись по своим лагерям, там ему легче было бы уничтожить их поодиночке. Все яснее становилось, что не Бриннон, а как раз Цивилис командует восставшими; германцы же, как всегда радостно возбужденные войной, и вовсе перестали скрываться. Цивилис понял тогда, что хитростью немногого добьешься, и стал действовать силой. Расположил каннинефатов, фризов и батавов тремя клиньями, острия которых сходились у Рейна, в том месте, куда после пожара наших укреплений были сведены римские корабли. Едва начался бой, тунгры перекинулись на сторону Цивилиса; союзники и враги вместе набросились на ошеломленных изменой солдат и всех перебили. Столь же коварны оказались и варвары, бывшие на кораблях. Среди гребцов было немало батавов, они прикинулись неумелыми, не давали матросам и солдатам делать, что задумано, повернули суда кормой к берегу, занятому врагами, и, наконец, перебили рулевых и центурионов, которые не соглашались перейти на их сторону. Вскоре в руках врагов оказались все двадцать четыре судна, составлявшие наш флот; одни были захвачены, другие сдались.

17. Эта победа не только прославила батавов на сей день, но и потом принесла им немало. Они захватили оружие и корабли, которых им так не хватало, в землях Германии и Галлии славили их как освободителей. Германцы тотчас прислали послов, предлагая помощь, галльские племена Цивилис старался склонить на свою сторону подарками и разного рода хитростями. Префектов побежденных когорт отправил он обратно в их племена, солдатам же разрешил выбрать — оставаться или разойтись по домам; тем, кто останется, обещал повышение по службе, тем, кто возвращался домой, — захваченные у римлян трофеи. С галлами вел он тайные переговоры, уговаривал их сбросить наконец многолетнее рабство, что зовется лицемерно мирною жизнью. «Батавы освобождены от податей, — говорил он галлам, — и все-таки мы взялись за оружие. Мы поднялись против наших общих угнетателей и в первом же бою добились победы. Почему же галлы не сбросят с себя иго римлян? Много ли осталось их в Италии? Ведь провинции они удерживают под своей властью

лишь с помощью самих же провинциалов. Сейчас совсем не то, что при Виндексе. Тогда эдуев и арвернов[38] разгромила батавская конница, во вспомогательных отрядах Вергиния дрались белги, — воистину выходит, что Галлию победили сами же галлы. Теперь мы идем все заодно, мы набрались боевого опыта, многому научились в римских лагерях, за мной идут когорты ветеранов, что только недавно нанесли поражение легионам Отона[39]. Пусть Сирия, Азия, весь Восток, привыкший сносить власть царей, пребывает и дальше в рабстве — в Галлии живы еще многие люди, которые родились до того, как вы начали платить подати[40]. Недавно мы убили Квинтилия Вара и избавили Германию от рабства; мы дерзнули бросить вызов не принцепсу Вителлию, а самому Цезарю Августу. Свободой природа наделила даже бессловесных скотов, доблесть же — благо, данное лишь человеку, и сами боги помогают доблестному. Пусть же обрушимся мы, свободные, на них, запутавшихся, бодрые — на ослабевших. Пока одни воюют за Веспасиана, а другие — за Вителлия, мы можем избавиться и от тех, и от других». Такими речами старался Цивилис подготовить свое господство в галльских и германских землях. Если бы удалось ему осуществить свой замысел, стал бы он верховным владыкой этих могучих и богатых народов.

18. Флакк Гордеоний сначала делал вид, будто не замечает, что творит Цивилис, дал ему время раскрыть свои намерения. Когда же перепуганные гонцы принесли ему весть, что батавы взяли лагеря, разгромили когорты и изгнали римлян со своего острова, Флакк приказал легату Мунию Луперку, который возглавлял зимние лагеря двух легионов, выступить на врага. Луперк тут же собрал легионеров, убиев, которые жили рядом с лагерем, и конницу тревиров — она стояла неподалеку — и переправил всех на остров, да еще отряд батавской конницы. Эти батавы давно уже решили изменить римлянам, но надеялись принести своим больше пользы, перейдя на их сторону прямо на поле боя. Цивилис велел окружить себя значками разбитых когорт, чтобы внушить врагам ужас и напомнить о только что понесенном поражении, а своим воинам — о недавно одержанной славной победе. Позади армии Цивилис приказал поставить жен и малых детей, собранных со всего племени, в их числе — свою мать и сестер,

чтобы воодушевляли воинов на победу и служили укором в случае поражения. Пение мужчин, вопли женщин зазвенели по рядам, легионы и когорты отвечали слабо, неуверенно. Еще до начала сражения открытым оказался левый фланг римской армии: батавские конники перешли к своим, и Цивилис тотчас же послал их в атаку. Легионерам было трудно, однако они сумели сохранить строй и не бросили оружия. Зато убии и тревиры из вспомогательных отрядов позорно разбежались по всей округе. Германцы бросились их преследовать, и легионы смогли отступить в лагеря, известные под названием Старых. Префекта батавской конницы Клавдия Лабеона, что еще у себя в племени соперничал с Цивилисом, увезли в земли фризов; Цивилис понимал: убийство Лабеона навлечет на него ненависть соплеменников, а пока Лабеон жив, сохраняется повод для раздоров.

19. Около того же времени вестник Цивилиса нагнал на дороге когорты батавов и каннинефатов, что шли по приказу Вителлия к Риму. Солдаты тотчас же начали грубить командирам, нагло требовали награды за проделанный поход, удвоения жалованья, увеличения числа конных воинов[41]. Вителлий в самом деле обещал им все это, но сейчас они начали домогательства не для того вовсе, чтобы получить обещанное, а чтобы найти повод для мятежа. Флакк согласился на многие их требования и достиг лишь того, что батавы и каннинефаты принялись требовать того, что, как они заведомо знали, сделать невозможно. Они отказались подчиняться Флакку и двинулись в Нижнюю Германию, дабы присоединиться к Цивилису. Гордеоний созвал трибунов и центурионов и стал советоваться, следует ли силой принудить воинов к повиновению. Флакк был трус от рождения: командиры его не доверяли ни солдатам вспомогательных войск, которые явно что-то замыслили, ни своим наспех набранным легионам[42]; наконец решили оставить войска в лагерях. Вскоре, однако, Флакк раскаялся в этом решении, и те самые люди, которые еще недавно уговаривали его не трогаться с места, стали теперь упрекать его в бездеятельности. Гордеоний сделал вид, будто собирается выступить, и написал Гереннию Галлу, легату первого легиона, который стоял в Бонне, чтобы напал на батавов, когда будут они проходить мимо, и сообщил при этом, что сам идет по следам мятежных когорт и

готов обрушиться на них с тыла. Если бы Флакк и Галл в самом деле двинули свои войска и с двух сторон напали на противника, батавы были бы разбиты. Но Гордеоний снова передумал и послал Галлу еще одно письмо, в котором убеждал его не мешать движению мятежников. Солдаты тогда заподозрили, что легаты нарочно тянут время и дают мятежу разрастись. Отныне и прошлые события, и все, что случилось далее, принялись объяснять не бездеятельностью солдат или мощью противника, а только лишь коварством полководцев.

20. Дойдя до Боннского лагеря, батавы отправили к Герен-нию Галлу своих послов с требованиями когорт. Послы объяснили, что батавы не считают себя врагами римлян, они ведь долго сражались в их рядах, но устали от длительной бесплодной службы и мечтают только о том, чтобы вернуться на родину и отдохнуть; они не тронут никого, если им дадут идти своей дорогой, но, если кто помешает, батавы сумеют силой проложить себе путь. Легат медлил с ответом, но солдаты рвались в бой, и он пошел на риск и принял сражение. Три тысячи легионеров, наспех собранные белгские когорты[43], толпы местных крестьян и обозных слуг, трусливых и жалких в сражении, но хвастливых и дерзких, пока оно не началось, хлынули из всех ворот лагеря в надежде подавить противника числом. Опытные в боях батавы построились клиньями, сплотили ряды и оказались неуязвимы со всех сторон — спереди, с боков и с тыла. Клинья устремились вперед, прорвали тонкие линии наших войск. Увидев, что белги не выдержали натиска, легионеры тоже дрогнули и бросились в беспорядке к лагерю. Больше всего народу погибло перед его воротами и под валами; рвы заполнили трупы; люди умирали не только под ударами противника, не только от ран — в смятении они давили друг друга, натыкались на свои же дроты. Одержав победу, батавы двинулись дальше, в обход Агриппиновой колонии. По пути они больше ни разу ни на кого не нападали. О битве под Бонной они говорили, что римляне не согласились на их мирные требования и тем заставили прибегнуть к оружию.

21. Когорты ветеранов присоединились к Цивилису, и теперь у него была настоящая армия. Но он все еще колебался, не решался открыто выступить против римлян. Цивилис

привел всех своих людей к присяге Веспасиану и послал послов в оба легиона — они после недавнего неудачного сражения заперлись в Старых лагерях, предложил последовать его примеру. Вскоре он получил ответ: «Мы не принимаем советов ни от изменников, ни от врагов. У нас один принцепс — Вителлий. Ему мы останемся верны, за него будем биться до последнего вздоха. Не перебежчику-батаву решать за римлян, что им следует делать, пусть лучше ожидает заслуженного наказания за свои преступления». Цивилису прочли этот ответ, и он пришел в неописуемую ярость. Все племя батавов взялось по его приказу за оружие, к ним присоединились бруктеры и тенктеры[44], разосланные по всей Германии гонцы звали народ к восстанию, обещая добычу и славу.

22. Опасность надвигалась со всех сторон, и легаты легионов Муний Луперк и Нумизий Руф принялись укреплять валы и стены лагеря. За долгие годы мирной жизни вокруг лагеря вырос целый поселок; его снесли, дабы враг не мог воспользоваться постройками. Но не подумали вовремя о том, чтобы свезти в лагерь побольше продуктов: солдатам разрешили силой отбирать у жителей продовольствие, и запасы, которых могло бы хватить надолго, оказались уничтоженными в несколько дней. В центре наступающей армии шел сам Цивилис с главными силами батавов; желая устрашить противника, густыми толпами высыпали на оба берега Рейна германцы; по приречным лугам носились всадники; вверх по течению двинулся флот. Осажденные не понимали, что происходит: на них глядели значки старых римских когорт и рядом — изображения диких зверей, которые здешние племена обычно хранят в лесах и священных рощах, а идя в битву, несут перед собой; гражданская война слилась с войной против варваров. Осаждающие надеялись, что непомерная длина валов тоже послужит им на пользу. Лагерь строился с расчетом на два легиона, а теперь его защищали едва пять тысяч римлян да толпа торговцев и обозных слуг, что сбежались сюда, как только начались приготовления к бою.

23. Часть лагеря лежала на пологом склоне холма, часть на равнине. Август создал его, рассчитывая, что здесь постоянно будут жить легионеры, наблюдать за германскими провинциями и подавлять малейшее сопротивление; не мог он

предполагать, что настанет день, когда за этими валами придется выдерживать осаду нашим войскам. Полностью положившись на доблесть солдат и силу оружия, римляне и не подумали выбрать для лагеря менее доступное место или обнести его дополнительными укреплениями. Батавы и зарейнские племена[45] расположились поодаль друг от друга, чтобы виднее было, кто проявит больше мужества. Сначала они издали обстреливали лагерь; однако почти все их стрелы попадали в башни и зубцы стен, сами же варвары гибли под градом сыпавшихся сверху камней. Тогда нападающие, оглашая воздух криками, бросились на штурм. Одни карабкались вверх по приставным лестницам, другие — по спинам построившихся черепахой товарищей. Еще немного — и многие добрались бы до вершины вала. Но варвары хорошо сражаются лишь поначалу, пока дело идет на лад; к тому же они слишком положились на счастье, сопутствовавшее им последнее время; варвары наткнулись на щиты и мечи легионеров, покатились обратно в ров, где их настигали летевшие с вала копья и заостренные колья. Но жажда добычи заставила их забыть о неудаче, они даже решились попробовать применить осадные орудия, столь им непривычные. Сами они этого дела не знают, но перебежчики и пленные помогли изготовить грубый помост на колесах, который передвигали, подталкивая сзади. Стоявшие на помосте воины поражали противника сверху; те, что спрятались под помостом, подкапывали под его защитой стены. Римляне обстреляли нелепое сооружение камнями из баллисты и разрушили его. И тотчас же из метательных орудий обрушили на варваров, занятых плетением фашин[46] и подготовкой защитных навесов, огромные зажигательные стрелы. Вспыхнуло пламя и все ближе подбиралось к нападающим. Варварам пришлось отказаться от мысли взять лагерь штурмом, они решили взять его измором. Цивилис знал, что продовольствия осажденным хватит всего лишь на несколько дней, что лагерь полон людей, неспособных носить оружие, и возлагал надежду на предательство измученных голодом солдат, на непостоянство рабов и случайности войны.

24. Тем временем Флакку сообщили, что мятежники осадили лагерь и разослали по галльским провинциям доверенных людей, которые пытались набрать войска на помощь

восставшим. Флакк выбрал лучших солдат и передал их легату двадцать второго легиона Диллию Вокуле, дабы он двинулся большими переходами, сколь можно быстрее берегом Рейна, сам же на кораблях отправился следом; он был болен[47], солдаты его ненавидели; разговоры в войске становились все более угрожающими. Флакк выпустил из Могунциака батавские когорты, он скрыл от всех, что Цивилис готовит мятеж и привлекает на свою сторону германцев. «Ни Прим Антоний, ни Муциан, — говорили они, — не оказали Веспасиану большей помощи. Если бы Флакк действовал открыто, с оружием в руках, мы могли бы так же открыто дать ему отпор, но хитрость и коварство тем и опасны, что не знаешь, откуда приходится ждать нападения. Цивилис перед нами, он строит свои войска для битвы, а Гордеоний лежит в постели и шлет из опочивальни приказы, полезные лишь врагу. Здоровые, храбрые, хорошо вооруженные люди подчиняются хилому старику, и он в приступах болезни сегодня хочет одного, завтра — другого. Не довольно ли? Не пора ли восстать против злой нашей судьбы и покончить с изменником?» От подобных разговоров солдаты ярились, прибывшее письмо Веспасиана разъярило их еще больше. Флакк не смог скрыть письмо, прочел его на сходке, арестовал доставивших его флавианцев и в цепях отправил к Вителлию.

25. Тогда армия успокоилась и благополучно прибыла в Бонну, где были зимние лагеря первого легиона. Солдаты, что стояли здесь, еще сильнее ненавидели Гордеония; так как считали, что он виновен в их поражении: по его приказу они выступали против батавов, надеясь на идущие из Могунциака легионы, подкрепления не пришли, и их товарищи жизнью заплатили за эту измену. Флакк скрыл случившееся от остальных армий и от императора; с помощью собранных по провинциям ополчений он легко мог бы подавить вспыхнувший мятеж. Услыхав такие разговоры, Гордеоний обнародовал письма, которые отправил в Британию, в галльские и испанские провинции, с просьбами о помощи. Письма были переданы знаменосцам легионов, и солдаты смогли прочитать их прежде командиров; так Гордеоний положил начало скверному обычаю, что существует и поныне. Затем он приказал схватить одного из бунтовщиков, не потому, что считал его одного виноватым, а чтобы показать свою власть. Из

Бонны армия двинулась в Агриппинову колонию; по дороге к ней присоединялись многочисленные вспомогательные отряды из Галлии и на первых порах оказали римлянам большую помощь. Вскоре, однако, узнав о победах германцев, большинство галльских племен поднялись против нас в надежде завоевать свободу, а если удастся, то и захватить власть над другими. Злоба легионеров росла, арест одного человека нисколько их не испугал. Сам заключенный к тому же уверял, будто был посредником между Цивилисом и Флакком и будто Флакк потому и возводит на него ложные обвинения, что хочет избавиться от свидетеля. Вокула проявил редкое самообладание. Он поднялся на трибунал, приказал вывести арестованного и казнить, несмотря на его вопли. Смутьяны пришли в ужас, настоящие солдаты стали подчиняться приказам. Армия в один голос требовала передать командование Вокуле, и Флакк уступил настоянию.

26. Однако солдаты по-прежнему склонялись к мятежу, полные страха и озлобления. Не хватало денег, не хватало провианта, галльские провинции противились взиманию податей и набору рекрутов, из-за засухи, невиданной дотоле в тех местах, Рейн обмелел, суда едва могли двигаться; изыскивать и доставлять продовольствие становилось все труднее: чтобы не дать германцам перейти реку вброд, по берегам ставили заставы, ртов стало больше, а еды меньше. Люди, не привыкшие к трудностям, самую засуху считали небесным знамением, говорили, что даже реки, испокон века ограждавшие империю, отказываются служить нам. В том, что в мирное время считалось естественным или случайным, видели теперь перст судьбы и гнев богов.

Войска перешли в Новезий[48], соединились с шестнадцатым легионом; Вокула передал часть своих обязанностей легату Гереннию Галлу. Полководцы не решались выступить и, отведя армию к тринадцатому мильному камню от Новезия, разбили лагерь у места, называемого Гельдуба. Здесь занялись строевыми учениями, сооружением и восстановлением валов и прочими воинскими упражнениями, что укрепляют боевой дух армии. Вокула решил дать солдатам пограбить, чтобы возбудить их воинский пыл, и повел часть войск в земли племени кугернов[49], что держали руку Цивилиса. Остальные остались на месте под командованием Геренния Галла.

27. Случилось так, что в это самое время один из кораблей, везших зерно, сел на мель недалеко от лагеря[50]. Пока матросы суетились, пытаясь сдвинуть судно с места, германцы стали тянуть его к своему берегу. Галл не стерпел подобной наглости и отправил на помощь кораблю когорту солдат, к германцам тоже подоспела поддержка, подкрепления шли с той и с другой стороны, и вскоре началась настоящая битва. Германцы нанесли нам тяжелый урон и захватили корабль. Как повелось в те поры, солдаты сочли причиной поражения не собственную трусость, а вероломство легата. Его выволокли из палатки, избили, разорвали на нем одежду, требовали, чтобы признался, сколько денег получил за предательство и кто ему помогал. Проснулась и старая ненависть к Гордеонию; солдаты уверяли, будто он подстроил поражение, а Галл выполнял его волю. Под угрозой смерти легат, исполненный страха, обвинил Гордеония в измене и подтвердил, что действовал по его приказу. Галла заковали в цепи и освободили только после возвращения Вокулы, который на следующий день по прибытии в лагерь казнил зачинщиков бунта. Так армия эта постоянно колебалась между мятежным своеволием и тупой покорностью. Рядовые солдаты сохраняли верность Вителлию, в этом не может быть сомнений; полководцы же склонялись на сторону Веспасиана. Оттого и сменяли друг друга мятежи и казни, вспышки ярости и покорность, а командиры то и дело наказывали солдат, ибо не могли удерживать их в повиновении обычными средствами.

28. Между тем германцы скрепили союз с Цивилисом, выдав заложниками самых знатных своих людей, и теперь воины, оружие и деньги в несметных количествах стекались к нему со всех концов страны. Тем германцам, что жили неподалеку от убиев и тревиров, он приказал пройти огнем и мечом земли этих племен[51], другим отрядам велел переправиться через реку Мозу, вторгнуться в пределы соседних менапиев и моринов[52] и разграбить пограничные поселения галлов. И тут и там германцы захватили много добычи, но с особой яростью обрушились они на убиев, ибо племя это, германское по происхождению, отреклось от родного народа и приняло римское имя агриппинов. Когорты убиев, полагая, что находятся достаточно далеко от побережья, расположились в деревне Маркодуре, не приняв никаких мер предо-

сторожности, и ополченцы Цивилиса внезапно напали и перебили их. Убии не примирились с поражением. Стремясь захватить побольше добычи, они ринулись в Германию, где на первых порах безнаказанно грабили, пока наконец германцы не окружили и не уничтожили их всех. В эту кампанию убии прославились скорее верностью Риму, чем удачами в боях. После разгрома убиев Цивилис чувствовал себя полновластным хозяином, с каждым успехом наглел все больше и наконец решил, что настало время расправиться с запершимися в лагере легионами. Он велел усилить караулы, дабы никто не мог тайно проникнуть в лагерь и рассказать, что на помощь осажденным идут войска. Батавам Цивилис поручил вести земляные работы и готовить осадные машины, а зарейнские племена, которые так и рвались в бой, бросил на штурм вала. Атака была отбита, но Цивилис приказал германцам снова идти на приступ, благо племена эти были столь многочисленны, что не замечали потерь.

29. Наступила ночь, но битва не кончилась. Нападающие сваливали в кучи стволы деревьев, устраивали огромные костры и тут же садились есть и пить. Опьяненные вином, они с бессмысленной отвагой бросались в бой и в темноте метали копья, не принося противнику никакого вреда. Сами же варвары, освещенные огнем костров, были, напротив того, хорошо видны римлянам, и они поражали на выбор всякого, кто привлекал их внимание храбростью или блеском боевого убора. Тогда Цивилис приказывает загасить костры и в темноте уничтожить противника. В нестройном грохоте битвы нельзя понять, кто погиб, а кто еще продолжает сражаться, куда наносить удары и откуда их ждать. Воины бросаются то в одну, то в другую сторону — туда, откуда слышится шум, и давка становится еще ужаснее. Храбрость не дает преимущества, бессмысленный случай царит надо всем, и мужественные воины сплошь да рядом падают под ударами трусов. Германцами правит одна лишь безрассудная ярость. Римские солдаты, привыкшие к опасностям, рассчитанно и метко поражают их окованными железом кольями, обрушивают на них огромные камни. Заслышав шум подкопа, завидев приставленные к валам лестницы, римляне бросаются на врага, отталкивают щитами, засыпают дротами, поражают кинжалами тех, кто успел вскочить на стену. Так

прошла ночь. С наступлением дня сражение приняло другой облик.

30. Батавы выстроили двухпалубную башню и подкатили к преториевым воротам[53], туда, где было ровнее. Осажденные выставили навстречу крепкие колья; ударами бревен они разбили башню, многих воинов, что стояли на ее площадках, убили, а потом внезапной вылазкой ошеломили противника. Тем временем легионеры, превосходившие батавов опытом и воинским искусством, тоже соорудили множество машин. Ужас наводил на варваров длинный гибкий рычаг, он внезапно опускался на строй противника, выхватывал одного или нескольких человек и, взмыв под действием противовесов, перебрасывал захваченных на глазах товарищей за стены лагеря[54]. Видя, что лагерь штурмом не взять, Цивилис решил вернуться к осаде, ибо она не требовала от армии никаких усилий. В то же время он подсылал к легионерам гонцов и, не скупясь на посулы и обещания, старался склонить их к измене.

31. Все это происходило в Германии еще до Кремонской битвы. Об исходе ее легионы узнали из письма Прима Антония, к которому был приложен эдикт, подписанный Careциной[55], а префект одной из разбитых когорт Альпиний Монтан[56] рассказал, как обстояли дела борющихся партий. Солдаты по-разному приняли новости. Набранные в Галлии вспомогательные войска служили неохотно, не испытывали ни любви, ни ненависти ни к одной из враждующих сторон; они сразу же поддались на уговоры префектов и отложились от Вителлия. Ветераны долго колебались, а когда наконец согласились присягнуть новому императору, то всячески показывали, что делают это, лишь подчиняясь приказу Гордеония и настояниям трибунов. Они отчетливо выговаривали слова присяги, пока не доходили до имени Веспасиана — тут одни бормотали вполголоса, другие и вовсе замолкали.

32. Антоний прислал Цивилису письмо — обращался к нему как к другу и союзнику, а о германской армии говорил враждебно. Письмо прочитали на сходке[57], и оно вызвало у солдат недовольство и подозрения. Так встретили сообщения о случившемся в лагерях под Гельдубой. Монтану поручили отправиться к Цивилису и требовать, чтобы он перестал вести войну против Рима, оправдывая ее лживыми предлога-

ми; ибо если и вправду взялся он за оружие, лишь чтобы помочь Веспасиану, то дело уже сделано. Выслушав легата, Цивилис начал было хитрить да лукавить, но, видя, что Монтан — человек резкий, горячий и готов поступить весьма решительно, стал говорить о страданиях и опасностях, которые двадцать пять лет терпел в римских лагерях. «За все, что пришлось мне вынести, — продолжал Цивилис, — получил я достойную награду: пережил гибель брата[58], арест и кандалы, слышал, как вопили солдаты, требуя моей казни; у меня есть законное право мстить. Ну а вы, тревиры, рабские души, какой награды ждете вы за пролитую кровь? Одна лишь изнурительная служба ждет вас, бесконечные поборы, порки, казни, подчинение прихотям ваших хозяев. Я всего лишь префект одной когорты, каннинефаты и батавы — лишь ничтожная часть народа галлов, и вот мы стерли с лица земли их нелепые огромные лагеря, зажали их в кольцо железа и голода. Если наберемся мужества и поднимемся на врага, приведем свободу на наши земли, если же разобьют нас, все останется как теперь, хуже не будет». Цивилис заронил своей речью сомнения в душу легата и отпустил его, приказав, однако, выразиться помягче, когда станет передавать римлянам их разговор. Возвратясь, Монтан сказал только, что посольство было неудачным; но вскоре то, что он старался сохранить в тайне, вырвалось наружу.

33. Оставив при себе часть войск, Цивилис поручил Юлию Максиму и сыну своей сестры Клавдию Виктору командовать когортами ветеранов, прибавил к ним самых храбрых воинов-германцев и приказал выступить против армии Вокулы. По дороге в Асцибургий[59] они захватили и разграбили зимние лагеря конного отряда. Батавы и германцы налетели на лагерь столь неожиданно, что Вокула не успел ни обратиться к солдатам с речью, ни построить армию для боя; у него едва хватило времени распорядиться, чтобы стоявшие под значками легионеры заняли центр лагеря. Сразу же были смяты вспомогательные отряды, конница наша вырвалась было вперед, но разбилась о строй наступавшего противника и в беспорядке бросилась назад, давя и опрокидывая своих. После этого битва превратилась в резню. Когорты нервиев, то ли по трусости, то ли по вероломству, открыли фланги римской армии, наступающие устремились на легионеров; легионеры

побросали значки, кинулись к валу, но и там падали под ударами варваров. Неожиданно на поле боя появились новые войска, и ход сражения круто изменился. Когорты васконов, набранные еще Гальбой[60], были вызваны в Германию и теперь приближались. Они услышали шум битвы и с тыла налетели на увлеченных наступлением варваров, в рядах их началось смятение; васконы по своей малочисленности никак не могли надеяться на такое: одни решили, что на помощь осажденным прибыли войска из Новезия, другие — что из Могунциака, но никто не сомневался, что явилась целая армия. Это вдохнуло бодрость в римских солдат; рассчитывая на чужие силы, они сумели собрать свои. Лучшие воины-батавы, сражавшиеся в пешем строю, были убиты, конники ускакали, захватив значки и пленных, взятых в начале сражения. По числу убитых потери нашей армии были в тот день больше, но мы лишились плохих солдат, а германцы оставили на поле боя цвет своего воинства.

34. Оба полководца равно были виноваты в случившемся — и тот и другой заслужили поражение и не были достойны победы. Если бы Цивилис выставил больше войска, он взял бы и уничтожил лагерь, он же позволил нескольким когортам окружить свою армию. Вокула не предвидел приближения врага и поэтому был побежден, едва показавшись на поле боя; затем, недостаточно уверовавши в свою победу, он попусту провел в лагере несколько дней и только потом двинулся на врага; а если бы он не терял времени и тут же бросился преследовать противника, то мог бы тем же ударом вызволить легионы[61] из осады. Тем временем Цивилис всячески старался подействовать на осажденных и показать, будто победа уже на его стороне и римлянам надеяться не на что. На виду лагеря выставили захваченные значки когорт и вымпелы, перед валом проводили пленных. Один из них совершил героический подвиг: громко крикнул осажденным, что́ было на самом деле[62], и тут же пал, пронзенный мечами германцев, — ярость, с которой враги набросились на смельчака, лишь подтвердила справедливость его слов. В то же время осажденные услышали шум, увидели зарево пожаров и поняли, что на помощь им спешит победоносная армия. В виду лагеря Вокула остановил свои войска, велел составить в одно место значки когорт, обвести это место валом и окружить

рвом; он хотел, чтобы солдаты оставили поклажу в безопасном месте и сражались налегке. Армия зашумела, солдаты привыкли разговаривать с полководцами языком угроз и требовали, чтобы их тотчас вели в бой. Цивилис был, видно, прав, рассчитывая не только на мужество своих, но и на распущенность противников: не успев построиться, усталые солдаты беспорядочной толпой бросаются на врага; боевое счастье улыбается то римлянам, то варварам, особенно трусят как раз те, кто кричал больше всех. Но некоторые римляне, одушевленные недавно одержанной победой, отстаивают каждую пядь земли, наносят врагу удар за ударом, подбадривают товарищей и самих себя. Вот они уже снова стоят крепким строем, машут тем, кто на стенах, приглашая их тоже не терять времени. Осажденные все видели и все поняли — они распахивают ворота лагеря и устремляются в битву. Случилось так, что конь Цивилиса упал и сам он оказался на земле. Тотчас по обеим армиям разнеслась молва, что он ранен или убит. Не рассказать, в какой ужас повергла эта весть варваров и какой прилив бодрости вызвала у наших солдат. Вокула, однако, не стал преследовать противника и занялся надстройкой валов и башен[63], словно лагерю могла угрожать новая осада, и тем свел на нет свою победу. Видно, не зря подозревали, что война привлекала его больше, нежели ее исход.

35. Ничто так не удручало наши войска, как недостаток продовольствия. Обозы легионов и всех, кто не был способен сражаться, отправили в Новезий за зерном, поручив доставить в лагерь продовольствие по суше — река по-прежнему была в руках противника. В первый раз — Цивилис в это время был еще не совсем здоров — поход кончился благополучно. Потом в Новезий отправились за продовольствием во второй раз; Цивилис узнал, что солдаты ведут себя так, будто никакой войны нет и кругом царят мир и спокойствие: значки почти не охраняют, оружие сложено на повозки, все разбрелись куда глаза глядят. Цивилис выслал заставы к мостам и в места, где дороги особенно узки и опасны, а сам построил войска и напал на римлян. Битва развернулась по всей длине колонны и шла с переменным успехом, пока ночь не положила ей конец. Когорты добрались до Гельдубы — там лагеря стояли, как прежде, и охраняли их солдаты, там оставленные.

Не приходилось сомневаться, что на обратном пути напутанных и отягощенных поклажей солдат ждут еще худшие опасности. Вокула вывел им на помощь тысячу воинов, набранных из пятого и пятнадцатого легионов. Солдаты этих легионов перенесли осаду Старых лагерей, они ненавидели командиров и плохо подчинялись приказам. В выступавшую из лагеря колонну набежало больше солдат, чем было велено; в строю они громко негодовали, кричали, что не позволят морить себя голодом, не станут терпеть дольше козни легатов. Те же, кто остался в лагере, жаловались, что ушло слишком много воинов, что их бросили на произвол судьбы. Так что недовольство росло с обеих сторон: одни требовали, чтобы Вокула вернулся, другие отказывались оставаться в лагере.

36. Тем временем Цивилис вновь осадил Старые лагеря. Вокула отступил к Гельдубе, оттуда в Новсзий[64] (Цивилис занял Гельдубу)[65] и вскоре неподалеку от этого поселения одержал победу в конном бою. Поражение или победа — все теперь вызывало у солдат одно лишь желание: расправиться поскорее со своими командирами. После присоединения тысячи воинов из пятого и пятнадцатого легионов армия стала многочисленнее, и, проведав о деньгах, присланных Вителлием, солдаты начали требовать, чтобы им выдали денежный подарок. Гордеоний не заставил себя долго просить, раздал солдатам деньги, но сказал, что вручает подарок от имени Веспасиана. Это и послужило главным поводом для бунта. На ночных сходках и попойках проснулась в солдатах былая ненависть к Гордеонию. В темноте ночи, потеряв последний стыд, они выволокли Гордеония из постели и убили; ни один из легатов или трибунов не решился протестовать. Та же участь, что Флакка, ожидала Вокулу, но он переоделся рабом и под покровом темноты скрылся, никем не узнанный.

37. Когда первый порыв ярости улегся, солдаты ужаснулись и послали в Галлию центурионов просить у тамошних племен помощи людьми и деньгами. Лишенная вождя чернь всегда безрассудна, труслива и тупа; при приближении Цивилиса легионеры стали беспорядочно готовиться к бою, но тут же побросали оружие и обратились в бегство. Беда порождает раздоры: солдаты нижнегерманской армии объявили, что у них свои, особые цели и с остальными им не по пути. Изображения Вителлия восстановили и в лагерях, и в окрестных

поселениях белгов, хотя сам он в это время был уже убит. Солдаты первого, четвертого и двадцать второго легионов вдруг раскаялись и вернулись под командование Вокулы; он заставил их снова присягнуть Веспасиану и повел на освобождение Могунциака. Между тем армия, обложившая этот город, — она состояла из хаттов, узипов и маттиаков[66], — успела награбить вдоволь добычи и сама сняла осаду; ничего не подозревая, солдаты ее разбрелись в разные стороны; наши напали на них и заставили кровью заплатить за содеянное. Тревиры обнесли свои границы валом и плетнем и вели с германцами упорные жестокие бои, но в конце концов тоже взбунтовались и втоптали в грязь лавры, которые стяжали, воюя на стороне римского народа.

38. Между тем Веспасиан во второй раз[67], а Тит впервые вступили в должность консулов. Оба находились далеко от столицы, охваченной скорбью и тоскливым ожиданием действительных и мнимых несчастий. Ходили, к примеру, слухи, будто от империи отложилась провинция Африка, подстрекаемая к тому своим проконсулом Луцием Пизоном[68]. На самом деле Пизон и не помышлял о восстании: зимние холода не давали судам выйти в плавание, чернь же, привыкшая покупать хлеб каждый день и только на один день, вечно боялась, что остановится подвоз зерна, из всех государственных дел ее занимала только доставка хлеба; и вот чернь поверила, будто свершилось то, чего она постоянно опасалась: порты закрыты и подвоз зерна приостановлен. Слухи эти раздували вителлианцы, которые по-прежнему действовали в интересах своей партии, флавианцам же они тоже не были неприятны, алчность их внешние войны лишь дразнили, а победы в гражданской войне не могли насытить.

39. В день январских календ сенат, созванный городским претором Юлием Фронтином[69], принял решение воздать хвалу и выразить благодарность легатам, армиям и царям. Теттия Юлиана, за то что он покинул свой легион, перешедший на сторону Веспасиана, лишили звания претора и должность эту передали Плотию Грипу. Горма[70] возвели в сословие всадников. Вскоре Фронтин сложил с себя звание претора и его передали Домициану. Именем Домициана открывались теперь эдикты и официальные письма, но на самом деле власть держал в своих руках Муциан; впрочем, Домициан,

которого подстрекали друзья и собственное властолюбие, часто действовал самостоятельно. Однако Муциан главной угрозой для себя считал Прима Антония и Вара Аррия; слава их подвигов была еще свежа в памяти, солдаты их боготворили и даже народ любил за то, что свирепую ярость проявляли они только на поле боя. Ходили слухи, будто Антоний подбивал Скрибониана Красса, человека, к которому знатность происхождения и слава брата привлекали всеобщее внимание, захватить власть в государстве. Сообщники нашлись бы, но Скрибониан сам отклонил все домогательства: он с трудом соглашался участвовать и в верном деле, а уж сомнительных предприятий остерегался всегда. Не в силах победить соперника в открытой борьбе, Муциан выступил в сенате, превознося заслуги Антония, и тайно предложил ему стать наместником ближней из испанских провинций — должность оставалась незанятой после отъезда Клувия Руфа; друзья Антония тоже получили кто префектуру, кто трибунат[71]. Усыпив тщеславную душу соперника посулами и обещаниями, Муциан вывел в зимние лагеря горевший преданностью Антонию седьмой легион; третий легион, солдаты которого любили Аррия Вара, он отправил в Сирию, так что лишил обоих полководцев опоры; часть армии отослал он в германские провинции. Из Рима оказались удаленными все, кто мог затеять смуту, город принял обычный вид, вновь стали соблюдаться законы, магистраты вернулись к исполнению своих обязанностей.

40. В день первого своего появления в сенате Домициан произнес краткую речь. Говорил больше всего о том, что молод, что отца и брата нет в Риме, держал себя скромно и достойно, поминутно краснел, и сенаторы, не знавшие еще его нрава, решили, что от смущения. Цезарь упомянул о том, что следует восстановить почести, окружавшие ранее имя Гальбы; тогда Курций Монтан[72] предложил почтить также память Пизона. Приняли решение, где говорилось об увековечении памяти обоих погибших, но часть, касавшаяся Пизона, осталась невыполненной. По жребию назначили сенаторов, которым поручили возвратить ценности, отнятые в ходе войны, владельцам, восстановить пострадавшие от времени медные доски с текстами законов, очистить фасты от добавлений, внесенных в угоду временным властителям, со-

кратить государственные расходы. Когда узнали, что Теттий Юлиан бежал к Веспасиану, ему вернули претуру, и Грипу остался лишь почет, подобающий бывшему претору. Сенат решил снова вернуться к рассмотрению дела, которое Музоний Руф возбудил против Публия Целера[73]. Публия осудили, и многое было сделано, дабы восстановить доброе имя Сорана. День этот, ознаменованный победой суровости, подобающей при решении государственных дел, принес лавры и простому человеку: все хвалили Музония за то, что добился столь справедливого возмездия, и, напротив того, с презрением говорили о Деметрии, философе из секты киников[74], который, забыв о справедливости, из одного лишь тщеславия, взялся защищать заведомого преступника. Сам Публий, почуяв опасность, совсем растерялся, речь его не принесла ему никакой пользы. Так дан был знак к возмездию доносчикам, и Юний Маврик[75] попросил Цезаря передать сенату императорские архивы, чтобы выяснить, кто на кого доносил в прошлом. Домициан ответил, что это должен решать принцепс.

41. Сенаторы принесли присягу, в которой каждый клялся, призывая богов в свидетели, что не делал никогда ничего с целью повредить другому и не пытался извлечь преимущества или выгоды из несчастий сограждан. Сначала присягу произносили первые сенаторы, за ними, не соблюдая порядка, магистраты, наконец, остальные, их вызывали по одному. Все, кто знал за собой вину, трепетали, произнося слова присяги, и старались разными уловками переиначить их. Сенаторы шумно одобряли тех, кто говорил правду, и тут же изобличали каждого, приносившего ложную клятву. Особенно яростно обрушились эти судьи нравов на Сариолена Вокулу, Нония Аттиана и Цестия Севера, которые во времена Нерона прославились многочисленными доносами. Над Сариоленом тяготели к тому же преступления, свершенные совсем недавно, в правление Вителлия, при котором он пытался играть ту же роль, что при Нероне. Сенаторы поносили Вокулу, грозили ему кулаками, пока не заставили покинуть курию. Следом за ним был изгнан Пакций Африкан; его обвиняли в том, что он указал Нерону на братьев Скрибониев, славных богатством и постоянно царившим между ними согласием, и тем подстроил их гибель[76]. Признать свою вину Африкан не

смел, отрицать не мог. Тогда, вместо того чтобы защищаться, он обратился к осыпавшему его вопросами Вибию Криспу и напомнил, что тот тоже был замешан в этом деле; так избавился он от самого яростного из своих обвинителей, разделив с ним вину.

42. Немалую славу стяжал в этот день Випстан Мессала красноречием и преданностью интересам семьи; он решился выступить, хотя не достиг еще даже сенаторского возраста, и умолял о снисхождении к брату своему Аквилию Регулу[77]. Регула, который хитростью и коварством погубил семьи Красса и Орфита[78], люто ненавидели. Еще юношей он по собственному почину выступил обвинителем, причем, как все считали, ему ничто не угрожало и толкало его на этот путь одно лишь честолюбие. Если бы теперь сенат начал рассматривать его дело, на него тотчас обрушилась бы месть вдовы Красса Сульпиции Претекстаты и ее четверых детей. Поэтому Мессала не стал говорить ни о самом деле, ни об обвиняемом, он просто защищал попавшего в беду брата и сумел разжалобить кое-кого из сенаторов; тогда Курций Монтан[79] перебил Мессалу и предъявил Регулу чудовищное обвинение: после гибели Гальбы Регул якобы заплатил убийцам Пизона и, когда ему принесли голову жертвы, яростно впился в нее зубами. «К такому, уж конечно, Нерон тебя не принуждал, — продолжал Монтан, — и творить зверства не нужно было ни ради спасения жизни, ни ради почетных званий. Да и довольно уж мы наслушались оправданий людей, которые губили других, лишь бы отвести беду от себя[80]. А тебе ничто и не угрожало: отец твой был в изгнании, имущество поделеномежду заимодавцами, сам ты — слишком молод, чтобы добиваться должностей. Нерону нечего было у тебя отнять и нечего тебя бояться. Ты был еще безвестен и ни разу не защищал никого в суде, но жестокая, алчная душа твоя уже жаждала крови благородных людей; лишь когда ты сумел украсть с погребального костра республики достояние консуляриев[81], засунуть себе в пасть семь миллионов сестерциев и сделаться жрецом, когда стал губить без разбора невинных детей, покрытых славой старцев и благородных женщин, когда упрекнул Нерона, будто он действует недостаточно решительно, тратя свои силы и силы доносчиков на уничтожение одной или другой семьи, вместо того чтобы казнить разом весь се-

нат, — вот тогда ты наконец насытился. Спасите же, отцы сенаторы, и сохраните в своей среде человека столь тонкого ума: да послужит он образцом всему нашему веку, и как старики наши стремились подражать Марцеллу и Криспу, так пусть наши юноши следуют примеру Регула. Подлость и в беде находит себе последователей — что же будет, если мы дадим ей расцвести и набраться сил? Вы боитесь обидеть его, пока он еще только квесторий, так как же поднимется у вас на него рука, когда станет он претором и консулом? Неужели думаете вы, что Нерон — последний тиран? И после смерти Тиберия, и после смерти Гая люди думали так, но всегда являлся новый тиран, еще более гнусный, еще более свирепый. Нам нечего бояться Веспасиана — он настоящий принцепс и по возрасту, и по умеренности, возрасту подобающей. Но люди уходят, примеры остаются[82]. Мы слабеем, отцы сенаторы; уж мы не тот сенат, что после убийства Нерона требовал покарать его подручных и доносчиков так, как карали подобных людей наши предки. Лучший день после смерти дурного государя — первый день».

43. Сенаторы с сочувствием слушали Монтана, и Гельвидий вновь загорелся надеждой одолеть Марцелла. Он начал с похвалы Клувию Руфу, который ни свой прекрасный ораторский талант, ни свое огромное богатство ни разу не использовал во времена Нерона кому-нибудь во зло; говоря так, он не только изобличал Эприя, но и противопоставлял ему Клувия и тем еще больше возбуждал гнев сенаторов против доносчика. Марцелл понял, что все против него, и поднялся, как бы собираясь покинуть курию. «Мы уходим, Приск, — сказал он Гельвидию, — и оставляем тебе твой сенат. Управляй им, не смущаясь присутствием Цезаря». За ним следом двинулся Вибий Крисп; оба были одинаково полны ненависти, но выражением лица резко отличались один от другого: Марцелл смотрел грозно, Крисп широко улыбался; подоспевшие друзья заставили обоих вернуться на свои места. Яростный спор большинства честных людей против меньшинства, располагавшего властью, становился все более ожесточенным и затянулся до конца дня.

44. В следующем заседании сената Цезарь первым заговорил о том, что надо забыть прошлые обиды и распри и что иные вещи в прежние времена бывали необходимы. Муциан

многословно говорил о том же и всячески выгораживал доносчиков. Тех, кто вновь возбудил начатые, но позже приостановленные судебные процессы, он мягко убеждал отказаться от иска. При первом же препятствии отцы сенаторы отступились от своей едва обретенной свободы. Не желая, однако, чтобы говорили, будто он пренебрегает мнением сената и оставляет безнаказанными преступления, совершенные при Нероне, Муциан вернул на острова, куда они были ранее сосланы, явившихся было в Рим сенаторов Октавия Сагитту и Антистия Созиана[83]. Октавий находился в незаконной связи с Понтией Постуминой; она не соглашалась выйти за него замуж; не добившись желаемого, Октавий убил ее. Созиан был негодяй, он погубил множество людей. Решением сената, составленным в самых суровых выражениях, оба были осуждены и изгнаны; теперь, когда всем остальным разрешили вернуться, этих оставили при прежнем наказании. Ненависть к Муциану, однако, от этого не стала меньше: в ссылке ли, в Риме ли, Созиан и Сагитта все равно вызывали одно лишь презрение; доносчики же, с их талантом, богатством и властью, с их изощренной способностью делать зло, внушали людям ужас.

45. Судебное дело, которое сенат рассматривал в соответствии с древними обычаями, заставило страсти хоть немного улечься. Манлий Патруит жаловался, что в Сенской колонии[84] на него по приказу местных магистратов напала толпа и избила. Преступление, однако, этим не исчерпывалось: окружив Патруита, жители колонии били себя в грудь, причитали, как над покойником, свершали над ним, живым, похоронные обряды, выкрикивая при этом ругательства и оскорбления, относившиеся ко всему сенату. Вызвали свидетелей, преступление расследовали и виновных осудили; к решению прибавили постановление сената, которое предписывало колонистам вести себя впредь скромнее. В те же дни по обвинению, которое возбудили жители Киренаики, был осужден на основании закона о вымогательстве Антоний Фламм, его изобличили в жестокости и выслали.

46. В разгар всех этих событий чуть было не вспыхнул мятеж в армии. Преторианские части, распущенные Вителлием и вновь собранные Веспасианом, требовали, чтобы им вернули их привилегии; перевод в преторианскую гвардию

был обещан многим легионерам, и теперь они настаивали на выполнении обещания; не было также надежды распустить без большого кровопролития и тот преторианский корпус, что создал Вителлий, а содержать преторий, в который войдут все, кто этого добивается, стоило бы немыслимых денег. Муциан явился в лагерь; чтобы яснее видеть, кому какое причитается вознаграждение, велел флавианцам построиться с оружием и значками отличия, оставив между манипулами и когортами совсем небольшое расстояние. Потом привели вителлианцев; все они — и те, что перешли, как я упоминал, на сторону победителей в Бовиллах, и остальные, собранные со всего Рима и его окрестностей, были полуодеты. Муциан приказал им построиться по армиям: воинам германских легионов стать с одной стороны, британских — с другой, остальным отдельно от тех и других. Войдя в лагерь, вителлианцы оцепенели: со всех сторон глядели на них, ощетинясь мечами и дротами, выстроенные, как для битвы, войска; грязных, полуголых, стали их разводить по указанным местам, и тут на них напал страх; больше всех испугались солдаты германской армии, они решили, что их хотят убить и для того отделяют от остальных. Они обнимали товарищей, бросались им на шею, целовали, как перед смертью, заклинали не покидать их в беде, умоляли не допустить, чтобы разная участь постигла тех, кто воевал за одно дело; обращались с мольбами к Муциану, к принцепсу, которого здесь не было, к небу и богам; наконец Муциан рассеял их пустые страхи — сказал, что все они солдаты одного императора, верные одной присяге. Поступить по-другому он не мог, тем более что солдаты-победители тоже кричали, плакали и всячески выражали сочувствие слезным мольбам побежденных. В тот день все на этом и кончилось. Вскоре, однако, вителлианцы ободрились. Когда через несколько дней Домициан обратился к ним с речью, его встретили совсем по-иному: не соглашались принять земельные наделы, которые им предлагали, требовали выдачи жалованья и продолжения службы. Они только просили, но отказать в просьбах было невозможно, и в ряды претория пришлось принять всех. Позже те, кто безупречно отслужил свой срок, получили почетную отставку, многих уволили за провинности, но в разное время и поодиночке. Этим испытанным средством круговую поруку удалось сломить.

47. То ли в самом деле государственная казна была истощена, то ли кто-то решил воспользоваться этим предлогом, но сенат постановил занять у граждан шестьдесят миллионов сестерциев и поручил сбор Помпею Сильвану[85]. Но вскоре потребность в этих деньгах или необходимость притворяться, будто они нужны, миновала. По докладу Домициана сенат отнял консульское достоинство у тех, кого назначил на эту должность Вителлий, и постановил похоронить Флавия Сабина со всеми подобающими почестями. Так переменчивая судьба еще раз показала, сколь любо ей то возносить человека, то свергать его в бездну.

48. Примерно в то же время был убит проконсул Луций Пизон. Чтобы понятнее рассказать об этом убийстве, мне придется остановиться на событиях, ему предшествовавших, из которых видны причины подобных злодеяний. При Августе и Тиберии легионом, расквартированным в Африке и охранявшим в этой провинции вместе с приданными ему вспомогательными войсками границы империи, командовали проконсулы. Вскоре Гай Цезарь, который всегда всех в чем-то подозревал и опасался правившего Африкой Марка Силана[86], отнял у проконсулов право командовать легионом и стал для того назначать легата. И легат, и командир легиона в равной мере имели право раздавать награды и поощрения, обязанности их перепутались, и между ними вспыхнула вражда, чего и хотел император; при взаимной зависимости вражда все возрастала. С течением времени легаты добились большей власти — может быть, оттого, что дольше оставались в должности, а может быть, потому, что, находясь в подчиненном положении, боролись с большим пылом; проконсулы же, люди по большей части знатные и богатые, вынуждены были заботиться не столько о власти, сколько о собственной безопасности[87].

49. В описываемое время легионом, стоявшим в Африке, командовал Валерий Фест, человек молодой, щедрый, честолюбивый, который, однако, был родственником Вителлия и потому пребывал в постоянном страхе. Теперь трудно установить, Фест ли подстрекал Пизона к бунту или Пизон подстрекал Феста, а тот не соглашался на уговоры: они виделись без свидетелей, а после смерти Пизона большинство решило проявить снисхождение к убийце. Во всяком, случае одно

несомненно: и провинциалы, и солдаты здесь не сочувствовали Веспасиану. Некоторые вителлианцы бежали из Рима в Африку; они твердили проконсулу, что галльские провинции колеблются, что Германия готова восстать хоть завтра, что над ним самим нависла смертельная опасность и ему выгоднее война, чем ненадежный мир. Тут явился к Пизону префект Петрианской кавалерии Клавдий Сагитта. Его корабль обогнал в море судно, что везло центуриона Папирия к тому же Пизону с поручением от Муциана. Сагитта уверил проконсула, что Папирию приказано убить его. «Галериан, двоюродный брат твой и зять, уже погиб, — продолжал префект, — надежда на спасение у тебя одна — действовать сразу и смело, путей к спасению — два: либо тотчас взяться за оружие, либо плыть в Галлию и там встать во главе вителлианских войск». Слова префекта, казалось, нисколько не убедили Пизона. Между тем посланный Муцианом центурион едва сошел с корабля в карфагенском порту, тотчас начал громко призывать на Пизона благословение богов в выражениях, какие обычно употребляют, когда речь идет о принцепсе; при этом требовал от ошеломленных прохожих, чтобы они кричали вместе с ним. Доверчивая чернь не умеет отыскивать истину и всегда одержима страстью к лести; толпа хлынула на форум, принялась шуметь, аплодировать и требовать, чтобы Пизон показался согражданам. Может быть, помня о предостережениях Сагитты, а может быть, по врожденной скромности, Пизон не внял льстивым призывам и не вышел. Он расспросил центуриона, убедился, что тот намеревался оклеветать его и убить, и приказал казнить его. Пизон поступил так не потому, что спасал свою жизнь; им владел гнев против негодяя, который участвовал некогда в убийстве Клодия Макра и теперь вернулся, чтобы руками, еще обагренными кровью легата, лишить жизни проконсула. Однако в эдикте, где Пизон выразил осуждение карфагенянам, сквозит и страх; затем Пизон заперся у себя в доме и перестал выполнять свои обычные обязанности, дабы как-нибудь случайно не подать повод для бунта.

50. Молва, всегда раздувающая до невиданных размеров и правду и ложь, донесла до Феста слухи о беспорядках в Карфагене и о казни центуриона; он отправил конных солдат убить Пизона. День едва брезжил, когда прискакавшие во

весь опор всадники с обнаженными мечами ворвались в темный еще дом проконсула. Фест выбрал для этого дела мавров и солдат-пунийцев из вспомогательных войск; большинство из них никогда не видели проконсула и не знали его в лицо. Недалеко от спальни они встретили раба, спросили, как выглядит Пизон и где его найти. Доблестный раб ответил, что сам он и есть Пизон, и тут же пал под ударами мечей. Вскоре, однако, Пизон тоже был убит, ибо среди убийц все же нашелся такой, кто знал его. То был Бебий Масса, один из прокураторов Африки. В дальнейшем мы еще не раз встретим это имя, ибо оно связано со многими бедами, о которых предстоит рассказать, но уже и в ту пору Масса был опасен для каждого доброго гражданина[88]. Из Адрумета[89], где он выжидал исхода событий, Фест тотчас отправился к своему легиону и приказал заковать в цепи как пособника Пизона префекта лагерей Цетрония Пизана; на самом деле он арестовал Цетрония по личной неприязни. Фест наказал кое-кого из солдат и центурионов, наградил других; как наказанные не заслужили наказаний, так и награжденные — наград, но Фест стремился показать, будто подавил целый заговор. Вслед за этим он заставил жителей Эи и лептийцев[90] оставить распри, которые начались спорами между крестьянами из-за покражи зерна или скота, а кончились настоящими сражениями, так что обе стороны выступали в боевом строю и с оружием в руках. Жители Эи уступали противникам численностью и призвали на помощь гарамантов, свирепое племя, наводившее на соседей ужас своими набегами[91]. Лептийцам пришлось совсем плохо: поля и земли их на огромном пространстве были опустошены, сами они в страхе сбежались под укрытие стен. Явились наши когорты и конные отряды, гараманты обратились в бегство и отдали награбленное; не удалось получить обратно только вещи, которые гараманты сумели унести в свои недоступные становища, а потом продали племенам, живущим еще дальше на юг.

51. После Кремонской битвы к Веспасиану отовсюду шли все новые и новые добрые вести. Теперь множество людей различных сословий, положась на судьбу и собственное мужество, устремились по бурному зимнему морю к новому принцепсу, дабы сообщить о смерти Вителлия. Прибыли к нему и послы царя Вологеза, он предлагал Веспасиану сорок

тысяч парфянских всадников[92]. Радостное и великолепное зрелище: союзники предлагают принцепсу столь значительную помощь, а принцепс в ней не нуждается! Поблагодарив Вологеза, попросив передать ему, что в империи ныне царит мир и послов следует направлять в сенат, Веспасиан занялся делами Италии и Рима. Первое, что пришлось ему услышать, были жалобы на Домициана, который, как говорили, нарушает границы дозволенного сыну принцепса, особенно в его возрасте. Веспасиан разделил армию, лучшие войска оставил Титу и поручил ему продолжать войну в Иудее[93].

52. Рассказывают, что перед отъездом Веспасиана Тит долго говорил с отцом, просил его не верить слухам, порочащим Домициана, и при встрече отнестись к нему беспристрастно и снисходительно. «Настоящая опора человека, облеченного верховной властью, — говорил Тит, — не легионы и не флоты, а дети, и чем их больше, тем лучше. По воле времени и судеб, под влиянием страстей или заблуждений слабеет чувство дружбы, друзья покидают нас, привязываются к кому-то другому, одни только узы крови остаются нерушимы. Особенно крепкими должны они быть в семье принцепса, который счастье свое делит и с чужими, а беды — только с самыми близкими. Как же сумеем мы с братом жить в мире и согласии, если отец не подаст нам пример?» Речи эти не заставили Веспасиана быть снисходительнее к Домициану, но верность Тита семье и уважение, которое питал он к старинным нравам, порадовали отца. Он отвечал, что об интересах мира и делах семьи позаботится сам, Титу же посоветовал не тревожиться и лучше думать о том, как прославить государство разумным ведением войны и собственной доблестью. Потом Веспасиан приказал нагрузить зерном самые быстроходные корабли и отправил их в Рим, хотя море еще не успокоилось, ибо опасность грозила столице крайняя; когда отправленные Веспасианом суда вошли наконец в гавань, хлеба в амбарах оставалось едва на десять дней.

53. Восстанавливать Капитолий Веспасиан поручил Луцию Вестину, который, хотя и происходил из сословия всадников, пользовался таким уважением и снискал столь добрую славу, что считался одним из первых людей в государстве[94]. Созванные им гаруспики сказали, что развалины старого храма следует вывезти из болота[95], а новый возводить на том же

фундаменте: по словам гаруспиков, боги не хотят изменений в форме храма. Одиннадцатый день после июльских календ[96] был ясный и безоблачный; место, отведенное под постройку храма, обложили венками, обвили священными лентами; в образовавшееся пространство вошли солдаты, носившие особенно счастливые имена[97], с ветками деревьев, сулящих удачу[98], в руках. Потом девы-весталки вместе с мальчиками и девочками, у которых живы были отец и мать, омылись водой, зачерпнутой из рек и чистых ключей. Претор Гельвидий Приск вслед за понтификом Плавтием Элианом[99] вступил на место будущего храма, очистил его, принеся в жертву свинью, овцу и быка[100], разложил внутренности животных на дерне и обратился к богам — покровителям империи Юпитеру, Юноне и Минерве, моля даровать делу успех и божественной своей десницей вознести на вершину славы предназначенное для них обиталище, к сооружению которого приступают ныне люди. Произнеся молитву, Гельвидий взялся за священные повязки, которыми повиты были камень[101] и опутывавшие его веревки. Тотчас же все остальные: магистраты, жрецы, сенаторы, всадники, множество людей из простого народа, — упираясь изо всех сил, сдвинули и с криками ликованья поволокли огромную глыбу. В основание храма бросали слитки золота, серебра, сырую, не ведавшую еще горна руду, — гаруспики предупредили: осквернять закладываемый храм золотом или камнями, которые прежде предназначались для других целей, нельзя. Новое здание сделали выше старого: говорили, что малая высота была единственным недостатком прежнего храма, только это жрецы и разрешили изменить.

54. Тем временем весть о смерти Вителлия разнеслась по Галлии и Германии и породила еще одну, новую, войну. Цивилис отбросил всякое притворство и открыто выступил против римского народа. Вителлианские легионы готовы были служить варварам, лишь бы не подчиниться Веспасиану и не признать его императором. Среди галлов распространился слух, будто зимние лагеря легионов в Мёзии и Паннонии осаждены сарматами и даками и будто в Британии дела римлян обстоят не лучше; галлы вообразили, что судьба повсюду преследует наши войска, и эта уверенность наполнила радостью их сердца. Но больше всего радовал их пожар Капи-

толия. Одержимые нелепыми суевериями, друиды[102] твердили им, что Рим некогда[103] был взят галлами, но тогда престол Юпитера остался нетронутым, и лишь потому империя выстояла; теперь, говорили они, губительное пламя уничтожило Капитолий, а это показывает, что боги разгневаны на Рим и господство над миром должно перейти к народам, живущим по ту сторону Альп. Ходили также слухи, будто знатные галлы, которых Отон отправил воевать против Вителлия, поклялись тогда подняться на защиту свободы, едва только увидят, что беспрерывные гражданские войны и внутренние распри подорвали силы римского народа.

55. Пока жив был Флакк Гордеоний, никаких признаков заговора не было заметно, но после его гибели зачастили гонцы между Цивилисом и префектом тревирской конницы Классиком[104]. Классик происходил из царского рода, стяжавшего великую славу на военном и гражданском поприще. Знатностью и богатством он превосходил всех своих соплеменников; любил говорить, что предки его прославились не столько как союзники Рима, сколько как его враги. К Цивилису и Классику присоединились Юлий Тутор и Юлий Сабин — первый тревир, второй лингон. Тутора Вителлий назначил префектом прирейнских земель, Сабин же, отличавшийся крайним тщеславием, нашел особый повод для хвастовства: не давала ему покоя генеалогия, которую он сам себе придумал, — уверял, будто божественный Юлий во время галльской войны обратил внимание на красоту его прабабки и сделал ее своей наложницей. Заговорщики тайно выведывали настроение и, если находили человека, что казался пригодным для их целей, втягивали его в заговор. Наконец, они устроили собрание в Агриппиновой колонии. Собраться пришлось в частном доме: ведь если бы о замыслах их узнал народ, он встретил бы их с ужасом и отвращением. На сходку пришли несколько убиев и тунгров, но главенствовали тревиры и лингоны. Серьезно обсудить дело у них не хватало терпения, все наперебой кричали, что римляне заняты внутренними распрями, легионы перебиты, Италия разграблена, Рим вот-вот падет, каждая армия поглощена войной со своими собственными врагами. «Стоит нам закрыть альпийские проходы, — твердили заговорщики, — и галльские племена, слившись воедино, обретут наконец свободу, а там ос-

танется лишь решить, где поставить предел победоносному шествию наших армий».

56. Со сказанным тотчас согласились все. Сомнение вызывала дальнейшая судьба уцелевших солдат-вителлианцев. Многие требовали смерти изменников и смутьянов, забрызганных кровью своих полководцев. Победили, однако, те, что говорили: потеряв надежду на спасение, вителлианцы станут упорно и отчаянно сопротивляться; гораздо выгоднее переманить их на свою сторону; достаточно перебить легатов легионов, а остальные, исполненные сознания своей вины, будут стремиться избежать наказания, и договориться с ними будет нетрудно. Такие решения приняли заговорщики на первом собрании и разослали по галльским провинциям своих людей подстрекать жителей к восстанию, сами же по-прежнему беспрекословно выполняли все приказы Вокулы, дабы усыпить его бдительность и потом захватить врасплох. Нашлись, правда, люди, которые сообщили Вокуле о том, что происходит, но со своими малочисленными и не внушавшими доверия легионами он все равно был не в силах подавить заговор и потому, окруженный ненадежными солдатами и тайными врагами, счел за лучшее действовать так, как его противники, то есть скрывать свои подлинные намерения. Вокула отправился в Агриппинову колонию, где застал Клавдия Лабеона[105], который сумел подкупить сторожей и бежал из-под стражи (я уже рассказывал прежде, что Лабеона по приказу Цивилиса арестовали и выслали в племя фризов). Он уверял Вокулу, что пойдет на батавов и, если только ему дадут войско, сумеет заставить большую часть племени вновь вступить в союз с римлянами. Лабеону дали немного пехоты и всадников, но он не посмел даже и близко подойти к батавам, а, увлекши за собой кое-кого из племен нервиев и бетазиев, стал нападать на каннинефатов и марсаков[106] и действовал исподтишка не как полководец, а как разбойник.

57. Введенный в обман коварными галлами, Вокула поспешно выступил и почти дошел до Старых лагерей. Тут Классик и Тутор ушли вперед, будто бы разведать путь, сами же еще раз договорились с вождями германцев о союзе. После этого они построили лагерь и заперлись в нем со своими отделившимися от легионов войсками. Вокула заклинал их не делать этого, убеждал, призывал в свидетели богов. «Неуж-

то думаете вы, — говорил он, — что Римское государство так ослабело от гражданских войн, что станет терпеть оскорбления от тревиров и даже от лингонов? Нет, есть еще у нас верные провинции и победоносные войска, есть Фортуна, что печется о нашей империи, и боги, готовые отомстить за нее. Довольно было одной битвы — и Виндекс с его галлами уничтожен, а в старину та же участь постигла Сакровира и эдуев[107]; и сегодня тот же гнев богов, та же судьба ждут изменников, что нарушают договор о союзе. Божественный Юлий и божественный Август лучше знали ваш нрав: стоило Гальбе отменить подати[108], как ненависть вселилась в ваши сердца, меньше стали с вас взыскивать — и вы сделались врагами Рима. Отберут у вас все, разденут донага — вот тогда вы станете нашими друзьями!» Слова эти, полные ярости, нисколько не поколебали Тутора и Классика, они продолжали упорствовать в измене. Убедившись в этом, Вокула вернулся в Новезий, в двух милях от которого расположились и галлы. Центурионы и солдаты то и дело ходили к ним в лагерь, их там соблазняли деньгами, и наконец они дали обещание совершить неслыханное преступление: привести римскую армию к присяге варварам, а пока, в знак того, что сдержат свое слово, — убить или заковать в цепи легатов. Многие советовали Вокуле скрыться, но он не хотел отступать и, созвав солдат на сходку, сказал им так:

58. «Ни разу еще, обращаясь к вам с речью, не был я столь полон тревоги за вас и столь спокоен за себя. Слышу со всех сторон, что смерть моя близка, и радуюсь тому, ибо средь бед, что обрушились на нас, одна лишь смерть может положить конец моим страданиям. Но за вас мне горько и стыдно. С вами не думают ведь даже сражаться, не для вас отныне закон оружия и право войны. Классик надеется вашими руками выиграть войну против римского народа, уговаривает вас покориться галлам, присягнуть на верность им. Пусть счастье отвернулось от нас и утратили мы былую доблесть, разве мало было в прошлом римских легионов, что предпочли умереть, но не сделать ни шагу назад? Разве мало знаем мы союзных народов, что обрекли огню свои города и самих себя с женами и детьми и не искали за верность и гибель иной награды, кроме славы? Невиданные лишения перенесли запертые в Старых лагерях легионы, но никто не смог ни запу-

гать их, ни соблазнить посулами. А ведь наше дело совсем иное: у нас есть не только оружие, солдаты и могучие укрепления, что ограждают нас, у нас еще вдоволь зерна и довольно запасов, так что можем выдержать любую, самую долгую осаду. Денег вам тоже только что раздали немало, — можете считать, что получили их от Веспасиана, или думать, что вам прислал их Вителлий; но только никто не усомнится в том, что вам дал их римский император. Если вы, победители в бесчисленных войнах, герои Гельдубы и Старых лагерей[109], столько раз бившие врага, боитесь теперь открытого сражения, это, конечно, стыдно, но ведь можем мы отсидеться за валами и стенами, можем так или эдак протянуть время, пока не придут нам на помощь войска и отряды союзников. Не нравлюсь вам я — есть у вас другие легаты, есть трибуны, есть, наконец, центурионы и солдаты. Лишь бы только не разлетелась по миру чудовищная весть, что вы, исполняя покорно приказы Цивилиса и Классика, вторглись в Италию! Или и это вам нипочем, и, когда германцы и галлы приведут вас под стены Рима, вы с оружием в руках ворветесь в родные дома? Ужас наполняет душу при одной лишь мысли о подобном злодеянии. Неужто согласны вы нести караул возле опочивальни тревира Тутора? Идти в бой по сигналу батава? Войти в разбойничьи шайки германцев? Как станете вы держать ответ за содеянное, когда придется наконец встретиться с римскими легионами? Изменники из изменников, предатели из предателей, преследуемые гневом богов, будете вы метаться от тех, кому принесли присягу сначала, к тем, кому присягнули потом. О Юпитер Сильнейший и Величайший, столькими триумфами прославленный за эти восемьсот двадцать лет![110] О Рима создатель, Квирин![111] Молю и заклинаю вас: если уж не дозволили вы, чтобы лагеря эти под моим началом сохранили свою неподкупную чистоту, не дайте хоть Тутору и Классику осквернить их; пусть римские воины либо не совершат преступления, либо тотчас раскаются в содеянном и не понесут наказания».

59. Речь Вокулы слушали по-разному: кто с надеждой, кто со страхом, а кто и со стыдом. Вокула удалился к себе и принялся приводить в порядок свои дела, готовясь покончить счеты с жизнью. Однако вольноотпущенники и рабы помешали ему в этом, и пришлось ему принять тяжкую и позор-

ную смерть. Убил Вокулу нарочно для этого присланный Классиком перебежчик из первого легиона Эмилий Лонгин; легатов Нумизия и Геренния сочли достаточным заковать в цепи, и лишь после явился в лагерь сам Классик, украшенный знаками достоинства римского полководца. Но даже и он, привыкший ко всякого рода преступлениям, не нашелся, что сказать солдатам; прочел только текст присяги, и все поклялись в верности галлам. Убийцу Вокулы Классик повысил в звании, остальных наградил в меру преступлений, совершенных каждым.

Тутор и Классик распределили между собой обязанности. Тутор во главе многочисленного отряда осадил Агриппинову колонию и привел к присяге не только жителей города, но и все войска, стоявшие по берегам Верхнего Рейна. В Могунциаке трибуны и префект лагерей оказали сопротивление — первые были убиты, второй изгнан. Классик выбрал из перешедших на его сторону римских солдат несколько самых подлых, приказал им отправиться к осажденным, обещать прощение и, приведя в пример самих себя, уговорить подчиниться новой власти. Если же осажденные станут упорствовать, велел передать Классик, пусть не надеются ни на что, кроме голода, цепей и смерти.

60. Верность долгу влекла осажденных в одну сторону, голод — в другую; верность долгу требовала, чтобы помышляли они лишь о чести, голод толкал на путь преступления. Пока они медлили, съеденным оказалось и то, что едят обычно, и то, что едят в крайности: лошади, волы, мулы и другие нечистые, мерзкие животные, которых нужда обращает в пищу. Под конец стали есть ветки, корни, траву, пробивающуюся между камней. Вечно жила бы память об этой осаде, о муках, выпавших на долю римских солдат и об их стойкости, если бы сами они не опозорили себя, послав к Цивилису парламентеров с просьбой о помиловании. Но их не стали и слушать, пока осажденные не присягнули на верность галлам. После этого Цивилис, дабы захватить всю добычу в лагере, послал людей следить, чтобы все деньги и поклажа, все обозные слуги остались на месте, а воины ушли бы из лагеря с пустыми руками. Ничего не подозревая, солдаты походной колонной дошли почти до пятого мильного камня, и тут на них напали ожидавшие в засаде германцы. Лучшие из солдат

оказали сопротивление и были убиты на месте, многие разбежались по округе, но германцы настигали их и убивали; остальные вернулись в лагерь. Цивилис громко жаловался на германцев, говорил, что они нарушили свои же клятвы, возмущался их коварством. Притворялся ли он или в самом деле не мог сдержать разъяренных германцев — судить трудно. Разграбленный лагерь варвары забросали горящими факелами, и пламя поглотило всех, кто избежал гибели в бою.

61. Легионы были разгромлены; Цивилис по принятому у варваров обычаю, выступая против римлян, дал обет не стричь волосы, пока не добьется победы; теперь он снял наконец свою крашенную в рыжий цвет гриву[112], что падала ему на лицо и на грудь. Рассказывают, что нескольких пленных отдал он своему маленькому сыну, чтобы служили мишенью для упражнений в стрельбе из лука и метании дротика. Цивилис не принес присяги галлам и не привел к ней никого из батавов; он опирался на германцев, и если бы пришлось ему драться с галлами, на его стороне оказалась бы не только слава, но и сила. Легата легиона Муния Луперка отправили вместе с другими подарками Веледе. Девушку эту из племени бруктеров варвары слушались во всем, ибо германцы всегда верили, будто многие женщины обладают даром прорицать будущее, теперь же дошли в своем суеверии до того, что стали считать некоторых богинями. Благоговение перед Веледой еще возросло, когда сбылись ее предсказания о победе германцев и гибели римских легионов[113]. Луперка, однако, убили по дороге, а немногих центурионов и трибунов родом из Галлии оставили заложниками, дабы галлы не нарушили свои союзнические обязательства. Зимние лагеря когорт, конных отрядов, легионов разрушили и сожгли; уцелели лишь те, что находятся в Могунциаке и Виндониссе[114].

62. Шестнадцатый легион вместе со вспомогательными отрядами, которые тоже перешли на сторону врага, получил приказ выступить в определенный, заранее назначенный день из Новезия и расположиться в Колонии Тревиров[115]. Оставшееся до выступления время легионеры проводили в размышлениях и заботах: трусы бледнели от страха, вспоминая об участи погибших в Старых лагерях; настоящие солдаты стыдились содеянного и спрашивали себя, что теперь будет: куда они пойдут, кто их поведет и что станется с ними,

раз зависят они теперь от людей, которым сами дали право распоряжаться своей жизнью и смертью; были и такие, что вовсе не печалились о своем позоре, а заботились лишь о том, как лучше спрятать под одеждой деньги и драгоценности; иные, словно бы готовясь к бою, острили мечи и чинили дроты. Так, среди размышлений, пришло время выступать; солдаты еще больше затосковали: за стенами лагеря не так заметно их унижение, теперь придется выставить его напоказ, в открытом поле, среди бела дня. Молча, как на похоронах, проходит нескончаемая колонна мимо поверженных на землю императорских статуй; на значках когорт — ни украшений, ни знаков отличия; весело плещутся по ветру вымпелы галльских отрядов, шагает впереди назначенный командовать переходом Клавдий Санкт, кривой, грозный с виду, да слабый умом. К прежнему позору прибавился новый, когда к шестнадцатому легиону присоединился еще один, что вышел из боннских лагерей. Весть о том, что идут взятые в плен легионы, разлетелась по округе; люди, еще недавно трепетавшие при одном упоминании о римлянах, выбегали в поле, взбирались на крыши, непристойно наслаждались небывалым зрелищем. Конники пицентинского отряда не вытерпели насмешек черни и, не слушая обещаний и угроз Санкта, свернули к Могунциаку. По дороге встретился им убийца Вокулы Лонгин, солдаты забросали его дротами — то был первый их шаг к искуплению вины. Легионы продолжали прежний путь и остановились лишь под стенами Колонии Тревиров.

63. Цивилис и Классик, упоенные своими удачами, все же не решались отдать на разграбление солдатам Агриппинову колонию. По алчности и природной жестокости хотелось им расправиться с городом. Но их удерживали военные соображения и желание прослыть великодушными властителями, свойственное всякому, кто закладывает основы новой власти. Цивилис, к тому же, помнил о благодеянии, что оказали ему агриппинцы: в начале мятежа в этой колонии захватили его сына, и агриппинцы оказывали ему во время заключения знаки почтительного внимания[116]. Но зарейнские племена яростно ненавидели этот большой и богатый город и считали, что война будет кончена только тогда, когда германцы любого племени получат право селиться здесь; если же нет,

говорили они, город следует уничтожить, а убиев расселить по другим землям[117].

64. Тенктеры, обитавшие на другом берегу Рейна, отправили своих послов в совет колонии, и самый свирепый из них передал решение своего племени в таких словах: «Мы благодарим наших общих богов и величайшего среди них — Марса[118] за то, что они вернули вас в семью германских народов и разрешили вновь называться германским именем. Мы поздравляем вас — отныне вы свободные среди свободных. Прежде реки и земли были во владении римлян, они умудрились отнять у нас даже небо; нам не давали собираться для обсуждения наших дел, а если и разрешали, то ставили условия, невыносимые для людей, живущих ради войны, — собираться безоружными, полуголыми, под взглядом стражи и за деньги[119]. Но дабы вечными стали союз и дружба наши, мы требуем от вас — сройте стены колонии; стены эти — оплот рабства; даже дикие звери, если их долго держать взаперти, забывают о доблести. Убейте всех римлян в ваших землях: тот, кто стал свободным, не в силах терпеть над собой властителей. Имущество убитых отдадим в общее пользование и пусть никто не пытается что-нибудь скрыть, не заботится лишь о собственной пользе. И мы и вы будем обрабатывать земли по обоим берегам реки, как наши предки в старину. Земля, как воздух и свет, не может быть достоянием одного человека — воздух и свет принадлежат всем, земля принадлежит доблестным воинам[120]. Вернитесь к установлениям предков, к нашим древним верованиям, откажитесь от наслаждений — с их помощью римляне вернее, чем оружием, удерживают вас в подчинении. Забудьте о рабстве, станьте опять прямыми и честными, и будете равны другим народам, а может быть, даже добьетесь власти над ними».

65. Страшно было жителям колонии согласиться на все это; противостоять же требованиям тенктеров им тоже было невозможно. Колонисты думали долго и дали наконец такой ответ: «Едва обретя свободу, мы в нетерпении, презрев осторожность, при первой же возможности воссоединились с соплеменниками — с вами и другими германскими народами. Сейчас со всех сторон движутся на нас римские войска; не срывать нам надо стены города, а, напротив, укреплять их. Если были в наших землях жители Италии или провинциа-

лы, не родственные германцам, они либо погибли на войне, либо вернулись на родину. Те же римляне, что когда-то переселились сюда, издавна женятся на наших женщинах, породнились с нами, здесь их родина и родина их детей. Неужели вы столь жестоки, что хотите заставить нас собственными руками убивать родителей своих, детей и братьев? Мы отменяем пошлины, не будем мешать торговле, пусть каждый без всякой охраны входит в колонию и выходит из нее, но пока это новое правило не станет старым и привычным, до тех пор вход будет разрешен только безоружным и только днем. Посредниками выбираем мы Цивилиса и Веледу, пусть утвердят они наш договор». Так успокоили агриппинцы тенктеров и отправили к Цивилису и Веледе послов, которые поднесли им дары и уладили дело к выгоде колонистов. К Веледе, однако, их не допустили и говорить с ней им не пришлось: ее скрывают от людских взоров, дабы внушала еще большее благоговение; живет Веледа в высокой башне, задавать ей вопросы и получать ответы можно только через родственника, который передает также и пророчества.

66. Укрепив свои силы союзом с жителями колонии, Цивилис решил покорить также окрестные племена, а если кто станет сопротивляться, тех подчинить силой оружия. Цивилис занял земли сунуков[121], собрал несколько когорт из молодых людей этого племени и намеревался двинуться дальше, но путь ему преградил Клавдий Лабеон[122]. Еще раньше захватил он мост через реку Мозу[123] и, наскоро собрав отряд из бетазиев, тунгров и нервиев, решил встретить Цивилиса здесь, ибо считал, что мост этот особенно удобно оборонять. Сражение развернулось в узких горных проходах и не приносило победы ни одной из сторон до тех пор, пока германцы, переправившись через реку вплавь, не зашли Лабеону в тыл. И тут Цивилис, то ли заранее все рассчитавши, то ли по внезапному порыву, бросился в гущу сражавшихся тунгров и громко крикнул: «Не для того начинали мы войну, чтобы батавы и тревиры повелевали остальными племенами. Нет и не было у нас таких намерений. Заключим союз, я перехожу к вам и готов быть у вас вождем или рядовым воином, как вы захотите». Тунгры, ошеломленные, убрали мечи, а вожди их Кампан и Ювенал уступили Цивилису главенство над племенем. Лабеон бежал, не дожидаясь, пока его окружат. Бетазии

и нервии также присягнули победителю, и он принял их в свою армию. Дела Цивилиса шли все лучше, и многие племена, какие со страху, какие по доброй воле, переходили на его сторону.

67. Тем временем Юлий Сабин[124] уничтожил все, что напоминало о союзе между лингонами и римлянами, велел провозгласить себя Цезарем и во главе огромной беспорядочной толпы соплеменников напал на секванов[125], которые жили рядом и сохраняли верность Риму. Секваны выступили навстречу врагу, судьба встала на сторону достойных, и лингоны были разбиты. Сабин бежал с поля боя так же стремительно, как ринулся в сражение. Он постарался распустить слух, будто его нет в живых, и для того сжег виллу, где скрывался после поражения; все поверили, что он искал смерти и погиб в пожаре. Позже я расскажу, как с помощью разных хитростей, скрываясь по тайникам, он сумел прожить еще девять лет, поведаю о мужественной преданности его друзей и достойном поведении жены его Эппонины. Благодаря победе секванов, война не пошла дальше; галлы понемногу опомнились, стали соблюдать законы и выполнять союзнические обязательства. Первыми были ремии[126], они обратились к остальным племенам, предложили прислать своих послов и всем вместе решить, что предпочесть — свободу или мир.

68. Из Рима дело виделось еще более мрачным, чем было на самом деле; Муциан встревожился не на шутку. Он отправил в Галлию армию и назначил Галла Анния и Петилия Цериала командовать ею, но не был уверен, что даже эти выдающиеся полководцы сумеют справиться со столь трудным поручением. Но и столицу оставлять без надежного главы Муциан не хотел — боялся бешеных страстей Домициана, не доверял, как я уже говорил, Приму Антонию и Вару Аррию. Вар командовал преторианцами, значит, располагал людьми и оружием, Муциан счел за благо сместить его, предоставив в утешение должность префекта, отвечающего за подвоз зерна в Рим. Вар пользовался расположением Домициана; чтобы привлечь последнего на свою сторону, Муциан назначил префектом претория Аррецина Клемента, близкого Домициану родственника Веспасиана. «Отец Клемента, — так объяснял Муциан, — в правление Гая Цезаря весьма успешно ко-

мандовал преторием, и солдаты любят эту семью; что до обязанностей сенатора, то он прекрасно сумеет, выполняя их одновременно командовать преторианцами»[127]. Все видные жители столицы получили назначения в армию, многие сами присоединились к войску из честолюбия. Домициан и Муциан тоже собрались в поход, но настроены были по-разному: один, полный молодого задора, мечтал отличиться, другой старался охладить его и придумывал все новые причины для промедления: Муциан опасался, что, получив власть над армией, Домициан, молодой, исполненный страстей и окруженный дурными советчиками, наделает ошибок и в политике, и в военном искусстве. Победоносные восьмой, одиннадцатый и тринадцатый легионы, двадцать первый, состоявший из вителлианцев, и недавно сформированный второй двинулись через Пеннинские и Котские Альпы, часть войска пошла Грайскими горами. Из Британии вызвали четырнадцатый легион, из Испании — шестой и первый. Услышав о приближении легионов, галльские племена, которые и без того склонялись к миру, сошлись в земле ремиев. Здесь их ожидало уже посольство тревиров во главе с рьяным сторонником войны Юлием Валентином. Он произнес тщательно подготовленную, исполненную ненависти речь, в которой осыпал римский народ оскорблениями и теми упреками, какие всегда предъявляют великим империям. Дикое красноречие этого человека, одержимого страстью к заговорам и смутам, сильно подействовало на многих.

69. Валентину возражал Юлий Авспекс, один из самых знатных людей племени ремиев. Он восхвалял римлян и блага мирной жизни, говорил, что развязать войну могут и трусы, а бороться с ее опасностями приходится смелым, призывал не забывать, что легионы уже совсем близко. Подобными доводами удалось ему убедить слушателей; люди постарше и поумнее вспомнили об уважении к законам и верности союзным обязательствам, те, кто помоложе, испугались. Все хвалили Валентина за патриотизм, но предпочли совет Авспекса. Бесспорно, что помощь, которую лингоны и тревиры оказали Вергинию в пору восстания Виндекса, также настроила против них остальных галлов. Многие опасались, что между галлами вспыхнет борьба за власть. «Кто встанет во главе восстания? — думали такие люди. — Кто будет нам приказы-

вать и толковать пророчества? И в чьих руках окажется верховная власть, если все кончится благополучно?» Ничего еще не добившись, галлы начали ссориться; одни гордились своими договорами о союзах, другие — мощью и богатством, третьи — древним происхождением. Видя, что будущее не сулит особых радостей, решили примириться с настоящим. Тревирам отправили письмо, в котором от имени всех галльских племен советовали сложить оружие и покаяться. «Если вы так поступите, — писали галлы, — можно надеяться на прощение; у нас есть люди, готовые за вас ходатайствовать». Валентин остался неколебим и сумел замкнуть слух соплеменников. К войне он, однако, не готовился и только ораторствовал на сходках.

70. Ни тревиры, ни лингоны, ни другие мятежные племена не делали ничего, чтобы подготовить столь важное дело, какое они задумали. Вожди восстания действовали без всякого общего плана. Цивилис блуждал в белгских лесах, стараясь захватить Лабеона или прогнать его из этих мест. Классик проводил дни в бездействии и развлечениях, словно создал уже собственное государство и стал его правителем. Даже Тутор не спешил занять берега Верхнего Рейна и закрыть альпийские проходы. Тем временем двадцать первый легион и вспомогательные когорты под командованием Секстилия Феликса[128], первый — через Виндониссу, вторые — из Реции, прорвались на земли галлов. К ним присоединились конники сингуляриев[129], часть, некогда созданная Вителлием, которая перешла затем на сторону Веспасиана. Командовал конниками Юлий Бригантик[130], сын сестры Цивилиса; он кипел злобой против дяди, а тот ненавидел его, — известно, что чем ближе люди по родству, тем более острое чувство вражды питают друг к другу. Тутор укрепил тревирскую армию ополченцами, набранными недавно в племенах вангионов, церакатов и трибоков[131], а также ветеранами, пешими и конными, которых он угрозами или посулами переманил на свою сторону. Ветераны разгромили когорту, высланную вперед Секстилием Феликсом, но, увидев, что на них движется во главе со своими полководцами римская армия, вернулись к исполнению долга; трибоки, вангионы и церакаты последовали их примеру. Тутор со своими тревирами в обход Могунциака отступил к Бингию[132], сжег мост через Наву и

думал, что оказался в безопасности. Однако солдаты Секстилия нашли брод и разгромили армию Тутора. Поражение ошеломило тревиров; побросав оружие, они разбежались по всей округе; некоторые вожди племени, дабы показать, что первыми прекратили войну, кинулись в города, сохранившие верность Риму. Легионы, которые, как я уже упоминал, были переведены из Новезия и Бонны в землю тревиров, добровольно принесли присягу Веспасиану. Все эти события произошли в отсутствие Валентина. Когда он явился, пылающий гневом и готовый на все, лишь бы вернуть соплеменников на путь мятежа и разбоя, легионы уже ушли в земли союзного племени медиоматриков[133]. Валентин и Тутор уговорили тревиров снова взяться за оружие, а чтобы отнять у них всякую надежду на прощение и еще больше запутать в свои преступления, убили легатов Гренния и Нумизия[134].

71. Таковы были дела, когда в Могунциак прибыл Петилий Цериал. Его появление возродило надежды на скорое окончание войны. Цериал рвался в бой, храбрость его преобладала над осторожностью, и речи его, полные яростного одушевления, сильно действовали на солдат. Он стремился возможно скорее сразиться с врагом и не соглашался ни на какие промедления. Набранных в Галлии воинов Цериал отправил по домам и велел каждому говорить своим соплеменникам, что империя может обойтись силами легионов, союзники же пусть возвращаются к мирным занятиям, — если римляне взяли ведение войны на себя, можно считать, что она уже выиграна. Галлы оттого сделались еще послушнее, чем раньше: когда молодежь вернулась, им стало легче выплачивать подати, а видя, что никто не собирается их преследовать, они еще больше старались угодить римлянам. Узнав о поражении Тутора, разгроме тревиров и удачах противника, Цивилис и Классик испугались, начали спешно собирать в одно место свои рассеянные войска и слали к Валентину гонца за гонцом, уговаривая его не принимать пока решающего сражения. Но это лишь заставило Цериала действовать тем быстрее. Он велит легионам идти на врага кратчайшим путем, через земли медиоматриков, сам собирает солдат, что были в Могунциаке, и тех, что привел с собой, и после трехдневного перехода появляется перед Ригодулом[135], где заперся Валентин со своими тревирами. Место это окружено гора-

ми и защищено рекой Мозеллой, но Валентин велел вдобавок еще вырыть рвы и нагромоздить груды камней.

Вражеские укрепления не устрашили римского полководца, он приказал пехоте прорваться сквозь них, коннице, одолевши противника, подняться по склону холма. Цериал презирал наспех собранное войско варваров, он верил, что доблесть римских солдат сильнее всех укреплений врагов. На склоне холма под градом дротов и стрел наступающие замешкались, но едва дошло до рукопашной, тревиры отступили и покатились вниз. В тыл им тем временем зашли римские конники, которых Цериал послал в обход по более удобным дорогам; они захватили в плен многих знатных белгов[136] и среди них самого Валентина.

72. На следующий день Цериал вступил в Колонию Тревиров[137]. Солдаты требовали стереть город с лица земли. «Тут родина Классика, здесь родился Тутор, — кричали они, — из-за их коварства попали в осаду и погибли наши легионы. Разве можно сравнить это преступление с виной Кремоны, она лишь на одну ночь задержала победителей, но и за то была разграблена дотла, — а ведь Кремона стояла в самом сердце Италии? Неужели допустим мы, чтобы здесь, на границе Германии, целым и невредимым сохранился город, похваляющийся убийством наших полководцев, трофеями, отнятыми у наших армий? Пусть все, что возьмем мы здесь, идет в казну, мы хотим только видеть, как пламя пожрет мятежный город, как гибелью своей заплатит он за разгром римского лагеря». Опасаясь, что позор падет на него, если поверят, будто он потакает своеволию и жестокости солдат, Цериал сумел справиться с возмущением армии. Никогда не бывают солдаты в войнах против варваров столь ожесточенными, как в войнах против своих сограждан; гражданские распри были позади, и войска подчинились распоряжениям Цериала. К тому же внимание их привлекло другое событие: в Колонию Тревиров пришли легионы, что находились до сей поры в землях медиоматриков. Удрученные содеянными преступлениями, стояли легионеры, глядя в землю, и вид их вызывал жалость. Армии не приветствовали одна другую, кое-кто из солдат Цериала пытался утешить и подбодрить вновь прибывших, но те не отвечали; они разбрелись по палаткам и сидели там, избегая даже дневного света, оцепенев не столько от

страха, сколько от стыда и сознания собственного позора. Победители тоже ходили мрачные, они не смели открыто просить о снисхождении к провинившимся и молча плакали, надеясь добиться прощения для своих товарищей. Наконец Цериал успокоил и тех, и других — он приписал злому року все, что случилось на самом деле из-за происков врагов или распрей между командирами и солдатами. «Считайте сегодняшний день первым днем вашей службы, — сказал он, — считайте, что только сегодня принесли вы присягу. О былых преступлениях не станем вспоминать ни император, ни я». Новоприбывших разместили в том же лагере, где были воины Цериала; по манипулам огласили приказ, запрещающий солдатам, если поссорятся или начнут браниться, попрекать товарищей былой изменой или понесенным поражением.

73. Вскоре после этого Цериал созвал на сходку тревиров и лингонов и сказал им так: «Я никогда не был оратором, я привык оружием доказывать доблесть римского народа. Но раз вы цените больше всего разговоры, раз добро и зло судите вы не по подлинному смыслу, а по тому, как назовет их какой-нибудь бунтовщик, решил я сказать вам несколько слов; исход войны почти решен, и для вас важнее выслушать меня, чем для меня — сказать. Римские полководцы и императоры вступили в земли, что принадлежали вам и другим галлам, не из алчности, а по просьбе ваших предков, ибо едва не погибли они от междоусобных войн[138]. Вы призвали в ту пору на помощь германцев; они обратили в рабство вас всех, не разбирая, кто союзник, кто враг. Сколько раз сражались мы с кимврами и тевтонами, какие тяготы пришлось вынести нашим солдатам, как кончились войны с германцами[139] — все это вы хорошо знаете. Наши армии стоят на Рейне не для того, чтобы охранять Италию, а для того, чтобы новый Ариовист[140] не посягнул на владения галлов. Неужто думаете, что вы милее Цивилису, батавам и зарейнским племенам, чем предкам их ваши отцы и деды? Страсть к грабежам, алчность и любовь к скитаниям всегда гнали германцев в галльские земли; испокон века стремились они захватить ваши плодородные края и вас самих и для того покидали свои болота и дебри. Они говорят о свободе и тому подобном, но это лишь предлог; всякий, кто возжелал захватить власть и поработить других, прибегает к громким словам.

74. Борьба за власть, междоусобные войны терзали Галлию, пока не приняли вы наши законы. С той поры вы не раз бунтовали, но мы пользовались правом победителей для одной только цели — взыскивали с вас то лишь, что необходимо для поддержания мира: спокойствие народов охраняет армия, армии надо платить, и неоткуда взять жалование для солдат, если не взимать подати. Во всем остальном мы с вами равны: вы командуете многими из наших легионов, вы управляете провинциями, и этими, и другими; нет ничего, что доступно нам и недоступно вам. Добро, которое творят хорошие государи, приносит пользу и вам, хотя живете вы вдали от Рима; жестокость же дурных обрушивается только на нас, ибо мы рядом. Сносите алчность и расточительность принцепсов так, как сносите недород или ливни, губящие урожай. Пока существует род человеческий, будут существовать пороки, но и их власть над людьми не безгранична; нет-нет да и наступают лучшие времена. Или, может быть, надеетесь вы, что Тутор и Классик окажутся добрее? Что войска, которые понадобятся вам, дабы сдерживать натиск германцев и бриттов, потребуют меньших податей? Война всех со всеми — вот, что вас ждет, если — да не допустят того боги — римляне будут изгнаны из Галлии. Восемьсот лет сопутствовала нам удача, восемьсот лет возводили мы здание Римского государства, и всякий, кто попытается ныне разрушить его, погибнет под развалинами. Но хуже всего придется вам, ибо вы владеете золотом и богатствами, из-за которых чаще всего и возникают войны. Любите же мир и охраняйте его, любите и охраняйте Город, который все мы, победители и побежденные, с равным правом считаем своим. Выбирайте: покоритесь и будете жить спокойно, станете упорствовать — вам грозит смертельная опасность; вы испытали уже и то, и другое; пусть же опыт заставит вас выбрать первый из этих путей». Лингоны и тревиры ожидали худшего; речь Цериала успокоила их и ободрила[141].

75. Победоносная армия была в землях тревиров, когда Цивилис и Классик прислали Цериалу письмо; они писали так: Веспасиан умер, хотя в официальных донесениях это и скрывают; Рим и Италия охвачены междоусобной войной; Муциана и Домициана не любят, за ними никто не пойдет. Если Цериал согласен принять верховную власть над всей

Галлией, Цивилис и Классик довольны будут господством над своими племенами; если же предпочтет он сражаться, они и на то согласны. Цериал ничего не ответил, а гонца, принесшего письмо, отправил к Домициану. Отовсюду стекались отряды варваров. Многие обвиняли Цериала, что дал он им объединиться, не вступал в бой с каждым в отдельности. Тем временем римляне обносили валом и рвом лагерь, который при постройке оставили по неосторожности неукрепленным.

76. Среди германцев шли споры. Цивилис хотел дождаться прихода зарейнских племен. «Римляне так их боятся, — говорил он, — что смешаются, едва их завидя. Правда, что белги открыто перешли на нашу сторону и преданы мне, но ведь из всех галлов только они одни и есть настоящая сила, остальные — всего лишь добыча для победителей». Тутор же говорил, что всякое промедление на пользу римлянам: «Армии идут отовсюду. Один легион переправляется из Британии, несколько вызваны из Испании, из Италии тоже движутся войска, и не кто попало, а старые, закаленные в боях воины. Германцы, на которых возлагаем столько надежд, не привыкли слушаться приказов, не знают дисциплины, всегда и во всем движимы одной лишь жаждой наживы. Они признают только деньги да подарки, а у римлян их больше, чем у нас; и не настолько любят германцы войну, чтобы предпочесть труды и опасности, когда могут получить те же деньги без всякого риска. Не станем же медлить и нападем на врага сейчас, у Цериала есть только легионы, прежде входившие в германскую армию, они же связаны, ибо вступили в союз с галлами. Неожиданно для самих себя римляне нанесли недавно поражение Валентину и толпе его тревиров; оттого исполнились они самомнения, и солдаты, и полководцы. Теперь рвутся они к новым победам, но когда явятся к нам, то не юношу увидят перед собой, более способного произносить речи на сходках, чем владеть мечом[142], а Цивилиса и Классика; один лишь вид их тотчас заставит римлян вспомнить перенесенные опасности, бегство, голод, вспомнить, сколько раз жизнь их зависела от прихоти победителя. Тревиры и лингоны тоже спокойны не оттого, что любят римлян; пройдет страх, и они снова возьмутся за оружие». Классик согласился с Тутором, и спор был решен; тотчас начали готовиться к бою.

77. В центре встали убии и лингоны, на правом фланге — когорты батавов, на левом — бруктеры и тенктеры. Одни устремились вперед по горам, другие — по равнине, между дорогой и Мозеллой, и столь внезапно налетели на наших, что Цериал, ночевавший вне лагеря, еще лежа в комнате в постели, услышал сразу и о нападении врага, и о поражении своих войск. Он обрушился на тех, кто принес весть, приписал ее трусости их, но вскоре глазам его открылась картина побоища: валы лагеря разрушены, конница бежит, середина моста через Мозеллу, что соединяет две части города, занята противником. Цериал, бесстрашный в трудные минуты, своею рукой останавливает бегущих, бросается без щита, без панциря под град дротиков. Храбрость его тут же приносит плоды: со всех сторон сбегаются к Цериалу лучшие воины; мост отбит. Цериал поручает оборону его отборному отряду и возвращается в лагерь; он видит: манипулы легионов, что сдались в плен под Новезием и Бонной, разбегаются, возле значков осталось лишь несколько солдат, орлы почти окружены врагами. В ярости кричит он солдатам: «Кто скажет, что вы изменники? Вы ведь не предаете Флакка или Вокулу[143]. Вы отступаетесь всего лишь от человека, который безрассудно поверил, что не союзники вы больше галлам, что вспомнили о своей присяге Риму. Пусть постигнет меня судьба Нумизиев и Геренниев[144], — чтобы не осталось в живых ни одного из ваших легатов, чтобы пали они все от руки своих или под ударами врагов. Ступайте, скажите Веспасиану, а еще лучше Цивилису и Классику, что бросили вы своего полководца на поле боя. Скоро придут наши легионы, не останусь я неотмщенным, а вы безнаказанными».

78. Все то была правда, трибуны и префекты твердили легионерам то же. Солдаты собрались в когорты и манипулы. Они не могли развернуться строем, ибо повсюду были враги, лагерь, где шел бой, загроможден палатками и тюками. Тутор, Классик и Цивилис, каждый на своем участке, воодушевляли воинов, сулили галлам свободу, батавам славу, германцам добычу. Победа склонялась на сторону варваров. Но двадцать первый легион, который не был так стеснен, как остальные, сумел выдержать атаку и заставил нападающих отступить. Сами боги, должно быть, сломили боевой дух победителей; они обратились в бегство. Варвары объясняли

дело так: их испугал вид когорт; смешавшись в начале сражения, римляне отступили под натиском врага в горы, там снова построились, и варварам показалось, будто то пришли на помощь римлянам новые когорты. На самом деле варвары почти было уже победили, но, забыв о противнике, принялись драться между собой из-за добычи. Цериал чуть не проиграл сражение по небрежности, но поправил дело мужественным упорством: он сумел использовать выпавшую на его долю удачу, в тот же день взял лагерь мятежников и стер его с лица земли.

79. Недолго пришлось солдатам отдыхать. Жители Агриппиновой колонии просили помощи, предлагали выдать жену и сестру Цивилиса и дочь Классика, оставленных у них в залог союза. Они перебили германцев, которые жили поодиночке в домах колонистов и боялись теперь, что варвары оправятся от поражения, вновь обретут веру в свои силы и вернутся к ним мстить, а потому с полным правом просили римлян о защите. Цивилис шел уже к городу; силы у него было еще довольно, ибо оставалась нетронутой лучшая его когорта из хавков[145] и фризов, что стояла в Тольбиаке[146], на окраине Агриппиновой колонии. В пути, однако, получил Цивилис недобрые вести, и пришлось ему изменить свой замысел: жители колонии устроили для германских солдат этой когорты большой пир; когда же солдаты, отяжелевшие от пищи и вина, заснули, жители заперли их, а дом подожгли; так, коварством колонистов вся когорта оказалась уничтоженной. К этому же времени к Агриппиновой колонии после быстрого перехода подошел Цериал. Опасность грозила Цивилису и с другой стороны: четырнадцатый легион мог с помощью британского флота напасть на батавов, живших на побережье Океана[147]. Однако легат этого легиона Фабий Приск повел солдат по суше, напал на племена нервиев и тунгров, которые тотчас и сдались. Тем временем на флот напали каннинефаты, потопили или захватили большую часть кораблей. Они же разгромили нервиев, которые по своей воле выступили на поддержку римлян. Классик тоже одержал победу над конным отрядом, который Цериал выслал к Новезию. Все эти поражения сами по себе были мелкими, но следовали они одно за другим и омрачали славу, что окружала после недавней победы армию Цериала.

80. Примерно в те же дни Муциан приказал убить сына Вителлия[148], он сказал, что нельзя считать войну по-настоящему конченной, пока не уничтожены семена смуты. Он не допустил также Антония Прима в свиту Домициана, ибо знал, как любят Антония солдаты, и опасался, что тщеславие не позволит Антонию терпеть кого-либо рядом с собой, а тем более — выше себя. Антоний уехал к Веспасиану, но был принят с меньшим радушием, чем ожидал, хотя и враждебности к нему император тоже не проявил. Веспасиан колебался. Он признавал заслуги Антония, понимал, что война окончилась победой лишь благодаря ему, но письма Муциана убеждали его в обратном. Приближенные императора тоже всячески чернили Антония, говорили, что он человек непостоянный, обуянный гордыней, напоминали о неблаговидных поступках его в молодости[149]. Антоний и в самом деле оскорблял многих, ибо был заносчив: без конца напоминал о своих заслугах, всех считал трусами, бранил Цериала, уверяя, что тот сдался в плен без боя[150]. Постепенно его перестали уважать и даже начали презирать, хотя с виду казалось, будто к нему по-прежнему относятся дружески.

81. В те несколько месяцев, что Веспасиан провел в Александрии, дожидаясь, пока установятся попутные ветры и море станет совсем спокойным[151], произошло множество чудес, как бы доказавших благоволение неба и приязнь богов к новому принцепсу. Один из александрийских простолюдинов, у которого, как все знали, болезнь отняла зрение, пал Веспасиану в ноги, со слезами умоляя об исцелении. Он уверял, что поступает так по велению Сераписа, которого суеверный народ этот почитает больше всех прочих богов, и просил принцепса смазать своей слюной его веки и глазницы. Другой, с парализованной рукой, якобы по указанию того же бога, умолял Цезаря наступить на его больную руку. Сперва Веспасиан посмеялся над обоими и наотрез отказал им. Они, однако, настаивали, и принцепс заколебался: не хотелось прослыть слишком самоуверенным, но мольбы калек и уверения льстецов рождали надежду на удачу. Наконец он приказал спросить врачей, в силах ли человеческих справиться с такой болезнью глаз и с таким увечьем руки. Те долго спорили, а потом сказали, что слепой утратил зрение не до конца и его можно восстановить, если убрать помехи, которые не

дают ему видеть; что ж до руки, то она вывихнута и под действием целительной силы может вернуться в обычное положение. «Может быть, — сказали врачи, — это угодно богам, и они избрали принцепса для исполнения своей воли. К тому же, если произойдет исцеление, слава достанется Цезарю; если же ничего не получится, посмешищем станут калеки». Веспасиан решил, что удача сопутствует ему во всем, и нет вещи, даже самой невероятной, которой не дано ему свершить; весело улыбаясь, исполнил он то, о чем его просили. Толпа напряженно следила за ними. Увечный тут же начал двигать рукой, слепой узрел дневной свет. Люди, которые там были, уверяют, что все так в точности и произошло; они повторяют это до сего дня, когда нет уже никакой выгоды лгать.

82. После этого случая еще пуще захотелось Веспасиану посетить святилище божества[152], дабы узнать о судьбах империи. Он приказал никого не пускать в храм, вошел и погрузился в созерцание божества; но вдруг оглянулся и увидел за своей спиной знатного египтянина по имени Басилид; Веспасиан знал, что Басилид лежит сейчас больной в нескольких днях пути от Александрии. Он спросил жрецов, приходил ли в тот день Басилид в храм, расспросил прохожих, не видели ли его в городе, и наконец послал верховых к Басилиду. Всадники возвратились и донесли, что в ту минуту, когда Веспасиан видел Басилида в храме, он был в восьмидесяти милях от Александрии. Тогда прояснился смысл божественного видения, Веспасиан понял, что само имя Басилида есть ответ оракула[153].

83. Из наших писателей никто еще достойным образом не рассказал о происхождении этого божества[154]. Вот что говорят о нем египетские жрецы. Первый из македонян, кто сумел сделать Египет мощной державой, был царь Птолемей[155]. Он обнес стенами только что основанную в ту пору Александрию[156], строил в ней храмы и создавал религиозные обряды; и было ему видение — во сне предстал ему юноша необычайного роста и редкой красоты и приказал: «Пошли самых верных друзей твоих в Понт[157], дабы привезли они оттуда мое изображение. Царству твоему оно принесет счастье, а храму, где поставят его, — величие и славу». Юноша произнес эти слова, и тотчас огненный вихрь вознес его на небо. Птолемей, встревоженный, рассказал о пророческом виде-

нии египетским жрецам, опытным в толковании вещих снов. Те признались, однако, что ничего почти не слыхали о Понте и о народах, что живут за пределами Египта. Тогда спросил Птолемей Тимофея, афинянина из рода Евмолпидов[158]; царь еще раньше вызвал его из Элевсина, дабы совершал священные обряды; царь просил Тимофея объяснить видение, истолковать волю божества. Тимофей расспросил людей, бывавших в Понте, и узнал, что есть в тех краях город, называемый Синопа[159], а недалеко от города — древний храм, известный среди жителей под именем храма Юпитеру Диту[160]: в святилище, рядом со статуей самого божества, стоит изображение женщины, которую многие считают Прозерпиной[161]. Но Птолемей был царь, и, как то свойственно царям, действовал быстро, лишь только пока угрожала ему опасность; видя, что все вокруг спокойно, он мало-помалу забыл о пророчестве и обратился к другим делам, снова о развлечениях стал помышлять больше, чем о почитании богов; как вдруг тот же юноша явился ему в еще более грозном облике и сказал: если царь не исполнит приказания, тотчас же погибнет и он сам, и его царство. Жителями Синопы правил в ту пору царь Скидрофемид; Птолемей поспешно отправил к нему послов с дарами, приказал им по пути посетить святилище Аполлона Пифийского. Плавание было удачно, а бог сказал вполне ясно, что они должны ехать и возвратиться с изображением его отца, статую же сестры оставить на прежнем месте[162].

84. Прибыв в Синопу, послы вручили Скидрофемиду подарки, передали просьбу Птолемея и умоляли эту просьбу исполнить. Царь не знал, что делать — веление божества заставляло его трепетать, но народ требовал, чтобы статуи никто не касался, и буйством своим внушал Скидрофемиду ужас; однако подарки и посулы послов делали свое дело, и царь все больше склонялся на их сторону. Так прошло три года, и все это время Птолемей не ослаблял усилий и не скупился на подношения; приезжали от него послы все более высокого ранга, все больше приходило из Египта кораблей, и все больше золота они привозили. Грозная тень явилась Скидрофемиду и приказала не медлить долее и тотчас исполнить веление бога. А он все еще не решался. Тогда обрушились на него беды, гнев небес, день ото дня все более неумолимый, разра-

зился над жителями Синопы. Царь собрал народ, стал говорить о велении божества, о видениях, которые являлись ему и Птолемею, о несчастьях, все свирепее терзавших Синопу. Жители не хотели слушать; они ненавидели египтян, боялись и наконец выставили у храма охрану. Вот почему приходится так часто слышать, будто статуя сама поднялась на один из кораблей, стоявших у берега. Не менее удивительна невиданная быстрота, с какой суда прошли огромное расстояние от Синопы до Египта: уже на третий день оказались они в гавани Александрии. Святилище, размерами своими соответствующее величию города, выстроили в месте, называемом Ракотис[163], где стоял старинный маленький храм, посвященный Серапису и Изиде. Вот как чаще всего рассказывают о происхождении храма и о том, как попала сюда статуя бога. Я знаю: некоторые считают, будто статую привезли из сирийского города Селевкии[164] в правление Птолемея, третьего царя, носившего это имя[165]. Есть также люди, которые говорят, что привез ее тот Птолемей, о котором у нас шла речь, но не из Синопы, а из Мемфиса, некогда весьма славной твердыни древнего Египта. Бога этого одни считают Эскулапом[166], так как он излечивает болезни, другие — Озирисом, древнейшим божеством Египта; многие говорят, что раз он правит всем сущим, то это должен быть Юпитер; большинство же видит в нем отца Дита, ибо многие признаки указывают на это прямо, а другие можно истолковать в том же смысле.

85. Еще не дойдя до Альп, Домициан и Муциан получили весть о победе над тревирами. Доказательством тому было пленение Валентина, полководца противника[167]. Он держал себя мужественно, лицо его выражало одушевление, с которым вел он в бой своих соплеменников. Участь Валентина была заранее решена, выслушали его, лишь чтобы узнать его образ мыслей, и осудили на смерть. Во время казни кто-то, желая уязвить Валентина, сказал, что родина его снова под игом победителя; он отвечал: «Смерть меня утешит». Муциан, притворившись, будто только что пришла ему в голову эта мысль, выступил с предложением, которое долго вынашивал: теперь, когда кампания по сути дела окончена, враг милостью богов сломлен, вряд ли будет достойно Домициана явиться делить славу с другими; если бы речь шла о судьбе империи, о спасении галльских провинций, тогда, конеч-

но, место Цезаря в первых рядах сражающихся; но бороться с каннинефатами и батавами могут и не столь великие полководцы; лучше остановиться в Лугдунуме, не подвергать себя мелким повседневным опасностям, не избегать в то же время настоящих трудностей и показать окружающим народам принципат во всем его величии и мощи.

86. Домициан последовал совету; он разгадал замысел Муциана, но не хотел, чтобы тот это понял, и вместе с ним прибыл в Лугдунум. Некоторые говорят, что из Лугдунума Домициан отправил тайно послов к Цериалу спросить, передаст ли тот ему свои войска и командование над ними, если Домициан явится в армию. Так и неясно, что было у Домициана на уме: готовился ли он к войне с отцом или собирал силы и средства для борьбы с братом; Цериал, муж здравомыслящий и трезвый, высмеял детские вожделения Домициана. Видя, что юный его возраст вызывает у людей пожилых презрение, Домициан перестал выполнять даже те немногие государственные обязанности, которые на себя принял, прикинулся скромным, простоватым и, удалившись в уединение, сделал вид, будто всецело предался изучению литературы и сочинению стихов. Он хотел скрыть свои подлинные намерения и избежать соперничества с братом, чью миролюбивую душу, столь непохожую на его собственную, никогда не мог понять.

Книга пятая

1. В начале того же года[1] Цезарь Тит был избран отцом для усмирения Иудеи. Еще в ту пору, когда и сам он, и отец его были простыми гражданами[2], Тит прославился как отличный военачальник, теперь же, когда провинциалы и солдаты наперебой старались доказать ему свою преданность, он еще горячее взялся за дело и стяжал еще большую славу. Тит хотел показать всем, что он выше своей судьбы, а потому держал себя достойно и решительно; ласковым и дружелюбным обращением вызывал он в каждом стремление исправно нести службу, делил с рядовыми воинами труды и тяготы походной жизни, никак не роняя при этом свое достоинство полководца. В Иудее его ждали пятый, десятый и пятнадца-

тый легионы, из солдат, давно уже служивших под командованием Веспасиана. Тит присоединил к ним находившийся дотоле в Сирии двенадцатый легион и выведенные из Александрии двадцать второй и третий. Кроме того, за армией Тита шли двадцать когорт союзников, восемь конных отрядов, армии царей Агриппы и Сохема, вспомогательные войска царя Антиоха[3], множество арабов — они были особо опасны для иудеев, ибо эти два народа питали один к другому ненависть, обычную между соседями; шло также за Титом множество людей, что на свой страх и риск приехали из Италии в надежде добиться благосклонности принцепса, который до сей поры никого еще не дарил особым расположением. Войска шли походными колоннами, и Тит во главе их вступил во вражеские пределы. Продвигаясь вперед, он тщательно разведывал местность, готовый предупредить любое нападение, и наконец разбил лагерь неподалеку от Иерусолимы.

2. Нам предстоит еще описать гибель этого достославного города и потому будет уместно сейчас рассказать о его происхождении[4]. Есть предание, которое гласит, что иудеи бежали с острова Крита и расселились на дальних окраинах Ливии еще в те времена, когда Сатурн, побежденный Юпитером, оставил свое царство[5]. Доказательством тому считают самое имя иудеев: на Кипре есть прославленная гора Ида, говорят, будто народ, что жил поблизости от нее, назван был «идеи», а после в устах варваров слово это превратилось в «иудеи». Иные утверждают, что в Египте было слишком много жителей, и иудеи — это те, кто в царствование Изида ушли во главе с Иеросолимом и Иудой из Египта в близлежащие земли. Многие видят в иудеях потомков эфиопов, что при царе Кефее покинули свои земли из-за распрей и войн. Некоторые думают, что происходят иудеи от тех ассирийцев, которые, не имея довольно земли, захватили сначала часть Египта, оттуда двинулись дальше, стали возделывать земли неподалеку от Сирии и в краях эбреев и основали там свои города. Некоторые же приписывают иудеям весьма славное происхождение, их считают потомками воспетых Гомером солимов[6], которые основали Иеросолиму, назвав город по имени своего племени.

3. Большинство писателей говорят согласно одно: некогда на Египет напала зараза, от которой тело покрывается

струпьями. Царь Бокхорис обратился с мольбой к оракулу Аммона и услышал ответ: страну следует очистить — выселить в чужие земли людей, которые навлекли на себя гнев богов. Их разыскали, собрали отовсюду и вывели в пустыню; впавши в отчаяние, они не в силах были двигаться. Тогда один из изгнанников по имени Моисей стал говорить, что нечего им просить помощи ни у богов, ни у людей. «И те, и другие, — сказал он, — отступились от вас. Положитесь же на самих себя и на того вождя небесного, что подаст вам помощь, и тотчас избавитесь от нынешних бедствий»[7]. Все согласились и побрели, не зная пути, по первой попавшейся дороге. Вскоре, однако, жажда, их мучившая, стала невыносимой и упали они на землю, чуя приближение смерти. И тут увидели, как на вершину скалы, что высилась в тени густой рощи, взбирается стадо диких ослов. Моисей догадался — там, где есть трава, есть и вода; он пошел вслед за стадом и увидел большой родник. Вода облегчила мучения путников; они шли шесть дней, не останавливаясь, на седьмой же пришли в некую землю, захватили ее, изгнав людей, ее возделывавших, и основали город и храм.

4. Дабы увековечить себя в памяти иудеев, Моисей дал им новую религию, враждебную всем другим, которые исповедуют остальные смертные. Иудеи считают богопротивным то, что для нас священно, и, наоборот, то, что у нас запрещено, ибо безнравственно и преступно, у них разрешается. В святилищах своих поклоняются изображениям животного, которое вывело их из пустыни и спасло от мучений жажды; при этом режут баранов, будто нарочно, чтобы оскорбить бога Аммона[8]; убивают быков, потому что египтяне чтут бога Аписа[9]. Они не едят мясо свиней, ибо животные эти подвержены той самой болезни, что некогда поразила народ иудеев. Храня доныне память о перенесенном в древние времена страшном голоде, они часто соблюдают посты, а обычай замешивать хлеб без дрожжей напоминает, как некогда питались они украденными сухими колосьями. Отдыхать иудеи любят в седьмой день; потому, говорят, что муки их кончились на седьмой день. Со временем безделье стало казаться им все более привлекательным, и теперь они проводят в праздности каждый седьмой год[10]. Некоторые полагают, правда, что обычай этот иудеи ввели во славу Сатурна, ибо

вера их и народ пошли от иудеев, что удалились в изгнание вслед за Сатурном; но, может быть, и потому, что из семи звезд, правящих судьбами смертных, самая высокая и самая могучая — звезда, называемая Сатурновой, а путь, который проходят многие небесные светила, и время, за которое они свой путь совершают, выражаются числами, кратными семи.

5. Но каково бы ни было происхождение всех описанных обычаев, они сильны своей глубокой древностью; прочие же установления, мерзкие и гнусные, стоят на нечестии, которое царит у иудеев: самые низкие негодяи, презрев веру отцов, платили им подати, жертвовали деньги и оттого возросло могущество этого народа; возросло оно еще и оттого, что иудеи охотно помогают друг другу, зато ко всем прочим смертным враждебны и ненавидят их. Ни с кем не делят они ни пищу, ни ложе, избегают чужих женщин, хотя преданы разврату до крайности и со своими творят любые непотребства; они и обрезание ввели, чтобы отличать своих от всех прочих. Те, что по своей воле перешли к ним, тоже соблюдают все эти законы, но считаются принятыми в число иудеев лишь после того, как исполнятся презрения к своим богам, отрекутся от родины, отрекутся от родителей, детей и братьев. При всем том иудеи весьма заботятся о росте своего народа — убийство детей, родившихся после смерти отца, считают преступлением[11], души погибших в бою или казненных почитают бессмертными и оттого любят детей и презирают смерть. Тела умерших они не сжигают, а, подобно египтянам, зарывают в землю; и так же, как египтяне, боятся они ада и много о нем думают; но о небесных силах мыслят они совсем по-иному, нежели египтяне. В Египте божеские почести воздаются различным животным и статуям, нарочно для того созданным, иудеи же верят в единое божественное начало, постигаемое только разумом; высшее, вечное, непреходящее, оно не поддается изображению, так что они считают безумцами всех, кто делает себе богов из тлена, по человеческому образу и подобию. Поэтому ни в городах у них, ни тем более в храмах нет никаких кумиров, и они не ставят статуй ни в угоду царям, ни во славу цезарей. Жрецы их издавна пели хором под звуки флейт и тимпанов, украшали себя гирляндами из хмеля, а в храме потом найдены были золотые лозы, оттого многие подумали, будто иудеи поклоняются отцу Ли-

беру[12], который некогда подчинил себе страны Востока. Религии эти, однако, ничуть не сходны: обряды, введенные Либером, торжественны и радостны, обычаи же иудеев бессмысленны и нечисты.

6. Страна их простирается на восток до границ Арабии, на юг — до Египта, на запад — до земель, где живут финикийцы и до моря; на север от нее широко раскинулась Сирия[13]. Люди здесь крепки телом и выносливы в труде. Дожди редки, плодоносная земля родит то же, что у нас, а сверх того произрастают там пальмы и бальзамовое дерево. Пальмы высоки и прекрасны, бальзамовое дерево невзрачно на вид. Когда какая-нибудь ветка его вздуется, ее нельзя взрезать железом, ибо древесные жилы цепенеют от страха; взрезать их можно лишь острым камнем или черепком; из них вытекает жидкость, и ею врачи лечат больных. Самая высокая гора — Ливан; дивно сказать: снег лежит на ней густым плотным слоем, даже когда царит страшная жара; тут начинается река Иордан, Ливан питает ее своими снегами[14]. Иордан не изливается в море, а проходит нетронутым через одно озеро, через другое и лишь в третьем остается навсегда[15]. Озеро, в которое впадает Иордан, огромно, почти как море, вода же его неприятнее на вкус, чем морская; из озера поднимаются тяжелые пары, что несут людям, живущим по берегам, чуму. Ветер не волнует гладь озера, рыбы не живут в нем, и плавающие птицы не приближаются к нему; воды неподвижны, словно покрыты твердой коркой, на них держится любой предмет, ни опытный пловец, ни новичок, едва умеющий плавать, не тонут в озере. В определенное время года озеро извергает из глубин своих смолу; люди ее вылавливают, наученные в этом деле, как и в других полезных ремеслах, опытом. Черное это вещество жидкое, но если налить на него уксуса, оно густеет и всплывает; тут его берут руками, втягивают на палубу, и оно само собой начинает изливаться в глубь корабля, пока не перережут струю. Перерезать же ее нельзя ни медью, ни железом, она прерывается только от крови — если поднести к ней одежды, смоченные в той крови, что каждый месяц выделяют женщины. Так, по крайней мере, рассказывают об этом промысле старинные писатели. А те, кто хорошо знает те места, говорят, что смола плавает на поверхности озера, ее хватают руками и вытаскивают на берег, а после, когда она от

земных испарений и солнечных лучей высыхает, рубят на куски топорами и клиньями наподобие того, как раскалывают бревна или камни[16].

7. Неподалеку от тех мест расстилаются равнины, которые, как говорят, были некогда плодородны и покрыты многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем. Рассказывают, что остатки городов видны и поныне[17], земля же с тех пор как бы навеки обуглилась и не может плодоносить. Всякое растение, посаженное ли рукой человека или само пробившееся, тонкий ли у него стебель и бледные цветы или, напротив, кажется оно поначалу здоровым и крепким — все равно в конце концов вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что до гибели некогда славных и великих городов, то я готов верить, что их спалил небесный огонь, но земля и воздух над ней, полагаю я, заражены испарениями озера, и оттого гниют все посевы и осенние плоды; так что и небо, и земля равно вредоносны. Есть там еще река Бел, она впадает в Иудейское море[18]. В устье реки добывают песок, из которого, если варить его с содой, получается стекло; место это совсем небольшое, но сколько ни берут песка, запасы его не иссякают.

8. Бóльшая часть Иудеи занята деревнями, но есть у них и города; столица племени — Иеросолима. Здесь находился храм, в котором собраны были огромные богатства. За первой линией валов шел город, дальше — дворец, храм же стоял в самой глубине, за оградой. Только иудеям разрешалось приближаться к дверям храма; внутрь могли входить лишь жрецы. Пока Востоком правили ассирийцы, мидяне и персы[19], иудеи были самым жалким из подвластных им народов. Во времена господства македонян царь Антиох попытался было искоренить столь распространенные среди них суеверия и ввести греческие обычаи, дабы хоть немного улучшить нравы этого мерзкого племени; но помешала ему парфянская война, что вспыхнула из-за мятежа Аршакидов[20]. Позже власть македонян пришла в упадок, парфяне еще не сделались могучим народом, в какой превратились потом, а римляне были далеко, и иудеями стали править их собственные цари[21]. Непостоянная чернь изгнала этих деспотов, но они вернулись, с оружием в руках вновь захватили власть и принялись править так, как обычно правят цари: ссылали граж-

дан, стирали с лица земли целые города, убивали своих братьев, жен, родителей. Дабы укрепить свою власть, они приняли жреческое достоинство и стали еще больше поощрять иудеев в их суевериях.

9. Из римлян первым покорил иудеев Гней Помпей и по праву победителя вступил в иерусолимский храм[22]. Тогда и увидели, что храм пуст, изображений богов в нем нет, и все разговоры о его тайнах — нелепые бредни. Стены города срыли, но святилище осталось на прежнем месте. Вскоре у нас вспыхнула гражданская война, восточные провинции оказались в руках Марка Антония, власть в Иудее захватил парфянский царевич Пакор[23], но Публий Вентидий вскоре убил его и оттеснил парфян на другой берег Евфрата, а Гай Созий привел иудеев в покорность Риму[24]. Антоний поставил над ними царем Ирода, а Август после своей победы еще больше расширил и укрепил его власть[25]. Когда Ирод умер, некий Симон, не дожидаясь приказаний от Цезаря, сам объявил себя царем. Правивший тогда Сирией Квинтилий Вар[26] покарал его и привел народ в повиновение, власть же разделили между тремя сыновьями Ирода[27]. При Тиберии в Иудее царило спокойствие, когда же Гай Цезарь приказал поставить в храме свое изображение, народ взялся за оружие; вскоре, правда, Цезарь умер, и восстание утихло. Правившие страной цари кто умер, кто впал в ничтожество; Клавдий сделал Иудею провинцией[28] и назначил управлять ею всадников или вольноотпущенников. Особой жестокостью и сластолюбием отличался Антоний Феликс — раб на троне[29]. Он женился на внучке Клеопатры и Антония Друзилле и стал внучатым зятем того самого Антония, внуком которого был Клавдий.

10. Иудеи терпеливо сносили все, но когда прокуратором стал Гессий Флор[30], подняли мятеж. Легат Сирии Цестий Галл[31] двинулся на подавление, но вел дело нерешительно и проиграл почти все сражения. То ли так суждено ему было, то ли напало на него нестерпимое отвращение к жизни, но вскоре он умер, и Нерон прислал на его место Веспасиана. Веспасиан был в то время в расцвете славы, удача сопутствовала ему, у него были отличные полководцы, и за два лета победоносная армия Веспесиана овладела всей иудейской равниной и всеми городами, кроме Иеросолимы[32]. Следующий год был полон событиями гражданской войны, в Иудее же ничего

важного не произошло. Но едва восстановили мы в Италии мир, пришлось заботиться о делах на границах. Иудеи были единственным народом, который отказался подчиниться Риму, и это вызывало всеобщее негодование. Веспасиан понимал, что новая власть на первых порах столкнется со всякими неожиданностями и случайностями, и потому счел полезным сохранить главенство над армией в руках Тита.

11. Тит, как мы уже говорили, разбил лагерь возле Иерусалимы и развернул строем свои легионы, дабы показать их жителям города. Иудеи встали под самыми стенами, рассчитывая, если победа начнет клониться на их сторону, продвинуться вперед, а в случае поражения скрыться в городе. Высланные против них конники и легко вооруженные когорты вели бой с переменным успехом. Но вскоре враги отступили. Несколько дней они не раз схватывались возле ворот с нашими солдатами, но, видя, что неизменно терпят неудачи, заперлись в стенах города. Римляне собрались брать Иеросолиму штурмом: казалось недостойным выжидать, пока осажденные ослабеют от голода, солдаты жаждали риска, опасностей, некоторые — движимые воинской доблестью, большинство же — алчностью и жестокостью. Тит видел перед собою Рим, наслаждения, роскошь, стоять под стенами Иеросолимы казалось ему бессмысленной тратой времени. Город был расположен в труднодоступном месте и укреплен насыпями и крепостными сооружениями, которые могли защитить его, даже если бы он стоял среди ровного поля[33]. Два высоких холма окружены были стеной, она шла неровной линией, кое-где сильно вдавалась внутрь, так что фланги нападающих оказывались открытыми; и холмы, и стены располагались на скале, она круто обрывалась вниз. На холмах городские башни имели высоту шестьдесят ступней, в низинах — сто двадцать ступней, так что издали они казались одной высоты и тем дивили взоры. Еще одна стена проходила внутри города и окружала дворец; за ней вздымалась высоко в небо Антониева башня, названная так Иродом в честь Марка Антония.

12. Храм тоже был, можно сказать, крепостью; его окружала особая стена, сооруженная с еще большим искусством, и постройка ее стоила еще большего труда; даже портики вокруг всего храма тоже могли служить прекрасными укрепле-

ниями. Тут же бил неиссякающий родник, в горе вырыты были подземные помещения, устроены бассейны и цистерны для хранения дождевой воды. Основатели Иеросолимы, когда еще только закладывали город, понимали, что отличие иудеев от окружающих народов не раз приведет к войнам, и сделали все, чтобы город мог выдержать любую, самую долгую осаду. Но когда Помпей взял город, иудеи, полные страха, научились многому. Во время правления Клавдия они, пользуясь всеобщей алчностью, купили за деньги право возводить оборонительные сооружения и стали строить стены, словно готовились к войне, хотя вокруг царил мир. Теперь римляне взяли окрестные поселения, и чернь отовсюду хлынула в Иеросолиму; сбежались в город самые отъявленные смутьяны, и распри еще пуще стали раздирать Иеросолиму. Во главе обороны города стояли три полководца, каждый со своей армией. Внешнюю стену, самую длинную, защищал Симон, среднюю — Иоанн, известный также под именем Баргиора, за оборону храма отвечал Елеазар. У Симона и у Иоанна были многочисленные и хорошо вооруженные армии. А Елеазар был силен неприступным местоположением храма. Они враждовали между собой, вели интриги, устраивали стычки и даже поджоги, так что в пламени погибли большие запасы зерна[34]. В конце концов Иоанн послал к Елеазару своих людей, будто бы свершить жертвоприношение[35]; они убили Елеазара и его солдат и захватили храм. Город разделился, началась борьба; лишь когда римляне подошли к Иеросолиме, война заставила жителей забыть о распрях.

13. Над городом стали являться знамения, народ же этот, погрязший в суевериях, а религии не знающий, не умеет отводить беды ни жертвоприношениями, ни очистительными обетами. На небесах бились враждующие рати, багровым пламенем пылали мечи, огонь низвергался из туч и кольцом охватывал храм. Внезапно двери храма распахнулись, громовый, нечеловеческой силы голос возгласил: «Боги уходят», — и послышались удаляющиеся шаги. Но знамения эти лишь немногим внушали ужас: большинство полагалось на пророчество, записанное, как они верили, в древности их жрецами в священных книгах: будто бы около этого времени Востоку предстояло добиться могущества, а из Иудеи должны выйти люди, которым предназначено господствовать над миром.

Туманное это предсказание касалось Веспасиана и Тита, но жители города, как оно вообще свойственно людям, толковали его в свою пользу, твердили, что иудеи вознесутся на вершину славы и могущества, и никакие беды не могли заставить их увидать истину. Всего осажденных, считая людей обоего пола и всех возрастов, было, как говорят, около шестисот тысяч. Оружие раздали всем, кто был в силах его носить, и так были отважны, что казалось, будто бы их гораздо больше. Равное упорство владело и мужчинами, и женщинами, и если бы пришлось им покинуть Иеросолиму, то жизнь была бы им страшнее смерти. Вот против какого города и какого народа начал борьбу Цезарь Тит; убедившись, что Иеросолима расположена так, что взять ее штурмом или внезапным налетом невозможно, он решил вести осаду боевыми машинами и делать насыпи. Каждый легион получил особое задание; стычек больше не было — римляне строили всевозможные осадные орудия, и те, что изобрели древние, и придуманные современными мастерами.

14. Между тем Цивилис[36], разбитый под Колонией Тревиров, пополнил свои войска германцами и встал возле Старых лагерей. Здесь удобно было обороняться, к тому же именно здесь варвары некогда одержали победу и воспоминание о ней наполняло их души бодростью. Цериал двинулся туда же во главе войска, численность которого удвоилась: пришли второй, шестой и четырнадцатый легионы; отдельные когорты и конные отряды, принятые еще раньше, после победы Цериала тоже поспешили присоединиться к его армии. Ни тот, ни другой полководец не любили медлить, но сойтись мешало лежавшее между армиями огромное поле, и прежде сильно заболоченное, а теперь совсем залитое водой: Цивилис распорядился насыпать дамбу, она косо вдавалась в реку и отводила воду на окрестные поля. И оттого, не зная броду, весьма тяжко нашим было, ибо тяжеловооруженные римские солдаты плавать боятся, германцы же привычны переплывать реки, легкое вооружение и высокий их рост немало тому способствуют.

15. Батавы принялись дразнить римских солдат, самые нетерпеливые и храбрые стали отвечать, поднялась сумятица; в бездонных болотах тонули кони и оружие; германцы знали скрытые водой тропинки и легко перескакивали с од-

ной на другую. Они не нападали спереди, а старались сжать наших с боков или зайти в тыл; сражение не походило на сухопутный рукопашный бой, а более на морскую битву. Люди бродили среди вод, бились, едва утвердившись на клочке твердой земли, вода поглощала сплетенные тела, и невредимых, и раненых, опытных пловцов, и не умеющих плавать. Потерь у нас, однако, оказалось меньше, чем можно было ожидать в такой сумятице, ибо германцы не решились выйти из болота и отступили в лагерь. После этой битвы оба полководца, хоть и по разным причинам, стремились к решающему сражению: Цивилис не хотел упускать удачу, Цериал рвался смыть позор; германцев одушевлял счастливый исход сражения, римлян гнал в битву стыд. Настала ночь. Гнев и ненависть к врагу владели нашими. Из варварского лагеря неслись пение и крики.

16. На заре следующего дня Цериал выдвинул в первый ряд конницу и вспомогательные когорты, за ними поставил легионы, а при себе оставил на всякий случай отряд отборных воинов. Цивилис не стал растягивать свои войска в линию, а построил их клиньями: справа — батавов и кугернов[37], слева, ближе к реке, — людей из зарейнских племен. Ни тот, ни другой не произносили речей перед всей армией; они объезжали строй и обращались к каждому отдельно. Цериал напоминал солдатам о древней славе римского имени, о победах, одержанных в старину и совсем недавно, призывал навсегда покончить с коварным, трусливым и почти уже разбитым врагом, говорил, что воинам предстоит не сражаться, а мстить. Недавно бились они с более многочисленными германцами и разгромили их, а ведь германцы — главная сила вражеской армии; теперь у Цивилиса остались лишь воины, которые не в силах забыть свое бегство с поля боя и раны, покрывающие их спины. К каждому легиону Цериал обращался со словами, которые могли особенно сильно подействовать. Воинов четырнадцатого назвал он покорителями Британии, шестому напомнил, что лишь благодаря его могучей поддержке Гальба стал принцепсом, воинам второго сказал, что предстоящий бой будет для них первым и здесь должны они стяжать славу своему новому знамени и новым значкам когорт[38]. «Эти лагеря — ваши, и ваши эти берега, — воскликнул Цериал, обращаясь к легионам германской ар-

мии, и обвел рукой окружающие поля. — Пусть же кровью заплатят враги за то, что пытаются отнять у вас ваши владения». Слова эти были встречены особенно громкими криками, солдаты устали от долгого мира и рвались в бой; другие же, утомленные войной, стосковались по спокойной жизни и надеялись, что предстоящее сражение принесет им награды, а вслед за ними — желанный отдых.

17. Цивилис тоже не молчал, выстраивая войска для битвы. Он призывал окрестные поля в свидетели доблести своих воинов. «Земля, на которой вы будете сражаться, — говорил он, — видела ваши подвиги; все здесь напоминает о славе германцев и батавов, каждым шагом своим попираете вы ногами пожарища лагерей и кости легионеров[39]. Куда бы римский воин ни бросил взгляд, все твердит ему о поражении и плене, все предвещает гибель. Пусть не смущает вас то, что в земле тревиров не удалось нам победить; там сама победа, одержанная германцами, встала на их пути — они набросились на добычу и выпустили оружие из рук, занятых награбленным добром. Зато все, что случилось после того сражения, принесло нам одну лишь пользу, а врагам один лишь вред[40]. На сей раз я предусмотрел все, что только может предусмотреть опытный в своем деле полководец: округа залита водой, это ваши поля, вам знакома каждая пядь, для врагов же это болото, грозящее смертью. Рейн и германские боги, во славу которых вы будете стремиться к победе, смотрят на вас; жены, родители, родина думают о вас. Сегодня вы обретете славу, превосходящую славу предков или позор, о котором вечно будут помнить потомки». Варвары, как это у них принято, одобряли слова Цивилиса звоном оружия и пляской в три шага. В римлян полетели камни, глиняные ядра и другие метательные снаряды; битва началась. Наши солдаты не решались входить в болото, германцы всячески дразнили их, стараясь заманить в трясину.

18. Вскоре у варваров кончились метательные орудия; видя, что битва разгорается, они яростно устремились вперед. Пользуясь огромным своим ростом, они издали длинными пиками поражали солдат, которые скользили и едва удерживались на ногах. С дамбы, которую, как я упоминал, германцы возвели на Рейне, перебрался вплавь отряд бруктеров. Началось смятение, строй союзных когорт дрогнул, но

тут в дело вступили легионы, они подавили натиск бруктеров, и сражение опять пошло без перевеса той или другой стороны. И тут к Цериалу явился батав-перебежчик; он сказал, что берется провести конницу по краю болота на твердую землю в тыл противника; сказал, что тылы врага охраняются людьми из племени кутернов, и притом весьма небрежно. С перебежчиком послали два отряда конницы, они обошли ничего не подозревавших врагов и обрушились на них с тыла. Шум схватки донесся до римлян, они поняли, что происходит, и легионы прямо устремились на врага. Германцы в беспорядке побежали к Рейну. Если бы римский флот вовремя двинулся в погоню, этой битвой кончилась бы война; конница тоже не смогла преследовать разбитых германцев, ибо наступала темнота и хлынул внезапно ливень.

19. На следующий день четырнадцатый легион отправили в Верхнюю Германию к Галлу Аннию[41], а Цериал пополнил свою армию прибывшим из Испании десятым легионом, к Цивилису же подошла помощь от племени хавков. Все же он не решился защищать главный город батавов, солдаты его захватили все, что можно было унести, остальное побросали в огонь и отступили на остров[42]. Цивилис знал, что кораблей для сооружения моста у римлян нет и никаким другим способом они переправить свою армию на остров не смогут. Он даже разрушил дамбу, выстроенную Друзом Германиком[43], и Рейн, освобожденный, устремился в старое русло, которое постепенно опускается в сторону Галлии. Когда река отхлынула, между островом и германским берегом остался узкий рукав, так что образовалась как бы сплошная суша. За Рейн ушли также Тутор, Классик и сто тринадцать старейшин племени тревиров, среди которых был и Альпиний Монтан, присланный в галльские провинции, как я уже рассказывал раньше, Примом Антонием. Монтана сопровождал брат Децим Альпиний. Другие тем временем набирали подкрепления в племенах, всегда готовых к войне, стараясь вызвать у них сострадание и не скупясь на дары.

20. Но до конца войны было еще далеко; в один и тот же день Цивилис напал на заставы римских легионов, их когорт и конных отрядов в четырех разных местах: в Аренаке[44], где были лагеря десятого легиона, в Батаводуре, где расположился второй, в Гриннах и в Ваде, где стояли отдельные когорты

и отряды конников[45]. Цивилис разделил армию на несколько частей, одну оставил себе, остальные передал сыну своей сестры Вераксу, Классику и Тутору. Он не надеялся на удачу везде, но считал, что если рискнуть, то хоть где-нибудь улыбнется счастье. К тому же Цивилис знал, что римский полководец не отличается осторожностью, и предвидел, что, когда к Цериалу начнут поступать вести из разных мест, он начнет метаться от одного к другому, и, может быть, где-то на пути его удастся захватить в плен. Варвары, которые должны были напасть на лагеря десятого легиона, сочли, что это им не под силу, и накинулись на солдат, вышедших из лагеря рубить лес; префект лагеря, пять первых центурионов и несколько легионеров были убиты, остальным удалось укрыться за лагерными укреплениями. Тем временем отряд германцев пытался разрушить мост, который римляне начали строить в Батавадуре; бой здесь шел с переменным успехом и только ночь прервала его.

21. Еще больше опасностей выпало на нашу долю под Гриннами, которые атаковал Классик, и под Вадой, где наступлением командовал Цивилис. Лучшие воины пали в сражении, среди них префект конников Бригантик, о чьей преданности римлянам и ненависти к дяде Цивилису я уже рассказывал; так что римляне здесь оказались не в силах сопротивляться. Однако, когда сам Цериал появился на поле боя во главе отборного отряда конников, дело пошло по-иному; германцы в беспорядке отступили к реке[46]. Цивилис пытался остановить бегущих, но его заметили, и град дротиков посыпался на него. Цивилис бросил коня и вплавь переправился на другую сторону Рейна; так же спасся Веракс; за Тутором и Классиком пришли лодки, и в них они перебрались на ту сторону. Римский флот, хоть и получил приказ, опять не участвовал в сражении — оттого, что опасность была слишком велика, да и гребцы оказались разосланы с разными воинскими поручениями. Правда, Цериал всегда давал очень мало времени на выполнение своих приказов, он принимал решения внезапно, но всегда оказывался прав, ибо там, где изменяли талант и знания, выручала удача. И сам он, и солдаты его привыкли к этому и порядком распустились. И оттого несколькими днями позже Цериалу удалось избежать плена, но не бесчестья.

22. Цериал возвращался к себе после осмотра лагерей, которые легионеры строили на зиму в Новезии и Бонне[47]. Он плыл по Рейну в сопровождении флота; строй не соблюдали, солдаты охраны забыли о своих обязанностях. Германцы заметили это и замыслили вероломно напасть на них. Напали темной ночью, когда небо было покрыто тучами; течением варваров вынесло к лагерю. Сопротивления они не встретили и оказались вскоре за валами. Первые римские воины, погибшие в ту ночь, пали жертвой коварства: германцы перерезали растяжки палаток, солдаты не успевали выбраться из-под полотнищ, враги убивали их. Другой отряд варваров бросился к стоянке кораблей; они опутывали суда веревками и волочили кормой вперед. Сначала германцы хранили мертвое молчание, но едва началась резня, со всех сторон загремели крики — криками своими варвары хотели вызвать среди римлян еще большее смятение. Легионеры проснулись от сыпавшихся ударов. Они ищут оружие, выскакивают в проходы между палатками; людей в боевом снаряжении почти не видно, большинство бьется, намотав на одну руку одежду, в другой держа меч. Цериал, сонный, полуголый, спасся лишь благодаря ошибке врагов: по поднятому вымпелу они узнали преторский корабль, решили, что командующий там, и принялись оттаскивать судно от берега. Цериал же в ту ночь был не на корабле, а, как многие уверяли, у Клавдии Сакраты, развратной женщины из племени убиев. Часовые, дабы оправдать себя, говорили, что всему виной позорное поведение Цериала. Они уверяли, будто командующий приказал не беспокоить его и соблюдать тишину, и тогда они перестали перекликаться и заснули. Было уже совсем светло, когда варвары на захваченных кораблях отправились восвояси; преторскую трирему они отвели вверх по реке Лупии в дар Веледе[48].

23. Цивилису хотелось показать свой флот в строю. На биремы[49] и на суда с одним обычным рядом гребцов посадил он воинов, окружил корабли несметным количеством барок, вооруженных наподобие либурнских кораблей, по тридцать — сорок человек на каждый... Над лодками поднялись пестрые солдатские плащи[50], варвары пользовались ими вместо парусов, плащи придавали всей картине веселый праздничный вид. Цивилис выбрал место, где Моза, необъятная как море, впадает в Рейн[51] и гонит его воды в Океан. Герман-

цы устроили такой парад судов, не просто чтобы потешить обычное свое тщеславие; они хотели запугать солдат, что везли из Галлии в римскую армию продовольствие, а может быть, попытаться перехватить их. Цериал, скорее удивленный, чем испуганный, двинул против врага свой флот. Римляне уступали германцам по числу судов, но превосходили их опытностью гребцов, искусством кормчих, размерами кораблей. Течение несло римские суда в одну сторону, ветер гнал биремы варваров в другую; флоты поравнялись, с обеих сторон посыпались дротики, и корабли разошлись. Цивилис ничего больше сделать не решился и отступил за Рейн; Цериал прошел огнем и мечом остров батавов, но, как то принято у полководцев, поля и виллы самого Цивилиса не тронул. Тем временем осень перевалила на вторую половину; начались ливни, столь частые во время равноденствия; река вздулась и озерками разлилась по низкому болотистому острову. У оставшихся здесь римлян не было ни флота, ни продовольствия; лагеря стояли на равнине и оказались разделенными водой.

24. Позже Цивилис уверял, что в то время легко мог уничтожить легионы, что германцы стремились к этому и он лишь хитростью сумел удержать их. Судя по тому, что через несколько дней он в самом деле сдался, в словах его была доля правды. Цериал еще прежде тайно посылал гонцов к батавам, Цивилису и Веледе. Первым обещал он мир, второму — прощение. Веледу же и ее приближенных уговаривал постараться изменить ход войны, ибо достаточно принесла она им поражений, а римскому народу удач. «Вспомните, — писал он им, — об убитых треверах, о вновь покорившихся Риму убиях, о батавах, скитающихся вдали от родных мест. Дружба с Цивилисом не принесла вам ничего, кроме ран, поражений и слез. Этот изгнанный отовсюду бездомный бродяга становится обузой для каждого, кто согласится его принять. Вы уже довольно провинились, ибо столько раз переходили на нашу сторону Рейна. Если и дальше будете вы злоумышлять против Рима, все поймут, что нарушители закона — вы и вся вина лежит на вас. Нам же останется лишь воздать вам по заслугам, и боги помогут нам в этом».

25. Угрозы чередовал Цериал с посулами; зарейнские племена начали колебаться. Совсем по-другому заговорили и

батавы. «Зачем нам губить себя? — рассуждали они. — Разве может одно племя вызволить из рабства целый мир? Какой прок в том, что уничтожили мы легионы и сожгли лагеря?[52] На их место пришли другие, еще сильнее, еще многочисленнее. Если начали мы войну, чтобы помочь Веспасиану, то он уже добился верховной власти; если же вздумали мы воевать против римского народа, то ведь батавы — лишь ничтожная часть рода человеческого. Не лучше ли взглянуть, как живется ретам, норикам и другим союзным племенам. Они не платят податей, с них требуют лишь доблести и солдат, а ведь это и есть почти свобода. Если уж приходится нам выбирать себе владык, то все-таки легче сносить власть римских принцепсов, чем германских женщин»[53]. Такие толки шли среди простонародья, люди знатные судили еще круче: «Только из-за безрассудства Цивилиса оказались мы втянутыми в эту войну. Чтобы отомстить за свои семейные несчастья, повел он на смерть целое племя. Гнев богов обрушился на батавов, когда стали мы осаждать лагеря легионов и убивать легатов, когда ради одного человек начали губительную войну. Если не образумимся, всех нас ждет смерть. Покараем виновного и тем на деле докажем свое раскаяние».

26. Подобные настроения не ускользнули от внимания Цивилиса; он решил предупредить события. Он устал от несчастий, что преследовали его, и все же хотел жить, а это не раз губило самых мужественных людей. Цивилис предложил начать переговоры. Мост через реку Набалию[54] разрушили посредине, оба полководца с двух сторон подошли к провалу. Цивилис начал речь так: «Если бы пришлось мне защищать себя перед легатом Вителлия, то поведение мое не заслуживало бы в его глазах оправдания, а слова мои — доверия. Ничего, кроме ненависти, не было между нами; он начал войну, я разжег ее еще больше. К Веспасиану же издавна питаю я чувство уважения; нас называли друзьями, когда он был еще простым гражданином. Прим Антоний знал это, когда написал мне письмо и просил начать войну, дабы помешать германским легионам и галльским юношам проникнуть за Альпы. Я сделал то, о чем Антоний просил меня в письмах, а Гордеоний Флакк в разговоре: начал войну в Германии, подобно тому, как Муциан начал ее в Сирии, Апоний — в Мёзии, Флавиан — в Паннонии...»[55]

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ

I

Тацит, характеризуя свою деятельность как историка Римской империи, в отличие от своих предшественников, писавших о республике, отмечает, что его труд ограничен тесными рамками и не сулит ему славы (Анналы, IV, 32). Слова эти оказались в известной мере пророческими. Ни один историк императорского Рима — в том числе и Тацит — не стал «классиком» римской литературы. В римской школе не изучали Тацита; хранители школьной традиции, филологи (так называемые «грамматики») не интересовались его произведениями. Следствием этого невнимания явилось полное отсутствие сведений о жизни историка у позднейших римских ученых. Для биографии Тацита мы можем использовать только разрозненные данные, имеющиеся в его произведениях и в свидетельствах современников.

Даже год рождения историка поддается лишь приблизительному определению. Друг Тацита, Плиний Младший, в одном из своих писем к нему (VII, 20) указывает, что они оба «приблизительно одного возраста», но прибавляет, что, будучи еще «юнцом», ставил себе в образец Тацита, пользовавшегося уже тогда большой славой. Очевидно, Плиний был несколько моложе Тацита, хотя и считал возможным причислять себя к тому же поколению, что и его старший друг. Год рождения Плиния известен — 61—62 гг. Если предположить, что Тацит был на 5—6 лет старше, мы приходим к интервалу 55—57 гг. как к вероятной дате рождения историка.

Будущий консул и идеолог сенатской аристократии не унаследовал от предков принадлежности к сенатскому сословию. В списках римских магистратов как более раннего, так и более позднего времени других Корнелиев Тацитов нет, и историк сам признает (История, I, 1), что своим положением он обязан императорам из династии Флавиев. Попасть в сенат он мог только как выходец из второй верхушечной группы Рима, из сословия «римских всадников». Известный римский энциклопедист I в. Плиний Старший (23/24—79 гг.) рассказывает в своей «Естественной истории» (VII, 76) об умершем в детстве ребенке необычного роста, сыне римского всадника Корнелия Тацита, управлявшего провинциальными финансами в Бельгийской Галлии; это единственный, кроме историка, представитель ветви Корнелиев Тацитов, о котором упоминается в римской письменности. При редкости этого имени естественно предположить, что речь идет о родственнике писателя, — неизвестно только, какой степени близости. По времени он мог бы быть отцом или дядей историка.

Попытки более конкретно уточнить происхождение Тацита не вышли

за пределы догадок. Исходят, например, из имени историка: Публий (или Гай) Корнелий Тацит[1]. Корнелии — одно из наиболее распространенных римских родовых имен (nomen) в Италии и в провинциях, но лишь немногие из его носителей являются потомками древних патрицианских Корнелиев. В этом патрицианском роде не было ветви Тацитов. «Тацит» как третий элемент имени (cognomen — «прозвище») встречается при разных родовых именах. Надписи показывают, что «Тациты» локализованы преимущественно в двух областях — Северной Италии, и притом на территории к северу от р. По, и в Южной (Нарбонской) Галлии, которая стала римской провинцией еще во II в. Это дает основание ряду современных исследователей относить происхождение семьи Корнелиев Тацитов к одной из названных областей. При этом против Северной Италии как родины Тацита говорит то обстоятельство, что уроженец этой области Плиний Младший, часто подчеркивающий все, что сближает его с Тацитом, никогда не называет историка своим земляком. За происхождение семьи Тацита из Нарбонской Галлии высказывается наряду с другими учеными автор новейшей и самой обстоятельной монографии о Таците и его общественной среде, английский историк Рональд Сайм[2]. С его точки зрения, Тацит стоит в ряду тех провинциалов, которые с I в. занимают все более видное место в управлении Римским государством и в римской литературе.

Тем не менее эта гипотеза остается лишь догадкой. Мы не знаем ни родины Тацита, ни того, где он провел детство, где и у кого он учился. Он мог от рождения или с малых лет жить в Риме, но нет никаких положительных данных, чтобы утверждать это. Однако где бы ни проходили первые годы жизни историка, обучение мальчиков в состоятельных римских семьях, особенно там, где задачей являлась подготовка к государственным должностям, имело стандартный характер и развертывалось по нескольким обязательным ступеням.

Первоначальным учителем был грамматист (grammatista, от греч. grammata — «буквы», или literator), у которого дети учились чтению и письму и элементам счета. В верхушечных слоях общества чтение и письмо предусматривались как на латинском языке, так и на греческом, владение которым было необходимо для всякого мало-мальски образованного римлянина.

Грамматиста сменял грамматик. В отличие от обучения у грамматиста, которое в богатых семьях чаще всего носило домашний характер, грамматик обычно содержал школу. В рабовладельческом обществе, где всякий производительный труд, кроме сельскохозяйственного, презирался и был уделом рабов и низших слоев свободного населения, профессиональной школы не существовало. Школьное обучение имело две основные задачи: привить учащимся, с одной стороны, мировоззренческую основу рабовла-

---

[1] В отношении личного имени (praenomen) источники расходятся. В рукописи первых книг «Анналов», относящейся к IX в., автор назван Публием. Сидоний Аполлинарий, галльский христианский писатель V в., именует его Гаем. При таких расхождениях рукописное предание, как правило, заслуживает большего доверия, чем упоминание у позднего автора, который легко мог ошибиться.

[2] *Syme R.* Tacitus. Vol. I—II. Oxford, 1958.

дельческого общества, принципы его идеологии, политики, морали, а с другой стороны — культуру речи. Последний момент имел в античном обществе огромное значение. С эпохи софистики (конец V в. до н. э.) «оратор» (rhētōr) становится в Греции синонимом «государственного деятеля». Наука о публичной речи, риторика, получает то же значение в Риме с конца II в. до н. э. В I в. до н. э. в античной школе устанавливается двухступенное обучение вслед за элементарным. Основу образования закладывает грамматик, а завершает его ритор. Грамматик строит свое обучение на объяснительном чтении классических поэтов. У греков основным текстом служили гомеровские поэмы; в Риме ко времени школьных лет Тацита установилось чтение «Энеиды» Вергилия как первоосновы грамматического обучения. На поэтических текстах разъяснялись вопросы литературного языка и вместе с тем учащемуся внушались — на увлекательном и эмоционально заряженном художественном материале — основы морали и политических представлений господствующего класса, в частности убеждение в прочности Римской империи, в цивилизаторском значении римских завоеваний. Грамматические занятия проходили у римлян как на латинском, так и на греческом языках.

На следующей ступени обучения, в риторической школе, вместо поэтических текстов изучались уже прозаические, главным образом произведения ораторов и историков. Риторы уделяли особое внимание самостоятельным упражнениям учащихся в различных жанрах литературной прозы. В соответствии со значением публичной речи в античном мире центр тяжести лежал не на письменных работах, а на устной речи, требовавшей художественного исполнения. С переходом Рима от республиканского строя к императорскому практические возможности политического и судебного красноречия сократились, и это привело к переключению функций публичной речи. Она стала эстетической самоцелью, литературным и исполнительским художественным жанром. Место подлинной политической или судебной речи занимает фиктивная речь на мнимом процессе или мнимых политических дебатах — декламация. Формы судебного и совещательного красноречия были поставлены здесь на службу раскрытию сложных морально-психологических конфликтов. Уже в начале империи, при Августе, декламация установилась как самостоятельный жанр. По сравнению со старым ораторским искусством декламационное красноречие знаменовало решительное обеднение идейного содержания, компенсировавшееся, правда, некоторым обогащением психологической трактовки образов и новыми эффектами патетического стиля. Проза сближалась с поэзией.

Декламация была важнейшим, но отнюдь не единственным жанром, которому обучали в риторической школе. Она вырабатывала умение владеть разнообразными литературными стилями в зависимости от жанра произведения и разных литературных традиций. Отсюда непривычная для людей нового времени способность античных авторов варьировать литературный стиль. Примером может служить творчество такого писателя, как Апулей (II в.). Он совершенно по-различному стилизует свои сочинения, относящиеся к разным жанрам, и мастерски дифференцирует стили даже в рамках единого произведения. Виртуозность эта вызывала у исследователей подозрения в действительной принадлежности Апулею некоторых

произведений или их частей. Тацит тоже «пострадал» из-за многогранности своего стилистического искусства, как мы увидим при рассмотрении «Диалога об ораторах».

С риторической школой конкурировала философская, но Тацит ее, по-видимому, не проходил. К философии и ее адептам историк относился очень сдержанно. Самая распространенная философская система этого времени — стоицизм — имела в I в. оппозиционную направленность и поддерживала пассивное сопротивление некоторых кругов аристократии по отношению к императору. Впоследствии, при другой политической обстановке, во времена Траяна и его преемников, философия утратила оппозиционный привкус и тот же стоицизм услужливо создавал теоретическое обоснование для императорской власти; однако это произошло лишь в позднейшие годы жизни Тацита, и историк вряд ли сочувствовал в этот период своей деятельности такому повороту в государствоведческой теории философов. Нередко встречающееся в научной литературе утверждение, будто Тацит по своим убеждениям был близок к стоикам, представляется совершенно необоснованным.

Начало школьных лет Тацита проходило еще при Нероне. После падения Нерона (68 г.) началась смута. В 69 г. погибли один за другим 3 императора — Гальба, Отон и Вителлий. Ставленник восточной армии Флавий Веспасиан удержал за собой власть и положил начало новой императорской династии Флавиев. Обучение Тацита риторике должно было прийтись на начало правления Веспасиана.

Флавии старались расширить свою социальную базу, опереться на более многочисленные слои италийского и отчасти провинциального населения. Мелкие и средние рабовладельцы империи при этом выиграли. Политическая обстановка благоприятствовала выдвижению новых людей в сенат. Для карьеры сенатора было две дороги. Молодой человек мог получить известность или как военный деятель, или как оратор. Склонности и дарования Тацита влекли его по второму пути.

В риторической школе Тацит, видимо, задержался недолго. Уже в первые годы правления Веспасиана мы находим его на римском форуме проходящим практическую выучку у известных ораторов — Марка Апра и Юлия Секунда (Диалог, 2). Учителя Тацита — оба незнатного происхождения, провинциалы из Галлии; они блистали красноречием в гражданском суде, но не играли видной роли в государственной жизни.

Сравнительно спокойные годы начала правления Флавиев разрядили общественную атмосферу, сгустившуюся было при последних императорах предшествующей династии. Расточительность, необузданность и преступления Нерона служили поощряющим примером для его клевретов и всей римской знати. Теперь нравы стали спокойнее и скромнее. Поворот общественной морали отразился также и в искусстве слова.

При ближайших преемниках Августа в римской литературе развился тот «новый» риторический стиль, который возник в декламационном ораторском жанре, — нервный, чувственный, патетический. Спокойная размеренная периодическая речь Цицерона уступила место стремительному потоку коротких точеных фраз. Наиболее яркие образцы этого стиля сохранились в сочинениях Сенеки; к этому же течению принадлежит эпическая поэма Лукана «О гражданской войне» («Фарсалия»). При Флавиях такая

погоня за чувственными эффектами представлялась уже чрезмерной. Оп позицию против нового стиля возглавил ритор Квинтилиан; он призывал отказаться от сладостных соблазнов новейшего времени, вернуться к более строгому и «мужественному» красноречию Цицерона. Этот лозунг получивший официальную поддержку, не знаменовал, однако, полного разрыва с декламационным стилем и сводился к отказу от парадоксальных преувеличений и подчеркнутому примыканию к некоторым цицероновским традициям.

Молодой Тацит с первых же лет самостоятельной ораторской деятельности соприкоснулся с этими литературными спорами, которые он впоследствии, 30 лет спустя, воспроизвел с несравненным искусством в «Диалоге об ораторах». Его собственный литературный путь определился в столкновении тех же противоборствующих тенденций. Из Тацита выработался совершенно оригинальный мастер, который шел самостоятельным стилистическим путем в каждом избранном им жанре. Однако во всех этих жанрах он исходил из единой литературной программы: примкнуть к классической традиции римской республиканской прозы — Цицерона, Саллюстия, соединив ее с достижениями «нового» стиля, но без его крайностей. В этом отношении будущий историк был сторонником господствующего литературного движения своего времени.

Тацит быстро выдвинулся как талантливый оратор. Плиний Младший (VII, 20) вспоминает, что в начале его ораторской деятельности (конец 70-х гг. I в.) «громкая слава Тацита была уже в расцвете». Слава эта была основана на его судебных речах или декламациях. В другом письме (II, 11) Плиний отмечает как особое свойство ораторского стиля Тацита то торжественное достоинство, которое в греческой риторической теории обозначалось термином «почтенность» (σεμνότης, лат. gravitas). Однако ораторские произведения Тацита не дошли до нас; не упоминают о них и позднейшие римские писатели. Очень возможно, что Тацит, как и огромное большинство ораторов времени империи, не издавал своих речей, находя их недостаточно значительными для серьезного деятеля, начинавшего уже подниматься по лестнице государственных должностей.

Приступая к «Истории», Тацит считает своим долгом признать, что начало его государственной карьере как магистрата положил Веспасиан, что Тит увеличил его почет, а Домициан продвинул его еще дальше (I, 1). Эти несколько стыдливые и неясные слова следует, вероятно, понимать так, что и при Веспасиане, и при Тите, и (по крайней мере частично) при Домициане историк получал свои посты как лицо, рекомендованное императором («кандидат цезаря») и единогласно избиравшееся сенатом. Веспасиан, вероятно, выдвинул его на одно из 20 ежегодных мест 4 младших магистратских коллегий. По истечении годового срока младшей магистратуры молодой человек примерно в двадцатилетнем возрасте отправлялся на военную службу, обычно в провинцию. Длилась она недолго — 6 месяцев или год. Занять квесторскую должность, первую магистратуру, вводившую в сенат, можно было, лишь достигнув 25 лет. Предпочтение оказывалось кандидатам, имеющим детей, и молодые римляне из верхушечных слоев часто вступали в брак в начале третьего десятилетия своей жизни, после военной службы, на подступах к государственным должностям. В 78 г. Тацит женился на дочери известного полководца того времени Юлия Агриколы, одно-

го из консулов 77 г., который был в милости у Веспасиана и получил от него достоинство патриция. Этот год бракосочетания Тацита вполне согласуется с принятой нами датой его рождения в 55—57 гг.

При сыне Веспасиана Тите (79—81 гг.) почетное положение Тацита стало, по его словам, выше. Под этим, вероятно, разумеется должность квестора — в 81 или 82 г. — и связанный с ней переход в сенаторское сословие. Дальнейшее его продвижение происходило при младшем брате Тита Домициане (81—96 гг.). Новый император резко усилил абсолютистские тенденции, и это привело к ухудшению его отношений с сенатом. На карьере Тацита эти события не отразились. За 6—7 лет он поднялся на две должностные ступени и в 88 г. был претором (Анналы, XI, 11). Это показывает, что Тацит умел не возбуждать против себя подозрительность Домициана и стоял далеко от оппозиционных групп. Одновременно с претурой он уже занимал пожизненную жреческую должность как член коллегии «пятнадцати мужей», заведовавшей культами иноземного происхождения. Для сравнительно молодого человека из незнатного рода получение такой должности было очень почетно и свидетельствовало о благоволении императора. Не лишено поэтому правдоподобия предположение Р. Сайма[3], что назначению Тацита в коллегию пятнадцати предшествовал какой-то значительный успех, быть может, в результате блистательных ораторских выступлений в сенате. В год своей претуры он в связи со своими жреческими обязанностями принимал деятельное участие в празднестве «вековых игр», устроенных Домицианом, и впоследствии описал эти игры в не дошедших до нас книгах своей «Истории».

Вскоре после претуры в 89 г. Тацит с женой покинул Рим и вернулся уже после смерти Агриколы, скончавшегося в августе 93 г. Очевидно, он находился на государственном посту в провинции, но нет никаких сведений, в какой провинции он был в эти годы, на гражданской ли или военной должности, занимал ли он один пост или несколько постов последовательно. Биографам Тацита часто хотелось предположить, что будущий автор «Германии» находился в этой стране или по соседству с ней; однако трактат «Германия» не содержит никаких следов личного знакомства автора с описываемой страной.

Возвратившись в Рим, Тацит застал столицу в тревожном состоянии. Отношения между императором и сенатом крайне обострились. С 92 г. казни и изгнания сенаторов стали обычным явлением. Домициан пользовался услугами специальных доносчиков и обвинителей, воскрешая обстановку времен Тиберия и Нерона. Подробный рассказ об этих годах, который, несомненно, был дан Тацитом в последних книгах «Истории», не сохранился. Однако краткие зарисовки домициановского террора и бессильной покорности сената в трактате «Агрикола», сделанные к тому же по свежим следам, вскоре после гибели Домициана, принадлежат к самым сильным страницам литературного наследия историка (например: Агрикола, 2 и 45). Последние годы правления Домициана стали для Тацита острым переживанием, которое навсегда определило характер его литературной деятельности. Однако он сумел не только не навлечь на себя гнев императора, но даже сохранить в известной мере его благосклонность. Высшая

[3] *Syme R.* Tacitus. Vol. I—II. Oxford, 1958. P. 64.

магистратура — консульство — досталась ему, правда, уже после Домициана, в 97 г., однако списки магистратов обычно устанавливались заранее, в начале предшествующего года. Тацит был намечен консулом, вероятно, еще при Домициане и, очень возможно, по его рекомендации.

18 сентября 96 г. Домициан был убит. Императором был провозглашен престарелый сенатор Нерва.

Сенатская аристократия — и не одна она — встретила переворот с ликованием. Как и другие перевороты в Риме I в., он проходил под знаком восстановления попранной свободы. Однако уже давно ни одна общественная группировка в Риме не ставила своей политической целью возвращение к республиканским порядкам. Сенатские круги мыслили свободу лишь как смягчение деспотизма верховной власти, как согласие между императором и сенатом. Казалось, что теперь наступает такое время. Однако император был стар и не пользовался популярностью в войске. Преторианцы (императорская гвардия) восстали. Нерва нашел удачный выход из положения. Он объявил о том, что усыновляет известного полководца М. Ульпия Траяна, командовавшего тогда армией в Верхней Германии, и делает его своим соправителем (октябрь 97 г.). Вскоре Нерва умер (январь 98 г.), и Траян остался единоличным императором (98—117 гг.).

При Нерве Тацит был консулом. Эта высшая магистратура времен республики при империи осталась почетной должностью, которая по традиции увенчивала карьеру сенаторов, но давала только некоторые права представительства. Консулов было одновременно лишь два, и уже Август сократил срок консульства до немногих месяцев, чтобы дать возможность большему числу сенаторов занимать эту должность. В каждом году после первой пары консулов, имена которых служили для обозначения года, последовательно отправляли консульские обязанности еще несколько пар «добавочных» консулов. Тацит был одним из таких добавочных консулов (consul suffectus) во второй половине 97 г. Единственный известный нам акт Тацита в месяцы его консульства — похвальная речь на похоронах сенатора Луция Вергиния Руфа, который — в паре с императором Нервой — был в третий раз консулом в начале 97 г.

Сведения о позднейшей жизни Тацита, о годах его литературной деятельности крайне отрывочны. Из писем Плиния Младшего мы узнаем, что Тацит пользовался репутацией блестящего оратора и писателя, что вокруг Тацита собирались молодые поклонники его таланта, учившиеся у него искусству красноречия (IV, 13, ок. 104 г.). Плиний и Тацит посылали друг другу свои труды до их выхода в свет для взаимной критики и стилистической правки (VII, 20; VIII, 7). Однако из конкретных фактов биографии Тацита после 97 г. Плиний сообщает только о том, что в 100 г. он и Тацит выступали по поручению сената на процессе проконсула Африки Мария Приска, разграбившего свою провинцию, как адвокаты жалобщиков-провинциалов.

Мы ничего не знаем о взаимоотношениях Тацита и Траяна. Заметный рост автократизма при новом императоре не мог его радовать. Похвалы Траяну содержит только самое раннее произведение историка «Агрикола»; в «Германии» его имя однажды упоминается в специальном хронологическом контексте, а в сохранившихся частях позднейших исторических произведений оно уже больше не встречается. Нет сведений, чтобы Тацит за-

нимал какой-нибудь пост, открывавшийся в императорских провинциях для консуляра (сенатора в консульском звании). По сенатской линии он получил традиционное годичное наместничество (проконсулат). Эту должность он отправлял в провинции Азия в 112—113 или 113—114 гг.

Основное содержание жизни Тацита в последомициановский период составляла литературная деятельность; он стал историком императорского деспотизма и подобострастия сената. Как мы увидим в дальнейшем, есть все основания предполагать, что последний исторический труд Тацита «Анналы» был закончен уже во времена императора Адриана (117—138 гг.).

Год смерти Тацита неизвестен.

II

В Риме издревле было принято произносить на похоронах значительного лица хвалебную речь в честь покойника (laudatio funebris); впоследствии к древнему обычаю стала присоединяться публикация жизнеописания в форме книги. Для Тацита составление биографии его тестя Агриколы являлось семейным долгом, которого он не мог выполнить при жизни Домициана. Первым литературным произведением историка стало «Жизнеописание Юлия Агриколы» (начало 98 г.)[4] — «De vita Julii Agricolae» (сокр. «Агрикола»). Вместе с тем «Жизнеописание Юлия Агриколы» представляет собой политический памфлет. Сенатская аристократия первого столетия империи выработала особый вид биографии оппозиционных деятелей, мучеников «свободы», погибших от императорского террора. Прообразом таких героев был Катон Младший, противник Юлия Цезаря, считавшийся идеальным воплощением республиканских «добродетелей». После Домициана интерес к биографиям этого рода снова оживился. Плиний Младший называет в своих письмах два сборника таких произведений (V, 5 и VIII, 12), главной темой которых было прославление погибших как защитников свободы сената и врагов деспотизма.

Политическая установка монографии Тацита совершенно иная. Его тесть Агрикола отнюдь не являлся мучеником за «свободу»: он был чужд всяких крайностей и стремился ладить со всеми, в первую очередь с императором. Тацит располагал слишком незначительным материалом для того, чтобы изобразить Агриколу как жертву Домициана. В «Агриколе» говорится, что император, справлявший фиктивные триумфы по случаю мнимых побед над германцами, завидовал реальным успехам Агриколы в Британии и не поручал ему новых провинций. В этом утверждении много преувеличенного. Археологические исследования римско-германской пограничной линии (limes) обнаружили, что победы Домициана совсем не являлись вымыслом; с другой стороны, завоевательные операции Агрико-

---

[4] Датировка этого наиболее раннего (Агрикола, 3) сочинения определяется тем, что оно было закончено уже тогда, когда после смерти Нервы (27 января 98 г.) Траян остался единоличным императором (Агрикола, 44), но написано до «Германии», датирующейся (Германия, 37) вторым консульством Траяна, т. е. тем же 98 г.

лы в отдаленной и дикой Британии вряд ли оправдывали те средства, которые нужно было затрачивать на них, — во всяком случае Риму пришлось очень скоро сократить площадь своей британской провинции. Как бы то ни было, Агриколу нельзя было ставить в один ряд с оппозиционными сенатскими деятелями. Сторонники этой группировки, вероятно, упрекали Агриколу в чрезмерной уступчивости и угодничестве перед императором. Такие же обвинения раздавались, надо полагать, и по адресу самого Тацита. Апология Агриколы и его поведения в монографии его зятя тем самым косвенно становится апологией самого автора монографии. Биограф Агриколы признает поведение своего героя положительным образцом.

Оппозиционный жест сам по себе бесполезен, и против его поклонников направлена своим политическим острием монография Тацита. Империя, положившая в свое время конец гражданским смутам, стала неизбежностью. Долг сенатора — исполнять свои гражданские обязанности по отношению к государству (res publica), невзирая на возможные неудобства императорской формы правления. Пример Агриколы показывает, что, при надлежащих моральных и деловых качествах, сенатор может выполнить этот долг и стать великим человеком даже при дурном императоре, не нуждаясь в «честолюбивой смерти» (42) оппозиционера.

Всем показом жизненного пути своего тестя Тацит создает образ, глубоко отличный от старинного римского аристократа, считавшего себя социально равным цезарям. Агрикола, провинциал, скромно воспитанный в патриархальной Массилии (Марсели), не слишком богатый, деловитый и почтительный в отношении вышестоящих, умеренный в своем образе жизни — образцовый представитель новой римской знати. Траян был деятелем сходного типа. Автор приветствует нового императора не только от собственного имени, но и от лица своего героя. Агрикола будто бы предсказывал, что Траян будет императором, уверяет Тацит, и горячо желал этого (44).

В политической концепции Тацита государственный строй империи внутренне принят. Страшное время Домициана, особенно годы после смерти Агриколы, получают сжатую, но мрачно-выразительную характеристику. Но теперь наступил «счастливейший век», и уже на самой заре этого века Нерва Цезарь сумел соединить дотоле несоединимые вещи — «единовластие и свободу» (3), иначе говоря, империю и соблюдение прав сената.

Биографический жанр установился в греко-римской исторической и ораторской литературе еще с IV в. до н. э. Существовали разные подвиды этого жанра: справочная биография, биография-восхваление, биография-характеристика и т. п. «Жизнеописание Юлия Агриколы» не подходит полностью ни под один из устоявшихся типов; это биография, переходящая в историческое повествование. Важнейший этап деятельности Агриколы — его наместничество в Британии (68—74 гг.) — рассказан как глава из истории Рима; предшествующая часть его жизни и его последующее бездействие при Домициане трактуются в более узком биографическом плане. Большое место занимает, как это было принято в античной историографии, описание военных действий. Вместе с тем внимание историка привлекают черты характера побежденного народа. Тацит понимает, что военные успехи Рима в значительной мере основаны на внутренних раздорах бри-

танских племен (12), что эти племена легче всего порабощать, опираясь на местных князьков (14). Мероприятия Агриколы по романизации британской знати историк считает «спасительными» (21): «у людей несведущих это называлось образованностью, тогда как тут была доля их рабства» (21). Не затушевывает автор и тех насилий, притеснений и поборов, которые приносило британцам римское завоевание. Идеолог рабовладельческого общества несомненно признает эти явления нормальными и возражает только против отдельных эксцессов (19).

Традиционным приемом античной историографии были речи. Они влагались в уста государственных деятелей или полководцев, но в действительности представляли собой комментарий историка к описываемым событиям. В речи Калгака (30 — 31), вождя племен Северной Каледонии (совр. Шотландии), собраны обвинения, которые могли бы бросить покоренные народы своим завоевателям. По отношению к римлянам такие упреки формулируются еще во II в. до н. э. в речи (действительной) Катона Старшего за родосцев, а позже в письме (фиктивном) понтийского царя Митридата у Саллюстия. Однако наиболее резкую форму придает этим обвинениям Тацит.

С техникой исторического повествования роднит монографию Тацита также и наличие в ней географическо-этнографического экскурса о Британии и ее населении (10 — 12). Экскурс этот был тем более уместен, что в результате походов Агриколы знакомство римлян с Британией уточнилось.

Стиль монографии дифференцирован в различных ее частях. Там, где она приближается к историческому повествованию, Тацит ориентируется на классиков римской историографии, главным образом на Саллюстия, но также и на Ливия. Вместе с тем индивидуальные стилистические тенденции Тацита заметны уже здесь: стремление к необычному, асимметрическому, к семантической полновесности и сжатой выразительности. Другие страницы книги стилизованы в ораторском жанре: вступление и заключение, главы о терроре Домициана, традиционное в надгробных речах обращение к покойному (45, 46). Здесь образцом является гармонический стиль Цицерона, вплоть до многочисленных дословных заимствований.

* * *

В том же 98 г., к которому относится «Агрикола», Тацит написал другую монографию, и притом в совершенно иной стилистической традиции: «О происхождении германцев и местоположении Германии» — «De origine et situ Germanorum» (сокр. «Германия»). Выбор заглавия указывает на жанр произведения. Античные историки, повествуя о малоизвестных странах и народах, сопровождали свой рассказ географическими и этнографическими экскурсами — о «местоположении» страны и «происхождении» племени.

Описание путешествий по чужим землям и сведения о населяющих их народах — один из наиболее ранних видов греческой литературной прозы. Первое крупное произведение греческой историографии — «История» Геродота — содержит целый ряд географо-этнографических экскурсов. Мысль о тесной связи между географией, этнографией и историей нашла

горячего сторонника в лице философа и историка Посидония (ок. 135—51 гг. до н. э.), теории которого оказывали большое влияние на греко-римскую мысль первых веков нашей эры. Римские историки, по крайней мере со времени Саллюстия (ок. 86—35 гг. до н. э.), также сопровождали свое изложение географо-этнографическими экскурсами. Как мы видели, этой традиции последовал и Тацит в «Агриколе».

Особенность «Германии» Тацита в том, что она является самостоятельным произведением. В этом отношении она занимает изолированное положение среди сохранившихся памятников греко-римской письменности. Однако среди не дошедших до нас произведений имелись труды, очень напоминающие монографию Тацита по названию. Так, у Сенеки были трактаты «О местонахождении Индии», «О местонахождении и религии египтян». Труд Тацита, очевидно, должен быть связан с традицией таких монографий, возникших в порядке обособления прежних экскурсов, превращения их в самостоятельное целое.

«Германская» тема в 98 г. представляла актуальный интерес. Новый император Траян не спешил с приездом в Рим и заканчивал операции на Рейне и Дунае. В Риме, несомненно, шли споры, продолжать ли завоевательную политику в Германии. Тацит не приходит в своем труде к каким-либо ясно высказанным политическим выводам, но по всему изложению видно (см. особенно гл. 33 и 37), что он рассматривает германцев как опаснейших соседей, упорное стремление которых к независимости является источником постоянных трудностей для римской экспансии. Как бы мимоходом брошенное замечание о том, что в последнее время над германцами больше праздновалось триумфов, чем было побед (37), направлено против домициановской пропаганды, заверявшей, что Риму уже ничего не грозит со стороны германцев. Монография Тацита должна показать, что германская опасность существует, и дать картину жизни народа, являющегося источником этой опасности. Забота о судьбах Рима диктует Тациту его литературные интересы. Траян стал на иную точку зрения. Он предпочел мирно уладить германские конфликты и перенес завоевательные планы на овладение Дакией. На монетах первых лет правления Траяна иногда начертана надпись «Germania pacata» («умиротворенная Германия»).

Мы уже говорили о том, что трактат «Германия» не основан на личном знакомстве Тацита с этой страной. В распоряжении писателя были многочисленные источники, письменные и устные. Первое описание германцев как особого народа принадлежало Юлию Цезарю, который в «Записках о галльской войне» (книга VI) уделил место двум этнографическим экскурсам — о галлах и глубоко отличных от галлов германцах. Во времена Августа описание Германии было дано известным историком Титом Ливием (эта часть его труда не сохранилась). Наиболее богатым и разносторонним источником информации о Германии должен был явиться для Тацита не дошедший до нас труд Плиния Старшего «Германские войны». Плиний хорошо знал Германию и провел в ней ряд лет на военной службе. Интересы его распространялись на самые различные области природы и человеческой жизни, и обширное повествование о германских войнах, занимавшее двадцать книг, несомненно, заключало в себе много материала, полезного для Тацита. Сведения о германцах имелись также в многочисленных трудах римских историков I в. Во всех этих книгах история от-

ношений римлян с германцами доводилась примерно до конца правления императора Клавдия (54 г.). Имел ли Тацит подробные литературные источники для более позднего времени, трудно сказать. Он, вероятно, пользовался письменными и устными сообщениями, исходившими как от людей сенатского круга, бывших командующих армиями в Верхней и Нижней Германии, так и от работников финансового управления, военнослужащих, купцов и т. д., наконец — от самих германцев, находившихся в Риме.

«Германия» состоит из двух частей — общей и специальной. Общая часть содержит главы 1—27[5]. Тацит начинает с краткого и не очень точного сообщения о географических границах Германии; затем он переходит к ее жителям, которых он считает исконными обитателями своей страны, рисует их физический тип и сравнительно скудные природные богатства земли. Следуют сообщения о военном деле, религии; более подробно останавливается автор на общественном строе германцев и их быте. В специальной части (28 — 46) дается обозрение германских племен. Сначала рассматриваются ближе известные римлянам западные и северо-западные германцы, затем Тацит переходит к обширному племенному союзу свебов и дунайским племенам и заканчивает свое изложение народностями востока и северо-востока Германии и их соседями. По мере удаления от Рима географические и этнографические сведения автора становятся все более туманными и фантастическими.

«Германия» затрагивает почти весь круг вопросов, подымавшихся в древности при описании народов. Но с наибольшим интересом останавливается Тацит на тех чертах германцев, которые находятся в резком контрасте с римской жизнью.

Уровень общественного развития германцев во время Тацита Энгельс определяет как начальную стадию высшей ступени варварства[6]. Римский сенатор Тацит относится с чувством надменного превосходства к полудиким грязным германцам, не знающим городов, одетым в звериные шкуры, проводящим значительную часть времени в праздности и пьянстве; с другой стороны, он не мог не заметить, что традиция о древних римлянах, о римлянах той эпохи, которая в глазах Тацита и многих его современников представлялась наиболее цветущим временем истории римского народа, приписывала им некоторые черты, сближающие их с современными ему германцами. Обличитель императорского абсолютизма, скорбевший о раболепии сенаторского сословия, Тацит находил у германцев то же стремление к свободе, которое предание приписывало древним римлянам, изгнавшим царей и установившим республику. Отсюда та симпатия к «врагам» римского народа, германцам, с которой Тацит часто изображает их нравы.

Идеализация народов, живущих родовым бытом, была свойственна античному обществу на всех этапах его исторического развития. Как положительная черта этих народов особенно часто отмечается отсутствие час-

[5] Деление книг на главы, как в «Германии», так и во всех остальных произведениях Тацита, принадлежит уже издателям нового времени (впервые в издании Пикены, — Франкфурт, 1607).

[6] *Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства. В кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е. М., 1961. Т. 21. С. 32—33.

тной собственности на землю. Римские писатели эпохи империи прибавляют к этому чистоту семейной жизни. Согласно Горацию (Оды, III, 24), скифы, живущие в повозках, и геты, не имеющие земельной межи между пашнями, счастливее римлян; к тому же святость брака у них не нарушается. Обе эти черты напоминают поэту Древний Рим.

Тацит далек от идеализации германского общественного строя и быта в целом, но на чистоте семейной жизни он останавливается подробно (18 — 19) и дает при этом волю своей патетической декламации. Энгельс справедливо отмечает, что «его рассказ оставляет здесь много пробелов, и, кроме того, он слишком явно служит зеркалом добродетели для развращенных римлян»[7]. В семейном строе германцев Тацит многого не понял. Так, купля жены превращается у него в приданое, которое в отличие от римлян не жена приносит мужу, а муж жене (18). И, конечно, совершенно беспомощным оказывается римский историк перед теми следами материнского права у германцев, которое Энгельс обнаружил на основании его же изложения[8]. Когда дело доходит до племени ситонов, в котором верховная власть принадлежит женщине (45), автор «Германии» возмущенно говорит о вырождении по отношению не только к свободе, но даже к рабству.

Двойственное отношение Тацита к идеализации диких народов ясно обнаруживается в картине жизни восточных соседей германцев — феннов. У них «удивительная дикость, отвратительная бедность» (46): нет оружия, нет коней, нет домов. И вместе с тем Тацит готов в теории согласиться с философами-киниками, восхвалявшими такую бедную жизнь. Фенны достигли самого трудного — у них нет нужды даже желать чего-нибудь.

Стремление автора к морально-психологическим толкованиям нередко становится причиной искажения действительности. Примитивные черты религии германцев, не знавших храмов и изображений богов (Тацит, по-видимому, здесь несколько преувеличивает), получают объяснение в духе античной вульгарной философии, будто храмы и изображения несовместимы с «величием» небесных существ (9). Утверждение, что германцы избегают могильных памятников как давящих мертвеца своей тяжестью (27), опровергается археологически — многочисленными могильными камнями германских погребений. К тому же ни сам Тацит, ни те римские или греческие писатели, трудами которых он мог пользоваться, не знали языка германцев. При описании их общественного строя и религии автор лишь очень редко пользуется германскими терминами и именами и заменяет их римскими. Он все время говорит о «царях», «вельможах», «вождях», «рабах», «вольноотпущенниках», «гражданских общинах», «округах» без достаточного уточнения действительного значения этих терминов по отношению к германцам. Германские боги также получают римские имена. Все это сообщает изложению «Германии» расплывчатый, нечеткий характер. Встречаются анахронизмы. Тацит следует своим источникам, забывая, что они в значительной мере относятся уже к прошлому. Изображение батавов как верных союзников римлян (29) соответствовало действительности лишь до восстания 70 г. Отложение маркоманов и квадов в 89 г. резко нарушило те мирные отношения с Римом, о которых говорится в гл. 42. В разделе о гер-

---

[7] Там же. С. 138.

[8] Там же. С. 71—72.

мундурах (41) граница между империей и германцами мыслится проходящей по Дунаю, что уже не соответствует положению дела в конце I в.

Таким образом, трактат Тацита имеет много недостатков, даже с точки зрения уровня, достигнутого античной этнографией. Однако автор ставил перед собой не научные, а политические и литературные задачи. У него есть ошибки, ложные толкования, но вместе с тем он сохранил ряд ценнейших сведений, свидетельствующих об осведомленности и наблюдательности тех его предшественников, которые, как, например, Плиний Старший, знали германцев по непосредственным наблюдениям. Именно сообщения Тацита позволили Энгельсу в его работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» восстановить картину родового строя древних германцев.

Мы уже говорили, что одним из римских предшественников Тацита в деле составления этнографических трактатов был Сенека, мастер «нового стиля» в декламационно-риторическом искусстве. «Германия» во многом примыкает к этой же литературной традиции. Короткие манерные фразы, исполненные антитез, параллелизмов, анафор, эпиграмматически отточенные сентенции, обилие поэтических оборотов, декламационный пафос — все это сближает «Германию» с римским «новым стилем».

* * *

Малые труды Тацита сохранились в единственной рукописи — ныне почти полностью утраченной, — попавшей в руки гуманистов в XV в. Рукопись эта содержала, кроме «Германии» и «Агриколы», также «Диалог об ораторах». Первые два произведения были прямо засвидетельствованы как принадлежащие Тациту в самой рукописи; были ли такие же данные о «Диалоге», неясно, но почти во всех гуманистических списках Тацит обозначен как его автор. В XVI в. возникли попытки оспаривать подлинность диалога на том основании, что в отличие от прочих трудов историка Тацита это произведение стилистически ориентировано на Цицерона. Со стороны содержания нет, однако, никаких препятствий к признанию подлинности «Диалога»: об этом свидетельствуют и общая идеологическая направленность произведения, и близость отдельных его положений к историческим трудам Тацита. В настоящее время лишь немногие решаются отрицать подлинность этого произведения; однако «стилистический» аргумент и поныне производит впечатление на некоторых исследователей: они объясняют особенности диалога тем, что это — самое раннее произведение Тацита, написанное еще до того, как автор выработал стиль, известный нам из «Агриколы» и «Германии». В основе этого аргумента лежит недооценка античного стилистического искусства, способности древнего писателя варьировать свой стиль в зависимости от жанра и ориентации на тот или иной образец.

Тема «Диалога» — причины упадка красноречия.

На этот вопрос обращали внимание в I в. римские писатели самых различных направлений: и поклонник декламаторов времени Августа Сенека Старший (Контроверсии, I, предисловие, 6 сл.), и наиболее выдающийся мастер «нового стиля» Сенека Младший (114-е письмо к Луцилию), и более классицистически настроенный Петроний (в первых главах «Сатири-

кона»). Трактат Квинтилиана «О причинах порчи красноречия» не сохранился, но точка зрения автора известна по дошедшему до нас полностью большому труду «Обучение оратора». Все эти писатели выдвигают в качестве причины упадка красноречия порчу нравов, отсутствие стремления к серьезному труду. Тацит держался иного взгляда и считал упадок ораторского искусства следствием происшедшей в Риме перемены государственного строя. Мысль была несколько «крамольная» и требовала осторожного изложения. Тацит избрал форму диалога, в котором автор не отождествляет себя полностью ни с одним из участников и в известной мере может соглашаться со всеми.

Классиком диалогической формы в Риме был Цицерон. Обращение к нему было тем более показано, что содержание «Диалога об ораторах» имеет много точек соприкосновения со знаменитым диалогом Цицерона «Об ораторе». Искусство Тацита в воспроизведении цицероновского стиля явилось, как мы видели, причиной недоверия филологов нового времени к подлинности «Диалога».

Действие «Диалога» отнесено к первым годам правления Веспасиана. Сенатор Куриаций Матерн, оратор и поэт, публично прочитал свою трагедию «Катон», где главным действующим лицом был Катон Младший, любимый герой сенатской оппозиции I в. Трагедия возбудила неудовольствие власть имущих. На следующий день Матерна посетили друзья, ораторы Апр и Секунд, под руководством которых Тацит проходил свою «выучку на форуме». Как лицо, сопровождающее своих учителей, юный Тацит становится немым участником собеседования Матерна с друзьями.

Друзья огорчены опасным уклоном поэтической деятельности Матерна. Не лучше ли ему вернуться к красноречию? Первая часть диалога (5 — 13) содержит спор о том, надлежит ли предпочесть деятельность судебного оратора или поэта. Апр горячо превозносит судебное красноречие как общественно полезную деятельность, доставляющую творческие радости, славу, богатство, высокое положение в государстве, благосклонное уважение императора. В своем ответе Апру Матерн подчеркивает отрицательные стороны судебного красноречия в эпоху империи. Оно корыстно и запятнано кровью (12). Те мрачные фигуры нероновского времени, которые Апр ставит в образец, «никогда не кажутся повелителям достаточно раболепными, а нам достаточно свободными». С этими положениями Матерна Тацит, как мы его знаем по другим произведениям, несомненно, согласен. Однако положительная часть речи Матерна — хвала поэзии и уединения в лесах и рощах — выдержана в нереальных идиллических тонах и римского читателя убедить не может. Автор дает понять, что он не всегда солидаризируется со своим главным действующим лицом.

Разговор принимает иной уклон с появлением нового собеседника. Это Мессала, молодой человек знатного происхождения, поклонник старины. Начинается новый спор — о сравнительной ценности древнего и нового красноречия (15 — 26).

С защитой современного ораторского искусства выступает тот же Апр. Он доказывает, что изменение ораторского стиля, наступившее после Цицерона, отвечает более высоким художественным запросам культурно выросшей аудитории.

Литературная практика самого Тацита, отнюдь не чуждавшегося украшений «нового» стиля, заставляет думать, что автор диалога считает некоторые мысли Апра справедливыми. Мессала не оспаривает стилистических достижений послецицероновского времени, но подчеркивает «здоровый» характер старого ораторского искусства в отличие от бессодержательного легкомыслия и фиглярских приемов речи у современных краснобаев. Собеседование вступает в свой последний этап: разбирается вопрос о причинах упадка красноречия.

Тут мы снова имеем две речи — Мессалы и Матерна. Текст этой части диалога дошел в поврежденном виде. Утерян конец речи Мессалы и начало выступления Матерна. Если второй друг Матерна Секунд участвовал в диалоге, то его речь пропала в той же лакуне.

Мессала выступает с изложением общепринятой в то время точки зрения: в упадке красноречия повинно нерадение молодежи, небрежность родителей, невежество преподавателей. Речь Мессалы зачастую перекликается с трактатом Квинтилиана «Обучение оратора», вплоть до текстуальной близости. Вслед за Цицероном Мессала считает, что оратор нуждается в широком образовании и должен изучать философию. Тацит не случайно вложил эти малооригинальные мысли в уста наиболее молодого из участников собеседования. Более глубокое объяснение упадка красноречия в Риме он приберег для заключительного выступления Матерна.

По мысли Матерна, основной причиной, определяющей расцвет или упадок красноречия, является государственный строй. Наилучшая почва для развития ораторского искусства — демократическое устройство. Великое красноречие существовало в Афинах при Демосфене, в Риме — во времена Цицерона, т. е. в те эпохи, когда шла ожесточенная борьба политических группировок. «Великое красноречие есть питомец своеволия, которое глупцы называют свободой, спутник возмущений, подстрекатель необузданного народа» (40). Когда государственные вопросы решались народным собранием, когда судебные процессы зачастую имели политический характер, красноречие было важным двигателем общественной жизни, вызывало всеобщий интерес, стимулировало таланты. В условиях империи красноречие не может играть прежней роли. Теперь, когда государственные дела решает «мудрейший и один», когда преступления так редки и милосердие правителя делает ненужной функцию защитника, время великого красноречия прошло (41).

Это звучит монархически. Но внимательный читатель не может не вспомнить первой части диалога, где Матерн избрал героем своей трагедии Катона Младшего. Поклонник Катона не мог бы считать, что только глупцы именуют республиканское «своеволие» свободой. Читатель должен был понять, что идиллическая картина Рима, где «преступления так редки», легко допускает ироническое истолкование. Тацит нашел нужным смягчить свой пессимистический вывод о невозможности великого красноречия в условиях империи комплиментами по адресу «мудрейшего» и «милосердного» правителя — не столько, конечно, Веспасиана, ко времени которого относится действие диалога, сколько того императора, при котором это произведение вышло в свет. Политическая двойственность Тацита, сочетающего признание неизбежности империи с ненавистью к деспотизму императоров и раболепию сената, пронизывает весь «Диалог» и

отражается в двойственной обрисовке главного действующего лица — Матерна.

Объяснение упадка красноречия политическими условиями империи не являлось совершенно новой идеей. Следы этого объяснения имеются в греческой литературе I в. Выдающийся памятник античной эстетической теории, трактат «О возвышенном», составленный в 40-х годах неизвестным греческим ритором, жившим в Риме, содержит рассмотрение вопроса о причинах отсутствия «возвышенных» дарований в современной литературе. Рассуждение облечено в форму диалога между автором трактата и неким «философом», который ссылается на «широко распространенный» взгляд, что выдающееся красноречие возможно только в условиях демократии. Условия римской империи с ее «справедливым рабством» напоминают «философу» клетку для искусственного выращивания карликов. Автор старается смягчить опасные мысли «философа» и от своего лица предпочитает обычное моралистическое объяснение измельчания талантов.

Мы можем назвать только одного сторонника того взгляда, который охарактеризован в трактате «О возвышенном» как широко распространенный. Это известный иудео-эллинистический философ I в. Филон Александрийский. Некоторые исследователи считали, что в трактате «О возвышенном» воспроизводятся мысли именно Филона. Более правдоподобно, однако, объяснять сходство между трактатом «О возвышенном» и Филоном наличием общих источников. Очень возможно, что эти источники относятся еще к эллинистической эпохе, что в них противопоставлялся упадок красноречия в эллинистических монархиях его расцвету в древних Афинах или в родосской демократии. Не исключена возможность, что таким источником был Посидоний. С возникновением Римской империи те же вопросы встали в Риме.

В отличие от автора трактата «О возвышенном» Тацит отнюдь не считает, что в его время отсутствуют возвышенные дарования. Он только полагает, что обладателям таких дарований нужно теперь обращаться не к красноречию, а к другим литературным жанрам. Матерн избрал поэзию — для римского сенатора это необычный выход из положения. Сенатор Корнелий Тацит отказывается от красноречия ради историографии, и читатель «Диалога» должен оценить основательность его мотивов.

Дата написания «Диалога» определяется тем, что собеседование, относящееся к первым годам правления Веспасиана, происходило в дни «ранней юности» автора (1). Стало быть, произведение написано значительно позже. При Домициане оно по политическим условиям не могло бы выйти в свет. Естественнее всего думать, что трактат относится к первым годам II в., когда Тацит переходит от красноречия к своим историческим трудам. Портрет исторического деятеля в «Агриколе» и изображение народа в «Германии» еще не выходили, с точки зрения античной теории словесности, за рамки «ораторских упражнений». В первых книгах писем Плиния Тацит прославляется как крупнейший авторитет в области красноречия. В дальнейшем характер упоминаний Плиния о Таците меняется: это уже историограф, автор «Истории», которая начала, по-видимому, издаваться в 105 г. Переход писателя к новому жанру обосновывается в «Диалоге».

Любовь автора к ораторскому искусству, тоска по его былому и невозвратимому величию, в оболочке блестящего цицероновского стиля,

создает вокруг «Диалога» мечтательную дымку и делает его одним из самых увлекательных произведений римской литературы.

III

Первый значительный труд Тацита — «История» («Historiae»). В Риме этим заглавием часто пользовались при описании событий, современником которых был сам автор произведения. Однако выполнение не вполне отвечает той первоначальной программе, о которой мы узнаем из вступления к «Агриколе» (3). Тогда Тацит обещал сочетать в своем будущем труде «память прошлого рабства» со «свидетельством о нынешнем благополучии». В 97 — 98 гг. римский читатель, естественно, понимал это обещание как изображение мрачного правления Домициана и поворота, наступившего со времен Нервы и Траяна. «История» построена иначе. Она представляет собой рассказ о правлении Флавиев, начиная с гражданской войны 69 г., которая привела их к власти, вплоть до гибели последнего представителя династии — Домициана. «Нынешнее благополучие» оставлено в стороне, и автор считает нужным извиниться перед читателем — и перед императором, — заявляя, что о «годах редкого счастья» при Траяне он расскажет в старости, если доживет (История, I, 1).

Также и это обещание, если считать, что писатель когда-либо к нему серьезно относился, осталось не выполненным. Закончив «Историю», Тацит обратился не к настоящему, а к более отдаленному прошлому. Его второй большой труд озаглавлен «От кончины божественного Августа» («Ab excessu Divi Augusti»). Здесь дана история Римской империи после ее основателя Августа, рассказано о правлении Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона (14 — 68 гг.). Свой второй труд Тацит однажды называет (Анналы, IV, 32) «анналами», т. е. «летописью». Это не заглавие, а наименование историографического жанра, посвященного более раннему времени, чем «История», но в новое время «Анналами» стали называть самый труд вместо длинного и неудобного названия, которое ему дал автор. «Анналы» смыкаются с «Историей», которая становится их продолжением. Оба произведения составляют единое целое — историю Рима от 14 до 96 г. Как единое целое даны они и в рукописях[9]. Заглавие «История» восстановлено было только филологами XVI в. на основании античных свидетельств (Плиний Младший, Тертуллиан).

О произведении, посвященном временам Нервы и Траяна, речи больше нет. Теперь Тацит собирается, если жизнь ему позволит, заняться в будущем еще более ранним периодом — правлением Августа (Анналы, III, 24). Этот замысел тоже не был выполнен.

Надо думать, что Тацит не случайно отказался от изображения времен Траяна. При Траяне стабилизировалось сотрудничество императора с сенатом, но фактически власть императора при этом увеличилась и значение сената еще более пошло на убыль. Порядки эти не могли не вызывать неудовольствие Тацита, но позиция деятелей его типа оказывалась изолиро-

---

[9] В основной рукописи «Истории» (Медицейская, II) она следует за книгой 16 «Анналов» как книга 17 и дальнейшие книги этого труда.

ванной в рядах самого сената, где «староримская» группировка уменьшилась количественно и охотно шла на примирение с императорской властью. Мировоззрение историка становилось все более пессимистическим, а картины прошлого, которые он рисовал, — все более мрачными.

Оба основных исторических труда Тацита сохранились только частично. От «Истории» дошли первые четыре книги и часть пятой — гражданская война 69 г. и самое начало правления Веспасиана (70 г.). От «Анналов» сохранилось на различных путях рукописной традиции два массива. Один из них составляет начало произведения, его первые шесть книг, в которых рассказан конец жизни Августа и правление императора Тиберия (14—37 гг.). В этой части имеется, однако, большая лакуна, охватывающая почти всю пятую книгу (кроме ее начала) и начало шестой. В лакуну попали события конца 29 г., весь 30 г. и большая часть 31 г. Повествование о Калигуле и первых годах Клавдия не сохранилось. Второй массив начинается со средины одиннадцатой книги (с 47 г.) и обрывается в середине шестнадцатой книги на незаконченном рассказе о гибели лидера сенатской оппозиции Тразеи Пета при Нероне (66 г.). Удалось ли Тациту закончить свой труд, довести «Анналы» до начала изложения «Истории», неизвестно.

Христианский писатель IV в. Иероним сообщает, что произведение Тацита, которое он рассматривает как единое последовательное целое «от кончины Августа до смерти Домициана», состояло из 30 книг[10]. Какая часть из них падает на «Анналы» и какая на «Историю», неясно (18 + 12 или 16 + 14?). До нас дошло, таким образом, около половины всего труда.

Из письма Плиния Младшего (VII, 33) видно, что около 108 г. часть «Истории» была опубликована, но Тацит собирал в это время материалы для описания извержения Везувия в 79 г., т. е. не дошел еще до правления Домициана. Надо думать, что «История» была закончена не ранее 110 г. При этих условиях трудно себе представить, чтобы такой сложный труд, как «Анналы», был завершен еще при Траяне, т. е. до 117 г., тем более что на этот промежуток времени падает проконсульство Тацита в Азии. Почти несомненно, что историк продолжал работу над «Анналами» при преемнике Траяна — Адриане.

* * *

Наукообразное осмысление исторического процесса возникало в античном мире лишь спорадически, и занимались этим чаще философы, чем историки. Историография развивалась не как наука, а как искусство, как один из жанров повествовательной художественной литературы.

В классический период своего развития греческая поэзия изображала либо мифологических героев, возвышавшихся над обыденной действительностью (эпос, трагедии), либо карикатурные комедийные маски. Средний человек мог подаваться лишь как реальное лицо, не преображенное в художественную фикцию. Ответом на эстетический запрос, требовавший персонажей среднего уровня, было развитие прозаических жанров. Художественная историография, изображавшая жизнь реальных людей, их чув-

---

[10] Комментарий к пророку Захарии (3, 14).

ства и стремления, становилась в один ряд с поэзией, восполняя оставленный ею пробел.

Греческая историография имела художественный характер с самого своего зарождения в VI — V вв., особенно у Геродота. Фукидид присоединил к художественной стороне ряд наукообразных элементов: историческую критику, искание причинности в ходе событий, политический анализ. Но последующие историки в большинстве своем не удержались на научном уровне изложения Фукидида. С наступлением упадка полисной системы в IV в. литературные задачи историографии стали преобладать над научными. В литературном сознании позднейшей античности историографический жанр занимал промежуточное положение между красноречием и поэзией. История — учительница жизни, сокровищница примеров, иллюстрирующих добродетели и пороки. Она служит для поучения — в области морали, политики, военного дела — и одновременно для услаждения. Рассказ историка мог тяготеть либо к риторическим прославлениям и порицаниям и блистать тогда речами, письмами, описаниями, либо к драматической напряженности, вызывать сильные эффекты — страх, сострадание, изумление. Стремление «потрясти» читателя сближало историографический жанр с трагедией. Предполагалось, конечно, что историк должен быть правдивым, но это требование очень часто нарушалось. Вопросы проникновения в причинный ход исторического развития у эллинистических теоретиков историографии даже не ставятся. Греческое рабовладельческое общество эпохи эллинистических монархий уже не чувствовало себя в силах сознательно распоряжаться своей судьбой.

Лишь один историк эллинистического времени составляет исключение. Это — Полибий (ок. 201 — 120 гг. до н. э.), свидетель возвышения Рима как мировой державы и превращения Греции в римскую провинцию, первый в ряду греческих мыслителей, обслуживающих идеологию римской аристократии. Римское общество находилось еще в процессе восходящего развития, и Полибий возвращается к проблематике исторической причинности. Он объясняет успехи Рима прочностью его государственного строя, в котором смешаны элементы, свойственные и монархии, и аристократии, и демократии. Продолжателем Полибия являлся философ и историк Посидоний, о котором мы уже вспоминали в связи с «Германией» и «Диалогом» Тацита; его метод, по-видимому, оказал большое влияние на римских историков, начиная с Саллюстия.

В Риме годовые записи — «анналы» (annus — «год») — существовали издревле. С конца III в. до н. э. стали появляться писатели — «анналисты», которые в форме погодной хроники рассказывали о событиях римской истории. Произведения эти преследовали политические цели; они были обращены к эллинистическому миру и писались по-гречески. Авторы их нередко являлись видными политическими деятелями. Художественных задач эти труды себе не ставили. Излагать историю для римских читателей, и притом в художественной форме, предоставлялось поэтам, которыми в это время могли быть только люди невысокого общественного положения.

Со средины II в. до н. э. римские историки стали пользоваться латинским языком, но по своему художественному уровню римская историография сравнялась с греческой только во второй половине I в. до н. э. (Саллюстий, Ливий и др.). Характерным для Рима осталось, однако, то, что исто-

риографическая деятельность продолжала привлекать к себе людей с государственным и военным опытом. Наряду с кабинетными литераторами вроде Тита Ливия в качестве историков продолжали выступать сенаторы, писавшие зачастую о тех событиях, в которых они лично принимали участие. Один историк продолжал повествование другого: Саллюстий примкнул к изложению более раннего историка Сизенны. Видный деятель времен Цезаря и его преемников Азиний Поллион близко примкнул к Саллюстию в своем рассказе о гражданской войне, приведшей к установлению империи. Правлению Августа был посвящен исторический труд Кремуция Корда. Судьба этого произведения свидетельствует уже о новых условиях историографической деятельности, наступивших в период империи. Автор был обвинен в том, что восхвалял убийцу Цезаря (Анналы, IV, 34 — 35). Сенат постановил сжечь его книги, и Кремуций Корд лишил себя жизни. Некоторые экземпляры, однако, сохранились, и книга впоследствии переиздавалась. Тем не менее традиция сенатской историографии не оборвалась. Ее продолжали консуляры Сервилий Нониан и Клувий Руф. Историки-сенаторы не уходили в глубокую древность и считали своей основной задачей рассказ о политических событиях сравнительно недавнего прошлого. Антикварные и культурно-исторические интересы были чужды им в отличие от историков «кабинетного типа» (scholastici). К этой последней категории после Тита Ливия принадлежали, по-видимому, два известных историка — Авфидий Басс в первой половине I в. и Фабий Рустик — во второй. Тацит, разумеется, обновляет традицию сенатской историографии.

* * *

«Программные» декларации Тацита во вступлениях к «Истории» и «Анналам» не выходят за рамки установившейся уже в течение столетий эллинистическо-римской историографической теории. От историка требуются два качества — красноречивое изложение и правдивость. В Риме, пока дело шло о временах республики, бывали выдающиеся историки, которые удовлетворяли обоим требованиям (История, I, 1). С установлением империи «эти великие таланты перевелись» (там же). Здесь звучат мотивы «Диалога об ораторах»: политическая обстановка империи губительно действует на судьбы красноречия. Правдивость изложения тоже пошла на убыль — сперва «по неведению государственных дел... потом — из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним» (там же). Империя положила конец публичному обсуждению государственных вопросов в народном собрании и перенесла решение многих важнейших дел даже за пределы сената, в узкий круг советников принцепса. Тайный характер управления и отсутствие доступной документации ограничивали осведомленность историков; недостаток государственного опыта приводил к поверхностному пониманию событий. С другой стороны, правдивый рассказ был невозможен в атмосфере лжи, созданной императорским строем (ср. также: Анналы, I, 1). Противопоставляя себя предшествующим историкам империи, Тацит заявляет о своей неколебимой любви к истине (История, I, 1), обещает рассказывать «без гнева и пристрастия» (sine ira et studio — Анналы, I, 1), продолжая тем самым традиции

республиканской историографии. Для «Истории» возможность правдивого изложения обеспечивалась политической обстановкой, установившейся при Траяне, — «когда каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает» (История, I,1); «Анналы» были посвящены более далеким уже временам.

Избирая темой «Истории» гражданскую войну после гибели Нерона и правление Флавиев, Тацит считает нужным предупредить о мрачном колорите событий, которые будут развернуты перед читателем. Несколько иной, но столь же мрачный характер имеют «Анналы», в которых значительное место занимают картины террористического правления Тиберия и Нерона. Атмосфера развертывающейся трагедии разлита по обоим историческим произведениям Тацита и определяет их художественное задание. Они принадлежат к тому историографическому жанру, который, согласно определениям античных теоретиков, изображает «страшное», «поразительное», потрясающее.

Вместе с тем Тацит, как почти все античные историки, — моралист. «Я считаю главнейшей обязанностью анналов, — пишет он, — сохранить память о проявлениях добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве» (Анналы, III, 65). С другой стороны, автор «Агриколы», «Германии» и «Диалога» продолжает оставаться публицистом также и тогда, когда обращается к изображению прошлого. В истории его интересуют лишь «наиболее значительные деяния» (Анналы, XIII, 34), т. е. события политической и военной истории, то, что касается императора, сената, армии.

При такой направленности своих интересов автор «Истории» и «Анналов» вправе считать себя наследником республиканских историков, повествовавших о «деяниях римского народа». Но именно в этом заключается ограниченность, архаичность основных подходов Тацита. Во времена республики, когда важнейшие государственные дела решались в народном собрании города Рима, Рим был ведущим политическим центром. Уже при Августе он потерял это значение, уступив его Италии в целом. Политическое развитие I в. вело к тому, что Италия стала утрачивать эту роль, и со времени Адриана центр тяжести империи перемещается на восток. Этого процесса Тацит не замечает и продолжает рассматривать историю империи с чисто «римской» точки зрения.

Однако вместе с этой уже устаревшей перспективой Тацит усвоил от своих республиканских предшественников очень важное положительное качество — стремление к самостоятельному осмыслению событий. Линия античной историографии, идущая от Фукидида через Полибия и Посидония к Саллюстию, нашла в лице Тацита своего последнего представителя. Историк хочет быть не только рассказчиком, повествующим о ходе событий, который «по большей части зависит от случая», а стремится проникнуть в «их смысл» (ratio) и «причины» (causae; История, I, 4). Отыскание «причин» и «начал» (initia) составляет постоянную заботу Тацита. Все это диктовалось единой задачей — осмыслить Римскую империю в ее возникновении и развитии и сделать отсюда политические выводы для настоящего.

* * *

Каковы же представления Тацита о движущих силах исторического процесса?

На этот вопрос исследователи давали самые разнообразные ответы. Пельман, написавший в начале нашего века специальную монографию о мировоззрении Тацита, нашел в его мыслях «хаос непроясненных и непродуманных мнений, мешанину из противоречий»[11]. Почвой, на которой возникло это суждение, является риторический характер повествования, где участие «богов», «рока» или «фортуны» в равной мере допустимо как украшение возвышенного стиля.

В гражданской религии античного государства веры не требовалось, а нужно было лишь строгое выполнение обрядов. Те, кто в теории отрицали существование богов или по крайней мере сомневались в нем, признавали государственную религию на практике как гражданскую и патриотическую ценность, как средство спайки рабовладельческого коллектива. Тацит был по своим политическим установкам традиционалистом и к тому же членом той жреческой коллегии пятнадцати мужей, которая в случае тяжелых «знамений» обращалась к оракулу Сивиллиных книг ради умилостивления «гнева богов». В свое время римская анналистика началась с записей о подобных знамениях («продигиях»), и последующие римские историки считали своей обязанностью продолжать эту традицию. Не отходит от нее, разумеется, и Тацит: «Повторять россказни и тешить читателей вымыслами несовместимо, я думаю, с достоинством труда, мной начатого, однако я не решаюсь не верить вещам, всем известным и сохранившимся в преданиях» (История, II, 50). Следуя за своими источниками, он часто повествует о «чудесах» и «знамениях», но около половины таких рассказов сопровождается скептическими замечаниями историка. В других случаях Тацит либо вовсе не выражает своего отношения к достоверности сообщения, либо высказывается очень осторожно и неопределенно. Лишь по отношению к императорам Веспасиану и Титу, которым Тацит был обязан началом своей сенатской карьеры, делается исключение — принимается версия официальной флавианской историографии о «благоволении неба и приязни богов» к Веспасиану (История, IV, 81).

Помимо традиционных знамений или оракулов, Тацит очень редко апеллирует к божественному воздействию, и то главным образом в поэтически окрашенных местах. В этих немногочисленных упоминаниях речь идет не об отдельных богах римской религии (Юпитере, Марсе и т. п.); «боги» фигурируют здесь коллективно и по большей части как «гневающиеся». О «благосклонности» богов говорится только при рассказе о совершенно ничтожных событиях. Лишь в официальной политической фразеологии, в речах императоров и членов сената, в международных переговорах обращение к богам и ссылки на них занимают свое прочное место.

В верхушечных кругах римского общества все более распространялись в это время представления вульгарной позднеантичной философии о едином божестве, провидении, бессмертии души и т. п. Тацит не последовал за новыми религиозными увлечениями. Метафизическое божество не иг-

---

[11] *Pöhlmann R. von.* Die Weltanschauung des Tacitus. München, 1910. S. 63.

рает у него никакой роли. Стоики учили о роке, предопределении. У Тацита «рок» (fatum) встречается только в порядке поэтического выражения, и почти всегда ссылка на рок сопровождается альтернативным указанием на естественную причину события. Столь же редко и тоже в высоком стиле или в цитатах и застывших выражениях мы находим ссылки на фортуну. Слово это обычно употребляется у Тацита в нарицательном значении — «случай», «удача».

В шестой книге «Анналов», относящейся, вероятно, уже к последним годам жизни историка, подводится некий итог его размышлениям и сомнениям по вопросу о силах, управляющих миром, — «определяются ли дела человеческие роком и непреклонной необходимостью, или случайностью» (22). Тацит приводит три наиболее распространенных взгляда: воззрения эпикурейцев, стоиков и астрологов, — но не решается присоединиться ни к одному из них.

Во всяком случае как историк он ищет естественных причин событий. В начале «Истории», после программного вступления (I, 1 — 3), мы находим очень интересную картину состояния империи перед гражданской войной 69 г. «Нужно, я полагаю, оглянуться назад и представить себе положение в Риме, настроение войск, состояние провинций, представить себе, что было в мире здорово и что гнило. Это необходимо, если мы хотим познать не только внешнее течение событий, которое по большей части зависит от случая, но также их смысл и причины» (История, I, 4). Потенцию гражданской войны он усматривает в самом существе империи, опирающейся на военные силы. Тацит рисует состояние умов в Риме: настроение сенаторов, всадников, народа в его «лучшей» и более «низменной» части, даже рабов и, что самое важное, войска. Затем изображается состояние провинций и находящихся в них армий, как в западной, так и в восточной части империи. Историк не формулирует теоретических обобщений, но постоянно обращается к состоянию умов (mens) и нравов (mores) как к причинам, лежащим в основе значительных исторических процессов. Политический опыт сенатора и магистрата позволяет Тациту разглядеть за императорскими капризами, за внешним ходом военных и сенатских дел также и внутренние пружины управления. В четвертой книге «Анналов» дается обзор состояния империи к 23 г. Описываются вооруженные силы, характер верховного управления, порядок заведования финансами и личным хозяйством императора, законность в судах (5 — 6).

Тем не менее «причины» являются в трудах Тацита лишь фоном, на котором развертывается военно-политическое повествование и та картина взаимоотношения императора и сената, которая привлекает основное внимание автора как государственного деятеля, моралиста и художника.

* * *

Историко-политические интересы Тацита сосредоточены вокруг проблематики империи. Он сравнительно редко заглядывает в более далекое прошлое Рима, ограничиваясь в этих случаях краткими суммарными обзорами.

Согласно концепции Тацита, императорское единовластие возникло в интересах мира ради прекращения междоусобных войн. Тацит не обма-

нывается видимостью республиканских форм, сохранявшихся при принципате: римское государство таково, как если бы оно управлялось одним лицом (Анналы, IV, 33). Он примирился с монархическим устройством Рима, но ищет для этого строя смягченных форм.

Античная государствоведческая теория различала в каждом виде государственного устройства «правильную» и «искаженную» форму. Для единовластия искаженной формой была тирания. Ненависть к тирании пронизывает все труды Тацита, начиная с «Агриколы». При всей своей нелюбви к философам он даже цитирует платоновского Сократа (не называя его, впрочем, по имени) для того, чтобы заклеймить тиранов (Анналы, VI, 6). Тиберий, Нерон — самые мрачные портреты, созданные Тацитом. В таких же красках, несомненно, был изображен Домициан в несохранившихся частях «Истории». Рядом с тиранами — их приспешники, например Сеян при Тиберии и многочисленные, большей частью безымянные, «обвинители», «доносчики» (delatores), этот «разряд людей, придуманный на общественную погибель» (Анналы, IV, 30).

Средств предупредить возникновение тирании императорский строй не давал. Особенно опасным представлялся, с этой точки зрения, династический принцип наследования, при котором власть легко могла оказаться в дурных руках. По-видимому, одно время Тацит рассчитывал на адоптацию, усыновление достойного лица, как на желательный для Рима способ перехода императорской власти. Незадолго до того, как Тацит начал работать над «Историей», адоптация была использована Нервой, усыновившим Траяна. В первой книге «Истории» император Гальба произносит большую речь о достоинствах усыновления как способе выбора преемника (16), многие мысли которой близко соприкасаются со взглядами Тацита. Можно думать, что историк избрал здесь Гальбу в качестве рупора своих собственных идей. Однако в дальнейшем Тацит ни разу не возвращался к этому вопросу. Надежды, возлагавшиеся на адоптацию, вероятно, не оправдались. Еще в «Истории» Тацит замечал, что Веспасиан был единственным императором, который, в противоположность своим предшественникам, с приходом к власти переменился к лучшему (I, 50); при Траяне он мог еще раз убедиться в справедливости своего обобщения. Отношение Тацита к единовластному правлению (dominatio) становится в «Анналах» гораздо более суровым, чем в «Истории».

Есть ли силы, способные противостоять императорскому деспотизму? Идеолог господствующей верхушки не считает народ такой силой. Под «народом» Тацит разумеет по старинке население г. Рима, т. е. ту в значительной мере деклассированную люмпен-пролетарскую массу, которую императоры считали своим долгом кормить хлебными раздачами и забавлять развлечениями. Этот «народ» не занимается делами государства, не чувствует за них ответственности (История, I, 89). Общественной силы «народ» не представляет, тем более что «свободно-рожденных плебеев с каждым днем становилось все меньше», а численность рабов «неимоверно росла» (Анналы, IV, 27).

На отношение Тацита к рабам проливает свет эпизод из книги XIV «Анналов» (42 — 45). В 61 г. префект Рима Педаний Секунд был убит своим рабом. Столкновение произошло на личной почве, но старинный обычай требовал казни всех рабов, находившихся в это время в доме. Населе-

ние Рима протестовало против массовой казни невинных людей, и даже в сенате раздавались голоса в пользу отмены старого порядка. Тацит не высказывает своего собственного мнения, но, рассказывая о прениях, не дает слова защитникам рабов, а только приводит обширную речь сторонника казни. Вывод оратора: такой сброд людей нельзя обуздать иначе, как страхом.

Плебеи, вольноотпущенники — это слои, обычно поддерживающие императора, а не сенат, и этим вызвано враждебное отношение к ним историографа-сенатора. С еще большим недоверием и страхом смотрит Тацит на армию, на ту силу, которая являлась непосредственной опорой императорского режима. Роль армии в гражданской войне 69 г. дает возможность развернуть серию картин солдатского произвола. Тацит отлично знает тяготы солдатской жизни, но с особенной симпатией рисует тех военачальников, например Корбулона, которые умеют — и собственным примером, и строгостью — поддерживать воинскую дисциплину в самых трудных обстоятельствах.

Только верхушечные слои — сенаторы и всадники — способны, по мнению историка, заботиться о делах государства (История, I, 50). С особенным вниманием он останавливается, конечно, на поведении сенаторов. При этом он предъявляет к представителям старинных родов более высокие требования, чем к другим членам сената, и приветствует их похвальные поступки как достойные предков и старинного имени (например: Анналы, VI, 29; XII, 12). Гораздо чаще, однако, писателю приходится сокрушаться об их поведении. Основной упрек Тацита по адресу сенаторов — это их «отвратительная» лесть, беспрестанное раболепство перед императорами. Лишь немногие деятели составляют исключение, как, например, известный лидер сенатской оппозиции Тразея Пет, — Тацит характеризует его как «саму добродетель» (Анналы, XVI, 21),— или зять его Гельвидий Приск (История, IV, 5).

Интересно, что Тацит относится положительно к изменению состава сената, пополнению его бережливыми и трудолюбивыми выходцами из италийских муниципиев и даже из провинций (Анналы, III, 55). Эта несколько неожиданная для Тацита позиция является, быть может, косвенным подтверждением предположения о провинциальном происхождении его рода. В этом отношении показательна речь императора Клавдия (Анналы, XI, 24) в пользу присвоения знатным галлам из племени эдуев права быть сенаторами в Риме. Оригинал речи частично сохранился на большой надписи, найденной в 1528 г. в Лионе. Перед нами исключительный случай, показывающий, как Тацит перерабатывал подлинные документы. Он сохранил общий смысл не очень складной императорской речи, но сократил ее, упорядочил и усилил аргументацию. «Основатель нашего государства Ромул, — говорит у Тацита Клавдий, — отличался столь выдающейся мудростью, что видел во многих народностях на протяжении одного и того же дня сначала врагов, потом — граждан» (Анналы, XI, 24). Историк, таким образом, всецело поддерживает политику романизации покоренных народов, предоставления их знатным слоям определенных прав и привилегий.

Тацит отлично знает, что римское завоевание несет с собой порабощение побежденных. Мы видели это еще в «Агриколе». Местное население

является жертвой корыстолюбивых римлян, их надменности, насильственного поведения и разврата. Обличитель императорского деспотизма готов на минуту посочувствовать стремлению «варваров» к свободе, и Арминий как «освободитель» Германии получает у историка весьма положительную характеристику (Анналы, II, 88). Однако Тацит остается апологетом римской экспансии. Он относится неодобрительно к государю, «не помышлявшему о расширении пределов империи» (Анналы, IV, 32; речь идет о Тиберии). Оправдание римской завоевательной политики имело свою традицию еще с самого начала II в. до н. э. Римские историки и ораторы всегда доказывали, что Рим не ведет завоевательных войн и продвигается на чужие территории только «по просьбе» местного населения или обороняя своих друзей. «Наш народ, — утверждал Цицерон в трактате "О государстве" (III, 35), — овладел всеми землями, защищая своих союзников». Законность господства над провинциями основана на том, что «для таких людей рабство полезно» (там же, § 36, реферат Августина). Всю эту систему доводов Тацит излагает от лица римского полководца Цериала, произносящего речь перед галлами (История, IV, 73 — 74). «Римский мир» (pax Romana), замирение, которое Рим с собой приносит, является лейтмотивом этой апологии. Мы можем рассматривать здесь Цериала как рупор убеждений самого Тацита на таких же основаниях, как рупором Тацита был Гальба в вопросе о преемственности императорской власти.

Историк относится более или менее дружелюбно лишь к тем покоренным народам, верхушка которых охотно романизируется. Население восточной половины империи, где господствовала греческая или иные культуры, не пользуется симпатиями Тацита. Даже о греках, цивилизаторское значение которых он не может отрицать, он высказывается неохотно и преимущественно в отрицательном плане. «Греков восхищает только свое» (Анналы, II, 88); они «ленивы, распущенны» (История, III, 47). Арабы недисциплинированны (Анналы, XII, 14), египтяне суеверны (История, IV, 81). Наиболее ненавистный для Тацита народ — это иудеи. Иудейские общины были рассеяны по всему греко-римскому миру, но религия иудеев заставляла их держаться особняком и не смешиваться с окружающей средой — и это воспринималось как вражеская ненависть ко всем другим людям (История, V, 4). Раздел об иудеях в пятой книге «Истории» — единственный случай, когда этнографический экскурс Тацита касается народа, известного по другим материалам. Сопоставление с ними приводит к результатам, неблагоприятным для римского историка. Тацит доверился лживым сообщениям какого-то неизвестного источника и повторяет вслед за ним всякие небылицы.

Римского сенатора особенно раздражает то обстоятельство, что необычная религия этого изолированного народа находила сторонников в греко-римском обществе. Еще большее негодование возбуждает у Тацита новое религиозное движение — христианство, недавно возникшее как ответвление от иудейства, но очень скоро отказавшееся от всякой национальной исключительности. С христианством, которое ожидало наступающего «суда Божьего» над язычниками, Тацит, вероятно, имел возможность ближе познакомиться, когда был проконсулом Азии. Упомянуть о христианах ему пришлось в связи с пожаром Рима в 64 г. Нерон винил в этом пожаре христиан и подвергал их — на потеху «черни» — страшным

пыткам и казням. В пожаре христиане не были виноваты, но, согласно Тациту, — это те люди, которые «своими мерзостями навлекли на себя всеобщую ненависть», носители «зловредного суеверия», уличенные «в ненависти к роду людскому» (Анналы, XV, 44) и заслуживавшие самого сурового наказания независимо от пожара.

* * *

Вопрос об источниках Тацита очень труден. Он редко называет имена писателей, которыми он пользуется. Его ссылки, как правило, безымянны: «некоторые авторы», «многие», «очень многие», «историки тех времен», «некоторые утверждают», «некоторые отрицают». У древних историков часто бывает, что они целиком строят свое изложение на некотором источнике, но называют его поименно только в тех редких случаях, когда от него отклоняются. Тацит в одном месте обещает указывать имена своих предшественников в тех случаях, когда они между собой расходятся (Анналы, XIII, 20), но не выдерживает этого обещания. В некоторых случаях он ссылается на устные сообщения, опять-таки безымянные (Анналы, III, 16; XV, 73), на протоколы сената (там же, XV, 74), даже на ежедневную газету (там же, III, 3), но это лишь единичные ссылки, они не позволяют разрешить вопрос о характере тех источников, которыми Тацит пользовался.

В «Истории», при изображении домициановских времен, Тацит должен был использовать протоколы сената. У него не было другого источника для того, чтобы следить за событиями из года в год. Не мог он не знакомиться также с обширной литературой о жертвах домициановского террора. Собирал он и устные сведения. Мы имеем два письма Плиния Младшего к Тациту (VI, 16; VI, 20) с подробным рассказом об известном извержении Везувия в 79 г., когда были засыпаны Геркуланей и Помпеи и погиб дядя Плиния Младшего — Плиний Старший.

В другом положении находился Тацит по отношению к более отдаленным временам. События, о которых он рассказывает в «Анналах» или первых книгах «Истории», неоднократно описывались до него. Но для нас исторические труды, которыми он мог пользоваться, утрачены. Исследователи пытались определить отношение Тацита к источникам косвенным путем, сравнивая его повествование с изложением других писателей, которые должны были исходить примерно из тех же материалов. Младший современник Тацита Светоний Транквилл составил биографии императоров от Юлия Цезаря до Домициана. Сочинениями самого Тацита Светоний, по-видимому, не пользовался, но работал по тем же источникам. То же можно сказать о подробной истории Рима, написанной на греческом языке сенатором Дионом Кассием (начало III в.). Особенно интересно сопоставление первых двух книг «Истории» с биографиями императоров Гальбы и Отона, принадлежащими другому современнику Тацита — Плутарху. Рассказ Плутарха во многом совпадает с Тацитом, вплоть до словесной формы, но исследование показывает, что оба автора друг от друга независимы и что совпадение возникло благодаря пользованию неким общим источником (неизвестно каким). Древние историки уважали традицию и не стеснялись порою близко примыкать к своим предшественникам, даже повторяя их слова.

Эта особенность античной историографии легла в основу своеобразной теории, которой придерживались многие филологи второй половины XIX в. Согласно этому взгляду, древний историк, как правило, пользовался в определенных разделах своего труда только одним источником и лишь в исключительных случаях прибегал к другому. Французский ученый Фабиа применил теорию «единого источника» к историческим трудам Тацита[12]. Ссылки римского историка на «некоторых» или «многих» авторов являются, по мнению Фабиа, только литературным приемом. Когда мы находим у Тацита материалы, несомненно восходящие к первоисточникам, например к протоколам сената, французский ученый думает, что к этим материалам обращался не сам Тацит, а его предшественники и Тацит получил материал уже в готовом виде.

Позднейшие изыскания не подтвердили теории «единого источника» ни в целом, ни по отношению к Тациту. Подробный разбор «Анналов» и сопоставление их с Дионом Кассием и Светонием приводит современных ученых к выводу о множественности источников Тацита. Нет оснований не доверять ему, когда он говорит об «авторах», мнения которых ему известны. И было бы очень странно, если бы материалы протоколов сената, полностью гармонирующие с его рассказом, он не отобрал себе сам, а нашел в готовом виде у более ранних историков.

Таким образом, современные исследователи считают работу Тацита над первоисточниками гораздо более значительной и серьезной, чем это представлялось в свое время Фабиа. Начав с «Истории», где обращение к документальному материалу было необходимо, Тацит не изменил этому методу в «Анналах». Свое обещание пересмотреть тенденциозное изложение истории Тиберия, Гая, Клавдия и Нерона он выполнил вполне самостоятельно, и это наряду с отчетливостью его политической мысли заставляет признать Тацита не только блестящим литератором, но и действительным историком.

* * *

Историк и публицист, Тацит является несравненным мастером повествования, напряженного, драматического.

Как истый традиционалист, он сохраняет исконную форму изложения по годам, восходящую к записям римских жрецов. Такая схема могла бы нарушить связность повествования, но автор умеет так группировать события одного года, что читатель почти никогда не чувствует искусственного характера схемы. Тацит отказывается от нее очень редко, главным образом в последних книгах «Анналов», и почти только для рассказа о внешнеполитических делах и военных действиях.

Каждая отдельная книга, как правило, представляет собой художественное единство, занимающее определенное место в композиции целого. Анналистический принцип заставлял дробить изложение на мелкие эпизоды: Тацит показывает на этом свое искусство риторической вариации, проводя читателя через ряд событий различного эмоционального колорита, но всегда богатых патетическими моментами. Книги часто снабжены

[12] *Fabia Ph.* Les sources de Tacite dans les Histoires et les Annales. Paris, 1893.

орнаментальной концовкой — эффектной сценой, или сентенцией, или даже просто многозначительным словом.

Одна из наиболее интересных черт повествовательного искусства Тацита — драматизм рассказа, проявляющийся и в общем построении его исторических трудов, и в разработке отдельных эпизодов. Первые три книги «Истории» образуют обширное драматическое полотно гражданской войны 69 г. В «Анналах» история Рима при Тиберии и сохранившиеся части о правлении Клавдия и Нерона развертываются как драма в ряде актов, где выдвинуты на первый план основные носители действия, с кульминационными пунктами и ретардациями. В эти пространные «драмы», охватывающие по нескольку книг, вплетен ряд малых «драм», драматически развертывающихся эпизодов. Для примера укажем из «Анналов» на конец Мессалины (книга XII), матереубийство, совершенное Нероном (книга XIV), заговор Пизона (книга XV). Сила Тацита не столько в пластичности изображения внешнего мира, сколько в патетических картинах человеческого поведения. Повествования о военных действиях менее всего удаются Тациту и часто принимают характер несколько однообразной схемы.

Мастерство описания («экфрасы») очень ценилось в риторической школе. Тацит изощряется по преимуществу в описаниях страшного. Такова картина бури на море, застигшей флот Германика (Анналы, I, 70). Охотно описываются пожары: пожар и разграбление Кремоны (История, III, 33), взятие и пожар Капитолия (там же, III, 71 — 73), пожар Рима при Нероне (Анналы, XV, 38). Политические процессы, происходившие в сенате по обвинениям в оскорблении величества, превращаются у Тацита в целые ансамбли с коллективом сената как фоном и противопоставлениями ряда действующих лиц. В картинах Тацита, как указывает русская исследовательница М. Н. Дювернуа[13], «много ансамбля и мало деталей, счастливая группировка частей и смелые краски, сопоставление рядом самых резких противоположностей в мгновенно застывшем движении — словом, вся картина Тацита — сплошное торжество сценического искусства. Его цель всегда — сильный эффект».

Традиции риторической историографии выработали изощренное искусство отступлений, экскурсов с целью дать отдых читателю, развлечь его разнообразным и непривычным материалом. Тацит помещает отступления почти в каждой книге, но редко уходит далеко в сторону от основной канвы своего повествования. В дошедших до нас частях исторических трудов Тацита есть только один значительный экскурс — историко-этнографического характера — об иудеях, в пятой книге «Истории». В прочих случаях автор ограничивается небольшими отступлениями. Он интересуется диковинными явлениями природы (Анналы, VI, 28), экзотическими культами (История, II, 3; IV, 83—84); однако гораздо охотнее Тацит обращается в своих экскурсах к римской старине, излагает свою концепцию римской истории, свои взгляды на задачи историка.

Речи персонажей исторического рассказа принадлежали со времени Фукидида к арсеналу античной историографии. Блестящий оратор, Тацит, разумеется, широко пользуется этим приемом.

---

[13] *Дювернуа М.* Историческая объективность Тацита. Гермес, 1908. № 20. С. 526.

Речи входят в стилистическую ткань античного историографического произведения как органический составной элемент. Они должны составляться поэтому самим автором произведения. Античный историк менее всего стремится цитировать подлинные речи других лиц со свойственной авторам этих речей стилистической установкой. Поэтому Тацит не включает в свои произведения опубликованные речи других авторов, например Сенеки (Анналы, XV, 63). Только по отношению к неопубликованным речам, известным лишь по пересказам и архивным документам, Тацит считает возможным до известной степени использовать их текст в своей переработке. Примером этого может служить уже упоминавшаяся речь императора Клавдия (Анналы, XI, 24). Речи иногда вводятся с целью охарактеризовать говорящего, но часто имеют иную функцию: они служат для выражения авторских мыслей. В качестве примера таких речей мы уже приводили речь Гальбы при усыновлении преемника (История, I, 15 — 16) и речь Цериала перед галлами о пользе римского владычества (История, IV, 73).

Художественная сила повествования Тацита в очень значительной мере основана на том морально-психологическом комментарии, которым все время сопровождается рассказ о действиях лиц или коллективов. Тацит стремится вникнуть в сокровенные мотивы человеческих поступков. Ему все время приходится прибегать к догадкам о том, в чем люди сами не признаются, глухо намекать на возможные причины их действий, высказывать о них предположения. Погружая изображаемое лицо в сферу таких догадок, Тацит создает сложные многоплановые образы.

Характер повествования порождает ряд типических ситуаций: проявления деспотизма, доносы, политические процессы, интриги, заговоры, военные возмущения. Люди живут в постоянной атмосфере страха. Другие душевные движения, о которых говорится у Тацита, чаще всего бывают продиктованы надеждой, ненавистью, завистью, гневом, стыдом. Положительные фигуры историка гораздо схематичнее отрицательных, и их достоинства выявляются часто лишь в момент готовности мужественно принять смерть (например, Сенека).

Персонаж характеризуется своим морально-психологическим обликом, в первую очередь добродетелями и пороками. Этот отвлеченный анализ человеческих качеств был одним из достижений декламационного стиля римской литературы I в. (ср. трагедии Сенеки), и Тацит является одним из искуснейших мастеров этой декламационной характеристики. Историк не избегает даже прямых характеристик, особенно по отношению к второстепенным персонажам. Таков, например, портрет Антония Прима, одного из агентов Веспасиана (История, II, 86). Для основных действующих лиц он предпочитает метод косвенной характеристики, раскрытие морально-психологического облика людей в показе их поступков. Одним из любимых приемов служит здесь сопоставление характеров. Таковы пары — Отон и Вителлий, Веспасиан и Муциан, Тиберий и Германик.

Особенную сложность представляло для античного историка изображение тех деятелей, моральное лицо которых с течением времени менялось, и притом обычно в худшую сторону. Этот вопрос вставал с особенной силой по отношению к двум императорам — Тиберию и Нерону. Сложность изображения была связана с тем, что античность понимала человеческий

характер статичен. По выходе из детских лет человек обычно рассматривался как носитель неких постоянных качеств в их неизменном соотношении. Так строятся античные биографии, так подаются герои в художественной литературе. Однако статичность античного образа иногда вступала в конфликт с действительностью.

Рассмотрим, как разрешает Тацит стоявшую перед ним проблему изменения характера Тиберия. Здесь применены два приема. Один путь состоял в том, чтобы допустить возможность развития личности, хотя бы под влиянием окружающей среды. Раболепство перед властелином порождает у него развитие деспотических черт характера. Эту мысль Тацит вкладывает в уста престарелому сенатору Аррунцию, обвиненному в «нечестии» по отношению к императору (Анналы, VI, 48). Для себя Тацит предпочел другое решение проблемы, очень характерное для античной историографии. «Природа» Тиберия оставалась всю его жизнь неизменной. Те черты низости, жестокости, развращенности, которые характеризовали последние годы жизни этого императора, и составляют его истинную природу. Если они прежде не проявлялись, то это было только притворство, вызванное страхом. Перемены в поведении Тиберия представляют собой этапы выявления подлинных черт личности.

Ни одна часть исторического труда Тацита не вызывала в новое время стольких недоумений и упреков по адресу автора, как книги, посвященные Тиберию. Тацита обвиняли в том, что он, посулив читателю беспристрастное изложение, грубо нарушил свое обещание. Самые факты, о которых Тацит сообщает, могли бы создать гораздо более положительное представление о Тиберии как правителе, если бы автор не сопровождал их своим комментарием, разъясняя это как притворство и обман.

Однако изображение Тиберия у Тацита не продиктовано одной лишь злобной ненавистью. Историк ненавидит деспотизм. Это так. «Сенатская» позиция Тацита заставляла его акцентировать потрясающую картину террористической политики Тиберия по отношению к сенату. Искаженная оценка положительных моментов правления Тиберия явилась результатом неспособности античного историка преодолеть статическое понимание характера. Однажды став на ту точку зрения, что истинная «природа» Тиберия открыто проявилась лишь в последние годы его жизни, Тацит не мог не отнести все эти «положительные» моменты за счет искусного притворства и стал вскрывать его с беспощадной последовательностью. Все повествование о Тиберии, первые шесть книг «Анналов» с первой строчки до последней, пронизаны этой концепцией. В ней художественная сила Тацита. Объективно это было искажением действительности. Но «пристрастия» в этом не было. К тому же есть все основания думать, что портрет Тиберия в сенатской историографии, с концепцией «притворства», был установлен уже предшественниками Тацита. Понимание характера Тиберия у Диона Кассия и Светония мало чем отличается от тацитовского. Некоторые черты этого портрета автор «Анналов» даже смягчает (например, I, 76; IV, 10—11).

Искажение действительности у Тацита часто бывает основано на попытках психологического проникновения в мотивы человеческих действий. Добросовестность историка не подлежит сомнению. Сопоставление его рассказа с повествованием других авторов нередко заставляет современ-

ного исследователя отдать предпочтение изложению Тацита как наиболее правдивому. Однако именно те качества, которые составляют силу Тацита — моралиста, психолога и художника, иногда оказываются связанными с ущербом для его точности как историка.

* * *

В полном соответствии с трагически возвышенным колоритом историографических трудов Тацита находится их исключительно своеобразный стиль. Начатки его мы находили уже в «Агриколе», отмечая там «стремление к необычному, асимметрическому, к семантической полновесности и сжатой выразительности». В больших произведениях все эти моменты значительно усилились и образуют в своем сочетании совершенно новое качество. Историческое истолкование этих стилевых особенностей Тацита представляет немалые трудности, главным образом потому, что мы не знаем его непосредственных предшественников. К традициям Саллюстия присоединились определенные тенденции декламационно-риторического стиля. Как мы знаем, Плиний находил у Тацита «почтенность», торжественное достоинство. По-видимому, Тацит был связан с тем течением в литературе I в., которое стремилось к стилевой «возвышенности» (ср. трактат «О возвышенном»). Свойственная этому направлению установка на монументальность, на соединение патетики с суровой абруптностью действительно характерна для исторических трудов Тацита. «Германия» и «Диалог» стилизованы, как мы уже видели, несколько иначе.

Однако стиль Тацита в различных произведениях зависит не только от жанровой принадлежности. Даже внутри исторических работ мы наблюдаем постоянную стилевую эволюцию. От «Агриколы» к «Истории», от «Истории» к «Анналам» все увеличивается количество необычных слов, архаических форм, непривычных оборотов. От произведения к произведению возрастает семантическая нагрузка лексики. Тацит рассчитывает на вдумчивого читателя; многое остается недосказанным, выраженным только с помощью намека.

Это стремление к субъективному стилю, резко отличающемуся от манеры других писателей, достигает своего кульминационного пункта в первой части «Анналов», в книгах о правлении Тиберия (I — VI). Во второй сохранившейся от «Анналов» группе книг (XI — XVI), особенно в книгах XIII — XVI (время Нерона), тенденция к необычному несколько идет на убыль.

Чем объясняется новый стилистический уклон в последние годы жизни Тацита, неизвестно. Нашел ли автор свои прежние тенденции чрезмерными и захотел приблизиться к обычному языку? Не было ли это, напротив, связано с начавшим распространяться во время Адриана архаическим течением и не пожелал ли Тацит отдифференцировать себя от казавшихся ему уже тривиальными архаизмов?

Этот уклон в сторону смягчения необычного не следует, однако, преувеличивать. В последних книгах «Анналов» Тацит остается тем же мастером глубоко субъективного патетического стиля, оттеняющего безнадежно мрачный тон его исторического повествования.

IV

Плиний Младший сулил историческому труду своего друга бессмертие. «Ты просишь меня описать гибель моего дяди, чтобы ты мог вернее рассказать об этом потомству. Благодарю: его смерть будет прославлена навеки, если люди узнают о ней от тебя» (Письма, VI, 16). «Предсказываю — и мое предсказание не обманывает меня, — что твоя "История" будет бессмертна; тем сильнее я желаю (откровенно сознаюсь) быть включенным в нее» (там же, VII, 33). Письма эти относятся к тому времени, когда «История» только начинала выходить. Это единственные известные нам отклики современников Тацита на его деятельность как историка. После Плиния никто не упоминает о Таците в течение почти целого столетия. От римской литературы II в. сохранилось, правда, не очень много, но вряд ли одним этим обстоятельством можно объяснить отсутствие ссылок на автора «Истории» и «Анналов». Важнее другое: для этого времени Тацит был старомодным писателем.

Историк заканчивал «Анналы» в правление Адриана (117 — 138 гг.). По сравнению с началом II в., когда Тацит отказался от ораторской деятельности в пользу историографии, политическая и культурная обстановка в Риме успела претерпеть значительные изменения. Старая римская аристократия уже почти вымерла. Борьба императоров и сената, историком которой был Тацит, отошла в прошлое. Со времени Адриана империя прекращает завоевательную политику, и греко-восточная часть Римского государства начинает играть все бóльшую роль. В культурной жизни резко усиливаются религиозные моменты, а в литературе начинает преобладать архаистическое течение, для которого классическая литература Рима заканчивается Цицероном и Вергилием; писатели I в., как, например, представители «нового стиля» Сенека и Лукан, вызывают к себе резко отрицательное отношение. Со всех этих точек зрения Тацит должен был представляться автором «не ко времени». Он завершает традиции сенатской историографии I в., акцентирующей деспотизм императоров, поддерживает завоевательную политику, с пренебрежением относится к провинциалам, в особенности к греко-восточным, мало затронут религиозными интересами, а как писатель примыкает к одной из разновидностей «нового стиля». Политическая установка, идеология, стиль — все это у Тацита расходится с тенденциями, получившими преобладание во время Адриана и особенно его преемников — Антонинов.

Исторический труд Тацита не нашел в ближайшие два века продолжателей. Историография высокого стиля в Риме надолго замерла. Продуктивным оказался только жанр биографий цезарей, начатый младшим современником Тацита Светонием, и жанр кратких исторических обзоров («бревиариев»), начало которому положил другой современник Тацита — Флор. Линия старой сенатской историографии на Таците обрывается. Когда, спустя 100 лет после смерти Тацита, сенатор малоазийского происхождения Дион Кассий составляет подробную историю Рима от основания города до своего времени, то он это делает как апологет империи в ее роли оборонительного оплота против варваров. Тацитом он, по-видимому, даже не пользовался, хотя его сведения часто восходят к тем же авторам, которыми пользовался для своих трудов Тацит.

Отрицательно относились к Тациту также представители новой религии — христианства. Причиной являлись уже упоминавшиеся нами враждебные отзывы историка как о самих христианах, так и об иудейской религии. Небылицы, которые Тацит рассказывал об иудеях, будто бы почитающих в своем культе ослиную голову, переносились также и на христиан. Это побудило Тертуллиана (ок. 150 — 230 гг.), зачинателя христианской литературы на латинском языке, охарактеризовать нашего историка — с явным намеком на этимологию его имени Tacitus — «Молчаливый» — как «весьма болтливого лжеца»[14].

Трудный автор, не считавшийся классическим и не изучавшийся в римской школе, Тацит был известен только ученым. Император Клавдий Тацит (275 — 276 гг.), считавший себя потомком историка, принимал будто бы меры к распространению его произведений[15], но правление Тацита было слишком кратковременным (6 месяцев), для того чтобы его распоряжения привели к какому-нибудь результату.

В период поздней империи (IV—V вв.) консервативные круги, стоявшие на позиции старой религии, стремились во многом примкнуть к традиции литературы I в. Движение это не миновало и Тацита. Последний выдающийся историк Рима Аммиан Марцеллин (ок. 330—400 гг.) возобновляет прерванную историографическую традицию и начинает свою «Историю» («Деяния» — «Res gestae») с правления Нервы, примкнув, таким образом, к повествованию Тацита. Знают Тацита также и другие историки IV в. Как можно заключить из приведенного свидетельства Иеронима, исторические труды Тацита издавались как единое целое в тридцати книгах. Христианские писатели начинают чаще ссылаться на Тацита — историк Орозий (начало V в.), поэт и эпистолограф Сидоний Аполлинарий (V в.), хронист Иордан (VI в.). Но даже для такого крупного деятеля, как Кассиодор (VI в.), наш историк — только «некий Корнелий», о котором автор, по-видимому, дальнейших сведений не имеет.

С распадом западной части Римской империи наступает культурное оскудение, и после Иордана следы знакомства с Тацитом теряются вплоть до каролингских времен. В IX в. положение меняется. В Фульдском монастыре Эйнгард, а впоследствии Руодольф знают первые книги «Анналов» и «Германию». К этому времени относится единственная рукопись, сохранившая первые шесть книг «Анналов» (Медицейская I), а также та единственная рукопись малых трудов Тацита, к которой восходит все позднейшее предание. Возможно, что некоторые другие авторы IX—X вв. (Видукинд, Адам Бременский) читали Тацита. Около 1050 г. в аббатстве Монтекассино близ Неаполя была переписана (может быть, из источника, восходящего к той же Фульде) рукопись (Медицейская II), содержащая XI—XVI книги «Анналов» и как продолжение их I—V книги «Истории», занумерованные как книги XVII — XXI. У средневековых писателей XI—XIII вв. непосредственного знакомства с Тацитом обычно нет, его знают только на основании Орозия; однако Петр Диакон из Монтекассино (ок. 1135 г.) использует начало «Агриколы».

В XIV в. Тацит становится более известным. Рукописью из Монтекассино пользовался (между 1331—1334 гг.) Паулин Венетский в «Карте мира»

---

[14] *Tertulliani.* Apologeticus, 16; Ad nationes, I, 11.

[15] Scriptores historiae Augustae. Tacitus, 10.

(«Mappa Mundi»), а затем во многих своих трудах — Боккаччо, в руках которого оказалась самая рукопись. Потом она стала распространяться в ряде копий, попала к известному флорентийскому гуманисту Никколо Никколи, а ныне находится в той же Флоренции в Медицейской библиотеке (Медицейская II). Наша традиция последних книг «Анналов» и «Истории» восходит в основном к этой рукописи. Только одна итальянская рукопись 1475 г., находящаяся ныне в Лейдене, имела, по-видимому, еще какой-то другой источник.

С 20-х годов XV в. итальянские гуманисты начинают разыскивать рукописи Тацита в Германии. История этих поисков во многом остается неясной из-за того, что обладатели новонайденных текстов нередко утаивали свои приобретения, особенно если они сделаны были нечестным путем. В 1425 г. известный гуманист, папский секретарь Поджо Браччолини получил от монаха из Герсфельдского аббатства инвентарную опись ряда рукописей, в числе которых находилась рукопись малых трудов Тацита. Откуда была эта рукопись — из Герсфельда или из Фульды, — получил ли ее Поджо и когда именно, до конца не выяснено. В 1455 г. она, или копия ее, уже находилась в Риме и легла в основу дошедших до нас рукописей.

Однако гуманисты XV в. интересовались Тацитом лишь постольку, поскольку дорожили каждым античным автором. При характерной для них ориентации на Цицерона и классическую латынь его времени Тацит и его стиль не могли вызывать особенного внимания. Поэтому Тацит и не попал в число первых напечатанных авторов. Первое печатное издание Тацита вышло в Венеции около 1470 г. Оно содержало «Анналы» (XI — XVI) с книгами «Истории» как их продолжением, «Германию» и «Диалог». «Агрикола» был присоединен лишь во втором печатном издании (ок. 1476 г.). Первая часть «Анналов» еще не была известна.

В начале XVI в. рукопись, содержавшая первые шесть книг «Анналов» (Медицейская I), какими-то, точно еще не раскрытыми путями попала в Рим. В 1515 г. библиотекарь Ватикана Бероальд впервые издал Тацита в том объеме, в каком его произведения остаются известными и поныне. С этого времени и начинается культурная рецепция Тацита в Новой Европе — издания, переводы, комментарии, монографии о Таците.

Как это имело место с каждым античным автором, текст Тацита нуждался в филологической обработке. В этом отношении много было сделано еще в XVI в. Для изучения Тацита сыграло большую роль критическое издание известного нидерландского филолога Юста Липсия (Антверпен, 1574), снабженное обширным комментарием. Липсий впервые отделил «Историю» от «Анналов», с которыми она издавалась как единое произведение, установил границу V и VI книги «Анналов», равно как и лакуну между ними. «Диалог об ораторах» Липсий признал не принадлежащим Тациту из-за стилистической разницы между «Диалогом» и другими произведениями историка. Авторитет, которым пользовался Липсий как толкователь Тацита вплоть до XIX в., надолго определил отношение исследователей к «Диалогу».

Филологический интерес к Тациту диктовался также и переменой литературных вкусов, наступившей в XVI — XVII вв. «Классицизм» эпохи Возрождения сменился художественными тенденциями «барокко». Отразилось это и на новолатинской литературе. Образцы латинского стиля пере-

менились. Представители риторически-декламационной литературы I в. оказались более созвучными новым художественным веяниям, чем «классическая» латынь. Основным теоретиком стиля оказался уже не Цицерон, а Квинтилиан. Тацит с его возвышенной патетикой, гиперболизмом и асимметрией сделался одним из любимейших писателей. Упомянутый уже Липсий выступал как последователь Тацита в отношении латинского стиля.

Однако основное значение Тацита для XVI — XVII вв. заключалось в тех политических уроках, которые можно было вывести из его произведений. Это было время роста европейского абсолютизма, создававшего для себя идеологическое обоснование, морально-политическую и юридическую теорию. В основе этой теории лежал принцип государственного интереса, противостоявший сепаратистским тенденциям феодализма и авторитарности церкви. В произведениях Тацита, историка Римской империи, идеологи и практические деятели абсолютных монархий могли найти целую сокровищницу исторического опыта и политической мудрости. Особенно много материала давали им «Анналы», и в частности первые книги «Анналов» — рассказ о правлении Тиберия. Из всех императоров, изображенных Тацитом, Тиберий являл наиболее законченный тип абсолютного монарха — проницательного, целеустремленного в отличие от придурковатого Клавдия или легкомысленного Нерона. Уже Бероальд, издание которого ознакомило читателей с первыми книгами «Анналов», подчеркивал интерес этого писателя для государей. «Я всегда считал Корнелия Тацита великим писателем, весьма полезным не только для частных лиц и высокопоставленных особ, но и для самих государей и даже императоров»[16].

Тацит действительно рассматривался в XVI — XVII вв. как наставник государей, равно как и всех тех, кому приходится иметь дело с государями. Это породило в большинстве стран Европы, особенно в Италии, Испании и Франции, но также в Германии, Голландии и Англии, целую отрасль политической литературы, так называемый «тацитизм». В форме ли систематических трактатов или отдельных наблюдений, афоризмов, заметок к Тациту, и с самой разнообразной политической интерпретацией — одни за монархию, другие за аристократическую республику, — эти писатели обосновывали свои взгляды материалами, заимствованными у Тацита. Ориентация на Тацита была вызвана еще одним добавочным обстоятельством. Самым выдающимся и влиятельным теоретиком абсолютизма был, как известно, в начале XVI в. Макиавелли. Основные его теоретические произведения «Государь» (1513 г.) и «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия» (1516 г.) были написаны еще до знакомства с первой частью «Анналов». В своих трудах он редко ссылается на Тацита и предпочитает ему Ливия. Между тем книги Макиавелли были осуждены католической церковью на Тридентском соборе, и сам автор был посмертно сожжен in effigie (в виде чучела). В католических странах на него нельзя было ссылаться. В этих условиях «тацитизм» зачастую становился маской для запрещенного макиавеллизма. Выдающихся политических мыслителей, однако, среди «тацитистов» не было. Это реакционные писатели, с полным основанием забытые потомками. Политические тенденции самого Тацита при этом совершенно искажались. Даже персонажи вроде Сеяна, которых Тацит изображает с

---

[16] *Beroald Ph.* Epist. ad Leonem X (напечатано перед его изданием Тацита)

ненавистью и презрением, иногда выступают у раболепных «тацитистов» как положительные образцы поведения царедворцев.

Несколько особый характер имела рецепция Тацита у немецких гуманистов. XVI век, период Реформации, борьбы с феодализмом и Римско-католической церковью, являлся для Германии временем роста национального самосознания. Сочинения Тацита, в первую очередь, конечно, «Германия», но также и «Анналы», внушали немцам убеждение о том, что их предки являлись исконными поселенцами германской территории, всегда были свободны, храбры и отличались высокими нравственными качествами. Национальным героем Германии становится Арминий, вождь херусков, уничтоживший три римских легиона в Тевтобургском лесу (9 г.). Культ Арминия, провозглашенный известным немецким гуманистом и политическим деятелем начала XVI в. Ульрихом фон Гуттеном, основан был на сообщениях Тацита и недавно открытого Беатом Ренаном (Бильдом из Рейнау) Веллея Патеркула. Тот же Беат Ренан положил начало филологическому изучению «Германии» комментированным изданием этого трактата (Базель, 1519).

Интерес в XVII в. к Тациту оставил значительные следы также и в художественной литературе, особенно во французской. Столкновение государственных интересов и личных чувств было одной из основных тем трагедии французского классицизма, и свыше десяти трагедий (или трагикомедий) XVII в. были почерпнуты из Тацита. Наиболее значительные из них — «Смерть Агриппины» Сирано де Бержерака (1654), «Отон» Корнеля (1664 г.) и «Британик» Расина (1669 г.). Во втором предисловии к «Британику» Расин называл Тацита «величайшим живописцем древности».

Абсолютистское толкование Тацита, характерное для XVI—XVII вв., сменилось в XVIII в. диаметрально противоположной интерпретацией. «Тацитисты» могли опираться на отдельные высказывания историка о неизбежности монархического режима, но самое изображение императоров и общественной жизни Рима указывало на совершенно иное направление политических симпатий автора. Первым провозвестником нового, антиабсолютистского толкования Тацита был ирландец Томас Гордон (1684—1750 гг.), опубликовавший английский перевод Тацита и трактат «Историко-политические рассуждения о книгах Тацита». Оно нашло живой отклик во Франции в предреволюционную эпоху, и авторитет французских просветителей (Руссо, Дидро, Даламбер, Мабли и др.) широко распространил его по Европе. Тацит теперь понимается как разоблачитель монархов, враг деспотизма и друг республиканской свободы. Это последнее тоже было преувеличением. Сторонники революционного толкования Тацита либо не обращали внимания на враждебное отношение римского историка к народным массам, либо — если они выступали за революцию сверху — соглашались с его взглядами. Так же относились к Тациту писатели и критики. Альфиери, ненавидевший тиранию, усердно изучал Тацита и сурово осудил Нерона в трагедии «Октавия» (1780 г.). Для такого критика, как Лагарп, кодифицировавшего в трактате «Лицей» литературные оценки, свойственные классицизму XVIII в., труды Тацита, правдиво изображающие деспотизм и раболепие, являются возмездием тиранам. Мари Жозеф Шенье называет Тацита олицетворением «совести рода человеческого», а его труды — «трибуналом для угнетенных и угнетателей». «Имя Тацита заставляет тиранов бледнеть».

Наряду с высоко положительной оценкой Тацита как историка и политического мыслителя раздавались как в XVI—XVII вв., так и в XVIII в. другие голоса. Восходящая еще к гуманистам XV в. формально-стилистическая критика его литературной манеры с позиций цицеронианизма находила приверженцев и впоследствии. Тацита упрекали в аффектации, неестественности как со стороны стиля, так и в отношении содержания. Историк, всегда толкующий слова и поступки в худшую сторону, казался даже опасным автором. С большим сомнением относился к сообщениям Тацита Вольтер, считая его образы Тиберия и Нерона преувеличенными. Когда созданная революцией французская республика сменилась империей Наполеона, сам император открыл литературную кампанию против Тацита, поручив напечатать в «Journal des Debats» (11 и 21 февраля 1806 г.) две официозные статьи по этому поводу. Наполеону Тацит представлялся недовольным сенатором, «аристократом» и «философом», который в своем отсталом консерватизме не понял значения империи и клеветал на императоров. Свое мнение он неоднократно высказывал в разговорах с учеными, литераторами, требовал исключения Тацита из школьного курса, даже обрушивался репрессиями на писателей, восхвалявших автора «Анналов», — Шатобриана, М. Шенье.

В России революционное толкование Тацита воодушевляло декабристов. Им восхищались А. Бестужев, Н. Муравьев, Н. Тургенев, М. Лунин, М. Фонвизин и др.[17]. А. Бригген на следствии приписывал свой свободный образ мыслей чтению Тацита[18]. Для Ф. Глинки это был «великий Тацит». Корнилович называл его «красноречивейшим историком своего и едва ли не всех последующих веков, глубокомысленным философом, политиком»[19]. А. Корнилович и Д. Завалишин переводили его сочинения.

Пушкин в 1825 г., задумав «Бориса Годунова», стал изучать «Анналы». В своих «Замечаниях на "Анналы" Тацита» он вполне поддерживает декабристское толкование трудов римского историка. Но в то же время Пушкин в ряде метких суждений раскрывает преувеличенный характер обвинений Тацита по адресу Тиберия.

Увлекался Тацитом Герцен. Он рассказывает, как во время своей владимирской ссылки, в сентябре 1838 г., он искал книгу для чтения. «Мне попалась наконец такая, которая поглотила меня до глубокой ночи — то был Тацит. Задыхаясь, с холодным потом на челе, читал я страшную повесть». Пользуясь рассказом Тацита о заговоре Пизона, он создал диалогический набросок, условно озаглавливаемый в изданиях «Из римских сцен»[20]. «Мне кажется, что из всех римлян писавших один Тацит необъятно велик», — сообщает он Н. И. Астрахову 14 января 1859 г.[21] Также и в более зрелые годы Герцен вспоминает о «мрачной горести Тацита»[22], о «мужественной, укоряющей, тацитовской» печали[23].

---

[17] *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. С. 178—179.
[18] Там же. С. 191.
[19] *Корнилович А. О.* Сочинения и письма. М.; Л., 1957. С. 293.
[20] *Герцен А. И.* Собр. соч. М., 1954. Т. I. С. 183—195.
[21] Там же. 1961. Т. XXII. С. 10.
[22] Там же. 1955. Т. VI. С. 338, — одна из редакций «Перед грозой»
[23] Там же. 1957. Т. XI. С. 68, — «Былое и думы».

Маркс и Энгельс были отлично знакомы с произведениями Тацита и неоднократно ссылались на «Германию». Маркс ценил «Германию» как важнейшее историческое свидетельство о германской земледельческой общине[24]. Постоянные ссылки на Тацита мы находим в трудах Энгельса о древних германцах («Марка», «К истории древних германцев», «Франкский диалект») и о первоначальном христианстве («Бруно Бауэр и первоначальное христианство», «К истории первобытного христианства»). Широко пользуется Энгельс «Германией» в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», где он ставит сообщения Тацита о семье, общине и военном строе германцев в широкую рамку этнографических материалов для истории первобытного общества. Место Тацита в истории римской общественной мысли Энгельс определяет в одной сжатой фразе, — и тем не менее с исчерпывающей полнотой, — характеризуя эпоху империи: «Немногие остававшиеся еще в живых староримляне патрицианского склада и образа мыслей были устранены или вымирали; последним из них является Тацит»[25].

Для того чтобы правильно оценить это высказывание, надо учесть ту симпатию, с какой Маркс и Энгельс относились к ранним периодам античного общества, экономической основой которых было мелкое крестьянское хозяйство и независимое ремесленное производство — до широкого развития рабства. Это время Маркс считал «наиболее цветущей порой» существования классического общества[26]. Поэтому Маркс и мог писать о «классически строгих традициях римской республики»[27]. Отблески этих традиций Энгельс, таким образом, находит у Тацита, хотя и подчеркивает его аристократическую («патрицианскую») ограниченность.

Между тем с начала XIX в. отношение буржуазии к античному миру изменилось. Переставшая быть революционным классом буржуазия начала ценить в античной культуре не те стороны, которые казались привлекательными в XVIII в. На общественную арену выступил новый революционный класс — пролетариат, ставивший перед собой такие задачи, которых не знала древность. Буржуазная революция могла сначала рядиться в античную маску; в 1848 г. это было уже невозможно. Классицизм не мог больше служить опорой для прогрессивных движений. Историческое понимание античного мира очень часто выигрывало оттого, что XIX век отказывался от многих модернизаций, искажавших действительные взаимоотношения рабовладельческих обществ. Но Тацит при этом потерял. Обличитель деспотизма уже редко вызывал симпатии западноевропейской буржуазии, особенно после 1848 г. Цезаризм Наполеона III, а затем создание германской империи сыграли здесь значительную роль. Наполеон III продолжал враждебную Тациту традицию Наполеона I. Бонапартист Дюбуа-Гюшан, прокурор по занимаемой должности, в двухтомной моно-

---

[24] *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Соч. М., 1964. Т. XXXII. С. 44, — письмо к Энгельсу от 25 марта 1868 г.; М., 1961. Т. XIX. С. 417, — третий набросок ответа на письмо В. И. Засулич.

[25] Там же. 1961. Т. XIX. С. 311, — «Бруно Бауэр и первоначальное христианство».

[26] Там же. 1960. Т. XXIII. С. 346, примеч. 24, — «Капитал», т. I.

[27] Там же. 1957. Т. VIII. С. 120. — «18 Брюмера Луи Бонапарта».

графии опровергал «клевету» Тацита на римских императоров. Но и более серьезные историки, как Амедей Тьерри во Франции, Меривель в Англии, стремились доказать, что Римская империя была прогрессивным явлением по сравнению с республикой. Немецкие историки наперебой стали заниматься апологией Тиберия и даже Нерона, т. е. тех императоров, которых Тацит заклеймил в своем повествовании. Суждения римского историка казались тенденциозными, продиктованными узкоаристократической точкой зрения. К тому же внимательное сличение Тацита с прочими историками империи показало, что он далеко не всегда оригинален и следует определенной традиции сенатской историографии. Отношение к Тациту как к историку и моралисту стало у многих исследователей резко отрицательным. Оставался только Тацит — художник, мастер повествования. Ф. Лео, крупнейший историк римской литературы на рубеже XIX и XX вв., подвел итоги этому направлению в изучении Тацита. Тацит не самостоятелен, он не исследователь, его целью не является истина, но он был поэтом, «одним из немногих великих поэтов римского народа»[28].

Более «умеренную» позицию по отношению к Тациту занимал в это время известный французский историк римской культуры Буассье, тоже один из апологетов Римской империи. Он рассматривает Тацита как деятеля, примирившегося с империей, но не сумевшего преодолеть предрассудки своего аристократического окружения, как правдивого писателя, но склонного к аффектированному изложению в духе современной ему риторики

В царской России, с ее деспотическим самодержавием, эти оценки Тацита, ставшие модными на Западе, очень редко находили отклик. В роли апологета Римской империи и критика Тацита выступил украинский буржуазный историк М. П. Драгоманов. Гораздо более прогрессивные взгляды высказывал В. И. Модестов (1839 — 1907 гг.), близкий в свое время к «Земле и воле» Н. Г. Чернышевского. Его монография «Тацит и его сочинения» (СПб., 1864), отделенная от нас уже более, чем столетием, содержит много верных и отнюдь не устаревших суждений о морально-политическом облике Тацита и его историческом беспристрастии. Большой заслугой автора является также его перевод произведений Тацита: «Сочинения Корнелия Тацита. Русский перевод с примечаниями и со статьей о Таците и его сочинениях В. И. Модестова. Т. I. Агрикола. Германия. Истории». СПб., 1886. «Т. II. Летопись. Разговор об ораторах». СПб., 1887. Перевод этот в течение 80 лет оставался единственным полным собранием трудов Тацита на русском языке и ныне заменяется новым переводом в нашем издании. Традиции В. И. Модестова продолжал в своих работах о Таците либеральный историк И. М. Гревс (1860 — 1941 гг.).

В XX в., со времени Первой мировой войны и Октябрьской революции, интерес к Тациту за рубежом повысился. Тревога за будущие судьбы капиталистического общества, охватившая многих представителей буржуазного мира, сделала их более восприимчивыми к проблематике последнего из великих римских историков. Современные исследователи уже не рассматривают его только как художника и стараются глубже проникнуть в его мировоззрение как моралиста и политического мыслителя. Много спорят

[28] *Leo F.* Tacitus. Göttingen, 1896. S. 13.

о том, исходя из какого «центра» лучше всего постигнуть мысли Тацита[29]. Однако воинствующий идеализм, характерный для многих этих исследователей (Клингнер, Бюхнер и др.), побуждает их искать этот «центр» в отвлеченных идеях (например, в идее «добродетели»), менее всего характерных для отнюдь не склонного к философствованию римского историка. Отечественные историки еще не сделали Тацита предметом развернутого монографического исследования. В сокровищнице мировой литературы произведения Тацита занимают выдающееся место и полностью сохраняют свое познавательное и художественное значение для российского читателя.

И. Тронский

---

[29] Обзор новейших работ о Таците см. в статье: *М. Л. Гаспаров.* Новая зарубежная литература о Таците и Светонии. ВДИ, 1964. № 1. С. 176—191.

КОММЕНТАРИИ*

Перевод произведений Тацита выполнен по следующим изданиям:

«Анналы»: Cornelii Taciti Annalium ab excessu divi Augusti libri. Oxonii, 1917, P. Cornelius Tacitus, erklärt von K. Nipperdey. Berlin, 1904 и P. Cornelii Taciti libri qui supersunt, t. I. Lipsiae, 1962;

«Жизнеописание Агриколы», «О происхождении германцев и местоположении Германии», «Диалог об ораторах»: P. Cornelii Taciti libri qui supersunt, t. II. Lipsiae, 1962.

Имена собственные, географические и этнические названия в комментариях, как правило, не поясняются; сведения о них см. в Аннотированном указателе имен, географических и этнических названий настоящего издания Тацита.

АННАЛЫ

Книга первая

Введение и события 14—15 гг.

[1] Согласно установившейся в древности традиции, Рим был основан, в переводе на наше летосчисление, в 754—753 гг. до н. э. Та же традиция рассказывает о 7 римских царях, правивших до установления в Риме республиканского строя, — Ромуле, основателе города, Нуме Помпилии, Тулле Гостилии, Анке Марции, Тарквинии Древнем, Сервии Туллии и Тарквинии Гордом.

[2] В случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств сенат мог повелеть консулу назначить кого-либо диктатором. С назначением диктатора как бы восстанавливалась прежняя царская власть, но на короткий срок (6 месяцев).

[3] В 451 г. до н. э. под давлением простого народа в Риме была избрана комиссия десяти с задачей сформулировать в виде законов нормы обычного права; члены этой комиссии получили название *децемвиров* (decemviri legibus scribundis, что означает: 10 мужей для записи законов). Децемвиры были наделены чрезвычайной властью: во время их деятельности не изби-

---

* Комментарии к «Анналам», «Жизнеописанию Юлия Агриколы», «О происхождении германцев и местоположении Германии» и «Диалогу об ораторах» сост. А. С. Бобович. Комментарии к «Истории» сост. Е. П. Ореханова.

рались ни консулы, ни народные трибуны. Плодом их работы явились Законы двенадцати таблиц. Несмотря на ограничение 2 годами срока пребывания у власти, децемвиры удержали ее за собой и на третий год (449 г. до н. э.), в связи с чем римская историческая традиция считала их узурпаторами.

[4] В период с 444 по 367 г. до н. э. вместо консулов в Риме избирались военные трибуны с консульскими полномочиями (сначала 3, потом 8).

[5] С 31 г. до н. э. Октавиан на каждый год избирался консулом; в 29 г. до н. э. он получил цензорские полномочия, на основании которых в 29—28 гг. до н. э. составил новый список сенаторов. В нем его имя стояло первым, откуда и его титул Princeps senatus (первый в сенате). В 27 г. до н. э. Октавиан сложил с себя чрезвычайные полномочия, но уже спустя несколько дней получил их наново и, кроме того, прозвание Августа. Не желая подчеркивать самодержавный характер своего правления, он именовал себя принцепсом; с Августа слово «принцепс» приобретает ранее не свойственное ему значение «самодержец», «государь».

[6] Т. е. в 42 г. до н. э.

[7] В 36 г. до н. э., в битвах при Милах и Навлохе.

[8] Вызванный со своим войском для борьбы с Секстом Помпеем *Лепид* после разгрома Помпея в 36 г. до н. э. сделал попытку захватить Сицилию, но был нейтрализован Октавианом.

[9] *Антоний* покончил самоубийством в 30 г. до н. э.

[10] *Юлианской партией* Тацит называет партию сторонников Юлия Цезаря, вступивших после его убийства в длительную борьбу с республиканцами.

[11] Октавиан получил пожизненную трибунскую власть (т. е. был провозглашен народным трибуном) еще в 36 г. до н. э., после победы над Секстом Помпеем; с 23 г. до н. э. трибунская власть стала обозначаться и в его титулатуре.

[12] *Проскрипциями* назывались как списки лиц, объявленных в силу тех или иных политических причин вне закона, так и их физическое уничтожение. Впервые прибег к проскрипциям Сулла. В результате проскрипции 43 г. до н. э. было умерщвлено, согласно свидетельствам древних авторов, 300 сенаторов и 2000 всадников, не говоря уже о массовых убийствах, которыми сопровождались проскрипции.

[13] Коллегия верховных жрецов (вначале из 4, потом 8 и наконец из 15 членов) ведала всеми вопросами религиозного культа.

[14] *Эдилы* ведали устройством зрелищ, городским благоустройством, наблюдали за состоянием общественных зданий, осуществляли полицейский надзор. С 493 г. до н. э. в г. Риме было 2 народных эдила (aediles plebis), в 367 г. до н. э. прибавилось еще 2 курульных эдила (aediles curules), в 46 г. до н. э. — еще 2, обеспечивавших продовольственное снабжение города (aediles cereales). На курульных эдилов возлагался главным образом полицейский надзор. Курульными они назывались из-за того, что им, наравне с консулами и преторами, была присвоена привилегия отправлять свои обязанности сидя в особом, выложенном слоновой костью или, позднее, мрамором, а также металлическом складном кресле (sella curulis).

[15] *Агриппа* занимал должность консула в 28 и 27 гг. до н. э.

[16] Т. е. будущего императора Тиберия и его младшего брата полководца Друза Старшего.

[17] Со времени Октавиана, внучатого племянника и приемного сына Юлия Цезаря, римские императоры называли себя и своих сыновей (преимущественно наследников) Цезарями. Таким образом, наименование одной из ветвей рода Юлиев превратилось в конце концов в титул.

[18] Тогу *претексту* носили мальчики свободных сословий до шестнадцатилетнего возраста.

[19] *Глава молодежи* (Princeps iuventutis) — первый в списке всадников; в императорскую эпоху главами молодежи были сыновья императора, наследники престола.

[20] В «Списке деяний» Августа, найденном в Анкире (нынешняя Анкара в Турции), сообщается о том, что «сенат и римский народ назначили их [Гая и Луция] консулами, когда им пошел пятнадцатый год, с тем чтобы они вступили в должность по миновании пяти лет» (Анкирский памятник, II, 46).

[21] Друз Младший.

[22] *Битва при Акции* произошла в 31 г. до н. э.; *гражданские войны* — после убийства Юлия Цезаря (44 г. до н. э.). Таким образом, характеризуя состояние Римского государства при Августе, Тацит имеет в виду последние годы его правления.

[23] Ко двору принцепса *Тиберий* попал на девятом году от роду, после смерти своего отца (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 6); консулом в первый раз он был в 29 г., во второй — в 13 г., в третий — в 7 г. до н. э. До своего удаления на остров Родос он дважды справлял триумф, в 9 и 7 гг. до н. э.

[24] Тиберий жил на Родосе с 6 г. до н. э. по 2 г. Официально он не был отправлен в изгнание, но фактически его пребывание на Родосе представляло собой ссылку, и на его просьбу разрешить ему возвратиться в Рим Август ответил отказом. О пребывании Тиберия на Родосе см.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 11 — 13.

[25] Т. е. сыну Тиберия Друзу и племяннику и приемному сыну Тиберия Германику.

[26] *Преторианская когорта* — первоначально отряд лучших воинов, состоявших при полководце и несших его охрану. Август сформировал 9 когорт численностью по 1000 человек каждая, которым присвоил то же название. При нем 3 когорты, являясь императорской гвардией, имели постоянное местопребывание в Риме. В дальнейшем количество преторианских когорт увеличилось и преторианцы стали играть большую роль в политической жизни Рима, возводя или свергая по своей воле императоров.

[27] Т. е. в сенат.

[28] Т. е. весталками, жрицами богини Весты; при ее храме их было 6; взятые в храм в возрасте 6—10 лет, они были обязаны в течение 30 лет соблюдать обет безбрачия, после чего возвращались к частной жизни и могли вступать в брак. Важные документы и деньги обычно сдавались на хранение в храмы, в Риме — в храм Весте.

[29] Ливия принадлежала к роду Ливиев (ее отец — Ливий Друз); чтобы она вошла в род Юлиев, к которому принадлежал усыновленный Юлием Цезарем Август, требовалось ее удочерение Августом, что и было сделано им в завещании, составленном за 1 год и 4 месяца до смерти.

[30] Иначе говоря, в случае смерти Тиберия и Ливии права наследования переходили к внукам и правнукам, а в случае их смерти — к названным Августом в завещании наиболее знатным гражданам.

[31] Сестерций — римская серебряная монета, равная 4 ассам; в переводе на золото стоимость сестерция — приблизительно 5—6 копеек.

[32] Августом были сформированы 3 когорты городской стражи, предназначенные для несения полицейской службы в г. Риме.

[33] Когорты римских граждан — отдельные войсковые подразделения, не сведенные в легионы; в императорскую эпоху их насчитывалось, по имеющимся данным, свыше 30.

[34] После сожжения трупа Юлия Цезаря возбужденная толпа направилась разрушать дома заговорщиков — убийц Цезаря; с большим трудом удалось предотвратить погром и пожары.

[35] Август умер 19 августа 14 г. н. э., впервые был избран консулом 19 августа 43 г. до н. э. (см.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Август, 100); другие античные авторы сопоставляли дату его смерти с датой битвы при Акции или с датой присвоения ему титула Августа.

[36] Август был консулом 13 раз, Валерий Корв — 6, Гай Марий — 7 раз.

[37] Здесь имеется в виду почетный титул, присуждаемый войском своему военачальнику.

[38] Т. е. к войне против республиканцев во главе с Брутом и Кассием, после убийства Юлия Цезаря.

[39] По настоянию Антония был проскрибирован и Цицерон, убитый 7 декабря 43 г. до н. э.

[40] *Этот* — Лепид, *тот* — Антоний.

[41] Т. е. находящимися в отдаленных от Рима землях.

[42] В 44 г. Август переманил к себе на службу IV (Скифский) и XIV (Марсов) легионы, находившиеся ранее в подчинении у Антония.

[43] Соглашение в Брундизии было заключено в 40 г. до н. э., соглашение в Таренте — в 37 г.; Антоний женился на сестре Октавиана Октавии вскоре после соглашения в Брундизии.

[44] Это произошло в 38 г. до н. э.; Ливии было тогда 19 лет.

[45] В этом месте рукопись не дает достоверного чтения; наш перевод исходит из предположительного чтения этого места некоторыми издателями.

[46] О Ведии Поллионе многие античные авторы сообщают, что он кормил рыб в своих садках живыми рабами.

[47] Официальное обожествление Августа, как видно из дальнейшего, состоялось только после его смерти. Но с 29 г. до н. э. он разрешил возводить храмы (правда, с обязательным двойным посвящением, а именно — ему и Роме, богине-покровительнице г. Рима), и в таких храмах, построенных как частными лицами, так и общинами (особенно в провинции), ему воздавались божеские почести. *Жрец* — родовое название всякого священнослужителя; *фламин* — жрец определенного божества, в данном случае, очевидно, Августа.

[48] В 9 г.

[49] Об этой *памятной записке* сообщает и Светоний (Жизнь двенадцати цезарей. Август, 101).

[50] Речь идет о *постановлении консулов*, которым Тиберию препоручался

принципат и на которое Тиберий, располагая трибунской властью, мог наложить запрет.

[51] Ливия, после смерти Августа принятая в род Юлиев, именовалась порой, как в этом случае, *Юлией*, хотя обычно ее называли Августой.

[52] Т. е. жертвенник в память ее удочерения по завещанию Августа.

[53] Проконсул — наместник сенатской провинции.

[54] *Трибы* — подразделения населения г. Рима, объединяемые сначала по родовому признаку, впоследствии по территориальному.

[55] 4 кандидатов в преторы из 12 подлежащих избранию.

[56] Т. е. были бы внесены в государственный календарь и тем самым узаконены раз навсегда.

[57] *Триумфальная одежда* состояла из расшитой тоги, вышитой узором пальмовых ветвей туники и т. д.

[58] Приезжать в цирк или театр на колесницах разрешалось лишь преторам, и притом только в тех случаях, когда им поручалось устройство зрелищ.

[59] А именно: VIII (Августов), IX (Испанский) и XV (Аполлонов).

[60] *Вексилларии* — отслужившие срок (20 лет) воины, до фактического ухода из армии освобождаемые от работ в лагере, но обязанные сражаться с врагами в случае нападения.

[61] *Денарий* был равен 16 ассам.

[62] Увольняемые в отставку ветераны награждались земельными наделами, но так как эти наделы, как указано выше, часто не имели никакой реальной ценности, Перцений выдвинул требование о выдаче ветеранам денежного вознаграждения.

[63] Каждый легион имел своего орла; каждая когорта (а в легионе их было 10) по 3 значка (когорта подразделялась на 3 манипула, манипул состоял из 2 центурий).

[64] Насыпь, возвышение.

[65] *Муниципий* — город, пользовавшийся самоуправлением, жителям муниципия были присвоены права римских граждан.

[66] В обязанности *префекта лагеря* входил надзор за возведением лагерных укреплений и поддержанием их в исправности, а также за обозом, лагерным лазаретом и т. д., иными словами, за хозяйственными и тыловыми подразделениями.

[67] Т. е. римскими легионами, размещенными в Верхней и Нижней Германии, о восстании которых см. гл. 31 и сл.

[68] Таким образом, воины требовали сокращения срока службы с 20 до 16 лет.

[69] Т. е. Луна — богиня луны, дочь Латоны (римская мифология).

[70] Их было 8, тогда как паннонских только 3. В Нижнем войске I (Германский), V (Жаворонки), XX (Валериев Победоносный) и XXI (Стремительный); в Верхнем II (Августов), XIII (Сдвоенный), XIV (Сдвоенный Марсов Победоносный) и XVI (Галльский).

[71] Эта армия называлась германской, так как ее назначение было вести военные действия против германцев; прозвище Германик (Germanicus — «германский») было присвоено к тому времени брату Тиберия Друзу Старшему и его сыну Юлию Цезарю, обычно именуемому просто Германиком.

[72] В *легионе* было 60 центурий и, стало быть, столько же *центурионов*.

[73] Т. е. Тиберия и Августы.

[74] Caligula по-латыни — «сапожок».

[75] По рассказу Светония (Жизнь двенадцати цезарей. Юлий, 70), Цезарь начал свое выступление перед взбунтовавшимся X легионом, не желавшим отправиться вместе с ним в Африку, с обращения — «квириты!» (т. е. «граждане!») вместо обычного — «воины!».

[76] В 30 г. до н. э. в Брундизии, когда взбунтовались ветераны, требовавшие увольнения и наград.

[77] После поражения Вара I легион был наново сформирован и отправлен на Рейн под началом Тиберия, где он и выдал ему значки.

[78] Т. е. Тиберию, усыновившему Германика по желанию Августа в 4 г. до н. э.

[79] Т. е. главнокомандующим; для этой поры за словом «император» еще не закрепилось значение самодержавного властителя.

[80] *Милиарий* — столб с указанием расстояния от того или иного пункта в тысячах двойных шагов, откуда и название меры длины — миля; таким образом, зимние лагеря V и XXI легионов отстояли от местопребывания Германика (города убиев, в будущем Кёльна) на расстоянии 60 римских миль.

[81] *Старые лагеря* (Vetera castra) находились близ нынешнего Ксантена на берегу Рейна.

[82] Т. е. на правый (германский) берег Рейна.

[83] Во время похода в Германию в 11—10 гг. до н. э.

[84] Помимо Регия у Мессинского залива (ныне Реджо), был еще один Регий — в Циспаданской Галлии на Эмилиевой дороге (ныне Реджо д'Эмилиа), чем и объясняется уточнение Тацита.

[85] Юлия Старшая пребывала в ссылке 16 лет (со 2 г. до н. э. по день смерти, последовавшей в 14 г.).

[86] *Августалы* — жреческая коллегия, созданная Тиберием для отправления и поддержания культа обожествленного после смерти Августа.

[87] В «Истории» (II, 95) Тацит говорит о том, что *коллегия тициев* была создана Ромулом; версия о создании этой коллегии Титом Татием приводится у Варрона Реатинского (О латинской речи, V, 85).

[88] Это восстание под предводительством Арминия произошло в 9 г. Арминий ранее служил в римском войске, получил от Августа римское гражданство и был возведен во всадническое достоинство; пользуясь полным доверием Вара, он тайно подготовил восстание и нанес римлянам тяжелое поражение, в результате которого римляне лишились плодов своих предшествующих успехов.

[89] В городе убиев (в последующем Colonia Agrippina — ныне Кёльн) существовал храм в честь Августа; Сегимунд, имея римское гражданство, как и его отец Сегест, был назначен жрецом при этом храме.

[90] Рассказ о судьбе сына Арминия был приведен Тацитом в не дошедших до нас книгах «Анналов»: по сообщению Страбона (VII, 1), этого сына Арминия звали Тумеликом.

[91] Речь идет о поражении, нанесенном Арминием Вару.

[92] Т. е. на левом (галльском) берегу Рейна.

[93] Т. е. Августа, которого Арминий не желал признавать богом.

[94] К 5 г. римляне, как им казалось, прочно закрепили за собой территорию между Рейном и Эльбой и создали на ней провинцию Германия. Вос-

стание Арминия лишило их господства на этой территории. *Розги, секиры* и *тога* — символы римской власти (как военной, так и гражданской).

[95] Германику во время летнего похода 15 г. было неполных 30 лет.

[96] Т. е. римским поселениям на правом берегу Рейна на территории германцев.

[97] Римский лагерь строился по определенному, раз навсегда установленному плану: у палатки командующего оставалось свободное пространство — главная лагерная площадь, на котором полководец собирал воинов на сходку; таким образом, размеры этой площади косвенным образом указывают на численность собранных в лагере войск.

[98] *Трибунами* и *центурионами первых центурий* первого манипула первой когорты назначались наиболее заслуженные офицеры легиона.

[99] По представлениям римлян, прикосновение к мертвым оскверняло священнослужителей; *авгур* — жрец-птицегадатель.

[100] В не дошедшем до нас сочинении «Германские войны».

[101] Т. е. Визургия.

[102] По сообщению Страбона (VII, 1), этого сына звали Сеситаком.

[103] В 42 г. до н. э. триумвиры (Октавиан, Антоний и Лепид) поклялись нерушимо соблюдать все законы и распоряжения, изданные Юлием Цезарем. В дальнейшем, в эпоху империи, вошло в обыкновение в первый день нового года присягать на верность распоряжениям правящего принцепса и всех его умерших предшественников.

[104] Этот закон (обычно его называют законом об оскорблении величества, что не совсем точно, так как под величеством подразумевается достоинство властителя, монарха) был издан во время диктатуры Корнелия Суллы (приблизительно в 80 г. до н. э.) и именовался «Lex Cornelia». Сообщаемое Тацитом о его первоначальной направленности подтверждается и Цицероном в «Письмах к друзьям» (III, 11).

[105] В правление Августа было принято постановление, согласно которому часть провинций переходила в непосредственное подчинение принцепса, часть оставалась в ведении сената. Наместники сенатских провинций обычно именовались проконсулами. *Граний Марцелл* был бывшим претором, и в данном месте Тацит именует его по званию.

[106] *Рекуператоры* — особая судебная коллегия, занимавшаяся рассмотрением имущественных тяжб между римлянами и чужестранцами; из факта передачи дела Марцелла рекуператорам следует, что ему, кроме того, было предъявлено обвинение и в вымогательстве.

[107] По преданию, при царе Тарквинии Гордом (в действительности, вероятно, в первые годы республики) в Риме появились так называемые *Сивиллины книги*, составление которых приписывалось прорицательнице Сивилле из г. Кум в Кампании. Эти тексты, написанные по-гречески, представляли собой собрание всевозможных оракулов. В дальнейшем Сивиллины книги были помещены на хранение в храм Юпитеру, и в трудных для государства обстоятельствах к ним стали обращаться за прорицаниями, соответственно которым принимались те или иные решения. Истолкование Сивиллиных книг было поручено особым жрецам, сначала 2, потом 10, в правление Суллы и Августа — 15 (квиндецимвирам).

[108] *Ахайя* (Ахея) и *Македония* принадлежали к числу сенатских провинций, подати с которых поступали в общегосударственную казну; передача

их в управление императору могла лишь в очень незначительной мере облегчить бремя взимаемых с них поборов.

[109] Кровавые побоища на арене были в Риме обычным и желанным зрелищем и никого не трогали; в данном случае зрителей возмутила «чрезмерная» кровожадность Друза, распоряжавшегося на этих представлениях (от распорядителя зависело, пощадить ли того или иного раненого гладиатора или повелеть, чтобы он был добит победителем, зависели условия поединков или групповых боев и т. д.).

[110] См.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Август, 45.

[111] Зрители театральных и цирковых представителей шумно и непринужденно выражали свое одобрение или неодобрение того или иного зрелища или тех или иных актеров и гладиаторов. Среди зрителей постоянно вспыхивали на этой почве ссоры и потасовки, в которые вмешивались присутствующие на представлениях воинские наряды; о подобных беспорядках сохранились многочисленные свидетельства античных авторов, неоднократно упоминает о таких бесчинствах театральной толпы и Тацит (см., например: Анналы, XIII, 25; XIV, 17).

[112] Впрочем, Светоний сообщает о нескольких случаях, когда актеров подвергли телесному наказанию по распоряжению Августа (Жизнь двенадцати цезарей. Август, 45).

[113] Т. е. во время мятежа паннонских и германских легионов в 14 г.

[114] *Союзниками* (socii) издавна назывались покоренные римлянами народы, с которыми Рим как бы вступал в союз (объединение). В данном случае термин «союзники» по отношению к обитателям Италии — явный анахронизм, так как подавляющее большинство италиков получило римское гражданство после Союзнической войны, закончившейся в 88 г. до н. э.

Книга вторая

События 16—19 гг.

[1] Речь идет о поражении Антония в 36 г. до н. э.

[2] Вонона и еще 3 сыновей и 4 внуков.

[3] Т. е. Август.

[4] Т. е. будущий император Тиберий.

[5] Его сына Тиграна IV и его дочери Эрато; ссылаясь на чужеземный обычай, Тацит, по-видимому, имел в виду брак Птолемея и Клеопатры в Египте, Мавзола и Артемисии в Карии и т. д.

[6] *Артавазд III* был либо отцом упоминаемого ниже Ариобарзана, либо братом Артаксия и Тиграна III.

[7] О судах, способных причаливать к берегу носом и кормой, см. также: Тацит. Германия, 44.

[8] *Авгурал* — место, в котором производились ауспиции (птицегадания); в лагере авгурал устраивали в отдельной палатке, справа от палатки полководца.

[9] Т. е. обещание Арминия.

[10] В римском войске от наступления темноты до рассвета происходило 4 смены караула, отсюда и обозначение ночного времени: в такую-то стражу.

[11] *Час* по римскому счету — 1/12 светлого времени в течение суток; таким образом, длительность часа в зависимости от времени года была неодинаковой.

[12] Это описание бури, очевидно, позаимствовано Тацитом у эпического поэта Альбинована Педона (в «Свасориях» Сенеки Старшего — I, 15 — приводится фрагмент в 22 стиха из его поэмы, в котором эта буря изображается почти в тех же словах): Педон был современником и другом Овидия и, возможно, участвовал в походе 15—16 гг., будучи начальником конницы в войске Германика (упоминание о Педоне см.: Тацит. Анналы, I, 60).

[13] Речь идет о сыне Тиберия Друзе Младшем, которого Тиберий называет братом Германика, поскольку последний был им усыновлен.

[14] Т. е. Гай и Луций, дети Випсания Агриппы и Юлии, дочери Августа, умершие первый — в 4 г., второй — во 2 г.

[15] *Аппиева дорога* — дорога из Рима на юг Италии, проложенная в 312 г. до н. э. по инициативе Аппия Клавдия (Слепого); сначала она доходила до г. Капуи, а затем (при императоре Траяне) была доведена вплоть до г. Брундизия.

[16] Т. е. вне очереди.

[17] Т. е. 13 сентября.

[18] Т. е. засечением насмерть с последующим обезглавливанием.

[19] *Ценз* — общая стоимость имущества; для сенаторов Августом был установлен имущественный ценз в размере 1 000 000 сестерциев; имущественный ценз всадников — 400 000 сестерциев.

[20] Имеются в виду лучшие места в театре, отведенные для сенаторов и всадников (по закону Росция в 67 г. до н. э. всадникам были отведены первые 14 рядов).

[21] См. примеч. 19.

[22] Отец Марка Гортала Квинт Гортензий Гортал после убийства Юлия Цезаря сначала примкнул к партии цезарианцев, затем перешел в стан Брута и Кассия, вследствие чего лишился всего своего имущества; был убит в битве при Филиппах (42 г. до н. э.).

[23] Из предков Марка Гортала консулами были его дед оратор Квинт Гортензий Гортал (в 67 г. до н. э.) и Луций Гортензий (в 108 г. до н. э.); диктатором — Увинт Гортензий (в 286 г. до н. э.); выдающимися деятелями в республиканский период были и его предки по женской линии.

[24] Т. е. в Риме.

[25] *Храм Сатурну* находился на Римском форуме у подножия Капитолия.

[26] 26 мая 17 г.

[27] Мать *Германика* Антония была дочерью Октавии, сестры *Августа* и жены *Марка Антония.*

[28] Мать *Друза* Випсания (у Светония она именуется Агриппиной) по материнской линии была внучкой *Помпония Аттика;* Тиберий принадлежал к знатному роду *Клавдиев,* и его брак с правнучкой простого римского всадника считался неравным.

[29] Т. е. Квинтилия Вара (9 г.).

[30] См.: Тацит. Анналы, I, 57—58.

[31] В 6 г. Тиберий готовился напасть на Маробода одновременно с юга и с запада, чему, однако, помешало восстание в Паннонии и Далмации.

[32] *Большой цирк* находился между Авентинским и Палатинским холмами в Риме.

[33] *Овощной рынок* находился между Капитолием и Тибром.

[34] Речь идет об изданном Августом в 18 г. до н. э. законе о прелюбодеяниях, согласно которому изобличенные в них карались изгнанием и конфискацией части имущества.

[35] По-видимому, мать *Гатерия Агриппы* была дочерью Марка Агриппы и Марцеллы, дочери Октавии, бабки *Германика*.

[36] Имеется в виду закон Папия и Поппея, изданный в 9 г. и отдававший предпочтение тем из соискателей на управление сенатскими провинциями, кто был женат и у кого было больше детей.

[37] Речь идет о Марке Фурии Камилле — римском полководце, 5 раз избиравшемся диктатором и в 390 г. до н. э. освободившем Рим от захвативших его галлов.

[38] После разгрома Антония и Клеопатры в битве при Акции (31 г. до н. э.).

[39] На острове *Самофрака* сохранялся и поддерживался культ древнейших греческих божеств Кабиров. Этот культ уже и тогда (в I в.) представлялся современникам таинственным и загадочным; о Кабирах см.: Геродот, II, 51.

[40] Имеется в виду версия о происхождении римлян от Энея, бежавшего вместе со спутниками из захваченной греками Трои и ставшего родоначальником римлян.

[41] Во время первой войны с Митридатом царем Понтийским (88—84 гг. до н. э.).

[42] Т. е. за порабощение Греции македонянами в IV в. до н. э.

[43] Т. е. за несправедливости афинян по отношению к таким людям, как Фемистокл, Аристид, Перикл, Сократ, Фокион, Демосфен и т. д.

[44] *Ареопаг* — верховное судилище афинян на горе Ареса.

[45] Тацит возвращается к рассказу о событиях в Армении, прерванному им в гл. 4 книги II.

[46] Речь идет о *Публии* Корнелии *Сципионе* Африканском во время Второй пунической войны; см.: Тит Ливий, XXIX, 19.

[47] *Ключами* Египта считались с суши — укрепленный город Пелузий, близ устья восточного рукава Нила, с моря — о. Фарос близ Александрии со знаменитым маяком, сооруженным при Птолемее Филадельфе.

[48] О звуке, издававшемся этой статуей при восходе солнца (до ее реставрации в правление римского императора Септимия Севера), см. также: Страбон, XVII, 1.

[49] Речь идет о ныне высохшем *озере* в Фаюмском оазисе; было ли оно действительно искусственным или возникло естественным образом, не установлено. Древние греки называли его Меридой.

[50] Намек на распространенные в то время слухи о том, что Пизон и Планцина действовали по прямому указанию Тиберия и его матери Юлии Августы.

[51] Этот легион назывался Ferrata, т. е. «Закованный в железо».

[52] См.: Тацит. Анналы, II, 55.

[53] См. примеч. 14 к книге I «Анналов».

[54] См. примеч. 48 к книге I «Анналов»; Германик был фламином Августа.

[55] В помещении библиотеки Палатинского дворца, где находились медальоны с изображениями выдающихся писателей и ораторов. См.: Тацит. Анналы, II, 37.

[56] Тиберия Гемелла (умер в 37 г.) и Германика Младшего (умер в 23 г.).

[57] Об аналогичных случаях сообщает и Светоний (Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 35).

[58] По свидетельству Плиния Старшего (Естественная история, XXXV, 4), этот *Титидий Лабеон* умер в глубокой старости и в свое время был претором и наместником Нарбоннской Галлии.

[59] Это были иудеи; значительное количество их, проданное в рабство после захвата Иудеи Помпеем (67 г. до н. э.), было доставлено в Рим; здесь некоторые из них, получив свободу и став *вольноотпущенниками*, поселились в Заречье, за Тибром.

[60] *Модий* — римская мера сыпучих тел, около 8,5 кг.

Книга третья

События 20—22 гг.

[1] В знак траура.

[2] *Трабея* — парадная одежда (белый плащ с пурпурными полосами, а в правление императоров — пурпурный плащ), которую в торжественных случаях надевали всадники и авгуры.

[3] *Душам усопших* (манам) римляне воздавали божеские почести.

[4] Т. е. с Нероном, Друзом, Агриппиной и Друзиллой.

[5] *«Ежедневные ведомости»* — римская хроника происшествий, дневник постановлений и распоряжений городских властей и пр. (род газеты).

[6] В построенный Августом мавзолей на берегу Тибра, к северу от Марсова поля.

[7] Тиберий был усыновлен Августом, но по крови не происходил от него, тогда как матерью Агриппины была дочь Августа Юлия.

[8] Т. е. Друз и Тиберий.

[9] Гая и Луция Цезарей.

[10] Эти празднества происходили с 4 по 10 апреля, когда давались ежедневные сценические и цирковые представления. Культ *Великой Матери* был заимствован из Малой Азии, где это божество именовалось Кибелой, или Реей; введен он был в Риме после Второй пунической войны на основании указаний, якобы обнаруженных в Сивиллиных книгах. Великая Мать, или, точнее, Великая Мать богов, считалась началом всякой жизни, как божеской, так и человеческой. Поклоняющиеся ей верили, что от нее также зависит жизнь животных и растений, что она царит на земле и в подземном мире.

[11] Речь идет о мавзолее, о котором см. примеч. 6.

[12] Эти слова Тиберия и ответ Пизона Марсу Вибию (см.: II, 79) указывает на то, что дела такого рода, как дело Пизона (обвинение в преднамеренном отравлении), рассматривалось не сенатом, а в обычном порядке.

[13] В этом месте в рукописи довольно значительный пропуск.

[14] *Гемонии* — высеченная на скалистом склоне Капитолийского холма лестница, по которой стаскивались в Тибр трупы казненных.

[15] В этом месте в рукописи пропуск.

[16] Т. е. с Марка Пизона.

[17] В остальных случаях, когда в сенате докладывал консул, претор или кто-нибудь другой из должностных лиц, высшие магистраты (начиная с квестора) имели право высказаться по данному делу, не дожидаясь опроса.

[18] *Гней Пизон* в соответствии с этим постановлением стал именоваться Луцием.

[19] Т. е. в память отмщения.

[20] Т. е. чтобы снова принять командование над войском, что было обязательным условием для празднования триумфа.

[21] Здесь Тацит имеет в виду, по-видимому, его детей от брака с Юлией Старшей: Гая и Луция Цезарей (см.: I, 3), Юлию Младшую (сообщая о ее смерти в IV, 71, Тацит, впрочем, прямо не говорит о том, что и она умерла насильственной смертью), Агриппину Старшую (см.: VI, 25) и Агриппу Постума (см.: I, 6). Випсания была дочерью Агриппы от его первой жены Помпонии, дочери друга Цицерона Помпония Аттика.

[22] Это наказание называлось децимацией.

[23] Почетная награда за спасение римского гражданина.

[24] Расторжение брака происходило у римлян свободно, по желанию обоих супругов или лишь одного из них, без объявления причин; по изданному при Августе Юлиеву закону о нарушении супружеской верности, о расторжении брака надлежало объявить в присутствии 7 свидетелей, вручив супругу или супруге разводное письмо.

[25] Избранные на следующий год консулами при опросе сенаторов обычно первыми излагали свое мнение по обсуждавшимся в сенате делам.

[26] Театр на Марсовом поле был возведен *Помпеем* Великим и носил его имя.

[27] *Лишение воды и огня* — старинное наименование наказания; присужденный к нему утрачивал гражданскую правоспособность, и его имущество подлежало конфискации.

[28] Обвинение против *Лепиды* было выдвинуто Квиринием не сразу после развода, а спустя некоторое время; в дни разбирательства его дела Лепида состояла в браке со *Скавром*.

[29] Т. е. Юлии Старшей и Юлии Младшей.

[30] По приказанию Августа покончил самоубийством любовник Юлии Старшей Антоний Юл; удалиться из Рима должен был любовник Юлии Младшей Децим Силан.

[31] Тацит говорит здесь, по-видимому, о своем намерении написать историю Августа, что, однако, им не было выполнено.

[32] *Юлиев закон* был издан в 18 г. до н. э., *закон Папия и Поппея* — в 9 г.

[33] В этих словах Тацита излагается широко распространенная концепция о так называемом золотом веке.

[34] Ливий Друз собирался предложить закон о предоставлении римского гражданства всем италийским союзникам; проведенный с большим трудом в сенате, этот закон был вслед за тем отменен.

[35] *Италийская*, или Союзническая, война происходила в 90—88 гг. до н. э. и закончилась предоставлением римского гражданства всем италикам; *гражданская война* — с 88 по 82 г. до н. э.

[36] Консул в 78 г. до н. э. Марк *Лепид* вскоре после смерти Суллы выступил против сулланской конституции; после окончания срока своего кон-

сульства, не добившись осуществления своих предложений, он двинул подчиненное ему войско на Рим, но был разбит на Марсовом поле, после чего удалился в Сардинию, где вскоре умер.

[37] Власть народных трибунов была полностью восстановлена в консульство Красса и Помпея (70 г. до н. э.).

[38] В 52 г. до н. э. и, вопреки принятому обыкновению, без коллегии.

[39] Тацит имеет в виду строгие законы Помпея против виновных в насилии и подкупе (52 г. до н. э.), давление, которое он оказывал на суды, господство военной силы, огромную власть, которой он располагал, сосредоточив в своих руках различные магистратуры (консульство, проконсульство в Испании, чрезвычайные полномочия по снабжению продовольствием Рима).

[40] Тацит подразумевает закон De iure magistratuum (о праве на занятие магистратур), проведенный Помпеем и им же нарушенный в своих интересах и интересах Юлия Цезаря.

[41] От битвы при Фарсале (48 г. до н. э.) до шестого консульства Августа (28 г. до н. э.).

[42] *Вигинтивират* — коллегия из 20 членов (vigintiviri), состоявшая из 4 самостоятельных коллегий: коллегии, ведавшей чеканкой монеты (из 3 лиц), надзиравшей за тюрьмами и приведением в исполнение приговоров по уголовным делам (из 3 лиц), следившей за состоянием и постройкой дорог (из 4 лиц) и судебной коллегии (из 10 лиц).

[43] По закону должность квестора могла быть предоставлена лишь по достижении 34 лет.

[44] Т. е. Друзе Старшем.

[45] *Конгиарий* — определенное количество продуктов (зерна, масла, вина и т. д.), которые в известных случаях бесплатно раздавались городской бедноте, воинам и проч.

[46] Это был Друз Клавдий Нерон, сын Клавдия от его первой жены Ургуланиллы; Друз умер в отроческом возрасте спустя несколько дней после помолвки с дочерью Сеяна.

[47] Речь идет о Планцине, жене Гнея Пизона.

[48] *Преторий* — штаб главнокомандующего, канцелярия наместника провинции.

[49] *Оппиев закон* — закон, направленный к пресечению роскоши среди женщин; был издан народным трибуном Гаем Оппием в 215 г. до н. э. и отменен в 195 г.

[50] В 215 г. до н. э. Вторая пуническая война была в полном разгаре: Ганнибал, разгромив римлян во многих сражениях в Италии (битва при Каннах произошла в 216 г. до н. э.), угрожал самому Риму, и вообще положение Римского государства было крайне тяжелым.

[51] *Прикосновение к изображению императора* — понимать ли соответствующие слова Тацита буквально или видеть в них, как выдающийся филолог-классик прошлого века Карл Нипперлей, лишь переносное выражение, — заключало в себе угрозу выдвинуть обвинение в оскорблении особы императора или в каком-нибудь другом важном государственном преступлении.

[52] Друз был увлечен возведением зданий, но не общественного назначения, а, видимо, для себя.

[53] Т. е. Реметалка.

[54] В *Августодуне* еще при Августе была основана римская школа, в которой обучались сыновья знатных галлов.

[55] *Круппеларии* — воины, облаченные в тяжелые доспехи, латники; круппеларии — слово кельтского происхождения.

[56] В непосредственном подчинении римлян находилось 60 галльских племен и 4 племени в Аквитании; помимо этого, в Галлии были и другие, меньшие племена, которые в этот счет не входили, так как были подвластны какому-либо из этих племен.

[57] В этом месте в рукописи пропуск.

[58] *Овация* — малый триумф.

[59] Строго говоря, *Клуторий Приск* не мог быть осужден по закону об оскорблении величия, так как этот закон предусматривал в это время лишь оскорбление принцепса и его матери.

[60] В храме Сатурну у подошвы Капитолийского холма помещалось государственное *казначейство* и там же — государственная канцелярия; сенатские постановления приобретали силу лишь после того, как передавались туда для регистрации и хранения.

[61] Имеется в виду закон о предельных размерах расходов на стол, одежду, убранство и т. д., изданный Юлием Цезарем и в 22 г. до н. э. дополненный Августом.

[62] Ср.: Тацит. Анналы, II, 33, где сообщается о запрещении «унижать мужское достоинство шелковыми одеждами».

[63] Рим жил привозным хлебом, доставлявшимся из Сицилии, Египта и других римских провинций.

[64] *Битва при Акции* произошла в 31 г. до н. э.; Гальба стал императором в 68 г.

[65] Будущего императора Тиберия.

[66] Бывший консул Корнелий Лентул Малугинский имел право, поскольку подошла его очередь, на получение наместничества в одной из консульских провинций — Африка или Азия, и так как *Блезу* были продлены полномочия на управление Африкой, заявил о своих притязаниях на управление Азией.

[67] Фламин Юпитера *Корнелий Мерула* покончил самоубийством в 87 г. до н. э., и замещение этой жреческой должности последовало только при Августе (в 11 г. до н. э.).

[68] Со времени Августа верховным главой понтификов сенат неизменно избирал принцепсов.

[69] Т. е. Тиберий.

[70] Правом предоставления убежища пользовались лишь некоторые храмы, которым оно было даровано в разное время и за которыми оно было признано римлянами.

[71] Здесь и дальше греческие боги названы Тацитом именами соответствующих им римских богов: Артемида — Дианой, Зевс — Юпитером, Дионис — Либером, Афродита — Венерой, Геката — Тривией, Посейдон — Нептуном.

[72] Как повествует миф, *Аполлон*, мстя за своего сына Эскулапия, убитого молнией, истребил киклопов, которые ее выковали для Зевса, и этим навлс на себя его гнев.

[73] По преданию, Эфес был основан амазонками. Версия о том, что Дионис вступил в борьбу с амазонками и привел их к покорности, — местная и в миф о деяниях Диониса не включена. Помимо Тацита, о победе Диониса над амазонками сообщает также Плутарх, «Греческие вопросы», 56, и Павсаний, VII, 2, 7.

[74] Речь идет о храме в честь Артемиды, которая в культе малоазийских греков сближалась с женским божеством персов и армян Анаит (Великой Матерью).

[75] Речь идет о храме Афродите в г. Старый Пафос на о. Кипре.

[76] Имеется в виду храм Афродите в г. Амафунт на юге о. Кипра.

[77] Речь идет о храме Зевсу в г. Саламин на восточном побережье о. Кипра.

[78] После возвращения из-под Трои *Тевкр*, как повествует легенда, был изгнан *Теламоном* с о. Саламина из-за того, что не отомстил за смерть своего сводного брата Аякса Теламонида, впавшего в безумие и заколовшегося, после того как пришел в себя, вина за что падала на Одиссея и сыновей Атрея.

[79] *Септемвиры* — коллегия семи, члены которой распоряжались на священных пиршествах в честь богов.

[80] Коллегия из 20 жрецов в Риме, в ведении которых находилось рассмотрение вопросов международных отношений.

[81] Т. е. жрецы Августа.

[82] Между 132 и 129 г. до н. э.

[83] К *роду Атиев* принадлежала и мать Августа Атия.

[84] Культ Фортуны среди римлян пользовался большой популярностью: в Риме в разное время существовали святилища Патрицианской и *Всаднической Фортуны*, а также Фортуны плебса, детей, девственниц и т. д. Из дальнейшего видно, что в 22 г. храм Всаднической Фортуны, возведенный Квинтом Фульвием Флакком в 173 г. до н. э., уже не существовал.

[85] Базилика — парадное здание, предназначенное для торговых рядов, с залами для судебных заседаний и заключения сделок. *Базилика Павла* называлась так по имени ее строителя, консула 50 г. до н. э. Луция Эмилия Павла.

[86] Луций Статилий *Тавр* в 30 г. до н. э. построил каменный амфитеатр на Марсовом поле, Луций Марций *Филипп* перестроил на том же Марсовом поле храм Геркулесу, Луций Корнелий *Бальб* в 13 г. до н. э. воздвиг там же театр.

[87] Под *старой провинцией* подразумеваются давние владения карфагенян, к которым Юлий Цезарь, победив в 46 г. до н. э. царя Юбу, присоединил Нумидию.

[88] Одной из дочерей Германика.

Книга четвертая

События 23—28 гг.

[1] Сыновья Германика Друз и Тиберий.

[2] См.: Тацит. Анналы, III, 29.

[3] В 19 г., после завершения войны с кантабрами и астурами.

[4] Речь идет о *Юбе II*, сыне царя Нумидии Юбы, побежденного Юлием Цезарем в 46 г. до н. э. при Тапсе.

[5] Т. е. там, где искони обитали латины, а также в древнейших колониях (в пределах Италии), выведенных римлянами.

[6] См.: Тацит. Анналы, III, 29. Тацит, передавая слова Друза, сообщает и то, что Друз говорил ранее (в 20 г. н. э.), еще до вступления дочери Сеяна в брак с сыном Клавдия Друзом, умершим спустя несколько дней после свадьбы.

[7] В 31 г., после смерти Сеяна. Начало книги VI, где должен был находиться рассказ об этом, утрачено.

[8] Консулы обычно сидели на некотором возвышении, где были поставлены их курульные кресла.

[9] Т. е. Нерона и Друза.

[10] К *роду Юлиев* Друз принадлежал вследствие усыновления Юлием Цезарем Октавиана и Октавианом — Тиберия.

[11] К роду *Клавдиев* Друз принадлежал по крови.

[12] Германик вследствие усыновления Тиберием приходился Августе внуком; таким образом, Августа была бабкою и Агриппины.

[13] На о. Самосе находился храм Гере; среди римских божеств Гере соответствовала Юнона (ср. примеч. 70 к книге III «Анналов»).

[14] *Амфиктионы* — религиозно-политические союзы племен и городов-государств в древней Греции, созданные для охраны общих святилищ и собранных в них сокровищ и организации межплеменных празднеств.

[15] В 88 г. до н. э.

[16] Речь идет, очевидно, об ателлане, первоначально бесхитростном народном фарсе, исполнявшемся на оскском языке актерами-импровизаторами по определенной схеме с определенными персонажами — масками (ср. с итальянской комедией дель арте). В дальнейшем ателлана, что означает ателльское представление (Ателла — город в области осков), утрачивает импровизационный характер и успешно разрабатывается на латинском языке римскими комедиографами легкого жанра, усложнявшими ее сюжетные ходы, насыщавшими ее злободневностью и при этом пренебрегавшими запретами официальной морали, что и приводило к осуждению ателланы со стороны блюстителей нравственности.

[17] Родившихся в 19 г. (Тацит. Анналы, II, 84); речь идет о смерти Германика.

[18] Об осуждении *Гая Силана* см.: Тацит. Анналы, III, 66—69.

[19] *Конфарреация* — наиболее торжественно обставляемый и почитавшийся самым священным вид бракосочетания (существовало еще 2 других вида бракосочетания), к которому допускались только патриции. Обряд конфарреации совершался в присутствии великого понтифика, фламина Юпитера и 10 свидетелей, причем в жертву Юпитеру приносился хлеб из полбы (far — «полба»).

[20] Т. е. юридически порывают связи со своими кровными родственниками, теряют права наследования и т. д.

[21] Пребывание с оружием в общественных местах было у римлян категорически воспрещено.

[22] Клятва перед голосованием приносилась в сенате в тех случаях, когда голосующие подтверждали ею свою убежденность в правильности принятого ими решения.

[23] В этом предложении в рукописи есть слово calles («тропы», «дороги»), которое некоторые издатели (например, Нипперндей) предпочитает читать как Cales. Переводчик не усмотрел необходимости в подобной замене, тем более что рукописное чтение не препятствует удовлетворительному пониманию текста.

[24] Т. е. Тарпейской скалой.

[25] *Отцеубийцы* подлежали следующей казни: засеченного до крови осужденного полагалось зашить в мешок вместе с собакой, петухом, змеей и обезьяной, и этот мешок бросить в море.

[26] См. примеч. 18 к книге II «Анналов».

[27] Т. е. после захвата полноты власти Августом и фактического превращения Римской республики в империю.

[28] До нас дошли эпиграммы *Катулла* на Юлия Цезаря, но стихи *Бибакула* на Юлия Цезаря и Августа не сохранились.

[29] Т. е. Август.

[30] Эти идущие с древнейших времен празднества общин Лация ежегодно происходили на Альбанской горе в присутствии обоих консулов; для проведения *Латинских празднеств* назначался особый префект; на этот раз им был Друз.

[31] Обращение *Сальвиана* к Друзу повлекло за собой кару, так как его поступок был сочтен нечестивым и поэтому чреватым опасными для Римского государства последствиями.

[32] См. примеч. 71 к книге III «Анналов».

[33] *Мать* — Антония, *бабка* — Августа.

[34] *Брата* — Германика, *отца* — Друза Старшего.

[35] Сослан на Балеарские острова, где и умер в 28 г.

[36] См. примеч. 34 к книге II «Анналов».

[37] Согласно мифу, после смерти Геркулеса его сын Гилл и другие потомки были изгнаны из Тиринфа (в Арголиде), где вырос Геркулес, и *Пелопоннеса*. На протяжении двух столетий Гераклиды многократно, но тщетно пытались возвратиться туда. Наконец им удалось осуществить это намерение; при разделе завоеванных областей Эврисфен и Прокл получили во владение Лакедемон, Темен — Арголиду, Кресфонт — Мессанию; другим потомкам Геркулеса достались Коринф, Лидия и Македония.

[38] Этот храм, по преданию, был основан Энеем (Вергилий. Энеида, V, 759), считавшимся родоначальником Юлиев, к роду которых благодаря усыновлению принадлежал и Тиберий.

[39] Т. е. в 25 г.

[40] В 10 г. до н. э.

[41] Гнея Домиция, консула 32 г. до н. э.; к Октавиану он примкнул в 31 г. до н. э. перед битвой при Акции.

[42] Эта усыпальница находилась в Риме.

[43] В 26 г.

[44] В 21 г.; Тацит. Анналы, III, 38 и 39.

[45] Здесь в рукописи небольшой пропуск.

[46] Т. е. во дворце Тиберия.

[47] А именно: с Митридатом Евпатором, Фарнаком и парфянами.

[48] Имеются в виду лидяне и тирренцы (этруски).

[49] Имеется в виду война римлян с Персеем (171—167 гг. до н. э.).

[50] Именем римского бога *Юпитера* Тацит, как всегда, называет Зевса
[51] Речь идет о Союзнической войне (90—88 гг. до н. э.).
[52] *Старика* — Тиберия, *юноши* — Нерона, сына Германика.
[53] Т. е. Юлия, дочь Друза Младшего.
[54] В 27 г.
[55] В 111 г. до н. э. и во 2 г.
[56] По отцу Тиберий происходил из рода *Клавдиев.*
[57] Этрусков римляне называли также тусками.
[58] *Фавоний* — теплый западный ветер, начинавший дуть в начале февраля. Этот момент римляне считали началом весны.
[59] Речь идет об извержении *Везувия* в 79 г., сопровождавшемся гибелью Помпеи, Геркуланума и Стабии.
[60] 28 г.
[61] 1 января считалось праздничным днем.
[62] По мнению Тацита, Тиберий воздерживался от назначения главнокомандующего для войны с германцами, страшась наделить кого-нибудь слишком значительной властью.
[63] Ср. эти жертвенники в честь милосердия и дружбы с жертвенниками Удочерения (Анналы, I, 14) и Мщения (Анналы, III, 18).

Книга пятая
(Отрывок)
События 29 г

[1] 29 г.
[2] Ее отец, сын Аппия Клавдия, в 91 г. до н. э. был усыновлен Марком Ливием Друзом.
[3] В конце 41 г. до н. э. в Италии вспыхнуло восстание против Октавиана; полководцу Октавиана Марку Агриппе удалось запереть силы восставших в г. Перузии (ныне Перуджа) и принудить их к капитуляции весной 40 г. до н. э.; эти военные действия получили название *Перузинской войны.*
[4] Имеется в виду соглашение в Путеолах (39 г. до н. э.).
[5] *Агриппина* была внучкой Августа.
[6] Т. е. детей Германика и Агриппины.
[7] Тиберий имел в виду Юния Рустика.
[8] В этом месте в рукописи пропущено всего несколько букв, но после пропуска начинается изложение событий двух последних месяцев 31 г. Таким образом, в утраченной части книги V должно было содержаться повествование о событиях почти всего 29 г., всего 30 г. и первых десяти месяцев 31 г., т. е. о ссылке Агриппины на остров Пандатерию, об умерщвлении ее сына Нерона, о заключении в темницу другого сына — Друза, о низложении и казни Сеяна (18 октября 31 г.) и о многом другом. В той же Медицейской рукописи начало книги VI не указано. Можно думать, принимая по внимание драматизм концовок других книг «Анналов», что книга V завершалась казнью Сеяна.

Книга шестая

События двух последних месяцев 31 г., а также 32—37 гг.

Первые шесть глав этой книги ранее относились издателями к книге V; в современных изданиях, во избежание трудностей при обращении к отмеченным ссылками местам текста, за этими главами сохраняют их прежний порядковый номер (от 6-го до 11-го включительно), после чего начинают новую нумерацию глав.

[1] Предполагают, что здесь говорится о процессе Ливии, осужденной за соучастие в отравлении Сеяном ее мужа, Друза Младшего (см.: Тацит. Анналы, IV, 3 и 8).

[2] В этом месте в рукописи снова довольно значительный пропуск. Далее идут слова одного из приверженцев Сеяна (кого, не установлено), обращенные к собравшимся у него друзьям.

[3] Т. е. Тиберий, который не дал окончательного ответа Сеяну, просившему о разрешении вступить в брак с Ливией, вдовой его сына Друза (см.: Тацит. Анналы, IV, 40); к тому же в утраченной части книги V, быть может, содержались какие-то дополнительные сообщения Тацита об отношении Тиберия к сватовству Сеяна.

[4] Т. е. морем, омывающим западные берега Греции.

[5] В 32 г.

[6] Речь идет о садах на правом берегу Тибра, завещанных римскому народу Юлием Цезарем (см.: Тацит. Анналы, II, 41).

[7] О том же сообщает Светоний (Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 43).

[8] Под *Сципионами* здесь имеется в виду, как предполагают, Публий Корнелий Сципион (см.: Тацит. Анналы, III, 74); под *Силанами* — Марк Юний Силан, консул 19 г. (II, 59) и Аппий Юний Силан, консул 28 г. (IV, 68); под *Кассиями* — братья Луций Кассий Лонгин и Гай Кассий Лонгин, консулы 30 г. (VI, 15 и XII, 11, 12).

[9] Т. е. приравнять в этом отношении отставных преторианцев римским всадникам.

[10] Имеется в виду Сократ, названный так дельфийским оракулом.

[11] В чем *Арузей* и *Санквиний* обвиняли *Луция Аррунция*, неизвестно; вероятно, Тацит рассказывал об этом в утраченной части книги V «Анналов».

[12] См.: Тацит. Анналы, IV, 7 и V, 6.

[13] О расправе Тиберия с *Фуфием Геминoм* Тацит сообщал, очевидно, в утраченной части книги V «Анналов».

[14] О судьбе *Курция Аттика* Тацит сообщал, надо полагать, в утраченной части книги V «Анналов».

[15] Т. е. коллегия квиндецимвиров.

[16] *Магистры* — сведущие в этих вопросах люди, которые консультировали коллегию. Во времена Августа коллегия квиндецимвиров располагала 5 магистрами.

[17] В действительности *Капитолий* сгорел в 83 г. до н. э., во время гражданской войны между сулланцами и марианцами; *Союзническая война* происходила с 90 по 88 г. до н. э.

[18] *Италийские колонии* — греческие поселения на юге Италии, так называемая Великая Греция.

[19] В 33 г.

[20] *Отец* — Публий Виниций — был консулом во 2 г.; *дед* — Марк Виниций — консулом-суффектом в 19 г. до н. э.

[21] Луцием Кассием Лонгином, консулом-суффектом в 11 г.

[22] *Макрон* возглавлял группу врагов Сеяна, добившихся его низложения, и о нем должна была идти речь в утраченной части книги V «Анналов».

[23] В нарушение запрета присутствовать на любом собрании, не говоря уже о сенате, с оружием.

[24] См. примеч. 3 к книге I «Анналов».

[25] Первоначально в римской весовой (и денежной) мере — ассе (фунте) — было 12 унций; Законами двенадцати таблиц разрешалось взимать в качестве максимального годового процента ex asse uncia, т. е. $^1/_{12}$ отданной суммы, иначе говоря около $8^1/_3$ %.

[26] Неизвестный по названию закон 347 г. до н. э. снизил наполовину максимальную процентную ставку по долговым обязательствам до $^1/_{24}$ отданной взаймы суммы (ex asse semuncia), иначе говоря до $4^1/_6$ % (округленно).

[27] В 342 г. до н. э., по закону Генуция.

[28] Слова: *и каждого должника немедленно внести такую же часть своего долга* — в рукописи отсутствуют; эти слова взяты из Светония (Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 48), где, как полагает Нипперде́й, впервые перенесший их в текст Тацита, они представляют собой цитату из сенатского постановления. Так ли это или не так, но мы все же сочли возможным включить их в текст нашего перевода, находя, что это сообщение Светония дополняет картину и придает ей большую четкость.

[29] *Матери* — Агриппины Старшей, *братьев* — Нерона и Друза. (Гибель Друза описана в гл. 23 этой же книги.)

[30] Имеются в виду последователи учения Эпикура.

[31] Имеются в виду стоики.

[32] Т. е. пасынку Клавдия, будущему императору.

[33] *Азиний Галл* был консулом в 8 г. до н. э.; 3 его сына были консулами: Гай Азиний (в 23 г.), Марк Азиний Агриппа (в 25 г.) и Сервий Азиний Целер (консул-суффект в 38 г.). Рассказ о заключении под стражу Азиния Галла должен был содержаться в утраченной части книги V «Анналов».

[34] Зная о ненависти Друза к Сеяну, в котором он видел основного виновника своих бедствий, и надеясь на поддержку народных масс, если во главе их будет поставлен Друз, Тиберий рассчитывал справиться с Сеяном. Об этом его плане рассказывает и Светоний (Жизнь двенадцати цезарей. Тиберий, 65).

[35] Под *невесткой* здесь можно подразумевать как Ливию, жену Друза Младшего и сообщницу Сеяна, так и Агриппину, жену Германика, которая в то время томилась в ссылке и про которую ее сын Друз мог не знать, жива ли она; под *племянником* подразумевается Германик, под *внуками* — брат Друза Нерон и он сам.

[36] *Агриппина* умерла на о. Пандатерии.

[37] Т. е. по обвинению в умерщвлении Германика.

[38] Луций *Аррунций* был назначен наместником Тарраконской Испании на место убитого там в 25 г. Луция Пизона.

[39] В 34 г.

[40] Вера в реальное существование *птицы феникс* была чрезвычайно широко распространена в древности.

[41] Подсчитывая возможный возраст птицы феникс, Тацит говорит, что «древность темна». Если от Амасиса (Яхмоса II) до Тиберия он насчитывает 500 лет, то в этом случае его ошибка в подсчетах невелика; но что касается Сесосиса (Сесостриса — у Геродота и Диодора Сицилийского), то современная египтология отождествляет его с Сенусертом III, фараоном XII династии, правившим в XIX в. до н. э.

[42] *Мирра* — душистая смола некоторых африканских и азиатских деревьев, употреблявшаяся в древности как приправа для вина и для изготовления благовоний и косметических средств.

[43] Эта *трагедия*, по сообщению Диона Кассия, называлась «Атрей».

[44] Вдовой Друза Младшего.

[45] В 35 г.

[46] Т. е. владения *Кира* Старшего, захваченные впоследствии *Александром* Македонским.

[47] *Скептух* — жезлоносец; вождь, сановник у восточных народов.

[48] Т. е., как предполагается, вверх по течению Терека, через Дарьяльское ущелье, затем вдоль Арагвы, до ее слияния с Курой, и далее тем путем, который и ныне ведет из Грузии в Армению.

[49] Тацит в этом месте вспоминает широко известный греческий миф о походе аргонавтов за золотым руном.

[50] Т. е. подступить к границам Мидии и Армении.

[51] Т. е. совершил жертвоприношение Марсу (suovetaurilia).

[52] Об обожествлении и культе рек у персов см.: Геродот, I, 138.

[53] В 6—9 гг., во время антиримского восстания в Паннонии и Иллирии.

[54] 35 и частично 36 г. К рассказу о военных действиях на Востоке в 36 г. Тацит возвращается в гл. 41.

[55] В 36 г.

[56] Здесь пропуск в рукописи.

[57] О каком *Тигране* идет речь, не установлено.

[58] Сообщение о женитьбе *Друза*, сына Германика, на *Эмилии Лепиде* находилось, очевидно, в утерянной части книги V «Анналов».

[59] Здесь и в XII, 55 «Анналов» Тацит, как полагают, называет *клитами* киетов — племя, обитавшее в западной части Киликии.

[60] *Сурена* — первый министр в Парфянском царстве.

[61] *Гней Домиций* — муж Агриппины Младшей, дочери Германика; *Кассий Лонгин* — Друзиллы, дочери Германика; *Марк Виниций* — Юлии, дочери Германика; и *Рубеллий Бланд* — дочери Друза Младшего Юлии.

[62] В 37 г.

[63] Тиберий Гемелл, родившийся в 19 г.; см. Тацит. Анналы, II, 84.

[64] Речь идет о Калигуле, родившемся в 12 г.

[65] Клавдий, брат Германика, римский император, родился в 10 г. до н. э.

[66] Т. е. Тиберия Гемелла, в 38 г. умерщвленного Калигулой.

[67] Калигула был убит в 41 г.

[68] Ему было свыше 70 лет, так уже в 6 г. он занимал должность консула, которая становилась доступной по достижении 43 лет.

[69] Преувеличение: Калигуле было 25 лет.

[70] Во время гражданской войны отец Тиберия сражался на стороне Секста Помпея.

[71] Во 2 г.

Книга одиннадцатая

События 47—48 гг.

VII, VIII, IX, X и начало XI книги утрачены. В них содержалось повествование от смерти Тиберия, последовавшей 16 марта 37 г., до начала 47 г., т. е. обо всем правлении Калигулы и первых шести годах правления Клавдия.

[1] В рукописи текст начинается с середины предложения.

[2] Публий *Валерий Азиатик* был консулом в 46 г.; в каком году он был консулом-суффектом (в тексте говорится, что он дважды был консулом), не установлено.

[3] Речь идет о Поппее Сабине, матери Поппеи Сабины, жены Нерона.

[4] Из дальнейшего ясно, что «она» — Мессалина, жена Клавдия.

[5] В 43 г.

[6] При опросе сенаторов перед вынесением постановления.

[7] *Суиллий* выдвинул против *Самия* обвинение, и тот вручил ему взятку, чтобы от него откупиться; однако Суиллий не снял выдвинутого им обвинения.

[8] Возобновляя повествование о делах на Востоке, Тацит сообщает о событиях 43 или, возможно, 42 г.

[9] Рассказ об этом содержится в утраченных книгах «Анналов»; о вызове Митридата в Рим и о его содержании под стражей сообщают Дион Кассий (LX, 8) и Сенека Младший (О спокойствии духа, 11); слова: *и по приказу Гая* — добавлены Ульрихсом (в рукописи здесь незначительный пропуск).

[10] Как считают, в 45 г.

[11] Т. е. в четвертое консульство Клавдия и третье Вителлия.

[12] *Секулярные игры* (Saeculum — «столетие») устраивались один раз в сто лет на основании вычитанного в Сивиллиных книгах указания; такие игры были устроены в 249 и 149 гг. до н. э. и затем Августом в 17 г. до н. э.

[13] Т. е. в несохранившихся книгах «Истории» Тацита.

[14] В 88 г.

[15] *Луций Домиций* Агенобарб был сыном Гнея Домиция Агенобарба и дочери Германика Агриппины Младшей; Клавдий, вступив в брак с Агриппиной в 49 г., в следующем, 50 г. усыновил Луция Домиция, получившего имя Тиберия Клавдия Нерона, или *Нерона*.

[16] *Троянское представление* — скачки, а также потешные конные бои и поединки.

[17] *Симбруинские холмы* — гряда холмов в Лации, у подножия которых находилось местечко Сублаквей (ныне Субьяко), откуда в правление Клавдия была проведена вода; остатки построенных Клавдием акведуков сохраняются и поныне.

[18] См. об этом: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Клавдий, 41.

[19] Текст в этом месте дефектен.

[20] О *смерти Санквиния* Тацит сообщил, по-видимому, в утраченной части книги XI «Анналов».

[21] О *поражении Луция Апрония* см.: Тацит. Анналы, IV, 73.

[22] До принятия Виллиева закона (180 г. до н. э.) и дополнений к нему при Сулле, установивших минимальный возраст, лишь по достижении которого открывался доступ к занятию магистратур.

[23] По этому закону цари, которые, как полагают, были выборными, приобретали верховную власть лишь после утверждения их полномочий народным собранием (собранием римских курий). После установления республики Луций Брут подтвердил куриатский закон и в отношении консулов. Таким образом, право назначения квесторов по своему выбору, составлявшее ранее прерогативу царей, унаследовали и пришедшие им на смену консулы. При переводе этого предложения допущено некоторое отступление от подлинника, в котором то же самое выражено предельно кратко и поэтому недостаточно ясно.

[24] В 81 г. до н. э.

[25] В 48 г.

[26] Т. е. народы Италии.

[27] *...провели нас под ярмом.* — По древнему обычаю, побежденных проводили под так называемым ярмом, т. е. под двумя врытыми в землю копьями с прикрепленным к ним в горизонтальном положении третьим копьем; проходя под ярмом, нужно было наклониться, и это служило как бы внешним знаком покорности по отношению к победителю.

[28] В 45 и 29 гг. до н. э.

[29] Т. е. Клавдий, облеченный также и цензорским званием.

[30] Имеется в виду знаменитый актер (мим) Мнестер.

[31] Т. е. *Аппием* Юнием Силаном, консулом 28 г., мужем матери Мессалины, не пожелавшим вступать с нею в любовную связь. Рассказ о его гибели содержался в утраченной части «Анналов». См. также: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Клавдий, 37.

[32] Имеются в виду Веттий Валент и Плавтий Латеран; множественное число использовано в целях усиления выразительности со значением: «со всякими веттиями и плавтиями».

[33] *Сады Лукулла* находились в северной части Рима; они упоминались также в гл. 1 книги XI.

[34] Т. е. с Клавдием, который, как и все принцепсы, был *великим понтификом.*

[35] Т. е. Гая Силия, в 24 г. осужденного по закону об оскорблении величия.

Книга двенадцатая

События с конца 48 по 54 г.

[1] В 49 г.

[2] Сперва Агриппина была замужем за Гнеем Домицием Агенобарбом, отцом Нерона, затем за известным оратором Гаем Пассиеном Криспом, который, как считали, был ею отравлен.

[3] Намек на историю брака Августа с Ливией Друзиллой.

[4] *Сенека* по интригам Мессалины в 41 г. был сослан *Клавдием* на о. Корсику.

[5] См.: Тацит. Анналы, XI, 10.

[6] *Тиберий* направил царями в Армению Тиридата и Фраата.

[7] *Геркулесом* Тацит называет здесь или иранского бога Веретрагну, или, как предполагают другие, ассирийского бога Сандана.

[8] Рассказ о низложении боспорского царя *Митридата* VII и о воцарении Котиса содержался в утраченной части «Анналов».

[9] Митридат VII был потомком понтийских Митридатов, считавших себя Ахменидами на том основании, что их предок был сыном Дария Гистаспа, основателя Персидского государства.

[10] При Клавдии собственно Иудея на время стала вассальным царством во главе с Иродом Агриппой, объединившим в своих руках почти все земли Ирода Великого, но после смерти Агриппы была снова обращена в прокураторскую провинцию, подчиненную наместнику Сирии.

[11] *Лары* — древнеримские боги домашнего очага.

[12] В 50 г.

[13] *Город убиев* получил название Colonia Agrippina (ныне Кёльн).

[14] Сочинения Публия *Помпония* Секунда не сохранились; утрачено и сочинение Плиния Старшего «Жизнь Помпония Секунда» (в 2 книгах).

[15] Южная часть *Британии* была завоевана в 43 г.

[16] Истинное название племени, о котором здесь идет речь, не установлено. Написание в рукописи дает основание к различному чтению (на кангов, цеангов и т. д.), тем более что наименование этого племени больше нигде не встречается.

[17] Т. е. в 52 г.

[18] В утраченной части «Анналов».

[19] Изложение событий в Британии доведено Тацитом до 58 г.

[20] В 51 г.; полное имя Клавдия было *Тиберий Клавдий* Друз Нерон Цезарь Август Германик; второго консула звали *Сервий Корнелий Орфит*, и в надписях он так и именуется, тогда как в рукописях «Анналов» он назван неполным именем Сервия Корнелия.

[21] В *мужскую тогу* облачали подростков лишь по достижении ими шестнадцати лет, а *Нерону* в то время не исполнилось еще и четырнадцати.

[22] *Дочерью* Германика, *сестрой* Калигулы, *женой* Клавдия и *матерью* Нерона. Император по отношению к Германику — титул военачальника.

[23] События на Востоке, о которых Тацит здесь возобновляет рассказ, происходили не в 51, а в 52 или даже в 53 г.

[24] *Акинак* — короткая, прямая сабля.

[25] В 52 г.

[26] Она была сослана по делу своего мужа, наместника Далмации Марка Фурия Камилла Скрибониана, в 42 г. поднявшего восстание, подавленное спустя несколько дней.

[27] Здесь в рукописях пропуск. В пропущенном месте содержалось упоминание об указе императора Калигулы, повелевшего, чтобы в Иерусалимском храме ему была установлена статуя, что повело к волнениям в Иудее (см.: Тацит. История, V, 9).

[28] По свидетельству Светония (Жизнь двенадцати цезарей. Клавдий, 20), работы по прорытию этого канала продолжались 11 лет.

[29] *Навмахия* — потешное морское сражение или водоем, на котором его устраивали.

[30] От *Рима* до Фуцинского озера около 150 км.

[31] В 53 г.

[32] *Прокураторы* — чиновники, назначавшиеся в провинции непосредственно императорами для управления их личным имуществом и взимания податей в императорскую казну. В так называемых императорских провинциях, и особенно в небольших, прокураторы выполняли функции наместников. В отличие от *римских магистратов*, которые набирались только из числа сенаторов, получавших управление сенатскими провинциями, прокураторами назначались главным образом лица, принадлежавшие к всадническому сословию, и частично — даже вольноотпущенники императоров.

[33] Т. е. Гая *Семпрония* Гракха в год его трибуната (123—122 гг. до н. э.).

[34] Т. е. Квинта *Сервилия* Цепиона, издавшего этот закон в 106 г. до н. э.

[35] Имеется в виду Юлий *Цезарь*.

[36] *Лжефилипп* (Андриск) в 149 г. до н. э. вступил в Македонию и разбил высланный против него римский легион; в дальнейшем Андриск был разгромлен, и в 148 г. до н. э. Македония была обращена в римскую провинцию.

[37] В 75 г. до н. э.

[38] Слова о слепоте халкедонян, по словам Геродота (IV, 144), принадлежат персидскому полководцу Мегабазу.

[39] В 54 г.

[40] О каком *консуле* идет речь, не установлено. Вероятно, это был консул-суффект, так как об обоих упомянутых консулах 54 г. есть сведения, относящиеся к позднейшему времени.

[41] С первой женой Плавтией Ургуланиллой Клавдий развелся из-за ее развратного поведения, со второй — Элией Петиной — из-за мелких ссор (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Клавдий, 26); о судьбе третьей жены Мессалины рассказано в конце книги XI «Анналов».

[42] Т. е. Клавдию.

[43] Т. е. Британику.

Книга тринадцатая

События 54—58 гг.

[1] Мать его Эмилия Лепида, дочь Юлии, была внучкой Августа.

[2] Император *Клавдий* — автор обширного исторического сочинения (из 41 книги), излагавшего историю Рима после установления гражданского мира (с 29 г. до н. э.); составил он и собственную биографию в 8 книгах, написал и другие сочинения. Ничего из трудов Клавдия не сохранилось.

[3] По возвращении из ссылки в 49 г. Сенека был назначен воспитателем Нерона.

[4] *Ауспиции* — в данном случае имеется в виду благоволение богов к императору как носителю верховной военной власти, главнокомандующему; в более узком смысле ауспиции — птицегадания, к которым римляне прибегали всякий раз, когда требовалось принять ответственное решение;

совершать птицегадание перед открытием военных действий было прерогативой императора.

[5] Т. е. в следующем, 55 г.

[6] В 55 г.

[7] Императора Клавдия.

[8] Слагая с себя по истечении срока магистратские обязанности, римские магистраты давали в народном собрании клятву, что честно и добросовестно отправляли должность.

[9] Совершеннолетним, как уже указывалось выше, у римлян считался юноша по достижении им 16 лет; Нерон, надевший мужскую тогу на четырнадцатом году, естественно, опасался, что того же станет домогаться и Британик, а это повело бы к его вмешательству в управление государством и к соперничеству между обоими сводными братьями.

[10] *Сатурналии* — древнеиталийское празднество, справлявшееся несколько дней подряд (с 17 декабря) в воспоминание о золотом веке.

[11] Имеются в виду Атрей и Фиест, Этеокл и Полиник, а также другие персонажи греко-римской мифологии.

[12] Т. е. с Октавией и Антонией, дочерью императора Клавдия от Петины.

[13] Имеется в виду род Клавдиев.

[14] См.: Тацит. Анналы, XI, 12.

[15] *Гаруспики* — предсказатели, гадавшие по внутренностям жертвенных животных; обряд очищения состоял в заклании свиньи, овцы и быка (suovetaurilia), приносимых в жертву богам.

[16] В 56 г.

[17] Об изгнании из Италии актеров, астрологов и философов, а также о выставлении в театре и цирке воинских караулов Тацит неоднократно рассказывает в «Анналах»; мероприятия этого рода оставались, однако, совершенно безрезультатными, так как спустя короткое время все возвращалось к прежнему положению, и, относясь к ним отрицательно, Тацит иронически называет очередное изгнание актеров и выставление караула в театре «целебным средством».

[18] Это предложение в рукописи дефектно. При переводе его переводчик исходил из соображений К. Ниппердея, изложенных им в его комментариях к «Анналам».

[19] Патрон располагал правом выслать своего вольноотпущенника за сотый милиарий (приблизительно за 150 км) от Рима, причем тот мог избрать местожительство по своему усмотрению; подвергшиеся подобному наказанию предпочитали поселиться где-нибудь в благоприятных местах, чаще всего на побережье Кампании, отстоявшей от Рима на 107 000 шагов.

[20] *Трибы* — округа, на которые был разделен Рим (здесь: должностные лица в управлениях этих округов); *декурии* — собирательное название служебного персонала в управлениях римских магистратов.

[21] В императорский период раб мог получить волю двумя способами: 1) посредством виндикты (объявлением о даровании воли с прикосновением к отпускаемому преторским жезлом, носившим то же название, в присутствии претора) и 2) сообщением об отпуске на волю в присутствии свидетелей или соответствующим письменным заявлением. Рабы, получившие волю первым способом, становились полноправными римскими гражданами, вторым — приобретали фактическую свободу, оставаясь вме-

сте с тем юридически под покровительством (патронажем) своих бывших владельцев.

[22] Т. е. Домиция Лепида, упоминавшаяся в «Анналах» (XIII, 19).

[23] См. примеч. 5 к книге III «Анналов».

[24] Рассказ о его осуждении находился в утраченной части «Анналов», по-видимому, в начале книги XI.

[25] См.: Тацит. Анналы, XIII, 1.

[26] В 58 г.

[27] Во время третьей войны с Митридатом VI Евпатором (74—64 гг. до н. э.).

[28] Это был XII легион (Молниеносный), ранее находившийся в Сирии, затем приведенный оттуда для участия в британской экспедиции Клавдия и позднее дислоцированный на берегах Рейна.

[29] См. гл. 9 книги XIII «Анналов».

[30] *Сенека* был осужден за любовную связь с дочерью Германика Юлией Ливиллой.

[31] Суиллий был наместником *провинции Азии* в конце правления Клавдия (точный год его наместничества не установлен).

[32] Суиллий, очевидно, обвинял Квинта Помпония за его поведение после убийства императора Калигулы; будучи в то время консулом, Помпоний председательствовал в сенате, склонном восстановить республиканский образ правления, причем Помпония считали одним из наиболее ярых республиканцев.

[33] О гибели *дочери Друза* Младшего *Юлии* см.: Тацит. Анналы, XIII, 32; о гибели *Поппеи Сабины* см.: XI, 2; о *Валерии Азиатике* см.: XI, 1 и сл.; об обстоятельствах осуждения *Лузия Сатурнина* и *Корнелия Лупа* ничего не известно.

[34] По закону Суллы об убийцах и отравителях, каравшему виновных в преступлении этого рода конфискацией имущества и ссылкой в отдаленные местности (на острова).

[35] Т. е. до выступления Гальбы в 68 г.

[36] *Декурионы* — члены муниципального совета, управлявшие муниципиями.

[37] Под *пошлинами* здесь разумеются все виды косвенных налогов, под *налогами* — прямые налоги.

[38] Т. е. сбор в размере $2^1/_2$ и 2 % от суммы, на которую совершалась сделка; с каких именно сделок взимали откупщики эти сборы, не установлено.

[39] В последний раз Тацит рассказывал о германских делах в повествовании о событиях 50 г.

[40] Т. е. войска, размещенные в провинциях Верхняя Германия и Нижняя Германия.

[41] Из этих слов явствует, что строительство дамбы было закончено в 55 г., так как *Друз* Старший умер в 9 г. до н. э.

[42] *Мозелла* и *Арар* находились в пределах *Белгики*.

[43] Имеются в виду нынешние залив Зейдер-зе, в то время озеро Флево, и связанные с ним более мелкие озера, соединявшиеся узким протоком с Северным морем.

[44] Места сенаторов находились в орхестре (площадка непосредственно перед сценой), всадников — в первых 14 рядах амфитеатра.

[45] В 9 г.

[46] Этой рекой была либо Верра, либо Заале, на которых и поныне существуют солеварни.

[47] Именами римских богов Тацит называет германских богов Циу и Вотана.

[48] Имеется в виду Colonia Agrippina (ныне Кёльн).

[49] Считают, что причиной «вырвавшихся из-под земли огней» был загоревшийся торф, который в этом районе обильно залегает под поверхностным слоем почвы; предположение, что Тацитом описаны какие-то тектонические явления, полностью исключается.

Книга четырнадцатая

События 59—62 гг.

[1] Нерон держал в своих руках верховную власть с 54 г.

[2] Триумфальные отличия получил только ее двоюродный дед Гай Поппей Сабин.

[3] Празднества в честь богини Минервы. Имеются в виду Большие Квинкватры, праздновавшиеся с 19 по 23 марта.

[4] Т. е. Крепeрея Галла и Ацеррония.

[5] При Августе Рим был разделен на 14 административных районов.

[6] *Ювеналии* — букв.: юношеские (игры).

[7] На правом берегу Тибра в садах Юлия Цезаря (об этом пруде Тацит упоминает в «Анналах» — XII, 56).

[8] Август (Augustus) — священный, великий — прозвание Октавиана, ставшее его именем; носили его и все последующие императоры; *августианцы* в данном случае можно было бы перевести как «нероновцы». О происхождении этого названия см.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Нерон, 25.

[9] Иначе отзывается о поэтических увлечениях Нерона Светоний (Жизнь двенадцати цезарей. Нерон, 52). Он говорит, что Нерон занимался поэзией, «сочиняя стихи охотно и без труда. Не правы те, кто думает, что он выдавал чужие сочинения за свои: я держал в руках таблички и тетрадки с самыми известными его стихами, начертанными его собственной рукой, и видно было, что они не переписаны с книги или с голоса, а писались тотчас, как придумывались и сочинялись, — столько в них помарок, поправок и вставок».

[10] Об исключении *Ливинея Регула* из сената Тацит сообщал в несохранившейся части «Анналов».

[11] В 60 г.

[12] Т. е. Олимпийских игр.

[13] Светоний (Жизнь двенадцати цезарей. Нерон, 12) сообщает, что эти игры состояли из состязаний в музыке, поэзии и в конных ристаниях и получили название нероний.

[14] *Гимнасии* — помещения для физических упражнений.

[15] *Цесты* — обложенные железом или свинцом ремни, которыми кулачные бойцы обматывали себе руки.

[16] В главах 23—26 Тацит рассказывает, как предполагают, о событиях 59 и 60 гг.

[17] *Путеолы* официально стали именоваться так: Клавдия Нерона колония Путеоланская.

[18] Преторами обычно назначали после пребывания в должности командира легиона.

[19] В 61 г.

[20] Об этом и о последовавших событиях см.: Тацит. Жизнеописание Агриколы, 14 и сл.

[21] *Друиды* — жрецы у кельтов.

[22] Жители городов, именовавшихся колониями, пользовались всеми правами римских граждан, за исключением права избрания на высшие государственные должности.

[23] *Корнелиев закон* — изданный Суллой закон, каравший изобличенных в составлении подложных завещаний изгнанием с конфискацией всего имущества.

[24] Одно и то же дело не могло одновременно рассматриваться в двух судебных учреждениях; обратившись к претору, Понтик предупредил предполагавших обвинить Валерия Фабиана и его соучастников перед префектом г. Рима, и так как он сделал это, имея в виду вызволить обвиняемых, его действия были сочтены подлежащими наказанию: виновные в клеветническом обвинении, повлекшем за собой уголовный процесс, карались высылкой, изгнанием или конфискацией имущества.

[25] Упоминаемое здесь *древнее установление* в 57 г. было подтверждено особым сенатским указом (см.: Тацит. Анналы, XIII, 32), который был издан в развитие и дополнение указа 10 г. до н. э., в свою очередь опиравшегося на предшествующие сенатские постановления.

[26] В 62 г.

[27] См.: Тацит. Анналы, XIII, 28.

[28] *Дисцессия* — процедура голосования, принятая в римском сенате и состоявшая в том, что в знак поддержки внесенного кем-либо предложения сенаторы становились возле его автора.

[29] При императорах порой случалось, что люди, вынужденные хранить про себя свое недовольство режимом, позволяли себе откровенно высказываться о нем или о том или ином императоре в своих завещаниях (см., например: Тацит. Анналы, VI, 38); так поступил и Вейентон в своем мнимом завещании.

[30] Сенека был возвращен из ссылки в 49 г., Нерон стал принцепсом в 54 г.

[31] Отец Плавта Гай Рубеллий Бланд был женат на Юлии, дочери *Друза* (см.: Тацит. Анналы, VI, 27).

[32] Т. е. в Риме.

[33] В этом месте в рукописи незначительный пропуск; по Диону Кассию (XII, 14), Нерон якобы сказал: «И ты (Нерон) боялся носатого человека?»

[34] Рукопись в этом месте не отмечает пропуска, но он несомненен, и в пропущенных словах, очевидно, содержалось сообщение о том, что в народе распространился ложный слух о возвращении Нероном Октавии.

[35] Т. е. Октавию.

[36] Имеются в виду: Друз Старший Германик, отец Клавдия Германика и Гая Юлия Цезаря Германика; Клавдий Германик, или император Клавдий, — отец Октавии и приемный отец Нерона; Гай Юлий Цезарь Германик, или просто Германик, — дед Нерона и двоюродный дед Октавии.

Книга пятнадцатая

События 63—65 гг.

[1] *...между братьями...* — речь идет не столько о конкретной борьбе между братьями за парфянский престол, сколько о внутрисемейной борьбе за верховную власть, особенно острой в странах Востока из-за господствовавшей в них полигамии. См. также: Тацит. Анналы, IV, 60; XIII, 17.

[2] Т. е. принцепс; ранее право вручать награду за спасение в бою римского гражданина принадлежало командующему того войска, на участке которого был совершен подвиг такого рода; однако со времени императора Калигулы верховное командование на любом участке боевых действий формально принадлежало принцепсу.

[3] Луций Лициний *Лукулл* в 69 и 68 гг. до н. э. одержал победу над царем Армении Тиграном II Великим; Гней *Помпей* в 66 г. до н. э. принудил его к подчинению Риму.

[4] *Корбулон* говорит об этом в своих не дошедших до нас записках о походах против парфян в Армению в 55—63 гг., неоднократно использованных Плинием Старшим в «Естественной истории» (II, 70, 180; V, 24, 83; VI, 8, 23).

[5] В этом месте в рукописи незначительный пропуск.

[6] Имеются в виду Цинциев закон 204 г. до н. э., воспрещавший адвокатам брать со своих подзащитных какое-либо вознаграждение, Юлиев закон о вымогательствах провинциальных властей (принят по предложению Юлия Цезаря в 59 г. до н. э.) и Кальпурниев закон о том же, изданный в 149 г. до н. э. по предложению Луция Кальпурния Пизона.

[7] В 63 г.

[8] О подобных храмах и жертвенниках в честь отвлеченных понятий, например о жертвеннике Удочерению, см.: Тацит. Анналы, I, 14; о жертвеннике Милосердию и Дружбе — IV, 74; о жертвеннике Мщению — III, 18.

[9] Священные игры в честь *Актийской победы* (31 г. до н. э) были учреждены Августом в г. Акции (Сев. Греция) и происходили один раз в 4 года при храме Аполлона.

[10] Предположительно речь идет о золотых фигурах *Фортун* — сестер, изображения которых находились в храме Всаднической Фортуны в г. Анции.

[11] Нерон по отцу принадлежал к роду *Домициев*, по матери — к роду *Юлиев*, через усыновление императором Клавдием — к роду *Клавдиев*. О культе Юлиев в *Бовиллах* см.: Тацит. Анналы, II, 41.

[12] Захватив то или иное самостоятельное государство, римляне три четверти его территории обыкновенно оставляли за собой, а четвертую часть отдавали в управление кому-либо из местных властителей, часто бывшему царю. Такие зависимые от римлян цари и назывались *тетрархами* (четверовластник).

[13] Имеется в виду Гней *Помпей* (Великий), в 67 г. до н. э. наделенный по Габиниеву закону неограниченными полномочиями для войны с пиратами.

[14] Т. е. Нерона, формально считавшегося верховным главнокомандующим.

[15] В 69 г. до н. э.

[16] См. примеч. 8 к книге II «Анналов».

[17] *Латинское право* — права, которыми пользовались до завершения Союзнической войны (90—88 гг. до н. э.) народы собственно Италии; дарование латинского права населению Приморских Альп (римской провинции со времен Августа) предоставляло ему ряд привилегий по сравнению с другими провинциалами и облегчало доступ к занятию общественных должностей и тем самым к римскому гражданству.

[18] В 64 г.

[19] *Пруд Агриппы* предположительно находился на поле Агриппы, к востоку от Марсова поля.

[20] Т. е. Риму.

[21] *Сады Мецената* находились на Эсквилинском холме; в собственность принцепсов они перешли по завещанию Мецената.

[22] *Пенаты* — боги-хранители как всего государства, так и домашнего очага.

[23] Секстилий — по римскому счету шестой, по современному — восьмой месяц в году. В 44 г. до н. э. квинтилий (пятый месяц) был в честь Юлия Цезаря переименован в июль, а в 8 г. секстилий в честь Октавиана Августа — в август; приводимая здесь дата соответствует по современному счету 19 июля (390 г. до н. э.).

[24] 418 лет, 418 месяцев и 418 дней (впрочем, дней насчитывается несколько больше).

[25] *Габийский туф* добывался в Габиях, близ Рима, *альбанский* — на Альбанской горе (ныне гора Каво, или Альбано).

[26] *Селлистернии* — род жертвоприношения богиням (то же, что лектистернии для богов), состоявший в том, что перед фигурками богинь ставился стол со всевозможными яствами.

[27] Члены раннехристианских общин, по преимуществу представители обездоленных масс и рабов, питали жгучую ненависть к Римскому государству; они были исполнены веры в скорую гибель Рима, в то, что на смену его господству придет царство Божие на земле; отказываясь соблюдать культ императора, христиане жили замкнуто, таясь от властей, в страхе перед доносами. Их образ жизни вызывал со стороны народных масс ответную неприязнь и обвинение «в ненависти к роду людскому».

[28] В 65 г.

[29] Во время пожара Рима в 64 г.

[30] В этом месте текст, видимо, испорчен: последнее предложение переведено не вполне точно, однако с сохранением его смысла.

[31] См. гл. 45.

[32] Имеется в виду цикута.

[33] Предполагают, что это были стихи 635—646 из книги III «Фарсалий».

[34] Т. е. Сотера.

[35] В этом месте в рукописи пропущено второе имя Помпея (или личное, или фамильное).

[36] Имеются в виду преторианцы.

[37] В этом месте в рукописи незначительный пропуск.

[38] В 68 г. Нимфидий был убит воинами при попытке захватить верховную власть.

[39] Некоторые издатели предполагают здесь лакуну.

[40] Т. е. Солу — древнеримскому богу солнца, сыну Гипериона и Теи, брату Луны и Авроры, впоследствии отождествленному с Аполлоном.

[41] Апрель получил наименование неронея.

[42] В этом месте в рукописи предполагается не отмеченный переписчиками незначительный пропуск, в котором, возможно, уточнялось название места, откуда Сцевин взял кинжал.

Книга шестнадцатая

События конца 65 и 66 гг.

[1] По рассказу Вергилия (Энеида, I, 343 и сл.), *Дидона* бежала из Тира после того, как ее муж Сихей был убит ее братом Пигмалионом.

[2] См. примеч. 14 к книге XIV «Анналов».

[3] Тацит имеет в виду неприязненное отношение Нерона к *Веспасиану*, который, сопровождая Нерона во время поездки по Греции, приводил его в бешенство тем, что иногда вовсе не присутствовал на его выступлениях, а иной раз, присутствуя на них, засыпал.

[4] Т. е. в мавзолей Августа на берегу Тибра, упоминания о котором см.: Тацит. Анналы, III, 4 и 9.

[5] Нерон и Луций Антистий Ветер были консулами в 55 г.

[6] *Интерцессия* — протест, вето, которое принцепс мог наложить на любое решение сената, поскольку был наделен также трибунской властью.

[7] Т. е. Децим Юний Силан Торкват (см.: Анналы, XV, 35) и Луций Юний Силан Торкват (см.: Анналы, XVI, 7—9).

[8] О каком *бедствии* в *Лугдуне* идет речь, неясно. В 58 г. Лугдун сильно пострадал от пожара, но здесь подразумевается, очевидно, не этот пожар.

[9] Имеется в виду пожар Рима в 64 г.

[10] В 66 г.

[11] Подразумевается *заговор* Пизона.

[12] Речь идет о каком-то *заговоре* против Калигулы в 40 г. (в этом году было раскрыто несколько заговоров).

[13] Ни годы наместничества *Петрония* в *Вифинии*, ни год, когда он был консулом-суффектом, не известны; даже личное имя его не то Гай, как у Тацита, не то Тит, как в других источниках. Но, несмотря на скудость биографических данных, Петроний у Тацита и автор «Сатирикона», очевидно, — одно и то же лицо.

[14] В этом месте в рукописи стоит непонятное слово cetastis; Ниппердей в своих комментариях к «Анналам» Тацита предлагает читать его как cetariis, но и такое чтение не вполне разъясняет его значение.

[15] См.: Тацит. Анналы, XIII, 28.

[16] См.: Тацит. Анналы, XIII, 33.

[17] *Коссуциан*, говоря о *Кассии*, имеет в виду Гая Кассия Лонгина, сосланного Нероном на о. Сардинию в предыдущем 65 г., говоря о *Брутах* — Марка Юния Брута и Децима Юния Брута Альбина, участников убийства Юлия Цезаря; вместе с тем имена Кассия и Брута как бы олицетворяли собой непреклонных врагов принципата и приверженцев старой республики.

[18] Подразумевается: как цари на Востоке.

[19] *Храм Венере Родительнице*, в котором на этот раз был собран сенат, находился на Форуме Юлия Цезаря, к северо-востоку от Римского форума.

[20] *Базилики* — здесь: торговые ряды.

[21] *Отец Монтана* был участником оргий Нерона и пользовался его благосклонностью.

[22] Плиний Младший (Письма, III, 16) рассказывает, что она первая пронзила себя кинжалом и, передавая его мужу, сказала, чтобы придать ему решительности: «Пет, не больно».

[23] Рукопись «Анналов» на этом обрывается.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЮЛИЯ АГРИКОЛЫ

[1] Автобиографии *Рутилия* и *Скавра* не сохранились.

[2] В официальных протоколах сената (acta senatus).

[3] Речь идет о trimviri capitales, на которых был возложен надзор над тюрьмами и за исполнением казней. Сожжением книг обычно ведали эдилы; передача на этот раз их функций триумвирам свидетельствует о стремлении Домициана придать этому акту особую торжественность.

[4] При Домициане философы дважды изгонялись сенатскими указами из Италии (в 88/89 г. и в 95 г.).

[5] О счастье нашего времени и об общественном правопорядке говорится в одном из указов императора Нервы (Плиний Младший. Письма, X, 58, 7).

[6] Домициан правил 15 лет (81—96 г.).

[7] Этот замысел был осуществлен Тацитом позже, в его крупных исторических сочинениях.

[8] *Прокураторами* императорских провинций чаще всего назначались лица, принадлежавшие к всадническому сословию, хотя среди них было и немало вольноотпущенников.

[9] Т. е. императора Калигулы.

[10] По указу Августа, считавшего военную службу подготовительной школой к политической деятельности, сыновья сенаторов направлялись в войска в звании военных трибунов.

[11] Речь идет о восстании в 61 г. (см.: Тацит. Анналы, XIV, 29—39). Восставшими были сожжены Камулодун, Лондиний и Веруламий — из них только Камулодун пользовался правами колонии; несколько преувеличены в изображении Тацита и размеры поражения римлян — был разгромлен только IX легион под командованием Петилия Цериала, направлявшийся на выручку осажденному Камулодуну.

[12] Возможно, что в этих словах заключен намек на судьбу знаменитого полководца Гнея Домиция Корбулона, который, завершив победоносный поход против парфян, навлек на себя подозрения Нерона и вынужден был покончить самоубийством.

[13] Речь идет о будущей жене Тацита.

[14] Значительное увеличение числа преторов при Юлии Цезаре и первых принцепсах повело к тому, что некоторые избранные на эту должность освобождались от своих прямых обязанностей в суде, устройство общественных игр первоначально возлагалось на эдилов; Август поручил их проведение преторам.

[15] После пожара Рима в 64 г. Нерон изъял храмовые сокровища, чтобы отстроить Рим и свои дворцы (Тацит. Анналы, XV, 45).

[16] Сейчас же после убийства императора Гальбы преторианцы провозгласили принцепсом *Отона* (15 января 69 г.), который, потерпев поражение в битве с войском Вителлия, также провозглашенного принцепсом нижнегерманскими легионами, покончил самоубийством (16 апреля 69 г.). Подробнее о бесчинствах моряков Отона см.: Тацит. История, II, 12—15.

[17] Домициан родился в 51 г.

[18] Речь идет о *легионе*, носившем название «Валериев Победоносный» (Valeria victrix) и со времен Клавдия размещенном в Британии. В гражданской войне 69 г. британские легионы поддержали Вителлия и после провозглашения Веспасиана императором заняли выжидательную позицию. Предшественник Агриколы по командованию XX легионом — Марк Росций Целий (Тацит. История, I, 60); упоминаемые Тацитом легаты в консульском ранге — наместник Британии Требеллий Максим (см.: Агрикола, 16) и Веттий Болан (см.: Агрикола, 8).

[19] *Дочь Агриколы* родилась в 64 г. (Агрикола, 6). Таким образом, она была выдана замуж за Тацита в возрасте 13 лет; Тациту было в то время немногим более 20 лет (родился в 56 или 57 г.).

[20] Тацит говорил это в соответствии с географическими представлениями своего времени. То же у Цезаря в «Записках о галльской войне» (V, 13).

[21] В утраченной книге 105 «Ab urbe condita» *Ливий* рассказывает об экспедициях в Британию Юлия Цезаря; *Фабий Рустик*, как предполагают, говорил о Британии в связи с ее завоеванием Клавдием в несохранившейся «Истории цезарей». Из греческих авторов о Британии писали Пифей, Посидоний, Диодор Сицилийский и Страбон, из римских — Юлий Цезарь, Тит Ливий, Фабий Рустик, Помпоний Мела и Плиний Старший.

[22] Называя Оркады дотоле неизвестными островами, Тацит допускает неточность: приблизительно за 40 лет до того они были описаны Помпонием Мелой в его сочинении «О положении мира» (III, 6), упоминает о них и Плиний Старший (Естественная история, IV, 16, 103).

[23] О *приливах* и *отливах* писали Пифей, Посидоний, Варрон в сочинении «О морском побережье».

[24] Предположение Тацита об иберийском происхождении *силуров* основывается, очевидно, на его ошибочных географических представлениях, о чем см. примеч. 20.

[25] Т. е. со времени завоевания Галлии Юлием Цезарем (58—51 гг. до н. э.).

[26] Действия британских боевых *колесниц* описаны Юлием Цезарем в «Записках о галльской войне» (IV, 33).

[27] Учение древнегреческой науки V в. до н. э. (Парменид) о том, что земля — шар, не получило признания и было забыто. В античном мире господствовало представление о Земле как о круглой плоскости, плавающей в мировом Океане; отсюда и римское обозначение мира — orbis terrarum, terrae (круг земель или земной круг). Тех же воззрений придерживался и Тацит.

[28] Т. е. Гай *Юлий* Цезарь. Цезарь предпринял 2 похода в Британию (в 55 и 54 гг. до н. э.), о которых рассказал в «Записках о галльской войне» (IV, 23 и сл. и V, 8 и сл.). Обожествление Цезаря произошло в 42 г. до н. э. Обозначение «божественный» при упоминании обожествленных принцепсов нередко опускается и Тацитом, и в официальных документах.

[29] Юлий Цезарь был убит заговорщиками 15 марта 44 г. до н. э. После его убийства началась длительная борьба за власть между Октавианом, Антонием, Лепидом и Секстом Помпеем, вызвавшая кровопролитные гражданские войны (вплоть до 30 г. до н. э.). Несколько раньше, в 31 г. до н. э., главой Римского государства становится Октавиан, в 27 г. до н. э. получивший почетный титул *Август* (augustus по-латыни — «возвышенный», «священный»). Обожествление Августа произошло после его смерти, в 14 г. Указывая, что Август не помышлял о завоевании Британии, Тацит не точен: Август дважды собирался предпринять поход против британцев (в 34 и 27 гг. до н. э.). О преемственности внешней политики Тиберия см.: Тацит. Анналы, I, 11.

[30] О намерениях Калигулы завоевать Британию упоминает Светоний (Жизнь двенадцати цезарей. Калигула, 19). О приготовлениях Калигулы против *Германии* см.: там же, 43 и сл.

[31] Завоевание Британии начато было в 43 г. при императоре *Клавдии* (см.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Клавдий, 17). Клавдий был обожествлен тотчас же после смерти, в 54 г.

[32] *Веспасиан* в этом походе командовал легионом. О его боевых действиях см.: Тацит. История, III, 44; Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Веспасиан, 14 и сл.

[33] О деятельности в Британии *Остория Скапулы* см. также: Тацит. Анналы, XII, 31—39.

[34] Речь идет о колонии Камулодун (ныне Колчестер), основанный в 50-е гг.

[35] Ср. слова Августа в «Списке деяний» (27), найденном в Анкире (нынешняя Анкара): «Хотя я мог... превратить Армению в провинцию, я предпочел по обыкновению наших предков тотчас же передать это царство... Тиграну».

[36] О деятельности *Дидия Галла* в Британии см. также: Тацит. Анналы, XII, 40 и XIV, 29.

[37] О *Веранни* Тацит говорит и в «Анналах» (XIV, 29).

[38] Об экспедиции *Светония Паулина* на *остров Мону* о последовавших за этим событиях см. также: Тацит. Агрикола, 18, и Анналы, XIV, 29 и 30.

[39] После разгрома Арминием легионов Вара в 9 г. границей между римскими владениями и свободной Германией снова стал Рейн.

[40] Излагаемые в этой главе речи британцев во многом перекликаются с соответствующими местами «Анналов» (см.: Тацит. Анналы, XIV, 35 и сл.).

[41] О *Боудикке* и о восстании британцев подробнее см.: Тацит. Анналы, XIV, 31 и сл. Это восстание началось в 60 г.

[42] Приблизительно то же самое говорит Тацит о *Турпиллиане* и в «Анналах» (XIV, 39).

[43] *Гражданские распри*, о которых упоминает Тацит, — борьба за власть в 68—69 гг. между Гальбой, Отоном, Вителлием и Веспасианом.

[44] О сопротивлении *бригантов* римским завоевателям см.: Тацит. Анналы, XII, 32, и История, III, 45.

[45] Как принято считать, летом 77 г. В руках наместника были сосредоточены верховное командование войсками (4 легиона и контингенты конных и пеших вспомогательных войск, главным образом германцев, всего около 40 000—50 000 человек), высшая административная и судебная власть; финансовые дела подлежали ведению прокуратора.

[46] *Донесения* об одержанной победе обвивались обычно лавровою ветвью, см.: Плиний Старший. Естественная история, XV, 133.

[47] Области, не собиравшие достаточно хлеба, были принуждены ради выполнения возложенной на них хлебной повинности покупать зерно в римских государственных складах и затем сдавать его на ссыпные пункты.

[48] Раскопками обнаружены следы 9 укреплений, заложенных, как считают, в годы наместничества Агриколы. Позднее, в 122 г., император Адриан при посещении Британии повелел построить пограничный вал намного южнее (вал Адриана).

[49] О каких областях на западе Британии идет речь, точно не установлено; об ошибочных представлениях древних относительно географического положения Испании см. примеч. 20.

[50] «Нашим морем» римляне называли Средиземное море.

[51] Речь идет о кораблях, имевших стоянку в Гезориаке (нынешняя Булонь). Эта еще в правление Клавдия сформированная эскадра была закреплена за провинцией Британией.

[52] IX легион, разгромленный в 61 г. (см. примеч. 11), к описываемому времени был полностью укомплектован; ослаблен же он был из-за отправки в 83 г. некоторых его подразделений к Домициану для участия в походе против германского племени хаттов.

[53] *Либурна* — быстроходный корабль военного флота; тип корабля был заимствован Августом у жителей Либурнии (так называлось побережье Иллирии между Истрией и Далмацией).

[54] Т. е. левый, галльский, берег Рейна.

[55] Речь идет о восстании под предводительством Боудикки; см. примеч. 41.

[56] См. гл. 28.

[57] Северная оконечность Британии, по представлению древних, находилась у границы земного круга.

[58] Преувеличение; в действительности завоевание Британии Клавдием было начато в 43 г. Описываемые события происходили в 83 г.

[59] *Мечи* у британцев были в то время длиной в метр и больше; римские мечи были намного короче.

[60] *Триумф*, о котором здесь говорит Тацит, был справлен Домицианом по завершении первого похода против германского племени хаттов (83 г.). Литературные памятники (Тацит, Светоний, Дион Кассий) преуменьшают значение этого похода и иронически относятся к триумфу Домициана. Как показывают новейшие разыскания, задачи, которые ставил перед собой Домициан, были римской армией выполнены и справленный им триумф был оправдан. Сообщение Тацита о покупке рабов, с тем чтобы они изображали собой пленных, повторяет, возможно, толки о Калигуле (см.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Гай Калигула, 47). На подобное освещение первого похода против хаттов Тацита толкнула, видимо, ненависть к Домициану.

[61] Со времени Августа триумф могли справлять только принцепсы или члены правящей династии. Триумфальные отличия состояли из лаврового венка, расшитых золотом тоги и туники и украшенного орлом жезла из слоновой кости.

[62] Кто был его *преемником*, не установлено. Предполагается, что им был Саллюстий Лукулл (см.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан, 10).

[63] Зимой 85/86 г. даки вторглись в Мёзию, разбили римское войско, причем был убит его командующий Оппий Сабин. После отвоевания этой провинции римляне потерпели от даков новое поражение (в том же 86 г.), потеряв своего главнокомандующего, начальника преторианцев Корнелия Фуска. В 88 г. поднял восстание наместник Верхней Германии Луций Антоний Сатурнин. Подавив это восстание, Домициан двинулся из Паннонии на германские племена маркоманов и квадов, оказавшие помощь дакам. В 91/92 г. язиги вместе с маркоманами и квадами вторглись в Паннонию и полностью уничтожили римский легион.

[64] *Цивика* Цереал в бытность проконсулом провинции Азия был умерщвлен Домицианом (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан, 10).

[65] Сходные мысли содержатся и в высказываниях Тацита относительно поведения Тразеи Пета (Анналы, XIV, 12).

[66] К этому широко прибегали, чтобы закрепить за своими наследниками остальное имущество.

[67] Таким образом, Агрикола родился 13 июня 40 г. и умер 23 августа 93 г.

[68] *Траян* был провозглашен принцепсом 25 января 98 г.

[69] Какое событие в правление Домициана Тацит называет «осадой курии», неизвестно. Светоний (Жизнь двенадцати цезарей. Домициан, 10) перечисляет по имени сенаторов, казненных Домицианом. Об изгнании женщин из знатнейших родов сообщает Плиний Младший (Письма, III, 11; VII, 19; IX, 13); им названы жена Арулена Рустика Гратилла, вдова Тразеи Пета Аррия, его дочь, жена Гельвидия Приска, Фанния.

[70] *Альбанская твердыня* — летняя резиденция Домициана в усадьбе Альбан у подножия Альбанской горы (ныне Монте-Каво).

[71] Юний *Маврик* был отправлен Домицианом в изгнание, а его брат Квинт Юний Арулен *Рустик* казнен. См.: Тацит. Агрикола, 2.

[72] Надо ли понимать это место буквально, неясно.

[73] Где находился в эти годы Тацит с женой и какую государственную должность он занимал, неизвестно. Предположение, что он был в это время наместником Белгики, необоснованно.

[74] *Маны* (manes) — души умерших.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЕРМАНЦЕВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГЕРМАНИИ

[1] Т. е. Карпатами.

[2] Под *Океаном* Тацит подразумевает Северное и Балтийское моря, так как Скандинавский полуостров вплоть до XI в. считали островом.

[3] Т. е. Ютландский полуостров и Скандинавию (см. примеч. 2).

[4] Вероятно, Тацит имеет в виду поход Тиберия в 5 г.; Тиберий дошел до берегов нынешнего Каттегата.

[5] Т. е. в Северное море.

[6] Т. е. в Черное море.

[7] Тацит выдвигает предположение о несмешенности германцев, основываясь на малой вероятности миграций по морю, но упускает при этом из

виду непрерывные миграции по суше с их неизбежным следствием — смешением народностей.

[8] *Анналы* — летописи; в широком смысле — сочинения исторического содержания.

[9] Плиний Старший дает несколько иное деление германских племен. Он говорит: «Германские племена распадаются на пять групп: 1) вандилиев, часть которых составляют бургундионы, варины, харины, гутоны; 2) ингвеонов, к которым принадлежат кимвры, тевтоны и племена хавков; 3) иствеонов, ближе всего живущих к Рейну и включающих в себя сигамбров; 4) живущих внутри страны гермионов, к которым относятся свебы, гермундуры, хатты, херуски; 5) пятую группу — певкинов и бастарнов, которые граничат с вышеназванными даками» (Естественная история, IV, 99—101).

[10] Здесь, возможно, имеется в виду германский бог грома, воинственный Донар.

[11] Германское слово *бардит* (лат. Barditus) и поныне остается необъясненным; сопоставлять его с кельтскими бардами (сказителями) едва ли правомерно.

[12] Речь идет, по-видимому, о надписях на кельтском языке; кельты пользовались греческим алфавитом, о чем свидетельствуют многие древние авторы.

[13] См. примеч. 7.

[14] Это утверждение Тацита необоснованно. Уже в эпоху бронзы германцы изготовляли украшения и утварь из золота и серебра. Позднее сам Тацит упоминает о существовавших в Германии во времена Клавдия серебряных рудниках (Анналы, XI, 20).

[15] Речь идет о так называемых серратах и бигатах — древнейших серебряных монетах достоинством в один денарий. В этих монетах содержалось больше чистого серебра, чем в денариях Нерона, и предпочтение, которое им оказывали германцы, очевидно, этим и объясняется.

[16] Это место следует понимать, очевидно, следующим образом: германская конница или прямо неслась на неприятеля, или обходила его справа, так как левый бок всадника был прикрыт щитом. Если этот маневр удавался, неприятель попадал в окружение.

[17] Тацит употребляет здесь слово rex — «царь, король»; сами германцы называли своих властителей словом Kuning (конунг). Их король и прерогативы обрисованы Тацитом в соответствии с исторической истиной.

[18] *Изображения* — это деревянные резные фигуры различных животных, посвященных тому или иному божеству (например, змея или волк — Вотану, медведь и баран — Донару и т. д.); *святыни* — атрибуты и символы богов (например, копье — Вотана, молот — Донара и т. д.).

[19] О том же рассказывает Цезарь (Записки о галльской войне, I, 51).

[20] То же у Цезаря (Записки о галльской войне, I, 50).

[21] В заключительных словах этой главы Тацит, очевидно, иронизирует над случаями обожествления женщин из императорского рода, например сестры Калигулы Друзиллы и умершей в четырехмесячном возрасте дочери Нерона.

[22] Тацит называет германских богов римскими именами: Вотана — *Меркурием*, Донара — *Геркулесом*, Циу — *Марсом*, так как римская и германская мифологии наделяли их сходными чертами и сходными атрибутами.

[23] Считают невероятным, чтобы культ египетской *Изиды* мог проникнуть к свебам. Высказывается предположение, что Изидой Тацит называет германскую богиню плодородия Нерту (см. гл. 40), или, как предполагают некоторые, Изида появилась у него в тексте вследствие созвучия с именем германского божества Изы, иначе Цизы; что же касается ее святыни в виде либурны, то это — изображение или полумесяца, или лемеха плуга.

[24] Здесь подразумевается бук или дуб, которые считались у германцев плодовыми деревьями, так как буковые орешки и желуди съедобны и употреблялись в пищу людьми и животными.

[25] Предполагается, что это были руноподобные знаки или, возможно, руны — т. е. древнегерманские письмена; руна — готское слово со значением «тайна».

[26] *Птицегадание*, т. е. прорицание будущего по поведению птиц: их полету, крику и пр., — было широко распространено и у римлян, у которых им занимались жрецы-авгуры. Орлы и вбороны, по представлениям германцев, сулили удачу и счастье, совы и ворбны — несчастье.

[27] Этот способ гадания практиковался в древности не только германцами, но, если ограничиться индоевропейскими народами, то и индийцами, персами, греками, славянами.

[28] О том же сообщает и Юлий Цезарь (Записки о галльской войне, I, 50), то же наблюдалось и у некоторых других индоевропейских народов древности.

[29] То же относительно галлов см. у Юлия Цезаря (Записки о галльской войне, VI, 18). Такой же счет времени известен и у других народов древности, пользовавшихся лунным календарем (греков, иудеев и т. д.).

[30] Римские обычаи воспрещали являться в народное собрание вооруженным. О том, что и галлы являлись в народные собрания вооруженными, рассказывает Тит Ливий (XXI, 20).

[31] Так же выражали свое одобрение, по свидетельству Цезаря, и галлы (Записки о галльской войне, VII, 21).

[32] Сообщение Тацита об этом подтверждается нахождением при осушке болот мумифицированных трупов; на некоторых из них были надеты оковы, некоторые были прикрыты поверх толстым слоем кольев или валежника. Чаще всего это трупы женщин; отсюда вывод, что подобным образом карались преимущественно преступления против целомудрия.

[33] Здесь, как и в главе 6, сообщение Тацита относительно «сотни» довольно сбивчиво. В действительности, когда старейшина отправлялся творить суд в какой-нибудь округ, то в разборе дел участвовали все свободные из той «сотни», на территории которой происходило судебное разбирательство. Таким образом, никакого постоянного совета при старейшине не создавалось.

[34] Вручение оружия у германцев Тацит сопоставляет с римским обрядом облачения юношей в мужскую тогу.

[35] О наборе в дружину то же у Юлия Цезаря (Записки о галльской войне, VI, 23); об аналогичных отношениях между вождем дружины и дружинниками говорит Юлий Цезарь, рассказывая о кельтском племени сонтиатов (Записки о галльской войне, III, 22). То же отмечается позднее и в дружинах славян и норманнов.

[36] Речь идет о вожде дружины и о дружинниках.

[37] Дары посылались вождям другими общинами и даже соседними племенами, чтобы оградить свои земли от разбойных набегов и вместе с тем чтобы обеспечить себе в случае нужды военную помощь.

[38] *Фалеры* (металлические бляхи, нередко золотые или серебряные) и *почетные ожерелья* — римские знаки отличия; пожалование их, а также прямой подкуп деньгами — характерные черты римской политики в отношениях с германскими племенами.

[39] Каменные строения появились у германцев позднее и, как обнаруживается по имеющимся в германских языках строительным терминам, умением их возводить германцы обязаны римлянам.

[40] Т. е. глиной разных оттенков.

[41] Т. е. Рейна или Дуная, по которым проходила граница с владениями римлян.

[42] Т. е. Северным и Балтийским морями и морем, лежащим за Скандинавией, — иначе говоря, Северным Ледовитым океаном.

[43] Описание одежды германцев не вполне точно: мужская одежда — и не только у знатных — состояла из льняной нижней одежды, штанов (коротких или длинных) и грубошерстной накидки; были в ходу даже куртки с рукавами и овечьи и звериные шкуры; не точны сведения Тацита и о женской одежде: женщины носили льняные рубашки, платья и накидки. Об обнаженных руках у германских женщин Тацит упоминает в связи с тем, что платье римских женщин было снабжено рукавами.

[44] Например, царь свебов Ариовист (Юлий Цезарь. Записки о галльской войне, I, 53), который, будучи женат, имел и вторую жену, сестру царя Норика Воккиона.

[45] Сведения Тацита о приданом не вполне точны. В действительности жених вносил за невесту выкуп, а отец невесты, по-видимому, передавал его новобрачной. Кроме того, наутро после свадьбы молодая жена получала от мужа подарки.

[46] Здесь, как и в других местах, Тацит, отзываясь с похвалой о нравах германцев, молчаливо осуждает тем самым римские нравы.

[47] Какие именно племена имел в виду Тацит, не установлено.

[48] Это сообщение, по крайней мере в той части, где речь идет о родившихся после смерти отца, не соответствует действительности.

[49] Снова намек на Рим и на ряд римских законов, издававшихся со времени Августа с целью стимулировать деторождение в знатных семьях и оставшихся безрезультатными.

[50] В знатных римских семьях детей, напротив, препоручали кормилицам; Тацит подробно рассказывает о этом в «Диалоге об ораторах» (29).

[51] О том же сообщает и Юлий Цезарь (Записки о галльской войне, VI, 21).

[52] В Риме девушек выдавали замуж по достижении ими 13—14 лет; как видно из текста, Тацит отдает предпочтение принятому у германцев порядку.

[53] Сообщаемое Тацитом объясняется тем, что германская женщина, вступая в замужество, не порывала со своим родом, как у римлян, а сохраняла свою принадлежность к нему.

[54] И здесь Тацит намекает на римские нравы; богатый бездетный старик был окружен в Риме множеством заискивающих перед ним, ибо по римским законам он мог распорядиться имуществом по своему усмотрению.

[55] О гостеприимстве германцев сообщает Юлий Цезарь (Записки о галльской войне, VI, 23). Тацит особо упоминает о том, что явившихся без приглашения принимают столь же сердечно, как если бы они были приглашены, потому что у римлян отношение к незваному гостю было совершенно иным.

[56] Римляне умывались после обеда.

[57] В отличие от римлян.

[58] Речь идет, разумеется, лишь о верхнем общественном слое.

[59] Совсем иначе отзывается о германцах и сам Тацит (Анналы, II, 14), и Веллей Патеркул, называющий их лукавыми и лживыми (Римская история, II, 118).

[60] Речь идет о не известном римлянам пиве.

[61] *Колон* — лично свободный крестьянин-арендатор, плативший землевладельцу за обрабатываемую им землю деньгами или натурой; положение рабов у германцев Тацитом несколько идеализировано.

[62] Таким образом, и у германцев раб был вещью, принадлежащей своему господину, который был вправе распорядиться им по своему усмотрению; строгое обращение римлян с рабами возводилось ими в систему ради поддержания дисциплины и беспрекословного повиновения.

[63] Напротив, вольноотпущенники в эпоху империи — весьма влиятельная прослойка римского общества: из них комплектовались административные кадры, многие из них занимали высшие должности в правительстве и при дворе.

[64] И здесь Тацит противопоставляет «добрые» нравы германцев «дурным» нравам римлян. О бесплодной борьбе с ростовщичеством в Риме он говорит в «Анналах» (VI, 16—17).

[65] Помимо ячменя, пшеницы, овса и ржи, германцы сеяли также чечевицу, горох, бобы, лук-порей, лен, коноплю и красильную вайду, или синильник.

[66] Наименование *осени* у германцев действительно появилось позднее; под осенними плодами Тацит подразумевает плоды фруктовых деревьев и виноград.

[67] И в рассказе о погребальных обрядах германцев Тацит отдает им предпочтение перед римскими, что особенно подчеркивается последней фразой первого абзаца этой главы.

[68] Т. е. *Юлий* Цезарь. Цезарь считал, что *галлы* (кельты) — исконное население Галлии, тогда как, по современным научным воззрениям, Галлия была заселена кельтами, двигавшимися с Востока (около 2000 г. до н. э. кельтские поселения существовали на юге и юго-западе нынешней Германии).

[69] Т. е. Рейн.

[70] Здесь Тацит имеет в виду Швабскую Юру.

[71] Тацит имеет в виду германское племя маркоманов, переселившееся на оставленную бойями территорию.

[72] Пространство между 2 рукавами Рейна в его нижнем течении.

[73] *Десятинные земли*, или Декуматские поля, получили свое название либо из-за того, что были заселены 10 родоплеменными общинами, либо, как считалось ранее, потому, что поселившиеся здесь римские колонисты платили в казну подать в размере $^1/_{10}$ с собранного ими урожая; во второй

половине I в. эта территория была присоединена к Римскому государству и вошла в состав римской провинции Верхняя Германия.

[74] Т. е. границей с римскими владениями на левом берегу Рейна; в нижнем течении Рейн разделяется на множество рукавов и протоков и его берега во многих местах заболочены.

[75] Сообщение Тацита о полном истреблении *бруктеров* не соответствует действительности: оправившись после поражения, нанесенного им соседними племенами, часть бруктеров, продвигаясь на юго-запад, позднее пробилась к Рейну.

[76] Тацит уподобляет истребление бруктеров столь распространенному в Риме зрелищу — гладиаторским играм.

[77] Из этих слов Тацита и из сказанного им в главе 37 видно, что он хорошо понимал бесперспективность борьбы с германцами и видел в них реальную угрозу для римского государства. Понимал он и то, что римляне сильны только там, где их противника разобщают междоусобия: его мысли об этом см. также: Агрикола, 12.

[78] *Сзади* — т. е. с востока; *спереди* — с северо-запада.

[79] Из этих озер вследствие опускания суши впоследствии (в 1282 г.) образовался залив Зейдер-зе.

[80] Тацит здесь не вполне точен: в 5 г. Тиберий, обогнув п-ов Ютландию, доплыл до пролива Каттегат, и, кроме того, 2 плавания по Северному морю были предприняты в 15 и 16 гг. Германиком.

[81] Здесь Тацит имеет в виду п-ов Ютландию.

[82] Ослабление *херусков* явилось следствием междоусобиц и столкновений с хавками, лангобардами и *хаттами.*

[83] Во II в. до н. э. часть *кимвров* вместе с не упоминаемыми Тацитом тевтонами покинула свои поселения и двинулась на юг; в конце II в. до н. э. кимвры и тевтоны стали непосредственно угрожать Риму, но были разбиты Марием: тевтоны — близ нынешнего Экса в Провансе (102 г. до н. э.), а кимвры — близ нынешнего г. Верчелли в Северной Италии (101 г. до н. э.). Рассказ об этом нашествии кимвров и тевтонов см.: Луций Анней Флор. Из истории римского народа, I, 38; а также: Плутарх. Жизнеописание Мария, 11 и сл. Говоря о лагере кимвров на том и другом берегу, Тацит имеет в виду берега Рейна.

[84] По преданию, Рим был основан в 753 г. до н. э. Таким образом, 640-й год от основания Рима — 113 г. до н. э.

[85] Второе консульство *Траяна* приходится на 98 г.

[86] *Испании* и *Галлии,* так как римляне различали Испанию Ближнюю и Испанию Дальнюю, а также Галлию Цизальпийскую (т. е. Северную Италию, где обитали кельтские племена) и Трансальпийскую (по ту сторону Альп), а в Трансальпийской Галлии, кроме того, — Галлию Нарбоннскую, Лугдунскую и т. д. Здесь Тацит имеет в виду длительное и сопряженное с большими трудностями завоевание римлянами Испании и Галлии.

[87] Говоря о *самовластии Арсака,* Тацит имеет в виду длительную борьбу с потомками Арсака из династии Арсакидов.

[88] Презрительный тон, в котором Тацит говорит о *Вентидии,* объясняется темным происхождением последнего; Вентидий был выдвинут Юлием Цезарем и при его содействии стал претором.

[89] Здесь Тацит называет *Цезарем* Августа.

[90] О разгроме войска *Вара* см. рассказ Тацита в «Анналах» (I, 61—62).

[91] В битве с кимврами близ г. Верцеллы (ныне Верчелли) в 101 г. до н. э.

[92] Во время завоевания *Юлием* Цезарем *Галлии* (58—51 гг. до н. э.).

[93] Т. е. будущий император Тиберий.

[94] Т. е. Калигулы; об этих приготовлениях в 39—40 гг. см.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Калигула, 43—47.

[95] *Смуты и гражданская война* — борьба за власть в 68—69 гг. (Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан); говоря о захвате германцами римских зимних лагерей и об их попытках поднять против римлян Галлию, Тацит имеет в виду восстание батавов в 69 — 70 гг.

[96] Тацит говорит здесь о походе Домициана против хаттов в 83 г. См. о том же: Тацит. Агрикола, 39.

[97] Местонахождение священной *рощи семионов* не установлено. Божество, которому они поклонялись, видимо, Вотан (его эпитет — Alwaldand, что означает «всемогущий»).

[98] Сообщение Тацита о том, что семионами заселено 100 округов, восходит, очевидно, к Цезарю (Записки о галльской войне, IV, 1).

[99] Предположительно — о. Зеландия, на котором ныне находится Копенгаген, или какой-нибудь небольшой остров у побережья нынешнего Шлезвиг-Гольштейна.

[100] Тацит имеет в виду город Augusta Vindelicorum, нынешний Аугсбург.

[101] В 9 г. до н. э. римское войско под начальством Друза дошло до *Альбиса* (Эльбы); переправился через Эльбу (в неустановленном году) также Луций Домиций Агенобарб (Тацит. Анналы, IV, 44) и в 5 г. Тиберий. После разгрома в Тевтобургском лесу (9 г.) римлянам больше не удавалось так далеко проникнуть в глубь Германии.

[102] *Эти горы* — Крконоше (Исполиновы горы) и Судеты.

[103] Священная *роща наганарвалов* находилась, по-видимому, возле нынешнего города Еленя-Гура (Польша, близ границы с Чехословакией).

[104] См. примеч. 2.

[105] Рассказ Тацита о кораблях *свионов* подтверждается находкой такого корабля в толще трясины на восточном побережье северного Шлезвига; этот корабль находится в музее в г. Киле. Весла на кораблях свионов свободно перемещались, тогда как на римских были закреплены в гнездах, — вот почему Тацит и останавливается на этой подробности.

[106] В отличие от других германских племен, о которых упоминалось ранее.

[107] Это сообщение Тацита считается недостоверным: полагают, что оружие и у свионов содержалось под охраной только в дни некоторых праздненств. Ср. со сказанным в гл. 40.

[108] Т. е. Северный Ледовитый океан.

[109] Примерно то же об особенностях высоких широт сообщает Тацит и в главе 12 «Жизнеописания Агриколы».

[110] Древние греки и римляне обожествляли солнце, представляя его себе в виде лучезарного Феба, ежедневно выезжающего на небосклон в запряженной четверкой лошадей колеснице.

[111] Ибо, по представлениям древних, здесь проходит граница мира.

[112] *Эстии* не были предками нынешних эстонцев, которые угро-финского происхождения и лишь унаследовали наименование эстиев; что ка-

сается языка эстиев, то он едва ли и в то время был ближе к британскому (кельтскому) языку, чем к германским; отмечаемые Тацитом черты сходства объясняются тем, что и язык эстиев, и язык британцев, равно как и германцев, — индоевропейские.

[113] По-видимому, речь идет о культе, сходном с поклонением Нерте (см. гл. 40). И среди германских племен, например англосаксов, также были распространены подобные амулеты с изображением вепря, олицетворявшего неукротимость и свирепость.

[114] В данном случае Тацит ошибается: еще в эпоху каменного века, задолго до установления сношений с римлянами, германцы собирали янтарь и выделывали из него всевозможные украшения. Особенно много находили его на побережье Ютландского п-ова и в западной части Балтийского моря.

[115] По представлениям древних (земля — круг), местности на Крайнем Западе и Крайнем Востоке расположены одинаково близко к солнцу.

[116] Все сказанное Тацитом о *феннах* относится к лопарям (лопь, лапландцы), так как финны в его времена уже жили оседло, занимаясь земледелием и разведением скота.

[117] Ср. заключительные слова «Германии» с «Анналами» (II, 24).

ДИАЛОГ ОБ ОРАТОРАХ

[1] Главное действующее лицо этой трагедии — Марк Порций *Катон* Утический (95 — 46 гг. до н. э.). Убежденный сторонник старой аристократической республики, Катон с тревогой следил за возвышением Юлия Цезаря и, когда борьба между Помпеем и Цезарем привела к гражданской войне, примкнул к помпеянцам. После битвы при Тапсе (Северная Африка), закончившейся полным поражением помпеянцев, Катон покончил самоубийством. Его честность и непреклонность, а также стойкость, с какой он умер, впоследствии восхвалялись римскими республиканцами, так что вполне правомерно, что *Матерн* своей трагедией вызвал неудовольствие в придворных кругах.

[2] Борьба *Фиеста* с Атреем, судьбы потомков Атрея, над которыми тяготеет проклятие за совершенные им злодеяния, — сюжеты, неоднократно трактовавшиеся в античной литературе («Орестея» Эсхила, «Фиест» Сенеки, не дошедшая до нас одноименная трагедия Вария).

[3] История *Медеи* — также излюбленный сюжет античной литературы: к нему обращались Еврипид, Сенека, Овидий (в не дошедшей до нас трагедии).

[4] По-видимому, здесь идет речь о Луции *Домиции* Агенобарбе, последовательном противнике Юлия Цезаря (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Юлий, 23—24; Нерон, 2).

[5] В латинском тексте использовано слово graeculus, которому присущ пренебрежительно-презрительный оттенок. Давнее неумеренное пристрастие ко всему греческому (ремесленным изделиям, произведениям искусства, науке и литературе) вызвало в качестве ответной реакции отмеченное пренебрежительно-презрительное отношение к грекам, тем более что еще во II в. до н. э. римляне, завоевав Грецию, лишили их политической самостоятельности.

[6] Т. е. Юлий Секунд.

[7] *Красноречие* в этом понимании — словесное искусство вообще.

[8] Текст в этом месте дефектен.

[9] О столкновении в сенате между Гельвидием Приском Старшим, зятем Тразеи Пета, и обвинителем Тразеи *Эприем Марцеллом* см.: Тацит. История, IV, 6 и сл., а также: История, IV, 43.

[10] У римлян было принято являться с утренним приветствием к могущественным и влиятельным людям.

[11] Т. е. дара речи.

[12] Т. е. сенаторского достоинства, отличительным знаком которого была широкая *пурпурная полоса на тунике*.

[13] Апр был уроженцем Галлии (см. гл. 10), но из каких именно мест, неизвестно.

[14] *Центумвиры* — члены судебной коллегии ста (фактически ста пяти, а в эпоху империи — ста восьмидесяти), разбиравшей преимущественно дела о наследстве.

[15] Император (принцепс) мог затребовать любое судебное дело для личного рассмотрения, отменить ранее вынесенный приговор и решить его наново.

[16] Простолюдины обычно не носили тоги: их одежда состояла из туники, поверх которой в холодное время года надевался плащ (pallium).

[17] Вибий Крисп был родом из *Капуи*, Эприй Марцелл — из *Верцелл* (ныне Верчелли в Северной Италии).

[18] Т. е. император Веспасиан.

[19] *Веспасиан* родился в 7 г., умер в 79 г.

[20] Высказывания подобного рода можно встретить у многих римских поэтов (Горация, Овидия и др.).

[21] Матерн, по-видимому, был также родом из Галлии, хотя не исключено, что его родина — Испания.

[22] Римская любовная *элегия* широко представлена в творчестве Тибулла, Проперция и Овидия; ее содержание — «трудная» любовь поэта к своей «владычице», заставившей его испытать невзгоды любви, благодаря чему он становится наставником в ней, мастером «любовного искусства»; *ямбы* — здесь: особый жанр сатирических стихотворений.

[23] В отличие от Рима, где занятие сценическим искусством считалось позорным и унизительным.

[24] Подобные *статуи* устанавливались в первом (от входа) помещении дома (атрий) по решению сената и с одобрения императора.

[25] Т. е. не в качестве подсудимого.

[26] Т. е. траурной одежды, в которую, по римскому обычаю, облачались ответчики и подсудимые.

[27] Т. е. после установления режима единоличной власти.

[28] Речь идет о пребывании *Аполлона* в течение 8 лет у царя Адмета, к которому он удалился по решению Зевса во искупление совершенного им греха — убийства обитавшего на горе Парнас дракона Пифона (греческая мифология).

[29] *Вергилий*, владея домом в Риме, предпочитал жить в Южной Италии и на Сицилии.

[30] Музам и Аполлону был посвящен источник Касталия на горе Парнас у г. Дельф в Фокиде (Греция).

[31] Т. е. отказывая часть имущества императорам, чтобы тем самым обеспечить все остальное своим наследникам.

[32] Имеются в виду статуи в общественных местах, мемориальные надписи и т. д.

[33] Речь идет об известном ораторе Марке Аквилии Регуле, сводном брате *Випстана Мессалы*, начавшем деятельность политического обвинителя в последние годы правления Нерона.

[34] Диалог Цицерона «*Гортензий*» до нас не дошел; о нем часто упоминают и сам Цицерон, и многие позднейшие авторы, из чего можно заключить, что это сочинение, посвященное рассмотрению этических проблем, пользовалось в свое время большой популярностью.

[35] Речь идет о так называемом Великом мировом годе, учение о котором излагается в космогонии философских школ платоников и стоиков.

[36] Т. е. 7 декабря 43 г. до н. э.

[37] Т. е. императора Калигулу.

[38] Упоминаемые здесь письма до нас не дошли.

[39] *Кассий Север* крайне отрицательно относился к декламационному стилю ораторской речи. В «Контроверсиях» Сенеки Старшего (введение к книге III) приводятся высказывания Кассия по этому поводу: «Я привык, — говорит он, — смотреть не на слушателя, а на судью; я привык отвечать не себе самому, а противнику; я избегаю говорить пустое и противоречивое». Речи Кассия отличались ясностью, энергией, едкостью; современниками он был прозван Бешеным.

[40] Эти книги до нас не дошли.

[41] Имеются в виду 5 речей Цицерона, в которых он обвинял бывшего правителя Сицилии Гая Корнелия *Верреса* в 70 г. до н. э.

[42] В случае, если ответчик в римском суде оспаривал справедливость притязаний истца, судья (претор) включал в так называемую *формулу* (юридическую формулировку разбираемого судом спора сторон) особую *оговорку* (exceptio).

[43] Обе речи написаны Цицероном: первая сохранилась в крупных связных фрагментах, вторая полностью (в собрание речей Цицерона обычно включают 57 речей, дошедших до нас либо полностью, либо в связных отрывках; сохранились также незначительные фрагменты еще 17 речей и, кроме того, 30 его не дошедших до нас речей упоминаются у различных авторов).

[44] В этом месте рукописи не дают достоверного чтения: возможно, что некоторые приводимые здесь имена прочитаны неправильно, так, например, называемого Апром *Аттия* идентифицировать не удалось. Идентификации упоминаемых тут *Фурния* Кануция и *Торания* также предположительны.

[45] Эта не дошедшая до нас речь была произнесена *Брутом* перед Юлием Цезарем в Никее в 47 г.; известна и сохранившаяся речь Цицерона в защиту *Дейотара* (45 г. до н. э.).

[46] О поэтических произведениях Юлия Цезаря см.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Юлий, 56; о стихах Брута, Цицерона и других видных ораторов сообщает Плиний Младший в «Письмах» (V, 3).

[47] Первое выражение Цицерон употребил в речи против Пизона, второе, приведя его как распространенную среди сицилийцев остроту, во вто-

рой речи против Верреса (121); дело в том, что латинское ius verrinum переведенное нами как *правопорядок Верреса*, одновременно может означать и «свиная похлебка».

[48] Хотя Цицерон и злоупотреблял порой приводимыми Апром словами, все же Апр явно несправедлив по отношению к Цицерону.

[49] Из всех собеседников «Диалога об ораторах» один Випсан Мессала римлянин по рождению, все прочие — уроженцы Галлии; вот почему Матерн называет ораторов прошлого предками Мессалы.

[50] *«Брут»* написан *Цицероном* в 47 г. до н. э.

[51] О своих занятиях с *Диодотом Стоиком* Цицерон рассказывает в «Бруте» (309).

[52] В Греции Цицерон провел 2 года, возвратившись в Рим в 77 г. до н. э.; об этой поездке в Грецию и Малую Азию он рассказывает в «Бруте» (315). Цицерон бывал в Греции и позднее.

[53] *Перипатетики* — созданная Аристотелем философская школа (считается, что ее название происходит от греческого слова περίπατος, что означает «прогулка», так как Аристотель проводил занятия с учениками в рощах афинского Ликея); виднейшие перипатетики — Эвдем, Аристоксен, Теофраст.

[54] *Академики* — последователи Платона (Платон собирал своих учеников в саду, посвященном легендарному герою Академу, откуда созданная им философская школа получила название Академии, а его ученики и последователи стали называться академиками). Со времен античности принято различать древнюю и новую Академию.

[55] Данное место характеризует отношение Тацита к философскому учению *Эпикура*: не одобряя его в целом, он все же относился к нему терпимо и находил в нем кое-что приемлемым для себя.

[56] Сообщение об этом можно найти у Плутарха (Демосфен, 5), у Цицерона (Брут, 121; Об ораторе, I, 89), у Апулея (Апология, 15) и у других античных авторов.

[57] Цицерон. Оратор, 12.

[58] Так, например, отец Цицерона определил его в обучение к Квинту Муцию Сцеволе, а Целий стал учеником Цицерона; да и с Тацитом, судя по «Диалогу об ораторах» (2), дело обстояло подобным же образом.

[59] Имеются в виду *палки* с тупым концом, которыми пользовались для обучения фехтованию воинов и гладиаторов.

[60] См.: Цицерон. Об ораторе, III, 94.

[61] Аналогичные высказывания о школах риторов можно встретить и у других античных авторов, например у Плиния Младшего (Письма, VIII, 23), у Квинтилиана (Воспитание оратора, II, 2, 9) и др.

[62] *Свасории* — риторические упражнения, представлявшие собой размышления, вкладываемые в уста историческим лицам или (реже) мифологическим персонажам в какой-либо острой ситуации; *контроверсии* — также риторические упражнения, состоявшие в произнесении речей на надуманные, далекие от реальной жизни темы. Характеристику контроверсий см. также: Светоний. О грамматиках и риторах, 25.

[63] Ср.: Петроний. Сатирикон, 1.

[64] Речи на тему *о наградах тираноубийцам* широко практиковались в школах риторов, см.: Сенека Старший. Контроверсии, I, 7; II, 5; IV, 7;

VII, 6; IX, 4; Квинтилиан. Воспитание оратора, VII, 2, 3, 4, 7, 8 и др.; очевидно, в этом сказывались антимонархические тенденции в эпоху империи. Немало риторов было казнено или изгнано за вольномыслие Калигулой, Нероном и Домицианом.

[65] См.: Сенека Старший. Контроверсии, I, 5; II, 11; III, 5 и т. д. В I, 5 похищенная требует или предания смерти похитившего ее, или чтобы он женился на ней, не домогаясь приданого.

[66] См., например: Квинтилиан. Воспитание оратора, II, 10; Петроний. Сатирикон, 1, — речь идет о принесении в жертву богам ради их умилостивления и прекращения таким образом моровой язвы дочерей и сыновей видных лиц и т. п.

[67] См.: Сенека Старший. Контроверсии, I, 3; VI, 6; Квинтилиан. Воспитание оратора, VII, 8 и др.

[68] В этом месте в рукописях «Диалога об ораторах» большой пропуск (в некоторых рукописях указано, что отсутствует 6 листов, в других — 6 страниц). Таким образом, речь Мессалы лишена окончания. В главе 36 отсутствует начало речи Матерна или, как находят некоторые исследователи, Секунда.

[69] Т. е. в республиканский период.

[70] Т. е. жители провинций, обвинявших в злоупотреблениях римских правителей этих провинций.

[71] Например, Цицерон, после убийства Цезаря в 44 г. до н. э., вступивший в борьбу с Антонием (в то время Цицерон не занимал никаких официальных должностей), или Марк Лициний Муциан, обеспечивший императорскую власть Веспасиану, и др.

[72] Т. е. клиентуру в адвокатской практике.

[73] Эти сборники до нас не дошли.

[74] Так называлось в римском судопроизводстве предварительное определение, выносимое судьей (претором) впредь до окончательного решения дела на судебном разбирательстве, например интердикт об охране спорной собственности и т. п.

[75] По Порциеву закону воспрещалось казнить или подвергать бичеванию римских граждан: должностные лица, повинные в нарушении этого закона, могли быть привлечены (и порою привлекались) к суду.

[76] В 364 г. до н. э. *Демосфен* произнес в суде 5 речей против недобросовестных *опекунов*, присвоивших бóльшую часть оставленного ему и его сестре наследства, и выиграл этот процесс.

[77] Против *Катилины* Цицерон в 63 г. до н. э. произнес 4 речи.

[78] Против *Верреса* Цицероном в 70 г. до н. э. было написано 7 речей.

[79] Речи Цицерона против *Антония* (всего 14), называемые также «Филиппиками», относятся к 44—43 гг. до н. э.

[80] Речь идет о так называемых comperendinationes — трехдневных *отсрочках* для вынесения решения по не требующим доследования судебным делам.

[81] В 52 г. до н. э.

[82] Речь идет о так называемой paenula — дорожном *плаще* узкого покроя, стеснявшем движения оратора.

[83] Auditoria и tabularia — собственно залы для декламации и помещения для хранения архивов.

[84] Исследователи «Диалога об ораторах», считающие, что, начиная с 36 главы (см. примеч. 68) и вплоть до слов: «Мы беседуем не о чем-то спокойном...», — говорит Секунд, полагают, что и в этом месте недостает части текста, а именно — окончания речи Секунда и начала речи Матерна.

[85] Аналогичное высказывание см.: Цицерон. Брут, 50. Впрочем, о *критянах* Цицерон не упоминает.

[86] Ср.: Тацит. Анналы, III, 26.

[87] *Цицерон*, как известно, в течение 44 и 43 гг. до н. э. выступил с 14 речами против Антония, но после того как Октавиан помирился с Антонием, последний категорически потребовал внесения имени Цицерона в первый же проскрипционный список. Цицерон сделал попытку покинуть Италию морем, но из-за дурной погоды принужден был сойти с корабля, и 7 декабря 43 г. до н. э. его настигли и убили люди Антония. Голова и правая рука Цицерона были отрублены и отправлены Антонию в Рим.

ИСТОРИЯ

Книга первая

Январь — март 69 г.

[1] В Древнем Риме годы обозначались по имени консулов, правивших в первые месяцы года (так называемых ординариев). *Сервий Гальба* (уже с весны 68 г. провозглашенный императором) и *Тит Виний* были консулами с 1 января 69 г.

[2] Летосчисление в Риме велось «от основания города», заложенного, согласно легенде, в 753 г. до н. э.

[3] *Акций* (ныне Акти) — мыс на крайнем северо-западе Греции. Здесь 2 сентября 31 г. до н. э. произошло морское сражение, в котором Октавиан Август одержал победу над Марком Антонием. Историю Римской империи римляне предпочитали вести со дня битвы при Акции, хотя оформление нового политического строя относится к январю 27 г. до н. э.

[4] Мысль о том, что императорский строй — это цена, которую римский народ должен платить за относительное спокойствие и безопасность каждого гражданина, — одна из основных в политическом мировоззрении Тацита.

[5] Сервий Сульпиций *Гальба* — римский император после Нерона, 68—69 гг.

[6] *Отон* — римский император, сменивший Гальбу (15 января — 17 апреля 69 г.).

[7] *Вителлий* — римский император, сменивший Отона (убит 20 декабря 69 г.).

[8] Государственная служба Тацита проходила, таким образом, в основном при императорах династии Флавиев — *Веспасиане* (основатель династии, правил с 69 по 79 г.), его старшем сыне *Тите* (79—81 гг.) и младшем — *Домициане* (81—96 гг.).

[9] Принято считать, что при Веспасиане Тацит вошел в сенаторское сословие и был военным трибуном, Тит сделал его квестором, при Домициане Тацит был претором (в 88 г.) и, может быть, наместником провинции.

[10] *Нерва* — основатель династии Антонинов (принцепс в 96—98 гг.), *Траян* — преемник Нервы (98—117 гг.).

[11] Гальба, Отон, Вителлий, Домициан.

[12] Отона с Вителлием, Вителлия с Веспасианом, Домициана с Луцием Антонием — мятежным наместником провинции Верхняя Германия.

[13] В период ранней империи противоречия между рабовладельцами и рабами, между различными группами рабовладельцев, между Римом и провинциями, между империей и варварами переплетаются в один сложный клубок. Соответственно войны, в которых эти противоречия находили выражение, были «одновременно и гражданскими и внешними».

[14] *Иллирия* — горная страна на восточном побережье Адриатического моря, примерно совпадающая с территорией современной Югославии.

[15] *Галлия* — страна, охватывающая приблизительно территории современных Южной Франции (Нарбонская Галлия), остальной Франции и Бельгии (Волосатая Галлия) и Северной Италии (Циркумпаданская Галлия).

[16] Покорение *Британии*, начатое еще в 40-х гг. Веспасианом (тогда легатом легиона) и завершенное тестем Тацита Юлием Агриколой в 83 г., стоило Риму больших усилий и жертв. Домициан в 86 г. вывел из Британии стоявший там легион, что позволило местным племенам перейти в контрнаступление.

[17] Племенные объединения ираноязычных *сарматов* в I в. до н. э. проникают на Дунай. В правление Домициана сарматы уничтожили один римский легион (Светоний. Домициан, 6). При том же императоре сарматское племя язигов выступило против римлян в союзе с германским племенем *свебов*. В апреле 92 г. Домициан выступил против сарматов, нанес им сокрушительное поражение и в январе 93 г. вернулся в Рим.

[18] *Даки* — союз племен, живших на территории нынешней Румынии. В правление Домициана в 86 г. они разбили войска консуляра Оппия Сабина (консуляр — сенатор, ранее занимавший должность консула) и нанесли поражение выступившим против них легионам под командованием префекта претория Корнелия Фуска.

[19] В соответствии с восточными представлениями и верованиями Нерон воспринимался в провинциях Передней и Малой Азии скорее как бессмертное божество, чем как конкретный смертный человек. Это создавало благоприятную атмосферу для самозванцев, выдававших себя за Нерона, идущего мстить римским императорам. Лженероны появлялись на востоке вплоть до 20-х гг. II в. Об одном из них Тацит рассказывает подробно (II, 8). Здесь, скорее всего, имеется в виду Лженерон, появившийся среди парфян около 88 г.

[20] Извержение Везувия в конце августа 79 г. разрушило города Помпеи и Геркуланум. Кроме того, многие поселения на побережье *Кампании* (область в Средней Италии на западном побережье, к северу от Неаполя) были уничтожены лавой и горячими ливнями, а также затоплены морем, вышедшим из берегов в результате землетрясения, которым сопровождалось извержение.

[21] Рим горел часто. При Флавиях самым крупным был пожар 80 г.

[22] Во время сражения между легионерами Вителлия и солдатами городских когорт, которыми командовал брат Веспасиана Флавий Сабин зимой 69/70 г.

[23] В правление Домициана за нарушение обета безбрачия были казнены несколько жриц богини Весты.

[24] Скорее всего, намек на скандальную связь Домициана со своей племянницей Юлией, дочерью императора Тита и женой двоюродного брата Домициана Флавия Сабина.

[25] Римляне часто использовали как место ссылки маленькие скалистые острова Средиземного моря: Сериф, Гиар, Аморг, Церцину и самые страшные из них — Планазию (между Корсикой и побережьем Этрурии) и Пандатерию (к западу от Кум). Сосланных на острова нередко умерщвляли там по тайному приказу императора.

[26] Учение о *добродетели* как высшем и единственном подлинном благе, требовавшее безразличия к богатству и почестям, таило в себе оппозиционность по отношению к императорам, ибо утверждало внутреннюю свободу и независимость человека от властей вообще, от власти принцепса в частности. Учение это было распространено среди части сенаторов (Гельвидий Приск, Геренний Сенецион, Арулен Рустик и др.), которых Тацит и имеет здесь в виду. Многие из них были казнены: Гельвидий при Веспасиане, Сенецион и Рустик — Домицианом.

[27] Римское право не знало института государственных обвинителей, и роль эту брали на себя частные лица. Если обвиняемый бывал осужден, сенат мог присудить обвинителю четвертую часть имущества осужденного. Императоры, особенно начиная с Тиберия, широко использовали эту особенность римского права для уничтожения своих политических противников. Толпы молодых провинциалов избирали этот путь к карьере, не останавливаясь перед клеветой и лжесвидетельством. Многие из них добивались своего и проникали в сенат. Трижды консулы (Вибий Крисп), префекты претория (Тигеллин), известные писатели (Силий Италик) нередко выступали в роли доносчиков. Надо отметить, что доносительством и своекорыстием деятельность этих людей не исчерпывалась. Во многих случаях они были убежденными сторонниками императорского строя и играли роль его политического резерва.

[28] Дважды консулами были, например, знаменитые доносчики Эприй Марцелл (в 62 и 74 гг.) и Катулл Мессалин (в 73 и 85 гг.). Членом жреческой коллегии квиндецимвиров (и трижды консулом) был не менее знаменитый Фабриций Вейентон.

[29] Так, известный при Домициане доносчик Бебий Масса был прокуратором Африки и наместником в Испании. Проконсулом Азии был Силий Италик.

[30] Долабеллу, например, оговорил его близкий друг Планций Вар; Сорана — его учитель и друг Целер.

[31] Так, Фанния Младшая, дочь Тразеи Пета, дважды следовала в изгнание за своим мужем Гельвидием Приском, народным трибуном 56 г., претором 70 г.

[32] Гальбу провозгласили императором войска Тарраконской Испании, наместником которой он был с 61 г.

[33] Преторианские когорты — собственно, личная охрана полководца — были превращены Августом в привилегированный корпус, являвшийся той реальной силой, опираясь на которую императоры могли осуществлять военную диктатуру в Риме. Пользуясь многочисленными льго-

тами, часто получая денежные подарки, преторианцы были полностью преданы принцепсу.

[34] Летом 68 г. Гальба, находясь еще на пути к Риму, назначил префектом претория Корнелия Лакона. Не желая мириться со своей отставкой, Сабин убедил преторианцев провозгласить его императором. Часть солдат, однако, не последовала за ним, заговор был сорван, и Нимфидий убит.

[35] *Тит Виний* Руфин — легат Гальбы во время наместничества его в Испании, после провозглашения Гальбы императором — его фаворит и ближайший советник. *Корнелий Лакон* — см. примеч. 34.

[36] Публий *Петроний Турпилиан* — ординарный консул 61 г., в 61—63 гг. легат в Британии. Успешное подавление восстания в этой провинции принесло ему знаки отличия триумфатора и славу полководца, сочетающего военные таланты с дипломатическими.

[37] Весной 68 г. Нерон, готовясь к войне с Виндексом, сформировал из солдат морской пехоты новый легион. Служба легионеров была более выгодной и почетной, чем служба моряков, и поэтому они обратились к Гальбе при вступлении его в столицу с просьбой подтвердить их новое положение. Тот, усмотрев в этом бунт, бросил на них отряд конницы, а после велел казнить каждого десятого; уцелевшие были заключены в тюрьму.

[38] *Альбаны* — кавказский народ, живший по юго-западному побережью Каспийского моря.

[39] Луций *Клодий Макр* — в 68 г. легат провинции Африка, пытавшийся поднять восстание против Нерона и отказавшийся подчиниться Гальбе.

[40] Гай *Фонтей Капитон* — консул 67 г., в 68 г. — наместник Нижней Германии.

[41] *Прокураторами* при империи назывались, в частности, чиновники, ответственные за сбор налогов в императорскую казну с населения данной провинции. Назначенные императором и ответственные только перед ним, они наблюдали здесь за деятельностью наместника — сенатора, и фактически ограничивали ее.

[42] Слово *легат* употреблялось в Риме в I в. в нескольких значениях. Здесь легат — назначаемое сенатом лицо для помощи наместнику данной провинции.

[43] Марк *Клувий Руф* — консул-суффект 45 г., наместник Тарраконской Испании, сменивший на этом посту Гальбу в 68 г. Известен главным образом как оратор и историк, написавший историю Рима от Калигулы до 69 г. Тацит, очевидно, пользовался этим сочинением как одним из главных источников при описании событий 69 г.

[44] В 48 г. члены наиболее знатных галльских семей получили право полного римского гражданства, открывавшее им дорогу в сенат. Гальба распространил это право на все племена, активно поддержавшие его самого и Виндекса во время восстания 68 г. Он же даровал этим племенам освобождение от $^1/_4$ части податей.

[45] Восточные галлы, выступившие во время восстания Виндекса на стороне подавлявших этот мятеж верхнегерманских легионов, не только не получили от Гальбы никаких льгот, но и были лишены им части своих земель.

[46] Над Виндексом.

[47] Луций *Вергиний* Руф (14—97 гг.) — трижды консул (в 63, 69 и 97 гг.), в 69 г. отклонил императорскую власть, которую предлагали ему солдаты.

После прихода Гальбы к власти Вергиний отдал легионы, которыми он командовал как наместник Верхней Германии, «в распоряжение сената и римского народа», перейдя в оппозицию к новому принцепсу. Представитель новой, созданной императорами, провинциальной знати, талантливый полководец, Вергиний Руф пользуется симпатиями Тацита. Тацит же произнес над ним в 97 г. посмертную похвальную речь.

[48] Т. е. рядовых солдат; Капитона убили легаты — командиры легионов.

[49] Легат Верхней Германии, назначенный Гальбой и сменивший на этом посту Вергиния Руфа.

[50] Т. е. *Клодия Макра*, римского военачальника, поднявшего в 68 г. восстание против Нерона, отказавшего в повиновении Гальбе и казненного им. Отличался жестокостью и алчностью.

[51] Римские провинции в Северной Африке: западная — Мавритания Тингитанская, с центром в Тинги (ныне Танжер), и восточная — Мавритания Цезарейская, с центром в Йоле (ныне Алжир).

[52] Собственно *Реция* — римская провинция, охватывавшая современный Тироль до Граубюндена. В данном случае это название распространялось и на провинцию Винделицию, т. е. на более северные земли, вплоть до Дуная (нынешняя Южная Бавария).

[53] *Норик* — провинция, лежавшая между Паннонией (современная Центральная и Западная Венгрия) и Рецией, ограниченная на севере Дунаем, на юге — восточными отрогами Альп.

[54] Римская провинция, территория которой примерно соответствует современной Болгарии.

[55] *Виний* покровительствовал Отону и добивался, чтобы Гальба усыновил его. Мысль Тацита состоит здесь в том, что люди, предназначавшиеся молвой в преемники Гальбе, радовались не только за себя, но и тому поражению, которое нанесло бы усыновление их Гальбой Винию и Отону.

[56] В пору ранней империи Рим в государственно-правовом отношении продолжал оставаться республикой, и свой императорский аппарат управления складывался исподволь на протяжении всего I в. Долгое время его роль играла «фамилия» принцепса — члены его семьи, слуги, вольноотпущенники. Последние нередко приобретали значительное влияние на императоров, а вместе с ним и огромную власть.

[57] По закону Юния от 17 г. до н. э. отпущенные на волю рабы получали не римское гражданство, а гражданство латинских колонистов, что лишало их возможности занимать государственные должности. Чтобы обойти это препятствие, императоры иногда жаловали своим отпущенникам всадническое достоинство и его символ — золотое кольцо.

[58] *Октавия* Клавдия (42—62 гг.), дочь императора Клавдия и первая жена Нерона.

[59] Римская провинция в юго-западной части Пиренейского п-ова.

[60] *Марий Цельз* был связан с окружением Корбулона, на помощь которому он в 63 г. привел из Паннонии легион. В 69 г. он до конца оставался верен Гальбе, затем так же до конца Отону.

[61] *Префект города* (Рима) — одна из магистратур, шедших вразрез со старыми республиканскими формами управления: он назначался принцепсом на неопределенный срок, был ответственен только перед ним, имел в своем распоряжении войска (городские когорты), мог единолично выно-

сить приговоры по уголовным преступлениям. Главная его обязанность — охрана порядка в Риме.

[62] Луций Кальпурний *Пизон* Фруги *Лициниан* происходил по отцу от Лициния Красса, триумвира, коллеги Юлия Цезаря и Гнея Помпея. Мать его, Скрибония, была внучкой Секста Помпея, сына Гнея Помпея Великого.

[63] *Рубеллий Плавт* — сын Рубеллия Бланда и внучки Тиберия Юлии.

[64] Один из древнейших патрицианских родов Рима, из которого по отцу происходил Гальба.

[65] Один из древнейших патрицианских родов Рима. Мать Гальбы была по женской линии внучкой Квинта Лутация Катула, знаменитого вождя партии оптиматов в 70-е гг. I в. до н. э.

[66] Имеются в виду Гай Цезарь и Луций Цезарь, сыновья Марка Агриппы и дочери Августа Юлии, усыновленные Августом в 17 г. до н. э.

[67] Красс Скрибониан.

[68] Пизону в 69 г. было 30 лет.

[69] См. гл. 48.

[70] Легионы, расположенные в Верхней Германии.

[71] Трибуна для ораторских выступлений на форуме, украшенная носами кораблей в память о морской победе консула Гая Мения в 338 г. до н. э.

[72] Холм в центре Рима, с которого началось историческое развитие города. В императорскую эпоху он был сплошь застроен дворцами принцепсов, и само название его стало обозначать «дворец», «резиденция императора».

[73] 10 января 69 г. Идами называлось полнолуние, середина месяца. В январе они приходились на 13 число.

[74] Верхнегерманских легионов. См. гл. 12.

[75] Офицеры, которых было по шесть в каждом легионе.

[76] Фамильное имя Гая *Цезаря* уже со времен Августа превратилось в титул, который носил каждый мужчина — член императорской семьи по крови или по усыновлению.

[77] *Всадники* — первоначально граждане, являвшиеся в армию со своим боевым конем, уже со II в. до н. э. превратились в сословие — финансовую аристократию, пользовавшуюся в эпоху принципата поддержкой и покровительством императоров.

[78] *Городскую стражу* во времена Тацита составляли семь когорт, отвечавших за борьбу с пожарами и спокойствие города ночью.

[79] В Риме, где различные формы гаданий и толкований будущего были издавна крайне распространены, звездочеты появились уже в конце республики, преимущественно из восточных провинций. Императоры часто обращались к их услугам, однако, опасаясь, что они могут быть использованы противниками, и учитывая, что восточные суеверия с точки зрения официальной идеологии осуждались, они неоднократно изгоняли звездочетов. Тацит особенно презирал звездочетов за то, что они нередко выступали как свидетели обвинения в процессах, возбуждавшихся доносчиками против неугодных императору лиц.

[80] Скорее всего, это тот же астролог, которого Светоний (Отон, 6) называет Селевком.

[81] Преторианцы сопровождали Нерона во время его поездки по Греции, которая называлась *Ахайей* в 66—67 гг.

[82] Софоний (Офоний?) *Тигеллин* — фаворит Нерона, с 62 г. префект претория, приобретший почти неограниченную власть после разгрома заговора Пизона в 65 г. Его интриги и доносы погубили многих значительных людей, он сыграл решающую роль в устранении Октавии (дочери Клавдия и первой жены Нерона). См. его характеристику в гл. 72.

[83] *Сестерций* — серебряная монета достоинством в 4 асса.

[84] *Префект* претория, т. е. Корнелий Лакон.

[85] Старший солдат, передававший войсковым подразделениям от командующего «тессеру» — четырехугольную табличку с написанным на ней паролем.

[86] *Опцион* — заместитель центуриона или декуриона, примерно соответствует современному командиру отделения.

[87] *Календами* назывались первые дни лунного месяца. События, описываемые в этой и последующих главах, происходили 15 января 69 г.

[88] *Гаруспиками* назывались гадатели по жертвам и истолкователи знамений. Со времен императора Клавдия они были приравнены к жрецам.

[89] Дом Тиберия занимал северо-восточную часть Палатинского холма. Выйдя из храма, Отон, чтобы усыпить подозрения, пошел на запад, т. е. в сторону, противоположную преторианскому лагерю. Продолжая этот маневр, он спустился еще дальше к западу, в торговый район между форумом и Золотым Домом Нерона, и лишь здесь круто повернул на северо-восток, к храму Сатурну. По дороге к этому храму, в северо-западном углу форума, и находился покрытый золоченой бронзой верстовой столб, считавшийся началом всех дорог Италии.

[90] *Портик* — т. е. обведенный крытой колоннадой сад, сооруженный с 26 г. до н. э. Марком Випсанием Агриппой, другом и полководцем императора Августа, на Фламиниевой дороге, между форумами и восточной оконечностью Марсова поля.

[91] *Примипилярием* назывался старший по должности из 60 центурионов легиона, назначавшийся за особые заслуги, опытность и храбрость; примипилярий входил в число членов военного совета легиона и получал при назначении всадническое достоинство.

[92] Атриум — здесь: передний зал в храме. *Атриум Свободы* был построен Азинием Поллионом во время правления Октавиана Августа.

[93] Понятие римского народа у Тацита двоится: рядом с «народом» как идеальным носителем величия и мощи Рима появляется «чернь» — деклассированные провинциалы, не являющиеся рабами, но и не относящиеся к римскому народу как носителю государственного суверенитета, беспринципная, продажная, подверженная случайным настроениям и разрушительная в своей слепой ярости масса.

[94] *Обультроний Сабин* — квестор эрария (государственной казны); *Корнелий Марцелл*, квестор и позже проконсул Сицилии, обвинялся при Нероне в государственной измене, но сумел избежать смерти. *Бетуй Цилон* в других источниках не упоминается.

[95] Поликлит — вольноотпущенник Нерона.

[96] Ватиний — сапожник, потом шут, наконец — приближенный Нерона, один из самых богатых и влиятельных людей при его дворе.

[97] Находившийся в центре Рима Капитолийский холм имел две вершины, на одной из которых находилась главная святыня Древнего Рима —

храм Юпитеру Сильнейшему и Величайшему, а на другой — крепость. Поэтому, овладев Капитолием, Гальба располагал бы важным преимуществом — и моральным, и военно-стратегическим.

[98] *Базилика* — помещение для судебных заседаний или торговых сделок, состоявшее из центрального зала и 2 или 4 боковых, отделенных колоннами.

[99] *Аршакиды* — династия парфянских царей (III в. до н. э. — III в.). Из нее происходили царь *Вологез*, управляющий Парфией при Клавдии и Нероне, и его брат *Пакор*, правитель Мидии, воевавший с римлянами.

[100] В легионах свой вымпел или значок полагался каждой манипуле (т. е. воинскому подразделению, включавшему две когорты), у преторианцев, однако, свой особый значок имела каждая когорта. На древке такого вымпела, или значка, укреплялся медальон с рельефным поясным изображением императора.

[101] *Бассейн Курция* находился в центре форума и был одним из 700 бассейнов, в которые по акведукам и из источников поступала вода для населения Рима.

[102] *Храм божественному Юлию* был сооружен императором Августом в юго-восточной части форума, на месте погребального костра Юлия Цезаря, который был причислен к богам.

[103] Культ *Весты*, богини огня на очаге, был учрежден вторым римским царем Нумой Помпилием (715—672 гг. до н. э.). Храм богини находился в юго-западной части форума, между домом Помпея и сгоревшей при пожаре 64 г. Юлиевой курией.

[104] Старший среди преторов, которых в I в. бывало от 12 до 18. Созыв сената входил в обязанности консулов, но, поскольку и Гальба, и Виний были убиты, сенаторов собирает городской претор.

[105] Слово *Август* римляне связывали со словами «прорицатель», «жрец», «толкователь божественной воли» и «растить», «возвеличивать», что указывало на связь человека, этим именем обозначенного, с божественным началом, с миром богов. Оно было присвоено Октавиану сенатским постановлением 16 января 27 г. как часть титулатуры императоров, призванной указывать на божественный характер их власти, и присваивалось сенатом каждому принцепсу.

[106] Списки, в которые вносили людей, объявленных вне закона.

[107] Гай *Кальвизий Сабин* — консул 26 г., наместник Паннонии при Калигуле. После описанного ниже скандала против него и его жены было возбуждено судебное дело. Не дождавшись приговора, оба обвиняемых покончили с собой.

[108] Это место и все, сказанное выше, дает нам возможность установить основные этапы карьеры *Виния* — человека, о котором мы знаем довольно мало. Он, видимо, был легатом в провинции еще до претуры. О быстром и успешном прохождении службы говорит и назначение Виния командиром легиона: стать после претуры командиром легиона было несравненно почетнее, чем получить должность пропреторского легата. Не менее импозантно и завершение карьеры — проконсульство в богатейшей сенатской провинции.

[109] *Диспенсатором* назывался раб, ведавший хозяйственными расходами и денежной отчетностью.

[110] *Патробий* был вольноотпущенник Нерона, стяжавший своими преступлениями всеобщую ненависть. Гальба казнил его. Когда один рядовой солдат принес голову Гальбы Отону, тот велел отдать ее обозным слугам. У них-то и выкупил ее отпущенник Патробия, чтобы бросить в Сессории, месте, где казнили преступников по приказу Цезарей и где, в частности, был казнен его патрон.

[111] Римская провинция, с центром в нынешней Таррагоне.

[112] Видя одно из худших следствий императорского режима в безразличии к судьбам государства, Тацит считал одним из основных достоинств римлянина «принимать к сердцу дела государства». На этом у Тацита основана высокая оценка таких людей, как Юлий Агрикола, Корбулон, Гельвидий Приск и др.

[113] *Фарсалия* — город в Северной Греции, где 9 августа 48 г. до н. э. Цезарь одержал решительную победу над Гнеем Помпеем. В г. *Мутине* (на севере Италии) в 44—43 гг. Деций Брут в течение четырех месяцев выдерживал осаду Марка Антония. При *Филиппах* (в Северной Греции) в 42 г. Октавиан Август и Марк Антоний уничтожили основные силы антицезарианцев во главе с Брутом и Кассием. Город *Перузия* в Средней Италии был во время гражданских войн сожжен войсками Октавиана.

[114] *Центурия* — подразделение пехотных войск, *эскадрон* (ala) — подразделение кавалерии.

[115] Прежде всего, белги и тревиры.

[116] Племена Центральной Галлии, издавна связанные с Римом союзными отношениями и занимавшие привилегированное положение среди других галльских племен.

[117] Теперешний Лион; центр провинции — Лугдунская Галлия; римская колония с 43 г. до н. э. Нерон пожертвовал этой колонии 4 млн. сестерциев на восстановление города после постигшего ее большого бедствия, характер которого точно не известен.

[118] Авл *Алиен Цецина* командовал легионом в Верхней Германии, Гай *Фабий Валент* — в Нижней. О роли, сыгранной ими в гражданской войне, и последующей судьбе обоих много говорится далее.

[119] См. гл. 8.

[120] Помощник наместника провинции, ведавший главным образом финансами. *Бетика* — сенатская провинция в южной части Пиренейского п-ова.

[121] Имеются в виду кельтские племена Северо-Восточной Галлии. *Лингоны* жили в верховьях Марны, Мааса и по обоим берегам Сены, *тревиры* — по течению реки Мозель.

[122] Со времен Тиберия 1 января каждого года все войска империи приносили присягу на верность императору. За несколько месяцев до этого легионы уже присягали Гальбе.

[123] В Нижней Германии, в земле племени убиев. Ныне Кёльн.

[124] 7 января 69 г. *Нонами* назывался девятый день перед идами, т. е. срединными днями месяца (в январе ноны приходились на 13-е число).

[125] Императоры I в. не имели аппарата для управления империей, и такие важнейшие функции, как государственная переписка, прием прошений и ответы на них, финансы и отчетность, поручались вольноотпущенникам Цезарей. Вителлий первый придал этим обязанностям государственный характер, назначив для их исполнения всадников, людей, не имевших

отношения к его семье. Окончательно эта практика закрепилась лишь при Адриане (117—138 гг.).

126 *Юлий Цивилис,* служивший в римской армии батав, был братом казненного Юлия Павла, неоднократно арестовывался и вообще подозревался римлянами в измене. В 69 г. под его руководством вспыхнуло большое восстание галлов, батавов и германцев против Рима.

127 По всей вероятности, сын дважды консула Валерия Азиатика, чья гибель описана Тацитом в «Анналах» (XI, 1—3), поддерживал восстание Виндекса.

128 Название происходит от имени основателя этой воинской части Статилия Тавра, проконсула Африки.

129 *Требелий Максим* — консул-суффект 56 г., в 61 г. проводил ценз во всех трех галльских провинциях, в 63—69 гг. — наместник Британии, в 72 г. — глава жреческой коллегии Арвальских братьев.

130 К *Вителлию* бежал изгнанный британскими войсками Требеллий Максим. Остается непонятным, как при этом к тому же Вителлию перешли и сами британские войска.

131 *Котскими Альпами* называлась горная цепь, отделяющая Дофине во Франции от Пьемонта в Италии. Здесь имеется в виду горный проход в районе Мон-Женэвр.

132 Перевал через Большой Сен-Бернар.

133 Об обычае вводить в титулатуру римских императоров собственные имена основателей династии Юлиев — Клавдиев см. примеч. 105. Нерон Клавдий *Германик* (15 г. до н. э. — 17 г.), внук Августа и племянник Тиберия, пользовался исключительной славой и любовью всего народа.

134 Ныне Мец.

135 Крупное кельтское племя, жившее в Бельгийской Галлии по среднему течению р. Мозель, южнее племени тревиров.

136 Кельтское племя *левков* занимало в Бельгийской Галлии земли между Марной и Мозелью.

137 *Жители Лугдунума* (Лиона) были преданы Нерону и видели в Вителлии мстителя за него.

138 *Виенна* — город на юге Франции, получил при Калигуле статус «колонии римских граждан», а жители его тем самым — все права римского гражданства.

139 Рона.

140 Изначально у римлян не было обыкновения изображать богов в виде статуй и их чтили с помощью примитивных, связанных с природой обрядов, в частности, украшая шерстяными лентами древесные стволы.

141 Кельтские племена. *Аллоброги* жили между Изерой, Роной, Женевским озером и Альпами, *воконтии* — в Провансе, в районе теперешнего г. Вэзона.

142 Ныне г. Люк в провинции Дофинэ.

143 Территория *гельветов* была ограничена Юрой, Роной, Женевским озером и верхним Рейном.

144 В Восточной Юре.

145 Ныне Аванш в Швейцарии.

146 По всей вероятности, названная так по имени создателя ее — Гая Силия, пропреторского легата Верхней Германии во времена Тиберия.

147 Ныне Милан, Новара, Ивера и Верчелли в Северной Италии.

[148] Гл. 45.

[149] Синуесские воды — горячие источники в Кампании, очень модные в ту эпоху.

[150] План *Макра* заключался в том, чтобы лишить Рим зерна, поступавшего в столицу главным образом из африканских провинций, и вызвать волнения, которые опрокинули бы Гальбу.

[151] Вителлий был провозглашен императором на две недели раньше Отона.

[152] Луций Сальвий Отон *Тициан* — старший брат Отона, консул 52 г., проконсул Африки в 65 г. (квестором его в этой провинции был Юлий Агрикола, тесть Тацита), во второй раз консул в 69 г.

[153] *Далмация* — другое название Иллирии; *Мёзией* назывались две римские провинции (Верхняя и Нижняя Мёзия), тянувшиеся узкой полосой по южному берегу Дуная примерно от впадения р. Савы до Черного моря. *Паннония* — римская провинция, находившаяся на территории современной Венгрии.

[154] *Аквитания* занимала крайний юго-запад современной Франции. *Юлий Корд* — наместник этой провинции.

[155] *Помпей Вописк* либо был родом из *Виенны*, либо владел в ее окрестностях большими имениями.

[156] Обычно срок полномочий каждой пары консулов (так называемый нундинум) составлял 4 месяца. Отон сократил нундинум первых двух пар до двух месяцев, но сохранил на два остальных четырехмесячных нундинума кандидатов, выдвинутых Нероном и Гальбой. Вителлию, когда он стал принцепсом, нужно было найти время для консульства Цецины и Валента (II, 71), фактически приведших его к власти. Однако и он не стал менять назначений, произведенных его предшественниками, лишь сократив вдвое оба нундинума. Таким образом, конец года оказался свободным, и на сентябрь — октябрь консулами стали Цецина и Валент.

[157] *Кадий Руф* был при Клавдии наместником провинции Вифиния и был осужден в 49 г. за вымогательство. *Педий Блез*, наместник на Крите, осужден за вымогательство при Нероне.

[158] Колония в Бетике, ныне Севилья.

[159] Колония в Лузитании, ныне г. Мерида в Эстремадуре (Испания).

[160] Скорее всего, ошибка в рукописи: *лингоны* выступали на стороне Вителлия, и награждение их Отоном понять невозможно.

[161] Римская провинция в Малой Азии.

[162] Вторая жена Нерона, обожествленная по его приказу после смерти. Статуи Поппеи были уничтожены во время народных волнений 62 г.

[163] В императорскую эпоху было принято присуждать полководцам, одержавшим важную победу, не триумф как таковой, а лишь «триумфальные знаки отличия». В их число входила и статуя полководца, которую увенчивали лавровым венком и одевали в одежду триумфатора. Сам триумф присуждался, как правило, лишь императорам.

[164] *Консульские знаки отличия* состояли из тоги с широкой пурпурной полосой по краю и курульного кресла.

[165] *Остия* — город при впадении Тибра в море, игравший роль порта Рима.

[166] *Префект легиона* был заместителем легата и ведал, в основном, по-

рядком в лагере. *Вителлий Сатурнин* был префектом единственного легиона, находившегося в это время в Риме.

[167] Речь идет о примыкавшем к самой реке, застроенном многоэтажными доходными домами Бычьем рынке, о Велабре, густо заселенной глубокой долине между Палатином и Капитолием, и об Этрусской улице, где была сосредоточена торговля предметами роскоши. Задетыми оказались и другие кварталы, примыкавшие к форуму с запада и северо-запада.

[168] *Фламиниева дорога* шла от форума на северо-запад, выйдя из Рима, сворачивала к северу и, пересекая полуостров, выходила к Адриатическому морю возле города Фанум Фортунэ (между теперешними Анконой и Римини).

[169] Гай *Светоний Паулин* — один из крупнейших римских полководцев I в., одержал крупные победы в Африке в 43 г. и в Британии в 59—61 гг. *Анний Галл* — при Нероне консул-суффект, впоследствии принимал участие в подавлении восстания Цивилиса. О *Марии Цельсе* см. примеч. 60.

[170] Город в Лациуме, ныне Аквино.

[171] Выходец из очень древней и знатной семьи. Жизнь и смерть этого человека, не отличавшегося, в сущности, ничем, кроме родовитости, характерная для судьбы старой аристократии в эпоху Юлиев — Клавдиев и Флавиев. Его гибель описана в II, 64.

[172] Брат Авла Вителлия.

[173] Речь идет о 12 *священных щитах*, с которыми жрецы-салии ежегодно в марте месяце совершали свои священные пляски. В конце месяца щиты снова водворялись на место в куриях салиев на Палатине и на Квиринале, одном из холмов Рима.

[174] Консул 68 г., известный оратор. Вителлий простил ему близость к Отону по настоянию своей жены Галерии, родственницы Трахала.

Книга вторая

Март — сентябрь 69 г.

[1] Веспасиан и Тит.

[2] Домициан.

[3] Дочь иудейского царя Агриппы Ирода, жена понтийского царя Полемона; расставшись с последним, жила при дворе своего брата Агриппы II. Тит влюбился в нее во время своего пребывания в Иудее, позже призвал ее в Рим и собирался на ней жениться, но отказался от этого намерения под влиянием общественного мнения.

[4] Т. е. находившийся в Пафосе, городе на западной оконечности Кипра.

[5] Сын Аполлона, по некоторым мифам — отец Адониса.

[6] Киликия — область на юге Малой Азии.

[7] Жертвенного животного.

[8] Т. е. принципат.

[9] Антиоха в Коммагене (на верхнем Евфрате), Агриппы в Иордании, Сохема в Софене (Юго-Западная Армения).

[10] См. примеч. 19 к книге I.

[11] На северном побережье Малой Азии.

[12] *Нерон* считал себя выдающимся музыкантом и много раз выступал в театрах и на музыкальных состязаниях.

[13] Ныне Термия — один из западных островов Кикладской группы, к югу от о. Кеоса.

[14] *Памфилия* — с 25 г. до н. э. римская провинция на южном побережье Малой Азии, в состав которой с 43 г. вошла и соседняя Ликия. *Галатия* — в центре Малой Азии.

[15] Судно с тремя рядами гребцов.

[16] *Триерарх* — командир триремы.

[17] Выдающийся оратор, доносчик, составивший за счет своих жертв огромное состояние. Происходил из древнего сабелльского рода, был трижды консулом, в 62, 77 и 83 (?) гг., умер глубоким стариком, окруженный почетом, в 92 г.

[18] В эпоху Домициана — фактически нет.

[19] Вибий Секунд — прокуратор одной из мавританских провинций.

[20] *Вестриций Спуринна* (род. ок. 25 г.) во время отонианской войны оборонял Плаценцию от вителлианцев. Командовал войсками в Германии, где нанес крупное поражение бруктерам, получив за это триумфальные отличия, в 92 г. стал консулом во второй раз. Первый раз стал им при Веспасиане.

[21] *Сведий Клемент* командовал обоими стоявшими в Египте легионами, позже был трибуном когорты (городской или преторианской) в Риме.

[22] Небольшая сенатская провинция на крайнем северо-западе Италии (создана Августом в 14 г. до н. э.).

[23] Просторечное название города, ныне — Вентимилия в Лигурии. Лигуры — народ, живший в описываемую эпоху на северо-западе Италии в пределах современной Генуэзской области.

[24] Не исключено, что в этой главе Тацит описал гибель своей внучатой тещи, матери Юлия Агриколы.

[25] Поселения римских колонистов на территории Нарбонской провинции.

[26] Вспомогательные когорты, набранные в племенах тунгров — германцев, живших по левому берегу нижнего Рейна.

[27] *Антиполис* — колония г. Массилии, ныне Антиб в Южной Франции. *Альбингаун* — ныне Альбенга в Северо-Западной Италии.

[28] Скоростные парусники, введенные в состав римского флота после битвы при Акции и игравшие в нем роль привилегированных судов особого назначения. Они были длиннее и уже обычных римских судов и заострены с обоих концов.

[29] См. примеч. 146 к книге I.

[30] *Плаценция* — ныне Пьяченца, на правом берегу р. По. *Тицин* — ныне Павия, на левом берегу той же реки.

[31] Т. е. в землях к югу от р. Пад (ныне По).

[32] Традиционная одежда римлян состояла из туники и тоги. *Тога* была в их глазах не только одеянием, спасавшим от холода, но и символом принадлежности к «хозяевам вселенной». Цецина был одет как галл. Разговаривая в таком виде с облаченными в тоги магистратами, он как бы ставил варварские обычаи и нравы выше римских.

[33] Речь идет о боевом пении, называвшемся у германцев «бардит». По этому пению судили об исходе предстоящей битвы.

[34] Сражения отонианцев с вителлианцами и вителлианцев с флавинцами.

[35] О Сальвии *Тициане* см. примеч. 152 к книге I.

[36] Сын царя Коммагены Антиоха, оказавшийся в начале гражданских войн в Риме и принявший в них участие на стороне Отона.

[37] *Трибуналом* в римском военном лагере называлось возвышение, с которого командующий обращался к солдатам. Оно находилось перед шатром полководца на одной площадке с алтарем, т. е. было центром жизни лагеря.

[38] *Вителлий* — сын Луция Вителлия, одного из самых ловких и влиятельных царедворцев императора Клавдия. Своей карьерой был целиком обязан славе отца. Императоры относились к нему благосклонно, т. к. он разделял пороки каждого из них.

[39] Прославившись при дворе Нерона своей жестокостью, распутством и наглостью, *Отон* проявил себя при этом как деятельный магистрат и в течение многих лет прекрасно управлял доверенной ему провинцией Лузитанией.

[40] Видимо, речь идет о восстании Цивилиса, которое в действительности началось несколькими месяцами позже.

[41] Территория, ограниченная с юга Падом, с остальных сторон — Альпами.

[42] Ныне Брезелло, на правом берегу По, в 35 км от Бедриака.

[43] Тех самых *гладиаторов*, которыми командовал Марций Макр и о которых шла речь в гл. 23.

[44] Содержание этой и следующих глав в общем совпадает с гл. 9 в Плутарховой биографии Отона.

[45] Видимо, Тацит понимает под «буйными трибунами» не только популяра Луция Апулея Сатурнина, но и братьев Гракхов.

[46] Август положил конец гражданским войнам, вернул Риму мир и восстановил древние республиканские институты, поруганные во время междоусобных распрей, объединив в своих руках в интересах мира и укрепления власти все основные магистратуры. Так установился принципат, обеспечивающий империи в целом мир и спокойствие. Комментируемая глава занимает важное место в этой эволюции, т. к. здесь, судя по всему, меняется общая оценка принципата и о нем впервые говорится как об эпохе междоусобных распрей, непосредственно продолжающих гражданские войны I в. Ср., впрочем, общую характеристику принципата в начальных главах «Анналов» и заключительных главах «Диалога об ораторах».

[47] Ныне р. Адда.

[48] Неясно. Расстояние между Бедриаком, где стояли отонианцы, и Кремоной, под стенами которой находился лагерь вителлианцев, составляло во время Тацита 20 римских миль (29,6 км). Перенеся лагерь на 4 мили от Бедриака (гл. 39), солдаты Отона оказались в 16 милях от Кремоны, а не от устья Адды, находящегося от города еще в 7 милях к западу. Очевидно, первую фразу гл. 40 надо понимать так, что устье Адды было конечной целью всего похода отонианской армии. Поход был рассчитан на несколько дней, и 16 миль предстояло пройти лишь за первый день. Как могли Цельз и Паулин предвидеть, что противник, двинувшись им наперерез, встретится с ними именно в 4 милях от своего лагеря, остается непонятным.

[49] Использовать нумидийцев в качестве гонцов было в обычае у римской знати того времени.

[50] Утвердиться в положении принцепса.

[51] Постумиева дорога, шедшая от Кремоны до Бедриака и здесь разделявшаяся на две — к Мантуе и к Вероне.

[52] Префект лагеря (см. гл. 29).

[53] Около 12 римских миль, или 17,5 км (см. примеч. 48).

[54] Камни, которые ставились на римских дорогах через каждую милю. Вителлианцы, таким образом, остановились в одной миле от отонианского лагеря. См. гл. 39 и примеч. 48.

[55] Т. е. не сооружая лагеря. Битва началась для вителлианцев неожиданно, и у них не было с собой ни лопат, ни палаток.

[56] Мария Цельза и Анния Галла.

[57] Ныне *Аквилея*, или, по-местному, Аглар, на северном побережье Адриатического моря, в 180 римских милях (266 км) от Бедриака.

[58] Кратчайший путь из Брикселла в Кремону, где находилась штаб-квартира вителлианцев, шел вверх по Паду.

[59] Имя *Сервий* было традиционным в роду Сульпициев, из которого происходил Гальба.

[60] Кокцеяна погубило родство с Отоном. Домициан казнил его, придравшись к тому, что Кокцеян праздновал день рождения своего дяди.

[61] Как бывший командующий германскими легионами, ныне составлявшими ядро армии Вителлия. См. о нем: I, 8 и примеч. 47 к книге I.

[62] В Этрурии. Его следует отличать от Ферентина в Лации.

[63] *Консуляром* назывался сенатор, который однажды уже исполнял обязанности консула.

[64] *Позорный поступок* — убийство Гальбы, *благородный* — добровольная смерть.

[65] На Эмилиевой дороге, между Пармой и Мутиной, к югу от Брикселла. Ныне Реджио.

[66] Командовал (вместе с Петронием Турпилианом) армией, посланной весной 68 г. Нероном против Гальбы, но, прибыв в Испанию, перешел на сторону нового императора. Служил посредником во время переговоров Цецины с братом Веспасиана, Флавием Сабином.

[67] Ныне Модена.

[68] Члены местного сената, управлявшие делами своего города. Обычно их было около 100.

[69] Официальное и торжественное наименование римских сенаторов. Обращаясь к ним таким образом, декурионы рассматривали их как высший орган государственной власти, тогда как именно этого сенаторы в данный момент изо всех сил старались избежать.

[70] Тит Клодий *Эприй Марцелл* — оратор и государственный деятель, доносчик, рано сумевший добиться сенаторских должностей. Выпросив себе должность претора, получил возможность добиваться управления провинциями и консульства. Наместником он был трижды, в 57 г. был обвинен в вымогательстве, но осужден не был. В 79 г. было обнаружено его участие в заговоре против Веспасиана и его карьере пришел конец. Он должен был покончить с собой. Был одним из самых выдающихся ораторов своего времени, отличался темпераментом, находчивостью и остроумием.

[71] В 40 км к юго-востоку от Мутины, ныне Болонья.

[72] Цереалии праздновались с 12 по 19 апреля. Цирковые игры устраивались в последний день. *Церера* — богиня жатвы, плодородия. Особенно

ревностно эти празднества соблюдались плебеями. Римский люд устраивал праздничные трапезы, чтобы умилостивить Цереру, дающую сытную пищу. Постепенно этот культ слился с культом греческой Деметры.

[73] Титулы Цезаря и Августа, власть народного трибуна и империум — высшее командование вооруженными силами.

[74] Внешними знаками отличия всадников были узкая пурпурная полоса на тунике и с конца II в. до н. э. — золотое кольцо.

[75] Т. е. Цезарейской Мавритании и Тингитанской.

[76] *Клувий Руф* был пропреторским легатом Тарраконской Испании, также защищал границы провинции Бетики.

[77] *Юба* — традиционное имя нумидийских царей, оказывавших во II — I вв. до н. э. упорное сопротивление римлянам. Принятие Альбином имени Юбы означало, что он выступает как наследник царей, боровшихся против Рима, и рассматривает римские провинции как часть Нумидийского царства.

[78] Совр. Сона.

[79] Сын Юния Блеза, бывшего наместником Паннонии при Тиберии и последним из частных лиц, получившим звание императора. См. также: III, 38.

[80] Сиденье без спинки и подлокотников, с 4 гнутыми, попарно перекрещивающимися ножками, делавшееся в древности из слоновой кости, позже из мрамора. Один из знаков достоинства высших магистратов.

[81] См. примеч. 133 к книге I. Называя сына таким образом, Вителлий, во-первых, добивался популярности, во-вторых, демонстрировал свою скромность, так как не присвоил ребенку имени Цезаря, полагавшегося ему, в-третьих, льстил провозгласившим его императором германским легионам, так как Германик ими дольше всего командовал и считался как бы «их» героем.

[82] На ноябрь — декабрь 69 г. См. примеч. 156 к книге I.

[83] См.: I, 90 и примеч. 176 к книге I.

[84] Кельтское племя, переселившееся на территорию Галлии лишь в I в. до н. э.

[85] См.: I, 88.

[86] О должности *префекта города* см. примеч. 61 к книге I. *О Флавии Сабине*, старшем брате Веспасиана, см.: I, 46; III, 74, 75.

[87] *Петрония*, первая жена *Вителлия*, была дочерью Публия Петрония Турпилиана. Происходя из патрицианского рода Корнелиев и породнившись через жену с древним родом Петрониев, *Долабелла* стал одним из самых знатных людей государства.

[88] О *Фламиниевой дороге* см. примеч. 170 к книге I. В Нарнии она разветвлялась, и на *Интерамну* (ныне Терни), город в Умбрии, отсюда шла редко посещавшаяся горная дорога.

[89] Первое после того, как он был провозглашен императором.

[90] Вителлий отклонил титул Цезаря (гл. 62). *Гиларий*, по-видимому, был отпущенником одного из предыдущих императоров, скорее всего Нерона.

[91] *Подорожные* — документ, предписывавший от имени императора местным властям оказывать всю возможную помощь курьеру, имевшему такую подорожную. Обычно они подписывались принцепсами (см. гл. 54), но наместники провинций также имели некоторое количество бланков и могли выдавать их за своей подписью.

[92] Отпущенный на волю раб получал далеко не все права свободного человека. В частности, он мог подвергаться телесным наказаниям.

[93] *Луций Аррунций* — пропреторский легат в Тарраконской Испании.

[94] Марк *Веттий Болан* в 62 г. командовал легионом в Армении, в 66 г. был консулом-суффектом, с 69 по 71 г. — наместником Британии, где проявил себя как мягкий и слабовольный, но неподкупно честный человек. В 76 г. — наместник провинции Азия.

[95] Основанная Августом римская колония в Лигурии. Ныне Турин.

[96] *Грайские Альпы* — западная часть Альпийской горной системы, где проходила древняя дорога, разветвлявшаяся при спуске с западных склонов Альп. Основная магистраль шла отсюда на юго-запад к *Виенне*, боковая — на северо-запад к Лугдунуму. Вителлий отправил легион по этой последней.

[97] Условия эти заключались в том, что каждый увольнявшийся ветеран получал 20 000 сестерциев, т. е. довольно крупную сумму.

[98] Луций *Вергиний* Руф. См. о нем примеч. 47 к книге I.

[99] На том основании, что *Вергиний* отклонил императорскую власть, которую предлагали ему солдаты. Вергиний гордился этим отказом и упомянул о нем в эпитафии, которую сам для себя сочинил:

Здесь покоится Руф; когда прогнали Виндика,
Власть он не взял себе: родине отдал ее.

(Плиний. Письма. VI, 10.
Перевод М. Е. Сергеенко).

[100] Имеется в виду восстание Цивилиса, описанное в книге IV (гл. 13 и сл.).

[101] Вителлия Гальбе.

[102] Прямой путь из Тицина в Рим шел по Эмилиевой дороге, через Парму и Бононию до Фанум Фортуна на Адриатическом побережье, а оттуда — по Фламиниевой дороге. В *Кремону* из Тицина вела ответвлявшаяся от этого прямого пути Постумиева дорога.

[103] В честь Вителлия. Эта церемония имеет восточное происхождение.

[104] Через несколько месяцев Кремона была разгромлена войсками флавианцев.

[105] Скорее всего — консул 46 г., затем проконсул Африки, обвиненный провинциалами в вымогательстве, но оправданный, казнен в 67 г. вместе с сыном по доносу Аквилия Регула и по приказу Гелия, вольноотпущенника Нерона.

[106] Распятием на кресте.

[107] См. гл. 7.

[108] Происходил из известной в *Египте* еврейской семьи: дядя его был видный философ Филон Иудейский, отец пользовался влиянием при дворе императора Клавдия, который пожаловал *Тиберию* всадническое достоинство и назначил его в 46 г. прокуратором Иудеи.

[109] Эти расчеты Веспасиана оправдались.

[110] О «высоких военных должностях», которые занимал *Волагиний*, ничего не известно.

[111] Муциан имеет в виду новое сенатское сословие, покорно сносившее власть Юлиев — Клавдиев, но которое теперь, по его мнению, должно выдвинуть своих претендентов на престол.

[112] Гней Домиций *Корбулон* происходил из древнего плебейского рода Домициев и был братом Цезонии, жены императора Гая Калигулы. Один из крупнейших полководцев I в. Покончил с собой, чтобы предупредить смертный приговор, вынесенный ему Нероном.

[113] Веспасиан получил триумфальные отличия за победы, одержанные в Британии в 43 г.

[114] По-видимому, тот самый *Селевк*, который служил еще Отону. О суеверности римских императоров и роли звездочетов см. примеч. 79 к книге I.

[115] Гора Кармел — вершина в отрогах Антиливана, в глубокой древности — место обитания доисторических людей. Филистимляне чтили Кармела как бога войны.

[116] *Столицей Иудеи*, собственно, был Иерусалим. *Цезарея* же, римское поселение, изначально носившее имя Туррис Стратонис и переименованное Иродом Великим в честь Цезаря Августа, была резиденцией римского прокуратора. Римляне обычно объявляли столицей провинции не исторический центр данной страны, а специально созданное ими новое поселение.

[117] 1 июля 69 г.

[118] 11 июля 69 г.

[119] Ирод *Агриппа* — сын последнего иудейского царя, после смерти которого в 44 г. Иудея стала римской провинцией. В 48 г. получил от императора Клавдия в управление Халкиду в Сирии, а позже — Восточную Иорданию. Веспасиан послал его в Рим тогда же, когда и Тита, чтобы приветствовать Гальбу как нового принцепса.

[120] *Каппадокия* была с 17 г. римской провинцией под управлением прокурора, не имевшего своих войск.

[121] Ныне Бейрут. Этот древний финикийский город был преобразован Августом в римскую колонию и носил официальное название Юлия Августа Феликс Берита.

[122] Т. е. Александрию, запиравшую вход в страну с моря, и Пелузиум, закрывавший подступы к ней с востока.

[123] *Византий* в 330 г. стал называться Константинополем, а с 1453 — Стамбулом.

[124] Ныне Дуррес.

[125] Т. е. из Адриатического моря.

[126] *Брундизий* — ныне Бриндизи, *Тарент* — ныне Таранто, *Калабрия* — область Италии на побережье Адриатического моря, *Лукания* — на побережье Тирренского. Диррахий — крупный порт на греческом побережье, как раз напротив Брундизия. Муциан получил возможность держать под ударом весь юг Апеннинского п-ова.

[127] См.: I, 79.

[128] Горный хребет, идущий параллельно нижнему течению Дуная, примерно в 100 км южнее его, вплоть до Черного моря.

[129] О *Тампии Флавине* см. примеч. 4 к книге III. *Помпей Сильван* был в 45 г. консулом-суффектом, позже — проконсулом Африки. В 58 г. был замешан в дело о вымогательстве, но оправдан по настоянию Нерона. В 70 г. выполнял ответственные поручения сената.

[130] Стремление к обогащению считалось недостойным сенатора, и хотя в описываемую эпоху никто уже этой заповеди не следовал, она сохраняла значение определенной моральной нормы.

[131] Хотя прокураторы назначались принцепсом и несли строгую ответственность перед ним, немалая доля собранных ими для императора сумм оставалась, по-видимому, в их руках.

[132] Когда Вителлий входил в ближайшее окружение Нерона.

[133] Т. е. в 7 римских милях (ок. 10 км) от города.

[134] Мост через Тибр, по которому въезжали в столицу с севера.

[135] Полководец, носящий в походе боевой плащ, по возвращении обязан был снять его за пределами города и вступить в Рим в тоге.

[136] *Фалеры* — круглые пластинки из золота или серебра, украшенные резьбой, которые носили как почетный знак отличия на груди или на поясе. *Нагрудное украшение* — почетный знак, представлявший собой витое золотое или серебряное кольцо, свисавшее с шеи на грудь.

[137] Все римские императоры, начиная с Августа, занимали в то же время положение верховного жреца, понтифика.

[138] *Кремера* — правый приток Тибра. На берегу этой речки в 477 г. до н. э. произошло сражение римского отряда, состоявшего из 300 членов рода Фабиев, с жителями этрусского города Вейи, в котором все Фабии, кроме одного, погибли. Аллия — небольшой приток Тибра. Здесь, в 11 милях к северу от Рима, в 390 г. до н. э. римляне были наголову разбиты галлами.

[139] Вителлий явно подражает Августу, который на выборах должностных лиц обычно сам обходил трибы, прося за своих кандидатов.

[140] Публий Клодий *Тразея* Пет — консул-суффект 56 г., последователь стоической философии, духовный вождь оппозиции Нерону, покончивший с собой по приказу императора в 66 г. О нем сложилось представление как об идеальном римлянине старого склада, противнике тирании.

[141] В древнейший период римской истории полноправным гражданином считался только член рода. Внебрачные дети, пришельцы, потомки отпущенников и др. становились *клиентами*, т. е. полусвободными, зависимыми от «патрона» — главы рода, помогавшего клиенту советом, влиянием, деньгами. Одна из первых обязанностей клиента в пору ранней империи состояла в том, чтобы приветствовать патрона при утреннем выходе, явившись для этого к нему в дом возможно раньше, нередко до рассвета.

[142] Закон обязывал отпущенника оказывать материальную помощь своему бывшему господину и его семье, если они впали в бедность.

[143] Рим был расположен на холмах, возвышающихся среди заболоченной низины. На овеваемых ветрами, покрытых зеленью холмах, где жила аристократия и богачи, воздух был чище и здоровее, чем в узких долинах, где ютилась беднота, где было душно, сыро и свирепствовала малярия. Одним из самых гиблых среди них был узкий овраг на правом берегу Тибра, между северным склоном Яникула и южным склоном Ватикана.

[144] 7 или 15 сентября.

[145] Август разделил Рим на 14 округов и восстановил древнее деление города на «кварталы», которых при империи было около 300.

[146] Коллегия *жрецов-августалов* была учреждена Тиберием в 14 г. для проведения церемоний, связанных с культом Августа и рода Юлиев.

[147] *Татий* — древний сабинский царь, одно время соправитель Ромула.

[148] Вольноотпущенники Нерона. Об *Азиатике* см. гл. 57.

[149] См. гл. 85.

[150] Британией. См. гл. 65.

[151] Легат, командовавший III легионом, родственник Вителлия.

[152] *Паннонские*, или Юлиевы, *Альпы* — горный хребет, начинающийся у истоков Савы, переходящий на юге в прибрежные горные цепи Югославии и служащий водоразделом между бассейном Адриатики и бассейном Дуная. Эти горы перерезали важнейшую военную дорогу, соединявшую Аквилею и Петовион, где находились постоянные квартиры XIII легиона.

[153] Северо-западный пассат, дующий в течение 30 дней, начиная с 20 июля.

[154] Ныне Остилья, на левом берегу По, недалеко от Мантуи.

[155] Ныне Падуя.

Книга третья

Август — декабрь 69 г.

[1] По-видимому, намек на наместника Паннонии Тампия Флавиана, возможного соперника Антония.

[2] В состав военного совета входили наместник провинции, легаты (командиры) легионов, военные трибуны и примипилярии.

[3] По-видимому, речь идет о тех письмах *Веспасиана* к армиям и легатам, которые упоминаются в II, 82.

[4] Дважды консул — в 46(?) и 74(?) гг., проконсул Африки при Нероне, 26 февраля 69 г. кооптирован в число Арвальских братьев на место Гальбы. Будучи наместником в Паннонии, одержал ряд побед, за которые получил триумфальные отличия.

[5] Наместник Мезии. См.: II, 85.

[6] См. примеч. 17 к книге I.

[7] См. примеч. 17 к книге I. Разместив свевов на придунайских землях, Друз Цезарь посадил на их престолВанния, собравшего за 30 лет правления огромные богатства. *Сидон*, его племянник, в 49 г. изгнал его и поделил царство со своим братом Вангионом. *Италик*, скорее всего, сын Вангиона.

[8] *Реция* входила в число малых императорских провинций, управлявшихся прокураторами.

[9] Ныне Инн.

[10] Ныне Одерцо и Альтино.

[11] Ныне Падуя и Эсте.

[12] Ныне Леньяно в Северо-Восточной Италии, по другим предположениям — Феррара.

[13] Ныне Винченцо между Падуей и Вероной.

[14] Александрия.

[15] Ныне Тартаро; эта река была соединена каналом с р. По.

[16] *Випстан Мессала* родился в конце 40-х гг., сын консула 48 г. Луция Випстана Публиколы (?); в возрасте 20—25 лет, командовал легионом, что указывает на выдающиеся таланты, т. к. легат легиона — обычно преторий, т. е. сенатор в возрасте около 40 лет, которому вскоре предстоит консулат. Впоследствии Мессала описал эту войну, и Тацит пользовался его сочинением как источником.

[17] См.: I, 79.

[18] Во время солдатских волнений полководец нередко спасал от ярости легионеров того или иного ненавистного им командира, приказывая заковать его в цепи и отвести в тюрьму, дабы скрыть его от глаз и дать страстям улечься.

[19] На древке боевого значка, помимо изображения императора, укреплялся медальон с рельефным изображением Марса, Минервы или Беллоны, сестры Марса.

[20] Служителей высших магистратов, несших перед ними символический знак их власти — фасции, перевязанный красным ремнем пучок березовых или вязовых прутьев, из которого выступал топор.

[21] Т. е. Тампия Флавиана и Апония Сатурнина.

[22] О *Луцилии Бассе* см.: II, 100.

[23] Ныне Атри, между устьями р. По и Адидже.

[24] На древках боевых значков и вымпелов.

[25] Через р. Тартар, в пойме которой находился лагерь Цецины (гл. 9).

[26] По современному счету — двенадцатый.

[27] Конники Антония проехали в этот день 8 римских миль, т. е. около 13 км.

[28] Цецина был в тюрьме, Валент еще в дороге.

[29] По современному счету около 9 часов вечера.

[30] *Центурион первой пилы* — название в описываемую эпоху устарелое и неупотребительное. Такой центурион назывался в I в. примипилярием и отвечал за целость и сохранность легионного орла.

[31] Метательные орудия применялись обычно при осаде городов и крепостей. Упоминание их здесь важно для характеристики описываемого сражения как особенно жестокого и кровавого. Баллисты бросали под углом к земле огромные камни и заостренные бревна, сверху поражавшие противника.

[32] Имеется в виду позор от поражения под Бедриаком в апреле 69 г.

[33] *Марк Антоний* (83—31 гг.) — консул 45 г., триумвир, одно из доверенных лиц Цезаря. Несмотря на множество проигранных им сражений, считался крупным полководцем.

[34] Войны Отона с полководцами Вителлия в марте — апреле 69 г.

[35] Т. е. воротам, обращенным к г. Бриксия, ныне Брешиа.

[36] *Черепаха* — боевое построение, при котором солдаты, наклонившись и встав в одну шеренгу вплотную друг к другу под стеной или валом крепости, прикрывали щитами спину и голову. По образованной щитами крыше (так называемому «панцирю» черепахи) другие солдаты взбегали на оборонительные сооружения противника.

[37] Вольноотпущенник Веспасиана.

[38] Тога с широкой пурпурной полосой по краю. Ее носили высшие магистраты при исполнении служебных обязанностей.

[39] См. примеч. 20 к книге III.

[40] См.: II, 67.

[41] См.: II, 67, 70.

[42] Т. е. свевы, сарматы, ср. гл. 5.

[43] Мефитида — богиня, защитница от нездоровых испарений земли.

[44] Кремона была основана в начале 218 г. до н. э.

[45] В 40-х гг. I в. до н. э. Кремона выступала на стороне Брута и Кассия и была жестоко наказана триумвирами.

[46] Ариция (ныне Риччия) лежала у подножия Альбанских гор в 16 римских милях от Рима по Аппиевой дороге. Здесь находился окруженный священной рощей храм Дианы.

[47] См. гл. 13 и 14.

[48] См.: II, 92.

[49] См.: II, 29.

[50] Брат императора.

[51] Слагая с себя должность, магистрат приносил присягу в том, что за время пребывания у власти «не совершил ничего против закона».

[52] *Канинний Ребил* был назначен консулом 31 декабря 45 г. до н. э. вместо умершего утром того же дня Квинта Фабия. Это дало повод Цицерону говорить о редкой бдительности Ребила, ибо «он ни разу не заснул за время своего консульства».

[53] См.: II, 59.

[54] Вероятно, находившихся к югу от города, на берегу Тибра, у дороги, ведшей в Остию.

[55] *Цецина Туск* — сын кормилицы Нерона и один из доверенных людей императора; префект Египта, сосланный в 67 г. за то, что вымылся в бане, отстроенной к приезду Нерона.

[56] Блез, происходивший по отцу из древнего патрицианского рода Юниев, считал в числе своих предков также Октавию Старшую, бывшую вторым браком замужем за Марком Антонием, триумвиром.

[57] Ныне Римини.

[58] *Пицен* — область на побережье Адриатики, расположенная южнее Аримина.

[59] Ныне Монако.

[60] См.: II, 12.

[61] Нарбонской Галлии.

[62] Основана Юлием Цезарем в 54 г. до н. э. на берегу моря неподалеку от Массилии (нынешний Марсель). Родина Юлия Агриколы, консула 77 г., покорителя Британии, тестя Тацита. Ныне Фрэжюс.

[63] *Стойхады* — ныне Йерские острова.

[64] Из племени бригантов.

[65] Неясно. *Каратак*, мятежный вождь британцев, был захвачен в плен в 51 г. *Клавдий* же праздновал свой британский триумф в 44 г., т. е. семью годами раньше.

[66] На территории нынешней Румынии.

[67] Гай *Фонтей Агриппа* — консул-суффект 58 г., смотритель вод Тибра с 66 по 68 г., в 68 г. — проконсул Азии. Назначенный в 69 г. наместником Мёзии, погиб в битве с сарматами.

[68] *Понт*, в широком смысле слова, — восточная часть южного побережья Черного моря, составлявшая еще в I в. до н. э. сильное самостоятельное государство, последний царь его, знаменитый Митридат Евпатор, умер в 63 г. до н. э., после чего Понт был превращен в римскую провинцию Вифинию. Часть понтийских земель, однако, была выделена Марком Антонием и позже Випсанием Агриппой в самостоятельное царство, переданное в 37 г. до н. э. под власть Полемона I. Наследовавший Полемону сын его Полемон II не сумел удержать владения отца, и после его смерти, в 63 г., его царство было также обращено в римскую провинцию.

[69] Основан в 756 г. до н. э.

[70] От греч. camara — «крытая повозка», «сводчатая комната».

[71] Ныне Хоби, или Хопи. Река в Грузии, стекающая со склонов Мегрельского хребта и впадающая в Черное море севернее устья р. Рион.

[72] *Далматы* жили по Адриатическому побережью нынешней Югославии в его южной части.

[73] См.: II, 86.

[74] Ныне Фано на Адриатическом побережье Италии.

[75] *Клаварий* — название денежного подарка. Само слово «клаварий» означает «деньги на гвозди», т. е. на починку солдатской обуви. Здесь, видимо, имеется в виду вообще денежное вознаграждение.

[76] Речь идет о сражении между войсками «народной партии», сторонниками Гая Мария, и солдатами, поддерживавшими аристократическую партию Луция Корнелия Суллы. Битва произошла в 87 г. до н. э. около Рима.

[77] Луций Корнелий *Сисенна* (119—67 гг. до н. э.), претор 78 г. до н. э., легат Помпея Великого во время войны с морскими разбойниками. Известен как автор «Истории» в 12 книгах, посвященной главным образом гражданской войне между Марием и Суллой.

[78] Намек на Муциана. См. гл. 46.

[79] Т. е. префектам преторианцев.

[80] *Комиции* — здесь: процедура утверждения сенатом рекомендованных принцепсом кандидатов в консулы.

[81] *Союзники* — иностранные правители, находившиеся к Риму юридически в союзных, фактически в зависимых отношениях. *Права федератов* — определенные льготы, которыми по традиции пользовались некоторые города Италии и которые могли быть распространены также на иностранные союзные государства.

[82] *Латинское гражданство* в эпоху ранней империи давало право покупать и продавать землю, скот, рабов, исключало возможность передачи имущества по завещанию.

[83] В Умбрии, в южных отрогах Апеннин, на Фламиниевой дороге. Ныне Беванья.

[84] Город на юге Лация при впадении р. Лирис в море. Ныне не существует.

[85] Порт в Кампании, между Кумами и Неаполем. Ныне Пуццуола.

[86] По всей вероятности, руководитель гладиаторских игр при Нероне.

[87] Приморский город на юге Лация. Ныне Террачина.

[88] Город в Умбрии на р. Нар. Ныне Нарни.

[89] *Трибы* в императорскую эпоху сохранились только в самом Риме и собирались лишь для проведения солдатского набора и для получения денежных подарков от императоров.

[90] Древние народности Средней Италии.

[91] Квинт *Петилий Цериал* Цезий Руф — дважды консул (70—74 гг.), в 61 г. был легатом легиона в Британии, в 70 г. командовал войсками, подавившими восстание Цивилиса, в 71—74 гг. был наместником Британии. Несмотря на то что он действовал как военачальник исключительно неудачно, за ним закрепилась репутация крупного полководца.

[92] Старший брат и младший сын Веспасиана.

[93] Город в Умбрии на западном склоне Апеннин. Ныне Касильяно.

[94] См. примеч. 88 к книге II.

[95] В Умбрии, неподалеку от Фанум Фортунэ, ныне Урбино.

[96] В Лации, ныне Ананьи.

[97] Дословно: юношеские (игры). Театральные представления для избранной публики, устраивавшиеся Нероном в его загородных садах и являвшиеся, по выражению Тацита, «рассадниками разнузданности и непотребства» (Анналы, XIV, 15).

[98] Ему было в это время не меньше 61 года.

[99] *Храм Аполлону* на Палатине — самое великолепное из воздвигнутых Августом зданий наряду с храмом Марсу Мстителю и храмом Юпитеру Громовержцу на Капитолии.

[100] Тит Катий *Силий Италик* (ок. 26 — ок. 101 г.) — консул 68 г. При Нероне являлся доносчиком, состоял в числе близких друзей Вителлия, при Веспасиане был проконсулом Азии. Впоследствии написал эпическую поэму о Второй пунической войне («Пуническая война»), прославлявшую древнюю доблесть Рима. В последние годы жизни был последователем стоической философии и умер, заморив себя голодом.

[101] Мать Вителлия звали Секстилия Августа. О ее нравственных достоинствах см.: II, 64 и 89. Обстоятельства ее смерти не вполне ясны.

[102] 18 декабря 69 г.

[103] Калигулу.

[104] 7 июня 68 г. *Нерон* бежал на загородную виллу своего отпущенника Фаона, находившуюся в 4 милях от Рима, где покончил с собой.

[105] Имеется в виду *храм Согласия*, построенный в 368 г. до н. э. диктатором Камиллом, находившийся на склоне Капитолия. Здесь нередко заседал сенат.

[106] Соединявшая Капитолий через форум с Палатином.

[107] Т. е. когорты претория и гарнизона, сформированные из легионеров и конников германской армии.

[108] Для понимания дальнейших глав необходимо знать рельеф Капитолийского холма и расположение на нем важнейших зданий. Возвышавшийся в центре Рима *Капитолий* представлял собой крутой, вытянутый с юга на север двухвершинный холм. Северная вершина, на которой находилась цитадель, была отделена от южной, где стоял храм Юпитеру, впадиной глубиной 30 м. На нее поднимался с форума Капитолийский взвоз, которым заканчивалась Священная дорога; с двух сторон его шли лестницы для пешеходов. От взвоза отходило два пути, один вел на север к цитадели, другой — на юг к храму Юпитеру. Глубже этой развилки находился храм бога Мщения, две священные рощи, а между ними — место, называвшееся Убежищем. Южная вершина, на которой заперся Сабин (Тацит называет ее то просто Капитолием, то *крепостью*, хотя собственно крепость находилась на северной вершине), представляла собой обширную площадь, окруженную стеной с запиравшимися воротами и портиком. На площади стояло несколько храмов и среди них главная святыня Рима — храм Юпитеру Сильнейшему и Величайшему. Южный и западный склоны Капитолия были особенно неприступны и носили название Тарпейской скалы. С юго-запада к Капитолийскому храму вела лестница в 100 ступеней.

[109] При Домициане была выслана из Рима, по всей вероятности за дружбу с Аруленом Рустиком. О нем см. гл. 65.

[110] Младшего сына Веспасиана и будущего императора.

[111] См. гл. 65.

[112] *Авентин* — самый южный из римских холмов, расположенный поодаль от центра, ближе к большим торговым пристаням на Тибре.

[113] Домициану во время описываемых событий едва минуло 18 лет.

[114] Храм Сатурну и храм Согласия.

[115] Юпитер Сильнейший и Величайший был олицетворением государственной и военной мощи Рима. В его храме совершалось торжественное жертвоприношение в день вступления магистратов в должность. Военный триумф был как бы частью культа Юпитера Сильнейшего и Величайшего.

[116] Согласно легенде, *Порсенна*, один из этрусских царей конца VI в. до н. э., осаждал Рим, но, пораженный мужеством его защитников, отступил от города. Сообщение Тацита о том, что римляне сдались Порсенне, основывается на какой-то другой традиции, до нас не дошедшей.

[117] В 390 или 387 г. до н. э.

[118] *Тарквиний Древний* — пятый римский царь. Правил, согласно традиции, с 615 по 578 г. до н. э.

[119] *Сервий Туллий* — шестой римский царь. Правил, согласно традиции, с 577 по 534 г. до н. э.

[120] *Тарквиний Гордый* — седьмой римский царь. Правил, согласно традиции, с 534 по 509 г. до н. э.

[121] *Свесса Помеция* — город народа вольсков в Лации.

[122] Тацит здесь снова отступает от традиции: многие историки, в их числе Полибий, Ливий и Плутарх, относят освящение храма к первому консулату Марка *Горация Пульвилла* в 509 г. до н. э.

[123] В 83 г. Цифра 450 вместо 425 — по всей вероятности, ошибка переписчика рукописи.

[124] Сын Квинта Лутация Катула, победителя кимвров. Один из вождей партии оптиматов в 70-е и 60-е гг. до н. э. После освящения храма получил прозвище Капитолин.

[125] О *Корнелии Марциале* см. гл. 70, об *Эмилии Пацензе* — I, 87 и II, 12.

[126] Полотняные плащи носили жрецы египетской богини Изиды, сестры и супруги Осириса, впоследствии богини Луны.

[127] См. примеч. 89 к книге I.

[128] Храм этот стоял на южной вершине Капитолия поблизости от 100 ступеней.

[129] *Гемонии* — лестница, проходившая по восточному склону Капитолия поблизости от государственной тюрьмы Карцер Туллианум. На ступени этой лестницы выбрасывали для всеобщего обозрения трупы казненных.

[130] Древнеримская богиня личной свободы. Находившийся в трех милях от Таррацины храм, посвященный ей, стоял среди рощи, возле источника.

[131] *Таррацина* — город в Италии на юге Лация, близ Кампании. См. также гл. 57.

[132] См. гл. 57.

[133] Гней *Вергилий Капитон* был в 47 — 49 гг. префектом Египта.

[134] Ныне Отриколи.

[135] Многодневный праздник в память о золотом веке (веке Сатурна), начинавшийся 17 декабря.

[136] *Соляная*, или Соляриева, *дорога* была частью древнего пути, по которому сабиняне приходили к солончакам в устье Тибра за солью.

[137] Место в Этрурии на правом берегу Тибра.

[138] Городок на Соляной дороге на левом берегу Тибра.

[139] Юний *Арулен Рустик*, народный трибун 66 г., претор 69 г., консул-суффект 92 г.(?), философ-стоик. Был казнен в 93 г. в ходе репрессий, проведенных Домицианом против сенаторов-стоиков. Основой обвинения было сочинение, прославляющее осужденного при Нероне вождя стоической оппозиции Тразеи Пета (авторства Арулена не бесспорно).

[140] Гай *Музоний Руф*, философ-стоик, приобрел при Нероне значительную известность как философ и наставник юношества. В 65 г. был замешан в заговоре Пизона и сослан на о. Гиар, в 66—67 гг. отбывал каторжные работы на Истме. В 69 г. возвращен в Рим (Гальбой?) и в 72 г. снова выслан Веспасианом.

[141] *Коллинские ворота* находились в восточной части города. Из них выходили Соляная и Номентанская дороги, в дальнейшем соединявшиеся в одну.

[142] *Саллюстиевы сады* располагались в северной части Рима. Парк был создан знаменитым историком Саллюстием в конце 40-х и начале 50-х гг. до н. э. Здесь находились роскошные бани и дворец, во всю длину его прорезал ручей. С 22 г. Саллюстиевы сады становятся владением императоров и излюбленным местопребыванием Тиберия, Нерона, Адриана.

[143] *Марсово поле* — низина в излучине Тибра, где при республике происходили выборы магистратов и переписи населения.

[144] *Лавки* находились в нижних этажах «инсул» — многоэтажных доходных домов; *домами* (domus) назывались особняки.

[145] По Светонию — в каморку раба-привратника, по Диону Кассию — в собачью конуру.

[146] В Апулии.

[147] Обычное звание сына или внука правящего императора.

Книга четвертая

Январь — июль 70 г.

[1] *Высокий рост* считался отличительной особенностью германцев, из которых в основном состояли вспомогательные когорты армии Вителлия.

[2] Город в Лации, лежавший в 10 римских милях на юго-восток от столицы по Аппиевой дороге.

[3] Командующий Мизенской и Равенской эскадрами римского флота в 69 г.

[4] *Таррацина* встала на сторону Веспасиана, за что была жестоко наказана Луцием Вителлием. См. примеч. 131 к книге III.

[5] См.: III, 77.

[6] *Кольцо* — символ всаднического достоинства.

[7] *Домициан* занял должность городского *претора*. Присвоение ему *консульских полномочий* связано с отсутствием обоих консулов (Веспасиана и Тита) в Риме.

[8] Выдвинуть *победу в гражданской войне* как причину присвоения триумфальных отличий было невозможно: это значило бы, что полководец награждается за уничтожение своих же сограждан. О какой победе над сар-

матами идет речь, неясно: как явствует из III, 46, Муциан одержал победу над даками.

[9] И *консульские*, и *преторские знаки отличия* состояли из тоги с широкой пурпурной полосой по краю, так называемой «тоги претексты» и курульного кресла.

[10] Сын дважды консула Валерия Азиатика, погибшего в 47 г. по проискам жены императора Клавдия Мессалины. В 69 г. он был пропреторским легатом провинции Белгика. Кандидат в консулы на 70-й г. еще при Вителлии, но, по-видимому, умер, не успев вступить в должность.

[11] В римском сенате при опросе мнений первыми выступали кандидаты в консулы, затем — консуляры, за ними — кандидаты в преторы. *Гельвидий* проходил квестуру в Ахайе в годы правления Клавдия. Трибунат его относится к 56 г. Изгнанный из Италии в 66 г. после смерти Тразеи, он живет в Аполлонии (на Крите?), откуда Гальба возвращает его в Рим в 69 г. и назначает претором на следующий, 70 г. В январе 69 г. Гельвидий устраивает похороны Гальбы. Его нападки на Веспасиана привели к новой ссылке, где он и был убит.

[12] В северной части Самния.

[13] Т. е. философией; как явствует из следующей фразы, философией стоиков.

[14] *Квесторы* — младшие магистраты, ведавшие финансами в провинциях или общественными постройками в Риме. Квесторами становились в 27 (по другим сведениям в 30) лет сроком на один год. Квестура была первой в ряду магистратур, которые надлежало пройти сенатору.

[15] В 66 г. *тесть* Гельвидия, Клодий Тразея Пет, Публий — сенатор, консул-суффект в 56 г., глава стоической оппозиции при Нероне. Покончил с собой в 66 г., вскрыв вены.

[16] Барея *Соран*, консул-суффект 52 г., проконсул Азии в 61—62 гг. (?). Примыкал к «стоической оппозиции» и погиб одновременно с *Тразеей* Петом в 66 г. Кто такой *Сентий* — неизвестно.

[17] За донос на Тразею Эприй Марцелл получил 5 млн. сестерциев.

[18] Намек на Гельвидия, который был при Нероне изгнан из Рима.

[19] Несмотря на то что в Риме при империи сохранялись внешние формы республики, всякое сочувственное упоминание о вождях республиканской партии, боровшихся в 40—30 гг. I в. до н. э. против преемников Юлия Цезаря, вызывали со стороны принцепсов осуждение и нередко суровые репрессии. В этих условиях сравнение Гельвидия с Катоном и Брутом представляло собой, по сути дела, обвинение в политической неблагонадежности.

[20] *Казна*, в которой были сосредоточены государственные денежные запасы, была отделена от денежных запасов, принадлежавших императорской фамилии. Принцепсам, тем не менее, было жизненно необходимо держать под своим контролем также и государственную казну, дабы исключить всякую возможность использования ее оппозиционными силами. Этим объясняется множество проведенных ими реформ, касавшихся управления казной. При Нероне ею ведали особые префекты, назначавшиеся императором из числа преториев, после смерти Нерона эта обязанность перешла преторам. Во времена, когда Тацит писал «Историю», вновь была восстановлена должность префекта казны.

[21] *Публий* Эгнаций *Целер*, родом из Бериты в Финикии, философ-сто-

ик, выступивший при Нероне с обвинениями своего друга Бареи Сорана. Ср. примеч. 30 к книге I и примеч. 16 к данной книге.

[22] Т. е. *Гая* Кальпурния *Пизона*, руководившего заговором против Нерона в 65 г.

[23] *Аппиева дорога*, построенная в 318 г. до н. э., шла на юг от столицы и соединяла Рим с Капуей.

[24] Распятие на кресте.

[25] Восстание Цивилиса.

[26] Союз германских племен, занимавший земли на восток от среднего течения Рейна.

[27] В 61 г. в британском походе Светония Паулина участвовало 8 батавских когорт.

[28] Римский легат в Нижней Германии. См.: I, 7—8.

[29] Карфагенский полководец *Ганнибал*, знаменитый противник Рима (в 221—202 гг. до н. э.), и Квинт *Серторий*, руководивший в 82—72 гг. до н. э. восстанием народов Испании против Рима, были оба одноглазы.

[30] *Антоний Прим* — римский военачальник, сражавшийся на стороне Веспасиана во время гражданской войны 69 г. См. также: II, 86.

[31] *Префектами* в императорских провинциях назывались начальники мелких административных округов.

[32] Германское племя *каннинефатов* обитало в дельте Рейна и по левому берегу реки, западнее батавов.

[33] *Могунциак* — ныне Майнц.

[34] *Гай* Калигула, дабы возвеличить себя как полководца, инсценировал победоносный поход против германцев и сам себе присудил за него триумф.

[35] Германские племена *фризов* в I в. занимали побережье Северного моря от устья Рейна до устья Эмса. Сейчас живут, в основном, на территории Голландии.

[36] См. примеч. 91 к книге I.

[37] Племя белгов, занимавшее земли по р. Самбре, между Шельдой и Масом.

[38] *Арверны* — крупное галльское племя, жившее к северо-западу от Севенн, в пределах современной Оверни, выступавшее в 68 г. на стороне Виндекса.

[39] В битве под Бедриаком в апреле 69 г.

[40] Со времен введения Августом *податей* в галльских провинциях прошло 95 лет.

[41] В конных отрядах жалованье было выше.

[42] См. гл. 14.

[43] Т. е. вспомогательные когорты, состоявшие из нервиев и тунгуров (см. гл. 15 и 16).

[44] Германские племена. *Бруктеры* жили между Эмсом и Липпе, доходя на севере до Северного моря. *Тенктеры* жили к югу от бруктеров, на территории, ограниченной Рейном, р. Руром и Сигом.

[45] Т. е. фризы, бруктеры и тенктеры.

[46] *Фашина* — вязанка хвороста.

[47] Подагрой (ср.: I, 9).

[48] Ныне Нейс, возле Дюссельдорфа.

[49] Германское племя.

[50] В Гельдубе.

[51] В наказание за поддержку, которую они оказали легату Мунию Луперку.

[52] Племена Белгской Галлии, жившие к югу от батавов: *менапии* — в низовьях Шельды и Мааса, *морины* — по берегу Па-де-Кале, между Шельдой и Соммой.

[53] Центральная площадь римского военного лагеря носила название претория. Отходившая от него улица называлась преториевой, и *ворота*, в которые эта улица упиралась, — *преториевыми*.

[54] Это орудие, устроенное по тому же принципу, что и наш колодезный журавль, называлось толленоном (от tollere — «поднимать»).

[55] *Эдикт* был подписан *Цециной* после измены его Вителлию и призывал солдат присоединиться к Веспасиану.

[56] Тревир по происхождению, впоследствии открыто присоединившийся к Цивилису.

[57] В Новезии.

[58] Ср. гл. 13.

[59] *Асцибургий* находился между Старыми лагерями и Гельдубой. Сейчас это предположительно Асберг возле Мерса.

[60] *Васконы*, нынешние баски, жили на северо-востоке Тарраконской Испании и были призваны во вспомогательные римские войска *Гальбой* как наместником этой провинции.

[61] Т. е. запертые в Старых лагерях легионы. Как видно из дальнейшего, Вокула выступил им на помощь, но сделал это, видимо, слишком поздно.

[62] Т. е. что значки и пленные были захвачены полководцами Цивилиса в начале сражения под Гельдубой, в конечном счете окончившегося их поражением.

[63] Битва, таким образом, кончилась победой римлян, Цивилис вынужден был снять осаду и отойти, а Вокула присоединился к стоявшим в Старых лагерях легионам.

[64] Где находилась ставка наместника провинции Гордеония Флакка.

[65] Взятые в скобки слова, противоречащие дальнейшему рассказу, принято считать заметкой, сделанной переписчиком на полях рукописи и не входившей в тацитовский текст.

[66] *Узипы*, или узипеты, жили западнее *хаттов*, на правом берегу Рейна. *Маттиаки*, составлявшие часть племенного союза хаттов, занимали территорию, ограниченную Рейном, Майном и Ланом, в районе современного Висбадена.

[67] Впервые он был консулом (суффектом) в 51 г.

[68] *Луций* Кальпурний *Пизон* — консул 57 г., сын консула 27 г. Луция Пизона.

[69] Секст *Юлий Фронтин* (40—103 гг.) — после претуры командовал легионом в Нижней Германии, консул-суффект 74 г., в 76—78 гг. — наместник Британии. При Домициане был проконсулом в Азии, покровительствовал искусству и сам занимался литературным трудом, был близок к кружку Плиния Младшего. С 97 г. — занимал важную и почетную должность смотрителя римских водопроводов, член сенатской комиссии по проверке государственных расходов, в 98 г. — консул во второй раз и в 100 г. — в третий. Из многочисленных сочинений Фронтина до нас дошли «Стратагемы» и «О римских водопроводах».

[70] Вольноотпущенник Веспасиана. См. о нем: III, 12.

[71] Имеются в виду офицерские должности военного трибуна и префекта конницы.

[72] Сенатор, поэт, обвиненный на процессе Тразеи Пета в 66 г. См. также примеч. 79.

[73] См. гл. 10.

[74] *Киники* — последователи кинической философии, проповедующей опрощение, преодоление страстей и потребностей, невзыскательный образ жизни. Киники отвергали рабство, собственность, брак, официальную религию, требовали равенства людей без различия пола и племенной принадлежности. Деметрий известен своим независимым поведением по отношению к Калигуле, от которого он отказался принять подарок в 200 000 сестерциев, и Веспасиану. Неоднократно ссылался и изгонялся из Рима.

[75] Брат Арулена Рустика (см. примеч. 139 к книге III), сосланный Домицианом и возвращенный Нервой.

[76] Братья Руф и Прокул *Скрибонии*, занимавшие должности наместников, соответственно Верхней и Нижней Германии, были вызваны в 66 г. в Ахайю, где получили от *Нерона*, стремившегося захватить их богатства, приказ о самоубийстве.

[77] *Сенаторского возраста*, т. е. в 25 лет. Марк *Аквилий Регул* (ок. 43 — ок. 102 г.) — судебный оратор и доносчик. В 67 г., еще не достигнув сенаторского возраста, погубил своими доносами нескольких выдающихся сенаторов из старой аристократии, за что получил от Нерона жреческую должность и крупные денежные вознаграждения. В 70 г. был уже членом сената и квесторием. При Флавиях продолжал свою деятельность доносчика, выступал в качестве судебного оратора. Сыграл определенную роль в гибели Арулена Рустика, а после его казни опубликовал памфлет против Рустика и другого члена стоической оппозиции — Геренния Сенециона. При Траяне занимался вымогательством завещаний в свою пользу.

[78] Марк Лициний *Красс* Фруги и Корнелий (Сципион) Сальвидиен *Орфит* — консул 51 г.

[79] См. примеч. 72 к настоящей книге. У *Курция Монтана* были свои счеты с доносчиками: в 66 г. Эприй Марцелл обвинил его в сочинении эпиграмм против Нерона, которых он, скорее всего, не писал. Только благоволение Нерона к его отцу спасло Монтана от казни.

[80] Намек на Эприя Марцелла? Ср. гл. 8.

[81] Красс и Орфит были консулярами.

[82] Т. е. пример, который мы оставим потомству, наказав Регула, будет оказывать свое действие и после смерти Веспасиана.

[83] *Октавий Сагитта* — народный трибун 58 г. *Антистий Созиан* — народный трибун 56 г., претор 62 г., в этом же году сослан по обвинению в оскорблении величия. В 66 г. сумел из ссылки донести на Публия Антея и Остория Скапулу, за что Нерон вернул его.

[84] Ныне Сиена.

[85] Марк *Помпей Сильван* — дважды консул (в 45 и 74 гг.), проконсул Африки. Дело о вымогательстве, возбужденное против него провинциалами после окончания его проконсульства в 58 г., завершилось его оправданием. В 69—70 гг. — наместник Далмации.

[86] *Марк* Юний *Силан* — консул 19 г. н. э., проконсул Африки, вероятно, между 32 и 38 гг.

[87] Императоры пользовались любой возможностью для физического уничтожения представителей старой сенатской аристократии.

[88] См. примеч. 29 к книге I.

[89] Приморский город в 80 римских милях от Карфагена. Его имя сохранилось в современном названии залива Хаммамет.

[90] *Эя*, ныне Триполи; Лепта — город, находящийся неподалеку от современного г. Сус в Тунисе.

[91] *Гараманты* — народность в Северной Африке, жившая в пределах нынешнего Феццана.

[92] *Парфия* — государство, состоящее из разнородных земледельческих и скотоводческих племен; занимало в описываемую эпоху территорию от Каспийского моря до Персидского залива и от Евфрата до гор по правому берегу Инда. В I в. — главный противник римлян на Востоке. *Царь* парфян *Вологез* вел с Нероном длительные войны из-за Армении.

[93] Крупное восстание иудеев против римлян, на подавление которого Нероном был послан Веспасиан, началось в 66 г.

[94] *Луций* Юлий *Вестин* — галльского происхождения, при Клавдии — прокуратор и позже — префект Египта.

[95] Под Остией, в низовьях Тибра.

[96] 11 июля 70 г.

[97] Т. е. Victor — «победитель», Valerius — «здоровый» и т. д. При переписи населения, при наборе в армию первым всегда называли носителя «счастливого имени».

[98] Дуба, лавра и мирта.

[99] Тит *Плавтий* Сильван *Элиан* — один из крупнейших государственных деятелей середины I в., дважды консул (в 45 и 74 гг.). При Тиберии был квестором, после чего командовал легионом в Германии. В 42 г. — претор, в 43—44 г. — участник похода Клавдия в Британию и первый римский наместник этой провинции. Проконсул Азии. Будучи наместником Мёзии, отличился удачными походами против сарматов и разумными мерами по устройству местных племен, за что и получил триумфальные отличия. В 70 г. — понтифик. В 70—73 гг. — наместник в Испании, с 73 г. — префект Рима. Умер до 79 г.

[100] Так называемая «своветаврилия» — искупительная и очистительная жертва богу Марсу. Перед закланием *свинью, овцу* и *быка* трижды обводили вокруг участка, на котором предстояло возвести здание.

[101] *Камень*, который предстояло положить в основание храма.

[102] Кельтские жрецы. Единство культа, поддерживавшееся друидами на всей территории кельтских племен, играло важную роль в сплочении кельтов в единый народ и способствовало их сопротивлению римлянам. Поэтому Клавдий, воспользовавшись тем, что друидическая религия допускала человеческие жертвоприношения, запретил деятельность друидов и подверг их жестоким преследованиям.

[103] В 390 г. до н. э.

[104] Юлий *Классик* командовал вспомогательными отрядами тревирской конницы в составе римской армии и проделал под началом Валента поход против Отона.

[105] См. гл. 18.

[106] *Бетазии* жили между тунграми и *нервиями* в пределах современно-

го Брабанта; *марсаки* — одно из племен, живших в устье Шельды и Мааса, соседи *каннинефатов*.

[107] Восстание галлов против римлян под руководством *Сакровира* было подавлено в 21 г.

[108] См.: I, 8; I, 59 и примеч.

[109] См. гл. 33 и 34.

[110] Точнее — 823 г. Римские историки всегда предпочитали оперировать округленными цифрами.

[111] *Квирином* римляне называли основателя Рима — Ромула, после его обожествления.

[112] У батавов существовал обычай красить волосы в рыжий цвет.

[113] Несколько позже, при Веспасиане, *Веледа* была захвачена римлянами и доставлена в Рим.

[114] *Виндонисса* (ныне Баден в Северной Швейцарии) находилась в Верхней Германии.

[115] Другое название — Augusta Treverorum, ныне Трир. Эта колония приобрела в эпоху античности выдающееся значение и в IV в. была столицей римских императоров.

[116] Т. е. содержался в доме декуриона.

[117] *Убии*, издавна романизованные, были богаче и культурнее остальных германских племен, что вызывало ненависть последних.

[118] Тацит называет латинским именем *Марса* германского бога Тиу.

[119] Вход германцам в римские колонии на Рейне разрешался лишь после уплаты подушной подати и без оружия. В городе они находились под наблюдением стражников.

[120] У германцев, в отличие от римлян этой поры, сохранилась общинная собственность на землю.

[121] *Сунуки* — германское племя, жившее к западу от убиев по р. Маас.

[122] См. гл. 18 и 56.

[123] Река (ныне Маас) в римской провинции Белгика. Сейчас там находится город Маастрихт.

[124] См. гл. 55.

[125] Крупное галльское племя, жившее между р. Соной и Юрой.

[126] *Ремии* — кельтское племя, жившее в Белгике между р. Марной и Эной, в области нынешнего г. Реймса.

[127] Мысль Тацита состоит в следующем: Домициан, находившийся в дружбе с Варом, мог быть оскорблен смещением последнего с поста префекта претория. Чтобы избежать этого, Муциан назначил на место Вара Марка Аррецина Клемента, друга Домициана и к тому же родственника Флавиев. Должность префекта претория всегда занимали всадники, назначение на этот пост сенатора было редчайшим исключением.

[128] Ср.: III, 5.

[129] Конные отряды в римской армии формировались по племенам и народностям, поставлявшим в них бойцов. Из этих отрядов отбирались особо отличившиеся солдаты, которые и составляли своего рода «конную гвардию» — многонациональный отряд *сингуляриев* (т. е. набранных по одному).

[130] Ср.: II, 22.

[131] *Вангионы* — германское племя, жившее в округе теперешнего г. Вормса, на левом берегу Рейна; *трибоки* — германское племя, входившее

в Свебский военный союз, обитавшее в районе современного Страсбурга. Племя *церакатов* в других источниках не упоминается. Если принять мнение, согласно которому в этом этнониме надо видеть искаженное наименование племени сараватов, то местом их обитания должна была быть долина р. Саар.

[132] Ныне г. Бинген на правом берегу Рейна, неподалеку от Майнца.

[133] *Медиоматрики* — кельтское племя в Белгике, жившее по верхнему течению Мозели, в районе нынешнего г. Меца.

[134] См. гл. 59.

[135] Ныне Риоль, неподалеку от Трира, на р. Мозель.

[136] Т. е. лингонов и тревиров.

[137] См. примеч. 115.

[138] Речь идет о событиях 50-х гг. I в.

[139] *Войны с германцами*, которые вели Друз, Тиберий и Германик в 14 г. до н. э. — 16 г.

[140] *Ариовист* — вождь германцев, призванный в 72 г. до н. э. галльским племенем арвернов, чтобы помочь им против эдуев, утвердился в Галлии, перевел из-за Рейна огромную армию и стал взимать дань с галльских племен. Он был разбит и изгнан из Галлии лишь Цезарем в 58 г. до н. э.

[141] Согласно римским литературным традициям, входящие в историческое сочинение речи могли иметь мало общего с реальными выступлениями государственных деятелей. *Речь Цериала* и является наиболее концентрированным и прямым выражением взглядов Тацита на характер и историческую роль Римского государства. Исходным положением является противопоставление галлов, издавна покоренных Римом, германцам, сохранившим свою независимость. Связав свою судьбу с Римом, галлы становятся на путь цивилизации и мира, достижение которых, однако, возможно лишь в рамках Римского государства и тем самым неизбежно связано с утратой «дикой воли». Воплощением Римского государства являются императоры. Только благодаря находящейся в их руках военной силе в бескрайней империи царят относительный мир и порядок. Альтернативой цивилизации, основанной на подчинении целому и ограничении частных интересов, является лишь «дикая свобода» и хаос постоянных междоусобных войн. Отсюда — сочетание у Тацита трезвой оценки принцепсов, в которых он видит кровожадных тиранов, и отрицательного отношения к антиправительственной деятельности в провинциях.

[142] Т. е. Валентина (ср. гл. 69).

[143] Солдаты XVI легиона, о которых здесь идет речь, считали изменниками и Гордеония *Флакка* (гл. 36), и Диллия *Вокулу* (гл. 59).

[144] См. гл. 59 и 70.

[145] Германское племя *хавков* занимало земли к западу от фризов (см. примеч. 43). Первоначально хавки жили между нижним течением Эмса и Эльбой. В середине I в. распространились на юг и запад.

[146] *Тольбиак* (ныне Цюльпих) — поселение в земле убиев, в 12 римских милях (около 17 км) к юго-западу от Агриппиновой колонии.

[147] См. гл. 68.

[148] По-видимому, Германика (II, 59).

[149] См.: II, 86.

[150] См.: III, 13 и сл.

[151] Ровные и постоянные ветры, благоприятствующие плаванию из Египта в Рим, устанавливаются 27 мая. *Веспасиан*, таким образом, провел в Египте конец зимы и весну 70 г.

[152] Серапис — один из богов эллинистического мира, чей культ был введен в Египте Птолемеем I Сотером в IV в. до н. э. при содействии афинянина жреческого рода Тимофея. Божество было создано для сближения египетского и греческого населения Египта на религиозной почве, но особенно почиталось в греко-римской среде. В его образе были соединены египетские боги Озирис и Апис и греческие Аид и Зевс.

[153] Имя *Басилид* происходит от греч. «басилевс» — царь. Ср. II, 78, где императорскую власть предсказывает Веспасиану жрец, также по имени Басилид. Такое совпадение могло бы указать на фольклорный характер этого мотива.

[154] Т. е. Сераписа.

[155] *Птолемей* I Сотер (366—283 гг. до н. э.) — полководец Александра Македонского, получивший после смерти последнего в правление Египет и стремившийся создать здесь синкретическую греко-египетскую культуру и цивилизацию.

[156] *Александрия* (столица Египта) была основана в 331 г. до н. э.

[157] См. примеч. 68 к книге III.

[158] Аттический жреческий род, из которого, в частности, выходили жрецы Элевсинской Деметры.

[159] *Синопа* — город в Пафлагонии на Черноморском побережье, старейшая греческая колония, основанная жителями Милета в 751 г. до н. э., впоследствии — столица Понта. Ныне Синоп — в Турции.

[160] Под именем *Дита* Юпитер почитался как бог подземного царства.

[161] *Прозерпина* — римское имя Персефоны, дочери Деметры (Цереры), богини плодородия и одновременно подземного царства. В качестве последней она была женой Аида, ассоциировавшегося у римлян с Дитом.

[162] Греко-римский религиозный синкретизм привел к слиянию и переосмыслению многих мифов, в результате которого понять отношения в пределах греко-римского пантеона не всегда легко. Персефона — Прозерпина, о которой идет речь в данной главе, — жена Аида и тем самым Юпитера (Дита), но в то же время она дочь Зевса (Юпитера) от Деметры и потому сестра Аполлона, сына Зевса от Леты.

[163] Примыкающий к верфям район Александрии.

[164] *Селевкия* Пиэрийская — приморский город и крепость в Сирии в 3 милях от Антиохии.

[165] *Птолемей* III Эвергет — царь Египта, правивший с 247 по 221 г. до н. э.

[166] Греческий Асклепий.

[167] О захвате его в плен см. гл. 71.

Книга пятая

Январь — сентябрь 70 г.

[1] 70 г.

[2] *Тит* служил военным трибуном в Германии и Британии, а после квестуры командовал легионом в Иудее.

[3] См. примеч. 9 к книге II.

[4] Следующий дальше рассказ о происхождении евреев и Иерусалима основан на сочинениях Хэремона и Лисимаха и научной ценности не имеет.

[5] *Сатурн* римлян отождествляется с Кроном греков, пожиравшим своих детей и свергнутым единственным спасшимся из них — Зевсом (Юпитером).

[6] *Солимы* — народ, обитавший на юге Малой Азии и воспетый Гомером: Илиада, VI, 184; Одиссея, V, 282.

[7] Явные противоречия, содержащиеся в излагаемых Тацитом наставлениях *Моисея*, неоднократно отмечались комментаторами.

[8] Баран был священным животным верховного древнеегипетского *бога Аммона*, отождествляемого греками с Зевсом, римлянами с Юпитером.

[9] «В Египте вместо божества почитают быка, которого называют Аписом» (Плиний Старший. Естественная история. VIII, 46, 184).

[10] Скорее всего, имеется в виду закон, принятый в 622 г. до н. э. царем Иосией, согласно которому срок долгового рабства у евреев ограничивался 6 годами и каждый седьмой год рабы этой категории отпускались на волю.

[11] У римлян убивать и выбрасывать младенцев, родившихся после смерти отца, уродов, вообще почему-либо не угодных родителям, не считалось преступлением.

[12] *Либер* — древнеиталийский бог оплодотворения, отождествляемый позднее с Вакхом (греч. Дионисом).

[13] Тацит указывает здесь на границы не Иудеи, а всей Палестины. Дальнейшее описание, в частности, гораздо больше относится к Северной Палестине (Галилее), чем к Южной (собственно Иудее).

[14] Тацит смешивает *Ливан* с южной частью Антиливана — Гермоном, вершина которого поднимается на 2853 м над уровнем моря и со склонов которого берет начало *р. Иордан*.

[15] Первое — заболоченное озеро Бар-эль-Гуле, второе — Генисаретское, или Тивериадское, третье — Мертвое море.

[16] Имеется в виду минеральная смола, центром добычи которой Мертвое море было и в древности, и в новое время. Сбегающие с гор реки вымывают ее из породы и приносят в озеро, где она всплывает на поверхность, будучи легче здешней соленой маслянистой воды. Используется как лак и как краситель.

[17] На территории Палестины по крайней мере с начала V тыс. до н. э. сосуществовали и сменяли друг друга многочисленные относительно высоко развитые цивилизации. Остатки поселений, исчезнувших задолго до появления здесь евреев, а тем более римлян, поражали воображение зрителей и вызывали к жизни множество легенд.

[18] Одна из многочисленных речек, текущих в Средиземное море с западных отрогов Ливана. Впадает в море возле г. Акка.

[19] С перерывами — с IX по IV в. до н. э.

[20] Неясно. Попытками провести реформы в Иудее известен Антиох IV Эпифан (правил в 175—164 гг. до н. э.), но он не имел никакого отношения к восстанию *Аршакидов*. С движением парфян за независимость, возглавляемым Аршаком (250 г. до н. э.), боролся Антиох II Теос, который, однако, никогда не занимался эллинизацией евреев.

[21] Начиная с Аристобула, который короновался в 107 г. до н. э.

[22] В 63 г. до н. э.

[23] Вторжение *Пакора* в Палестину в 40 г. до н. э. было инспирировано еще Брутом и Кассием двумя годами раньше и являлось одной из мер, предпринятых сенатской партией в борьбе против *Марка Антония*.

[24] В 38 г. до н. э. *Вентидий* и *Созий* были легатами Марка Антония.

[25] *Ирод* Великий. Сын князька одной из областей Палестины за пределами Иудеи. Еще в молодости назначенный римлянами правителем Галилеи, он в 41 г. до н. э. получил от Марка Антония звание тетрарха Иудеи, а в 40 г. до н. э. по представлению Марка Антония и Октавиана Августа, римский сенат провозгласил его союзным Риму царем Иудеи. В 31 г. до н. э. Август еще больше расширил его владения и фактически сделал его правителем Сирии. В частности, его неиудейское происхождение обусловило резко отрицательное отношение к нему всех слоев еврейского общества. Стремясь подавить оппозицию, Ирод стал на путь жесточайших репрессий, почему имя его стало нарицательным для обозначения безжалостного тирана. Умер в 4 г. до н. э.

[26] Публий *Квинтилий Вар* — ординарный консул 13 г. до н. э., в 7—6 гг. до н. э. — проконсул Африки, в 6—4 гг. до н. э. — пропреторский легат Иудеи. В 9 г. предпринял поход в глубь Германии, закончившийся разгромом римской армии в Тевтобургском лесу, уничтожением 3 легионов и гибелью самого Вара.

[27] Архелай, Ирод Антипа и Филипп.

[28] Иудея, Самария и Идумея были объединены в римскую провинцию, получившую название *Иудеи*, в 7 г. *Клавдий* в 44 г. лишь увеличил ее территорию.

[29] *Антоний Феликс* — вольноотпущенник императора Клавдия и брат его фаворита Палланта. Назначенный в 52 г. управлять центральной частью Иудеи, вскоре добился власти над всей провинцией. Правление его отличалось крайней жестокостью.

[30] *Гессий Флор* — грек по происхождению. Прокуратор Иудеи с 64 по 66 г., вымогатель и жесточайший тиран, своими репрессиями доведший евреев до восстания против римской власти.

[31] *Цестий Галл* — консул-суффект 42 г., пропреторский легат провинции Сирия в 66—67 гг.

[32] Риторическое преувеличение. Ряд городов-крепостей (Геродий, Масада и др.) были взяты лишь после падения Иерусалима.

[33] Иерусалим лежал на высоких холмах. С востока, юга и запада он был ограничен глубокими долинами. Такая же долина прорезала город в долготном направлении и отделяла обширный западный холм с лежащим на нем Верхним городом и царским дворцом от узкого восточного, на котором стоял Иерусалимский храм. С севера к городу примыкали еще два холма. При таком рельефе местности Иерусалим был уязвим лишь с севера, и именно здесь была создана особенно мощная система укреплений. Главным узлом обороны являлся храм. Его территория представляла собой искусственно насыпанное плато, охваченное со всех сторон стенами, сложенными из параллельных рядов огромных каменных глыб; по краям плато шли дворы и портики, окружавшие так называемый внутренний храм с его особой оградой, за которой располагался сначала женский двор, а лишь за ним шла стена, отделявшая святилище.

Подойдя к столице Иудеи, Тит разбил лагерь к северо-западу от города, напротив Голгофы, т. е. там, где горы, на которых лежит Иерусалим, наименее круты.

[34] Названные Тацитом полководцы представляли различные партии, и вражда между ними носила политический и классовый характер. *Симон* и *Иоанн* возглавляли отряды крестьян из Галилеи и Идумеи. *Елеазар* бен Шимон был выдвинут иерусалимской партией умеренных.

[35] На Пасху 70 г.

[36] См.: IV, 79.

[37] См. примеч. 49 к книге IV.

[38] См.: IV, 68.

[39] См.: IV, 60.

[40] См.: IV, 77 и сл.

[41] Наместнику Верхней Германии.

[42] *Остров* в устье Рейна, на котором находились поселения батавов.

[43] *Друз*, брат Тиберия и пасынок Августа, начал сооружение этой дамбы в 9 г. до н. э., окончена она была Помпеем Паулином в 55 г. Удерживала воду в основном русле Рейна и не давала ей переполнять южный рукав рейнского устья.

[44] Населенный пункт в Нижней Германии. По всей вероятности, ныне г. Арнем в Голландии.

[45] *Батаводур* — возле современного голландского г. Неймеген. *Гринны* и *Вада* — к западу от Батаводура. Точное их местоположение неизвестно.

[46] Река Ваал, которая здесь имеется в виду, представляет собой южный рукав рейнского устья. Поэтому в следующей фразе Тацит ее же называет Рейном.

[47] Описываемые события, таким образом, происходят уже осенью 70 г.

[48] *Лупия* — ныне р. Липпе, правый приток нижнего Рейна, о *Веледе* см.: IV, 61.

[49] Суда с двумя рядами гребцов.

[50] Делать сагум, короткий солдатский или дорожный плащ, пестрым — галльский обычай.

[51] *Моза* (ныне р. Маас в Голландии) не впадает в *Рейн*. Имеется в виду одно из ее ответвлений, сливающееся с р. Лек, продолжающей на запад основное течение Рейна.

[52] См.: IV, 60.

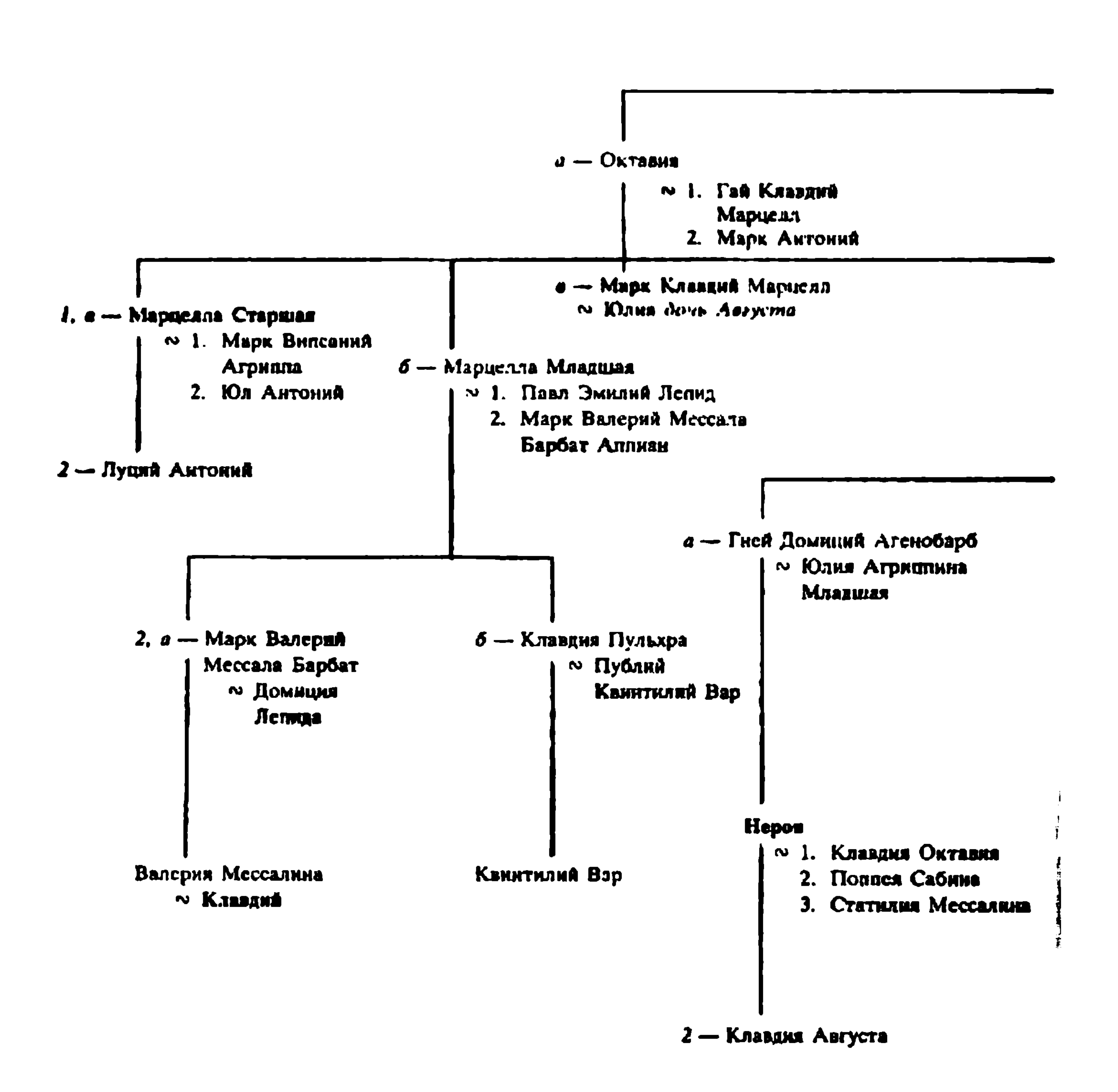
[53] Намек на Веледу.

[54] В других источниках эта река не упоминается, отождествить ее с какой-либо из рек современной Голландии не удается.

[55] Здесь обрывается основная рукопись «Истории», так называемая Медицейская. Вторая дошедшая до нас рукопись этого произведения, так называемая Лейденская, обрывается на середине гл. 23 V (после слов: «...размерами кораблей»).

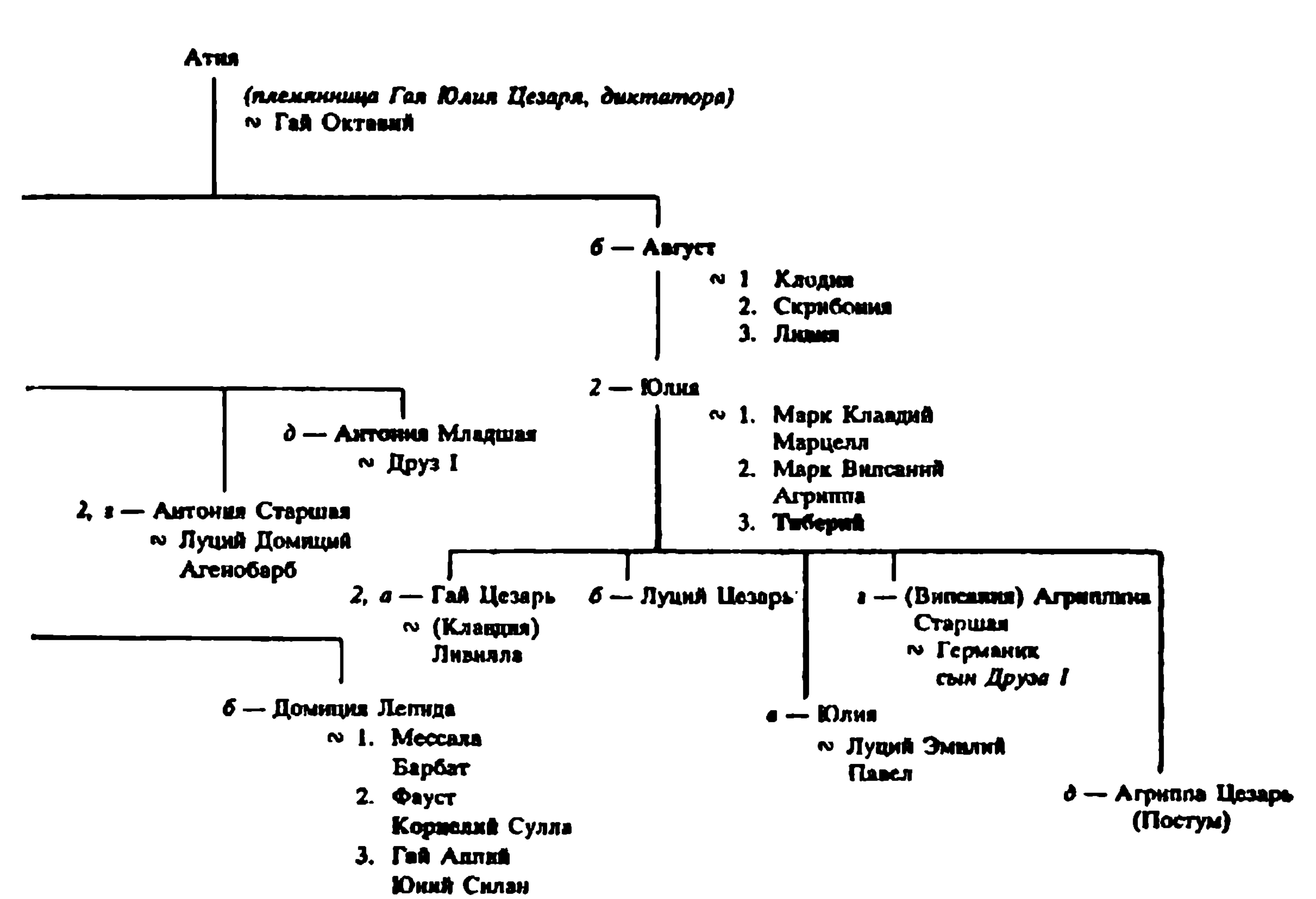
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ

I. РОДОСЛОВНАЯ ЮЛИЕВ

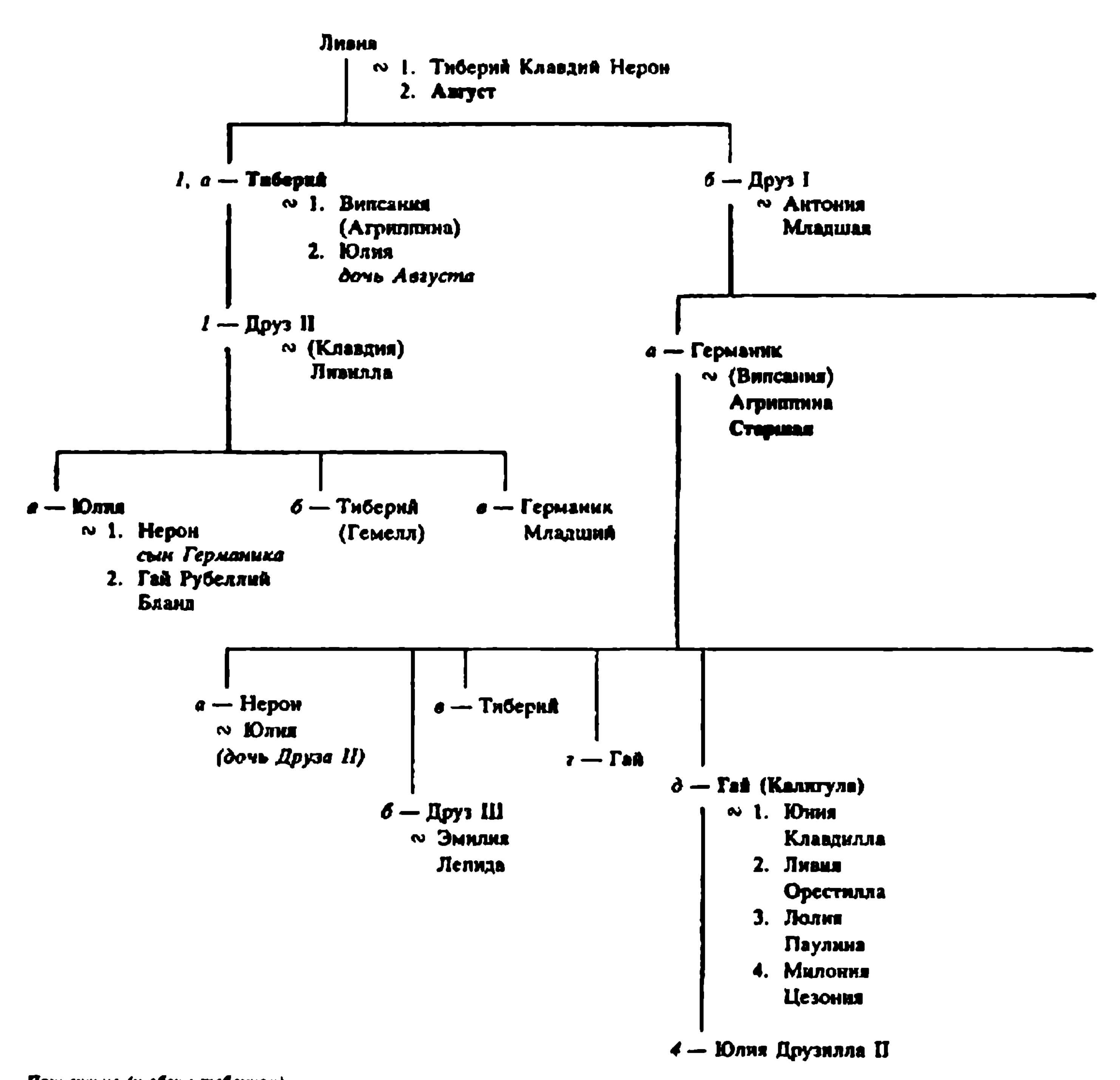


ТАБЛИЦЫ

— КЛАВДИЕВ



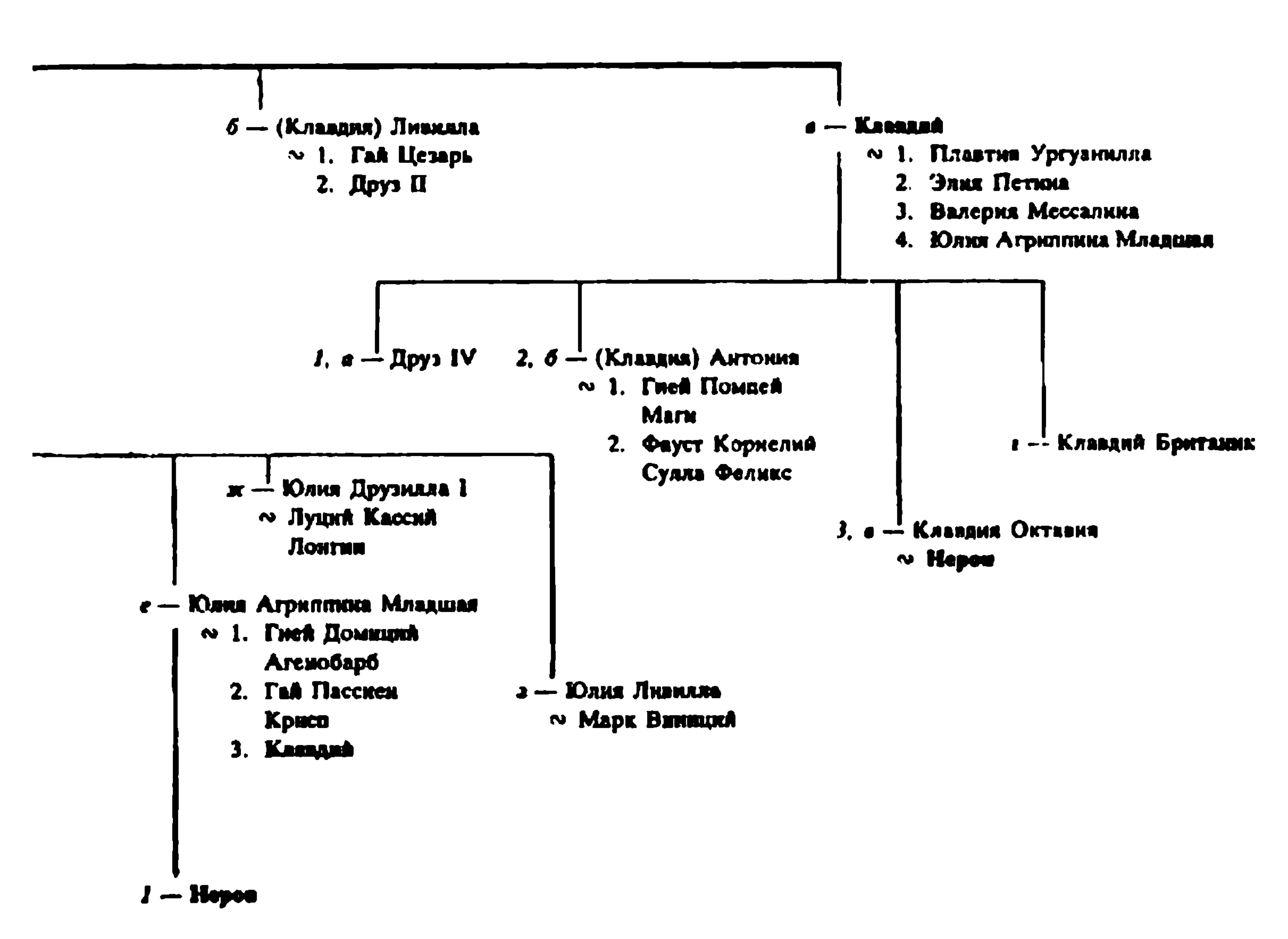
I. РОДОСЛОВНАЯ ЮЛИЕВ



Примечания (к обеим таблицам).

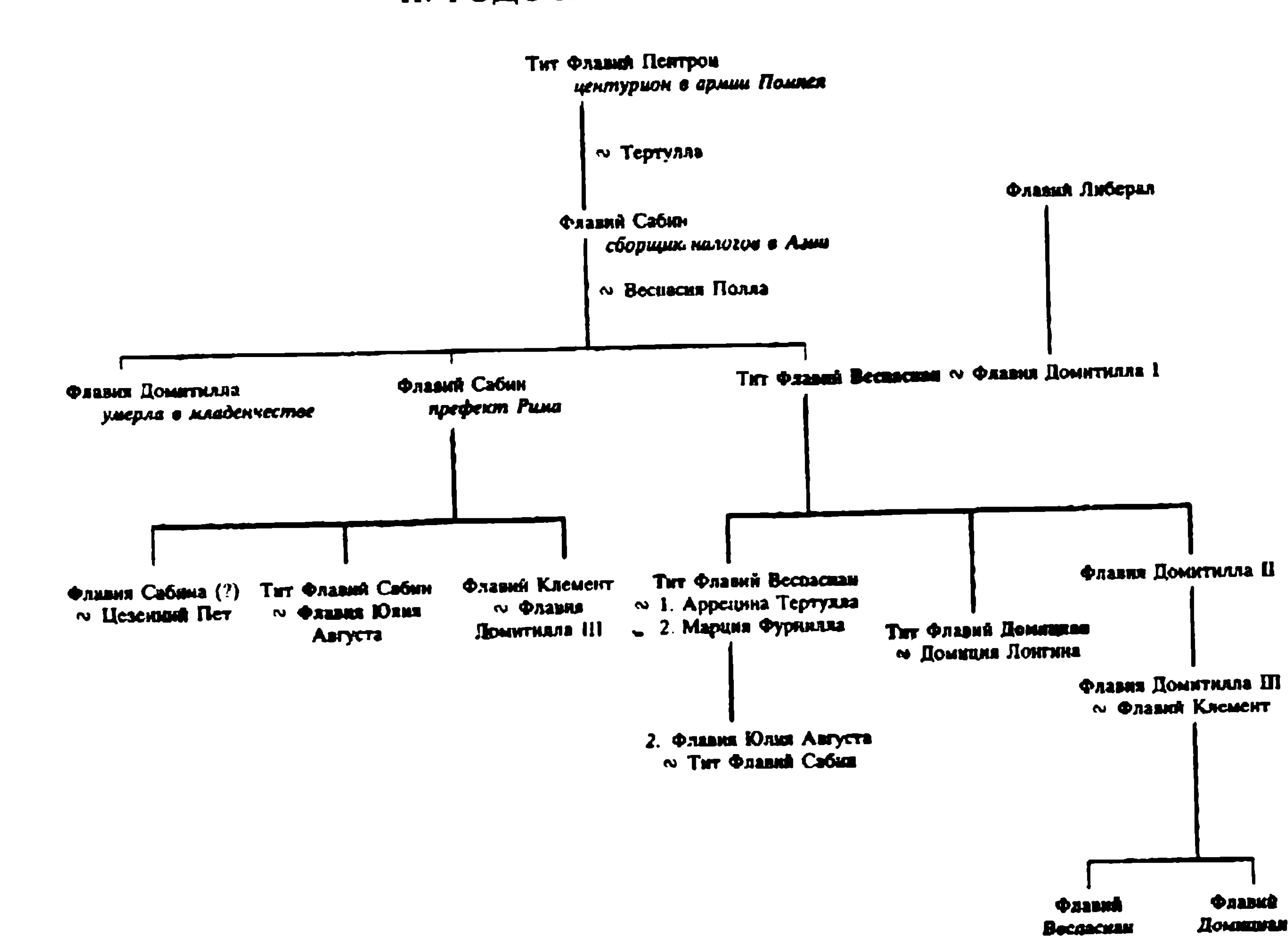
1. Арабскими цифрами обозначены последовательные браки одного лица и дети от каждого данного брака.

3. Имена принцепсов даны полужирным.



2. Буквами а, б и т. д. в генеалогии Юлиев — Клавдиев обозначены в порядке рождения дети одного лица.
4. Каждая горизонтальная строка — лица одного поколения.

II. РОДОСЛОВНАЯ ФЛАВИЕВ



АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

В указателе приводятся римские собственные имена, состоящие из личного имени (praenomen), родового имени (nomen) и прозвища ветви рода (cognomen), за исключением имен императоров, под родовым именем, за которым сначала следует прозвище (или прозвища) ветви рода и затем личное имя. Упоминая тех или иных лиц, Тацит часто не называет их полного имени; в таких случаях, при отсутствии дополнительных данных, указатель воспроизводит их имена в том виде, в каком они даны Тацитом. Названия сочинений Тацита обозначены в указателе сокращенно: Ан. — «Анналы», И. — «История», Г. — «О происхождении германцев и местоположении Германии», А. — «Жизнеописание Агриколы» и О. — «Диалог об ораторах»; римские цифры отсылают к книге, арабские — к главе соответствующих сочинений.

сианом в провинцию Понт для подавления мятежа Аникета. И., III, 48.

Вистилий, Секст — бывший претор. Ан., VI, 9.

Вистилия — предположительно дочь претора Секста Вистилия. Ан., II, 85.

Вителлии (братья) — имп. Вителлий и Луций Вителлий. И., II, 64.

Вителлий, Авл — наместник Нижней Германии в 69 г., провозглашенный после убийства Гальбы римским императором и свергнутый Веспасианом в том же году. Ан., XI, 23; XIV, 49. И., I, 1, 9, 14, 44, 50—52, 56—62, 64, 65, 67—70, 73—77, 84, 85, 90; II, 1, 6, 7, 14—17, 21, 27, 30—32, 38, 42, 43, 45, 47—49, 52—77, 80—101; III, 1—6, 8—15, 30, 31, 35—44, 47, 48, 53—75, 78—81, 84—86; IV, 1, 3, 4, 11, 13—15, 17, 19, 21, 24, 27, 31, 36, 37, 41, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 58, 70, 80; V, 26. О., 17.

Вителлий, Квинт — дядя имп. Вителлия. Ан., II, 48.

Вителлий, Луций — консул 34, 43 и 47 гг., отец имп. Вителлия. Ан., VI, 28, 32, 36, 37, 41; XI, 2—4, 33—35; XII, 4—6, 9, 42; XIV, 56. И., I, 9; III, 66.

Вителлий, Луций — брат имп. Вителлия. И., I, 88; II, 54, 63; III, 37, 38, 55, 58, 76, 77; IV, 2.

Вителлий, Публий — легат в войске Германика, дядя имп. Вителлия. Ан., I, 70; II, 6, 74; III, 10, 13, 17, 19; V, 8; VI, 47.

Вителлий Сатурнин — префект легиона. И., I, 82.

Вителлия — теща Публия Петрония Турпилиана. Ан., III, 49.

Вифиния — римская провинция в М. Азии, после победы над Митридатом VI часть Понтийского царства была присоединена к Вифинии, образовав вместе с ней провинцию Понт и Вифиния. Ан., I, 74; XVI, 18.

Вифинское море — Черное море у побережья Вифинии. Ан., II, 60.

Вифинцы — жители Вифинии (область южного побережья Черного моря, к востоку от Босфорского пролива). Ан., XII, 22; XIV, 46; XVI, 33.

Вицеция — город в Северной Италии, ныне Виченца. И., III, 8.

Виция — мать Фуфия Гемина, консула 29 г. Ан., VI, 10.

Воконтии — галльское племя, обитавшее в Нарбоннской Галлии. И., I, 66.

Во́кула — см. Дилий Во́кула или Сариолен Во́кула.

Волагиний — убийца Фурия Камилла Скрибониана. И., II, 75.

Воланд — крепость к западу от Артаксаты (Армения). Ан., XIII, 39.

Волез Мессала — см. Валерий Мессала Волез, Луций.

Вологез — сын Вонона, властителя парфянского царства. Ан., XII, 14, 44, 50; XIII, 7, 9, 34, 37; XIV, 25; XV, 1—3, 5—7, 9—15, 17, 24, 25, 27, 28, 31. И., I, 40; IV, 51.

Волузий, Гай — воин III легиона. И., III, 29.

Волузий Прокул — наварх (капитан) одного из кораблей Мизенского флота. Ан., XV, 51, 57.

Волузий Сатурнин, Квинт — консул 56 г., сын предыдущего. Ан., XIII, 25; XIV, 46.

Волузий Сатурнин, Луций — консул 12 г. до н. э., умер в 20 г. Ан., III, 30.

Волузий Сатурнин, Луций — сын Луция Волузия Сатурнина, консула 12 г. до н. э., консул-суффект 3 г., умер в 56 г. Ан., XII, 22; XIII, 30; XIV, 56.

Вольски — италийское племя, обитавшее по соседству с Лацием. А., XI, 24.

Вонон — сын царя Фраата IV, отданный им в заложники Августу. Ан., II, 1—4, 56, 58, 68; VI, 31; XII, 10.

пока не вернулся на родной остров Итаку. Г., 3. О, 16.

Одрисы — фракийское племя, обитавшее в верховьях р. Гебр (ныне Марица). Ан., III, 38.

Озирис — египетский бог, муж Изиды, покровитель Египта. И., IV, 84.

Океан — по представлению древних, море, обтекающее со всех сторон сушу; в сочинениях Тацита — Северное море, Балтийское море, Атлантический океан и Северный Ледовитый океан. Ан., I, 9, 63, 70; II, 6, 8, 15, 23, 24; IV, 72; XI, 20; XIII, 53; XIV, 32, 39; XV, 37. И., I, 9; IV, 12, 15, 79; V, 23. Г., 1—3, 17, 34, 37, 40, 44. А., 10, 12, 15, 25.

Окрикул — город к югу от Нарнии на Фламиниевой дороге, ныне Отриколи. И., III, 78.

Оксионы, или этионы, — народ на севере Европы, о котором упоминает лишь Тацит в «Германии». Г., 46.

Октавии — знатный римский род. Ан., IV, 44.

Октавий, Гай — отец императора Августа, римский полководец и государственный деятель, умер в 59 г. до н. э. Ан., I, 9.

Октавий Сагитта — народный трибун в 58 г. Ан., XIII, 44. И., IV, 44.

Октавий Фронтон — сенатор, бывший претор. Ан., II, 33.

Октавия (Младшая) — сестра Августа, жена Марка Марцелла, потом Марка Антония (61—11 гг. до н. э.). Ан., IV, 44, 75.

Октавия Клавдия (42—62 гг.) — дочь Клавдия и Мессалины, первая жена Нерона. Ан., XI, 32, 34; XII, 2—4, 9, 58, 68; XIII, 12, 16, 18, 19; XIV, 1, 59—63. И., I, 13.

Окция — весталка, умершая в 19 г. Ан., II, 86.

Оленний — центурион. Ан., IV, 72.

Оллий, Тит — отец Поппеи Сабины Младшей. Ан., XIII, 45.

Ономаст — вольноотпущенник имп. Отона. И., I, 25, 27.

Опитергий — город в Северной Италии, ныне Одерцо. И., III, 16.

Оппий, Гай — народный трибун, издавший в 215 г. до н. э. закон против роскоши среди женщин. Ан., III, 33, 34.

Оппий, Гай — влиятельный римский всадник в правление Юлия Цезаря, связанный с ним личной дружбой. Ан., XII, 60.

Опсий, Марк — бывший претор, один из обвинителей Тития Сабина. Ан., IV, 68, 71.

Ордовики — британское племя, обитавшее в северной части нынешнего Уэлса. Ан., XII, 33. А., 18.

Оркадские острова — группа островов у северных берегов Шотландии (ныне Оркнейские). А., 10.

Орноспад — парфянский сановник, правитель Месопотамии. Ан., VI, 37.

Ород — сын парфянского царя Артабана III. Ан., VI, 33—35.

Ортигия — священная роща близ г. Эфеса. Ан., III, 61.

Орфей — сын Аполлона, вдохновенный поэт и певец, растерзанный вакханками (греч. мифология). О., 12.

Орфидий Бенинги — командир легиона. И., II, 43, 45.

Орфит — см. Корнелий Орфит, Сервий.

Оски, или Опики, — италийский народ, обитавший в Кампании, по соседству с Лацием. Ан., IV, 14.

Остия — город в устье Тибра близ Рима, являвшийся его морским портом. Ан., II, 40; XI, 26, 29, 31, 32; XV, 39; XVI, 9. И., I, 80; II, 63.

Осторий Сабин — римский всадник, выдвинувший обвинения против Сервилия Бареи Сорана в 66 г. Ан., XVI, 23, 30, 33.

Осторий Скапула, Марк — сын наместника Британии Публия Ос-

Ан., II, 64—67; III, 38; IV, 5; VI, 10. И., I, 11.

Фризы — германское племя, обитавшее на морском побережье между Флевонским озером (ныне залив Зейдер-зе, образовавшийся в 1282 г. вследствие опускания и затопления суши) и р. Эмс. Ан., I, 60; IV, 72—74; XI, 19; XIII, 54. И., IV, 15, 16, 18, 56, 79. Г., 34, 35. А., 28.

Фрикс — сын царя Беотии Афаманта, предназначенный в умилостивительную жертву богам и спасенный золотым овном, который и доставил его в Колхиду (греч. мифология). Ан., VI, 34.

Фронтин — см. Юлий Фронтин.

Фула — полубаснословная страна на севере Европы (некоторые отождествляют ее с западным побережьем Норвегии, другие — с Исландией); в тексте Тацита речь идет, по-видимому, о Шетландских островах. А., 10.

Фульв Аврелий — см. Аврелий Фульв.

Фульциний Трион, Луций — известный доносчик и обвинитель в правление Тиберия, консул-суффект 31 г. Ан., II, 28, 30; III, 10, 13, 19; V, 11; VI, 4, 38.

Фунданиев бассейн — водоем в Риме; его местонахождение не установлено. И., III, 69.

Фундийские горы — гряда гор близ г. Фунди (ныне Фонди) в Лации. Ан., IV, 59.

Фунизулан Феттониан, Луций — в 62 г. командир легиона, в дальнейшем наместник Далмации, потом Мёзии, потом Паннонии (84—85 гг.). Ан., XV, 7.

Фурий Бибакул, Марк — римский поэт, современник Катулла. Ан., IV, 34.

Фурий Камилл, Луций — в 350 г. до н. э. диктатор, в 349 консул; в эти же годы одержал ряд побед над галлами. Ан., II, 52.

Фурий Камилл, Марк — наместник провинции Африка. Ан., II, 52; III, 20, 21.

Фурий Камилл Аррунций Скрибониан, Гней — консул 32 г.; в 42 г., будучи наместником Далмации, поднял мятеж, подавленный спустя несколько дней. Ан., VI, 1; XII, 52. И., I, 89; II, 75.

Фурий Камилл Аррунций Скрибониан, Марк — сын Гнея Фурия Камилла Скрибониана, в 52 г. отправленный имп. Клавдием в изгнание. Ан., XII, 52.

Фурний — любовник Клавдии Пульхры, осужденный вместе с ней по обвинению в покушении на особу Тиберия. Ан., IV, 52.

Фурний, Гай — римский политический деятель, оратор I в. до н. э. О., 21.

Фуск — см. Корнелий Фуск.

Фуфий Гемин, Гай — консул 29 г. Ан., V, 1, 2; VI, 10.

Фуцинское озеро — озеро в Апеннинских горах, ныне Лаго-ди-Челано. Ан., XII, 56.

Хавки — германская народность, распадавшаяся на несколько племен. Первоначально хавки обитали между нижним течением Эмса и Эльбой; в середине I в. н. э. они распространились на юг и на запад до верховьев Эмса и Везера. Бóльшие хавки обитали к востоку от Везера, Меньшие — к западу. Ан., I, 38, 60; II, 17, 24; XI, 18, 19; XIII, 55. И., IV, 79; V, 19. Г., 35, 36.

Хазуарии — германское племя, обитавшее между рр. Эмсом и Липпе. Г., 34.

Халдеи — обитатели Халдеи (юго-западная часть Вавилонии, между рр. Евфратом и Тигром); с течением времени слово «халдеи» приобрело среди римлян значение «астрологи», «предсказате-

СОДЕРЖАНИЕ

АННАЛЫ

Перевод А. С. Бобовича, ред. Я. М. Боровского

МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Перевод А. С. Бобовича, ред. М. Е. Сергеенко

ИСТОРИЯ

Перевод Г. С. Кнабе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Научное издание

Тацит Публий Корнелий

АННАЛЫ
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСТОРИЯ

Редактор Ю.А. Михайлов
Художественный редактор О.Н. Адаскина
Компьютерный дизайн: С.В. Барков
Технический редактор М.А. Страшнова
Компьютерная верстка: О.Н. Бойко
Корректор И.В. Лебедева

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953004 — научная и производственная литература

Гигиеническое заключение
№ 77.99.11.953.П.002870.10.01 от 25.10.2001 г.

ООО «Издательство АСТ»
368560, Республика Дагестан, Каякентский район,
с. Новокаякент, ул. Новая, д. 20
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

ИД № 02944 от 03.10.00 г.
Научно-издательский центр «Ладомир».
103681, Москва, ул. Заводская, д. 6а.
Тел. (095) 537-89-33. E-mail: ladomir@mail.compnet.ru.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.02. РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие «Полиграфический комбинат имени Я. Коласа». 220600, Минск, ул. Красная, 23.